



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

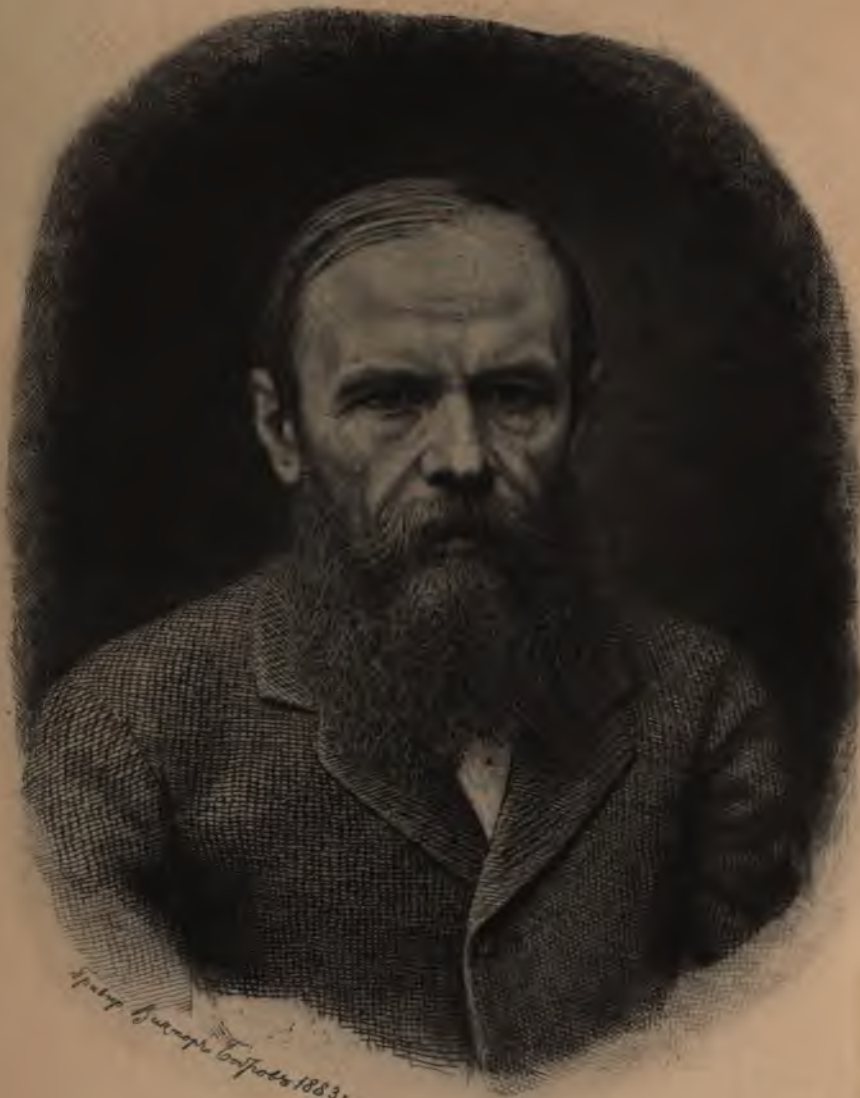


891.73
D721s



Самое





Edoardo Pezzana L. Pezzana

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНІЙ
Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

БІОГРАФІЯ, ПИСЬМА
И
ЗАМѢТКИ ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.
СЪ ПОРТРЕТОМЪ Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО
И
ПРИЛОЖЕНІЯМИ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія А. С. Суворина, Эртелевъ пер., д. № 11—2

1883



YB 501 08071476

320327

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ЖИЗНЕОПИСАНІЯ

Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО.





Публика съ нетерпѣніемъ ждетъ жизнеописанія такъ недавно еще «хороненнаго „владельца нашихъ думъ“ (употребляя выраженіе излюбленнаго Достоевскимъ поэта). Но смѣлости не хватаетъ назвать настоящимъ жизнеописаніемъ то, что можетъ образоваться отъ приведенія въ порядокъ имѣющагося теперь матерьяла. Слишкомъ много еще ощущается различныхъ пробѣловъ, пополнить которые зависитъ отъ доброй воли тѣхъ, кто, должно быть, считаетъ письма Достоевскаго или же свои воспоминанія о немъ своею частною собственностью, и тѣмъ самымъ заставляетъ невольно согласиться съ словами Прудона: *la propriété c'est le vol*. Но хотя жизнеописаніе Достоевскаго еще невозможно въ своемъ настоящемъ смыслѣ,—удерживать подъ спудомъ накопившіяся уже матерьялы было бы, въ свою очередь, со стороны его собирателей такимъ же присвоеніемъ себѣ общественной собственности. Пусть только публика смотритъ на то, что представляется ей на этихъ страницахъ, какъ на сводъ матерьяловъ — не болѣе.

Задача пишущихъ эти страницы значительно облегчается тѣмъ, что хотя Достоевскій и не велъ постоянныхъ записокъ, но основной источникъ для его жизнеописанія оставленъ намъ имъ самимъ. Онъ заключается: 1) въ данныхъ, продиктованныхъ имъ за нѣсколько лѣтъ до смерти супругѣ своей Аннѣ Григорьевнѣ; 2) въ воспоминаніяхъ преимущественно о молодыхъ годахъ, разсѣянныхъ по „Дневнику Писателя“; 3) во множествѣ внѣшнихъ и внутреннихъ фактовъ сибирской жизни Достоевскаго, систематически изложенныхъ имъ въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“; 4) въ кое-какихъ субъективныхъ чертахъ, разсѣянныхъ по различнымъ его романамъ *); наконецъ, 5) въ письмахъ къ различнымъ, какъ знако-

*) Преимущественно въ „Бѣлыхъ Ночахъ“, „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, „Преступленіи и Наказаніи“, „Идіотѣ“. Само собой разумѣется, что романами Достоевскаго, какъ источникомъ для его біографіи, можно пользоваться только съ величайшею осторожностью. Такая осторожность соблюдена далеко не вездѣ въ рѣчи о Достоевскомъ проф. Булича, признавашаго за автобіографическій матерьялъ даже „Записки изъ Подполья“.

мымъ, такъ и незнакомымъ (подъ конецъ жизни) лицамъ, письмахъ, которыя являются тѣмъ болѣе важными для біографа, что Достоевскій вообще не отличался въ нихъ лаконизмомъ и хотя не любилъ, но часто считалъ своею обязанностію ихъ писать. Матерьялъ этотъ былъ бы особенно богатъ, если бы многіе упорно не оставляли его до сихъ поръ у себя въ столѣ.

Лицъ, близко стоявшихъ къ Достоевскому въ ту или другую пору его жизни, въ живыхъ еще, слава Богу, не мало, — но воспоминаній о немъ сообщено, какъ мы уже сказали, не особенно много. Сверхъ того, что появилось уже въ печати (съ подписями А. П. Милюкова, А. Н. Майкова, Н. Н. Страхова, Вс. С. Соловьева, г. Масленникова и нѣк. др.), имѣются въ нашемъ распоряженіи записки о дѣтствѣ Ф. М. Достоевскаго родного брата его Андрея Михайловича, воспоминанія о пребываніи его въ инженерномъ училищѣ А. И. Савельева, обстоятельныя записки о времени до ссылки Федора Михайловича въ Сибирь, доктора А. Е. Ризенкампа *), воспоминанія С. Д. Яновскаго. Многое записано со словъ товарищей Ф. М. по такъ называемому дѣлу Петрашевскаго: покойнаго Н. А. Спѣшнева (А. Г. Достоевскою), затѣмъ Н. С. Кашкина, Н. А. Момбелли, А. И. Пальма и И. М. Дебу нами и доставлено намъ въ видѣ письменныхъ воспоминаній И. Л. Ястржемскимъ. Вотъ и все почти, если не считать отрывочныхъ замѣтокъ, — не смотря на неоднократныя воззванія въ печати.

При столь слабой отзывчивости лицъ, близко знавшихъ покойнаго, слишкомъ отзывчивыми съ другой стороны оказывались нѣкоторые, знавшие его очень издалека и спѣшившіе сообщить о немъ свѣдѣнія апокрифическаго характера. Выходило, впрочемъ, по пословицѣ: „нѣтъ худа безъ добра“. Это заставляло того или другого близкаго къ Достоевскому человѣка нарушать молчаніе и выступать съ печатнымъ или устнымъ опроверженіемъ.

*) Указанія на него встрѣчаются въ двухъ письмахъ Федора Михайловича къ брату Михаилу Михайловичу. Такъ 27 февраля (1841 г.?), онъ говоритъ: „я ни у кого еще не былъ... ни у Григоровича, ни у Ризенкампа; а 14 февраля 1844 г.: „Напиши, что у тебя было съ Егоромъ Ризенкампомъ (въ домъ котораго жилъ Михаилъ Михайловичъ). Отецъ (т. е. Егоръ) писалъ что-то своему сыну. А я тебѣ въ будущемъ письмѣ напишу про моего Ризенкампа, Алексѣя“ (описка вм. Александра). Но этого *будущаго* письма не имѣется на лицо.

I.

ДѢТСТВО И УЧЕБНЫЕ ГОДЫ.

Днемъ рожденія Федора Михайловича было 30-е октября, что же касается года, то самъ онъ указывалъ 1822-й, между тѣмъ въ нѣкоторыхъ некрологахъ его указанъ 1821 г. Оказывается, что въ этомъ случаѣ, какъ и часто, память измѣнила Федору Михайловичу. Запись о рожденіи его, по свидѣтельству Андрея Михайловича, оказывается въ метрическихъ книгахъ Московской Духовной Консисторіи за 1821 годъ. Вотъ эта запись (дословно переданная Андреемъ Михайловичемъ):

„Срѣтенскаго-Сорока, Церкви Петра и Павла, что при больницѣ для бѣдныхъ, тысяча восемьсотъ двадцать перваго года, Октября 30-го дня, родился младенецъ, въ домѣ больницы для бѣдныхъ, у штабъ-лекаря Михаила Андреевича Достоевскаго, — сынъ Федоръ. — Молитвовалъ священникъ Василій Ильинъ, при немъ былъ дьячекъ Герасимъ Ивановъ. Крещенъ мѣсяца Ноября 4-го дня; воспріемниками были: штабъ-лекарь надворный совѣтникъ Григорій Павловъ Масловичъ и княгиня Прасковья Тимофѣевна Козловская; московскій купецъ Федоръ Тимофѣевъ Нечаевъ и купеческая жена Александра Федоровна Куманина. — Оное крещеніе совершалъ священникъ Ильинъ съ причтомъ *).“

По свидѣніямъ, сообщеннымъ Аннѣ Григорьевнѣ Достоевской въ Москвѣ близкими родственниками Ф. М., онъ родился въ правомъ флигелѣ Маріинской больницы, тамъ, гдѣ теперь отдѣленіе для приходящихъ малолѣтнихъ. Два же года спустя послѣ его рожденія, родители его переселились въ лѣвый флигель.

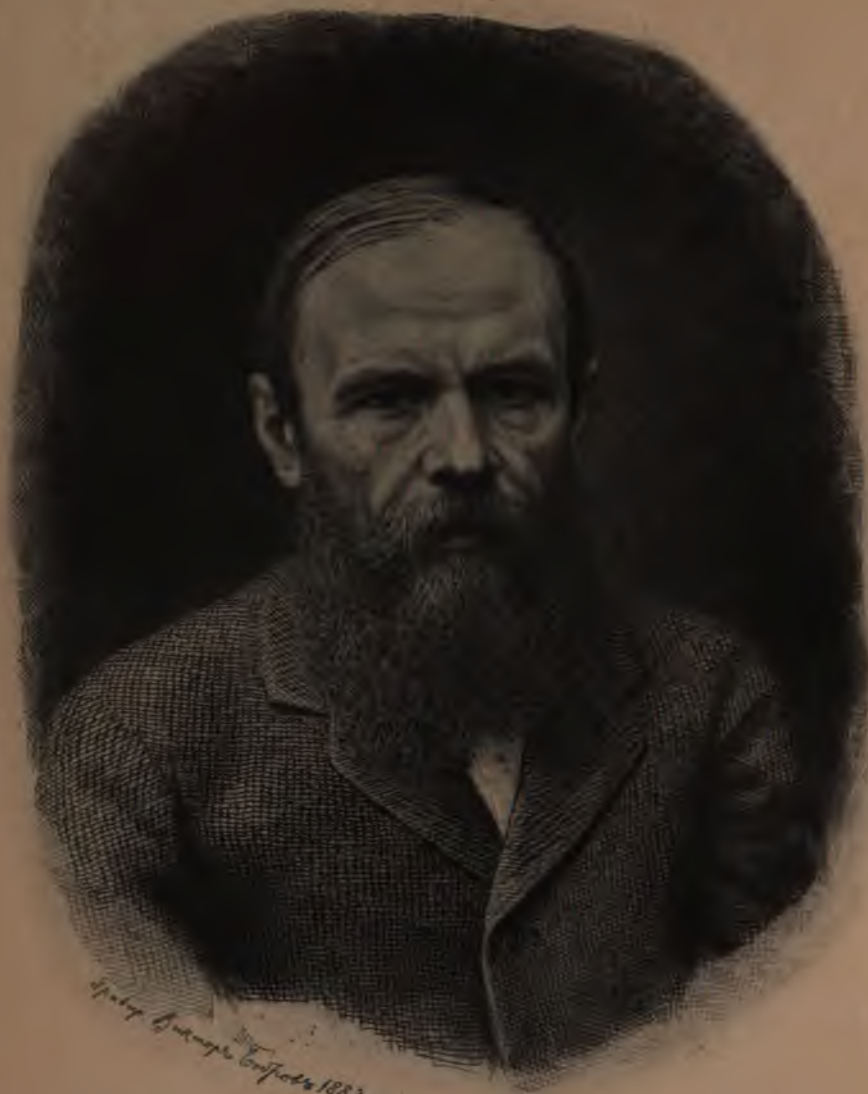
Едвали не самымъ раннимъ воспоминаніемъ Ф. М. было, какъ однажды няня привела его, лѣтъ около трехъ, при гостяхъ въ гостинную, заставила стать на колѣни передъ образами и, какъ это всегда бывало на сонъ грядущій, прочесть молитву: „Все упованіе, Господи, на Тебя возлагаю. Матерь Божія, сохрани мя подъ кровомъ Своимъ“. Гостямъ это очень понравилось и они говорили, лаская его: „ахъ, какой умный маль-

*) Григ. Павл. Масловичъ, замѣчаетъ Андрей Михайловичъ, былъ мужъ двоюродной сестры нашей матушки; Фед. Тим. Нечаевъ—отецъ матушки, а Алекс. Федоров. Куманина—родная ея сестра,—слѣдовательно все лица намъ родственныя.—Въ какихъ же отношеніяхъ къ намъ была княгиня Козловская—не знаю.—Вѣроятно она была одна изъ многочисленныхъ пациентокъ моего отца.

891.73
D7215



George



Сидор Александрович Леонидович

Достоевскій, Ф. М.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
О. М. ДОСТОЕВСКАГО.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

БЮГРАФІЯ, ПИСЬМА
И
ЗАМѢТКИ ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ О. М. ДОСТОЕВСКАГО

И
ПРИЛОЖЕНИЯМИ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія А. С. Суворина, Эртелевъ пер., д. № 11—2

1883



уважати особисто

320327

МАТЕРІАЛЫ ДЛѢ ЖИЗНЕОПИСАНІЯ

Ф. М. ДОСТОВЕВСКАГО.



Публика съ нетерпѣніемъ ждетъ жизнеописанія такъ недавно еще схороненнаго „власителя нашихъ думъ“ (употребляя выраженіе излюбленнаго Достоевскимъ поэта). Но смѣлости не хватаетъ назвать настоящимъ жизнеописаніемъ то, что можетъ образоваться отъ приведенія въ порядокъ имѣющагося теперь матерьяла. Слишкомъ много еще ощущается различныхъ пробѣловъ, пополнить которые зависитъ отъ доброй воли тѣхъ, кто, должно быть, считаетъ письма Достоевскаго или же свои воспоминанія о немъ своею частною собственностью, и тѣмъ самымъ заставляетъ невольно согласиться съ словами Прудона: *la propriété c'est le vol*. Но хотя жизнеописаніе Достоевскаго еще невозможно въ своемъ настоящемъ смыслѣ, — удерживать подъ спудомъ накопившіяся уже матерьялы было бы, въ свою очередь, со стороны его собирателей такимъ же присвоеніемъ себѣ общественной собственности. Пусть только публика смотритъ на то, что представляется ей на этихъ страницахъ, какъ на сводъ матерьяловъ — не болѣе.

Задача пишущихъ эти страницы значительно облегчается тѣмъ, что хотя Достоевскій и не велъ постоянныхъ записокъ, но основной источникъ для его жизнеописанія оставленъ намъ имъ самимъ. Онъ заключается: 1) въ данныхъ, продиктованныхъ имъ за нѣсколько лѣтъ до смерти супругѣ своей Аннѣ Григорьевнѣ; 2) въ воспоминаніяхъ преимущественно о молодыхъ годахъ, разсѣянныхъ по „Дневнику Писателя“; 3) во множествѣ внѣшнихъ и внутреннихъ фактовъ сибирской жизни Достоевскаго, систематически изложенныхъ имъ въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“; 4) въ кое-какихъ субъективныхъ чертахъ, разсѣянныхъ по различнымъ его романамъ *); наконецъ, 5) въ письмахъ къ различнымъ, какъ знако-

*) Преимущественно въ „Бѣлыхъ Ночахъ“, „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, „Преступленіи и Наказаніи“, „Идиотъ“. Само собой разумѣется, что романами Достоевскаго, какъ источникомъ для его биографіи, можно пользоваться только съ величайшею осторожностью. Такая осторожность соблюдена далеко не вездѣ въ рѣчи о Достоевскомъ проф. Булича, признавашаго за автобіографическій матерьялъ даже „Записки изъ Подполья“.

нимъ, такъ и незнакомымъ (подъ конецъ жизни) лицамъ, письмахъ, которыя являются тѣмъ болѣе важными для біографа, что Достоевскій вообще не отличался въ нихъ лаконизмомъ и хотя не любилъ, но часто считалъ своею обязанностью ихъ писать. Матерьялъ этотъ былъ бы особенно богатъ, если бы многіе упорно не оставляли его до сихъ поръ у себя въ столѣ.

Лицъ, близко стоявшихъ къ Достоевскому въ ту или другую пору его жизни, въ живыхъ еще, слава Богу, не мало, — но воспоминаній о немъ сообщено, какъ мы уже сказали, не особенно много. Сверхъ того, что появилось уже въ печати (съ подписями А. П. Милюкова, А. Н. Майкова, Н. Н. Страхова, Вс. С. Соловьева, г. Масленникова и нѣк. др.), имѣются въ нашемъ распоряженіи записки о дѣтствѣ Ф. М. Достоевскаго родного брата его Андрея Михайловича, воспоминанія о пребываніи его въ инженерномъ училищѣ А. И. Савельева, обстоятельныя записки о времени до ссылки Федора Михайловича въ Сибирь, доктора А. Е. Ризенкампа *), воспоминанія С. Д. Яновскаго. Многое записано со словъ товарищей Ф. М. по такъ называемому дѣлу Петрашевскаго: покойнаго Н. А. Спѣшнева (А. Г. Достоевскою), затѣмъ Н. С. Кашкина, Н. А. Момбелли, А. И. Пальма и И. М. Дебу нами и доставлено намъ въ видѣ письменныхъ воспоминаній И. Л. Ястржемскимъ. Вотъ и все почти, если не считать отрывочныхъ замѣтокъ, — не смотря на неоднократно воззванія въ печати.

При столь слабой отзывчивости лицъ, близко знавшихъ покойнаго, слишкомъ отзывчивыми съ другой стороны оказывались нѣкоторые, знавшіе его очень издалека и спѣшившіе сообщить о немъ свѣдѣнія апокрифическаго характера. Выходило, впрочемъ, по пословицѣ: „нѣтъ худа безъ добра“. Это заставляло того или другого близкаго къ Достоевскому человѣка нарушать молчаніе и выступать съ печатнымъ или устнымъ опроверженіемъ.

*) Указанія на него встрѣчаются въ двухъ письмахъ Федора Михайловича къ брату Михаилу Михайловичу. Такъ 27 февраля (1841 г.?), онъ говоритъ: „я ни у кого еще не былъ... ни у Григоровича, ни у Ризенкампа; а 14 февраля 1844 г.: „Напиши, что у тебя было съ Егоромъ Ризенкампомъ (въ домѣ котораго жилъ Михаилъ Михайловичъ). Отецъ (т. е. Егоръ) писалъ что-то своему сыну. А я тебѣ въ будущемъ письмѣ напишу про моего Ризенкампа, Алексѣя“ (описка им. Александра). Но этого *будущаго* письма не имѣется на лицо.

I.

Дѣтство и учебные годы.

Деньъ рожденія Федора Михайловича было 30-е октября, что же касается года, то самъ онъ указывалъ 1822-й, между тѣмъ въ нѣкоторыхъ некрологахъ его указанъ 1821 г. Оказывается, что въ этомъ случаѣ, какъ и часто, память измѣнила Федору Михайловичу. Запись о рожденіи его, по свидѣтельству Андрея Михайловича, оказывается въ метрическихъ книгахъ Московской Духовной Консисторіи за 1821 годъ. Вотъ эта запись (дословно переданная Андреемъ Михайловичемъ):

„Срѣтенскаго-Сорока, Церкви Петра и Павла, что при больницѣ для бѣдныхъ, тысяча восемьсотъ двадцать перваго года, Октября 30-го дня, родился младенецъ, въ домѣ больницы для бѣдныхъ, у штабъ-лѣкаря Михаила Андреевича Достоевскаго, — сынъ Федоръ. — Молитвовалъ священникъ Василій Ильинъ, при немъ былъ дьячекъ Герасимъ Ивановъ. Крещенъ мѣсяца Ноября 4-го дня; воспріемниками были: штабъ-лекарь надворный совѣтникъ Григорій Павловъ Масловичъ и княгиня Прасковья Тимофѣевна Козловская; московскій купецъ Федоръ Тимофѣевъ Нечаевъ и купеческая жена Александра Федоровна Куманина. — Оное крещеніе совершалъ священникъ Ильинъ съ причтомъ *).“

По свидѣніямъ, сообщеннымъ Аннѣ Григорьевнѣ Достоевской въ Москвѣ близкими родственниками Ф. М., онъ родился въ правомъ флигелѣ Марининской больницы, тамъ, гдѣ теперь отдѣленіе для проходящихъ малолѣтнихъ. Два же года спустя послѣ его рожденія, родители его переселились въ лѣвый флигель.

Едвали не самымъ раннимъ воспоминаніемъ Ф. М. было, какъ однажды няня привела его, лѣтъ около трехъ, при гостяхъ въ гостинную, заставила стать на колѣни передъ образами и, какъ это всегда бывало на сонъ грядущій, прочесть молитву: „Все упованіе, Господи, на Тебя возлагаю. Матерь Божія, сохрани мя подъ кровомъ Своимъ“. Гостиамъ это очень понравилось и они говорили, лаская его: „ахъ, какой умный маль-

*) Григ. Павл. Масловичъ, замѣчаетъ Андрей Михайловичъ, былъ мужъ двоюродной сестры нашей матушки; Фед. Тим. Нечаевъ—отецъ матушки, а Алекс. Федоров. Куманина—родная ея сестра,—слѣдовательно все лица намъ родственныя.—Въ какихъ же отношеніяхъ къ намъ была княгиня Козловская—не знаю.—Вѣроятно она была одна изъ многочисленныхъ пациентокъ моего отца.

чикъ"! Воспоминаніе это врѣзалось въ его память, молитву же ту онъ твердилъ всю жизнь и ею же напутствовалъ ко сну своихъ собственныхъ дѣтей. Федоръ Михайловичъ вспоминалъ также, что держали ихъ строго и рано начинали учить. Его уже четырехлѣтнимъ сажали за книжку и твердили: „учись!“ , а на воздухѣ было такъ тепло, хорошо, такъ и манило въ большой и тѣнистый больничный садъ! Зато когда отецъ уѣзжалъ на практику, мать отпускала дѣтокъ на волю.

Обратимся теперь къ воспоминаніямъ Андрея Михайловича Достоевскаго.

„Я моложе, говорить онъ, брата Ф. М. на 3 года и 4¹/₂ мѣсяца. — Ежели принять во вниманіе, что два старшихъ брата мои Михаилъ и Федоръ были отвезены отцомъ изъ Москвы въ Петербургъ въ маѣ мѣсяцѣ 1837 года, когда брату Федору было 15 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ, а мнѣ слишкомъ 12 лѣтъ, и то, что я начинаю себя сознательно помнить съ пятилѣтняго возраста, — то и обозначится, что въ памяти у меня могло вполне сохраниться дѣтство брата Ф. М. въ продолженіи семи лѣтъ.“ —

„Отецъ нашъ, сообщаетъ Андрей Михайловичъ, штабъ-лѣкарь Михаилъ Андреевичъ Достоевскій, по окончаніи курса медицины въ существовавшей тогда московской Медицинской академіи въ 1812 году, былъ зачисленъ медикомъ въ военную службу, а по окончаніи войны служилъ въ Московскомъ военномъ госпиталѣ. — Въ 1819 году онъ женился на дочери московскаго купца Федора Тимофѣевича Нечаева, Марьѣ Федоровнѣ; а въ 1820 году родился старшій братъ нашъ Михаилъ. — Въ концѣ 1820 года отецъ перешелъ изъ военнаго вѣдомства въ гражданское и поступилъ врачомъ, съ званіемъ штабъ-лѣкаря, въ московскую Маріинскую больницу, гдѣ и родился братъ Федоръ Михайловичъ и всѣ остальные дѣти, кромѣ послѣдней младшей сестры нашей.“

„Квартира, занимаемая отцомъ, была въ нижнемъ этажѣ. — Сравнивая теперешнія помѣщенія служащихъ лицъ въ казенныхъ квартирахъ, невольно обратишь вниманіе на то, что въ старину дѣлались эти помѣщенія гораздо экономнѣе. И въ самомъ дѣлѣ: отецъ нашъ, уже семейный человѣкъ, имѣвшій въ то время 4—5 человѣкъ дѣтей, пользуясь штабъ-офицерскимъ чиномъ, — занималъ квартиру, состоящую собственно изъ двухъ комнатъ, кромѣ передней и кухни. При входѣ, какъ обыкновенно, была передняя въ одно окно, отъ которой задняя часть отдѣлялась дочатой столярной перегородкой; образовавшаяся отъ сего полу-темная комнатка служила дѣтскою для двухъ старшихъ братьевъ (т. е. для Михаила и Федора Михайловичей). — Далѣе залъ, — довольно помѣстительная комната о 2-хъ окнахъ на улицу и 3-хъ на чистый дворъ. —

Потомъ гостиная въ два окна на улицу, отъ которой таковою же перегородкою было отдѣлено полу-свѣтлое помѣщеніе для спальни. — Вотъ и вся квартира. — Въ послѣдствіи, когда семейство наше увеличилось, — прибавили къ квартирѣ еще одну комнату. Обстановка квартиры была очень скромная. Передняя съ прилегающею къ ней дѣтскою была окрашена темно-перловою клеевою краскою; залъ — свѣтло-канареечною; а гостиная съ прилегающею спальнею — кобальтовою. Обмеблировка была самая простая: въ залѣ помѣщались два ломберныхъ стола (хоть въ карты никогда въ семействѣ нашемъ не играли), которые служили старшимъ братьямъ для занятій; обѣденный столъ и дюжина березовыхъ стульевъ съ мягкими сидѣньями, обитыми зеленымъ сафьяномъ (конечно не на пружинахъ). Эта зала была нашею семейною комнатою, гдѣ и учились и играли, обѣдали и пили чай. Гостиная же была нашею комнатою отдохновенія. — Когда мы, дѣти, оканчивали свои уроки, то приходили въ гостиную, и тамъ усаживались вмѣстѣ съ родителями“. (По воспоминаніямъ другихъ родственниковъ, это было за круглымъ столомъ, при чемъ мать работала, а дѣти читали вслухъ). Самъ Ф. М. вспоминалъ, что когда начиналось шитье или кройка, то ихъ, дѣтей, отгоняли, вслѣдствіе чего кройка и впослѣдствіи производила на него всегда непріятное дѣйствіе.

„Съ самаго моего младенчества, продолжаетъ Андрей Михайловичъ, какъ я начинаю вспоминать нашу дѣтскую жизнь, мнѣ рисуются слѣдующіе члены семейства: отецъ, мать, старшій братъ Михаилъ, братъ Федоръ, сестра Варвара и я. — Мною кончается, такъ сказать, первая, старшая серія насъ, дѣтей. Хотя за мною и слѣдовали еще сестра Вѣра, братъ Николай и сестра Александра, но они были еще такъ малы, что не могли принимать участія ни въ нашихъ занятіяхъ, ни въ нашихъ играхъ, — и жили какъ бы отдѣльно отъ насъ дѣтскою жизнію. — Мы же четверо постоянно почти были вмѣстѣ, и наши интересы, наши занятія и игры имѣли много общаго“. — (По словамъ самого Ф. М. онъ очень любилъ въ дѣтствѣ „сестру Варю“, впослѣдствіи вышедшую замужъ за г. Карепина).

„Упомяну это для того, чтобы показать, что вся дѣтская жизнь двухъ старшихъ братьевъ, въ сказанный періодъ времени, была на моихъ глазахъ. Всѣ ихъ занятія, всѣ ихъ разговоры происходили при мнѣ. Они не стѣснялись моимъ присутствіемъ, и развѣ только въ рѣдкихъ случаяхъ отгоняли меня прочь, называя своимъ хвостикомъ. Старшіе братья были погодки, росли вмѣстѣ и были очень дружны; — дружба эта сохранилась до конца жизни старшаго брата. Но не смотря на эту дружбу, они были совершенно различныхъ характеровъ. Братъ Михаилъ былъ и въ дѣтствѣ

менѣе рѣзвъ, менѣе энергиченъ, менѣе горячъ въ разговорахъ, нежели братъ Федоръ, который былъ во всѣхъ проявленіяхъ своихъ — *настоящій огонь*, какъ выражались наши родители.

„Говоря о нашемъ семействѣ, я не могу не упомянуть о личности, которая входила въ него всею своею жизнью, всеми своими интересами. Это была няня Алена Фроловна.— Упоминаю объ ней не съ цѣлію показать, чтобы Аленѣ Фроловнѣ, какъ нянѣ Пушкина, можно было приписать какое либо вліяніе на дѣтское развитіе брата Федора. Это была личность добрая, любившая насъ, — но и только. — Она была московская ибѣщанка (еще не старая и довольно толстая, какъ припоминаютъ другіе) и не безъ важности величала себя *гражданкою*. — Но, упомянувъ о ней, какъ объ одной изъ прислугъ нашихъ, я не могу не замѣтить, какъ дорого было даже впоследствии воспоминаніе объ нихъ у брата Ф. М. Въ многочисленныхъ произведеніяхъ его разбросано много именъ, которыми называлась наша прежняя прислуга. Такъ няня у Лизы Тушиной (въ романѣ „Бѣсы“) названа Аленой Фроловной, гдѣ выводился на сцену староста, — то назывался Савиномъ Макаровымъ, прикащикъ назывался Григорьемъ Васильевымъ и т. д. — все это имена бывшихъ нашихъ городекихъ и деревенскихъ слугъ.“

✓ По увѣренію Андрея Михайловича, Алена Фроловна не умѣла рассказывать сказки. — Это не совсѣмъ сходится съ воспоминаніями другихъ родственниковъ и самого Федора Михайловича. Вѣроятно, Алена Фроловна рассказывала сказки не такъ хорошо, какъ, напримѣръ, кормилицы. „Изъ всѣхъ дѣтей своихъ, продолжаетъ Андрей Михайловичъ, — матушка кормила сама только одного старшаго брата Михаила (котораго, по словамъ Ф. М., особенно любила), всѣхъ же прочихъ дѣтей кормили наемныя кормилицы. Вотъ эти-то бывшія кормилицы ежегодно (преимущественно зимою) приходили къ намъ въ гости, раза по два. Приходъ ихъ для насъ, дѣтей, былъ настоящимъ праздникомъ. Онѣ приходили изъ ближайшихъ деревень, всегда на довольно долгое время, гостя у насъ дня по два, по три. Какъ теперь рисуется въ моихъ воспоминаніяхъ слѣдующая картина: однимъ зимнимъ утромъ является къ матушкѣ въ гостиную няня Алена Фроловна и докладываетъ: „кормилица Лукерья пришла“. Мы, мальчики, вбѣгаемъ изъ залы въ гостиную и чуть не бьемъ въ ладоши отъ радости. — „Зови ее“, говоритъ матушка. И вотъ является лапотница Лукерья. Первымъ дѣломъ помолится и поздоровается съ матерью, потомъ перецѣлуетъ всѣхъ насъ, потомъ обдѣлитъ насъ всѣхъ деревенскими гостинцами, въ видѣ лепешекъ, испеченныхъ на пахтаньѣ; но вслѣдъ затѣмъ удаляется опять въ кухню, — дѣтямъ некогда, они дол-

жны утромъ заниматься. Но вотъ наступаютъ сумерки, матушка занимается въ гостиной, отецъ также занятъ впискою рецептовъ въ скорбинные листы (по больницѣ), которые ежедневно приносились ему массажи, а мы, дѣти, ожидаемъ уже въ темной неосвѣщенной залѣ прихода кормилицы. Она является, усаживаемся всѣ въ темнотѣ на стульяхъ, и тутъ-то начинается разсказываніе сказокъ. Это удовольствіе продолжалось часа по три, по четыре; разказы передавались почти шопотомъ, чтобы не мѣшать родителямъ; тишина такая, что слышенъ скрипъ отцовскаго пера. И какихъ только сказокъ мы не слыхивали, и названій теперь всѣхъ не припомню; разсказывалось и про Жарь Птицу, и про Алешу Поповича, и про Синюю Бороду и много другихъ. Помню только, что нѣкоторыя сказки казались для насъ очень страшными *). Въ разсказчицамъ этимъ мы относились и критически, замѣчая, напримѣръ, что Варина кормилица, хотя и больше знаетъ сказокъ, но разсказываетъ ихъ хуже чѣмъ Андрушина, или что-то подобное“. По воспоминаніямъ другихъ родственниковъ О. М., сказки разсказывала имъ еще—уже не народныя, а изъ „Тысячи и одной ночи“ — какая-то часто гостившая у нихъ старушка Александра Николаевна. Сказка такъ и лилась у нея за сказкой и дѣти не отходили отъ нея. Вѣроятно это было еще до той поры, о которой можетъ помнить Андрей Михайловичъ.

„День проходилъ въ нашемъ семействѣ, продолжаетъ онъ,—по разъ заведенному порядку, одинъ какъ другой. Вставали утромъ рано, часовъ въ 6. Въ восьмомъ часу отецъ выходилъ уже въ больницу или въ „палату“, какъ у насъ говорилось. Въ 9 часовъ утра отецъ, возвратившись изъ больницы, ѣхалъ сейчасъ же въ объѣздъ своихъ городскихъ пациентовъ или, какъ у насъ говорилось, „на практику“. Въ его отсутствіе мы, дѣти, занимались уроками. Возвращался отецъ постоянно почти въ 12 часовъ, и сейчасъ же обѣдали. Въ 4 часа дня пили вечерній чай, послѣ котораго отецъ вторично шелъ въ палату къ больнымъ. Вечера проводились въ гостиной, и ежели отецъ не былъ занятъ „скорбинными листами“, то читали вслухъ. Въ праздничные дни, въ особенности въ Святки, въ той же гостиной иногда играли, при участіи родителей, въ карты — въ короли, при чемъ братъ Федоръ, по юркости своего характера, всегда уловчался сдѣлать какойнибудь обманъ, въ чемъ и бывалъ не разъ удачаемъ. Въ девятомъ часу вечера, аккуратно, накрывался ужинный столъ

*) Такъ какъ онѣ разсказывались въ темной комнатѣ, то этимъ, можетъ быть, и объясняется то, что О. М. въ дѣтствѣ боялся темноты (какъ самъ разсказывалъ). *Прим. О. М.*

водилъ насъ въ эти балаганы по своему выбору. Родители наши уже не сопутствовали намъ въ этихъ прогулкахъ, вполнѣ довѣря насъ дѣду.

„Родители наши были люди весьма религіозные, въ особенности матушка. Всякое воскресенье и большой праздникъ мы обязательно ходили въ церковь къ обѣднѣ, а наканунѣ ко всеночной. Исполнять это было удобно, такъ какъ у насъ была очень большая и хорошая церковь.

„При больницѣ находился большой и красивый садъ, съ многочисленными липовыми аллеями и содержащимися въ большой чистотѣ дорожками. Этотъ-то садъ и былъ почти нашимъ жилищемъ въ лѣтнее время. Тамъ мы чинно прогуливались съ нянею или, усѣвшись на скамейкахъ, проводили цѣлые часы. Тамъ же происходили и наши дѣтскія игры. Играть, впрочемъ, позволялось только въ лошадки; игры же въ мячъ, и въ особенности при помощи палокъ, какъ-то въ лапту и проч., — строго воспрещались, какъ игры опасныя и неприличныя. Въ больницѣ кромѣ насъ было много жильцовъ, докторовъ и прочихъ служащихъ; но, сколько запомню, въ семействахъ этихъ не было дѣтей намъ сверстниковъ, дѣти были или старше насъ, или совсѣмъ маленькія, а потому мы по неволѣ довольствовались только играми между собою, которыя и были очень однообразны. Разъ намъ удалось видѣть, на какомъ-то гуляньѣ, бѣгуна, который за деньги показывалъ свое искусство бѣгать. При этомъ онъ во рту держалъ конецъ платка, напитаннаго какимъ-то спиртнымъ веществомъ. Я помню, что братъ Федоръ долгое время представлялъ этого бѣгуна, и неумоимо бѣгалъ по садовымъ аллеямъ, держа во рту тоже конецъ носоваго своего платка. (Это, вѣроятно, объясняется тѣмъ, что О. М., по его собственнымъ словамъ, любилъ въ дѣтствѣ выказываться силою, любовью и т. п.) „Въ больничномъ саду прогуливались также и больные, или въ суконныхъ верблюжьяго цвѣта халатахъ или въ лѣтнихъ тиковыхъ, смотря по погодѣ, но всегда въ бѣлыхъ какъ снѣгъ колпакахъ, вмѣсто фуражекъ, и въ башмакахъ или туфляхъ безъ задковъ. Братъ Федоръ очень любилъ, какъ нибудь украдкою, вступать въ разговоры съ этими больными, въ особенности ежели попадались мальчики; но это строго преслѣдовалось и отецъ былъ весьма недоволенъ, ежели до него доходили объ этомъ слухи“. Отецъ, по воспоминаніямъ родственниковъ, вообще былъ строгъ и нянѣ Еленѣ Фроловнѣ не разъ приходилось скрывать отъ него вины дѣтей и вообще защищать ихъ отъ родительской грозы.

„Болѣе разнообразныя игры наши, продолжаетъ Андрей Михайловичъ, происходили въ деревнѣ, въ позднѣйшее уже время. Купленная нашими родителями въ 1831 году деревня находилась въ Тульской гу-

берніи, въ Каширскомъ уѣздѣ, въ 150 верстахъ отъ Москвы. Въ эту-то деревню каждою раннею весною матушка наша переселалась на цѣлое лѣто хозяйничать. Отецъ по служебнымъ обязанностямъ оставался въ Москвѣ, пріѣзжая только на нѣсколько дней въ срединѣ лѣта. Въ первые годы, когда еще старшіе братья не были въ пансіонѣ, мы все сопутствовали матери, и проводили все лѣто въ деревнѣ. Поѣздка въ деревню для насъ, дѣтей, составляла эпоху, которой мы дожидались съ нетерпѣніемъ. Ѣздили обыкновенно на своихъ деревенскихъ же лошадяхъ, которыя нарочно пріѣзжали за нами съ крестьяниномъ Семеномъ Широкиимъ, слывшимъ за лучшаго наѣздника, любителя и знатока лошадей. Совершали эту поѣздку обыкновенно въ двое сутокъ, — на третьи. Во время поѣздки этихъ братья Федоръ бывалъ въ какомъ-то лихорадочномъ настроеніи. Онъ всегда избиралъ мѣсто сидѣнія на облучкѣ. Не бывало ни одной остановки, хотя бы на минуту, при которой братъ не соскочилъ бы съ брички, не обѣгалъ бы близъ лежащей мѣстности, или не повертѣлся бы съ Семеномъ Широкиимъ около лошадей.

„При воспоминаніи объ этомъ не могу не сдѣлать отступленія. Нынѣшнимъ лѣтомъ мнѣ пришлось сдѣлать поѣздку на лошадяхъ изъ г. Рязани въ мѣстность отстоящую за 100 верстъ, вмѣстѣ съ Анной Григорьевной Достоевскою и ея двумя дѣтьми, — моими племянниками. Племянникъ мой, маленькій Одея, до чрезвычайности похожій на отца, во все время путешествія живо напоминалъ мнѣ наши поѣздки полъ-вѣка тому назадъ; и я какъ бы въ фотографическомъ изображеніи видѣлъ въ снѣгѣ — изображеніе отца въ дѣтскомъ его возрастѣ“.

Самъ О. М. не разъ говорилъ, что снѣгъ напоминаетъ ему собственный его характеръ въ дѣтствѣ.

„Мѣстность въ нашей деревнѣ была очень пріятная и живописная, продолжаетъ А. М. Маленькій плетневый мазанковый домикъ, о трехъ комнатахъ, стоялъ въ липовой рошцѣ, довольно большой и тѣнистой. Рошца эта, чрезъ небольшое поле, примыкала къ березовому лѣсу, очень густому, и съ довольно мрачною и дикою мѣстностію, изрытою оврагами. Лѣсокъ этотъ назывался *Брыново* *). Мѣстность эта очень полюбила брату Федору, такъ что лѣсокъ этотъ въ семействѣ начали называть *Оединою рошцею*. Впрочемъ, матушка неохотно намъ дозволяла тамъ гулять, такъ какъ ходили слухи, что въ оврагахъ попадаются змѣи и забѣгаютъ даже волки“.

*) Названіе это, кажется, не одинъ разъ попадаетъ, замѣчаетъ А. М., въ произведеніяхъ покойнаго брата. Въ романѣ „Бѣсы“ мѣстность поединка Ставригина и Гаганова названа этимъ именемъ.

водилъ насъ въ эти балаганы по своему выбору. Родители наши уже не сопутствовали намъ въ этихъ прогулкахъ, вполне довѣряя насъ дѣду.

„Родители наши были люди весьма религіозные, въ особенности матушка. Всякое воскресенье и большой праздникъ мы обязательно ходили въ церковь къ обѣднѣ, а наканунѣ ко всеночной. Исполнять это было удобно, такъ какъ у насъ была очень большая и хорошая церковь.

„При больницѣ находился большой и красивый садъ, съ многочисленными липовыми аллеями и содержащимися въ большой чистотѣ дорожками. Этотъ-то садъ и былъ почти нашимъ жилищемъ въ лѣтнее время. Тамъ мы чинно прогуливались съ нянею или, усѣвшись на скамейкахъ, проводили цѣлые часы. Тамъ же происходили и наши дѣтскія игры. Играть, впрочемъ, позволялось только въ лошадки; игры же въ мячъ, и въ особенности при помощи палокъ, какъ-то въ лапту и проч., — строго воспрещались, какъ игры опасныя и неприличныя. Въ больницѣ кромѣ насъ было много жильцовъ, докторовъ и прочихъ служащихъ; но, сколько запомню, въ семействахъ этихъ не было дѣтей намъ сверстниковъ, дѣти были или старше насъ, или совсѣмъ маленькія, а потому мы по неволѣ довольствовались только играми между собою, которыя и были очень однообразны. Разъ намъ удалось видѣть, на какомъ-то гуляньѣ, бѣгуна, который за деньги показывалъ свое искусство бѣгать. При этомъ онъ во рту держалъ конецъ платка, наптаннаго какимъ-то спиртнымъ веществомъ. Я помню, что братъ Федоръ долгое время представлялъ этого бѣгуна, и неутомимо бѣгалъ по садовымъ аллеямъ, держа во рту тоже конецъ носоваго своего платка. (Это, вѣроятно, объясняется тѣмъ, что Ф. М., по его собственнымъ словамъ, любилъ въ дѣтствѣ выказываться силою, ловкостью и т. п.) „Въ больничномъ саду прогуливались также и больные, или въ суконныхъ верблюжьяго цвѣта халатахъ или въ лѣтнихъ тиковыхъ, смотря по погодѣ, но всегда въ бѣлыхъ какъ снѣгъ колпакахъ, вмѣсто фуражекъ, и въ башмакахъ или туфляхъ безъ задковъ. Братъ Федоръ очень любилъ, какъ нибудь украдкою, вступать въ разговоры съ этими больными, въ особенности ежели попадались мальчики; но это строго преслѣдовалось и отецъ былъ весьма недоволенъ, ежели до него доходили объ этомъ слухи“. Отецъ, по воспоминаніямъ родственниковъ, вообще былъ строгъ и нянѣ Еленѣ Фроловнѣ не разъ приходилось срыгивать отъ него вины дѣтей и вообще защищать ихъ отъ родительской грозы.

„Болѣе разнообразныя игры наши, продолжаетъ Андрей Михайловичъ, происходили въ деревнѣ, въ позднѣйшее уже время. Купленная нашими родителями въ 1831 году деревня находилась въ Тульской гу-

берніи, въ Капирскомъ уѣздѣ, въ 150 верстахъ отъ Москвы. Въ эту-то деревню каждою раннею весною матушка наша переселялась на цѣлое лѣто хозяйничать. Отецъ по служебнымъ обязанностямъ оставался въ Москвѣ, пріѣзжая только на нѣсколько дней въ срединѣ лѣта. Въ первые годы, когда еще старшіе братья не были въ пансіонѣ, мы всѣ сопутствовали матери, и проводили все лѣто въ деревнѣ. Поѣздка въ деревню для насъ, дѣтей, составляла эпоху, которой мы дожидались съ нетерпѣніемъ. Ѣздили обыкновенно на своихъ деревенскихъ же лошадяхъ, которыя нарочно пріѣзжали за нами съ крестьяниномъ Семеномъ Широкинымъ, слывшимъ за лучшаго наѣздника, любителя и знатока лошадей. Совершали эту поѣздку обыкновенно въ двое сутокъ, — на третьи. Во время поѣздки этихъ братья Федоръ бывалъ въ какомъ-то лихорадочномъ настроеніи. Онъ всегда избиралъ мѣсто сидѣнія на облучкѣ. Не бывало ни одной остановки, хотя бы на минуту, при которой братья не соскочили бы съ брички, не обѣгали бы близъ лежащей мѣстности, или не повертѣлись бы съ Семеномъ Широкинымъ около лошадей.

„При воспоминаніи объ этомъ не могу не сдѣлать отступленія. Нынѣшнимъ лѣтомъ мнѣ пришлось сдѣлать поѣздку на лошадяхъ изъ г. Рязани въ мѣстность отстоящую за 100 верстъ, вѣстѣ съ Анной Григорьевной Достоевскою и ея двумя дѣтьми, — моими племянниками. Племянникъ мой, маленькій Федя, до чрезвычайности похожій на отца, во все время путешествія живо напоминалъ мнѣ наши поѣздки полъ-вѣка тому назадъ; и я какъ бы въ фотографическомъ изображеніи видѣлъ въ сынѣ — изображеніе отца въ дѣтскомъ его возрастѣ“.

Самъ Ф. М. не разъ говорилъ, что сынъ напоминаетъ ему собственный его характеръ въ дѣтствѣ.

„Мѣстность въ нашей деревнѣ была очень пріятная и живописная, продолжаетъ А. М. Маленькій плетневый мазанковый домикъ, о трехъ комнатахъ, стоялъ въ липовой рошцѣ, довольно большой и тѣнистой. Рошца эта, чрезъ небольшое поле, примыкала къ березовому лѣсу, очень густому, и съ довольно мрачною и дикою мѣстностію, изрытою оврагами. Лѣсокъ этотъ назывался *Брыково* *). Мѣстность эта очень полюбила брату Федору, такъ что лѣсокъ этотъ въ семействѣ начали называть *Оединою рошцею*. Впрочемъ, матушка неохотно намъ дозволяла тамъ гулять, такъ какъ ходили слухи, что въ оврагахъ попадаются змѣи и забѣгаютъ даже волки“.

*) Название это, кажется, не одинъ разъ попадаетъ, замѣчаетъ А. М., въ произведеніяхъ покойнаго брата. Въ романѣ „Бѣсы“ мѣстность поединка Ставрогина и Гаганова названа этимъ именемъ.

Этимъ, вѣроятно, и объясняется тотъ волкъ, который однажды померещился Ф. М., какъ онъ о томъ вспоминаетъ въ „Дневникѣ Писателя“ въ разсказѣ о мужикѣ „Мареѣ“.

Андрей Михайловичъ подробно вспоминаетъ объ ихъ дѣтскихъ играхъ въ деревнѣ. „Братъ Ѳедоръ, говоритъ онъ, тогда уже читавшій, вѣроятно познакомился съ описаніями жизни дикарей. Игра въ „дикихъ“ была любимую его игрою. Она состояла въ томъ, что, выбравши мѣсто болѣе густое въ липовой рошѣ, мы строили тамъ шалашъ, и дѣлали его главнымъ пребываніемъ дикихъ племенъ. Раздѣвшись, мы росписывали себѣ тѣло красками, на манеръ татуировки; дѣлали себѣ поясныя и головныя украшенія изъ листьевъ и выкрашенныхъ гусиныхъ перьевъ, и, вооружившись самодѣльными луками и стрѣлами, производили воображаемые набѣги на Брыково. Конечно, братъ Ѳедоръ, какъ выдумавшій эту игру, былъ главнымъ предводителемъ племени. Братъ Михаилъ рѣдко участвовалъ непосредственно въ этой игрѣ, она была не въ его характерѣ; но онъ, какъ начинавшій въ то время рисовать и имѣвшій въ то время краски, былъ нашимъ костюмеромъ и размалевывалъ насъ. Особый интересъ въ этой игрѣ былъ тотъ, чтобы за нами, дикими, не было пристра старшихъ, и чтобы такимъ образомъ совершенно уединиться отъ всего обычнаго—не дикаго. Разъ, помню, что въ отличную сухую погоду, матушка, желая продлить нашу игру и наше удовольствіе, рѣшилась не звать насъ къ обѣду, и велѣла отнести дикарямъ обѣдъ на воздухъ, въ особой посудѣ, и поставить его гдѣ нибудь подъ кустомъ. Это доставило намъ большое удовольствіе, и мы поѣли, безъ помощи вилокъ и ножей, а просто руками, какъ и приличствовало дикимъ. Но когда мы преднамѣревались было провести и ночь въ дикомъ состояніи, — то этого намъ уже не дозволили.

„Другая игра, тоже выдуманная братомъ Ѳедоромъ, была въ „Робинзона“. Въ эту игру мы играли съ нимъ вдвоемъ, и конечно братъ былъ Робинзономъ, а мнѣ приходилось изображать Пятницу. Мы усиливались воспроизвести въ нашей липовой рошѣ всѣ тѣ лишенія, которыя испытывалъ Робинзонъ на необитаемомъ островѣ.

„Вспоминаю еще—не игру, а особую, совершенную нами процессію. За липовой рошей было кладбище и вблизи его стояла ветхая деревянная часовня, въ которой на полкахъ помѣщались иконы. Дверь въ эту часовню никогда не запиралась. Гуляя однажды въ сопровожденіи горничной, нанятой въ Москвѣ и жившей у насъ долго, очень разбитной, мы зашли въ эту часовню... и, долго не думая, подняли образа, и съ пѣніемъ различныхъ церковныхъ стиховъ и пѣсенъ, подъ предводительствомъ

сказанной горничной, начали обходъ по полю. „Андрей Михайловичъ называетъ эту продѣлку, которая удавалась имъ раза два-три, непрости- тельной. Но при ихъ религіозномъ воспитаніи, надо думать, это дѣ- лалось съ чистымъ сердцемъ, по крайней мѣрѣ, со стороны ихъ, дѣтей. Тѣмъ не менѣе имъ досталось за это порядкомъ, когда дѣло дошло до матери.

„Въ деревнѣ, продолжаетъ А. М., мы постоянно почти были на воз- духѣ, и исключая игръ, проводили цѣлые дни на поляхъ, присутствуя и приглядываясь къ труднымъ полевымъ работамъ. Всѣ крестьяне любили насъ очень, въ особенности брата Федора. — Онъ по своему живому ха- рактеру, — брался за все; то попросить водить лошадь съ бороной, то ногомять лошадь, идущую въ сохѣ и т. п. Любилъ онъ также вступать въ разговоры съ крестьянами, которые всегда охотно съ нимъ говорили; но верхомъ удовольствія его было исполнить какое-либо порученіе, или сдѣлать одолженіе, и быть чѣмъ нибудь полезнымъ. Я помню, что одна крестьянка, вышедшая на поле жать, вмѣстѣ съ маленькимъ ребенкомъ въ люлькѣ, пролила нечаянно жбанчикъ воды, и бѣднаго ребенка нечѣмъ было напоить. Братъ сейчасъ же взялъ жбанчикъ, сбѣгалъ въ деревню (версты 1¹/₂) за водою, и принесъ къ радости матери полный жбанъ воды. Онъ самъ зналъ, что его любили. Сцена, описанная имъ съ такою теплотою въ „Дневникѣ Писателя“, съ крестьяниномъ Мареемъ *), до- статочно рисуется эту любовь.

„Ижъніе наше состояло изъ двухъ небольшихъ деревенекъ, располо- женныхъ другъ отъ друга въ 1¹/₂ верстахъ; въ одной, а именно сельцѣ Даровое, мы жили, а другая называлась Чермашня **). Въ эту Чер- машню мы хаживали очень часто нѣшкомъ, а братъ Федоръ иногда ѣздилъ верхомъ. Онъ очень любилъ, когда матушка давала какое-либо порученіе, чтобы сообщить что-либо въ Чермашню, и всегда вызывался исполнить это порученіе.

„Въ заключеніе краткихъ своихъ воспоминаній о деревнѣ, я не могу не упомянуть о дурочкѣ Аграфенѣ. Въ деревнѣ у насъ была дурочка, не принадлежавшая ни къ какой семьѣ; она все время проводила шляясь

*) Крестьянинъ Марей — лицо дѣйствительно существовавшее; это былъ кра- сивый мужикъ, выше среднихъ лѣтъ (40—45), брюнетъ съ окладистой бородою, въ которую пробивалась уже сѣдина. Онъ считался въ деревнѣ большимъ зна- токомъ рогатаго скота, и когда приходилось покупать на ярмаркѣ коровъ, то всегда посылали Марей.

***) Названіе Чермашни встрѣчается въ послѣднемъ романѣ „Братья Кара- мазовы“. Такъ названо имѣніе старика Карамазова, куда онъ даетъ порученіе старшему своему сыну Ив. Фед., по поводу продажи лѣсной дачи.

по полямъ, и только въ сильные морозы зимой ее насильно приючивали къ какой-либо избѣ. Ей уже было тогда лѣтъ 20—25; говорила она очень мало, неохотно, непонятно и несвязно; можно было только понять, что она вспоминаетъ постоянно о ребенкѣ, похороненномъ на кладбищѣ. Читая въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ исторію Лизаветы Смердящей, я невольно вспоминалъ нашу дурочку Аграфену“.

Федоръ Михайловичъ и самъ подробно вспоминалъ о своемъ дѣтскомъ житѣ-бытѣ въ деревнѣ и о значеніи ея въ его жизни въ „Дневникѣ“ 1877 г. (Іюль—Августъ). Во время своего тогдашняго путешествія по Россіи, онъ нарочно сдѣлалъ „маленькій крюкъ—изъ Москвы полтораста верстъ въ сторону“. Деревня, принадлежавшая когда-то его родителямъ и давно уже перешедшая во владѣніе одной ихъ родственницы, „оставила въ немъ самое глубокое и сильное впечатлѣніе на всю потомъ жизнь“ и все въ ней „было полно для него самыми дорогими воспоминаніями“ *).

Тамъ-то, „еще въ этихъ“ мѣстахъ дѣтства, произошло его первое сближеніе съ народомъ—съ тою „правдой“, которую видитъ онъ въ чудесныхъ разсказахъ „о мученикахъ и подвижникахъ“ и съ которою онъ познакомился еще ранѣе—въ Москвѣ, чрезъ тѣхъ деревенскихъ людей, которыхъ, какъ видѣли мы, у нихъ бывало не мало. „Я самъ въ дѣтствѣ, вспоминаетъ онъ въ томъ же „Дневникѣ“, слышалъ такіе разказы прежде еще, чѣмъ научился читать. Слышалъ я потомъ эти разказы, прибавляетъ онъ, даже въ острогахъ у разбойниковъ и разбойники слушали и воздыхали. Эти разказы передаются не по книгамъ, а заучились изустно и они, говоритъ онъ, „остались у меня на сердцѣ“ **). Школой „народной правды“ могла ему послужить и та встрѣча съ „мужикомъ Мареемъ“, которая вспомнилась ему со всѣми подробностями двадцать лѣтъ спустя—въ Сибири, среди всѣхъ отталкивающихъ впечатлѣній острожной жизни.

О томъ, какъ однажды въ дѣтствѣ померещился ему выбѣжавшій изъ лѣса волкъ и какъ успокоивалъ его этотъ Марей, разсказываетъ онъ въ „Дневникѣ“ 1876 г. за февраль. „Конечно, всякій бы ободрилъ ребенка, говоритъ Достоевскій, но тутъ... случилось какъ бы что-то совсѣмъ другое, и еслибъ я былъ собственнымъ его сыномъ, онъ не могъ бы посмотреть на меня сіяющимъ болѣе свѣтлою любовью взглядомъ, а кто его заставлялъ? Былъ онъ собственный крѣпостной нашъ мужикъ, а я все же его барченокъ; никто бы не узналъ, какъ онъ ласкалъ меня, и не

*) Соч. т. XII, стр. 199.

***) Ibidem 76, 48.

наградила за то... Встрѣча была уединенная, въ пустомъ полѣ, и только Богъ, можетъ быть, видѣлъ сверху, какимъ глубокимъ и просвѣщеннымъ человѣческимъ чувствомъ, и какою тонкою, почти женственною въжностью можетъ быть наполнено сердце иного грубаго, звѣрски невѣжественнаго крѣпостнаго русскаго мужика, еще и не ждавшаго, не гадавшаго тогда о своей свободѣ^{*}). Такимъ же нагляднымъ проявленіемъ народной правды должна была послужить для девятилѣтняго Федора Михайловича и ихъ няня, Алена Фроловна, хотя, какъ она выражалась, и „гражданка“, но въ сущности принадлежавшая къ тому же „народу“. Когда, какъ разъ на Свѣтлой недѣлѣ, получено было въ Москвѣ извѣстіе, что вотчина Достоевскихъ сторѣла, — и родители Федора Михайловича, благочестивые по старинѣ, бросились на колѣни и стали молиться, — эта самая Алена Фроловна, обыкновенно не бравшая жалованья, чтобы дать ему накопиться, вдругъ шепнула матери своихъ питомцевъ: „Коли надо вамъ будетъ денегъ, такъ ужъ возьмите мои, а мнѣ что, мнѣ не надо“. Денегъ у нея не взяли, обошлись и безъ того, но, вспоминая объ этомъ въ апрѣльскомъ номерѣ „Дневника“ 1876 г., Достоевскій спрашивалъ: „какъ опредѣлить ея поступокъ? Явилась-ли она съ нимъ „лишь на степени стихійнаго существованія, замкнутого идиллическаго быта и пассивной жизни“, — или проявила что нибудь познергичнѣе пассивности? ...Мнѣ съ презрѣніемъ отвѣтить, что это единичный случай; но я и одинъ успѣлъ вотъ замѣтить въ жизни моей такихъ случаевъ многія сотни въ нашемъ простонародьи^{**}). И значительная часть изъ нихъ (сверхъ двухъ приведенныхъ), надо думать, была замѣчена имъ еще въ дѣтствѣ, когда ему всего болѣе представлялось случаевъ быть съ глаза на глазъ съ народомъ.

Живая школа народности со своею самородною человѣчностью служила для Достоевскаго лучшимъ восполненіемъ къ той книжной школѣ, которую прошелъ онъ сперва въ родительскомъ домѣ, потомъ въ учебныхъ заведеніяхъ. Послушаемъ подробный рассказъ объ этомъ Андрея Михайловича.

„Первоначальнымъ обученіемъ всѣхъ насъ такъ называемой грамотѣ, т. е. азбукѣ, говоритъ онъ, занималась наша матушка. Азбуку учили не по нынѣшнему: *а, б, в* и т. д., а выговаривали по старинному, т. е. *азъ, буки, вѣди...* и, дойдя до *ижицы*, всегда приговаривалась извѣстная присказка. Послѣ буквъ слѣдовали склады: двойные, тройные, четверные и чуть-ли не пятерные, въ родѣ тѣхъ, которые часто и выговаривать было

^{*}) „Дневникъ Писателя“ 1876 г., февраль. (Соч., т. XI).

^{**}) „Дневникъ Писателя“ 1876 г., апрѣль.

трудно. Когда премудрость эта уже постигалась, тогда приступали къ постепенному чтенію.—Конечно, я не помню, какъ учились азбукѣ старшіе братья, и эти воспоминанія относятся ко мнѣ лично. Но такъ какъ учительница была одна (наша мать) и даже руководство или азбука преемственно перешла отъ старшихъ ко мнѣ, то я имѣю основаніе предполагать, что и братья начинали ученіе тѣмъ же способомъ. Первою книгою для чтенія была у всѣхъ насъ одна. Это Священная Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта на русскомъ языкѣ (кажется переведенная съ нѣмецкаго сочиненія Гибнера). Она называлась собственно: „Сто четыре Священныхъ Исторій Ветхаго и Новаго Завѣта“. При ней было нѣсколько довольно плохихъ литографій съ изображеніемъ: сотворенія міра, пребыванія Адама и Евы въ раю, потопа и прочихъ главныхъ священныхъ фактовъ.—Помню, какъ въ недавнее уже время, а именно въ концѣ 70-хъ годовъ, я, разговаривая съ братомъ Ѳ. М. про наше дѣтство, упомянулъ объ этой книгѣ, и съ какимъ онъ восторгомъ объявилъ мнѣ, что ему удалось разыскать этотъ же самый экземпляръ книги (т. е. нашъ дѣтскій), и что онъ бережетъ ее какъ святыню.

„Какъ я начинаю себя помнить, я засталъ уже братьевъ умѣющими читать и писать и приготовляющимися къ поступленію въ пансіонъ. Домашнее ихъ пребываніе безъ выѣздовъ въ пансіонъ я помню непродолжительное время, годъ, много полтора.—Въ это время къ намъ ходили на домъ два учителя. Первый—это дьяконъ, преподававшій Законъ Божій.—Дьяконъ этотъ чуть-ли не служилъ въ Екатерининскомъ институтѣ, по крайней мѣрѣ навѣрное знаю, что онъ состоялъ тамъ учителемъ. Къ его приходу въ залѣ всегда раскидывался ломберный столъ, и мы четверо дѣтей помѣщались за этимъ столомъ, вмѣстѣ съ преподавателемъ. Матушка всегда садилась сбоку въ сторонѣ и занималась какой-нибудь работою. Многихъ впоследствии имѣлъ я законоучителей, но такого, какъ отецъ дьяконъ,—не припомню. Онъ имѣлъ отличный даръ слова, и весь урокъ, продолжавшійся по старинному часа 1½—2, проводилъ въ разсказахъ, или, какъ у насъ говорилось—въ толкованіи св. Писанія.—Вывало, придетъ, употребить нѣсколько минутъ на спросъ уроковъ, и сейчасъ же приступить къ разсказамъ. О потоцѣ, приключеніяхъ Іосифа, Рождествѣ Христовѣ онъ говорилъ особенно хорошо... такъ что, бывало, и матушка, прекративъ свою работу, начинаетъ не только слушать, но и глядѣть на воодушевляющагося преподавателя.—Положительно могу сказать, что онъ своими уроками и своими разсказами умилялъ наши дѣтскія сердца. Очень жалѣю, что я не помню ни имени, ни фамиліи этого почтеннаго преподавателя; мы просто звали его отцемъ дьякономъ. Но,

не смотря на все это, уроки онъ требовалъ заучивать буквально по руководству, не выпуская ни одного слова. Руководствомъ же служили извѣстные „Начатки“ митрополита Филарета, начинающіеся такъ: „Единъ Богъ, во святой Троицѣ поклоняемый, есть вѣченъ, то есть не имѣетъ ни начала, ни конца Своего бытія, но всегда былъ, есть и будетъ“... Это скорѣе философское сочиненіе, нежели руководство для дѣтей.

„Другой учитель, ходившій къ намъ въ это время, былъ Николай Ивановичъ Сушардъ; онъ былъ преподавателемъ французскаго языка въ Екатерининскомъ институтѣ и ходилъ къ намъ давать уроки того же языка. Не смотря на свое иностранное происхожденіе, онъ горячо желалъ сдѣлаться чисто русскимъ. — Я помню рассказъ отца, что въ одно изъ посѣщеній института императоромъ Николаемъ, Н. И. Сушардъ просилъ у государя, какъ милости, позволенія, вывернувъ свою фамилію, прибавить къ ней окончаніе *овъ*, что ему и было дозволено, вслѣдствіе чего онъ впоследствии и назывался Драшусовъ. (Сушардъ-Драшусъ-Драшус—овъ).

„Время для старшихъ братьевъ начало подходить такое, что по возрасту ихъ пора уже было отдать куда-либо въ пансіонъ съ гимназическимъ курсомъ, а одного чтенія и письма, Закона Божія и французскаго языка — было далеко недостаточно. Для подготовленія къ такому пансіону, двухъ старшихъ братьевъ отдали на полупансіонъ къ тому же Н. И. Драшусову, куда они ѣздили въ продолженіе цѣлаго года или даже болѣе, ежедневно по утрамъ, и возвращались къ обѣду. — У Драшусова былъ маленькій пансіонъ для приходящихъ; онъ самъ занимался французскимъ языкомъ, два взрослыхъ сына его занимались преподаваніемъ математики и словесныхъ предметовъ, и даже жена его Евгенія Петровна, кажется, что-то преподавала. Но въ этомъ скромномъ пансіонѣ некому было заниматься латинскимъ языкомъ, а потому подготовленіе братьевъ по этому предмету принялъ на себя самъ отецъ. Помню даже утро, въ которое онъ, ѣздивши на практику, купилъ латинскую грамматику Бантышева и отдалъ ее братьямъ. И вотъ, съ этого времени каждый вечеръ отецъ началъ заниматься съ братьями латынью. Разница между отцомъ-учителемъ и посторонними учителями, ходившими къ намъ, была та, что у послѣднихъ ученики сидѣли въ продолженіе всего урока; у отца же братья, занимаясь нерѣдко по часу и болѣе, не смѣли не только сѣсть, но даже и облокотиться на столъ. Стоять, бывало, какъ истуканчики, склоня по очереди *mensa, mensae...* или спрягая *amo, amas, amat...* Братья очень боялись этихъ уроковъ, происходившихъ всегда по вечерамъ. Отецъ, при всей своей добротѣ, былъ чрезвычайно взыскателенъ и нетерпѣливъ; а

главное очень вспыльчивъ“. (По воспоминапіямъ нѣкоторыхъ родственниковъ, онъ былъ человекъ угрюмый, нервный, подозрительный). „Бывало, чуть какой либо со стороны братьевъ промахъ, — такъ сейчасъ и разразится крикъ. Замѣчу тутъ кстати, что не смотря на вспыльчивость отца, въ семействѣ нашемъ принято было обходиться съ дѣтми очень гуманно, и не смотря на извѣстную присказку къ ижицѣ, насъ не только не наказывали тѣлесно, — никогда и никого, но даже я не помню, чтобы когда либо старшихъ братьевъ ставили на колѣни или въ уголъ. Главнѣйшимъ наказаніемъ для насъ было то, что отецъ вспылить. Такъ и при латинскихъ урокахъ: при малѣйшемъ промахѣ со стороны братьевъ, отецъ разсердится, обзоветъ ихъ лѣтнями, тупицами, въ крайнихъ же случаяхъ даже броситъ занятіе, недокончивъ урока, что считалось уже хуже всякаго наказанія.

„Вѣроятно, это гуманное отношеніе къ намъ, дѣтямъ, со стороны родителей и было поводомъ къ тому, что при жизни своей они не рѣшались помѣстить насъ въ гимназію, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназіи не пользовались въ то время хорошею репутаціею и въ нихъ существовало обычное и заурядное, за всякую малѣйшую провинность, наказаніе тѣлесное. Вслѣдствіе чего и были предпочтены частные пансіоны. Когда подготовленіе братьевъ было окончено, то они поступили въ пансіонъ Леонтія Ивановича Чермака, съ начала учебнаго курса 1834 года.

„Пансіонъ Л. И. Чермака былъ однимъ изъ старинныхъ частныхъ учебныхъ заведеній въ Москвѣ, по крайней мѣрѣ въ то уже время онъ существовалъ болѣе 20 лѣтъ. Помѣщался онъ на Новой Басманной, въ домѣ бывшемъ княгини Касаткиной (нынѣ Алексѣева), возлѣ Басманной полицейской части. Я не былъ одновременно съ братьями въ этомъ пансіонѣ; но, поступивъ въ него вслѣдъ за братьями, т. е. въ 1837 году, и пробывъ въ немъ болѣе трехъ лѣтъ, я въ правѣ сказать нѣсколько словъ объ этомъ пансіонѣ, гдѣ и братъ провелъ около трехъ лѣтъ. Въ заведеніе это принимались дѣти болѣею частію на полный пансіонъ, т. е. находились тамъ въ теченіи цѣлой недѣли, возвращаясь домой (если было куда) на время праздниковъ.

„Подборъ хорошихъ преподавателей и строгое наблюденіе за исправнымъ и своевременнымъ приходомъ ихъ, и въ то же время — присутствіе характера семейственности, напоминающаго дѣтямъ хотя отчасти ихъ домъ и домашнюю жизнь, — вотъ по моему идеалъ закрытаго воспитательнаго заведенія. Пансіонъ Л. И. Чермака былъ близокъ къ этому идеалу. Говорю только „близокъ“, потому что совершенства нѣтъ ни въ чемъ.

Преподавателями въ пансіонѣ избирались только лица, зарекомендованныя казенными инспекторами, а въ послѣднее время, въ высшемъ классѣ, преподавали даже профессора университета, напр. Дм. Матв. Перевощиковъ по математикѣ, И. И. Давыдовъ по словесности и другіе. Уроки начинались ежедневно въ 8 час. утра въ слѣдующемъ порядкѣ: 1-й) отъ 8 до 10 час., 2-й) отъ 10 до 12 час. Послѣ этого урока слѣдовалъ обѣдъ. Послѣобѣденные классы были: 3-й) отъ 2 до 4 час. и 4-й) отъ 4 до 6 час. Далѣе слѣдовалъ чай и время для приготовленія уроковъ. Въ 9 часовъ былъ ужинъ, послѣ котораго все шли въ спальню. Самъ Л. И., человекъ уже преклонныхъ лѣтъ, былъ мало или совсемъ не образованъ, но имѣлъ тотъ талантъ, котораго часто не достаетъ и директорамъ казенныхъ учебныхъ заведеній. Въ началѣ каждаго урока онъ обходилъ все классы, и ежели заставалъ классъ безъ преподавателя, то оставался въ немъ до прихода запоздаващаго учителя, котораго и встрѣчалъ съ добрейшей улыбкой, одною рукою здоровался съ нимъ, а другою вынималъ часы, какъ бы для справки. При такихъ порядкахъ трудно было и манкировать! Но, главное, нашъ старикъ былъ человекъ съ душою. Онъ входилъ самъ въ мельчайшія подробности нуждъ вѣрренныхъ ему дѣтей, въ особенности тѣхъ, у которыхъ не было въ Москвѣ родителей или родственниковъ и которые жили у него безвыходно. Отличныхъ по успѣхамъ учениковъ, т. е. каждаго, получившаго четыре балла (пятичная система балловъ тогда еще не существовала), онъ очень серьезно зазывалъ къ себѣ въ кабинетъ и тамъ вручалъ ему маленькую конфетку. Случалось иногда, что подобныя награды давались и ученикамъ старшихъ классовъ, но никогда ни одинъ изъ нихъ не принималъ этого съ насмѣшкой. Ежели кто въ пансіонѣ заболѣвалъ, Чермакъ мгновенно посылалъ его внизъ къ своей женѣ, говоря „иди къ Августѣ Францовнѣ“. Она сейчасъ уложитъ заболѣващаго и приметъ первыя домашнія мѣры, а затѣмъ пошлетъ за годовымъ докторомъ, которымъ въ то время былъ Вас. Вас. Трейтеръ.

„Пища была приличная. Самъ Леонтій Ивановичъ и его семейство (мужскаго пола) постоянно имѣли столъ общій съ учениками. По праздникамъ же, вслѣдствіе небольшого количества остававшихся пансіонеровъ, и весь женскій персоналъ его семейства обѣдалъ за общимъ пансіонскимъ столомъ. Чермакъ содержалъ свой почти образцовый пансіонъ болѣе чѣмъ 25 лѣтъ; ученики изъ его пансіона были лучшими студентами въ университетѣ, и въ заведеніи его получили начальное воспитаніе люди, сдѣлавшіея впоследствии видными общественными дѣятелями. Помимо Ө. М. Достоевскаго и М. М. Достоевскаго я могу указать на Гу-

бера, Генпади“. Самъ Ф. М. указывалъ на то, что съ нимъ вмѣстѣ учились въ пансіонѣ Чермака Шумахеръ, сынъ профессора Каченовскаго и Мюльгаузенъ (бывшій потомъ ректоромъ Московскаго университета).

„Я слышалъ впоследствии, что Л. И. Чермакъ въ концѣ 40-хъ годовъ принужденъ былъ закрыть свой пансіонъ и умеръ въ большой бѣдности. Если разсматривать это обстоятельство съ коммерческой точки зрѣнія, то Чермака нельзя отнести ни къ неосторожнымъ, ни къ несчастнымъ банкротамъ. Можно сказать, что всѣ могущія быть сбереженія (а они могли быть значительны) Л. И. Чермакъ принесъ въ даръ московскому юношеству!

„Итакъ, съ 1834 года старшіе братья начали ѣздить на цѣлую недѣлю въ пансіонъ. Старшая сестра тоже была отдана около этого времени въ пансіонъ. Родителями рѣшено было, чтобы братья и сестра мои по праздникамъ раздѣляли между собою труды по обученію меня различнымъ предметамъ. На долю старшаго брата Михаила отецъ отнесъ арифметику и географію; на долю брата Федора пали исторія и русскій языкъ, а сестрѣ поручено было заниматься французскимъ и нѣмецкимъ языками. Учительскія отношенія ко мнѣ братьевъ и сестры нисколько не измѣнили нашихъ братскихъ, доселѣ существовавшихъ отношеній. Въ субботу съ утра чувствовалось уже прибытіе всей семьи подъ родной кровъ. И родители дѣлались нѣсколько веселѣе, и къ столу приготавлилось кое-что лишнее, однимъ словомъ, пахло чѣмъ-то праздничнымъ. Въ этотъ день и неизмѣняемое время обѣда (12 час.) по неволѣ измѣнялось. Покуда лошади поѣдутъ съ Вожедомки на Васманную, покуда соберутся братья и пріѣдутъ, проходитъ добрыхъ 1¹/₂—2 часа, такъ что обѣдъ подавался въ этотъ день къ двумъ часамъ. За сестрой ѣздили большею частію по вечерамъ, уже въ сумерки. Но вотъ пріѣхали братья, не успѣли поздороваться, какъ и горячее на столѣ; садимся обѣдать, и тутъ же, не удовлетворивши перваго аппетита, братья начинаютъ рассказывать о всемъ случившемся впродолженіи недѣли. Вопервыхъ, отапортуютъ правдиво о всѣхъ полученныхъ впродолженіи недѣли по различнымъ предметамъ баллахъ, а потомъ и начнутся рассказы про учителей, про различныхъ дѣтскія, а иногда и не совсѣмъ приличныя шалости товарищей. За рассказами и разговорами, и обѣдъ въ этотъ день продолжался гораздо долѣе. Родители самодовольно слушали и молчали, давая высказаться пріѣзжимъ. Можно сказать, что откровенность въ рассказахъ была полная. Вспоминаю, что отецъ ни разу не давалъ наставленій сыновьямъ. При рассказахъ о различныхъ шалостяхъ, случавшихся въ классѣ, отецъ только приговаривалъ: „ишь шалунъ, ишь разбойникъ, ишь негодяй“...

и т. п. смотря по степени шалости; но ни разу не говаривалъ: „смотрите, не поступайте-де и вы такъ!“ Этимъ давалось, кажется, знать, что отецъ и ожидать не можетъ отъ нихъ подобныхъ шалостей. Пообщавъ и поговоривъ еще нѣсколько, братья садились за свои ломберные столы и предавались чтенію. Помню, я рѣдко видалъ, чтобы по субботамъ и воскресеньямъ братья занимались приготовленіемъ уроковъ, и привозили съ собою учебники. Зато книгъ для чтенія привозилось достаточно, такъ что братья постоянно проводили домашнее время за чтеніемъ. Въ послѣднюю пору, т. е. около 1836 года, братья съ особеннымъ воодушевленіемъ рассказывали про своего учителя русскаго языка, который просто сдѣлался ихъ идоломъ, такъ какъ на каждомъ шагѣ былъ ими воспоминаемъ. Вѣроятно это былъ преподаватель не заурядный, а въ родѣ нашего почтеннаго отца дьякона; братья отзывались объ немъ не только какъ хорошему учителю, но въ нѣкоторомъ отношеніи какъ о джентльменѣ. Очень жаль, что я не помню теперь его фамиліи; но въ мое время учителя этого, кажется, не было уже и въ высшихъ классахъ.

„Выше я упомянулъ о семейныхъ чтеніяхъ, происходившихъ въ гостиной. Чтенія эти существовали, кажется, постоянно въ кругу родителей. Читали попеременно вслухъ или отецъ или мать; я помню, что при чтеніяхъ этихъ всегда находились и старшіе братья, еще до поступленія ихъ въ пансіонъ. Впослѣдствіи и они сами читали вслухъ, когда устанавливали родители. Читались по преимуществу произведенія историческія: „Исторія Государства Россійскаго“ Карамзина (у насъ былъ свой экземпляръ) и чаще всего 11-й и 12-й томы, „Біографія Ломоносова“, Ксеноф. Полеваго и проч. Изъ чисто литературныхъ произведеній помню читали Державина (въ особенности оду „Богъ“), Жуковскаго — переводную прозу, повѣсти Карамзина: „Вѣдную Лизу“ и „Марю Посадницу“, а также и „Письма русскаго путешественника“; изъ Пушкина, — преимущественно повѣсти. Впослѣдствіи начали читать и романы: „Юрій Милославскій“, „Ледяной Домъ“, „Стрѣльцы“ и сентиментальный романъ „Семейство Холмскихъ“; читались также и сказки Казака Луганскаго“.

По собственнымъ словамъ Ф. М., онъ очень любилъ читать путешествія и подъ вліяніемъ такого чтенія пламенною мечтою его сдѣлалось посѣтить Венецію, Константинополь и вообще востокъ, сильно занимавшій его воображеніе.

„Старшіе братья, продолжаетъ свои воспоминанія Андрей Михайловичъ, читали во всякое свободное время. Въ рукахъ брата Федора я чаще всего видалъ Вальтеръ-Скотта—Квентина Дорварда и Ваверлеа; у насъ были собственные экземпляры, и вотъ ихъ-то онъ перечитывалъ не одно-

кратно, не смотря на тяжелый и старинный переводъ. Такому же чтенію и перечитыванію подвергались и всѣ произведенія Пушкина. Любилъ также братъ Федоръ повѣсти Нарѣзнаго, изъ которыхъ „Бурсака“ перечитывалъ неоднократно. Не помню навѣрное, читалъ-ли онъ тогда что-либо изъ Гоголя, а потому не могу объ этомъ и говорить. Помню также, что онъ съ большимъ удовольствіемъ прочелъ романъ Вельтмана „Сердце и Думка“. Исторія же Карамзина была его настольною книгою, и онъ читалъ ее всегда, когда не было чего-либо новенькаго. Появлялись въ нашемъ домѣ и книжки издававшейся въ то время „Библіотеки для Чтенія“. Какъ теперь помню эти книжки, мѣнявшія ежемѣсячно цвѣтъ своихъ обложекъ, на которыхъ изображался загнутый уголокъ съ именами литераторовъ, участвовавшихъ въ изданіи. Эти книги уже были исключительнымъ достояніемъ братьевъ. Родители ихъ не читали. Я потому обозначилъ названія нѣкоторыхъ литературныхъ произведеній, которыя читалъ тогда братъ, что съ названіями этими, а равно и съ именами ихъ авторовъ я, еще бывши ребенкомъ, познакомился исключительно со словъ брата. Вообще братъ Федоръ любилъ болѣе чтеніе серьезное, въ отличіе отъ брата Михаила, который любилъ поэзію и самъ пописывалъ стихи, бывши въ старшихъ классахъ пансіона (чѣмъ братъ Федоръ не занимался). Но на Пушкинѣ они мирились, и оба, кажется, и тогда чуть не всего знади наизусть *). Надо припомнить, что Пушкинъ тогда былъ еще современникъ; объ немъ, какъ о современномъ поэтѣ, мало говорилось еще съ кафедръ; произведенія его еще не заучивались наизусть по требованію преподавателей. Авторитетность Пушкина, какъ поэта, была тогда менѣе авторитетности Жуковскаго, даже между преподавателями словесности, — она была менѣе и во мнѣніи нашихъ родителей, что вызывало неоднократно горячіе протесты со стороны братьевъ, въ особенности брата Федора. Помню, что братья какъ-то одновременно выучили наизусть два стихотворенія: старшій братъ „Графа Габсбургскаго“, а братъ Федоръ, какъ бы въ параллель тому, „Смерть Олега“. Когда эти стихотворенія были произнесены ими въ присутствіи родителей, — то предпочтеніе было отдано первому, вѣроятно вслѣдствіе болѣе авторитетности сочинителя. Матушка наша очень полюбила два эти произведенія, и часто просила братьевъ произносить ихъ; помню, что даже во время своей болѣзни, уже лежа въ постели (она умерла чахоткой), она съ удовольствіемъ прислушивалась къ нимъ.

*) Конечно, только то, что попадалось имъ въ руки, такъ какъ полнаго собранія его сочиненій тогда еще не было.

„Не могу не припомнить здѣсь одного случившагося у насъ эпизода. Изъ товарищей къ братьямъ не ходилъ никто. Разъ только къ старшему брату прѣзжалъ изъ пансіона нѣкто Кудрявцевъ. Брату позволено было отдать ему визитъ, но тѣмъ знакомство и кончилось. Зато въ домъ нашъ былъ вхожъ одинъ мальчишъ *), сынъ знакомой нашихъ родителей. Онъ учился въ гимназій и былъ нѣсколько старше моихъ братьевъ. Этому-то гимназисту удалось гдѣ-то достать ходившую тогда въ рукописи сатиру Воейкова „Домъ Сумасшедшихъ“ и заучить на память. Со словъ его братья тоже выучили эту сатиру и сказали ее въ присутствіи отца. Отецъ остался очень не доволенъ и высказалъ предположеніе, что это вѣроятно измышленія и продѣлки гимназистовъ; но когда его увѣрили, что это сочиненіе Воейкова, то онъ всетаки высказалъ, что оно не прилично, потому что въ немъ помѣщены дерзкія выраженія противъ извѣстныхъ литераторовъ, а въ особенности противъ Жуковскаго. По рассказамъ того же гимназиста мы познакомились со сказкою Ершова „Конекъ Горбунокъ“ и всѣ выучили ее наизусть“.

Если, за исключеніемъ Ванюшки Уминова, — впрочемъ и не товарища Достоевскихъ по пансіону — никто не ходилъ къ нимъ изъ сверстниковъ, то это, вѣроятно, происходило отъ строгой разборчивости и мнительности родителей, особенно отца, въ такомъ дѣлѣ, какъ выборъ пріятелей. Самъ О. М. рассказывалъ, что онъ постоянно стремился имѣть ихъ, по это ему не давалось вслѣдствіе крайней его обидчивости. Его деликатное сердце не выносило тѣхъ подчасъ грубыхъ шутокъ и насмѣшекъ, съ какими, какъ бытъ водится, обращались къ нему товарищи. Зато, какъ вспоминаетъ одинъ изъ его одноклассниковъ, онъ любилъ защищать и другихъ — особенно новичковъ — отъ придирокъ и насильственнаго обращенія съ ними старшихъ учениковъ, столь обычнаго во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ.

„Отецъ нашъ, продолжаетъ Андрей Михайловичъ, былъ чрезвычайно внимателенъ въ наблюденіи за нравственностью дѣтей, и въ особенности относительно старшихъ братьевъ, когда они сдѣлались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда-бы братья вышли куда нибудь одни; это считалось отцомъ за неприличное, между тѣмъ какъ къ концу пребыванія братьевъ въ родительскомъ домѣ старшему было почти уже 17 лѣтъ, а брату Федору почти 16-ть. Въ пансіонъ они всегда ѣздили на своихъ лошадяхъ, и точно также и возвращались. Родители наши были отнюдь не скупны, — скорѣе даже тароваты; — но, вѣроятно, по тогдашнимъ понятіямъ считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имѣли свои

*) Ванюшка Уминовъ.

хотя маленькія карманныя деньги. — Я не помню, чтобы братья имѣли въ своемъ распоряженіи хотя нѣсколько мелкихъ монетъ, и вѣроятно они ознакомились съ деньгами только тогда, когда отецъ оставилъ ихъ въ Петербургѣ. Я упоминалъ выше, что отецъ не любилъ дѣлать правоученій и наставленій; но у него была одна, какъ мнѣ кажется теперь, слабая сторона. Онъ очень часто повторялъ, что онъ человекъ бѣдный, что дѣти его, въ особенности мальчики, должны готовиться пробывать себѣ сами дорогу, что со смертію его они останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину! — Я припоминаю еще и другія слова отца, которыя служили не правоученіемъ, а скорѣе остановкою и предостереженіемъ. Я уже говорилъ неоднократно, что братъ Федоръ былъ слишкомъ горячъ, энергично отстаивалъ свои убѣжденія, и вообще былъ довольно рѣзокъ на слова. При такихъ проявленіяхъ со стороны брата отецъ неоднократно говаривалъ: „Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебѣ... быть тебѣ подъ красной шапкой!“

„У насъ въ больницѣ былъ священникъ отецъ Іоаннъ Баршевъ, — почтенный старичокъ и общій нашъ духовникъ. У этого священника были два уже взрослые сына: Сергѣй Ивановичъ и Яковъ Ивановичъ, извѣстные впоследствии профессора-юристы. Послѣ поѣздки, на казенный счетъ, за границу, молодые люди эти возвратились къ своему отцу и посѣтили и нашихъ родителей. Отецъ нашъ часто говаривалъ: „вотъ, ежели-бы и мнѣ дожидаться, когда мои сыновья такъ отличатся!“

„Не могу не упомянуть о томъ мнѣніи, какое братъ Ф. М. высказалъ мнѣ о нашихъ родителяхъ. Это было не такъ давно, а именно въ концѣ 70-хъ годовъ. Я какъ-то разговорился съ нимъ о нашемъ давно прошедшемъ и упомянулъ объ отцѣ. Братъ мгновенно воодушевился, схватилъ меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда онъ говорилъ по душѣ), и горячо высказалъ: „Да знаешь-ли, братъ, вѣдь это были люди передовые, и въ настоящую минуту они были бы передовыми!... А ужъ такими семьянами, такими отцами... намъ съ тобою не быть, братъ!“

„Наступила зима 1836—1837 года. Еще съ осени наша мать слегла въ постель съ тѣмъ, чтобы болѣе съ нею не вставать! Это было самое горькое время въ дѣтскій періодъ нашей жизни; мы готовились ежеминутно потерять мать! Не смотря на помощь многихъ врачей и тогдашнихъ знаменитостей, которые поспѣшили протянуть руку помощи своему собрату, исходъ былъ неизбѣженъ, и мы лишились матери 27-го февраля 1837 года.

„Спустя нѣсколько времени послѣ смерти матушки, отецъ нашъ началъ

серьезно подумывать о поѣздѣ въ Петербургъ (въ которомъ ни разу еще не бывалъ), чтобы отвезти туда двухъ старшихъ сыновей для помѣщенія ихъ въ Инженерное училище.

„Надо сказать, что гораздо еще ранѣе отецъ чрезъ посредство главнаго доктора Маріинской больницы, Алек. Андр. Рихтера, подавалъ докладную записку Вилламову о принятіи братьевъ въ училище на казенный счетъ. Отвѣтъ Вилламова, очень благопріятный, былъ полученъ еще при жизни матери, и тогда же была рѣшена поѣздка въ Петербургъ“.

По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ Аннѣ Григорьевнѣ въ Москвѣ, теткой юношей Достоевскихъ, А. Θ. Куманина, которую очень любилъ Ф. М. какъ и ея почтеннаго мужа, свозила ихъ передъ этимъ на богомолье къ Сергію, они же всю дорогу читали и декламировали ей стихи.

Между тѣмъ, не стало того поэта, котораго оба они такъ страстно любили—и любили самостоятельно, а не по примѣру старшихъ.

„Не знаю, говоритъ Андрей Михайловичъ, вслѣдствіе какихъ причинъ, извѣстіе о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже послѣ похоронъ матушки. Вѣроятно наше собственное горе и сидѣніе всего семейства постоянно дома было причиною этому. Помню, что братья чуть съума не сходили, услышавъ объ этой смерти и о всѣхъ подробностяхъ ея. Братъ Федоръ въ разговорахъ съ старшимъ братомъ нѣсколько разъ повторялъ, что ежели бы у насъ не было семейнаго траура, то онъ просилъ бы позволенія отца носить трауръ по Пушкинѣ. Конечно, до насъ не дошло еще тогда стихотвореніе Лермонтова на смерть Пушкина, но братья гдѣ-то достали другое стихотвореніе, неизвѣстнаго мнѣ автора. Они такъ часто произносили его *), что я его помню и теперь спустя 45 лѣтъ. Вотъ оно:

Нѣтъ поэта, рокъ свершился,
Опустѣлъ родной Парнассъ!
Пушкинъ умеръ, Пушкинъ скрылся
И на вѣкъ покинулъ насъ.

Съверь, съверь, гдѣ твой геній?
Гдѣ пѣвецъ твоихъ чудесъ?
Гдѣ виновникъ наслажденій?
Гдѣ нашъ Пушкинъ?—Онъ исчезъ!

Да, исчезъ онъ, духъ могучій,
И землѣ онъ измѣнилъ!
Онъ вознесся выше тучей,
Онъ взлетѣлъ туда, гдѣ жилъ!

*) Вѣроятно за неизмѣнимъ подъ руками лучшаго. *Пр. О. М.*

„Поѣздка отца съ братьями въ Петербургъ чуть было не замедлилась, потому что братъ Федоръ заболѣлъ. У него безъ всякаго видимаго повода открылась горловая болѣзнь и онъ потерялъ голосъ, такъ что съ большимъ напряженіемъ говорилъ шепотомъ и его трудно было слышать *). Болѣзнь была такъ упорна, что не поддавалась никакому леченію. Испытавъ всѣ средства и не видя пользы, отецъ, — самъ строгій аллопаты, рѣшился испытать, по совѣту другихъ, гомеопатію. И вотъ братъ Федоръ былъ почти отдѣленъ отъ семейной жизни и даже обѣдалъ за отдѣльнымъ столомъ, чтобы не обонять запаха отъ кушанья, подаваемого намъ — здоровымъ. Впрочемъ и гомеопатія не приносила видимой пользы: то дѣлалось лучше, то опять хуже. Наконецъ посторонніе доктора посоветовали отцу пуститься въ путь, не дожидаясь полного выздоровленія брата, предполагая, что путешествіе въ хорошее время года должно помочь больному. Такъ и случилось. Но только мнѣ кажется, что у брата Ф. М. остались на всю его жизнь слѣды этой болѣзни. Кто помнитъ его голосъ и манеру говорить, тотъ согласится, что голосъ его былъ не совсѣмъ естественный, — болѣе грудной, нежели бы слѣдовало.

„Отецъ, по возвращеніи своемъ изъ Петербурга, намѣревался совсѣмъ переселиться въ деревню (онъ подалъ уже въ отставку), а потому до поѣздки въ Петербургъ желалъ поставить памятникъ на могилѣ нашей матери. Избраніе надписи на памятникѣ отецъ предоставилъ братьямъ. Они оба рѣшили, чтобы было только обозначено имя, фамилія, день рожденія и смерти. На заднюю же сторону памятника выбрали надпись изъ Карамзина: „Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра“. И эта прекрасная надпись была исполнена.

„Наконецъ наступилъ день отъѣзда. Отецъ Іоаннъ Баршевъ отслужилъ напутственный молебенъ и путешественники, усѣвшись въ кибитку, двинулись въ путь (ѣхали на сдаточныхъ), объ которомъ хотя и мелькомъ, но такъ поэтично упомянулъ братъ Ф. М. 40 лѣтъ спустя въ одномъ изъ номеровъ „Дневника Писателя“.

Извѣстно, что это было въ январскомъ номерѣ „Дневника“ 1876 г. „Мы съ братомъ, говоритъ Федоръ Михайловичъ, стремились тогда въ новую жизнь... Мы вѣрили чему-то страстно и хотя мы оба отлично знали все, что требовалось къ экзамену изъ математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтахъ. Братъ писалъ стихи, каждый день стихотворенія по три, и даже дорогой, а я непрерывно въ умѣ сочинялъ романъ изъ венеціанской жизни. Тогда, всего два мѣсяца передъ тѣмъ, скончался Пуш-

*) Не была ли тутъ простуда отъ декламации по дорогѣ къ Сергію? *Пр. О. М.*

книгъ, и ни дорогой сговаривались съ братомъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, тотчасъ же сходить на мѣсто поединка и пробраться въ бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидѣть ту комнату, въ которой онъ испустилъ духъ“.

Вдругъ, среди столь высокаго настроенія, на одной станціи имъ представилась такого рода картина: здоровенный фельдъегерь понукалъ что есть силы громаднымъ своимъ кулакомъ ящика, парня лѣтъ двадцати, а тотъ зато волей-неволей давалъ себя знать лошадямъ. „Тутъ, вспоминалъ въ 1876 г. Достоевскій, каждый ударъ по скоту, такъ сказать, самъ собою выскакивалъ изъ cadaго удара по человѣку. Въ концѣ сороковыхъ годовъ, въ эпоху моихъ самыхъ беззабѣтныхъ и страстныхъ мечтаній, мнѣ пришла вдругъ однажды въ голову мысль, что еслибъ случилось мнѣ когда основать филантропическое общество, то я непременно далъ бы вырѣзать эту курьерскую тройку на печати общества, какъ эмблему и указаніе“.

Но именно при такой „эмблемѣ и указаніи“, при этой особаго рода начальнической школѣ, доставшейся на долю простому русскому человѣку, гдѣмъ болѣе, конечно, цѣны получали для Достоевскаго не заглушіе, не смотря ни на что, въ народѣ слѣды живой христіанской правды. Оставленные отцомъ въ Петербургѣ въ приготовительномъ пансіонѣ Коронада Филипповича Костомарова, оба брата писали отцу отъ 23-го іюля: „всепитатель надѣется на насъ болѣе, чѣмъ на всѣхъ восьмерныхъ, которые у него приготовляются. Скоро мы начнемъ учиться фронту, сообщали они; на фронтѣ чрезвычайно смотрять и хотъ знать все превосходно, то за фронтомъ можно попасть въ низшіе классы. И при томъ этииъ однихъ мы можемъ выиграть у его высочества Михаила Павловича“. Озабоченные своими дѣлами, они не забываютъ, однако же, напомнить чрезъ отца „сестрѣ Варенькѣ“, чтобы она помнила данное имъ обѣщаніе прочитывать исторію Карамзина. „Что касается до Андрюши, говорится далѣе, то навѣрное онъ и среди удовольствій деревни не позабываетъ исторіи, которую онъ бывало и частенько мнѣ плохо зналъ“. Что мѣстоименіе *мы* относится къ Федору Михайловичу, это ясно изъ вышеприведенныхъ словъ Андрея Михайловича, что исторію занимался съ нимъ Федоръ Михайловичъ. Шестаго сентября братья писали отцу: „всѣхъ кандидатовъ 43... прошлаго года было сто двадцать, а третьаго года 150 и болѣе. И ученики Костомарова всегда были изъ первыхъ“. Уже въ первомъ письмѣ упомянуто о старомъ товарищѣ ихъ по пансіону Чермака, Шидловскомъ, имя котораго часто намъ будетъ встрѣчаться въ письмахъ Федора Михайловича. Отецъ, очевидно, интересовался этимъ хорошо зна-

комымъ и ему молодымъ человѣкомъ. Вотъ братья и сообщаютъ ему, что они только что провели съ нимъ часъ въ Казанскомъ соборѣ. „Намъ это хотѣлось давно, поясняютъ они, особенно передъ экзаменомъ“.

Отправляя обоихъ сыновей въ Инженерное училище, Достоевскій отецъ, какъ слышалъ д-ръ Ризенкампфъ, разсчитывалъ между прочимъ и на своего родственника, генер.-лейтенанта Кривопишина, занимавшаго вліятельную должность въ Инспекторскомъ департаментѣ. Но медицинское свидѣтельство главнаго доктора Инженернаго училища, Волькенау, признавшаго совершенно здороваго старшаго брата — чахоточнымъ, а болѣзненнаго младшаго — здоровымъ, разстроило планы отца. Михаилъ Михайловичъ не былъ принятъ и въ іюні 1838 года отправился въ Ревель для поступленія кондукторомъ въ тамошнюю инженерную команду. Такимъ образомъ, Федору Михайловичу совершенно неожиданно пришлось разлучиться съ братомъ. Чрезъ это собственное его поступленіе въ Инженерное училище могло порадовать его только въ томъ отношеніи, что этимъ по крайней мѣрѣ на половину исполнялось желаніе отца. Само по себѣ это заведеніе — съ математикой, черчениемъ и выправкой — не могло представляться привлекательнымъ для того, кто бредилъ поэзіей. Предназначая своихъ дѣтей въ это заведеніе, Достоевскій отецъ руководился, конечно, понятными при небогатомъ его состояніи разсчетами на выгодную карьеру. Но не слѣдуетъ забывать при этомъ, что Инженерное училище видимо выдѣлялось въ научномъ отношеніи изъ ряда остальныхъ тогдашнихъ военно-учебныхъ заведеній. Въ историческомъ очеркѣ, изданномъ къ пятидесятилѣтію Инженернаго училища, не даромъ указано на то обстоятельство, что при самомъ его открытіи въ преподаватели туда приглашенъ былъ его основателемъ, тогда еще великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ, подъ собственною своею отвѣтственностью, удаленный изъ университета, по навѣтамъ Магницкаго, профессоръ Арсеньевъ. Это, оказанное въ его лицѣ, особое уваженіе къ выдающейся научной силѣ послужило характернымъ признакомъ направленія, такъ и сохранившагося затѣмъ въ училищѣ. „Не смотря на то, сказано въ его историческомъ очеркѣ, что оно нѣкоторое время состояло въ вѣдомствѣ военно-учебныхъ заведеній, сложилось оно при совершенно особыхъ обстоятельствахъ, и шло инымъ путемъ, а потому въ немъ оказалось много самостоятельнаго... Учебная часть... всегда стояла значительно выше, чѣмъ въ бывшихъ корпусахъ... Типа такъ называемаго *старого кадета*, не только не занимавшагося науками, но открыто игнорировавшаго все, что преподавали въ классахъ и признававшаго только строевую часть, въ Инженерномъ училищѣ положительно не было, да и быть не могло. По-

ступали въ училище не дѣтьми, но въ возрастѣ почти юношескомъ, не моложе 14 лѣтъ, и непремѣнно по конкурсному экзамену. Основаніемъ для поступленія служило (въ особенности въ началѣ) не право происхожденія, но знаніе. Могъ-ли юноша впоследствии не только презирать, но даже охлаждаться къ образованію, когда только для поступленія въ заведеніе онъ долженъ былъ уже учиться, чтобы пріобрѣсти довольно обширныя познанія *)“.

При всемъ томъ, само собою разумѣется, такъ высоко уважаемая въ заведеніи наука оставалась наукою главнымъ образомъ прикладною. Общеобразовательнаго было тутъ, конечно, не много. Въ напечатанномъ въ „Историческомъ Очеркѣ“ росписаніи классовъ за періодъ времени, когда былъ въ заведеніи Достоевскій, сюда должны быть отнесены, сверхъ Закона Божія, на который полагалась всего одна часовая лекція, слѣдующіе предметы: *россійская словесность*—2 лекціи (3¹/₂ часа,) преподаватель Плаксинъ (Исторія литературы языка съ практическимъ упражненіемъ въ сочиненіяхъ); *французскій языкъ*—2 лекціи (3 часа), преподаватель Курнандъ (Исторія литературы, элемент. практич. упражненія и т. д.); *исторія*—2 лекціи (4 часа), профессоръ Шульгинъ (Исторія трехъ послѣднихъ столѣтій до Ахенскаго конгресса 1838 г.); *физика*—2 лекціи (3¹/₂ часа), преподаватель Эвальдъ. Понятно, что для такой науки, какъ Достоевскій, этого было слишкомъ мало. Съ другой же стороны, онъ прямо тяготился тѣмъ, чего было много—прикладными предметами; тяготился и лагерною жизнью.

Къ 1838 г., надо думать, относится письмо Федора Михайловича къ отцу, помѣченное просто 10-мъ мая. Оно вызвано матеріальными нуждами, которыхъ отецъ, повидимому, не предполагалъ, имѣя въ виду, что сынъ его поступилъ на полное казенное содержаніе. Нужды эти связывались въ лагерную порю, повидимому, еще впервые открывшейся тогда передъ Федоромъ Михайловичемъ. „Милый, добрый родитель мой, пишеть онъ; неужели вы можете думать, что сынъ вашъ, прося отъ васъ денежной помощи, просить у васъ лишняго?.. Будь я на волѣ... отдамъ самому себѣ, а бы не потребовалъ отъ Васъ копѣйки, а обжился бы съ желѣзной нуждою. ...Теперь я вамъ высказываю себя одними обѣщаніями въ будущемъ. Но это будущее не далеко и вы меня современемъ увидите. Теперь же, любезный папенька, вспомните, что я *служу* въ полномъ смыслѣ слова. Лагерная жизнь каждаго воспитанника требуетъ, по

*) „Историч. очеркъ развитія Главнаго Инженернаго Училища“, Спб. 1869 г., стр. 50—51, 99—101.

крайней мѣрѣ, 40 руб. денегъ“. Слѣдуетъ подробный расчетъ самому необходимому. „Уважая вашу нужду, заключаетъ Федоръ Михайловичъ, не буду пить чаю“. Изъ письма къ брату отъ 9-го августа 1838 года видно, что 20-го іюля отецъ выслалъ Федору Михайловичу просимые имъ 40 руб. (письмо Федора Михайловича было ему не вдругъ доставлено). „Ты жалуешься на свою бѣдность, пишеть онъ Михаилу Михайловичу, — нечего сказать, и я не богатъ. Вѣришь-ли, что я во время выстуленья изъ лагерей не имѣлъ ни копѣйки денегъ; заболѣлъ дорогою отъ простуды (дождь лилъ цѣлый день, а мы были открыты) и отъ голода, и не имѣлъ ни гроша, чтобы смочить горло глоткомъ чаю. Но я выздоровѣлъ и въ лагерѣ участь моя была самая бѣдственная до полученія папенькиныхъ денегъ. Тутъ я заплатилъ долги и издержалъ остальное. Но описаніе твоего состоянія превосходить все. Можно-ли не имѣть 5 копѣекъ, питаться Богъ знаетъ чѣмъ, и лакомымъ взоромъ ощущать всю сладость прелестныхъ ягодъ, до которыхъ ты такой охотникъ! Какъ мнѣ жаль тебя!“ Далѣе говорится о деньгахъ, которыя слѣдовало бы получить отъ однихъ знакомыхъ, и о томъ, что обращеніе къ нимъ не имѣло почти никакого результата. Письмо вообще исполнено печальнаго настроенія. „Не знаю, стихнуть-ли когда мои грустныя идеи? спрашиваетъ Федоръ Михайловичъ, — мнѣ кажется, что міръ нашъ — чистилище духовъ небесныхъ, отуманенныхъ грѣшною мыслію... Изъ высокой, изыщной духовности вышла сатира“. Далѣе, сквозь мистическій туманъ, какъ будто проглядываетъ даже мысль о самоубійствѣ, сложившаяся, разумѣется, книжнымъ путемъ: „видѣть одну жесткую оболочку, подъ которой тожится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться съ вѣчностью, знать, и быть какъ послѣднее изъ созданий... Ужасно! Какъ малодушенъ человѣкъ! Гамлетъ! Гамлетъ!“ Вслѣдъ за Шекспиромъ упоминается и Паскаль, однажды сказавшій фразу: „кто протестуетъ противъ философіи, тотъ самъ философъ“. „Жалкая философія!“ восклицаетъ Достоевскій, — не вполнѣ, однако, удовлетворяемый въ эту пору и вѣрой. Письмо заканчивается указаніемъ на прочитанное въ лагерѣ: „весь Гофманъ русскій и нѣмецкій (т. е. не переведенный „Коть Муръ“), почти весь Бальзакъ (Бальзакъ великъ! Его характеры — произведенія ума вселенной! Не духъ времени, но цѣлыя тысячелѣтія приготовили бореніемъ своимъ такую развязку въ душѣ человѣка); Фаустъ Гёте и его мелкія стихотворенія, Исторія Полевого, Уголино, Ундина... Также Викторъ Гюго, кромѣ Бромвеля“... Послѣ подписи — приписка въ тонѣ цѣлаго: „у меня есть прожектъ — сдѣлаться сумасшедшимъ... Если ты читалъ всего Гофмана, то навѣр-

ное поминишь характеръ Альбана... Ужасно видѣть человѣка, у котораго во власти неспостижимое, человѣка, который не знаетъ, что дѣлать ему, играть игрушкой, которая есть — Богъ!“.

Въ письмѣ не упоминается вовсе Жоржъ Зандъ, между тѣмъ въ іюньскомъ № „Дневника Писателя“ 1876 г. Достоевскій говоритъ: „мнѣ было, я думаю, лѣтъ шестнадцать (т. е. это приходилось именно въ 1838 году), когда я прочелъ въ первый разъ ея повѣсть: „Ускокъ“... Я помню, я былъ потомъ въ лихорадкѣ всю ночь“. Впрочемъ временемъ окончательнаго вліянія на него, какъ и на многихъ у насъ (по его выраженію о Жоржъ Зандѣ) „одной изъ самыхъ ясновидящихъ предчувственницъ болѣе счастливаго будущаго, ожидающаго человѣчество“, была, какъ видно изъ того же „Дневника“, уже половина 40-хъ годовъ.

До такой степени давая себя поглощать литературному чтенію, Достоевскій, конечно, не могъ особенно усердно заниматься чертежами, хотя и понималъ, что этакъ, пожалуй, его оставить еще на годъ въ томъ же классѣ. Въ связи съ этимъ находится письмо къ отцу изъ Ревеля Михаила Михайловича — безъ даты. „О братъ Федѣ не беспокойтесь, уговариваюсь его добрый сынъ; онъ мнѣ писалъ то же самое, но это только однѣ его догадки. Это больше зависитъ отъ экзамена, нежели отъ чертежей. Притомъ же, ежелибъ его и оставили еще на годъ въ 3-мъ классѣ, то это еще не совсѣмъ бѣда, а можетъ было бы и къ лучшему... Чтѣ же касается до его выключки, то я право не знаю, чѣмъ побойться вамъ, что этого никогда не можетъ быть... Вы полагаете, что тамъ одинъ только онъ дурно чертитъ. Повѣрьте, что тамъ гораздо болѣе половины такихъ, которые не только чертитъ, но и учиться не умѣютъ“. Вышло, однако же, для Федора Михайловича не ладно, хотя въ самомъ дѣлѣ не отъ чертежей.

31-го октября 1838 г. онъ пишетъ брату: „я не переведенъ! о, ужасъ! еще годъ, цѣлый годъ лишній. Я бы не бѣсился такъ, ежели бы не зналъ, что подлость, одна подлость низложила меня; я бы не жалѣлъ, ежели бы слезы бѣднаго отца не жгли души моей... Такъ хотѣлъ одинъ преподающій (алгебру), которому я нагрубилъ въ продолженіи года, и который нынче имѣлъ подлость напомнить мнѣ это, объясняя причину, отчего остался я... При 10-ти полныхъ я имѣлъ 9¹/₂ среднихъ, и остался!“ Чтѣбъ забыть свое горе, Федоръ Михайловичъ далѣе переходитъ къ философіи своего брата, вычитанной изъ его писемъ. „Чтѣ ты хочешь сказать словомъ *знатъ*? спрашиваетъ онъ. Познать природу, душу, Бога, любовь... Это познается сердцемъ, а не умомъ. ...Умъ — способность матеріальная... душа же или духъ живетъ мыслию, которую нашептываетъ

ей сердце“... Далѣе сказывается такое же меланхолическое настроеніе, какъ и въ предыдущемъ письмѣ. „Братъ, грустно жить безъ надежды... Смотрю впередъ и будущее меня ужасаетъ. ...Я давно не испытывалъ взрывовъ вдохновенія... зато часто бываю и въ такомъ состояніи, какъ, поминишь, шиллонскій узникъ послѣ смерти братьевъ въ темницѣ... Послушай! мнѣ кажется, что слава также содѣйствуетъ вдохновенію поэта. Байронъ былъ эгоистъ; его мысль о славѣ была ничтожна, суетна!.. Но одно поминденіе о томъ, что нѣкогда велѣдъ за твоимъ былымъ восторгомъ вырвется изъ праха души чистая, возвышенно прекрасная мысль, что вдохновеніе, какъ таинство небесное, освятить страницы, надъ которыми плакалъ ты и будетъ плакать потомство, не думаю, чтобы эта мысль не закрадывалась въ душу поэта и въ самыя минуты творчества“...~~X~~

Къ письму нѣсколько приписокъ. Федоръ Михайловичъ проситъ брата „написать ему главную мысль Шатобрианова „Génie du Christianisme“ и жалуется на непониманіе французскою критикою (Низаромъ) драмъ и романовъ В. Гюго. Въ другомъ мѣстѣ на поляхъ критикуется стихотвореніе Михаила Михайловича: „Видѣніе Матери“. „Не понимаю, говоритъ онъ, въ какой странный абрисъ облекъ ты душу покойницы. Этотъ замогильный характеръ не выполненъ. „Зато въ другой припискѣ Федоръ Михайловичъ восторженно отзывается о стихахъ ихъ общаго друга Ивана Николаевича Шидловскаго. „Мнѣ жаль бѣднаго отца, приписано въ другомъ мѣстѣ. Странный характеръ! Ахъ, сколько несчастій перенесъ онъ! Горько до слезъ, что нечѣмъ его утѣшить. — А знаешь-ли? Папенька совершенно не знаетъ свѣта: прожилъ въ немъ 50 лѣтъ и остался при своемъ мнѣніи о людяхъ, какое онъ имѣлъ тридцать лѣтъ назадъ. Счастливое невѣдѣніе. Но онъ очень разочарованъ въ немъ, это кажется общій удѣлъ нашъ“.

Въ ноябрѣ 1838 г. посѣтилъ Федора Михайловича въ Инженерномъ училищѣ Александръ Егоровичъ Ризенкамфъ, пріѣхавшій для поступленія въ Медико-хирургическую академію изъ Ревеля, гдѣ познакомился съ Михаиломъ Михайловичемъ, поручившимъ ему передать Федору Михайловичу письмо. „Здѣсь, вспоминаетъ г. Ризенкамфъ, въ приемномъ покоѣ, находившемся на южномъ фасадѣ инженернаго замка, мы провели нѣсколько незабвенныхъ часовъ. Онъ продекламировалъ мнѣ со свойственнымъ ему увлеченіемъ стихи: изъ Пушкина „Египетскія ночи“ и Жуковскаго „Смалгольмскій баронъ“ и др., рассказывалъ о своихъ собственныхъ литературныхъ опытахъ, и жалѣлъ только, что заведенная въ училищѣ строгость не позволяла ему отлучаться. Но мнѣ это не мѣшало бывать у него по воскресеньямъ передъ обѣдомъ; кромѣ же того

по пятницамъ мы встрѣчались въ гимнастическомъ заведеніи шведа де-Рова, помѣщавшемся въ одномъ изъ павильоновъ инженернаго замка*.

Вотъ какъ описываетъ д-ръ Ризенкампфъ тогдашняго Федора Михайловича: „довольно кругленькій, полненькій свѣтлый блондинъ съ лицомъ округленнымъ и слегка вздернутымъ носомъ... Свѣтлокаштановые волосы были коротко острижены, подъ высокимъ лбомъ и рѣдкими бровями скрывались небольшіе, довольно глубоко лежащіе сѣрые глаза; щеки были блѣдныя, съ веснушками; цвѣтъ лица болѣзненный, землистый, губы толстоватыя. Онъ былъ далеко живѣе, подвижнѣе, горячѣе степеннаго своего брата... Онъ любилъ поэзію страстно, но писалъ только прозою, потому что на обработку формы не хватало у него терпѣнія... Мысли въ его головѣ рождались подобно брызгамъ въ водоворотѣ... Природная прекрасная его декламация выходила изъ границъ артистическаго самообладанія“.

О времени пребыванія О. М. въ Инженерномъ училищѣ (1838—1841 г.) подробныя воспоминанія доставлены намъ А. И. Савельевымъ, бывшимъ въ то время въ этомъ заведеніи старшимъ дежурнымъ офицеромъ.

Въ 1838 году, говоритъ г. Савельевъ, кондукторская рота Инженернаго училища, гдѣ находился О. М. Достоевскій*), представляла собою, по своему внутреннему устройству, совершенно отдѣльный міръ, весьма мало имѣвшій общаго съ остальнымъ учебнымъ міромъ, — это была особая корпорація молодыхъ людей, отъ 14 до 18 и болѣе лѣтъ, у которыхъ были свои преданія, правила и обычаи. Молодые люди, находившіеся въ училищѣ, числились на службѣ и на вѣрность ея присягали съ поступленія въ училище. Большая часть изъ нихъ получала порядочное домашнее воспитаніе, а нѣкоторые — университетское образованіе, и все соблюдали по наружности приличія хорошаго общества, любили училище и гордились своимъ званіемъ кондуктора, — что иногда, однакожъ, переходило у нѣкоторыхъ изъ нихъ границы скромности и благоразумія. Въ этомъ маленькомъ мірку молодые люди щеголяли честностію, безпристрастіемъ, уваженіемъ къ личности и другими качествами человѣка, понимающаго свои нравственныя права и обязанности. Но, при кажущемся равенствѣ между всѣми товарищами, при полномъ отчужденіи всего, что носило на себѣ видъ суроваго деспотизма, въ этомъ обществѣ молодежи существовали весьма замѣтные разряды: были юноши между ними, кото-

*) О. М. Достоевскій поступилъ въ Инженерное училище въ 1838 году, января 16-го.

рые не имѣли въ ротѣ ни собственнаго голоса, ни какихъ-либо правъ, принадлежавшихъ другимъ, старшимъ ихъ товарищамъ—это были юноши вновь поступившіе въ роту, новички, или по мѣстному выраженію: *рябцы*. Это былъ особенный разрядъ молодыхъ людей, которые обязаны были исполнять приказаніе старшаго безусловно, и въ случаѣ неповиновенія подвергались взысканіямъ старшихъ—болѣе или менѣе строгимъ, если ротные обычаи того требовали. Былъ разрядъ кондукторовъ, которые не пользовались ни вниманіемъ, ни расположеніемъ общества—это тѣ, которые случайно или съ намѣреніемъ нарушали традиціонные обычаи роты. Всѣ остальные составляли между собою дружную корпорацію, въ которой особеннымъ почетомъ пользовались кондукторы старшаго класса, стоявшіе во мнѣніи роты вѣдъ всякаго контроля и выше всѣхъ начальниковъ и воспитателей. Къ чести этого послѣдняго разряда молодежи должно сказать, что они по большей части отличались хорошими качествами, принимали живое участіе въ сохраненіи порядка въ ротѣ и болѣе начальства имѣли вліяніе на поведеніе своихъ младшихъ товарищей.

„Понятно, что господство старшихъ воспитанниковъ надъ младшими возбуждало взаимныя неудовольствія; постоянно велась, хотя келейно, борьба между двумя разрядами, старшими и младшими, являлись партіи, ссоры и пр., хотя не имѣвшія дурныхъ послѣдствій“. Въ „Историческомъ Очеркѣ Главнаго Инженернаго Училища“ указывается даже на то, что „однажды въ училищѣ былъ генеральный бой между 1-мъ и 2-мъ классами по поводу неуваженія одного воспитанника младшаго класса въ отношеніи старшаго. Натянутое положеніе, продолжавшееся нѣсколько дней, разыгралось, наконецъ, общео дракою въ камерахъ... Молодежь схватилась въ рукопашную; въ пылу боя, видя, что перевѣсъ не склоняется ни на ту, ни на другую сторону, кто-то вспомнилъ про ружья—многіе бросились за ними съ цѣлю употребить ихъ въ дѣло“. Но тутъ же, однако, оказалось, какое громадное вліяніе могъ имѣть на эту же разбушевавшуюся молодежь уважаемый и любимый начальникъ—Скалонъ *). Услыхавъ про свалку, онъ тотчасъ же явился и крикнулъ: „да вы меня погубить хотите! Не хочу быть вашимъ командиромъ! Въ отставку выйду!“ Молодежь сразу пріостановилась. „Мы не пустимъ васъ въ отставку! Вы должны остаться съ нами“. ...Съ криками „ура“ подняли его на плечи и понесли по камерамъ. Придя къ себѣ, Скалонъ разсадилъ всѣхъ в кругомъ... По командѣ Скалона: „цѣлуй направо!“—старшій классъ поцѣло-

*) Командиръ кондукторской роты. Это было уже послѣ выпуска Ѳ. М. Достоевскаго изъ училища, но тутъ только дошло до апогея то, что подготовлялось, разумѣется, издавна.

валъ младшій; „цѣлуй нагѣво!“ — младшій классъ отдалъ поцѣлуй старшему“ (Стр. 104—105).

„Нѣтъ сомнѣнія, говоритъ А. И. Савельевъ, что испытаніямъ въ послушаніи старшимъ, въ первый годъ своего пребыванія въ училищѣ, могъ подвергнуться и Ф. М. Достоевскій. Исключеній въ этомъ случаѣ никому не дѣлалось.

„Наблюдая за молодежью, изучая ее, насколько у меня доставало способностей и усердія, для правильной оцѣнки характера и наклонностей юношей, ввѣренныхъ моему наблюденію, мнѣ не разъ случалось видѣть, и въ часы классныхъ занятій, и во время прогулокъ (рекреацій) кондукторовъ, Ф. М. Достоевскаго или одного или вдвоемъ, но ни съ кѣмъ инымъ, какъ съ кондукторомъ старшаго класса, Ив. Бережецкимъ. Я никогда не видалъ, чтобы эти молодые люди принимали участіе не только въ нѣкоторыхъ продѣлкахъ товарищей, но и въ общихъ любимыхъ играхъ (напр. *загонки*); никогда они не ходили въ танцклассъ, бывшій въ ротѣ по вторникамъ и отличавшійся особеннымъ одушевленіемъ. Часто, подѣ предлогомъ нездоровья, оставались они или у стола у кровати, занимаясь чтеніемъ, или гуляли вдвоемъ по камерамъ (спальнямъ). Къ сожалѣнію, какъ тогда, такъ и теперь истинное значеніе этой дружбы двухъ молодыхъ людей опредѣлить очень трудно. Ф. М. Достоевскій поступилъ въ училище годомъ позже Бережецкаго, который былъ уже „старенькимъ“, къ тому же характеры и домашнее воспитаніе ихъ были различны: Бережецкаго считали за человѣка состоятельнаго, онъ любилъ щеголять своими богатыми средствами (носилъ часы, брилліантовныя кольца, имѣлъ деньги) и отличался свѣтскимъ образованіемъ, щеголялъ своею одеждою, туалетомъ и особенно мягкостію въ обращеніи. Ф. М. Достоевскій былъ сынъ бѣднаго штабъ-лѣкаря, — юноша съ хорошимъ научнымъ образованіемъ, съ твердымъ характеромъ и чувствомъ собственнаго достоинства. Онъ очень далеко держалъ себя отъ начальства и старшихъ товарищей, но не чуждался тѣхъ лицъ, которые, будучи его начальниками, не показывали надъ нимъ своего господства, и особенно былъ ласковъ съ тѣми лицами, которыя по положенію своему въ училищѣ не имѣли ни собственнаго голоса, ни защиты. По мнѣнію нѣкоторыхъ его товарищей, Ф. М. Достоевскій казался имъ мистикомъ или идеалистомъ. Онъ безропотно покорялся всѣмъ требованіямъ военной службы, не смотря на то, что не имѣлъ къ ней призванія; отъ природы своеобразный, но не своенравный, онъ принадлежалъ къ тѣмъ рѣдкимъ натурамъ, которыя не легко мирятся съ идеями и поступками общества, если они бывають не согласны съ ихъ убѣжденіями. Такого

рода личности не поддаются никакимъ давленіямъ, хотя бы это упорство имъ стоило дорого“.

А. И. Савельевъ полагаетъ, что Бережецкій могъ защитить Достоевскаго, подобно тому, какъ Ф. Ф. Радецкій (впослѣдствіи герой Шипки) однажды защитилъ „новичка“ Григоровича (Дмитрія Васильевича), но по мнѣнію лица, бывшаго тогда портуней-юнкеромъ и сообщившаго свои замѣчанія на воспоминанія А. И. Савельева, этого не могло быть, потому что Бережецкій не имѣлъ никакого вліянія на товарищей, что же касается Достоевскаго, то его, какъ „чудака“, вскорѣ оставили въ покоѣ. По словамъ самого А. И. Савельева, Бережецкій самъ былъ подъ сильнымъ вліяніемъ Достоевскаго, слушался его и повиновался ему, какъ преданный ученикъ учителю.

„Въ 1840 г. Ив. Бережецкій былъ произведенъ въ инженерные офицеры и перешелъ въ нижній офицерскій классъ (что нынѣ Инженерная академія), а Ф. М. Достоевскій остался въ кондукторской ротѣ и былъ переведенъ въ слѣдующій классъ. И тутъ его нельзя было замѣтить ни въ классахъ, ни въ ротѣ (въ каморахъ) въ какихъ-либо партіяхъ недовольныхъ воспитанниковъ; онъ оставался невозмутимымъ и молчаливымъ юношей, котораго не могли его товарищи вызвать ни на какое „общественное дѣло“. Можетъ быть изъ массы его товарищей были у него и враги, которымъ не нравилось въ Достоевскомъ именно то, что онъ держалъ себя всегда далеко отъ нихъ, въ свою очередь увлекаясь своею мечтательностію. Его можно было видѣть и въ бытность его въ старшемъ классѣ болѣею частію одного — или сидящимъ за своимъ столикомъ, занимающимся, или гуляющимъ по комнатамъ, всегда въ понуренную голову и сложенными назадъ руками“.

Изъ писемъ Ф. М. мы узнаемъ о сношеніяхъ его со старымъ товарищемъ и молодымъ поэтомъ Шидловскимъ. Передъ нами большое письмо послѣдняго къ Михаилу Михайловичу отъ 17-го января 1839 г., дающее возможность заглянуть въ глубину этой богато-одаренной, но странной натуры. „Ваша поэзія, пишетъ Шидловскій, своимъ изящнымъ характеромъ возвращаетъ меня къ младенчеству, къ той чистой простотѣ, чуждой современнаго суетности, Байроновскаго бѣшеннаго эгоизма, безъ которой нельзя вникнуть въ царствіе Божіе... Полевой чудесно выразился при мнѣ однажды, говорится далѣе, что на человѣка надобно смотрѣть какъ на средство къ проявленію великаго въ человѣчествѣ, а гѣло, глиняный кувшинъ, рано или поздно разобьется, и прошлыя добродѣтели, случайные пороки стинуть“. И вотъ — Шидловскій чуть было преждевременно не разбилъ самовольно этого „глинянаго кувшина“. „Съ самаго

возвращенія изъ дому, пишетъ онъ, сердце мое начало нагрѣваться болѣе и болѣе тепломъ вѣры и смиренія“; однакожь, какъ разъ наканунѣ Рождества, имъ овладѣвала рѣшимость „расторгнуть цѣпи бытія, покинуть этотъ плѣнь,—и дно рѣчное, дно моей милой Фонтанки, пишетъ онъ, манило меня страстно, какъ брачный одръ обрученнаго“...

Восторженно и вмѣстѣ съ тѣмъ сострадательно отзывается Федоръ Михайловичъ о Шидловскомъ въ большомъ письмѣ своемъ къ брату отъ 1-го января 1840 г. „Ежели бы ты видѣлъ его прошлый годъ... Онъ иссохъ, щеки ввали... духовная красота его лица возвышалась съ упадкомъ физической... Боже мой! Какъ любилъ онъ какую-то дѣвушку... Она же вышла за кого-то замужъ. Безъ этой любви онъ не былъ бы чистымъ, возвышеннымъ, безкорыстнымъ жрецомъ поэзіи.

„Часто мы съ нимъ просиживали цѣлые вечера, толкуя Богъ знаетъ о чемъ. О, какая откровенная, чистая душа!.. Пришедъ изъ лагеря, мы мало пробыли вмѣстѣ. Въ послѣднее свиданіе мы гуляли въ Екатерингофѣ. О, какъ провели мы этотъ вечеръ! Вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомерѣ, Шекспирѣ, Шиллерѣ, Гюффманѣ... Мы говорили съ нимъ о насъ самихъ, о прошлой жизни, о будущемъ, о тебѣ мой милый. Теперь онъ уже давно уѣхалъ, и вотъ ни слуху, ни духу о немъ! Живъ-ли онъ! Здоровье его тяжело страдало—о, пиши къ нему!“

Но далѣе изъ того же письма мы какъ будто узнаемъ о другой дружбѣ Федора Михайловича. „Прошлую зиму, пишетъ онъ, я былъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи. Знакомство съ Шидловскимъ подарило меня столькими часами лучшей жизни; но не то было тогда причиною этого... Сказать-ли тебѣ, милый? я никогда не былъ равнодушенъ къ тебѣ, я любилъ тебя за стихотворенья твои, за поэзію твоей жизни, за твои несчастья, и не болѣе... Я имѣлъ у себя товарища, одно созданье, которое такъ любилъ я“. Вѣроятно тутъ разумѣется тотъ Бережецкій, о которомъ говорится въ воспоминаньяхъ А. И. Савельева. „Ты писалъ ко мнѣ, братъ, продолжаетъ Федоръ Михайловичъ, что я не читалъ Шиллера. Ошибаешься, братъ! Я вызубрилъ Шиллера, говорилъ имъ, бредилъ имъ, и я думаю, что ничего болѣе кстати не сдѣлала судьба въ моей жизни, какъ дала мнѣ узнать великаго поэта въ такую эпоху моей жизни; никогда бы я не могъ узнать его такъ, какъ тогда. Читая съ нимъ Шиллера, я повѣрялъ надъ нимъ и благороднаго, пламеннаго Донъ-Карлоса, и Маркиза Позу и Мортимера. Эта дружба такъ много принесла мнѣ и горя и наслажденія! Теперь я вѣчно буду молчать объ этомъ; имя же Шиллера стало мнѣ роднымъ, какимъ-то волшебнымъ звукомъ, вызывающимъ столько мечтаній; они горьки, братъ; вотъ почему я ничего не говорилъ о Шиллерѣ, о впе-

чатлѣньяхъ, имъ произведенныхъ; мнѣ больно, когда я услышу хоть имя Шиллера.“ Тому, что говорить тутъ Федоръ Михайловичъ о своихъ отношеніяхъ къ брату, въ сущности противорѣчитъ начало письма, свидѣтельствующее о томъ, какъ пристуналъ онъ къ чтенію писемъ Михаила Михайловича: „возьму твое письмо, перевертываю нѣсколько минутъ въ рукахъ, щупаю его, полновѣсно-ли оно, и, насмотрѣвшись, налюбовавшись на запечатанный конвертъ, кладу его въ карманъ... Наконецъ, съ жадностью нападаю на пакетъ, рву печать и пожираю твои строки, твои милыя строки.“

Въ письмѣ этомъ есть указаніе на опекуна.— Дѣло въ томъ, что Михаилъ Андреевичъ Достоевскій скончался въ 1839 г. Опекуномъ дѣтей сдѣлался мужъ старшей изъ дочерей покойнаго, г. Каренинъ. Само собой разумѣется, что вѣсть о смерти отца должна была вызвать особыя письма Федора Михайловича къ брату. Да и вообще промежутокъ между 31-мъ октября 1838 г. и 1-мъ января 1840 г. слишкомъ великъ и относящихся къ нему писемъ только нѣтъ передъ нами теперь, но они несомнѣнно были. Да и заключеніе письма отъ 1-го января 1840 г. прямо указываетъ на какое-то, неизвѣстное намъ по прежнимъ письмамъ, сопоставленіе Гомера съ Викторомъ Гюго, вызывающее тутъ у Федора Михайловича поясненія, которыми, впрочемъ, по ихъ страстной парадоксальности, едва-ли онъ могъ удовлетворить корреспондента. „Вѣдь въ Иліадѣ Гомеръ, пишетъ Федоръ Михайловичъ, далъ всему древнему міру организацію и духовной, и земной жизни, совершенно въ той же силѣ, какъ Христосъ новому. Теперь поймешь-ли ты меня! Victor Hugo, какъ лирикъ, чисто съ ангельскимъ характеромъ, съ христіанскимъ младенческимъ направленіемъ поэзіи, и никто не сравнится съ нимъ въ этомъ... Только Гомеръ съ такою же непоколеблемою увѣренностью въ призваніи, съ младенческимъ вѣрованіемъ въ бога поэзіи, которому служить онъ, похожъ въ направленіи источника поэзіи на Victor'a Hugo, но только въ направленіи, а не въ мысли... Державинъ, кажется, можетъ стоять выше ихъ обоихъ въ лирикѣ.“

Въ припискѣ къ письму Федоръ Михайловичъ защищаетъ отъ нападокъ брата французскихъ классиковъ. На его взглядъ Корнель — „по гигантскимъ характерамъ — почти Шекспиръ.“ Да читалъ-ли ты *Cinna*? — спрашиваетъ Федоръ Михайловичъ... Вѣднѣкъ, ежели ты не читалъ этого... Особенно разговоръ Августа съ *Cinna*, гдѣ онъ прощаетъ ему измѣну... Увидишь, что такъ только говорятъ оскорбленные ангелы... Читалъ-ли ты „Le Cid“. Прочти, жалкій человѣкъ, прочти и пади въ прахъ передъ Корнелемъ... Впрочемъ, не сердись, милый, за обидныя выраженія; не будь Иваномъ Ивановичемъ Перерепенко“.

Трудно, кажется, не сознаться, что эти письма свидѣтельствуютъ о большой литературной начитанности, носятъ на себѣ отпечатокъ такой *образованности*, съ какою далеко не всегда выходятъ и изъ университетовъ. Можно, конечно, жалѣть о томъ, что Достоевскій всетаки попалъ не въ свое заведеніе; но относить его къ числу какихъ-то *полуметъждѣ* собственно потому что онъ не былъ въ университетѣ, значитъ доводить уваженіе къ академической наукѣ до какого-то фетишизма.

Совершенною зрѣlostью взгляда отзывается письмо Ф. М. къ брату отъ 19 іюля 1840 г., хотя оно писано изъ лагеря юношей, не получившихъ аттестата зрѣlosti, да и въ такую пору, когда эти аттестаты еще никому не грезились. Младшій братъ сильно озабоченъ тутъ экзаменомъ, вскорѣ предстоящимъ старшему, тѣмъ болѣе для него важнымъ, что онъ писалъ Ф. М. „о своихъ надеждахъ, о своей Эмилиі.“ Юноша, которому еще не минуло 18-ти лѣтъ, философствуетъ тутъ съ братомъ о высшихъ цѣляхъ жизни, о томъ, какъ она бываетъ грустна, „когда чувствуешь, что пламень душевный задавленъ, потушенъ Богъ знаетъ чѣмъ; когда сердце разорвано по клочкамъ, и отчего? Отъ жизни, достойной пигмея, а не великана, ребенка, а не человѣка“.

Въ концѣ 1840 г. Федору Михайловичу довелось увидѣться съ братомъ, прѣбывавшимъ, по свидѣтельству г. Ризенкамшфа, въ Петербургѣ держать экзаменъ на чинъ прапорщика полевыхъ инженеровъ. Онъ и былъ произведенъ въ офицеры въ январѣ 1841 г. и оставался затѣмъ въ Петербургѣ до 17 февраля. Наканунѣ отъѣзда онъ собралъ къ себѣ друзей на прощальный вечеръ.

Былъ тутъ, конечно, и Федоръ Михайловичъ и читалъ отрывки изъ двухъ своихъ драматическихъ опытовъ (навьинныхъ, надо думать, чтеніемъ Шиллера и Пушкина): „Маріи Стюартъ“ и „Бориса Годунова“. Что касается перваго сюжета, то Федоръ Михайловичъ, по свидѣтельству г. Ризенкамшфа, продолжалъ ревностно имъ заниматься и въ 42 г., чему способствовало сильное впечатлѣніе, произведенное на него въ роли Маріи Стюартъ нѣмецкою трагическою актрисою Лилли Лѣве. Достоевскій хотѣлъ обработать эту трагическую тему по своему, для чего тщательно принялся за приготовительное историческое чтеніе. Куда дѣвались наброски его „Маріи Стюартъ“, а равно и „Бориса“ — остается неизвѣстнымъ.

Во времени послѣ отъѣзда Михаила Михайловича надо отнести письмо Федора Михайловича, помѣченное 27-мъ февраля. „Вотъ и опять письмо, милый другъ мой! Давно-ли думали мы почти на вѣкъ не разставаться и все-какъ, весело, безопасно проводили время, и вотъ вдругъ, въ одинъ мигъ ты отнять отъ меня на долго на долго“. Хотя года на письмѣ и не зна-

чится, но изъ словъ этихъ надобно заключить, что оно писано въ 1841 г. — десять дней спустя послѣ отъѣзда Михаила Михайловича въ Нарву, какъ видно далѣе изъ письма. „Въ день твоего отъѣзда, продолжаетъ Ф. М., пріѣзжаетъ ко мнѣ Кривонизинъ (тотъ родственникъ, на котораго такъ рассчитывалъ старикъ Достоевскій *); мы обѣдали тогда и я не видалъ его. Въ воскресенье я былъ у него вечеромъ и онъ мнѣ показываетъ донесеніе... на счетъ твоей командировки въ Ревель. Вѣроятно (да и безъ сомнѣнія), ты уже въ Ревелѣ и цѣлуешь свою Эмилию.“ Тутъ Федоръ Михайловичъ указываетъ на невѣсту брата, а далѣе извѣщаетъ его, что писалъ къ опекуну. (Дѣло въ томъ, что Михаилъ Михайловичъ, опредѣлившись на службу въ ревельскую инженерную команду, задумалъ жениться на тамошней уроженкѣ Эмилиі Федоровнѣ Дитмаръ. Этотъ выборъ, по свидѣтельству г. Ризенкампа, пришелся не по вкусу опекуну братьевъ Достоевскихъ. Онъ отказался выдавать Михаилу Михайловичу, за непослушаніе, причитавшіеся каждому изъ братьевъ съ выходомъ въ офицеры 4000 асс. въ годъ). Въ томъ же письмѣ Федоръ Михайловичъ жалуется далѣе на зубренье. „Сижу и по праздникамъ, а вотъ ужъ наступаетъ мартъ мѣсяцъ, — весна, таетъ, солнце теплѣе, свѣтлѣе, вѣетъ югомъ — наслажденіе да и только. Чтò дѣлать! Но зубрить осталось немного“. Въ концѣ письма сказывается горячее нетерпѣніе: скорѣе къ пристани, скорѣе на свободу! Свобода и призваніе дѣло великое. Мнѣ снится и грезится оно опять, какъ не помню когда-то. Какъ-то расширяетъ душу, чтобъ понять великость жизни.“

Возвратимся теперь къ воспоминаніямъ А. И. Савельева. „Въ 1841 г., говоритъ онъ, Ф. М. былъ уже на выпускѣ въ старшемъ классѣ. Какъ прежде задумчивый, скорѣе, угрюмый, можно сказать, замкнутый, онъ рѣдко сходилъ съ кѣмъ-либо изъ своихъ товарищей, хотя и не удалялся, даже часто дѣлился съ ними своими учебными записками, которыя онъ составлялъ за лекціями преподавателей; рѣдко писалъ товарищамъ сочиненія **) на заданныя темы по русской литературѣ (В. Т. Плагина), но никогда нельзя было его видѣть празднымъ и веселымъ. Любимымъ мѣстомъ его занятій была амбразура окна въ угловой (такъ называемой круглой камерѣ) спальнѣ роты, выходящей на Фонтанку. Въ этомъ изолированномъ отъ другихъ столиковъ мѣстѣ, сидѣлъ и занимался Ф. М. Достоевскій; случалось рѣдко, что онъ не замѣчалъ ничего, чтò кругомъ его дѣлалось; въ извѣстные установленныя часы товарищи его строились

*) По словамъ г. Ризенкампа.

**) Ген.-лейт. В. А. Родіоновъ помнитъ, что Ф. М. Достоевскій писалъ ему, какъ близкому его товарищу, сочиненія на слѣдующія темы: „Ночь на маневрахъ“, „Ермакъ Тимофеевичъ“, „Характеръ Ярослава“ и др.

къ ужину, проходили по круглой камерѣ въ столовую, потомъ съ шумомъ проходили въ рекреационную залу, къ молитвѣ, снова расходились по камерамъ; Достоевскій только тогда убиралъ въ столѣи свои книги и тетради, когда проходившій по спальнямъ барабанщикъ, бившій вечернюю зорю, принуждалъ его прекратить свои занятія. Бывало, въ глубокую ночь, можно было замѣтить Ф. М. у столика сидящимъ за работою. Набросивъ на себя одѣяло сверхъ бѣлья, онъ, казалось, не замѣчалъ, что отъ окна, гдѣ онъ сидѣлъ, слышно дуло; щиты, которые ставились къ рамамъ, нисколько не предохраняли отъ вѣшняго холода, особенно это было чувствительно подлѣ окна, гдѣ Ф. М. любилъ заниматься. Нерѣдко на замѣчаніи мои, что здоровѣе вставать ранѣе и заниматься въ платѣ, Ф. М. любезно соглашался, складывалъ свои тетради и, повидимому, ложился спать; но проходило немного времени, его можно было видѣть опять въ томъ же нарядѣ, у того же столика, сидящимъ за его работою. Привычка заниматься ночью осталась у Ф. М. до послѣднихъ дней его жизни. Въ то время нельзя было думать, чтобы предметомъ занятій Ф. М. былъ его первый романъ: „Бѣдные люди“, но, зная способности и прилежаніе его въ учебныхъ занятіяхъ, нельзя было предполагать, чтобы Ф. М. Достоевскому не доставало бы времени днемъ для этихъ занятій; я тогда же допускалъ, что постоянная усидчивая его работа, работа письменная ночью, когда никто ему не мѣшалъ, была литературная и, конечно, не для газеты, издававшейся въ ротѣ, подъ заглавіемъ „Рижскій смятокъ“, а для болѣе серьезнаго предмета. Но какая это была работа, отгадать было трудно; самъ же Ф. М. никому объ ней не говорилъ *).

Часто, на дежурствѣ въ училищѣ, я любилъ бесѣдовать съ молодежью и пользовался сочувствіемъ ко мнѣ. Но, признаюсь, ни одна изъ этихъ бесѣдъ не оставляла во мнѣ такого глубокаго впечатлѣнія, какъ мои бесѣды съ Достоевскимъ. Онъ говорилъ всегда тихо, медленно, съ разстановкою, казалось это происходило вслѣдствіе физическихъ причинъ—особеннаго устройства его груди, легкихъ или дыхательныхъ органовъ (надо вспомнить его горловую болѣзнь передъ поступленіемъ въ училище, на которую указалъ А. М. Достоевскій), но совсѣмъ не отъ старанія говорить риторически, изящно и убѣдительно; самое простое воспоминаніе о своемъ дѣтствѣ, какой-нибудь неважный историческій эпизодъ,

*) Сорокъ лѣтъ спустя при одномъ изъ моихъ свиданій съ Ф. М. Достоевскимъ, когда я припомнилъ его ночныя письменныя занятія въ ротѣ, особенно то обстоятельство, что я мѣшалъ ему иногда заниматься ночью, то онъ мнѣ сказалъ, что онъ тогда дѣйствительно писалъ романъ „Бѣдные люди“, но что началъ писать этотъ романъ еще до поступленія своего въ училище.

нимъ передавались медленно, но прекрасно, съ особеннымъ ему свойственнымъ одушевленіемъ; онъ, кажется, сознавалъ самъ, какое впечатлѣніе на слушателя производили его рассказы, и потому любилъ говорить обо всемъ съ одинаковымъ увлеченіемъ, хотя нерѣдко въ словахъ его замѣтна была желчность, но съ другой стороны въ рассказахъ Достоевскаго заключалось столько же теплоты, сколько и правды.

„Мѣстомъ нашихъ бесѣдъ была чаще всего такъ называемая комната для дежурнаго офицера, окнами выходящая на черный дворикъ. Должно замѣтить, что въ Михайловскомъ (инженерномъ) замкѣ, сохранилось до сихъ поръ много устныхъ преданій о первой четверти нынѣшняго столѣтія, касающихся исторіи замка: сохранились указанія, гдѣ была тронная зала императора, его спальня, столовая, кухня, не такъ давно задѣланъ ходъ въ стѣнѣ, въ которомъ шла лѣстница изъ средняго этажа въ нижній, уничтоженъ корридоръ, шедшій къ дверямъ, ведущимъ къ каналу, гдѣ когда-то стояла лодка; сохранился въ одной изъ овальныхъ комнатъ замка крюкъ, на которомъ висѣлъ голубь, принадлежавшій сектѣ хлыстовъ, подъ которымъ они совершали свои „радѣнія“ и проч.“. Въ памяти самого Ѳ. М., кстати будетъ замѣтить, отчетливо сохранилась историческая топографія инженернаго замка, который очень нравился ему своею архитектурой *).

„Но не столько занимали насъ, въ нашей бесѣдѣ, продолжаетъ А. И. Савельевъ, эти историческія воспоминанія, комнаты, ходъ, дворикъ и пр. замка, сколько настоящая жизнь училища, такъ называемый духъ заведенія, система воспитанія въ немъ и пр. Эта исключительная военная система, это суровое обращеніе старшихъ съ младшими, начальства съ подчиненными—при отсутствіи коллективнаго устройства въ дѣлѣ оцѣнки достоинствъ молодежи—были главною причиною той затаненной недовѣрчивости, иногда и злобы ихъ къ своимъ воспитателямъ, которая разрушала всякую связь между ними. Дѣти въ бывшихъ кадетскихъ корпусахъ (о настоящихъ я не говорю) могли ничего не знать, что дѣлалось вокругъ нихъ, въ учебномъ мѣрѣ, и покоряться безусловно всякому распоряженію начальства, но въ высшемъ учебномъ заведеніи, гдѣ воспитывались не дѣти, а зрѣлые юноши, сознававшіе себя и обсуждавшіе всѣ дѣйствія начальства, ими, молодежью, скоро отличалась истина отъ обмана. Никакою популярностію и никакимъ сладкорѣчіемъ купить ихъ было нельзя, напротивъ, въ молодежи такъ былъ развитъ духъ скептицизма и такъ было мало довѣренности къ безпристрастію начальства, что

*) Занесено въ записную книжку А. Г. Достоевской.

небольшое послабленіе однимъ на счетъ другихъ воспитанниковъ, — особенно въ послѣднемъ курсѣ, въ старшемъ классѣ, когда всякая единица въ суммѣ балловъ могла имѣть вліяніе на дальнѣйшую службу, иногда и на судьбу молодого человѣка — поселяла въ душѣ юной глубокія нравственныя раны. — Все это вѣсть взятое — недостаточно вѣрная оцѣнка прилежанія и успѣховъ въ наукахъ и нравственныхъ достоинствѣхъ (поведеніи) Достоевскаго; наконецъ, можетъ быть и другія, неизвѣстныя нѣ обстоятельства въ его жизни, которыя разрушали въ немъ всякое довѣріе къ людямъ, — все это тяжело ложилося на душу весьма впечатлительнаго человѣка, искавшаго въ людяхъ милосердія и справедливости“ ...

Подтвержденіе этому можно найти въ вышеприведенномъ письмѣ Ф. М. Достоевскаго объ учебной его неудачѣ, что же касается болѣе раннихъ тяжелыхъ обстоятельствъ, то и тутъ А. И. Савельевъ не ошибается: стоитъ только вспомнить нѣкоторыя подробности семейной его обстановки въ дѣтствѣ.

Въ числу неприятностей, перенесенныхъ Ф. М. — чемъ въ Инженерномъ училищѣ, относится и то, что со словъ его записала Анна Григорьевна объ отправленіи его въ ординарцахъ къ В. К. Михаилу Павловичу. При этомъ онъ забылъ отрапортовать слова: „къ Вашему Императорскому Высочеству“. „Посылаютъ же такихъ дураковъ“, замѣтилъ Великій Князь *).

Тѣмъ не менѣе, заключаетъ г. Савельевъ, Достоевскій любилъ вспоминать училище, воспитателей, которыхъ имена произносятся всѣми знавшими ихъ съ благодарностію; любилъ говорить о тѣхъ же предметахъ и тогда, когда въ голосѣ его звучали уже ноты отживающаго человѣка, при этомъ въ глазахъ по временамъ вспыхивалъ прежній блескъ, хотя и скоро проходившій“.

Въ октябрьскомъ „Дневникѣ Писателя“ 1877 г. Ф. М. вспоминаетъ о получившихъ образованіе въ томъ же заведеніи и составившихъ себѣ извѣстность на различныхъ поприщахъ. „Тотлебенъ, говоритъ онъ, вышелъ

*) Изъ разсказа этого образовался — своего рода lapsus-memoiae — другой, будто бы на одномъ чертежѣ Ф. М. — ча былъ какой-то пропускъ и императоръ Николай Павловичъ написалъ на немъ: „Какой дуракъ это чертилъ“, будто это было уже тогда, когда Ф. М. уже офицеромъ занимался въ чертежной Инженернаго департамента и будто онъ подалъ въ отставку вслѣдствіе того, что помѣтка государя была покрыта лакомъ и чертежъ съ нею отданъ на сохраненіе въ архивъ Инженернаго управленія. Между тѣмъ, послѣ тщательныхъ розысковъ въ архивѣ при обязательномъ содѣйствіи А. И. Савельева, ничего подобнаго тамъ не оказалось.

тремя или четырьмя годами прежде меня. Кауфмана я помню въ офицерскихъ классахъ. Съ младшимъ Кауфманомъ я былъ въ одно время еще въ кондукторскихъ. Радецкій, Петрушевскій и Голшинъ были всего лишь однимъ классомъ старше меня. Изъ моихъ же одноклассныхъ товарищей удалились съ прямого пути на путь шаткій и неопредѣленный всего только трое: „я, писатель Григоровичъ и живописецъ Трутовскій“ *). Когда Достоевскій писалъ это, имя Ф. Ф. Радецкаго еще не было связано съ высотами Шинкя. Нѣсколько позже Достоевскому довелось привѣтствовать его какъ одного изъ самыхъ чистыхъ и при томъ вполне скромныхъ героевъ той великой освободительной войны, истолкователемъ которой являлся онъ въ своемъ „Дневникѣ Писателя“.

Если теперь сопоставить все то добро и зло Инженернаго училища, о которомъ говорилось выше, то едва ли можно будетъ согласиться съ тѣмъ, чтобы прямо къ нему относились слова героя „Записокъ изъ Подполья“: „проклятіе на эту школу, на эти ужасные каторжные годы!.. Меня сунули въ эту школу мои дальніе родственники, сунули сиротливаго, уже забитаго ихъ попреками, уже задумывающагося, молчаливаго и дико на все озиравшагося“. Достоевскаго, какъ мы знаемъ, отвезъ въ училище самъ отецъ и ни о какихъ попрекахъ родни мы изъ писемъ Ф. М. ничего не знаемъ. Такъ же трудно признать, по крайней мѣрѣ безъ оговорокъ, чтобы Достоевскій разумѣлъ своихъ собственныхъ товарищей въ дальнѣйшихъ словахъ того же озлобленнаго героя „Подполья“: „какія глухія были у нихъ лица. Въ нашей школѣ выраженія лицъ какъ-то особенно глухіи и перерождались. Сколько прекрасныхъ собою дѣтей поступало къ намъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ на нихъ и глядѣть становилось противно. Еще въ 16 лѣтъ я угрюмо на нихъ дивился; меня ужъ тогда изумляли мелочь ихъ мысленія, глухость ихъ занятій, игръ, разговоровъ... Они привыкли поклоняться одному успѣху. Все, что было справедливо, но унижено и забито, надъ тѣмъ они жестокосердно и позорно смѣялись. Чинъ почитали за умъ; въ 16 лѣтъ уже толковали о теплыхъ мѣстечкахъ... Развратны они были до уродливости...“ Между тѣмъ именно главнаго, что испыталъ Достоевскій, тутъ и нѣтъ—т. е. деспотизма корпораціи старшихъ воспитанниковъ. Вы-

*) Соч. т. XII, стр. 297. Имена послѣднихъ, какъ ставшихъ знаменитостями, хотя и не на военномъ поприщѣ, вмѣстѣ съ именемъ И. М. Сѣченова, особо указаны и въ изданномъ въ 1869 г. „Истор. очеркъ развитія Главнаго Инженернаго Училища“ (стр. 206). Но замѣчательно, что ни одной изъ знаменитостей—даже прямо военныхъ—не оказывается на мраморныхъ доскахъ училища (содержаніе которыхъ напечатано въ той же книгѣ въ концѣ); на нихъ нѣтъ ни Тотлебена, ни Радецкаго, ни профессоровъ военныхъ наукъ Г. А. Леера, Ц. А. Кюи, а есть только имя профессора академіи генеральнаго штаба Рехневскаго.

хвачено изъ собственныхъ воспоминаній тутъ развѣ только преждевременное стремленіе товарищей къ житейскому успѣху, да собственная молчаливая одиночность среди нихъ... Къ тому же герой „Подполья“, конечно, очень мало похожъ на самого Федора Михайловича. Въ „Запискахъ изъ Подполья“ есть только одна несомнѣнно автобіографическая черта, которая должно быть и соблазнила проф. Булича истолковать въ такомъ же смыслѣ и остальное“.*) Первымъ дѣломъ моимъ по выходѣ изъ школы, говоритъ герой „Подполья“, было оставить ту спеціальную службу, къ которой я предназначался, чтобы всѣ нити порвать, проклясть прошлое и прахомъ его посыпать“. Но выходъ Ф. М. въ отставку у насъ еще впереди. Пока мы дошли съ нимъ только до окончанія учебныхъ годовъ.

Изъ временнаго билета, выданнаго Ф. М. въ 1859 г., видно, что 5-го августа 1841 г. онъ произведенъ въ прапорщики съ оставленіемъ въ Инженерномъ училищѣ для продолженія полнаго курса наукъ, въ нижнемъ офицерскомъ классѣ, а 11-го августа 1842 г. по экзамену сдѣланъ подпоручикомъ съ переводомъ въ верхній офицерскій классъ. Къ этому времени должно быть отнесено его письмо къ брату, помѣченное 22-мъ декабря (безъ года—конечно 1841 г.) Федоръ Михайловичъ касается тутъ затруднительности положенія брата при предстоящей ему женитьбѣ. „Милый, милый мой! пишетъ онъ. Еслибъ ты зналъ, какъ я счастливъ, что могу хоть чѣмъ нибудь помочь тебѣ. Съ какимъ наслажденіемъ посылаю я эту бездѣлку**), которая хоть сколько нибудь можетъ возстановить покой твой; этого мало, я знаю это. Но что же дѣлать, если болѣе, братъ,—клянусь, не могу!.. У меня на рукахъ братъ***) а писать скоро въ Москву—Богъ знаетъ, что они подумаютъ****). Далѣе Федоръ Михайловичъ говорить объ усиленныхъ занятіяхъ. „Репутаціи потерять не хочется,—вотъ и зубришь, съ отвращеніемъ, а зубришь“. А тутъ еще бѣда. „Андрюша боленъ, я разстроенъ чрезвычайно... Его приготовленіе и его житье у меня вольнаго, одинокаго, независимаго, это для меня нестерпимо. Ничѣмъ нельзя ни заняться, ни развлечься“... Изъ словъ этихъ ясно, что Федоръ Михайловичъ въ то время жилъ уже самъ по себѣ на квартирѣ, посѣщая офицерскіе классы, съ которыми и связаны были упоминаемыя въ письмѣ приготовленія къ экзамену. Матерьяльное положеніе его могло бы быть хорошо, потому что опекунъ, какъ бы въ пику Михаилу Михайловичу,

*) Ф. М. Достоевскій и его сочиненія. (Историко-литературные очерки) I, Казань 1881 г., стр. 11—14.

**) Полтораста рублей.

***) Андрей Михайловичъ.

****) Т. е. опекунъ и его семья.

аккуратно высылалъ ему современи производства его въ офицеры причитающіеся ему деньги.

По свидѣтельству д-ра Ризенкампа, онъ вмѣстѣ съ жалованьемъ получалъ около 5000 р. ассигнаціями въ годъ. Но Федоръ Михайловичъ отличался крайней непрактичностью и потому по большей части сидѣлъ безъ денегъ. Онъ началъ съ того, что нанялъ себѣ квартиру на Владимирской въ домѣ почти-директора Прянишникова за 1200 р. асс. Въ этой обширной квартирѣ не было зато никакой другой мебели, кромѣ стараго дивана, рабочаго стола и нѣсколькихъ стульевъ. Все дѣло въ томъ, что Федору Михайловичу очень понравился хозяинъ дома — извѣстный любитель искусства, мягкій, обходительный, никогда не безпокоившій его насчетъ расплаты. Съ другой же стороны ему такъ нравилась благодушная физиономія его деньщика Семена, что на всѣ предостереженія отъ его долгахъ рукъ онъ преспокойно отвѣчалъ: „пусть себѣ воруетъ; не разорюсь я отъ этого“. На самомъ же дѣлѣ онъ положительно разорился и входилъ въ долги. Вскорѣ приходилось воспользоваться своимъ литературнымъ вкусомъ — съ прозаическимъ расчетомъ на заработокъ — частью сообщая съ Михаиломъ Михайловичемъ.

Между тѣмъ 12 августа 1843 г., по окончаніи полнаго курса наукъ въ верхнемъ офицерскомъ классѣ, Ф. М. Достоевскій выпущенъ былъ на дѣйствительную службу въ инженерный корпусъ и зачисленъ при С.-Петербургской инженерной командѣ съ употребленіемъ при чертежной Инженернаго департамента.

Но разладъ между чертежничествомъ и авторствомъ долженъ былъ сказаться вскорѣ.

II.

Начало литературнаго поприща.

Какъ разъ въ первыя годамъ жизни Федора Михайловича на свободѣ относится продолжительный перерывъ въ его перепискѣ съ братомъ.

Пробѣлъ, оказывающійся въ письмахъ, до нѣкоторой степени восполняется тѣмъ болѣе драгоценными воспоминаніями доктора Ризенкампа. Побывавъ въ Ревелѣ въ іюлѣ 1842 г. и повидавшій тамъ съ Михаиломъ Михайловичемъ, Александръ Егоровичъ Ризенкампфъ, по возвращеніи своемъ осенью въ Петербургъ, сталъ чаще навѣщать Федора Михайловича, о незавидномъ матеріальномъ положеніи котораго слышался

отъ его брата. На повѣрку въ самомъ дѣлѣ оказалось, что изъ всей занимаемой Федоромъ Михайловичемъ квартиры отапливался только одинъ кабинетъ. Федоръ Михайловичъ совершенно почти отказался отъ удовольствій, послѣ того какъ не мало потратился въ 1841 и началъ 1842 г. на Александринскій театръ, процвѣтавшій въ то время, отчасти и на балетъ, который онъ почему-то тогда любилъ, и на дорогіе концерты такихъ виртуозовъ, какъ Оле-Буль и Листъ. Теперь, послѣ утренняго посѣщенія офицерскихъ классовъ, онъ сидѣлъ запершись въ своемъ кабинетѣ, предавшись литературнымъ занятіямъ. Цвѣтъ лица его былъ какой-то земляной, его постоянно мучилъ сухой кашель, особенно обострившійся по утрамъ; голосъ его отличался усиленною хрипотой; къ болѣзненнымъ симптомамъ присоединялась еще опухоль подчелюстныхъ железъ. Все это однако же упорно скрывалось отъ всѣхъ, и даже пріятелю-доктору насилу удавалось прописать Федору Михайловичу хотя какія-нибудь средства отъ кашля и заставить его хоть нѣсколько умѣреннѣе курить жуковскій табакъ. Изъ товарищей часто навѣщала тогда Достоевскаго только Дм. Вас. Григоровичъ, представлявшій во многихъ отношеніяхъ прямую противоположность Федору Михайловичу. „Молодой, ловкій, статный, вспоминаетъ докторъ Ризенкампфъ, свѣтскій, красивый и живой, сынъ богатаго гусарскаго полковника и его жены—француженки-аристократки, другъ поручика Тотлебена, тогда уже обнаруживавшаго задатки будущей своей извѣстности, и артиста Рамазанова, любимецъ и поклонникъ прекраснаго пола, вращавшійся постоянно въ лучшемъ петербургскомъ обществѣ, Григоровичъ привязался къ нелюдиму и затворнику Достоевскому по врожденной ему страсти къ литературѣ“. Тогда онъ, сколько помнится г. Ризенкампфу, переводилъ съ французскаго какую-то пьесу изъ китайскаго быта, а Достоевскій, отказавшись отъ продолженія своей „Маріи Стюартъ“, усердно принялся за „Бориса Годунова“, также оставшагося неоконченнымъ. Кромѣ того, Федора Михайловича тогда уже занимали различныя повѣсти и рассказы, планы которыхъ такъ и смѣняли другъ друга въ его плодовитомъ воображеніи. Подобнаго рода производительность поддерживалась въ немъ постояннымъ литературнымъ чтеніемъ. (О томъ, будто Ф. М.—чѣ еще въ Инженерномъ училищѣ писалъ своихъ „Бѣдныхъ людей“, докторъ Ризенкампфъ, ничего не знаетъ). Изъ русскихъ писателей онъ особенно охотно читалъ тогда Гоголя и любилъ произносить наизусть цѣлыя страницы изъ „Мертвыхъ душъ“. Изъ французскихъ писателей, кромѣ прежде уже ему особенно полюбившихся Бальзака, Жоржъ Зандъ и Виктора Гюго, онъ, по свидѣтельству г. Ризенкампфа, читалъ Ламартина-Фредерика-Сулъе (особенно любя его „Мѣ-

moiges du diable“), Эмиля Сувестра, отчасти даже Поль-де-Кока. Понятно, что при все болѣе и болѣе развивающихся литературныхъ наклонностяхъ, Достоевскій долженъ былъ тяготиться посѣщеніемъ офицерскихъ классовъ. Онъ бы давно бросилъ ихъ, если бы не угроза опекуна прекратить въ такомъ случаѣ выдачу ему денегъ. А Федоръ Михайловичъ въ нихъ постоянно нуждался!

Въ ноябрѣ 1842 г. получено было изъ Ревеля извѣстіе о рожденіи у Михаила Михайловича сына. Федоръ Михайловичъ былъ его крестнымъ отцомъ и, по замѣчанію г. Ризенкампфа, проявилъ по этому случаю свою обычную щедрость. Въ декабрѣ младшій братъ, Андрей Михайловичъ, жившій, какъ мы знаемъ изъ писемъ, съ 1841 г. у Федора Михайловича, поступилъ въ Строительное училище. Оставшись одинъ, Федоръ Михайловичъ сталъ тѣмъ усиленнѣе готовиться къ экзамену изъ офицерскихъ классовъ. Въ то же время и г. Ризенкампфу пришлось серьезно думать о выпускномъ экзаменѣ изъ Медицинской академіи. Поневоля они стали видѣться рѣже.

Въ великомъ посту 1842 г., запомнилъ однако г. Ризенкампфъ, Федоръ Михайловичъ, у котораго вдругъ оказался опять приливъ денегъ (расщедрился, можетъ быть, опекунъ, чтобы поощрить его усидчивыя занятія инженерными науками), позволилъ себѣ отдыхать отъ трудовъ на концертахъ вновь прибывшаго Листа, а также знаменитаго пѣвца Рубини и кларнетиста Блаза. Послѣ Пасхи, въ апрѣлѣ, онъ сошелся съ докторомъ Ризенкампфомъ на представленіи „Руслана и Людмила“. Но уже съ мая Федоръ Михайловичъ опять отказался отъ всякихъ удовольствій, чтобы вполне отдаться приготовленіямъ къ окончательному экзамену, продолжавшемуся съ 20-го мая по 20-е іюня. Въ то же время держалъ свой выпускной экзаменъ и д-ръ Ризенкампфъ. Отъ усиленныхъ занятій онъ заболѣлъ, и еще 30-го іюня лежалъ въ постели. Какъ вдругъ въ этотъ день прѣзжаетъ къ нему Федоръ Михайловичъ, котораго нельзя было и узнать. Веселый, съ здоровымъ видомъ, довольный судьбой, онъ возвѣстилъ о благополучномъ окончаніи экзаменовъ, выпускѣ изъ заведенія съ чиномъ подпоручика (въ полевые инженеры), о полученіи отъ опекуна такой суммы денегъ, которая дала ему возможность расплатиться со всѣми кредиторами, наконецъ о полученіи 28-дневнаго отпуска въ Ревель и о своемъ намѣреніи отправиться туда на другой же день. Теперь же онъ силою стащилъ пріятеля съ постели, посадилъ его съ собой на пролетку и повезъ въ ресторанъ Лерха на Невскомъ проспектѣ. Тутъ Достоевскій потребовалъ себѣ номеръ съ роялемъ, заказалъ роскошный обѣдъ съ винами и заставилъ больного пріятеля ѣсть и пить съ собой вмѣстѣ. Какъ

ни казалось это сначала невозможнымъ для больного г. Ризенкампа, но примѣръ Федора Михайловича подѣйствовалъ на него заразительно;— онъ хорошо пообѣдалъ, сѣлъ за рояль—и выздоровѣлъ.

На другой день, въ 10 часовъ утра, онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, проводилъ Федора Михайловича на пароходъ, а черезъ три недѣли и самъ отправился въ Ревель, гдѣ нашелъ его вполне наслаждающимся свободой въ семействѣ брата. Пришлось, однако, познакомиться и съ ревельскимъ обществомъ, и оно, по свидѣтельству д-ра Ризенкампа, „своимъ традиціональнымъ, кастовымъ духомъ, своимъ nepотизмомъ и ханжествомъ, своимъ цѣтизмомъ, разжигаемымъ фанатическими проповѣдями тогдашняго моднаго пастора гернгутера Гуна, своею нетерпимостью особенно въ отношеніи военнаго элемента“, произвело на Достоевскаго весьма тяжелое впечатлѣніе. Оно такъ и не изгладилось въ немъ во всю жизнь. Онъ былъ тѣмъ болѣе пораженъ, что ожидалъ встрѣтить въ культурномъ обществѣ здоровые признаки культуры. „Съ трудомъ я могъ убѣдить Федора Михайловича, говоритъ д-ръ Ризенкампъ, что все это — только нѣстный колоритъ, свойственный жителямъ Ревеля... При своей склонности къ генерализаціи, онъ возмѣялъ съ тѣхъ поръ какое-то предубѣжденіе противъ всего нѣмецкаго“.

Между тѣмъ Михаилъ Михайловичъ, съ помощью жены, снабдилъ брата полнымъ ремонтомъ бѣлья и платья, столь дешеваго въ Ревелѣ. Увѣренный въ томъ, что Федоръ Михайловичъ никогда не знаетъ, сколько у него чего, онъ, по словамъ г. Ризенкампа, просилъ послѣдняго поселиться въ Петербургъ вмѣстѣ съ Федоромъ Михайловичемъ и, по возможности, подѣйствовать на него примѣромъ нѣмецкой аккуратности. Вернувшись въ Петербургъ въ сентябрѣ 1843 г., докторъ Ризенкампъ такъ и сдѣлалъ. Засталъ онъ Федора Михайловича безъ копѣйки, кормящимся молокомъ и хлѣбомъ, да и то въ долгъ изъ лавочки. „Федоръ Михайловичъ, говоритъ онъ, принадлежалъ къ тѣмъ личностямъ, около которыхъ живетъ всемъ хорошо, но которыя сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей довѣрчивости и добротѣ, онъ не хотѣлъ вникать въ дѣло и обличать прислугу и ея приживаловъ, пользовавшихся его безпечностью“. Самое сожителство съ докторомъ чуть было не обратилось для Федора Михайловича въ постоянный источникъ новыхъ расходовъ. Каждого бѣдняка, приходившаго къ доктору за совѣтомъ, онъ готовъ былъ принять, какъ дорогаго гостя. „Принявшись за описаніе быта бѣдныхъ людей, говорилъ онъ, какъ бы въ оправданіе, я радъ случать ближе познакомиться съ пролетаріатомъ столицы“. На повѣрку однако же оказалось, что громадныя счеты, подававшіяся въ концѣ мѣсяца даже

однимъ булочникомъ, зависать не столько отъ подобнаго гостепріимства Федора Михайловича, сколько оттого, что его деньщикъ Семень, находясь въ интимныхъ отношеніяхъ съ прачкой, прокармливалъ не только ее, но и всю ея семью и цѣлую компанію ея друзей—на счетъ своего барина. Мало того: вскорѣ раскрылась и подобная же причина быстрого таянія бѣлья, ремонтировавшагося каждые три мѣсяца, т. е. при каждой получкѣ денегъ изъ Москвы. Но точно такъ же какъ въ деньщикѣ, пришлось разочаровывать Федора Михайловича въ его портномъ, сапожникѣ, пирюльникѣ и т. д., а равнымъ образомъ доводить его до сознанія, что и въ числѣ угощаемыхъ имъ посѣтителей далеко не всѣ заслуживали участія.

Крайнее безденежье Федора Михайловича продолжалось около двухъ мѣсяцевъ. Какъ вдругъ, въ ноябрѣ, онъ сталъ рассказывать по залѣ какъ-то не по обыкновенному—громко, самоувѣренно, чуть не гордо. Оказалось, что онъ получилъ изъ Москвы 1000 руб. „Но на другой же день утромъ, рассказываетъ далѣе д-ръ Ризенкампфъ, — онъ опять своею обыкновенною тихою, робкою походкою вошелъ въ мою спальню съ просьбою одолжить ему 5 рублей“. Оказалось, что большая часть полученныхъ денегъ ушла на уплату за различные заборы въ долгъ, остальное же частію проиграно на бильярдѣ, частію украдено какимъ-то партнеромъ, котораго Федоръ Михайловичъ довѣрчиво зазвалъ къ себѣ и оставилъ на минуту одного въ кабинетѣ, гдѣ лежали незапертыми послѣдніе 50 рублей.

По всей вѣроятности названный Федоромъ Михайловичемъ незнакомецъ, въ свою очередь, показался ему любопытнымъ субъектомъ для наблюденій. Особенное его вниманіе остановилъ на себѣ одинъ молодой человекъ, болѣе долгое время пользовавшійся совѣтами г. Ризенкампфа — братъ фортепяннаго мастера Келера. Это былъ, рассказываетъ докторъ, вертлявый, угодливый, почти оборванный нѣмчикъ, по профессіи — коммиссіонеръ, а въ сущности — приживалка. Замѣтивъ беззавѣтное гостепріимство Федора Михайловича, онъ сдѣлался одно время ежедневнымъ его посѣтителемъ—къ чаю, обѣду и ужину, и Федоръ Михайловичъ терпѣливо выслушивалъ его рассказы о столичныхъ пролетаріяхъ. Нерѣдко онъ записывалъ слышанное и г. Ризенкампфъ впоследствии убѣдился, что кое что изъ келеровскаго матеріала отразилось потомъ на романахъ „Бѣдные люди“, „Двойникъ“, „Неточка Незванова“ и т. д.

Въ декабрѣ 1843 г. Федоръ Михайловичъ опять дошелъ до крайняго недостатка въ деньгахъ. Дѣло дошло до займа у одного отставнаго унтеръ-офицера, бывшаго прежде пріемщикомъ мяса у подрядчиковъ во 2-мъ Сухопутномъ госпиталѣ и дававшего деньги подъ закладъ. Федору

Михайловичу пришлось дать ростовщику довѣренность на получение впередъ жалованья за январскую треть 1844 г., съ ручательствомъ казначея Инженернаго управленія. При этой операціи вмѣсто 300 руб. асс. Федору Михайловичу доставалось всего 200, а 100 р. считались процентами за четыре мѣсяца. Понятно, что при этой сдѣлкѣ Федоръ Михайловичъ долженъ былъ чувствовать глубокое отвращеніе къ ростовщику. Оно, можетъ быть, припошилось ему — когда, столько лѣтъ спустя, онъ описывалъ ощущенія Раскольниковова при первомъ посѣщеніи имъ процентщицы. Въ единственномъ, дошедшемъ до насъ письмѣ 1843 г., относящемся къ его послѣднему дню, самъ Ф. М. говоритъ о своихъ долгахъ, хотя опекунъ и не оставляетъ его безъ денегъ. Онъ подбиваетъ брата общими усиліями перевести „Матильду“ Евгенія Сю, при чемъ молодое, разыгравшееся воображеніе сулитъ ему огромный барышъ для поправленія ихъ запутанныхъ денежныхъ обстоятельствъ.

Къ 1-му февраля 1844 г. Ф. М. — чу выслали опять изъ Москвы 1,000 р., но уже къ вечеру въ карманѣ у него, по свидѣтельству г. Ризенкампа, оставалось всего сто. На бѣду, отправившись ужинать къ Доминику, онъ съ любопытствомъ сталъ наблюдать за билліардной игрой. Тутъ подобрался къ нему какой-то господинъ, обратившій его вниманіе на одного изъ участвующихъ въ игрѣ — ловкаго шулера, который была подкуплена вся прислуга въ ресторанѣ. „Вотъ, продолжалъ незнакомецъ — домино такъ совершенно невинная, честная игра“. Кончилось тѣмъ, что Федоръ Михайловичъ тутъ же захотѣлъ выучиться новой игрѣ, — но за урокъ пришлось заплатить дорого: на это понадобились цѣлыхъ 25 партій и послѣдняя сторублевая Достоевскаго перешла въ карманъ партнера-учителя.

На другой день новое безденежье, новыя займы нерѣдко за самыя варварскіе проценты, — чтобы только было на что купить сахару, чаю и т. п. Въ мартѣ доктору Ризенкампу пришлось оставить Петербургъ, не успѣвъ приучить Федора Михайловича къ нѣмецкой аккуратности и практичности.

Съ 1844 года снова имѣются на лицо письма Федора Михайловича къ брату, по которымъ мы и можемъ слѣдить за нимъ. Мы увидимъ, что нѣкоторыя изъ признаній Федора Михайловича въ общихъ чертахъ подтверждаютъ показанія доктора Ризенкампа.

Въ началу года должно быть отнесено письмо безъ даты, начинающееся выговоромъ брату за то, что онъ давно не писалъ, по неизвѣстности ему адреса Федора Михайловича. „Адреса, замѣчаетъ Федоръ Михайловичъ, можно было и не имѣть, зная, что я служу въ чертежной Ин-

женернаго департамента“ (значить, это было уже по выходѣ изъ офицерскихъ классовъ). Далѣе, желая „хорошѣть Ѳедюшкѣ“ (крестнику), Ѳедоръ Михайловичъ говоритъ объ ожиданіи новаго пришельца въ ихъ семью, желаетъ имъ дочку и выражаетъ готовность опять крестить. Такъ какъ увеличеніе семейства заставляло думать и объ увеличеніи средствъ, то Ѳедоръ Михайловичъ и предлагаетъ брату участіе въ какомъ-то коллективномъ переводческомъ предпріятіи. „Не худо—пишетъ онъ—еслибы крайнимъ срокомъ переслалъ ты намъ переводъ къ 1-му марта“,—срокъ, дающій поводъ думать, что письмо относится къ самому началу года, тѣмъ болѣе, что далѣе говорится: „на праздникахъ я перевелъ Евгенію Grandet Балзака“ (конечно на Рождествѣ). Средства на изданіе должны быть пріобрѣтены въ складчину. Товарищъ Ѳедора Михайловича, Поттонъ дастъ 700, мать его ссудитъ сына 2000 (по 40⁰/o!!); про себя Ѳедоръ Михайловичъ говоритъ: „сколочусь и дамъ 500“. Розыгравшееся воображеніе сулитъ ему 4000 барыша. Между тѣмъ, въ концѣ письма Ѳедоръ Михайловичъ сознается, что у „будущаго тысячника“ нѣтъ денегъ на переписку „Евгеніи Гранде“ и проситъ брата „ради ангеловъ небесныхъ“ прислать ему 35 руб. асс. „Клянусь Олимпомъ, заключаетъ онъ, и моимъ жидомъ Янкелемъ (оконченной драмой) * и чѣмъ еще? развѣ усами, которые, надѣюсь, когда нибудь выростутъ, что половина того, что возьму за Евгенію, будетъ твоя“.

Имѣется затѣмъ письмо, помѣченное 14-мъ февраля 1844 года, въ которомъ Ѳедоръ Михайловичъ проситъ брата „повременить до времени, и не переводить“, такъ какъ „дѣло, кажется, не пойдетъ на ладъ“. „Какъ жалко, другъ мой, какъ мнѣ-то тебя жалко, заключаетъ Ѳедоръ Михайловичъ. — Извини, голубчикъ, и меня, бѣдняка; вѣдь я Мурадъ несчастный“.

Слѣдуетъ письмо опять безъ даты, но находящееся въ очевидной связи съ только что приведеннымъ письмомъ. Ѳедоръ Михайловичъ ссылается на какое-то до насъ не дошедшее письмо, предполагая, что послѣ него Михаилъ Михайловичъ немедленно взялся за работу. Работа эта—переводъ „Донъ-Карлоса“. „На дняхъ, пишетъ онъ,—въ головѣ моей блеснула идея—это: напечатать „Донъ-Карлоса“ немедленно по полученіи, на свой счетъ. Деньги я достану, именно возьму впередъ жалованье (что я уже не разъ дѣлывалъ)*... „У тебя семейство, пишетъ Ф. М.—Жалованье маленькое... Горе въ молодости опасно. Слѣдовательно нужно рабо-

*) Какой это, и гдѣ она? Гдѣ также оставшіяся неоконченными, какъ мы знаемъ, драмы „Марія Стюартъ“ и „Борисъ Годуновъ“?

татъ“. Про себя онъ далѣе говоритъ, что переводить Жоржъ-Зандъ и беретъ 25 руб. асс. съ печатнаго листа. Переводъ Донъ-Карлоса, къ которому Фѳодоръ Михайловичъ хотѣлъ написать предисловіе, можно начать печатать въ іюнѣ (значитъ письмо писано значительно ранѣе). Въслѣдъ за письмомъ слѣдуетъ приписка: „Служба надоѣдаетъ. Служба надоѣла какъ картофель... Приѣду къ вамъ въ сентябрѣ, когда выйду въ отставку“.

Это прямое свидѣтельство самого Ф. М. о томъ, что служба ему опротивѣла, не мирится съ тѣмъ, будто онъ „страстно любилъ инженерную часть“ (какъ говорятъ нѣкоторые). Если бы Ф. М. такъ страстно ее любилъ, то онъ, при своемъ умѣннн и охотѣ работать, былъ бы въ числѣ первыхъ учениковъ, а этого не было. Къ тому же, по замѣчанію А. И. Савельева, тогда бы онъ безъ сомнѣнія былъ назначенъ на службу въ одну изъ первоклассныхъ крѣпостей, а не въ чертежную Инженернаго департамента. Инженерная часть совѣтъ не сходилась съ литературнымъ призваніемъ Ф. М.—ча, а потому онъ и долженъ былъ вынн въ отставку.

Въ письмѣ, помѣченномъ 30-мъ сентября (1844 г.), Фѳодоръ Михайловичъ извѣщаетъ брата, что получилъ „Донъ-Карлоса“ и что переводъ весьма хорошъ, хотя мѣстами и неровенъ. „Я взялъ смѣлость, говоритъ онъ, — кое что поправить, также кое гдѣ сдѣлать стихъ позвучнѣе“. (Любопытно бы знать, не стихами-ли писалъ Фѳодоръ Михайловичъ и начатныя имъ драмы). Онъ недоволенъ иностранными словами въ переводѣ и часто употребляемнмъ словомъ *surv*, котораго, сколько ему извѣстно, въ Испаніи не было (Фѳодоръ Михайловичъ позабылъ, что оно есть у Шиллера). Онъ собирается отнести переводъ „этимъ дуракамъ въ репертуаръ— пусть рта розинуть... не то въ „Отечественныя Записки“... За мелочь, говоритъ онъ, — не продамъ, будь покоенъ“. Далѣе рѣчь идетъ опять о цѣломъ изданіи Шиллера — съ раздѣленіемъ на три выпуска. „На счетъ издателей посмотримъ. Но штука въ томъ, что гораздо лучше самимъ, иначе нѣтъ барыша“. Далѣе Фѳодоръ Михайловичъ извѣщаетъ о томъ, что ранѣе или позже должно было совершиться. „Подаль я въ отставку, т. е., клянусь тебѣ не могъ служить болѣе... Зачѣмъ терять хорошіе годы? А, наконецъ, главное: меня хотѣли командировать— что бы я сталъ дѣлать безъ Петербурга?“ Желая тутъ же и устранить возраженіе, что чѣмъ же онъ будетъ жить, Фѳодоръ Михайловичъ говоритъ: „кусочъ хлѣба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободенъ“. Слѣдуетъ, однако же, расчетъ долгамъ и жалоба на „ихъ привычку прислать только треть чего просишь... Никто не знаетъ, говоритъ онъ, — что я выхожу въ отставку... У меня нѣтъ ни копѣйки на платьѣ. Отставка моя выходитъ

14-го октября. Если... москвичи промедлятъ, я пропалъ. И меня пресерьезно стащутъ въ тюрьму (это ясно)". Онъ готовъ совсѣмъ отказаться отъ своей доли въ имѣніи, только бы дали ему 500 руб. сер. разомъ и и другіе 500 съ уплатою по 100 руб. сер. въ мѣсяць... Поручись, пожалуйста, душа моя, за меня... въ томъ, что я не простру далѣе моихъ требованій... Ты говоришь, продолжаетъ Федоръ Михайловичъ, — спасеніе мое драма (опять представляется намъ вопросъ — какаѣ, и гдѣ ея слѣды?) Да вѣдь постановка требуетъ времени. Плата также. А у меня на носу отставка". Далѣе — важное сообщеніе: „У меня есть надежда. Я кончаю романъ, въ объемѣ Евгени Grandet. Романъ довольно оригинальный... Къ 14-му я уже навѣрно и отвѣтъ получу за него. (Отдалъ въ „Отечеств. Записки". Я моей работой доволенъ). Получу можетъ быть рублей 400... Я бы тебѣ болѣе распространился о моемъ романѣ, да некогда. (Драму поставлю непременно. Я этимъ жить буду)". Слѣдуетъ жалоба на опекуна, совѣтующаго не увлекаться Шекспиромъ". Можно бы подумать, не была-ли драма какою нибудь передѣлкой Шекспировской темы. Но далѣе Ф. М. спрашиваетъ: „ну къ чему тутъ Шекспиръ?.. Какъ я его отдѣлалъ (опекуна). Мои письма — chef d'oeuvre *летристики*". На поляхъ приписано повтореніе просьбы написать за него въ Москву. „Хлестаковъ соглашается идти въ тюрьму, только *благороднымъ образомъ*. Ну, а если у меня *штановъ* не будетъ, будетъ-ли это благороднымъ образомъ? Въ письмѣ есть и еще приписка: „адресъ мой — у Владимірской, въ Графскомъ пер., д. Прянишникова". Значитъ Ф. М. еще не оставилъ тогда своей дорогой квартиры. Опять приписка: „Я чрезвычайно доволенъ романомъ моимъ. Не нарадуюсь. Съ него-то я деньги навѣрно получу, а тамъ"...

Рѣчь, конечно, идетъ о „Бѣдныхъ людяхъ". О нихъ же, вѣроятно, говорится и въ письмѣ, помѣченномъ 24-мъ марта (надо думать 1845 г.). Романъ, сообщается тутъ, былъ оконченъ еще въ ноябрѣ, но въ декабрѣ Ф. М. „вздумалъ его весь передѣлать; передѣлалъ и переписалъ, но въ февралѣ началъ опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать". Изъ этого видно, что первый романъ стоилъ молодому автору не мало труда. „Около половины марта, пишетъ онъ, я былъ готовъ и доволенъ. Но тутъ другая исторія: цензура не беретъ менѣе чѣмъ на мѣсяць... Я взялъ назадъ рукопись, не зная, на что рѣшиться." Далѣе мы узнаемъ, что ему совѣтуютъ отдать въ „Отеч. Записки", но онъ боится, что прочтутъ не ранѣе какъ черезъ полгода. Къ тому же, „отдавать, по его словамъ, вещь въ журналъ, значитъ идти подъ ярмо не только главнаго *maitre d'otel'*я, но даже всѣхъ чумичекъ и поваренковъ, гнѣздящихся въ гнѣздахъ, откуда распространяется просвѣ-

ценіе“. Онъ рѣшается ждать и войти пожалуй опять въ долги и къ 1-му сентября, „когда всѣ переселятся въ Петербургъ и будутъ какъ гончія собаки искать носомъ чего нибудь новенькаго“, тиснуть на послѣднія крохи... „Напечатать самому, утверждаетъ онъ далѣе, — значить пробить впередъ грудью, и если вещь хорошая, то она не только не пропадетъ, но окутитъ меня отъ долговой кабалы и дастъ мнѣ ѣсть“. Къ концу письма Ф. М. говоритъ: „моимъ романомъ я серьезно доволенъ.. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочемъ, ужасные недостатки“. Онъ смотритъ на свое первое произведеніе какъ на единственный якорь спасенія. „Если мое дѣло не удастся, пишетъ онъ, — я, можетъ быть, повѣшусь“... „Въ „Инвалидѣ“... только что прочелъ о нѣмецкихъ поэтахъ, умершихъ съ голоду, холоду и въ сумасшедшемъ домѣ“.

Мы дошли до самаго рѣшительнаго момента въ жизни Достоевскаго. Въ слѣдующемъ письмѣ, уже отъ 4-го мая 1855 г., Федору Михайловичу пришлось, однако, признаться: „этотъ мой романъ... задалъ мнѣ такой работы, что, еслибъ зналъ, такъ не начиналъ бы его со-всѣмъ. Я вздумалъ его еще разъ переправлять и ей Богу къ лучшему“. И это не смотря на столь затруднительныя финансовыя обстоятельства; ясно, что достоинство этого пробнаго камня было для Ф. М. важнѣе всего. „Ты несправедливо говоришь, тутъ же и замѣчаетъ онъ, — что меня не мучаетъ мое положеніе“ (братъ, вѣроятно, его упрекаетъ за медленность съ романомъ)... „Часто я по цѣлымъ ночамъ не сплю отъ мучительныхъ мыслей. Мнѣ говорятъ, что я пропаду, если напечатаю мой романъ отдѣльно... Книгопродавецъ — алтынная душа — прижметъ непре-мѣнно... И такъ я рѣшился обратиться къ журналамъ и отдать мой романъ за безцѣнокъ — разумѣется въ „Отеч. Записки“. Дѣло въ томъ, что онъ расходится въ 2,500 экземплярахъ, прочтутъ, значить, по расчету Ф. М., до 100000 человекъ. „Напечатай я тамъ, говоритъ онъ — моя будущность литературная, жизнь — все обезпечено“. Тутъ же сообщается, что есть еще „много новыхъ идей, которыя, если первый романъ пристроится, упречатъ его литературную извѣстность“. Но пока, увы, у него нѣтъ денегъ. „Чортъ знаетъ куда они исчезли. Зато мало долговъ“. Относительно переѣзны квартиры (на необходимость этой переѣзны вѣроятно указывалъ братъ), Ф. М. замѣчаетъ, что за нее кое что еще долженъ, что не стоитъ же мѣнять теперь, когда неизвѣстно, поѣдетъ ли онъ въ Ревель, или нѣтъ, пристроить ли романъ или нѣтъ. Въ припискѣ — опять старая мысль объ изданіи Шиллера. Только бы устроить романъ, тогда „Шиллеръ найдетъ себѣ мѣсто, или я — не я“. Слѣдуетъ указаніе на только что прочитанное по русски и по французски. „Емеля Вельт-

мана — прелесть. „Тарантасъ“ хорошо написанъ, только иллюстраціи — гадость. „Вѣчный Жидъ“ не дурень. Впрочемъ, Сю весьма недалекъ“. Сбоку — новал приписка: „а не пристрою романа, такъ, можетъ быть, и въ Неву! Что же дѣлать? Я ужь думалъ обо всемъ? Я не переживу смерти моей *idée fixe*“.

О дальнѣйшей судьбѣ „Вѣднихъ людей“ мы узнаемъ подробно по воспоминаніямъ Ф. М. въ „Дневникѣ писателя“ 1877 г. (въ письмахъ — опять пробѣлъ).

Воспоминанія эти вызваны были свиданьемъ его съ Некрасовымъ во время тяжелой предсмертной болѣзни послѣдняго. „Намъ, говоритъ тутъ Федоръ Михайловичъ (т. е. ему съ Некрасовымъ), было по двадцати съ немногимъ лѣтъ. Я жилъ въ Петербургѣ, уже годъ какъ вышелъ въ отставку изъ инженеровъ, самъ не зная зачѣмъ, съ самыми неясными и неопредѣленными цѣлями. Былъ май мѣсяць сорокъ пятаго года“. Память значить нѣсколько измѣнила Федору Михайловичу. Изъ писемъ его мы уже знаемъ, что отставка его должна была послѣдовать въ октябрѣ 1844 г. *), стало бытъ въ маѣ 1845 г. минуло съ тѣхъ поръ только около полугода. „Въ началѣ зимы я началъ вдругъ „Вѣднихъ людей“, мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего еще не писавши“. (Драмы могли быть не въ счетъ. Но какъ согласить слова Ф. М.: „я началъ вдругъ „Вѣднихъ людей“, съ вышеприведеннымъ свидѣтельствомъ А. И. Савельева, что они писались еще въ Инженерномъ училищѣ? Неужели память могла до такой степени измѣнить Ф. М? Или, можетъ быть, онъ уничтожилъ то, что было написано въ училищѣ, и принялся съизнова писать „Вѣднихъ людей“ уже по выходѣ въ отставку?) Слѣдуетъ извѣстный разсказъ о томъ, какъ Д. В. Григоровичъ — старый его товарищъ и единственный тогдашній знакомый изъ литературнаго міра — свелъ его съ Некрасовымъ, собиравшимся къ будущему году издать сборникъ. Достоевскій сконфузился, отдавая ему свою рукопись, и страшно боялся Вѣдлинскаго: „осмѣетъ онъ моихъ „Вѣднихъ людей“, думалось ему, „а писалъ я ихъ съ страстью, почти со слезами“. Вечеромъ того же дня Федоръ Михайловичъ пошелъ къ одному изъ своихъ прежнихъ товарищей, и, по обычаю тогдашней молодежи, всю ночь читалъ съ нимъ Богъ вѣсть въ который разъ „Мертвыя души“. Воротился онъ домой уже въ четыре часа утра — въ бѣлую, свѣтлую какъ день и на этотъ разъ даже теплую петербургскую ночь. Спать какъ то не хотѣлось, а хотѣлось просто си-

*) Изъ выданнаго ему въ Сибири билета видно, что онъ уволенъ отъ службы (за болѣзнь) поручикомъ 19 октября, изъ списковъ-же Петербургской инженерной команды исключенъ 17 декабря 1844 г.

дѣтъ у отвореннаго окна. Какъ вдругъ — звонокъ. Бѣбгаютъ Григоровичъ съ Некрасовымъ, бросаются его обнимать. Наканунѣ вечеромъ они стали читать его рукопись на пробу: „съ десяти страницъ видно будетъ“. Но за первыми десятию послѣдовали еще десять, и т. д. пока незамѣтнымъ образомъ не было въ одинъ присѣсть прочтено все. Когда дѣло дошло до того мѣста, гдѣ за гробомъ Покровскаго бѣжитъ его старшій отецъ, Некрасовъ, какъ потомъ уже рассказывалъ Григоровичъ, стукнулъ ладонью по рукописи: „ахъ, чтобъ его!“ Оба рѣшили сейчасъ-же бѣжать къ Достоевскому: „что жь такое, что спать, — мы разбудимъ его: это выше сна“.

На Федора Михайловича особенно подѣйствовала именно необычайность всего этого. „У иного уснѣхъ, говоритъ онъ, ну хвалить, встрѣчаютъ, поздравляютъ, а вѣдь эти прибѣжали со слезами, въ четыре часа, разбудить, потому что это выше сна“. Тотъ чистый родъ славы, о которомъ мечталъ онъ, какъ мы видѣли, въ одномъ изъ своихъ писемъ, — славы, основывающейся на глубокомъ задушевномъ сочувствіи, сразу доставался ему. Впереди оставалось еще свиданье съ Бѣлинскимъ. Некрасовъ, входя къ нему съ „Бѣдными людьми“, провозгласилъ: „Новый Гоголь явился“. — „У васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ“, строго замѣтилъ Бѣлинскій но, прочитавъ романъ, сказалъ: „приведите, приведите его скорѣе“. Когда Достоевскаго привели къ „страшному критику“, тотъ встрѣтилъ его „чрезвычайно важно и сдержанно“. Но не прошло, пожалуй, и минуты, какъ Бѣлинскій заговорилъ: „да вы понимаете-ли сами, что вы это такое написали?“ Послѣдовала цѣлая патетическая тирада. „Я вышелъ отъ него въ упоеніи, воспоминаетъ Федоръ Михайловичъ... Я всѣмъ существомъ своимъ ощущалъ, что въ жизни моей произошелъ торжественный моментъ, переломъ на вѣки... „И неужели вправду я такъ великъ“, стыдливо думалъ я про себя въ какомъ-то робкомъ восторгѣ... „О, я буду достойнымъ этихъ похвалъ, и какіе люди, какіе люди!... Я заслужу, постараюсь стать такимъ же прекраснымъ, какъ и они, пребуду „вѣренъ!“ О, какъ я легкомысленъ, и еслибъ Бѣлинскій только узналъ, какія во мнѣ есть дрянныя, постыдныя вещи“... „Я это все думалъ, заключаетъ Федоръ Михайловичъ, я припоминаю ту минуту въ самой полной ясности... Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я въ каторгѣ, вспоминая ее, укрѣплялся духомъ“ *).

Между тѣмъ въ трудѣ, появившемся несравненно ранѣе „Дневника Писателя“, въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, относящихся еще къ на-

*) „Дневникъ Писателя“ 1877 г., Январь. (Сочин., т. XII).

чалу 1860-хъ годовъ, Федоръ Михайловичъ, подъ видомъ романа Ивана Петровича описывая, очевидно, свой собственный первый романъ, говорилъ, что „если онъ былъ счастливъ когда нибудь, то это даже и не во время первыхъ упоительныхъ минутъ своего успѣха, а тогда, когда еще не читалъ и не показывалъ никому своей рукописи: въ тѣ долгія ночи среди восторженныхъ надеждъ и мечтаній и страстной любви къ труду, когда онъ сжился съ своей фантазіей, съ лицами, которыхъ самъ создалъ, какъ съ родными, какъ будто съ дѣйствительно существующими; любилъ ихъ, радовался и печалился съ ними, а подчасъ даже плакалъ самыми искренними слезами надъ незатѣйливымъ героемъ своимъ.“ Что онъ несомнѣнно говорить тутъ о себѣ, это видно изъ того, что въ романѣ Ивана Петровича „выставлены, по отзыву слушающаго его старика Ихменева, какой-то маленькій, забитый и даже глуповатый чиновникъ, у котораго и пуговицы на вицмундирѣ обсыпались“ (очевидно М. А. Дѣвушкинъ), маленькую же Нелли огорчаетъ въ этомъ романѣ, „зачѣмъ умеръ вотъ этотъ молодой, въ чахоткѣ“ (Покровский), и ей очень хотѣлось бы знать, „будутъ-ли дѣвушка и старичекъ (Варенька и Макарь Алексѣевичъ) жить вмѣстѣ и будутъ-ли они когда нибудь не бѣдными?“ Не менѣе ясное указаніе на „Бѣдныхъ людей“ сказывается тутъ и въ томъ, что, прочитавъ романъ Ивана Петровича, критикъ Б., впоследствии умершій въ чахоткѣ, обрадовался какъ ребенокъ; Иванъ же Петровичъ оказывается прямо Федоромъ Михайловичемъ уже потому, что „не хочетъ служить, а хочетъ сочинять романы“ *).

Не трудно примирить свидѣтельство начала 1860-хъ годовъ со свидѣтельствомъ 1870-хъ. Когда Федоръ Михайловичъ писалъ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, въ памяти его были особенно живы тѣ высокія душевныя наслажденія, какія испыталъ онъ во время писанія своего перваго романа. Когда же въ „Дневникѣ“ онъ описывалъ свое свиданіе съ съ больнымъ Некрасовымъ, то это выдвинуло впередъ въ его памяти собственно тотъ моментъ, когда они сблизились по поводу „Бѣдныхъ Людей“, а самый процессъ созданія ихъ и то, что онъ когда-то писалъ о немъ, оставалось отодвинутымъ, такъ сказать, въ туманную даль.

Но въ обоихъ случаяхъ Достоевскій, рассказывая о восторженномъ приѣмѣ его роману, не обратилъ вниманія читателя на то, что въ сущности однакоже — если не Некрасовъ (печатнаго отзыва котораго мы не имѣемъ), то Вѣлинскій видѣлъ въ романѣ далеко не все то, что самъ авторъ. Слова Вѣлинскаго: „да понимаете-ль сами то, что вы это такое на-

*) „Униженные и Оскорбленные“, ч. I, гл. V, VI и XI; ч. III, гл. V. (Соч. т. V).

писали! и то, что еще прибавилъ онъ къ этому, какъ припоминаеть Достоевскій: „вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, это могли написать... не можетъ быть, чтобы вы въ ваши двадцать лѣтъ это понимали“ — въ сущности значили, что критикъ понималъ Достоевскаго по своему, а Достоевскій въ свои двадцать три года понималъ такъ же и то, чего, при всей своей даровитости, по многимъ причинамъ не понималъ критикъ. „Да вѣдь этотъ вашъ несчастный чиновникъ... даже и несчастнымъ-то себя не смѣетъ почесть отъ приниженности, продолжалъ Бѣлинскій, — и когда добрый человекъ, его генераль, даетъ ему эти сто рублей, онъ раздробленъ, уничтоженъ отъ изумленія, что такого, какъ онъ, могъ пожаловать „ихъ превосходительство“, не „его превосходительство“, а „ихъ превосходительство“, какъ онъ у васъ выражается. А эта оторвавшаяся пуговица... да вѣдь тутъ ужъ не сожалѣніе къ этому несчастному, а ужасъ, ужасъ! Въ этой благодарности-то его ужасъ! Это трагедія!.. Мы, публицисты и критики, только разсуждаемъ... а вы, художники, одною чертой, разомъ въ образѣ выставляете самую суть... что бы самому неразсуждающему читателю стало вдругъ все понятно“. Кроме этого, сохраненнаго самимъ Достоевскимъ устнаго отзыва критика подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ „Бѣдныхъ людей“, другой устный отзывъ о нихъ Бѣлинскаго сохраненъ намъ П. В. Анненковымъ. *) Тутъ уже видно, что знаменитый критикъ обратилъ вниманіе и на другую сторону романа — не отрицательную, а положительную — но и ее понялъ *по своему*, т. е. опять же *какъ отрицательную*. „Дѣло тутъ простое, говорилъ онъ г. Анненкову: — нашлись добродушные чудаки, которые полагають, что любить весь міръ есть необычайная пріятность и обязанность для каждаго человека. Они ничего и понять не могутъ, когда колесо жизни со всеми ея порядками, наѣхавъ на нихъ, дробить имъ молча члены и кости. Вотъ и все, — а какая драма, какіе типы“.

Только позже, въ своей печатной статьѣ, болѣе вдумавшись въ романъ, при помощи, вѣроятно, непосредственнаго знакомства съ авторомъ, Бѣлинскій усмотрѣлъ наконецъ въ „Бѣдныхъ людяхъ“ и *положительное* значеніе Макара Алексѣевича. „Многіе могутъ подумать, говорить онъ тутъ, что въ лицѣ Дѣвушкина авторъ хотѣлъ изобразить человека, у котораго умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнию... Мысль автора гораздо глубже и гуманнѣе: онъ показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и свѣтлаго лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ“. Далѣе однако же и тутъ на первый планъ выдвинута

*) Очерки и воспоминанія, ч. III, стр. 138.

сцена съ *пуговицей*, даже и выписанная у критика цѣликомъ, тогда какъ вовсе не рассказывается тотъ моментъ, когда Дѣвухинъ, сначала, правда, „умалившись“ передъ зрѣлищемъ столичнаго блеска и шума, начинаетъ затѣмъ разсуждать о живущихъ среди этого блеска, что нѣтъ человѣка, который бы шепнулъ имъ на ухо: „полно о себѣ одномъ думать, для себя одного жить“, а отъ сознанія своей способности на подобныя разсужденія приходитъ къ выводу, что „не отъ чего было въ грошъ себя оцѣнять, испугавшись одного шума и грома“ *).

Да, критика, при всей восторженности приѣма, оказаннаго ею въ лицѣ Вѣлинскаго „Вѣднымъ людямъ“, въ сущности не оцѣнила ихъ во всей глубинѣ ихъ значенія. Но Достоевскій точно будто тогда не замѣтилъ этого — можетъ быть подъ живымъ впечатлѣніемъ похвалъ, польстившихъ его самолюбію. А самолюбіе въ немъ сильно сказывалось.

Понятно, что при лестномъ отзывѣ такого критика какъ Вѣлинскій, Федоръ Михайловичъ могъ не только не огорчаться, но даже почти гордиться тою бранью, съ какою приняли его многіе другіе. Это прямо видно изъ дальнѣйшей переписки съ братомъ.

Передъ нами во-1-хъ письмо безъ даты, относящееся, по содержанію, уже къ тому времени, когда Достоевскій былъ занятъ новымъ типомъ — Голядкина (въ „Двойникѣ“). Написано оно тотчасъ по возвращеніи изъ лѣтней поѣздки къ брату — надо думать, въ 1845 г. „Какъ грустно было мнѣ вѣзжать въ Петербургъ, пишетъ Ф. М... Еслибъ моя жизнь прекратилась въ эту минуту, то я бы, кажется, съ радостію умеръ“. Тутъ сказана вся подвижная впечатлительность его натуры; — давно-ли писалъ онъ, что „пропалъ бы безъ Петербурга“? Но дѣло, кажется, въ томъ, что романъ, хотя и великолѣпно принятый въ рукописи, не былъ еще напечатанъ — такъ какъ „Петербургскому Сборнику“ Некрасова предстояло выйти въ свѣтъ только къ 1846 году. Денежныя обстоятельства Достоевскаго оставались крайне печальными. „Человѣка моего, пишетъ онъ дальше про свой пріѣздъ, — дома не оказалось... Дворникъ вручилъ мнѣ осиротѣлый ключъ моей, въ 600 рублей, квартиры (въ долгахъ)... Григоровича и Некрасова нѣтъ еще въ Петербургѣ... явятся развѣ-развѣ къ 15-му сентября... Какъ жаль, что нужно работать, чтобъ жить. Моя работа не терпитъ принужденія... Я теперь настоящій Голядкинъ, которымъ я, между прочимъ, займусь завтра же“. Такимъ образомъ, не дождавшись еще напечатанія перваго романа, онъ принимался уже за второй — ради насущнаго хлѣба.

*) Сочин. т. II, стр. 95.

Въ письмѣ отъ 8-го октября (конечно того же 1845 г.) Ф. М. сообщаетъ брату, что его „Голядкинъ“ пойдетъ по крайней мѣрѣ въ 1,500 р. асс. Тутъ же мы узнаемъ, что Вѣлинскій совѣтуетъ ему требовать за печатный листъ не менѣе 200 р., и что Некрасовъ набавилъ ему 100 р. серебромъ за „Вѣднхъ людей“, сознавшись, что 150 р. „плата не христіанская“. Одна бѣда, „изъ цензуры ничего еще не слыхать“ на счетъ „Вѣднхъ людей“. „Такой невинный романъ, пишетъ Ф. М., таскають-таскають, и я не знаю, чѣмъ они кончатъ. „Голядкинъ“, по-видимому, стоилъ Ф. М. не мало труда: онъ называетъ его въ письмѣ „подлецомъ страшнымъ“, который „никакъ не хочетъ впередъ идти... раньше половины ноября никакъ не соглашается окончить карьеру“.— Сообщая брату о томъ, что Вѣлинскій уже разгласилъ о „Голядкинѣ“ въ литературномъ мірѣ (о „Вѣднхъ же людяхъ“ говоритъ поль-Петербургъ, одинъ Григоровичъ чего стѣдитъ), Ф. М. замѣчаетъ, что Вѣлинскій видитъ въ немъ, Достоевскомъ „доказательство *передъ публикою* и оправданіе мнѣній своихъ“. Не замѣчая въ этомъ, по-видимому, служенія своего настоящаго значенія, Достоевскій обнаруживаетъ въ томъ же письмѣ и другой признакъ своего тогдашняго подпаденія подъ вліяніе Вѣлинскаго. Сообщая содержаніе задуманнаго Некрасовымъ „Зубоскала“, онъ безъ малѣйшей оговорки касается и заготовленныхъ для этого журнала выходковъ противъ славянофиловъ (они тутъ выставлены запятными доказательствомъ, что Адамъ былъ славянинъ). Письмо оканчивается восторженнымъ отзывомъ о „Теверино“ Ж. Занда въ „Отеч. Запискахъ“. „Ничего подобнаго не было еще въ нашемъ столѣтіи. Вотъ люди первообразовъ“. Тутъ же Ф. М. говоритъ и о задуманныхъ имъ „Запискахъ лакея о своемъ баринѣ“.

Въ письмѣ съ помяткою: *16-го ноября 1845 г.* Достоевскій жалуется, что „временемъ совсѣмъ не богатъ“. Къ 25-му надо непременно окончить „Голядкина“... Настроеніе письма однако далеко не мрачное, потому что „Вѣдныя люди“, хотя и все еще ненапечатанные, успѣли уже „довести его славу до апогея“... „Всюду почтеніе неимовѣрное, любопытство на счетъ меня страшное. Кн. Одоевскій проситъ меня осчастливить его своимъ посѣщеніемъ, а графъ Соллогубъ рветъ на себѣ волосы отъ отчаянія. Панаевъ объявилъ ему, что есть талантъ, который ихъ всѣхъ въ грязь втопчетъ“... Тутъ же Достоевскій говоритъ о знакомствѣ своемъ съ „только что вернувшимся изъ Парижа поэтомъ Тургеневымъ“. На первыхъ порахъ они очень полюбились другъ другу. Достоевскій отзывается тутъ о немъ восторженно. „Прочти его повѣсть „Андрей Колосовъ“, пишетъ Ф. М. Это онъ самъ, хотя и не думалъ тутъ себя вы-

ставить“. Между тѣмъ матерьяльное положеніе автора „Вѣднхъ людей“ было по прежнему—бѣдное же. „Надняхъ я былъ безъ гроша, пишетъ онъ. Некрасовъ между тѣмъ затѣялъ „Зубоскала“—прелестный юмористическій альманахъ, къ которому объявленіе писалъ я. Объявленіе надѣлало шуму... Надняхъ, не имѣя денегъ, я зашелъ къ Некрасову. Сиди у него, у меня пришла идея „Романа въ 9-ти письмахъ“. Прийдя домой, я написалъ этотъ романъ въ одну ночь... Напечатанъ онъ будетъ въ въ первомъ номерѣ „Зубоскала“... Вотъ ты самъ увидишь, хуже ли это, напримѣръ, „Тяжбы Гоголя“. Отсюда видно, что похвалы положительно вскружили молодому писателю голову. „Романъ въ 9-ти письмахъ“, напечатанный не въ „Зубоскалѣ“, а въ „Современникѣ“, вошелъ въ настоящее собраніе сочиненій Достоевскаго, и читателямъ не трудно увидѣть, что произведеніе это ничѣмъ особеннымъ не отличается—особливо послѣ такого перла, какъ „Вѣдныя люди“. „Я думаю, продолжаетъ Ѳ. М. въ томъ же письмѣ, что у меня будутъ деньги. „Голядкинъ“ выходитъ превосходно—это будетъ мой chef d'oeuvre“. На поляхъ приписка: „Вѣлинскій охраняетъ меня отъ антрепренеровъ“. И другая приписка, привлекательная своею искренностью: „Я перечелъ мое письмо и нашелъ, что я во 1-хъ безграмотенъ, а во 2-хъ самохвалъ“. Изъ особой опять приписки видно, что старое переводческое предпріятіе не переставало занимать Достоевскаго: „Нашъ Шиллеръ пойдетъ на ладъ непременно“, пишетъ онъ. Есть, наконецъ, въ этомъ письмѣ и еще одна приписка, въ которой, надо думать, большую роль играло воображеніе: „Минушки, Кларушки, Маріанны и т. п. похорошѣли до нельзя, но стоятъ страшныхъ денегъ. На дняхъ Тургеневъ и Вѣлинскій разбранили меня за безпорядочную жизнь“. Тутъ для провѣрки можно будетъ возвратиться къ воспоминаніямъ д-ра Ризенкампфа, довольно долго, какъ мы знаемъ, жившаго съ Ѳедоромъ Михайловичемъ и не мало, какъ мы видѣли, сообщившаго объ его безпорядочности—въ смыслѣ неумѣнія вести хозяйство и беречь деньги. Тотъ же д-ръ Ризенкампфъ съ другой стороны говоритъ: „молодые люди въ своихъ двадцатыхъ годахъ обыкновенно гонятся за женскими идеалами, привязываются къ хорошенькимъ женщинамъ. Замѣчательно, что у Ѳедора Михайловича ничего подобнаго не было замѣтно. Къ женскому обществу онъ всегда казался равнодушнымъ и даже чуть-ли не имѣлъ къ нему какую-то антипатію“. Впрочемъ, тутъ же дѣлается и оговорка: „можетъ быть, и въ этомъ отношеніи онъ скрывалъ кое что; по крайней мѣрѣ меня удивляло, что онъ не мало интересовался стихами влюбленнаго П. Сушкова, адресованными, какъ извѣстно, къ актрисѣ Асенковой, и особенно любилъ романсъ: „Прости меня,

прелестное созданье“, который онъ то и дѣло тихо респѣвалъ про себя“.

Въ письмѣ отъ 1-го февраля 1846 г. Достоевскій извѣщаетъ брата, что 28-го числа онъ наконецъ окончилъ „своего подлеца Голядкина“, а что „Бѣдные люди“ вышли еще 15-го“ (въ альманахѣ Некрасова, который онъ тутъ же и посылаетъ брату). „Ругаютъ, ругаютъ, а всетаки читаютъ, пишетъ онъ.— Сунулъ же я имъ всёжъ собачью кость. Пусть грызутся—имъ славу дурачье строить!.. Наши всѣ и Бѣлинскій даже нашли, что я далеко ушелъ отъ Гоголя. Въ „Библиотека для чтенія“, гдѣ критику пишетъ Никитенко, будетъ огромнѣйшій разборъ „Бѣдныхъ людей“ въ мою пользу“... Относительно же неблагопріятныхъ для него критикъ онъ между прочимъ замѣчаетъ: „во всемъ они привыкли видѣть року сочинителя, а же моею не показывалъ. А имъ и не вдогадъ, что говорить Дѣвушкинъ, а не я, и иначе говорить не можетъ“ *)... Съ извѣщеніемъ, что „сегодня выходитъ Голядкинъ“, Достоевскій, и прежде похваливавшій его, соединяетъ оцѣнку этого романа уже окончательно не въ мѣру: онъ будто бы „въ десять разъ выше „Бѣдныхъ людей“. Наши говорятъ, что послѣ „Мертвыхъ душъ“ на Руси не было ничего подобнаго... Тебѣ онъ понравится лучше „Мертвыхъ душъ“, а это знаю... За Голядкина взялъ я ровно 600 руб. серебромъ. Сверхъ того я еще получилъ бездну денегъ, такъ что истратилъ 3,000 послѣ разлуки съ тобою. Живу-то я беспорядочно, вотъ въ чемъ вся штука. Я переѣхалъ съ квартиры и нанялъ теперь двѣ превосходно-меблированныхъ комнаты отъ жильцовъ. Имъ очень хорошо жить (у Владимірской, на углу Гребецкой д. Кучина, № 9“. — Замѣчательно, что это тотъ самый домъ, въ которомъ скончался Федоръ Михайловичъ, и что переѣхавъ въ него за нѣсколько лѣтъ до смерти, онъ такъ и не вспомнилъ, что жилъ въ немъ еще молодымъ). „Я боленъ нервами, сообщаетъ въ заключеніе Достоевскій, и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно жить я не могу, до того я безпутенъ“, — конечно, въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ это докторъ Ризенкампфъ. О такомъ безпутствѣ можно говорить такъ прямо и такъ спокойно.

*) Это прямо подходитъ и къ библиографической замѣткѣ „Библиотеки для чтенія“, гдѣ объ авторѣ „Бѣдныхъ людей“ говорится: „онъ такой скромненькій, тихонькій... объясняется все уменьшительными... Все у него мишюнное—идейка самая глупельная, подробности самыя крошечныя... сложокъ такой чистенькій... наблюденіе такое маленькое, чувства и страстицы такія нѣжненькія“ и т. д. Между тѣмъ статья эта помѣщена въ той же февральской книжкѣ 1846 г., гдѣ появилась и сочувственная въ цѣломъ статья А. В. Никитенка. За доставленіе имъ вырѣзки съ этой замѣткой я благодаренъ студенту Б. Б. Глинскому.

Слѣдующее письмо написано ровно черезъ два мѣсяца—1-го апрѣля. Достоевскій извиняется въ долгомъ молчаніи и позднемъ исполненіи порученій брата. „Въ моей жизни, пишетъ онъ, каждый день столько новаго... столько хорошаго для меня и выгоднаго; столько и неприятнаго и невыгоднаго, что и самому раздумывать некогда. Во первыхъ, я весь занятъ. Идей бездна и пишу непрерывно. Не думай, чтобы я совсѣмъ былъ на розахъ. Вздоръ. Во первыхъ я прожилъ ровно 4,500 р. со времени нашей разлуки съ тобою и на 1000 р. асс. продалъ впередъ своего товару... Но это ничего. Слава моя достигла до апогея. Въ 2 мѣсяца обо мнѣ было говорено до 35 разъ въ различныхъ изданіяхъ... Но вотъ что подло и мучительно: свои, — наши, Бѣлинскій, всѣ мною недовольны за „Голядкина“. Первое впечатлѣніе было безотчетный восторгъ, говоръ, шумъ, толки. Второе—критика: именно всѣ, всѣ съ общаго говору, т. е. *наши* и вся публика нашли, что до того „Голядкинъ“ скученъ и вялъ, до того растанутъ, что читать нѣтъ возможности“. Въ утѣшеніе себѣ Достоевскій однако же замѣчаетъ: „всѣ сердятся на меня за растанутость и всѣ до одного читаютъ напропалую, и перечитываютъ напропалую“. Сознаваясь, что на нѣкоторое время впалъ даже въ уныніе, Ѳеодоръ Михайловичъ объясняетъ это тѣмъ, что у него есть „ужасный порокъ: неограниченное самолюбіе и честолюбіе... Мнѣ Голядкинъ опротивѣлъ. Много въ немъ писано наскоро и въ утомленіи. 1-ая половина лучше послѣдней. Рядомъ съ блестящими страницами есть скверность, дрянъ, изъ души воротить, читать не хочется. Вотъ это-то создало мнѣ на время адъ и я заболѣлъ отъ горя“. — Окончательнымъ объясненіемъ, какъ это прежде пришли въ восторгъ, а потомъ разбранили, служатъ воспоминанія Ѳеодора Михайловича въ „Дневникѣ Писателя“ за ноябрь 1877 г. „Кажется въ началѣ декабря 1845 г., пишетъ онъ тутъ,—Бѣлинскій настоялъ, чтобы я прочелъ у него хоть двѣ—три главы этой повѣсти (Двойника). Для этого онъ устроилъ даже вечеръ... Былъ И. С. Тургеневъ, прослушалъ лишь половину того, что я прочелъ, похвалилъ и уххалъ, очень куда-то сѣбнилъ. Три или четыре главы, которыя я прочелъ, понравились Бѣлинскому чрезвычайно“ (хоть и не стоили того, какъ судить тутъ Достоевскій). Но Бѣлинскій не зналъ конца повѣсти и находился подъ обаяніемъ „Бѣдныхъ людей“. Самъ Ѳеодоръ Михайловичъ прямо тутъ говоритъ, что повѣсть эта ему положительно не удалась, но что „идея ея была довольно свѣтлая и серьезнѣе этой идеи онъ никогда ничего въ литературѣ не проводилъ“. Но форма этой повѣсти, говоритъ онъ, не удалась ему совершенно. Онъ сильно исправилъ ее потомъ, лѣтъ пятнадцать спустя, для тогдашняго собранія своихъ со-

чиненій, но и тогда опять убѣдился, что это „вещь совсѣмъ не удавшаяся“.

Возвратился къ письму отъ 1-го апрѣля. Въ немъ слѣдуетъ извѣстіе о томъ, что Бѣлинскій оставляетъ „Отеч. Записки“ и ѣдетъ по разстроенному здоровью на воды, для поддержанія же своихъ финансовъ издаетъ сборникъ. „Я пишу для него, говоритъ Достоевскій, двѣ повѣсти: 1) „Сбритія бакенбарды“ и 2) „Повѣсть объ уничтоженныхъ канцеляріяхъ“ — обѣ съ потрясающимъ трагическимъ интересомъ, и уже отвѣчать — скатня до нельзя“. Возвѣщая затѣмъ, что „явилась цѣлая тѣна новыхъ писателей“, Достоевскій говоритъ, что изъ нихъ особенно замѣчательны Герценъ и Гончаровъ. „Ихъ ужасно хвалятъ. Первенство остается за мною покажѣсть, самоувѣренно прибавляетъ онъ, и надѣюсь, что навсегда“.

Самолюбіе молодого писателя, развитое первымъ блестящимъ успѣхомъ, поддерживаемое и послѣ тѣни, кого называлъ онъ *нашими*, и дошедшее въ самомъ дѣлѣ до крайней степени, въ чемъ онъ и самъ, какъ мы видѣли, сознавался брату, подавало поводъ различнымъ завистникамъ — а могли-ли они у него не явиться? — къ различнымъ выдумкамъ про него на готовую тему. Сюда принадлежитъ и тотъ *ободокъ*, безъ котораго будто бы Достоевскій не соглашался напечатать „Вѣднхъ людей“ въ „Петербургскомъ сборникѣ“ — для того, чтобы самымъ вѣбшимъ видомъ выдѣлиться изъ ряду другихъ участниковъ изданія — о чемъ такъ положительно говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ г. Анненковъ. Слуху этому легко помогаетъ держаться то, что „Петербургскій сборникъ“ давно уже составляетъ библиографическую рѣдкость. Но стоитъ только вытребовать его въ Публичной бібліотекѣ и поискать, гдѣ въ немъ бордюръ вокругъ „Вѣднхъ людей“?

Забываясь какъ объ альманахѣ, такъ и о доходѣ для брата, Федоръ Михайловичъ предлагаетъ ему въ томъ же письмѣ перевести „Рейнеке-Фуксъ“ Гёте.

Небольшое письмо отправилъ Федоръ Михайловичъ къ брату черезъ Бѣлинскихъ (16 мая 1846 г.) Оно напоминаетъ многія изъ его прежнихъ неаполилогическихъ писемъ. „Скука, грусть, апатія, и лихорадочное, судорожное ожиданіе чего-то лучшаго мучитъ меня“, говоритъ онъ тутъ. Лѣтомъ послѣдовала, надо думать, новая поѣздка Федора Михайловича въ Ревель, такъ какъ онъ говоритъ о возвращеніи въ Петербургъ моремъ въ письмѣ своемъ отъ 5-го сентября. Тутъ сообщается, что онъ нанялъ за 14 руб. сер. отъ жильцовъ двѣ маленькія комнатки — противъ Казанскаго собора, но еще не переѣхалъ (ясно, что онъ все болѣе и болѣе

служивался въ своемъ житіѣ-бытіѣ, — не даромъ потомъ говорится: „хочу жить скромнѣйшимъ образомъ). Далѣе сообщается, что въ „Современникѣ“ въ слѣдующемъ мѣсяцѣ напечатано будетъ духовное завѣщаніе Гоголя, въ которомъ онъ отрывается отъ всѣхъ своихъ сочиненій и т. д. „Вотъ — заключай самъ“, говоритъ Достоевскій. Другая новость — своя собственная: у Краевскаго начали набирать „Прохарчина“ (не его-ли прежде разумѣлъ Ф. М. подъ „повѣстью объ уничтоженныхъ канцеляріяхъ“?), а появится онъ въ октябрѣ. Въ письмѣ опять звучитъ меланхолическая нота: „на мнѣ грусть страшная“, говоритъ Достоевскій на первой же страницѣ. „Много бы хотѣлось написать, замѣчаетъ онъ въ концѣ, — да иногда лучше и не говорить“.

Письмо, помѣченное просто 17-мъ сентября (безъ года), должно быть помѣщено вслѣдъ за предшествующимъ, въ которомъ упоминалось о задержкѣ въ отправкѣ шинели для Михаила Михайловича, теперь, наконецъ, при письмѣ отъ 17 сентября, высылаемой. Далѣе говорится, что на новой квартирѣ, о которой также упоминалось въ предшествующемъ письмѣ, не дурно. „Только средствъ въ будущемъ почти не имѣю, прибавляетъ Федоръ Михайловичъ. — Краевскій далъ 50 руб. сер. и по виду его можно судить, что больше не дастъ. „Прохарчинъ“ страшно обезображенъ въ извѣстномъ мѣстѣ. Эти господа извѣстнаго мѣста запретили даже слово *чиновникъ*... и вычеркнули его во всѣхъ мѣстахъ. Все живое исчезло... Отступаюсь отъ своей повѣсти“. Ясно изъ этого, что *направленіе* Достоевскаго уже обратило на себя вниманіе цензуры. Обстоятельство, тутъ сообщаемое, слѣдуетъ, конечно, имѣть въ виду при оцѣнкѣ повѣсти „Господинъ Прохарчинъ“. Въ связи со скромнымъ образомъ жизни, какимъ задался Федоръ Михайловичъ, находится сообщеніе: „я обѣдаю въ складчинѣ. У Бекетова собралось 6 человѣкъ знакомыхъ, въ томъ числѣ я и Григоровичъ. Каждый даетъ 15 коп. въ день и мы имѣемъ хорошихъ кушаній 2 и довольны“. О занятіяхъ же своихъ Федоръ Михайловичъ тутъ сообщаетъ: „пишу все „Сбитыя бакенбарды“... „Я слышалъ, прибавляетъ онъ, — что въ провинціи „Петербургскій сборникъ“ не иначе называется какъ „Вѣдными людьми“. Въ концѣ — опять нота недовольства. „У насъ здѣсь ужаснѣйшая тоска. И работаешь хуже. Я у васъ жилъ какъ въ раю, а чортъ знаетъ, давай мнѣ хорошаго, я непременно самъ сдѣлаю своимъ характеромъ худшее“.

Въ письмѣ отъ 7-го октября 1846 г. — ссылка на какое-то до насъ недодешедшее письмо, въ которомъ Федоръ Михайловичъ извѣщалъ брата о сборахъ своихъ за границу. „Я ѣду не гулять, а лечиться, поясняетъ онъ теперь. — Въ Петербургѣ адъ для меня“ (въ этомъ самомъ Петербургѣ,

безъ котораго онъ бы прежде „пропалъ“). — „Деньги-то будутъ... Краевскій, напримѣръ, навязываетъ, но я взялъ уже у него 100 руб. сер. и теперь отъ него бѣгаю. Ибо что 50 цѣлковныхъ, то и листъ печатный... система всегдашняго долга, которую такъ распространяетъ Краевскій, есть система моего рабства и зависимости литературной“... Далѣе указывается на 20-е октября, какъ время обязательнаго окончанія „Сбритыхъ бакенбардъ“, и на то, что уже съ 15-го должно начаться печатаніе сборника его повѣстей—съ „Вѣднихъ людей“.

Изъ письма отъ 17-го октября мы однакоже узнаемъ, что „Сбритыя бакенбарды“ все еще не совсѣмъ кончены, а что „Прохарчина“ очень хвалить. — Къ сборнику повѣстей, конечно, относятся въ этомъ письмѣ слова, что „издавать никакъ не предстоитъ къ Рождеству“, что „изданіе можетъ развѣ состояться къ 1-му мая. Экъ сколько труда и тяжести раз-ной нужно перенести сначала, писать О. М.,—чтобъ устроить себя. Здоровье свое, напримѣръ, нужно пускать на авось, а обезпеченіе чортъ знаетъ еще будетъ когда“.

Но вотъ въ письмѣ, не имѣющемъ никакой даты, сообщается, что „изданіе не состоится, ибо не состоялось ни одной изъ тѣхъ новыхъ повѣстей, о которыхъ онъ говорилъ. Онъ не пишетъ „Сбритыхъ бакенбардъ“, ибо все это есть ни что иное, какъ „повтореніе стараго“... „Въ моемъ положеніи однообразіе гибель“, замѣчаетъ онъ. — „Я пишу другую повѣсть, и работа идетъ какъ нѣкогда въ „Вѣднихъ людяхъ“ — свѣжо, легко и успѣшно... Написавъ повѣсть въ январю, перестану печатать совсѣмъ до самаго будущаго года, а пишу романъ, который ужъ и теперь не даетъ мнѣ покоя“. Но чѣмъ же онъ пока будетъ жить? Онъ рассчитываетъ издать „Вѣднихъ людей“ и „Двойника“ отдѣльными книжками. „Клянусь судьбу, говоритъ онъ, — что нѣтъ у меня 700 руб. асс., чтобъ издать на свой счетъ! Издавать на свой счетъ—это все“. Слѣдуютъ горькія жалобы на книгопродавцевъ и просьба, чтобы братъ далъ ему 200 руб. сер. на изданіе, съ возвращеніемъ долга къ 1-му января изъ выручки и предоставленіемъ ему $\frac{1}{4}$ доли остальнаго барыша. На поляхъ оговорка: „отбрось въ этомъ дѣлѣ всю братскую любовь... Изъ желанія мнѣ добра не обкради самъ себя, хотя даже и не на большое время. У тебя рождается новое дитя“. То же болѣе или менѣе повторяется и въ другой припискѣ съ просьбою лишь о томъ, чтобы, въ случаѣ согласія, деньги высланы были немедленно. Въ особой припискѣ сообщается слухъ о смерти Гоголя, потому оказавшійся ложнымъ.

Письмо съ помѣткою 26-го ноября 1846 г. написано послѣ того, какъ братъ не прислалъ ему денегъ. Пусть онъ не думаетъ, что Федоръ

суживался въ своемъ житьѣ-бытьѣ, — не даромъ потому говорится: „хочу жить скромнѣйшимъ образомъ). Далѣе сообщается, что въ „Современникѣ“ въ слѣдующемъ мѣсяцѣ напечатано будетъ духовное завѣщаніе Гоголя, въ которомъ онъ отрывается отъ всѣхъ своихъ сочиненій и т. д. „Вотъ — заключаю самъ“, говоритъ Достоевскій. Другая новость — своя собственная: у Краевского начали набирать „Прохарчина“ (не его-ли прежде разумѣлъ О. М. подъ „повѣстью объ уничтоженныхъ канцеляріяхъ“?), а появится онъ въ октябрѣ. Въ письмѣ опять звучитъ меланхолическая нота: „на мнѣ грусть страшная“, говоритъ Достоевскій на первой же страницѣ. „Много бы хотѣлось написать, замѣчаетъ онъ въ концѣ, — да иногда лучше и не говорить“.

Письмо, помѣченное просто 17-мъ сентября (безъ года), должно быть помѣщено вслѣдъ за предшествующимъ, въ которомъ упоминалось о задержкѣ въ отправкѣ шинели для Михаила Михайловича, теперь, наконецъ, при письмѣ отъ 17 сентября, высылаемой. Далѣе говорится, что на новой квартирѣ, о которой также упоминалось въ предшествующемъ письмѣ, не дурно. „Только средствъ въ будущемъ почти не имѣю, прибавляетъ Федоръ Михайловичъ.—Краевскій далъ 50 руб. сер. и по виду его можно судить, что больше не дастъ. „Прохарчинъ“ страшно обезображенъ въ извѣстномъ мѣстѣ. Эти господа извѣстнаго мѣста запретили даже слово *чиновникъ*... и вычеркнули его во всѣхъ мѣстахъ. Все живое исчезло... Отступаюсь отъ своей повѣсти“. Ясно изъ этого, что *направленіе* Достоевскаго уже обратило на себя вниманіе цензуры. Обстоятельство, тутъ сообщаемое, слѣдуетъ, конечно, имѣть въ виду при оцѣнкѣ повѣсти „Господинъ Прохарчинъ“. Въ связи со скромнымъ образомъ жизни, какимъ задался Федоръ Михайловичъ, находится сообщеніе: „я обѣдаю въ складчинѣ. У Бекетова собралось 6 человѣкъ знакомыхъ, въ томъ числѣ я и Григоровичъ. Каждый даетъ 15 коп. въ день и мы имѣемъ хорошихъ вуханій 2 и довольны“. О занятіяхъ же своихъ Федоръ Михайловичъ тутъ сообщаетъ: „пишу все „Сбитыя бакенбарды“... „Я слышалъ, прибавляетъ онъ,— что въ провинціи „Петербургскій сборникъ“ не иначе называется какъ „Бѣдными людьми“. Въ концѣ — опять нота недовольства. „У насъ здѣсь ужаснѣйшая тоска. И работаешь хуже. Я у васъ жилъ какъ въ раю, а чортъ знаетъ, давай мнѣ хорошаго, я непременно самъ сдѣлаю своимъ характеромъ худшее“.

Въ письмѣ отъ 7-го октября 1846 г. — ссылка на какое-то до насъ недодешедшее письмо, въ которомъ Федоръ Михайловичъ извѣщалъ брата о сборахъ своихъ за границу. „Я ѣду не гулять, а лечиться, поясняетъ онъ теперь. — Въ Петербургѣ адъ для меня“ (въ этомъ самомъ Петербургѣ,

безъ котораго онъ бы прежде „пропалъ“). — „Деньги-то будутъ... Краевскій, напримѣръ, навязываетъ, но я взялъ уже у него 100 руб. сер. и теперь отъ него бѣгаю. Ибо что 50 цѣлковнхъ, то и листъ печатный... система всегданяго долга, которую такъ распространяетъ Краевскій, есть система моего рабства и зависимости литературной“... Далѣе указывается на 20-е октября, какъ время обязательнаго окончанія „Сбритыхъ бакенбардъ“, и на то, что уже съ 15-го должно начаться печатаніе сборника его повѣстей—съ „Вѣднхъ людей“.

Изъ письма отъ 17-го октября мы однакоже узнаемъ, что „Сбритыя бакенбарды“ все еще не совсѣмъ кончены, а что „Прохарчина“ очень хвалить. — Въ сборнику повѣстей, конечно, относятся въ этомъ письмѣ слова, что „издавать никакъ не предстоить къ Рождеству“, что „изданіе можетъ развѣ состояться къ 1-му мая. Эвъ сколько труда и тягости разной нужно перенести сначала, пишетъ О. М.,—чтобъ устроить себя. Здоровье свое, напримѣръ, нужно пускать на аэось, а обезпеченіе чортъ знаетъ еще будетъ когда“.

Но вотъ въ письмѣ, не имѣющемъ никакой даты, сообщается, что „изданіе не состоится, ибо не состоялось ни одной изъ тѣхъ новыхъ повѣстей, о которыхъ онъ говорилъ. Онъ не пишетъ „Сбритыхъ бакенбардъ“, ибо все это есть ни что иное, какъ „повтореніе стараго“... Въ моемъ положеніи однообразіе гибель“, замѣчаетъ онъ. — „Я пишу другую повѣсть, и работа идетъ какъ нѣкогда въ „Вѣднхъ людяхъ“ — свѣжо, легко и успѣшно... Написавъ повѣсть къ январю, перестану печатать совсѣмъ до самаго будущаго года, а пишу романъ, который ужъ и теперь не даетъ мнѣ покоя“. Но чѣмъ же онъ пока будетъ жить? Онъ рассчитываетъ издать „Вѣднхъ людей“ и „Двойника“ отдѣльными книжками. „Клянусь судьбу, говоритъ онъ, — что нѣтъ у меня 700 руб. асс., чтобъ издать на свой счетъ! Издавать на свой счетъ—это все“. Слѣдуютъ горькія жалобы на книгопродавцевъ и просьба, чтобы братъ далъ ему 200 руб. сер. на изданіе, съ возвращеніемъ долга къ 1-му января изъ выручки и предоставленіемъ ему $\frac{1}{4}$ доли остальнаго барыша. На поляхъ оговорка: „отбрось въ этомъ дѣлѣ всю братскую любовь... Изъ желанія мнѣ добра не обкради самъ себя, хотя даже и не на большое время. У тебя рождается новое дитя“. То же болѣе или менѣе повторяется и въ другой припискѣ съ просьбою лишь о томъ, чтобы, въ случаѣ согласія, деньги высланы были немедленно. Въ особой припискѣ сообщается слухъ о смерти Гоголя, потомъ оказавшійся ложнымъ.

Письмо съ помяткою 26-го ноября 1846 г. написано послѣ того, какъ братъ не прислалъ ему денегъ. Пусть онъ не думаетъ, что Федоръ

Михайловичъ на него разсердился, и потому молчалъ. Ф. М. мирится съ тѣмъ, что всѣ его изданія лопнули, не состоялись. „Публика, можетъ быть, не подалась бы“. Далѣе сообщается объ окончательной ссорѣ съ „Современникомъ“ — въ лицѣ Некрасова. „Онъ, говоритъ Достоевскій, — досадуетъ на то, что я всетаки даю повѣсти Краевскому, которому я долженъ, и что я не хотѣлъ публично объявить, что не принадлежу къ „Отеч. Запискамъ“. Отчаявшись получить отъ меня въ скоромъ времени повѣсть, надѣлалъ мнѣ грубостей и неосторожно потребовалъ денегъ... Я обѣщаль заемнымъ письмомъ выдать ему сумму къ 15-му дек... Теперь они выпускаютъ, что я зараженъ самомиѣнемъ, возмечталъ о себѣ и передаюся Краевскому... Некрасовъ собирается меня ругать... Что же касается Вѣлинскаго, то это такой слабый человѣкъ, что даже въ литературныхъ миѣніяхъ у него пять пятницъ на недѣлѣ“. Впрочемъ, Достоевскій тутъ же замѣчаетъ, что съ Вѣлинскимъ онъ всетаки „сохранилъ прежнія добрыя отношенія“, такъ какъ „онъ человѣкъ благородный“. Не смотря на всѣ непріятности, письмо отличается бодростью. Ф. М. только жаждетъ независимости положенія и „работы для святаго искусства, работы святой, чистой, въ простотѣ сердца, которое еще никогда такъ не дрожало и не двигалось у него, говоритъ онъ, какъ теперь передъ всѣми новыми образами, которые создаются въ душѣ его! Братъ, продолжаетъ онъ, я возрождаюся не только нравственно, но и физически. Никогда не было во мнѣ столько изобилія и ясности, столько ровности въ характерѣ, столько здоровья физическаго. Я много обязанъ въ этомъ дѣлѣ моимъ добрымъ друзьямъ Бекетовымъ... и другимъ, съ которыми я живу; это люди дѣльные, умные, съ превосходными сердцами, съ благородствомъ, съ характеромъ... Они меня вылечили своимъ обществомъ. Наконецъ, я предложилъ жить вмѣстѣ. Нанялась квартира большая и всѣ издержки по всѣмъ частямъ хозяйства, все не превышаетъ 1200 руб. асс. съ человѣка въ годъ. Такъ велики благодѣянія ассоціаціи“, заключаетъ онъ. (Слова эти имѣютъ уже у него, можетъ быть, особенный смыслъ: указываютъ на его занятія и увлеченія „соціализмомъ“). Къ числу людей, имѣвшихъ на Федора Михайловича такое благодѣтельное вліяніе, принадлежалъ и С. Д. Яновскій, которому Достоевскій писалъ въ 1872 г., вспоминая старое: „вы любили меня и возились со мною съ большимъ душевною болѣзнію (вѣдь я теперь сознаю это) до моей поѣздки въ Сибирь, гдѣ я вылѣчился“.

Объ этой нервной своей болѣзненности, надо думать, Ф. М. вспоминалъ въ 1861 г., говоря отъ лица Ивана Петровича (въ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“): „съ самаго наступленія сумерекъ я сталъ впадать въ

то состояніе души, которое такъ часто приходитъ ко мнѣ теперь, въ моей болѣзни, по ночамъ, и которое я называю *мистическимъ ужасомъ* (слѣдуетъ подробная психіатрическая характеристика этого состоянія *).

Но обратимся къ остальнымъ его письмамъ къ брату до самой, какъ выражается онъ, „поѣздки въ Сибирь“.

Отъ 17-го декабря 1846 г. онъ пишетъ брату, что совершенно заваленъ работой: къ 5-му января „обязался поставить Краевскому 1-ую часть романа „Нечка Незванова“. Пишетъ онъ день и ночь, развлекаетъ себя только итальянскою оперою, гдѣ у него мѣсто въ галлерей (указаніе, надо думать, на экономію). Здоровье хорошо. „Мнѣ все кажется, говоритъ онъ, что я завелъ процессъ со всею нашею литературою... и тремя частями романа моего въ „Отеч. Запискахъ“ устанавливаю и за этотъ годъ мое первенство на зло недоброжелателямъ моимъ“. Мысль о поѣздкѣ за границу оставлена; вмѣсто того онъ опять пріѣдетъ лѣтомъ къ брату. Живетъ онъ на острову съ Бекетовыми — не скучно, хорошо и экономно. Бываетъ у Бѣлинскаго, который все хвораетъ. „Я плачу все долги мои посредствомъ Краевскаго, пишетъ онъ далѣе... Когда-то я выйду изъ долговъ: бѣда работать поденщикомъ! Потубишь все — и талантъ, и вѣность, и надежду, омертвѣетъ работа и сдѣлаешься, наконецъ, пачкуномъ, а не писателемъ“. Эту сторону своего тогдашняго положенія Ф. М. воспроизвелъ впоследствии въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, въ лицѣ того же Ивана Петровича. „Вы бѣдны, вы берете у вашего антрепренера впередъ, съ презрительною жалостью говоритъ ему князь, платите свои долгишки, на остальное паритесь полгода однимъ чаемъ, и дрожите на своемъ чердакѣ, въ ожиданіи, когда напишется вашъ романъ въ журналѣ вашего антрепренера“. Князь, положимъ, преувеличиваетъ, но вѣдь и самъ Иванъ Петровичъ рассказываетъ: „повѣсть моя совершенно кончена и антрепренеръ, хотя я ему и много теперь долженъ, все-таки дастъ мнѣ хоть сколько нибудь, увидя въ своихъ рукахъ добычу — хоть *пятьдесятъ рублей*“ (даже и сумма та, о которой говорится въ письмахъ Ф. М. — ча). Слѣдуетъ характеристика антрепренера, который вѣдь „не виноватъ въ томъ, что въ литературѣ онъ всю жизнь былъ *только* антрепренеромъ“, а потому и примѣняетъ свой литературный судъ лишь съ чужаго голоса. Обреченный судьбою работать на антрепренера, Иванъ Петровичъ можетъ только „исписаться“, по мнѣнію Наташи, указывающей ему на С* и Н*, у которыхъ „все какъ отчеканено отдѣлано“. — Да, но они обезпечены и

*) Часть I, гл. X. (Сочин., т. V, стр. 53—54).

пишутъ не на срокъ, говоритъ бѣдный Иванъ Петровичъ; а я — почтовая кляча“ *).

Далѣ слѣдуетъ помѣстить *письмо безъ даты*, относящееся, вѣроятно, къ началу 1847 г. Въ немъ говорится о скоромъ появленіи „Неточки Незвановой“. Письмо начинается жалобою на тоску и сожалѣніемъ объ участи брата, который хотя и съ любимой семьей, но „безъ людей кругомъ“ (мы знаемъ уже, какъ не понравились Ѳедору Михайловичу остзейскіе нѣмцы). „Но не унывай духомъ, братъ! ободряетъ его Ѳедоръ Михайловичъ. Просвѣтлѣетъ время. Видишь ли, чѣмъ больше въ насъ самихъ духа и внутренняго содержанія, тѣмъ краше нашъ уголь и жизнь... Я много думаю о тебѣ. Но Боже! Какъ много отвратительныхъ, подлоограниченныхъ, сѣдобородыхъ мудрецовъ, знатоковъ-фарисеевъ жизни, *гордющихся* опытностью, т. е. своею безличностью (ибо всѣ въ одну мѣрку сточаны), негодныхъ, которые вѣчно проповѣдуютъ довольство судьбой, вѣру во что-то, ограниченіе въ жизни и довольство своимъ мѣстомъ... довольство, похожее на монастырское истязаніе и ограниченіе, и съ неистощимою мелкою злостью осуждающихъ сильную, горячую душу, не выносящую ихъ пошлаго дневнаго росписанія и календаря жизненнаго. Подлецы они со своимъ водевильнымъ земнымъ счастьемъ. Подлецы они!“ Строки эти заключаютъ въ себѣ несомнѣнно тотъ протестъ отрицательнаго характера, какой хотѣлъ по преимуществу вычитать еще изъ „Бѣдныхъ людей“ Бѣлинскій. Тутъ уже осуждается „монастырское самоограниченіе“, тогда какъ тамъ Достоевскій несомнѣнно видѣлъ *положительную* черту въ томъ, что Дѣвушкинъ совѣстился курить табакъ, когда Варенька не имѣла и самаго необходимаго. Судя по приведеннымъ строкамъ письма, надо думать, что Бѣлинскій возымѣлъ тогда рѣшительное вліяніе на Достоевскаго.

Слѣдуетъ опять указаніе на безденежье. „Еслибъ не было добрыхъ людей, я бы погибъ. Разложеніе моей славы въ журналахъ доставляетъ мнѣ болѣе выгоды чѣмъ невыгоды. Тѣмъ скорѣе схватятся за новое мои поклонники, которые, кажется, очень многочисленны, и отстоятъ меня. Я живу очень бѣдно и всего съ того времени, какъ тебя оставилъ, прожилъ 250 р. серебромъ, да 300 р. употребилъ на долги“ (какое сравненіе съ тѣмъ, что тратилось у него прежде). „Меня сильнѣе всѣхъ подрѣзалъ Некрасовъ, которому я отдалъ его 150 р. сер... Къ веснѣ сдѣлаю у Краевскаго большой заемъ и пришлю тебѣ 400 р. непременно“. Далѣ говорится о леченіи лѣтомъ водою у Присница, съ оговоркой, что это у

*) „Униженные и Оскорбленные“ ч. III, гл. X (ср. ч. II, гл. VIII) и Эпизодъ.

него „въ воображеніи“. Съ раскаяніемъ вспоминаетъ Федоръ Михайловичъ о томъ, какъ онъ былъ угловатъ и тяжелъ у нихъ въ Ревелѣ. „Я былъ боленъ, братъ, говоритъ онъ, прибавляя: „у меня такой скверный, отталкивающій характеръ. Я тебя всегда цѣнилъ выше и лучше себя... Я тогда только могу показать, что я человѣкъ съ сердцемъ и любовью, когда самая внѣшность, обстоятельства, случай вырветъ меня насильно изъ обыденной пошлости. До того времени я гадокъ“. Въ „Неточкѣ Незвановой“, говоритъ онъ далѣе, будетъ тоже „исповѣдь“, какъ и въ Голядкинѣ, „хотя въ другомъ тонѣ и родѣ. О Голядкинѣ, говоритъ онъ, я слышу изподтишка (и отъ многихъ) такіе слухи, что ужасъ. Иные прямо говорятъ, что это произведеніе *чудо* и не понято, что ему страшная роль въ будущемъ, что еслибъ я написалъ одного Голядкина, то довольно съ меня... Но вотъ самолюбіе мое расхлесталось, опять съ полнѣйшею искренностію сознается онъ, — но, братъ! Какъ пріятно быть понятнымъ. Братъ! За что ты такъ любишь меня?.. Пожелай мнѣ успѣха. Я пишу мою „Хозяйку“. Въ сужденіи о ней — такая же чрезмѣрная оцѣнка ея, какую мы видѣли выше по отношенію къ „Роману въ девяти письмахъ“. „Уже выходитъ лучше „Вѣднхъ Людей“, говоритъ Достоевскій про „Хозяйку“, утверждая, что „это въ томъ же родѣ“. „Перомъ ионимъ, говоритъ онъ, водить родниезъ вдохновенія, выбивающійся прямо изъ души. Не такъ какъ въ Прохарчинѣ, котораго я страдалъ все глѣто“.

Послѣ такого увлеченія „Хозяйкой“ понятно, какое тяжелое впечатлѣніе долженъ былъ произвести на Федора Михайловича совсѣмъ уже неблагоприятный отзывъ о ней Вѣлинскаго. Но мы ничего не узнаемъ объ этомъ изъ его писемъ. Передъ нами еще одно письмо безъ даты, которое, по замѣчанію А. Г. Достоевской, должно быть отнесено къ веснѣ 1847 г., такъ какъ въ припискѣ къ нему сказано: *„вотъ уже третій годъ литературнаго моего поприща я какъ въ чадѣ. Не вижу жизни, некогда опомниться, говорится тутъ далѣе, наука уходитъ за невремяемъ... Сдѣлали они мнѣ извѣстность сомнительную и я не знаю, до какихъ поръ пойдетъ этотъ адъ: тутъ бѣдность, срочная работа — кабы покой!“* Въ самомъ текстѣ письма говорится о томъ, что „придется писать едва ли не два фельетона въ недѣлю, т. е. ужъ не болѣе какъ на 250—300 р. асс.“ (гдѣ писать? Въ „Зубоскаль“?). Между тѣмъ Ф. М.—ча тяготитъ его долгъ Майковнѣ, „хотя они не спрашиваютъ“. Но онъ всетаки хочетъ сколько нибудь прислать брату. Осенью зато надѣется получить съ Краевскаго послѣ окончанія романа (вѣроятно „Неточки“) 1000 р. с. впередъ на неопредѣленный срокъ. „Счастье его и мое, пишетъ Ф. М.,

что романъ мой печатается въ концѣ года. Онъ завершитъ годъ, пойдетъ во время подписки и главное будетъ, если не ошибаюсь, теперь капитальною вещью въ году и утретъ носъ друзьямъ-Современникамъ и всѣмъ, которые рѣшительно стараются похоронить меня“. Въ то же время онъ думаетъ еще о переводахъ, полагая, что „лѣтъ черезъ десять можно будетъ о нихъ позабыть“.

Въ письмѣ этомъ впервые упоминается о семействѣ Майковыхъ, съ однимъ изъ которыхъ, нашимъ извѣстнымъ поэтомъ, у Федора Михайловича впоследствии завязалась обширная переписка. По воспоминаніямъ С. Д. Яновскаго, въ семействѣ Майковыхъ каждое воскресенье вечеромъ постоянно сходилась „та молодежь, въ душу которой Господь вложилъ извѣстную долю таланта, сердце которой билось съ самаго рожденія любовію къ ближнему, къ добру и правдѣ, а умъ во всемъ и вездѣ искалъ свѣта и свѣта. Подлѣ хозяевъ, Николая Аполлоновича (извѣстнаго академика живописи) и Евгеніи Петровны, продолжаетъ д-ръ Яновскій, — первое и почетное мѣсто занималъ немного старшій годами остальныхъ гостей И. А. Гончаровъ. Тутъ же обыкновенно присутствовалъ Ст. Сем. Дудышкінъ (послѣ смерти Бѣлинскаго и Валеріана Майкова завѣдывавшій критикой въ „Отеч. Запискахъ“), братья Дружинины, М. А. Языковъ и др.“ Вотъ тутъ-то случалось нерѣдко и Федору Михайловичу „со свойственнымъ ему атомистическимъ анализомъ разбирать характеры произведеній Гоголя, Тургенева — а затѣмъ объяснять и своего Прохарчина, оставшагося въ то время въ большинствѣ читателей непонятнымъ, а всѣ слушатели до одного уразумѣвали вполне не только цѣльные характеры, но и самомалѣйшія подробности, относявшіяся къ тому или другому характеру“.

Но въ то время существовали уже и другіе назначенные дни, не менѣе усердно посѣщавшіеся Федоромъ Михайловичемъ. О нихъ мы рѣшительно ничего не знаемъ изъ его переписки съ братомъ, прекращающейея на долгое время. Она пока заключается письмомъ отъ 9-го сентября 1847 года, которое находится въ связи съ намѣреніемъ Михаила Михайловича выйти въ отставку. Ф. М. совѣтуетъ брату не слушаться отговаривающихъ и не пугаться того, что и у него, Ф. М., „первый блинъ комомъ“... „Погоди, братъ, поправимся, продолжаетъ Ф. М., невозможно, чтобы мы оба не выбились на дорогу“. Далѣе Ф. М. сообщаетъ объ оканчиваемой имъ повѣсти („Хозяйка“?), говорить, что ему некогда издавать „Бѣдныхъ людей“ хотя черезъ одну типографію онъ надѣется ихъ напечатать безъ денегъ. „Какъ жаль, что ты не доперевелъ театра Шиллера, заключаетъ онъ“. На поляхъ приписка: „видишь ли, что значитъ ассо-

ціація? Работай или врозь, — упадежь... А двое виѣсть для одной цѣли — тутъ другое дѣло“. Между тѣмъ въ жизни Федора Михайловича все болѣе и болѣе подготовлялись обстоятельства, которымъ суждено было произвести въ ней рѣшительное и далеко не кратковременное потрясеніе.

III.

БЛАТАСТРОФА.

Въ повѣсти „Бѣлыя ночи“ встрѣчаются слѣдующія строки: „есть въ Петербургѣ довольно странные уголки... Въ эти мѣста какъ будто не заглядываетъ то же солнце, которое свѣтитъ для всѣхъ петербургскихъ людей, а заглядываетъ какое-то другое, новое, какъ будто нарочно заказанное для этихъ угловъ, и свѣтитъ на все инымъ, особеннымъ свѣтомъ. Въ этихъ углахъ... выживается какъ будто совсѣмъ другая жизнь, не похожая на ту, которая возлѣ насъ кипитъ, а такая, которая можетъ быть въ тридцатомъ невѣдомомъ государствѣ, а не у насъ въ наше серьезное, пресерьезное время... Въ этихъ углахъ проживаютъ странные люди — мечтатели“. Въ нашей печати уже было заявлено мнѣніе, что такимъ мечтателемъ былъ и самъ Достоевскій *). Мы же позволяемъ себѣ думать, что тутъ заключается намекъ на тотъ особый видъ „мечтательства“, который наконецъ, привелъ Достоевскаго къ „поѣздкѣ въ Сибирь“.

Онъ однако тутъ же относится отчасти и критически къ загадочному населенію упоминаемыхъ имъ угловъ. Онъ видитъ въ ихъ жизни „смѣсь чего-то чисто фантастическаго, горячо идеальнаго и виѣсть съ тѣмъ тускло прозаичнаго и обыкновеннаго, чтобы не сказать: до невѣроятности пошлаго“ **).

Объ этой-то порѣ въ своей жизни Достоевскій вспомнилъ съ большою подробностью по поводу тѣхъ новѣйшихъ политическихъ движеній, которыя воспроизвелъ онъ въ своемъ романѣ „Бѣсы“. Воспоминанія эти сохранились въ началѣ и концѣ того „Дневника Писателя“, который имъ велся въ „Гражданинѣ“ за 1873 г. Тутъ эти воспоминанія связываются съ первымъ его вступленіемъ на литературное поприще. „Грустное, роковое для меня время“, отзываясь онъ тутъ о немъ, — отзываясь, зна-

*) Въ актовой рѣчи о немъ проф. Булича (стр. 32).

**) Соч. т. II, стр. 504 — 505. (Первоначально повѣсть „Бѣлыя ночи“ напечатана въ „Отечеств. Зап.“ 1848 г.).

чить, совсѣмъ не такъ, какъ три года спустя отозвался *) о той же порѣ (въ „Дневникѣ“ 1876 г.). Такое противорѣчіе психологически опять вполне объяснимо. Дѣло и тутъ только въ особой воспримчивости и впечатлительности Федора Михайловича. Свиданіе съ Некрасовымъ въ 1876 г. возобновило въ его памяти всю, такъ сказать, праздничную для него сторону перваго ихъ знакомства. Политическія движенія, которыхъ истокъ олователемъ-лѣтописцемъ сталъ онъ въ 1873 г., напомнили ему о тѣхъ кружкахъ, въ которыхъ самъ онъ участвовалъ въ концѣ перваго періода своей жизни—участвовалъ въ силу вліяній, которымъ сталъ подвергаться съ самаго вступленія своего на литературное поприще. Вліянія эти связываются въ „Дневникѣ“ 1873 г. съ обаятельною личностью „великаго критика“, который постарался истолковать Достоевскому въ немъ же самомъ то, чего, по мнѣнію критика, самъ онъ не понималъ въ себѣ. Вліяніе, очевидно, было взаимное: романиста на критика и критика на романиста. Вліянію Достоевскаго на Бѣлинскаго, какъ мы видѣли, должно быть приписано то, что критикъ, наконецъ, разглядѣлъ въ М. А. Дѣвушкинѣ и его положительную сторону (впослѣдствіи опять отошедшую на второй планъ у Добролюбова въ его „Забитыхъ людяхъ“). Про вліяніе же на себя Бѣлинскаго вотъ что говоритъ Достоевскій въ „Дневникѣ“ 1873 г.: „въ первые дни знакомства привязавшись ко мнѣ всѣмъ сердцемъ, онъ тотчасъ же бросился, съ самою простодушною торопливостію, обращать меня въ свою вѣру... Я засталъ его страстнымъ социалистомъ, и онъ прямо началъ со мной съ атеизма. Въ этомъ много для меня знаменательнаго, — именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшимъ образомъ проникаться идеей. Интернаціоналка въ одномъ изъ своихъ воззваній... начала прямо съ знаменательнаго заявленія: „мы прежде всего общество атеистическое“, т. е. начала съ самой сути дѣла; тѣмъ же началъ и Бѣлинскій... Какъ социалисту, ему слѣдовало прежде всего изложить христіанство; онъ зналъ, что революція непременно должна начинать съ атеизма“. Тутъ однако же представлялось одно громадное затрудненіе: гуманная, нравственно-поэтическая природа Бѣлинскаго не могла не остановиться передъ личностію Христа. „Ученіе Христово, продолжаетъ Достоевскій, онъ, какъ социалистъ, необходимо долженъ былъ разрушать, называть его ложнымъ и невѣжественнымъ челоуѣколюбіемъ, осужденнымъ современною наукой и экономическими началами; но всетаки оставался пресвѣтлѣйшій ликъ Богочелоуѣка, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но въ

*) (См. выше стр. 58—59).

Безпрерывномъ неугасимомъ восторгѣ своемъ Бѣлинскій не остановился даже и предъ этимъ неодолимымъ препятствіемъ, какъ остановился Ренанъ... „Да знаете-ли вы, взвизгивалъ онъ разъ вечеромъ, обращаясь ко мнѣ, знаете-ли вы, что нельзя насчитывать грѣхи человѣку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество такъ подло устроено, что человѣку невозможно не дѣлать злодѣйствъ, когда онъ экономически приведенъ къ злодѣйству“... Вотъ тутъ-то, надо думать, Бѣлинскій когда нибудь и дошелъ до той бѣшенной выходки, о которой Федоръ Михайловичъ съ такимъ неизгладимымъ негодованіемъ вспоминалъ въ одномъ изъ своихъ позднѣйшихъ писемъ (отъ 18-го мая 1871 г. къ Н. Н. Страхову): „этотъ человѣкъ ругалъ мнѣ Х.... а между тѣмъ никогда онъ не былъ способенъ самъ себя и всѣхъ двигателей всего міра сопоставить съ Х.... омъ для сравненія: онъ не могъ замѣтить того, сколько въ немъ и въ нихъ мелкаго самолюбія, злобы, нетерпѣнія, раздражительности, подлости, а главное самолюбія. Ругая Х.... а, онъ не сказалъ себѣ никогда: чтожь мы поставимъ вмѣсто Него, неужели себя?— тогда какъ мы такъ гадки; нѣтъ, онъ никогда и не задумался надъ тѣмъ, что онъ самъ гадокъ. Онъ былъ доволенъ собой въ высшей степени“... О той же самой бѣшенной выходкѣ Бѣлинскаго говорилъ мнѣ Ф. М. года за три до своей смерти—говорилъ съ тѣмъ же неугасшимъ съ годами негодованіемъ — и этимъ объяснилось для меня до тѣхъ поръ казавшееся мнѣ страннымъ крайнее нерасположеніе его къ Бѣлинскому.

Сюда, надо думать, относятся приводимыя въ „Дневникѣ“ 1873 г. слова Бѣлинскаго: „каждый-то разъ, когда я вотъ такъ помяну Христа, у него все лицо измѣняется, точно заплакать хочетъ... Да повѣрьте же, наивный вы человѣкъ, набросился онъ опять на меня (вспоминаетъ Достоевскій), повѣрьте же, что вашъ Христосъ, если бы родился въ наше время, былъ бы самымъ незамѣтнымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ; такъ и ступевался бы при нынѣшней наукѣ и при нынѣшнихъ двигателяхъ человѣчества“.

А между тѣмъ измѣнившееся лицо этого „наивнаго человѣка“, эта готовность его заплакать отъ такой обиды — сильно, должно быть, дѣйствовали на Бѣлинскаго. Не даромъ въ своемъ „Обзорѣ русской литературы“ 1847 г. онъ такъ восторженно отзывался о нравственномъ вліяніи христіанства въ соціальномъ смыслѣ. Ясно, что бесѣды съ Достоевскимъ заставляли его подвергать пересмотру такъ страстно усвоенныя имъ антихристіанскія заключенія.

Но именно поэтому, вѣроятно, Достоевскому и пришлось въ заключеніе вспомнить: „въ послѣдній годъ его жизни я уже не ходилъ къ нему.

Онъ меня не взлюбилъ“. Онъ не взлюбилъ человѣка, имѣвшаго на него такое совершенно особаго рода, такъ сказать, нелогическое вліяніе, тогда какъ самъ этотъ человѣкъ въ свою очередь сознается: „я страстно принялъ тогда все ученіе его“. Вотъ поэтому-то, заговоривъ о первомъ знакомствѣ своемъ съ Бѣлинскимъ, Достоевскій и замѣтилъ: „грустное, роковое для меня время“ *).

Вопреки столь ясному свидѣтельству самого Достоевскаго, у насъ было заявлено сомнѣніе въ томъ, чтобы онъ могъ быть посвященъ въ социализмъ Бѣлинскимъ.

„Въ большой біографіи Бѣлинскаго, по мнѣнію г. Булича, мы не находимъ упоминанія объ отношеніяхъ его къ социализму, съ которымъ онъ конечно былъ знакомъ, да и не могъ не быть знакомымъ, принадлежа къ числу образованнѣйшихъ людей Россіи“ (? **).

„Для Бѣлинскаго, продолжаетъ г. Буличъ, во всю его жизнь умственный прогрессъ, на которомъ лишь основываются и нравственные успѣхи общества, былъ всего дороже“. Это, пожалуй, и такъ. И Достоевскій въ томъ же своемъ „Дневникѣ“ вспоминаетъ о томъ, какъ Бѣлинскій любилъ смотрѣть на строившуюся тогда Николаевскую желѣзную дорогу и этимъ „отводитъ себѣ душу“. Подобныя восторженныя отношенія къ капиталистическому предпріятію, конечно, мудрено бы было найти у истаго социалиста. Но дѣло въ томъ, что у Бѣлинскаго одновременно сказывались различныя теченія мысли ***). И Достоевскій признаетъ, что онъ „выше всего цѣнилъ разумъ, науку и реализмъ“. Но Фѣдоръ Михайловичъ признаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что Бѣлинскій сознавалъ, что „основа всему—начала нравственныя“. Въ этомъ отношеніи онъ долгое время сходилса съ Жоржъ Зандъ — „учительницей“ Достоевскаго, какъ называетъ ее г. Буличъ, совершенно напрасно противопологающей Бѣлинскому слѣдующій отзывъ о ней Достоевскаго: „Она основывала свой социализмъ, свои убѣжденія, надежды и идеалы на нравственномъ чувствѣ человѣка, на духовной жадѣ человѣчества, на стремленіи его къ совершенству и къ чистотѣ, а не на муравьиной необходимости“. Но Достоевскій имѣлъ основаніе утверждать, что въ глазахъ Бѣлинскаго Жоржъ Зандъ открывала собою рядъ тѣхъ французовъ, къ которымъ, по его воззрѣнію, „предназначалось примкнуть Христу“.

*) Нельзя не пожалѣть о томъ, что особая статья Ф. М.—ча „Мое знакомство съ Бѣлинскимъ“ безслѣдно пропала. (О ней помнитъ Н. Н. Страховъ).

***) Рѣчь о Достоевскомъ (стр. 45).

***) Изъ сочиненій его—и не времени „Бородинской годовщины“—можно привести мѣста, отзывающіяся на примѣръ аристократизмомъ и буржуазностью.

Чѣмъ болѣе увлекался онъ самоновѣйшими изъ этихъ французовъ, все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе прожѣвывавшими социальный духъ на социальную усовершенствованную механику, тѣмъ болѣе онъ охлаждѣвалъ къ Жоржъ Зандъ. Вотъ такимъ-то образомъ и дошло до того, что въ одномъ изъ его послѣднихъ писемъ оказываются слова, приводимыя г. Буличемъ: „посмотрите на Жоржъ Зандъ въ тѣхъ ея романахъ, *идея рисуетъ она свой идеалъ общества*: читая ихъ, думаешь читать переписку Гоголя“. Дѣло въ томъ, что она до конца основывала свой социализмъ на нравственномъ чувствѣ челоуѣка, Бѣлинскій же все болѣе и болѣе увлекался тѣми строителями общества, которые думали обойтись безъ живой челоуѣческой души и которымъ не оказывалось уже никакой надобности даже и въ „примыкающемъ къ нимъ“ Христѣ.

Если во времена Бѣлинскаго, какъ вспоминаетъ Достоевскій въ послѣдней главѣ „Дневника писателя“ 1873 г., „понималось дѣло еще въ самомъ розовомъ и райско-нравственномъ свѣтѣ“, то самъ Бѣлинскій уже въ 1846 г. „посвятилъ Достоевскаго во всю *правду* грядущаго обновленнаго міра и во всю *святость* будущаго коммунистическаго общества“. Если Достоевскій тутъ же утверждаетъ, что онъ вмѣстѣ съ другими былъ „зараженъ идеями тогдашняго теоретическаго социализма“, потому что „политическаго социализма тогда еще не существовало въ Европѣ“ — то, по его же мнѣнію, дѣло могло однако-же обернуться и такъ, что изъ Петрашевцевъ вышли бы „Нечаевцы“.

Не даромъ, начавъ съ того, что Нечаевцы вовсе „не одна только недоучившаяся, какъ утверждали у насъ, молодежь, не одни шелопаи или идиоты, онъ говоритъ: „я самъ старій нечаевецъ“. — „Знаю, вы, безъ сомнѣнія, возразите мнѣ, что я вовсе не изъ Нечаевцевъ, а всего только изъ „Петрашевцевъ“. Пусть изъ Петрашевцевъ, — (хотя, по моему, названіе это неправильное, ибо чрезмѣрно большее число... совершенно такихъ же какъ мы Петрашевцевъ, осталось совершенно нетронутымъ и необезпеченнымъ. Правда, они никогда и не знали Петрашевскаго, но совѣтъ не въ Петрашевскомъ было и дѣло во всей этой давнепрошедшей исторіи)“.

Въ сороковыхъ годахъ образовалось нѣсколько отдѣльныхъ кружковъ. По свидѣтельству И. М. Дебу, одинъ изъ нихъ завелся въ Петербургскомъ университетѣ — въ видѣ противовѣса существовавшимъ въ немъ тогда корпораціямъ на дерптскій манеръ. Традиціонный кутежъ съ традиціонною обязательностью дуэлей показались, наконецъ, слишкомъ пошлыми нѣкоторымъ изъ нашей молодежи. Стали думать о чтеніяхъ, устройствѣ особой студенческой бібліотеки. Между тѣмъ, увлекался лек-

ціями Порошина по предмету, который теперь бы назвали *соціологіей*, не особенно многочисленные, правда, студенты и вообще увлеклись экономическими вопросами. Мало по малу стали сами знакомиться съ Л. Штейномъ и Гакстгаузеномъ съ одной, Л. Бланомъ, Фурье и Пруденомъ съ другой стороны. Къ кружку этому принадлежали (по словамъ участвовавшего въ немъ г. Дебу) Ханниковъ и фонъ-Визинъ (сынъ декабриста, выѣхавшій изъ Петербурга на югъ въ 1847 г.). Затѣмъ стали заводиться кружки и помимо университета и составъ ихъ оказывался самымъ разнообразнымъ. Какимъ образомъ приобрѣли они мало по малу характеръ политически-оппозиціонный, это объясняется словами А. П. Милюкова: „въ Россіи господствовалъ тяжелый застой, наука и печать все болѣе и болѣе стѣснялись и придавленная общественная жизнь ничѣмъ не проявляла своей дѣятельности. Изъ заграницы проникала контрабанднымъ путемъ масса либеральныхъ сочиненій“. Вотъ этотъ-то запретный плодъ и сталъ наконецъ служить главнымъ угощеніемъ въ научно-литературныхъ кружкахъ.

Зная о существованіи такихъ кружковъ, ими думалъ воспользоваться Петрашевскій, лицеистъ, окончившій затѣмъ курсъ въ университетѣ (въ 1841 г.) служившій въ департаментѣ внутреннихъ сношеній министерства Иностранныхъ дѣлъ, и не смотря на то—по какому-то удивительному въ то время снисхожденію къ его „чужачеству“ что-ли — носившій бороду и съ огромными полями шляпу. Ему желательно было, чтобы такихъ кружковъ заводилось какъ можно болѣе, чтобы ими съ разныхъ концовъ велась пропаганда — при чемъ не только не было нужно, но не было даже желательно, чтобы кружки эти знали другъ друга, а достаточно было за ними за всѣми слѣдить ему, Петрашевскому.

Воспоминанія, вынесенныя Ѳ. М. изъ „давно прошедшей исторіи“, помогли ему впоследствии оцѣнить тѣ явленія, которыя выставлены имъ въ романѣ „Бѣсы“, а толкованіе смысла этого романа дало ему поводъ вернуться въ „Дневникѣ“ 1873 г. къ этой „давно прошедшей исторіи“. Въ біографическихъ данныхъ, занесенныхъ со словъ Ѳ. М. въ послѣдніе годы его жизни въ записную книжку А. Г. Достоевской, сказано прямо: „соціалисты произошли отъ Петрашевцевъ. Петрашевцы посеяли много сѣмянъ“.

На то, какъ подготавливается почва для воспріятія этихъ сѣмянъ, Ѳ. М. указываетъ вопросомъ: „развѣ можетъ русскій юноша остаться индифферентнымъ къ вліянію предводителей европейской прогрессивной мысли... и особенно къ русской сторонѣ ихъ ученій?.. Эта русская сторона этихъ ученій существуетъ дѣйствительно. Состоитъ она въ тѣхъ выводахъ изъ

силы порыва, живой жизни и дорогих убѣжденій“. И вотъ—вслѣдъ за столькими европейскими именами съ вліятельными идеями появляется вдругъ такое имя, какъ Луи Бланъ съ его негодующимъ кличемъ противъ такого европейскаго корифея, какъ Вольтеръ. („Non, Voltaire n'aimait pas assez le peuple“, etc.) У Бѣлинскаго, по прочтеніи этого отъзна Луи Блана, невольно вырывается восклицаніе: „святители! да это Шевыревъ“. Бѣлинскаго, при всемъ своемъ *соціализмъ* остававшагося до конца слишкомъ яркимъ поклонникомъ европейской *культуры*, это, разумѣется, оттолкнуло. Другихъ — кого сознательно и явно, кого за-таенно и ему самому неясно, могло только болѣе привлекать то, что въ Луи Бланѣ слышится „Шевыревъ“, а въ Жоржъ Зандѣ— „Гоголь“ *).

„У насъ, продолжаетъ О. М. свое толкованіе „давно прошедшаго“, т. е. своей первой поры, не смотря ни на какихъ Магницкихъ и Липранди, еще съ прошлаго столѣтія всегда тотчасъ же становилось извѣстнымъ о всякомъ интеллектуальномъ движеніи въ Европѣ и тотчасъ же изъ высшихъ слоевъ нашей интеллекціи передавалось въ массѣ хотя чуть чуть интересующихся и мыслящихъ людей“ **). Но Магницкіе и Липранди, издавна у насъ существовавшіе, не только не помѣшали Петрашевцамъ пріобрѣтать въ Петербургѣ всевозможныя запретныя сочиненія, но даже прямо удобряли почву для успѣха ихъ пропаганды ***). Такъ оно было всегда и вездѣ, такъ оно особенно было у насъ—частью по сравнительной неумѣлости (даже при полнотѣ усердія) нашихъ героевъ сыска, частью же потому, что у насъ исключительно полагались на нихъ, тогда какъ у насъ-то и слѣдовало посмотреть на дѣло поглубже, такъ какъ оно имѣло и имѣетъ у насъ, по мнѣнію О. М.—ча, не одинъ, а *два корня*.

Какимъ образомъ Магницкіе и Липранди готовятъ почву для пропаганды, пользующейся, какъ вѣрнѣйшимъ средствомъ, „игрою на благородныхъ струнахъ человѣческой души“, это Достоевскій наглядно намъ пояснилъ въ томъ же своемъ романѣ „Бѣсы“ (въ психологическомъ смыслѣ автобіографическомъ и такъ странно у насъ непонятомъ). Игра эта въ его время не была только доведена до такой виртуозности. Впро-

*) Замѣчательно, что и въ наше время Л. Болъе, возражая кн. Васильчикову усматривалъ совпаденіе „соціалистовъ“ съ „славянофилами“ въ „общемъ отвращеніи къ европейскому обществу“. (См. мою статью о кн. Васильчиковѣ въ журн. „Мысль“ 1882 г., ноябрь.)

***) „Дневникъ Писателя“ 1876 г. (Соч. т. XI, стр. 187—190):

*** По разсказу одного изъ нашихъ „фурьеристовъ“, когда къ кому-то изъ нихъ при допросѣ обратились съ словами: „да откуда же получались у васъ запрещенныя книги?“ тотъ отвѣчалъ: „отъ генерала Перовскаго“ (предсѣдателя судной комисіи—черезъ служившее у него лицо).

чемъ въ „Дневникѣ Писателя“ 1873 г. онъ писалъ, что „даже убійство à la Нечаевъ не остановило бы, пожалуй, нѣкоторыхъ изъ нихъ“ *).

„Тутъ было все, что и въ послѣдующихъ заговорахъ, которые были только списками съ этого, рассказывалъ Федоръ Михайловичъ, т. е. тайная типографія и литографія, хотя не было конечно посягательствъ“ (до нихъ не дошло, хотя въ слѣдственномъ дѣлѣ попадаются намеки на ихъ возможность **). Они (Петрашевцы) точно также вѣрили, продолжалъ диктовать О. М., что народъ съ ними. Замѣчательно, что онъ прибавилъ: „и имѣли основаніе, такъ какъ народъ былъ крѣпостной“.

Слова эти, прежде всего, заключаютъ въ себѣ полнѣйшее осужденіе „Нечаевщины“ — указаніемъ на то, что если бы дошло до нея въ то время, то это было бы все же понятнѣе, чѣмъ въ наши дни, послѣ 19-го февраля, когда „Нечаевщина“ является уже не государственнымъ преступленіемъ только, но и преступленіемъ противъ человѣчества.

Съ точки зрѣнія государственной „Петрашевцы“, конечно, представлялись опасными. „Государство только защищало себя, осудивъ насъ“, говорилъ Достоевскій. Когда же кто-то однажды сардобольно замѣтилъ ему (рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ А. Н. Майковъ): „какое однако несправедливое дѣло была эта ваша ссылка“. онъ даже съ раздраженіемъ возразилъ: „нѣтъ справедливое. Насъ

*) Это подтверждается слѣдующими словами доклада о дѣлѣ: „Момбелли, возмимѣвъ умыселъ составить тайное общество... сдѣлалъ предложеніе Львову, Петрашевскому и Спѣшневу... составить комитетъ изъ учредителей... упомянувъ въ видѣ угрозы про смерть измѣннику (Общ. Проп. 133—134). Такъ оно, конечно, и во всѣхъ тайныхъ обществахъ. Въ бумагахъ Спѣшнева найдена обязательная подписка: „Я нижеподписавшійся... поступаю въ русское общество и беру на себя слѣдующія обязанности: когда распорядительный комитетъ общества... рѣшить, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное открытое участіе въ возстаніи и дракѣ... вооружившись огнестрѣльнымъ или холоднымъ оружіемъ... беру на себя обязанность увеличивать силы общества приобрѣтеніемъ обществу новыхъ членовъ. Впрочемъ, согласно съ правилами русскаго общества, обязываюсь самъ лично болѣе пяти афилировать... обязываюсь съ каждаго, мною афилированнаго, взять письменное обязательство“ (Общ. Проп. 63—64). „Въ отношеніи этой подписки, сказано однако далѣе, — Спѣшневъ показалъ, что она была имъ составлена нѣсколько лѣтъ назадъ, во время пребыванія заграницею, когда онъ, занимаясь изученіемъ исторіи тайныхъ обществъ вообще, думалъ объ учрежденіи такого же въ Россіи, но впоследствии начатую имъ исторію уничтожилъ, о подпискѣ же, заронившейся между бумагами, забылъ и никому ея не показывалъ. Чтобы подписка эта была составлена, — оговорено въ докладѣ, — для какаго нибудь существовавшаго общества, но дѣлу не открыто; ни у одного изъ обвиненныхъ подобной подписки не найдено, и ни одинъ, ни собственнымъ сознаніемъ, ни опечатанными бумагами не уличенъ, чтобы зналъ о существованіи этого обязательства“. (Тамъ же, стр. 132).

**) Общ. Проп., стр. 124, 129, 151, 155, 155.

бы осудилъ народъ“ *). Кстати вспомнить при этомъ и разсказъ Мабензи Уоллеса, какъ въ одномъ обществѣ въ Петербургѣ кто-то сочувственно отзывался при немъ объ императорѣ Николаѣ Павловичѣ, и этотъ кто-то, къ великому удивленію Уоллеса, оказался Достоевскимъ **). При первой впечатлительности Достоевскаго это психологически вполне совмѣстимо съ тѣмъ, что приведено нѣсколько выше. Припоминая, что они рассчитывали на народъ, онъ признавалъ, что въ этомъ расчетѣ въ ту пору было своего рода основаніе, но окончательно онъ же призналъ, что народъ, въ сущности ожидавшій свободы отъ верховной власти и отъ нея же наконецъ ея и дождавшійся, увидѣлъ бы въ нихъ все же баръ, а потому и не могъ бы вполне повѣрить чистотѣ ихъ стремленій.

Вспомнимъ, что говорить о тогдашнемъ движеніи въ молодежи А. П. Милюковъ. „Во французскихъ и нѣмецкихъ газетахъ, не смотря на ихъ кастрированье, безпрестанно проходили возбуждательныя рѣчи и статьи... Понятно, какъ все это дѣйствовало раздражительно на молодыхъ людей, которые съ одной стороны изъ проникающихъ изъ-за границы книгъ знакомились не только съ либеральными идеями, но и съ самыми крайними программами социализма, а съ другой — видѣли у насъ преслѣдованіе всякой мало-мальски свободной мысли“... Тѣмъ не менѣе г. Милюковъ утверждаетъ, что въ томъ изъ тогдашнихъ свободно-мыслящихъ кружковъ, гдѣ онъ видалъ Достоевскаго, „не было никакихъ чисто революціонныхъ замысловъ“. Прежде всего они (Дуровцы) въ своихъ бесѣдахъ не мало сѣтовали на строгость тогдашней цензуры. Это тѣмъ понятнѣе, что между ними были юные литераторы и вообще люди, пламенно сочувствующіе литературѣ Достоевскій, какъ вспоминаетъ А. П. Милюковъ, являлся при этомъ и адвокатомъ нашей старой литературы. Когда кто-то заявилъ, что видитъ въ Державинѣ только напыщеннаго оратора и низкопоклоннаго панегириста, Ѳ. М. „вскочилъ, какъ ужаленный“ и въ опроверженіе прочелъ на память оду „Властителямъ и судіямъ“ съ такою силою, что всѣхъ увлекъ... и поднялъ въ общемъ мнѣніи пѣвца Фелицы. Въ другой разъ, сравнивая Пушкина съ В. Гюго, онъ доказывалъ, что нашъ поэтъ, какъ художникъ, выше. „Но особенно занимали ихъ, конечно, политическіе вопросы — прежде всего вопросъ объ освобожденіи крестьянъ. При этомъ замѣчательно, что, по словамъ А. П. Милюкова, Достоевскій прямо говорилъ, что „народъ

*) „Въ память Ѳ. М. Достоевскаго“. (Торжественное собраніе Славянскаго общества 14 февраля 1881 г.). Спб. 1881 г., стр. 14.

**) Передано газетами вскорѣ послѣ смерти Ѳ. М. (за различныя вырѣзки изъ тогдашнихъ газетъ приношу мою благодарность студенту-филологу г. Кюну).

нашъ не пойдетъ по стопамъ европейскихъ революціонеровъ... Я помню, прибавляетъ г. Милуковъ, какъ съ обычной своей энергіей онъ читалъ стихотвореніе Пушкина: „Уединеніе“. Какъ теперь слышу восторженный голосъ, съ какимъ онъ прочелъ заключительный куплетъ:

Увижу-ль, о друзья, народъ неугнетенный
И рабство падшее по манію Царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли наконецъ прекрасная заря?

„Когда при этомъ кто-то выразилъ сомнѣніе въ возможности освобожденія крестьянъ легальнымъ путемъ, О. М. рѣзко выразилъ, что ни въ какой иной путь онъ не вѣритъ“. Тѣмъ не менѣе А. И. Пальму помнится, что когда однажды споръ сошелъ на вопросъ: „ну, а если бы освободить крестьянъ оказалось невозможнымъ иначе, какъ чрезъ возстаніе?“, то Достоевскій съ своею обычною впечатлительностью воскликнулъ: „такъ хотя бы чрезъ возстаніе!“ Вообще въ кружкѣ Дурова были, повидимому, самыя пылкіе люди, и эта пылкость доводила ихъ до неосторожности, которую вовсе не одобрялъ Петрашевскій. Одинъ изъ членовъ другаго кружка, который можно назвать по преимуществу кружкомъ „фурьеристовъ“ (въ немъ выдавался Ханниковъ) говоритъ, что Петрашевскій остался даже очень недоволенъ рѣшимостью Дуровцевъ обзавестись чѣмъ-то въ родѣ тайной литографіи для печатанія и распространенія рѣчей и статей — съ точки зрѣнія тогдашней цензуры совсѣмъ не певиннаго свойства. — Впрочемъ и въ кружкѣ „фурьеристовъ“, отличавшемся большою сдержанностью, случайно завелась мысль о *тайномъ обществѣ* — собственно ради того, чтобы испугать этимъ нѣкоторыхъ неподходящихъ членовъ кружка и такимъ образомъ избавиться отъ лишняго элемента (по достиженіи же этой цѣли — форма тайнаго общества становилась уже вовсе ненужною, по замѣчанію того же лица). Въ романѣ своемъ „Алексѣй Слободинъ“ г. Пальмъ, какъ онъ мнѣ говорилъ, въ лицѣ самого Слободина воспроизвелъ нѣкоторыя черты молодой поры О. М. Достоевскаго. Тутъ во время одного изъ обычныхъ споровъ въ описываемомъ въ романѣ кружкѣ „одни грудью стояли за гласное судопроизводство, другіе видѣли все спасеніе въ свободѣ печатнаго слова, третьи провозглашали выборное начало и т. д... Слободинъ тихо и медленно сказалъ: „освобожденіе крестьянъ несомнѣнно будетъ первымъ шагомъ въ нашей великой будущности“. Эти слова, сказанныя спокойнымъ тономъ давно уже воспринятаго и отстоявшагося убѣжденія, сильно подѣйствовали на разгоряченныхъ спорщиковъ, прииририли всѣ инѣи* *). Въ томъ же романѣ выставленъ другой

*) „Вѣстн. Европы“ 1873 г., февраль, стр. 543.

споръ по поводу политическаго переворота во Франціи, причеъ Слободинъ замѣчаетъ: „политическіе вопросы меня слишкомъ мало занимають... мнѣ по-истинѣ все равно, кто у нихъ будетъ—Луи Филиппъ или какойнибудь Бурбонъ, или даже хоть и республика... Кому отъ этого будетъ легче? Народъ выиграетъ нѣсколько громкихъ фразъ, причтетъ нѣсколько новыхъ именъ къ своему мартирологу и пойдетъ на ту же самую работу, прибыльную только для одного буржуа, — а стало быть и жизнь ни на волосъ не будетъ лучше... Я не вѣрю въ полезность игры въ старыя политическія формы“ *)... Это, впрочемъ, соответствуетъ ученію Фурье. И. Л. Ястржембскій, по крайней мѣрѣ, говоритъ: „я, какъ убѣжденный послѣдователь Фурье, политикой въ собственномъ смыслѣ не интересовался вовсе и въ особенности къ формѣ правленія былъ совершенно равнодушенъ. Забѣчательно, наконецъ, что въ „Карманномъ словарѣ иностранныхъ словъ“, изданномъ Петрашевскимъ подъ именемъ Кириллова, (въ которомъ, однако, мало писано самимъ Петрашевскимъ, а всего болѣе статей покойнаго Вал. Майкова **) словарь, изъятый изъ продажи, вотъ какимъ образомъ характеризуется конституція: „этотъ образъ правленія въ западныхъ государствахъ, былъ слѣдствіемъ сильнаго развитія сословій... Защитники его доказываютъ, что онъ основанъ на правѣ каждаго члена общества участвовать въ управленіи того цѣлаго, котораго онъ часть, но на практикѣ это начало неосуществимо въ большихъ государствахъ. Вездѣ необходимость заставляетъ ограничить число лицъ, имѣющихъ право выбрать депутата отъ провинціи или отъ сословія. А такъ какъ единственная мѣра, которою вездѣ руководствуются, состоитъ въ количествѣ имущества гражданина, то на практикѣ до сихъ поръ это хваленое правленіе есть не что иное, какъ аристократія богатства... Защитники конституціи забываютъ, что человѣческой характеръ заключается не въ собственности, а въ личности, и что, признавъ политическую власть богатыхъ надъ бѣдными, они защищаютъ самую сильную деспотію. 200,000 богатыхъ, управляющихъ 33-мя милліонами бѣдныхъ и нищихъ, тоже самое, что каста аѳинскихъ или римскихъ гражданъ, которые утопали въ нѣгѣ и роскоши, попирая личность милліоновъ людей, официально называвшихся вещами“ ***).

Что касается взглядовъ Слободина, то они вполне соответствуютъ

*) Ibidem, 531.

**) По свидѣтельству ближайшихъ родственниковъ рано умершаго даровитаго критика.

***) Словарь Кириллова стр. 133 — 134 (Слово конституція). Въ запискѣ Лябрианди, разумеется, нѣтъ такихъ выписокъ.

тому, что приноминает о Достоевскомъ А. П. Милюковъ: „Онъ всегда высказывался противъ мѣропріятій, способныхъ стѣснить чѣмъ нибудь народъ, и въ особенности смущали его злоупотребленія, отъ которыхъ страдали низшіе классы и учащаяся молодежь“. Видно, Федоръ Михайловичъ подозрѣвалъ такую опасность для народа не въ однихъ только официальныхъ сферахъ. Съ другой стороны, говорятъ, онъ былъ готовъ и на непосредственное сближеніе съ недовольными изъ народа. Слободинъ въ романѣ г. Пальма заводитъ сношенія съ раскольниками. По словамъ одного петрашевца, который не бывалъ въ кружкѣ Дурова, но зналъ, что въ немъ дѣлалось (потому что многое сообщалъ о томъ „фурьеристамъ“ слѣдившій за всѣми кружками Петрашевскій), О. М. дѣйствительно думалъ о сближеніи съ раскольниками. Нѣкоторые изъ Петрашевцевъ, какъ видно по слѣдственному дѣлу, рассчитывали на возстаніе крѣпостныхъ людей. Относительно Достоевскаго однако же изъ доклада о дѣлѣ видно, что онъ, „сознаваясь въ участіи въ разговорахъ о возможности нѣкоторыхъ перемѣнъ и улучшеній, отозвался, что предполагалъ ожидать этого отъ правительства“. Какихъ именно перемѣнъ онъ хотѣлъ, тутъ не сказано, а что дѣло главнымъ образомъ сводилось на освобожденіе крестьянъ видно изъ отзыва о другомъ лицѣ — Головинскомъ, который „хотя разъ сгоряча сказалъ, что для этого всѣ мѣры хороши, вообще же говорилъ объ освобожденіи крестьянъ въ томъ смыслѣ, что это можетъ сдѣлать правительство въ силу самодержавнаго права“ *).

Собственно говоря, Головинскій „указывалъ на необходимость для освобожденія крестьянъ диктатуры, долженствующей предшествовать измѣненію образа правленія, а затѣмъ пояснилъ, что подъ диктатурой разумѣлъ самодержавіе“, на что генералъ-аудиторіатъ въ своемъ докладѣ замѣтилъ,

*) Общество пропаганды въ 1849 г. Лейпцигъ, 1875 г., стр. 145 и 146. Про Достоевскаго въ другомъ мѣстѣ слѣдственнаго дѣла сказано, что въ преніяхъ объ освобожденіи крестьянъ онъ соглашался съ мнѣніемъ Головинскаго (стр. 60). Про Головинскаго опять въ другомъ мѣстѣ мы узнаемъ, что 1-го апрѣля „онъ возражалъ на рѣчь Петрашевскаго въ самыхъ зловредныхъ выраженіяхъ... разбирая три главные вопроса: освобожденіе крестьянъ, свободу книгопечатанія и преобразование судопроизводства... 15 апрѣля... принималъ сторону Петрашевскаго въ главныхъ трехъ вопросахъ... говорилъ, что болѣе прочихъ противенъ освобожденію крестьянъ гр. Панинъ, сказалъ, что въ слѣдующія двѣ пятницы предполагаетъ сказать о законной возможности крестьянъ требовать освобожденія“. (Общ. Проп., стр. 48—49). Освобожденіе крестьянъ стояло также на первомъ планѣ у Слѣшнева и Европеуса. Они доказали это п своею дѣятельностью въ интересахъ крестьянъ послѣ 19-го февраля — какъ усерднѣйшіе исполнители великой реформы покойнаго государя. Замѣчательно, что когда зашла рѣчь о назначеніи мировымъ посредникомъ Н. С. Кашкина и остановились было передъ тѣмъ, что онъ когда-то былъ петрашевцемъ, то Высочайшая воля перешагнула черезъ это препятствіе.

что „понятія о диктатурѣ и самодержавіи совершенно противоположны“ *). Между тѣмъ, съ точки зрѣнія, проводимой въ запискѣ о Петрашевцахъ И. П. Липранди, и надежды на освобожденіе крестьянъ чрезъ подлинное самодержавіе должны были представляться преступленіемъ. Разбирая нѣкоторыя рукописи Петрашевцевъ, Липранди, между прочимъ, приводитъ изъ нихъ слѣдующее: „причина неравенства людей есть феодальное и крѣпостное владѣніе... то и другое не имѣетъ нравственной необходимости и было слѣдствіемъ случайныхъ обстоятельствъ“. Затѣмъ Липранди прямо возражаетъ, что „это... существуетъ у насъ и имѣетъ законную силу“ **). Понятно, что при такомъ отношеніи къ дѣлу (а оно вѣроятно сказывалось и не у одного Липранди), при его изложеніи въ докладѣ не могли быть вполне выдѣлены тѣ изъ подсудимыхъ, которые въ своихъ освободительныхъ замыслахъ прежде всего обращались къ самой же верховной власти. Нѣкоторые изъ слѣдователей и судей могли руководиться въ своей строгости тѣмъ дворянскимъ чувствомъ, для котораго въ крестьянскомъ вопросѣ нежелательна была именно полнота и безусловность самодержавія.

Между тѣмъ въ самомъ Петрашевскомъ могли бы они наоборотъ разглядѣть и кое-какія черты, способныя подкупить дворянское чувство (на это, можетъ быть, и рассчитывалъ вообще Петрашевскій). Петрашевскимъ составлена была въ 1848 г. литографированная записка, розданная на выборахъ многимъ дворянамъ, записка, которой, конечно, нельзя было официально не признать за вредную за заключавшійся въ ней расчетъ какъ бы то ни было возбудить дворянъ. Но та же записка представлялась въ высшей степени несочувствованною и многимъ изъ самихъ Петрашевцевъ — тѣмъ, которые являлись прямыми и цѣльными, неспособными къ тому, что теперь называютъ *оппортунизмомъ*. Въ приложенномъ къ слѣдственному дѣлу письмѣ Кайданова изъ Ростова прямо объ этой запискѣ сказано: „я не могу сочувствовать его проекту, какъ и всему тому, что ведетъ къ меркантильному феодализму и финансовой аристократіи; да и къ тому же я не помѣщикъ, меня нисколько не интересуетъ возвышеніе цѣнности населенныхъ имѣній (о чемъ и трактовалось въ запискѣ); пусть цѣны на имѣнія падаютъ ниже и ниже и даютъ государству возможность пріобрѣтать эти имѣнія отъ помѣщиковъ“ ***). По свидѣтельству И. М. Дебу, одинъ изъ главныхъ участниковъ того кружка, къ которому онъ принадлежалъ, Ханниковъ, узнавъ о запискѣ Петрашевскаго, прямо

*) Ibidem, стр. 164.

***) Ibidem, стр. 31 и 32.

***) Ibidem, 83.

воскликнулъ: „да это измѣна!“ Петрашевскій старался имъ объяснить, въ чей дѣло. Онъ рассчитывалъ, заинтересовавъ дворянъ, добиться того, чтобы право на приобрѣтеніе населенныхъ имѣній получили и лица другихъ сословій, что, по его мнѣнію, могло облегчить рѣшеніе крестьянскаго вопроса. Объясненія Петрашевскаго однако же мало удовлетворили „фурьеристовъ“ *).

Но замѣчательно и то, что писалъ Петрашевскій по поводу слуховъ у насъ о настроеніи крестьянъ въ Галиціи.

Это возмѣшгло, какъ сообщилъ онъ въ письмѣ, найденномъ въ бумагахъ Кузьмина, „свое вліяніе на возобновленіе общаго вниманія къ эманципации крестьянъ“. Казалось бы, если такъ, что надо было только желать, чтобы это вниманіе не остыло по старымъ примѣрамъ и къ эманципации непосредственно приступила самодержавная власть, не позволяя болѣе себя сдерживать рабовладѣльческой кастѣ. Но это значило бы для агитаторовъ выпустить дѣло изъ своихъ рукъ, дать ему сдѣлаться такъ, какъ то чаялось издавна народомъ. Какъ бы то ни было, Петрашевскій считаетъ нужнымъ замѣтить, что „вопросъ этотъ (эманципация) не можетъ быть разрѣшенъ безъ предварительнаго преобразованія судоустройства и судопроизводства“ **). У болѣе раннихъ заговорщиковъ тоже предполагалось нѣчто *предварительное* — совершенное измѣненіе государственнаго строя. Не даромъ со словъ Достоевскаго было записано: „идея декабристовъ была ограничить самодержавіе: стать лордами. Они, признаетъ онъ, хотѣли освободить крестьянъ, но безъ земли“. И оно, конечно, и вышло бы такъ, еслибы было имъ достигнуто ихъ *предварительное* ***). Замѣчательно, что своего рода „предварительное“ оказы-

*) Странно, что г. Ястржембскій, напротивъ, слышалъ, будто Петрашевскій виѣсть съ полковникомъ Дуровскимъ (помѣщикомъ петербургской губ.) внесъ въ дворянское собраніе проектъ освобожденія крестьянъ, что крайне раздражило министра Перовскаго. Дѣло, вѣроятно, было передано г. Ястржембскому неточно и тутъ разумѣется не какая другая записка, какъ таже о возвышеніи дѣяности дворянскихъ имѣній (мы видѣли какъ ее объяснялъ Петрашевскій). Официальныя же лица могли быть раздражены всякою запискою неофициальнаго происхожденія.

**). Ibidem, стр. 104. Напротивъ того, Ахшарумовъ говорилъ, что вопросы о судопроизводствѣ и объ освобожденіи крестьянъ должны разрѣшиться въ одинъ и тотъ же день. (Общ. Проп., стр. 55). Впрочемъ, по увѣренію одного изъ близкихъ къ Петрашевскому лицъ, и Петрашевскій высказывался въ такомъ смыслѣ.

***). Были между ними однако немногіе, глядѣвшіе дальше — наприм. Рыгѣевъ (существуетъ слухъ, будто и Пестель думалъ о земельномъ надѣлѣ). Но всѣ они начинали съ конституціи, а при ней, разумѣется, меньшинство, согласившееся на надѣлъ, должно бы было спасовать передъ большинствомъ. Мы видѣли какъ характеризуется конституція въ „Словарѣ“ Петрашевскаго (главнымъ работникомъ котораго былъ однакоже не онъ самъ).

вается и у противника декабристовъ, Карамзина: у него оно заключалось въ народномъ образованіи на основаніи Жанъ-Жаковского: „надо сперва освободить души, а потомъ тѣла“. Такимъ образомъ, люди различныхъ направленій сходились у насъ въ признаваніи необходимости *предварительнаго*. Но о немъ совершенно не думали „Дуровцы“, къ которымъ принадлежалъ и Достоевскій, не думали и послѣдовательные изъ „фурьеристовъ“, какъ не думалъ въ XVIII в. Радищевъ (потому-то наша барско-бюрократическая оппозиція и отомстила ему, давно уже покойнику, официальнымъ сожженіемъ его сочиненій уже послѣ освобожденія крестьянъ). Касаюсь всего этого, считая необходимымъ выдѣлить положеніе Достоевскаго и многихъ между Петрашевцами относительно того, кто далъ прозваніе всему дѣлу — самого Петрашевскаго. О. М-чъ имѣлъ основаніе говорить, что изданная въ Лейпцигѣ книжка о пропагандѣ „вѣрна, но не полна. Я, поясняя оны, не вижу въ ней моей роли“... „Многія обстоятельства, прибавляетъ оны, — совершенно ускользнули; цѣлый заговоръ пропал“. Въ самомъ дѣлѣ, если въ запискѣ Липранди говорится, что „тутъ былъ не столько мелкій и отдѣльный заговоръ, сколько всеобъемлющій планъ общаго движенія, переворота и разрушенія“, то изъ самаго дѣла выходитъ, что собственно и заговора не оказалось, „по разномыслию соучастниковъ“. Петрашевскій руководилъ ими, но самъ оны былъ для многихъ изъ нихъ довольно антипатичнымъ. По свидѣтельству И. М. Дебу, къ нему не то съ соревнованіемъ, а не то и съ ревностью относился Спѣшневъ, у котораго собирався особый кружокъ. А къ Спѣшневу съ своей стороны точно также относился Петрашевскій. Въ памяти самого О. М. очевидно сохранилось, что *въ замыслѣ* заговоръ существовалъ — т. е. существовалъ въ будущемъ. Оны, повидимому, вытекалъ изъ общаго недовольства, которое оставалось главной связью между членами „общества пропаганды“, какъ оно вѣрно и озаглавлено въ лейпцигской книжкѣ. Имѣлось въ виду пропагандировать недовольство существующимъ порядкомъ вездѣ, начиная съ учебныхъ заведеній; завязывать связи со всѣмъ, въ чемъ было уже недовольство — съ раскольниками и крѣпостными крестьянами. И. М. Дебу говоритъ, что для пропаганды наиболѣе подходящей представлялась членамъ различныхъ кружковъ страстная натура Достоевскаго, производившая на слушателей ошеломляющее дѣйствіе. „Какъ теперь, говоритъ оны, вижу я передъ собою Федора Михайловича на одномъ изъ вечеровъ у Петрашевскаго, вижу и слышу его разсказывающимъ о томъ, какъ былъ прогнанъ сквозь строй фельдфебель финляндскаго полка, отмстившій ротному командиру за варварское обращеніе съ его товарищами, или же о томъ, какъ постунають

помѣщени со своими крѣпостными. Не менѣе живо помню его, рассказывающаго свою „Нечочку Незванову“ гораздо полнѣе, чѣмъ была она напечатана; помню, съ какими живыми человѣческими чувствами относился онъ и тогда къ тому общественному „проценту“, олицетвореніемъ котораго явилась у него впоследствии Сонечка Мармеладова (не безъ вліянія, конечно, ученія Фурье). Понятно, говоритъ онъ, что Достоевскимъ особенно дорожили и „фурьеристы“, желая его видѣть въ числѣ своихъ. Рассчитывать на то, чтобы его перетянуть къ себѣ, казалось возможнымъ по особой его впечатлительности и неустановленности.

По свидѣтельству покойнаго Спѣшнева (записано съ его словъ А. Г. Достоевской) на О. М.—ча Петрашевскій производилъ отталкивающее впечатлѣніе тѣмъ, что былъ безбожникъ и глумился надъ вѣрой. О. М., по словамъ Спѣшнева, бывалъ у Петрашевскаго довольно рѣдко. Самъ Петрашевскій, какъ видѣли мы, не брезгалъ какъ будто даже возбужденіемъ „меркантильныхъ и феодальныхъ инстинктовъ“, нѣкоторые изъ пропагандистовъ готовы были, ради усиленія недовольства, распространять науперизмъ *), а во время слѣдствія и суда дѣлали на своихъ же извѣты, для того, вѣроятно, чтобы выставленіемъ дѣла въ преувеличенномъ видѣ болѣе напугать правительство, другіе же были гораздо болѣе разборчивы нравственно, что касается какъ союзниковъ такъ и средствъ, и Достоевскій несомнѣнно принадлежалъ къ нимъ. Мы уже видѣли, что у многихъ была даже своего рода антипатія къ самому Петрашевскому. „Онъ показался мнѣ, вспоминаетъ А. П. Милюковъ, не очень симпатичнымъ, по рѣзкой парадоксальности его взглядовъ и холодности во всему русскому. (Послѣднее, надо замѣтить, положительно отрицаетъ И. М. Дебу). Бружокъ Дурова, говоритъ А. П. Милюковъ, состоялъ изъ людей, посвѣщавшихъ Петрашевскаго, но не вполне согласныхъ съ его мнѣніями... „Всѣ мы читали социалистовъ, продолжаетъ А. П. Милюковъ, но далеко не вѣрили въ возможность практическаго осуществленія ихъ плановъ. Въ числѣ послѣднихъ былъ О. М. Достоевскій. Онъ читалъ социальныхъ писателей, но относился къ нимъ критически... (По свидѣтельству г. Дебу, Достоевскій самъ ихъ не изучалъ, но познакомился съ ними черезъ Ханькова. Про самого г. Дебу въ докладѣ сказано, что онъ собирался быть переводчикомъ Фурье; по его же словамъ, о настоящемъ переводѣ нельзя было и думать, такъ какъ Фурье слишкомъ труденъ для читающей публики **).

Достоевскій настаивалъ на томъ, что и всѣ эти теории не имѣютъ

*) Если вѣрить запискѣ Липранди. (Общ. Проп., стр. 24).

***) Общ. Проп., стр. 141.

для насъ никакого значенія, что въ общинѣ, въ артели и круговой по-рукѣ давно уже существуютъ основы, болѣе прочныя и нормальныя, чѣмъ всѣ мечтанія Сень-Симона и его школы. Онъ говорилъ, что жизнь въ Икарійской коммунѣ или фаланстерѣ представляется ему ужаснѣе и противнѣе всякой каторги". (По словамъ И. М. Дебу и у „фурьеристовъ“ обращено было вниманіе на русскую общину, съ которою познакомилъ ихъ, какъ и многихъ другихъ у насъ, Гакстгаузенъ. Относительно же фаланстеры, говоритъ онъ, взглядъ Ф. М.—ча былъ практичнѣе, чѣмъ ихъ собственный) *).

По разсказу А. П. Милюкова, на одномъ изъ вечеровъ у Дурова онъ прочелъ свой переводъ на церковно-славянскомъ языкѣ одной главы изъ „Paroles d'un croyant“ Ламенна, про который Достоевскій сказалъ, что суровая библейская рѣчь этого сочиненія вышла въ переводѣ на нашъ древній литературный языкъ выразительнѣе чѣмъ въ оригиналѣ. Названное сочиненіе Ламенна, какъ извѣстно, принадлежитъ къ тому направленію, къ которому можно примѣнить терминъ, впоследствии употребившейся Достоевскимъ въ примѣненіи къ его собственному направленію: „христіанскій социализмъ“. Между безусловными социалистами той поры, по воспоминаніямъ самого Ф. М., занесеннымъ въ книжку женою, самымъ яркимъ былъ Н. Я. Данилевскій **). Впоследствии онъ отказался отъ идей Фурье и сталъ вполне славянофиломъ. Между тѣмъ, г. Данилевскаго вовсе не оказывается въ слѣдственномъ дѣлѣ. Въ самомъ же Ф. М., какъ выходитъ по свидѣтельству г. Милюкова, въ то время уже связывались зачатки славянофильства. Но дальнѣйшее развитіе этихъ зачатковъ и ихъ окончательное торжество надъ прививными теоріями, по свидѣтельству самого Достоевскаго въ „Дневникѣ Писателя“ 1873 г., произошло „не такъ скоро, а постепенно и послѣ долгаго времени.... „А между тѣмъ я былъ, говоритъ онъ, однимъ изъ тѣхъ, которымъ наиболѣе облегченъ былъ возвратъ къ народному корню, къ узнанію русской души, къ признанію духа народнаго. Я происходилъ изъ семейства русскаго и благочестиваго... Мы, въ семействѣ нашемъ, знали евангеліе чуть не съ перваго дѣтства. Мнѣ было всего лишь десять лѣтъ, когда я уже зналъ почти всѣ главныя эпизоды русской исторіи изъ Карамзина, котораго велухъ по вечерамъ

*) Впрочемъ, и вообще наши фурьеристы далеко не слѣпо слѣдовали своему учителю. Такъ Кайдановъ пишетъ: „ты знаешь, что я, будучи совершенно убѣжденъ въ истинѣ и исполнимости ученія Фурье, вовсе не считая себя обязаннымъ слѣпо вѣрить à toutes les extravagances de notre maitre“. (Общ. проп. 82).

***) По словамъ И. М. Дебу, онъ вмѣстѣ съ однимъ изъ извѣстнѣйшихъ современнѣхъ писателей случайно приобрѣли Фурье на Апраксиномъ дворѣ, стали читать, и г. Данилевскій окончательно имъ увлекся.

читалъ намъ отецъ. Каждый разъ посѣщеніе кремля и соборовъ московскихъ было для меня чѣмъ-то торжественнымъ. У другихъ, можетъ быть, не было такого рода воспоминаній, какъ у меня“ *).

Всѣ эти задатки въ направленіи Достоевскаго ни мало не видны изъ слѣдственнаго дѣла, въ которомъ, однако, отмѣчено, что въ бумагахъ другаго лица, А. И. Пальма, „какъ увѣдомилъ князь Голицынъ, видна сильная любовь къ Россіи“ **). Нѣкоторые изъ Петрашевцевъ даже очень враждебно относились къ славянофиламъ. Толь говорилъ: „общество ихъ основано на глупѣйшихъ началахъ, потому что отвергаетъ заслуги Петра В... Общество это стремится къ соединенію всѣхъ славянскихъ племенъ вмѣстѣ, къ составленію отдѣльнаго совершенно не общеевропейскаго, но особеннаго славянскаго элемента. Правительство же преслѣдуетъ это общество за то, что оно въ этомъ смыслѣ не ортодоксально, что думаетъ завести правленіе въ родѣ древне-новгородскаго съ вѣчешъ и посадниками“. (Общ. проп., стр. 44—45) ***). Изъ приложеннаго же къ дѣлу письма А. Н. Плещеева изъ Москвы видно, что ему было вовсе не по душѣ то стремленіе къ народному русскому, которое окрещено у насъ славянофильствомъ. Про Хомякова онъ тутъ говоритъ, что это „человѣкъ безъ серьезныхъ убѣжденій, умѣющій заставить себя слушать“; про Б. С. Аксакова, что онъ „фанатикъ, ходитъ съ бородою по колѣно, какъ царь Берендей; носитъ зипунъ, штаны въ сапоги и ходитъ въ церковь едва-ли не каждый день; считаетъ все грѣхомъ, и театры и литературу (!)“ ****). Быть можетъ, именно зная кое-какіе задатки славянофильства у Достоевскаго, г. Плещеевъ и поспѣшилъ ему выслать изъ Москвы знаменитое письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, считавшееся побѣдоноснымъ манифестомъ западничества. Но Достоевскій, такъ же мало какъ и истые славянофилы довольный очень многимъ въ „Перепискѣ“ Гоголя, и вполне недовольный вмѣстѣ съ ними его крѣпостническими воззрѣніями, съ полнымъ сочувствіемъ читалъ у Петрашевскаго письмо Бѣлинскаго, что и послужило однимъ изъ капитальныхъ пунктовъ его обвиненія (письмо Бѣлинскаго названо въ дѣлѣ „полнымъ дерзкихъ выраженій противъ православной церкви и верховной власти“). При чтеніи присутствовалъ И. Л.

*) Соч. X, 158.

**) „Общество пропаганды“, стр. 148.

***) Другой Толь, обозначенный въ докладѣ 2-мъ, былъ значительно иного мнѣнія. Если судить по тому, что сочувствовалъ обращенію остзейскихъ крестьянъ въ православіе, а равно и болѣе энергическому образу дѣйствій правительства отно. сительно остзейскихъ Нѣмцевъ (конечно, то и другое съ соціальной точки зрѣнія). (Общ. Проп., стр. 46—47).

****) Ibidem 78.

Ястржембскій, въ первый разъ тогда слышавшій Достоевскаго. Онъ живо помнитъ, до какой степени былъ онъ пораженъ симпатичнымъ голосомъ О. М. „Читать онъ былъ мастеръ“, замѣчаетъ г. Ястржембскій. Впослѣдствіи, говоритъ онъ, „это чтеніе послужило поводомъ къ осужденію какъ Достоевскаго, такъ и меня, за то, что я выражалъ одобреніе и сочувствіе мыслямъ письма и даже *кивалъ головою*“.

Самъ О. М. въ томъ, что удалось записать съ его словъ, указывалъ еще и другой обвинительный пунктъ, слѣдъ котораго совершенно не существуетъ въ томъ, что напечатано изъ слѣдственнаго дѣла. „Я, говоритъ онъ, между прочимъ, пострадалъ за свои слова о томъ, что Россія служитъ политикѣ Меттерниха“. Слова эти находились опять въ несомнѣнной связи съ славянофильскими задатками Достоевскаго. **)

Если изъ дѣла совсѣмъ не видно, что упоминаемыя въ немъ разногласія между Петрашевцами сводились отчасти къ двумъ тогда уже начинавшимъ обозначаться зачаткамъ типовъ — западначескаго и самобытначескаго или славянофильскаго, то въ отношеніи религіозныхъ воззрѣній всѣ вообще Петрашевцы выставлены тутъ согласными — т. е. вовсе не религіозными или даже антирелигіозными. Даже составленный Филиповымъ перифразъ заповѣдей обозванъ тутъ совершенно атеистическимъ, тогда какъ въ немъ можно видѣть только непозволительное, конечно, перенесеніе религіи на политическую почву, но никакъ не что либо исполненное невѣрія *). На самомъ дѣлѣ вполне отъявленнымъ атеистомъ былъ Петрашевскій, какъ это видно изъ вышеприведенныхъ словъ Спѣшневъ. Самъ Спѣшневъ, какъ припоминалъ мнѣ на словахъ г. Момбелли, читалъ у Петрашевскаго трактатъ объ атеизмѣ. Если судить по слѣдственному дѣлу, то на религію по фейербаховски смотрѣли Толь, Ахшарумовъ и др. Но нѣкоторые изъ Петрашевцевъ несомнѣнно были религіозны. Такъ Ѳедоръ Михайловичъ говорилъ про Дурова, что онъ даже былъ „до смѣшнаго религіозенъ“. Самъ О. М., какъ мы уже знаемъ, приходилъ въ негодовапіе и отъ вспышекъ Вѣлинскаго, и отъ систематически-антихристіанскаго направленія Петрашевскаго. По свидѣтельству Ст. Дм. Яновскаго, въ 1847

*) Какъ излишне должно было послѣ этого показаться О. М.-чу стараніе А. Д. Градовскаго вразумить его уже подъ конецъ его жизни на счетъ вреда нашей службы Меттерниховщинѣ.

**) Вотъ образчикъ: „всѣ вы идете, говоритъ Филиповъ, — смотрѣть, какъ наказываютъ мужиковъ, что посмѣли ослушаться господина или убили его. Развѣ вы не понимаете, что они исполнили волю Божию и что принимаютъ наказаніе, какъ мученики за своихъ ближнихъ. Развѣ не будете защищаться, коли нападутъ на васъ разбойники; а помѣщикъ, обижаяющій крестьянъ своихъ, не хуже-ли онъ разбойника?“ (Общ. Проп. 90).

и 1849 г. **Ө. М.** виѣсть съ нимъ говѣлъ у Вознесенья и „дѣлалъ это не для формы“. — Д-ръ Яновскій тогда уже, какъ онъ выражается, „благоговѣлъ передъ его твердостью въ православіи и заслушивался его бесѣды на тему любви и милосердія“. Если **Ө. М.** находилъ Дурова религіознымъ *до смѣшнаго*, то это, конечно, значить, что религіозность его доходила до какихъ нибудь крайностей.

Относительно другихъ ихъ качествъ замѣтить, что Дуровъ, по словамъ **Ө. М.**, былъ уменъ, но въ одну сторону и добръ. По словамъ г. Ястржембскаго, онъ былъ при этомъ воспитанъ въ нѣгѣ и холѣ и былъ въ высшей степени деликатенъ и нравственно и физически. Это, конечно, совсѣмъ не въ лицу заговорщику. По виѣшнему виду, какъ замѣтилъ одинъ изъ знакомыхъ Спѣшнева, истинный типъ заговорщика связывался въ **Өедорѣ Михайловичѣ**: онъ былъ молчаливъ, любилъ говорить одинъ на одинъ, былъ скорѣе скрытенъ, чѣмъ откровененъ. Къ тому же, по словамъ Спѣшнева, **Ө. М.** никогда не казался молодъ, такъ какъ имѣлъ болѣзненный видъ (а во время слѣдствія ему было всего 27 лѣтъ). Въ другой формѣ болѣе или менѣе такую же характеристику Достоевскаго даетъ и **И. Л. Ястржембскій**: „онъ былъ тихій, скромный, на видъ очень симпатичный молодой человѣкъ; его лице обнаруживало болѣзненность. Говорилъ онъ всегда мало и тихо“. Но къ этому г. Ястржембскій прибавляетъ: „всѣ мы всегда въ немъ видѣли человѣка мягкаго, нервнаго, способнаго къ самой нѣжной чувствительности. При интимныхъ бесѣдахъ въ немъ всегда можно было узнать автора „**Неточки Незвановой**“. Но этотъ самый, тихій и скромный человѣкъ, какъ мы выше слышали отъ **И. М. Дебу**, способенъ былъ доходить въ своихъ рѣчахъ до самаго потрясающаго паѳоса.

Съ какихъ поръ завелся у насъ эти „заговорщики“ или, какъ выразился **Ө. М.** въ своихъ „**Бѣлыхъ ночахъ**“ — „мечтатели?“

Если вѣрить запискѣ **Липранди**, то общество пропаганды существовало уже въ 1842 г. Изъ самаго же дѣла видно, что по показаніямъ лицъ, бывавшихъ у **Петрашевскаго**, собранія у него начались съ конца 1845 г. Кромѣ того въ зиму 1846—1847 гг. особые еженедѣльные вечера завелъ у себя **Момбелли**, но потомъ, познакомившись съ **Петрашевскимъ**, сталъ постоянно посѣщать уже его собранія по пятницамъ *).

Изъ рукописей, приложенныхъ къ дѣлу, самыми ранними являются выдержки изъ учебныхъ тетрадей **П. И. Ламанскаго**, приводимыя въ видѣ доказательства издавна подготовленной пропаганды въ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 1845 и 1846 гг. вышли въ Петербургѣ два выпуска

*) Общество пропаганды (стр. 120, 133).

изданнаго Петрашевскимъ подъ именемъ Кириллова „*Карманнаго Словаря иностранныхъ словъ*“, входящихъ въ составъ русскаго языка (до буквы *О* включительно), вскорѣ по выискѣ въ продажу отобранные изъ лавокъ, причемъ издатель остался однако внѣ всякаго преслѣдованія. Между тѣмъ, если вѣрить Липранди, „не трудно было узнать, что у него въ продолженіи уже нѣсколькихъ лѣтъ бывають постоянныя по пятницамъ собранія, на которыхъ, по выраженію простолюдиновъ, онъ пишетъ новыя законы“. Въ „Словарѣ“ Петрашевскаго, по свидѣтельству того же Липранди, про ученіе Христова сказано было, что оно имѣло цѣлю „*водвореніе свободы и уничтоженіе частной собственности*“, и что „какъ ни прекрасно было начало его ученія, но оно еще не получило нормальнаго развитія“ *). Въ докладѣ о дѣлѣ говорится объ одномъ сочиненіи Петрашевскаго, въ которомъ онъ „дерзнулъ назвать Иисуса Христа демагогомъ, нѣсколько неудачно кончившимъ свою карьеру“ **). Эта точка зрѣнія вполне подходитъ къ той, въ которую посвящаль Достоевскаго Вѣлинскій еще въ томъ же 1846 г. По собственному сознанію Ѳ. М. на судѣ, онъ посѣщаль собранія у Петрашевскаго 3 года ***), т. е. долженъ былъ начать посѣщать ихъ съ того же 1846 г. Онъ былъ такимъ образомъ въ числѣ самыхъ раннихъ посѣтителей Петрашевскаго (вмѣстѣ съ Плещеевымъ, Ханыковымъ и Толемъ) другіе стали посѣщать его съ 1847 г., наибольшее же число только съ 1848 г. Но мы знаемъ уже, что Ѳ. М. посѣщаль Петрашевскаго не особенно часто. Писемъ Ѳ. М. за весь этотъ любопытнѣйшій періодъ времени съ 1846 по 1849 г. вовсе не сохранилось, т. е. очень можетъ быть, что они были уничтожены. Собранія у Кашкина начались только съ конца 1848 г., а собранія у Дурова—по субботамъ—съ марта 1849 г. На собраніяхъ, происходившихъ у Петрашевскаго, какъ припоминалъ мнѣ на словахъ г. Момбелли, завелся, хотя и не вдругъ, обычай руководить преніями по поводу рефератовъ, при помощи президента. Рефераты читались, между прочимъ, такіе, какъ объ атеизмѣ, объ освобожденіи крестьянъ и т. п. Казалось бы все это, особенно при тогдашнихъ порядкахъ, давно должно было привлечь вниманіе и усердіе полиціи. Но она, какъ припоминалъ Ѳ. М., была тогда ужасно плоха, до того, что она цѣлый годъ искали себѣ порядочнаго шпиона и не могли найти. Липранди въ своей запискѣ объясняетъ это тѣмъ, что „тутъ недостаточно было ввести въ собранія человѣка только благонамѣреннаго; агентъ этотъ долженъ былъ сверхъ того стоять въ уровенъ въ познаніяхъ

*) Ibidem, стр. 32. Цитата изъ „Словаря“ приведена вѣрно.

***) Ibidem, 129.

***) Ibidem, 143.

съ тѣми лицами, въ кругъ которыхъ онъ долженъ былъ вступить... и наконецъ стать выше предразсудка, который въ молвѣ столь несправедливо и потому безнаказанно пятнасть ненавистнымъ именовъ доносчика... Такие агенты, прибавляетъ онъ, за деньги не отыскиваются". — Такимъ, „ставшимъ выше предразсудка“ оказался наконецъ Антонелли, сынъ художника, получившій образованіе въ петербургскомъ университетѣ и служившій въ департаментѣ внутреннихъ сношеній министерства иностранныхъ дѣлъ. Въ дѣлѣ о немъ значится, что онъ съ 11-го марта по 15-е апрѣля былъ каждую пятницу на собраніяхъ у Петрашевскаго. Ѳ. М. въ своихъ устныхъ воспоминаніяхъ указывалъ на то, что тамъ же служилъ и Петрашевскій. Имъ такимъ образомъ не трудно было познакомиться. По словамъ Ѳ. М., когда онъ явился, то всѣ тотчасъ поняли, что это шпионъ и сказали Петрашевскому, а когда Антонелли позвалъ ихъ къ себѣ, то никто не пошелъ.

Повидимому Петрашевцевъ окончательно погубилъ обѣдъ въ честь Фурье 7-го апрѣля, который открывался предполагавшійся рядъ обѣдовъ въ честь знаменитыхъ людей какъ нашего времени, такъ и прошедшихъ вѣковъ (въ числѣ ихъ отводилось мѣсто и основателю христіанства—совершенно соотвѣтственно тому взгляду, о которомъ мы уже слышали выше отъ самого Ѳ. М.—ча). На обѣдѣ 7-го апрѣля Петрашевскій произнесъ рѣчь, законченную словами: „Мы осудили на смерть настоящій бытъ общества; надо же приговоръ намъ исполнить“. Въ рѣчи же, произнесенной на этомъ обѣдѣ Ахшарумовымъ, излагалась (утверждается въ докладѣ о дѣлѣ) „необходимость уничтоженія семьи, собственности, государства, законовъ, войска, городовъ и храмовъ“ *). Достоевскій въ обѣдѣ этомъ не участвовалъ. Въ дѣлѣ о немъ, сверхъ общаго указанія на посѣщеніе имъ собраній у Петрашевскаго, сказано только: „принималъ участіе въ разговорахъ о строгости цензуры и на одномъ собраніи въ мартѣ 1849 г. прочелъ полученное изъ Москвы отъ Плещеева письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, потомъ читалъ его на собраніяхъ у Дурова и отдалъ для списанія копию Момбелли. На собраніяхъ у Дурова слушалъ чтеніе статей, зналъ о предположеніи завести литографію, у Сибшнева слышалъ чтеніе „Солдатской бесѣды“ (составленной Григорьевымъ) **).

Роковымъ днемъ для Петрашевцевъ было 23-е апрѣля, когда какъ самъ Бутаевичъ-Петрашевскій, такъ и нѣкоторые изъ посѣщавшихъ его лицъ, всего 34 человекъ, были арестованы. По свидѣтельству А. П.

*) Общество пропаганды, стр. 128, 138.

***) Ibidem, стр. 143.

Милукова, взяты были только тѣ члены кружковъ, которые посѣщали Петрашевскаго. Затѣмъ, сказано въ дѣлѣ, „признаны подлежащими окончательному судебному разбору 23 человѣка: титулярный совѣтникъ Михаилъ Буташевичъ-Петрашевскій (27 лѣтъ), помѣщикъ Курекой губ. Николай Слѣшневъ (28 лѣтъ); поручикъ л.-гв. московскаго полка Николай Момбелли (27 лѣтъ); поручикъ л.-гв. конногренадерскаго полка Ник. Григорьевъ (27 лѣтъ); штабъ-капитанъ л.-гв. егерскаго полка Фед. Львовъ (25 лѣтъ), въ должности репетитора при павловскомъ корпусѣ; студентъ спб. университета Пав. Филиповъ (24 лѣтъ); состоящій при азіатскомъ департаментѣ кандидатъ спб. унив. Дмитрій Ахшарумовъ (26 лѣтъ); студ. спб. унив. Александръ Ханьковъ (24 лѣтъ); служащій въ азіатскомъ департаментѣ Конст. Дебу 1-й (38 лѣтъ); служащій въ томъ же департаментѣ Ипол. Дебу 2-й (25 лѣтъ); служащій въ томъ же департаментѣ Николай Кашкинъ (20 лѣтъ); отставной коллежскій ассессоръ литераторъ Сергѣй Дуровъ (33 лѣтъ); отставной инженеръ-поручикъ литераторъ Федоръ Достоевскій (27 лѣтъ); неслужащій дворянинъ литераторъ Алексѣй Плещеевъ (23 лѣтъ); состоящій при министерствѣ юстиціи титулярный совѣтникъ Василій Головинскій (20 лѣтъ); учитель въ главномъ инженерномъ училищѣ Феликсъ Толль (26 лѣтъ); помощникъ инспектора въ технологическомъ институтѣ Ив. Петржембскій (34 лѣтъ); поручикъ л.-гв. егерскаго полка Александръ Пальмъ (27 лѣтъ); служащій при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ тит. сов. Константинъ Тимковскій (35 лѣтъ); отставной коллежскій секретарь Александръ Европеусъ (22 лѣтъ); мѣщанинъ Петръ Шапошниковъ (28 л.); сынъ почетнаго гражданина Вас. Катеневъ (19 лѣтъ); отставной подпоручикъ Рафаиль Черносивтовъ (39 лѣтъ).

Такой разнородный составъ общества далъ поводъ къ слѣдующимъ толкованіямъ въ запискѣ Липранди: „обыкновенные заговоры бывають большею частію изъ людей однородныхъ... наприм., въ заговорѣ 1825 г. участвовали исключительно дворяне и притомъ преимущественно военные. Тутъ же, напротивъ, съ гвардейскими офицерами и съ чиновниками мин. ин. дѣлъ рядомъ находятся не кончившіе курсъ студенты, мелкіе художники, кушцы, мѣщане, даже лавочники, торгующіе табакомъ. Очевидно, что сѣтъ была заткана такая, которая должна была захватить все народонаселеніе и, слѣдовательно, чтобъ дѣйствовать не на одномъ мѣстѣ, а повсюду. *)

Самимъ Петрашевцамъ параллель съ декабристами могла представляться

*) „Общество пропаганды“ стр. 10.

и въ другомъ смыслѣ. „Преступленія тѣхъ были важнѣе, разсуждали они въ крѣпости, такъ какъ они проникли въ войско и располагали пушками и оружіемъ“ (разсказываетъ Ф. М. Достоевскій). „Декабристы дрались на площади, въ народѣ, а мы только говорили въ комнатѣ“, замѣтилъ А. Г. Достоевской покойный Спѣшневъ. Но Ф. М., какъ мы видѣли, утверждалъ, что „тутъ былъ цѣлый заговоръ и все, что и въ послѣдующихъ заговорахъ, кромѣ посягательствъ“.

О томъ, какъ произведенъ былъ арестъ Ф. М.—ча мы узнаемъ изъ воспоминаній А. П. Милюкова, передающаго разсказъ о томъ прибѣжавшаго къ нему 23-го апрѣля Михаила Михайловича, который сказалъ при этомъ, что не сегодня — завтра возьмутъ и его. „Брата Андрея, говорилъ онъ, арестовали... Онъ ничего не знаетъ, никогда не бывалъ съ нами... Его взяли по ошибкѣ вмѣсто меня“.

„Мы уговорились, вспоминаетъ А. П. Милюковъ, идти сейчасъ же разузнать, кто еще изъ нашихъ друзей арестованъ, а вечеромъ опять повидаться. Прежде всего я отправился къ квартирѣ С. Ф. Дурова: она была заперта и на дверяхъ висѣли казенныя печати. То же самое нашелъ я у Н. А. Момбелли въ Московскихъ казармахъ и на Васильевскомъ Острову, у П. И. Филиппова. На вопросы мои денщику и дворникамъ инѣ отвѣчали: „господь увезли ночью“. Денщикъ Момбелли, который зналъ меня, говорилъ это со слезами на глазахъ. Вечеромъ я зашелъ къ М. М. Достоевскому и мы обмѣнялись собранными свѣдѣніями. Онъ былъ у другихъ нашихъ общихъ знакомыхъ и узналъ, что большая часть изъ нихъ арестованы въ прошлую ночь. По тому, что мы узнали, можно было заключить, что задержаны тѣ только, кто бывалъ на сходкахъ у Петрашевскаго, а принадлежавшіе къ одному Дуровскому кружку¹ остались пока на свободѣ. Ясно было, что объ этомъ кружкѣ еще не знали, и если Дуровъ, Пальшъ и Щелковъ арестованы, то не по поводу ихъ вечеровъ, а только по знакомству съ Петрашевскимъ. М. М. Достоевскій тоже бывалъ у него и очевидно не взятъ былъ только потому, что вмѣсто него по ошибкѣ задержали его брата Андрея Михайловича *)...... Онъ цѣлыя двѣ недѣли ждалъ каждую ночь неизбѣжныхъ гостей“.

Относительно своего ареста, Андрей Михайловичъ Достоевскій доста-

*) Онъ былъ указанъ въ спискѣ, приложенномъ въ запискѣ И. П. Липранди, съ пометкою: „18-го марта былъ на собраніи“ и примѣчаніемъ: „есть еще 3-й братъ, Михайло, отставной прапорщикъ. ...Неизвѣстно, находится-ли въ тайнѣ съ грочини братьями. „Немного выше у Липранди сказано: „По словамъ Петрашевскаго, братья Достоевскіе и Майковы разыгрываютъ первую роль въ обществѣ литераторовъ“ („Общество пропаганды“, стр. 61).

Милюкова, взяты были только тѣ члены кружковъ, которые посѣщали Петрашевскаго. Затѣмъ, сказано въ дѣлѣ, „признаны подлежащими окончательно судебному разбору 23 человекъ: титулярный совѣтникъ Михайлъ Буташевичъ-Петрашевскій (27 лѣтъ), помѣщикъ Курской губ. Николай Сиѣшневъ (28 лѣтъ); поручикъ л.-гв. московскаго полка Николай Момбелли (27 лѣтъ); поручикъ л.-гв. конногренадерскаго полка Ник. Григорьевъ (27 лѣтъ); штабсъ-капитанъ л.-гв. егерскаго полка Фед. Львовъ (25 лѣтъ), въ должности ренетитора при павловскомъ корпусѣ; студентъ сб. университета Пав. Филипповъ (24 лѣтъ); состоящій при азіатскомъ департаментѣ кандидатъ сб. унив. Дмитрій Ахшарумовъ (26 лѣтъ); студ. сб. унив. Александръ Ханьковъ (24 лѣтъ); служащій въ азіатскомъ департаментѣ Конст. Дебу 1-й (38 лѣтъ); служащій въ томъ же департаментѣ Ипол. Дебу 2-й (25 лѣтъ); служащій въ томъ же департаментѣ Николай Кашкинъ (20 лѣтъ); отставной коллежскій ассессоръ литераторъ Сергѣй Дуровъ (33 лѣтъ); отставной инженеръ-поручикъ литераторъ Федоръ Достоевскій (27 лѣтъ); неслужащій дворянинъ литераторъ Алексѣй Плещеевъ (23 лѣтъ); состоящій при министерствѣ юстиціи титулярный совѣтникъ Василій Головинскій (20 лѣтъ); учитель въ главномъ инженерномъ училищѣ Феликсъ Толль (26 лѣтъ); помощникъ инспектора въ технологическомъ институтѣ Ив. Ястржембскій (34 лѣтъ); поручикъ л.-гв. егерскаго полка Александръ Пальмъ (27 лѣтъ); служащій при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ тит. сов. Константинъ Тимковскій (35 лѣтъ); отставной коллежскій секретарь Александръ Европеусъ (22 лѣтъ); мѣщанинъ Петръ Шапошниковъ (28 л.); сынъ почетнаго гражданина Вас. Катеневъ (19 лѣтъ); отставной подпоручикъ Рафаилъ Черносивтовъ (39 лѣтъ).

Такой разнородный составъ общества далъ поводъ къ слѣдующимъ толкованіямъ въ запискѣ Липранди: „обыкновенные заговоры бывають большею частію изъ людей однородныхъ... наприм., въ заговорѣ 1825 г. участвовали исключительно дворяне и притомъ преимущественно военные. Тутъ же, напротивъ, съ гвардейскими офицерами и съ чиновниками мин. ин. дѣлъ рядомъ находятся не кончившіе курсъ студенты, мелкіе художники, купцы, мѣщане, даже лавочники, торгующіе табакомъ. Очевидно, что сѣтъ была заткана такая, которая должна была захватить все народонаселеніе и, слѣдовательно, чтобъ дѣйствовать не на одномъ мѣстѣ, а повсюду. *)

Самимъ Петрашевцамъ параллель съ декабристами могла представляться

*) „Общество пропаганды“ стр. 10.

и въ другомъ смыслѣ. „Преступленія тѣхъ были важнѣе, разсуждали они въ крѣпости, такъ какъ они проникли въ войско и располагали пушками и оружіемъ“ (разсказывалъ Ф. М. Достоевскій). „Декабристы дрались на площади, въ народѣ, а мы только говорили въ комнатѣ“, замѣтилъ А. Г. Достоевской покойный Спѣшневъ. Но Ф. М., какъ мы видѣли, утверждалъ, что „тутъ былъ цѣлый заговоръ и все, что и въ послѣдующихъ заговорахъ, крошѣ посягательства“.

О томъ, какъ произведенъ былъ арестъ Ф. М.—ча мы узнаемъ изъ воспоминаній А. П. Милюкова, передающаго разсказъ о томъ прибѣжавшаго къ нему 23-го апрѣля Михаила Михайловича, который сказалъ при этомъ, что не сегодня — завтра возьмутъ и его. „Брата Андрея, говорилъ онъ, арестовали... Онъ ничего не знаетъ, никогда не бывалъ съ нами... Его взяли по ошибкѣ вмѣсто меня“.

„Мы уговорились, вспоминаетъ А. П. Милюковъ, идти сейчасъ же разузнать, кто еще изъ нашихъ друзей арестованъ, а вечеромъ опять по-видаться. Прежде всего я отправился къ квартирѣ С. Ф. Дурова: она была заперта и на дверяхъ висѣли казенныя печати. То же самое нашель я у Н. А. Момбелли въ Московскихъ казармахъ и на Васильевскомъ Острову, у П. И. Филипова. На вопросы мои денѣщику и дворникамъ мнѣ отвѣчали: „господъ увезли ночью“. Денѣщикъ Момбелли, который зналъ меня, говорилъ это со слезами на глазахъ. Вечеромъ я зашелъ къ М. М. Достоевскому и мы обмѣнялись собранными свѣдѣніями. Онъ былъ у другихъ нашихъ общихъ знакомыхъ и узналъ, что большая часть изъ нихъ арестованы въ прошлую ночь. По тому, что мы узнали, можно было заключить, что задержаны тѣ только, кто бывалъ на сходкахъ у Петрашевскаго, а принадлежавшіе къ одному Дуровскому кружку остались пока на свободѣ. Ясно было, что объ этомъ кружкѣ еще не знали, и если Дуровъ, Пальмъ и Щелковъ арестованы, то не по поводу ихъ вечеровъ, а только по знакомству съ Петрашевскимъ. М. М. Достоевскій тоже бывалъ у него и очевидно не взятъ былъ только потому, что вмѣсто него по ошибкѣ задержали его брата Андрея Михайловича *)..... Онъ цѣлыя двѣ недѣли ждалъ каждую ночь неизбѣжныхъ гостей“.

Относительно своего ареста, Андрей Михайловичъ Достоевскій доста-

*) Онъ былъ указанъ въ спискѣ, приложенномъ въ запискѣ И. П. Липранди, съ пометкою: „18-го марта былъ на собраніи“ и примѣчаніемъ: „есть еще 3-й братъ, Михайло, отставной прапорщикъ... Неизвѣстно, находится-ли въ тайнѣ съ прочими братьями“. Немного выше у Липранди сказано: „По словамъ Петрашевскаго, братья Достоевскіе и Майковы разыгрываютъ первую роль въ обществѣ литераторовъ“ („Общество пропаганды“, стр. 61).

вилъ обстоятельныя воспоминанія. „22-го апрѣля, говоритъ онъ, въ пятницу вечеромъ, часовъ въ 6-ть, я вышелъ изъ дому и направился на Литейную, чтобы побывать у своего товарища, архитектора Карпова. День былъ очень жаркій... Проходя по Загородному проспекту (изъ Измайловскаго полка) я совершенно неожиданно встрѣтился съ братомъ Ѳедоромъ Михайловичемъ близъ церкви Введенія (Семеновскаго полка). Мы поздоровались и постояли минутъ пять. „Скверно, братъ, очень скверно, сказалъ Ѳ. М.—чь, чувствую, что болѣзнь подтачиваетъ меня, нужно бы отдохнуть, подлѣчиться, куда нибудь поѣхать на лѣто... а средствъ нѣтъ! Чтѣ ты не заходишь? Заходи когда нибудь.

— „Да вѣдь послѣ завтра увидимся у брата (Михаила Михайловича).

— „А ты будешь у брата?

— „Непремѣнно.

— „Ну такъ до свиданья!

„Но въ воскресенье, прибавляетъ Андрей Михайловичъ, намъ обоимъ уже не удалось быть у брата Михаила Михайловича“. Воротившись домой, Андрей Михайловичъ еще долго читалъ, легъ поздно, но уже въ четвертомъ часу утра былъ разбуженъ пріѣхавшими за нимъ жандармами и полицейскими. Его привезли въ 3-е отдѣленіе.

Тамъ, въ залѣ, онъ засталъ уже человекъ двадцать. Они шумно разговаривали, какъ знакомые между собою; кто просилъ чаю, кто кофею. Они въ самомъ дѣлѣ и были между собою знакомы, сходясь въ отдѣльныхъ кружкахъ и у Петрашевскаго—но Андрей Михайловичъ оставался ото всего отъ этого въ сторонѣ *). „Вдругъ, продолжаетъ онъ, вижу—подбѣгаетъ ко мнѣ братъ Ѳедоръ.

— „Ты, братъ, зачѣмъ здѣсь?“ спросилъ онъ; но тутъ же къ намъ подошли два жандарма и мы были разведены въ различныя помѣщенія“.

О томъ, какъ арестовали Ѳедора Михайловича, сохранился его собственный рассказъ, написанный имъ уже по возвращеніи изъ ссылки въ альбомъ дочери А. П. Милюкова въ 1860 г. Рассказъ не чуждъ своего рода юмора.

„Двадцать второго, или, лучше сказать, двадцать третьяго апрѣля (1849 г.) рассказываетъ Ѳ. М., я воротился домой часу въ четвертомъ отъ Григорьева, легъ спать и тотчасъ же заснулъ. Не болѣе какъ черезъ часъ я, сквозь сонъ, замѣтилъ, что въ мою комнату вошли какіе-то по-

* Въ спискѣ у Липранди показано невѣрно. (Въ 1872 г. онъ самъ напечаталъ эту записку въ „Русской Старинѣ“ за июль, съ новымъ предисловіемъ, но безъ)

дозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задѣвшая. Чтѣ за странность? Съ ускліемъ открываю глаза и слышу мягкій, симпатичный голосъ: „вставайте!“ — Смотрю: квартальный или частный приставъ съ красивыми бакенбардами. Но говорилъ не онъ; говорилъ господинъ, одѣтый въ голубое съ подполковничьими эполетами. „Чтѣ случилось? спросилъ я, привставая съ кровати. — „По повелѣнію“... — Смотрю: дѣйствительно „по повелѣнію“. (По словамъ И. Л. Ястржембскаго и ему голосъ жандарма показался „сладенькимъ“, когда произносилъ: „творю волю пославшаго мя“). „Въ дверяхъ, продолжаетъ Ф. М., стоялъ солдатъ, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля... „Эге! да это вотъ чтѣ, подумалъ я“. „Позвольте же мнѣ“, началъ было я. — „Ничего, ничего! одѣвайтесь. Мы подождемъ-съ, прибавилъ подполковникъ еще болѣе симпатическимъ голосомъ. — Пока я одѣвался, они потребовали всѣ книги и начали рыться; — немного нашли, но все перерыли. Бумаги и письма аккуратно связали веревочкой. Приставъ обнаружилъ при этомъ много предусмотрительности; онъ полѣзъ въ печку и пошарилъ мовѣ чубукомъ въ старой золѣ. Жандармскій унтеръ-офицеръ по его приглашенію сталъ на стулъ и полѣзъ на печь, но оборвался съ карниза и громко упалъ на стулъ, а потомъ со стуломъ на полъ. Тогда прозорливые господа убѣдились, что на печи ничего не было. На столѣ лежалъ пятнадцатилѣтній, старый и согнутый. Приставъ внимательно разглядывалъ его и наконецъ кивнулъ подполковнику. „Ужъ не фальшивый-ли?“ спросилъ я. „Гм... Это однако же надо изслѣдовать...“ бормоталъ приставъ и кончилъ тѣмъ, что присоединилъ и его къ дѣлу“. (Этимъ приѣмамъ совершенно соответствуетъ то, что и у И. Л. Ястржембскаго обшарили всю мебель и даже висѣвшія на стѣнахъ картины, причемъ тѣ изъ нихъ, которыя были наклеены на папкѣ, разрѣзали). „Мы вышли, продолжаетъ Федоръ Михайловичъ. Насъ провожала испуганная хозяйка и человекъ ея Иванъ, хоть и очень испуганный, но глядѣвшій съ какою-то тупою торжественностью, приличною событію; впрочемъ торжественностью не праздничною. У подъѣзда стояла карета, въ нее сѣлъ солдатъ, я, приставъ и подполковникъ. „Мы отправились на Фонтанку, къ Цѣнному мосту у Лѣтняго сада. Тамъ много было ходьбы и народу. Я встрѣтилъ многихъ знакомыхъ. Всѣ были заспаные и молчаливые. Какой-то господинъ, статскій, но въ большомъ чинѣ, принималъ... непрерывно входили голубые господа съ разными жертвами. „Вотъ тебѣ бабушка и Юрьевъ день“, сказалъ мнѣ кто-то на ухо. 23-го апрѣля былъ дѣйствительно Юрьевъ день. Мы мало-по-малу окружили статскаго господина со спискомъ въ рукахъ. Въ списокъ передъ именемъ г. Антонелли написано было

карандашомъ: „агентъ по найденыму дѣлу“. — „Такъ это Антонелли“, подумали мы. Насъ размѣстили по разнымъ угламъ, въ ожиданіи окончательнаго рѣшенія, куда кого дѣвать. Въ такъ называемой бѣлой залѣ насъ собралось человекъ семнадцать. Вошелъ Леонтій Васильевичъ (Дубельтъ). Но здѣсь я прерываю мой разсказъ. Долго разсказывать. Но увѣряю, что Леонтій Васильевичъ былъ пріятный человекъ“.

Возвратимся къ воспоминаніямъ объ арестѣ А. М. Достоевскаго.

„Всѣй день 23-го апрѣля вплоть до ночи, говоритъ онъ, мы провели въ 3-мъ отдѣленіи. Насъ размѣстили по отдѣльнымъ заламъ — человекъ по 8—10-ти. Это былъ день томительной неизвѣстности. Около полудня пріѣхалъ шефъ жандармовъ кн. Орловъ. Онъ обошелъ всѣ залы, обращаясь къ арестованнымъ съ небольшою рѣчью, сущность которой сводилась къ тому, что мы своимъ образомъ дѣйствій вынудили правительство лишить насъ свободы, что надъ нами, по тщательномъ разборѣ дѣла, будетъ произнесенъ судъ, а окончательная наша участь будетъ зависѣть отъ милосердія Государя. Намъ, продолжаетъ Андрей Михайловичъ, подавали чай, завтракъ, кофе, обѣдъ, однимъ словомъ кормили на славу. (То же подтверждаетъ и И. М. Дебу, прибавляя къ этому, что имъ даже предлагались сигары. По его же словамъ, везшій его въ крѣпость жандармскій офицеръ счелъ нужнымъ утверждать, что въ жандармы переводятъ лучшихъ офицеровъ изъ полковъ армейской кавалеріи и что ихъ служба далека отъ обыкновеннаго соглядатайства). Около вечера, вспоминаетъ Андрей Михайловичъ, стало долетать до насъ изъ разговоровъ между жандармами: „что, наведены?“ — „Наводятъ, наводятъ“. Это говорилось о мостѣ, по которому мы должны были проѣхать въ крѣпость“. Но для Андрея Михайловича (вѣроятно и для другихъ), слова эти сначала казались непонятными. Часовъ около 11-ти ихъ стали по одиночкѣ выкликать, и разъ позванный уже болѣе не возвращался. „Наконецъ, говоритъ Андрей Михайловичъ, позвали и меня и повели въ кабинетъ Л. В. Дубельта, который, спросивъ мою фамилію, велѣлъ мнѣ отправиться съ г. поручикомъ, который и сѣлъ со мною въ карету вмѣстѣ съ жандармомъ... Странное дѣло... мнѣ вовсе не приходило въ голову, что меня везутъ въ крѣпость“. По пріѣздѣ туда, дѣло, разумѣется, стало ясно. Отведенный, по приказанію коменданта, въ 1-й номеръ, А. М. очутился въ комнатѣ, едва освѣщенной плошкой на высокомъ уступѣ оконной амбразуры. Дверь за нимъ съ шумомъ задвинули и заперли двумя замками. Номеръ первый оказался очень сырмъ, и когда на слѣдующее утро туда заглянулъ комендантъ, то долженъ былъ замѣтить: „да, здѣсь не хорошо, очень не хорошо — надо поторопиться“.

Послѣднія слова, какъ оно потомъ выяснилось, означали, что надо поскорѣе отдѣлывать новыя временныя казематы.

На вопросъ коменданту: „за что я арестованъ“ А. М. получилъ въ отвѣтъ: „вамъ объяснять при допросѣ“. И вотъ, продолжаетъ онъ, потекла моя жизнь изо дня въ день въ полнѣйшемъ ничего недѣланіи. Ни книгъ, ни бумагъ! „Разнообразіе составляло развѣ то, что двери каземата открывались по пяти разъ въ день: въ 7 час. утра, когда приносили умываться и убирали комнату; въ 10 час., при обходѣ казематовъ начальствомъ—почти всегда самимъ комендантомъ; въ 12 час., когда приносили обѣдъ (два блюда—щи или супъ съ наръзанною говядиною *) и каша; хлѣба вдоволь); въ 7 час. вечера, когда приносили ужинъ (одно горячее блюдо) и наконецъ, когда стемнѣется, чтобы поставить на окно плешку“.

Такъ прошло 10 дней. Только 2-го мая А. М. былъ отведенъ въ слѣдственную комиссію (собиравшуюся, по словамъ И. Л. Ястржембскаго, тутъ-же въ крѣпости въ квартирѣ какого-то комендантскаго чиновника) и изъ допроса выяснилось, что онъ въ самомъ дѣлѣ ничего обо всемъ этомъ дѣлѣ не знаетъ. Особенно помогло то, что на вопросъ о Буташевичѣ-Петрашевскомъ, онъ наивно отвѣчалъ: „нѣтъ, я Петрашевскаго не знаю, а какъ ваше превосходительство назвали другаго? (Онъ вообразилъ, что ему назвали не одно лице, а двухъ). Когда невинность А. М. обнаружилась, комендантъ велѣлъ перевести его изъ сыраго каземата въ новое помѣщеніе, вслѣдъ же затѣмъ, впредь до устраненія всѣхъ формальностей, иѣшавшихъ его немедленному освобожденію, даже перевелъ его къ себѣ на квартиру. Но вотъ 5-го мая А. М. узналъ отъ плацъ-маіора, что уже получено разрѣшеніе окончательно освободить его; но что это пока въ секретѣ. „Какія же могутъ оставаться препятствія теперь же выпустить меня отсюда?“ спросилъ А. М. — „Очень просто: не хотятъ, чтобы вы встрѣтились въ городѣ съ такими лицами, съ которыми вамъ встрѣчаться не слѣдуетъ“. Я понялъ, замѣчаетъ А. М., что не хотятъ, чтобы я видѣлся съ братомъ Михаиломъ Михайловичемъ. Но вотъ въ ночь съ 5-го на 6-е мая, братъ Михаилъ Михайловичъ былъ арестованъ, а утромъ 6-го мая послѣдовало мое освобожденіе“.

„Скоро сдѣлалось извѣстно, продолжаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ А. П. Милюковъ, что для изслѣдованія дѣла Петрашевскаго назначается особая слѣдственная комиссія подъ предсѣдательствомъ коменданта крѣпости генерала Набокова, изъ кн. Долгорукова, Л. В. Дубельта, кн. П.

*) Ножи и вилки не полагались—изъ предосторожности. Пища вообще была довольно сытная и свѣжая (что подтверждается и другими). Дозволялось и пополнять ее на свой счетъ съ присовокупленіемъ вина.

П. Гагарина и Я. И. Ростовцева. Прошло двѣ недѣли, и вотъ однажды рано утромъ прислали мнѣ сказать, что и М. М. Достоевскій въ прошлую ночь арестованъ. Жена и дѣти его остались безъ всякихъ средствъ, такъ какъ онъ нигдѣ не служилъ... и жилъ одиѣми литературными работами для „Отечественныхъ Записокъ“... Съ арестомъ его семейство очутилось въ крайне тяжеломъ положеніи и только А. А. Краевскій помогъ ему пережить это несчастное время. Я не боялся особенно за М. М. Достоевскаго... хотя онъ и бывалъ у Петрашевскаго, но не симпатизировалъ большинству его гостей... въ послѣднее время онъ почти совсѣмъ отсталъ отъ кружка. Поэтому я надѣялся, что арестъ его не будетъ продолжительнъ...

„Въ концѣ мая (1849 г.) я нашелъ небольшую лѣтнюю квартиру въ Колтовской... и взялъ погостить къ себѣ старшаго сына М. М. Достоевскаго... Однажды, кажется въ серединѣ іюля, я сидѣлъ въ нашемъ садикѣ и вдругъ маленькій Федя бѣжитъ ко мнѣ съ крикомъ: папа, папа пріѣхалъ!.. Понятно, съ какой радостью обнялись мы послѣ двухмѣсячной разлуки. Онъ разсказалъ мнѣ подробности о своемъ арестѣ, о допросахъ въ слѣдственной комисіи и данныхъ имъ показаніяхъ. Онъ сообщилъ мнѣ и то, что именно изъ данныхъ ему вопросныхъ пунктовъ относилось къ Федору Михайловичу. Мы заключили, что хотя онъ обвиняется только въ либеральныхъ разговорахъ, порицаніи нѣкоторыхъ высокопоставленныхъ лицъ и распространеніи запрещенныхъ сочиненій и роковаго письма Бѣлинскаго, но если дѣлу захотятъ придать серьезное значеніе, что по тогдашнему времени было очень вѣроятно, то развязка можетъ быть печальная. Правда, нѣсколько человекъ изъ арестованныхъ въ апрѣлѣ постепенно были освобождены, зато о другихъ ходили неутѣшительные слухи. Говорили, что многимъ не миновать ссылки“ *).

Объ арестѣ своего старшаго брата вспоминалъ и самъ Федоръ Михайловичъ въ „Дневникѣ Писателя“ 1876 г. (апрѣль). „Братъ не участвовалъ, говорить онъ тутъ, ни въ организованномъ тайномъ обществѣ у Петрашевскаго, ни у Дурова. Тѣмъ не менѣе онъ бывалъ на вечерахъ Петрашевскаго и пользовался изъ тайной, общей библіотеки, складъ которой находился въ домѣ Петрашевскаго, книгами. Онъ былъ тогда фурьеристомъ и со страстью изучалъ Фурье. Такимъ образомъ, въ эти два мѣсяца въ крѣпости онъ вовсе не могъ считать себя безопаснымъ, и рассчитывать съ увѣренностью, что его отпустятъ. То, что онъ былъ фурьеристомъ“

*) „Русск. Старина“, 1881 г., мартъ, стр. 693—700.

стомъ и пользовался бібліотекой—открылось и, конечно, онъ могъ ожидать если не Сибири, то отдаленной ссылки, какъ подозрительный человѣкъ. (Федоръ Михайловичъ такимъ образомъ смотрѣлъ на дѣло значительно иначе, чѣмъ А. П. Милуковъ). И многіе изъ освобожденныхъ черезъ два мѣсяца (какъ и Михаилъ Михайловичъ) подверглись бы ей (ссылкѣ) непременно (говорю утвердительно), еслибъ не были всѣ освобождены по волѣ покойнаго Государа (Николая Павловича), о чемъ я узналъ тогда же отъ князя Гагарина, ведшаго все слѣдствіе по дѣлу Петрашевскаго. По крайней мѣрѣ узналъ тогда то, что касалось освобожденія моего брата, о которомъ сообщилъ мнѣ князь Гагаринъ, нарочно вызвавъ меня для того изъ каземата въ комендантскій домъ, въ которомъ производилось дѣло, чтобы обрадовать меня. Но я былъ одинъ, холостой, безъ дѣтей; братъ же, попавъ въ крѣпость, оставилъ на квартирѣ испуганную жену свою и трехъ дѣтей, изъ которыхъ старшему тогда было всего 7 лѣтъ, и вдобавокъ безъ копѣйки денегъ. Братъ мой нѣжно и горячо любилъ дѣтей своихъ и воображаю, что перенесъ онъ въ эти два мѣсяца. Между тѣмъ, онъ не далъ *никакихъ показаній*, которыя бы могли компрометтировать другихъ, съ цѣлью облегчить тѣмъ собственную участь, тогда какъ могъ бы кое что сказать, ибо хотя самъ ни въ чемъ не участвовалъ, но *зналъ о многомъ*. Я спрошу: многіе-ли такъ поступили бы на его мѣстѣ? Я твердо ставлю такой вопросъ, потому что знаю—о чемъ говорю. Я знаю и видѣлъ, какими оказываются люди въ подобныхъ несчастіяхъ, и не отвлеchenно объ этомъ сужу". (Строки эти написаны въ опроверженіе нѣкоторыхъ обвиненій, взведенныхъ на Михаила Михайловича послѣ его смерти и задѣвшихъ за живое нѣжно любившаго его Федора Михайловича).

Участіе, съ какимъ отнесся тутъ къ братскому чувству князь Гагаринъ, конечно, говорить въ пользу этого выдающагося члена слѣдственной комисіи, того, который и руководилъ ею вмѣсто предсѣдателя. По словамъ же г. Ястржембскаго, ему „извѣстно нѣсколько случаевъ, когда Л. В. Дубельтъ дѣлалъ всевозможныя облегченія политическимъ обвиненнымъ". Въ дѣлѣ Петрашевскаго такой его образъ дѣйствій можетъ объясняться тѣмъ, что дѣло это поднято было И. П. Липранди помимо III отдѣленія (по словамъ покойнаго Спѣшневъ, Липранди добивался занять положеніе Дубельта). По словамъ И. М. Дебу, кн. Гагаринъ держалъ себя при допросѣ просто, указывалъ на свое знакомство съ ученьемъ Фурье (черезъ сына), но утверждая при этомъ, что послѣ 1848 года такой писатель не можетъ уже представляться безвреднымъ. Особенно много разспрашивалъ онъ г. Дебу о Черносивовѣ, но допрашиваемый не же-

далъ быть откровеннымъ, не признавая даже факта чтенія Достоевскимъ письма Вѣдинскаго.

Тяжелое впечатлѣніе произвелъ кн. Гагаринъ на И. Л. Ястржембскаго, сохранившаго зато другаго рода воспоминанія о Л. В. Дубельтѣ.

Что касается того, кто велъ слѣдствіе, то г. Ястржембскому пришлось даже, какъ онъ утверждаетъ, обратиться за защитой отъ „пристрастнаго допроса“ къ Я. И. Ростовцеву, какъ своему непосредственному начальнику (по учебнымъ заведеніямъ, въ которыхъ г. Ястржембскій былъ преподавателемъ). Замѣчательно при этомъ, что, по словамъ г. Ястржембскаго, то, чего отъ него добивались, зависѣло отъ невѣрно переданнаго разговора объ отношеніяхъ его къ Польшѣ и къ человѣчеству, разговоръ же происходилъ не у Петрашевскаго и слышать его не могъ Антонелли (стало быть, намекаетъ г. Ястржембскій, былъ тутъ и какой-то другой шпіонъ). Далѣе, кн. Гагаринъ требовалъ отъ него признанія въ томъ, будто онъ „проповѣдывалъ извозчикамъ необходимость убіенія помѣщиковъ“. Допрашиваемый пояснилъ, что однажды извозчикъ жаловался ему на значительность оброка и при этомъ сказалъ: „некому за насъ заступиться—Богъ высоко, Царь далеко“, онъ же, Ястржембскій, по привычкѣ своей думать иногда вслухъ, замѣтилъ: „да, французы, нѣмцы и прочіе нехристи свободны, а русскій православный народъ въ рабствѣ“. Случай этотъ онъ потомъ рассказывалъ у Петрашевскаго, и на этотъ разъ подслушавъ уже несомнѣнно Антонелли и передалъ съ различными дополненіями и извращеніями *).

По словамъ покойнаго Спѣшневъ, кн. Гагаринъ всѣхъ вообще усовѣщевалъ раскаяться, что касается Я. И. Ростовцева, то онъ журилъ тѣхъ Петрашевцевъ, которые получили образованіе въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, а остальныхъ касался мало.

Федоръ Михайловичъ припоминалъ, что ген. Ростовцевъ предложилъ ему рассказать все дѣло. Достоевскій же на всѣ вопросы коммисіи отвѣчалъ уклончиво. Тогда Я. И. Ростовцевъ обратился къ нему со словами: „я не могу повѣрить, чтобы человѣкъ, написавшій „Бѣдныхъ людей“, былъ за-одно съ этими порочными людьми? Это невозможно. Вы мало замѣшаны и я уполномоченъ отъ имени Государя объявить вамъ прощеніе, если вы захотите рассказать все дѣло“. „Я, вспоминалъ Ф. М., молчалъ“.

*) Въ приложеніяхъ къ запискѣ Липранди объ этомъ сказано: „старался убѣдить присутствовавшихъ, что простой народъ принципомъ зла непременно понимаетъ Государя. Усиливался доказать это разговоромъ своимъ съ извозчикомъ, котораго научалъ не платить господамъ подать, а какъ будутъ требовать, то давать имъ колотушку“ и т. д. („Общество пронаганды“, стр. 42).

Тогда Дубельтъ съ улыбкой замѣтилъ: „я вѣдь вамъ говорилъ“. Тогда Ростовцевъ, вскричавъ: „я не могу больше видѣть Достоевскаго“, выбѣжалъ въ другую комнату и заперся на ключъ, а потомъ оттуда спрашивалъ: „вышелъ-ли Достоевскій? Скажите мнѣ, когда онъ выйдетъ, — я не могу его видѣть“. Достоевскому это казалось впускнымъ. Болѣе или менѣе такое же впечатлѣніе произвелъ Я. И. Ростовцевъ и на И. М. Дебу и И. Л. Ястржембскаго. Послѣдній сочувственно отзывался, какъ мы видѣли, о Л. В. Дубельтѣ; онъ же вынесъ выгодное впечатлѣніе и отъ „благородной натуры“ кн. Долгорукова. Спѣшневъ, по собственнымъ его воспоминаніямъ, вызвалъ со стороны руководившаго слѣдствіемъ замѣчаніе *): „Я вижу тутъ одиѣ фразы и фразы, а не вижу дѣла“. Это можно бы объяснить тѣмъ, что Спѣшневъ, какъ рассказывалъ мнѣ г. Кашкинъ, если и говорилъ, то только про себя, а про другихъ ничего“. Самому Кашкину онъ успѣлъ шепнуть: „говорите, что вы меня не знаете“. Дѣло въ томъ, что на Спѣшнева смотрѣли, какъ на одного изъ важнѣйшихъ участниковъ дѣла; онъ, должно быть, зналъ это, и старался выгородить мало замѣшаннаго молодого человѣка. Между тѣмъ изъ дѣла видно, что онъ сообщилъ кое-что о Черносвитовѣ и Момбелли (который подтвердилъ мнѣ это на словахъ). Но дѣло, можетъ быть, опять въ томъ, что онъ считалъ послѣдняго и безъ того уже сильно замѣшаннымъ сравнительно съ другими, на Черносвитова же, по словамъ одного изъ участниковъ дѣла, нѣкоторые изъ нихъ смотрѣли подозрительно. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ бывшій исправникъ, намекавшій Петрашевцамъ на возможность царубійства, поплатился исключительно отправленіемъ на жительство въ Вятку. Выше уже замѣчено, что и Петрашевскій, если вѣрить докладу о дѣлѣ, наговаривалъ на другихъ. Въ докладѣ замѣчено, будто онъ поступилъ такъ, „чтобы облегчить свое обвиненіе“, но это какъ-то не вяжется съ тѣмъ, что онъ „одинъ изъ всѣхъ арестантовъ велъ себя предосудительно, являлся дерзкимъ и наглымъ“ **). Потому-то я и позволилъ себѣ выше замѣтить, что, по всей вѣроятности, наговаривалъ на нѣкоторыхъ, онъ думалъ выставить дѣло въ болѣе угрожающемъ видѣ и этимъ озадачить представителей власти. Тѣмъ же, можетъ быть, руководился и Спѣшневъ, въ одно и то же время выгораживая мало замѣшанныхъ и выдвигая впередъ такихъ же сильно скомпрометтированныхъ, какъ и онъ самъ. Изъ доклада видно, что про Тимковскаго онъ замѣтилъ:

*) Онъ называетъ его генераломъ Перовскимъ, членами же комисіи кн. Гагарина, Дубельта и т. д. Очевидно, что память тутъ измѣнила Спѣшневу; генер. Перовскій былъ председателемъ не слѣдственной, а судной комисіи.

***) „Общество пропаганда“, стр. 128—127.

„рѣчь его была нѣсколько горяча, но онъ положительно и добросовѣстно отклонялъ въ ней отъ всякаго политическаго переворота *). Надо, кажется, имѣть въ виду эту обоюдность его отношеній къ слѣдствію, чтобы понять настоящей смыслъ его заключительныхъ словъ: „Теперь я исполнилъ свой долгъ. Вотъ моя полная исповѣдь; виноватъ и меня слѣдуетъ наказать“ **). Какъ бы то ни было, въ словахъ этихъ звучитъ уже и признаніе своей виновности. То же отчасти слышно и въ показаніяхъ другихъ подсудимыхъ (одинъ изъ нихъ, если вѣрить докладу о дѣлѣ, даже назвалъ себя „гнуснымъ либераломъ“) ***). Но изъ этого, по словамъ одного изъ Петрашевцевъ, нельзя заключить, чтобы они тогда и точно раскаивались. Они были подавлены долговременнымъ сидѣніемъ въ крѣпости и дѣйствительно могли пенять на себя, что довели себя до такой бѣды безъ всякаго результата — вотъ и все. Впрочемъ, если Ѳ. М. показалъ, что онъ „ни вольнодумцемъ, ни противникомъ самодержавію не былъ“, то это въ сущности соответствуетъ тому, какъ онъ рисуется въ воспоминаніяхъ А. П. Милюкова; совершенно соответствуетъ этому и показаніе, „что онъ никогда не былъ социалистомъ, хотя и любилъ читать и изучать социальныя вопросы и съ большимъ любопытствомъ слѣдилъ за переворотами западными. Соціализмъ предлагаетъ тысячи мѣръ къ устройству общественному, и такъ какъ всѣ социальныя книги написаны умно, горячо и нерѣдко съ неподдѣльною любовью къ человѣчеству, то онъ, Достоевскій, читалъ ихъ съ любопытствомъ; но онъ не принадлежитъ ни къ какой социальной системѣ, будучи увѣренъ, что примѣненіе ихъ не только къ Россіи, но даже къ Франціи, поведетъ за собою неминуемую гибель“.

И. Л. Ястржембскій, по его словамъ, на слѣдствіи назвалъ себя „убѣжденнымъ монархистомъ“, хотя тутъ же при другомъ случаѣ сказалъ, что онъ „убѣжденный послѣдователь ученія Фурье“. Одно съ другимъ далеко, Впрочемъ, не такъ несомнѣнимо, какъ оно кажется многимъ и несомнѣнно казалось членамъ слѣдственной комиссіи. Они, конечно, не знали,

*) Другіе, напротивъ, наговаривали на Тимковскаго.

***) Ibidem, 133, 150.

***) Другой просилъ себя помилованія въ письмѣ: „Государь мой! прости меня увлеченный чтеніемъ неумеренныхъ книгъ, въ заблужденіи, въ моихъ мысляхъ даже осуждалъ я тебя, писалъ безразсудныя, безсмысленныя слова, прости мнѣ ихъ, въ память заслугъ отца моего“. Третій говорилъ: „еслибъ я могъ молить о милосердіи того, кто неистощимо милосерденъ къ несчастнымъ. Но я не стою ничего, я ничего не заслужилъ“. Четвертый, подъ вліяніемъ письма, полученнаго отъ отца, выразался такимъ образомъ: „моя послѣдняя надежда остается только на Бога и милосердіе Государя. Молю дать мнѣ средство доказать нашему общему отцу на землѣ, что онъ можетъ найти во мнѣ вѣрнаго сына“. („Общество пропаганды“, стр. 133, 138, 139, 148).

что Фурье обращался съ письмомъ къ Императору Александру I, указывая ему на принадлежащее ему право самодержавія, какъ на самое надежное средство для проведенія коренной соціальной реформы. Вспомнимъ и тотъ вполне несочувственный отзывъ о конституціи, который выписанъ выше изъ „Карманнаго словаря“, изданнаго Петрашевскимъ.

Возвращаясь къ Ф. М.—чу, замѣчу, что уже тономъ вынужденной уступки томительному положенію звучать у него слова о прочитанномъ имъ на вечерѣ письмѣ Бѣлинскаго, будто онъ былъ твердо увѣренъ, что это письмо, „наполненное ругательствами, написанное желчью и потому отвращающее сердце, никого въ соблазнъ привести не можетъ“; впрочемъ онъ „теперь понимаетъ, что сдѣлалъ ошибку, прочитавъ эту статью вслухъ“... „либерализмъ его состоялъ въ желаніи всего лучшаго своему отечеству, но это желаніе никогда не переходило черту невозможнаго“, однако же онъ „не осмѣливается сказать, чтобы никогда не заблуждался въ своихъ желаніяхъ, которыя въ отношеніи усовершенствованія и общей пользы, быть можетъ, очень ошибочны, такъ что исполненіе ихъ послужило бы ко всеобщему вреду, а не къ пользѣ“ *). Мы знаемъ со словъ самого Ф. М.—ча, что на устные вопросы онъ отвѣчалъ уклончиво, не желая воспользоваться милостью, обѣщанною ему Я. Ив. Ростовцевымъ, который, раздраженный его заирательствомъ, даже вышелъ изъ залы засѣданія. Достоевскій такимъ образомъ никого не выдалъ. Но потомъ отъ него, какъ и отъ другихъ, потребовали письменныхъ показаній. Тутъ онъ, какъ и другіе, утомленный, нервно измученный (что особенно должно было отозваться на немъ, при его издавней особенной нервности), опять-таки никого не запутывая, сталъ нѣсколько преувеличенно винить себя—можетъ быть, просто для того, чтобы этимъ, наконецъ, удовлетворились и оставили его въ покоѣ. По крайней мѣрѣ въ „Дневникѣ“ 1873 г. онъ прямо говоритъ, что во время слушанія ими приговора ни въ комъ изъ нихъ не было раскаянія. Собственный его взглядъ на все это дѣло, говоритъ онъ тутъ же, измѣнился только позже.

Заключеніе въ крѣпости продолжалось 8 мѣсяцевъ. Ф. М. сидѣлъ въ Алексѣевскомъ рavelлиѣ № 7 и 9; первые два мѣсяца ничего не дѣлалъ, а остальное время давали читать книги больше духовнаго содержанія **), и позволяли писать. Выпускали гулять на $\frac{1}{4}$ часа на маленькомъ дворикѣ одного, безъ товарищей, но подъ конвоемъ. Сношенія съ товари-

*) „Рус. Старина“ 1881 г. Мартъ, стр. 707—708.

**) По словамъ И. М. Дебу, книги были допущены только по окончаніи слѣдствія.

щемъ сосѣдомъ по заключенію (Филипповымъ) происходили при помощи постукиванія. Часовой, конечно, ничего не понималъ. О настроеніи своемъ Ф. М. припоминалъ, что „по складу его ума, сердца и характера ему было ясно, что если *изъ* сторона взяла, то дѣлать нечего и слѣдуетъ нести наказаніе. Къ тому же вѣдь правительство, постоянно утверждалъ онъ, съ своей точки зрѣнія было право“. — Въ Алексѣевскомъ же рavelлинѣ находился и И. Л. Ястржембскій. По словамъ его, „гигіеническія условія были тутъ удовлетворительны: чистый воздухъ, опрятность, здоровая пища“. Въ доказательство приводитъ онъ то, что хотя въ это время въ Петербургѣ была сильная холера, изъ заключенныхъ не заболѣлъ никто. Чистотѣ воздуха должно было однако же мѣшать, что въ комнату ставились всѣ необходимыя принадлежности, о сырости же свидѣтельствуешь шляпа г. Ястржембскаго, которая въ казематѣ заплѣсневѣла. Всего тяжелѣе было выносить одиночность заключенія. По словамъ И. М. Дебу, оно возбуждало состраданіе ихъ корридорнаго сторожа (изъ гарнизонныхъ солдатъ — еще не стараго). По временамъ онъ отворялъ изъ корридора окошечко, находившееся въ двери каземата, и говорилъ: „скучно вамъ? потерпите! и Христосъ терпѣлъ. И за что это васъ посадили? всѣ вы тихіе такіе, а бывало тутъ все такой буйный народъ“.

Къ этому времени относится нѣсколько писемъ Ф. М. къ брату, напечатанныхъ вскорѣ послѣ его смерти въ „Недѣлѣ“. 18-го іюля онъ отвѣчаетъ брату на его увѣщанія не унывать: „да я и не унываю... Другой разъ даже чувствуешь, какъ будто уже привыкъ къ такой жизни и все равно... но... другой разъ, прежняя жизнь такъ и ломится въ душу съ прежними впечатлѣніями... Теперь ясные дни и немножко веселѣе стало... у меня есть и занятія. Я времени даромъ не потерялъ; выдумалъ три повѣсти и два романа, одинъ изъ нихъ пишу теперь... Я здѣсь читалъ немного: два путешествія къ св. мѣстамъ и сочиненія св. Димитрія Ростовскаго; послѣднія меня очень заняли“. Первое время, надо думать, дозволялось только душевнеспасительное чтеніе. Но въ письмѣ къ брату отъ 27-го августа Ф. М. ждетъ отъ него присылки „Отечественныхъ Записокъ“, причѣмъ прибавляетъ однако: „всего лучше, если бы ты мнѣ прислалъ библію“. Тутъ же онъ съ удовольствіемъ сообщаетъ брату: „мнѣ опять позволили гулять въ саду, въ которомъ почти 17 деревьевъ. Кромѣ того я могу теперь имѣть свѣчу по вечерамъ. Въ письмѣ отъ 14-го сентября Ф. М. благодаритъ за книги. „Это все хоть развлеченіе. Вотъ уже 5 мѣсяцевъ безъ малаго, какъ я живу своими средствами, т. е. одной своей головой и больше ничѣмъ... Вѣчное думанье и одно только думанье, безъ всякихъ виѣшнихъ впечатлѣній, чтобъ возродить и поддерживать думу — тяжело! Я весь

какъ будто подъ воздушнымъ насосомъ, изъ подъ котораго воздухъ вытягиваютъ...“

Романъ, упоминаемый въ одномъ изъ этихъ писемъ, сочиненный въ крѣпости—это, какъ записано со словъ Ф. М., былъ собственно рассказъ или повѣсть „Маленькій герой“, (такъ, поелая Ф. М., можно было писать только самое невинное). Произведеніе это было впоследствии передано Михаиломъ Михайловичемъ Достоевскимъ редактору „Отечественныхъ Записокъ“, гдѣ было напечатано только въ 1857 г., но безъ имени *).

Но, какъ ни невинно содержаніе „Маленькаго героя“, тутъ есть одно лицо, въ которомъ Ф. М., повидимому, выставилъ тотъ не симпатичный ему элементъ, какой имѣлся, какъ мы видѣли, въ „обществѣ пропаганды“. Конечно, тутъ есть и черты прибавочныя, такъ сказать замаскировывающія. „М-г М“, говоритъ Достоевскій, былъ европеецъ, человекъ современный, съ образчиками новыхъ идей и тщеславящійся своими идеями... Называли его умнымъ человекомъ. Такъ въ иныхъ кружкахъ называютъ одну особую породу растолстѣвшаго на чужой счетъ человечества... Отъ нихъ номинутно слышишь, что имъ нечего дѣлать, вследствие какихъ то очень запутанныхъ, враждебныхъ обстоятельствъ, которыя „утомяютъ ихъ гонимъ“... Эти господа тѣмъ и пробавляются на свѣтѣ, что устремляютъ всѣ свои инстинкты на грубое зубоскальство... На все у него припасена готовая фраза... особенно же запасаются они своими фразами въ изъявленіе своей глубочайшей симпатіи къ человечеству... наконецъ, чтобы безостановочно карать романтизмъ, т. е. зачастую все прекрасное и истинное, каждый атомъ котораго дороже всей ихъ слизняковой природы“.

Замѣчательно, что съ этимъ типомъ нѣсколько сходенъ Рутковскій въ романѣ г. Пальма „Алексій Слободинъ“, воспроизводящемъ, какъ мы уже знаемъ, нѣкоторыя черты „давно прошедшей исторіи“ (а Рутковскій тутъ одинъ изъ главнѣйшихъ „мечтателей“).

Благодушіе, съ какимъ отнесся Ф. М. къ своему положенію, его терпѣніе и выносливость тѣмъ болѣе замѣчательны, что, по его собственнымъ словамъ, онъ былъ до своей катастрофы мнителенъ до болѣзненности, предполагалъ въ себѣ всевозможныя недуги и въ самомъ дѣлѣ отъ мнительности хворалъ, причемъ самъ себя лечилъ горчичниками. Вскорѣ послѣ его смерти Андрей Михайловичъ указывалъ въ „Новомъ Времени“ на то, что въ молодости Федоръ Михайловичъ нерѣдко оставлялъ передъ сномъ

*) За подписью М. —ій (въ августовской книжкѣ).

записочки такого, приблизительно, содержания: „сегодня со мной может случиться летаргическій сонъ, а потому — не хоронить меня столько-то дней“.

По собственнымъ словамъ Ф. М.—ча, онъ сошелъ бы съ ума, еслибы не катастрофа, которая переломила его жизнь. Явилась идея, передъ которой здоровье и забота о себѣ оказались пустяками (занесено въ записную книжку Анной Григорьевной) *).

Съ однимъ изъ его товарищей вышло наоборотъ: Григорьевъ именно въ крѣпости сталъ мѣшаться въ умѣ, какъ рассказывалъ покойный Спѣшневъ. Онъ былъ помѣщенъ рядомъ со Спѣшневымъ, который слышалъ, что кто-то тамъ ходитъ, разговариваетъ и постукиваетъ въ стѣну. Спѣшневъ сталъ думать, не желаетъ ли сосѣдъ вступить съ нимъ въ сношенія и началъ стучать: разъ, разъ—два, разъ, два, три и т. д., желая обратить вниманіе сосѣда, но сосѣдъ не откликнулся. Такъ Спѣшневъ и не зналъ, кто сидитъ около него—до того самаго времени, когда отворили двери казематовъ передъ объявленіемъ имъ приговора и онъ увидалъ Григорьева, вышедшаго изъ сосѣдняго каземата **).

Изъ слѣдственной комисіи дѣло Петрашевскаго поступило въ особую, назначенную по именному Высочайшему повелѣнію судную комисію подъ предѣлательствомъ генерала Перовскаго (членами были: гр. Строгановъ, А. Ф. Веймарнъ и др.).

По словамъ И. Л. Ястржембскаго, онъ изъ вѣрнаго источника слышалъ, что судная комисія рѣшила по недостаточности доказательствъ отъ отвѣтственности всѣхъ ихъ освободить. Это, говоритъ онъ, тѣмъ вѣроятнѣе, что *въ дѣлѣ* о состоящихъ подъ надзоромъ лицахъ о рѣшеніи этой комисіи не сказано ни слова. Дѣло это—въ официальной копіи—сообщено было г. Ястржембскому мною, ко мнѣ же перешло съ Апраксина двора, гдѣ случайно нашлось среди различнаго антикварнаго хлама. Слѣдовъ судной комисіи не оказывается и въ матеріалахъ, изданныхъ за границей подъ заглавіемъ: „Общество пропаганды“. Дѣло было передано въ генераль-аудиторіатъ, хотя, по замѣчанію г. Ястржембскаго, на это не имѣлось никакого юридическаго основанія, такъ какъ особая, по именному Высочайшему повелѣнію назначенная судная комисія іерархиче-

*) О прежней его близости къ душевной болѣзни см. выше.

***) По докладу о дѣлѣ, во время слѣдствія также подвергся умственному разстройству Катеневъ и былъ отправленъ въ больницу всѣхъ скорбящихъ, почему и не былъ спрошенъ военнымъ судомъ („Общество пропаганды“, стр. 153). Временно былъ постигнутъ душевною болѣзнію также и Конст. Матв. Дебу. Объ этомъ вспоминалъ Ф. М. и это подтверждено Ипп. Матв. Дебу.

ски стояла выше генераль-аудиторіата. По словамъ И. М. Дебу, самъ добрыйшій комендантъ крѣпости былъ этимъ пораженъ и съ сильнымъ волненіемъ сообщилъ объ этомъ подсудимымъ. Докладъ генераль-аудиторіата подписали:

Генераль отъ инфантеріи кн. Шаховскій.
 „ „ артиллеріи Игнатьевъ.
 „ „ инфантеріи Бляжнинъ.
 „ „ „ Штерманъ.
 „ „ „ Мандерштернъ.
 „ лейтенантъ Гельвихъ.
 „ „ Карпенко.
 „ аудиторъ Нойнскій.

Въ должн. нач. отд. Полянскій.

На докладъ генераль-аудиторіата имѣется поимѣтка, заключающая въ себѣ слѣдующія цифровыя данныя: „Дѣло сіе начато: слѣдствіемъ 29-го апрѣля 1849, судомъ 30-го сентября, кончено 16-го ноября, въ Аудиторіатскій департаментъ поступило 13-го ноября *).

Старанія нѣкоторыхъ изъ подсудимыхъ выдѣлить въ благопріятнѣйшемъ смыслѣ для ихъ участи кое-кого изъ своихъ товарищей содѣйствовали, конечно, тому, что генераль-аудиторіатъ не могъ не усмотрѣть между членами общества различной степени виновности. „Одни изъ нихъ, заключилъ онъ, болѣе, другіе менѣе принимали участія въ злоумышленіи, но какъ всѣ они суждены по полемому уголовному уложенію, въ преступленіяхъ же государственныхъ, по точной силѣ нашихъ законовъ, не поставлено различія между главными виновниками и соучастниками, то на основаніи сего уложенія всѣ вышеупомянутые члены общества, за исключеніемъ одного Черносветова, приговорены къ „смертной казни разстрѣляніемъ“, Черносветовъ же, какъ не признавшійся и не уличенный, не смотря на крайне невыгодныя, какъ мы видѣли, показанія Петрашевскаго и Спѣшнева, „оставленъ въ сильномъ подозрѣніи и высланъ въ Вятку“. Затѣмъ однако же генераль-аудиторіатъ „не могъ не принять въ уваженіе тѣхъ облегчительныхъ обстоятельствъ, которыя представляются по дѣлу“, а именно: „рассканіе многихъ, добровольное сознаніе въ поступкахъ, кои, безъ ихъ откровенности, могли бы остаться неизвѣстными, иность лѣтъ нѣкоторыхъ и, наконецъ, то, что преступныя ихъ начинанія не достигли вредныхъ послѣдствій, бывъ своевременно предупреждены мѣрами со стороны правительства“. На основаніи этого, генераль-аудиторіатъ, „повер-

*) „Общество пропаганды“, 116, 159.

гая участь подсудимыхъ монаршему милосердію, на основаніи правилъ, въ руководство ему данныхъ, осмѣливался всеподданнѣйше ходатайствовать объ опредѣленіи имъ, вмѣсто смертной казни, наказаній по мѣрѣ вины съ соблюденіемъ постепенности“. Самого Петрашевскаго „за преступный замыселъ къ испроверженію существующаго въ Россіи государственнаго устройства, привлеченіе на бывшія у него сходбища разнаго званія большею частію молодыхъ людей, распространеніе между ними зловредныхъ идей противъ религіи, возбужденіе въ нихъ ненависти къ правительству, и, наконецъ, за покушеніе составить для этой же преступной цѣли тайное общество“, генераль-аудиторіатъ приговорилъ „лишить всѣхъ правъ состоянія и сослать въ каторжную работу въ рудникахъ безъ срока“.

Рукою Императора Николая Павловича отмѣчено было: „Быть по сему“.

Во вторую категорію генераль-аудиторіатомъ отнесены были вмѣстѣ Момбелли и Спѣшневъ, но первый изъ нихъ приговоренъ къ каторжной работѣ на 15 лѣтъ, второй же, за добровольныя показанія о Черносвитовѣ и Момбелли, только на 12 лѣтъ.

Противъ Спѣшнева рукою Государя помѣчено: „на 10 лѣтъ“. Противъ Момбелли ничего не написано. Государь, утвердивъ приговоръ на 15 лѣтъ Григорьева и на 12 лѣтъ Львова, втрое уменьшилъ срокъ каторги Филиппову и Ахшарумову (вмѣсто 12 всего 4).

Студенту Ханькову „за участіе въ преступныхъ замыслахъ и произнесеніе на обѣдѣ, данномъ въ честь Фурье, возмутительной рѣчи“ присуждена была каторжная работа въ крѣпостяхъ на 10 лѣтъ.

Рукою Государя помѣчено: „рядовымъ въ оренбургскіе линейные батальоны“.

Дуровъ за участіе въ преступныхъ замыслахъ, учрежденіе у себя на квартирѣ собраній для этой цѣли и покушеніе къ распространенію сочиненій противъ правительства посредствомъ домашней литографіи сосланъ на каторгу на восемь лѣтъ. Государь сократилъ на четыре года съ перечисленіемъ затѣмъ въ рядовые.

Вслѣдъ за Дуровымъ (въ той же категоріи) поименованъ въ приговорѣ О. М. Достоевскій. „За такое же участіе въ преступныхъ замыслахъ, распространеніе письма литератора Вѣлинскаго, полнаго дерзкихъ выраженій противъ православной церкви и верховной власти, и за покушеніе, вмѣстѣ съ прочими, къ распространенію сочиненій противъ правительства посредствомъ домашней литографіи“, онъ сосланъ на каторгу тоже на 8 лѣтъ. Рѣшеніе же Государя относительно его было совершенно та-

кое же, какъ и относительно Дурова: „на четыре года, а потомъ рядовымъ“ *).

Самъ Ф. М. по поводу этого предиктовалъ для заграничной своей біографіи: „приговоръ этотъ былъ по формѣ своей первымъ еще случаемъ въ Россіи, ибо всякій, приговоренный въ Россіи въ каторгу, теряетъ гражданскія права свои на вѣки, хотя бы и окончилъ свой срокъ каторги (такъ оно и выходило по рѣшенію генераль-аудиторіата). Достоевскому же назначалось, диктовалъ онъ о себѣ въ третьемъ лицѣ (но тоже, какъ мы знаемъ, и Дурову), по отбытіи срока каторги поступить въ солдаты, — т. е. возвращались опять права гражданина. Впослѣдствіи, прибавилъ Ф. М., подобныя помилованія случались не разъ, но тогда это былъ первый случай и произошелъ по волѣ Императора Николая I, пожалѣвшаго въ Достоевскомъ (мы видѣли, что и въ Дуровѣ) его молодость и талантъ“. Это, конечно, тѣмъ болѣе замѣчательно, что никакой „добровольной откровенности“ со стороны Достоевскаго, какъ и Дурова, изъ дѣла не видно. Между тѣмъ, замѣнивъ Дебу 1-му 8-ми-лѣтній срокъ каторги четырьмя годами въ военныхъ арестантахъ, а Дебу 2-му 4 года каторги двумя годами въ военныхъ арестантахъ, и Толлю четырехлѣтнюю каторгу двухлѣтнюю, Государь, напротивъ того, Ястржембскому прибавилъ 2 года (вмѣсто 4-хъ шесть), хотя о послѣднемъ сказано только, что онъ, сверхъ преступныхъ замисловъ вообще, провинился лишь тѣмъ, что читалъ у Петрашевскаго лекціи о политической экономіи въ либеральномъ духѣ (по нынѣшней терминологіи слѣдовало бы, конечно, сказать въ *соціалистическомъ*). Самъ И. Л. Ястржембекій причиною такого ухудшенія своей участи считаетъ то, что, призванный въ судную комисію, отказался подписаться подъ заявленіемъ такого рода: „я нижеподписавшійся сямъ свидѣтельствую, что ничего не могу привести въ свое оправданіе“. Вмѣсто того, чтобы подписать это, онъ тогда написалъ: „самъ объявляю, что никогда злоумышленникомъ не былъ и никакой вины за собой не признаю“. Тогда, утверждаетъ онъ, генералъ Перовскій сказалъ: „такъ вы не виноваты? Въ такомъ случаѣ ступайте и спите спокойно“.

Усиленіе наказанія произошло и относительно Тимковскаго. Приговоренный генераль-аудиторіатомъ всего только къ высылкѣ въ Олоонецъ, онъ былъ Государемъ назначенъ въ арестантскія роты на шесть лѣтъ (не смотря на стараніе Спѣшневъ выставить его менѣе виновнымъ). Также и Европеусъ, приговоренный лишь къ высылкѣ въ Вятку, по волѣ Государя

*) „Общество пропаганды“, стр. 167—170.

назначенъ рядовымъ въ кавказскіе линейные батальоны. Съ другой же стороны опять, Плещеевъ и Кашкинъ, къ которымъ, правда, и генераль-аудиторіатъ отнесся снисходительнѣе по *молодости лѣтъ*, дождались отъ Государя еще большаго смягченія своей участи: оба были назначены рядовыми — первый въ оренбургскіе, а послѣдній въ кавказскіе линейные батальоны.

Если имѣть въ виду то, что Плещеевъ, какъ и Достоевскій съ Дуровымъ, особенно налегали на освобожденіе крестьянъ и ждали его отъ правительства, то на смягченіе ихъ участи не повліяло-ли издавнее напѣреніе Императора Николая I освободить крестьянъ, неосуществившееся вслѣдствіе противодѣйствія дворянства? Но почему же тогда не была смягчена участь Головинскаго, державшагося болѣе или менѣе того же взгляда? Генераль-аудиторіатъ въ своемъ приговорѣ налегъ на то, что Головинскій у Петрашевскаго „объявлялъ возможность освобожденія крестьянъ безъ воли правительства“ (впрочемъ Головинскій и былъ присужденъ только къ опредѣленію на службу рядовымъ въ одинъ изъ линейныхъ батальоновъ Оренбургскаго корпуса).

Одинъ лишь А. И. Пальмъ, по рѣшенію самого генераль-аудиторіата, былъ только переведенъ тѣмъ же чиномъ въ армію, а рѣшеніе Государя гласило: „быть по сему“ *).

Въ № „Русскаго Инвалида“ отъ 22-го декабря 1849 г. напечатанъ былъ приговоръ. Вотъ какъ характеризуется тутъ самое дѣло: „Пагубныя ученія, породившія смуты и мятежи во всей западной Европѣ и угрожающія ниспроверженіемъ всякаго порядка и благосостоянія народовъ, отозвались, къ сожалѣнію, въ нѣкоторой степени и въ нашемъ отечествѣ. ...Горсть людей, совершенно ничтожныхъ, болшею частію молодыхъ и безнравственныхъ, мечтала о возможности попрасть священнѣйшія права религіи, закона и собственности... Тиг. сов. Буташевичъ-Петрашевскій собиралъ у себя въ назначенные дни молодыхъ людей разныхъ сословій. Богохуленія, дерзкія слова противъ священной особы Государя Императора, представленіе дѣйствій правительства въ искаженномъ видѣ и порицаніе государственныхъ лицъ—вотъ тѣ орудія, которыя употреблялъ Петрашевскій для возбужденія своихъ посѣтителей... Въ концѣ 1848 г.

*) Ibidem, стр. 170—173. На облегченіе участи нѣкоторыхъ могло имѣть вліяніе и особое о нихъ ходатайство по имѣвшимся у нихъ во вліятельныхъ сферахъ связямъ. Съ другой стороны, однако, за мѣщанина Шапошникова едва ли могло быть какое нибудь особое ходатайство, между тѣмъ, вмѣсто шести лѣтъ въ арестантскихъ ротахъ, онъ, по волѣ Государя, назначенъ рядовымъ въ оренбургскіе линейные батальоны

онъ приступилъ къ образованію тайнаго общества... Затѣмъ написанъ былъ планъ для производства общаго возстанія въ государствѣ“.

О днѣ объявленія приговора, какъ говорилъ Ф. М., никто изъ нихъ заранѣе не зналъ. Рано утромъ 22-го декабря они замѣтили необычный шумъ и ходьбу по корридору и стали догадываться, что произойдетъ нѣчто особенное! Покойный Спѣшневъ рассказывалъ опредѣлительно, что это было въ 6 часовъ, а въ 7 часовъ посадили въ кареты и повезли. По словамъ Ф. М., ихъ предварительно заставили переодѣться въ собственное ихъ платье и отправлены они были въ сопровожденіи надзирателя. Спѣшневъ, недоумѣвая, куда ихъ везутъ, предполагалъ, что для выслушанія приговора, а такъ какъ ихъ судили военно-полевнымъ судомъ, то полагалъ, что это должно происходить въ ордонансгаузѣ. Между тѣмъ везли очень долго. Спѣшневъ дорогой спросилъ солдата: „куда везутъ?“ Тотъ отвѣчалъ: „не приказано сказывать“. Былъ морозъ и сквозь обледѣнныя окна кареты нельзя было хорошенько разобрать, по какой дорогѣ везутъ. Спѣшневу казалось, что перевезли на ту сторону Невы, затѣмъ повезли по Литейной. Чтобы хорошенько убѣдиться въ томъ, гдѣ везутъ, онъ пробовалъ отчистить стекло пальцемъ, но солдатъ сказалъ: „не дѣлайте этого, не то меня будутъ бить“. Спѣшневъ послѣ этого отказался удовлетворить свое столь понятное любопытство. Выше было уже замѣчено, что мысль о смертной казни не приходила имъ въ голову. Не думали они и о томъ, чтобы приговоръ, состоявшійся и отиѣненный Государемъ, былъ тѣмъ не менѣе имъ прочитанъ съ цѣлью произвести впечатлѣніе, ужасъ. (Какъ выражался въ устныхъ своихъ воспоминаніяхъ Спѣшневъ). Но вотъ, послѣ казавшейся имъ безконечною дороги, ихъ наконецъ привезли на Семеновскій плацъ и выстроили въ известномъ порядкѣ. Затѣмъ ихъ взвели на эшафотъ и, какъ рассказывалъ Ф. М., поставили по одной сторонѣ 9, а по другой 11 человекъ. По словамъ Спѣшнева, они хотѣли другъ съ другомъ поздороваться и поговорить, но это не было имъ дозволено, такъ что затѣмъ можно было шептаться только по сосѣдству. Вотъ тутъ-то, надо думать, оказавшійся подлѣ Н. А. Момбелли Ф. М.—чѣ передалъ ему вкратцѣ планъ повѣсти, написанной имъ въ крѣпости. Черта эта, сообщенная имъ самимъ г. Момбелли, фактически подтверждаетъ возможность того смѣшаннаго, разносторонняго, спокойно-взволнованнаго состоянія духа въ такія минуты, съ какими мы знакомимся по нѣкоторымъ произведеніямъ Ф. М.—ча. Тутъ, кромѣ глубокой психологической прозорливости, руководилъ имъ и собственный опытъ. (Самъ онъ объ этомъ не рассказывалъ, стало быть объ этомъ не помнилъ, но слѣдъ отъ этого, надо думать, оставался у него въ сознаніи).

Когда они разставлены были на эшафотѣ по обѣимъ сторонамъ, на середину вышелъ аудиторъ и прочелъ приговоръ. Во время чтенія проглянуло солнце и Ф. М., стоя подлѣ Дурова, сказалъ ему: „не можетъ быть, чтобы насъ казнили“. Въ отвѣтъ на это Дуровъ указалъ ему на телѣгу, на которой, какъ ему представлялось, положены были гробы, прикрытые рогожей (потомъ оказалось, что это ихъ арестантское платье). Тутъ уже, вспоминалъ Ф. М., не оставалось никакого сомнѣнія. Фёдору Михайловичу такъ и врѣзались на всю жизнь въ сознание столько разъ повторенныя въ роковой бумагѣ слова: „приговорены къ смертной казни разстрѣляемъ“. Но при этомъ также глубоко врѣзалась ему въ память и такая внѣшняя подробность, какъ то, что, окончивъ чтеніе, аудиторъ сложилъ бумагу и, положивъ ее въ боковой карманъ, сошелъ съ возвышенія. (Повидимому въ связи съ этимъ воспоминаніемъ находится предположеніе „Идіота“ относительно приговореннаго къ смертной казни, что у него въ головѣ должно быть стучать разныя мысли, все неконченныя и, можетъ быть, и смѣшныя, постороннія такія мысли: „вотъ этотъ глядитъ—у него бородавка на лбу, вотъ у палача одна нижняя пуговица заржавѣла“). На смѣну аудитору взоспелъ на эшафотъ священникъ съ крестомъ въ рукахъ и пригласилъ къ исповѣди. Но, по свидѣтельству Ф. М., исповѣдываться никто не пошелъ, кромѣ одного Шапошникова (по происхожденію мѣщанина). Онъ исповѣдывался не долго. Къ кресту же, по свидѣтельству Ф. М., приложились всѣ. Стало быть и Петрашевскій, оказывающійся не только по слѣдственному дѣлу, но и по воспоминаніямъ о немъ вполне атеистомъ? Фактъ этотъ (если Ф. М. не ошибся) остается также невыясненнымъ, какъ и то, почему исповѣдывался одинъ Шапошниковъ, тогда какъ были и между другими несомнѣнно религіозные люди (Дуровъ, какъ выразился Ф. М., даже „до смѣшнаго“). Въ связи съ этимъ эпизодомъ изъ собственной жизни отчасти, должно быть, находится слѣдующее въ рассказѣ „Идіота“ о приговоренномъ къ смерти: „священникъ поскорѣй, скорымъ такимъ жестомъ и молча, ему крестъ къ самымъ губамъ вдругъ подставлялъ, маленькій такой крестъ, серебряный, четырехконечный... Крестъ онъ съ жадностію цаловалъ, спѣшилъ цаловать, точно спѣшилъ не забыть захватить что то про запасъ, на всякій случай, но врядъ ли въ эту минуту что нибудь религіозное сознавалъ“ *).

Появленіе священника для исповѣди, по словамъ Ф. М., заставило ихъ убѣдиться въ томъ, что казнь будетъ въ самомъ дѣлѣ совершена: не станутъ же, представлялось имъ, обращать это въ одну *декоративную*

*) Сочин. т. VII, стр. 66—67.

принадлежность. Мнѣ рассказывалъ г. Башкинъ, что его вниманіе обратило на себя то, что со священникомъ не было св. даровъ. Воспользовавшись тѣмъ, что онъ стоялъ у самаго края эшафота, какъ разъ противъ оберъ-полиціймейстера, онъ рѣшился, наклонившись, спросить у него шепотомъ по французски: „неужели, предлагая намъ исповѣдываться, насъ оставляютъ безъ причащенія“, на что ген. Галаховъ прошепталъ ему въ отвѣтъ по французски же: „вы будете всё помилованы“. Такимъ образомъ одинъ изъ присутствовавшихъ ранѣе другихъ узналъ, что казнь не будетъ совершена.

Между тѣмъ, какъ вспоминалъ Спѣшневъ, троекъ уже привязали къ столбамъ. По словамъ Ф. М. это были Петрашевскій, Момбелли и Григорьевъ. Передъ каждымъ столбомъ сталъ офицеръ съ солдатами и были уже произнесены командныя слова. Ф. М. припоминалъ, что сожалѣнія объ оставляемыхъ въ мѣръ онъ тогда не чувствовалъ, да и времени было слишкомъ мало. Онъ ощущалъ только мистическій страхъ, весь находился подъ вліяніемъ мысли, что черезъ какихъ нибудь пять минутъ перейдетъ въ другую, неизвѣстную жизнь (въ немъ, стало быть, ни мало не была поколеблена вѣра въ безсмертье). Какъ ни былъ онъ потрясенъ, онъ однако не потерялся. Бывшій тогда на площади г. Загуляевъ передавалъ, что Ф. М. не былъ блѣденъ, довольно быстро взомелъ на эшафотъ, скорѣе былъ торопливъ, чѣмъ подавленъ. Совершенно иначе подѣйствовало все это на нѣкоторыхъ товарищей. Мы знаемъ уже со словъ Спѣшнева, что еще въ крѣпости сталъ мѣшаться въ умѣ Григорьевъ. Привязываніе къ столбу и уже раздавшаяся команда довершили дѣло. Оставалось произнести: „пли!“ (пали) и все было бы кончено. Тутъ, по словамъ Спѣшнева, махнули платкомъ — и казнь была остановлена. Но когда Григорьева отвязали отъ столба съ двумя другими, онъ былъ блѣденъ какъ смерть. Умственные способности окончательно ему измѣнили.

По словамъ И. М. Дебу многимъ изъ нихъ вѣсть о помилованіи вовсе не представилась радостною, а какъ будто бы даже обидною: такъ враждебно настроила ихъ вся эта только что совершившаяся съ ними процедура.

Объ общемъ настроеніи духа своемъ и своихъ товарищей въ эту пору Ф. М. вспоминалъ въ „Дневникѣ Писателя“ 1873 г. „Мы, Петрашевцы, говорили онъ тутъ, стояли на эшафотѣ и выслушивали нашъ приговоръ безъ малѣйшаго раскаянія. Безъ сомнѣнія, я не могу свидѣтельствовать обо всѣхъ, но думаю, что не ошибусь, сказавъ, что тогда, въ ту минуту, если не всякій, то по крайней мѣрѣ чрезвычайное большинство изъ насъ почло бы за безчестіе отречься отъ своихъ убѣжденій... Приговоръ смерт-

ной казни разстрѣляемъ, прочтенный намъ всѣмъ предварительно, прочтенъ былъ вовсе не въ шутку; почти всѣ приговоренные были увѣрены, что онъ будетъ исполненъ и вынесли по крайней мѣрѣ десять ужасныхъ, безмѣрно страшныхъ минутъ ожиданія смерти. Въ эти послѣднія минуты нѣкоторые изъ насъ (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь въ себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, — можетъ быть и раскаявались въ иныхъ тяжелыхъ дѣлахъ своихъ — (изъ тѣхъ, которыя у каждаго человѣка всю жизнь лежатъ въ тайнѣ на совѣсти); но то дѣло, за которое насъ осудили, тѣ мысли, тѣ понятія, которыя владѣли нашимъ духомъ — представлялись намъ не только не требующими раскаянія, но даже чѣмъ-то насъ очищающимъ, мученичествомъ, за которое многое намъ простится“.

Федоръ Михайловичъ въ тотъ же день писалъ брату о своемъ настроеніи въ послѣднюю рѣшительную минуту: „я вспомнилъ тебя, братъ, всѣхъ твоихъ; въ послѣднюю минуту ты, только одинъ ты, былъ въ умѣ моемъ, я тутъ только узналъ, какъ люблю тебя, братъ мой милый. Я успѣлъ тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возлѣ, и проститься съ ними. Наконецъ ударили отбой, привязанныхъ къ столбу привели назадъ и намъ прочли, что Его Императорское Величество даруетъ намъ жизнь“.

Мысль о предстоящей каторгѣ однако же представлялась ему тогда ужасною. „Лучше, выражается онъ въ томъ же письмѣ, пятнадцать лѣтъ въ казематѣ съ перомъ въ рукѣ“ и при этомъ прибавляетъ: „та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая свыклась съ возвышенными потребностями духа, та голова уже срѣзана съ плечъ моихъ“ *).

Переиспытанное Достоевскимъ въ то время не разъ воспроизводилось имъ впоследствии въ различныхъ его произведеніяхъ. Сюда, конечно, не можетъ быть отнесено то, что говорится, въ видѣ сравненія, объ ожиданіи казни въ „Маленькомъ героѣ“, такъ какъ, во время пребыванія своего въ крѣпости, гдѣ написана эта повѣсть, Ф. М.—чъ, конечно, не думалъ, чтобы дѣло могло привести къ казни. Зато относящееся сюда несомнѣнно встрѣчается въ „Преступленіи и Наказаніи“. Когда Раскольниковъ сходитъ съ лѣстницы отъ Мармеладовыхъ „полный одного новаго необъятнаго ощущенія вдругъ прихлынувшей полной и могучей жизни“, то авторъ по этому поводу замѣчаетъ: „это ощущеніе могло походить на

*) „Русск. Старина“, 1881 г., май, стр. 34. Изъ письма этого тутъ напечатаны лишь отрывки. Оригиналъ, сохранявшійся у Анны Григорьевны и отданный на время кому-то, къ несчастію, затерялся.

ощущеніе приговореннаго къ смертной казни, которому вдругъ и неожиданно объявляютъ прощеніе *). (Его настроеніе, если такъ, не сходилось съ тѣмъ настроеніемъ, о которомъ говоритъ г. Дебу). Выше уже приведены два мѣста изъ „Идіота“, прямо отзывающіяся воспоминаніями о трагическомъ эпизодѣ въ собственной жизни Ф. М.—ча.

Въ разказахъ „Идіота“ о приговоренныхъ къ смерти, заключается цѣлая опытная психологія въ лицахъ въ связи съ религіозно-философскимъ вопросомъ о смертной казни. „Приготовленія тяжелы, разказываетъ „Идіотъ“. Вотъ когда объявляютъ приговоръ, снаряжаютъ, вяжутъ, на эшафотъ взводятъ, вотъ тутъ ужасно. Народъ сбѣгается, даже женщины“. А въ другомъ мѣстѣ: „крикъ, шумъ, десять тысячъ лицъ, десять тысячъ глазъ — все это надо перенести“, а главное — мысль: „вотъ ихъ десять тысячъ, а ихъ никого не казнятъ, а меня-то казнятъ!“... Кто сказалъ, спрашиваетъ „Идіотъ“, что человѣческая природа въ состояніи вынести это безъ сумасшествія? Зачѣмъ такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Можетъ быть и есть такой человѣкъ, которому прочли приговоръ, дали помучиться, а потомъ сказали: „ступай, тебя прощаютъ“! Вотъ такой человѣкъ, можетъ быть, могъ бы разказать. Объ этой мукѣ и объ этомъ ужасѣ и Христосъ говорилъ. Нѣтъ, съ человѣкомъ такъ нельзя поступать **). Въ другомъ разказѣ „Идіотъ“ говоритъ про человѣка, который „былъ разъ взведенъ, вмѣстѣ съ другими, на эшафотъ, и ему прочитанъ былъ приговоръ смертной казни разстрѣляніемъ за политическое преступленіе. Минуть черезъ двадцать прочтено было помилованіе и назначена другая степень наказанія; но однако же въ промежуткѣ между двумя приговорами, двадцать минутъ или по крайней мѣрѣ четверть часа онъ прожилъ подъ несомнѣннымъ убѣжденіемъ, что черезъ нѣсколько минутъ онъ вдругъ умретъ... Шагахъ въ двадцати отъ эшафота, около котораго стоялъ народъ и солдаты, были врыты три столба, такъ какъ преступниковъ было нѣсколько человѣкъ. Трехъ первыхъ повели къ столбамъ, привязали, надѣли на нихъ смертныи костюмъ... Затѣмъ противъ каждаго столба выстроилась команда изъ нѣсколькихъ человѣкъ солдатъ... Священникъ обошелъ всѣхъ съ крестомъ. Выходило, что остается жить минутъ пять, не больше. Онъ говорилъ, что эти пять минутъ казались ему безконечнымъ срокомъ, огромнымъ богатствомъ... Онъ умиралъ двадцати семи лѣтъ... (тогдашній возрастъ самого Федора Михайловича) прощаясь съ товарищами, онъ помнилъ, что одному изъ нихъ задалъ довольно

*) См. сочиненія, т. VI, стр. 176. Ср. еще въ „Преступленіи и Наказаніи“ (соч. т. VI), стр. 72, 150.

***) Сочиненія, т. VII, стр. 24,—26, 66.

посторонній вопросъ и даже очень заинтересовался отвѣтомъ. Потомъ... настали... двѣ минуты, которыя онъ отсчиталъ, чтобы думать про себя... ему все хотѣлось представить себѣ... что вотъ какъ же это такъ: онъ теперь есть и живетъ, а черезъ три минуты будетъ уже *ничто*, кто-то или что-то—такъ кто-же? гдѣ-же?.. Невдалекѣ была церковь, и вершина собора съ позолоченною крышей сверкала на яркомъ солнцѣ (церковь Семеновскаго полка, хорошо видная съ плаца, о дѣйствіи которой на него въ то время Ф. М. рассказывалъ близкимъ). Онъ помнилъ, что ужасно упорно смотрѣлъ на эту крышу и на лучи, отъ нея сверкавшіе... ему казалось, что эти лучи его новая природа, что онъ черезъ три минуты какъ нибудь сольется съ ними... Неизвѣстность и отвращеніе отъ этого новаго, которое будетъ и сейчасъ наступить, были ужасны... Что, еслибы не умирать, что, еслибы воротить жизнь — какая безконечность! И все это было бы мое!.. Эта мысль у него, наконецъ, въ такую злобу переродилась, что ужъ ему хотѣлось, чтобъ его поскорѣй застрѣлили *). (Вотъ это отчасти подходитъ къ тому настроенію, о которомъ говоритъ г. Дебу).

Наконецъ, въ „Дневникѣ Писателя“ 1876 г. Ф. М. спрашивалъ: „Знаете-ли вы, что такое смертный страхъ? Кто не былъ близко у смерти, тому трудно понять это“. Это сказано тутъ по отношенію къ г-жѣ Великановой (въ дѣлѣ г-жи Каировой): „она проснулась ночью, разбуженная бритвой своей убійцы... Это почти все равно, что смертный приговоръ привязанному у столба къ разстрѣлянію и когда на привязаннаго уже надвинуть мѣшокъ“ **).

Въ сознаніи Достоевскаго, какъ психолога, главнымъ образомъ сохранилась внутренняя сторона ихъ тогдашняго положенія и, повидимому, безслѣдно исчезъ тотъ морозъ въ 21 град., при которомъ все это происходило. По разсказу покойнаго Спѣшневъ, не смотря на такую температуру они должны были снять верхнее платье и простоять въ рубашкахъ во все время чтенія приговора, привязыванія къ столбамъ и новаго объявленія приговора. Все это, утверждалъ Спѣшневъ, продолжалось болѣе получаса (Достоевскій считалъ 20 минутъ, если признать автобиографическою и эту подробность въ разсказѣ „Идіота“). „Потрите щеку“; „потрите подбородокъ“, говорили они другъ другу. По возвращеніи въ крѣпость всѣхъ ихъ обшелъ докторъ Овель вмѣстѣ съ комендантомъ Набоковымъ, чтобы освидѣтельствовать, не простудился ли кто нибудь. Уже въ Тобольскѣ докторъ декабристовъ Вольфъ замѣтилъ у Спѣшневъ начало

*) Ibidem, 62, 63.

**) Соч. т. XI, стр. 173.

чахотки, но подъ вліяніемъ вдыханія смолистыхъ и лиственныхъ деревьевъ онъ мало по малу оправился.

Отправлены были въ Сибирь не всё вдругъ—а по два или даже по одному въ день. Петрашевскаго прямо съ мѣста казни одѣли въ тулупъ и отослали въ Минусинскъ. До Тобольска приходилось ѣхать по одной дорогѣ, а тамъ уже партіи раздѣлялись. Ф. М. отправленъ былъ, повидимому, въ самый рождественскій сочельникъ. Для него, выросшаго въ семьѣ и такъ любившаго семью, для него, не перестававшаго быть христіаниномъ, это былъ день, сопровождавшійся воспоминаніями совершенно другаго рода. Но власти, конечно, смотрѣли на всѣхъ осужденныхъ какъ на отъявленныхъ атеистовъ.

„Если не ошибаюсь, на третій день послѣ экзекуціи на Семеновской площади, говоритъ А. П. Милюковъ, М. М. Достоевскій пріѣхалъ ко мнѣ и сказалъ, что брата его отправляютъ въ тотъ же вечеръ и онъ ѣдетъ проститься съ нимъ *). Мнѣ тоже хотѣлось попрощаться съ тѣмъ, кого долго, а можетъ быть и никогда не придется видѣть. Мы поѣхали въ крѣпость, прямо къ извѣстному уже намъ плацъ-майору М—ю, черезъ котораго надѣялись получить разрѣшеніе на свиданіе. Это былъ человѣкъ въ высокой степени доброжелательный. Онъ подтвердилъ, что дѣйствительно въ этотъ вечеръ отправляютъ въ Омскъ Достоевскаго и Дурова, но видѣться съ уѣзжающими, кромѣ близкихъ родственниковъ, нельзя безъ разрѣшенія коменданта. Это сначала меня огорчило, но, зная доброе сердце и снисходительность генерала Набокова, я рѣшился обратиться къ нему лично за позволеніемъ проститься съ друзьями. И я не ошибся въ своей надеждѣ: комендантъ разрѣшилъ и мнѣ видѣться съ Ф. М. Достоевскимъ и Дуровымъ.

„Насъ провели въ какую-то большую комнату въ нижнемъ этажѣ комендантскаго дома. Давно уже былъ вечеръ, и она освѣщалась одною лампою. Мы ждали довольно долго, такъ что крѣпостные куранты раза два успѣли проиграть четверти на своихъ разнотонныхъ колокольчикахъ. Но вотъ дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей, и въ сопровожденіи офицера вошли Ф. М. Достоевскій и С. Ф. Дуровъ. Горячо пожали мы другъ другу руки. Не смотря на восьмидѣсячное заключеніе въ казематахъ, они почти не переѣнились: то же серьезное спокойствіе на лицѣ одного, та же привѣтливая улыбка у другаго. Оба уже одѣты были въ дорожное арестантское платье, въ полшубкахъ и валенкахъ.

*) Экзекуція была 22-го; третій день послѣ нея—24-е, а вечеръ этого дня—какъ разъ вечеръ на Рождество.

Крѣпостной офицеръ скромно помѣстился на стулѣ недалеко отъ входа и нисколько не стѣснялъ насъ. Ѳ. М.—чѣ прежде всего высказалъ брату свою радость, что онъ не пострадалъ вмѣстѣ съ другими, и съ теплою заботливостью разспрашивалъ его о семействѣ, о дѣтихъ, входилъ въ самыя мелкія подробности о ихъ здоровьи и занятіяхъ. Во время нашего свиданія онъ обращался къ этому нѣсколько разъ. На вопросы о томъ, каково было содержаніе въ крѣпости, Достоевскій и Дуровъ съ особенною теплотой отзывались о комендантѣ, который постоянно заботился о нихъ и облегчалъ, чѣмъ только могъ, ихъ положеніе. Ни малѣйшей жалобы не высказали ни тотъ, ни другой на строгость суда или суровость приговора...

„Когда Ѳ. М.—чѣ началъ говорить съ братомъ о семейныхъ дѣлахъ, Дуровъ рассказывалъ мнѣ, какъ онъ мало-по-малу свыкся съ казематомъ, особенно съ того времени, какъ имъ стали присылать книги и журналы... Передавая мнѣ небольшой листокъ почтовой бумаги, онъ сказалъ: „это мои послѣдніе стихи... надняхъ написалъ въ казематѣ“ *).

„Смотря на прощанье братьевъ Достоевскихъ, продолжаетъ А. П. Милюковъ, всякій замѣтилъ бы, что изъ нихъ страдаетъ болѣе тотъ, который остается. Въ глазахъ старшаго брата стояли слезы, губы его дрожали, а Ѳ. М. былъ спокоенъ и утѣшалъ его. „И въ каторгѣ не звѣри, а люди, можетъ еще и лучше меня, можетъ достойнѣе меня“... Да мы еще увидимся, я надѣюсь на это, я даже не сомнѣваюсь, что увидимся. А вы пишете, да когда обживусь — книгъ присылайте; я напишу какихъ; вѣдь читать можно будетъ“. (Дѣйствительно воображалъ это Ѳ. М. или только утѣшалъ брата?) А выйду изъ каторги, писать начну“... Въ эти мѣсяцы я много пережилъ, въ себѣ самомъ много пережилъ, а тамъ впереди-то чтò увижу и переживу; будетъ о чемъ писать“... Можетъ быть, замѣчаетъ г. Милюковъ, его именно занимала какъ бы врожденная и всегда присущая ему мысль найти въ самыхъ низко-падшихъ преступникахъ... ту глубоко подъ цепломъ затаившуюся, но не погасшую искру огня Божія, которая живетъ, какъ онъ вѣрилъ, въ самомъ закоренѣломъ злодѣѣ и послѣднемъ отверженцѣ“.

Свиданіе ихъ продолжалось болѣе получаса, но имъ показалось очень коротко. Но вотъ имъ сказали, что надо разстаться. Въ послѣдній разъ обнялись и пожали другъ другу руки. Узнавъ, что повезутъ чрезъ часть, не позже, остающіеся подождали у воротъ крѣпости... Ночь была не хо-

*) Они были напечатаны въ мартовской книжкѣ „Русск. Старина“ 1881 г. и перепечатываются здѣсь въ приложеніяхъ „Изъ апостола Іоанна“.

лодная и свѣтлая... Куранты проиграли девять, когда вѣхали двое саней и на каждыхъ сидѣлъ арестантъ съ жандармомъ. „Прощайте!“ крикнули провожающіе. „До свиданія“ отвѣчали имъ.

Изъ этого драгоцѣннаго разсказа видно, какъ держалъ себя тутъ человѣкъ, такъ недавно еще чуть было не сошедшій съ ума отъ различныхъ самосочиненныхъ болѣзней. Уже по прибытіи на каторгу ему суждено было стать гениемъ-утѣшителемъ одного изъ товарищей своихъ по несчастію. Вотъ какъ вспоминаетъ объ этомъ И. Л. Ястржембскій. „Нельзя вообразить, какъ я былъ обрадованъ, когда меня, Достоевскаго и Дурова для отправленія въ Сибирь посадили въ одною поѣздъ. Одинокое восьмидесятилетнее заключеніе въ Алексѣевскомъ равелинѣ подѣйствовало на меня убійственно. Я былъ до того изможенъ и физически уничтоженъ, что стоявшій около меня на эшафотѣ Дуровъ меня не узналъ. Возможность побесѣдовать съ Дуровымъ и Достоевскимъ во время краткихъ отдыховъ въ пути доставила, по крайней мѣрѣ мнѣ, истинное счастье.

„Мы прибыли въ Tobольскъ... и были проведены въ огромную залу, въ которой приготовляли къ отправленію *партии*. Тамъ было собрано человѣкъ до трехсотъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей разныхъ возрастовъ и племенъ; однихъ заковывали въ кандалы, другихъ нанизывали на желѣзный пруть, третьихъ брили головы. Зрѣлище это произвело на меня потрясающее и удручающее впечатлѣніе... Мы были переданы въ руки смотрителя острога...

„Пропутешествовавъ всю ночь и часть дня на сорокаградусномъ морозѣ, неудивительно, что я съ представленіемъ о пріѣздѣ въ Tobольскъ соединялъ понятіе о кое-какомъ тепломъ пріютѣ и горячемъ чаѣ. На вопросъ мой: „можно-ли въ острогъ, куда насъ вели, получить самоваръ“? Иванъ Гавриловичъ (смотритель) отвѣчалъ другимъ вопросомъ: „а какъ же вы будете дѣлать путешествіе по сибирскимъ этапамъ? Нѣтъ у насъ самовара!“ Эти слова открывали передо мною перспективу нѣшаго образа хожденія можетъ быть за тысячи верстъ. Тутъ же мнѣ вспомнилась только что видѣнная картина приготовленія къ отправкѣ *партии*.

„Мы пришли въ канцелярію острога. Въ этой канцеляріи, темной и грязной, прежде всего я замѣтилъ *чиновниковъ*, занимающихся письмоводствомъ. Эти лица были въ арестантскихъ армякахъ, у нѣкоторыхъ изъ нихъ на лбу и щекахъ видны были буквы: К. А. Т.; у другихъ, съ вырѣзанными ноздрями, лице и лобъ были помѣчены буквами: В. О. Р. Физиономіи были à l'avenant...

„Къ намъ тутъ же подступили еще какія-то три личности. Впослѣдствіи мы узнали, что это было начальство: прокуроръ, почтмейстеръ

и еще какой-то начальник... Иванъ Гавриловичъ подошелъ къ намъ. „Въ кандалахъ?“ спросилъ онъ рѣзко. „Да-съ“, отвѣчали мы. „Обыскать“, скомандовалъ онъ. Мы подверглись обшариванію кармановъ, вызвавшему на нашихъ лицахъ краску стыда и негодованія. Тутъ же почтенный Иванъ Гавриловичъ конфисковалъ у меня почти полную бутылку хорошаго рому, которую я купилъ было въ Казани. Все это не предвѣщало намъ ничего добраго. Повели насъ въ камеру. Узкая, темная, холодная, грязная комната... Въ камерѣ были нары и на нихъ три грязные мѣшка, набитые сѣномъ, вмѣсто тюфяковъ, и такія же три подушки. Совершенная темнота. За дверью, въ сѣняхъ, слышались тяжелые шаги часоваго, ступающаго назадъ и впередъ на сорокаградусномъ морозѣ.

„Мы присѣли и скорчились — Дуровъ на нарахъ, а я рядомъ съ Достоевскимъ на полу. За тонкой стѣной или скорѣе перегородкой, гдѣ, какъ мы узнали послѣ, помѣщались подсудимые, слышалось постукиваніе шкаликовъ и рюмокъ, возгласы играющихъ въ карты и въ юлу, и такая ругань, такія проклятія...

„У Дурова пальцы на рукахъ и ногахъ были отморожены и ноги сильно повреждены отъ кандаловъ. У Достоевскаго кромѣ того еще въ Алексѣевскомъ равелинѣ открылись на лицѣ и во рту золотушные язвы. Я отморозилъ кончикъ носа.

„Среди такой непріятной обстановки мнѣ вспомнилась моя жизнь въ Петербургѣ среди молодыхъ, симпатичныхъ и умныхъ товарищей по двумъ университетамъ: кievскому и харьковскому... Я подумалъ, что бы сказала моя сестра, если-бъ увидѣла, въ какомъ я положеніи? Я думалъ, что для меня нѣтъ спасенія и рѣшился покончить съ собою, къ чему еще въ Алексѣевскомъ равелинѣ я сдѣлалъ удачныя приготовленія... Напоминаю объ этомъ тяжкомъ прошедшемъ единственно потому, что оно дало мнѣ возможность ближе узнать личность Достоевскаго. Его симпатичная и милая бесѣда излечила меня отъ отчаянія и пробудила во мнѣ надежду.

„Совершенно нечаянно и неожиданно мы получили сальную свѣчу, спички и горячій чай, который намъ показался вкуснѣе нектара. (По приказанію жандармскаго офицера, оказавшагося отчасти знакомымъ И. Л. Ястржембскому). У Достоевскаго оказались превосходныя сигары, которыхъ, по счастью, не досмотрѣлъ почтенный Иванъ Гавриловичъ. Въ дружеской бесѣдѣ мы провели большую часть ночи. Симпатичный, милый голосъ Достоевскаго, его нѣжность и мягкость чувства, даже нѣсколько его капризныхъ вспышекъ, совершенно женскихъ, подѣйствовали на меня успокоительно. Я отказался отъ всякаго крайняго рѣшенія. Мы

разстались съ Достоевскимъ и Дуровымъ въ тобольскомъ острогѣ, заплакали, обнялись и больше уже не видались.

„Достоевскій, заключаетъ И. Л. Ястржембскій, принадлежалъ къ ряду тѣхъ субъектовъ, о которыхъ Michelet сказалъ: que tout en étant le plus fort mâles, ils on beaucoup de la nature féminine. Этихъ обстоятельствомъ объясняется сторона его сочиненій, въ которой видать жестокость таланта и охоту мучить...

„При данной природѣ Достоевскаго тѣ тяжелыя страданія, которыя слѣдная и глухая судьба послала ему совершенно незаслуженно, отразились и на его характерѣ. Не мудрено, что онъ сдѣлался нервенъ и раздражителенъ въ высшей степени. Но, кажется, я не погрѣшу парадоксомъ, если скажу, что сами эти страданія послужили на пользу его таланта, развивъ въ немъ совершенство его психическаго анализа“.

Точно такъ-же смотрѣлъ на свою судьбу самъ Достоевскій. Захотѣвъ быть ему мачихой, она на самомъ дѣлѣ воспитала его какъ строгая, но попочительная мать.

IV.

Ссылка и освобожденіе.

„Когда мы, въ Тобольскѣ, въ ожиданіи дальнѣйшей участи, сидѣли въ острогѣ на пересыльномъ дворѣ, вспоминаетъ Ф. М. Достоевскій въ „Дневникѣ“ 1873 г., жены декабристовъ умолили смотрителя острога и устроили въ квартирѣ его свиданіе съ нами *). Мы увидѣли этихъ великихъ страдалицъ, добровольно послѣдовавшихъ за своими мужьями въ Сибирь... Ни въ чемъ неповинныя, онѣ въ долги двадцать пять лѣтъ перенесли все, что перенесли ихъ осужденные мужья. Свиданіе продолжалось часъ. Онѣ благословили насъ въ новый путь, перекрестили и каждому обдѣлили евангеліемъ—единственная книга, дозволенная въ острогѣ. Четыре года пролежала она подъ моею подушкой въ каторгѣ. Я читалъ ее иногда и читалъ другимъ. По ней выучилъ читать одного каторжника **).

Сами Петрашевцы были люди большею частью очень молодые, еще

*) По словамъ И. Л. Ястржембскаго это были: Муравьева, Анненкова съ дочерью) и Фонъ-Визина. Онѣ доставили также нашимъ „каторжникамъ“ изысканный обѣдъ съ винами.

**) Сочин. томъ X. стр. 9.

безсмейные. За ними некому было идти. Даръ, полученный ими отъ женъ декабристовъ — евангеліе — могли бы они получить и отъ самихъ декабристовъ, едва ли не въ большинствѣ добрыхъ христіанъ. И между Петрашевцами нѣкоторые, какъ мы видѣли, были настроены вполне религіозно и могли стало быть оцѣнить такой даръ. Къ нимъ принадлежали Ѳедоръ Михайловичъ и оставшійся вмѣстѣ съ нимъ въ Омскѣ Дуровъ.

Въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ Ѳедоръ Михайловичъ говоритъ, что у него была и вся библія (надо думать, доставленная ему еще въ крѣпость братомъ), но ее у него укралъ одинъ изъ каторжниковъ.

„Записки изъ Мертваго Дома“ — конечно, отличный матеріалъ для жизнеописанія Ѳедора Михайловича, но къ нимъ могли бы быть примѣнены тѣ слова, какими Гете озаглавилъ свою автобіографію: *Aus meinem Leben Wahrheit und Dichtung* (изъ моей жизни правда и вымыселъ). Самъ Ѳ. М. въ томъ, что было имъ продиктовано для своей заграничной біографіи, говоритъ, что въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ онъ „подъ вымышленными именами рассказалъ свою жизнь въ каторгѣ и описалъ своихъ прежнихъ товарищей каторжныхъ“. Самого себя онъ выставилъ тутъ подъ именемъ дворянина Александра Петровича Горяничкова, преступленіе котораго состояло въ убійствѣ изъ ревности. Когда же въ энциклопед. словарь проф. Березина въ статьѣ г. В. З. сказано было глухо, что, онъ „замѣшанъ былъ въ дѣло Петрашевскаго“, то Ѳ. М. въ январскомъ „Дневникѣ Писателя“ 1876 г. счелъ нужнымъ замѣтить: „никто не обязанъ знать и помнить про дѣло Петрашевскаго, а энциклопедическій словарь назначается для всеобщихъ справокъ и могутъ подумать, что я сосланъ былъ за грабежъ“. Это вынудило его тутъ же напечатать, что онъ сосланъ былъ *какъ государственный преступникъ* (последнія слова подчеркнуты имъ самимъ)*). „Записки изъ Мертваго Дома“, продиктовалъ онъ далѣе для иностранной своей біографіи, были прочитаны всей Россіей и до сихъ поръ цѣнятся весьма высоко, хотя порядки и обычаи, описанные въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“, давно уже измѣнились въ Россіи. Ѳедоръ Михайловичъ счелъ нужнымъ указать за границей на эти измѣненія, связывая ихъ, конечно, со всеми тѣми многообразными измѣненіями, какими обязаны мы Государю Александру Николаевичу. Самое появленіе въ печати „Записокъ изъ Мертваго Дома“ было бы до Александра II немислимо. Описать, наприимѣръ, съ такимъ убійственнымъ реализмомъ тѣ только что вышедшія изъ подъ палокъ сныни, которыя пришлось видѣть Достоевскому въ каторжной больницѣ,

*) Сочин. томъ XI, стр. 43.

можно было только при Царѣ, отивившемъ палки. „Записки“ и вообще, слѣдо можно сказать, не отличаются утайками или недоползками. Если Достоевскій нашель въ нихъ нужнымъ замаскироваться обыкновеннымъ преступникомъ изъ дворянъ, то онъ говоритъ и о настоящихъ политическихъ ссыльныхъ въ особой главѣ (появившейся въ журналѣ „Время“ *) она, правда, потомъ опускалась въ отдѣльныхъ изданіяхъ, но въ настоящемъ полномъ собраніи сочиненій Ф. М. снова помѣщена въ своемъ первоначальномъ видѣ **) . Порядокъ (потомъ значительно измѣнившіеся) описанъ такъ, что часто дѣйствительно становится жутко — и отъ кандаловъ, не снятыхъ даже въ банѣ и во время игры на сценѣ (однако допускаемой для этихъ каторжниковъ), и отъ еженедѣльнаго обязательнаго бритья половины головы, и отъ ночнаго ушата, заражающаго воздухъ въ камерѣ, и отъ цѣлыхъ легионовъ блохъ, не дающихъ спать, и отъ пропитаннаго насквозь запахомъ гноя испачканнаго больничнаго халата, въ который тѣмъ не менѣе облакаются и здоровые, чтобы на время снѣнуть хоть на такую больницу обычную острожную жизнь; наконецъ, отъ дѣлаго самодурства майора, являющагося со своимъ: „я царь, я и Богъ“ настоящимъ увѣчаніемъ зданія этой *камеры*. Но въ то же самое время, читая эти записки, чувствуешь, что тутъ однако же нѣтъ того педантизма, того соблюденія, такъ сказать, святости правилъ, которое просто не въ натурѣ русскаго человѣка, чѣмъ и объясняется отзывъ критика въ журналѣ *Athenaeum* по поводу англійскаго перевода „Записокъ изъ Мертваго Дома“ (на что обращено было вниманіе въ „Новомъ Времени“) ***). Въ самомъ дѣлѣ эти каторжники и комедію играютъ, и большіе праздники не

*) 1862 г. Декабрь (подъ заглавіемъ: „Товарищи“).

**) См. т. IV. По множеству цитатъ изъ „Записокъ изъ Мертваго Дома“, позволяю себѣ не дѣлать ссылокъ на отдѣльныя страницы.

***) „Отдавая должную дань таланту и наблюдательности Достоевскаго, сказано тутъ, англійскій критикъ замѣчаетъ, что чтеніе „Записокъ изъ Мертваго Дома“ производитъ тяжелое впечатлѣніе, и это не смотря на то, что критику приходится сознаться, что въ жизни осужденныхъ допускаются такіа послабленія, которыя привели бы въ ужасъ строгихъ англійскихъ тюремщиковъ, что обращеніе съ политическими преступниками въ Сибири во многихъ случаяхъ предпочтительнѣе того, чему они подвергаются въ Западной Европѣ“.

Между тѣмъ Достоевскому съ Дуровымъ пришлось попасть въ самый строгій острогъ. Участь нѣкоторыхъ была гораздо счастливѣе. Напримѣръ И. М. Дебу вспоминаетъ, что его везли въ Килію не въ кандалахъ, а только съ кандалами, что килійскій комендантъ и инженеры отнеслись къ нему съ большимъ участіемъ, облегчили его положеніе на сколько это было возможно, и что по переводѣ его въ севастопольскія военно-рабочія роты и тамъ онъ былъ встрѣченъ весьма гуманно какъ со стороны начальства, такъ и со стороны нѣкоторыхъ лицъ, вовсе ему до того времени незнакомыхъ. (Особенно тепло отзывается онъ о двухъ инженерныхъ офицерахъ К. Д. Хл—въ и М. М. Бар—въ).

проходятъ для нихъ безъ слѣда, да и въ будни, не смотря ни на какіе запреты, они и трубку курятъ, и даже въ карты играютъ, не лишены ни водки, ни даже порою иныхъ, казалось бы еще менѣе возможныхъ тутъ наслажденій, и работаютъ, что называется, въ тихомолку по ночамъ на себя со своею свѣчкой въ своемъ особомъ подсвѣчникѣ, а потомъ и выручаютъ и держатъ у себя—опять, разумѣется, въ тихомолку, кое какую деньгу. У Достоевскаго, какъ дворянина, она была и не заработанная и онъ хранилъ ее въ перелетѣ подареннаго ему (мы уже знаемъ къмъ) евангелія (помня, надо думать, слова грознаго маіора: „арестантъ не имѣетъ собственности“). Благодаря своимъ небольшимъ, конечно, деньгамъ, онъ могъ имѣть чай со своимъ особымъ чайникомъ и кое какую свою дополнительную ѣду—при помощи искусства осторожныхъ „стрипокъ“, хотя и осторожная пища, по словамъ его, была сносна; хлѣбъ даже славился въ городѣ, зато щи не отличались крѣпостью, но изобиловали тараканами. „Помню ясно, говоритъ Достоевскій, что съ перваго шагу въ этой жизни поразило меня то, что я какъ будто и не нашелъ въ ней ничего особенно поражающаго, необыкновеннаго, или, лучше сказать, неожиданнаго... мнѣ показалось, что въ острогѣ гораздо легче жить, чѣмъ я воображалъ себѣ дорогой... Самая работа показалась мнѣ вовсе не такъ тяжелою, *каторжною*, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и *каторжность* этой работы—не столько въ трудности и безпрерывности ея, сколько въ томъ, что она *принужденная*, обязательная, изъ подъ палки“.

Арестанты, вспоминаетъ Ф. М-чъ, работали по мастерскимъ, разгребали у казенныхъ зданій снѣгъ, нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастръ, и пр. и пр.

Второй разрядъ каторги, въ которомъ онъ находился, состоявшій изъ крѣпостныхъ арестантовъ подъ военнымъ начальствомъ, былъ, по его собственнымъ словамъ, несравненно тяжелѣ остальныхъ двухъ разрядовъ, т. е. третьяго (заводскаго) и перваго (въ рудникахъ). „Тяжелъ онъ былъ не только для дворянъ, но и для всѣхъ арестантовъ, именно потому, что начальство и устройство этого разряда все военное, очень похожее на арестантскія роты въ Россіи... Всегда въ цѣпяхъ, всегда подъ конвоемъ, всегда подъ замкомъ; а этого нѣтъ въ такой силѣ въ двухъ другихъ разрядахъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорили всѣ наши арестанты, а между ними были знатоки дѣла. „Товарищъ Ф. М. по мѣсту ссылки, С. Ф. Дуровъ, не вынесъ всей этой тяжести (мы знаемъ уже, что онъ былъ очень нѣжно воспитанъ). По словамъ А. П. Милюкова, къ нему относятся въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ слова: „Онъ гасъ въ острогѣ, какъ

свѣчка; вошелъ онъ въ него вмѣстѣ со мною еще молодой, красивый, добрый, а вышелъ полуразрушенный, сѣдой, безъ ногъ, съ одышкой“.

Въ первые три дня Ф. М-ча, какъ и всякаго новичка, ради отдыха вовсе не водили на работу... Потомъ, когда онъ сталъ работать, ему, какъ и другимъ изъ его класса, особенно доставалось—не отъ начальства, а отъ товарищей—за то, говоритъ онъ, „что въ насъ не было столько силы, какъ въ нихъ, и что мы не могли имъ вполне помочь“.—„Относительно меня, вспоминаеть Ф. М., я замѣтилъ одну особенность: куда бы я ни приткнулся имъ помогать во время работы, вездѣ я былъ не у мѣста, вездѣ мѣшалъ, вездѣ меня чуть не съ бранью отгоняли прочь“. Тѣмъ не менѣе, по его словамъ, онъ чувствовалъ, что „работа можетъ его спасти, укрѣпить его здоровье, тѣло“. Онъ бодро работалъ, не смотря ни на какія насмѣшки. Обжигать и толочь алебастръ показалось ему работой легкой; инженерное начальство по возможности было готово облегчить рабству дворянамъ, хотя это требовало величайшей осторожности и опасливости въ виду того, что они были главнымъ образомъ политическіе. „Въ городѣ въ то *недавнее давнопрошедшее* время, говоритъ Ф. М., было столько донощиковъ, столько интригъ, столько рывшихъ другъ другу яму, что начальство естественно боялось доноса“. „Другая работа, на которую я послался, продолжаетъ Ф. М.,—въ мастерской вертѣть точильное колесо“. Это была работа уже потрудивѣе, но она „давала превосходный моціонъ“.

Но особенно онъ любилъ разгребать снѣгъ. Весною же въ первый годъ своей острожной жизни ему пришлось ходить съ одной партіей на работу за нѣсколько верстъ на кирпичный заводъ, съ печниками подносчиками. Но это было всего два раза. Тутъ, по крайней мѣрѣ, по дорогѣ можно было полюбоваться на берега Иртыша. Лѣтнія работы были трудивѣе зимнихъ—все больше по инженернымъ постройкамъ. Около двухъ мѣсяцевъ продолжалась носка кирпичей съ береговъ Иртыша къ строившейся казармѣ сажень на семьдесятъ разстоянія черезъ крѣпостной валъ. „Работа эта, говоритъ Ф. М., мнѣ даже понравилась, хотя веревка, на которой приходилось носить кирпичи, постоянно натирала мнѣ плечи. Но мнѣ нравилось то, что отъ работы во мнѣ очевидно развивалась сила“. Сначала онъ могъ таскать только по 8-ми кирпичей (въ каждомъ по 12-ти фунтовъ), но потомъ дошелъ до 12-ти и даже 15-ти. „Физическая сила въ каторгѣ нужна не менѣе нравственной, говоритъ онъ, для перенесенія всѣхъ матеріальныхъ неудобствъ этой проклятой жизни“.

Какъ-то осенью пришлось разбирать на рѣкѣ старую барку и при этомъ стоять по колѣна въ водѣ. Послѣ этой работы, какъ рассказывалъ

потомъ Ф. М—чь, особенно пошатнулось здоровье Дурова. (Воспом. А. П. Милюкова въ „Р. Стар.“ 1881 г. Май, стр. 35).

Однажды, вспоминаетъ Ф. М. въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“, инженерное начальство вздумало сдѣлать ему, и другому *политическому* изъ поляковъ—В—му, втихомолку, большую поблажку: они цѣлыхъ три мѣсяца ходили въ инженерную канцелярію въ качествѣ писарей... „Мы ходили, переписывали бумаги, говорить онъ, даже почеркъ нашъ сталъ совершенствоваться, какъ вдругъ отъ высшаго начальства послѣдовало повелѣніе немедленно поворотить насъ на прежнія работы; кто-то ужъ успѣлъ донести! Впрочемъ это и хорошо было: канцелярія стала намъ обоимъ очень надоѣдать“. Усовершенствованіе почерка въ самомъ дѣлѣ замѣтно по первымъ письмамъ, отправленнымъ Ф. М—мъ по окончаніи каторги изъ Сибири. Потомъ почеркъ становится въ письмахъ Ф. М. менѣе красивъ, хотя всегда былъ у него четкимъ.

Первое время пребыванія въ острогѣ—самое тяжелое—особенно глубоко врѣзалось въ память Ф. М., начиная съ того самаго перваго безотраднaго вечера, когда передъ нимъ мелькнули, какъ сотоварищи, и кучка фальшивыхъ монетчиковъ, и молоденькій каторжный съ тоненькимъ личикомъ, уже убившій 8 душъ, и нѣсколько мрачныхъ и угрюмыхъ личностей, обрѣтыхъ и обезображенныхъ (не изъ тѣхъ-ли, которые такъ поразили И. Л. Ястржембскаго?), съ ненавистью смотрѣвшихъ изъ подлoбья кругомъ себя; когда все это только мелькнуло предъ нимъ „среди дыма и копоти, среди ругательствъ и невыразимаго цинизма, въ мѣфитическомъ воздухѣ, при звонѣ кандаловъ, среди проклятій и безстыднаго хохота“; когда онъ легъ на голыхъ нарахъ, положивъ въ голову свое платье (подушки у него еще не было), накрылся тулупомъ, но долго не могъ заснуть, хотя былъ „весь измученъ и изломанъ отъ всѣхъ чудовищныхъ и неожиданныхъ впечатлѣній этого перваго дня“. Самымъ ужаснымъ представилось ему то, что до самаго конца каторги „ни разу, ни одной минуты онъ не будетъ одинъ. На работѣ всегда подъ конвоемъ, дома съ двумястами товарищей, и ни разу, ни разу—одинъ!“ А составъ товарищей—самый разнообразный. „Иной изъ кантонистовъ, другой изъ черкесовъ, третій изъ раскольниковъ, четвертый—православный мужичекъ, семью, дѣтей милыхъ оставилъ на родинѣ, пятый—жидъ, шестой—цыганъ, седьмой—неизвѣстно кто, и всѣ-то они должны ужиться вмѣстѣ, во что бы то ни стало, согласиться другъ съ другомъ, ѣсть изъ одной чашки, спать на однихъ нарахъ“ (рискуя при этомъ, какъ видно изъ тѣхъ же „Записекъ“, быть обокраденнымъ своимъ ближнимъ сосѣдомъ). Но разница была тутъ и глубже—при сходствѣ преступленія, была

коренная разница въ побужденіяхъ къ нему — на что стали вообще обращать вниманіе опять-таки только въ гуманное царствованіе того, кто освободилъ Достоевскаго изъ ссылки и вывелъ изъ неволи русскій народъ. „Одинъ, вспоминаетъ Ф. М., убилъ человѣка такъ, за ничто, за луковницу... а другой убилъ, защищая отъ сладострастнаго тирана честь невѣсты, сестры, дочери. И что же? — и тотъ и другой поступаютъ въ ту же каторгу“. Но между каторжниками былъ при Достоевскомъ и стародубовскій старовѣръ, которому только захотѣлось „пострадать за вѣру“, и онъ поэтому сжегъ нечестивый съ его точки зрѣнія храмъ. (Вотъ гдѣ Ф. М. — чу наконецъ пришлось сойтись съ тѣми недовольными изъ народа, къ сближенію съ которыми онъ, какъ говорятъ, стремился въ своемъ качествѣ „петрашевца“). Былъ тутъ и молодой горецъ, который изъ обычнаго у нихъ уваженія къ старшимъ въ семьѣ долженъ былъ содѣйствовать братьямъ въ ограбленіи проѣзжаго армянина, а въ каторгѣ пристрастился къ евангелію за то, что оно заповѣдуетъ намъ любить и самихъ враговъ. По прочтеніи съ Ф. М. — чешъ нагорной проповѣди Христа, онъ сказалъ: „да, Иса святой пророкъ!... Какъ хорошо!“. То же повторили и его братья, вполне увѣренные, что дѣлаютъ Ф. М. — чу великое удовольствіе, восхваляя Ису. Бѣднымъ горцамъ, конечно, не чулось, что они какъ бы вознаграждали этимъ Достоевскаго за ту ужасную брань, при которой и вообще, когда слышишь ее отъ пьяной толпы, становится страшно за человѣка и которая совершенно особенно поразила его, когда пришлось услышать ее въ Петербургѣ въ устахъ физически-трезваго и образованнаго человѣка — услышать въ связи съ святѣйшимъ для человечества именемъ — съ именемъ, предъ которымъ невольно преклонялись въ острогѣ эти иновѣрные „сыны природы“. Само собой разумѣется, что для Достоевскаго разнообразіе окружавшаго его острожнаго персонала не только составляло обильный психологическій кладъ, но и средство отвести себѣ душу — съ такою, наприимѣръ, неспорченною натурою, какъ этотъ горецъ Алей. Не то бы совсѣмъ замучили эти „длинные, душевные, одинъ на другой точъ въ точъ похожіе дни!“ Дни эти были особенно тяжелы въ большіе праздники — не смотря на то, что острогъ тогда заваливался подаяньемъ отъ города, что священникъ съ крестомъ посѣщалъ арестантовъ. При всей религіозности Достоевскаго, онъ сознается, что какъ-то особенно тоскливо было ему въ свѣтлый праздникъ.

Зато предшествовавшая ему недѣля говѣнья производила отрадное впечатлѣніе. „Я давно не былъ въ церкви, вспоминаетъ онъ. Великопостная служба, такъ знакомая еще съ далекаго дѣтства въ родительскомъ домѣ, торжественныя молитвы, земные поклоны — все это расшеве-

лило въ душѣ моей далекое-далекое минувшее... и помню, мнѣ очень пріятно было, когда бывало утромъ, по подмерзшей за ночь землѣ, насъ водили подъ конвоемъ, съ заряженными ружьями, въ Божій домъ... Въ церкви мы становились тѣсной кучей у самыхъ дверей на самомъ послѣднемъ мѣстѣ. Я припоминалъ, какъ бывало еще въ дѣтствѣ, стоя въ церкви, смотрѣлъ я иногда на простой народъ, густо тѣснившійся у входа и подобострастно разступавшійся передъ густымъ эполетомъ... Тамъ, у входа, казалось мнѣ тогда, и молились-то не такъ, какъ у насъ, молились смиренно, ревностно, земно и съ какимъ-то полнымъ сознаниемъ своей приниженности. Теперь и мнѣ пришлось стоять на этихъ мѣстахъ, даже и не на этихъ: мы были закованные и ошельмованные, отъ насъ всѣ сторонились, насъ даже какъ будто боялись, насъ каждый разъ отдѣляли милостыней, и, помню, мнѣ это было даже какъ-то пріятно, какое-то уточненное, особенное ощущеніе сказывалось въ этомъ странномъ удовольствіи“.

Впрочемъ съ нимъ онъ познакомился еще ранѣе—вскорѣ по своемъ прибытіи въ острогъ, когда его, возвращавшагося съ работы съ конвойнымъ, догнала дѣвочка, шедшая съ матерью — вдовою - солдаткой— и сунула ему въ руки монетку, говоря: „на, несчастный, возьми Христа ради копѣечку!“

Въ другой разъ, когда онъ шелъ со всѣми, встрѣтился имъ на дорогѣ какой-то мѣщанинъ, остановился и засунулъ руку въ карманъ. „Изъ нашей кучки, рассказываетъ Ф. М., немедленно отдѣлился арестантъ, снялъ шапку, принялъ подаваніе— пять копѣекъ, и проворно воротился къ своимъ. Эти пять копѣекъ въ то же утро проѣли на калачахъ, раздѣливъ ихъ на всю нашу партію поровну“.

Этимъ возобновились для него тѣ уроки „народной правды“, которые давались ему еще въ деревнѣ и на долго потомъ прекратились.

Такимъ же урокомъ было для него и то, когда при произнесеніи священникомъ словъ: „но яко разбойника мя приими!“ почти всѣ каторжники „повалились въ землю, звуча кандалами, кажется, принявъ эти слова буквально на свой счетъ“.

Сначала, въ первый годъ своей острожной жизни, онъ, по его собственнымъ словамъ, не былъ способенъ вникать въ эти возобновившіеся уроки. „Я закрывалъ глаза и не хотѣлъ всматриваться, говоритъ онъ; среди злыхъ, ненавистныхъ моихъ товарищей каторжниковъ я не замѣчалъ хорошихъ людей, людей, способныхъ и мыслить, и чувствовать, не смотря на всю отвратительную кору, покрывающую ихъ снаружи. Между язвительными словами я иногда не замѣчалъ пріятливаго и ласковаго

слова, которое тѣмъ дороже было, что выговаривалось безо всякихъ видовъ, а нѣрѣдко прямо изъ души, можетъ быть болѣе меня пострадавшей и вынесшей“.

Почти годъ времени понадобилось ему для того, чтобы „освоиться съ своимъ положеніемъ въ острогѣ“.—„Это былъ самый трудный годъ въ моей жизни, говоритъ онъ, оттого-то онъ такъ весь цѣликомъ и уложился въ моей памяти“.

Остальные годы, „въ сущности одинъ на другой такъ похожіе, проходили вяло, тоскливо“, но „страстное желаніе воскресенія, обновленія, новой жизни укрѣпило его ждать и надѣяться“... „Помню, говоритъ онъ далѣе, что „во все это время, не смотря на сотни товарищей, я былъ въ страшномъ уединеніи и полюбилъ наконецъ это уединеніе... Я пересматривалъ всю прошлую жизнь мою... судилъ себя неумолимо и строго, и даже въ иной часъ благословлялъ судьбу за то, что она послала мнѣ это уединеніе, безъ котораго не состоялись бы ни этотъ судъ надъ собой, ни этотъ строгій пересмотръ прежней жизни“. Надо думать, что тѣмъ далѣе подвигалась у него впередъ эта работа самоислѣдованія и самоосужденія, тѣмъ болѣе съ другой стороны вглядывался онъ и вокругъ себя — въ души этихъ многообразныхъ „несчастныхъ“, и онъ становился способнымъ „свидѣтельствовать, что и въ самой необразованной, въ самой придушенной средѣ, между этими страдальцами встрѣчаются черты самаго тонченнаго развитія душевнаго... Думаешь, что это звѣрь, а не человекъ... и вдругъ приходитъ случайно минута, въ которую душа его невольнымъ порывомъ открывается наружу и вы видите въ ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое пониманіе и собственнаго, и чужаго страданія, что у васъ какъ бы глаза открываются и въ первую минуту даже не вѣрится тому, что вы сами увидѣли и услышали“.

Федоръ Михайловичъ еще разъ вернулся къ той внутренней переработкѣ, которая въ немъ совершилась тогда, въ „Дневникѣ Писателя“ 1873 г. Въ основѣ ея лежало, говоритъ онъ тутъ, „непосредственное соприкосновеніе съ народомъ, братское соединеніе съ нимъ въ общемъ несчастіи, понятіе, что самъ сталъ такимъ же, какъ онъ, съ нимъ сравненъ и даже приравненъ къ самой низшей ступени его... Это не такъ скоро произошло, прибавляетъ онъ, а постепенно и послѣ очень долгаго времени... Мнѣ очень трудно было бы рассказать исторію перерожденія моихъ убѣжденій“, заключаетъ онъ тутъ, не усматривая, стало быть, такой полной исторіи въ „Запискахъ изъ Мертваго Дона“ *).

*) Соч. т. X, стр. 157—158.

Въ этихъ убѣжденіяхъ, впрочемъ, совсѣмъ не такъ многому приходилось переродиться, какъ это тогда представлялось самому Федору Михайловичу. Мы видѣли, что уроки „народной правды“ начались для него еще въ дѣтствѣ и что слѣдъ ихъ не простывалъ и во время тѣхъ увлеченій, которыя довели его до Сибири. Острогъ только послужилъ для него *высшимъ курсомъ* „народной правды“.

Совершенно невѣрно, стало быть, понято положеніе Достоевскаго между обыкновенными каторжниками въ поэмѣ Некрасова „Несчастные“, гдѣ выставленъ, какъ говорилъ ему самъ Некрасовъ, не кто иной, какъ Федоръ Михайловичъ *) (конечно подъ именемъ *Крота*). Тутъ политическій смышленый выставленъ *учителемъ*; самъ же Достоевскій выставялъ себя, напротивъ, *ученикомъ*. Если бы даже онъ и захотѣлъ промѣнять свою непредвидѣнную роль *ученика* на гораздо болѣе, повидимому, подобающую ему роль *учителя* въ этой темной и душевно больной средѣ, то этому помѣшали бы тѣ отношенія ея къ „дворянчику“, о которыхъ онъ такъ ясно говоритъ въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“.

Съ самаго начала, замѣтилъ онъ, стали на него смотрѣть косо. „Мнѣ надо было почти два года прожить въ острогѣ, продолжаетъ Ф. М., чтобы приобрести расположеніе нѣкоторыхъ изъ каторжныхъ“. Но и этимъ окончательно не уничтожилось разстояніе между нимъ и ими. Переставъ существовать для него, оно оставалось для нихъ. Дѣло въ томъ, что „всякій, говоритъ онъ, изъ новопривывающихъ въ острогъ, черезъ два часа по прибытіи становится такимъ же, какъ и всѣ другіе, становится у себя дома, такимъ же равноправнымъ хозяиномъ въ острожной артели, какъ и всякій другой. Онъ всѣмъ понятенъ и самъ всѣхъ понимаетъ, всѣмъ знакомъ и всѣ считаютъ его за своего. Не то съ благороднымъ, съ дворяниномъ. Какъ ни будь онъ справедливъ, добръ, уменъ, его цѣлые годы будутъ ненавидѣть и презирать всѣ, цѣлой массой; его не поймутъ, а главное не повѣрятъ ему. Онъ не другъ и не товарищъ, и хоть и достигнетъ онъ наконецъ... того, что его обижать не будутъ, но всетаки онъ будетъ не свой и вѣчно, мучительно будетъ сознавать свое отчужденіе и одиночество... **). (Надо замѣтить, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

*) „Дневн. Писат.“ 1877 г. Дек. (Соч. т. XII, стр. 386).

***) И въ этомъ отношеніи счастливѣе Ф. М. Достоевскаго былъ И. М. Дебу. По словамъ его, арестантъ изъ благородныхъ (политическихъ), не могъ стать другомъ и товарищемъ остальныхъ арестантовъ, но ему не особенно трудно было заслужить ихъ доброе къ себѣ расположеніе. Такъ, не смотря на то, что г. Дебу пользовался отъ начальства многими льготами, арестанты почти съ самаго прибытія его въ роту отнеслись къ нему дружелюбно и не хотѣли допустить его д

„Записокъ изъ М. Д.“ разсказывается, какъ нѣкоторые изъ арестантовъ ухаживали за Ф. М. словно за ребенкомъ, но дать ему *стать съ собою на равную ногу* имъ и не думалось). Я вѣдь знаю, что всѣ, рѣшительно всѣ, прибавляетъ Ф. М., скажутъ, что я преувеличиваю... Но... я убѣдился не книжно, не умозрительно, а въ дѣйствительности, я имѣлъ очень довольно времени, чтобы провѣрить мои убѣжденія“. Главное же, онъ убѣдился *честно*, т. е., убѣдившись, счелъ себя обязаннымъ не скрывать этого совершившагося въ немъ переворота. Въ этомъ отношеніи въ немъ дѣйствительно совершился полный *переворотъ*. Вотъ почему онъ такъ сердился, когда ему сердобольно говорили о томъ, какъ несправедливо съ нимъ поступили. „Насъ осудилъ бы народъ“, отвѣчалъ онъ; — осудилъ бы прежде всего потому, что никогда бы не захотѣлъ, не смогъ имъ *поверить*.

Въ знаменитомъ своемъ романѣ „Преступленіе и Наказаніе“ Федоръ Михайловичъ воспроизвелъ свое собственное положеніе среди каторжниковъ въ лицѣ Раскольниковъ. „Казалось, говоритъ онъ тутъ, онъ и они были разныхъ націй“... „Онъ зналъ и понималъ общія причины такого разьединенія, но никогда не допускалъ онъ прежде, чтобы эти причины были на самомъ дѣлѣ такъ глубоки и сильны. Въ острогѣ были тоже ссыльные поляки, политическіе преступники. Тѣ просто считали весь этотъ людъ за невѣждъ и хлоповъ и презирали ихъ свысока; но Раскольниковъ не могъ такъ смотрѣть: онъ ясно видѣлъ, что эти невѣжды во многомъ гораздо умнѣ этихъ самыхъ поляковъ“. Что и это—только воспроизведеніе видѣннаго и испытаннаго имъ самимъ въ острогѣ, ясно изъ предисловія къ „Мужику Марю“ въ „Дневникѣ Писателя“ 1876 г. Самая эта дѣтская еще встрѣча съ Мареемъ вспомнилась Ф. М. въ Сибири послѣ словъ одного политическаго ссыльнаго изъ поляковъ по поводу дѣйствительно дикаго разгуда каторжниковъ въ свѣтлый праздникъ. „Je hais ces brigands“, сказалъ этотъ представитель интеллигенціи.

Возвращаясь къ „Запискамъ изъ Мертваго Дома“ встаетъ теперь привести изъ нихъ эпизодъ о *претензіи*... Федоръ Михайловичъ вспоминаетъ, какъ онъ было сталъ въ ряды вмѣстѣ съ другими „бунтовщиками“ изъ-за дурной пищи, и вдругъ услышалъ: „ты здѣсь зачѣмъ?“ — „Ишь тоже выползь!“ — „Тутъ каторга, а они калачи ѣдятъ, да поросятъ покупаютъ. Ты вѣдь собственное ѣшь: чего-жь сюда лѣзешь?“

внутреннихъ работъ (носятъ въ казармы воду и дрова и т. п.), а по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ и добѣрчиво. Арестанты же изъ молоканъ относились къ нему сочувственно, считая его такимъ же протестующимъ, какъ и они; — „вмѣстѣ терпимъ“, какъ они говорили.

Оставалось только послушаться тѣхъ разсудительныхъ политическихъ ссыльныхъ изъ поляковъ, которые уговаривали его уйти вмѣстѣ съ ними на кухню. „Вспомните, за что мы пришли сюда, говорили они ему. Ихъ просто высѣкутъ, а насъ подѣ судъ“. Фёдору Михайловичу однако казалось, что на нихъ окончательно должны разсердиться за ихъ неучастіе въ общей претензіи.

„Да вамъ зачѣмъ показывать претензію? возразилъ ему одинъ изъ болѣе къ нему расположенныхъ каторжниковъ; вѣдь вы свое кушаете?“

„— Ахъ, Боже мой! Да вѣдь и изъ вашихъ есть, что свое ѣдятъ, а вышли же. Ну и намъ надо было... изъ товарищества...“

„— Да... да какой же вы намъ товарищъ?—спросилъ онъ съ недоумѣніемъ...“

„Я думалъ, нѣтъ-ли въ этихъ словахъ какойнибудь ироніи, злобы, насмѣшки? Ничего не бывало: просто не товарищъ, да и только. Ты иди своей дорогой, а мы своей“...

Однажды, припоминаетъ Ф. М., было посѣщеніе острога высокимъ гостемъ—ревизующимъ генераломъ. „Ему указали на меня: такъ и такъ, дескать, изъ дворянъ“.

„— А! отвѣчалъ генералъ.— А какъ онъ теперь ведетъ себя?“

„— Покаместъ удовлетворительно, ваше превосходительство, отвѣчали ему“.

И никто, разумѣется, изъ всѣхъ властей не могъ бы догадаться, насколько эта „удовлетворительность“ зависѣла отъ каторжниковъ изъ народа съ ихъ убійственно-охлаждающимъ: „намъ не товарищъ“.

Послѣ всего этого окончательно несообразна съ дѣйствительностью легенда о томъ, будто Ф. М. былъ въ каторгѣ высѣченъ именно ради своего заступничества за „товарищѣй“.

Изъ VIII-й главы II-й части „Записокъ изъ Мертваго Дома“ видно, что одинъ изъ ссыльныхъ дворянъ былъ дѣйствительно высѣченъ, но по другой причинѣ—просто вслѣдствіе отвѣта: „мы не бродяги, а политическіе преступники“, показавшагося дерзкимъ грозному плацъ-маіору. „Сто розогъ, сейчасъ же, сію же минуту!“ скомандовалъ острожный „богъ“ (какъ самъ онъ себя называлъ). Старика наказали (ему было за 50 лѣтъ). Онъ легъ подѣ розги безпрекословно, закусилъ себѣ зубами руку и вытерпѣлъ наказаніе безъ малѣйшаго крика и стопа, не шевелясь“. Не смотря на его дворянство, каторжные, какъ разсказываетъ Ф. М., стали очень уважать Ж—го (а былъ онъ къ тому же изъ польскихъ дворянъ). Имъ особенно понравилось, что онъ не кричалъ подѣ розгами“. На нихъ, надо думать, также подѣйствовало и то, что прямо изъ-подѣ розогъ онъ (че-

ловѣе очень набожный) смиренно сталъ на молитву. Другой изъ политическихъ ссыльныхъ (также полякъ) былъ передъ каторгой, какъ онъ рассказывалъ Ѳ. М—чу, прогнанъ сквозъ строй,—но онъ не былъ дворянинъ. Самоуправство плацъ-маіора съ Ж—иъ вызвало нареканія со стороны жителей города и самихъ представителей власти. Это, конечно, не погѣшало ему однажды погрозить Достоевскому съ его партіей, только что доставленнымъ въ острогъ: „смотрите же, вести себя хорошо!... Не то... тѣлес-нымъ на-казаніемъ! За малѣйшій проступокъ—р-р-розги!“ Но это, по мнѣнію Ѳ. М—ча, доказываетъ только, что „можно нарваться на лихаго человѣка“. — „По этому примѣру, замѣчаетъ онъ, отнюдь нельзя судить объ обращеніи начальства въ Сибиріи съ ссыльными изъ дворянъ“... „Высшіе начальники, приводитъ онъ въ поясненіе, во первыхъ, сами дворяне, во вторыхъ, случалось еще и прежде, что нѣкоторые изъ дворянъ не ложились подъ розги и бросались на исполнителей, отчего происходили ужасы“. Къ тому же бывшіе въ то время въ Сибиріи „двадцатипятилѣтніе ссыльные изъ дворянъ (разумѣется декабристы), встрѣтившіе, по словамъ Ѳ. М—ча, его съ товарищами съ глубокой симпатіей, обѣщались имъ сдѣлать все, что только могутъ, чрезъ знакомыхъ людей, чтобы защитить ихъ отъ бѣшенаго плацъ-маіора. „Три дочери генералъ-губернатора, пріѣхавшія изъ Россіи и гостившія въ то время у отца, говорили ему въ нашу пользу“, сообщаетъ Ѳ. М—чъ. Конечно, и онъ, по словамъ Ѳ. М., могъ только сказать маіору, чтобы тотъ „былъ нѣсколько поразборчивѣ“. Мы знаемъ уже, что маіоръ тѣмъ не менѣе пригрозилъ имъ розгами; но такъ какъ декабристы предупредили и ихъ самихъ на счетъ его бѣшенаго характера, то они, конечно, и сами были съ нимъ осторожны. Тѣмъ не менѣе, разумѣется, „нарваться на этого лихаго человѣка“ могъ бы и Достоевскій, но не подлежитъ никакому сомнѣнію, что ежели бы жертвой насилія сталъ не Ж—иъ, а онъ самъ, то онъ никогда бы не сталъ скрывать этого изъ ложнаго чувства стыда или чести, а если бы это соединилось съ его стороны съ защитою прочихъ каторжниковъ, то онъ бы тѣмъ болѣе не скрылъ, хотя бы въ бесѣдѣ съ близкими людьми, того впечатлѣнія, какое было этимъ произведено на каторжниковъ, такъ упорно не признававшихъ его за товарища. Между тѣмъ Ѳ. М. прямо не признавалъ въ своей каторжной жизни этого случая, съ которымъ легенда тенденціозно связываетъ начало его эпилептического недуга (падучей). И самъ Ѳ. М. приписывалъ свой недугъ каторгѣ,—но для такого человѣка, какъ онъ, чтобы занемочь подобной болѣзнію, совершенно достаточно было всего зауряднаго, испытаннаго имъ въ ней. Для такого человѣка, какъ онъ, чтобы такъ занемочь, не было никакой надобности

самому быть наказаннымъ, а совершенно достаточно было видѣть чужія, вздутыя и изборозженныя кровяными подтеками спины.

Изъ-за начала болѣзни Ф. М. въ нашей печати, послѣ его смерти, завязалась, какъ извѣстно, полемика. Нѣтъ, я полагаю, никакой надобности воспроизводить ее здѣсь. Достаточно сказать, что такой близкій къ Ф. М. человекъ, какъ докторъ Ст. Дм. Яновскій, утверждаетъ, что болѣзнь, отъ которой онъ лѣчилъ его еще до ссылки въ Сибирь, имѣла уже несомнѣнные признаки падучей и по временамъ въ такой сильной степени, что угрожала серьезною опасностію жизни.

Въ письмѣ своемъ къ А. Н. Майкову изъ Швейцаріи отъ 12 марта 1881 г. д-ръ Яновскій, касаясь упомянутой полемики, указываетъ на соединенную съ нею тенденцію „доказать не падучую, а то страшное и незабываемое“... (т. е. розги). „Никогда и ничего подобнаго, пишетъ г. Яновскій, ни отъ Ф. М., ни отъ брата его М. М., съ которымъ я однако же не одинъ разъ прямо на эту тему разговаривалъ, я не слыжалъ“. Дѣло въ томъ, что и про М. М.—ча существовала сходная легенда, будто привычное у него подергиваніе головы и плечъ происходитъ отъ того, что онъ, при вопросахъ по дѣлу Петрашевскаго, былъ подвергнутъ тѣлесному наказанію. По словамъ д-ра Яновскаго, М. М. клятвенно его увѣрялъ, что это наглая ложь. „Когда же, продолжаетъ С. Д. Яновскій, М. М. окончилъ свой рассказъ, тогда Ф. М., бывшій въ тотъ разъ въ особенно хорошемъ расположеніи духа, рассказывалъ намъ много эпизодовъ изъ своей каторжной жизни, и при этомъ не было произнесено ничего подобнаго... „Наконецъ надняхъ, прибавляетъ д-ръ Яновскій, остановившись въ Женевѣ, я провелъ нѣсколько часовъ въ бесѣдѣ съ нашимъ протоіереемъ Ае. Конст. Петровымъ... Онъ лично зналъ Ф. М.—ча и его теперешнюю вдову... Этотъ господинъ мнѣ сообщилъ, что Ф. М. вель съ нимъ частыя и откровенныя бесѣды о томъ, что онъ былъ до ссылки, что было съ нимъ въ каторгѣ... но никогда Ф. М. даже не намекнулъ ему о „томъ страшномъ и незабываемомъ“.

Что касается собственно времени появленія и развитія болѣзни, то существующія въ этомъ отношеніи противорѣчія могутъ, кажется, быть примирены такимъ образомъ, что, появившись еще до ссылки и непризнанная за падучую самимъ Ф. М.—чемъ, она окончательно развилась у него въ Сибири и дошла затѣмъ до такой степени, что не было уже никакой возможности и ему самому не убѣдиться въ ея настоящемъ характерѣ. Вѣдь и А. П. Милуковъ говоритъ: „если и до ссылки у него были, какъ говорятъ, припадки падучей болѣзни, то безъ сомнѣнія слабые и рѣдкіе. По крайней мѣрѣ до возвращенія его изъ Сибири я не подозрѣ-

валъ этого; но когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, болѣзнь его не была уже тайною ни для кого изъ близкихъ къ нему людей“ *)

Какъ ни однообразно жилось въ каторгѣ, время шло, какъ всегда идетъ, и вотъ наконецъ наступилъ ея послѣдній годъ. Онъ, по словамъ Ф. М. въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“, почти также памятенъ ему, какъ и первый, особенно самое послѣднее время въ острогѣ. „Въ послѣднее время, говоритъ онъ, я вообще имѣлъ больше льготъ, чѣмъ во все время каторги. Въ городѣ между служащими военными у меня оказались знакомые, и даже давнишніе школьные товарищи. Я возобновилъ съ ними сношенія. Черезъ нихъ я могъ имѣть больше денегъ, могъ писать на родину и даже имѣть книги. ...Трудно отдать отчетъ о томъ странномъ и вѣстѣ волнующемъ впечатлѣніи, которое произвела во мнѣ первая, прочитанная мною въ острогѣ книга... Это былъ номеръ одного журнала. Точно вѣсть съ того свѣта прилетѣла ко мнѣ... особенно бросался я на статью, подъ которой находилъ имя знакомаго, близкаго прежде человѣка... Но уже звучали и новыя имена... Я съ жадностью спѣшилъ съ ними познакомиться и досадовалъ, что у меня такъ мало книгъ въ виду... Прежде же, при прежнемъ плацъ-маіорѣ, даже опасно было носить книги въ каторгу“.

По словамъ А. П. Милюкова, Ф. М.—чѣ и по своемъ возвращеніи въ Петербургъ „съ горечью вспоминалъ о своемъ отчужденіи отъ литературы“, хотя и тутъ прибавлялъ, что „читая по необходимости одну библію, онъ яснѣе и глубже могъ понять смыслъ христіанства“ (**).

Въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“, какъ уже сказано, Ф. М. нѣсколько замаскировалъ себя кое какими отклоненіями отъ того, какъ оно съ нимъ было. Тутъ каторга длится цѣлыхъ десять лѣтъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ прожилъ въ ней только четыре года; начинается она тутъ въ декабрѣ, тогда какъ въ декабрѣ онъ былъ еще въ Петербургской крѣпости, на Семеновскомъ плацу, а затѣмъ отправился въ дальнюю дорогу. Тѣмъ не менѣе онъ поступилъ въ острогъ „зимой и потому зимой же долженъ былъ выйти на волю“ — въ этомъ „Записки“ совершенно вѣрны дѣйствительности. „Съ какимъ нетерпѣніемъ, говоритъ онъ, я ждалъ зимы, съ какимъ наслажденіемъ смотрѣлъ въ концѣ лѣта, какъ

*) „Рус. Стар.“ 1881. Май, стр. 34. Есть еще одно совершенно особое свидѣтельство о болѣзни Ф. М., относящее ее къ самой ранней его юности и связывающее ее съ трагическимъ случаемъ въ ихъ семейной жизни. Но хотя это и передано мнѣ на словахъ очень близкимъ къ Ф. М. человѣкомъ, я ни откуда болѣе не встрѣтилъ подтвержденія этому слуху, а потому и не рѣшаюсь подробно и точно его изложить.

**) „Рус. Старина“ 1881 г. Май, стр. 40.

вянетъ листь на деревѣ и блекнетъ трава въ степи“. (На чтò люди въ нормальномъ положеніи смотрять всегда такъ грустно)... „Настала, наконецъ, эта зима давно ожидаемая... Но странное дѣло: чѣмъ ближе подходилъ срокъ, тѣмъ терпѣливѣе и терпѣливѣе я становился... Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что вслѣдствіе мечтательности и долгой отвычки, свобода казалась у насъ въ острогѣ какъ-то свободнѣе настоящей свободы, т. е. той, которая есть на самомъ дѣлѣ, въ дѣйствительности“. (Припомнимъ, что съ другой стороны каторга представилась ему менѣе *каторгой*, чѣмъ онъ о томъ также, пожалуй, *мечталъ* заранѣе). И то сказать, приготовляемое ему судьбою—если не мачихой, то очень строгой матерью—было и въ самомъ дѣлѣ скорѣе менѣе и никакъ ужь не болѣе той свободы, „которая есть въ самомъ дѣлѣ, въ дѣйствительности“.

„Наканунѣ самаго послѣдняго дня, вспоминаетъ О. М.—чѣ, я обошелъ *въ послѣдній разъ* около палъ весь нашъ острогъ... Здѣсь, за казармами, скитался я въ первый годъ моей каторги одинъ, спротливый, убитый. Помню, какъ считалъ я тогда, сколько тысячъ дней мнѣ остается... На другое утро рано, еще передъ выходомъ на работу, когда только еще начинало свѣтать, обошелъ я всѣ казармы, чтобы попрощаться со всѣми арестантами. Много мозолистыхъ, сильныхъ рукъ протянулось ко мнѣ привѣтливо. Иные жали ихъ совѣмъ по товарищески, но такихъ было не много. Другіе уже очень хорошо понимали, что я сейчасъ стану совѣмъ другой человѣкъ, чѣмъ они... и прощались со мной хоть и привѣтливо, хоть и ласково, но далеко не какъ съ товарищемъ, а будто съ бариномъ. Иные отвертывались отъ меня и сурово не отвѣчали на мое прощаніе. Нѣкоторые посмотрѣли даже съ какою-то ненавистью“.

Суда по „Запискамъ изъ Мертваго Дома“, переписка О. М. должна была возобновиться еще къ концу каторги. Между тѣмъ, дошедшія до насъ сибирскія его письма помѣчены уже изъ Семипалатинска и начинаются съ 30-го іюля 1854 года.

Впрочемъ, письмо, помѣченное этимъ числомъ и писанное къ „брату Мишѣ“, прямо указываетъ на предшествующія. Федоръ Михайловичъ жалуется, что братъ не отвѣчаетъ ему на столько писемъ. „Кромѣ своего январскаго письма ты отвѣчалъ мнѣ только на одно, на первое“, пишетъ онъ. Этотъ отвѣтъ, т. е. второе письмо твое, писанное въ апрѣлѣ, я получилъ въ началѣ іюня и до сихъ поръ не отвѣчалъ тебѣ на него“. Но неужели же имъ считаются письмами, какъ визитами. „И такъ ужь давно не видались, и такъ ужь давно не писали другъ другу!“ Федоръ Михайловичъ давно не писалъ, потому что очень былъ занятъ: „ученье, смотрны бригаднаго и дивизионнаго командировъ и приготовленія къ нимъ“. Это

объясняется тѣмъ, что значится въ его билетѣ: „по окончаніи срока каторги зачисленъ рядовымъ 1854 года марта 2-го, съ опредѣленіемъ въ сибирскій линейный № 7 батальонъ“. Далѣе О. М. въ письмѣ увѣряетъ, что хотя онъ „фрунтовой службѣ почти не зналъ ничего“, онъ въ имѣ „стоялъ на смотру на ряду съ другими и зналъ свое дѣло не хуже другихъ“. Братъ, онъ полагаетъ, пойметъ, что „солдатство не шутка, что солдатская жизнь... не совсѣтъ-то легка для человѣка съ такимъ здоровьемъ и такой отвычкой“... „Я не ропщу, прибавляетъ онъ: это мой крестъ и я его заслужилъ“. Кромѣ служебныхъ занятій, по словамъ О. М., не было у него никакихъ. „Вѣстныхъ событій, переворотовъ, жизненныхъ экстренныхъ случаевъ тоже никакихъ. А душу, сердце, умъ—что выросло, что созрѣло, что завяло, что выбросилось вонъ вѣстѣ съ плевелами, того не передашь и не расскажешь на клочкѣ бумаги“. Живетъ онъ уединенно, отъ людей даже прячется. „Я пять лѣтъ, объясняетъ онъ, былъ подъ конвоемъ, а потому мнѣ величайшее наслажденіе очутиться иногда одному. Вообще каторга многое вывела изъ меня и многое привила ко мнѣ. Я, напримѣръ, уже писалъ тебѣ о моей болѣзни. Странные припадки, похожіе на надучию и однакожь не надучая“. Ясно, что О. М. и тутъ не хотѣлъ еще признавать настоящаго характера своей болѣзни. „Впрочемъ, продолжаетъ онъ, сдѣлай одолженіе не подозрѣвай, что я такой же меланхоликъ, и такой же мнительный, какъ былъ въ Петербургѣ послѣдніе годы. Все совершенно прошло, какъ рукой сняло. Впрочемъ, все отъ Бога и у Бога. Благодарю брата Колю за приписку“. Изъ того же письма видно, что онъ „получилъ, наконецъ, письма отъ сестеръ Вареньки и Вѣрочки. „Какіе ангелы! Я увѣренъ, говоритъ онъ, что онѣ меня также любятъ, какъ говорятъ“.

За обычнымъ поклономъ Эмилиіи Фодоровнѣ (супругѣ Михаила Михайловича)—воспоминанія о томъ, что должна была она испытать въ тѣ два мѣсяца, когда онъ былъ арестованъ. „Грустно жить въ письмахъ, не издавшись 5 лѣтъ, заключаетъ онъ; теперь буду писать и больше и чаще“. На вопросъ брата о деньгахъ слѣдуетъ простой откровенный отвѣтъ: „ты самъ знаешь мое положеніе. Можешь прислать, такъ пришли. Вѣдь ты моя главная надежда“.

Между этимъ и слѣдующимъ письмомъ къ Михаилу Михайловичу должно быть помѣщено письмо отъ 6-го ноября 1854 года къ Андрею Михайловичу. „Вотъ уже скоро 10 мѣсяцевъ, какъ я вышелъ изъ каторги, пишетъ тутъ О. М., и началъ мою новую жизнь. А тѣ четыре года считаю я за время, въ которое я былъ похороненъ живой и закрытъ въ гробу. Все это время я не имѣлъ обо всѣхъ васъ ни вѣсточки. Выйдя изъ

каторги я вскорѣ получилъ письмо отъ М. М., моего вѣрнаго брата, друга и благодѣтеля. Послѣ того, въ скоромъ времени, обрадовали меня сестры... Наконецъ, вотъ пишешь и ты, а вмѣстѣ съ тѣмъ и любезнѣйшая сестрица Домника Ивановна (супруга Андрея Михайловича, къ которой приложено и особое писмецо отъ того же числа). „Радъ несказанно, что ты, судя по всему, счастливъ. Поздравляю тебя съ женитьбой, хотя уже срокъ минулъ четырехлѣтній... Нѣтъ ничего выше на свѣтѣ счастья семейнаго“. Далѣе изъ этого письма видно, что, завязавъ переписку со всѣми близкими, Ѳ. М. „не писалъ только къ одной сестрицѣ Сашенькѣ... Она ко мнѣ не писала, поясняетъ онъ, а мнѣ какъ-то щекотливо. Не подумали-бъ, что я заискиваю изъ выгодъ, будучи въ положеніи во всякомъ случаѣ бѣдномъ. Я не объ ней говорю, а объ ея мужѣ, котораго еще не знаю“.

Между тѣмъ, неожиданно, можно сказать, наступило новое царствованіе. Въ сибирскій острогъ, конечно, не успѣлъ предварительно дойти слухъ о кратковременной болѣзни Николая Павловича, и вѣсть о воцареніи Александра Николаевича пришла тѣмъ болѣе неожиданно. О томъ, какъ зачалось новое царствованіе, недавно еще намъ напомнилъ поэтъ, пережившій вмѣстѣ съ нами ту пору. Упомянувъ о той тяжелой дорогѣ, какою вела насъ исторія, онъ говоритъ:

Но вдругъ явился Царь!.. и былъ его восходъ
Надъ русскою землей зарею жизни новой
И радостно его привѣтствовалъ народъ.

Въ первомъ изъ дошедшихъ до насъ писемъ Ѳ. М—ча, относящихся уже къ новой порѣ, не говорится еще ничего о событіи, которое неминуемо должно было отразиться и на его собственной судьбѣ.

Письмо это, помѣченное 14-го мая 1855 года, относится опять къ Михаилу Михайловичу. Оно начинается съ жалобъ на то, что передъ послѣднимъ письмомъ онъ не писалъ Ѳ. М—чу съ 3-го октября. „Ты знаешь, какъ я мнителенъ, пишетъ Ѳ. М. Какъ же я мучился! Къ счастью, передъ весной попались газеты съ твоими объявленіями... Каково-то идутъ твои дѣла торговня?“ (вѣроятно, папирсная фабрика). На бѣду, долго не писала и „сестра Варенька“, а „остальные и совсѣмъ перестали писать“. Узнавъ изъ недавно полученнаго письма, что М. М. побывалъ въ Москвѣ, Ѳ. М. радуется, что онъ сошелся съ дядей и теткой (конечно, Куманиными). Письмо заканчивается жалобами на повторяющіеся припадки и на то, что „всю-то жизнь“ ему приходится „быть на содержаніи у М. М—ча“.

Затѣмъ слѣдуютъ два письма къ новому лицу—сибирскому пріятелю, барону Александру Егоровичу Врангелю, переписка съ которымъ продол-

жалась долго. Въ письмѣ къ А. Н. Майкову отъ 18-го января 1856 г., которое должно было быть ему доставлено этимъ самымъ сибирскимъ пріателемъ Достоевскаго, совершившимъ тогда поѣздку въ Петербургъ, заключается слѣдующая его характеристика: „баронъ Врангель человекъ очень молодой *), съ прекрасными качествами души и сердца, пріѣхавшій въ Сибирь прямо изъ лица съ великодушной мечтой узнать край, быть полезнымъ и т. д... Добра онъ сдѣлалъ мнѣ множество, но я его люблю и не за одно добро, мнѣ сдѣланное“. Впрочемъ и безъ этой характеристики, съ А. Е. Врангелемъ можно коротко познакомиться по письму къ нему О. М. отъ 14-го августа 1855 года, отправленному въ Барнаулъ. Сообщая тутъ о смерти „несчастнаго А. И. Исаева“ и описывая тяжелое положеніе его вдовы Маріи Дмитріевны, Ѳеодоръ Михайловичъ проситъ его послать къ ней ту сумму, о которой они между собой говорили, при письмѣ его, тутъ же и прилагаемомъ (оно до насъ не дошло). „Но, повторяю вамъ, прибавляетъ О. М., я болѣе чѣмъ тогда въ мысляхъ считать всѣ эти 75 рублей (прежніе 25) и моимъ долгомъ вамъ. Я вамъ отдамъ непремѣнно, но не скоро“. Лицу, о которомъ тутъ такъ заботится О. М., суждено было играть въ его дальнѣйшей жизни видную роль. О Маріи Дмитріевнѣ говорится и въ слѣдующемъ письмѣ—отъ 23-го августа. Ѳеодоръ Михайловичъ пишетъ, что ему отъ нея досталось за то, что самъ нуждаясь, онъ еще ей помогаетъ. „Я отвѣчалъ, прибавляетъ онъ, что деньги ваши, а не мои... Я вамъ покажу ея письмо, когда вы пріѣдете. Боже мой! что это за женщина! Жаль, что вы ее такъ мало знаете!“ Про себя О. М. пишетъ, что ему скучно. „Кругомъ все такъ плохо и людей нѣтъ. Я почти никуда не хожу. Знакомиться терпѣть не могу“... „Желалъ бы отъ души, заключаетъ онъ, чтобы вамъ было въ 10,000 разъ веселѣе моего“.

Въ письмѣ къ А. Н. Майкову, отъ 18-го января 1856 г., посланномъ съ А. Е. Врангелемъ, О. М. говоритъ: „Вы пишете, что много прошло времени, много измѣнилось... Но одно то хорошо, что мы какъ люди не измѣнились. Я за себя отвѣчаю... Въ часы, когда мнѣ нечего дѣлать, я кое что записываю изъ воспоминаній моего пребыванія въ каторгѣ (не это-ли послужило впоследствии матерьяломъ для „Записокъ изъ М. Д.“?)... Зная меня очень хорошо, вы вѣрно отдадите мнѣ спра-

*) Въ письмѣ къ самому барону Врангелю отъ 31-го октября 1859 г., О. М.—чѣ говоритъ: „что это вы мнѣ пишете... о своемъ сердцѣ, что оно уже не можетъ жить по прежнему? И когда же? съ 26 лѣтъ“. Стало быть въ началѣ 1856 г., когда писано письмо къ А. Н. Майкову, барону Врангелю могло быть только 23 года.

ведливость, что я всегда слѣдовалъ тому, что мнѣ казалось лучше и примѣ, и не кривилъ сердцемъ, и то, чему я предавался, предавался горячо (sic). Не думайте, что я этими словами дѣлаю какіе нибудь намеки на то, за что я попалъ сюда. Я говорю теперь о послѣдовавшемъ за тѣмъ, о прежнемъ говорить не у мѣста, да и было то оно не болѣе, какъ случай. Идеи мѣняются, сердце остается одно... Я всегда былъ истинно русскій, говорю вамъ откровенно...“ Обращаясь затѣмъ къ поэмѣ А. Н. Майкова „Клермонтскій соборъ“ — въ первой ея редакціи, связанной съ тогдашнею восточной войной, Ф. М. восхищается послѣдними строками поэмы. „Да, говоритъ онъ, я раздѣляю съ вами идею, что Европу и назначеніе ея окончить Россія. Для меня это давно было ясно (полнѣйшее подтвержденіе тому, что говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ А. П. Милюковъ). Я, напримѣръ, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня,—это былъ русскій народъ, мои братья по несчастью, и я имѣлъ счастье отыскать не разъ даже въ душѣ разбойника великодушіе потому собственно, что могъ понять его, ибо былъ самъ русскій. Несчастіе мое дало мнѣ многое узнать практически... я узналъ практически и то, что я всегда былъ русскимъ по сердцу... Не могу вамъ выразить, сколько я мукъ потерпѣлъ отъ того, что не могъ въ каторгѣ писать. А между прочимъ внутренняя работа кипѣла... Я еоздалъ тамъ въ головѣ, говоритъ онъ, большую повѣсть“. Съ этимъ соединяется также признаніе: „одно обстоятельство, одинъ случай, долго медлившій въ моей жизни и, наконецъ, посѣтившій меня, увлекъ и поглотилъ меня совершенно. Я былъ счастливъ, я не могъ работать. Потомъ грусть и горе посѣтили меня. Я потерялъ то, что составляло для меня все. Сотни верстъ раздѣлили насъ... Я отложилъ главное мое произведеніе въ сторону... Я шутя началъ комедію... и такъ понравился мнѣ мой герой, что я бросилъ форму комедіи, несмотря на то, что она удавалась, собственно для удовольствія какъ можно долѣе слѣдить за приключеніями моего новаго героя...“ Далѣе слѣдуютъ уже отзывы о современныхъ писателяхъ, съ которыми сталъ знакомиться Ф. М. „Тургеневъ, пишетъ онъ, мнѣ нравится наиболѣе— жаль только, что при огромномъ талантѣ въ немъ много невыдержанности“. Л. Толстой ему очень нравится, но, по неоправдавшемуся, слава Богу, мнѣнію Ф. М.—ча, онъ „не много напишетъ“. Островскаго Ф. М. мало читалъ, но ему кажется, что, зная, можетъ быть, извѣстный классъ Руси хорошо, онъ „не художникъ“. Къ тому же, прибавляетъ Ф. М. съ прибавкою „кажется“—Островскій поэтъ безъ идеала“.

Важное значеніе въ частной жизни Ф. М. имѣетъ письмо его къ А. Е. Врангелю отъ 23-го марта 1856 г. — со вложеніемъ въ него

писемъ къ брату и ген.-адъютанту Тотлебену (до насъ недошедшихъ). У послѣдняго О. М. поручаетъ Врангелю побывать также и лично. „Съ этимъ человѣкомъ, пишетъ онъ, когда-то я былъ знакомъ хорошо; съ братомъ его я другъ съ дѣтства. Еще за нѣсколько дней до ареста моего я случайно встрѣтился съ нимъ и мы такъ привѣтливо подали другъ другу руки. Что-же? Онъ, можетъ быть, не забылъ меня. Человѣкъ онъ добрый, простой, съ великодушнымъ сердцемъ (онъ это доказалъ), настоящій герой севастопольскій, достойный именъ Нахимова и Корнилова“. При личномъ свиданіи съ генераломъ Тотлебеномъ, Врангель долженъ, предварительно изучивъ письмо къ нему О. М., напирать на то, чтобы О. М.—чу оставить военную службу—быть уволеннымъ, съ правомъ поступить въ статекую 14-мъ классомъ и вернуться въ Россію, главное же съ правомъ печатать свои сочиненія. „Нельзя-ли будетъ, прибавляетъ О. М., пустить въ ходъ стихотвореніе“. Онъ, вѣроятно, подразумеваетъ то, которое сохранилось въ бумагахъ бывшаго III-го отдѣленія и посвящено восточной войнѣ. Этимъ стихотвореніемъ, глубоко-патріотическимъ (О. М. не даромъ писалъ Майкову, что онъ всегда былъ русскимъ, но къ сознанію этого пришелъ въ Сибири — чему не мало, конечно, содѣйствовали и впечатлѣнія восточной войны), этимъ стихотвореніемъ онъ могъ съ полнымъ основаніемъ надѣяться выказать себя въ благопріятномъ свѣтѣ новому, гуманному Государю *). Особенно важно право печатанья, хотя бы пока безъ подписи своего имени: все равно узнаютъ! „Двѣ вещи, сообщаетъ онъ, одна—статья, другая—романъ, будутъ готовы къ сентябрю... Вѣдь если позволять печатать (а я не вѣрю, слышите: не вѣрю, чтобы этого нельзя было выхлопотать), вѣдь это гулъ пойдетъ, книга раскупится, доставитъ мнѣ деньги, значеніе, обратитъ на меня вниманіе правительства, да и возвращеніе придетъ скорѣй. А мнѣ

*) Оно было напечатано въ „Гражданинѣ“ 1883 г. и прилагается къ настоящему изданію. Замѣчательно, что съ такимъ же точно патріотическимъ чувствомъ относился къ нашей восточной войнѣ и болѣе ранній ссмыльный—декабристъ Н. А. Бестужевъ. Въ письмѣ отъ 11-го марта 1854 г. онъ говоритъ: „меня оживили добрыя извѣстія о славныхъ дѣлахъ нашихъ моряковъ, но горизонтъ омрачается. Не знаю, удастся ли намъ справиться съ французами и англичанами вмѣстѣ, но крѣпко-бы хотѣлось, чтобы наши покорили этихъ вѣроломныхъ островитянъ за ихъ подлую политику во всѣхъ частяхъ свѣта... Читая „*Indépendance Belge*“ видно, какъ общее мнѣніе склоняется въ Европѣ на нашу сторону, не смотря на упрямство правительствъ Англіи и Франціи“. (См. статью о Н. А. Бестужевѣ С. В. Максимова въ мартовской книжкѣ „Наблюдателя“ 1883, стр. 115). Не менѣе замѣчательно и то, что писалъ онъ въ 1849 г. о непониманіи Россіи Н. И. Гурганевымъ (*La Russie et les Russes*) съ его „благомыслиющимъ аристократизмомъ“, которому Бестужевъ противопоставляетъ ученіе о *русской общинѣ* (тамъ же, стр. 112—113, 116—119).

что надобно: 2, 3 тысячи въ годъ ассигнаціями... Что-же, этого мало, что-ли, для содержанія нашего?.. Ну неужели, имѣвъ столько мужества и энергіи въ продолженіи 6 лѣтъ для борьбы съ неслыханными страданіями, я неспособенъ буду достать столько денегъ, чтобы прокормить себя и жену“.

Дѣло въ томъ, что онъ уже положительно рѣшился тогда жениться на Марьѣ Дмитріевнѣ Исаевой, а потому-то и стало для него такъ настоятельно скорѣйшее измѣненіе въ его общественномъ и экономическомъ положеніи. „Ну, положимъ, что еще годъ не позволятъ печатать, продолжаетъ онъ. Но я при первой пережѣвѣ судьбы напишу къ дядѣ, попрошу у него 1,000 р. серебромъ для начала на новомъ поприщѣ— не говоря о бракѣ; я увѣренъ, что дастъ“. Дядя этотъ— конечно мужъ его любимой тетки, Александры Ѳедоровны Куманиной, по всѣмъ свѣдѣніямъ о немъ, прекраснѣйшій человѣкъ, общій благодѣтель ихъ семьи.

Письмо это заключаетъ въ себѣ еще и порученіе повидаться съ братомъ Михайломъ Михайловичемъ. „Въ какихъ онъ мысляхъ обо мнѣ? спрашиваетъ Ф. М.; прежде это былъ человѣкъ меня любившій горячо! Онъ плавалъ, прощаясь со мной!.. Не измѣнилъ-ли онъ характера?.. Не вѣрится мнѣ какъ-то этому. Но опять: чѣмъ же объяснить, что онъ не пишетъ иногда по 7, по 8 мѣсяцевъ... Никогда не забуду, что онъ сказалъ Хоментовскому, передавшему ему мою просьбу похлопотать за меня, *что мнѣ лучше оставаться въ Сибири*“... „Что, если онъ, говорится далѣе, подобно всевозможнымъ дядюшкамъ и роднымъ въ романахъ, сердится *на любовь мою къ ней* и отговариваетъ васъ помогать мнѣ!.. Мы съ нимъ когда-то вздорили, но горячо любили другъ друга... У меня дурной характеръ, но когда дойдетъ до дѣла, тогда я стою за друзей. Когда насъ арестовали, то ужъ тутъ, кажется бы, въ первую минуту ужаса позволительно бы было подумать прежде всего о себѣ. Что-же? Я думалъ только объ немъ, о томъ, какъ поразить арестъ его семью... я умолялъ третьяго моего брата, котораго арестовали ошибкой, не объяснять ошибки арестовавшимъ какъ можно долѣе и послать денегъ брату, полагая, что у него нѣтъ“... „Уговаривайте брата, заключаетъ Ф. М., помогать мнѣ... Внушите ему, что я только осчастливилъ себя бракомъ съ нею, что намъ не много надо, чтобъ жить... что если позволятъ писать и печатать, тогда я спасенъ, что я не буду *имѣть никому въ тягость*... а главное, не сейчасъ же я женюсь, а выжду чего нибудь обезпеченнаго“.

По поводу этого письма, я позволилъ себѣ обратиться за разъясненіемъ къ Андрею Михайловичу Достоевскому. Слѣдствіемъ моего обращенія была обстоятельная записка объ арестѣ Андрея Михайловича, изъ

которой такъ много заимствовано въ предвѣдущей главѣ. Изъ того, что приведено тамъ, видно, что Ф. М.—чъ при своемъ свиданіи съ братомъ въ III-мъ отдѣленіи успѣлъ только спросить его: „братъ, ты зачѣмъ здѣсь“, а Андрей Михайловичъ даже не успѣлъ ему на это отвѣтить. Въ объясненіе же словъ Ф. М.—ча въ письмѣ къ барону Врангелю: „я умолялъ третьяго моего брата... не объяснять ошибки арестовавшаго“, Андрей Михайловичъ приводитъ слѣдующее: „можетъ быть братъ писалъ мнѣ въ этомъ смыслѣ записку въ томъ же III-мъ отдѣленіи и поручилъ кому нибудь передать ее мнѣ, но записка эта не дошла до меня“.

Непосредственнымъ продолженіемъ служить письмо къ тому же А. Е. Врангелю отъ 13-го апрѣля 1856 года въ отвѣтъ на полученное отъ него письмо отъ 12-го марта. Оказывается, что и въ жизни корреспондента-пріятеля поднимался или, лучше сказать, поднимали тогда вопросъ о бракѣ. „Выгодно, но вѣдь не одни деньги въ жизни, говоритъ по этому поводу Ф. М. Всякій поступаетъ по совѣсти, а порядочный человѣкъ по совѣсти и разсчитываетъ“. Ф. М.—чъ радуется, что пріятель его не намѣренъ остаться въ Россіи, а хочетъ вернуться въ Сибирь. Особенно радъ онъ и тому, что Михаилъ Михайловичъ произвелъ выгодное впечатлѣніе на А. Е. Врангеля. „Какъ я радъ, что онъ все тотъ же, пишетъ Ф. М.—чъ, и любитъ меня. Много я вамъ написалъ о моихъ сомнѣніяхъ даже на его счетъ въ прошломъ письмѣ. Но еслибъ вы знали, въ какомъ грустномъ я былъ положеніи и какъ я раскаиваюсь въ моихъ предположеніяхъ на счетъ брата... Въ прошломъ письмѣ я просилъ у него еще 100 руб. не для меня... а для всего, что только теперь есть у меня самаго дорогаго въ жизни... Если только онъ можетъ исполнить мою просьбу, пусть исполнить, и Господь его наградитъ за это, а онъ меня, можетъ быть, этимъ осчастливитъ и избавитъ отъ отчаянія“. Далѣе, Ф. М. проситъ, чтобы и братъ его, и А. Е. Врангель написали къ Марьѣ Дмитріевнѣ. По поводу слуховъ о милостяхъ къ коронаціи, онъ проситъ, нельзя-ли заранѣе что нибудь узнать относительно его участи. „Вы пишете, говоритъ онъ, что всѣ любятъ цара. Я самъ обожаю его... я думаю переслать вамъ въ скоромъ времени стихи на коронацію частнымъ образомъ, но пойдутъ они также и официальнымъ путемъ. Вы вѣрно встрѣтитесь съ Гасфордомъ (генераль-губернаторомъ Сибири). Онъ вѣдь ѣдетъ на коронацію. Не поговорите-ли вы ему, чтобы онъ самъ представилъ мои стихи“. Слѣдъ этихъ стиховъ пропалъ; — изъ архива III-го отдѣленія получена только копія со стиховъ на восточную войну. Въ тѣхъ, т. е. въ стихахъ на коронацію, такъ же какъ и въ этихъ, не было, вѣроятно, поэзіи, — но былъ, конечно, тотъ же задушевный патріо-

тизмъ. Привѣтствуя будущаго освободителя крестьянъ, Ф. М. являлся выразителемъ чувствъ какъ лучшей части русскаго общества, такъ, конечно, и многихъ изъ своихъ бывшихъ соучастниковъ по такъ называемому дѣлу Петрашевскаго. Тѣмъ чувствительнѣе утрата этихъ стиховъ, которыя Достоевскій съ чистымъ сердцемъ подносилъ своему „обожжаемому“ государю. Далѣе онъ говоритъ, что имъ написана статья о Россіи, но что она вышла чисто политическимъ памфлетомъ. „Изъ статьи моей, пишетъ онъ, я слова не захотѣлъ бы выкинуть, но врядъ-ли позволили бы мнѣ начать мое печатаніе съ памфлета, не смотря на самыя патріотическія идеи“. Пришлось бросить эту статью и приняться за другую: *письма объ искусство*. Она—плодъ десятилѣтнихъ обдумываній. Онъ надѣется, посвятивъ ее великой княгинѣ Маріи Николаевнѣ, какъ президенту Академіи художествъ, скорѣе достигнуть ея напечатанія—хотя бы безъ имени. „Въ нѣкоторыхъ главахъ, сообщаетъ онъ, цѣликомъ будутъ страницы изъ памфлета. Это собственно о назначеніи христіанства въ искусствѣ“. Но онъ въ большемъ затрудненіи, гдѣ ее помѣстить. „Современникъ“, по его словамъ, всегда былъ ему враждебенъ. „Москвитинъ“ тоже. „Русскій Вѣстникъ“ сталъ печатать статьи о Пушкинѣ, гдѣ идеи, какъ онъ говоритъ, совершенно противоположны его идеямъ... Онъ хотѣлъ бы снова начать печататься съ такой статьи, какъ статья объ искусствѣ, ибо „на романъ до сихъ поръ смотреть, какъ на пустяки“. Мы не знаемъ о дальнѣйшей судьбѣ этой статьи Достоевскаго. Въ тогдашнихъ журналахъ она не появлялась. Но не вошло-ли многое изъ нея въ тѣ статьи о русской литературѣ, которыя печатались впоследствии въ журналѣ „Время“ *). Вторая между ними касается именно вопроса объ искусствѣ въ формѣ полемики съ Г—бовымъ (Добролюбовымъ). Но вѣдь и въ письмѣ къ А. Е. Врангелю Достоевскій говоритъ по поводу своей тогдашней статьи объ искусствѣ, что „во многомъ съ нимъ будутъ не согласны многіе“, но что „онъ въ свои идеи вѣритъ“. Въ концѣ письма, касаясь опять своихъ практическихъ цѣлей, онъ изъявляетъ готовность, при переходѣ въ статскую службу, остаться хотя бы и въ Барнаулѣ. На это, надо думать, соглашалась тогда и Марья Дмитріевна, любовь къ которой, все болѣе и болѣе разгоравшаяся въ Ф. М., какъ можно заключить изъ всей совокупности его писемъ къ А. Е. Врангелю, составляла источникъ и новаго для него счастья и сильнѣйшихъ страданій. Повидимому, они мучили другъ друга взаимною ревностью. По крайней мѣрѣ докторъ Яновскій въ своемъ письмѣ къ А. Н. Майкову, касаясь этого обстоятельства, говоритъ, что,

*) Соч. т. X.

подъ вліяніемъ взаимной ревности, все болѣе и болѣе развивалась болѣзнь Ф. М. Этому, вѣроятно, лишь содѣйствовало то, что онъ великодушно боролся въ себѣ съ этимъ чувствомъ и побѣждалъ его до самоотверженныхъ заботъ объ участи того, къ кому ревновалъ. Близкое знакомство съ письмами къ А. Е. Врангелю въ ихъ *полномъ* видѣ выдаетъ новый свѣтъ на романъ, написанный по возвращеніи изъ Сибири. Уже выше приходилось говорить объ автобіографическихъ чертахъ въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“. Но онѣ сказываются не въ одной авторской участи Ивана Петровича, а до нѣкоторой степени и въ его отношеніяхъ къ Наташѣ, такъ легкомысленно понятыхъ современною критикой.

Въ письмѣ къ А. Е. Врангелю отъ 23-го мая 1856 г. Ф. М., получившій уже свѣдѣнія о приѣмѣ, оказанномъ его просьбѣ генераломъ Тотлебенемъ, восклицаетъ: „это рыцарская душа, возвышенная и великодушная“. Столь же радуютъ его новыя свѣдѣнія о томъ, какъ горячо любятъ всѣ государя. „Больше вѣры, больше единства, пишетъ Ф. М., а если любовь къ тому, то все сдѣлано. Каково же кому нибудь оставаться назади, не прильнуть къ общему движенію, не принести свою лепту? О, дай Богъ, чтобы моя судьба поскорѣ устроилась!“ Онъ желаетъ тутъ этого уже не ради только себя, т. е. своихъ тогдашнихъ частныхъ отношеній, но и ради участія въ общей гражданской работѣ за одно съ такимъ государемъ! О *своихъ* дѣлахъ онъ не можетъ тутъ сообщить ничего добраго: „Я почти въ отчаяніи, пишетъ онъ. Трудно перестрадать сколько я встрѣдалъ“. Онъ хотѣлъ бы, чтобы братъ написалъ Марьѣ Дмитріевнѣ, наведя справки относительно помѣщенія ея сына въ Павловскій корпусъ.

Въ слѣдующемъ письмѣ—отъ 14-го іюля—онъ съ восторженной благодарностью отзывается снова о стараніяхъ ему помочь генерала Тотлебена и самого Врангеля, но въ то же время говоритъ: „и такъ—теперь я могу надѣяться крѣпко, но... уже поздно“. Дѣло въ томъ, что его надежды на семейное счастье совсѣмъ было тогда разстроились. Но онъ по прежнему озабоченъ судьбою сына Марьи Дмитріевны, котораго, за немѣніемъ ваканціи, только государь можетъ утвердить сверхштатнымъ. По прежнему нужны Ф. М. и деньги, конечно, не для себя только. „Если есть у васъ, пишетъ онъ, дѣйствительно надежда и убѣжденіе, что мнѣ позволять печатать, то ради Бога займите (ибо у васъ самихъ вѣрно нѣтъ) 300 руб. до января“.

Черезъ недѣлю— новое письмо (21-го іюля) съ просьбою ускорить въ Петербургѣ выдачу единовременнаго пособія Марьѣ Дмитріевнѣ. „Я трепещу, пишетъ Ф. М., чтобы она, недождавшись этихъ денегъ, не вышла замужъ. Тогда, пожалуй (какъ я полагаю), ей еще откажутъ въ немъ.“

У него ничего нѣтъ, у ней тоже. Бракъ потребуетъ издержекъ, отъ которыхъ они оба года два не поправятся. И вотъ опять для нея бѣдность, опять страданіе“... Обращаясь къ себѣ, Ф. М. говоритъ: „ей Богу хоть въ воду! хоть вино начать пить!“

Въ письмѣ къ А. Е. Врангелю слѣдуетъ затѣмъ значительный перерывъ, вызванный молчаніемъ сибирскаго друга, на которое Ф. М. сильно сѣтуетъ въ письмѣ къ нему отъ 9-го ноября 1856 г. „Вы пишете, отвѣчаетъ ему Ф. М., что я кромѣ безконечно милосердаго монарха нашего, долженъ благодарить Тотлебена и его высочество принца Ольденбургскаго. Благодарю ихъ отъ горячаго сердца и, если увидите Тотлебена, скажите ему, что у меня нѣтъ словъ, чтобъ выразить мою благодарность ему. Всю жизнь буду помнить о благородномъ его поступкѣ со мною“. Ф. М. много приписываетъ при этомъ однако и старанія Врангеля. О томъ, что достигнуто было тогда, можно узнать изъ „билета“, выданнаго Ф. М. передъ отъѣздомъ изъ Сибири: „по высочайшему повелѣнію за отличіе по службѣ произведенъ въ прапорщики 1856 г. октября 1-го, съ оставленіемъ въ томъ же баталіонѣ (послѣ того какъ въ унтеръ-офицеры онъ былъ произведенъ 15-го января того же года)“. Очень можетъ быть, что Врангель и молчалъ такъ долго, желая сообщить Ф. М. что нибудь положительное по его служебнымъ дѣламъ. Между тѣмъ Ф. М., „ни разу не усомнившись въ его дружбѣ“, сильно тревожился, воображивъ, что съ нимъ случилось „что нибудь трагическое“ — въ родѣ того, о чемъ они между собою когда-то говорили. Изъ писемъ видно, что и въ жизни барона Врангеля разыгрывался въ то время романъ. Что касается Ф. М.—ча, то производство въ офицеры радуетъ его въ связи съ его собственнымъ, продолжающимся романомъ. „Еслибъ меня выпустили въ отставку, — хоть бы оставя здѣсь *на время*, пишетъ онъ — вотъ все мое желаніе. Я бы добылъ себѣ денегъ на существованіе... Напишите мнѣ положительно: во-первыхъ, *могу-ли я*, въ очень скоромъ времени, по слабости здоровья подать въ отставку (прося на всякій случай возвращенія въ Россію *для совѣта съ докторами*) и во-вторыхъ, *могу ли я печатать* — вопросъ для меня *самый главный*“. Ф. М. прилагаетъ письмо къ брату, прося поскорѣе его передать (его у насъ нѣтъ).

Въ письмѣ отъ 1-го декабря Ф. М. сообщаетъ „коротко и ясно“ своему другу: „если не помъщаетъ одно обстоятельство, то я до масляницы женюсь — вы знаете на комъ... Она сама мнѣ сказала: да. То, что я писалъ вамъ объ ней лѣтомъ, слишкомъ мало имѣло вліянія на ея привязанность ко мнѣ... Она скоро разувѣрилась въ своей новой привязанности... О, еслибъ вы знали, что такое эта женщина!“ Денегъ у него, ра-

зумѣтся, нѣтъ ни копѣйки; онъ хочетъ пока занять, а съ будущей почтой напишетъ въ Москву, къ дядѣ, который не разъ помогалъ ихъ семейству (конечно, Куманину). „Одна надежда, поясняетъ онъ, и на отдачу долга, и на средства къ будущей жизни моей, это если мнѣ позволятъ печатать. Не удивляйтесь, другъ мой, что, не имѣя ничего, занимаю такіе куши, какъ 600 руб. Но у меня есть готового для печати слишкомъ на 1,000 руб. серебромъ... Но если печатать не позволятъ еще годъ—я пропасть. Тогда лучше не жить!“ Письмо заключается просьбами. Во-первыхъ—узнать, отчего не печаталась его *дѣтская сказка*. Надо думать, это то, что было написано имъ еще въ крѣпости и извѣстно теперь подъ именемъ „Маленькаго Героя“.—„Не отказали-ли? спрашиваетъ Ф. М. Это очень важно мнѣ знать. Разумѣтся, я готовъ печатать *зотъ навсегда безъ имени или псевдонимомъ*“. Во-вторыхъ—и тутъ онъ проситъ уже „на колѣняхъ“—за того В., о которомъ просилъ еще лѣтомъ. „Теперь онъ мнѣ дороже брата роднаго, пишетъ Ф. М. О В. не грѣшно просить: *онъ того стоитъ*... Ради Бога сдѣлайте же хоть что нибудь, подумайте и будьте мнѣ роднымъ братомъ“.

Изъ письма къ бар. Врангелю отъ 25-го февраля 1857 г. мы узнаемъ, что предложенія Ф. М. на счетъ займа осуществились. Онъ спѣшитъ свадьбой. Между тѣмъ, по его разсчету, изъ занятыхъ имъ 600 р. по возвращеніи въ Семипалатинскъ у него почти ничего не останется. Если не поможетъ еще 600 р. дядя, придется мѣсяцевъ 8 прожить какъ нищему—до того времени, когда, по разсчетамъ, можно будетъ что нибудь напечатать. Братъ огорчаетъ его своимъ молчаніемъ мѣсяцевъ по 8-ми и тѣмъ, что и при такихъ рѣдкихъ сношеніяхъ, „никогда не пишетъ о нужномъ“. Между тѣмъ, „есть столько о чемъ надо писать и что можно написать..... Онъ мнѣ ни слова не пишетъ о литературѣ, а вѣдь это мой хлѣбъ, моя надежда“.

Совершенно спокойнымъ тономъ сообщаетъ Ф. М. своему другу въ письмѣ отъ 9-го марта 1857 г., что свадьба его совершилась въ Кузнецкѣ 6-го февраля—конечно описка вмѣсто 6-го марта (такъ какъ въ письмѣ отъ 27-го февраля онъ только еще предвозвѣщалъ свою свадьбу). Онъ очень смущенъ тѣмъ, что въ Барнаулѣ съ нимъ случился припадокъ и докторъ сказалъ ему, что у него настоящая эпилепсія, такъ что, при отсутствіи правильнаго леченія, припадки могутъ принять самый опасный оборотъ. По возвращеніи въ Семипалатинскъ—съ одной стороны хлопоты по устройству квартиры, съ другой—какъ нельзя менѣе кстати смотрѣть бригаднаго командира. Пришлось отложить письма къ Врангелю и къ брату (последнее до насъ не дошло). Далѣе Ф. М. съ тонкимъ чутьемъ психо-

лога старается разъяснить своему другу тяжелыя отношенія между нимъ и его отцомъ. Предполагая въ послѣднемъ „смѣсь подозрительности самой мрачной, болѣзненной чувствительности и великодушія“, онъ можетъ быть припоминаетъ отчасти характеръ собственнаго своего отца. Касаясь мрачнаго настроенія своего друга, онъ готовъ, повидимому, пожелать ему „сильнаго переворота въ жизни“, ссылаясь при этомъ на собственный свой примѣръ: „я былъ, говоритъ онъ, ипохондрикомъ въ высшей степени, но излѣчился вполнѣ крутымъ переворотомъ, случившимся въ судьбѣ моей“.

Этимъ письмомъ заканчивается тогдашній рядъ писемъ Ф. М. къ А. Е. Врангелю. Затѣмъ передъ нами новый рядъ его писемъ къ брату Михаилу Михайловичу (мы не разъ замѣчали выше, что изъ прежнихъ писемъ къ нему нѣкоторыя, должно быть, утрачены, или еще не отысканы). Въ письмѣ отъ 1-го марта 1858 г. Ф. М. говоритъ, что ему не совсѣмъ пріятно было узнать о напечатаніи „Дѣтской Сказки“ въ видѣ не передѣланномъ, тогда какъ ему хотѣлось „все куда не годное начало выбросить вонъ“. Затѣмъ рѣчь идетъ о денежныхъ расчетахъ за „Дѣтскую Сказку“ съ редакторомъ „Отечественныхъ Записокъ“. Такъ какъ послѣдній не считаетъ себя болѣе должнымъ Ф. М., то братъ думалъ занять 200 р., чтобы ихъ ему выслать. Ф. М. ни за что этого не хочетъ, и такъ уже считалъ себя облагодѣтельствованнымъ братомъ. Въ припискахъ къ письму говорится о сношеніяхъ съ „Русскимъ Словомъ“ и „Русскимъ Вѣстникомъ“. „Положеніе мое критическое, прибавляетъ тутъ Ф. М. Если Плещеевъ дастъ 1,000 р., тотчасъ поѣду въ Россію, а не дастъ—не знаю, какъ и буду“. Надо думать, что надежда на позволеніе возвратиться въ Россію усилилась. Въ особой припискѣ—поклоненіемъ ведемъ и въ особенности Эмилии Федоровнѣ отъ него и жены.

Письмо отъ 31-го мая 1858 г. написано послѣ извѣстій о потерѣ въ 3,000 р., понесенной Михаиломъ Михайловичемъ. Тѣмъ труднѣе послѣ этого Ф. М.—чу обременять его своими просьбами. Но Ф. М. сообщаетъ брату, что, завязавъ сношенія съ М. Н. Катковымъ, онъ получилъ отъ него впередъ за обѣщанную повѣсть 500 р. „при весьма умномъ и любезномъ письмѣ“, въ которомъ редакторъ „Р. Вѣстника“ проситъ его „какъ можно менѣе стѣснять себя, работать не спѣша, т. е. не на срокъ“. Романъ отложилъ онъ писать до возвращенія въ Россію. „Въ немъ идея довольно счастливая, характеръ новый, еще нигдѣ не являвшійся. Но такъ какъ этотъ характеръ вѣроятно теперь въ Россіи въ большомъ ходу въ дѣйствительной жизни, особенно теперь, судя по движенію и идеямъ, которыми все полны, то я увѣренъ, что я обогачу мой романъ новыми

наблюденіями, возвратясь въ Россію“... Какой романъ разумѣется тутъ? Можетъ быть оставшійся неосуществленнымъ? Или же—можетъ ли быть?—уже „Преступленіе и Наказаніе“, или, какъ названъ онъ въ нѣмецкомъ переводѣ по главному характеру, Раскольниковъ? Тогда основа этого “современнаго типа“ должна быть вычитана О. М.—чемъ изъ только что раскрывшихся передъ нимъ опять журналовъ,—въ связи съ личными воспоминаніями о „мечтателяхъ“ 40-хъ годовъ. Не даромъ, можетъ быть, въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“, появившихся гораздо раньше „Раскольникова“, подъ непосредственнымъ вліяніемъ сибирскихъ думъ, въ одномъ мѣстѣ сказано (чего вовсе не замѣтила критика): „свойства палача въ зародышѣ находятся почти въ каждомъ современномъ человѣкѣ“ *). Покажѣсь, говоритъ далѣе О. М., „пишу двѣ повѣсти, которыя будутъ только что слосны“. Подъ этимъ, конечно, подразумѣваются „Дѣдушкинъ сонъ“ и „Село Степанчиково“. Тутъ О. М. возстаетъ противъ защищаемаго братомъ мнѣнія, что „картина должна быть написана сразу“. Онъ утверждаетъ, что Пушкинъ, Гоголь работали долго, т. е. вырабатывали свои произведенія. У Шекспира если и не было помарокъ, то отъ этого онъ вовсе не выигрывалъ. „Я, говоритъ онъ наконецъ и про себя, сцену сейчасъ же и записываю, такъ какъ она мнѣ явилась впервые, и радъ ей, но потомъ цѣлые мѣсяцы, годъ, обрабатываю ее, вдохновляюсь ею *по нѣскольку разъ*, а не одинъ (потому что люблю эту сцену) и нѣсколько разъ прибавлю къ ней или убавлю что нибудь... и повѣрь, что выходитъ гораздо лучше. Было-бы вдохновеніе. Безъ вдохновенія, конечно, ничего не будетъ“. Долго писались и тщательно отдѣлывались, какъ мы уже знаемъ, „Бѣдные люди“. Но обстоятельства далеко не всегда позволяли О. М.—чу работать такъ, какъ бы онъ хотѣлъ.

Письмо заключается отзывомъ о только что прочтенномъ романѣ Писемскаго: „Тысяча Душъ“. О. М.—чѣ идетъ въ разрѣзъ съ господствовавшимъ тогда мнѣніемъ, что романъ прекрасенъ. „Окончаніе 2-ой части рѣшительно неправдоподобно, утверждаетъ онъ. Калиновичъ, обманывающій сознательно, невозможенъ“.

По прежнему О. М. озабоченъ своимъ положеніемъ. „Чтѣ будетъ со мною, спрашиваетъ онъ, до окончанія года, когда я получу за свою работу“. Но не безпокойся обо мнѣ очень, прибавляетъ онъ и затѣмъ проситъ брата хорошенько принять Плещеева съ женой, которые должны быть въ Петербургѣ. „Чтѣ съ нашими родными, спрашиваетъ О. М. Ни слова, ни слова до сихъ поръ“.

*) Ч. II, гл. III (Соч. т. IV, стр. 187).

Въ слѣдующемъ письмѣ (отъ 19-го іюля) онъ сѣтуетъ опять и на самого Михаила Михайловича. Дѣло не въ обѣщанномъ, но не дошедшемъ до него платѣ, дѣло въ молчаніи брата, заставляющемъ думать Богъ знаетъ что*). „О себѣ не могу тебѣ сказать ничего утѣшительнаго, пишетъ Ф. М. Отставка моя до сихъ поръ не приходитъ (уже 6 мѣсяцевъ какъ подалъ)... Здоровье не поправляется. Слѣдуетъ порученіе брату справиться у Плещеева, можетъ-ли онъ и скоро-ли, выслать обѣщанные 1,000 р. (изъ ожидаемаго имъ наслѣдства). „Ты пишешь, продолжаетъ Ф. М., прислать тебѣ повѣсть и говоришь, что тотчасъ же продашь ее и пришлешь деньги. Но, другъ мой, на заказъ писать не буду никогда: клятву далъ. Отъ этой работы я съ ума сойду“... Онъ пишетъ, правда, двѣ повѣсти, но романъ бросилъ, „ибо это, поясняетъ онъ, по всѣмъ признакамъ будетъ мой chef-d'œuvre, а портить торопясь не хочу, да и свѣдѣнія по нѣкоторымъ статьямъ романа надо собрать лично въ Россіи“. Въ припискѣ: „жена кланяется. Она меня ободраетъ, но также беспокоится о тебѣ, какъ и я“.

Въ концѣ 1858 г. относится письмо Ф. М.—ча (отъ 12-го декабря) къ г. Е—у, съ которымъ онъ познакомился еще въ 1854 г., когда г. Е—ъ исполнялъ служебное порученіе объѣхать нѣкоторыя мѣстности Сибири**). Ф. М.—чь писалъ ему еще ранѣе—15-го апрѣля въ точности неизвѣстно какого года (по догадкѣ редакціи „Русск. Старинны“ 1856). Тутъ Ф. М.—чь извѣщаль своего новаго знакомаго о полученіи сочиненій Пушкина въ изданіи П. В. Анненкова***). На предложеніе г. Е—а

*) Кроме пропажи платья, ранѣе еще, должно быть, пропали книги (въ томъ числѣ древніе исторіи и отды церкви) и ящикъ сигаръ, посланные Михаиломъ Михайловичемъ для Федора Михайловича г. Е—у. Объ этомъ упоминается въ письмѣ къ послѣднему Ф. М.—ча, помѣченномъ 15-мъ апрѣля. По догадкѣ редакціи „Русской Старинны“ (напечатанной это письмо въ сентябрьской книжкѣ 1883 г.) оно относится къ 1856 г. Въ примѣчаніи редакціи дѣло объясняется тѣмъ, что г. Е—ъ отправилъ посылку М. М.—ча по почтѣ на имя одного знакомаго чиновника для передачи Ф. М.—чу, но тотъ, испугавшись сношеній съ политическимъ преступникомъ, вовсе отказался отъ полученія посылки, которая такъ неизвѣстно гдѣ и пропала.

***) По словамъ ред. „Рус. Старинны“, Ф. М.—чь находился тогда въ арестантскихъ ротахъ въ Красноярскѣ (?) и по просьбѣ г. Е—а былъ назначенъ расчищать снѣгъ на дворѣ того казеннаго дома, гдѣ остановился г. Е—ъ, но „само собой разумѣется, что онъ на этотъ разъ снѣга не расчищалъ, а провелъ нѣсколько часовъ съ г. Е—ъ“. Такъ какъ два письма къ нему Ф. М.—ча появились въ „Рус. Стариннѣ“ только въ сентябрѣ, когда начало этой главы уже было отпечатано, то мнѣ и пришлось отнести первое изъ нихъ не совсѣмъ къ мѣсту. Надо замѣтить, что въ билетѣ, выданномъ Ф. М.—чу при отъѣздѣ изъ Сибири, *никакого указанія на пребываніе его въ арест. ротѣ въ Кр—скѣ нѣтъ.* Ор. М.

***) Въместѣ съ тѣмъ онъ тутъ же касается и той пропажи, о которой упомянуто выше въ примѣчаніи.

собирать въ Сибири народныя пѣсни, Ф. М.—чь отвѣчалъ: „съ большимъ удовольствіемъ постараюсь, если что найду. Но врядъ-ли. Впрочемъ постараюсь. Самъ же я до сихъ поръ не собиралъ ничего подобнаго. Меня останавливала мысль, что если дѣлать, то дѣлать хорошо. А случайно собирать хоть бы народныя пѣсни, ничего не соберешь. Безъ усилій ничего недостается. Къ тому же занятія мои теперь другаго рода. Сколько нужно прочесть и какъ я отсталъ“.

Въ письмѣ къ тому же лицу отъ 12-го декабря 1858 г. изъ Семипалатинска Ф. М.—чь вается въ долгомъ своемъ молчаніи. Причиною отчасти то, что хотѣлось бы написать о себѣ что нибудь положительное. „Каждый день и часъ, говоритъ онъ, жду рѣшенія судьбы моей и не дождусь“. Семипалатинскъ надоѣлъ ему страшно. „Можете-ли вы себѣ представить, продолжаетъ онъ, что даже самыя занятія литературой сдѣлались для меня не отдыхомъ, не облегченіемъ, а мукой... Во всемъ виновата моя обстановка и болѣзненное положеніе мое. Журналовъ я не читаю и вотъ уже полгода не бралъ въ руки даже газеты. Полагая, что скоро выѣду въ Россію, не записался, а брать не у кого, потому что не хочется быть инымъ людямъ хоть чѣмъ нибудь одолженнымъ“. Далѣе говорится о томъ начатомъ и брошенномъ пока романѣ для г. Каткова, про который мы уже знаемъ по другимъ письмамъ. „Хочу написать хорошо, поясняетъ тутъ Ф. М.—чь, а недостаетъ кое-какихъ справокъ, которыя нужно сдѣлать самому лично въ Россіи. Наобумъ же писать не хочу“. Принявшись за другой романъ (конечно „Село Степанчиково“), Ф. М., не успѣвъ окончить его для „Русскаго Вѣстника“, долженъ былъ приняться за повѣсть для „Русск. Слова“ (конечно „Дядюшкинъ сонъ“) и „писать ее на почтовыхъ“, такъ какъ М. М.—чь взялъ впередъ изъ редакціи и выслалъ ему 500 руб. Это, поясняетъ онъ, отъ нужды въ деньгахъ по поводу женитьбы: „весь задолжалъ“.

Въ письмѣ отъ 11 апрѣля 1859 г. Ф. М. извѣщаетъ брата, что онъ получилъ отъ гр. Кушелева (издателя „Русскаго Слова“) 1,000 р. за повѣсть, которая, какъ писалъ ему Михайлъ Михайловичъ, многимъ нравится. Г. Каткову Ф. М. писалъ, прося выслать еще 200 р. и назначая плату по 100 р. съ листа. „Какое-то будетъ отвѣтъ? Онъ на меня сердится, говоритъ Ф. М., и не отвѣчалъ на мое послѣднее письмо“. Романъ, посланный г. Каткову, считаетъ онъ выше „Дядюшкина Сна“ (повѣсти у гр. Кушелева). Прежде „романъ“ этотъ онъ называлъ „повѣстью“ („Село Степанчиково“, какъ видно изъ слѣдующаго письма). Онъ долженъ появиться осенью.

Въ письмѣ говорится уже о переѣздѣ въ Тверь: вслѣдъ за позво-

леньемъ печатать—и даже съ подписью—послѣдовало 18-го марта и давно желанное увольненіе за болѣзнью отъ службы подпоручикомъ, при чемъ Ф. М., какъ сказано въ билетѣ, „изъявилъ мѣсто жительства въ Твери“. На самомъ же дѣлѣ, какъ видно изъ письма, ему хотѣлось въ Москву. „Мнѣ вѣдь отказали, пишетъ онъ, не по высочайшей волѣ, а просто инспекторскій департаментъ точно и ясно написалъ сюда, что онъ не беретъ на себя разрѣшить этотъ вопросъ, не зная, позволено-ли мнѣ жить въ Москвѣ, и совѣтуетъ обратиться о разрѣшеніи къ Государю Императору черезъ III-е отдѣленіе“. Ф. М. разсчитываетъ на 8-е сентября—совершеннолѣтіе Наслѣдника. „При совершеннолѣтіи нынѣ царствующаго Императора, пишетъ онъ, оказаны были огромныя милости политическимъ преступникамъ*). Я увѣренъ, что Государь, и при теперешнемъ празднествѣ вспомнить о насъ несчастныхъ“. Въ припискѣ: „о моемъ Папѣ позаботься“. Посылается поклонъ отъ жены и привѣтствіе со свѣтлымъ праздникомъ.

Слѣдующее письмо—отъ 9-го мая 1859 г.—уже послѣднее изъ Семипалатинска. Ф. М. очень озабоченъ болѣзненными припадками брата. Хотя отставка и вышла, но разныя формальности задержать его до іюля. Затѣмъ придется еще прожить нѣсколько въ Омскѣ „по дѣлу о взятіи Паши изъ корпуса“. Ф. М. проситъ сообщить ему *безъ утайки* все, что говорить о романѣ.

Самъ Ф. М. думаетъ, что хотя романъ этотъ и „имѣетъ величайшіе недостатки, а, главное, можетъ быть, растянутость“, но онъ имѣетъ въ то же время и „великія достоинства“, и это его „лучшее произведеніе“. „Я писалъ его, говоритъ онъ, два года (съ перерывомъ въ срединѣ „Дядюшкина сна“). Начало и середина обдѣланы, конецъ писанъ наскоро. Но тутъ положилъ я мою душу, мою плоть и кровь... Въ романѣ, сознается онъ, мало сердечнаго (т. е. страстнаго элемента) какъ, наприм., въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“**)—но въ немъ есть два огромныхъ типическихъ характера, *создаваемыхъ и записываемыхъ* пять лѣтъ, обдѣланныхъ безукоризненно (по моему мнѣнію), характеровъ вполнѣ русскихъ и плохо до сихъ поръ указанныхъ русской литературой“. Это, конечно, представитель „смирнаго типа“—Ростаневъ, и ставшій изъ забытаго „хищнымъ“ Ома (употребляя термины покойнаго А. А. Григорьева). „Не знаю, оцѣнить-ли Катковъ, говоритъ далѣе Ф. М., но если публика приметъ мой романъ холодно, то, признаться, я можетъ быть впаду въ отчаяніе“.

*) Какъ извѣстно, при содѣйствіи Жуковскаго.

**) Еще недавно тогда прочитанномъ Ф. М.—чемъ.

Публика, какъ извѣстно, отнеслась къ этому роману довольно сдержанно. Между тѣмъ въ томъ же письмѣ Ф. М. говоритъ опять и о большомъ, давно задуманномъ имъ романѣ, относительно котораго онъ намѣренъ вступить въ переговоры съ Кушелевымъ: „во 1-хъ, чтобъ съѣсть мнѣ за романъ, пишеть онъ, и написать его — 1½ года сроку; 2) чтобъ писать его 1½ года — нужно быть въ это время обеспеченнымъ, а я ничего ровно не имѣю. Въ 3-хъ, ты пишешь мнѣ непрерывно такія извѣстія, что Гончаровъ, напримѣръ, взялъ 7000 за свой романъ... а Тургеневу, за его *Дворянское Гнѣздо* (я, наконецъ, прочелъ, — чрезвычайно хорошо), самъ Катковъ (у котораго я прошу 100 р. съ листа) давалъ 4000 р., т. е. по 400 р. съ листа. Другъ мой! Я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но вѣдь не слишкомъ же хуже и, наконецъ, я надѣюсь написать совсѣмъ не хуже. Зачѣмъ же я-то, съ моими нуждами, беру только 100 р., а Тургеневу, у котораго 2000 душъ, по 400? Отъ бѣдности я *принужденъ* торопиться и писать для денегъ, слѣдовательно *непрерывно портить*. И потому, при свиданіи съ Кушелевымъ, я намѣренъ прямо изложить ему, чтобы онъ далъ мнѣ полуторагодовалный срокъ, 300 р. съ листа, и, сверхъ того, чтобъ жить во время работы, — 3000 р. с. впередъ“. Въ припискѣ къ письму говорится, что г. Каткову онъ пошлетъ всего 15 листовъ по 100 р. — 1500 р., „Взялъ я у него, прибавляетъ Ф. М., 500, да еще, пошлавъ ¾ романа, просилъ 200 р. на дорогу, итого взято 700. Приѣду я въ Тверь безъ копѣйки, но зато въ самомъ непродолжительномъ времени получаю съ Каткова 700 или 800 р. Это еще ничего. Можно обернуться“. Въ другихъ припискахъ — возобновленный планъ изданія въ 2-хъ томахъ своихъ сочиненій, поклонъ брату отъ жены и поклонъ чрезъ брата Плещееву. „Что онъ ко мнѣ не пишеть? спрашиваетъ Ф. М. Ужъ не разсердился ли за требованіе денегъ? — Не можетъ быть!“

Временной билетъ на проѣздъ впредь до полученія паспорта выданъ былъ Ф. М. — чу въ Семипалатинскѣ 30-го іюня 1859 г. Вскорѣ послѣ того, конечно, онъ и выѣхалъ, наконецъ, изъ Сибири. Отъ 19-го сентября онъ пишеть уже изъ Твери къ брату М. М. — чу: „я хоть и сижу въ Твери, а все таки *продолжаю странствовать*; когда-то насъ опять соединитъ судьба?“ Судя по концу письма, М. М. — чъ успѣлъ до того побывать у него въ Твери. „Вотъ ты уѣхалъ, говорится тутъ, а я вѣдь знаю, что мы вовсе еще не такъ познакомились другъ съ другомъ, какъ надо, какъ-то не высказались, не показали“, т. е. послѣ тѣхъ десяти лѣтъ разлуки, которые, какъ говорится далѣе, „ихъ, однако, не разъединили?“ Ф. М. — чъ сообщаетъ, что былъ у губернатора гр. Баранова

съ письмомъ къ кн. Долгорукову: „Мучился ужасно надъ этими письмами“, говорится далѣе. Гр. Барановъ совѣтоваль отложить отправку этого письма до возвращенія кн. Долгорукова въ Петербургъ (въ половинѣ октября). Ф. М.—чѣ разсчитываетъ, что затѣмъ дѣло скоро сдѣлается и къ 1-му декабря онъ будетъ уже въ Петербургѣ. Пока онъ ждетъ, что его вскорѣ навѣстятъ въ Твери бар. Врангель и А. Н. Майковъ. „Ты пишешь, говорится далѣе, что не засталъ Некрасова дома... не олоздать-бы съ рукописью. Уйдетъ время и они будутъ другое печатать въ октябрьской книжкѣ... Въ отношеніяхъ съ Некрасовымъ замѣчай всѣ подробности и всѣ его слова... Для меня вѣдь это очень интересно“. Въ припискѣ: „обдумываю романъ, который тебѣ пересказываль, и вмѣстѣ жаль большаго романа. Я думаль его писать. Ахъ, кабы деньги да обезпеченіе“. Отъ 22-го сентября пишетъ онъ къ А. Е. Врангелю объ ожидаемомъ имъ пріѣздѣ этого стараго пріятели. „Поговоримъ, пишетъ онъ, о старомъ, когда было такъ хорошо, о Сибири, которая мнѣ теперь мила стала“. Эти сочувственныя отношенія къ Сибири, развившіяся въ Твери, отразились впоследствии въ словахъ Ивана Петровича (въ романѣ „Униженные и Оскорбленные“, и вообще, какъ мы видѣли, представляющемъ не мало автобіографическаго интереса): „полноте, Анна Андреевна, въ Сибири совсѣмъ не такъ дурно, какъ кажется...“ *). Дѣло въ томъ, что желаніе поскорѣе дожидаться возможности жить гдѣ вздумается, дѣлаетъ для Достоевскаго эту яко бы выбранную имъ самимъ Тверь— „настоящей тюрьмой“. Не даромъ, съ другой стороны, онъ съ самой своей женитбы не сообщаль никому ничего о своемъ семейномъ житьѣ-бытьѣ. „Если спросите обо мнѣ, пишетъ онъ теперь, что вамъ сказать: взялъ на себя заботы семейныя и тяну ихъ. Но я вѣрю, что еще не кончилась моя жизнь и не хочу умирать. Болѣзнь моя по прежнему— ни то, ни се, Хотѣлъ бы посовѣтоваться съ докторами, но пока не доберусь до Петербурга,—не буду лѣчиться“.—Чтобы добиться права переѣхать въ Петербургъ, ему приходится ждать возвращенія кн. Долгорукова, письмо къ которому взялся переслать тверской губернаторъ гр. Барановъ. „Я, конечно, почти увѣренъ, пишетъ онъ, что мою просьбу уважатъ. Примѣры уже были: многіе изъ нашихъ въ Петербургѣ. Къ тому же, Государь безпримѣрно добръ и милостивъ. Да и я постоянно былъ хорошо атестованъ. Но вотъ чего я боюсь: затянется дѣло, а я живи въ Твери“. Вотъ онъ и хочетъ снова обратиться къ ген. Тотлебену съ просьбою походатайствовать о сокращеніи формальностей.

*) Часть 1, гл. 13-я (Сочин. т. V, стр. 69).

При слѣдующемъ письмѣ (отъ 4-го октября) приложено уже и письмо къ ген. Тотлебену. Ф. М. не перестаетъ рваться вонъ изъ Твери, хотя онъ и прекрасно принятъ въ просвѣщенномъ семействѣ губернатора. Если ему позволятъ переѣхать въ Петербургъ, то сперва онъ пріѣдетъ одинъ, безъ жены, и остановится у брата. „Напишите, напоминаетъ онъ старую просьбу, куда бы пристроить моего мальчика“ (пасынка Пашу).

За три дня до того Ф. М. писалъ брату (1-го октября), тревожась молчаньемъ Некрасова, съ которымъ заведены были переговоры о романѣ. Въ то же время онъ думалъ уже начать писать большой романъ—вѣроятно тотъ, который слагался у него въ головѣ еще въ Сибири. Съ нимъ нельзя спѣшить, а надо его писать „свободно“. „Этотъ романъ съ идеей и дасть мнѣ ходъ, увѣренъ Ф. М. Но чтобъ писать его, надо быть обезпеченнымъ. Запродать его впередъ и на это жить—самоубійство. Это значитъ взять 100 или 120 р., тогда какъ я, можетъ быть, выторговалъ бы 150 или 200 р. Я самъ буду своимъ судьей и если романъ удастся—самъ положу цѣну. А потому нужно не продавать впередъ...“ Но вопросъ, гдѣ взять денегъ, чтобы обезпечить себя по крайней мѣрѣ на годъ? Вотъ онъ и обращается къ старой идеѣ объ изданіи прежнихъ своихъ сочиненій (теперь уже въ 3-хъ частяхъ), а на расходы проситъ брата выдать за него вексель и думаетъ еще признать у когонибудь. Прежнія свои сочиненія хочетъ онъ издать въ исправленномъ видѣ—особенно „Двойника“. „Повѣрь, братъ, это исправленіе, снабженное предисловіемъ, будетъ стоить новаго романа. Они увидятъ, наконецъ, что такое „Двойникъ!.. Если я теперь не посправлю „Двойника“, то когда же я его поправлю? Зачѣмъ мнѣ терять превосходную идею, величайшій типъ по своей социальной важности, который я первый открылъ и котораго я былъ провозвѣстникомъ?“ Если изданіе пойдетъ и медленно, то „на кормъ мой и медленной продажи достанетъ“, заключаетъ онъ свои очень скромные, стало быть, расчеты. Возвращаясь къ своему тверскому житью-бытью, Ф. М. рассказываетъ, что видѣлся съ Головинскимъ (вѣроятно бывшимъ товарищемъ по дѣлу Петрашевскаго) и что тотъ его со всѣми въ Твери познакомилъ*). Ф. М. однако же „не нахѣренъ слишкомъ поддерживать со всѣми“, а „всѣми силами радъ бы вырваться изъ Твери“.

*) Въ ряду милостей, какими ознаменовано начало царствованія Императора Александра Николаевича, было прощеніе всѣхъ пострадавшихъ по дѣлу М. В. Буташевича-Петрашевскаго. Царская милость застала однихъ въ каторжныхъ работахъ въ разныхъ мѣстахъ Сибири, другихъ на поселеніи или въ военной службѣ въ сибирскихъ батальонахъ и на Кавказѣ. Всѣ успѣшили воспользоваться дарованной свободой и мало по малу возвратились изъ ссылки, кромѣ П. Н. Филиппова, тяжело раненаго при штурмѣ Карса и умершаго въ Александро-

Въ утѣшеніе Ф. М.—чу, рассказываетъ А. П. Милюковъ, послалились ему въ Тверь книги—между прочимъ, по его просьбѣ, псалтырь на славянскомъ языкѣ, коранъ во французскомъ переводѣ Казимірскаго и Les romans de Voltaire. „Федоръ Михайловичъ потомъ говорилъ, прибавляеть г. Милюковъ, что задумывалъ какое-то философское сочиненіе, но послѣ внимательнаго обсужденія отказался отъ этой мысли“ *).

Уже 2-го октября, Ф. М.—чь отправилъ къ брату новое письмо—о томъ, что надо непремѣнно заставить Некрасова и кончить съ нимъ дѣло. „Вѣдь обѣщался-же онъ дать впередъ 1200 р. за 10 печатныхъ листовъ, изъ которыхъ 700 опредѣлены сейчасъ-же тебѣ, а 500 мнѣ. Теперь-же мнѣ эти 500 нужны до крайности“... „Положеніе мое, жалуется Ф. М.—чь, тяжелое, скверное и грустное. Сердце высохнетъ. Кончатся-ли когда нибудь мои бѣдствія и дастъ-ли мнѣ Богъ, наконецъ, возможность обнять васъ всѣхъ и обновиться въ новой и лучшей жизни“.

За этимъ слѣдовало письмо къ брату отъ 9-го октября. Этого письма пока нѣтъ на лицо, но ссылка на него есть въ письмѣ отъ 11-го октября **). „Теперь дѣло затѣвается съ Краевскимъ“, пишетъ тутъ Ф. М.—чь. „Цѣна—120 съ листа; если *en bloc*, то 1700 р. впередъ, или, пожалуй, 1000 подъ тѣмъ условіемъ, чтобы напечатано было *непремѣнно* въ этомъ году (тогда остальные 700 при напечатаніи)“. Далѣе въ письмѣ на первый разъ удивляетъ порученіе, даваемое брату, предложить новому журналу „Свѣточъ“ романъ „Село Степанчиково“ за 2500 р., тогда какъ мы знаемъ, что онъ проданъ былъ „Русскому Вѣстнику“. Но далѣе мы узнаемъ изъ того-же письма, что редація возвратила Ф. М.—чу рукопись, „испугавшись 100 р. съ листа“. Катковъ-бы и далъ, слышалъ Ф. М.—чь, но „всѣмъ журналомъ управляетъ Леонтьевъ и держитъ Каткова въ рукахъ“. Въ томъ-же письмѣ важное извѣстіе: „въ будущемъ году еще двѣ вещи могутъ быть напечатаны: „Мертвый Дожъ“ и *первый эпизодъ большаго романа*. Это пойдетъ въ „Современникъ“. Небось тогда не упустятъ, да я и отдамъ-то съ рекомендаціей (какъ понимать это?) Что-же касается до „Мертваго Дома“, то вѣдь у нихъ не бараньи

польскомъ госпиталѣ, и Петрашевскаго, который отказался отъ помилованія, требуя пересмотра своего дѣла, и остался въ восточной Сибирѣ“. (Воспом. А. П. Милюкова въ „Русской Старинѣ“ 1881 г., май, стр. 33).

*) „Р. Старина“, 1881 г., май, стр. 35.

**) И оно досталось мнѣ, вмѣстѣ съ тремя за нимъ слѣдующими, лишь тогда, когда вся эта глава была уже въ наборѣ. Пришлось дѣлать дополненія по этимъ письмамъ уже въ корректурѣ. Вѣроятно, найдется и письмо 9-го октября и другія, когда тѣмъ или другимъ лицамъ не дѣнь будетъ ихъ отыскать и сообщить.

головы. Вѣдь они понимаютъ, какое любопытство можетъ возбудить такая статья въ первыхъ (январскихъ) номерахъ журнала. Если дадутъ 200 съ листа, то напечатать въ журналѣ, а нѣтъ, такъ и не надо...“ „Не думай, поясняетъ онъ брату, что я задралъ носъ... совсѣмъ нѣтъ; но я очень хорошо понимаю любопытство и *значеніе* статьи и своего терять не хочу“. Надо думать, что Ф. М—чь, называя „Мертвый Домъ“ *статьей*, сначала не предвидѣлъ, до какихъ размѣровъ разрастется у него хроника его сибирской жизни, задуманная, какъ видно, вотъ еще когда. Въ концѣ письма—опять о переговорахъ съ Некрасовымъ на счетъ романа (того-же „Степанчикова“, какъ видно изъ дальнѣйшаго). Очень важно, чтобы онъ былъ напечатанъ въ „Современникѣ“. „Этотъ журналъ, пишетъ Ф. М—чь, прежде гналъ меня, а теперь самъ хлопочетъ о моей статьѣ... Некрасовъ, возвратившій тебѣ рукопись и *пришедшій опять за ней* (о чемъ, вѣроятно, писалъ М. М—чь) и (еслибы такъ было) наконецъ вошедшій въ резонъ, всѣми этими продѣлками придаетъ чрезвычайное значеніе роману... Мимоходомъ скажи Некрасову откровенно мнѣніе „Русскаго Вѣстника“ о романѣ (и про Леонтьева, и назови его скрягой)“. Въ другомъ мѣстѣ письма говорится про Л—ва съ г. Катковымъ, что „отъ начала они были просто въ восторгѣ“, но что „конецъ, по ихъ мнѣнію, слабъ и вообще романъ требуетъ сокращенія“. „Прибавь Некрасову, продолжаетъ Ф. М—чь, что я самъ хорошо знаю недостатки своего романа, но что мнѣ кажется, что и въ моемъ романѣ есть нѣсколько хорошихъ страницъ... Не худо это-же сказать и Краевскому. Говори имъ откровеннѣе. Откровенность—сила“. Письмо оканчивается извѣстіемъ, что приступить къ писанію „Мертваго Дома“ онъ намѣренъ послѣ 15-го, теперь-же болятъ глаза и нельзя при свѣчѣхъ заниматься.

Въ письмѣ къ брату отъ 20-го октября Ф. М. напоминаетъ ему о тѣхъ-же переговорахъ на счетъ „Степанчикова“ съ Некрасовымъ, Калининскимъ („Свѣточъ“), и Краевскимъ. Относительно послѣдняго, Ф. М—чь замѣчаетъ: „помнишь литературныя сужденія полковника Ростанева о литературѣ, о журналахъ, объ учености „Отеч. Записокъ“ и проч. Непремѣнное условіе: чтобы ни одной строчки Краевскій не выбрасывалъ изъ этого разговора. Мнѣніе Ростанева не можетъ ни унижить, ни обидѣть Краевского“.

На другой день послѣ этого письма къ брату, т. е. 21-го октября, Ф. М. писалъ бар. Врангелю: „вы знаете, что я написалъ прямо къ Государю и что письмо мое отослано здѣшнимъ губернаторомъ гр. Барановымъ Адлербергу, который передастъ его Государю Императору лично. Вотъ

ужь 12 дней, какъ пошло письмо "... Ф. М. объясняетъ себѣ дѣло предположеніемъ „не отослалъ-ли Его Императорское Величество его письмо кн. Долгорукову, чтобы спросить его, не существуетъ-ли противъ просьбы Ф. М. какихъ нибудь особенныхъ препятствій (такъ, ему кажется, и должно идти дѣло; это формальный ходъ). Ф. М. тѣмъ не менѣе рѣшительно теряетъ терпѣніе и проситъ Врангеля навести въ Петербургъ справки. Хотѣлось-бы ему увидаться, наконецъ, снова и съ самимъ Врангелемъ. „Сколько прошло съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались, говоритъ онъ. И вы и я прожили и много прожили“.

Вскорѣ послѣ того Ф. М.—чѣ былъ обрадованъ прїѣздомъ въ Тверь С. Д. Яновскаго. Онъ пишетъ объ этомъ брату отъ 29-го октября. Зато продолжающіеся переговоры съ редакціями изъ-за „Степанчикова“ просто его терзаютъ. „Не топите меня живаго, говоритъ онъ. Нѣтъ возможности (я убѣдился въ этомъ) кончить раньше 1-ю часть, т. е. не на 12-ой главѣ. Ради Христа, спаси меня... Покажи мое письмо Андр. Александровичу. Некрасовъ и тутъ сразу рѣшилъ, что остановиться не на 12-ой главѣ значить сразу манкировать весь эффектъ“...

Изъ всего этого видно, какъ не легко было Достоевскому пристроить свои первыя послѣ Сибири произведенія. И это послѣ блестящаго успѣха, которымъ побаловала его судьба въ самомъ началѣ его литературнаго поприща, и того тяжелаго испытанія, какое она ему послала потомъ! А какъ нибудь пристроиться надо-же было, чтобы только просуществовать съ женою и пасынкомъ.

Вскорѣ Фѣдоръ Михайловичъ порадованъ былъ письмомъ отъ Э. И. Тотлебена о томъ, что съ кн. Долгорукимъ и ген.-адъют. Тимашевымъ о немъ говорено, что оба они изъявили согласіе на житье его въ Петербургъ и просятъ, чтобы онъ написалъ къ нимъ объ этомъ письма. Мы узнаемъ объ этомъ изъ письма его отъ 2-го ноября къ барону Врангелю. Но тутъ уже видно, что Ф. М. сильно озабоченъ тѣмъ, какъ-бы генераль Тотлебенъ не обидѣлся, что онъ обратился также черезъ гр. Баранова къ самому Государю, т. е. будто не положился на заступничество Эдуарда Ивановича. Онъ старается объяснить ему чрезъ бар. Врангеля свой поступокъ: гр. Баранова нельзя же было обойти, такъ какъ справки у него, какъ тверскаго губернатора, во всякомъ случаѣ были бы наведены. Ф. М. думалъ выиграть время, „къ тому же, поясняетъ онъ еще, въ письмѣ моемъ къ Государю я прошу о помѣщеніи моего пасынка Паши въ гимназію. Марья Дмитріевна убивается за судьбу сына. Ей все кажется, что если я умру, то она останется съ подроставшимъ сыномъ опять въ такомъ же горѣ, какъ и послѣ перваго

вдовства. Она напугана, и хоть сама не говоритъ мнѣ всего, но я вижу ея безпокойство... Я, въ рѣшительную минуту, пустился на крайнюю мѣру и написалъ къ Государю, надѣясь на Его милосердіе. Вотъ исторія письма моего. Я разсуждалъ, что если откажутъ въ одномъ, то, можетъ быть, не захотятъ отказать въ другомъ“.

Въ послѣднемъ письмѣ — отъ 19-го ноября — Ф. М. извѣщаетъ о своемъ рѣшеніи, по совѣту гр. Баранова, просить у кн. Долгорукаго позволенія—впредь до окончательнаго рѣшенія его дѣла—временно побывать въ Петербургѣ по своимъ литературнымъ дѣламъ. Бар. Врангель долженъ сообщить это ген. Тотлебену.

Передъ нами, наконецъ, и то письмо къ Государю, о которомъ говорится въ предшествующихъ письмахъ. Копія съ него была доставлена изъ архива бывшаго III-го Отдѣленія по распоряженію графа Н. П. Игнатьева вмѣстѣ съ сибирскими стихами Ф. М. Достоевскаго. Письмо „бывшаго государственнаго преступника“, какъ онъ называетъ себя въ самомъ началѣ, заключаетъ въ себѣ краткую повѣсть его „преступленія и наказанія“, а затѣмъ и его прощенія. Сказавъ о болѣзни своей, открывшейся въ первый же годъ каторжной работы (Ф. М., какъ мы видѣли, былъ увѣренъ, что она открылась только въ Сибири), онъ прибавляетъ: „болѣзнь моя усиливается болѣе и болѣе. Отъ каждаго припадка я видимо теряю память, воображеніе, душевныя и тѣлесныя силы. Исходъ моей болѣзни—разслабленіе, смерть или сумасшествіе“. Если онъ такъ писалъ, то онъ. разужьется, такъ и думалъ. Каково же было тогда его душевное настроеніе? Оно поддерживалось, конечно, мнительностью жены, женщины также больной, о чемъ онъ и говорилъ въ письмѣ къ А. Е. Врангелю. „У меня жена и пасынокъ, о которомъ я долженъ пещись“ — продолжаетъ онъ откровенную бесѣду со своимъ Государемъ. Состоянія я не имѣю никакого и снискиваю средства къ жизни единственно литературнымъ трудомъ, тяжкимъ и изнурительнымъ въ болѣзненномъ моемъ положеніи. А между тѣмъ врачи обнадеживаютъ меня излѣченіемъ, основываясь на томъ, что болѣзнь моя приобрѣтенная, а не наследственная“. Вотъ онъ и разсчитываетъ на помощь специалистовъ по нервнымъ болѣзнямъ въ Петербургѣ. „Воскресите меня, пишетъ онъ Государю, и даруйте мнѣ возможность съ поправленіемъ здоровья, быть полезнымъ моему семейству и, можетъ быть, хоть чѣмъ нибудь моему отечеству“. Но онъ не скрываетъ отъ себя, что, не смотря на всѣ его надежды, дурной исходъ болѣзни или смерть могутъ оставить безъ всякой помощи его жену и пасынка. „Государь Всемилостивѣйшій! говоритъ онъ поэтому, простите мнѣ еще и другую просьбу и благоволите оказать чрезвычайную милость, повелѣвъ при-

нять моего пасынка, двѣнадцатилѣтняго Павла Исаева, на казенный счетъ въ одну изъ петербургскихъ гимназій“. Если нельзя въ гимназію, прибавляетъ онъ, то въ одинъ изъ петербургскихъ кадетскихъ корпусовъ. „Вы, Государь, какъ солнце, которое свѣтитъ на праведныхъ и неправедныхъ. Вы уже осчастливили миллионы народа Вашего; осчастливьте же еще бѣднаго сироту, мать его и несчастнаго больнаго, съ котораго до сихъ поръ еще не снято отверженіе и который готовъ отдать сейчасъ же всю жизнь свою за Царя, облагодѣтельствовавшаго народъ свой“.

Столь же далека отъ чего либо „казеннаго“ и самая подпись: „съ чувствами благоговѣнія и горячей, безпредѣльной преданности осмѣливаюсь именовать себя вѣрнѣйшимъ и благодарнѣйшимъ изъ подданныхъ Вашего Императорскаго Величества“.

На подлинномъ рукою шефа жандармовъ князя Долгорукаго написано: „Высочайше повелѣно относительно Исаева снести съ кѣмъ слѣдуетъ. 27-го ноября 1859 г. Что касается до самого Достоевскаго, то просьба его уже рѣшена по письму, которое онъ ко мнѣ писалъ“.

Въ свѣдѣніяхъ, продиктованныхъ Ф. М.—чемъ уже въ послѣдніе годы жизни Аннѣ Григорьевнѣ для иностранной своей біографіи, все, здѣсь изложенное, вѣрнѣе передано такимъ образомъ: „Въ 1859 г., будучи въ падушей болѣзни, нажитой еще въ каторгѣ (онъ и тутъ налегаль на это), былъ уволенъ въ отставку и возвращенъ въ Россію—сначала въ г. Тверь, а затѣмъ въ Петербургъ. Въ Петербургѣ Достоевскій началъ вновь заниматься литературой“.

Изъ отрывка письма Ф. М.—ча къ г-жѣ Ш., напечатаннаго въ „Русской Старинѣ“ *) (оно помѣчено 14-мъ марта 1860 г.) видно однако, что и въ Петербургѣ, отчасти, можетъ быть, подъ вліяніемъ сѣверной погоды, ему было не по себѣ. „Хоть-бы дней на 7 оставить этотъ гадкій Петербургъ, пишетъ онъ. А воть состоится наша поѣздка въ Москву“. Она и состоялась, какъ видно изъ письма его къ той-же особѣ отъ 3-го мая. „Опять, говоритъ онъ о своемъ возвращеніи, пріѣхаль на сырость, на слякоть, на ладожскій ледъ, на скуку... Воротился я сюда и нахожусь вполне въ лихорадочномъ положеніи. Всею причиной мой романъ. Хочу написать хорошо, чувствую, что въ немъ есть поэзія, знаю, что отъ удачи его зависить вся моя литературная карьера... Мѣсяца три придется теперь сидѣть дни и ночи...“ (Рѣчь, вѣроятно, идетъ о давно задуманномъ—еще въ Сибири—большомъ романѣ).

Въ томъ-же письмѣ проявляются теплыя отношенія Достоевскаго къ

*) Въ той-же сентябрьской книжкѣ 1833 г., гдѣ напечатаны и письма къ г. Е—у.

литературнымъ попыткамъ молодаго поколѣнія. „Видѣлъ Крестовскаго, пишетъ онъ. Я его очень *люблю*. Написалъ онъ одно стихотвореніе и съ гордостью прочелъ намъ его. Мы всё сказали ему, что это стихотвореніе ужасная гадость, такъ какъ между нами принято говорить правду. Что же? Ни мало не обидѣлся. Милый, благородный мальчишъ! Онъ мнѣ такъ нравится (все болѣе и болѣе), что хочу когда нибудь на попойгѣ выпить съ нимъ на *ты*“.

Вполнѣ отраднымъ для Достоевскаго былъ, конечно, самый моментъ его окончательнаго освобожденія, т. е. перѣзда изъ Твери въ кругъ его петербургскихъ родныхъ и друзей.

„Однажды, вспоминаетъ А. П. Милюковъ, Михаилъ Михайловичъ пришелъ ко мнѣ утромъ съ радостной вѣстью, что брату его разрѣшено жить въ Петербургѣ и онъ долженъ пріѣхать въ тотъ же день. Мы поспѣшили въ вокзалъ Николаевской желѣзной дороги, и тамъ, наконецъ, я обнялъ нашего изгнанника послѣ десяти-лѣтней почти разлуки. Вечеръ провели мы вмѣстѣ. Ф. М.—чѣ, какъ мнѣ показалось, не измѣнился физически: онъ даже какъ будто смотрѣлъ бодрѣе прежняго и не утратилъ нисколько своей обычной энергіи. Не помню, кто изъ общихъ знакомыхъ былъ на этомъ вечерѣ, но у меня осталось въ памяти, что при этомъ первомъ свиданіи мы обмѣнивались только новостями и впечатлѣніями и вспоминали старыя годы и нашихъ друзей. Послѣ того видались мы почти каждую недѣлю“. Относительно того, какъ относился Ф. М.—чѣ въ пережитому имъ въ Сибири, А. П. Милюковъ замѣчаетъ, что онъ „не жаловался никогда на свою собственную судьбу... Правда, говоритъ онъ, и отъ другихъ возвратившихся изъ каторги „Петрашевцевъ“ мнѣ не случилось слышать рѣзкихъ жалобъ, но у нихъ это, вѣроятно, происходило отъ присущаго русскому человѣку свойства не помнить зла; у Достоевскаго же соединялось еще какъ будто съ чувствомъ благодарности къ судьбѣ, которая дала ему возможность въ ссылкѣ не только хорошо узнать русскаго человѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ и лучше понять самого себя“. Не даромъ впоследствии устами „Идіота“, Ф. М.—чѣ, надѣливши его многими *своими*, сказалъ: „мнѣ показалось, что и въ тюрьмѣ можно огромную жизнь найти“. Вотъ за эту-то, неожиданно предъ нимъ открывшуюся *огромную* жизнь и былъ онъ, въ самомъ дѣлѣ, благодаренъ—судьбѣ—своей *миной* *начихѣ*. „Бесѣды наши, говоритъ А. П. Милюковъ, въ новомъ небольшомъ кружкѣ пріятелей, во многомъ уже не походили на тѣ, какія бывали въ Дуровскомъ обществѣ. И могло-ли быть иначе? Западная Европа и Россія въ эти десять лѣтъ какъ будто помѣнялись ролями: тамъ разлетѣлись въ прахъ увлекавшія насъ прежде гуманныя утопіи и реакція во всемъ торжествовала, а здѣсь

начинало осуществляться многое, о чемъ мы мечтали, и готовились или совершались реформы, обновлявшія русскую жизнь и порождавшія новыя надежды. Понятно, что въ бесѣдахъ нашихъ не было уже прежняго песимизма“ *).

Это было, такъ сказать, уже наканунѣ той поры, когда бывшему сибирскому узнику предстояло дожидаться осуществленія завѣтныхъ надеждъ своего любимаго поэта—увидѣть, наконецъ,

Народъ неугнетенный
И рабство падшее по манію Царя...

Это уже положительно тогда ожидалось всѣми—ожидалось, конечно, не съ одинаковымъ настроеніемъ. Достоевскій, какъ мы видѣли, еще въ 1856 г. писалъ: „больше вѣры, больше единства, а если любовь къ тому, то все сдѣлано“. Но вѣра, единство, любовь далеко не проявились, да пожалуй и не могли проявиться послѣ 19-го февраля 1861 г. Еслибъ они проявились тогда, то могло бы осуществиться и дальнѣйшее желаніе Пушкина:

И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взошла бы, наконецъ, прекрасная заря!

Достоевскій, съ такимъ жаромъ читавшій эти стихи еще Петрашевцамъ, вѣсть со многими другими возвращенными изъ ссылки товарищами, конечно, благословлялъ этотъ единственный въ исторіи день и въ этомъ они вполне сошлись съ тѣми, чьи жены въ Сибири ихъ надѣляли евангелиемъ. Тѣ, дожившіе до благословеннаго дня, старцы, которыхъ Некрасовъ выставилъ въ лицѣ своего „Дѣдушки“, не могли тогда не понять, къ чему бы привело узаконенное ограниченіе той верховной воли, которая совершила великое дѣло именно потому, что могла согласиться съ *меньшинствомъ*. Она и прежде могла бы согласиться съ нимъ, а меньшинство (самое, разумѣется, незначительное) въ „просвѣщенномъ“ классѣ общества и прежде стояло за освобожденіе крестьянъ, но верховная воля на дѣлѣ позволяла себя ограничивать дворянскому большинству. Впервые послѣ Петра она сознала себя во всей полнотѣ своего самодержавнаго права только въ лицѣ Александра II-го — не смотря на тѣ застрашиванія и угрозы подметнаго свойства, о которыхъ когда нибудь узнаетъ исторія изъ нѣкоторыхъ современныхъ великой порѣ записокъ. Верховная воля—не смотря ни на что—положила въ основу освобожденія *надѣлъ земель*,—а это, на языкѣ того „благороднаго“ большинства, адвокатомъ котораго при Александрѣ I-мъ былъ Барамзинъ, называлось не иначе, какъ „нарушеніемъ священныхъ правъ собственности“. При Але-

*) „Русская Старина“ 1881 г. май, стр. 35—36, 40.

Александръ II-мъ такого выдающагося адвоката не оказалось на „обиженной“ сторонѣ, зато она перешла въ затаенное, но упорное и послѣдовательное противодѣйствіе великой реформѣ—посредствомъ искаженія ея на дѣлѣ и задерживанія ея необходимыхъ послѣдствій. Съ другой же стороны, если французъ-радикаль находилъ, что послѣ великаго акта 19-го февраля Герценовъ „Колоколъ“ долженъ бы былъ умолкнуть *), то русскіе либеральные люди вовсе не находили этого.

Когда въ 1866—7 г. Тургеневъ писалъ свой „Дымъ“, то ему приходилось въ немъ выставить уже слишкомъ ярко обозначившіяся тогда и консервативную „фронтъ“, и радикальные кружки съ заправкою Губаревымъ — въ сущности просто крѣпостниками, отводившимъ себѣ душу игрой въ революціонную пропаганду. У насъ не хотѣли понять, что при томъ отпорѣ, который встрѣчалъ Государь въ заинтересованномъ классѣ, вовсе недумавшемъ сдаться и послѣ великаго акта, все что было въ нашемъ образованномъ обществѣ безкорыстнаго, въ самомъ дѣлѣ любящаго свободу, должно-бы было дружно соединиться вокругъ Государя на великую *жиздательную* работу. А у насъ, между тѣмъ, еще въ 1856 г. утверждали, обращаясь къ неподдававшемуся подобнымъ внушеніямъ поэту, будто тогда только

...дѣло прочно,

Когда подъ нимъ струится кровь.

Не сдававшіеся на такіа теоріи вообще обвинялись въ недостатокѣ гражданскаго мужества. Намъ настоятельно въ ту уже пору стали учить „умирать“, тогда какъ надо было учить насъ *жить*—честно, самоотверженно, стойко жить. Между тѣмъ, относительно правилъ *жизни* намъ уже съ самаго начала шестидесятыхъ годовъ внушали: „добрымъ челоуѣкъ бываетъ тогда, когда для полученія пріятнаго себѣ онъ долженъ дѣлать пріятное другимъ; злымъ бываетъ онъ тогда, когда принужденъ извлекать пріятность себѣ изъ нанесенія непріятности другимъ“ **). Такое явное упраздненіе челоуѣческой души съ ея внутреннимъ подвигомъ началось какъ разъ тогда, когда *положительные* дѣятели эпохи, подобные Ю. О. Самарину, наоборотъ находили, что теперь-то и нуженъ намъ внутренній подвигъ. — „Проповѣдь матеріализма *въ Россіи*“, представлялась Самарину особенно неушѣтною передъ освобожденіемъ крестьянъ. Онъ обратилъ на это вниманіе ***) по поводу одной книжки, появившейся

*) См. письмо Прудона къ Ю. О. Самарину во второмъ № „Руси“ 1883 г.

***) См. въ „Современникѣ“ 1860 г. критическій разборъ книжки П. Л. Лаврова „Очерки практической философіи“.

***) Въ примѣчаніи къ одной изъ своихъ статей въ „Сельскомъ Благоустройствѣ“.

въ 1858 г., въ которой тогдашняя критика усмотрѣла „приниженіе личности“, потому что въ ней говорилось о началѣ самоотверженія, какъ необходимомъ спутникѣ начала личной самостоятельности. Помню я, какъ теперь, и то, чѣмъ объяснялъ мнѣ совсѣмъ для меня тогда непонятное озлобленіе на эту книжку человѣкъ большого ума и опытности, стоявшій внѣ всякихъ партій*): „такъ оно нужно людямъ, задача которыхъ— все расшатать“. Справедливость этого замѣчанія впоследствии подтвердилась доставшимся мнѣ въ руки гравированнымъ портретомъ даровитаго юноши, считавшагося самоновѣйшимъ авторитетомъ въ нашей критикѣ 60-хъ годовъ; на немъ приклеенъ ярлычекъ съ простой надписью его имени, но если читать на свѣтъ, то подъ этимъ ярлычкомъ оказываются слова: „дѣло разрушенія сдѣлано—дѣло созиданія будетъ впереди и займетъ собою не одно поколѣніе“.

Вотъ что приходилось застать у насъ человѣку, писавшему изъ Сибири: „больше вѣры, больше единства, а если любовь къ тому, то все сдѣлано“.

Это было совершенно на руку недовольнымъ изъ барской партіи. Съ революціоннымъ радикализмомъ, хотя и съ противоположнаго конца, но прямо сходилса консерватизмъ—точно также *революціонный*, какъ мѣтко его окрестилъ Ю. О. Самаринъ. Извѣстно также, что тому „нигилизму“, котораго первую, такъ сказать, формацию выставилъ Тургеневъ въ лицѣ студента съ бурсачкой подкладкой Базарова, тотъ же Самаринъ столь же мѣтко противопоставлялъ „генеральскій“ нигилизмъ. „Французская поговорка: „les extrêmes se touchent“ оправдывалась у насъ самымъ блистательнымъ образомъ. Это могъ замѣтить каждый, кому довелось быть на томъ знаменитомъ литературномъ вечерѣ, на которомъ читалась статья по поводу праздновавшагося въ 1862 году тысячелѣтія Россіи. Великая реформа совершилась какъ разъ наканунѣ тысячелѣтія, и его, казалось бы, можно было отпраздновать съ успокоенной совѣстью и „со взглядомъ безъ боязни вперед“. Лекторъ, коснувшись той чаши горечи, которую въ теченіе своей тысячелѣтней жизни досталось испить русскому народу, сказалъ: „къ восшествію на престолъ нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора чаша переполнилась“... Ему не дали договорить, что Государь выплеснулъ изъ нея тотъ избытокъ горечи, который накопился отъ крѣпостнаго права;—слова его поняли совершенно не въ томъ смыслѣ, въ какомъ они были сказаны, и раздался бѣшенный взрывъ рукоплесканій и криковъ браво. Помню, какъ теперь, съ какимъ сладостраст-

*) Покойный профессоръ А. В. Никитенко.

нимъ упоеніемъ апплодировали тогда именно представители не базаровскаго нигилизма—это было ясно по тѣмъ украшеніямъ, которыя носили они, не смотря на то, что считали себя обиженными въ своихъ „священныхъ правахъ“. Когда же лекторъ дошелъ до фразы: „наши администраторы стоятъ на краю бездны“... восторгъ *этихъ* нигилистовъ положительно слился съ восторгомъ *тѣхъ* — хотя „администраторы“, разумеется, понимались каждымъ *extrém'омъ* по своему.

Не помню, былъ-ли на этомъ чтеніи Ф. М. Достоевскій, — но существенныя черты чтенія оказываются воспроизведенными имъ слишкомъ десять лѣтъ спустя въ томъ литературномъ чтеніи, которое описалъ онъ въ своихъ „Вѣсахъ“. Живо помнится мнѣ, какъ я въ первый разъ увидалъ-услыхалъ Ф. М.—ча именно на литературномъ вечерѣ. Онъ читалъ тогда изъ „Мертваго Дома“ о смерти арестанта въ острожной больницѣ—столь не похожей въ его описаніи на описаніе такой же смерти въ „Несчастныхъ“ Некрасова. Не знаю, съ умысломъ-ли выбралъ Ф. М. такую сцену, которая ярко выставила всю особенность его отношеній къ народу отъ отношеній къ нему приглашавшихъ его читать—ту особенность, въ силу которой онъ говорилъ въ томъ же „Мертвомъ Домѣ“: „не многому могутъ научить народъ мудрецы наши... сами они еще должны у него научиться“.

Только послѣ смерти Ф. М.—ча я узналъ, что ему было непріятно читать, какъ его обыкновенно просили, именно изъ „Мертваго Дома“. „Выходитъ такъ, какъ будто я все жалуюсь публикѣ, все жалуюсь,—это не хорошо“,—сказалъ онъ однажды послѣ такого чтенія г. Страхову *). При этомъ, надо думать, онъ хорошо понималъ, что его и приглашаютъ читать именно это — прямо ради демонстраціи. Не зная тогда лично Ф. М. и познакомившись съ нимъ только гораздо позже — въ семидесятыхъ годахъ—я и не воображалъ, какую новую *нѣтку* долженъ былъ выносить этотъ многострадальный человѣкъ, очутившись между людьми, почитавшими его *своимъ*, и почувствовавъ себя между ними *чужимъ*. А самъ онъ былъ все тотъ же, что и въ ту пору, когда читалъ стихи Пушкина, переставшіе быть запретными при „обожаемомъ“ имъ Государѣ. Онъ сталъ „обожать“ этого Государя именно потому, что оставался тѣмъ же; онъ сталъ его обожать не ради того, что этотъ Государь освободилъ его, Достоевскаго, а ради того, что стихамъ Пушкина о народной свободѣ не приходилось уже быть запретными. Онъ понялъ,

*) См. книжку „Въ память Ф. М. Достоевскаго“. Торжественное собраніе Слав. общества 14 февр. 1881 г., стр. 24.

что время переѣнилось, — а тѣ, которые хотѣли пользоваться имъ, Достоевскимъ, ради демонстраціи, не хотѣли этого понять. Самолюбіе или властолюбіе не позволяло имъ сознаться, что выходитъ-то по народному, что народъ въ непоколебимой надеждѣ своей на Царя оказался правъ.

И вотъ въ своемъ родѣ логически явилось желаніе показать народу, что это такъ только кажется, что онъ на самомъ дѣлѣ обмануть. Ставшие на эту дорогу мало по малу должны были дойти до того, что стали даже злорадно относиться къ народной бѣдѣ—и въ этомъ опять сошлись съ „революціонными консерваторами“.

Величайшимъ малодушіемъ было-бы не сознаваться во всемъ этомъ теперь, послѣ того ужаснаго дня, который навсегда останется въ нашей исторіи свидѣтельствомъ о небывалой въ мірѣ неблагодарности, нашей вопіющей неблагодарности къ виновнику такого единственнаго въ міровой исторіи дня, какъ 19-е февраля.

Многимъ, конечно, еще памятно, что послѣдовало за литературнымъ вечеромъ, на которомъ читалась статья о тысячелѣтїи Россіи. Лекторъ заплатился—конечно, не за тѣ нѣсколько словъ, которыя онъ прочелъ сверхъ пропущеннаго цензурой, а за громовое дѣйствіе его чтенія—впрочемъ невѣрно понятаго. Вслѣдъ за тѣмъ на одной изъ лекцій, которыя въ то время читались въ гор. Думѣ, часть молодежи стала требовать отъ профессора, чтобы онъ не читалъ лекціи, такъ какъ послѣ того, что произошло, какія либо чтенія уже немислимы. Профессоръ не находилъ, чтобы ради демонстраціи надо было у насъ упразднить науку—и прочелъ свою лекцію. Большинство проводило его, по обыкновенію, аплодисментами, часть же слушателей сильнымъ свистомъ, въ отвѣтъ на который популярный, но не искавшій популярности профессоръ, выйдя впередъ, обозвалъ свистуновъ „теперешними Репетиловыми—будущими Расплюевыми“. Результатомъ былъ выходъ рѣшительнаго профессора въ отставку—кажется, не по собственному желанью, тогда какъ его независимый образъ дѣйствій могъ бы, разумѣется, болѣе вразумить молодежь, чѣмъ предшествовавшее тому заключеніе въ крѣпость главныхъ зачинщиковъ тѣхъ волненій, вслѣдствіе которыхъ былъ закрытъ университетъ и лекціи перенесены въ Думу. Сидѣніе въ крѣпости, какъ извѣстно, только возвысило самолюбіе въ молодежи, въ своемъ отказѣ принять новыя правила руководившей однако весьма серьезнымъ и весьма благороднымъ побужденіемъ—неспособностью помириться съ тѣмъ, что по этимъ правиламъ *всѣ должны были платить за слушаніе лекцій*, „вслѣдствіе чего лишались доступа къ высшему образованію всѣ тѣ молодые люди, которые не имѣли средствъ

къ выполнению этого требованія“*). Кто не зналъ этого, тому могло показаться грустно-комическимъ возстанье изъ за какихъ-то „матрикулъ“ въ великую годину освобожденья крестьянъ! Народъ, конечно, не зналъ въ чемъ дѣло, и съ своей точки зрѣнья рѣшилъ: „это барчуки бунтуютъ за то, что намъ дали волю“.

Все это составляло уже рядъ перепутанныхъ, разношерстныхъ явленій, положительно предвозвѣщавшихъ тѣ, которыя впоследствии были выставлены Достоевскимъ въ „Бѣсахъ“.

Но изъ „Дневника Писателя“ 1873 г. мы можемъ узнать и прямо о томъ, какъ относился Федоръ Михайловичъ къ прелюдіи, разыгранной еще въ 60-хъ годахъ. Онъ высказался тутъ со своею обычною откровенностью по поводу слуха о томъ, будто фантастическая повѣсть его „Бродилка“ направлена противъ Н. Г. Чернышевскаго. Федоръ Михайловичъ приводитъ тутъ свой разговоръ съ авторомъ: „Что дѣлать?“ о тогдашнемъ расправливаніи молодежи.

„Съ Николаемъ Гавриловичемъ Чернышевскимъ, говоритъ онъ, я встрѣтился въ пятьдесятъ девятомъ году, въ первый же годъ по возвращеніи моемъ изъ Сибири, не помню гдѣ и какъ. Потомъ иногда встрѣчались, но очень не часто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочемъ, подавали другъ другу руку. Герценъ мнѣ говорилъ, что Чернышевскій произвелъ на него непріятное впечатлѣніе, т. е. наружностью, манерою. Мнѣ наружность и манера Чернышевскаго нравились.“

„Однажды утромъ я нашелъ у дверей моей квартиры, на ручкѣ замка, одну изъ самыхъ замѣчательныхъ прокламацій изъ всѣхъ, которыя тогда появлялись; а появлялось ихъ тогда довольно. Она называлась: „къ молодому поколѣнію“. Ничего нельзя было представить келѣпѣе и глупѣе. Содержанія возмутительнаго въ самой смѣшной формѣ, которую только ихъ злодѣи могъ бы имъ выдумать, чтобы ихъ же зарѣзать. Мнѣ ужасно стало досадно и было грустно весь день. Все это было тогда еще вновь и до того вблизи, что даже и въ этихъ людей вполне всмотрѣться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что какъ-то не вѣрилось, чтобы подъ всей этой сумятицей скрывался такой пустякъ. Я не про движеніе тогдашнее говорю, въ его цѣломъ, а говорю только про людей. Что до движенія, то это было тяжелое, болѣзненное, но роковое своею историческою послѣдовательностью явленіе, которое будетъ имѣть свою серьезную

*) Петербургскій Университетъ въ теченіе первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованія. Спб. 1870 г., примѣч. стр. 75.

страницу въ петербургскомъ періодѣ нашей исторіи. Да и страница эта, кажется, еще далеко не дописана.

„И вотъ мнѣ, давно уже душой и сердцемъ несогласному ни съ этими людьми, ни со смысломъ ихъ движенія, — мнѣ вдругъ тогда стало досадно и почти какъ бы стыдно за ихъ неумѣлость... Не смотря на то, что я уже три года жилъ въ Петербургѣ и присматривался къ инымъ явленіямъ, — эта прокламація въ то утро какъ бы ошеломила меня, явилась для меня совсѣмъ какъ бы новымъ, неожиданнымъ открытіемъ: никогда до этого дня не предполагалъ я такого ничтожества! Пугала, именно, степень этого ничтожества. Передъ вечеромъ мнѣ вдругъ вздумалось отправиться къ Чернышевскому. Никогда до тѣхъ поръ ни разу у него и не думалъ бывать, равно какъ и онъ у меня...

— Николай Гавриловичъ, что это такое? вынулъ я прокламацію.

„Онъ взялъ ее какъ совсѣмъ незнакомую ему вещь и прочелъ. Было всего строкъ десять.

— Ну чтожь? спросилъ онъ съ легкой улыбкой.

— Неужели они такъ глупы и смѣшны? Неужели нельзя остановить ихъ и прекратить эту мерзость?

Онъ чрезвычайно вѣско и внушительно отвѣчалъ:

— Неужели вы предполагаете, что я солидаренъ съ ними и думаете, что я могъ участвовать въ составленіи этой бумажки?

— Именно не предполагалъ, отвѣчалъ я, и даже считаю ненужнымъ васъ въ томъ увѣрять. Но во всякомъ случаѣ ихъ надо остановить во что бы ни стало. Ваше слово для нихъ вѣско и ужъ, конечно, они боятся вашего мнѣнія.

— Я никого изъ нихъ не знаю.

— Я увѣренъ и въ этомъ. Но вовсе не нужно ихъ знать и говорить съ ними лично. Вамъ стоитъ только вслухъ, гдѣнибудь, заявить ваше порицаніе, и это дойдетъ до нихъ.

— Можетъ и не произведетъ дѣйствія. Да и явленія эти, какъ сторонніе факты, неизбежны.

— И однако всѣмъ и всему вредятъ...

„...Долгомъ считаю замѣтить, что съ Чернышевскимъ я говорилъ искренно и вполне вѣрилъ, какъ вѣрю и теперь, что онъ не былъ „солидаренъ“ съ этими разбрасывателями“.

Но если такое явленіе въ эпоху освобожденія крестьянъ по своему „ничтожеству“ было въ своемъ родѣ комично, то этого, конечно, уже нельзя сказать о польскомъ возстаніи 1863 г. Со стыдомъ вспоминаю, какъ, живя тогда за границей, я сначала повѣрилъ нѣмецкимъ газетамъ

въ томъ, что разглашали онѣ о жестокостяхъ нашихъ солдатъ въ Польшѣ. Между тѣмъ тамъ же, въ Германіи, раздался предо мною и такой безпристрастный, мало того — восторженный голосъ, какого положительно не пришлось слышать дома — о нашей крестьянской реформѣ. То былъ голосъ юнаго духомъ старца — Якова Гримма. Онъ вполне сознавалъ и радостно привѣтствовалъ своимъ всеобъемлющимъ человѣческимъ сердцемъ наше, какъ онъ выражался, „исполнское движеніе впередъ“. И вотъ это-то движеніе понадобилось остановить — и, къ удовольствію того европейскаго большинства, которое не обладало благороднымъ духомъ Гримма — какъ разъ тогда-то и разыгралось польское возстаніе — со своимъ кровавымъ терроромъ. Тутъ Достоевскому уже не приходилось презрительно отзнаться о „ничтожествѣ“ явленія, тутъ онъ не могъ не исполниться негодующимъ ужасомъ. Достоевскаго, какъ извѣстно, многіе считаютъ отъявленнымъ врагомъ Польши и самыя благородныя изъ поляковъ не могутъ ему этого простить. Между тѣмъ, если мы обратимъ вниманіе на главу о политическихъ ссыльныхъ въ „Запискахъ изъ М. Д.“, то въ ней говорится о ссыльныхъ полякахъ не только безъ враждебнаго предубѣжденія, но и съ полнымъ уваженіемъ. Федора Михайловича только коробило ихъ высокоумное: „je hais ces brigands“ — по отношенію къ ваторжникамъ, въ которыхъ самъ онъ видѣлъ тотъ же русскій народъ. Прямо издѣвательствомъ уже надъ цѣлымъ русскимъ народомъ, только что наконецъ дождавшимся Царя-Освободителя, не могъ не представиться Достоевскому польскій мятежъ — какъ разъ въ эту благословенную пору, мятежъ, котораго жалкою, но все же печальной прелюдіей служили студенческіе безпорядки съ тогдашними „глупыми“, но все же зловѣщими прокламаціями. Между тѣмъ, какъ наши „барчуки“ попали, такъ сказать, только случайно въ глаза народа въ такую противную ему роль, — въ польскомъ возстаніи слышался уже совершенно серьезно старый ясновельможный духъ, исполненный презрѣнія въ хлопскому народу. Не Польшу и не польскій народъ, наконецъ надѣленный землею тѣмъ же русскимъ Царемъ, не любилъ Достоевскій, онъ ненавидѣлъ тотъ традиціонный духъ Польши, которымъ былъ угнетенъ въ ней ея же родной народъ и который погубилъ Польшу. Этотъ старый духъ Польши онъ долженъ былъ ненавидѣть, какъ ненавидѣли его Прудонъ и многіе изъ самихъ поляковъ — изъ настоящихъ безкорыстно-честныхъ польскихъ патріотовъ. Этотъ старый духъ Польши былъ ненавистенъ Достоевскому, какъ *соціалисту*, — а соціалистомъ въ широкомъ человѣческомъ смыслѣ этого слова онъ никогда не переставалъ быть.

Но дѣло въ томъ, что наши — не только „либералы“, но и „соці-

алисты“ готовы были протянуть братскую руку польскимъ панамъ— потому что видѣли въ нихъ обильнѣйшій запасъ недовольства—а у насъ тогда уже развился тотъ оппортунизмъ, который не брезгаетъ *никакими* недовольными элементами, на что такъ ясно указано въ письмахъ Самарина къ Герцену (въ № 1 „Руси“ 1883 г.).

Достоевскій никогда не былъ „вѣрнопопданнымъ революціи“ (какъ выразился Самаринъ въ этихъ письмахъ къ Герцену), а потому не былъ никогда и „оппортунистомъ“.

Вернувшись изъ Сибири съ обильнымъ запасомъ вѣры и любви и съ горячею жаждой единства для зиждательной работы на пользу отечества, онъ долженъ былъ съ возрастающимъ негодованіемъ замѣчать вокругъ себя все болѣе и болѣе выдававшіеся впередъ признаки отрицательной дѣятельности ради *разрушенія*. Понятно, что ему, съ его прямою, предстояло все болѣе и болѣе себѣ наживать враговъ *).

Вотъ въ какомъ положеніи и при какихъ обстоятельствахъ окончательно возобновилась литературная дѣятельность Достоевскаго. Въ самый годъ освобожденія крестьянъ онъ сталъ издавать вмѣстѣ съ братомъ своимъ Михаиломъ Михайловичемъ журналъ „Время“.

Но моя задача состояла въ томъ, чтобы довести его до этого момента. Передаю перо ближайшему ихъ сотруднику—какъ непосредственному участнику и очевидцу дальнѣйшей поры въ жизни Федора Михайловича.

Ор. Миллеръ.

*) Они не оставили его въ покоѣ и послѣ смерти. Не говоря о томъ, что всѣмъ извѣстно—потому что происходило у насъ на глазахъ, коснусь лишь одного изъ произведеній нашей заграничной прессы—брошюры г. Алпсова „Ф. М. Достоевскій“. Авторъ благоразсудилъ прислать ее мнѣ по почтѣ—должно быть съ расчетомъ меня „вразумить“. Но я былъ уже знакомъ съ другимъ произведеніемъ этого плодовитаго памфлетиста, напечатаннымъ послѣ 1-го марта и возбуждающимъ еще большее омерзѣніе. Если бы подобныя писанія не оставались запретными, то омерзѣніе къ нимъ, я увѣренъ, скорѣ бы стало общимъ. Дѣло въ томъ, что сквозь цинически-кровожадный радикализмъ въ нихъ мѣстами выглядываетъ не что иное, какъ непримиримое, плохо замаскированное *крупостничество*. Сущій Тургеневскій Губаревъ, но уже окончательно одурманенный кровью.

ВОСПОМИНАНІЯ
О
ФЕДОРѢ МИХАЙЛОВИЧѢ
ДОСТОЕВСКОМЪ.

Считаю своимъ долгомъ записать все сколько нибудь важное и интересное, что сохранила мнѣ память о Федорѣ Михайловичѣ Достоевскомъ. Я былъ довольно долгое время очень близокъ къ нему, особенно, когда работалъ въ журналахъ, которыхъ онъ былъ руководителемъ. Поэтому отъ меня больше всего можно требовать и ожидать изложенія его мнѣній и настроеній во время этой его публичной дѣятельности. Близость наша была такъ велика, что я имѣлъ полную возможность знать его мысли и чувства, и я постараюсь изложить ихъ, какъ умѣю, насколько помню и насколько успѣлъ понять. Судьбу этихъ журналовъ, исторію ихъ превратностей едва-ли кто другой можетъ теперь рассказать съ такою полнотой, какъ я; а эта исторія имѣла важное значеніе въ жизни Федора Михайловича и составляетъ важную сторону его писательства. Постараюсь также со всею искренностію и точностію указать его личныя свойства и отношенія, какія мнѣ довелось узнать. Но главнымъ моимъ предметомъ будетъ все-же литературная дѣятельность нашего писателя. Въ исторіи литературы онъ останется памятнымъ не только какъ художникъ, какъ авторъ романовъ, но и какъ журналистъ; и всего удобнѣе мнѣ начать свои воспоминанія именно съ указанія на его журналистику.

Н. Страховъ.

I.

Первыя встрѣчи.

Журнальная дѣятельность Федора Михайловича, если взять все вмѣстѣ, имѣетъ очень значительный объемъ. Онъ питалъ къ этого рода дѣятельности величайшее расположеніе, и послѣднія строки, имъ написанныя, были статьи послѣдняго номера его „Дневника“.

Изданія, въ которыхъ онъ являлся какъ журналистъ, то есть какъ редакторъ, публицистъ и критикъ, были слѣдующія:

1) „Время“, ежемѣсячный толстый журналъ, издававшійся подъ редакціею брата Федора Михайловича, Михайла Михайловича Достоевскаго, съ января 1861 по апрѣль 1863 (включительно).

2) „Эпоха“, такой же журналъ, выходившій съ начала 1864 года по февраль 1865 (включительно), сперва подъ редакціею того же Михайла Михайловича Достоевскаго, а съ іюня 1864 года, послѣ его смерти, подъ редакціею А. У. Порѣцкаго (нынѣ уже покойника).

3) „Гражданинъ“, изданіе, основанное въ 1872 году княземъ В. П. Мещерскимъ, еженедѣльная газета. Редакторомъ ея въ первый годъ былъ *Г. К. Градовскій*, а въ слѣдующій, 1873,—Федоръ Михайловичъ. Здѣсь Федоръ Михайловичъ началъ писать фельетоны подъ заглавіемъ „Дневникъ Писателя“; это былъ зачатокъ слѣдующаго изданія.

4) „Дневникъ Писателя“. Ежемѣсячное изданіе. Выходилъ въ 1876 и 1877 годахъ. Въ 1880 году вышелъ одинъ номеръ за августъ; въ 1881 вышелъ январскій номеръ уже по смерти своего редактора.

Духъ и направленіе этихъ журналовъ составляютъ совершенно особую полосу въ петербургской журналистикѣ, отличающейся, какъ извѣстно, большою однородностію въ своихъ стремленіяхъ, вѣроятно вслѣдствіе однородности тѣхъ условій, среди которыхъ она развивается. Дѣятельность Федора Михайловича шла въ разрѣзъ съ этимъ общимъ петербургскимъ настроеніемъ, и преимущественно онъ, силою таланта и жаромъ проповѣди, далъ значительный успѣхъ другому настроенію, болѣе широкому,—русскому, а не петербургскому.

Попытаюсь послѣдовательно указать ходъ этого дѣла. Мое знакомство съ Федоромъ Михайловичемъ началось именно на журнальномъ поприщѣ, притомъ еще раньше, чѣмъ стало выходить „Время“. Въ концѣ 1859 года было объявлено объ изданіи въ слѣдующемъ году новаго ежемѣсячнаго журнала „Свѣточѣ“, подъ редакціею *Д. И. Калиновскаго*. Главнымъ сотрудникомъ въ этомъ журналѣ былъ А. П. Милюковъ, въ то время мой сослуживецъ по одному изъ учебныхъ заведеній. Я предложилъ ему для перваго же номера свою статью, первую большую статью, съ которою я выступалъ на петербургское журнальное поприще. Къ великой радости, статья была одобрена, и А. П. пригласилъ меня въ свой литературный кружокъ, на свои вторники, въ Офицерской улицѣ, въ домъ Яковса. Съ перваго вторника, когда я явился въ этотъ кружокъ, я считалъ себя какъ-будто принятымъ, наконецъ, въ общество настоящихъ литераторовъ, и очень всѣмъ интересовался. Главными гостями А. П. оказались братья Достоевскіе, Федоръ Михайловичъ и Михаилъ Михайловичъ, давнишніе друзья хозяина и

очень привязанные другъ къ другу, такъ что бывали обыкновенно вѣстѣ. Кромѣ ихъ часто являлись А. Н. Майковъ, Вс. Вл. Крестовскій, Д. Д. Минаевъ, докторъ С. Д. Яновскій, А. А. Чумиковъ, Вл. Д. Яковлевъ и другіе. Первое мѣсто въ кружкѣ занималъ, конечно, Федоръ Михайловичъ: онъ былъ у всѣхъ на счету крупнаго писателя и первенствовалъ не только по своей извѣстности, но и по обилію мыслей и горячности, съ которою ихъ высказывалъ. Кружокъ былъ невеликъ, и члены его были очень близки между собою, такъ что стѣсненія, столь обыкновеннаго во всѣхъ русскихъ обществахъ, не было и слѣда. Но и тогда была замѣтна обыкновенная манера разговора Федора Михайловича. Онъ часто говорилъ съ своимъ собесѣдникомъ въ полголоса, почти шепотомъ, пока что нибудь его особенно не возбуждало; тогда онъ воодушевлялся и круто возвышалъ голосъ. Впрочемъ, въ то время его можно было назвать довольно веселымъ въ обыкновенномъ настроеніи; въ немъ было еще очень много мягкости, измѣнявшей ему въ послѣдніе годы, послѣ всѣхъ понесенныхъ имъ трудовъ и волненій. Наружность его я живо помню; онъ носилъ тогда одни усы и, не смотря на огромный лобъ и прекрасные глаза, имѣлъ видъ совершенно солдатскій, то есть, престопаздннх черты лица. Помню также, какъ я въ первый разъ увидѣлъ, почти мелькомъ, его первую жену, Марью Дмитріевну; она произвела на меня очень пріятное впечатлѣніе блѣдностію и нѣжными чертами своего лица, хотя эти черты были неправильны и мелки; видно было и расположеніе къ болѣзни, которая свела ее въ могилу.

Разговоры въ кружкѣ занимали меня чрезвычайно. Это была новая школа, которую мнѣ довелось пройти, школа, во многомъ расходившаяся съ тѣми мнѣніями и вкусами, которые у меня сложились. До того времени я жилъ тоже въ кружкѣ, но въ своемъ, не публичномъ и литературномъ, а совершенно частномъ. Такихъ кружковъ всегда существуетъ очень много въ Петербургѣ, кружковъ часто любознательныхъ, читающихъ, вырабатывающихъ себѣ свои особенныя пристрастія и отвращенія, но иногда вовсе не стремящихся къ публичности. Мое знакомство этого рода состояло изъ людей моложе меня возрастомъ; назову изъ живыхъ Д. В. Аверкіева, изъ покойныхъ М. П. Покровскаго, Н. Н. Воскобойникова, В. И. Ильина, И. Г. Долгомостьева, Ѡ. И. Дозе. *) Тутъ господствовало большое поклоненіе наукѣ, поэзіи, музыкѣ, Пушкину, Глинкѣ; настроеніе было очень серьезное и хорошее. И тутъ сложились взгляды, съ которыми я вступилъ въ чисто-литературный кружокъ.

*) Эти имена потомъ всѣ стали принадлежать литературѣ, хотя участіе ихъ было и чрезвычайно малое, даже вовсе незамѣтное.

Въ то время я занимался зоологією и философією и потому, разумѣется, прилежно сидѣлъ за нѣмцами и въ нихъ видѣлъ вождей просвѣщенія. У литераторовъ оказалось другое; всѣ они очень усердно читали французовъ и были равнодушны къ нѣмцамъ. Всѣмъ извѣстно было, что М. М. Достоевскій составляетъ исключеніе, владѣя нѣмецкимъ языкомъ такъ, чтобы читать на немъ и дѣлать переводы. Ѳедоръ же Михайловичъ, хотя, конечно, учился этому языку, но, какъ и другіе, совершенно его забросилъ и до конца жизни читалъ только пофранцузски. Въ ссылкѣ онъ, какъ видно, предполагалъ взяться за серьезныя занятія и просилъ брата выслать ему исторію философіи Гегеля въ подлинникѣ; но книга осталась нечитанною, и онъ подарилъ ее мнѣ векорѣ послѣ перваго знакомства.

Естественно, что и направленіе кружка сложилось подъ вліяніемъ французской литературы. Политическіе и соціальные вопросы были тутъ на первомъ планѣ и поглощали чисто-художественные интересы. Художникъ, по этому взгляду, долженъ слѣдить за развитіемъ общества, и приводить къ сознанію нарождающагося въ немъ добро и зло, быть поэтому наставникомъ, обличителемъ, руководителемъ; такимъ образомъ почти прямо заявлялось, что вѣчные и общіе интересы должны быть подчинены временнымъ и частнымъ. Этимъ публицистическимъ направленіемъ Ѳедоръ Михайловичъ былъ вполне проникнутъ и сохранялъ его до конца жизни.

Дѣло художественныхъ писателей полагалось главнымъ образомъ въ томъ, чтобы наблюдать и рисовать различные типы людей, преимущественно низкіе и жалкіе, и показывать, какъ они сложились подъ вліяніемъ *среды*, подъ вліяніемъ окружающихъ обстоятельствъ. У литераторовъ было въ привычкѣ заходить при случаѣ въ самыя грязныя и низкія мѣста, вступать въ пріятельскіе разговоры съ людьми, которыми гнушается купецъ и чиновникъ, и сострадательно смотрѣть на самыя дикія явленія. Разговоръ въ кружкѣ безпрестанно попадалъ на тему различныхъ типовъ такого рода, и множество остроумія и наблюдательности было обнаруживаемо въ этихъ *физиологическихъ* соображеніяхъ. На первыхъ порахъ меня очень удивляло, когда сужденія о человѣческихъ свойствахъ и дѣйствіяхъ произносились не съ высоты нравственныхъ требованій, не по мѣрилу разумности, благородства, красоты, а съ точки зрѣнія неизбѣжной власти различныхъ вліяній и неизбѣжной податливости человѣческой природы. Особенное настроеніе мыслей Ѳедора Михайловича, стоящее выше этой физиологій, открылось мнѣ ясно только впоследствии, и сначала я не замѣчалъ его въ общемъ потокѣ новыхъ для меня взглядовъ.

Очевидно, это направленіе мыслей сложилось подъ вліяніемъ французской литературы, было одно изъ направленій *сороковскихъ годовъ*, тѣхъ плодотворныхъ годовъ, когда Европа, кипѣвшая особенно сильно духовною жизнью, производила на насъ, русскихъ, большое вліяніе и посѣяла у насъ сѣмена, которыя долго потомъ развивались. Впоследствии мнѣ сталъ понятенъ и часто удивлялъ меня этотъ процессъ *отставанія* отъ Европы, безпрестанно у насъ повторяющійся. Послѣ 1848 года на Западѣ совершился переломъ настроенія: радостныя надежды потускли, нравственный уровень опустился, обнаружилась страшная болѣзнь и стали господствовать тоска и пессимизмъ. Чуткій Герценъ, видѣвшій эту исторію своими глазами, высказывалъ безвыходное отчаяніе. Между тѣмъ въ Россіи ничего этого не было замѣтно; едва-ли было когда у насъ въ литературѣ такое радостное и оживленное настроеніе, какъ съ 1856 по 1862 годъ, до петербургскихъ пожаровъ; мы ни мало и ни въ чемъ не были разочарованы, и каждый спокойно отдавался любимымъ мыслямъ, проповѣдуя то, что уже потеряло вѣсъ, или получило уже новый смыслъ въ Европѣ. Что касается до меня, то я въ литературномъ отношеніи тоже принадлежалъ къ одному изъ направленій сороковныхъ годовъ, но еще болѣе старому, чѣмъ литературный кружокъ, о которомъ идетъ рѣчь, къ тому направленію, для котораго верхомъ образованія было *понимать Гегеля и знать Гёте наизусть*. Поэтому, и по другимъ причинамъ разногласія, настроеніе кружка рѣзко бросилось мнѣ въ глаза.

Въ основаніи этого настроенія, конечно, лежало прекрасное чувство, гуманность, состраданіе къ людямъ, попавшимъ въ трудное положеніе, и прощеніе имъ ихъ слабости. Въ самомъ дѣлѣ, легко провиниться въ нѣкоторой жестокости, когда мы указываемъ ближнимъ неисполненныя требованія, — даже если это нравственныя требованія. Поэтому литературный кружокъ, въ который я вступилъ, былъ для меня во многихъ отношеніяхъ школою гуманности. Но другая черта, поразившая меня здѣсь, представляла гораздо большую неправильность. Съ удивленіемъ замѣчалъ я, что тутъ не придавалось никакой важности всякаго рода *физическимъ* излишествамъ и отступленіямъ отъ нормального порядка. Люди, чрезвычайно чуткіе въ нравственномъ отношеніи, питавшіе самый возвышенный образъ мыслей и даже большею частію сами чуждые какой-нибудь физической распущенности, смотрѣли однако совершенно спокойно на все безпорядки этого рода, говорили объ нихъ какъ о забавныхъ пустякахъ, которымъ предаваться вполне позволительно въ свободную минуту. Безобразіе духовное судилось тонко и строго; безобразіе плотское не ставилось ни во что. Эта странная *эманципация плоти* дѣйствовала

соблазнительно и въ нѣкоторыхъ случаяхъ повела къ послѣдствіямъ, о которыхъ больно и страшно вспомнить. Изъ числа людей, съ которыми пришлось мнѣ сойтись на литературномъ поприщѣ, особенно въ шестидесятыхъ годахъ, нѣкоторые на моихъ глазахъ умирали или сходили съ ума отъ этихъ физическихъ грѣховъ, которыми они такъ пренебрегали. И погибали вовсе не худшіе, а часто тѣ, у кого было слабо себялюбіе и жизнелюбіе, кто не расположенъ былъ слишкомъ бережно обходиться съ собственною особой. О нѣкоторыхъ случаяхъ этого рода, можетъ быть, придется мнѣ далѣе говорить. Но придется, конечно, умолчать о многихъ другихъ бѣдахъ, порожденныхъ вреднымъ ученіемъ, бѣдахъ не довольно страшныхъ для печати, но въ сущности иногда не уступающихъ смерти и сумасшествію.

Что касается до взглядовъ на искусство, на задачи художниковъ, то тогда, въ началѣ моего знакомства съ литературнымъ міромъ, меня не могло не удивлять господство узкой теоріи, требовавшей служенія современной минутѣ. Самъ я держался обыкновенной нѣмецкой теоріи *свободы художника*, той теоріи, которая сложилась въ нѣмецкой философіи, проникла къ намъ еще при жизни Пушкина, и которой много обязана наша литература. Люди съ художественнымъ талантомъ, подъ вліяніемъ этого эстетическаго ученія, берегли и холили свой талантъ, давая ему просторъ, и потому привыкали къ искренности, правдивости, къ широкому, безпристрастному взгляду на предметы. Итакъ, я не безъ удивленія и не безъ противорѣчія слушалъ разговоры о современномъ значеніи различныхъ литературныхъ явленій и объ успіяхъ уловить послѣднюю и новѣйшую черту въ общественной жизни. Ѳеодоръ Михайловичъ былъ также чрезвычайно этимъ занятъ; изъ его литературной дѣятельности уже видно, какъ онъ былъ преданъ такому служебному направленію. Эта дѣятельность ясно распадается на два отдѣла: первый, отъ „Вѣднхъ Людей“ до „Преступленія и Наказанія“, ясно носитъ на себѣ вліяніе Гоголя—по кругу предметовъ и задачъ; второй, болѣе самостоятельный, отъ „Преступленія и Наказанія“ и до конца, весь посвященъ нарождающимся общественнымъ явленіямъ и главной нашей внутренней болѣзни, нигилизму.

Но, твердо держась этого служенія минутѣ, безпрестанно вдумываясь въ современныя явленія и гордась ихъ уловленіемъ въ своихъ произведеніяхъ, Ѳеодоръ Михайловичъ въ то же время готовъ былъ ставить выше всего строія требованія искусства и былъ почти безукоризненно чистъ отъ всякой исключительности. Хотя онъ всегда искалъ въ произведеніяхъ искусства какого нибудь современнаго или національнаго зна-

ченія, но искусство само по себѣ восхищало его безъ всякихъ условій, и подъ конецъ жизни онъ прямо сталъ твердить знаменитую формулу *искусства для искусства*. Это противорѣчіе постоянно жило въ немъ, какъ и многія другія противорѣчія въ мысляхъ и дѣйствіяхъ, конечно, находившія себѣ примиреніе въ глубинѣ его души и во многихъ случаяхъ, очевидно, спасавшія его отъ ложныхъ и ненормальныхъ путей; подымаясь надъ этими противорѣчіями, онъ восходилъ на тѣ высоты, которыя дали такое прекрасное настроеніе всей его дѣятельности. Въ настоящемъ случаѣ это какъ нельзя яснѣе: постоянное стремленіе къ настоящей художественности дало произведеніямъ Федора Михайловича ту ширину и глубину, которой никогда-бы въ нихъ не было при узкомъ пониманіи задачи.

Здѣсь встаетъ вообще сказать, что читатель въ этихъ и слѣдующихъ замѣткахъ не долженъ видѣть попытки вполне изобразить покойнаго писателя; прямо и рѣшительно отказываюсь отъ этого. Онъ слишкомъ для меня близокъ и непонятенъ. Когда я вспоминаю его, то меня поражаетъ именно нектошная подвижность его ума, неизсякающая плодovitость его души. Въ немъ какъ-будто не было ничего сложившагося, такъ обильно нарастали мысли и чувства, столько таилось неизвѣстнаго и непроявившагося подъ тѣмъ, что успѣло сказаться. Поэтому и литературная дѣятельность его растетъ и расширяется какими-то порывами, не подходящими подъ обыкновенную форму развитія. Послѣ ровнаго ея теченія, и даже какъ-будто ослабленія, онъ вдругъ обнаруживалъ новыя силы, показываясь съ новой стороны. Такихъ подъѣмовъ можно насчитать четыре: первый — „Бѣдные люди“, второй — „Мертвый Домъ“, третій — „Преступленіе и Наказаніе“, четвертый — „Дневникъ Писателя“. Конечно, всюду это тотъ-же Достоевскій, но никакъ нельзя сказать, что онъ вполне высказался; смерть помѣшала ему сдѣлать новыя подъѣмы и не дала намъ увидѣть, можетъ быть, гораздо болѣе гармоническихъ и ясныхъ произведеній.

Съ чрезвычайной ясностію въ немъ обнаруживалось особеннаго рода раздвоеніе, состоящее въ томъ, что человѣкъ предается очень живо извѣстнымъ мыслямъ и чувствамъ, но сохраняетъ въ душѣ неподдающуюся и непоколебляющуюся точку, съ которой смотритъ на самого себя, на свои мысли и чувства. Онъ самъ иногда говорилъ объ этомъ свойствѣ и называлъ его рефлексією. Слѣдствіемъ такого душевнаго строя бываетъ то, что человѣкъ сохраняетъ всегда возможность судить о томъ, что наполняетъ его душу, что различныя чувства и настроенія могутъ проходить въ душѣ, не овладѣвая ею до конца, и что изъ этого глубокаго душев-

наго центра исходить энергія, оживляющая и преобразующая всю дѣятельность и все содержаніе ума и творчества.

Какъ-бы то ни было, Федоръ Михайловичъ всегда поражалъ меня широкостію своихъ сочувствій, умѣнемъ понимать различные и противоположные взгляды. При первомъ знакомствѣ, онъ оказался величайшимъ поклонникомъ Гоголя и Пушкина, и безмѣрно восхищался ими съ художественной стороны. Помню до сихъ поръ, какъ въ первый разъ услышалъ я его чтеніе стиховъ Пушкина. Его заставилъ читать Михаилъ Михайловичъ, очевидно благоговѣвшій передъ братомъ и съ наслажденіемъ его слушавшій. Федоръ Михайловичъ читалъ два удивительныхъ отрывка: „Только что на проталинахъ весеннихъ“ и „Какъ весенней теплою порою“, которые цѣнилъ очень высоко и изъ которыхъ послѣдній потомъ выбралъ для чтенія и на *Пушкинскомъ праздникѣ*. Въ первый разъ я ихъ услышалъ отъ него за двадцать лѣтъ до этого праздника, и помню мое разочарованіе: Федоръ Михайловичъ читалъ очень хорошо, но тѣмъ нѣсколько подавленнымъ, пониженнымъ голосомъ, которымъ обыкновенно читаютъ стихи неопытные чтецы. Помню и другія его чтенія стиховъ и прозы: положительно онъ не былъ тогда вполне искуснымъ чтецомъ. Упоминаю объ этомъ потому, что въ послѣдніе годы жизни онъ читалъ удивительно, и совершенно справедливо приводилъ публику въ восхищеніе своимъ искусствомъ.

Гоголь былъ въ концѣ пятидесятихъ годовъ еще въ свѣжей памяти у всѣхъ, особенно у литераторовъ, употреблявшихъ безпрестанно въ разговорѣ его выраженія. Помню, какъ Федоръ Михайловичъ дѣлалъ очень тонкія замѣчанія о выдержанности различныхъ характеровъ у Гоголя, о жизненности всѣхъ его фигуръ, Хлестакова, Подколесина, Кочкарева и пр. Вообще, литература, въ тѣ времена, имѣла еще для всѣхъ такое значеніе, какого она уже не имѣетъ для нынѣшнихъ поколѣній. Самъ-же Федоръ Михайловичъ былъ преданъ ей всѣмъ сердцемъ, и не только воспитался на Пушкинѣ и Гоголѣ, но и постоянно ими питался. Когда его рѣчь на Пушкинскомъ праздникѣ затмила всѣ другія рѣчи и доставила ему торжество, о которомъ трудно составить понятіе тому, кто не былъ самъ его свидѣтелемъ, мнѣ не разъ приходило на мысль, что эта награда досталась Федору Михайловичу по всей справедливости, что изъ всей толпы хвалителей и почитателей, конечно, никто больше его не любилъ Пушкина.

II.

ОСНОВАНІЕ „ВРЕМЕНИ“.

Весь 1860 годъ мы только почти у А. П. Милюкова видѣлись съ Ѳедоромъ Михайловичемъ. Я съ уваженіемъ и любопытствомъ слушалъ его разговоры и едва-ли самъ что говорилъ; но въ „Свѣточѣ“ шелъ рядъ небольшихъ моихъ статей натурфилософскаго содержанія, и онѣ обратили на себя вниманіе Ѳедора Михайловича. Достоевскіе уже собирали тогда сотрудниковъ: въ слѣдующемъ году они рѣшились начать изданіе *толстаго* ежемѣсячнаго журнала „Время“ и заранѣе усердно приглашали меня работать въ немъ. Хотя я уже имѣлъ маленькій успѣхъ въ литературѣ и обратилъ на себя нѣкоторое вниманіе М. Н. Каткова и Ап. А. Григорьева, всетаки я долженъ сказать, что больше всего обязанъ въ этомъ отношеніи Ѳедору Михайловичу, который съ тѣхъ поръ отличалъ меня, постоянно ободрялъ и поддерживалъ и усердиѣе чѣмъ кто нибудь до конца стоялъ за достоинства моихъ писаній. Читатели могутъ, конечно, смотрѣть на это, какъ на ошибку съ его стороны, но я долженъ былъ упомянуть объ этомъ фактѣ, хотя бы какъ объ образчикѣ его литературныхъ пристрастій, и охотно сознаюсь, что, не смотря на подшептыванія самолюбія, часто самъ видѣлъ преувеличеніе въ важности, которую придавалъ Ѳедоръ Михайловичъ моей дѣятельности.

Въ сентябрѣ 1860 года при главныхъ газетахъ и при афишахъ было разослано объявленіе объ изданіи „Времени“. Такъ какъ это объявленіе несомнѣнно писано Ѳедоромъ Михайловичемъ и такъ какъ оно представляетъ изложеніе самыхъ важныхъ пунктовъ его тогдашняго образа мыслей, то мы приведемъ его цѣликомъ.

Съ января 1861 года будетъ издаваться

„В Р Е М Я“.

журналъ литературный и политическій ежемѣсячно, книгами отъ 25 до 30 листовъ большаго формата.

„Прежде чѣмъ мы приступимъ къ объясненію, почему именно мы считаемъ нужнымъ основать новый публичный органъ въ нашей литературѣ, скажемъ нѣсколько словъ о томъ, какъ мы понимаемъ наше время „и именно настоящій моментъ нашей общественной жизни. Это послужитъ „и къ уясненію духа и направленія нашего журнала.“

„Мы живемъ въ эпоху въ высшей степени замѣчательную и критиче-

„скую. Не станемъ исключительно указывать, для доказательства нашего
 „мнѣнія, на тѣ новыя идеи и потребности русскаго общества, такъ едино-
 „душно заявленныя всею мыслящею его частью въ послѣдніе годы. Не
 „станемъ указывать и на великій крестьянскій вопросъ, начавшійся въ
 „наше время... Все это только явленія и признаки того огромнаго пере-
 „ворота, которому предстоитъ совершиться мирно и согласно во всемъ
 „нашемъ отечествѣ, хотя онъ и равносильнъ, по значенію своему, всѣмъ
 „важнѣйшимъ событіямъ нашей исторіи и даже самой реформѣ Петра.
 „*Этотъ переворотъ есть слитіе образованности и ея представите-*
 „*лей съ началомъ народнымъ* *) и приобщеніе всего великаго русскаго
 „народа ко всѣмъ элементамъ нашей текущей жизни, — народа, отшат-
 „нувшагося отъ Петровской реформы еще 170 лѣтъ назадъ и съ тѣхъ
 „поръ разъединеннаго съ сословіемъ образованнымъ, жившаго отдѣльно,
 „своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.

„Мы упомянули о явленіяхъ и признакахъ. Безспорно важнѣйшій
 „изъ нихъ есть вопросъ объ улучшеніи крестьянскаго быта. Теперь уже
 „не тысячи, а многіе миллионы русскихъ войдутъ въ русскую жизнь, вне-
 „сутъ въ нее свои свѣжія непочатыя силы и скажутъ свое новое слово.
 „Не вражда сословій, побѣдителей и побѣжденныхъ, какъ вездѣ въ Ев-
 „ропѣ, должна лечь въ основаніе развитія будущихъ началъ нашей
 „жизни. Мы не Европа, и у насъ не будетъ и не должно быть побѣди-
 „телей и побѣжденныхъ.

„*Реформа Петра Великаго и безъ того намъ слишкомъ дорого*
 „*стоила: она разъединила насъ съ народомъ.* Съ самаго начала народъ
 „отъ нея отказался. Формы жизни, оставленныя ему преобразованиемъ,
 „не согласовались ни съ его духомъ, ни съ его стремленіями, были ему
 „не по мѣркѣ, не въ пору. Онъ называлъ ихъ нѣмецкими, послѣдовате-
 „лей великаго царя иностранцами. Уже одно нравственное распаденіе на-
 „рода съ его высшимъ сословіемъ, съ его вожатаями и предводителями,
 „показываетъ, какую дорогою цѣною досталась намъ тогдашняя новая
 „жизнь. Но, разоидясь съ реформой, народъ не палъ духомъ. Онъ не-
 „однообразно заявлялъ свою самостоятельность, заявлялъ ее съ чрезвы-
 „чайными, судорожными усиліями, потому что былъ одинъ и ему было
 „трудно. Онъ шелъ въ темнотѣ, но энергически держался своей особой
 „дороги. Онъ вдумывался въ себя и въ свое положеніе, пробовалъ создать
 „себѣ свое воззрѣніе, свою философію, распадался на таинственныя урод-

*) Курсива нѣтъ въ подлинникѣ; здѣсь печатаются курсивомъ мѣста, кото-
 рыхъ, по моему мнѣнію, всего яснѣе выражаютъ главныя мысли объявленія.
 Н. С.

„Ливныя секты, искалъ для своей жизни новыхъ исходовъ, новыхъ формъ. Невозможно было болѣе отшатнуться отъ стараго берега, невозможно было смѣлѣе жечь свои корабли, какъ это сдѣлалъ нашъ народъ при выходѣ на эти новыя дороги, которыя онъ самъ себѣ съ такимъ мученіемъ отыскивалъ. А между тѣмъ его называли хранителемъ старыхъ до-петровскихъ формъ, тушаго старообрядства.

„Конечно, идеи народа, оставшагося безъ вожатаевъ на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новыхъ формъ жизни безобразны. Но въ нихъ было общее начало, одинъ духъ, вѣра въ себя неизблемая, сила непочтая. Послѣ реформы былъ между ними и нами, сословіемъ образованнымъ, одинъ только случай соединенія—двѣнадцатый годъ, и мы видѣли, какъ народъ заявилъ себя. Мы поняли тогда, что онъ такое. Бѣда въ томъ, что насъ-то онъ не знаетъ и не понимаетъ.

„Но теперь разьединеніе оканчивается. *Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла, наконецъ, до послѣднихъ своихъ предѣловъ. Дальше нельзя идти, да и некуда: нѣтъ дорогъ; она вся пройдена.* Всѣ, послѣдовавшіе за Петромъ, узнали Европу, привкнули къ европейской жизни и не сдѣлались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность къ европеизму. Теперь мы думаемъ иначе. Мы знаемъ теперь, что мы и не можемъ быть европейцами, что мы не въ состояніи втиснуть себя въ одну изъ западныхъ формъ жизни, выжитыхъ и выработанныхъ Европою изъ собственныхъ своихъ національныхъ началъ, намъ чуждыхъ и противоположныхъ,—точно такъ, какъ мы не могли бы носить чужое платье, спитое не по нашей мѣрѣ. *Мы убѣдились, наконецъ, что мы тоже отдѣльная національность, въ высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себѣ новую форму, нашу собственную, родную, взятую изъ почвы нашей, взятую изъ народнаго духа и изъ народныхъ началъ.* Но на родную почву мы возвратились не побѣжденными. Мы не отказываемся отъ нашего прошедшаго: мы сознаемъ и разумность его. Мы сознаемъ, что реформа раздвинула нашъ кругозоръ, что черезъ нее мы осмыслили будущее значеніе наше въ великой семьѣ всѣхъ народовъ.

„Мы знаемъ, что не оградимся уже теперь китайскими стѣнами отъ человѣчества. *Мы предупреждаемъ, и предупреждаемъ съ благоговѣніемъ, что характеръ нашей будущей дѣятельности долженъ быть въ высшей степени общечеловѣческой, что русская идея, можетъ быть, будетъ синтезомъ всѣхъ тѣхъ идей, которыя съ такимъ упорствомъ, съ такимъ мужествомъ развиваетъ Европа, въ отдѣльныхъ своихъ національностяхъ; что можетъ быть все враждебное*

„въ этихъ идеяхъ найдетъ свое примиреніе и дальнѣйшее развитіе
 „въ русской народности. Не даромъ же мы говорили на всѣхъ языкахъ,
 „понимали всѣ цивилизаціи, сочувствовали интересамъ каждаго европей-
 „скаго народа, понимали смыслъ и разумность явленій, совершенно намъ
 „чуждыхъ. Не даромъ заявили мы такую силу въ самоосужденіи, удив-
 „лявшемъ всѣхъ иностранцевъ. Они упрекали насъ за это, называли насъ
 „безличными, людьми безъ отечества, не замѣчал, что способность отрѣ-
 „шиться на время отъ почвы, чтобъ трезвѣе и безпристрастиѣе взглянуть
 „на себя, есть уже сама по себѣ признакъ величайшей особенности; спо-
 „собность же примирительнаго взгляда на чужое есть высочайшій и благо-
 „роднѣйшій даръ природы, который дается очень немногимъ національ-
 „ностямъ. Иностранцы еще и не починали нашихъ безконечныхъ силъ...
 „Но теперь, кажется, и мы вступаемъ въ новую жизнь.

„И вотъ передъ этимъ-то вступленіемъ въ новую жизнь, примиреніе
 „послѣдователей реформы Петра съ народнымъ началомъ стало необхо-
 „димостью. Мы говоримъ здѣсь не о славнофилахъ и не о западникахъ.
 „Къ ихъ домашнимъ раздорамъ наше время совершенно равнодушно. Мы
 „говоримъ о примиреніи цивилизаціи съ народнымъ началомъ. Мы чув-
 „ствуемъ, что обѣ стороны должны, наконецъ, понять другъ друга,
 „должны разъяснить всѣ недоумѣнія, которыхъ накопилось между ними
 „такое невѣроятное множество, и потомъ согласно и стройно общими
 „силами двинуться въ новый широкій и славный путь. Соединеніе
 „во что бы то ни стало, не смотря ни на какія пожертвованія, и
 „возможно скорѣйшее — вотъ наша передовая мысль, вотъ девизъ нашъ.

„Но гдѣ же точка соприкосновенія съ народомъ? Какъ сдѣлать пер-
 „вый шагъ къ сближенію съ нимъ, — вотъ вопросъ, вотъ забота, которая
 „должна быть раздѣляема всѣми, кому дорого русское имя, всѣми, кто
 „любитъ народъ и дорожитъ его счастіемъ. А счастье его — счастье наше.
 „Разумѣется, что первый шагъ къ достиженію всякаго согласія есть гра-
 „мотность и образованіе. Народъ никогда не пойметъ насъ, если не бу-
 „детъ къ тому предварительно приготовленъ. Другаго нѣтъ пути, и мы
 „знаемъ, что, высказывая это, мы не говоримъ ничего новаго. Но, пока
 „за образованнымъ сословіемъ остается еще первый шагъ, оно должно вос-
 „пользоваться своимъ положеніемъ и воспользоваться усиленно. Распро-
 „страненіе образованія, усиленное, скорѣйшее и во что бы то ни стало — вотъ
 „главная задача нашего времени, первый шагъ ко всякой дѣятельности.

„Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала,
 „намекнули на характеръ, на духъ его будущей дѣятельности. Но мы
 „имѣемъ и другую причину, — побудившую насъ основать новый незави-

„сильный литературный органъ. Мы давно уже замѣтили, что въ нашей журналистикѣ, въ послѣдніе годы, развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературнымъ авторитетамъ. Разумѣется, мы не обвиняемъ нашу журналистику въ корысти, въ продажности. У насъ нѣтъ, какъ почти вездѣ въ европейскихъ литературахъ, журналовъ и газетъ, торгующихъ за деньги своими убѣжденіями, мнѣняющихъ свою подлую службу и своихъ господъ на другихъ единственно изъ-за того, что другіе даютъ больше денегъ. Но, замѣтить, однако же, что можно продавать свои убѣжденія и не за деньги. Можно продать себя, наприимѣръ, отъ излишняго врожденнаго подобострастія, или изъ-за страха прослыть глупцомъ за несогласіе съ литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже безкорыстно трепещетъ передъ мнѣніями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнѣнія смѣло, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляетъ званіе столпа и авторитета писателю неглупому, умѣющему воспользоваться обстоятельствами, а вмѣстѣ съ тѣмъ доставляетъ столпу чрезвычайное, хотя и временное вліяніе на массу. Посредственность, съ своей стороны, почти всегда бываетъ крайне пуглива, не смотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождаетъ литературное рабство, а въ литературѣ не должно быть рабства. Изъ жажды литературной власти, литературнаго превосходительства, литературнаго чина, иной, даже старый и почтенный литераторъ, способенъ иногда рѣшиться на такую неожиданныю, на такую странную дѣятельность, что она поневолѣ составляетъ соблазнъ и изумленіе современниковъ и непременно перейдетъ въ потомство, въ числѣ скандальныхъ анекдотовъ о русской литературѣ въ половинѣ девятнадцатаго столѣтія. И такія прокешествія случаются все чаще и чаще, и такіе люди имѣютъ вліяніе продолжительное, а журналистика молчитъ и не смѣетъ до нихъ дотрогиваться. Есть въ литературѣ нашей до сихъ поръ нѣсколько установившихся идей и мнѣній, не имѣющихъ ни малѣйшей самостоятельности, но существующихъ въ видѣ несомнѣнныхъ истинъ, единственно потому, что когда-то такъ опредѣлили литературные предводители. Критика ношлѣтъ и мельчаетъ. Въ новыхъ изданіяхъ совершенно обходятъ иныхъ писателей, боясь проговориться о нихъ. Спорятъ для верха въ спорѣ, а не для истины. Грошовый скептицизмъ, вредный своимъ вліяніемъ на большинство, съ успѣхомъ прикрываетъ бездарность и употребляется въ дѣло для привлеченія подписчиковъ. Строгое слово искренняго глубокаго убѣжденія слышится все рѣже и рѣже. Наконецъ, спекулятивный

„духъ, распространяющійся въ литературѣ, обращаетъ инныя періодическія
„изданія въ дѣло преимущественно коммерческое, литература же и польза
„ея отодвигаются на задній планъ, а иногда о ней и не мыслятся.

„Мы рѣшились основать журналъ, вполне независимый отъ литера-
„турныхъ авторитетовъ — не смотря на наше уваженіе къ нимъ — съ пол-
„нымъ и самымъ смѣлымъ обичіемъ всѣхъ литературныхъ странностей
„нашего времени. Обличеніе это мы предпринимаемъ изъ глубочайшаго
„уваженія къ русской литературѣ. Нашъ журналъ не будетъ имѣть ни-
„какихъ нелитературныхъ антипатій и пристрастій. Мы даже готовы бу-
„демъ признаваться въ собственныхъ своихъ ошибкахъ и промахахъ, и
„признаваться печатно, и не считаемъ себя смѣшными за то, что хвалимся
„этимъ (хотя бы и заранѣе). Мы не уклонимся и отъ полемики. Мы не
„побоймся иногда немного и „пораздразнить“ литературныхъ гусей; гуси-
„ный крикъ иногда полезенъ: онъ предвѣщаетъ погоду, хотя и не всегда
„спасаетъ капитолій. Особенное вниманіе мы обратимъ на отдѣлъ кри-
„тики. Не только всякая замѣчательная книга, но и всякая замѣчатель-
„ная литературная статья, появившаяся въ другихъ журналахъ, будетъ
„непремѣнно разобрана въ нашемъ журналѣ. Критика не должна же
„уничтожиться изъ-за того только, что книги стали печататься не от-
„дѣльно, какъ прежде, а въ журналахъ. Оставляя въ сторонѣ всякія
„личности, обходя молчаніемъ все посредственное, если оно не вредно,
„Время“, будетъ слѣдить за всѣми сколько нибудь важными явленіями
„литературы, останавливать вниманіе на рѣзко выдающихся фактахъ,
„какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ, и безъ всякой уклон-
„чивости обличать бездарность, злонамѣренность, ложныя увлеченія, не-
„умѣстную гордость и литературный аристократизмъ — гдѣ бы они ни явля-
„лись. Явленія жизни, ходячія мнѣнія, установившіеся принципы, сдѣ-
„лавшіеся отъ общаго и слишкомъ частаго употребленія ксати и не-
„ксати какими-то опошлившимися, странными и досадными афоризмами,
„точно также подлежатъ критикѣ, какъ и вновь вышедшая книга, или
„журнальная статья. Журналъ нашъ поставляетъ себѣ неизмѣннымъ пра-
„виломъ говорить прямо свое мнѣніе о всякомъ литературномъ и честномъ
„трудѣ. Громкое имя, подписанное подъ нимъ, обязываетъ судъ быть
„только строже къ нему, и журналъ нашъ никогда не низойдетъ до обще-
„принятой теперь уловки — наговорить извѣстному писателю десять на-
„пыщенныхъ комплиментовъ, чтобы имѣть право сдѣлать ему одно не со-
„всѣмъ лестное для него замѣчаніе. Похвала всегда цѣломудренна; одна
„лесть пахнетъ лакейской. Не имѣя мѣста въ простомъ объявленіи вхо-
„дить во всѣ подробности нашего изданія, скажемъ только, что программа

„наша, утвержденная правительствомъ, чрезвычайно разнообразна. Вотъ она:

ПРОГРАММА.

„I. *Отдѣлъ литературный.* Повѣсти, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.

„II. *Критика и библиографическія замѣтки,* какъ о русскихъ книгахъ, такъ и объ иностранныхъ. Сюда же относятся разборы новыхъ пьесъ, поставленныхъ на наши сцены.

„III. *Статьи ученаго содержания.* Вопросы экономическіе, финансовыя, философскіе, имѣющіе современный интересъ. Изложеніе самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся спеціально этими предметами.

„IV. *Внутреннія новости.* Распоряженія правительства, событія въ отечествѣ, письма изъ губерній и проч.

„V. *Политическое обозрѣніе.* Полное ежемѣсячное обозрѣніе политической жизни государствъ. Извѣстія послѣдней почты, политическіе слухи, письма иностранныхъ корреспондентовъ.

„VI. *Смѣсь.* а) Небольшіе рассказы, письма изъ-за границы и изъ нашихъ губерній и проч. в) Фельетонъ. с) Статьи юмористическаго содержания.

„Изъ этого перечня видно, что все, что можетъ интересовать современнаго читателя, входитъ въ нашу программу. Изъ статей юмористическаго содержания мы сдѣлаемъ особый отдѣлъ въ концѣ каждой книжки.

„Мы не выставимъ именъ писателей, принимающихъ участіе въ нашемъ изданіи. Этотъ способъ привлеченія вниманія публики оказался въ послѣднее время совершенно несостоятельнымъ. Мы видѣли не одно изданіе, дававшее громкія имена только въ своемъ объявленіи. Хотя и мы въ нашемъ могли бы выставить не одно извѣстное въ нашей литературѣ имя, но нарочно удерживаемся отъ этого, потому что, при всеобщемъ уваженіи къ нашимъ литературнымъ знаменитостямъ, сознаемъ, что не они составляютъ силу журнала.

„Время“ будетъ выходить каждый мѣсяць, въ первыхъ числахъ, книгами отъ 25 до 30 листовъ большаго формата, въ объемѣ нашихъ большихъ ежемѣсячныхъ журналовъ.

„Редакторъ *М. Достоевскій.*“

„Печатать позволяется. Спб. 6-го септ. 1860 г. Цензоръ А. Ярославцевъ.“

Федоръ Михайловичъ, конечно, желалъ бы быть и объявить себя прямымъ редакторомъ журнала; но онъ тогда состоялъ подъ надзоромъ полиціи, почему и потомъ не могъ быть утвержденъ редакторомъ „Эпохи“. Только въ 1873 году это препятствіе было устранено, и онъ былъ официально объявленъ редакторомъ „Гражданина“. Такъ какъ оба брата жили душа въ душу, то сначала вышло прекрасное раздѣленіе труда; всѣ матеріальныя хлопоты принялъ на себя Михайло Михайловичъ, а умственное руководство принадлежало Федору Михайловичу.

Это объявленіе заслуживаетъ величайшаго вниманія. Безъ сомнѣнія оно было старательно обдуманно и обработано Федоромъ Михайловичемъ и, очевидно, оно содержитъ нѣкоторыя мысли и стремленія, характеризующія всю его дальнѣйшую дѣятельность. Какъ я уже замѣтилъ, направленіе его было своего рода славянофильствомъ; и въ подтвержденіе этого можно сослаться въ объявленіи на признаніе разрыва между народомъ и интеллигенціею, произведеннаго реформою Петра, на заявленіе, что намъ русскимъ суждено особое, самобытное развитіе, на требованіе вернуться къ своей почвѣ, къ народнымъ началамъ. Но читатели, знакомые съ образомъ мыслей нашихъ литературныхъ партій, легко замѣтятъ, что это, однако, еще не настоящее славянофильство. Во-первыхъ, исходная точка, очевидно, другая. Мысль Достоевскаго состоитъ въ томъ, что нужно примирить образованные классы съ народомъ, объединить ихъ, при чемъ ни образованные классы не должны отказываться отъ началъ своей образованности, ни народъ отъ своихъ почвенныхъ началъ. Требуется совершить нѣкоторый синтезъ, который совмѣстилъ бы въ себѣ тѣ и другія начала. Въ возможности этого синтеза Достоевскій ни мало не сомнѣвался; онъ пошелъ еще далѣе: онъ предполагалъ, что русскому народу даны духовныя силы, съ которыми онъ можетъ совершить *всемирный синтезъ*, то-есть найти исходъ и примиреніе для всѣхъ противорѣчій, какія обнаружилась въ историческомъ челоѣчествѣ. Мысль о такомъ свойствѣ и предназначеніи русскаго народа составляетъ содержаніе *пушкинской рѣчи* Федора Михайловича, и слѣдовательно исповѣдывалась имъ до конца.

Мысль эта для него очень характерна. Она свидѣтельствуетъ о той ширинѣ симпатій, которою онъ отличался. Онъ не отказывался отъ сочувствія къ самымъ разнороднымъ и даже, повидимому, противорѣчающимъ явленіямъ, какъ скоро разъ сочувствіе къ нимъ успѣло въ немъ возникнуть. Онъ не сумѣлъ бы логически согласовать свои сочувствія, усмотрѣть противорѣчія, къ которымъ они могутъ повести въ дальнѣйшихъ выводахъ, и найти формулу, устраняющую эти противорѣчія; но онъ ми-

рилъ въ себѣ свои сочувствія психологически и эстетически. Такого рода настроеніе играло большую роль въ его дѣятельности и было для нея очень благоприятно. Общую чертою этой дѣятельности, чрезвычайно важною, нужно считать—отсутствіе злобы и презрѣнія въ постановкѣ нашей великой распри между западною и русскою идеею. Эта черта составляла сущность того электрическаго дѣйствія, которое произвела рѣчь Достоевскаго на Пушкинскомъ праздникѣ; она же, какъ мы увидимъ, характеризуетъ собою его романы и „Дневникъ“.

Другая черта, которой нельзя не замѣтить въ объявленіи, есть неопредѣленность тѣхъ началъ, принциповъ, на которые оно ссылается. Такъ и слѣдовало этому быть при исходной точкѣ и умственномъ настроеніи Достоевскаго. Мысль его явилась ему пока только въ самомъ общемъ своемъ видѣ. Между тѣмъ какъ славянофилы прямо заявляли нѣкоторыя опредѣленные религіозныя, философскія, политическія понятія, Достоевскій еще только ищетъ тѣхъ началъ, которыя поведутъ къ желаемому имъ примиренію. Тѣмъ не менѣе, онъ говоритъ объ этихъ исходныхъ началахъ съ большою твердостью и настойчивостію. Это также одно изъ его отличительныхъ свойствъ. Мысли самыя общія и отвлеченныя нерѣдко дѣйствовали на него съ большою силою, и онъ воодушевлялся ими чрезвычайно. Вообще онъ былъ человѣкъ въ высокой степени восторженный и впечатлительный. Простая мысль, иногда давно извѣстная и обыкновенная, вдругъ зажигала его, являясь ему во всей своей значительности. Онъ, такъ сказать, необыкновенно живо *чувствовалъ мысли*. Тогда онъ высказывалъ ее въ различныхъ видахъ, давалъ ей иногда очень рѣзкое, образное выраженіе, хотя и не разъяснялъ логически, не развертывалъ ея содержанія. Прежде всего онъ былъ все-таки художникъ, мыслилъ образами и руководился чувствами.

Третья знаменательная черта „Объявленія“ есть, конечно, та живая надежда на скорость и возможность достиженія поставленныхъ цѣлей, которая въ немъ высказывается. Это также нужно отнести къ живости чувства, наполнявшаго Достоевскаго. Между тѣмъ, какъ славянофилы, поставивши свою задачу во всей ея глубинѣ, видѣли трудность ея исполненія и, чѣмъ громче былъ шумъ литературнаго и общественнаго движенія, тѣмъ яснѣе видѣли, что исполненіе завѣтныхъ ихъ желаній отодвигается самымъ этимъ движеніемъ,—Достоевскій, увлекаясь самъ господствующимъ возбужденіемъ и не видя въ немъ элементовъ, вполне враждебныхъ своему идеалу, смѣло поднималъ знамя и думалъ, что увлечетъ за собою эту волнующуюся массу. Эта способность горячей вѣры и надежды не оставляла его до послѣднихъ дней. Всегда онъ увлекался стре-

нительностью своихъ мыслей и готовъ былъ думать, что неминуемо и скоро совершится то, что такъ ясно видѣлъ его умственный взоръ.

Впрочемъ тогда, когда писалось „Объявленіе“, рѣдко кто могъ воздержаться отъ увлеченія. Это было именно время надеждъ и порываній. Всѣ умы были въ такомъ возбужденномъ состояніи, все пришло въ такое броженіе, что, повидимому, могли совершиться самыя невѣроятныя вещи. Чувство дѣйствительности потерялось; казалось, чего мы захотимъ, то и сдѣлаемъ.

Вся вторая половина „Объявленія“ посвящена уже не изложенію направленія журнала, а чисто литературнымъ дѣламъ того времени. Одною изъ причинъ основанія новаго журнала выставляется измѣльчаніе и рутинности критики, рабство журналистики передъ литературными авторитетами, отсутствіе вполне независимыхъ голосовъ, господство ходячихъ мнѣній, обратившихся въ несомнѣнные афоризмы, и безнаказанное существованіе литературныхъ скандальныхъ и странныхъ явленій. Конечно, всѣ указанные здѣсь черты того времени справедливы: къ сожалѣнію, не могу припомнить частныхъ случаевъ, къ которымъ относятся слова „Объявленія“. Достоевскіе, составляя особый кружокъ, не примыкавшій ни къ какому журналу, но въ то же время всею душою преданный литературѣ, естественно должны были строго судить объ ея явленіяхъ и составлять объ нихъ свои собственные приговоры; поэтому ихъ раздражало чужое пристрастіе и замалчиваніе. Но частныхъ поводовъ, къ сожалѣнію, указать не могу. Скажу только вообще, что сама печать питала тогда къ себѣ нѣкоторое уваженіе и представляла такое единодушіе, которому трудно повѣрить въ настоящее время; казалось, что въ существенныхъ вопросахъ всѣ согласны и что никто не дастъ другаго въ обиду. Существовалъ цѣлый рядъ именъ, которыя считались украшеніемъ русской литературы; это были большею частію поэты и романисты; говорить объ нихъ безъ уваженія, безъ очевиднаго признанія ихъ достоинствъ, считалось неприличнымъ по тогдашнимъ литературнымъ нравамъ. Разумѣется, тутъ могло встрѣчаться и рабодѣство и потворство, особенно когда вся литература сосредоточивалась въ журналахъ, которые больше или меньше питались громкими именами.

Достоевскій, выступая съ новою мыслию, очень вѣрно понималъ свое публицистическое дѣло; поэтому онъ такъ рѣшительно заявилъ, что „сила журнала не заключается въ знаменитостяхъ“, что онъ будетъ прямо и смѣло обсуживать литературные авторитеты, даже „дразнить гусей“ и вести полемику. Тутъ, если очень не ошибаюсь, имѣлись въ виду преимущественно сужденія о художественныхъ достоинствахъ писателей,

и во всякомъ случаѣ безпристрастїе здѣсь разумѣлось въ самомъ широкомъ смыслѣ. Но положительно можно сказать, что, не смотря на эту похвальбу, „Время“ не отличилось никакимъ походомъ на авторитеты. Оно вело войну съ „Современникомъ“, но эта была полемика съ направлеиіемъ, а не развѣнчаніе того или другаго изъ извѣстныхъ писателей. Да „Время“ было и слишкомъ мягкосердечно, смотрѣло на вещи слишкомъ широко, для подобнаго занятія. Походъ на авторитеты и разрушеніе литературнаго единодушія совершены были другою литературною партией, именно тою, во главѣ которой стоялъ „Современникъ“.

Эта печальная исторія и нѣ гораздо живѣе памятна, чѣмъ счастливый періодъ, ей предшествовавшій. Понемногу начались дѣйствія, которыя, кажется, всего лучше назвать *литературными казнями*. Эти казни сначала были рѣдки и совершались сперва съ тѣмъ единодушіемъ, которое тогда было свойственно литературѣ. Если какой нибудь писатель оказывался виновнымъ, то, бывало, вся литература набрасывалась на эту жертву, набрасывалась такъ же, какъ на взятки, побои или какой нибудь другой безобразный поступокъ, выплывшій на свѣтъ Ножи. По всѣмъ журналамъ сыпались безчисленныя насмѣшки и несчастному писателю приходилось плохо. Такое времяпровожденіе очень поправилось, и нашлось много охотниковъ до такой расправы, производимой въ собственномъ литературномъ кругу. Партія „Современника“, и нѣвшая сильный вѣсъ въ публикѣ, загорѣлась особеннымъ усердіемъ; она стала дѣйствовать какъ нѣкотораго рода *комитетъ общественнаго спасенія*, и этотъ комитетъ, отличавшійся великою и возрастающею жестокостію, долго сохранялъ, однакоже, полнѣйшій авторитетъ.

Литературныя имена одно за другимъ были уничтожены; каждая книжка журнала совершала нѣсколько казней и угрожала тѣмъ, кто еще не подвергся гибели. Память объ этихъ временахъ литературнаго террора теперь почти вовсе изгладилась; но тогда шумъ стоялъ большой и дѣло ни мало не казалось смѣшнымъ. Если не ошибаюсь, одинъ изъ первыхъ былъ уничтоженъ Розенгеймъ, потомъ стертъ съ лица земли Н. Львовъ, авторъ какой-то комедіи, низринуть въ прахъ Погодинъ, погибли во цвѣтъ гѣтъ Случевскій, Кусковъ и многое множество другихъ; очередь дошла наконецъ и до Костомарова и до самого Тургенева... Катастрофа съ Тургеневымъ, случившаяся въ началѣ 1862 года, есть конечно самое громкое происшествіе этой исторіи, и если читателямъ ничего не говоритъ напоминаніе и этого событія, то имъ трудно будетъ составить себѣ живое понятіе о волненіяхъ этой литературной эпохи.

Для поясненія тогдашняго состоянія дѣлъ припомню здѣсь случай

не столь значительный, но очень характеристическій и бывший не задолго до казни Тургенева. Случилось, что вдруг подвергся опасности Писемскій. Первый звукъ грозы, направленной противъ такого извѣстнаго писателя, сейчасъ-же обратилъ общее вниманіе, т. е. въ литературныхъ кружкахъ; дѣло казалось важнымъ и неслыханно дерзкимъ. Громъ выходилъ хотя не изъ центрального комитета, но изъ небольшого журнала съ карриатурами (Искры), который могъ считаться отдѣломъ комитета. Въ этомъ журналѣ вдругъ заговорили о Писемскомъ такъ, какъ прежде никто не смѣлъ говорить; сказали, что онъ пишетъ „*мусную дичь*“. Не знаю, разсердился-ли и испугался-ли Писемскій, но очень ясно помню, что за него многіе разсердились. Подняли толки, было предположено составить *протестъ* за Писемскаго, какъ это было тогда въ обычаѣ, и стали уже собирать подписи для этого протеста. Протестъ—это значило: заявить всею массою, отъ лица *всей литературы*, что такой-то поступокъ считается низкимъ, неблагороднымъ, возбуждающимъ негодованіе. На этотъ разъ число протестующихъ и ихъ негодованіе не достигли однако же нужной величины, протестъ не состоялся, и скоро это происшествіе было заглушено шумомъ новыхъ событій. Вотъ каковы были литературные нравы еще въ началѣ 1862 года; если сравнить ихъ съ теперешними, разница выйдетъ поразительная. Теперь никого не удивитъ никакою бранью; ни казни, ни протесты невозможны, потому что нѣтъ ни единой и нераздѣльной публики, ни единой и нераздѣльной литературы.

III.

Новое направленіе.—Почвенники.

Обращаясь опять къ той главной руководящей мысли, съ которою выступило „Время“. Чтобы понять настроеніе, въ которомъ мы всѣ находились и подъ вліяніемъ котораго сложились и мнѣнія журнала братьевъ Достоевскихъ, нужно вспомнить, въ какое время все это происходило. Это былъ 1861 годъ, то есть годъ освобожденія крестьянъ, самая свѣтлая минута прошлаго царствованія, мгновеніе истиннаго восторга. Казалось, въ Россіи должна была начаться новая жизнь, что-то не похожее на все прежнее; казалось, сбываются и могутъ сбыться самыя смѣлыя и радостныя надежды; вѣра во все хорошее была легка и естественна.

Всѣмъ было извѣстно, что происходятъ работы по крестьянскому дѣлу и что они близки къ концу. Въ третьей, мартовской книжкѣ журнала уже

былъ напечатанъ манифестъ 19 февраля, который былъ объявленъ 5 марта, въ прощальное воскресенье, наканунѣ чистаго понедѣльника. Всѣ съ нетерпѣніемъ и волненіемъ ожидали великой минуты. Говорили тогда, что объявленіе манифеста было нарочно отложено до этого дня, чтобы сообщить народу вѣсть о переломѣ въ его судьбѣ не среди разгула масляницы, а какъ разъ наканунѣ великаго поста. Тутъ были какія-то опасенія, вѣроятно со стороны тѣхъ, кто расположенъ видѣть въ народѣ „буйнаго звѣря“; но во всякомъ случаѣ минута выбрана была прекрасно. Всѣ мы потомъ дѣлились между собою впечатлѣніями, какія каждому удалось собрать въ этомъ знаменательный день. Оказывалось, что въ народѣ вѣсть объ освобожденіи была встрѣчена глубокою тишиною; шумная и пьяная масляница затихла; видно было, что людьми овладѣли тѣ важныя чувства, которыя мы такъ охотно переживаемъ въ молчаніи.

Послѣ этой радостной минуты быстро наступили, какъ извѣстно, минуты тяжелыя; въ концѣ того же года—студентская исторія; въ слѣдующемъ 1862 году—петербургскіе пожары; въ началѣ 1863 года—польское возстаніе. Но до 1861 года ничего подобнаго не было, и начиная съ самаго 1855 года радостное оживленіе безъ всякой помѣхи разрасталось въ обществѣ и литературѣ. Въ продолженіи семи лѣтъ постепенно и непрерывно шли всякія облегченія и дозволенія, нововведенія и преобразованія, и все шло благополучно.

Цензура съ каждымъ годомъ становилась снисходительнѣе, и число книгъ и журналовъ быстро росло. Въ это время высказались и договорились до конца тѣ мнѣнія и настроенія, которыя сложились и окрѣпли въ періодъ молчанія до 1855 года; на просторѣ и среди общаго оживленія, они смѣло пускались въ приложеніе и развитіе своихъ началъ; давнишняя же привычка и легкій надзоръ цензуры давали всему видъ и очень приличный и очень завлекательный. Такимъ образомъ въ эти семь лѣтъ сложились тѣ направленія, которыя господствуютъ до сихъ поръ. Последнимъ явленіемъ этого рода было направленіе „Времени“, пущенное въ ходъ Федоромъ Михайловичемъ. По его предположенію, это было совершенно новое, особенное направленіе, соответствующее той новой жизни, которая видимо начиналась въ Россіи, и долженствующее упразднить, или превзойти прежнія партіи западниковъ и славянофиловъ. Неопредѣленность самой мысли не пугала его, потому что онъ твердо надѣялся на ея развитіе. Но, что всего замѣчательнѣе,—въ тогдашнемъ состояніи литературы были странныя черты, которыя позволяли ему думать, что давнишнія литературныя теченія, западническое и славянофильское, изсякли, или готовы изсякнуть, и что готово возникнуть что-то новое. Дѣло въ

томъ, что тогда партіи не выдѣлялись ясно и вся литература сливалась во что-то единое. Мнѣ еще памятно то почти дружественное чувство, которое тогда господствовало между пишущими. Получивши лишь недавно голосъ, имѣя въ виду общаго своего зрителя, цензуру, нѣкогда столь грозную, литераторы считали себя обязанными беречь и поддерживать другъ друга. Вообще предполагалось, что литература дѣлаетъ нѣкоторое общее дѣло, передъ которымъ должны отступать на задній планъ разногласія во мнѣніяхъ. Дѣйствительно, всѣ одинаково стояли за просвѣщеніе, свободу слова, снятіе всякихъ узъ и стѣсненій и т. п., словомъ за самыя ходячія либеральныя начала, понимаемыя совершенно отвлеченно, такъ что подъ нихъ подходили самыя разнообразныя и противорѣчащія стремленія. Конечно, представители различныхъ направленій знали про себя границы, ихъ отдѣляющія, но для обыкновенныхъ читателей и для большинства пишущихъ литература составляла нѣчто цѣлое. Въ сущности это былъ хаосъ, безформенный и многообразный, и потому легко могло возникнуть желаніе—дать ему форму, или, по крайней мѣрѣ, выдѣлить изъ него нѣкоторое болѣе опредѣленное теченіе. Что касается прямо до Федора Михайловича, то, взглянувъ на всю его журнальную дѣятельность, нельзя не сказать, что онъ успѣлъ въ своемъ желаніи. Среди петербургской литературы иногда его голосъ раздавался громко, особенно въ послѣдніе годы его жизни, когда онъ даже перевѣшивалъ другіе голоса, протестуя и указывая другой путь.

Какъ бы то ни было, тогда, при началѣ „Времени“, рѣшено было, что славянофилы и западники уже отжили и что пора начать нѣчто новое. Въ добавленіе къ тому, что сказано объ этомъ пунктѣ въ „Объявленіи“, приведемъ еще замѣтку, появившуюся въ № 1 „Времени“ 1861 г. на задней страницѣ обертки.

Отъ Редакціи.

„Первый номеръ нашего журнала явился передъ публикой. Мы не „могли еще въ немъ разъяснить вполне основную мысль нашу. Освѣтитъ „всѣ ея стороны, оправдать въ обществѣ ея потребность и жизненность „можно только цѣлымъ годомъ или даже годами изданія журнала. Мы „вѣруемъ только въ одно—что наша мысль отзывается на потребности „общества. Да и не мы первые провозгласили ее. Она давно уже вырывалась наружу и искала заявить себя:—и въ горячемъ словѣ, и въ „надеждахъ на будущее, и въ охлажденіи къ обѣимъ стариннымъ партіямъ, „еще такъ недавно раздѣлявшимъ всю мыслящую часть нашего общества.

„Но общество поняло, что съ западничествомъ мы упрямо натягивали на себя чужой кафтанъ, не смотря на то, что онъ уже давно трещалъ по всѣмъ швамъ, а съ славянофильствомъ раздѣляли поэтическую грезу возсоздать Россію по идеальному взгляду на древній бытъ, взгляду, ставшему вмѣсто настоящаго понятія о Россіи какою-то балетною декорацию, красивую, но несправедливую и отвлеченную. И хотя въ славянофилахъ было много любви къ родинѣ, но чутье русскаго духа они потеряли. Они также ошиблись, какъ ошибаются тѣ господа, большею частію чистые и наивные сердцемъ, которые, надѣвъ на себя древній кафтанъ, бархатную поддевку и шелковую рубашку съ золотыми галунами, воображаютъ, что они соединились съ народнымъ началомъ. Общество смотритъ на нихъ съ недоумѣніемъ, а народъ равнодушно. Но теперь мы хотимъ жить и дѣйствовать, а не фантазировать. Общество ищетъ дѣятельности и всѣми силами своими стремится угадать и опредѣлить ее.

„Мы особенно будемъ обращать вниманіе въ нашемъ журналѣ на всѣ современные явленія, которыми хоть сколько нибудь можемъ оправдать и доказать нашу мысль. Кроме того, мы усиленно будемъ слѣдить за движеніемъ всѣхъ современныхъ идей. Съ будущихъ номеровъ нашего журнала мы надѣемся открыть въ немъ отдѣлъ для разбора и безпристрастной оцѣнки, по возможности, всѣхъ тѣхъ ходячихъ идей, современныхъ предположеній и вопросовъ, которые появятся въ другихъ русскихъ журналахъ.

„Рядъ статей о русской литературѣ (въ первой книгѣ мы напечатали лишь введеніе) будетъ слѣдовать, по возможности, непрерывно. Со втораго-же номера мы обратимся къ одному изъ самыхъ современныхъ вопросовъ нашей литературы, вопросу о значеніи искусства и о настоящемъ отношеніи его къ дѣйствительной жизни. Это самый горячій изъ современныхъ литературныхъ вопросовъ, который настоятельно требуетъ разрѣшенія. Вообще нашъ журналъ употребитъ всѣ усилія, чтобъ не быть отвлеченнымъ, и, повторяемъ, будетъ преимущественно заниматься тѣмъ, что относится къ самымъ современнымъ явленіямъ жизни. Онъ не отказывается отъ споровъ, отъ возраженій. Кроме того, онъ сторонникъ гласности и нарицаетъ скандалъ только въ умышленномъ намѣреніи оскорбить личность, въ заносчивости авторитетовъ, въ безстыдной лжи передъ публикой, въ обличеніи не для пользы общества, а единственно для личнаго оскорбленія обличаемаго. Такія дѣйствія, если они будутъ совершаться въ литературѣ, мы будемъ сами обличать всѣми нашими силами. Особенное вниманіе обратимъ мы на отдѣлы „Внутрен-

„нихъ Новостей“ и „Политическаго Обзорѣнія“. Последній отдѣлъ особенно для насъ важенъ.“

Существенный поводъ къ этой замѣткѣ, очевидно, состоялъ въ томъ, что въ *Объявленіи* слишкомъ бѣгло было сказано о западничествѣ и славянофильствѣ, и нужно было яснѣе выразить мысль объ упраздненіи этихъ двухъ направленій. Бронѣ Ѳедора Михайловича, эта мысль нашла полную поддержку у *Ан. Григорьева*, который сталъ усердно писать во „*Времени*“, начиная со второй книжки. Привлеченію его къ журналу отчасти содѣйствовалъ я, считавшій и считающій его до сихъ поръ лучшимъ нашимъ критикомъ. Помню самый разговоръ. Отъ меня непремѣнно желали статей по литературной критикѣ; я отказывался и сталъ настойчиво указывать на Григорьева. Къ моей неожиданной радости, Ѳедоръ Михайловичъ объявилъ, что онъ самъ очень любитъ Григорьева и очень желаетъ его сотрудничества. Но приглашеніе состоялось уже немножко поздно, и первая книжка явилась безъ статьи того критика, котораго потомъ мы всѣ, до самой его смерти, признавали своимъ вождемъ въ сужденіяхъ о литературѣ. Статья Григорьева начиналась такъ:

„Къ числу несомнѣнныхъ, купленныхъ опытомъ, фактовъ нашего времени, принадлежитъ тотъ фактъ, что въ сущности нѣтъ уже болѣе теперь у насъ двухъ направленій, лѣтъ за десять тому назадъ рѣзко-враждебно стоявшихъ одно противъ другаго, — *западнаго* и *восточнаго*. Фактъ этотъ пора засвидѣтельствовать для общаго сознанія; ибо для сознанія отдѣльныхъ лицъ, для сознанія каждаго изъ насъ, пишу-щихъ и мыслящихъ людей, онъ уже засвидѣтельствованъ давно“ („*Время*“, 1861. № 2).

Такое рѣшительное мнѣніе объ *упраздненіи* двухъ главныхъ литературныхъ направленій было внушено Григорьеву конечно *желаніемъ* такой перемены. Вспомнимъ, что онъ принадлежалъ къ такъ называемой *молодой редакціи* Погодинскаго „*Москвитянина*“, къ кружку, членами котораго нѣкогда (1850—1855) были А. Н. Островскій, Т. И. Филипповъ, А. Ѳ. Писемскій, А. А. Потѣхинъ, Е. Н. Эдельсонъ, В. Н. Алмазовъ. Кружокъ этотъ, какъ и самъ Погодинъ, имѣлъ въ сущности славянофильское направленіе, но былъ очень свободенъ въ своихъ симпатіяхъ и по-немногу отдѣлился отъ чистаго славянофильства. Погодинъ, имѣвшій въ свое время вліяніе и на Пушкина и на первыхъ славянофиловъ, пользовался великимъ уваженіемъ и у *молодой редакціи* за свой глубочайшій патріотизмъ, за живость и глубину чисто русскихъ

симпатій; но онъ, оставаясь при своихъ мнѣніяхъ и называя себя *старою редакціею*, предоставилъ въ своемъ журналѣ просторъ молодому кружку, съ великимъ энтузіазмомъ работавшему на литературномъ поприщѣ. Главнымъ отличіемъ этого кружка было восторженное поклоненіе художественной литературѣ; въ ней они видѣли наилучшее выраженіе народнаго духа и духа времени, въ ней искали откровеній и правилъ. Тутъ Островскій былъ провозглашенъ *новымъ словомъ* въ литературѣ; тутъ господствовало благоговѣніе къ Гоголю и Пушкину и совершался отпоръ *натуральной школѣ* и другимъ уклоненіямъ петербургской литературы. Славянофильство, какъ извѣстно, было гораздо строже и скупѣе въ своихъ симпатіяхъ, и молодая редакция, упрекая его въ холодности къ литературѣ и мечтая занять мѣсто во главѣ литературнаго движенія, слегка обособилась въ отдѣльную партію. Къ этой-то партіи принадлежалъ Ап. Григорьевъ, и своимъ желаніемъ отдѣлиться отъ славянофиловъ онъ значительно поддержалъ мысль Федора Михайловича о созданіи новаго направленія. Для всѣхъ насъ авторитетъ Ап. Григорьева въ этомъ дѣлѣ имѣлъ рѣшительное значеніе; его мы почитали настоящимъ судьей въ вопросахъ критики и направленій. Такъ образовалась та партія, которая долго была извѣстна въ петербургской литературѣ подъ именемъ *почвенниковъ*; выраженія, что мы *оторвались отъ своей почвы*, что намъ слѣдуетъ *искать своей почвы*, были любимыми оборотами Федора Михайловича и встрѣчаются уже въ первой его статьѣ. Выраженіе это, очень образное и живое, имѣло ту выгоду, что было въ то же время очень общее, не указывало прямо опредѣленнаго принципа. Подъ него, конечно, подходило и славянофильство; но „Время“ давало постоянно чувствовать, особенно сначала, что оно разумѣетъ здѣсь другое, хотя и родственное направленіе.

Отношенія къ славянофиламъ были слѣдующія. Ап. Григорьевъ всегда говорилъ объ нихъ и устно и печатно съ величайшимъ уваженіемъ. Отъ него и мы всѣ научились этому уваженію, котораго невозможно было почерпнуть изъ петербургской литературы, никогда не упоминавшей о славянофилахъ безъ насмѣлки и презрѣнія. Припомню здѣсь маленькій случай, который какъ нельзя яснѣе покажетъ положеніе дѣлъ. Въ 1866 г., литераторы вздумали сдѣлать подарокъ Коммисарову, спасшему Государя отъ смерти, именно подарить ему коллекцію лучшихъ русскихъ книгъ. Образовался маленькій комитетъ, чтобы составить списокъ лучшихъ книгъ, и я былъ приглашенъ. Когда, между прочимъ, я предложилъ внести сочиненія Хомякова, Кирѣевскаго и Аксакова, то встрѣтилъ живѣйшее противодѣйствіе; члены комитета, люди очень почтенные и свѣдующіе,

говорили, что это писатели съ *странными* мнѣніями, никѣмъ не раздѣляемыми, и мнѣ едва удалось настоять на своемъ, и то потому, что членамъ пришли на мысль совершенно побочныя соображенія. Такъ стояли дѣла въ петербургской литературѣ, да и теперь они стоятъ едва-ли многимъ лучше.

Достоевскіе были прямыми питомцами петербургской литературы; это всегда нужно помнить при оцѣнкѣ ихъ литературныхъ пріемовъ и сужденій. Михайло Михайловичъ былъ, разумѣется, болѣе подчиненъ и былъ холоденъ или даже предубѣжденъ противъ славянофиловъ, что и отразилось въ его вопросѣ: „Какіе-же глубокіе мыслители Хомяковъ и Кирѣевскій?“, такъ задѣвшемъ за живое Ап. Григорьева. Въ своемъ первомъ письмѣ изъ Оренбурга, Григорьевъ выставляетъ этотъ вопросъ чуть не прямою причиною, почему онъ, послѣ своей четвертой статьи, задумалъ покинуть журналъ и уѣхать *). Ѳедоръ Михайловичъ, хотя и былъ тогда почти вовсе незнакомъ съ славянофилами, конечно не былъ расположенъ противорѣчить Григорьеву, и своимъ широкимъ умомъ чувствовалъ, на чьей сторонѣ правда. Какъ-бы то ни было, очевидно, направленіе „Времени“ чрезъ Ап. Григорьева примыкаетъ къ одной вѣткѣ Погодинскаго славянофильства; и Григорьеву-же принадлежитъ твердое признаніе за чистымъ славянофильствомъ великаго, существеннаго значенія въ нашей умственной жизни.

Но самая важная и плодотворная роль во всемъ этомъ дѣлѣ, конечно, принадлежитъ Ѳедору Михайловичу. Онъ сознательно и прямо пошелъ на встрѣчу сперва Ап. Григорьеву, а потомъ славянофиламъ. При быстротѣ и гибкости своего ума онъ легко понималъ эти мнѣнія въ самыхъ ихъ основаніяхъ; главное-же тутъ было то, что онъ уже самъ, по складу убѣжденій, воспитанныхъ въ немъ сближеніемъ съ народомъ и внутреннимъ поворотомъ мыслей, былъ бессознательнымъ славянофиломъ. Славянофильство вѣдь не есть надуманная и оторванная отъ жизни теорія: оно есть естественное явленіе, съ положительной стороны—какъ консерватизмъ, т. е. приверженность къ давнишнимъ началамъ русской жизни, съ отрицательной—какъ реакція, т. е. желаніе сбросить умственное и нравственное иго, налагаемое на насъ Западомъ. Такимъ образомъ произошло и то, что Ѳедоръ Михайловичъ создалъ себѣ цѣлый рядъ взглядовъ и симпатій совершенно славянофильскихъ и выступилъ съ ними въ литературу, сперва не замѣчая своего средства съ давно существующею литературною партією, но потомъ прямо и открыто примкнулъ къ ней.

*) См. „Эпоха“, 1864 г., Октябрь. *Воспоминанія объ Ап. Григорьевѣ.*

Такіе союзники, какъ извѣстно, въ каждомъ дѣлѣ считаются самыми дорогими; это не вышколенные послѣдователи, не ученики, рабки повторяющіе слова учителей, а люди самостоятельныя, способныя сами крѣпко стоять за идею и развивать ее дальше. Съ большою тонкостію Федоръ Михайловичъ угадывалъ приложенія своихъ началъ и отверивалъ ихъ различныя стороны; случалось, ему потомъ и указывали, что то или другое было уже сказано славянофилами, и тогда онъ откровенно признавался: „я этого не зналъ“.

Для полноты картины прибавлю нѣсколько словъ о себѣ самомъ. Въ журналистику я вступилъ, сколько помню, съ нѣкоторымъ равнодушіемъ и даже лѣнью, и потому не принималъ большого участія въ вопросѣ о направленіи. Мысль о *новомъ направленіи*, однако же, сперва занимала меня, особенно влѣдствіе вліянія Ап. Григорьева; но очень скоро, можетъ быть, по своему нерасположенію къ неопредѣленности, я порѣшилъ, что нужно прямо признавать себя славянофиломъ, когда признаешь существованныя начала этого ученія. Такимъ образомъ, нѣкоторое время я расходился съ направленіемъ „*Времени*“, причемъ не могу сказать, чтобы горячо проповѣдывалъ или отстаивалъ свое расхожденіе. И безъ того дѣло шло своимъ естественнымъ путемъ и пришло къ необходимому выводу.

Не то было съ сотрудниками, которые были помоложе. Они всего тѣснѣе группировались около Ап. Григорьева, привлекавшаго ихъ не только умомъ, но и дѣтскою простотою и добродушіемъ. Молодые люди долго носились съ мыслью о новомъ направленіи. Дѣло, конечно, состояло въ томъ, чтобы дать нѣкоторый большій просторъ славянофильскому взгляду, захватить въ него тѣ явленія, которыя онъ ревниво исключалъ, напр. текущую литературу, или разныя западныя вліянія. Тутъ происходили безконечныя споры и дѣлались попытки ежедневно перестроивать или исправлять свое міросозерцаніе чуть не съ самыхъ основъ. Картина этого умственного броженія предстала мнѣ однажды съ такою ясностію, что я позволю себѣ рассказать этотъ случай. Одинъ изъ сотрудниковъ „*Времени*“ и „*Эпохи*“, Иванъ Григорьевичъ Долгомостьевъ, умный и благородный молодой человекъ, на моихъ глазахъ подвергся стѣсненію, за которымъ скоро послѣдовала смерть. Это было въ 1867 году, два или три года послѣ прекращенія „*Эпохи*“ и разсѣянія всего ея кружка. Я давно зналъ Ивана Григорьевича, зналъ всѣ его мысли и занятія; нѣкоторое время послѣ паденія „*Эпохи*“ мы жили вмѣстѣ съ нимъ. На этотъ разъ онъ жилъ отдѣльно, но въ началѣ декабря, при наступленіи жестокихъ морозовъ, онъ вдругъ является ко мнѣ и со слезами жалуется на

нестерпимыя возни и преслѣдованія, которыми онъ будто бы подвергается въ своей изблгванной комнатѣ. Чтобы успокоить его, я предложилъ ему остаться у меня, довольно ясно понявши его состояніе. Черезъ нѣсколько дней, когда я, около часу ночи, вернулся домой, онъ, противъ обыкновенія, еще не спалъ и сталъ изъ своей комнаты говорить мнѣ что-то, довольно странное, какъ и всѣ его рѣчи въ послѣднее время. Я настоятельно попросилъ его не разговаривать и спать, улегся самъ и заснулъ. Черезъ часъ или полтора меня разбудилъ какой-то говоръ. Въ темнотѣ слушаю и слышу, что мой гость лежа говоритъ самъ съ собою. Разговоръ, очевидно, начатъ былъ шепотомъ, но становился съ каждою минутою громче и громче; наконецъ, онъ сѣлъ на своей постели и все продолжалъ говорить. Я понялъ, что это полный бредъ съумасшествія. Что было дѣлать? Толкаться среди ночи къ доктору или въ больницу было бы для всѣхъ большимъ безпокойствомъ, и едва-ли бы я выгадалъ много времени. Я рѣшился ждать разсвѣта. И вотъ въ продолженіе пяти или шести часовъ, лежа въ темнотѣ, я слушалъ этотъ бредъ. Такъ какъ мнѣ извѣстны были всѣ мысли и всякій способъ выраженія моего пріятели, то для меня съ удивительною ясностію открылась тайна съумасшествія, по крайней мѣрѣ этого съумасшествія. Это былъ хаосъ давно знакомыхъ мнѣ словъ и мыслей; какъ будто вся душа несчастнаго Ивана Григорьевича, всѣ его мысли и чувства были изорваны въ клочки, и эти клочки путались и перепутывались самымъ неожиданнымъ образомъ. Нѣчто подобное бываетъ съ нами, когда мы засыпаемъ и когда образы и слова, наполняющія нашъ умъ, приходятъ въ странныя, бессмысленныя сочетанія.

Но во всемъ этомъ бредѣ была, однакоже, руководящая мысль; больной уже не имѣлъ власти надъ своимъ воображеніемъ и своими понятіями, но въ немъ неизмѣнно дѣйствовало желаніе подгонять этотъ безпорядочный потокъ къ извѣстной цѣли. Эта цѣль, эта мысль была — новое направленіе *почвенниковъ*. Читатель едва-ли себя представитъ, съ какимъ ужасомъ и съ какою жалостію я слушалъ этотъ бредъ; въ этихъ исковерканныхъ и изорванныхъ въ клочки мысляхъ отражались споры и разсужденія, которыя нѣсколько лѣтъ, днемъ и ночью, занимали небольшой кружокъ людей. Для меня не могла быть тайною причина съумасшествія; причина заключалась въ тѣхъ невѣроятныхъ излишествахъ, которыми предавался когда-то нашъ пріятели и которыя совершенно его истощили; но, когда этому организму пришлось погаснуть, послѣдняя его вспышка показала только, что всего больше его интересовало, чѣмъ питался его умъ. Повторяю, Иванъ Григорьевичъ былъ человѣкъ умный и благород-

ный, и въ его съумасшествіи это было для меня яснѣй, чѣмъ когда нибудь.

Итакъ, направленіе *почвенниковъ* имѣло своихъ исповѣдниковъ и, какъ я уже замѣтилъ, имѣло и нѣкоторыя основанія для своего особаго существованія. Оно было, во всякомъ случаѣ, русское, патріотическое направленіе, искавшее себя опредѣленія, и, какъ того требовала логика, наконецъ прижнувшее къ славянофильству. Но нѣкоторое время оно держалось особнякомъ, и на это была двойная причина: во-первыхъ, желаніе самостоятельности, вѣра въ свои силы; во-вторыхъ, желаніе проводить свои мысли въ публику какъ можно успѣшнѣе, интересоваться ею, избѣгать столкновеній съ ея предубѣжденіями. Братья Достоевскіе прилагали большія старанія къ тому, чтобы журналъ ихъ былъ занимателенъ и больше читался. Заботы о разнообразномъ составѣ книжекъ, о произведеніи впечатлѣнія, объ избѣганіи всего тяжелаго и сухаго, были существеннымъ дѣломъ. Этимъ объясняется появленіе въ журналѣ такихъ статей, какъ „Бѣгство Жана Казановы изъ венеціанскихъ Пломбъ“, „Процессъ Ласенера“ и т. п., а также стремленіе другихъ статей къ легкой и шутивой говорливости, бывшей тогда въ ходу во всей журнальной литературѣ. „Время“ не хотѣло никому уступить въ легкости чтенія и въ интересѣ, и хлопотало объ успѣхѣ, не только вообще признавая его обоюдно полезнымъ, и для себя и для публики, но и прямо для того, чтобы дать возможно большее распространеніе той идеѣ, съ которою оно выступило въ литературу. И вотъ почему прямая ссылка на славянофиловъ была бы неудобна, если бы даже журналъ былъ расположенъ ее сдѣлать. Вотъ гдѣ и настоящая причина небольшихъ разногласій, возникавшихъ у журнала съ Ап. Григорьевымъ. Статьи Григорьева усердно читались нами, сотрудниками „Времени“, вѣроятно читались и серьезными литераторами другихъ кружковъ; но для публики онѣ, очевидно, не годились, такъ какъ для своего пониманія требовали и умственнаго напряженія и знакомства съ литературными преданіями, не находящимися въ обиходѣ. Для журнала представляли нѣкоторое неудобство и его рѣзкія ссылки на славянофильство. Въ чемъ тутъ было дѣло, всего лучше объяснить слѣдующая статья самого Федора Михайловича, помѣщенная вслѣдъ за моими „Воспоминаніями объ Аполлонѣ Григорьевѣ“. Статья эта и вообще такъ полна разныхъ автобіографическихъ подробностей, что здѣсь ей настоящее мѣсто.

(Эпоха 1864. Сентябрь).

ПРИМЪЧАНІЕ.

„Никакъ не могу умолчать о томъ, что въ первомъ письмѣ Григорьева касается меня и покойнаго моего брата. Тутъ есть ошибки, и по нѣкоторымъ изъ нихъ полную правду могу возстановить только я; я былъ тутъ самъ дѣятеlemъ, а по другимъ фактамъ личнымъ свидѣтеlemъ.

1) Слова Григорьева: „Слѣдовало не загонять какъ почтовую лошадь высокое дарованіе Ф. Достоевскаго, а холить, беречь его и удерживать отъ фельетонной дѣятельности, которая его окончателно погубить и литературно и физически“...—никоимъ образомъ не могутъ быть обращены въ упрекъ моему брату, любившему меня, цѣнившему меня, какъ литератора, слишкомъ высоко и пристрастно и гораздо болѣе меня радовавшемуся моимъ успѣхамъ, когда они мнѣ доставались. Этотъ благороднѣйшій человекъ не могъ употребить меня въ своемъ журналѣ, какъ почтовую лошадь. Въ этомъ письмѣ Григорьева очевидно говорится о романѣ моемъ: „Униженные и Оскорбленные“, напечатанномъ тогда во „Времени“. Если я написалъ фельетонный романъ *) (въ чемъ сознаюсь совершенно), то виновать въ этомъ я и одинъ только я. Такъ я писалъ и всю мою жизнь, такъ написалъ все, что издано мною, кромѣ повѣсти „Бѣдные люди“ и нѣкоторыхъ главъ изъ „Мертваго Дома“. Очень часто случалось въ моей литературной жизни, что начало главы романа или повѣсти было уже въ типографіи и въ наборѣ, а окончаніе сидѣло еще въ моей головѣ, но непремѣнно должно было написаться къ завтраму. Привыкнувъ такъ работать, я поступилъ точно также и съ „Униженными и Оскорбленными“, но нигдѣмъ на этотъ разъ непринуждаемый, а по собственной волѣ моей. Начинаясь журналу, успѣхъ котораго мнѣ былъ дороже всего, нуженъ былъ романъ, и я предложилъ романъ въ четырехъ частяхъ. Я самъ увѣрилъ брата, что весь планъ у меня давно сдѣланъ (чего не было), что писать мнѣ будетъ легко, что первая часть уже написана и т. д. Здѣсь я дѣйствовалъ не изъ-за денегъ. Совершенно сознаюсь, что въ моемъ романѣ выставлено много куколъ, а не людей, что въ немъ ходячія книжки **), а не лица, принявшія художественную форму (на что требовалось дѣйствительно время и выноска идей въ умъ и въ душѣ). Въ то время

*) Намекъ на выраженіе Григорьева. Н. С.

***) Тоже. Н. С.

„какъ я писалъ, я, разумѣется, въ жару работы этого не сознавалъ, а только развѣ предчувствовалъ. Но вотъ что я зналъ навѣрно, начиная тогда писать: 1) что хоть романъ и не удастся, но въ немъ будетъ поэзія; 2) что будетъ два-три мѣста горячихъ и сильныхъ; 3) что два наиболѣе серьезныхъ характера будутъ изображены совершенно вѣрно и даже художественно. Этой увѣренности было съ меня довольно. Вышло произведеніе дикое, но въ немъ есть съ полсотни страницъ, которыми я горжусь. Произведеніе это обратило впрочемъ на себя нѣкоторое вниманіе публики. Конечно, я самъ виноватъ въ томъ, что всю жизнь такъ работалъ, и соглашаюсь, что это очень не хорошо, но...

„Да проститъ мнѣ читатель эту рацею о себѣ и о „высокомъ дарованіи“ моемъ, хотя бы въ томъ уваженіи, что я первый разъ въ жизни заговорилъ теперь самъ о своихъ ссчиненіяхъ. Но, повторяю, въ фельетонствѣ моемъ я самъ былъ виноватъ и никогда, никогда благородный и великодушный братъ мой не мучилъ меня работой. Добрый Аполлонъ Александровичъ, съ которымъ я сошелся гораздо ближе впоследствии, всегда слѣдилъ за моею работой съ горячимъ участіемъ, и это объясняетъ слова его. Онъ только не зналъ на этотъ разъ въ чемъ дѣло.

2) „Н. Н. Страховъ хоть и представляетъ далѣе въ статьѣ своей „комментарій на слова моего брата, приведенныя Аполлономъ Григорьевымъ, о Кирѣвскомъ, Хомяковѣ и о. Теодорѣ, но такъ какъ я самъ былъ тутъ, при этомъ разговорѣ, то считаю, какъ личный свидѣтель, не лишнимъ разъяснить эти слова въ ихъ настоящемъ смыслѣ.

„Аполлонъ Григорьевъ весьма часто упоминалъ во „Времени“ о Хомяковѣ и Кирѣвскомъ, и упоминалъ всегда такъ, какъ хотѣлъ, потому что сама редація „Времени“ вполне ему сочувствовала. Но то было худо, что часто онъ неумѣло упоминалъ объ этихъ лицахъ, потому что говорилъ о нихъ голословно. Масса читателей тянула тогда совершенно въ другую сторону; про Хомякова и Кирѣвскаго было извѣстно ей только то, что они ретрограды, хотя впрочемъ эта масса ихъ никогда и не читала. Слѣдовало знакомить съ ними читателей, но знакомство это дѣлать осторожно, умѣючи, постепенно, болѣе проводить ихъ духъ и идеи, чѣмъ губить ихъ на то время громкими и голословными похвалами. Оттого-то какой нибудь тогдашній прогрессистъ, раскрывая книгу и наталкиваясь прямо на слова: „великіе мыслители Хомяковъ, Кирѣвскій, о. Теодоръ“ — съ презрѣніемъ закрывалъ журналъ не читая, а Григорьева называлъ сѣумасшедшимъ и смѣялся надъ нимъ.

„Покойный братъ мой, излагая все это Григорьеву въ совершенно дружескомъ разговорѣ, при которомъ я тогда присутствовалъ и въ кото-

„ромъ я участвовалъ, заключилъ такими словами: „Помилуйте, да важ-
„дый читатель послѣ этого совершенно въ правѣ васъ спросить: какіе
„же глубокіе мыслители Кирѣевскій и Хомяковъ?“ (т. е. когда вы не
„объяснили этого, а написали голословно).

„Но Григорьевъ никогда не понималъ такихъ требованій. Въ немъ
„рѣшительно не было этого такта, этой гибкости, которая требуется пу-
„блицисту и всякому проводителю идей. Даже такъ случалось, что послѣ
„подобныхъ объясненій ему иногда казалось, что отъ него требуютъ от-
„ступничества отъ прежнихъ убѣжденій.

„3) Совершенная правда, что въ журналѣ, въ первые годы его су-
„ществованія, были колебанія, — не въ направленіи, а въ способѣ дѣйствія.
„Были тоже ошибки въ нѣкоторыхъ убѣжденіяхъ. Но направленіе могло
„только формулироваться съ годами. Итъ направленіе и угѣтъ его
„ясно и всѣмъ понятно формулировать — дѣло розное. Послѣднее прио-
„брѣтается опытомъ, временемъ, жизнію и находится въ прямомъ отно-
„шеніи къ развитію самого общества. Отвлеченная формула не всегда
„годится. Кому есть чтѣ сказать, тотъ знаетъ, какъ иногда трудно выска-
„заться. Рутинныя формулы, взятыя на прокатъ, да еще заднимъ чис-
„ломъ, т. е. когда уже всѣ о нихъ имѣютъ нѣкоторое понятіе, гораздо
„болѣе удаются, болѣе нравятся обществу, чѣмъ незнакомыя ему убѣжде-
„нія. Только обносившіяся идеи очень понятны *). Въ прежнихъ ошиб-
„кахъ мы готовы сознаться искренно: но вѣдь мы не могли ихъ тогда
„видѣть сами, именно потому, что и тогда дѣйствовали по твердому
„убѣжденію.

„4) Чтѣ же касается до того: пускать-ли того или другаго въ сотру-
„дники, или де требованія человѣка новаго и свѣжаго для политическаго
„обозрѣнія и проч. и проч., то этими требованіями Аполлонъ Григорьевъ
„только доказалъ, что онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о практиче-
„ской сторонѣ изданія журнала. Если, положимъ, К. и М., съ образомъ
„мыслей которыхъ журналъ вполне несогласенъ, представляютъ къ напеча-
„танію въ редакцію журнала такія статьи, которыя на этотъ разъ не про-
„творѣчатъ его главной идеѣ, его направленію, а между тѣмъ сами по
„себѣ любопытны и даже талантливы, то эти статьи, разумѣется, можно
„напечатать. Иначе ни одинъ журналъ не состоится. Также точно
„нельзя не ошибиться, хоть разъ, въ напечатаніи какойнибудь неудач-
„ной драмы или повѣсти. Ошибался и Аполлонъ Григорьевъ, и такое

*) Очень глубокія замѣчанія, — истины, которыхъ публика вовсе не подозрѣ-
ваетъ и которыхъ обыкновенно не считаютъ нужнымъ отрывать ей журналисты.
Н. С.

„требованіе съ его стороны было слишкомъ строго. Требованіе же „новаго и свѣжаго человѣка“ для политическаго обозрѣнія—было еще строже. „Требовать вдругъ всего — было невозможно. Впослѣдствіи „Политическое обозрѣніе“ во „Времени“ составлялось весьма талантливо и замѣчательнымъ сотрудникомъ; но и оно далеко не выражало направленія „журнала. Трудно сразу отыскать для каждаго отдѣла людей съ талантами, равносильными таланту Островскаго, да еще начинающему журналу. Уже довольно того, что журналъ ищетъ этихъ людей и сознаетъ ихъ необходимость. Но всего досаднѣе въ подобныхъ случаяхъ то, что „такого сотрудника, въ данный моментъ, можетъ и совсѣмъ на свѣтѣ не быть.“

„Сдѣлаю еще одно послѣднее, общее замѣчаніе. Въ этихъ великолѣпныхъ, историческихъ письмахъ *), въ которыхъ не звучитъ ни одной „фальшивой (неискренней) ноты и въ которыхъ такъ типично, хотя все еще не вполне, обрисовывается одинъ изъ русскихъ Гамлетовъ нашего времени (настоящихъ Гамлетовъ),—въ этихъ великолѣпныхъ письмахъ, „говору я, не все и теперь можетъ быть взято редакціею „Эпохи“ безъ оговорокъ. Безъ сомнѣнія, каждый литературный критикъ долженъ быть въ то же время и самъ поэтъ; это, кажется, одно изъ необходимѣйшихъ условій настоящаго критика. Григорьевъ былъ безспорный и страстный поэтъ, но онъ былъ и капризенъ и порывистъ какъ страстный поэтъ. „Я не о томъ собственно говорю, что онъ увлекался, — фраза, которую некрологисты его (изъ которыхъ, безъ сомнѣнія, рѣдкій и читалъ Григорьева) обратили въ пошлое выраженіе. Григорьевъ былъ хоть и настоящій Гамлетъ, но онъ, начиная съ Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и гамлетиками, былъ одинъ изъ тѣхъ Гамлетовъ, которые менѣе прочихъ раздвигались, менѣе другихъ и рефлектировали. Человѣкъ онъ былъ непосредственно, и во многомъ даже себѣ невѣдомо — почвенный, кряжевый. Можетъ быть, изъ всѣхъ своихъ современниковъ онъ былъ наиболѣе русскій человѣкъ, какъ натура (не говорю: какъ идеаль; это разумѣется). Отъ этого и происходило, что малѣйшій порывъ свой въ общемъ дѣлѣ онъ считалъ до того кровнымъ и необходимымъ для всего дѣла, до того неразрывнымъ съ дѣломъ, что малѣйшее неудовлетвореніе этому порыву казалось ему иногда паденіемъ всего дѣла. И такъ какъ раздвигался жизненно онъ менѣе другихъ, и, раздвоившись, не могъ такъ же удобно, какъ всякій „ге-

*) Дѣло идетъ объ 11-ти письмахъ Ап. Григорьева изъ Оренбурга ко мнѣ, письмамъ, составляющихъ главное содержаніе моихъ «Воспоминаній».

„рой нашего времени“, одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, „сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже въ прекрасныхъ стихахъ, съ самообожаніемъ и съ нѣкоторымъ гастрономическимъ наслажденіемъ — то и заболѣвалъ тоской своей весь, цѣликомъ, всѣмъ челоукомъ, если позволять такъ выразиться. Въ этомъ настроеніи написаны и письма его.

„Я критикъ, а не публицистъ“, говорилъ онъ мнѣ самъ нѣсколько разъ и даже не задолго до смерти своей, отвѣчая на нѣкоторыя мои замѣчанія. Но всякій критикъ долженъ быть публицистомъ, въ томъ смыслѣ, что обязанность всякаго критика — не только имѣть твердыя убѣжденія, но умѣть и проводить свои убѣжденія. А эта-то умѣлость проводить свои убѣжденія и есть главнѣйшая суть всякаго публициста. Но Григорьевъ, судя о словѣ *публицистъ* съ предубѣжденіемъ, — по нѣкоторымъ частнымъ примѣрамъ бывшихъ у насъ публицистовъ — не хотѣлъ даже понимать, чего отъ него добивались, и, кто знаетъ, по своей гамлетовской мнительности, можетъ быть, думалъ, что отъ него добиваются отступничества.

„Я полагаю, что Григорьевъ не могъ бы ужиться вполне спокойно ни въ одной редакціи въ мірѣ. А еслибы у него былъ свой журналъ, то онъ бы утопилъ его самъ, мѣсяцевъ черезъ пять послѣ основанія *). Но я радъ чрезвычайно, что публика и литераторы могутъ яснѣе узнать по этимъ письмамъ Григорьева, какой это былъ правдивый, высоко-честный писатель, не говоря уже о томъ, до какой глубины доходили его требованія и какъ серьезно и строго смотрѣлъ онъ всю жизнь на свои собственные стремленія и убѣжденія“.

„Федоръ Достоевскій.“

IV.

Болезнь. — Писательскій трудъ.

Эта статья возвращаетъ насъ опять къ самому началу журнала. Федоръ Михайловичъ принялся работать съ удивительнымъ жаромъ. Онъ печаталъ съ первой книжки свой романъ „Униженные и Оскорбленные“ и велъ критическій отдѣлъ, который открылъ статью: „Рядъ статей о

*) Эти разсужденія о томъ, какъ слѣдуетъ вести журнальное дѣло, очень характерны и для того времени, и для Федора Михайловича, какъ журнальнаго дѣятеля.
Н. С.

русской литературѣ. Введеніе“. Но кромѣ того онъ принималъ участіе въ другихъ трудахъ по журналу, въ составленіи книжекъ, въ выборѣ и заказѣ статей, а въ первомъ номерѣ взялъ на себя и фельетонъ. Фельетонъ порученъ былъ собственно Д. Д. Минаеву; но, не знаю почему, содержаніе написаннаго имъ фельетона не удовлетворило Федора Михайловича; тогда онъ наскоро написалъ свою статью, подъ заглавіемъ „Сновидѣнія въ стихахъ и прозѣ“ и вставилъ въ нее всѣ стихотворенія, которыми былъ пересыпанъ фельетонъ Д. Д. Минаева, по тогдашней модѣ, введенной, кажется, Добролюбовымъ, именно его знаменитыя „Свисткомъ“ въ „Современникѣ“. Такого труда, наконецъ, не выдержалъ Федоръ Михайловичъ и на третій мѣсяцъ заболѣлъ. Въ апрѣльской книжкѣ „Времени“ вмѣсто пяти или даже шести печатныхъ листовъ, явилось только 18 страницъ его романа, съ призываніемъ отъ редакціи о болѣзни автора. Болѣзнь эта была страшный припадокъ падучей, отъ котораго онъ дня три пролежалъ почти безъ памяти.

Помню нашу общую тревогу, — не смотря на то, что вообще его припадки были дѣломъ привычнымъ для его близкихъ.

Дорого обходился ему литературный трудъ. Впослѣдствіи имъ случалось слышать отъ него, что для излѣченія отъ падучей доктора однимъ изъ главныхъ условій ставили — прекратить вовсе писаніе. Сдѣлать этого, разумѣется, не было возможности, даже если-бы онъ самъ могъ рѣшиться на такую жизнь, на жизнь безъ исполненія того, что онъ считалъ своимъ призваніемъ. Мало того — не было возможности даже и отдохнуть хорошенько, годъ или два. Только передъ самой смертью дѣла его, благодаря больше всего заботливости Анны Григорьевны, устроились такъ, что отдыхъ былъ возможенъ; но передъ самой-же смертью онъ меньше, чѣмъ когда нибудь, былъ расположенъ остановиться на своемъ пути.

Припадки болѣзни случались съ нимъ приблизительно разъ въ мѣсяцъ, — таковъ былъ обыкновенный ходъ. Но иногда, хотя очень рѣдко, были чаще; бывало даже и по два припадка въ недѣлю. За границу, то есть при болѣе спокойствіи, а также вслѣдствіе лучшаго климата, случалось, что мѣсяца четыре проходило безъ припадка. Предчувствіе припадка всегда было, но могло и обмануть. Въ романѣ *Идиотъ* есть подробное описаніе ощущеній, которыя испытываетъ въ этомъ случаѣ больной. Самому имъ довелось разъ быть свидѣтелемъ, какъ случился съ Федоромъ Михайловичемъ припадокъ обыкновенной силы. Это было вѣроятно въ 1863 году, какъ разъ наканунѣ Свѣтлаго Воскресенья. Поздно, часу въ 11-мъ, онъ зашелъ ко мнѣ и мы очень оживленно разговорились. Не могу вспомнить предмета, но знаю, что это былъ очень важный и

отвлеченный предмет. Федоръ Михайловичъ очень одушевился и зашагалъ по комнатѣ, а я сидѣлъ за столомъ. Онъ говорилъ что-то высокое и радостное; когда я поддержалъ его мысль какимъ-то замѣчаніемъ, онъ обратился ко мнѣ съ вдохновеннымъ лицомъ, показывавшимъ, что одушевленіе его достигло высшей степени. Онъ остановился на минуту, какъ-бы ища словъ для своей мысли, и уже открылъ ротъ. Я смотрѣлъ на него съ напряженнымъ вниманіемъ, чувствуя, что онъ скажетъ что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровеніе. Вдругъ изъ его открытаго рта вышелъ странный, протяжный и безсмысленный звукъ, и онъ безъ чувствъ опустился на полъ среди комнаты.

Припадокъ на этотъ разъ не былъ сильный. Вслѣдствіе судорогъ все тѣло только вытягивалось, да на углахъ губъ показалась пѣна. Черезъ полчаса онъ пришелъ въ себя, и я проводилъ его пѣшкомъ домой, что было недалеко.

Много разъ мнѣ рассказывалъ Федоръ Михайловичъ, что передъ припадкомъ у него бываютъ минуты восторженнаго состоянія. „На нѣсколько мгновеній“, говорилъ онъ, „я испытываю такое счастье, которое невозможно въ обыкновенномъ состояніи и о которомъ не имѣютъ понятія другіе люди. Я чувствую полную гармонию въ себѣ и во всемъ мірѣ, и это чувство такъ сильно и сладко, что за нѣсколько секундъ такого блаженства можно отдать десять лѣтъ жизни, пожалуй всю жизнь“.

Слѣдствіемъ припадковъ были иногда случайныя ушибы при паденіи, а также боль въ мускулахъ отъ перенесенныхъ ими судорогъ. Изрѣдка появлялась краснота лица, иногда пятна. Но главное было то, что больной терялъ память и дня два или три чувствовалъ себя совершенно разбитымъ. Душевное состояніе его было очень тяжело; онъ едва справлялся со своей тоскою и впечатлительностію. Характеръ этой тоски, по его словамъ, состоялъ въ томъ, что онъ чувствовалъ себя какимъ-то преступникомъ, ему казалось, что надъ нимъ тяготѣетъ невѣдомая вина, великое злодѣйство.

Понятно, какъ вредно было для Федора Михайловича все то, что производитъ приливы крови къ головамъ, слѣдовательно по преимуществу писаніе. Это одинъ изъ множества примѣровъ тѣхъ страданій, которыя вообще приходится выносить писателямъ. Кажется, можно считать исключеніемъ тѣхъ изъ нихъ, у которыхъ ихъ трудъ не связанъ съ нарушеніемъ равновѣсія въ организмѣ, не сопровождается впечатлительностію и напряженіемъ, граничащими съ болѣзнию, и потому неизбѣжно ведущими къ страданію. Радости творчества и умственнаго наслажденія имѣютъ свою оборотную сторону, и рѣдко кому удается избѣжать ея.

Чѣмъ выше полеть, тѣмъ большѣ надежіе; тонкая чувствительность часто бываетъ выработана мучительными обстоятельствами, но во всякомъ случаѣ дѣлаетъ мучительными даже обыкновенныя обстоятельства.

Скажу здѣсь и о манерѣ писанія, о которой, съ невольной жалобой, упоминаетъ Федоръ Михайловичъ въ началѣ *Примѣчанія*. Обыкновенно ему приходилось торопиться, писать къ сроку, гнать работу и нерѣдко опаздывать съ работою. Причина состояла въ томъ, что онъ жилъ одною литературою и, до послѣдняго времени, до послѣднихъ трехъ или четырехъ лѣтъ, нуждался, поэтому забиралъ деньги впередъ, давалъ обѣщанія и дѣлалъ условія, которыя потомъ и приходилось выполнять. Распорядительности и сдержанности въ расходахъ у него не было въ той высокой степени, какая требуется при житьѣ литературнымъ трудомъ, неизбѣющимъ ничего опредѣленнаго, никакихъ прочныхъ иѣрокъ. И вотъ онъ всю жизнь ходилъ, какъ въ тенѣтахъ, въ своихъ долгахъ и обязательствахъ и всю жизнь писалъ торопясь и усиливаясь. Но была еще причина, постоянно увеличивавшая его затрудненія и гораздо болѣе важная. Федоръ Михайловичъ всегда откладывалъ свой трудъ до крайняго срока, до послѣдней возможности; онъ принимался за работу только тогда, когда оставалось уже въ обрѣзъ столько времени, сколько нужно, чтобы ее сдѣлать, дѣлая усердно. Это была лѣнь, доходившая иногда до крайней степени, но не простая, а особенная, *писательская лѣнь*, которую съ большою отчетливостію пришлось мнѣ наблюдать на Федорѣ Михайловичѣ. Дѣло въ томъ, что въ немъ постоянно совершался внутренній трудъ, происходило наростаніе и движеніе мыслей, и ему всегда трудно было оторваться отъ этого труда для писанія. Оставаясь, повидимому, празднымъ, онъ, въ сущности, работалъ неутомимо. Люди, у которыхъ эта внутренняя работа не происходитъ, или очень слаба, обыкновенно скучаютъ безъ внѣшней работы и со сластью въ нее втягиваются. Федоръ Михайловичъ съ тѣмъ обиліемъ мыслей и чувствъ, которое онъ носилъ въ головѣ, никогда не скучалъ праздностію и дорожилъ ею чрезвычайно. Мысли его кипѣли; безпрестанно создавались новые образы, планы новыхъ произведеній, а старыя планы росли и развивались. „Кстати“, говоритъ онъ самъ на первой страницѣ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, гдѣ вывелъ на сцену самого себя, „мнѣ всегда пріятнѣе было обдумывать мои сочиненія и мечтать, какъ они у меня напишутся, чѣмъ въ самомъ дѣлѣ писать ихъ, и, право, это было не отъ лѣности. Отчего-же?“

Попробуемъ отвѣчать за него. Писаніе было у него почти всегда перерывомъ внутренней работы, изложеніемъ того, что могло-бы еще долго развиваться до полной законченности образовъ. Есть писатели, у которыхъ

разстояніе между замысломъ и выполненіемъ чрезвычайно мало; мысль у нихъ является почти одновременно съ образомъ и словомъ; они могутъ дать выраженіе только вполне сложившимся мыслямъ, и разъ сказавши что нибудь, они сказать лучше не могутъ. Но большинство писателей, особенно при произведеніяхъ крупнаго объема, совершаютъ долгую и трудную работу; нѣтъ конца поправкамъ и передѣлкамъ, которыя все яснѣе и чище отерываютъ возникшій въ туманѣ образъ. Федоръ Михайловичъ часто мечталъ о томъ, какія-бы прекрасныя вещи онъ могъ работать, если-бы имѣлъ досугъ; впрочемъ, какъ онъ самъ разсказывалъ, лучшія страницы его сочиненій создались сразу, безъ передѣлокъ — разумеется, вслѣдствіе уже *выношенной* мысли.

Писалъ онъ почти безъ исключенія ночью. Часу въ двѣнадцатомъ, когда весь домъ укладывался спать, онъ оставался одинъ съ самоваромъ и, попивая не очень крѣпкій и почти холодный чай, писалъ до пяти и шести часовъ утра. Вставать приходилось въ два, даже въ три часа пополудни, и день проходилъ въ пріемъ гостей, въ прогулкѣ и посѣщеніяхъ знакомыхъ.

На Федоръ Михайловичѣ можно было ясно наблюдать, какой великій трудъ составляетъ писаніе для такихъ содержательныхъ писателей, какъ онъ. Въ свои произведенія онъ вкладывалъ только часть той непрерывной работы, которая совершалась въ его головѣ. Читатели, какъ извѣстно, иногда питаютъ легкомысленное мнѣніе, что писаніе ничего не стоитъ даровитымъ людямъ, и обманываются въ этомъ случаѣ тою легкостію, съ которою течетъ стихъ или проза готоваго произведенія. Но въ сущности читатели рѣдко ошибаются въ оцѣнкѣ авторскаго труда, потому что обыкновенно ихъ занимаетъ или трогаетъ только то, что занимало или трогало самого автора, и на сколько души и труда онъ вложилъ въ свое произведеніе, на столько оно и дѣйствуетъ на читателей.

Что касается до поспѣшности и недодѣланности своихъ произведеній, то Федоръ Михайловичъ, какъ видно изъ *Примѣчанія*, очень ясно видѣлъ эти недостатки и безъ всякихъ околнностей сознавался въ нихъ. Мало того; хоть ему и жаль было этихъ „недовершенныхъ созданій“, но онъ не только не каялся въ своей поспѣшности, а считалъ ее дѣломъ необходимымъ и полезнымъ. Для него главное было подѣйствовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатлѣніе въ извѣстную сторону. Важно было не самое произведеніе, а минута и впечатлѣніе, хотя-бы и не полное. Въ этомъ смыслѣ онъ былъ вполне журналистъ, и отступившій теоріи чистаго искусства. Такъ какъ планамъ и замысламъ у него не было конца, то онъ всегда носился съ нѣсколькими темами, ко-

торня мечталъ обработать до полной отдѣлки, но когда нибудь послѣ, когда будетъ имѣть больше досуга, когда времена будутъ спокойнѣе. А пока, онъ писалъ и писалъ полуобработанныя вещи, — съ одной стороны, чтобы добывать средства для жизни, съ другой стороны, чтобы постоянно подавать голосъ и не давать публикѣ покоя своими мыслями. Объ этой журнальной манерѣ писанія есть одно мѣсто у Добролюбова, которое встаетъ здѣсь привести. Разбирая „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, Добролюбовъ говоритъ:

„Г. Достоевскій, вѣроятно, не будетъ на меня сѣтовать, что я объявляю его романъ, такъ сказать, *ниже эстетической критики*. Я вѣдь имѣлъ въ виду вообще современную нашу литературу, и если проверялъ свою мысль нѣсколькими бѣглыми замѣчаніями о его романѣ, такъ это потому, что онъ мнѣ попался подъ руку. А если бы взять другія изъ твореній, имѣвшихъ у насъ успѣхъ въ послѣдніе годы, такъ многія изъ нихъ оказались бы, можетъ быть, еще болѣе несостоятельными. Г. Достоевскій по крайней мѣрѣ, — какъ намъ кажется, судя по нѣкоторымъ мѣстамъ его сочиненій, — не имѣетъ такихъ претензій, не придаетъ себѣ такой важности, какъ другіе. Онъ изобразилъ нѣкоторыя свои литературныя отношенія въ запискахъ Ивана Петровича: я не считаю нескромнымъ сказать это, потому что самъ авторъ явно не хотѣлъ скрывать. Онъ съ такими подробностями рассказываетъ тамъ содержаніе „Вѣднихъ Людей“, какъ первой повѣсти Ивана Петровича, — что нѣтъ возможности ошибиться. Такъ тутъ-то онъ, между прочимъ, сознается, что писалъ многое вслѣдствіе необходимости, писалъ къ сроку, напisyвалъ по три съ половиною печатныхъ листа въ два дня и двѣ ночи; называетъ себя почтовою ключей въ литературѣ; смѣется надъ критикомъ, увѣряющимъ, что отъ его сочиненій пахнетъ потомъ и что онъ ихъ слишкомъ обдѣлываетъ *). Словомъ г. Достоевскій смотритъ, повидимому, на свои произведенія, какъ мы вст, обыкновенные люди, — не какъ на несокрушимый памятникъ для потомства, а просто какъ на журнальную работу. А ужъ извѣстно, что такое журнальная работа: тутъ не до обработки, не до подробностей, не до строгости къ себѣ въ развитіи мысли... Довольно того, что хоть кое-какъ успѣешь бросить эту мысль на бумагу. Можно это сравнить вотъ съ чѣмъ: вы поэтъ, въ васъ сейчасъ родилось чувство, васъ поразило впечатлѣніе, которое вы можете изобразить великолѣпными стихами. У васъ мелькаетъ въ головѣ об-

*) Такой именно отзывъ былъ когда-то о г. Достоевскомъ, и даже, если не ошибаюсь, въ „Современникѣ“.

„разы, готово нѣсколько стиховъ, нѣсколько жѣткихъ выраженій. Но вамъ мѣшаютъ, отъ васъ требуютъ немедленнаго отчета въ вашемъ впечатлѣніи, у васъ, наконецъ, вовсе отнимаютъ возможность предаться влеченію вашего чувства и прискаать для него живые звуки. Дѣлать нечего, вы берете карандашъ и записную книжку и набрасываете шероховатой прозой остовъ того прекраснаго стихотворенія, которое уже слагалось у васъ въ головѣ. Такъ поступаетъ постоянно, въ теченіе всей своей карьеры, журнальный работникъ“. („Современникъ“ 1861 г. № 9. Сочиненія Добролюбова, т. III, стр. 604).

Въ этихъ признаніяхъ слышится, кажется, и нѣкоторая жалоба Добролюбова на то, что ему пришлось растратить свои силы въ такой работѣ. Это была его послѣдняя статья. Но какъ бы то ни было, здѣсь указывается на очень обширный и важный фактъ нашей литературы. Она давно и до сихъ поръ отличается преобладаніемъ журналовъ, а журналы отличаются спѣшностію работы; они и сами привыкли и читателей приучили къ тѣмъ жидкимъ и безформеннымъ разглагольствіямъ, къ тѣмъ разсужденіямъ, имѣющимъ только начала, но неимѣющимъ ни конца, ни середины, которыя почти безъ исключенія наполняютъ журнальныя книжки. Такого рода складъ литературы зависитъ, конечно, отъ того, что публика читаетъ только новое, свѣжее; а въ новомъ она ищетъ не удовлетворенія своей любознательности или своихъ эстетическихъ вкусовъ, а только указаній и намековъ на то, въ чемъ состоятъ въ каждую минуту самыя современныя и самыя передовыя мнѣнія на западѣ, или пожалуй, въ нашихъ передовыхъ кружкахъ. Публика наша состоитъ не изъ судей, а изъ учениковъ, не изъ людей, имѣющихъ свое мнѣніе, а изъ людей, боящихся какъ бы не отстать отъ чужихъ мнѣній. Ей нуженъ авторитетъ, нужно чтеніе легкое и въ то же время поддерживающее ее въ увѣренности, что она знаетъ духъ и направленіе самаго новаго, самаго послѣдняго просвѣщенія. Такимъ образомъ развилась и развивается до сихъ поръ эта огромная журнальная литература, въ которой приемы писанія могутъ падать до величайшей небрежности, до самой низшей степени, какая только возможна. Не имѣя самостоятельности, исполняя служебную роль, литература, естественно должна была испортиться, потерять строгость формы и инсли.

Тѣмъ не менѣ эта литература не была ни бесполезною, ни неблагородною. Она воспитывала публику, и въ большинствѣ случаевъ была одушевлена искреннимъ усердіемъ къ своимъ цѣлямъ. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что Федоръ Михайловичъ любилъ журналистику и охотно служилъ ей, разумѣется ясно сознавая, что онъ дѣлаетъ и въ чемъ от-

стѣпаетъ отъ строгой формы мысли и искусства. Онъ съ молодости былъ воспитанъ на журналистикѣ и остался ей вѣренъ до конца. Онъ вполне и безъ раздѣленія принималъ къ той литературѣ, которая кипѣла вокругъ него, не становился никогда въ сторонѣ отъ нея. Обыкновенное его чтеніе были русскіе журналы и газеты. Его вниманіе было постоянно устремлено на его собратій по части наящной словесности, на всякіе критическіе отзывы и объ немъ самомъ и объ другихъ. Онъ очень дорожилъ всякимъ успѣхомъ, всякою похвалою, и очень огорчался нападками и бранью. Тутъ были его главные умственные интересы, да тутъ же были и его вещественные интересы. Онъ жилъ исключительно литературнымъ трудомъ, никогда и не предполагая для себя какого нибудь другаго занятія, не задаваясь и мыслью о какомъ нибудь мѣстѣ, казенномъ или частномъ. Въ случаяхъ нужды онъ безъ всякой щепетильности обращался съ просьбами къ различнымъ редакціямъ. Не разъ, когда его не было въ Петербургѣ, мнѣ случалось, по его просьбѣ, вести съ разными редакціями переговоры о деньгахъ, которыя онъ хотѣлъ получить за *будущую* повѣсть. Большею частію переговоры оканчивались отказомъ, и мнѣ иногда было очень больно отъ мысли, кому онъ дѣлаетъ предложенія, и притомъ напрасныя предложенія. Но онъ смотрѣлъ на эти случаи, какъ на неизбежныя неудобства своей профессіи, и хорошо понималъ, что они никакъ не могутъ быть поставлены ему въ упрекъ. Зависимость отъ редакцій и книгопродавцовъ, всякіе торги и переговоры составляютъ всегда дѣло полюбовное, сдѣлку равныхъ между собою людей, и потому никогда не могутъ быть такъ тяжелы, какъ другія людскія отношенія.

Такимъ образомъ литература была вполне родною сферою Федора Михайловича; онъ избралъ ее своею профессіею и иногда даже высказывалъ гордость этимъ своимъ положеніемъ. Онъ усердно трудился и работалъ, и достигъ своего: онъ сдѣлалъ одну изъ блистательныхъ литературныхъ карьеръ, достигъ громкой извѣстности, распространенія своихъ идей, а подъ конецъ жизни и матеріальнаго достатка.

Понятно поэтому, какъ онъ любилъ литературу, особенно въ началѣ, когда еще не выразилось рѣзко то различіе, которое поставило его въ оппозицію къ общему настроенію петербургской журналистики. Вотъ причина, почему онъ не могъ сразу сойтись съ славянофилами. Онъ живо почувствовалъ ту враждебность, которую они искони, въ силу своихъ принциповъ, питали къ ходячей литературѣ. Въ 1861 году И. С. Аксаковъ началъ издавать „День“ и въ первыхъ же статьяхъ краснорѣчиво выразилъ осужденіе господствовавшихъ въ журналахъ направленій. Фе-

доръ Михайловичъ по этому случаю горячо вступился за литературу. (См. „Сочин.“ т. X, стр. 131 и сл.). Въ этой статьѣ очень характерна слѣдующая выходка, обращенная къ славянофиламъ:

„Читаешь инья ваши мнѣнія и, наконецъ, по неволѣ придешь къ заключенію, что вы рѣшительно въ сторонѣ себя поставили, смотрите на насъ *) какъ на чужое племя, точно съ луны къ намъ пріѣхали, точно не въ нашемъ царствѣ живете, не въ наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты надъ кѣмъ-то дѣлаете, въ микроскопъ кого-то разсматриваете. Да вѣдь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на нее смотрите, какъ козявку ее разбираете? Да вѣдь вы сами литераторы, г-да славянофилы!“ (стр. 137, 138).

Здѣсь очень вѣрно сказалось различіе одного и другаго отношенія, и очень живо выражается собственное чувство Федора Михайловича, чувство полной принадлежности къ текущей литературѣ. Славянофилы, дѣйствительно, не вполне принадлежали къ завзятымъ литераторамъ и смотрѣли на дѣло со стороны.

Приведу, наконецъ, для бѣльшаго поясненія, и себя. Мнѣ пришлось поздно вступить въ литературу и сперва я готовился къ ученому поприщу. Поэтому и я смотрѣлъ на журналистику со стороны и принесъ въ нее нѣкоторое высокоуміе. Всячески старался я избѣжать многоисанія, и заботился о полной отдѣлкѣ своихъ статей. Эти заботы обыкновенно возбуждали насмѣшки Федора Михайловича. „Вы все стараетесь для „Полнаго собранія“ своихъ сочиненій!“ — говорилъ онъ. „Да никогда не будетъ этого собранія!“ отвѣчалъ я. Но скоро я втянулся въ литературу и сталъ гораздо живѣе принимать къ сердцу ея интересы. Пренебреженіе къ журналистикѣ уступило мѣсто болѣе серьезному отношенію, когда оказалось, что на подкладкѣ этихъ разглагольствій выростають такія явленія, какъ нигилизмъ; вражду, которую я чувствовалъ, я старался передать и Федору Михайловичу.

Какъ бы то ни было, результатъ, къ которому пришли его литературныя отношенія, извѣстенъ; въ концѣ своего поприща, когда онъ признавалъ себя вполне славянофиломъ, онъ готовъ былъ отзываться о нашей интеллигенціи и ея стремленіяхъ почти съ такою же горечью, какая нѣкогда такъ обидѣла его на страницахъ „Дня“. Что касается до пристрастія къ фельетонной манерѣ журналовъ, то оно никогда вполне у него не исчезало. Самъ онъ иногда даже насилывалъ себя, стараясь быть

*) Т. е. на дѣателей литературы. Н. С.

борзописцемъ и фельетонистомъ ради принесенія общей пользы. Съ годами писаніе его становилось, однако, все строже и строже, да и прежде въ его фельетонныхъ писаніяхъ встрѣчалось не мало страницъ, явно показывавшихъ художественную силу и строгіе приемы, далеко превышающіе задачи фельетона.

V.

Успѣхъ „Времени“. — Сотрудники.

Журналъ „Время“ имѣлъ рѣшительный и быстрый успѣхъ. Цифры подписчиковъ, которыя такъ важны были для всѣхъ насъ, мнѣ твердо памяты. Въ первомъ, 1861 году, было 2,300 подписчиковъ, и Михайло Михайловичъ говорилъ, что онъ въ денежныхъ счетахъ успѣлъ свести концы съ концами. На второй годъ было 4,302 подписчика; списокъ ихъ по губерніямъ былъ напечатанъ во „Времени“ 1863 г. Январь, стр. 189—210. На третій годъ изданія, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ было уже до четырехъ тысячъ, и Михайло Михайловичъ говорилъ, что остальные триста должны непременно набраться къ концу года. Такимъ образомъ дѣло сразу стало прочно, стало со второго же года давать большой доходъ, такъ какъ 2,500 подписчиковъ вполне покрывали издержки изданія; авторскій гонораръ былъ тогда менѣе нынѣшняго, онъ рѣдко падалъ ниже 50 руб. за печатный листъ, но рѣдко и подымался выше, и почти никогда не переходилъ 100 рублей.

Причинами такого быстрого и огромнаго успѣха „Времени“ нужно считать прежде всего имя Ф. М. Достоевскаго, которое было очень громко; исторія его ссылки въ каторгу была всѣмъ извѣстна; она поддерживала и увеличивала его литературную извѣстность и наоборотъ. „Мое имя стоитъ милліона!“ сказалъ онъ мнѣ какъ-то въ Швейцаріи съ нѣкоторою гордостію.

Другая причина была — прекрасный (при всѣхъ своихъ недостаткахъ) романъ „Униженные и Оскорбленные“, достойно награждавшій читателей, привлеченныхъ именованъ Федора Михайловича. По свидѣтельству Добролюбова, въ 1861 г. этотъ романъ былъ самымъ крупнымъ явленіемъ въ литературѣ. „Романъ г. Достоевскаго“, писалъ критикъ, „очень недурень, до того недурень, что едва-ли не его только и читали съ удовольствіемъ, чуть-ли не о немъ только и говорили съ полною похвалою“... И дальше: „Словомъ сказать, романъ г. Достоевскаго до сихъ поръ (это значи тѣ

до сентября 1861 г.) представляет лучшее литературное явление нынѣшняго года". (Соч. Добролюб. Т. 3 стр. 590—591).

Третьей причиною нужно считать общее настроеніе публики, никогда такъ жадно не бросавшейся на литературныя новинки, какъ въ то время. За первымъ увлеченіемъ иногда слѣдовало быстрое разочарованіе; но на этотъ разъ дѣло пошло прекрасно. Журналъ оказался очень интереснымъ; въ немъ слышалось воодушевленіе, и кромѣ того появилось направленіе вполне либеральное, но своеобразное, не похожее на направленіе „Современника“, многимъ уже начинавшее набивать оскомину. Но вѣсть съ тѣмъ „Время“, повидимому, въ существенныхъ пунктахъ не расходилось съ „Современникомъ“. Не только въ 9-й книжкѣ „Современника“ романъ Федора Михайловича разбирался съ большими похвалами, изъ которыхъ мы привели нѣсколько строкъ, но при самомъ началѣ „Времени“ „Современникъ“ дружески его привѣтствовалъ. Первая книжка „Современника“ вышла въ концѣ января, недѣли черезъ три послѣ перваго номера „Времени“, и въ этой книжкѣ былъ помѣщенъ „Гимнъ Времени“ (вѣроятно Добролюбова или Курочкина), въ которомъ новый журналъ предостерегался отъ враговъ и опасностей. Въ то время слово „Современника“ много значило; онъ достигъ въ это время самой вершины своего процвѣтанія и рѣшительно господствовалъ надъ петербургскою публикою; его привѣтъ былъ дѣйствительнѣе всякихъ объявленій. Въ октябрьской книжкѣ „Времени“ 1861 г. явилось даже стихотвореніе Некрасова „Крестьянскія дѣти“ вѣсть съ комедіею *Островскаго* „Женитба Балзамина“; въ апрѣльской книжкѣ „Времени“ 1862 г. явились сцены *Щедрина*. Такимъ образомъ самые крупные сотрудники „Современника“ по части изящной литературы, и даже Некрасовъ и Щедринъ, отдававшіе всѣ свои силы этому журналу, ясно выказали свое особенное расположеніе ко „Времени“. Тутъ можно видѣть, конечно, и отраженіе успѣха „Времени“, и даже нѣкоторое уваженіе къ его направленію, уваженіе, которое, какъ мнѣ думается, Некрасовъ сохранялъ до конца.

Такъ или иначе, но только „Время“ быстро поднялось въ глазахъ читателей, и въ то время, какъ старыя журналы, „Отечественныя Записки“, „Библіотека для чтенія“ и т. п., падали, „Время“ процвѣтало и стало почти соперничать съ „Современникомъ“, по крайней мѣрѣ имѣло право, по своему успѣху, мечтать о такомъ соперничествѣ. Этотъ успѣхъ ни въ какомъ случаѣ не былъ обманчивымъ явленіемъ, то есть не былъ однимъ минутнымъ увлеченіемъ, столь обыкновеннымъ въ нашей публикѣ. Далѣе я расскажу, какъ наступилъ послѣ него упадокъ, а теперь только замѣчу, что быстрый успѣхъ породилъ въ насъ большую самоувѣренность, кото-

рая при счастливыхъ обстоятельствахъ очень способствовала дѣлу, но зато при несчастныхъ очень ему повредила. •

Тогда, въ 1861 году, всё мы очень радовались и собирались усердно работать. Я подалъ въ отставку изъ гимназіи и Михайло Михайловичъ собирался закрыть свою табачную фабрику. Эта фабрика заведена была имъ послѣ 1849 года, когда литература была въ очень стѣсненномъ положеніи. Фабрика имѣла сперва порядочный успѣхъ; отставной литераторъ придумалъ уловку, давшую вдругъ большой ходъ его папирсамъ; онъ сталъ изготовлять *папирсы съ сюрпризами*, т. е. въ ящикъ папирсы вкладывать какую нибудь недорогую вещьцу, которая неожиданно въ видѣ прибавки доставалась покупателю. Но понемногу фабрика падала и Михайло Михайловичъ рѣшился вполне посвятить себя одному журналу. Одинъ Ап. Григорьевъ огорчилъ насъ среди лѣта своимъ непонятнымъ отъѣздомъ въ Оренбургъ. Причиною были, впрочемъ, очевидно, его домашнія обстоятельства, а не невѣріе въ журналъ, который всегда очень дорожилъ имъ и въ которомъ, спустя годъ, онъ сталъ по прежнему ревностно участвовать.

Во все существованіе „Времени“ сотрудники его составляли двѣ группы. Одна держалась вокругъ Ап. Григорьева, умѣвшаго удерживать около себя молодыхъ людей привлекательными чертами своего ума и сердца, особенно-же искреннимъ участіемъ къ ихъ литературнымъ занятіямъ; онъ умѣлъ будить ихъ способности и приводить ихъ въ величайшее напряженіе. Другую группу составляли Федоръ Михайловичъ и я; мы особенно подружились и видѣлись каждый день и даже не разъ въ день. Лѣтомъ 1861 г. я переѣхалъ съ Васильевского Острова на Большую Мѣщанскую (нынѣ Казанскую) въ домъ противъ Столярнаго переулка. Редакція была у Михайла Михайловича, жившаго въ Малой Мѣщанской, въ угольномъ домѣ, выходившемъ на Екатерининскій каналъ; а Федоръ Михайловичъ поселился въ Средней Мѣщанской. Ап. Григорьевъ съ своею молодою компанією ютился въ меблированныхъ комнатахъ на Вознесенскомъ проспектѣ, очень долго въ домѣ Соболевскаго. Я написалъ это, чтобы сказать, что намъ было близко другъ къ другу; но мнѣ живо вспомнился тогдашній низменный характеръ этихъ улицъ, грязноватыхъ и густо населенныхъ петербургскимъ людомъ третьей руки. Во многихъ романахъ, особенно въ „Преступленіи и Наказаніи“, Федоръ Михайловичъ удивительно схватилъ фізіономію этихъ улицъ и ихъ жителей.

Среди этихъ жѣсть, наводящихъ тоску и отвращеніе, всё мы прожили очень счастливые годы. Когда дѣло идетъ хорошо, ничего не можетъ быть занимательнѣе и возбуждательнѣе журнальной работы. Въ ней

соединяется вся привлекательность общественной публичной жизни со всею прелестью уединенныхъ размышленій и усилій. Страницы, старательно обдуманныя и изготовленныя въ тишинѣ, вдругъ выступаютъ на свѣтъ на глаза множества читателей и дѣлаются предметомъ сужденій, изъ которыхъ многія тотчасъ-же до васъ доходятъ. Особенно тогда было въ привычкѣ, что каждый журналъ говорилъ о всѣхъ другихъ журналахъ, такъ что впечатлѣніе всякой статьи обнаруживалось очень быстро. Достоевскій, Ап. Григорьевъ и я могли быть увѣрены, что въ новой книжкѣ журнала непременно встрѣтимъ свое имя. Соперничество разныхъ изданій, напряженное вниманіе къ ихъ направленіямъ, полемика, — все это обращало журнальное дѣло въ такую интересную игру, что, разъ ее испытавши, нельзя было потомъ не чувствовать большого желанія опять въ нее пуститься.

Часа въ три пополудни мы сходились обыкновенно въ редакціи съ Федоромъ Михайловичемъ, онъ послѣ своего утренняго чаю, а я послѣ своей утренней работы. Тутъ мы пересматривали газеты, журналы, узнавали всякія новости, и часто потомъ шли вмѣстѣ гулять до обѣда. Вечеромъ въ седьмомъ часу онъ опять иногда заходилъ ко мнѣ, къ моему чаю, къ которому всегда собиралось нѣсколько человѣкъ, въ промежутокъ до наступающаго вечера. Вообще онъ чаще бывалъ у меня, чѣмъ я у него, такъ какъ я былъ человѣкъ холостой и меня можно было навѣщать, не боясь никого обезпokoить. Если у меня была готовая статья, или даже часть статьи, онъ обыкновенно настаивалъ, чтобы я прочелъ ее. До сихъ поръ слышу его нетерпѣливый и ласковый голосъ, раздававшійся среди шумныхъ разговоровъ: „Читайте, Н. Н., читайте!“ Тогда я, впрочемъ, не вполне понималъ, какъ много лестнаго было для меня въ этомъ нетерпѣніи. Онъ никогда мнѣ не противорѣчилъ; я помню всего только одинъ споръ, который возникъ изъ за моей статьи. Но онъ и никогда не хвалилъ меня, никогда не выражалъ особеннаго одобренія.

Наша тогдашняя дружба, хоть имѣла преимущественно уметвенный характеръ, но была очень тѣсна. Близость между людьми вообще зависитъ отъ ихъ натуры и при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ не переходитъ извѣстной мѣры. Каждый изъ насъ какъ будто проводитъ вокругъ себя черту, за которую никого не допускаетъ, или лучше — не можетъ никого допустить. Такъ и наше сближеніе встрѣчало себѣ препятствіе въ нашихъ душевныхъ свойствахъ, при чемъ я вовсе не думаю брать на себя меньшую долю этого препятствія. На Федора Михайловича находили иногда минуты подозрительности. Тогда онъ недовѣрчиво говорилъ: „Страхову не съ кѣмъ говорить, вотъ онъ за меня и держится“. Это минутное со-

жизніе показываетъ только, какъ твердо мы вообще вѣрили въ наше взаимное расположеніе. Въ первые годы, это было чувство, переходившее въ нѣжность. Когда съ Федоромъ Михайловичемъ случался припадокъ падучей, онъ, опомнившись, находился сперва въ невыносимо-тяжеломъ настроеніи. Все его раздражало и пугало, и онъ тяготился присутствіемъ самыхъ близкихъ людей. Тогда братъ его или жена посылали за мной— со мной ему было легко и онъ по немножку оправлялся. Вспоминая объ этомъ, я возобновляю въ своей памяти нѣкоторыя изъ лучшихъ своихъ чувствъ и думаю, что я, конечно, былъ тогда лучше, чѣмъ теперь.

Разговоры наши были безконечны, и это были лучшіе разговоры, какіе мнѣ достались на долю въ жизни. Онъ говорилъ тѣмъ простымъ, живымъ, безпритязательнымъ языкомъ, который составляетъ прелесть русскихъ разговоровъ. При этомъ онъ часто шутилъ, особенно въ то время; но его остроуміе мнѣ не особенно нравилось, — это было часто внѣшнее остроуміе, на французскій ладъ, больше игра словъ и образовъ, чѣмъ мыслей. Читатели найдутъ образчики этого остроумія въ критическихъ и полемическихъ статьяхъ Федора Михайловича. Но самое главное, что меня плѣняло и даже поражало въ немъ, былъ его необыкновенный умъ, быстрота, съ которою онъ схватывалъ всякую мысль, по одному слову и намеку. Въ этой легкости пониманія заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться теченію мыслей, когда нѣтъ нужды настаивать и объяснять, когда на вопросъ сейчасъ получается отвѣтъ, возраженіе дѣлается прямо противъ центральной мысли, согласіе дается на то, на что его просишь, и нѣтъ никакихъ недоумѣній и неясностей. Такъ мнѣ представляются тогдашніе безконечные разговоры, составлявшіе для меня и большую радость, и гордость. Главнымъ предметомъ ихъ были, конечно, журнальныя дѣла, но кромѣ того и всевозможныя темы, очень часто самые отвлеченные вопросы. Федоръ Михайловичъ любилъ эти вопросы, о сущности вещей и о предѣлахъ знанія, и помню, какъ его забавляло, когда я подводилъ его разсужденія подъ различные взгляды философовъ, извѣстныя намъ изъ исторіи философіи. Оказывалось, что новое придумать трудно, и онъ, шутя, утѣшался тѣмъ, что совпадаетъ въ своихъ мысляхъ съ тѣмъ или другимъ великимъ мыслителемъ.

VI.

Федоръ Михайловичъ, какъ романистъ и журналистъ.

Не стану говорить о его взглядахъ и чувствахъ, относящихся къ окружающимъ дѣламъ и явленіямъ. Въ своихъ произведеніяхъ онъ самъ вы-

разилъ лучшую часть своей души. Скажу только, ради нѣкоторыхъ неопытныхъ читателей, что это былъ одинъ изъ самыхъ искреннихъ писателей, что все, имъ писанное, было имъ переживаемо и чувствуемо, даже съ великимъ порывомъ и увлеченіемъ. Достоевскій — субъективнѣйшій изъ романистовъ, почти всегда создававшій лица по образу и подобию своему. Полной объективности онъ рѣдко достигалъ. Для меня, близко его знавшаго, субъективность его изображеній была очень ясна, и потому всегда на половину исчезало впечатлѣніе отъ произведеній, которыя на другихъ читателей дѣйствовали поразительно, какъ совершенно объективные образы.

Часто я даже удивлялся и боялся за него, видя, что онъ описываетъ иныя темныя и болѣзненные свои настроенія. Такъ напр. въ „Идіотѣ“ описаны приступы падучей, тогда какъ доктора предписываютъ эпилептикамъ не останавливаться на этихъ воспоминаніяхъ, которыя могутъ повести къ припадку, какъ приводить въ нему зрѣлище чужаго припадка. Но Достоевскій не останавливался ни передъ чѣмъ, и, что бы онъ ни изображалъ, онъ самъ твердо вѣрилъ, что возводитъ свой предметъ въ перлъ созданія, даетъ ему полную объективность. Не разъ мнѣ случалось слышать отъ него, что онъ считаетъ себя совершеннымъ реалистомъ, что тѣ преступленія, самоубійства и всякія душевныя извращенія, которыя составляютъ обыкновенную тему его романовъ, суть постоянное и обыкновенное явленіе въ дѣйствительности и что мы только пропускаемъ ихъ безъ вниманія. Въ такомъ убѣжденіи онъ смѣло пускался рисовать мрачныя картины; никто такъ далеко не заходилъ въ изображеніи всякихъ паденій души человѣческой. И онъ достигалъ своего, то есть успѣвалъ давать своимъ созданіямъ на столько реальности и объективности, что читатели поражались и увлекались. Такъ много правды, психологической вѣрности и глубины было въ его картинахъ, что онѣ становились даже понятными для людей, которымъ сюжеты ихъ были совершенно чужды.

Часто мнѣ приходило въ голову, что если бы онъ самъ ясно видѣлъ, какъ сильно обрашиваетъ субъективность его картины, то это помѣшало бы ему писать; если бы онъ замѣчалъ недостатокъ своего творчества, онъ не могъ бы творить. Такимъ образомъ извѣстная доля самообольщенія тутъ была необходима, какъ почти у всякаго писателя.

Но каждый человѣкъ имѣетъ, какъ извѣстно, не только недостатки своихъ достоинствъ, но иногда и достоинства своихъ недостатковъ. Достоевскій потому такъ смѣло выводилъ на сцену жалкія и страшныя фигуры, всякаго рода душевныя язвы, что умѣлъ или признавалъ за собою умѣнье

произносить надъ ними высшій судъ. Онъ видѣлъ Божию искру въ самомъ падшемъ и извращенномъ человѣкѣ; онъ слѣдилъ за нагнѣшею внешнею этой искры и прозрѣвалъ черты душевной красоты въ тѣхъ явленіяхъ, къ которымъ мы привыкли относиться съ презрѣніемъ, насмѣшкою, или отвращеніемъ. За проблески этой красоты, отрываемые имъ подъ безобразною и отвратительною внѣшностью, онъ прощалъ людей и любилъ ихъ. Эта нѣжная и высокая гуманность можетъ быть названа его музою, и она-то давала ему мѣрило добра и зла, съ которымъ онъ спускался въ самыя страшныя душевныя бездны. Онъ крѣпко вѣрилъ въ себя и въ человѣка, и вотъ почему былъ такъ искрененъ, такъ легко принималъ даже свою субъективность за вполне объективный реализмъ.

Какъ бы то ни было, зная его по его личнымъ чувствамъ и мыслямъ, я могу свидѣтельствовать, что онъ питалъ своихъ читателей лучшею кровью своего сердца. Такъ поступаютъ призванные, настоящіе писатели, и въ этомъ заключается ихъ неотразимое дѣйствіе на читателей, хотя публика часто и воображаетъ, что писатели только хорошо выдумываютъ и сочиняютъ, а критика иногда готова предписывать имъ даже какую нибудь свою цѣль, а не ту, какую указываетъ имъ ихъ собственное сердце. Поэтому имѣ думается, что Достоевскій, не смотря на несовершенства своихъ созданій, долго останется глубоко интереснымъ писателемъ, гораздо долѣе тѣхъ, чья муза представляетъ, повидимому, больше гармоніи и стройности, но зато не имѣетъ такой искренности, такого своеобразія и сердечнаго порыва. Подъ музою я разумѣю тотъ идеализированный характеръ, тотъ складъ ума и сердца, который принимаетъ человѣкъ, когда начинаетъ писать и творить. Муза и самъ человѣкъ — два существа различныя, хотя они и выросли изъ одного и того-же корня, хотя и срослись тѣснѣе сіамскихъ близнецовъ. Изъ того, что я сказалъ, видно, что въ Достоевскомъ муза и человѣкъ сливались необыкновенно тѣсно.

Обращаюсь къ чисто личнымъ чертамъ. Никогда не было замѣтно въ немъ никакого огорченія или ожесточенія отъ перенесенныхъ имъ страданій, и никогда ни тѣни желанія играть роль страдальца. Онъ былъ безусловно чистъ отъ всякаго дурнаго чувства по отношенію къ власти; авторитетъ, который онъ старался поддержать и увеличить, былъ только литературный; авторитетъ же *пострадавашаго* человѣка никогда не выступалъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда во имя его нужно было требовать свободы мысли и слова, доказывать, что его мысли о правительствѣ никто не имѣетъ права считать потворствомъ или угодливостью. Федоръ Михайловичъ вѣлъ себя такъ, какъ будто въ прошломъ у него ничего особеннаго не было, не выставлялъ себя ни разочарованнымъ, ни сохраняющимъ

рану въ душѣ, а напротивъ глядѣлъ весело и бодро, когда позволяло здоровье. Помню, какъ одна дама, въ первый разъ попавшая на редакціонные вечера Михайла Михайловича (кажется, они были по воскресеньямъ), съ большимъ вниманіемъ вглядывалась въ Федора Михайловича и наконецъ сказала: „смотрю на васъ и кажется вижу на вашемъ лицѣ тѣ страданія, какія вы перенесли...“ Ему были видимо досадны эти слова. „Какія страданія!..“ воскликнулъ онъ, и принялся шутить о совершенно постороннихъ предметахъ. Помню такъ же, какъ, готовясь къ одному изъ литературныхъ чтеній, бывшихъ тогда въ большой модѣ, онъ затруднялся, что ему выбрать. „Нужно что нибудь новенькое, интересное“, говорилъ онъ мнѣ. — Изъ „Мертваго Дома“? — предложилъ я. — „Я ужъ часто читалъ, да и не хотѣлось бы мнѣ. Мнѣ все тогда кажется, какъ будто я жалуюсь передъ публикою все жалуясь... Это не хорошо“.

Вообще онъ не любилъ обращаться къ прошлому, какъ будто желая вовсе его откинуть, и если пускался вспоминать, то останавливался на чемъ нибудь радостномъ, какъ будто хвалился имъ. Вотъ почему изъ его разговоровъ трудно было составить понятіе о случаяхъ его прежней жизни.

Въ отношеніи къ власти онъ всегда твердо стоялъ на той точкѣ, которая такъ ясна и тверда у всѣхъ истинно русскихъ людей. Онъ давалъ полную строгость своему сужденію, но откладывалъ всякую мысль о непокорности. Ни сплетничества, ни охоты злословить у него не было, хотя ему случалось съ великою горечью и негодованіемъ говорить объ иныхъ лицахъ и распоряженіяхъ. На себѣ же онъ переносилъ и неудобные существующіе порядки не только безпрекословно, но часто съ совершеннымъ спокойствіемъ, какъ дѣло, не его лично касающееся, а составляющее общее условіе, свойство котораго не зависитъ отъ этого частнаго случая. Такъ, напримѣръ, я не помню, чтобы онъ когда нибудь сильно раздражался противъ цензуры. Тогда существовала предварительная цензура, то есть каждая статья въ корректурѣ подвергалась исключеніямъ и поправкамъ цензора. Цензора, конечно, дѣлали при этомъ много лишняго, по тому естественному побужденію, что имъ хотѣлось исполнять долгъ, совершать нѣкоторый трудъ, то есть непременно дѣлать поправки и исключенія, — если нельзя большихъ, то хоть маленькія. Съ другой стороны, они были вообще люди очень любезные, обыкновенно смотрѣвшіе съ уваженіемъ на литературу и очень доступные для авторовъ. Каждый авторъ, получивши корректуру съ помарками красныхъ чернилъ, нерѣдко отправлялся съ нею къ цензору и торговался, отставвая свои строчки и выраженія. Такія случаи были безиррычны и тутъ было поприще для вся-

кихъ раздраженій. Но я не помню, чтобы Ѳедоръ Михайловичъ когда нибудь особенно негодовалъ на подобныя случаи. Вообще мы вовсе не старались въ нашемъ журналѣ о томъ, чтобы произвести какой нибудь скандалъ, обойти цензуру. Что-же касается въ частности до Ѳедора Михайловича, то онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ писателей, которые обыкновенно остаются въ предѣлахъ цензуры, ни мало объ ней не думая, а только потому, что слишкомъ серьезны, чтобы позволить себѣ рѣзкости и личности, останавливающія вниманіе цензоровъ.

VII.

Либерализмъ. — Студентская Исторія.

Вообще никакого слѣда революціоннаго направленія не было въ кружкѣ „Врѣмени“, то есть не только какихъ нибудь помысловъ, но и сношеній съ людьми, замышлявшими недоброе, или какого нибудь имъ покровства и одобренія. Всѣ мы, и Ѳедоръ Михайловичъ во главѣ, въ самый разгаръ сумятицы, желали и думали ограничиться только литературною ролью, то есть трудиться для того нравственнаго и умственнаго поворота въ обществѣ, какой считали наилучшимъ. Мы, въ сущности, были очень отвлеченные журналисты, говорили только объ общихъ вопросахъ и взглядахъ, въ практической же области мы останавливались на *чистомъ либерализмѣ*, то есть на такомъ ученіи, которое менѣе всего согласно съ мыслью о насильственномъ переворотѣ и, если настаиваетъ на какихъ нибудь измѣненіяхъ существующаго порядка, то добивается этихъ измѣненій однимъ лишь убѣжденіемъ и вразумленіемъ. Чистый либерализмъ, какъ извѣстно, есть вѣра въ то, что отсутствіе принудительныхъ мѣръ ведетъ къ наилучшимъ результатамъ въ общественной дѣятельности, что тогда интересы всего правильнѣе уясняются и взаимно уравниваются. Словомъ, это тѣ начала, которыхъ держатся проповѣдники свободы мысли, свободы слова, свободы торговли и т. д., начала, очевидно, далеко не объемяющія своего предмета, но такія, которыхъ слѣдуетъ держаться во множествѣ случаевъ, вездѣ, гдѣ нѣтъ ясныхъ основаній для иного образа дѣйствія. Поэтому либеральная проповѣдь возможна и полезна при всякой формѣ правленія, хотя она не даетъ полной и опредѣленной теоріи никакого общества. Надъ этими началами должны господствовать другія начала, имѣющія большую силу и неотложность.

Неопредѣленный, общій либерализмъ былъ у насъ тогда въ большомъ

рану въ душѣ, а напротивъ глядѣлъ весело и бодро, когда позволяло здоровье. Помню, какъ одна дама, въ первый разъ попавшая на редакціонные вечера Михайла Михайловича (кажется, они были по воскресеньямъ), съ большимъ вниманіемъ вглядывалась въ Федора Михайловича и наконецъ сказала: „смотрю на васъ и кажется вижу на вашемъ лицѣ тѣ страданія, какія вы перенесли...“ Ему были видимо досадны эти слова. „Какія страданія!..“ воскликнулъ онъ, и принялся шутить о совершенно постороннихъ предметахъ. Помню такъ же, какъ, готовясь къ одному изъ литературныхъ чтеній, бывшихъ тогда въ большой модѣ, онъ затруднялся, что ему выбрать. „Нужно что нибудь новенькое, интересное“, говорилъ онъ мнѣ. — Изъ „Мертваго Дома“? — предложилъ я. — „Я ужъ часто читалъ, да и не хотѣлось бы мнѣ. Мнѣ все тогда кажется, какъ будто я жалуясь передъ публикою все жалуясь... Это не хорошо“.

Вообще онъ не любилъ обращаться къ прошлому, какъ будто желая вовсе его откинуть, и если пускался вспоминать, то останавливался на чемъ нибудь радостномъ, какъ будто хвалился имъ. Вотъ почему изъ его разговоровъ трудно было составить понятіе о случаяхъ его прежней жизни.

Въ отношеніи къ власти онъ всегда твердо стоялъ на той точкѣ, которая такъ ясна и тверда у всѣхъ истинно русскихъ людей. Онъ давалъ полную строгость своему сужденію, но откладывалъ всякую мысль о непокорности. Ни сплетничества, ни охоты злословить у него не было, хотя ему случалось съ великою горечью и негодованіемъ говорить объ иныхъ лицахъ и распоряженіяхъ. На себѣ же онъ переносилъ и неудобные существующіе порядки не только безпрекословно, но часто съ совершеннымъ спокойствіемъ, какъ дѣло, не его лично касающееся, а составляющее общее условіе, свойство котораго не зависитъ отъ этого частнаго случая. Такъ, на примѣръ, я не помню, чтобы онъ когда нибудь сильно раздражался противъ цензуры. Тогда существовала предварительная цензура, то есть каждая статья въ корректурѣ подвергалась исключеніямъ и поправкамъ цензора. Цензора, конечно, дѣлали при этомъ много лишняго, по тому естественному побужденію, что имъ хотѣлось исполнять долгъ, совершать нѣкоторый трудъ, то есть непременно дѣлать поправки и исключенія, — если нельзя большихъ, то хоть маленькія. Съ другой стороны, они были вообще люди очень любезные, обыкновенно смотрѣвшіе съ уваженіемъ на литературу и очень доступные для авторовъ. Каждый авторъ, получивши корректуру съ помарками красныхъ чернилъ, нерѣдко отправлялся съ нею къ цензору и торговался, отставивъ свои строчки и выраженія. Такія случаи были безпрерывны и тутъ было поприще для вся-

кихъ раздраженій. Но я не помню, чтобы Федоръ Михайловичъ когда нибудь особенно негодовалъ на подобныя случаи. Вообще мы вовсе не старались въ нашомъ журналѣ о томъ, чтобы произвести какой нибудь скандалъ, обойти цензуру. Что-же касается въ частности до Федора Михайловича, то онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ писателей, которые обыкновенно остаются въ предѣлахъ цензуры, ни мало объ ней не думая, а только потому, что слишкомъ серьезны, чтобы позволить себѣ рѣзкости и личности, останавливающія вниманіе цензоровъ.

VII.

Либерализмъ. — Студентская Исторія.

Вообще никакого слѣда революціоннаго направленія не было въ кружкѣ „Врѣмени“, то есть не только какихъ нибудь помысловъ, но и сношеній съ людьми, замышлявшими недоброе, или какого нибудь имъ покровительства и одобренія. Всѣ мы, и Федоръ Михайловичъ во главѣ, въ самый разгаръ сумятицы, желали и думали ограничиться только литературною ролью, то есть трудиться для того нравственнаго и умственнаго поворота въ обществѣ, какой считали наилучшимъ. Мы, въ сущности, были очень отвлеченные журналисты, говорили только объ общихъ вопросахъ и взглядахъ, въ практической же области мы останавливались на *чистомъ либерализмѣ*, то есть на такомъ ученіи, которое менѣе всего согласно съ мыслью о насильственномъ переворотѣ и, если настаиваетъ на какихъ нибудь измѣненіяхъ существующаго порядка, то добивается этихъ измѣненій однимъ лишь убѣжденіемъ и вразумленіемъ. Чистый либерализмъ, какъ извѣстно, есть вѣра въ то, что отсутствіе принудительныхъ мѣръ ведетъ къ наилучшимъ результатамъ въ общественной дѣятельности, что тогда интересы всего правильнѣе уясняются и взаимно уравниваются. Словомъ, это тѣ начала, которыхъ держатся проповѣдники свободы мысли, свободы слова, свободы торговли и т. д., начала, очевидно, далеко не объемлющія своего предмета, но такія, которыхъ слѣдуетъ держаться во множествѣ случаевъ, вездѣ, гдѣ нѣтъ ясныхъ основаній для иного образа дѣйствія. Поэтому либеральная проповѣдь возможна и полезна при всякой формѣ правленія, хотя она не даетъ полной и опредѣленной теоріи никакого общества. Надъ этими началами должны господствовать другія начала, имѣющія большую силу и неотложность.

Неопредѣленный, общій либерализмъ былъ у насъ тогда въ большомъ

ходу. Имъ пробавлялись всё журналы, имъ больше и больше проникалось общество и даже правящія сферы. „Русскій Вѣстникъ“, начавшійся съ 1856 года, былъ, можно сказать, школою либерализма; по его книжкамъ вся Россія училась глядѣть на вещи съ этой точки зрѣнія, подвергать критикѣ тѣ слѣдствія, какія происходили отъ принудительныхъ мѣръ и порядковъ. Самыя реформы прошлаго царствованія имѣли преимущественно освободительный характеръ, снимали юридическія и административныя стѣсненія, связывавшія народъ и общество. Понятно, что либеральный духъ овладѣлъ всѣми, и такъ какъ сперва въ этомъ движеніи не замѣчалось ничего дурнаго, то оно росло все больше и больше.

Невозможно было не заразиться общимъ оживленіемъ, радостнымъ чувствомъ нарастающей дѣятельности, простора мыслей и занятій. Нужно вспомнить при этомъ подвижность и восторженность нашей публики, обыкновенно не знающей мѣры своимъ увлеченіямъ. Все кипѣло и несло шумнымъ потокомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что правительство покойнаго Государя было расположено давать все больше и больше свободы этому движенію и что мы далеко бы ушли по этому пути, если бы это движеніе держалось въ границахъ того настоящаго либерализма, во имя котораго оно совершалось. Но мы оказались недостойными той свободы, какая намъ давалась. Или можно сказать — либеральныя начала оказались недостаточными для управленія нашимъ обществомъ, именно слишкомъ трудными для своего пониманія и исполненія и нимало не парализующими силы другихъ началъ, нисколько на нихъ не похожихъ. Наступило быстрое и ужасное разочарованіе. Чѣмъ кончилась либеральная эпоха, такъ называемая *заря возрожденія*? Вдругъ стали являться прокламаціи, взывавшія къ бунту и разрушенію; за прокламаціями слѣдовали пожары; за пожарами польское возстаніе, а черезъ три года первое покушеніе на жизнь Государя.

Привожу все это для того, чтобы со всею точностію обозначить, въ чемъ состоялъ тотъ либерализмъ, котораго держалось „Время“ и который слѣдовательно былъ раздѣляемъ Федоромъ Михайловичемъ. Къ сожалѣнію, не смотря на всякіе историческіе опыты, не смотря на всякіе публицистическіе толки, печатные и устные, у насъ господствуетъ величайшая путаница въ понятіяхъ, конечно, поддерживаемая нашею учительницею, Европою, и истинный смыслъ либерализма почти утратился. Что либераль по сущности дѣла долженъ быть въ большинствѣ случаевъ консерваторомъ, а не прогрессистомъ, и ни въ какомъ случаѣ не революціонеромъ, это едва-ли многіе знаютъ и ясно понимаютъ. Такой настоящій либерализмъ Федоръ Михайловичъ сохранялъ до конца своей жизни, какъ

долженъ его сохранять всякій просвѣщенный и не ослѣпленный чело-
вѣкъ.

Разскажу здѣсь одинъ изъ важныхъ случаевъ того времени, такъ называемую *студентскую исторію*, разыгравшуюся въ концѣ 1861 года и какъ нельзя лучше рисующую тогдашнее состояніе общества. Въ этой исторіи вѣроятно дѣйствовали разныя внутреннія пружины; но я не буду ихъ касаться, а разскажу ея наружный, публичный видъ, имѣвшій главное значеніе для большинства и дѣйствующихъ лицъ и зрителей. Университетъ, вслѣдствіе наплыва либерализма, кипѣлъ тогда жизнью все больше и больше, но къ несчастію такой, которая топила учебныя занятія. Студенты составляли сходки, учредили свою кассу, бібліотеку, издавали сборникъ, судили своихъ товарищей и т. д.; но все это такъ ихъ развлекало и возбуждало, что большинство, и даже многіе изъ самыхъ умныхъ и способныхъ, перестали учиться. Было не мало и беспорядковъ, то есть выходовъ за границы всевозможныхъ льготъ, и начальство рѣшилось наконецъ, принять мѣры для прекращенія этого хода дѣлъ. Чтобы заручиться непрерываемымъ авторитетомъ, оно исходатайствовало Высочайшее повелѣніе, которымъ запрещались сходки, кассы, депутаты и тому подобное. Повелѣніе вышло лѣтомъ и, когда студенты осенью явились въ университетъ, нужно было привести его въ исполненіе. Студенты задумали противиться, но рѣшились на то единственное сопротивленіе, какое допускается либеральными началами, то есть на *чисто пассивное*. Такъ они и сдѣлали; они привязывались ко всякимъ предложениямъ, чтобы только дать какъ можно больше работы властямъ и гласности всему дѣлу. Они очень искусно добились величайшаго скандала, какого только можно было добиться. Власти вынуждены были два или три раза забирать ихъ днемъ, на улицѣ, огромными толпами. Къ пущей радости студентовъ, ихъ посадили даже въ Петропавловскую крѣпость. Они безпрекословно подчинились этому аресту, потомъ суду и, наконецъ, ссылкѣ, для многихъ очень тяжелой и долговременной. Сдѣлавши это, они думали, что сдѣлали все, что нужно, то есть, что они громко заявили о нарушеніи своихъ правъ, сами не вышли изъ предѣловъ законности и понесли тяжкое наказаніе, какъ будто только за неотступность своихъ просьбъ.

Хотя эти юридическія понятія въ сущности не приимчивы къ учащимся, но студенты, для поученія остальныхъ гражданъ, разыграли эту либерально-юридическую драму безъукоризненно и съ истиннымъ увлеченіемъ. Это вовсе не былъ бунтъ, хотя бы и въ маленькихъ размѣрахъ. Всего интереснѣе и характернѣе то, что тогда-же нашлись люди, которымъ очень хотѣлось обратить эту исторію въ бунтъ, что со студентами

дѣлались совѣщанія въ этомъ родѣ, что имъ предлагалось, напригѣръ, совершить злодѣйство, которымъ правительство было бы поставлено въ безвыходное положеніе и т. п. Революціонные элементы уже назрѣли въ обществѣ; но на сей разъ либерализмъ сохранилъ свою чистоту и была лишь совершена громкая демонстрація, какъ-бы публичная жалоба общественному мнѣнію. Ради этого многіе молодые люди съ веселымъ сердцемъ испортили навсегда свое житейское поприще.

Разумѣется, весь городъ только и говорилъ о студентахъ. Съ заключенными дозволялись свиданія, и потому въ крѣпость каждый день являлось множество посѣтителей. И отъ редакціи „Времени“ былъ имъ посланъ гостинецъ. У Михайла Михайловича былъ закаренъ огромный рост-бифъ и отвезенъ въ крѣпость съ прибавкою бутылки коньяку и бутылки краснаго вина. Когда студентовъ, признанныхъ наиболѣе виновными, стали, наконецъ, увозить въ ссылку, ихъ провожали далеко за городъ родные и знакомые. Прощаніе было людное и шумное, и ссыльные большею частію смотрѣли героями.

Исторія эта потомъ продолжалась совершенно въ томъ же духѣ. Университетъ закрыли, съ тѣмъ, чтобы подвергнуть полному преобразованію. Тогда профессора стали просить позволенія читать публичныя лекціи, и безъ труда получили разрѣшеніе. Дума уступила для лекцій свои залы, и вотъ университетскіе курсы открылись внѣ университета почти въ полномъ своемъ составѣ. Всѣ хлопоты по устройству лекцій и все смотрѣніе за порядкомъ студенты взяли на себя и очень были довольны и горды этии новымъ, вольнымъ университетомъ.

Но мысли ихъ были заняты не наукой, о которой они, повидимому, такъ хлопотали, а чѣмъ-то другимъ, и это испортило все дѣло. Поводомъ къ разрушенію думскаго университета былъ знаменитый „литературно-музыкальный вечеръ“, *въ залѣ Руадзе*, 2 марта 1862. Этотъ вечеръ былъ устроенъ съ цѣлью сдѣлать какъ бы выставку всѣхъ передовыхъ, прогрессивныхъ литературныхъ силъ. Подборъ литераторовъ сдѣланъ былъ самый тщательный въ этомъ смыслѣ, и публика была самая отборная въ томъ же смыслѣ. Даже музыкальныя пьесы, которыми перемежались литературныя чтенія, были исполняемы женами и дочерьми писателей хорошаго направленія. Федоръ Михайловичъ былъ въ числѣ чтецовъ, а его племянница въ числѣ исполнительницъ. Дѣло было не въ томъ, что читалось и исполнялось, а въ оваціяхъ, которыя дѣлались представителямъ передовыхъ идей.

Шумъ и восторгъ былъ страшный, и имѣ всегда потомъ казалось, что этотъ вечеръ былъ высшею точкою, до которой достигло либеральное дви-

женіе нашего общества, и вѣсть кульминаціею нашей воздушной революціи. Одинъ изъ эпизодовъ этого вечера былъ началомъ быстрого паденія и разочарованія въ наше тогдашнее прогрессѣ. Профессоръ П—въ читалъ на вечерѣ свою статью, которая, какъ и все, что исполнялось, была предварительно цензурирована; онъ прочиталъ ее безъ измѣненія, но съ такими выразительными интонаціями и жестами, что смыслъ получился вовсе нецензурный. Поднялся радостный гвалтъ, восторгъ невозможный для описанія.

И вотъ на другой день разносится всюду вѣсть, что профессоръ арестованъ и высланъ изъ Петербурга. Какъ тутъ быть? Какъ протестовать противъ такой шѣры? Студенты довольно послѣдовательно придумали, что высылка одного профессора представляетъ угрозу другимъ профессорамъ, что поэтому они не могутъ продолжать своихъ чтеній, если не желаютъ показать, что считаютъ своего сосоварища виновнымъ и что сами желаютъ быть невинными передъ правительствомъ. Рѣшено было закрыть Думскій университетъ и тѣмъ протестовать противъ стѣсненій. Это былъ протестъ въ родѣ выхода профессоровъ въ отставку, — дѣло, какъ извѣстно, безпрестанно повторявшееся въ русскихъ университетахъ, нѣчто похожее на японское самоубійство. Студенты предполагали, что все общество будетъ поражено скорбью и гнѣвомъ, когда вдругъ закроется главный источникъ его просвѣщенія. Профессора согласились на желаніе студентовъ и отказались отъ чтенія, кромѣ одного или двухъ, которымъ зато слушатели стали дѣлать скандалы. Наконецъ, вѣшалось начальство и прекратило все дѣло, запретивъ вообще профессорамъ читать публичные лекціи.

Какой-же былъ результатъ всей исторіи? Тотчасъ же обнаружилось, что хитрые замысли возбудить общество и вооружить его противъ правительства потерпѣли полную неудачу. Общество не тронулось, и волненіе, вѣсто того, чтобы возрастать, вдругъ погасло. Руководители дѣла слишкомъ наивно воображали, что шумъ, происходящій въ ихъ кружкахъ, есть выраженіе общаго настроенія, и что такъ легко будетъ обмануть публику. Въ сущности никто серьезно не могъ повѣрить, что правительство есть врагъ и притѣснитель просвѣщенія. Подкладка дѣла была всегъ слишкомъ видна, особенно когда въ то же время стали одна за другою появляться прокламаціи, изъ которыхъ первая считала въ Россіи сто тысячъ человѣкъ помѣхою общему благополучію, а послѣдняя уже прямо угрожала — „залить улицы кровью и не оставить камня на камнѣ“.

Какъ-бы то ни было, правительство, постоянно желавшее сохранить либеральный образъ дѣйствій, было поставлено въ очень трудное положеніе; оказывалось, что всякая либеральная шѣра возбуждаетъ въ обществѣ

дѣлались совѣщанія въ этомъ родѣ, что имъ предлагалось, напримѣръ, совершить злодѣйство, которымъ правительство было бы поставлено въ безвыходное положеніе и т. п. Революціонные элементы уже назрѣли въ обществѣ; но на сей разъ либерализмъ сохранилъ свою чистоту и была лишь совершена громкая демонстрація, какъ-бы публичная жалоба общественному мнѣнію. Ради этого многіе молодые люди съ веселымъ сердцемъ испортили навсегда свое житейское поприще.

Разумѣется, весь городъ только и говорилъ о студентахъ. Съ заключенными дозволялись свиданія, и потому въ крѣпость каждый день являлось множество посѣтителей. И отъ редакціи „Времени“ былъ имъ посланъ гостинецъ. У Михайла Михайловича былъ зажаренъ огромный ростбифъ и отвезенъ въ крѣпость съ прибавкою бутылки коньяку и бутылки красного вина. Когда студентовъ, признанныхъ наиболѣе виновными, стали, наконецъ, увозить въ ссылку, ихъ провожали далеко за городъ родные и знакомые. Прощаніе было людное и шумное, и ссыльные большею частію смотрѣли героями.

Исторія эта потомъ продолжалась совершенно въ томъ же духѣ. Университетъ закрыли, съ тѣмъ, чтобы подвергнуть полному преобразованію. Тогда профессора стали просить позволенія читать публичныя лекціи, и безъ труда получили разрѣшеніе. Дума уступила для лекцій свои залы, и вотъ университетскіе курсы открылись внѣ университета почти въ полномъ своемъ составѣ. Всѣ хлопоты по устройству лекцій и все смотрѣніе за порядкомъ студенты взяли на себя и очень были довольны и горды этимъ новымъ, вольнымъ университетомъ.

Но мысли ихъ были заняты не наукой, о которой они, повидимому, такъ хлопотали, а чѣмъ-то другимъ, и это испортило все дѣло. Поводомъ къ разрушенію думскаго университета былъ знаменитый „литературно-музыкальный вечеръ“, *въ залѣ Рудзе*, 2 марта 1862. Этотъ вечеръ былъ устроенъ съ цѣлью сдѣлать какъ бы выставку всѣхъ передовыхъ, прогрессивныхъ литературныхъ силъ. Подборъ литераторовъ сдѣланъ былъ самый тщательный въ этомъ смыслѣ, и публика была самая отборная въ томъ же смыслѣ. Даже музыкальныя пьесы, которыми перемежались литературныя чтенія, были исполняемы женами и дочерьми писателей хорошаго направленія. Федоръ Михайловичъ былъ въ числѣ чтецовъ, а его племянница въ числѣ исполнительницъ. Дѣло было не въ томъ, что читалось и исполнялось, а въ оваціяхъ, которыя дѣлались представителямъ передовыхъ идей.

Шумъ и восторгъ былъ страшный, и мнѣ всегда потомъ казалось, что этотъ вечеръ былъ высшею точкою, до которой достигло либеральное дви-

женіе нашего общества, и вѣсть кульминаціею нашей воздушной революціи. Одинъ изъ эпизодовъ этого вечера былъ началомъ быстрого паденія и разочарованія въ нашемъ тогдашнемъ прогрессѣ. Профессоръ П—въ читалъ на вечерѣ свою статью, которая, какъ и все, что исполнялось, была предварительно цензурирована; онъ прочиталъ ее безъ измѣненія, но съ такими выразительными интонаціями и жестами, что смыслъ получился вовсе нецензурный. Поднялся радостный гвалтъ, восторгъ невозможный для описанія.

И вотъ на другой день разносится всюду вѣсть, что профессоръ арестованъ и высланъ изъ Петербурга. Какъ тутъ быть? Какъ протестовать противъ такой мѣры? Студенты довольно послѣдовательно придумали, что высылка одного профессора представляетъ угрозу другимъ профессорамъ, что поэтому они не могутъ продолжать своихъ чтеній, если не желаютъ показать, что считаютъ своего сотоварища виновнымъ и что сами желаютъ быть невинными передъ правительствомъ. Рѣшено было закрыть Думскій университетъ и тѣмъ протестовать противъ стѣсненій. Это былъ протестъ въ родѣ выхода профессоровъ въ отставку, — дѣло, какъ извѣстно, безпрестанно повторявшееся въ русскихъ университетахъ, нѣчто похожее на японское самоубійство. Студенты предполагали, что все общество будетъ поражено скорбью и гнѣвомъ, когда вдругъ закроется главный источникъ его просвѣщенія. Профессора согласились на желаніе студентовъ и отказались отъ чтенія, кромѣ одного или двухъ, которымъ зато слушатели стали дѣлать скандалы. Наконецъ, вѣшалось начальство и прекратило все дѣло, запретивъ вообще профессорамъ читать публичные лекціи.

Какой-же былъ результатъ всей исторіи? Тотчасъ же обнаружилось, что хитрые замыслы возбудить общество и вооружить его противъ правительства потерпѣли полную неудачу. Общество не тронулось, и волненіе, вмѣсто того, чтобы возрастать, вдругъ погасло. Руководители дѣла слишкомъ наивно воображали, что шумъ, происходящій въ ихъ кружкахъ, есть выраженіе общаго настроенія, и что такъ легко будетъ обмануть публику. Въ сущности никто серьезно не могъ повѣрить, что правительство есть врагъ и притѣснитель просвѣщенія. Подкладка дѣла была весьма слишкомъ видна, особенно когда въ то же время стали одна за другою появляться прокламаціи, изъ которыхъ первая считала въ Россіи сто тысячъ человѣкъ помѣхой общему благополучію, а послѣдняя уже прямо угрожала — „залить улицы кровью и не оставить камня на камнѣ“.

Какъ-бы то ни было, правительство, постоянно желавшее сохранить либеральный образъ дѣйствій, было поставлено въ очень трудное положеніе; оказывалось, что всякая либеральная мѣра возбуждаетъ въ обществѣ

движеніе, которое пользуется этою мѣрою для своихъ цѣлей, не либеральныхъ, а весьма радикальныхъ. Затрудненіе это прекращено было только петербургскими пожарами и польскимъ возстаніемъ, когда, наконецъ, стало ясно, что нельзя терпѣть и предоставлять естественному теченію зло, принявшее такіе ужасающіе размѣры.

VIII.

Полемика. Нигилизмъ.

Во всякомъ случаѣ, состояніе умовъ въ это время, въ 1861 и 1862 годахъ, было въ высшей степени возбужденное и *почвенники* естественно раздѣляли это возбужденіе. Казалось, всѣ старія формы жизни готовы исчезнуть и видоизмѣниться, и можетъ начаться новая жизнь, народный духъ можетъ обнаружиться въ новомъ свободномъ творчествѣ. Этимъ объясняется, почему мы такъ легко переносили неопредѣленность нашего катихизиса. Мы пользовались тѣми преимуществами, которыя общество такъ охотно даетъ писателямъ и за которыя такъ усердно держатся сами писатели. Они, какъ извѣстно, ничему не подчинены и ни къ чему не обязаны, кромѣ внушеній своего ума и своей совѣсти. Мы не примыкали ни къ какой партіи, имѣющей практическое дѣло, практическіе интересы; мы ясно видѣли, что намъ нужно оставаться въ сферѣ общихъ отвлеченныхъ вопросовъ, и такъ какъ мы были горячіе патріоты и руссофилы, то передъ нами было множество дѣла, и въ литературной критикѣ, и въ пониманіи русской исторіи и русскаго быта, и во всевозможныхъ сужденіяхъ о Западѣ и его умственныхъ и политическихъ явленіяхъ, имѣющихъ у насъ такое могущественное вліяніе. Въ этомъ отношеніи нельзя не видѣть, что „Время“ работало усердно и никакъ не уклонялось отъ общей своей задачи.

Неизбѣжной частью этой задачи была полемика, такъ какъ все огромное большинство литературы было западническое, а самое рѣшительное вліяніе принадлежало журналамъ прямо расположеннымъ къ нигилизму. Поэтому нигилизмъ сдѣлался нѣкотораго рода спеціальностью „Времени“; оно постоянно слѣдило за нимъ и анализировало его съ различныхъ сторонъ. Въ промежутокъ отъ начала „Времени“ до появленія романа Тургенева „Отцы и Дѣти“ („Русскій Вѣстникъ“ 1862 года, февраль), „Время“ успѣло уже указать на существенныя черты нигилизма, на тѣ самыя черты, которыя въ живыхъ образахъ и сценахъ съ такою мѣткостью изобразилъ Тургеневъ.

Начало борьбы съ нигилистическимъ направленіемъ положилъ самъ Федоръ Михайловичъ, въ своей статьѣ: „—бовъ и вопросъ объ искусствѣ“ („Время“ 1861 г., февраль), въ которой онъ опровергалъ стремленіе сдѣлать изъ искусства чисто служебное средство. Онъ началъ съ довольно мягкихъ возраженій; главнымъ образомъ онъ возставалъ противъ нарушенія законовъ искусства и противъ мысли о бесполезности такихъ художественныхъ произведеній, которыя не имѣютъ ясной тенденціи. Но мнѣ не терпѣлось и хотѣлось скорѣе стать въ прямое и рѣшительное отношеніе къ нигилистическимъ ученіямъ. Могу сказать, что во мнѣ было постоянно какое-то органическое нерасположеніе къ нигилизму и что съ 1855 года, когда онъ сталъ замѣтно высказываться, я смотрѣлъ съ большимъ негодованіемъ на его проявленія въ литературѣ. Уже въ 1859 и въ 1860 году я дѣлалъ попытки возразить противъ нелѣпостей, которыя такъ явно и развязно высказывались; но редакторы двухъ изданій, куда я обращался, люди хорошо знакомые, рѣшительно отказались печатать мои статьи и сказали, чтобы и впредь я объ этомъ не думалъ. Я понялъ тогда, какой большой авторитетъ имѣютъ органы этого направленія, и очень опасался, что такая-же участь меня постигнетъ и во „Времени“. Поэтому для меня было большою радостью, когда моя статья „Еще о петербургской литературѣ“, разумеется, благодаря лишь Федору Михайловичу, была принята („Время“ 1861 г., июнь); тогда я сталъ писать въ этомъ родѣ чуть не въ каждой книжкѣ журнала. Рассказываю обо всемъ этомъ для характеристики литературы того времени. Самъ-же я искренно считалъ эти статьи болѣе забавою, чѣмъ дѣломъ, и тѣмъ веселѣе они выходили. Со стороны редакціи было, впрочемъ, сначала маленькое сопротивленіе. Въ моихъ статьяхъ иногда редакція приставляла къ имени автора, на котораго я нападалъ, какой-нибудь лестный эпитетъ, напр. *талантливый*, *даровитый*, или въ скобкахъ: (*впрочемъ, достойный уваженія*). Были и вставки; такъ въ статьѣ „Нѣчто о полемикѣ“ было вставлено слѣдующее мѣсто:

„Вольтеръ цѣлую жизнь свисталъ и не безъ толку и не безъ послѣдствій. (А вѣдь какъ сердился за него, и именно за свистъ)“.

Эта похвала свисту вообще и Вольтеру въ частности нарушаетъ тонъ статьи и выражаетъ вовсе не мои вкусы. Но редакція не могла не вступить за то, что имѣло силу въ тогдашнихъ нравахъ и на что признавала и за собою полное право. Вставка принадлежитъ Федору Михайловичу, и я уступилъ его довольно горячему настоянію. Скоро, впрочемъ, всякія поправки такого рода вовсе прекратились.

Статьи эти писались подъ псевдонимомъ *Косицы*, — я имѣлъ дерзость выбрать себѣ образцомъ *Феофилакта Косичкина* и прилагалъ большія старанія о добросовѣтности и точности въ отношеніи къ предмету своихъ нападеній. Свиста у меня не было никакого, но тѣмъ больше силы получали статьи, и тѣмъ больше интересовало Федора Михайловича то разъясненіе вопроса, которое изъ нихъ выходило.

Разсказываю обо всемъ этомъ потому, что дѣло это имѣло чрезвычайно важныя послѣдствія: оно повело къ совершенному разрыву „Времени“ съ „Современникомъ“, а затѣмъ къ общей враждѣ противъ „Времени“ почти всей петербургской журналистики.

Вообще же, для нашей литературы, для общественнаго сознанія, вопросъ о народившемся у насъ отрицаніи былъ ясно поставленъ преимущественно романомъ Тургенева „Отцы и Дѣти“, тѣмъ романомъ, въ которомъ въ первый разъ появилось слово *нигилизмъ*, съ котораго начались толки о *новыхъ людяхъ* и, словомъ, все дѣло получило опредѣленность и общеизвѣстность. „Отцы и Дѣти“, конечно, самое замѣчательное произведеніе Тургенева, не въ художественномъ, а въ публицистическомъ отношеніи. Тургеневъ постоянно слѣдилъ за видоизмѣненіями господствовавшихъ у насъ настроеній, за тѣми идеалами *современнаго героя*, которые складывались въ передовыхъ и литературныхъ кружкахъ, и на этотъ разъ совершилъ рѣшительное открытіе, нарисовалъ типъ, котораго прежде почти никто не замѣчалъ и который вдругъ всѣ ясно увидѣли вокругъ себя. Изумленіе было чрезвычайное, и произошла сумятица, такъ какъ изображенныя были застигнуты въ распλοхъ и сперва не хотѣли узнавать себя въ романѣ, хотя авторъ вовсе не относился къ нимъ съ рѣшительнымъ несочувствіемъ. Но молодому поколѣнію этого было мало; оно требовало, на оборотъ, безусловнаго сочувствія и съ великимъ шумомъ объявило Тургенева, первое имя въ литературѣ, чело-вѣкомъ отсталымъ и противникомъ общаго дѣла. Среди тогдашнихъ безпрерывныхъ разговоровъ и споровъ, много разъ мнѣ приходилось доказывать разнымъ нигилистамъ, что, если они хотятъ быть послѣдовательными, то должны держаться именно тѣхъ мнѣній, какія исповѣдуетъ Базаровъ, герой Тургенева. Большинство публики, какъ всегда, очень горячилось, но имѣло сбивчивыя, нестрыя понятія о дѣлѣ, и самые ярне приверженцы нигилистическаго направленія вовсе не подозрѣвали, на-примѣръ, что наука и искусство тоже должны быть приносимы въ жертву ихъ идолу.

Во „Времени“ была напечатана (1862 г., апрѣль) моя статья, въ которой превозносился Тургеневъ, какъ чисто-объективный художникъ,

и доказывалась вѣрность изображаемаго имъ типа. Тотчасъ послѣ появленія статьи, пріѣхалъ въ Петербургъ Тургеневъ, по обыкновенію собравшійся проводить лѣто въ Россіи. Онъ навѣстилъ и редакцію „Времени“, засталъ насъ въ сборѣ и пригласилъ Михаила Михайловича, Федора Михайловича и меня къ себѣ обѣдать, въ гостиницу Клея (что нынѣ Европейская). Буря, поднявшаяся противъ него, очевидно, его тревожила. За обѣдомъ онъ говорилъ съ большою живостью и прелестью, и главною темою были отношенія иностранцевъ къ русскимъ, живущимъ за границею. Онъ разсказывалъ съ художественной картинностію, какія хитрыя и подлыя уловки употребляютъ иностранцы, чтобы обирать русскихъ, присвоить себѣ ихъ имущество, добиться завѣщанія въ свою пользу и т. д. Много разъ потомъ мнѣ приходилъ на мысль этотъ разговоръ, и я жалѣлъ, что эти тонкія наблюденія, и конечно множество подобныхъ имъ, собранныхъ во время долгаго житія за границею, остались неразсказанными печатно.

Извѣстно, какъ затѣмъ разыгралось дѣло объ нигилизмѣ. На Тургенева сыпался въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ цѣлый дождь всякихъ упрековъ и брани. Самъ онъ былъ долго смущенъ и цѣлые пять лѣтъ, до „Дыма“ (1867 г.), ничего не писалъ въ родѣ своихъ прежнихъ публицистическихъ романовъ, да и вообще очень мало писалъ. Между тѣмъ въ 1866 году появилось „Преступленіе и Наказаніе“, въ которомъ съ удивительною силой изображено нѣкоторое крайнее и характерное проявленіе нигилизма, и съ этого романа до предсмертной „Легенды объ великомъ инвизиторѣ“ идетъ у Достоевскаго разнообразный и глубокий анализъ нашего нравственнаго и умственнаго шатанія. Если взглянуть на дѣло съ этой точки зрѣнія, то за Достоевскимъ нужно признать огромную заслугу литературѣ и обществу. Онъ одинъ взялъ задачу во всей глубинѣ и ширинѣ,—захватилъ всѣ виды и крайности той глупости и безнравственности, которая развивается въ русскихъ людяхъ, когда они покидаютъ родную почву, то есть отрываются отъ покорности Россіи и преданности христіанскому духу. Онъ заглянулъ въ душу этихъ людей и изобразилъ борьбу ихъ заблужденій съ добрыми началами, еще живущими въ ихъ душѣ. Религіозный элементъ, а также складъ народной нравственности, народнаго патріотизма, ясно выступаютъ какъ противовѣсъ, какъ убѣжище и спасеніе отъ хаоса и бессмыслицы вывѣтрившагося слоя общества. Все дѣло взято широко, тонко, глубоко, притомъ съ постояннымъ обращеніемъ къ вѣковѣчнымъ задачамъ души человѣческой, съ художественными попытками уловить и самыя возвышенныя и самыя срадныя тайны людскихъ сердецъ. Не мудрено, что такой писатель, такой публи-

цнсть сталь, наконецъ, чрезвычайно занимать читателей, не смотря на то, что по художественнымъ достоинствамъ его произведенія уступали нѣкоторымъ изъ современныхъ имъ произведеній другихъ авторовъ.

При этомъ общемъ очеркѣ отношеній нашей литературы къ нигилизму, я указываю и свою маленькую роль, — прошу читателя вѣрить — не столько для похвалы, сколько для уясненія хода дѣла. Тотчасъ послѣ обѣда у Тургенева вышла апрѣльская книжка „Современника“ съ большою статью „О духѣ Времени“, въ высшей степени рѣзкою и направленною исключительно противъ меня, такъ что по тогдашнимъ литературнымъ понятіямъ я былъ убитъ окончательно. Сперва я принялъ это нападеніе совершенно хладнокровно, но, признаюсь, я потомъ немножко унылъ, когда увидалъ, что многіе добрые мои знакомые, даже изъ числа наиболѣе любившихъ меня, стали посматривать на меня съ сожалѣніемъ и вовсе не хотѣли раздѣлять моей бодрости. Между тѣмъ, судя по всему, а особенно издали, теперь, можно сказать, что статья противъ „Времени“ была, такъ сказать, одною изъ первыхъ *остычекъ* „Современника“. Онъ тогда былъ въ самомъ воинственномъ духѣ, и съ начала года принялся за казни; въ первой книжкѣ совершена была казнь надъ московскимъ профессоромъ философіи *Юркевичемъ*, во второй — надъ славянофилами, въ третьей — надъ Тургеневымъ, въ четвертой — надъ „Временемъ“, то есть именно надо мною. Въ статьѣ было даже тщательно заявлено, что ея упреки и порицанія не простираются на романъ „Униженные и Оскорбленные“ и на „Записки изъ Мертваго Дома“. Такимъ образомъ мнѣ досталось весьма почетное мѣсто въ числѣ главныхъ враговъ, или, пожалуй, главныхъ жертвъ „Современника“. Эта честь заслужена мною именно тѣмъ анализомъ нигилистическаго направленія, которымъ я съ такимъ усердіемъ занимался. И къ этому-же анализу больше, чѣмъ къ нѣкоторымъ положительнымъ взглядамъ, я отношу то лестное слово, которое мнѣ сказалъ однажды Федоръ Михайловичъ, уже гораздо позже, когда наша дружба была холоднѣе, во времена редактированія имъ „Гражданина“. Онъ требовалъ отъ меня, чтобы я больше писалъ, и когда я сказалъ, что у меня мало мыслей, для того чтобы такъ много писать, онъ возразилъ: „Какъ мало мыслей? Да половина моихъ взглядовъ — ваши взгляды!“ Понятно, что это замѣчаніе, сказанное сердитымъ тономъ, сохранилось въ моей памяти, какъ большая похвала, и я приписываю ее больше всего моему упорному стоянію противъ нигилизма. Люди съ художественнымъ складомъ ума часто видятъ большое достоинство въ логическомъ развитіи мыслей, къ которому сами они мало расположены, и когда въ основахъ есть совпаденіе, какъ въ боль-

ипинствѣ случавъ было у насъ съ Федоромъ Михайловичемъ, то художникамъ бываетъ очень пріятна отвлеченная формулировка ихъ идей и чувствъ.

Я отвѣчалъ „Современнику“ въ майской книжкѣ „Времени“. Но „Современнику“ угрожала въ это время гораздо бѣдлая бѣда. Тогда уже шло дѣло Н. Г. Чернышевскаго, подвергшагося подозрѣнію, что онъ участвовалъ въ прокламаціяхъ. И, почти вслѣдъ за самою ярою изъ прокламацій, обѣщавшею *залить улицы кровью и не оставить камня на камнѣ*, начались петербургскіе пожары. Это была самая ужасная минута нашей *воздушной революціи*, броженія, возникшаго въ оторвавшихся отъ почвы ужахъ и душахъ. По какой-то связи, по подозрѣнію или обвиненію, „Современникъ“ былъ признанъ вреднымъ изданіемъ и въ іюлѣ былъ закрытъ на восемь мѣсяцевъ.

Это закрытіе истинно огорчило насъ. У насъ былъ отнятъ противникъ, борьбу съ которымъ мы приписывали важное значеніе. Мы знали очень хорошо, что, не смотря на его молчаніе, и даже въ силу этого вынужденнаго молчанія, его направленіе продолжаетъ все усиливаться и развиваться; но у насъ не было уже подъ руками самаго авторитетнаго и яснаго представителя этихъ инѣй. Такимъ образомъ, внимательство власти разрушало наши внутренніе, такъ сказать, домашніе расчеты. Предварительная цензура, подъ которою тогда всѣ писали, конечно, была похвѣхою для яснаго выраженія всякихъ взглядовъ и была больше всего благопріятна для ученій отрицательныхъ, для которыхъ достаточно намекъ, насмѣшливаго оборота рѣчи, фигуры умолчанія, чтобы читатель прочелъ между строками несложную и удобопонятную формулу отрицанія. Вся масса нигилистическихъ ученій со всѣми ихъ видами прошла въ нашу литературу подъ предварительною цензурою. Положительнымъ ученіямъ было труднѣе; но при небольшой литературной ловкости мы мало тяготились цензурою и работали довольно весело, принимая борьбу даже при неравныхъ условіяхъ. Закрытіе-же „Современника“ выбивало насъ совершенно изъ коленъ.

Но кромѣ этого домашняго огорченія, общее теченіе дѣлъ было очень тяжелое и грустное. Пожары наводили ужасъ, который трудно описать. Помню, мы вмѣстѣ съ Федоромъ Михайловичемъ отправились для развлеченія куда-то на загородное гулянье. Издали, съ парохода, видны были клубы дыма, въ трехъ или четырехъ мѣстахъ подымавшіеся надъ городомъ. Мы пріѣхали въ какой-то садъ, гдѣ играла музыка и пѣли цыгане. Но, какъ мы ни старались позабавиться, тяжелое настроеніе не проходило, и я скоро сталъ проситься домой. Въ поджогахъ трудно

сомнѣваться, но это дѣло, какъ и другія страшныя событія той эпохи, почему-то осталось совершенно покрытымъ мракомъ.

IX.

Первая поѣздка за границу.

Лѣтомъ этого года (1862), 7-го или 8-го іюня, Фёдоръ Михайловичъ пустился въ свою первую поѣздку за-границу. Припомню, что могу, изъ этой поѣздки; самъ онъ описалъ ея впечатлѣнія въ статьѣ „Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ“. Онъ поѣхалъ въ Парижъ, а потомъ въ Лондонъ, гдѣ видѣлся съ Герценомъ, какъ самъ о томъ упоминаетъ въ „Дневникѣ“ „Гражданина“. Въ Герцену онъ тогда относился очень мягко и его „Зимнія замѣтки“ отзываются нѣсколько вліяніемъ этого писателя; но потомъ, въ послѣдніе годы, часто выражалъ на него негодование за неспособность понимать русскій народъ и неумѣніе цѣнить черты его быта. Гордость просвѣщеніемъ, брезгливое пренебреженіе къ простымъ и добродушнымъ нравамъ—эти черты Герцена возмущали Фёдора Михайловича, осуждавшаго ихъ даже и въ самомъ Грибоѣдовѣ, а не только въ нашихъ революціонерахъ и мелкихъ обличителейъ.

Изъ-за границы я получилъ тогда отъ Фёдора Михайловича письмо, которое привожу здѣсь вполнѣ, какъ носящее на себѣ слѣды всѣхъ тогдашнихъ обстоятельствъ.

„Парижъ, 26 іюня (8 іюля) 1862 г.

„Вы въ первыхъ числахъ іюня трогаетесь за границу, дорогой Николай Николаевичъ. Съ Богомъ; ужь одно то, что къ тому времени вы непременно попадете на прекрасную погоду, такъ какъ теперь она вездѣ, по всей Европѣ скверная. Но какъ вспомню: на кого-жъ вы оставите Михаила Михайловича, такъ даже жутко станетъ. Голубчикъ Николай Николаевичъ, пора теперь скверная, какъ вы пишете,—пора томительнаго и тоскливаго ожиданія. Но вѣдь журналъ дѣло великое; это такая дѣятельность, которою нельзя рисковать, потому что во что бы ни стало, журналы, какъ выраженіе всѣхъ отдѣльныхъ современныхъ мнѣній, должны остаться. А дѣятельность, т. е. что именно дѣлать, о чемъ говорить и что писать,—всегда найдется! Господи! Какъ подумаешь, сколько еще не сдѣлано и не сказано! И потому сижу здѣсь, а рвусь отсюда, изъ такъ называемаго прекраснаго далека, хоть не тѣломъ, такъ духомъ, къ вамъ

„въ Россію. Всякій, всякій долженъ дѣлать теперь и, главное, попасть на здравый смыслъ. Слишкомъ у насъ перепутались въ обществѣ понятія. Недоумѣніе наступило какое-то. Вы пишете, дорогой Николай Николаевичъ, что хотите съѣздить предварительно въ Москву. Чтобъ не опутали васъ тамъ сенаторы журналистики! Чего добраго, Катковъ соблазнитъ васъ какойнибудь разливневанной по безбрежному отвлеченному полю доктриной... Нѣтъ, нѣтъ, я вѣдь шучу. Ахъ, голубчикъ, родной мой, какъ бы хотѣлось съ вами здѣсь увидѣться! И знаете что: мнѣ кажется, это совершенно возможная и должная вещь. Штука въ томъ, чтобъ не сбиться въ адресахъ. Главное дѣло въ томъ, чтобъ помнить числа. 15-го іюля (нашего стила), но не раньше, я выѣзжаю изъ Парижа въ Кельнъ. День пробуду въ Дюссельдорфѣ, потомъ на пароходѣ вверхъ по Рейну до Майнца, а тамъ въ Oberland, т. е. можетъ быть въ Базель и проч. Значить 18 или 19-го числа нашего стила я въ Базель, и 20, 21 или 22-го въ Женевѣ. Слѣдственно всякое письмо ваше, откуда-бы то ни было, если придетъ въ Парижъ не позже 15-го іюля, застанетъ меня тамъ, и я буду знать, гдѣ васъ найти. Даже такъ, напримеръ: вы мнѣ напишете, положимъ, изъ Берлина или Дрездена, что такого-то числа будете тамъ-то (а это вы можете рассчитывать всегда, дней на десять впередъ), тамъ я и буду васъ искать. А если вы сдѣлаете еще такую вещь: купите себѣ guide Рейхарда, такъ что въ каждомъ городѣ будете знать, какія отели (и какія въ нихъ цѣны), то, напримеръ, будучи въ Берлинѣ и пиша ко мнѣ, напишете: остановлюсь въ Женевѣ такого-то числа и въ такой-то гостинницѣ. Такъ что я и буду ужъ спрашивать о васъ въ этой гостинницѣ. Вы, можетъ быть, пріѣхавъ въ Женеву и не остановитесь въ этой гостинницѣ, найдете ее неудобной и остановитесь въ другой, но это вамъ нисколько не помѣшаетъ остановиться въ прежней (условленной) гостинницѣ свой адресъ, для тѣхъ, кто объ васъ спроситъ (т. е. для меня), и дадите за это portier гостинницы какойнибудь франкъ на водку, и такимъ образомъ я васъ непременно найду. Какъ любопытно мнѣ тоже узнать вашъ маршрутъ. Ахъ, Николай Николаевичъ, Парижъ прескучнѣйшій городъ, и еслибъ не было въ немъ очень много дѣйствительно слишкомъ замѣчательныхъ вещей, то право, можно-бы умереть со скуки. Французы, ей Богу, такой народъ, отъ котораго тошнить. Вы говорили о самодовольно-наглыхъ и г.....ъ лицахъ, свирѣствующихъ на нашихъ Минералахъ*). Но клянусь вамъ,

*) Тутъ разумѣются „Минеральныя воды“, загородное гулянье, устроенное Излеромъ и долго бывшее единственнымъ и моднымъ.

„что тутъ сидитъ нашего. Наши—просто плотоядные подлецы и большею
 „частію сознательные, а здѣсь онъ вполне увѣренъ, что такъ и надо.
 „Французъ тихъ, честенъ, вѣжливъ, но фальшивъ и деньги у него все.
 „Идеала никакого. Не только увѣженій, но даже размышленій не спра-
 „шивайте. Уровень общаго образованія низокъ до крайности (я не говорю
 „про присяжныхъ ученыхъ. Но вѣдь тѣхъ не много, да и наконецъ развѣ
 „ученость есть образованіе, въ томъ смыслѣ, какъ мы привыкли понимать
 „это слово?). Вы, можетъ быть, посмѣетесь, что я такъ сужу, всего еще
 „только десять дней пробывъ въ Парижѣ. Согласенъ, но 1) то, что я видѣлъ
 „въ эти десять дней подтверждаетъ покажѣтъ мою мысль, а во 2-хъ) есть
 „нѣкоторые факты, которыхъ замѣтить и понять достаточно полчаса, но
 „которые ясно обозначаютъ цѣлыя стороны общественнаго состоянія, а
 „именно тѣмъ, что эти факты возможны, существуютъ. Заѣдете-ли вы въ
 „Парижъ? Заѣзьте: на три дня въ Парижъ ѣхать не стоитъ, а посвя-
 „тить ему двѣ недѣли, если вы *только туристъ*, будетъ скучно. За дѣ-
 „ломъ сюда ѣхать можно. Много есть чего посмотреть, изучить. Мнѣ при-
 „ходится еще нѣкоторое время пробыть въ Парижѣ и потому хочу не те-
 „ряя времени обозрѣть и изучить его не лѣнясь, сколько возможно для
 „простаго туриста, каковъ я есмь. Не знаю, напишу-ли чтонибудь? Если
 „очень захочется, почему не написать и о Парижѣ, но вотъ бѣда. Вре-
 „мени тоже нѣтъ. Для порядочнаго письма изъ за границы нужно все-
 „таки дня три труда, а гдѣ здѣсь взять три дня? Но тамъ что будетъ.

„Еще, голубчикъ Николай Николаевичъ: вы не повѣрите, какъ здѣсь
 „охватываетъ душу одиночество. Тоскливое, тяжелое ощущеніе. Поло-
 „жимъ, вы одинокій человѣкъ, и вамъ особенно жалѣть будетъ некого.
 „Но опять таки: чувствуешь, что какъ-то отвязался отъ почвы и отсталъ
 „отъ насущной, родной канители, отъ текущихъ собственныхъ семейныхъ
 „вопросовъ. Правда, до сихъ поръ все мнѣ неблагопріятствовало за гра-
 „ницей; скверная погода и то, что я все еще толкусь на сѣверѣ Европы
 „и изъ чудесъ природы видѣлъ одинъ только Рейнъ съ его берегами
 „(Николай Николаевичъ! Это дѣйствительно чудо). Что-то будетъ дальше,
 „какъ спущусь съ Альповъ на равнины Италіи. Ахъ, кабы намъ вѣ-
 „стѣ! Увидимъ Неаполь, пройдемся по Риму, чего добраго приласкаемъ
 „молодую венеціанку въ гондолѣ (А? Николай Николаевичъ?). Но... „ни-
 „чего, ничего, молчанье“, какъ говорить, въ этомъ же самомъ случаѣ,
 „Поприщинъ.

„До свиданія, Николай Николаевичъ. О заграничныхъ впечатлѣніяхъ
 „моихъ не сообщая вамъ никакихъ подробностей. Всего не опишешь въ
 „письмѣ, а по частямъ я не могу. Да и какія еще мои впечатлѣнія-то?

„Я еще всего девятнадцать дней за границей. Обнимаю васъ отъ всей души. Передайте мой поклонъ добрѣйшему, милому Тиблену (котораго, я не знаю за что, я какъ-то сталъ любить въ послѣднее время) и милой, безконечно уважаемой Евгениі Карловнѣ. Какъ ея здоровье? *) Да кстати: если вы поѣдете въ Москву, то пожалуй письмо мое и не застанетъ васъ въ Петербургѣ. Во всякомъ случаѣ адресую въ редакцію „Времени“.

„Прощайте. Впрочемъ, лучше до свиданія. Быть того не можетъ, чтобъ мы за границей не встрѣтились! Я никогда не простилъ-бы себѣ этого. Крѣпко жму вамъ руку. Поклонитесь отъ меня всѣмъ общинѣ нашимъ знакомымъ. Какъ ведетъ себя вашъ неблаговоспитанный котъ? Addio.

„Вашъ Достоевскій.“

На это письмо я обѣщаль быть къ сроку въ Женевѣ. Я выѣхалъ въ половинѣ іюля, остановился дня на два, на три въ Берлинѣ, потомъ столько же въ Дрезденѣ и прямо проѣхалъ въ Женеву. Чтобы отыскать Федора Михайловича, я употребилъ извѣстный способъ: пошелъ гулять по набережной и заходить въ самыя видныя кофейни. Кажется, въ первой-же изъ нихъ я нашелъ его. Мы очень обрадовались другъ другу, какъ люди давно скучавшіе среди чужой толпы, и принялись такъ громко разговаривать и хохотать, что встревожили другихъ посѣтителей, чинно и молчаливо сидѣвшихъ за своими столиками и газетами. Мы поспѣшили уйти на улицу и стали, разужьется, неразлучны. Федоръ Михайловичъ не былъ большимъ мастеромъ путешествовать; его не занимали особенно ни природа, ни историческія памятники, ни произведенія искусства, за исключеніемъ развѣ самыхъ великихъ; все его вниманіе было устремлено на людей, и онъ схватывалъ только ихъ природу и характеры, да развѣ общее впечатлѣніе уличной жизни. Онъ горячо сталъ объяснять мнѣ, что презираетъ обыкновенную, казенную манеру осматривать по путеводителю разныя знаменитыя мѣста. И мы, дѣйствительно, ничего не осматривали, а только гуляли, гдѣ полюдиѣе, и разговаривали. У меня не было опредѣленной цѣли, и я тоже старался уловить только общую фizioномію этой ни разу еще мною не виданной жизни и природы. Женеву Федоръ Михайловичъ находилъ вообще мрачною и скучною. По моему предложенію,

*) Евгениі Карловна Тибленъ, жена Николая Львовича Тиблена, извѣстнаго издателя шестидесятыхъ годовъ. Его изданія отличались хорошимъ выборомъ и имѣли большой ходъ; имъ изданы Маколей, Бокль, Спенсеръ, Куно-Фишеръ и т. д. Онъ былъ прежде военнымъ и былъ подъ Севастополемъ.

мы съѣздили въ Люцернъ; мнѣ очень хотѣлось видѣть *Озеро Четырехъ Кантоновъ*, и мы дѣлали увеселительную поѣзду на пароходѣ по этому озеру. Погода стояла прекрасная, и мы могли вполне налюбоваться этихъ несравненнымъ видомъ. Потомъ мнѣ хотѣлось быть непременно во Флоренціи, о которой такъ восторженно писалъ и рассказывалъ Ап. Григорьевъ. Мы пустились въ путь черезъ Монсенисъ и Туринъ въ Геную; тамъ сѣли на пароходъ, на которомъ пріѣхали въ Ливорно, а оттуда по желѣзной дорогѣ во Флоренцію. Въ Туринѣ мы ночевали, и онъ своими прямыми и плоскими улицами показался Ѳедору Михайловичу напоминающимъ Петербургъ. Во Флоренціи мы прожили съ недѣлю въ скромной гостинницѣ Pension Suisse (Via Tornabuoni). Жить здѣсь намъ было не дурно, потому что гостинница не только была удобна, но и отличалась патріархальными нравами, не имѣла еще тѣхъ противныхъ притязаній на роскошь и тѣхъ пріемовъ обирания и наглости, которые уже порядочно въ ней процвѣтали, когда въ 1875 году я опять остановился въ ней по старой и пріятной памяти. И тутъ мы не дѣлали ничего такого, что дѣлаютъ туристы. Кромѣ прогулокъ по улицамъ, здѣсь мы занимались еще чтеніемъ. Тогда только что вышелъ романъ В. Гюго „Les misereables“, и Ѳедоръ Михайловичъ покупалъ его томъ за томомъ. Прочитавши самъ, онъ передавалъ книгу мнѣ, и тома три или четыре было прочитано въ эту недѣлю. Однако мнѣ хотѣлось не упустить случая познакомиться съ великими произведеніями искусства, попробовать при спокойномъ и внимательномъ разсматриваніи угадать и раздѣлить восторгъ, создавшій эту красоту, и я нѣсколько разъ навѣстилъ galleria degli Uffizi. Однажды мы пошли туда вмѣстѣ; но, такъ какъ мы не составили никакого опредѣленнаго плана и ни мало не готовились къ осмотру, то Ѳедоръ Михайловичъ скоро сталъ скучать и мы ушли, кажется, не добравшись даже до Венеры Медицейской. Зато наши прогулки по городу были очень веселы, хотя Ѳедоръ Михайловичъ и находилъ иногда, что Арно напоминаетъ Фонтанку, и хотя мы ни разу не навѣстили *Кашинъ*. Но всего пріятнѣе были вечерніе разговоры на сонъ грядущій за стаканомъ краснаго мѣстнаго вина. Упомянувъ о винѣ (которое на этотъ разъ было малымъ чѣмъ крѣпче пива), замѣчу вообще, что Ѳедоръ Михайловичъ былъ въ этомъ отношеніи чрезвычайно умѣренъ. Я не помню во всѣ двадцать лѣтъ случая, когда-бы въ немъ замѣтенъ былъ малѣйшій слѣдъ дѣйствія выпитаго вина. Скорѣе онъ обнаруживалъ маленькое пристрастіе къ сластямъ; но ѣлъ вообще очень умѣренно.

За обѣдомъ въ нашемъ Pension Suisse произошла и та сцена, которая описана въ „Замѣткахъ“ на стр. 423 („Сочиненія“ т. III). Помню до

сихъ поръ крупнаго француза, первенствовавшаго въ разговорѣ и, дѣйствительно, довольно непріятнаго. Но рѣчь его придана въ разсказѣ слишкомъ большая рѣзкость; и еще опущена одна подробность: на Федора Михайловича такъ подѣйствовали эти рѣчи, что онъ въ гнѣвѣ ушелъ изъ столовой, когда всѣ еще сидѣли за кофе.

Изъ „Замѣтокъ“ самого Достоевскаго читатели всего яснѣе увидятъ, на что было направлено его вниманіе за границею, какъ и вездѣ. Его интересовали люди, исключительно люди, съ ихъ душевнымъ складомъ, съ образомъ ихъ жизни, ихъ чувствъ и мыслей.

Во Флоренціи мы разстались; онъ хотѣлъ, если не ошибаюсь, ѣхать въ Римъ (что не состоялось), а мнѣ хотѣлось хоть недѣлю провести въ Парижѣ, гдѣ онъ уже побывалъ. Къ тѣмъ чертамъ бдительности французской полиціи, которыя приводитъ Федоръ Михайловичъ, прибавлю еще черточку. На пароходѣ, на которомъ я ѣхалъ изъ Генуи въ Марсель, черезъ нѣсколько часовъ послѣ отъѣзда, когда уже совсѣмъ стемнѣло, вдругъ отъ меня потребовали мой видъ, и только отъ меня одного. Помню, какъ это удивило нѣкоторыхъ пассажировъ и какъ кто-то предложилъ мнѣ объясненіе, что во Франціи боятся разныхъ пріѣзжихъ. Можетъ быть, полицію обмануло въ этомъ случаѣ какое нибудь сходство.

Х.

ТРЕТІЙ ГОДЪ ЖУРНАЛА.—Польское дѣло.

Въ сентябрѣ, когда мы вернулись въ Петербургъ, редакція наша оказалась въ полномъ сборѣ: еще въ серединѣ лѣта вернулся изъ Оренбурга Ап. Григорьевъ. Всѣ принялись работать какъ могли и какъ умѣли, и дѣло шло такъ хорошо, что можно было радоваться. Первымъ дѣломъ Федора Михайловича было написать для сентябрьской книжки то длинное объявленіе объ изданіи „Времени“ въ 1863 году, которое читатели найдутъ въ „Приложеніяхъ“ къ этому тому. Оно очень хорошо написано, съ искренностью и воодушевленіемъ. Главное содержаніе, кромѣ настоящаго повторенія руководящей мысли журнала, состоитъ въ характеристикѣ противниковъ. По терминологіи Ап. Григорьева одни изъ нихъ называются *теоретиками*—это нигилисты; другіе *доктринерами*—это ортодоксальные либералы, напр., тогдашній „Русскій Вѣстникъ“. Почти все объявленіе посвящено именно теоретикамъ и обличителямъ. Есть, однако, и оговорка объ уваженіи, такъ же какъ и въ предыдущемъ объяв-

леніи на 1862 годъ. Объявленіе на 1863 годъ имѣло большой успѣхъ, то есть возбудило литературные толки, большею частію враждебные. Живописное выраженіе объ „кнутикѣ рутиннаго либерализма“, было подхвачено мелкими журналами, понявшими, что рѣчь идетъ объ нихъ.

Слѣдующій годъ, 1863-й, былъ важною эпохою въ нашемъ общественномъ развитіи. Въ началѣ января вспыхнуло польское возстаніе и привело наше общество въ великое смущеніе, разрѣшившееся крутымъ поворотомъ нѣкоторыхъ мнѣній. При либеральномъ настроеніи не только общества, но и правительственныхъ лицъ, на польскій вопросъ сперва никакъ не умѣли установить правильнаго взгляда. Вопросъ распадался на двѣ части: во первыхъ, чтѣ дѣлать съ Поляками? во вторыхъ, чтѣ такое Западный край? Польша, лишенная самостоятельности, представлялась источникомъ неизбѣжныхъ потрясеній; не мало патриотовъ давно говорили, что, присоединивъ къ Россіи Польшу, мы *приняли ее внутрь*, какъ какое нибудь вредно-дѣйствующее лекарство. Поэтому и въ „Днѣ“ и въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, начавшихъ съ этого года выходить подъ нынѣшнею редакціею, сначала было высказано замѣчаніе, что, можетъ быть, лучшій способъ развязать узелъ — откинуть отъ себя Польшу, предоставивъ ее своей судьбѣ. Но открылись притязанія поляковъ на Западный край, и эти притязанія съ одной стороны показали невозможность какой-бы то ни было любовной развязки дѣла, а съ другой смутили многое множество образованныхъ людей, которые, по своему глубокому невѣжеству въ этомъ дѣлѣ, готовы были сдаться на эти притязанія. Двѣ названныя московскія газеты скоро установили правильный взглядъ на дѣло, особенно „День“ былъ тогда чрезвычайно полезенъ своими толкованіями, и также свѣдѣніями съ самаго мѣста событій. Произошелъ рѣзкій переломъ въ обществѣ: патриотизмъ заговорилъ очень горячо; „Московскія Вѣдомости“ своими энергическими статьями поддержали рѣшенія правительства; безпочвенные либералы потеряли вѣсъ, и Герценъ, вздумавшій стоять за поляковъ, навсегда упалъ въ мнѣніи читателей.

Петербургская литература съ самаго начала возстанія почти сплошь молчала, или потому, что не знала чтѣ говорить, или даже потому, что со своихъ отвлеченныхъ точекъ зрѣнія готова была даже прямо сочувствовать притязаніямъ возставшихъ. Это молчаніе очень раздражало московскихъ патриотовъ и людей, настроенныхъ патриотически въ правительственныхъ сферахъ. Они чувствовали, что въ обществѣ существуетъ настроеніе, враждебное государственнымъ интересамъ той минуты, и справедливо питали гнѣвъ противъ такого настроенія. Этотъ гнѣвъ долженъ былъ обрушиться на первое такое явленіе, которое достаточно ясно обнаруживало-бы тай-

ныя чувства, выражаемыя пока однимъ молчаніемъ. Онъ и обрушился, но, по недоразумѣнію, упалъ не на виновныхъ: неожиданная кара поразила журналъ „Время“.

Нужно прямо сознаться, что этотъ журналъ дурно исполнялъ обязанности, предлежавшія тогда всякому журналу, а особенно патріотическому. „Время“ 1863 было замѣчательно интересно въ литературномъ отношеніи; книжки были не только очень толсты, но и очень разнообразны и наполнены хорошими вещами. Но о польскомъ вопросѣ ничего не было написано. Первою статьею объ этомъ дѣлѣ была моя статья „Роковой Вопросъ“ въ апрѣльской книжкѣ, и она-то была понята превратно и повела къ закрытію журнала.

Разумѣется, ни у братьевъ Достоевскихъ, ни у меня не было и тѣни полонофильства, или желанія сказать что нибудь непріятное правительству. Мысль статьи была та, что намъ слѣдуетъ бороться съ поляками не однимъ вещественнымъ, но и духовными орудіями, и что окончательное разрѣшеніе дѣла наступитъ лишь тогда, когда мы одержимъ надъ поляками духовную побѣду. Польскій вопросъ, больше чѣмъ всякій другой, требуетъ участія и всѣхъ нашихъ внутреннихъ силъ, напоминаетъ намъ наше различіе отъ Европы, требуетъ уясненія и развитія нашихъ самобытныхъ началъ. На дѣлѣ, въ жизни, мы безконечно превосходимъ поляковъ; нужно привести эту нашу мощь къ сознанію, нужно почерпнуть изъ нея ясныя формы умственного и культурнаго развитія.

Достоевскіе оба были сначала очень довольны моею статьею и хвалились ею. Въ сущности она была продолженіемъ того дѣла, которымъ мы вообще занимались, то есть возведеніемъ вопросовъ въ общую и отвлеченную формулу. Но жизнь со своими конкретными чувствами и фактами шла такъ горячо, что на этотъ разъ не потерпѣла отвлеченности. Эта несчастная статья въ этомъ отношеніи, конечно, была очень дурно написана. Послѣ запрещенія журнала, Федоръ Михайловичъ слегка попрекнулъ меня за сухость и отвлеченность изложенія, и меня тогда слегка обидѣло такое замѣчаніе; но теперь охотно признаю его справедливостью. Если самъ И. С. Аксаковъ былъ на минуту введенъ въ недоразумѣніе, то, конечно, я былъ виноватъ.

Мнѣ горько подумать о томъ огорченіи, которое я невольно причинилъ многимъ патріотическимъ людямъ. Но еще великимъ наказаніемъ мнѣ было то, что меня принимали часто за полонофила и по этой причинѣ обращались со мною съ особымъ уваженіемъ. Это мнѣ было больнѣе всѣхъ тѣхъ презрительныхъ взглядовъ и холодностей, которыхъ столько я вынесъ, даже отъ инныхъ близкихъ знакомыхъ, за противоположныя свой-

ства, за то, что былъ въ ихъ глазахъ консерваторомъ и ретроградомъ. Это смутное состояніе умовъ, эта крутая и узкая постановка всѣхъ вопросовъ, эта поразительная скудость категорій для сужденія встрѣчается во всякомъ обществѣ и имѣетъ большую силу въ нашемъ. Конечно, это есть великое зло, мѣшающее развитію мысли и литературы. На цензуру тутъ нельзя особенно жаловаться; она едва-ли можетъ быть выше того общества, среди котораго существуетъ. Напротивъ, справедливѣе укорять тѣхъ, кто вообще не расширяетъ, а обостряетъ вопросы, не раскрываетъ дѣло, а старается его сжечь.

Чтобы пояснить непріятное впечатлѣніе, произведенное тономъ моей статьи, рѣшаюсь прибавить еще нѣсколько строкъ. Съ дѣтства я былъ воспитанъ въ чувствахъ безграничнаго патріотизма; я росъ вдали отъ столицъ, и Россія всегда являлась мнѣ страной, исполненною великихъ силъ, окруженною несравненною славою, первою страной въ мірѣ, такъ что я въ точномъ смыслѣ слова благодарилъ Бога за то, что родился русскимъ. Поэтому я долго потомъ не могъ даже вполне понимать явленій и мыслей, противорѣчившихъ этимъ чувствамъ; когда-же я, наконецъ, сталъ убѣждаться въ презрѣніи къ намъ Европы, въ томъ, что она видитъ въ насъ народъ полуварварскій, и что намъ не только трудно, а просто невозможно заставить ее думать иначе, то это открытіе было мнѣ невыразимо больно, и боль эта отзывается и до сегодня. Но я никогда и не думалъ отказываться отъ своего патріотизма и предпочесть родной землѣ и ея духу—духу каковой бы то ни было страны. Если мнѣ часто казалось, говоря словами Тютчева, что

Умомъ Россіи не понять,
.....
Въ Россію можно только вѣрить,

то, съ другой стороны, я однако же начиналъ все яснѣе уразумѣвать, какъ и почему

Не пойметъ и не замѣтитъ¹
Гордый взоръ иноплеменный,
Что сквозитъ и тайно свѣтитъ
Въ наготѣ ея смиренной.

Презрѣніе европейцевъ было только постояннымъ жаломъ, сильнѣе возбуждавшимъ и преданность родному духу и пониманіе этого духа. Эту-то преданность и это-то пониманіе мнѣ хотѣлось возбудить и у другихъ, и вотъ почему я разговорился о высокоуміи поляковъ, указывая на то, что поставить себя выше ихъ притязаній мы можемъ только твердо вѣрою въ себя, сознаниемъ того духа, который въ себѣ носимъ.

Несчастье наше пока только въ трудности и неясности этого сознанія,

но это несчастіе гнететъ только насъ, оторвавшихся отъ почвы. А за этия исключеніемъ Россія, конечно, есть самая могучая, самая здоровая, самая твердая и спокойная духомъ, а потому и самая счастливая страна въ мірѣ. Кто хочетъ спастись, пусть ищетъ этого духа и направитъ свой умъ на его уразумѣніе.

Польскій аристократизмъ и вообще, и особенно въ приложеніи къ захваченнымъ русскимъ областямъ, отвратителенъ для каждаго русскаго человѣка; да онъ-то больше всего и погубилъ Польшу. Между тѣмъ этотъ аристократизмъ и былъ развитъ и поддерживается давнимъ усвоеніемъ европейской образованности. Изъ этого слѣдуетъ, что зло можетъ заключаться даже въ столь хорошемъ дѣлѣ, какъ просвѣщеніе, что иногда лучше отстать въ культурѣ, но сохранить духовное здоровье и не попасть въ тотъ безвыходный разладъ стремленій и чувствъ, въ которомъ находятся поляки. Вотъ въ какомъ смыслѣ я назвалъ свою статью „Роковымъ вопросомъ“; я готовъ былъ прямо сказать, что полякамъ уже нѣтъ спасенія, что исторія осудила ихъ на гибель.

Повторяю, это было слишкомъ отвлеченно, было неясно написано, не подходило подъ ходячія понятія, и статья была превратно понята.

Когда разнеслись слухи, что журналу угрожаетъ опасность, мы не вдругъ могли этому повѣрить, — совѣсть у насъ была совершенно чиста. Когда слухи стали настойчивѣе, мы только задумывали писать объясненія и возраженія въ слѣдующей книгѣ „Времени“. Но наконецъ оказалось, что нельзя терять ни одного дня, и тогда Федоръ Михайловичъ составилъ небольшую замѣтку объ этомъ дѣлѣ, чтобы тотчасъ-же напечатать ее въ „Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“. Замѣтка была принята, набрана, но — цензоръ уже не рѣшился ее пропустить. Вотъ что стояло въ ней:

Отвѣтъ редакціи „Времени“ *) на нападеніе „Московскихъ Вѣдомостей“.

„Въ № 109 „Московскихъ Вѣдомостей“ есть противъ насъ статья

*) „Мы получили эту статью при слѣдующемъ письмѣ: }

„Милостивый Государь

„Валентинъ Федоровичъ!

„Въ № 109 „Моск. Вѣд.“ помѣщена противъ насъ статья, требующая немедленнаго отвѣта. Въ ней насъ обвиняютъ въ томъ, что мы стоимъ за польскій интересъ въ ущербъ русскому. Надо быть крайне несвѣдущимъ въ русской журналистикѣ, чтобы взвести на насъ подобное обвиненіе. Скорѣе можно обвинять „Время“ въ ультра-русскомъ народномъ направленіи, и конечно ужь въ поль-

„по поводу нашей статьи „Роковой вопросъ“ („Время“ № 4), полная клеветъ и... намековъ. Подписано Петерсонъ.

Вотъ эта статья отъ слова до слова:

„Такая статья, какъ „Роковой вопросъ“, не должна была явиться безъ подписи автора. Только бандиты наносятъ удары съ маской на лицѣ. Quand on a son opinion, il faut en avoir le courage. Вся статья основана на ложныхъ показаніяхъ, а слѣдовательно и выводы должны быть ложны. Развѣ не ложь сравнивать цивилизацію высшаго класса Польши съ цивилизаціей русскаго народа вообще? Развѣ не ложь говорить, что поляки съ дѣлю распространить цивилизацію завладѣли Украйной и Москвой? Странно, что съ подобною благородною жаждой относительно чужихъ народовъ, поляки съ своими собственными крестьянами обращались какъ съ скотами? Неужели поляки считали средствомъ цивилизаціи отдачу на откупъ жидамъ церковей Малороссіи? Никогда Польша вся не возставала; возставала только шляхта и ксендзы, а масса народа, т. е. крестьяне, никогда не сочувствовали панамъ, потому что рабъ своему угнетателю сочувствовать не можетъ. Вся исторія Польши доказываетъ, что этотъ цивилизованный народъ никогда не имѣлъ политическаго такта, а варварская Россія еще въ 1612 году доказала, что въ высшей степени обладаетъ этимъ тактомъ. На чьей же сторонѣ перевѣсъ государственнаго ума? Теперь бунтуетъ только частіца Польши и вся Россія единодушно даетъ ей отпоръ. Не можетъ ли другой подумать, что въ подлинсѣ статьи словомъ: „Русскій“ таится коварный умыселъ? Разумѣется, поляки поторопятся перевести эту статью на всѣ языки Европы и скажутъ: „Вотъ видите ли, какъ сами русскіе думаютъ. Не правы ли мы?“ Поди потомъ разувѣряй Европу. Она и безъ того закидала насъ грязью и клеветой.

„Редакція журнала „Время“ имѣла полное право напечатать статью „Роковой вопросъ“, но, печатая статью безъименнаго автора, она сдѣлала бы очень хорошо, еслибъ оговорилась: согласна ли она или нѣтъ съ мнѣніемъ автора, имя котораго, еслибъ оно было извѣстно, произносилось бы съ презрѣніемъ каждымъ истинно-русскимъ“.

„Мы бы, разумѣется, не стали отвѣчать г. Петерсону, ни даже „Московскимъ Вѣдомостямъ“. Мы давно уже стараемся ничего не говорить ни о „Русскомъ Вѣстникѣ“, ни о „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Но... обстоятельства. Надо предупредить дурныя послѣдствія.

„Итакъ г. Петерсонъ, вы изволите говорить во первыхъ, что статья наша основана на ложныхъ показаніяхъ. Что-же въ ней ложно? Вы не потрудились объяснить, въ чемъ состоятъ эти ложныя показанія. Вы только говорите: „Развѣ не ложь сравнивать цивилизацію высшаго класса Польши съ цивилизаціей русскаго народа вообще?“

„скомъ вопросѣ „Время“ не станеть противорѣчить своей трехлѣтней дѣятельности.

„Такъ какъ статья „Моск. Вѣд.“ требуетъ немедленнаго отвѣта, а слѣдующій № „Времени“ выидеть еще черезъ нѣсколько дней, то Вы меня премного обяжете, помѣстивъ мой отвѣтъ въ Вашей газетѣ.

„Примите, милостивый государь, увѣреніе въ моемъ искреннемъ къ Вамъ уваженіи.

„М. Достоевскій“.

„Но что-же это означаетъ и какаѣ-жъ тутъ можетъ быть ложь?
„Почему ложь?

„Для насъ, между прочимъ, тѣмъ-то и важенъ этотъ вопросъ, что
„поляки со всей своей (безспорной) европейской цивилизаціей „носили
„смерть въ самомъ своемъ корнѣ“. Въ статьѣ нашей это сказано ясно,
„слишкомъ ясно, и указано, почему это такъ. Именно: потому, „что эта
„цивилизация была не народною, не славянскою, что въ ней не было
„никакой самобытности, и потому она не могла слиться въ крѣпкое цѣлое
„съ народнымъ духомъ“ *). Вотъ тутъ невозможно не сопоставить, что
„цивилизация въ Польшѣ была цивилизаціей общества высшаго и лишена
„была земскихъ элементовъ, удалилась отъ народнаго духа, какъ у насъ
„сказано.

„И что-же мы проповѣдывали цѣлые три года въ нашемъ журналѣ?
„Именно то, что наша (теперешняя русская) заемная европейская цивилизация, въ тѣхъ точкахъ, въ которыхъ она не сходится съ широкимъ
„русскимъ духомъ, не идетъ русскому народу. Что это значитъ втискать
„взрослаго въ дѣтское платье. Что, наконецъ, у насъ есть свои элементы,
„свои начала, народныя начала, которыя требуютъ самостоятельности и
„саморазвитія. Что русская земля скажетъ свое новое слово, и это новое
„слово, можетъ быть, будетъ новымъ словомъ общечеловѣческой цивилизаціи и выразитъ собою цивилизацію всего славянскаго міра. Мы такъ
„вѣримъ, мы такъ говорили. Въ элементахъ нашей народной цивилизаціи мы всегда видѣли признаки земщины, тогда какъ въ европейской—
„признаки аристократизма и исключительности. Мало того, мы признаемъ, что мы, т. е. всѣ цивилизованные по европейски русскіе, оторвались отъ почвы, чутье русское потеряли, до того, что не вѣримъ въ
„собственныя русскія силы, не вѣримъ въ свои особенности, падаемъ
„лицъ, какъ рабы, передъ петровскою голландіей, смѣемся надъ словомъ
„„народныя начала“, считаемъ его ретроградствомъ, мистицизмомъ.

„Таковы и вы, г. Петерсонъ. Мы въ нашей статьѣ посягнули на то,
„на чтѣ бы вы и во снѣ не рѣшились, на то, чтѣ серьезно и искренно
„уважалъ даже императоръ Александръ I, который именно во имя уваженія къ польской цивилизаціи далъ полякамъ высшее устройство, чѣмъ
„русскимъ, считая русскихъ гораздо ниже образованными поляковъ.

„Ну такъ вотъ мы даже на это посягнули, на самую ихъ европейскую цивилизацію, на самую ихъ образованность, на самую ихъ гордость и славу. Если для поляковъ и для васъ, г. Петерсонъ, она все еще гор-

*) Слова въ кавычкахъ—изъ „Роковаго вопроса“. Н. С.

„дѣсть и слава, то мы-то ее, эту польскую цивилизацію, въ грошъ не ставимъ. Для того-то и вся статья наша написана. А вы и не догадались? Мы вамъ скажемъ, почему вы не догадались: потому именно, что вы сами благоговѣете передъ польской цивилизаціей, потому что вы ревнуете къ ней, завидуете ей. Вы обидѣлись. „И мы, дескать, тоже образованные“... А почему вы обидѣлись? Да именно потому, что у васъ и въ воображеніи никогда не было другой мѣрки достоинства и развитія русскаго, кромя европейской цивилизаціи quand même. Вы ее только одну и признаете. Вы не признаете національнаго развитія, вы не признаете самостоятельности народныхъ началъ въ русскомъ племени и, во имя вашего англизированнаго патріотизма, обижаетесь, что поляки насъ образованнѣе, въ европейскомъ смыслѣ, другими словами, что русскіе упорно хотятъ остаться русскими и не обратились по приказу въ нѣмцевъ или французовъ. Да вѣдь это-то и хорошо; но вѣдь поляковъ-то и сгубила ихъ цивилизація. Не смотря на всю ихъ гордость этой цивилизаціей, до того сгубила, что имъ теперь уже нѣтъ воскресенія, хотя бы они и сдѣлались политически независимыми.

„Европейская цивилизація, которая есть плодъ Европы и въ сущности на своемъ мѣстѣ въ Европѣ,— въ Польшѣ (можетъ быть, именно потому, что поляки славяне) развила антинародный, антигражданственный, антихристіанскій духъ. Она развила у нихъ преимущественно католицизмъ, іезуитизмъ и аристократизмъ, да тѣмъ и порѣшила. Мало того: нигдѣ, можетъ быть, католицизмъ не получалъ такой степени прозелитизма, какъ въ Польшѣ. Что-же вы пишете: „Развѣ не ложь говорить, что поляки, съ цѣлью распространить цивилизацію, завладѣли Украиной и Москвою?“ А то какъ-же? Неужели вы этого не понимали до сихъ поръ? У нихъ вся цивилизація обратилась въ католицизмъ, а мало-ли они жгли, да ксжи сдирали съ русскихъ за католицизмъ? Мало-ли они доносили насъ, плевали на насъ какъ на хлоповъ и за людей насъ не считали? Изъ-за чего это было, какъ вы думаете? Именно изъ католической пропаганды, изъ ярости уволчать прозелитовъ, изъ ярости ополячить и окатоличить. Ясное дѣло, что народъ, который за людей не считаетъ людей другой вѣры, не уважаетъ ничего такъ высоко, какъ себя и свою вѣру, а слѣдовательно и способенъ употребить все, чтобъ обратить всѣхъ въ свою вѣру. Обращенные русскіе дворяне становились тотчасъ же паннами, а прочіе были только хлопами. Само собою разумѣется, что поляки должны были считать это не только благороднымъ, но даже святѣйшимъ дѣломъ, гордиться имъ, теперь этимъ славятся, а вы и теперь считаете это благороднымъ и прекраснымъ поступкомъ, т. е. пропаганду

„да не съ точки зрѣнія поляковъ, а сами отъ себя считаете. Это ясно въ вашей статьѣ высказано, г. Петерсонъ.

„Мы въ нашей статьѣ „Роковой вопросъ“ стали на точку зрѣнія поляковъ и сказали, что они, страстно преданные и вѣрующіе въ свою (аристократическую и католическую) цивилизацію, должны надѣяться ею, гордиться ею передъ нами, которыхъ они до сихъ поръ считаютъ за „хлоповъ и варваровъ, и даже тѣмъ болѣе гордиться, чѣмъ болѣе они „принижены передъ нами, считать наше первенство за вопіющую несправедливость судьбы и возставать противъ этой судьбы; чтожь, развѣ это именно не такъ съ ихъ точки зрѣнія? Вѣдь это фактъ, вѣдь факта не спрячешь въ карманъ. Да въ этомъ весь и вопросъ, можетъ быть, заключается, именно весь, весь! Гдѣ-жь имъ понять, допустить и увѣровать, что русская земля, можетъ быть, заключаетъ въ себѣ земскія начала, не низшія началъ западной цивилизаціи? Вѣдь этого и Европа не допускаетъ и насъ постоянно не любитъ, терпѣть даже насъ не можетъ. Мы никогда въ Европѣ не возбуждали симпатіи и она, если можно было, всегда съ охотою на насъ ополчалась. Она не могла не признать только одного: нашу силу, — и эта физическая, матеріальная сила (такъ по крайней мѣрѣ Европа должна была смотрѣть на насъ) всегда возбуждала въ ней негодованіе. Да вѣдь и не одна Европа. Развѣ вы сами не судите о русскихъ точно такъ же, какъ судить о насъ Европа? Мы еще два года назадъ укоряли „Русскій Вѣстникъ“, что онъ русской народности не признаетъ. Теперь московскій таймъ горячится и не замѣчаетъ, что вся эта горячка есть пародія на англійскій таймъ и что самый патріотизмъ его — англизирванный патріотизмъ. Какъ хотите, а мы отличаемъ патріотизмъ и, главное, русензмъ „Московскихъ Вѣдомостей“ отъ высокаго и искренняго патріотизма Москвы. Мы никакъ не можемъ ихъ сливать вмѣстѣ. Тотъ патріотизмъ, который въ самостоятельность русскаго развитія не вѣритъ, можетъ быть искренній, но во всякомъ случаѣ смѣшной патріотизмъ. Между прочимъ у васъ вотъ какая логика:

„Поляки не должны славиться своей цивилизаціей, а слѣдственно они и не славятся своей цивилизаціей.

„Развѣ это логика?

„Я-то, положимъ, не нахожу ничего, чѣмъ поляки могутъ славиться — но въ томъ-то и трагедія, что поляки вѣрятъ въ эту ядовитую свою цивилизацію слѣпо. Какъ въ величайшую славу свою вѣрятъ. Вотъ это какъ вы порѣшите?

„Наша статья подписана „Русскій“. Вы изволите говорить:

„Не можетъ-ли другой подумать, что въ подписи статьи словомъ:

„Русскій“ таится коварный умыселъ“. И прибавляете: „Разумѣется, поляки поторопятся перевести и скажутъ: вотъ какъ сами русскіе“ и т. д.

„Отвѣчаемъ: Очень можетъ быть, что поляки поторопятся перевести, тѣмъ болѣе, что они всетаки поляки, а вы русскій, да ничего не поняли въ нашей статьѣ.

„А что касается до подписи, то писалъ статью дѣйствительно русскій, а именно: Н. Н. Страховъ, нашъ сотрудникъ. Это объявляемъ съ позволенія г. Страхова, а вмѣстѣ съ тѣмъ прибавляемъ уже собственно отъ себя, что русскій Страховъ стѣдитъ по крайней мѣрѣ русскаго Персона. Это уже наше личное мнѣніе.

„Само собою, что редакція „Времени“ совершенно и вполнѣ согласна съ статью своего сотрудника. Это мы во всеуслышаніе объявляемъ.

„Наконецъ, чтобъ заключить:

„Г. Петерсонъ говоритъ: Имя автора, еслибъ оно было извѣстно, произносилось бы съ презрѣніемъ каждыиъ истинно русскимъ.

„Отвѣчаемъ:

„Вашему имени, г. Петерсонъ, мы не придаемъ никакого значенія, да и статья ваша, собственно въ литературномъ смыслѣ, чрезвычайно пустая статья. Мы бы на нее ни за что не стали вамъ отвѣчать, какъ уже и заявили выше. Въ томъ-то и дѣло, что въ другомъ, т. е. не въ литературномъ смыслѣ, ваша статья нехорошая статья, именно тѣмъ, что поневолѣ требуетъ отвѣта. Она даже и не статья. Она просто — дурное дѣло, г. Петерсонъ. Очень дурное дѣло. Вотъ почему мы и посовѣтуемъ вамъ обратить вниманіе скорѣе на свое имя, г. Петерсонъ, и побережъ его. Право, не худо будетъ, г. Петерсонъ.

„Редакція „Времени“.

Цензура не пропустила этой статьи, потому что было уже извѣстно, что дѣло доведено до Государя, и что журналъ положено закрыть. Мы были признаны виноватыми, и намъ не позволялось оправдываться. Журналъ былъ закрытъ безъ всякихъ условій, навсегда. Понятно, что чѣмъ грубѣе была ошибка, тѣмъ неудобнѣе было, послѣ строгой мѣры, раскрывать, что мѣра была принята по недоразумѣнію.

Съ своей стороны, я дѣлалъ все, что можно, и что мнѣ совѣтовали. Я тотчасъ написалъ М. Н. Каткову и И. С. Аксакову, составилъ объяснительную записку для министра внутреннихъ дѣлъ и предполагалъ подать просьбу Государю. Ничего не удавалось, ничего не дѣйствовало. И М. Н. Катковъ, и И. С. Аксаковъ отозвались сейчасъ же и принялись дѣйствовать съ великимъ усердіемъ. Нужно было печатно объяснить не-

доразумѣніе. Но ни тому, ни другому цензура не пропускала ни строчки по этому дѣлу; приходилось обращаться къ министру и настаивать у него. Я написалъ большую статью для „Дня“ — она не была пропущена. О просьбѣ Государю я совѣтовался съ покойнымъ А. В. Никитенко и предполагалъ подать ее черезъ него. Послѣ нѣсколькихъ совѣщаній, онъ далъ мнѣ рѣшительный совѣтъ отказаться отъ этого намѣренія.

Положеніе наше было не только въ высшей степени досадно, но отчасти и тяжело. Нѣсколько времени я предполагалъ, что меня вышлютъ куда нибудь изъ Петербурга. Всѣ работавшіе въ журналъ потеряли мѣсто для своихъ работъ, а редакторъ имѣлъ передъ собою прекращеніе дѣла, на которое имъ возлагались большіе расчеты. Но, не смотря на все это, нельзя сказать, чтобы мы горевали. Никто не унывалъ, и всѣ готовы были смотрѣть на это происшествіе, только какъ на одинъ изъ крупныхъ случаевъ обыкновенныхъ литературныхъ превратностей. До сихъ поръ дѣло у насъ шло очень весело и успѣшно; поэтому мы рассчитывали, что и впередъ мы успѣемъ еще десять разъ поднять его и добиться еще лучшихъ результатовъ. Грошъ, который поднялся въ литературныхъ кружкахъ и въ обществѣ, представлялъ и свою выгодную сторону — распространеніе нашей извѣстности въ публикѣ. Этихъ утѣшеній и надеждамъ, однако же, далеко не суждено было сбыться въ такихъ размѣрахъ, какъ мы предполагали.

Рѣшительный поворотъ дѣлу дала наконецъ замѣтка, помѣщенная въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Редакція „Московскихъ Вѣдомостей“, чувствуя себя въ нѣкоторой мѣрѣ виноватою, усиленно хлопотала о томъ, чтобы помочь бѣдѣ, и послѣ всяческихъ настояній у министра П. А. Валуева, добилась наконецъ того, что ей, но только ей одной, дана была возможность объяснить возникшую путаницу. Это объясненіе явилось въ майской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“; но такъ какъ хлопоты долго тянулись, а редакція не хотѣла выпускать книжки безъ своего объясненія, то эта майская книжка была подписана цензоромъ лишь 28-го іюня, слѣдовательно явилась въ свѣтъ въ началѣ іюля. Замѣтка называлась „По поводу статьи *Роковой вопросъ*“ и отличалась обыкновеннымъ мастерствомъ. Въ ней я былъ осыпанъ упреками очень рѣзкими по формѣ, но мало обидными по содержанію; рѣшительно отвергались и опровергались всѣ положенія моей статьи, но вмѣстѣ столь же рѣшительно утверждалась и доказывалась ея невинность. Такимъ образомъ было сдѣлано полное удовлетвореніе всѣмъ, негодовавшимъ на статью и доведшимъ дѣло до запрещенія журнала, и въ то же время редакція „Времени“ и я были ограждены отъ всякихъ дальнѣйшихъ дурныхъ послѣдствій. Только настояні-

ямъ „Русскаго Вѣстника“ и его замѣткѣ слѣдуетъ, кажется, приписывать и то, что никого изъ насъ больше не трогали, и то, что черезъ восемь мѣсяцевъ Михаилу Михайловичу Достоевскому дозволено было начать новый журналъ.

Однако же я съ этихъ поръ попалъ на замѣчаніе и состоялъ на немъ лѣтъ пятнадцать, такъ что два или три раза, когда издатели журналовъ предлагали мнѣ редакторство, цензура отказывалась утвердить меня въ званіи редактора.

Этотъ случай, какъ и многіе другіе, показываетъ, до какой степени трудно цензурное дѣло. Люди съ чистыми намѣреніями способны бываютъ, по этому самому, впадать въ наивности и неловкости, за что и подвергаются строгостямъ и запрещеніямъ; люди же не совсѣмъ чистые въ правительственномъ смыслѣ, обыкновенно очень ловки и неспособны къ наивностямъ, почему преспокойно процвѣтаютъ, вдобавокъ увѣряя и другихъ и самихъ себя, что они истинные мученики. Въ настоящемъ случаѣ мнѣ, то есть редакціи „Времени“, очень горевали особенно потому, что потеряна была возможность выразить наше патріотическое настроеніе. Если бы „Время“ не было запрещено, мы бы подняли горячую полемику съ московскими изданіями, стараясь перещеголять ихъ въ патріотизмъ, спора о томъ, кто лучше и глубже понимаетъ русскіе интересы. Когда же „Время“ замолчало, то потомъ изъ Петербурга не было слышно уже никакого отзыва по польскому дѣлу.

Кстати, приведу здѣсь небольшія выдержки изъ письма ко мнѣ И. С. Аксакова, важныя для характеристики „Времени“ и тогдашней литературы вообще.

Отъ 6-го іюля 1863 г. онъ писалъ:

„...Вы напрасно ссылаетесь на *направленіе* „Времени“. Хотя оно „постоянно кричало о томъ, что у него есть направленіе, но никто на это „направленіе не обращалъ вниманія. Оно имѣло значеніе какъ хорошій „беллетристическій журналъ, болѣе чистый и честный, чѣмъ другіе, но „претензіи его были всемъ смѣшны. Тамъ могли быть помѣщаемы и помѣщались и хорошія статьи.....—но все это не давало „Времени“ „никакого цвѣта, никакой силы. Ему недоставало высшихъ нравственныхъ основъ, честности высшаго порядка. Оно имѣло безстыдство напечатать въ программѣ, что первое въ русской литературѣ провозгласило „и открыло существованіе русской народности! Нѣтъ такого врага славянофиловъ, который бы не возмущился этимъ. Потомъ—это наивное объявленіе, что славянофильство—моментъ отжившій, а пути къ жизни, „новое слово теперь у „Времени“! Славянофилы могутъ все умереть до

„одного, но направленіе, данное ими, не умереть,—и я разумѣю направ-
леніе во всей его строгости и неуступчивости, не прилаженное ко вкусу
петербургской канканариющей публики. Вотъ это волокитство за публи-
кой, это желаніе служить и нашимъ и вашимъ, это трактованіе славя-
нофиловъ *свысока* во „Времени“ и съ презрѣніемъ въ первой программѣ
„Времени“, это уронило журналъ въ общемъ мнѣніи публики, а славяно-
филы, какъ вы знаете, *нидѣтъ*, ни единымъ словомъ даже не задѣли
„Времени“, потому что убѣжденія ихъ не вопросъ личнаго самолюбія.
Напр. „Время“ о повѣстяхъ Кохановской объявляетъ, какъ о явле-
ніяхъ пропущенныхъ нашей критикой, забывая, что „Русская Бесѣда“
въ статьяхъ моего брата и Гилярова первая опредѣлила ея значеніе въ
литературѣ!!! Въ Петербургѣ, впрочемъ, не можетъ издаваться журналъ
съ народнымъ направленіемъ, ибо первое условіе для освобожденія въ
себѣ плѣнннаго чувства народности—возненавидѣть Петербургъ всѣмъ
сердцемъ своимъ и всѣми помыслами своимъ. Да и вообще, нельзя крес-
титься въ христіанскую вѣру (а славянофильство есть ничто иное, какъ
высшая христіанская проповѣдь), не отдувшись, не отплевавшись, не
отрекшись отъ сатаны“.

Чѣмъ горячѣе это письмо и чѣмъ живѣе негодуетъ оно на „Время“,
тѣмъ больше цѣны имѣютъ сказанныя здѣсь похвалы нашему журналу,
что это былъ *хорошій беллетристическій журналъ, болѣе чистый и*
и честный, чѣмъ другіе. Упреки-же—нѣкоторые вполне основательны,
а другіе преувеличены, впрочемъ не безъ вины самаго „Времени“, именно
по неясности того духа, въ которомъ велся журналъ. Объ отношеніяхъ
къ славянофильству я уже подробно говорилъ. Очень справедливъ упрекъ
въ *волокитствѣ за публикою*, но это волокитство имѣло вовсе не злост-
ный, а скорѣе самый чистый характеръ, и подъ нимъ вовсе не скрыва-
лось *желанія служить и нашимъ и вашимъ*. Что касается до *выс-
шихъ нравственныхъ основъ, до христіанской проповѣди*, то эти основы,
дѣйствительно, высказывались въ журналѣ всего менѣе и выражались
развѣ только однимъ отрицательнымъ образомъ, напр. въ томъ, что въ
журналѣ не было ничего ни матеріалистическаго, ни антирелигіознаго. Кру-
гомъ царило такое ярое вольнодумство, что не одно „Время“ приберегало
до болѣе удобнаго случая публичное выраженіе своихъ завѣтнѣйшихъ
убѣжденій. Мало того,—изъ нашихъ частныхъ разговоровъ мнѣ не при-
поминается почти ни одного случая, когда бы Федоръ Михайловичъ прямо
высказывалъ то религіозное настроеніе, которое, повидному, не угасало
въ немъ ни въ одинъ періодъ его жизни. Помню, впрочемъ, какъ, говоря
со мной о революціи, онъ съ особенной силой сослался на слова евангелія:

„подняшіе мечъ, мечемъ и погибнуть“. Но неуваженіе къ религіи, или кощунственныя шутки надъ нею ни мало не были въ ходу во всемъ нашемъ кружкѣ, не смотря на то, что были обыкновеннѣйшимъ явленіемъ у тогдашнихъ просвѣщенныхъ людей и строго относиться къ нимъ было невозможно. Наконецъ, что касается приверженности къ Петербургу, о которой можно было заключить по петербургскому тону и всѣмъ литературнымъ приемамъ „Времени“, то и ея въ сущности не было. Братья Достоевскіе и Ап. Григорьевъ были москвичи по рожденію, я пріѣхалъ въ Петербургъ шестнадцати лѣтъ, да и изъ другихъ сотрудниковъ я не помню чистыхъ Петербуржцевъ, людей, часто дѣйствительно бывающихъ влюбленными въ свою родину и обыкновенно болѣющихъ проказою того особеннаго просвѣщенія, которое въ ней завелось и укоренилось. Провинціалы, постоянно пополняющіе собою петербургское населеніе, бываютъ свободнѣе отъ этой заразы и составляютъ иногда нѣкоторое ей противодіе.

„Роковой Вопросъ“, по недоразумѣнію, нравился не только тѣмъ русскимъ, которые стыдятся патриотизма и не понимаютъ его, но и полякамъ и всякимъ врагамъ Россіи. Въ *Revue de deux mondes*, 1 Août 1863, появилась статья Мазада, въ которой цѣликомъ и очень точно былъ переведенъ „Роковой Вопросъ“. Французскій журналъ находилъ въ немъ подтвержденіе своей мысли, той точки зрѣнія, съ которой онъ самъ смотрѣлъ на польское возстаніе; а онъ утверждалъ, что польское дѣло есть дѣло цивилизаціи и порядка, ибо русскіе распространяютъ-де всюду варварство и коммунизмъ. Статью мою Мазадъ приписалъ Достоевскому и, по этому случаю, говорилъ объ его ссылкѣ и его сочиненіяхъ. Тамъ было сказано, между прочимъ: *il a écrit des livres navrants sur sa patrie*; Федору Михайловичу доставило маленькое удовольствіе то, что онъ извѣстенъ за границу. Смѣясь, онъ замѣчалъ однако, что слово *navrants* напоминаетъ ему русское слово *навералъ* *).

*) Вотъ отрывокъ изъ моего письма къ Федору Михайловичу за границу, отъ 18 сентября 1863 г.

„Вѣроятно вы читали (*Revue de deux mondes*, 1 Août) ссылку на мою статью, которая приписана вамъ. Статейка Мазада дурно написана, но въ ней есть „доля правды. Я слышалъ отъ пріѣзжихъ изъ за границы, что моя статья служила для тамошнихъ русскихъ патриотовъ орудіемъ противъ увлеченія польскимъ дѣломъ, что на нее указывали, какъ на истинно-патріотическій взглядъ... „Это странное извѣстіе меня порадовало. Нашлись-же понимающіе люди!“

XI.

Вторая повъзка за границу.

Лѣтомъ 1863 года, вѣроятно къ концу лѣта, Федоръ Михайловичъ уѣхалъ за границу. Предыдущая повъзка была такъ полезна для его здоровья, что онъ, съ тѣхъ поръ, постоянно стремился за границу, когда чувствовалъ нужду поправиться и освѣжиться. Какая тутъ была причина, — перемѣна-ли воздуха, или перемѣна его изнурительнаго образа жизни, но только эти повъзки были для него спасеніемъ; польза ихъ доказывалась мѣриломъ, въ которомъ не могло быть никакого сомнѣнія, — быстрымъ уменьшеніемъ числа припадковъ.

Судя по всему, что могу припомнить, и по всѣмъ обстоятельствамъ дѣла, Федоръ Михайловичъ взялъ съ собою достаточно денегъ для повъзки, но за границею попробовалъ поиграть въ рулетку и проигрался. Онъ познакомился съ рулеткой еще въ первую повъзку, прежде чѣмъ добѣжалъ до Парижа, и тогда выигралъ тысячу одиннадцать франковъ, что, разумѣется, было очень встати для путешественника. Но эта первая удача уже больше не повторялась, а развѣ только вводила его въ соблазнъ. Въ рулеткѣ онъ не видѣлъ для себя ничего дурнаго, такъ какъ романисту было не лишнее испытать эту забаву и познакомиться съ нравами тѣхъ мѣстъ и людей, гдѣ она происходитъ. Дѣйствительно, благодаря этому знакомству, мы имѣемъ повѣсть „Игрокъ“, гдѣ дѣло изображено съ совершенною живостью.

Какъ-бы то ни было, въ концѣ сентября я получилъ отъ него слѣдующее письмо, которое привожу вполнѣ, такъ какъ оно рисуетъ почти всѣ тогдашнія обстоятельства и характеризуетъ его собственные приемы и обычаи *).

„Римъ, 18 (30) сентября.

„Любезнѣйшій и дорогой Николай Николаевичъ, братъ въ послѣднемъ письмѣ своемъ, которое я получилъ дней 9 тому назадъ въ Туринѣ, писалъ мнѣ, что вы будто-бы хотите мнѣ написать письмо. Но „вотъ уже я два дня въ Римѣ, а письма отъ васъ нѣтъ. Буду ожидать

*) Письма свои Федоръ Михайловичъ почти безъ исключенія писалъ очень разборчиво, отчетливо, не пропуская ни одной буквы, ни единого знака препинанія. А адресъ всегда отличался особенною красотою почерка, полнотою и точностью.

„съ нетерпѣніемъ *). Теперь-же я самъ пишу къ вамъ, но не для изліянія „вашихъ нибудь вояжёрскихъ ощущеній, не для сообщенія кой-какихъ „идей, во весь этотъ промежутокъ, пришедшихъ въ голову. Все это будетъ, когда я самъ приѣду и когда мы, нѣтъ-нѣтъ да и поговоримъ, какъ „между нами часто бывало. Нѣтъ; теперь я обращаюсь къ вамъ съ огромной просьбой и впередъ предупреждаю, что имѣю нужду во всемъ расположеніи вашемъ ко мнѣ и во всѣхъ тѣхъ дружескихъ чувствахъ (вы „мнѣ позвольте такъ выразиться), которыя, какъ мнѣ показалось, вы ко мнѣ не разъ высказывали.

„Дѣло въ томъ, что, исполнивъ просьбу мою, вы, буквально, спасете „меня отъ многого до невѣроятности непріятнаго.

„Вотъ дѣло въ чемъ:

„Изъ Рима я поѣду въ Неаполь. Изъ Неаполя (дней черезъ 12 отъ „сего числа) я возвращусь въ Туринъ, т. е. буду въ немъ дней черезъ „пятнадцать. Въ Туринѣ у меня изсякнутъ всѣ мои деньги, и я приѣду „въ него *буквально безъ гроша.*

„Я не думаю, чтобъ въ настоящую минуту было разрѣшено „Время“. „Да и во всякомъ случаѣ имѣю основаніе думать, что братъ ничѣмъ не „въ состояніи мнѣ теперь помочь.

„Безъ денегъ-же нельзя, и, приѣхавъ въ Туринъ, надо-бы, чтобы я „нашелъ въ немъ непремѣнно деньги на почтѣ. Иначе, повторяю, я пропалъ. Кромѣ того, что воротиться будетъ не на что, у меня есть и другія обстоятельства, т. е. другія здѣсь траты, безъ которыхъ мнѣ совершенно невозможно обойтись.

„Я потому прошу васъ Христомъ и Богомъ, сдѣлайте для меня то, „что вы уже разъ для меня дѣлали, передъ самымъ моимъ отъѣздомъ.

„Вы тогда ходили къ Боборыкину („Библиотека для Чтенія“). Боборыкинъ, по запрещеніи „Времени“, самъ письменно звалъ меня въ со- „трудники. Слѣдственно обращаться къ нему можно. Но въ іюль вы обращались къ нему съ просьбой о 1,500 рублѣхъ, и онъ вамъ не далъ, „потому что іюль для издателей время тяжелое. Впрочемъ, помнится, онъ „вамъ что-то говорилъ объ осени. Теперь-же конецъ сентября. Время „подписное и деньги должны быть. И не 1,500 рублѣй я прошу, а всего „только 300 (триста руб.)

„НВ. Пусть знаетъ Боборыкинъ, также какъ это знаютъ „Современникъ“ и „Отечественныя Записки“, что я еще (кромѣ „Бѣдныхъ Людей“) „во всю жизнь мою ни разу не продавалъ сочиненій, не бравъ впередъ

*) Относится къ письму, изъ котораго я привелъ выше выдержку. Н. С.

„деньги. Я литераторъ пролетарій и если кто захочетъ моей работы, то „долженъ меня впередъ обезпечить. Порядокъ этотъ я самъ проклинаю. „Но такъ завелось и, кажется, никогда не выведется. Но продолжаю:

„*Теперь* готового у меня нѣтъ ничего. Но составилъ довольно счастливый (какъ самъ сужу) планъ одного разсказа. Большею частію онъ „записанъ на клочкахъ. Я было даже началъ писать, — но невозможно „здѣсь. Жарко и, во 2-хъ, пріѣхалъ въ такое мѣсто, какъ Римъ, *на недѣлю*; „развѣ въ эту недѣлю, *при Римѣ*, можно писать? Да и устаю я очень отъ „ходьбы. Сюжетъ разсказа слѣдующій: — одинъ типъ заграничнаго русскаго. „Замѣтьте: о заграничныхъ русскихъ былъ большой вопросъ лѣтомъ „въ журналахъ. Все это отразится въ моемъ разсказѣ. Да и вообще отразится „современная минута (по возможности, разумѣется) нашей внутренней „жизни. Я беру натуру непосредственную, человѣка однако же много- „развитаго, во всемъ недоконченнаго, извѣрившагося и *не смѣющаго не- „отрывать*, возстающаго на авторитеты и боящагося ихъ. Онъ успокаиваетъ „себя тѣмъ, что ему нечего дѣлать въ Россіи, и потому — жестокая критика „на людей, зовущихъ изъ Россіи нашихъ заграничныхъ русскихъ. „Но всего не разскажешь. Это лицо живое — (весь какъ будто стоитъ „передо мною) — и его надо прочесть, когда онъ напишется. Главная же „штука въ томъ, что всѣ его жизненные соки, силы, буйство, смѣлость — „пошли на *рулетку*. Онъ — игрокъ, и не простой игрокъ — также, какъ „скупой рыцарь Пушкина не простой скупецъ. (Это вовсе не сравненіе „меня съ Пушкинымъ. Говорю лишь для ясности)*). Онъ поэтъ въ своемъ „родѣ, но дѣло въ томъ, что онъ самъ стыдится этой поэзіи, ибо глубоко „чувствуетъ ея низость, хотя потребность *риска* и облагораживаетъ его „въ глазахъ самого себя. Весь разсказъ — разсказъ о томъ, какъ онъ тре- „тій годъ играетъ по игорнымъ домамъ на рулеткѣ.

„Если „Мертвый Домъ“ обратилъ на себя вниманіе публики, какъ „изображеніе каторжныхъ, которыхъ никто не изображалъ *наглядно* до „Мертваго Дома“, то этотъ разсказъ обратитъ непременно на себя вниманіе „какъ *наглядное* и подробнѣйшее изображеніе рулеточной игры. „Кромѣ того, что подобныя статьи читаются у насъ съ чрезвычайнымъ „любопытствомъ, игра на водахъ, собственно относительно заграничныхъ „русскихъ, имѣетъ нѣкоторое (можетъ быть, немаловажное) значеніе.

„Наконецъ, я имѣю надежду думать, что изображу всѣ эти чрезвычайныя „любопытныя предметы съ чувствомъ, съ толкомъ и безъ большихъ „разстановокъ.

*) Слова въ скобкахъ приписаны послѣ, между строками.

„Объемъ разсказа будетъ минимумъ 1¹/₂ печатныхъ листа, но, ка-
жется, навѣрно два, и очень можетъ быть, что больше.

„Срокъ доставки въ журналъ 10-го ноября, это крайній срокъ, но
можетъ быть и раньше. Во всякомъ случаѣ никакъ не позже десятаго,
такъ что журналъ можетъ напечатать его въ ноябрьской книжкѣ. Въ
этомъ даю честное слово, а я имѣю увѣренность, что въ честномъ моемъ
словѣ еще никто не имѣетъ основанія сомнѣваться.

„Плата 200 руб. съ листа. (Въ крайнемъ случаѣ 150). Но никакъ
не хотѣлось бы сбавлять цѣну. И потому лучше настаивать на двухъ-
стахъ. Вещь можетъ быть весьма недурная. Вѣдь былъ же любопытенъ
„Мертвый Домъ“.

„А это—описание своего рода ада, своего рода каторжной „бани“.
Хочу и постараюсь сдѣлать картину.

„Теперь вотъ что:

„Простите, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевичъ, что
прямо и безцеремонно васъ беспокою. Я понимаю, что это—беспокой-
ство. Но чтожь мнѣ дѣлать? Если я, пріѣхавъ дней черезъ 15 или 17
(максимумъ) въ Туринъ, не найду въ немъ денегъ, то я буквально про-
палъ. Вы не знаете всѣхъ моихъ обстоятельствъ, а мнѣ слишкомъ долго
ихъ теперь описывать. Къ тому же вы были ужъ разъ слишкомъ добры
ко мнѣ; а потому спасите меня еще разъ:

„Вотъ что надо:

„По полученіи этого письма прошу васъ (какъ послѣднюю надежду),
сходите немедленно въ Боборыкину. Скажите, что я васъ уполномочилъ.
Покажите часть моего письма, если надо; сдѣлайте предложеніе. (Разу-
мѣтся, такъ, чтобы мнѣ было не очень унижительно, хотя за границею
очень можно зануждаться. Да къ тому же вы не можете повести дѣло
безъ достоинства). Получите деньги и тотчасъ же вышлите ихъ мнѣ,
т. е. выдайте брату. Онъ ужъ знаетъ, какъ послать.

„Если нельзя кончить дѣло съ Боборыкинымъ, то хоть въ газеты,
хоть въ „Якорь“ (пожалуйте за меня Ап. Григорьева)*), хоть во всякій
другой журналъ. (Разумѣтся, не въ „Русскій Вѣстникъ“, и по воз-
можности избѣгая „Отечественныхъ Записокъ“. Ради Бога избѣгите.
Даже лучше и не надо денегъ. Даже можно въ „Современникъ“, хотя
можетъ быть тамъ Салтыковъ и Елисеѣвъ не пустятъ. (А почему знать,
я, можетъ быть, грѣшу). Статья „Современника“ навѣрно не изуродуетъ.

*) „Якорь“ была еженедѣльная газета, съ приложеніемъ каррикатурнаго
листа „Оса“. Издателемъ былъ Стелловскій, редакторомъ Ап. Григорьевъ. „Якорь“
сталъ выходить въ 1863 г. и существовалъ года полтора. Н. С.

„Во всякомъ случаѣ можно обратиться прямо къ Некрасову. Это *sine qua non*. И съ нимъ рѣшить дѣло. Это бы даже очень не дурно. Даже лучше „Библіотеки“. Некрасовъ, можетъ быть, не очень на меня сердитъ. Да „и человѣкъ онъ, по преимуществу, *дѣловой*. Разушвется, голубчикъ Николай Николаевичъ, все дѣло надо-бы было окончить дня въ два, много въ три. Я пропалъ, пропалъ буквально, если не найду въ Туринѣ денегъ. Въ Неаполь мнѣ не пишете, а пишете прямо въ Туринъ, и умоляю васъ написать *во всякомъ случаѣ*.—Мнѣ собственно надо 200, но никакъ не меньше, сто же рублей остальныхъ братъ отошлетъ Марьѣ Дмитріевнѣ. Итакъ, достать надо триста. Теперь все написалъ. Вѣрю в мѣ себя „и почти судьбу мою. Такъ это для меня важно. Можетъ быть, я вамъ „потомъ расскажу. Но теперь умоляю васъ, затѣмъ обнимаю отъ всего „сердца и остаюсь вашъ Д.

(Приписка на 1-й страницѣ). „Странно: пишу изъ *Рима* и ни „слова о Римѣ! Но чтѣ-бы я могъ написать вамъ? Боже мой! Да развѣ это „можно описывать въ письмахъ? Приѣхалъ третьяго дня ночью. Вчера „утромъ осматривалъ св. Петра. Впечатлѣніе сильное, Николай Нико- „лаевичъ, съ холодомъ по сплнѣ. Сегодня осматривалъ *Forum* и всѣ „его развалины. Затѣмъ *Коллизей!* Ну, чтѣжь я вамъ скажу?..

(Приписка на 2-й страницѣ). „Поклонитесь отъ меня всѣмъ: Гри- „горьеву и всѣмъ. Брату вашему особенно. Да еще прошу васъ очень, не- „премѣнно передайте мой привѣтъ и поклонъ отъ всей души Юліи Пет- „ровнѣ. Сдѣлайте это при первомъ же свиданіи.

„Славянофилы, разушвется, сказали *новое слово*, даже такое, которое „можетъ быть, и избранными-то не совсѣмъ еще разжевано. Но кака-то „удивительная *аристократическая сытость* при рѣшеніи обществен- „ныхъ вопросовъ.

(Приписка на 3-й страницѣ). „Не поможетъ-ли вамъ въ чемъ „нибудь Тибленъ, разушвется въ самомъ крайнемъ случаѣ. Ему и *Евгении* „*Карловнѣ* мой поклонъ. Передайте ей при первомъ свиданіи.

Въ этомъ письмѣ отражаются и обыкновенныя затрудненія, среди которыхъ жилъ Федоръ Михайловичъ, и его манера кабалить себя для добыванія средствъ, и приемы его просьбъ, излагаемыхъ съ волненіемъ и настойчивостію, съ повтореніями, подробными поясненіями и вариациями. Изъ письма видно также, что наша редакція была въ дурномъ положеніи. Дѣло въ томъ, что Михаилъ Михайловичъ, какъ и многое множество нашихъ дворянъ, имѣлъ очень мало свойствъ *дѣловаго*

человѣка. Жизнь онъ велъ скромную и былъ гораздо осмотрительнѣе Федора Михайловича; но онъ имѣлъ большое семейство и фабрика его давно уже шла въ убытокъ, давая ему только опору для поддержанія кредита и постепеннаго нарощенія долговъ. Когда журналъ пошелъ съ чрезвычайнымъ успѣхомъ, онъ постарался развязаться съ невыгоднымъ дѣломъ, уплатилъ долги и продалъ фабрику. Въ началѣ 1863 года я помню, какъ онъ похвалился этимъ, показывая кипу разорванныхъ векселей. Расчетъ его былъ очень хорошій, но, когда неожиданно стряслось запрещеніе журнала, онъ оказался вдругъ и безъ денегъ, и безъ всякаго торговаго дѣла. Ударъ для него былъ страшный; между тѣмъ, мы, сотрудники, не зная его дѣлъ и занятые нашими литературными мечтаніями, не догадывались объ его бѣдѣ и даже сердились на него, рассчитывая, что деньги четырехъ тысячъ подписчиковъ не могли же всѣ уйти на первыя четыре книжки журнала, и что слѣдовательно онъ напрасно охаетъ и жалуется.

Получивъ приведенное письмо, я сейчасъ же отправился къ П. Д. Боборыкину, и онъ объявилъ мнѣ, что дѣло самое подходящее и что онъ можетъ дать денегъ. Онъ былъ въ это время редакторомъ „Библіотеки для Чтенія“ и съ великимъ усердіемъ старался *поднять* этотъ журналъ. Къ 1863 году, знаменитая „Библіотека“ такъ упала, что у нея оказалось только нѣсколько сотенъ подписчиковъ. Если не ошибаюсь, съ третьей книжки редакторство принялъ на себя Петръ Дмитріевичъ. Поднимать падающее и начинать дѣло совершенно не во время было въ высшей степени не расчетливо; и дѣйствительно, много денегъ и трудовъ были погублены въ этомъ дѣлѣ. Но работа шла тогда горячо, и редакторъ постарался не упустить такого сотрудника, какъ Федоръ Михайловичъ.

На другой день зашелъ ко мнѣ Михайло Михайловичъ и вывѣдалъ у меня и данное порученіе, и мои переговоры. Онъ просилъ меня пріостановиться, говоря, что, можетъ быть, успѣетъ самъ найти деньги. Разумѣется, ему жаль было и брата, и повѣсти, которая безъ этого пошла-бы въ его собственный, ожидаемый имъ журналъ. Я имѣлъ жестокость отвѣчать, что не могу ждать, и вечеромъ-же сказалъ П. Д. Боборыкину, чтобы онъ не медлилъ. На третій день дѣло было кончено; Михайло Михайловичъ отказался отъ соперничества и послалъ брату чужія деньги.

Этой запроданной повѣсти однако не суждено было явиться въ „Библіотекъ для Чтенія“. Редакторъ долго ея ждалъ, наконецъ, когда началась „Эпоха“, сталъ требовать денегъ назадъ и не скоро ихъ получилъ. Такой ходъ дѣла былъ очень неприятенъ, и, по невѣдѣнію, я винилъ тутъ все бѣднаго Михайла Михайловича. Что касается до Федора Михайловича,

XI.

Вторая повѣзка за границу.

Лѣтомъ 1863 года, вѣроятно къ концу лѣта, Федоръ Михайловичъ уѣхалъ за границу. Предыдущая повѣзка была такъ полезна для его здоровья, что онъ, съ тѣхъ поръ, постоянно стремился за границу, когда чувствовалъ нужду поправиться и оживиться. Какая тутъ была причина, — перемѣна-ли воздуха, или перемѣна его изнурительнаго образа жизни, но только эти повѣзки были для него спасеніемъ; польза ихъ доказывалась мѣриломъ, въ которомъ не могло быть никакого сомнѣнія, — быстрымъ уменьшеніемъ числа припадковъ.

Судя по всему, что могу припомнить, и по всемъ обстоятельствамъ дѣла, Федоръ Михайловичъ взялъ съ собою достаточно денегъ для повѣзки, но за границею попробовалъ поиграть въ рулетку и проигрался. Онъ познакомился съ рулеткой еще въ первую повѣзку, прежде чѣмъ доѣхалъ до Парижа, и тогда выигралъ тысячу одиннадцать франковъ, что, разумѣется, было очень кстати для путешественника. Но эта первая удача уже больше не повторялась, а развѣ только вводила его въ соблазнъ. Въ рулеткѣ онъ не видѣлъ для себя ничего дурнаго, такъ какъ романисту было не лишнее испытать эту забаву и познакомиться съ нравами тѣхъ мѣстъ и людей, гдѣ она происходитъ. Дѣйствительно, благодаря этому знакомству, мы имѣемъ повѣсть „Игрокъ“, гдѣ дѣло изображено съ совершенною живостью.

Какъ-бы то ни было, въ концѣ сентября я получилъ отъ него слѣдующее письмо, которое привожу вполнѣ, такъ какъ оно рисуетъ почти всѣ тогдашнія обстоятельства и характеризуетъ его собственные приемы и обычаи *).

„Римъ, 18 (30) сентября.

„Любезнѣйшій и дорогой Николай Николаевичъ, братъ въ послѣднемъ письмѣ своемъ, которое я получилъ дней 9 тому назадъ въ Туринѣ, писалъ мнѣ, что вы будто-бы хотите мнѣ написать письмо. Но вотъ уже я два дни въ Римѣ, а письма отъ васъ нѣтъ. Буду ожидать

*) Письма свои Федоръ Михайловичъ почти безъ исключенія писалъ очень разборчиво, отчетливо, не пропуская ни одной буквы, ни единого знака препинанія. А адресъ всегда отличался особенною красотой почерка, полнотою и точностью.

„объявленіе. Другъ мой, тутъ нужно не искусство даже, не умъ, а просто „вдохновеніе. Самое первое—избѣжать рутинн, такъ свойственной въ этихъ „случаяхъ всѣмъ разумнымъ и талантливымъ людямъ. Напишутъ умно, „кажется ни къ чему нельзя подкочаться, а выходитъ вяло, плачевно, а „главное похоже на всѣ другія объявленія. *Оригинальность* и приличная, „т. е. натуральная эксцентричность—теперь для насъ первое дѣло. Пи- „шешь, что уже сѣлъ писать объявленіе. Знаешь, какая моя идея? Написать „лаконически, отрывочно, гордо, даже не усиливаясь дѣлать ни единого „намёка,—однимъ словомъ выказать полнѣйшую самоувѣренность. Само „объявленіе (о духѣ журнала и проч.) должно состоять изъ 4—5 строкъ. „А тамъ расчетъ съ подписчиками, то же крайне лаконическій. Надобно „поразить благородной самоувѣренностію *). *—у *—у не понравилось „названіе „Правда“. Но вѣдь это страшный рутинёръ, и даже добрый „знакъ, что не понравилось. Эти господа сначала завопятъ: не такъ, не „хорошо, а потомъ вдругъ, смотришь, всѣ разомъ и начинаютъ пощелки- „вать языкомъ: хорошо, дескать, прекрасно. Это жрецы минутнаго. Что „Страхову и Разину понравилось—это я понимаю. Люди съ толкомъ и „главное—съ нѣкоторымъ чутьемъ. Но остальные должны забраковать“. „ “ Мы здѣсь нанимаемъ квартиру, и какъ только переѣду, какъ „только устроимся,—тотчасъ-же я и въ Петербургъ.хлопоты не даютъ „мнѣ ровно ни капли времени писать. Припадковъ было у меня здѣсь уже „два, изъ которыхъ одинъ (последній) сильный. Другая фирма журнала „(„Правда“) не будетъ имѣть никакого вліянія на *передовую статью*. „Разборъ Чернышевскаго романа и Писемскаго произведъ-бы большой „эффектъ и, главное, подходилъ-бы къ дѣлу. Двѣ противоположныя идеи, „и обѣимъ по носу. Значить правда. Я думаю, что всѣ эти три статьи „(если только хотъ 2 недѣли будетъ работы спокойной) я напишу. Здѣсь „я никого не видалъ, кромѣ Писемскаго, котораго случайно вчера встрѣ- „тилъ на улицѣ и который обратился ко мнѣ съ большимъ радушіемъ. „Вчера-же вечеромъ шла его „Горькая Судьбина“ въ 1-й разъ. Я не „былъ, объ участи драмы—не знаю. Онъ говорилъ, что англійскій „клубъ и вся помѣщичья партія собираетъ кабалу. Прихвастнулъ, должно „быть. Прощай, обнимаю тебя. Во всякомъ случаѣ, скоро увидимся. „Блажайся всѣмъ, кому слѣдуетъ. О раздѣлѣ наслѣдства здѣсь ничего „не знаютъ, кромѣ того, что въ концѣ ноября“.

О хлопотахъ по журналу, которыя упоминаются въ этомъ письмѣ,

*) Въ такомъ духѣ, какъ увидимъ дальше, и было написано объявленіе. *Н. С.*

память сохранила мнѣ мало подробностей. Помню только, что цензурное вѣдомство оказалось необыкновенно тугимъ. Случай съ „Роковымъ Вопросомъ“, очевидно, сбиль цензуру съ толку. Такъ какъ промахъ оказался тамъ, гдѣ она вовсе не ожидала (статья была процензурована, какъ все, что тогда печаталось, и не встрѣтила ни малѣйшаго затрудненія), то цензура уже не знала, что ей останавливать и что запрещать, и удесатерила свою строгость. Название „Правда“ показалось прямымъ намекомъ и не было допущено; точно такъ было признано опаснымъ название „Дѣло“ и другія подобныя; послѣ долгихъ переговоровъ, редакция, скрѣпя сердце, остановилась на неудачномъ названіи „Эпоха“, въ которомъ, наконецъ, цензура не нашла ничего неудобнаго. Не-русское названіе было очень неприятно; насъ сердило, когда попадались читатели, которые съ трудомъ его запоминали, произносили „Эпохъ“, смѣшивали съ „Эхо“ и т. д.

Кромѣ того помню, что разрѣшеніе журнала все оттягивалось и оттягивалось. Почему-то принять былъ срокъ *восьми тысячцевъ* со времени запрещенія. По этому счету новому журналу позволено было выходить съ января 1864 года; но за разными проволочками, измучившими всѣхъ насъ, объявленіе объ изданіи „Эпохи“ могло появиться въ „Спб. Вѣдомостяхъ“ только 31 января 1864 года. Послѣ указанія объема книжекъ, срока выхода, программы, цѣны и пр., въ объявленіи было сказано:

„Въ заключеніе М. Достоевскій считаетъ долгомъ заявить слѣдующее“.

„Во первыхъ, онъ приноситъ искреннюю благодарность своимъ прежнимъ подписчикамъ. Не смотря на то, что съ его стороны до сихъ поръ не было никакихъ объявленій, къ нему поступило не болѣе сотни писемъ отъ подписчиковъ „Времени“ съ требованіемъ расчета“.

„Во вторыхъ, мы уже слишкомъ долго толковали о почвѣ, о соединеніи общества съ чисто-народными, естественными его интересами *), чтобы объяснять теперь еще разъ направленіе нашего новаго журнала. Великія событія послѣдняго времени, заявившія собой первые признаки (послѣ эпохи двѣнадцатаго года) соединенія общества съ земствомъ, такъ что та и другая сторона начали почти понимать другъ друга—составляютъ наглядный примѣръ того, чего мы всегда желали и къ чему стремились наше направленіе. Придетъ-же, наконецъ, время, когда направленіе всѣхъ истинно-русскихъ будетъ слишкомъ ясно безъ всякихъ разъясненій, безъ всякихъ печальныхъ недоразумѣній“.

Объявленіе мастерское, именно такое, о какомъ питалъ замыслы

*) Эта нескладная фраза отзывается цензурными поправками, о которыхъ у меня сохранилось смутное воспоминаніе. Н. С.

Федоръ Михайловичъ. Ничего яснѣе нельзя было желать, особенно когда вверху стояло крупными буквами: *О подпискѣ на журналъ „Эпоха“ и о расчетѣ съ подписчиками „Времени“*. Но тутъ-же видна и ошибка, сдѣланная прежде. Если только сто подписчиковъ требовали возвращенія денегъ, то тысячи другихъ, не писавшихъ писемъ въ редакцію, навѣрное ждали, однако, отъ нея какого нибудь удовлетворенія, или хоть отзыва, и, конечно, сердились, не находя въ газетахъ никакого обращенія къ себѣ. За этимъ послѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ ошибокъ и несчастій и дѣло стало идти все хуже и хуже.

Постараюсь перечислить этотъ рядъ несчастій и неудачъ, отчасти потому, что они имѣли большое значеніе для Федора Михайловича, отчасти для того, чтобы указать черты тогдашняго хода литературы, и даже вообще черты *паденія* журналовъ, — дѣла, какъ извѣстно, очень обыкновеннаго у насъ.

Братья Достоевскіе принадлежали къ числу людей *непрактичныхъ*, или мало практичныхъ. Можетъ быть, есть лучшее слово для обозначенія свойствъ, о которыхъ хочу говорить, но, кажется, годится и это. Непрактичность очень часто встрѣчается у русскихъ людей, не только у однихъ дворянъ, у которыхъ она стала какъ будто наследственной. Это свойство часто очень милое, достойное зависти и могущее имѣть въ основѣ высокія душевныя настроенія. Оно состоитъ въ томъ, что люди *живутъ минутою*, что для нихъ можетъ исчезать все ихъ прошедшее и все ихъ будущее. Такіе люди никакъ не могутъ завести правильнаго порядка въ своей жизни. Они принимаютъ свои рѣшенія, или дѣлаютъ обѣщанія съ величайшей искренностію, но рѣдко могутъ ихъ выполнить. Въ случаѣ неисполненія обязательствъ, принятыхъ въ отношеніи къ себѣ или къ другимъ, они или вдругъ находятъ для этого тысячи самыхъ ясныхъ основаній, или-же горько мучатся и упрекаютъ себя; но прошла тяжелая минута и они опять готовы — искренно рѣшиться и обѣщать, и столь-же искренно не сдерживать своего намѣренія. Они часто составляютъ прекрасные планы, и очень живо воодушевляются этими планами, но потомъ забываютъ дѣлать что нужно для ихъ выполненія. Они непритворно каются въ своихъ ошибкахъ и промахахъ, и потомъ впадаютъ въ нихъ при первомъ-же искушеніи. Они безпрестанно падаютъ и воскресаютъ духомъ; спокойная и свѣтлая минута сейчасъ-же изглаживаетъ изъ ихъ памяти все прошлое, а будущее для нихъ почти не существуетъ.

Такіе люди, если они умны, добры, талантливы, бываютъ чрезвычайно привлекательны, и мнѣ думается, что способность жить минутою

даже не может быть свойственна совершенно дурному человѣку. Но такіе люди не могутъ быть практичными, не могутъ соблюдать условій, требующихся каждымъ сложнымъ и долговременнымъ дѣломъ. Съ ними можно иногда жить съ большимъ наслажденіемъ, но приходится смотрѣть и ухаживать за ними какъ за дѣтьми; ихъ можно любить и можетъ быть крѣпче чѣмъ всякихъ другихъ, но вести съ ними дѣло, то-есть дѣла — невозможно.

Распространяюсь объ этой непрактичности не только потому, что она въ нѣкоторой мѣрѣ отзывалась у братьевъ Достоевскихъ, но что она вообще часто встрѣчается на литературномъ поприщѣ и что отъ нея погибло на моихъ глазахъ не одно журнальное дѣло, и не одна семья дошла до раззоренія, не имѣвшего часто никакой другой причины. Что касается до Достоевскихъ, то Михайла Михайловича нельзя было считать человѣкомъ вполне непрактичнымъ; онъ былъ довольно осмотрителенъ и предусмотрителенъ. Федоръ-же Михайловичъ, не смотря на свой быстрый умъ, не смотря на возвышенныя цѣли, которыхъ всегда держался въ своей дѣятельности и въ своемъ поведеніи, или скорѣе — именно по причинѣ этихъ возвышенныхъ цѣлей, — чрезвычайно страдалъ непрактичностію; когда онъ велъ дѣло, онъ велъ его очень хорошо; но онъ дѣлалъ это порывами, очень короткими, легко утѣшался и останавливался, и хаосъ возрасталъ вокругъ него ежеминутно. „Эпоха“ была начата *ни съ чѣмъ*; черезъ годъ, когда она кончилась (вторую книжку 1865), на нее была убита не только вся подписка, но и та доля наслѣдства, которая приходилась братьямъ отъ богатой московской родственницы (кажется, по 10,000 руб. на каждого) и которую они выпросили впередъ, и сверхъ того 15,000 руб. долга, съ которыхъ остался Федоръ Михайловичъ послѣ прекращенія журнала.

ХІІІ.

„Эпоха“ и ея паденіе.

Началась „Эпоха“ въ очень неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. Федоръ Михайловичъ былъ въ Москвѣ, у постели умирающей жены, и самъ больной, такъ что не успѣлъ ничего написать. Мою статью „Переломъ“ запретила напуганная цензура, вообще очень подозрительно слѣдившая за „Эпохою“, а меня считавшая чрезвычайно опаснымъ, такъ что не пропускала тѣхъ самыхъ моихъ статей, въ которыхъ я рвался заявить свой патриотизмъ и снять съ себя обидное обвиненіе. Всѣ сотрудники были въ

какомъ-то разбродѣ. Но главное переиѣнилось настроеніе публики и литературы.

Въ 1863 году совершился глубокой переломъ общественнаго настроенія, самый глубокой и важный изъ всѣхъ подобныхъ поворотовъ, происходившихъ въ прошлое царствованіе. Въ этомъ году простодушная публика въ первый разъ замѣтила, куда ее ведетъ извѣстная партія литературы, и отшатнулась отъ этой партіи, а потому и вообще отъ литературы. Герценъ совершенно упалъ; „Московскія Вѣдомости“, начавшія выходить съ 1-го января подъ нынѣшнею редакціею, скоро заявили то патріотическое и руководительное направленіе, которое такъ блистательно развиваютъ до сихъ поръ; словомъ, послѣ величайшаго прогрессивнаго опьяненія, наступило рѣзкое отрезвленіе и какая-то растерянность. По всей Россіи въ первый разъ въ то царствованіе заговорилъ тотъ патріотизмъ, который такъ безконечно сильна наша земля. И такъ какъ литература была не очень патріотична, то она потеряла вкусъ для читателей. Въ Петербургѣ значительно затихла та болтовня, тѣ противуправительственныя пересуды и затѣи, которыя составляютъ главную забаву многого множества, и стало скучно. Начался даже отливъ населенія изъ Петербурга, продолжавшійся всѣ шестидесятие годы. Общій упадокъ этого безцѣльнаго движенія отразился вездѣ, и точно также на „Эпохѣ“. Редакціонныя собранія ея не походили на собранія „Времени“; они были малолюдны и неоживлены.

При такихъ обстоятельствахъ требовалась особенная энергія со стороны редакціи. Между тѣмъ Михайло Михайловичъ дѣйствовалъ вяло, можетъ быть измученный предшествовавшими волненіями, а можетъ быть уже носившій въ себѣ ту болѣзнь, которая скоро должна была свести его въ могилу. Тутъ очень повредило дѣлу и воспоминаніе о блестящемъ успѣхѣ „Времени“. Во все продолженіе „Эпохи“ оба Достоевскіе никакъ не хотѣли вѣрить, чтобы ихъ могла постигнуть неудача, и были поэтому часто очень небрежны. Какъ-бы то ни было, первая книжка „Эпохи“, которая могла-бы явиться уже въ февралѣ, особенно если-бы была заранѣе подготовлена, не явилась и въ первой половинѣ марта; вмѣсто того рѣшено было издать двойную книжку за январь и за февраль, но и эта двойная книжка явилась лишь къ началу апрѣля. Объявленіе объ ея выходѣ напечатано въ „Спб. Вѣдомостяхъ“ 24 марта 1864 г. Разуѣется, тогда подписка на журналы давно состоялась, и публика, выбитая изъ старой колеи, не обратила никакого вниманія на новое литературное явленіе.

Чтобы дать понятіе объ этой книжкѣ и о тогдашнемъ ходѣ дѣлъ,

сдѣлаю выдержку изъ письма Федора Михайловича изъ Москвы отъ 26 марта.

„Любезный братъ, у Черенина я достала 3-го дня „Эпоху“, которую онъ неизвѣстно какъ получилъ такъ скоро, и 1¹/₂ дня читалъ я ее и пересматривалъ. Вотъ мое впечатлѣніе: изданіе могло-бы быть поряднѣе, опечатки безчисленныя, до *крайняго* неряшества, ни одной руководящей, вводной, хотя-бы намекающей на направленіе статьи, кромѣ статьи Косицы (хотя и хорошей, даже очень, но для 1-го номера новаго журнала—недостаточной). Знаю, что все это отъ запрещенія ряда статей. Но мнѣ-то тѣмъ нестерпимѣе, потому что эти 2 номера рѣшительно имѣютъ теперь видъ сборника. Есть и ерничество, совершенно, впрочемъ, извинительное, когда издаешь 2 номера на скорую руку, а именно: романъ Шпильгагена, процессъ и „Записки помѣщика“; всѣ три статьи занимаютъ цѣлую половину 2-хъ книгъ. Жаль, что не читалъ Ерсинскаго. Если хорошо, то все спасено, а если не хорошо, то очень плохо. Теперь о хорошей сторонѣ: всѣ статьи, которыя я прочелъ, занимательны (Шпильгагена я не читалъ: можетъ и хорошо. Я говорю только объ ужасномъ объемѣ). Обертка пестра, и названія статей завлекательны. Нѣкоторыя статьи очень порядочны, т. е. „Призраки“, статья Страхова, Ап. Григорьева, Аверкіева, „Что такое польскія возстанія“, комплиція изъ Смита, „Ерши“ и „Бѣдные жильцы“. Горскаго мнѣ очень понравилась. Въ защиту, на всѣ нападенія на Горскаго можно сказать, что это совсѣмъ не литература, и съ этой точки глупо разсматривать, а просто *факты* и полезныя. Не читалъ еще „Савонаролли“. Очень-бы желалъ знать, какого рода эта статья. Но все это меркнетъ оттого, что запрещенъ рядъ статей. Ради Бога, проси Страхова выправить свою статью въ цензурномъ отношеніи для слѣдующаго №, или написать новый рядъ статей. Какъ можно скорѣй статью руководящую!

„Пожалуюсь и за мою статью: опечатки ужасныя, и ужъ лучше было совсѣмъ не печатать предпоследней главы (самой главной, гдѣ самая-то мысль и высказывается), чѣмъ напечатать такъ, какъ оно есть, то есть съ надерганными фразами и противорѣчя самой себѣ. *) Но чтожь дѣлать! С... и цензора, тамъ, гдѣ я глумился надъ всѣмъ и иногда богохульствовалъ *для виду*—то пропущено, а гдѣ изъ всего этого я вывелъ потребность вѣры во Христа — то запрещено. Да что они, цензора-то въ разговоръ противъ правительства, что-ли?“

Изъ этого отрывка ясно видны и жалкій видъ нашего двойнаго но-

*) Дѣло идетъ о первой части „Записокъ изъ подполья“.

какомъ-то разбродѣ. Но главное переиѣнилось настроеніе публики и литературы.

Въ 1863 году совершился глубокой переломъ общественнаго настроенія, самый глубокой и важный изъ всѣхъ подобныхъ поворотовъ, происходившихъ въ прошлое царствованіе. Въ этомъ году простодушная публика въ первый разъ замѣтила, куда ее ведетъ извѣстная партія литературы, и отшатнулась отъ этой партіи, а потому и вообще отъ литературы. Герценъ совершенно упалъ; „Московскія Вѣдомости“, начавшія выходить съ 1-го января подъ нынѣшнею редакціею, скоро заявили то патріотическое и руководительное направленіе, которое такъ блистательно развиваютъ до сихъ поръ; словомъ, послѣ величайшаго прогрессивнаго опьяненія, наступило рѣзкое отрезвленіе и какая-то растерянность. По всей Россіи въ первый разъ въ то царствованіе заговорилъ тотъ патріотизмъ, который такъ безконечно сильна наша земля. И такъ какъ литература была не очень патріотична, то она потеряла вкусъ для читателей. Въ Петербургѣ значительно затихла та болтовня, тѣ противуправительственныя пересуды и затѣи, которыя составляютъ главную забаву многого иножества, и стало скучно. Начался даже отливъ населенія изъ Петербурга, продолжавшійся всѣ шестидесятие годы. Общій упадокъ этого безцѣльнаго движенія отразился вездѣ, и точно также на „Эпохѣ“. Редакціонныя собранія ея не походили на собранія „Времени“; они были малолюдны и неоживлены.

При такихъ обстоятельствахъ требовалась особенная энергія со стороны редакціи. Между тѣмъ Михайло Михайловичъ дѣйствовалъ вяло, можетъ быть измученный предшествовавшими волненіями, а можетъ быть уже носившій въ себѣ ту болѣзнь, которая скоро должна была свести его въ могилу. Тутъ очень повредило дѣлу и воспоминаніе о блестящемъ успѣхѣ „Времени“. Во все продолженіе „Эпохи“ оба Достоевскіе никакъ не хотѣли вѣрить, чтобы ихъ могла постигнуть неудача, и были поэтому часто очень небрежны. Какъ-бы то ни было, первая книжка „Эпохи“, которая могла-бы явиться уже въ февралѣ, особенно если-бы была заранѣе подготовлена, не явилась и въ первой половинѣ марта; вмѣсто того рѣшено было издать двойную книжку за январь и за февраль, но и эта двойная книжка явилась лишь къ началу апрѣля. Объявленіе объ ея выходѣ напечатано въ „Спб. Вѣдомостяхъ“ 24 марта 1864 г. Разумѣется, тогда подписка на журналы давно состоялась, и публика, выбитая изъ старой колеи, не обратила никакого вниманія на новое литературное явленіе.

Чтобы дать понятіе объ этой книжкѣ и о тогдашнемъ ходѣ дѣлъ,

сдѣлаю выдержку изъ письма Федора Михайловича изъ Москвы отъ 26 марта.

„Любезный братъ, у Черенина я достала 3-го дня „Эпоху“, которую онъ неизвѣстно какъ получилъ такъ скоро, и 1¹/₂ дня читала я ее и пересматривала. Вотъ мое впечатлѣніе: изданіе могло-бы быть понаряднѣе, опечатки безчисленныя, до *краймя* неряшества, ни одной руководящей, вводной, хотя-бы намекающей на направленіе статьи, кромя статьи Косицы (хотя и хорошей, даже очень, но для 1-го номера новаго журнала — недостаточной). Знаю, что все это отъ запрещенія ряда статей. Но мнѣ-то тѣмъ нестерпимѣе, потому что эти 2 номера рѣшительно имѣютъ теперь видъ сборника. Есть и ерничество, совершенно, впрочемъ, извинительное, когда издаешь 2 номера на скорую руку, а именно: романъ Шпильгагена, процессъ и „Записки помѣщика“; всѣ три статьи занимаютъ цѣлую половину 2-хъ книгъ. Жаль, что не читалъ Еркинскаго. Если хорошо, то все спасено, а если не хорошо, то очень плохо. Теперь о хорошей сторонѣ: всѣ статьи, которыя я прочелъ, занимательны (Шпильгагена я не читалъ: можетъ и хорошо. Я говорю только объ ужасномъ объемѣ). Обертка пестра, и названія статей завлекательны. Нѣкоторыя статьи очень порядочны, т. е. „Призраки“, статья Страхова, Ап. Григорьева, Аверкіева, „Что такое польскія возстанія“, комплиція изъ Смита, „Ерки“ и „Бѣдные жильцы“. Горскаго мнѣ очень понравилась. Въ защиту, на всѣ нападенія на Горскаго можно сказать, что это совсѣмъ не литература, и съ этой точки глупо разсматривать, а просто *факты* и полезныя. Не читалъ еще „Савонаролли“. Очень-бы желалъ знать, какого рода эта статья. Но все это меркнетъ оттого, что запрещенъ рядъ статей. Ради Бога, проси Страхова выправить свою статью въ цензурномъ отношеніи для слѣдующаго №, или написать новый рядъ статей. Какъ можно скорѣй статью руководящую!

„Пожалуюсь и за мою статью: опечатки ужасныя, и ужъ лучше было совсѣмъ не печатать предпоследней главы (самой главпой, гдѣ самая-то мысль и высказывается), чѣмъ напечатать такъ, какъ оно есть, то есть съ надерганными фразами и противорѣчя самой себѣ. *) Но чтожь дѣлать! С... и цензора, тамъ, гдѣ я глумился надъ всѣмъ и иногда богухульствовалъ *для виду* — то пропущено, а гдѣ изъ всего этого я вывелъ потребность вѣры во Христа — то запрещено. Да что они, цензора-то въ заговорѣ противъ правительства, что-ли?“

Изъ этого отрывка ясно видны и жалкій видъ нашего двойнаго по-

*) Дѣло идетъ о первой части „Записокъ изъ подполья“.

какомъ-то разбродѣ. Но главное пережилось настроеніе публики и литературы.

Въ 1863 году совершился глубокой переломъ общественнаго настроенія, самый глубокой и важный изъ всѣхъ подобныхъ поворотовъ, происходившихъ въ прошлое царствованіе. Въ этомъ году простодушная публика въ первый разъ замѣтила, куда ее ведетъ извѣстная партія литературы, и отшатнулась отъ этой партіи, а потому и вообще отъ литературы. Герценъ совершенно упалъ; „Московскія Вѣдомости“, начавшія выходить съ 1-го января подъ нинѣшнею редакціею, скоро заявили то патріотическое и руководительное направленіе, которое такъ блистательно развиваютъ до сихъ поръ; словомъ, послѣ величайшаго прогрессивнаго опыненія, наступило рѣзкое отрезвленіе и кака-то растерянность. По всей Россіи въ первый разъ въ то царствованіе заговорилъ тотъ патріотизмъ, который такъ безконечно силенъ наша земля. И такъ какъ литература была не очень патріотична, то она потеряла вкусъ для читателей. Въ Петербургѣ значительно затихла та болтовня, тѣ противуправительственныя пересуды и затѣи, которыя составляютъ главную забаву многаго множества, и стало скучно. Начался даже отливъ населенія изъ Петербурга, продолжавшійся всѣ шестидесятие годы. Общій упадокъ этого безцѣльнаго движенія отразился вездѣ, и точно также на „Эпохѣ“. Редакціонныя собранія ея не походили на собранія „Времени“; они были малолюдны и неоживлены.

При такихъ обстоятельствахъ требовалась особенная энергія со стороны редакціи. Между тѣмъ Михайло Михайловичъ дѣйствовалъ вяло, можетъ быть измученный предшествовавшими волненіями, а можетъ быть уже носившій въ себѣ ту болѣзнь, которая скоро должна была свести его въ могилу. Тутъ очень повредило дѣлу и воспоминаніе о блестящемъ успѣхѣ „Времени“. Во все продолженіе „Эпохи“ оба Достоевскіе никакъ не хотѣли вѣрить, чтобы ихъ могла постигнуть неудача, и были поэтому часто очень небрежны. Какъ-бы то ни было, первая книжка „Эпохи“, которая могла-бы явиться уже въ февралѣ, особенно если-бы была заранѣе подготовлена, не явилась и въ первой половинѣ марта; вмѣсто того рѣшено было издать двойную книжку за январь и за февраль, но и эта двойная книжка явилась лишь къ началу апрѣля. Объявленіе объ ея выходѣ напечатано въ „Спб. Вѣдомостяхъ“ 24 марта 1864 г. Разумѣется, тогда подписка на журналы давно состоялась, и публика, выбитая изъ старой колеи, не обратила никакого вниманія на новое литературное явленіе.

Чтобы дать понятіе объ этой книжкѣ и о тогдашнемъ ходѣ дѣлъ,

сдѣлаю выдержку изъ письма Федора Михайловича изъ Москвы отъ 26 марта.

„Любезный братъ, у Черенина я достала 3-го дня „Эпоху“, которую онъ неизвѣстно какъ получилъ такъ скоро, и 1¹/₂ дня читалъ я ее и пересматривалъ. Вотъ мое впечатлѣніе: изданіе могло-бы быть понаряднѣе, опечатки безчисленныя, до *крайняго* неряшества, ни одной руководящей, вводной, хотя-бы намекающей на направленіе статьи, кромѣ статьи Косицы (хотя и хорошей, даже очень, но для 1-го номера новаго журнала—недостаточной). Знаю, что все это отъ запрещенія ряда статей. Но мнѣ-то тѣмъ нестерпимѣе, потому что эти 2 номера рѣшительно имѣютъ теперь видъ сборника. Есть и ерничество, совершенно, впрочемъ, извинительное, когда издаешь 2 номера на скорую руку, а именно: романъ Шпильгагена, процессъ и „Записки помѣщика“; всѣ три статьи занимаютъ цѣлую половину 2-хъ книгъ. Жаль, что не читалъ Ерсинскаго. Если хорошо, то все спасено, а если не хорошо, то очень плохо. Теперь о хорошей сторонѣ: всѣ статьи, которыя я прочелъ, занимательны (Шпильгагена я не читалъ: можетъ и хорошо. Я говорю только объ ужасномъ объемѣ). Обертка пестра, и названія статей завлекательны. Нѣкоторыя статьи очень порядочны, т. е. „Призраки“, статьи Страхова, Ан. Григорьева, Аверкіева, „Что такое польскія возстанія“, компиляція изъ Смита, „Ерши“ и „Бѣдныя жильцы“. Горскаго мнѣ очень понравилась. Въ защиту, на всѣ нападенія на Горскаго можно сказать, что это совсѣмъ не литература, и съ этой точки глупо разсматривать, а просто *факты* и полезныя. Не читалъ еще „Савонаролли“. Очень-бы желалъ знать, какого рода эта статья. Но все это меренеть оттого, что запрещенъ рядъ статей. Ради Бога, проси Страхова выправить свою статью въ цензурномъ отношеніи для слѣдующаго №, или написать новый рядъ статей. Какъ можно скорѣй статью руководящую!

„Пожалуюсь и за мою статью: опечатки ужасныя, и ужъ лучше было совсѣмъ не печатать предпоследней главы (самой главной, гдѣ самая-то мысль и высказывается), чѣмъ напечатать такъ, какъ оно есть, то есть съ надерганными фразами и противорѣча самой себѣ. *) Но чтожь дѣлать! С... и цензора, тамъ, гдѣ я глумился надъ всѣмъ и иногда богохульствовалъ *для виду*—то пропущено, а гдѣ изъ всего этого я вывелъ потребность вѣры во Христа — то запрещено. Да что они, цензора-то въ разговорѣ противъ правительства, что-ли?“

Изъ этого отрывка ясно видны и жалкій видъ нашего двойнаго по-

*) Дѣло идетъ о первой части „Записокъ изъ подполья“.

мера, и одна изъ причинъ этого жалкаго вида — строгость и растерянность цензуры. Но другая причина была небрежность редакціи: и дурная обертка, и избитый шрифтъ, и плохая бумага, и обиліе опечатокъ — все было до крайности непріятно и ничѣмъ не извинялось. Подобныхъ неисправностей никогда не допускали журналы, умѣвшіе пользоваться успѣхомъ и поддерживать его. Напримѣръ, „Современникъ“, какія-бы слабья и пустыя книжки ни случалось ему выпускать, всегда отличался блестящею наружностію и по части корректуры былъ замѣчательно исправенъ.

Такъ потянулась „Эпоха“ и дальше: вяло, неопрятно, запаздывая книжками. Она велась собственно такъ же, какъ и „Время“; но прежде все *само собою* шло хорошо, а теперь точно такъ же все *само собою* шло дурно. Между тѣмъ послѣдовалъ рядъ смертей: Марьи Дмитріевны, Михаила Михайловича и Ал. Григорьева. Марья Дмитріевна умерла 16-го апрѣля и Ѳедоръ Михайловичъ сейчасъ-же переѣхалъ въ Петербургъ. 10-го іюня неожиданно умеръ Михайло Михайловичъ, хворавшій очень недолго и бывшій почти все время болѣзни на ногахъ.

Это было жестокимъ ударомъ. Журналъ, и безъ того запоздавшій, остановился на два мѣсяца, — пока былъ найденъ и утверждёнъ новый редакторъ и приведены дѣла въ порядокъ. Задержка со стороны цензуры, неимѣвшей никакой причины торопиться, была очень значительна по времени. Подходящія литературныя имена состояли въ подозрѣніи у цензуры, и потому, редакторомъ попросили стать Александра Устиновича Порѣцкаго, служившаго въ Лѣсномъ департаментѣ, человека неизвѣстнаго въ литературѣ, но очень умнаго и образованнаго, отличавшагося сверхъ того рѣдкими душевными качествами, безукоризненной добротой и чистотой сердца. Сочувствуя всею душою направленію „Эпохи“, онъ взялъ на себя официальное редакторство, тогда какъ всѣмъ дѣломъ заправлялъ, разумѣется, Ѳедоръ Михайловичъ. Кстати: въ публикѣ, не слишкомъ внимательной къ именамъ, произошла путаница, и многіе считали тогда умершимъ Ѳедора Михайловича, то есть *знаменитаго* Достоевскаго. Поэтому Ѳедоръ Михайловичъ долженъ былъ употреблять даже особня старанія, всячески давая знать, что онъ, извѣстный писатель, живъ, а умеръ его братъ.

Въ рукахъ Ѳедора Михайловича дѣло тотчасъ пошло иначе; онъ повелъ его довольно энергически, съ тою заботливостію, которою онъ отличался въ этого рода работахъ. Къ сожалѣнію, эта энергія должна была устремиться на цѣли несущественныя для дѣла и была потрачена по напрасну. Предполагалось, что главная задача состоитъ въ томъ, чтобы додать книжки за начатый годъ и, войдя въ сроки, собрать новую под-

писку, то есть, судя по прежнему, получить тысячи четыре подписчиковъ, или больше. Тогда все дѣло пошло-бы опять хорошо, и всѣ затраты и хлопоты были-бы вознаграждены. И вотъ книжки выходили за книжками; въ послѣдніе мѣсяцы 1864 года редація выпускала по двѣ книжки въ мѣсяць, такъ что январь 1865 г. вышелъ уже 13 февраля, а февраль— въ мартѣ. Типографія и бумага были также измѣнены; корректура была исправная; мало того—книжки очевидно росли въ объемѣ и январская книга 1864 года дошла чуть не до 40 печатныхъ листовъ вмѣсто обыкновенныхъ 25-ти *).

Но, чѣмъ старательнѣе были выполнены внѣшнія условія изданія, тѣмъ меньше имѣла редація времени и силъ для выполненія внутреннихъ его условій, и публика не могла этого не замѣтить, особенно при такихъ огромныхъ размѣрахъ всего этого литературнаго явленія. Книжки составлялись съ большимъ толкомъ и вкусомъ; Федоръ Михайловичъ не могъ помѣстить какой-нибудь вполне негодной вещи; но и ничего выдающагося въ нихъ не было,—самъ онъ не могъ писать, и некуда было взять замѣчательныхъ вещей для столькихъ номеровъ. Главное-же,—эти книжки не представляли никакой современности, ничего важнаго для текущей минуты; это были простые сборники, хотя и возможные для чтенія, но ничѣмъ въ себѣ не привлекающіе. Чѣмъ чаще они выходили, чѣмъ толще были, тѣмъ яснѣе это становилось. Публика не могла чувствовать къ нимъ расположенія, такъ какъ она въ значительной мѣрѣ читаетъ *по обязанности*, для того, чтобы имѣть понятіе объ авторѣ или книгѣ, чтобы слѣдить за вопросами, чтобы имѣть возможность говорить и судить и т. д. Слѣдовательно книга не будетъ читаться, если у читателя нѣтъ заранее никакихъ побужденій для ея чтенія. И вотъ такихъ-то восемь или десять книгъ было издано редакціею „Эпохи“. Частое появленіе ихъ только утомляло вниманіе публики и литературы, котораго ни одна изъ нихъ и не могла и не успѣвала остановить на себѣ.

Содержанію книжекъ вредили не только совершенно ненужная строгость цензуры и отсутствіе статей самого Федора Михайловича. Въ сентябрѣ 1864 года умеръ Ан. Григорьевъ, статьи котораго были такъ важны

*) Приведу здѣсь время цензурныхъ разрѣшеній, какъ оно помѣчено на книжкахъ. Мартовская книжка разрѣшена 23 апрѣля, майская—7 іюля, іюньская—20 августа, іюльская—19 сент., августовская—23 октября, сентябрьская—22 ноября, октябрьская—24 октября (!), ноябрьская—24 декабря, декабрьская—25 января 1865 г. Эти помѣтки не могутъ, однако, точно указывать времени, потому что дѣлались то при началѣ печатанія книжки (на первомъ ея листѣ), то при концѣ (на послѣднемъ листѣ). Безпорядокъ былъ такъ великъ, что на октябрьской книжкѣ поставлено: 24 октября, очевидно вмѣсто 24 ноября; на оберткѣ іюньской книжки стояло: № 6, іюль, и выше: журналъ, издаваемый семьѣею М. М. Достоевскаго.

для журнала. Правда, публика почти не читала ихъ, какъ не читаетъ и до сихъ поръ; но въ нашихъ глазахъ и для серьезныхъ литераторовъ они придавали вѣсъ и цвѣтъ журналу. Два ряда его писемъ, напечатанные мною послѣ его смерти, принадлежатъ конечно къ истиннымъ украшеніямъ „Эпохи“.

Наконецъ, была еще сторона, необыкновенно вредившая ходу дѣла, — именно безпорядокъ въ хозяйственной части, въ разсылкѣ журнала, въ скоромъ и точномъ удовлетвореніи подписчиковъ. Дѣло шло такъ плохо, что пришлось публично извиняться передъ подписчиками. Въ объявленіи о подпискѣ на 1865 годъ („Эпоха“, 1864, № 8) мы читаемъ:

„Редакція обратитъ особенное вниманіе на разсылку своего журнала въ губерніи и доставку его подписчикамъ. Хотя жалобъ на неправильную доставку книгъ получалось въ редакціи не болѣе, чѣмъ въ прежнее время, но тѣмъ не менѣе редакція сознается, что должны быть произведены улучшенія, и она непременно займется ими“.

Въ этихъ сдержанныхъ выраженіяхъ слышится большое горе. Зло, которымъ страдала редакція, очевидно досталось Федору Михайловичу по наслѣдству, и при немъ оно не только не испѣлилось, а увеличилось. Хозяйство не было непосредственно въ его рукахъ, и онъ не хотѣлъ брать его крѣпче въ свои руки, не чувствуя къ нему охоты и считая литературную сторону важнѣе. Касса редакціи въ это время была очень скудна, часто совсѣмъ пуста; слѣдовательно, всякое движеніе въ хозяйствѣ задерживалось. Подъ конецъ, въ самую важную минуту новой подписки, было много случаевъ, что требованія подписчиковъ, поступавшія въ редакцію, вовсе не доходили до редактора.

И при всемъ этомъ — дѣло удивительное! — на „Эпоху“ 1865 года всетаки набралось 1,300 подписчиковъ, т. е. число, съ которымъ могъ бы съ нѣкоторымъ трудомъ начинать и вести изданіе новый журналъ. Но старый журналъ, обремененный сдѣланными затратами, не могъ выдержать. Послѣ февральской книжки въ редакціи не оказалось ни копейки денегъ, никакой возможности платить сотрудникамъ, за бумагу, въ типографію. Все разсыпалось и разлетѣлось; семейство Михаила Михайловича осталось безъ всякихъ средствъ, и Федоръ Михайловичъ остался съ огромнымъ долгомъ въ 15 тысячъ.

Такъ погибла „Эпоха“. Рассказывая ея исторію, я не упомянулъ объ одномъ обстоятельстве, имѣвшемъ тоже свое значеніе, — именно объ отношеніи къ журналу остальной литературы, то есть главнымъ образомъ петербургскихъ изданій, составлявшихъ, какъ и до сихъ поръ, огромное большинство періодической печати. Отношеніе это съ начала и до конца

было враждебное, и, вслѣдствіе стараній самой „Эпохи“, вражда эта возрастала и разгаралась съ каждымъ мѣсяцемъ. Во „Времени“, не смотря на бывшую полемику съ „Современникомъ“, въ концѣ 1862 года (въ сентябрьской книжкѣ) была еще помѣщена статья Щедрина, а въ первой книжкѣ 1863 года явилось стихотвореніе Некрасова „Смерть Прокла“. Но „Эпоха“ уже не имѣла ничего общаго съ „Современникомъ“. Направленіе ея было уже сознательно славянофильскимъ; припоминаю, какъ однажды Федоръ Михайловичъ, по поводу какой-то статьи въ защиту „Дня“, прямо сказалъ: „это хорошо; нужно помогать ему сколько можемъ“. Разрывъ съ нигилистическимъ направленіемъ былъ полный и противъ него исключительно направилась полемика, до которой Федоръ Михайловичъ вообще былъ большой охотникъ. Онъ имѣлъ даръ язвительности, иногда очень веселой, и еще въ послѣднихъ книжкахъ „Времени“ очень остроумно задѣлъ Щедрина, хотя не по вопросу, касавшемуся направленія. Между тѣмъ, не только Щедринъ, бывший съ 1863 года присяжнымъ сотрудникомъ „Современника“, внесъ въ него свое остроуміе и глумленіе, но въ 1864 году этотъ журналъ вообще сталъ заниматься полемикою въ послыханныхъ дѣтолѣ и неповторявшихся потомъ разгѣрахъ. Поднялась ужасная война, которую „Эпоха“ сперва весело поддерживала, но въ которой, наконецъ, принуждена была остаться позади своихъ противниковъ, такъ какъ не могла поровняться съ ними ни въ задорѣ и рѣзкости выраженій, ни во множествѣ печатныхъ листовъ, уснанныхъ этими выраженіями. За „Современникомъ“ тянули въ ту же сторону другія изданія. Для людей, исполненныхъ гражданскихъ порывовъ и не имѣющихъ ни умѣнья, ни возможности въ чемъ нибудь ихъ выразить, ничего не могло быть удобнѣе, какъ отыскать себѣ врага въ собственной сферѣ и приняться всячески его казнить. Poleмика становится такимъ образомъ гражданскимъ занятіемъ, и вотъ благороднѣйшая причина, по которой она иногда такъ разрастается. Въ этой чернильной войнѣ „Эпоха“ вела себя почти безукоризненно, оставаясь на чисто-литературной почвѣ и имѣя въ виду всегда принципы, и потому, конечно, была слабѣе противниковъ, которымъ не было счета и которые разрѣшали себѣ не только всякое глумленіе и ругательство, напимѣръ называли своихъ оппонентовъ *ракаліями*, *буттербродами*, *стрижками* и т. п., но и позволяли себѣ намеки на то, что мы не честны, угодники правительства, доносчики и т. д. Помню, какъ бѣдный Михаилъ Михайловичъ былъ огорченъ, когда его „разсчесть съ подписчиками“ былъ гдѣ-то продернутъ и доказывалось, что онъ об- считалъ своихъ подписчиковъ.

И эти крайности—дѣло естественное, потому, что нравственное до-

стоинство есть высшая цѣна людей и ихъ дѣлъ, такъ что только въ этой оцѣнкѣ можно найти послѣднее основаніе, окончательное оправданіе и своей любви, и своей злобы. Вся эта буря въ стаканѣ воды очень мало насъ волновала и, при другихъ заботахъ, мы не придавали ей значенія. Понятно, что она имѣла свое дѣйствіе на читателей, но мы знали, что она же содѣйствовала и извѣстности журнала. Вотъ почему, рассказавши о паденіи „Эпохи“ и его причинахъ, какъ свидѣтель и участникъ дѣла, я не внесъ въ число этихъ причинъ полемики, поднявшейся противъ этого изданія, хотя найдутся, можетъ быть, люди, которые увидятъ въ этомъ паденіи побѣду петербургской журналистики надъ органомъ, имѣвшимъ несогласное съ нею направленіе.

Послѣ многихъ опытовъ, въ числу которыхъ принадлежитъ и судьба „Времени“ и „Эпохи“, во мнѣ составилось твердое убѣжденіе, что въ Петербургѣ можетъ имѣть полный успѣхъ самый консервативный и патріотическій журналъ. Публики для него довольно; конечно, въ публику часто набивается по дорогѣ всякій соръ выразеній и понятій, но этотъ соръ не крѣпко въ ней держится и легко выскакиваетъ при первомъ слабостѣ встряхиваніи. Одного нельзя найти для такого журнала — редактора, хозяина, то есть человѣка, не только душевно преданнаго добрымъ началамъ, но и практическаго, дѣятельнаго. Наши патріоты и консерваторы, кажется, чѣмъ прекраснѣе и достойнѣе любви, тѣмъ менѣе годны для какого нибудь дѣла.

Какъ поучительный примѣръ успѣха, можно привести „Дневникъ“ Оедора Михайловича. Это изданіе было вовсе не по сердцу Петербургу, но шло превосходно. Правда, хозяйственная часть на этотъ разъ лежала не на редакторѣ, а на его женѣ. И редакторъ, какъ мнѣ приводилось самому быть свидѣтелемъ, не разъ упрекалъ свою жену, что она слишкомъ мелочна въ своихъ хлопотахъ и расчетахъ, что у нея недостаетъ широкаго взгляда на дѣло, размаха... Эти недостатки, однако, оказались очень полезными для этого прекраснаго изданія.

XIV.

Разсказъ Оедора Михайловича о дѣлахъ „Времени“ и „Эпохи“.

Въ подтвержденіе и дополненіе своего разсказа о дѣлахъ „Времени“ и „Эпохи“, приведу свидѣтельство Оедора Михайловича. Сохранилось драгоценное письмо, въ которомъ онъ излагаетъ по порядку всѣ эти событія.

Оно писано къ Александру Егоровичу Врангелю, бывшему тогда секретаремъ русскаго посольства въ Копенгагенѣ.

Петербургъ, 31 марта 1865 г.

„Милый, добрый другъ мой, Александръ Егоровичъ, я понимаю, что вы должны были очень удивиться и конечно, судя по чувствамъ вашимъ ко мнѣ, оскорбиться моимъ молчаніемъ въ отвѣтъ на оба ваши душевные добрѣйшія письма. Не удивляйтесь и не оскорбляйтесь. Я важь тотчасъ же хотѣлъ тогда отвѣтить и *не могъ*. Почему? прочтете ниже. Но васъ, друга моего, въ то время, когда у меня не было друзей, свидѣтеля и моего безконечнаго счастья, и моего страшнаго горя (помните ту ночь въ лѣсу, подъ Семипалатинскомъ, когда мы ихъ провожали?),— друга моего и потомъ здѣсь, въ Петербургѣ, ходатая за меня — васъ могъ-ли бы я забыть? Напротивъ, во всѣ эти годы много разъ я объ васъ думалъ и вспоминалъ. Но, чтѣ была моя жизнь въ это время! Я вамъ обязанъ объясненіемъ и даже отчетомъ, чтобы разъяснить мое недавнее молчаніе на ваши письма. Слушайте же: напишу вамъ всю мою исторію за это время,—впрочемъ не *всю*, этого нельзя, потому что въ подобныхъ случаяхъ въ письмахъ главнѣйшаго никогда не расскажешь. Иное просто не могу рассказывать. А потому расскажу вамъ лучше, по возможности вкратцѣ, послѣдній годъ моей жизни.

„Вы знаете вѣроятно, что братъ затѣялъ четыре года назадъ журналъ. Я ему сотрудиничалъ. Все шло прекрасно. Мой „Мертвый Домъ“ сдѣлалъ буквально фуроръ, и я возобновилъ имъ свою литературную репутацію. У брата были огромные долги при началѣ журнала, и тѣ стали оплачиваться, — какъ вдругъ въ 1863 году, въ маѣ, журналъ былъ запрещенъ за одну самую горячую и патріотическую статью, которую ошибкой приняли за самую возмутительную—противъ правительственныхъ дѣйствій и общественнаго тогдашняго настроенія. Правда, и писатель былъ отчасти виноватъ (одинъ изъ нашихъ ближайшихъ сотрудиниковъ); слишкомъ перетонилъ, и его поняли обратно. Дѣло скоро поняли какъ надо, но ужъ журналъ былъ запрещенъ. Съ этой минуты, дѣла брата приняли крайнее разстройство, кредитъ его пропалъ, долги обнаружались, а заплатить было нечѣмъ. Братъ выхлопоталъ себѣ позволеніе продолжать журналъ, подъ новымъ названіемъ „Эпоха“. Позволеніе вышло только въ концѣ февраля 1864 г.; 1-й номеръ не могъ появиться раньше 20 марта *). Журналъ значитъ опоздалъ, подписка

*) Эти указанія не точны; они очевидно сдѣланы по памяти. Н. С.

„уже повсемѣстно кончилась, потому что публика подписывается на всѣ
 „журналы по старой привычѣ только въ 3 мѣсяца, въ декабрѣ, январѣ
 „и февралѣ. Надо было удовлетворить прежнихъ подписчиковъ, которые
 „не получили расчета при прекращеніи „Времени“. Игъ объявлено было,
 „чтобы они досылали по шести рублей за „Эпоху“ 1864 года. Такъ какъ
 „новыхъ подписчиковъ почти не было, а были все старыя, дославшіе по
 „шести рублей, то стало быть брать долженъ былъ издавать журналъ
 „себѣ въ убытокъ. Это окончательно его разстроило и доканало. Онъ на-
 „чалъ дѣлать долги, здоровье-же его стало разстраиваться. Меня подлѣ
 „него въ это время не было. Я былъ въ Москвѣ, подлѣ умиравшей жены
 „моей. Да, Александръ Егоровичъ, да, мой безцѣнный другъ, вы пишете
 „и соболѣзнуете о моей роковой потерѣ, о смерти моего ангела брата
 „Миши, а не знаете, до какой степени судьба меня задавила! Другое
 „существо, любившее меня и которое я любилъ безъ мѣры, жена моя
 „умерла въ Москвѣ, куда переѣхала за годъ до смерти своей, отъ чахотки.
 „Я переѣхалъ—велѣдъ за нею, не отходилъ отъ ея постели всю зиму
 „1864 года, и 16 апрѣля прошлаго года она скончалась, въ полной памяти,
 „и, прощаясь, вспоминая всѣхъ, кому хотѣла въ послѣдній разъ отъ себя
 „поклониться, вспомнила и объ васъ. Передаю вамъ ея поклонъ, старый,
 „добрый другъ мой. Помяните ее хорошимъ, добрымъ воспоминаньемъ. О,
 „другъ мой, она любила меня безпредѣльно, я любилъ ее тоже безъ мѣры,
 „но мы не жили съ ней счастливо. Все разскажу вамъ при свиданіи,—те-
 „перь-же скажу только то, что, не смотря на то, что мы были съ ней по-
 „ложительно несчастны вмѣстѣ (по ея странному, мнительному и болѣзнен-
 „но-фантастическому характеру)—мы не могли перестать любить другъ
 „друга; даже чѣмъ несчастнѣе были, тѣмъ болѣе привязывались другъ къ
 „другу. Какъ ни странно это, а это было такъ. Это была самая честнѣй-
 „шая, самая благороднѣйшая и великодушнѣйшая женщина изъ всѣхъ,
 „которыхъ я зналъ во всю жизнь. Когда она умерла,—я, хоть мучился,
 „видя (весь годъ), какъ она умираетъ, хоть и цѣнилъ и мучительно чув-
 „ствовалъ, чтò я хороню съ нею,—но никакъ не могъ вообразить, до ка-
 „кой степени стало больно и пусто въ моей жизни, когда ее засыпали зем-
 „лею. И вотъ ужъ годъ, а чувство все то же, не уменьшается... Бросился
 „я, схоронивъ ее, въ Петербургъ, къ брату,—онъ одинъ у меня оставался;
 „черезъ три мѣсяца умеръ и онъ, прохворавъ всего мѣсяцъ и слегка,
 „такъ что кризисъ, перешедшій въ смерть, случился почти неожиданно,
 „въ три дня.

„И вотъ я остался вдругъ одинъ и стало мнѣ просто страшно. Вся
 „жизнь переломилась на-двое. Въ одной половинѣ, которую я перешелъ,

„было все, для чего я жилъ, а въ другой, неизвѣстной еще половинѣ, все чуждое, все новое, и ни одного сердца, которое-бы могло мнѣ замѣнить тѣхъ обоихъ. Буквально, мнѣ не для чего оставалось жить. Новыя связи дѣлать, новую жизнь выдумывать? Мнѣ противна была даже и мысль объ этомъ. Я тутъ *съ первыи разъ* почувствовалъ, что *мнѣ* некимъ замѣнить, что я *мнѣ только* и любилъ на свѣтѣ и что новой любви не только не наживешь, да и не надо наживать. Стало все вокругъ меня холодно и пустынно. И вотъ, когда я три мѣсяца назадъ получилъ ваше горячее, доброе письмо, полное прежнихъ воспоминаній, мнѣ стало такъ грустно, что и не знаю, какъ вамъ выразить. Но слушайте далѣе“.

„9 апрѣля, 1865 г. Девять дней прошло съ тѣхъ поръ, какъ я началъ къ вамъ письмо, и *буквально* въ эти девять дней я не имѣлъ ни минуты времени, чтобы его окончить. Можете-ли вы мнѣ повѣрить, Александръ Егоровичъ, что въ эти три мѣсяца, послѣ вашихъ обоихъ писемъ, и особенно послѣ втораго, при которомъ мнѣ больно стало отъ мысли: чтѣ вы обо мнѣ подумаете, — можете-ли вы мнѣ повѣрить, что я *ни одной минуты*, буквально, не могъ удѣлить, чтобы отвѣчать вамъ, и оттого молчалъ до сихъ поръ? Вѣрьте — не вѣрьте, и однакоже это было такъ, это — истина. А почему это такъ? сейчасъ узнаете. Про-должаю преждее:

„Послѣ брата осталось всего триста рублей, и на эти деньги его и похоронили. Кромя того, до двадцати пяти тысячъ долгу, изъ которыхъ десять тысячъ долгу отдаленнаго, который не могъ обезпочить его семейство, но пятнадцать тысячъ по векселямъ, требовавшимъ уплаты. Вы спросите, какими-же средствами могъ-бы онъ додать шесть книгъ журнала за остальную половину года (онъ умеръ въ іюлѣ 1864 года)? Но у него былъ чрезвычайный и огромный кредитъ; сверхъ того, онъ вполне могъ занять, и заемъ уже былъ въ ходу, но онъ умеръ и весь кредитъ журнала рушился. Ни копейки денегъ, чтобы издавать его, а додать надо было шесть книгъ, чтѣ стоило 18,000 *минимум*, да сверхъ того удовлетворить кредиторовъ, на чтѣ надо было 15,000, — и того надо было 33,000, чтобы кончить годъ и добиться до новой подписки журнала. Семейство его осталось буквально безъ всякихъ средствъ, — хоть ступай по міру. Я у нихъ остался единой надеждой, и они всѣ, и вдова и дѣти, сбились въ кучу около меня, ожидая отъ меня спасенія. Брата моего я любилъ безконечно, — могъ-ли я ихъ оставить? Предстояло двѣ дороги: 1) прекратить журналъ, предоставить журналъ (такъ какъ журналъ всетаки имѣнье и чего нибудь стоитъ) кредиторамъ вѣ-

„стѣ съ мебелью и домашнимъ хламомъ и взять семейство въ себѣ. За-
 „тѣмъ работать, литературствовать, писать романы и содержать вдову и
 „спроть брата. 2-й случай) Достать денегъ и продолжать изданіе во что
 „бы ни стало. Какъ жаль, что я не рѣшился на первый. Кредиторы, ко-
 „нечно, не получили-бы и 20 на сто. Но семейство, отказавшись отъ на-
 „слѣдства, по закону не обязано было-бы ничего и платить. Я-же во всё
 „эти пять лѣтъ, работая у брата и въ журналахъ, зарабатывалъ отъ
 „восьми до десяти тысячъ въ годъ. Слѣдственно, могъ-бы прокормить и
 „ихъ и себя,—конечно, работая съ утра до ночи всю жизнь. Но я пред-
 „почелъ второе, т. е. продолжать изданіе журнала. Не я, впрочемъ, одинъ
 „предпочелъ это. Всѣ друзья мои и прежніе сотрудники были того-же
 „мнѣнія.“

„14 апрѣля. Опять перерывъ былъ. Еслибъ только вы могли знать,
 „Александръ Егоровичъ, въ какихъ ужасныхъ и давящихъ меня заня-
 „тіяхъ проходитъ все мое время! Продолжаю прежнее:

„Въ тому-же, надо было отдать долги брата: я не хотѣлъ, чтобы на
 „его имя легла дурная память. Средство было: дойти до годовой под-
 „писки, оплатить часть долгу, стараться, чтобы журналъ былъ годъ отъ
 „году лучше, и года черезъ три-четыре, заплативъ долги, сдать кому ни-
 „будь журналъ, обезпечивъ семейство брата. Тогда-бы я отдохнулъ, тог-
 „да-бы я опять сталъ писать то, что давно хочется высказать. Я рѣ-
 „шился. Поѣхалъ въ Москву, выпросивъ у старой и богатой моей тетки
 „10,000, которые она назначила на мою долю въ своемъ завѣщаніи и,
 „воротившись въ Петербургъ, сталъ додавать журналъ. Но дѣло было
 „уже сильно испорчено; требовалось выпросить разрѣшеніе цензурное из-
 „давать журналъ. Дѣло протянули такъ, что только въ концѣ августа
 „могла появиться іюньская книжка журнала. Подписчики, которымъ ни
 „до чего нѣтъ дѣла, стали негодовать. Имени моего не позволила мнѣ
 „цензура поставить на журналъ, ни какъ редактора, ни какъ издателя.
 „Надобно было рѣшиться на мѣры энергическія. Я сталъ печатать ра-
 „зомъ въ трехъ типографіяхъ, не жалѣлъ денегъ, не жалѣлъ здоровья
 „и силъ. Редакторомъ былъ одинъ я, читалъ корректуры, возился съ
 „авторами, съ цензурой, поправлялъ статьи, доставалъ деньги, просижи-
 „валъ до шести часовъ утра и спалъ по 5 часовъ въ сутки, и хотъ
 „ввелъ въ журналъ порядокъ, но уже было поздно. Вѣрите-ли: 28 ноя-
 „бря вышла сентябрьская книжка, а 13 февраля январьская книга
 „1865 года, значить по 16 дней на книгу, и каждая книга въ 35 ли-
 „стовъ. Чего-же мнѣ это стоило! Но главное, при всей этой каторжной
 „и черной работѣ, я самъ не могъ написать и напечатать въ журналъ ни

„строчки своего. Моего имени публика не встрѣчала и даже въ Петербургѣ, не только въ провинціи, не знала, что я редактирую журналъ.

„И вдругъ послѣдовалъ у насъ всеобщій журнальный кризисъ. Во всѣхъ журналахъ разомъ подписка не состоялась. „Современникъ“, имѣвшій постоянныхъ 5,000 подписчиковъ, очутился съ 2,300. Всѣ остальные журналы упали. У насъ осталось только 1,300 подписчиковъ.

„Много причинъ этого журнальнаго нашего во всей Россіи кризиса. Главное, онѣ ясны, хотя и сложны. Но объ немъ послѣ. Посудите, каково положеніе наше. Каково, главное, мое положеніе! Чтобъ старые „братнины долги не беспокоили хода дѣла, я перевелъ ихъ тысячъ на десять на себя. Я рассчитывалъ, что еслибъ журналъ имѣлъ въ этомъ году, при несчастіи, хотя-бы только 2,500 подписчиковъ вмѣсто прежнихъ четырехъ, то и тутъ все-бы уладилось. По крайней мѣрѣ, свои долги расплатили-бы. Я рассчитывалъ вѣрно. Никогда еще не бывало съ самаго начала нашего журнализма, съ тридцатыхъ годовъ, чтобы число подписчиковъ убавилось въ одинъ годъ болѣе, чѣмъ на 25 процентовъ. Приписывать худому веденію дѣла я не могу. Вѣдь и „Время“ я началъ, а не братъ, я его направлялъ и я редактировалъ. Однигъ словомъ съ нами случилось тоже самое, какъ если-бы у владѣльца, или купца сгорѣлъ-бы домъ, или его фабрика, и онъ изъ достаточнаго человѣка обратился-бы въ банкрута.

„Въ началѣ подписки, долги, преимущественно еще покойнаго брата, потребовали уплаты. Мы платили изъ подписныхъ денегъ, рассчитывая, что за уплатою все-таки останется чѣмъ издавать журналъ. Но подписка пресѣклась и, выдавъ два номера журнала, мы остались безъ ничего.

„Въ такое-то время и застали меня ваши письма. Я ѣздилъ въ Москву доставать денегъ, искалъ компаньона въ журналъ на самыхъ выгодныхъ условіяхъ, но, кромѣ журнальнаго кризиса, у насъ въ Россіи денежный кризисъ. Теперь мы не можемъ, за неимѣніемъ денегъ, издавать журналъ далѣе и должны объявить временное банкротство, а на мнѣ, кромѣ того, до 10,000 вексельнаго долгу и 5,000 на честное слово.

„Изъ нихъ три тысячи надо заплатить во что-бы то ни стало. Кромѣ того 2,000 нужно для того, чтобы выкупить право на изданіе моихъ сочиненій, которыя въ закладѣ, и приступить къ изданію ихъ самому. Книгопродавцы даютъ мнѣ за это право 5,000 рублей. Но это мнѣ невыгодно. Если я буду издавать ихъ самъ,—будетъ выгодно. Теперь, чтобы заплатить долги, хочу издавать новый романъ мой выпусками,

„какъ дѣлается въ Англіи. Кроме того, хочу издавать „Мертвый Домъ“
 „тоже выпусками и съ иллюстраціей, роскошнымъ изданіемъ, и наконецъ,
 „въ будущемъ году, полное собраніе моихъ сочиненій. Все это, надѣюсь,
 „дастъ тысячь пятнадцать, — но какова каторжная работа!

„О, другъ мой, я охотно-бы пошелъ опять въ каторгу на столько-же
 „лѣтъ, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свобод-
 „нымъ. Теперь опять начну писать романъ изъ-подъ палки, то-есть изъ
 „нужды, на скоро. Онъ выйдетъ эффектенъ, но того-ли мнѣ надобно!
 „Работа изъ нужды, изъ-за денегъ задавила и съѣла меня.

„И всетаки для начала мнѣ нужно теперь три тысячи. Бьюсь по
 „всѣмъ угламъ, чтобы ихъ достать, — иначе погибну! Чувствую, что
 „только случай можетъ спасти меня. Изъ всего запаса моихъ силъ и
 „энергіи осталось у меня въ душѣ что-то тревожное и смутное, что-то
 „близкое къ отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое
 „ненормальное для меня состояніе, и въ добавокъ — одинъ, — прежнихъ и
 „прежняго, сорокалѣтняго, нѣтъ уже при мнѣ. А между тѣмъ все мнѣ
 „кажется, что я только что собираюсь жить. Смѣшно, не правда-ли?
 „Кошачья живучесть!

„Описалъ я вамъ все, и вижу, что главнаго, — моей духовной, сер-
 „дечной жизни я не высказалъ и даже понятія о ней не далъ. Такъ
 „будетъ и всегда, пока мы въ письмахъ. Я письма не умѣю писать, и
 „объ себѣ не умѣю *отъ тѣхъ* писать. Впрочемъ, оно и трудно: много лѣтъ
 „легко между нами, да и какихъ лѣтъ!

„И какъ кстати вы теперь отозвались мнѣ. Все вы мнѣ напомнили
 „прежнее. Я люблю васъ прежняго, молодаго, добраго, и такимъ васъ
 „буду представлять себѣ всю мою жизнь. Кстати: я васъ еще совсѣмъ не
 „знаю *какъ семьянина*. Кажется мнѣ (припоминая прежнее), что вы
 „теперь должны быть счастливы. Но очень хочу угадать, какой новый
 „оттѣнокъ, мнѣ неизвѣстный, положила семейная жизнь на вашу лушу.

„Благодарю васъ за фотографіи вашего семейства. Я долго разма-
 „тривалъ карточки, вглядывался и угадывалъ.

„Заграницей я былъ два раза — лѣтомъ 1862 и 1863 года. Каждый
 „разъ ѣздилъ на три мѣсяца, былъ въ Германіи (почти во всей), въ
 „Швейцаріи, Франціи и въ Италіи (тоже во всей). Здоровье мое за-
 „границей, въ оба раза, воскресало съ быстротою удивительной. Я поло-
 „жилъ ѣздить каждый годъ на три мѣсяца, тѣмъ болѣе, что это ничего
 „не значить въ денежномъ отношеніи, при дороговизнѣ нашей здѣшней
 „жизни. Ѣздить-же я хотѣлъ для поправки здоровья, чтобы отдохнуть,
 „поправляться и тѣмъ удобнѣе работать остальные 9 мѣсяцевъ года въ

„Россіи. Но въ прошломъ году смерть брата заставила меня остаться, а нынѣшніе долги и занятія доконають меня здѣсь окончательно. А какъ-бы хотѣлось хоть на мѣсяцъ съѣздить провѣтрить голову, освѣжиться, воскреснуть. Въ вамъ-бы заѣхалъ непремѣнно. И кто знаетъ: можетъ быть это случится. Изданіе „Мертваго Дома“ можетъ идти безъ меня, а за границей я постоянно пишу, потому что тамъ времени и спокойствія больше, чѣмъ здѣсь, особенно если жить на одномъ мѣстѣ. Въ вамъ-бы заѣхалъ непремѣнно.

„Карточку пришлю непремѣнно, если скоро отвѣтите—не сердясь за долгое молчаніе. Да и за что-же, Боже мой, сердиться, развѣ я виновать.

„Я живу одинъ, при мнѣ Паша, мой пасынокъ. Ему уже семнадцатый годъ, учится, васъ очень поминаетъ и вамъ очень кланяется.

„А многое-бы я вамъ поразсказалъ, если-бы мы свидѣлись.

„Прощайте, добрый другъ мой, обнимаю васъ отъ всей души, горячо. Будьте счастливы. Теперь буду аккуратно отвѣчать. Пишите скорѣй.

„Боюсь, застанеть-ли васъ письмо это въ Копенгагенѣ.

„Вашъ весь прежній и всегдашній

„Федоръ Достоевскій“.

Этимъ письмомъ можно заключить очеркъ отдѣльнаго періода въ жизни Федора Михайловича, именно періода отъ возвращенія въ Петербургъ изъ ссылки до той минуты одиночества, когда онъ остался безъ жены, безъ брата и безъ журнала. Чувство живучести, о которомъ онъ говоритъ, не обмануло его. Отсюда начинается лучшая половина его жизни; его ожидали впереди величайшіе труды и затрудненія, но выстѣсь тѣмъ новыя, высшія созданія его таланта, новая прекрасная семейная жизнь, непрерывныя литературныя успѣхи, возрастающая извѣстность и, наконецъ, въ послѣдніе годы, уплата всѣхъ долговъ, достатокъ и порядокъ въ денежныхъ дѣлахъ.

Когда мы видимъ, что въ 1866 году является „Преступленіе и Наказаніе“, въ 1868 „Идіотъ“, въ 1870 „Бѣсъ“, то невольно приходитъ на мысль, что паденіе „Эпохи“ было счастливымъ событіемъ для литературы, что Федоръ Михайловичъ, поставленный въ необходимость писать какъ можно больше и какъ можно лучше, достигъ въ этихъ произведеніяхъ наибольшаго напряженія своихъ силъ. Если-бы „Эпоха“ существовала, эти силы пошли-бы на нее.

Всю остальную жизнь Федора Михайловича можно раздѣлить на два періода. Первый (1865—1871), когда созданы были эти романы, очень

трудный, наиболѣе плодотворный и проведенный болшею частію за границею. Послѣдній, начинающійся съ возвращенія въ Петербургъ (1872—1881), представляет новыя журнальныя попытки, въ видѣ редактированія — „Гражданина“, „Дневника“; но это — періодъ менѣе трудный, относительно спокойный и все болѣе и болѣе счастливый съ внѣшней стороны, по порядку въ дѣлахъ и по успѣхамъ въ публикѣ.

XV.

Тяжелый годъ. „Преступленіе и Наказаніе“.

Лѣтомъ 1865 года, въ концѣ іюля, Федоръ Михайловичъ уѣхалъ за границу. Въ сентябрѣ и октябрѣ онъ жилъ въ Висбаденѣ (см. письма къ Врангелю). Въ ноябрѣ онъ уже опять былъ въ Петербургѣ и оставался здѣсь весь 1866 годъ. Этотъ годъ имѣлъ въ его жизни большое значеніе. Съ января стали появляться въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ романъ „Преступленіе и Наказаніе“, а осенью, 4-го октября 1866 года Федоръ Михайловичъ познакомился съ Анной Григорьевной Сниткиной, своею будущею женою.

Въ продолженіе всего этого времени мы съ нимъ не видались. У насъ вышла первая размолвка, о которой не стану рассказывать. Отчасти, но лишь въ самой ничтожной части, тутъ участвовали и тѣ неудовольствія и затрудненія, которыя бывають при паденіи общаго дѣла. Приходится дѣлить общее несчастіе, и каждый изъ участниковъ естественно старается, чтобы его доля была какъ можно меньше. Грустно вспоминать черты эгоизма, которыя такимъ образомъ обнаруживаются. Но повторяю, *дѣла* не имѣли при нашей размолвкѣ никакого существеннаго значенія. Нечего и говорить, что Федоръ Михайловичъ былъ очень внимателенъ къ своимъ сотрудникамъ, такъ что всѣ они сохранили къ нему уваженіе и расположеніе. Но онъ самъ былъ въ тискахъ, и невольно раздражался. Эта тѣнь неудовольствія, однако-же, быстро прошла. Д. В. Аверкіевъ и я были свидѣтелями со стороны Федора Михайловича на его свадьбѣ, и много другихъ сошлись въ церкви и у него на дому послѣ совершенія таинства.

Впрочемъ, всего лучше привести ту записку, которая когда-то такъ тронула и обрадовала меня.

„Добрѣйшій и многоуважаемый

„Николай Николаевичъ!

„Въ воскресенье, 12-го февраля, если не произойдетъ чего нибудь

„слишкомъ необычнаго, будетъ моя свадьба, вечеромъ, въ 8-мъ часу, въ Троицкомъ (Измайловскомъ) соборѣ. — Если вы, добрыйшій Николай Николаевичъ, захотите припомнить многіе годы нашихъ близкихъ и пріятельскихъ отношеній, то, вѣроятно, не подивитесь тому, что я въ счастливую (хотя и хлопотливую) минуту моей жизни припомнилъ объ васъ и пожелалъ сердцемъ видѣть васъ въ числѣ моихъ свидѣтелей и потому въ числѣ гостей моихъ по возвращеніи *молодыхъ домой*.

„Я имѣлъ твердое (и давнишнее) намѣреніе просить васъ лично; но въ настоящую минуту я, во первыхъ, захворалъ, а во вторыхъ — столько хлопотъ, столько еще не сдѣланныхъ и не исполненныхъ мелочей, покупокъ, распоряженій, что, при скверной моей памяти, просто растерялся, и потому простите великодушно, что приглашаю васъ запиской. Къ тому-же я до того одичалъ въ послѣдній годъ затворнической жизни и отупѣлъ отъ 44-хъ печатныхъ, написанныхъ мною въ одинъ годъ, листовъ, что даже и записочку-то эту написалъ съ чрезвычайнымъ трудомъ, не смотря на то, что чувствую искренно и о слогѣ не старался.

„А давненько-таки мы не видались! До свиданія-же. Крѣпко жму вашу руку.

„Вашъ искренній Федоръ Достоевскій“.

По болѣзни Федора Михайловича свадьба была отложена и происходила только 15-го февраля, въ среду.

Изъ этой записки уже видно, какъ тяжелы были для Федора Михайловича эти два года, 1865 и 1866. И нельзя не удивляться той энергіи, которую онъ обнаружилъ въ этомъ случаѣ. Больной, одинокій, притѣвляемый кредиторами, обремененный заботами о семьѣ покойнаго брата, онъ успѣваетъ справиться со всѣми этими тягостями и пишетъ лучшее свое произведеніе „Преступленіе и Наказаніе“. Какъ будто всѣ эти потери и гнетущія обстоятельства только давали ему болѣе глубокій взглядъ, только усиляли строгость и силу его творчества. Чрезвычайно характерны его слова (въ предыдущемъ письмѣ къ Врангелю): „А между тѣмъ все мнѣ кажется, что я только что собираюсь жить. Смѣшно, не правда-ли? Кошачья живучесть!“ И дѣйствительно, его ждала новая жизнь — новый періодъ дѣятельности и извѣстности, новая семья. Можетъ быть приведенныя слова даже прямо относятся къ его мечтамъ о женитьбѣ. Ставши вдовцомъ, онъ иногда, не смотря на всю тяжесть своихъ обстоятельствъ, дѣйствительно смотрѣлъ женихомъ — такъ, по крайней мѣрѣ, замѣчали зоркіе въ этомъ отношеніи женскіе глаза. Эта энергія и эти жизненные стремленія достигли своей цѣли. Новая женитьба скоро

доставила ему въ полной и даже необычайной мѣрѣ то семейное счастье, котораго онъ такъ желалъ; тогда стала легче и успѣшнѣе и жестокая борьба съ нуждою и долгами, борьба, однако же, долго тянувшаяся и кончившаяся побѣдою развѣ лишь за два, за три года до смерти неутомимаго борца. Чтобы дать ясное понятіе о трудахъ и усиліяхъ Федора Михайловича, приведемъ опять его письмо, писанное въ этотъ трудный періодъ его жизни къ тому же А. Е. Врангелю.

„Петербургъ, 18 февраля 1866 г.

„Добрѣйшій и старый другъ мой, Александръ Егоровичъ, — я передъ
 „вами виноватъ въ долгомъ молчаніи, но виноватъ безъ вины. Трудно
 „было-бы мнѣ теперь описать вамъ всю мою теперешнюю жизнь и всѣ
 „обстоятельства, чтобы дать вамъ ясно понять всѣ причины моего долгаго
 „молчанія. Причины сложныя и многочисленныя, и потому ихъ не опи-
 „сываю, но кой-что упомяну. Во 1-хъ, сижу надъ работою какъ каторж-
 „никъ. Это тотъ романъ въ „Русскій Вѣстникъ“. Романъ большой въ
 „6 частей. Въ концѣ ноября было много написано и готово; я все сжегъ;
 „теперь въ этомъ можно признаться. Мнѣ не понравилось самому. Новая
 „форма, новый планъ меня увлекъ, и я началъ сызнова. Работаю я дни
 „и ночи и всетаки работаю мало. По расчету выходитъ, что каждый
 „мѣсяць мнѣ надо доставить въ „Русскій Вѣстникъ“ до 6-ти печатныхъ
 „листовъ. Это ужасно, но я-бы доставилъ, если-бы была свобода духа.
 „Романъ есть дѣло поэтическое, требуетъ для исполненія спокойствія
 „духа и воображенія. А меня мучатъ кредиторы, т. е. грозятъ посадить
 „въ тюрьму. До сихъ поръ не уладилъ съ ними, и еще не знаю на-
 „вѣрно, — улажу-ли? — хотя многіе изъ нихъ благоразумны и принимаютъ
 „предложеніе мое разсрочить имъ уплату на 5 лѣтъ; но съ нѣкоторыми
 „не могъ еще до сихъ поръ сладить. Поймите, каково мое безпокойство.
 „Это надрываетъ духъ и сердце, разстраиваетъ на нѣсколько дней, а
 „тутъ садись и пиши. Иногда это невозможно. Вотъ почему и трудно
 „найти минуту спокойную, чтобы поговорить съ старымъ другомъ. Ей-
 „Богу! Наконецъ, болѣзни. Сначала, по пріѣздѣ, страшно безпокоила
 „падучая; казалось она хотѣла навестать мои три мѣсяца за границей,
 „когда ее не было. А теперь вотъ ужъ мѣсяць замучилъ меня геморрой.
 „Вы объ этой болѣзни, вѣроятно, не имѣете и понятія и каковы могутъ
 „быть ея припадки. Вотъ уже третій годъ сряду она повадилась мучить
 „меня два мѣсяца въ году, въ февралѣ и въ мартѣ. И каково-же: *пят-*
 „*надцать дней* (!) долженъ былъ я пролежать на моемъ диванѣ и 15
 „дней не могъ взять пера въ руки. Теперь въ остальные 15 дней мнѣ

„предстоитъ написать 5 листовъ! И лежать совершенно здоровому всѣмъ
 „организмомъ потому собственно, что ни стоять, ни сидѣть не могъ отъ
 „судорогъ, которыя сейчасъ начинались только что я вставалъ съ дивана!
 „Теперь дня три какъ мнѣ гораздо легче. Лечилъ меня Besseг. Бросался
 „на свободную минуту, чтобъ поговорить съ друзьями. Какъ меня мучило,
 „что я вамъ не отвѣчалъ! Но я и не вамъ, я и другимъ, которые имѣютъ
 „право на мое сердце, не отвѣчалъ. Упомянувъ вамъ о моихъ хлопотли-
 „выхъ дрязгахъ, я ни слова не сказалъ о непріятностяхъ семейныхъ, о
 „хлопотахъ безчисленныхъ по дѣламъ покойнаго брата и его семейства и
 „по дѣламъ покойнаго нашего журнала. Я сталъ нервнѣе, раздражите-
 „ленъ, характеръ мой испортился. Я не знаю до чего это дойдетъ. Всю
 „зиму я ни къ кому не ходилъ, никого и ничего не видалъ, въ театрѣ
 „былъ только разъ, на первомъ представленіи „Рогнѣды“. И такъ про-
 „должится до окончанія романа, — если не посадятъ въ долговое отдѣле-
 „ніе. Не знаю, что буду дѣлать, когда кончу романъ. Главное, тогда
 „подновится мое литературное имя, и можно будетъ къ осени что нибудь
 „предпринять. У меня есть планъ, но надо быть благоразумнымъ. Вотъ
 „вамъ еще фактъ. Страшно усиливается подписка на всѣ журналы и
 „книжная торговля. Это послѣднія свѣдѣнія отъ книгопродавцевъ, да и
 „самъ имѣю фактъ.

„Теперь отвѣтъ на ваши слова. Вы пишете, что мнѣ лучше служить
 „въ коронной службѣ; врядъ-ли? Мнѣ выгоднѣе тамъ, гдѣ денегъ больше
 „можно достать. Я въ литературѣ имѣю уже такое имя, что вѣрный ку-
 „сокъ хлѣба (кабы не долги) — всегда бы у меня былъ, да еще сладкій,
 „богатый кусокъ, какъ и было вплоть до послѣдняго года. Кстати раз-
 „скажу вамъ о теперешнихъ моихъ литературныхъ занятіяхъ, и изъ этого
 „вы узнаете, въ чемъ тутъ дѣло. Изъ заграницы, будучи придавленъ
 „обстоятельствами, я послалъ Каткову предложеніе за самую низкую для
 „меня плату 125 р. съ листа ихняго, т. е. 150 р. съ листа „Современ-
 „ника“. Они согласились. Потомъ я узналъ, что согласились съ радостію,
 „потому что у нихъ изъ беллетристики на этотъ годъ ничего не было.
 „Тургеневъ не пишетъ ничего, а съ Львомъ Толстымъ они поссорились.
 „Я явился на выручку (все это я знаю изъ вѣрныхъ рукъ). Но они страшно
 „со мной осторожничали и политиковали. Дѣло въ томъ, что они страш-
 „ные скряги. Романъ имъ казался великъ. Платить за 25 листовъ (а мо-
 „жетъ быть и за 30) по 125 р. ихъ пугало. Однимъ словомъ, вся ихъ
 „политика въ томъ (ужь ко мнѣ заслыла), чтобъ сбавить плату съ ли-
 „ста, а у меня въ томъ, чтобъ набавить. И теперь у насъ идетъ глухая
 „борьба. Имъ очевидно хочется, чтобъ я пріѣхалъ въ Москву. Я-же вы-

доставила ему въ полной и даже необычайной мѣрѣ то семейное счастье, котораго онъ такъ желалъ; тогда стала легче и успѣшнѣе и жестокая борьба съ нуждою и долгами, борьба, однако же, долго тянувшаяся и кончившаяся побѣдою развѣ лишь за два, за три года до смерти неутомимаго борца. Чтобы дать ясное понятіе о трудахъ и усиліяхъ Федора Михайловича, приведемъ опять его письмо, писанное въ этотъ трудный періодъ его жизни къ тому же А. Е. Врангелю.

„Петербургъ, 18 февраля 1866 г.

„Добрѣйшій и старый другъ мой, Александръ Егоровичъ,—я передъ
 „вами виноватъ въ долгомъ молчаніи, но виноватъ безъ вины. Трудно
 „было-бы мнѣ теперь описать вамъ всю мою теперешнюю жизнь и всѣ
 „обстоятельства, чтобы дать вамъ ясно понять всѣ причины моего долгаго
 „молчанія. Причины сложныя и многочисленныя, и потому ихъ не опи-
 „сываю, но кой-что упомяну. Во 1-хъ, сижу надъ работою какъ каторж-
 „никъ. Это тотъ романъ въ „Русскій Вѣстникъ“. Романъ большой въ
 „6 частей. Въ концѣ ноября было много написано и готово; я все сжегъ;
 „теперь въ этомъ можно признаться. Мнѣ не понравилось самому. Новая
 „форма, новый планъ меня увлекъ, и я началъ сызнова. Работаю я дни
 „и ночи и всетаки работаю мало. По расчету выходитъ, что каждый
 „мѣсяцъ мнѣ надо доставить въ „Русскій Вѣстникъ“ до 6-ти печатныхъ
 „листовъ. Это ужасно, но я-бы доставилъ, если-бы была свобода духа.
 „Романъ есть дѣло поэтическое, требуетъ для исполненія спокойствія
 „духа и воображенія. А меня мучать кредиторы, т. е. грозятъ посадить
 „въ тюрьму. До сихъ поръ не уладилъ съ ними, и еще не знаю на-
 „вѣрно,—улажу-ли?—хотя многіе изъ нихъ благоразумны и принимаютъ
 „предложеніе мое разсрочить имъ уплату на 5 лѣтъ; но съ нѣкоторыми
 „не могъ еще до сихъ поръ сладить. Поймите, каково мое безпокойство.
 „Это надрываетъ духъ и сердце, разстраиваетъ на нѣсколько дней, а
 „тутъ садись и пиши. Иногда это невозможно. Вотъ почему и трудно
 „найти минуту спокойную, чтобы поговорить съ старымъ другомъ. Ей-
 „Богу! Наконецъ, болѣзни. Сначала, по пріѣздѣ, страшно безпокоила
 „падучая; казалось она хотѣла навестать мои три мѣсяца за границей,
 „когда ее не было. А теперь вотъ ужъ мѣсяцъ замучилъ меня геморой.
 „Вы объ этой болѣзни, вѣроятно, не имѣете и понятія и каковы могутъ
 „быть ея припадки. Вотъ уже третій годъ сряду она повадилась мучить
 „меня два мѣсяца въ году, въ февралѣ и въ мартѣ. И каково-же: *пят-*
 „*надцать дней* (!) долженъ былъ я пролежать на моемъ диванѣ и 15
 „дней не могъ взять пера въ руки. Теперь въ остальные 15 дней мнѣ

„предстоитъ написать 5 листовъ! И лежать совершенно здоровому всѣмъ
 „организмомъ потому собственно, что ни стоять, ни сидѣть не могъ отъ
 „судорогъ, которыя сейчасъ начинались только что я вставалъ съ дивана!
 „Теперь дня три какъ мнѣ гораздо легче. Лечилъ меня Besset. Бросался
 „на свободную минуту, чтобъ поговорить съ друзьями. Какъ меня мучило,
 „что я вамъ не отвѣчалъ! Но я и не вамъ, я и другимъ, которые имѣютъ
 „право на мое сердце, не отвѣчалъ. Упомянувъ вамъ о моихъ хлопотли-
 „выхъ дрязгахъ, я ни слова не сказалъ о непріятностяхъ семейныхъ, о
 „хлопотахъ безчисленныхъ по дѣламъ покойнаго брата и его семейства и
 „по дѣламъ покойнаго нашего журнала. Я сталъ нервенъ, раздражите-
 „ленъ, характеръ мой испортился. Я не знаю до чего это дойдетъ. Всю
 „зиму я ни къ кому не ходилъ, никого и ничего не видалъ, въ театрѣ
 „былъ только разъ, на первомъ представленіи „Роггьды“. И такъ про-
 „должится до окончанія романа, — если не посадятъ въ долговое отдѣле-
 „ніе. Не знаю, что буду дѣлать, когда кончу романъ. Главное, тогда
 „подновится мое литературное имя, и можно будетъ къ осени что нибудь
 „предпринять. У меня есть планъ, но надо быть благоразумнымъ. Вотъ
 „вамъ еще фактъ. Страшно усиливается подписка на всѣ журналы и
 „книжная торговля. Это послѣднія свѣдѣнія отъ книгопродавцевъ, да и
 „самъ имѣю факты.

„Теперь отвѣтъ на ваши слова. Вы пишете, что мнѣ лучше служить
 „въ коронной службѣ; врядъ-ли? Мнѣ выгоднѣе тамъ, гдѣ денегъ больше
 „можно достать. Я въ литературѣ имѣю уже такое имя, что вѣрный ку-
 „сокъ хлѣба (кабы не долги) — всегда бы у меня былъ, да еще сладкій,
 „богатый кусокъ, какъ и было вплоть до послѣдняго года. Бстати раз-
 „скажу вамъ о теперешнихъ моихъ литературныхъ занятіяхъ, и изъ этого
 „вы узнаете, въ чемъ тутъ дѣло. Изъ заграницы, будучи придавленъ
 „обстоятельствами, я послалъ Каткову предложеніе за самую низкую для
 „меня плату 125 р. съ листа ихняго, т. е. 150 р. съ листа „Современ-
 „ника“. Они согласились. Потомъ я узналъ, что согласились съ радостію,
 „потому что у нихъ изъ беллетристики на этотъ годъ ничего не было:
 „Тургеневъ не пишетъ ничего, а съ Львомъ Толстымъ они поссорились.
 „Я явился на выручку (все это я знаю изъ вѣрныхъ рукъ). Но они страшно
 „со мной осторожничали и политиковали. Дѣло въ томъ, что они страш-
 „ные скраги. Романъ имъ казался великъ. Платить за 25 листовъ (а мо-
 „жетъ быть и за 30) по 125 р. ихъ пугало. Однимъ словомъ, вся ихъ
 „политика въ томъ (ужь ко мнѣ засмлали), чтобъ сбавить плату съ ли-
 „ста, а у меня въ томъ, чтобъ набавить. И теперь у насъ идетъ глухая
 „борьба. Имъ очевидно хочется, чтобъ я пріѣхалъ въ Москву. Я-же вы-

„жду, и вотъ въ чемъ моя дѣль: если Богъ поможетъ, то романъ этотъ
 „можетъ быть великолѣпнѣйшею вещью. Мнѣ хочется, чтобъ не менѣе
 „3-хъ частей (т. е. половина всего) была напечатана, эффектъ въ пуб-
 „ликѣ будетъ произведенъ, и тогда я поѣду въ Москву и посмотрю, какъ
 „они тогда мнѣ сбавятъ? Напротивъ, можетъ быть, прибавятъ. Это бу-
 „детъ къ Святой. И кромѣ того стараюсь не забирать тамъ денегъ впе-
 „редъ, жмусь и живу нищенски. Мое отъ меня не уйдетъ, а если заби-
 „рать впередъ, то я уже нравственно не свободенъ, когда буду впослед-
 „ствіи окончательно говорить съ ними объ уплатѣ. Недѣли двѣ тому на-
 „задъ вышла первая часть моего романа въ первой январской книгѣ
 „Русскаго Вѣстника“. Называется: „Преступленіе и Наказаніе“. Я уже
 „слышалъ много восторженныхъ отзывовъ. Тамъ есть смѣлыя и новыя
 „вещи. Какъ жаль мнѣ, что я вамъ не могу послать! Неужели у васъ ни-
 „кто не получаетъ „Русскаго Вѣстника“?

„Теперь слушайте: предположите, что мнѣ удастся хорошо окончить,
 „такъ, какъ-бы я желалъ; вѣдь я мечтаю, знаете, объ чемъ: продать его
 „нынѣшняго-же года книгопродавцу вторымъ изданіемъ, и я возьму еще
 „тысячи *десять* или *три* даже. Вѣдь этого не дастъ коронная служба? А
 „продамъ-то я вторымъ изданіемъ навѣрно, потому что ни одно мое сочи-
 „неніе не обходилось безъ этого. Но вотъ въ чемъ бѣда. Я могу испортить
 „романъ, и я это предчувствую. Если посадятъ въ тюрьму за долги, то
 „навѣрно испорчу и даже не докончу; тогда все лопнетъ. Но я слишкомъ
 „много разболтался о себѣ. Не считите за эгоизмъ! Это бываетъ со всѣми,
 „которые слишкомъ долго сидятъ въ своемъ углу и молчатъ. Вы пишете,
 „что вы и все ваше семейство перехворали. Это тяжело: хотъ здоровьемъ-
 „то заграничная жизнь должна-бы васъ была вознаграждать! Чтѣ было-бы
 „съ вами и съ вашимъ семействомъ эту зиму въ Петербургѣ! Это ужасъ,
 „что у насъ было, а лѣтомъ еще пожалуй холера пожалуетъ. Передайте
 „вашей женѣ мои искреннія чувства уваженія и желаніе всевозможнаго
 „ей счастья, а главное—пусть начнется съ здоровья! Добрый другъ мой,
 „вы по крайней мѣрѣ счастливы въ семействѣ, а мнѣ отказала судьба въ
 „этомъ великомъ и *единственномъ* человѣческомъ счастьѣ. Да, для се-
 „мейства вы многимъ обязаны. Вы мнѣ пишете о предложеніи вашего
 „отца и что вы отказались. Я не имѣю права ничего вамъ тутъ совѣто-
 „вать, собственно потому, что въ *полнотѣ* дѣла не знаю. Но вотъ въ
 „чемъ примите совѣтъ друга: не рѣшайтесь поспѣшно, не говорите по-
 „слѣдняго слова и оставьте окончательное рѣшеніе до лѣта, когда сами
 „прійдете. Эти рѣшенія дѣлаются на всю жизнь; тутъ Переворотъ всей
 „жизни. Даже, если-бы вы и порѣшили лѣтомъ продолжать службу, то

„всетаки не говорите окончательнаго слова и оставьте разрѣшить впоследствіи обстоятельствъ.“

„Лѣтомъ, я думаю, навѣрно буду въ Петербургъ; стало быть мы увидимся. Тогда поговоримъ о многомъ. Встати, я очень радъ, что васъ такъ интересуетъ наша внутренняя, русская, умственная и гражданская жизнь. Мнѣ, какъ другу, очень пріятно, что вы такой, хотя не во всемъ съ вами согласенъ. На многое смотрите вы нѣсколько исключительно. Не черпаете-ли вы извѣстія изъ иностранныхъ газетъ? Тамъ систематически искажаютъ все, что касается Россіи. Но это обширный вопросъ. По моему, живя за границей, дѣйствительно попадаешь подъ вліяніе иностранной прессы. Я это даже на себѣ испыталъ. Но однакожь во многомъ, и очень даже, я предчувствую, что съ вами согласенъ. — „Вѣсть“ издается двумя издателями-редакторами: *Скарятинымъ* и *Юматовымъ*. Прощайте, добрый другъ мой, до свиданія! Надѣюсь, въ будущемъ письмѣ обмѣняться съ вами болѣе счастливыми извѣстіями. Даль-бы Богъ! А теперь

„Вашъ весь *Ф. Достоевскій*.“

„Поцѣлуйте милыхъ дѣтокъ вашихъ.“

(Приписка съ боку). „Всѣ ваши оставшіяся у меня вещи въ цѣлости и лежатъ въ комодѣ. Другъ мой, я вамъ долженъ. Подождите нѣсколько; отдамъ. Теперь же скряжничая, а если-бы вы знали, сколько уже долженъ былъ истратить денегъ!“

Это письмо лучше всякихъ разсказовъ изображаетъ и денежные дѣла, и литературные труды, и состояніе духа и тѣла Федора Михайловича. Прибавлю нѣсколько подробностей, сохранившихся въ моей памяти. Впечатлѣніе, произведенное романомъ „Преступленіе и Наказаніе“, было необычайное. Только его и читали въ этомъ 1866 году, только объ немъ и говорили охотники до чтенія, говорили, обыкновенно жалуясь на подавляющую силу романа, на тяжелое впечатлѣніе, отъ котораго люди съ здоровыми нервами почти заболѣвали, а люди съ слабыми нервами принуждены были оставлять чтеніе. Но всего поразительнѣе было случившееся при этомъ совпаденіе романа съ дѣйствительностію. Въ то самое время, когда вышла книжка „Русскаго Вѣстника“ съ описаніемъ преступленія Раскольникова, въ газетахъ появилось извѣстіе о совершенно подобномъ преступленіи, происшедшемъ въ Москвѣ. Какой-то студентъ убилъ и ограбилъ ростовщика и, по всемъ признакамъ, сдѣлалъ это изъ

нигилистическаго убѣжденія, что дозволены всѣ средства, чтобы исправить неразумное положеніе дѣлъ. Убіиство было совершено, если не ошибаюсь, дня за два или за три до появленія „Преступленія и Наказанія“. Не знаю, были-ли поражены этимъ читатели, но Ф. М. очень это замѣтилъ, часто говорилъ объ этомъ и гордился такимъ подвигомъ художественной проницательности. Припоминаю я также, что покойный М. П. Покровскій, много лѣтъ спустя, рассказывалъ, какъ сильно подѣйствовалъ этотъ романъ на молодыхъ людей, бывшихъ въ ссылкѣ въ одномъ изъ городовъ Европейской Россіи. Нашелся даже юноша, который сталъ на сторону Раскольникова и нѣкоторое время носился съ мыслью совершить нѣчто подобное его преступленію, и лишь потомъ одумался. Такъ вѣрно была схвачена авторомъ эта логика людей, оторвавшихся отъ основъ и дерзко идущихъ противъ собственной совѣсти.

Успѣхъ былъ чрезвычайный, но не безъ сопротивленія. Въ началѣ 1867 года, я помѣстилъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ разборъ „Преступленія и Наказанія“, разборъ, писанный очень сдержаннымъ и сухимъ тономъ. Эта статья памятна мнѣ въ двухъ отношеніяхъ. Ф. М., прочитавши ее, сказалъ мнѣ очень лестное слово: „вы одни меня поняли“. Но редакция была недовольна и прямо меня упрекнула, что я расхвалилъ романъ *попрямельски*. Я же, напротивъ, былъ виноватъ именно въ томъ, что холодно и вяло говорилъ о такомъ поразительномъ литературномъ явленіи.

XVI.

ЖЕНИТЬБА.

Съ Анной Григорьевной Федоръ Михайловичъ познакомился по тому поводу, что вздумалъ прибѣгнуть къ стенографіи. Осенью 1866 года, ему нужно было къ сроку исполнить одно обязательство. Именно, — онъ продалъ Стелловскому право на изданіе своихъ сочиненій, съ условіемъ, что въ это изданіе войдетъ повѣсть нигдѣ не напечатанная. Срокъ доставки повѣсти былъ обозначенъ въ контрактѣ; Федоръ Михайловичъ началъ писать „Игрока“, но видя, что не успѣетъ, если будетъ писать обыкновеннымъ порядкомъ, пригласилъ къ себѣ стенографку; къ нему явилась незнакомая дѣвушка, — которой суждено было стать его женою. Въ послѣдствіи Анна Григорьевна постоянно продолжала ему помогать. Именно, когда у него были приготовлены черновые наброски со всевозможными поправками, помарками, вставками и т. д., онъ диктовалъ ей съ этихъ

набросковъ. Она записывала стенографически, а потомъ переписывала свою стенографію; получался четкій и отчетливый списокъ.

Подробности о дѣлахъ того времени, приведшихъ къ такому счастливому событію, сохранились въ одномъ письмѣ Федора Михайловича (къ Василю Ивановичу Губину, изъ Дрездена, отъ 8-го мая 1871 года), изъ котораго мы приведемъ здѣсь выдержки.

„Стелловскій купилъ у меня сочиненія лѣтомъ 1865 года, слѣдующимъ образомъ: я былъ въ обстоятельствахъ ужасныхъ. По смерти брата въ 1864 году, я взялъ многіе изъ его долговъ на себя, и 10,000 руб., собственныхъ денегъ (доставшихся мнѣ отъ тетки) употребилъ на продолженіе изданія „Эпохи“, братняго журнала, въ пользу его семейства, не имѣя въ этомъ журналѣ ни малѣйшей доли и даже не имѣя права поставить на оберткѣ мое имя, какъ редактора. Но журналъ лопнулъ, пришлось оставить. Затѣмъ, я продолжалъ платить долги брата и журнальные, чѣмъ могъ. Много я надавалъ векселей, между прочимъ (сейчасъ послѣ смерти брата) одному Д....у; этотъ Д....ъ пришелъ ко мнѣ и умолялъ переписать векселя брата (онъ доставлялъ брату бумагу) на мое имя и давалъ честное слово, что онъ будетъ ждать сколько угодно. Я сдуру переписалъ. Лѣтомъ 1865 года, меня начинаютъ преслѣдовать по векселямъ Д....а и еще какимъ-то (не помню). Съ другой стороны, служащій въ типографіи (тогда у Праца) Гавриловъ предъявилъ тоже свой вексель въ 1,000 рублей, который я ему выдалъ, нуждаясь въ деньгахъ по продолженію чужаго журнала. . . . И вотъ въ тоже самое время Стелловскій вдругъ присылаетъ съ предложеніемъ: не продамъ ли я ему сочиненія за три тысячи, съ написаніемъ особаго романа и проч. и проч.—то есть на самыхъ унижительныхъ условіяхъ. Подождать бы, такъ я бы взялъ съ книгопродавцевъ за право изданія по крайней мѣрѣ вдвое, а если бы подождать годъ, то конечно втрое, ибо черезъ годъ одно „Преступленіе и Наказаніе“ продано было вторымъ изданіемъ за 7,000 руб. долгу (все по журналу, — Базунову, Працу и одному бумажному поставщику). Такимъ образомъ, я на братинъ журналъ и на его долги истратилъ 22 или 24 тысячи, т. е. уплатилъ своими силами, и теперь еще на мнѣ долгу тысячъ до пяти. Стелловскій далъ мнѣ тогда 10 или 12 дней сроку думать. Это же былъ срокъ описи и ареста по долгамъ. Забудьте, что Д....нъ векселя предъявилъ нѣкто надворный совѣтникъ Б. (когда-то самъ пописывалъ, переводилъ Гёте; нынѣ же, кажется, мировымъ судьей на Васильевскомъ Островѣ. . . .). Въ эти десять дней я толкался вездѣ, чтобы достать денегъ для уплаты векселей, чтобы избавиться продавать сочиненія Стелловскому на такихъ

„ужасныхъ условіяхъ. Былъ и у Б. разъ 8 и никогда не заставлялъ „его дома. Наконецъ узналъ (отъ квартальнаго, съ которымъ сблизился „и котораго фамилію теперь забылъ), что Б. другъ Стелловскаго „давнишній, ходитъ по его дѣламъ и пр. Тогда я согласился и мы на- „писали этотъ контрактъ, копія котораго у васъ въ рукахъ. Я распла- „тился съ Д.....ъ, съ Гавриловымъ и съ другими, и съ оставшимися „35 полуимперіалами поѣхалъ за границу.

„Я воротился въ октябрѣ, съ начатымъ за границей романомъ „Пре- „ступленіе и Наказаніе“ и войдя въ сношеніе съ „Русскимъ Вѣстникомъ“, „отъ котораго и получилъ нѣсколько денегъ впередъ. По написаніи лѣ- „томъ контракта съ Стелловскимъ, я прямо сказалъ Стелловскому, что я „не успѣю написать ему романъ къ 1 ноября 1865 года. Онъ отвѣчалъ „мнѣ, что онъ и не претендуетъ, что онъ и издавать не думаетъ раньше „какъ черезъ годъ, но просилъ меня, чтобъ я къ 1 ноября 1866 года „былъ акуративѣе. Все это было на словахъ и между четырехъ глазъ, но „страшныя неустойки, если я манкирую къ 1 ноября 1866 года, остались „въ контрактѣ“.

Вотъ обстоятельства, по которымъ никакія отсрочки въ писаніи ро- мана оказывались невозможными и нужно было прибѣгнуть къ стеногра- фіи. Анну Григорьевну Сниткину рекомендовалъ Федору Михайловичу Павелъ Матвѣевичъ Ольхинъ, извѣстный преподаватель стенографіи. Онъ въ 1866 г. въ мартѣ мѣсяцѣ открылъ въ зданіи шестой гимназій курсъ стенографіи, на который сначала явилось множество желающихъ приоб- рѣсти средство къ независимому заработку, и въ числѣ ихъ Анна Гри- горьевна. Записалось сперва до 150 человѣкъ, но быстро стали отставать, такъ что къ маю осталась едва-ли половина начавшихъ курсъ, а въ сентябрѣ всѣхъ желавшихъ продолжать было не болѣе 12-ти. Самою успѣшною уче- ницею была Анна Григорьевна. Она незадолго передъ этими курсами кон- чила курсъ въ Маріинской гимназій и въ этомъ-же году (28 апрѣля) по- теряла отца; поэтому, занятія были для нея и средствомъ заглушить горе и надеждою на возможность что-нибудь зарабатывать.

На предложеніе П. М. Ольхина—взять работу у Федора Михайловича Анна Григорьевна согласилась съ радостью. Достоевскій былъ однимъ изъ любимыхъ писателей ея покойнаго отца,—да и вся семья читала его съ жадностію. У другихъ своихъ родственниковъ Анна Григорьевна даже получила названіе „Нечочки Незвановой“, на томъ основаніи, что при- ходила къ нимъ иногда незваная.

Повѣсть „Игрокъ“ была уже начата, но только начата Федоромъ Ми- хайловичемъ, и онъ сталъ диктовать Аннѣ Григорьевнѣ продолженіе.

Нужно было написать не менѣе 7 печатныхъ листовъ. Названіе было первоначально „Рулетенбургъ“, но потомъ, по просьбѣ Стелловскаго, переименовано на „Игрокъ“. Повѣсть эта появилась въ изданіи: „Собраніе Сочиненій Русскихъ Авторъ“, въ которое вошли сочиненія А. Ѳ. Писемскаго, В. Вл. Крестовскаго, гр. Л. Н. Толстаго и наконецъ Ѳ. М. Достоевскаго. Большіе томы въ два столбца.

Анна Григорьевна обыкновенно приходила къ Ѳедору Михайловичу около полудня, и они работали до 2-хъ или 3-хъ часовъ. Сначала Ѳедоръ Михайловичъ прочитывалъ то, что было имъ предметовано наканунѣ и теперь было принесено уже переписанное, а потомъ диктовалъ дальше. Такъ продолжалось съ 4-го по 30-е октября, когда повѣсть была кончена. Этому окончанію очень радовался Ѳедоръ Михайловичъ и даже затѣвалъ по этому поводу обѣдъ съ близкими пріятелями. 31-го октября онъ повезъ рукопись къ Стелловскому, но не засталъ его дома и даже не могъ узнать, гдѣ онъ находится. Тогда Ѳедоръ Михайловичъ поѣхалъ въ магазинъ Стелловскаго (на В. Морской) и хотѣлъ сдать рукопись подъ росписку приказчику, но тотъ отказался принять ее, говоря, что хозяинъ на это его не уполномочивалъ. Затрудненіе было не малое, и изъ него вывелъ Ѳедора Михайловича одинъ изъ знакомыхъ, посоветовавъ ему отвезти рукопись въ ту часть, гдѣ проживалъ Стелловскій, и вручить приставу подъ росписку для передачи Стелловскому. Такъ и сдѣлано было.

Свадьба Ѳедора Михайловича и Анны Григорьевны состоялась 15 февраля 1867 года.

Отъ этого брака было четверо дѣтей. Первымъ ребенкомъ была дочь, Софья, родившаяся въ Женевѣ 22 февраля 1868 и тамъ же скончавшаяся 12 мая того же года. Второе дитя, дочь Любовь, родилась въ Дрезденѣ 14 сентября 1869 г. Третье, сынъ Ѳедоръ, родился въ Петербургѣ 16 іюля 1871 года. Послѣдній ребенокъ, Алексѣй, родился въ Старой Руссѣ 12 августа 1875 года и умеръ въ Петербургѣ 16 мая 1878 года.

XVII.

Годы за границею.

Черезъ два мѣсяца послѣ свадьбы, именно 14-го апрѣля 1867 года, молодые уѣхали за границу, гдѣ имъ суждено было пробыть гораздо дольше, чѣмъ они предполагали и желали. Они вернулись въ Петербургъ только 8-го іюля 1871 года, слѣдовательно, провели внѣ Россіи *четыре* года съ большимъ лишкомъ. За это время у меня не можетъ быть ника-

нихъ воспоминаній, кромя заочныхъ. Но зато къ этому времени относятся два длинные ряда писемъ, одинъ къ А. Н. Майкову, другой ко мнѣ. Читатель найдетъ эти письма въ приложеніи и изъ нихъ всего лучше можетъ познакомиться со многими чертами и внѣшней и внутренней жизни Федора Михайловича.

Скажу нѣсколько словъ вообще объ этихъ письмахъ. Въ нихъ постоянно слышится чистота намѣреній, искренность, прямота. Не забудемъ, что авторъ ихъ былъ человѣкъ, въ которомъ непрерывно совершались очень сильныя и сложныя душевныя движенія; но изъ писемъ ясно, что онъ легко становился выше этихъ движеній и съ этой высоты умѣлъ судить свои дѣла и отношенія, себя и другихъ, судить безпристрастнымъ, великодушнымъ судомъ. Онъ разсказываетъ свои слабости и затрудненія, онъ волнуется и проситъ, жалуется и кается, но вездѣ видно, что онъ никогда не теряетъ совершенно ни твердости, ни правильного взгляда на обстоятельства и людей.

Письма эти составляли большую отраду тѣхъ, къ кому они были писаны. Скажу, по крайней мѣрѣ, про себя, что чѣмъ далѣе шло время, тѣмъ наши заочныя отношенія становились все лучше и теплѣе, тѣмъ оживленнѣе шла переписка. Всякія мелочи, случайности, постороннія чувства отбрасываются въ сторону, когда мы обращаемся къ отсутствующему, и потому тутъ люди сближаются лучшими своими сторонами, и сближаются иногда тѣснѣе, чѣмъ при свиданіяхъ и разговорахъ. Но, кромя того, я совершенно убѣжденъ, что эти четыре съ лишнимъ года, проведенныя Федоромъ Михайловичемъ за границею, были лучшимъ временемъ его жизни, т. е. такимъ, которое принесло ему всего больше глубокихъ и чистыхъ мыслей и чувствъ. Онъ очень усиленно работалъ и часто нуждался; но онъ имѣлъ покой и радость счастливой семейной жизни, и почти все время жилъ въ совершенномъ уединеніи, то есть вдали отъ всякихъ значительныхъ поводовъ оставлять прямой путь развитія своихъ мыслей и глубокой душевной работы. Рожденіе дѣтей, забота объ нихъ, участіе одного супруга въ страданіяхъ другаго, даже самая смерть перваго ребенка,—все это чистыя, иногда высокія впечатлѣнія. Нѣтъ сомнѣнія, что именно за границей, при этой обстановкѣ и этихъ долгихъ и спокойныхъ размышленіяхъ, въ немъ совершилось особенное раскрытіе того христіанскаго духа, который всегда жилъ въ немъ. Въ его письмахъ подъ конецъ вдругъ раздались звуки этой струны; она стала звучать въ немъ такъ сильно, что онъ не могъ оставлять эти звуки для себя одного, какъ это дѣлалъ прежде. Объ этой существенной пережвѣи однако-же, письма, не даютъ полнаго понятія. Но она очень ясно обнаружилась для всѣхъ знакомыхъ, когда

Федоръ Михайловичъ вернулся изъ заграницы. Онъ сталъ безпрестанно сводить разговоръ на релігіозныя темы. Мало того; онъ пережился въ обращеніи, получившемъ большую мягкость и впадавшемъ иногда въ полную кротость. Даже черты лица его носили слѣды этого настроенія и на губахъ появлялась нѣжная улыбка. Помню маленькую сцену въ Славянскомъ Комитетѣ. Мы входили вмѣстѣ и съ нами поздоровался И. И. Петровъ. „Кто это?“ спросилъ меня Федоръ Михайловичъ, или незнавшій его, или забывшій, какъ онъ безпрестанно забывалъ людей, съ которыми даже часто встрѣчался. Я сказалъ ему и прибавилъ: „какой чудесный, чудеснѣйшій человѣкъ!“ Глаза Федора Михайловича ласково заблестѣли, онъ съ большою любовью поглядѣлъ на другихъ присутствовавшихъ и потихоньку сказалъ мнѣ: „да всѣ люди — существа прекрасныя!“ Искренность и теплота такъ и свѣтились въ немъ при этихъ словахъ.

Лучшія христіанскія чувства, очевидно, жили въ немъ, тѣ чувства, которыя все чаще и яснѣе выражались и въ его сочиненіяхъ. Такимъ онъ вернулся изъ заграницы.

Указавши общій характеръ этого заграничнаго житія и его внутреннее значеніе, приведу теперь внѣшнія обстоятельства и подробности, чтобы читатель имѣлъ руководящую нить при чтеніи писемъ.

Въ 1867 году (14 апрѣля), выѣхавши за границу, Достоевскіе черезъ Берлинъ проѣхали въ Дрезденъ и пробыли здѣсь два мѣсяца. Федоръ Михайловичъ принялся тутъ за статью „Мои воспоминанія о Бѣлинскомъ“. Эта статья по условію готовилась имъ для литературнаго сборника „Чаша“, который затѣянъ былъ въ Москвѣ покойнымъ К. И. Бабиковымъ, однимъ изъ молодыхъ сотрудниковъ „Времени“ и „Эпохи“, авторомъ романа „Глухая Улица“ и другихъ произведеній, имѣвшихъ нѣкоторый успѣхъ и выполнѣ его стоявшихъ. Статья эта была кончена только въ Женевѣ, уже въ половинѣ сентября, была отослана А. Н. Майкову, имъ передана А. Ө. Базунову и затѣмъ пропала безъ вѣсти, какъ и другія статьи, приготовленныя для „Чаши“. Этому сборнику не суждено было явиться въ свѣтъ.

Въ Дрезденѣ Анна Григорьевна принялась усердно изучать „Галерею“. Федоръ Михайловичъ также любилъ ходить туда, но останавливался преимущественно на своихъ любимыхъ картинахъ. Это были: „Сикстинская Мадонна“, „Ночь“ Корреджіо, „Христосъ съ монетой“ Тиціана, „Голова Христа“ Аннибала Караччи и „Abendlandschaft“ Клодъ Лоррена. О послѣдней картинѣ съ большимъ одушевленіемъ говорится въ „Подросткѣ“. Кроме того, онъ любилъ картины Рюисдала, особенно его „Охоту“.

Въ половинѣ іюня 1867 года Достоевскіе выѣхали изъ Дрездена въ Швейцарію, по дорогѣ остановились въ Баденъ-Баденъ и вынужденн были прожить здѣсь полтора мѣсяца. Фѣдоръ Михайловичъ увлекся рулеткою, сперва выигралъ, потомъ проигрался, и только благодаря деньгамъ, полученнымъ отъ М. Н. Каткова, могъ выѣхать изъ Баденъ-Бадена. Въ Женеву они пріѣхали съ 30-ю франками; но душевное настроеніе Фѣдора Михайловича сейчасъ-же поправилось, когда онъ избавился, наконецъ, отъ душившаго его два мѣсяца кошмара—мечты выиграть на рулеткѣ.

Въ Женевѣ проведена была зима 1867—68 года. Фѣдоръ Михайловичъ писалъ въ это время „Идіота“, который сталъ появляться въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ съ января 1868 г. Жизнь Достоевскіе вели уединенную и однообразную. Фѣдоръ Михайловичъ вставалъ въ 11 или 12 часовъ, пилъ кофе, садился за работу и работалъ до 3-хъ; потомъ со своей черновой диктовалъ Аннѣ Григорьевнѣ. Въ четыре часа они шли обѣдать въ какой нибудь ресторанъ; послѣ обѣда Фѣдоръ Михайловичъ шелъ читать русскія газеты. Вечеромъ передъ чаемъ шли гулять; потомъ въ 10 часовъ Фѣдоръ Михайловичъ снова садился за работу и занимался до 4 или 5 часовъ утра.

Знакомыхъ въ Женевѣ не было никого, кромѣ Огарева, который иногда заходилъ и даже выручалъ Достоевскихъ въ случаѣ крайней нужды, давая въ займы пять или десять франковъ. Рожденіе дочери (22 февраля 1868) было большимъ счастьемъ для обоихъ супруговъ и очень оживило Фѣдора Михайловича. Всѣ свободныя минуты онъ проводилъ у ея колясочки и радовался каждому ея движенію. Но это продолжалось менѣе трехъ мѣсяцевъ. Смерть ея была страшнымъ и неожиданнымъ ударомъ. Фѣдоръ Михайловичъ всю жизнь не могъ забыть свою первую дѣвочку и всегда вспоминалъ о ней съ сердечной болью. Въ одну изъ своихъ поѣздокъ въ Эмсъ онъ нарочно съѣздили въ Женеву, чтобы побывать на ея могилѣ.

Въ Женевѣ, кромѣ того, что все напоминало Достоевскимъ объ ихъ потерѣ, было вообще неудобно и неприятно. Въ концѣ мая 1868 года имъ удалось, наконецъ, изъ нея выбраться, и они поселились въ Vevey, на Женевскомъ озерѣ, и тутъ провели лѣто. Въ началѣ сентября переебрались черезъ Сижплонъ въ Италію, пробили два мѣсяца въ Миланѣ и поселились на зиму (1868—69) во Флоренціи. Все это время продолжалось писаніе „Идіота“, окончаніе котораго появилось отдѣльнымъ приложеніемъ къ „Русскому Вѣстнику“ 1869 (къ январской или февральской книжкѣ).

Жизнь во Флоренціи была такъ же однообразна, какъ въ Женевѣ. Но

здѣсь были знаменитыя галереи, и не только Анна Григорьевна, но и Ѳедоръ Михайловичъ часто посѣщали Uffizi и Palazzo Pitti. Любимыя его картины были: „Madonna della sedia“ и „Іоаннъ Креститель“ Рафаэля. Посѣщались также, разумѣется всегда вдвоёмъ, различныя церкви и монастыри. Ѳедоръ Михайловичъ особенно восхищался колокольнею (campanile) собора Maria del Fiore, а также удивительными дверями Battisterio, porta Ghiberti. Восхищеніе его доходило до того, что онъ не разъ мечталъ, какъ хорошо-бы имѣть столько денегъ, чтобы купить фотографію этихъ дверей въ натуральную величину.

Во Флоренціи была читальня, гдѣ получались и русскіе газеты и журналы. Кромѣ того, Ѳедоръ Михайловичъ перечитывалъ здѣсь писателей сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, особенно Бальзака и Жоржа Занда. Знакомыхъ и во Флоренціи никого не было, такъ что въ теченіе десяти мѣсяцевъ жить въ Италіи Достоевскимъ не пришлось ни разу говорить съ кѣмъ-нибудь по-русски. Ѳедоръ Михайловичъ всегда впрочемъ съ чрезвычайной симпатіей относился къ итальянцамъ, находилъ ихъ простыми и добродушными, а людей изъ простаго народа похожими на русскихъ мужиковъ и бабъ.

Иногда Достоевскіе ходили и въ театръ, но очень рѣдко, такъ какъ постоянно нуждались въ деньгахъ.

Въ іюль 1869 г., они оставили Флоренцію и черезъ Венецію, Триестъ, Вѣну и Прагу вернулись въ Дрезденъ.

Венеція произвела на Ѳедора Михайловича чарующее впечатлѣніе; часто онъ говорилъ потомъ, какъ о любимой мечтѣ, о желаніи поѣхать опять въ Венецію, а потомъ на востокъ, въ Константинополь и Іерусалимъ.

Сначала рѣшено было поселиться въ Прагѣ; Ѳедоръ Михайловичъ очень интересовался тогда славянами и хотѣлъ познакомиться съ Ригромъ и Палацкимъ. По несчастію, въ Прагѣ невозможно было найти меблированной квартиры, а покупать мебель было не на что. Пришлось поселиться въ Дрезденѣ. Здѣсь 14 сентября родилась вторая дочь и наполнила жизнь скитающихся супруговъ новыми заботами и радостями. Ѳедоръ Михайловичъ былъ очень счастливъ, что родилась дѣвочка, какъ онъ этого постоянно желалъ послѣ смерти первой дочери. Онъ былъ занятъ новымъ дитятемъ безпрестанно, и первый вопросъ его по пробужденіи былъ: „что Лиля“? Онъ угадывалъ и исполнялъ всѣ ея малѣйшія желанія.

Въ концѣ 1869 г., писалась повѣсть „Вѣчный Мужъ“, а весь 1870 г. романъ „Бѣсы“, который „Русскій Вѣстникъ“ сталъ печатать съ начала 1871 года.

Знакомыхъ и въ Дрезденѣ было очень мало; Ѳедоръ Михайловичъ

вообще не любилъ сближаться съ русскими за границею. Газеты читались по прежнему; Федоръ Михайловичъ, какъ и вся Россія, живо интересовался военными дѣйствіями во время франко-прусской войны и приходилъ въ отчаяніе отъ пораженія французовъ, на сторонѣ которыхъ были всѣ его симпатіи.

Федоръ Михайловичъ во все время пребыванія за границею получалъ „Русскій Вѣстникъ“, а съ 1869 года и „Зарю“. Но кромѣ того онъ читалъ и другія русскія книги. Нѣкоторыя были взяты имъ съ собою, напр. „Странствія Инока Пареевнѣ“, „Сочиненія Бѣлинскаго“, „Исторія Россіи Соловьева“; другія онъ выписывалъ, напр., „Войну и Миръ“ Л. Н. Толстаго. Но постояннымъ чтеніемъ его было Евангеліе; онъ читалъ его по той самой книгѣ, которую имѣлъ въ каторгѣ и съ которою никогда не разставался.

Въ Дрезденѣ пришлось пробыть почти два года и, по свидѣтельству Анны Григорьевны, которой мы обязаны многими изъ предъидущихъ подробностей, житье за границею стало особенно тяжело въ эти годы для Федора Михайловича. Онъ все больше тяготился мыслью, что отсталъ отъ Россіи, не знаетъ ея. Въ своихъ письмахъ онъ часто выражаетъ эту мысль и тоску по Россіи. Но воротиться было трудно, потому что нужно было сразу имѣть порядочныя деньги; приходилось бы не только расплатиться на мѣстѣ, не только обзаводиться въ Петербургѣ, но и платить по векселямъ и долгамъ, оставшимся отъ „Эпохи“. Долго Достоевскіе поджидали благопріятныхъ обстоятельствъ; но собрать сколько нибудь денегъ имъ не удавалось. Не смотря на чрезвычайно скромную жизнь, всѣ получавшіяся деньги уходили; значительная часть ихъ шла на поддержку вдовы покойнаго брата, а также пасынка, кромѣ того на уплату процентовъ за заложенныя при отъѣздѣ вещи (которыя въ концѣ концовъ все-таки пропали). Не видя выхода изъ этихъ затруднительныхъ обстоятельствъ и въ то же время чувствуя, что имъ стало совершенно невыносимо долѣ оставаться за границею, Достоевскіе рѣшились наконецъ принять всѣ тяжелыя послѣдствія своего пріѣзда и вернулись въ Петербургъ 8-го іюля 1871 г. Здѣсь 16-го іюля у нихъ родился первый ихъ сынъ, Федоръ.

XVIII.

Жизнь въ Петербургѣ.

Послѣднее десятилѣтіе своей жизни Федоръ Михайловичъ провелъ въ Петербургѣ, дѣлая конечно нѣкоторыя поѣздки, особенно лѣтомъ.

Характеръ этого періода—болѣе и болѣе порядка и опредѣленности всѣхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, отсутствіе всякихъ передрагъ и переворотовъ, лучшее и лучшее денежное положеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ, все шире и шире развертывающаяся дѣятельность и все быстрѣе и быстрѣе возрастающая популярность.

Особенные эпизоды этого періода составляютъ редактированіе „Гражданина“ въ 1873 году и изданіе „Дневника Писателя“ въ 1876 и 1877 годахъ.

Редакція „Гражданина“ была предложена Федору Михайловичу княземъ Вл. П. Мещерскимъ, который, познакомившись съ Федоромъ Михайловичемъ, почувствовалъ къ нему чрезвычайное расположеніе, охотно и искренно поддавался его вліянію. За редактированіе Федоръ Михайловичъ получалъ 250 р. въ мѣсяцъ, сверхъ платы за статьи. Читатели, которые вздумаютъ перечестъ „Гражданинъ“ за этотъ годъ, тотчасъ увидятъ, какъ много старанія и труда положено было на журналъ его редакторомъ. Заботливость была величайшая. Съ своей стороны, не смотря на нѣсколько охладившіяся отношенія, я считалъ долгомъ усердно писать тогда въ „Гражданинъ“, въ которомъ впрочемъ былъ сотрудникомъ съ самаго его начала; только въ первыхъ мѣсяцахъ 1873 года мнѣ не пришлось участвовать въ журналѣ, потому что меня не было въ Петербургѣ. Около Святой, мнѣ помнится, произошла въ кружкѣ „Гражданина“ большая тревога; говорили, что изданіе невозможно продолжать и Федоръ Михайловичъ былъ нѣкоторое время въ большемъ безпокойствѣ. Но все кончилось благополучно, и журналъ до конца года издавался подъ тою же редакціею и съ тою же заботливостію. Не могу ничего сказать о томъ, какой успѣхъ имѣлъ „Гражданинъ“ въ этомъ году и по какимъ поводамъ и соображеніямъ Федоръ Михайловичъ отказался потомъ отъ его редакціи.

„Дневникъ Писателя“, который сталъ выходить съ 1876 года, имѣлъ величайшій успѣхъ и былъ истинно счастливою мыслію, вполне соответствовалъ потребностямъ и приѣмамъ писанія Федора Михайловича. Это былъ собственно рядъ фельетоновъ, касавшихся всевозможныхъ предметовъ, но преимущественно посвященныхъ общественнымъ вопросамъ и литературѣ. Достоевскій получалъ такимъ образомъ возможность высказывать въ совершенно вольной формѣ тѣ мысли, которыя постоянно въ немъ кипѣли и были возбуждаемы его всегдашнимъ пристальнымъ вниманіемъ къ совершающейся вокругъ него жизни. Тонъ этихъ фельетоновъ былъ необыкновенно живой и горячій, но подъ ихъ волненіемъ слышалась полная твердость убѣжденій и взглядовъ. Федоръ Михайловичъ говорилъ здѣсь съ

авторитетомъ, и его рѣчи иногда достигали удивительнаго мастерства, соединяя серьезность съ шутовствомъ, важность мысли съ простотою и легкостію болтовни. Нигдѣ, мнѣ кажется, душевная бодрость и энергія Достоевскаго не выражается такъ ясно, какъ въ „Дневникѣ“.

При этихъ общихъ достоинствахъ, читатели были еще поражаемы и увлекаемы особымъ направленіемъ изданія. Это направленіе рѣзко противорѣчило ходячимъ вкусамъ и мнѣніямъ петербургской публики, было очевиднымъ протестомъ противъ господствующихъ умственныхъ теченій. Можно себѣ представить, какъ такое изданіе должно было обрадовать всѣхъ тѣхъ, кто негодовалъ на господствующее направленіе и нигдѣ не находилъ въ литературѣ выраженія своего протеста и своихъ любимыхъ мыслей. Такихъ людей много у насъ и они принадлежатъ къ тѣмъ, которые очень рѣдко расположены сами нускаться въ литературу.

Успѣхъ „Дневника“ былъ чрезвычайный. Приведемъ цифры, которыя всего яснѣе укажутъ этотъ успѣхъ:

„Дневникъ Писателя“ на 1876 годъ имѣлъ 1,982 подписчика и кромѣ того въ розничной продажѣ каждый номеръ расходился въ 2,000—2,500 экземплярахъ. Нѣкоторые номера потребовали 2-го и даже 3-го изданія, напр. январскій.

Въ 1877 году было около 3,000 подписчиковъ и столько же расходилось въ розничной продажѣ.

Одинъ номеръ, выпущенный въ 1880 году (августъ) и содержавшій въ себѣ рѣчь о Пушкинѣ, былъ напечатанъ въ 4,000 экземплярахъ и разошелся въ нѣсколько дней. Было сдѣлано новое изданіе въ 2,000 экз. и разошлось безъ остатка.

„Дневникъ“ на 1881 г. печатался въ 8,000 экземплярахъ и имѣлъ въ январѣ, прежде выхода перваго номера, 1,074 подписчика. Всѣ 8,000 были распроданы въ дни выноса и погребенія. Сдѣлано было второе изданіе въ 6,000 экземплярахъ и разошлось безъ остатка.

За три года, когда былъ веденъ „Дневникъ“, за 1873 г. (въ „Гражданинѣ“) и за 1876 и 1877 гг. (въ особомъ изданіи), Достоевскій, можно сказать, самъ написалъ свою біографію, указавъ и объяснивъ то, чѣмъ онъ былъ занятъ, что думалъ и чувствовалъ въ каждый изъ двѣнадцати мѣсяцевъ этихъ трехъ годовъ. Тутъ выразилось главное содержаніе его жизни. Что же касается до внѣшнихъ обстоятельствъ и до событій чисто личной жизни, то мы постараемся дать здѣсь канву или рамку, которая вѣроятно еще долго можетъ наполняться воспоминаніями знавшихъ его лю-

дей, или вновь найденными письмами, записками и другими подобными матеріалами.

Всѣ зимы, кромѣ одной (1874—75 гг.) были проведены въ Петербургѣ. Первую зиму (1871—72 гг.) Фѳдоръ Михайловичъ квартировалъ въ Серпуховской улицѣ Семеновскаго полка, въ домѣ г-жи Архангельской. Въ 1872 году переѣхалъ во 2-ю роту Измайловскаго полка, въ д. Мебеса. Зимы 1873—74 гг. жилъ на Лиговкѣ, № 27, въ домѣ Сливчанскаго (тогда самоѳъ, гдѣ дѣлается это изданіе его сочиненій). Три года, съ сентября 1875 по май 1878 г., жилъ въ домѣ Струбинскаго, противъ Греческой церкви, и три послѣдніе года, 1878—1881, въ Кузнечномъ переулкѣ, д. № 5, тамъ, гдѣ умеръ.

Первое лѣто по возвращеніи изъ-за границы, лѣто 1872 года, Достоевскіе проводили въ Старой Руссѣ, и съ тѣхъ поръ не только стали проводить тамъ каждое лѣто, но въ 1874—75 годахъ прожили тамъ и всю зиму. Это была та зима, въ которую Фѳдоръ Михайловичъ писалъ „Подростка“. Когда дѣла поправились, Достоевскіе нашли удобнымъ даже купить себѣ въ Старой Руссѣ домъ, куда регулярно и переѣзжали вмѣсто дачи. Исключеніе составляетъ лѣто 1877 года, проведенное въ Курской губерніи, въ имѣніи Ивана Григорьевича Сниткина, брата Анны Григорьевны (Суджанскаго уѣзда, деревня Малый Приколъ). Домъ въ Старой Руссѣ былъ купленъ въ 1876 году, весной. При немъ есть старшій большой садъ и заплачено за все 1,150 рублей.

Оставляя въ сторонѣ переѣзды съ квартиры на квартиру, — дѣло общераспространенное въ Петербургѣ, мы видимъ, такимъ образомъ, что жизнь Фѳдора Михайловича принимала подъ конецъ полную правильность и опредѣленность, изъ скитальческой превратилась въ совершенно осѣдлую.

Былъ еще у Фѳдора Михайловича рядъ отлучекъ изъ дома, регулярно повторявшихся; это — его поѣздки въ Эмсъ для леченія, ради котораго онъ долженъ былъ покидать семью и навѣщать нежилую ему Европу. Такихъ поѣздокъ было пять, въ 1874, 1875, 1876, 1878 и 1879 годахъ. Вмѣстѣ съ поѣздомъ на это требовалось не менѣе семи недѣль и не болѣе двухъ мѣсяцевъ. Обыкновенно Фѳдоръ Михайловичъ уѣзжалъ въ началѣ іюля и возвращался къ концу августа. Сверхъ того, въ 1879 году, въ іюнѣ мѣсяцѣ была сдѣлана вмѣстѣ съ Вл. С. Соловьевымъ поѣздка въ Оптину Пустынь, гдѣ они оставались почти недѣлю. Отраженіе этой поѣздки читатели найдутъ въ описаніи монастыря въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“.

XIX.

Изданія. Доходы.

Весь этот порядок, правильный уходъ за своимъ здоровьемъ и свобода въ выборѣ мѣста и времени стали возможны только потому, что поправились дѣла. А поправились они всего больше потому, что Анна Григорьевна взяла на себя дѣлать новыя изданія прежнихъ сочиненій Федора Михайловича. Эти изданія, дѣлаемые на собственный счетъ и потому доставлявшія наибольшую выгоду самому автору, начались съ 1873 года и шли въ слѣдующемъ порядкѣ.

Въ 1873 г. 24-го января вышли „Бѣсы“ въ 3,500 экземплярахъ.

Въ 1874 г., 24-го января „Идіотъ“ въ 2,000 экз., а 21-го декабря 1875 г. „Записки изъ Мертваго Дома“ въ 2,000 экз.

Въ 1876 г. 18-го декабря „Преступленіе и Наказаніе“ въ 2,000 экз.

Въ 1879 г., 10-го ноября „Униженные и Оскорбленные“ въ 2,400 экземплярахъ.

Въ концѣ 1880 года „Братья Карамазовы“ въ 4,000 экземплярахъ.

Федоръ Михайловичъ необыкновенно радовался поправленію своихъ денежныхъ дѣлъ. Онъ истинно гордился не только успѣхомъ своихъ сочиненій, но и тѣмъ, что они даютъ ему хорошій доходъ, позволили ему расплатиться съ долгами и принесли ему достатокъ. Вспоминая о тѣхъ трудахъ, въ которыхъ онъ прожилъ свою жизнь, онъ иногда горько жаловался на свою судьбу и особенно мучился мыслью, что, если скоро умереть (а плохое здоровье часто наводило на эти мысли), то оставитъ семью въ бѣдности. Поэтому всякій успѣхъ въ денежныхъ дѣлахъ былъ ему истинною отрадою, давалъ ему надежду на лучшую судьбу дорогихъ ему существъ, утѣшалъ и оправдывалъ его въ собственныхъ его глазахъ. Въ одной изъ его записныхъ книгъ сохранился листокъ, на которомъ онъ тщательно подводилъ итогъ *чистаго дохода*, выручавшагося со всѣхъ его изданій. Вотъ эта записка:

въ 1877 г.

„Преступленіе и Наказаніе“ продано на	487 р. 12 к.
Переплетенныхъ экз. „Дневника“ 1876 г.	497 „ 80 „
„Бѣсы“, „Идіотъ“ „Записки изъ Мертваго Дома“	561 „ 63 „
Отъ 1876 года	+ (295) „ 40 „
Итого	1,841 р. 95 к.

въ 1878 г.

„Бѣсы“, „Идіотъ“ и „Записки изъ Мертваго Дома“	1,199	”	50	”
„Преступленіе и Наказаніе“	548	”	98	”
Переплетенныхъ экз. 1877 года	346	”	50	”
Переплетенныхъ экз. 1876 года	281	”	68	”
Итого.	2,376	р.	66	к.

въ 1879 г.

„Бѣсы“, „Идіотъ“ и „Записки изъ Мертваго Дома“	1,271	”	99	”
„Преступленіе и Наказаніе“	797	”	16	”
Переплетенныхъ „Дневника“ 1877 года	121	”	2	”
Переплетенныхъ „Дневника“ 1876 года	98	”	61	”
+ „Униженные и Оскорбленные“	227	”	24	”
Итого.	2,516	р.	2	к.

въ 1880 г.

„Бѣсы“, „Идіотъ“ и „Записки изъ Мертваго Дома“	1,287	”	20	”
„Преступленіе и Наказаніе“	933	”	99	”
„Дневникъ“ 1877 года	219	”	14	”
„Дневникъ“ 1876 года	247	”	6	”
Итого.	2,687	р.	39	к.
+ „Униженные и Оскорбленные“	548	”	51	”
+ „Дневникъ“ 1880 года	893	”	87	”
Итого.	4,129	р.	77	к.
„Бр. Карамазовы“	3,681	”	50	”
	7,811	р.	27	к.

Прибавимъ къ этому для полнаго понятія о дѣлахъ Федора Михайловича тѣ суммы, какія получались за новыя романы, печатавшіеся въ журналахъ. За „Подростка“, печатавшагося, въ „Отечественныхъ Запискахъ“, получалось по 250 р. съ печатнаго листа; за „Братьевъ Карамазовыхъ“ по 300 р.

Въ 1878 году, Федоръ Михайловичъ въ послѣдній разъ обращался

съ просьбой о деньгахъ къ редакціи „Русскаго Вѣстника“, такъ долго и радушно поддерживавшей своего сотрудника и большими и малыми ссудами. Послѣ 1878 года уже никакихъ займовъ не дѣлалось и началось собираніе небольшого капитала.

XX.

Пушкинскій праздникъ (1880).

Какъ свидѣтель торжества, которое выпало на долю Федора Михайловича на пушкинскомъ праздникѣ, той „пальмн первенства“, которую онъ получилъ на этомъ мирномъ состязаніи, постараюсь рассказать это событіе со всеми подробностями, какія успѣлъ замѣтить. Я не принималъ никакого дѣятельнаго участія въ этомъ чествованіи памяти Пушкина, былъ лишь простымъ зрителемъ, но оно глубоко меня интересовало; поэтому для меня была яснѣе, чѣмъ для многихъ другихъ, та внутренняя драма, которая разыгралась на этомъ праздникѣ и въ которой главная роль оказалась принадлежащею Федору Михайловичу.

Приготовиться къ празднику было довольно времени. Открытіе памятника назначено было на 26 мая, день рожденія Пушкина; но за нѣсколько дней до этого числа скончалась Государыня и торжество было отложено на двѣ недѣли глубокаго траура. Между тѣмъ многіе участники уже собрались въ Москвѣ и ожидали тутъ, когда дано будетъ разрѣшеніе. Въ числѣ ихъ былъ и Федоръ Михайловичъ, пріѣхавшій изъ Старой Руссы, гдѣ проводилъ лѣто со своею семьей. Онъ явился на праздникъ въ офиціальномъ званіи депутата отъ славянскаго благотворительнаго общества. Другимъ депутатомъ былъ И. О. Золотаревъ. Я пріѣхалъ наканунѣ самаго открытія и только потомъ узналъ, что во время этого ожиданія въ Москвѣ почитатели Федора Михайловича давали ему обѣдъ, но не имѣлъ никакого понятія о томъ, что тамъ говорилось и дѣлалось *).

*) Вотъ подробности, извлеченныя изъ писемъ Федора Михайловича къ Аннѣ Григорьевнѣ. Федоръ Михайловичъ пріѣхалъ въ Москву 23 мая въ 10 ч. вечера и дорогой узналъ о смерти Государыни. Въ вокзалѣ ждали его: Юрьевъ, Лавровъ, Н. Аксаковъ, Барсовъ и человекъ 10 другихъ сотрудниковъ „Русской Мысли“. Звали на ужинъ, онъ отказался; остановился въ „Лоскутной гостинницѣ“, гдѣ, какъ потомъ оказалось, назначено было бесплатное помѣщеніе для депутатовъ. 25-го мая Федора Михайловича пригласили обѣдать въ „Эрмитажъ“. На обѣдѣ было 22 человекъ, именно С. А. Юрьевъ, В. М. Лавровъ, И. С. Аксаковъ, Н. Аксаковъ, Н. А. Рубинштейнъ, директоръ гимназій Поливановъ, нѣсколько человекъ профессоровъ и т. д. Гостю было сказано шесть рѣчей, нѣкоторыя довольно длинныя. Говорили—С. А. Юрьевъ, оба Аксаковы, три профессора, Н. Рубинштейнъ. Тема была—ве-

Собираясь на праздникъ, откровенно признаюсь, я не ожидалъ ничего особенно хорошаго. Мнѣ живо представлялось, что долженъ произойти большой шумъ и восторгъ, то явленіе, которое Федоръ Михайловичъ такъ хорошо называлъ — „увнзжаться отъ восторга“. Но легко могло случиться, что изъ этого воодушевленія ничего не выйдетъ. Мы чрезвычайно легко приходимъ въ энтузіазмъ, и нельзя не любить всею душою этой благородной способности, въ основѣ которой, можетъ быть, у насъ лежатъ очень высокіе задатки. Но этотъ энтузіазмъ, иногда вспыхивающій такимъ чистымъ пламенемъ, обыкновенно гаснетъ безъ слѣда; въ большинствѣ случаевъ это энтузіазмъ бесплодный, самъ собою питающійся и удовлетворяющійся, не поражающій ни твердыхъ и опредѣленныхъ убѣжденій, ни усердной и опредѣленной дѣятельности. Я предполагалъ, что, можетъ быть, мнѣ предстоитъ и теперь видѣть подобное зрѣлище. Но на этотъ разъ, къ счастью, я обманулся; рѣчь Федора Михайловича дала празднику нѣкоторое существенное содержаніе, и осталась послѣ него, какъ твердое и блестящее украшеніе, не улетѣвшее вмѣстѣ съ дымомъ и пламенемъ этого фейерверка.

6-го іюня всѣ мы съ 10 часовъ утра собрались въ Страстной монастырь слушать обѣдню и панихиду. Церковь наполнилась литераторами и вообще отборною интеллигенціею, которая сдержанно разговаривала подъ звуки сладкаго пѣнія. Служилъ митрополитъ Макарій; въ концѣ службы онъ говорилъ проповѣдь на ту простую тему, что нужно благодарить Бога, пославшаго намъ Пушкина, и нужно молиться Богу, чтобы онъ даровалъ намъ для всякихъ другихъ поприщъ подобныхъ сильныхъ дѣятелей. Проповѣдь показалась мнѣ нѣсколько холодною, и не было замѣтно, чтобы она произвела особенное впечатлѣніе. Первая минута восторга наступила, какъ мнѣ кажется, когда мы вышли на площадь, когда былъ сдернуть холстъ со статуи и мы, при звукахъ музыки, пошли власть свои вѣнки въ подножію памятника. Церемонія у памятника имѣла совершенно свѣтскій характеръ и состояла изъ этого положенія вѣнковъ и изъ чтенія бумаги, которою коммисія, сооружавшая памятникъ, передавала его въ собственность городу Москвѣ. Бумагу читалъ съ высокой эстрады Ѳ. П.

ликое значеніе гостя, какъ художника „всемирно-отзывчиваго“, какъ публициста и русскаго человѣка. Федоръ Михайловичъ отвѣчалъ рѣчью, которая была восторженно принята и въ которой онъ свелъ дѣло на Пушкина. За обѣдомъ получены были двѣ привѣтственные телеграммы, одна отъ профессора, выѣхавшаго внезапно изъ Москвы.

26-го мая Федоръ Михайловичъ былъ на званомъ вечерѣ и ужинѣ у В. М. Лаврова, который оказался страстнымъ поклонникомъ Федора Михайловича, многіе годы питающимся его сочиненіями.

Корниловъ. Почему-то нельзя было совершить окропленія памятника святою водою, какъ это принято при всякихъ сооружеиіяхъ.

Начиная съ этой короткой церемоніи, всѣми овладѣло радостное, праздничное настроеніе, непрерывавшееся цѣлыхъ три дня и ненарушенное никакимъ печальнымъ или досаднымъ случаемъ. Того, что называется скандаломъ, легко можно было ожидать; во первыхъ, легко могла обнаружиться вражда, которой всегда не мало бываетъ между литераторами; во вторыхъ, кто нибудь могъ соблазниться случаемъ и сказать рѣзкое слово противъ дѣлъ и лицъ, стоящихъ внѣ литературы. Литературныя несогласія, правда, успѣли таки сказаться и на этомъ праздникѣ. Въ самой Москвѣ обнаружилось у нѣкоторыхъ лицъ враждебное настроеніе къ „Московскимъ Вѣдомостямъ“ и заявило себя настолько, что редакция этой газеты положила не присутствовать на праздникѣ. Участіе ея, поэтому, ограничилось только рѣчью М. Н. Каткова на обѣдѣ, данномъ думою, рѣчью, послѣ которой, какъ рассказываютъ, одинъ изъ присутствовавшихъ тоже сдѣлалъ молчаливую попытку заявить свою вражду къ говорившему. Слѣдствіемъ такихъ отношеній было, что въ то время, какъ петербургскія газеты печатали множество телеграммъ и писемъ обо всемъ, что происходило на праздникѣ, „Московскія Вѣдомости“ не только не описывали его и не разсуждали объ немъ, но даже вовсе не помѣщали никакихъ объ немъ извѣстій.

Кромѣ этого прискорбнаго факта, нѣкоторые другія разногласія заявили себя развѣ тѣмъ, что на общее торжество литературы не явились иные писатели; затѣмъ все остальное прошло совершенно благополучно. Могу свидѣтельствовать, что въ продолженіи трехъ дней, когда я слушалъ съ утра до вечера, не было сказано ни одного слова дѣйствительно враждебнаго; напротивъ были примѣры дружелюбныхъ отношеній, завязавшихся между враждовавшими. Вотъ одно изъ чудесъ, которыя совершило воспоминаніе о Пушкинѣ. Общее впечатлѣніе праздника было чрезвычайно увлекающее и радостное. Многие говорили мнѣ, что были минуты, когда они едва удерживали, или даже не успѣвали удержать слезы. Эта радость все росла и росла, не возмущаемая ни однимъ печальнымъ или досаднымъ обстоятельствомъ, и только на третій день достигла наибольшаго напряженія, совершеннаго восторга.

„Ну, что-то будетъ сказано объ Пушкинѣ?“ думалъ я, когда ѣхалъ на праздникъ; и праздникъ самъ собою все больше и больше направлялся на этотъ вопросъ, все сильнѣе устремлялся къ единой мысли—воздать нашему великому поэту самую высокую и самую справедливую похвалу. Это была цѣль мирнаго состязанія и соперники, наконецъ, дѣйствительно

все забыли, кромѣ этой цѣли. Участниками были люди самыхъ различныхъ направленій и кружковъ; тутъ были не только ученые и писатели, но и депутаты отъ всякаго рода нашихъ государственныхъ и частныхъ учрежденій; присланъ былъ депутатъ отъ французскаго министерства просвѣщенія; тутъ читались телеграммы и письма отъ иностранныхъ учрежденій и писателей; особенно важны были телеграммы и привѣтствія отъ чеховъ, поляковъ и отъ другихъ славянскихъ земель, привѣтствія, искренность и теплота которыхъ была невольна замѣчена. Но все это была только обстановка; главная роль, существенное значеніе, очевидно, принадлежали нашимъ ученымъ и литераторамъ; имъ предстояла трудная и важная задача — растолковать духъ и величіе Пушкина.

Первый день состоялъ изъ торжественнаго засѣданія въ университетѣ и изъ обѣда, который московская дума давала депутатамъ. Отъ памятника всѣ отправились въ университетъ. Здѣсь академики и профессора читали свои статьи; въ этихъ статьяхъ были интересные факты, точныя подробности и вѣрныя замѣчанія, но вопросъ о Пушкинѣ не былъ поднимаемъ во всемъ своемъ объемѣ. Самою оживленною минутою засѣданія, конечно, была та, когда ректоръ провозгласилъ, что Тургеневъ избранъ почетнымъ членомъ университета. Тутъ раздались потрясающія, восторженные рукоплесканія, въ которыхъ всего больше усердствовали студенты. Сейчасъ-же почувствовалось, что большинство выбрало именно Тургенева тѣмъ пунктомъ, на который можно устремлять и изливать весь накопляющійся энтузіазмъ. Каждый разъ, когда и потомъ въ теченіе праздника произносилось это знаменитое имя, или упоминалось объ его произведеніяхъ, толпа отъликала рукоплесканіями. Тургенева вообще чествовали, какъ-бы признавая его главнымъ представителемъ нашей литературы, даже какъ-бы прямымъ и достойнымъ наследникомъ Пушкина. И такъ какъ Тургеневъ былъ на праздникъ самымъ виднымъ представителемъ западничества, то можно было думать, что этому литературному направленію достанется главная роль и побѣда въ предстоявшемъ умственномъ турнирѣ. Извѣстно было, что Тургеневъ приготовилъ рѣчь, и, какъ рассказывали, нарочно ѣздилъ въ свое помѣстье, чтобы на свободѣ обдумать и написать ее.

За университетскимъ засѣданіемъ слѣдовалъ думскій обѣдъ въ залахъ Дворянскаго Собранія, тѣхъ залахъ, которыя съ этой минуты и до конца, были мѣстомъ праздника, такъ какъ въ нихъ происходили и публичныя засѣданія Общества Любителей Русской Словесности (утромъ 7 и 8 іюня) и литературно-драматическіе вечера. Никакого уличнаго торжества нельзя было устроить вслѣдствіе траура по императрицѣ, и потому среди

будничной Москвы празднованіе шло только въ этихъ залахъ, гдѣ три дня съ утра до вечера толпился народъ и раздавались взрывы рукоплесканій. Думскій обѣдъ былъ по всему истинно великолѣпнѣе; а особенно пріятно вспомнить, что самъ Н. Г. Рубинштейнъ дирижировалъ оркестромъ, такъ что увертюра изъ „Руслана“ была исполнена вполне художественно (дѣло рѣдкое). За обѣдомъ были произнесены небольшія рѣчи пресвященнымъ Амвросіемъ, М. Н. Катковымъ, И. С. Аксаковымъ и читалъ свои стихи А. Н. Майковъ. Все было въ мѣсту и содержало прекрасныя мысли, но еще не захватывало всего предмета, т. е. значенія Пушкина. Больше всего мое вниманіе было поражено рѣчью Аксакова. Какъ представитель славянофильства, онъ сдѣлалъ, какъ мнѣ казалось, важный шагъ, признавъ, въ короткихъ, но ясныхъ и торжественныхъ словахъ, за Пушкинныя значеніе „перваго истинно-русскаго, истинно-великаго народнаго поэта“. Мнѣ припомнились знаки нѣкоторой холодности, обнаруженной въ Пушкину прежними славянофилами; известно, что они истинно-народнаго поэта готовы были видѣть лишь въ Гоголѣ, съ такою рѣзкостью показавшемъ полную оригинальность въ творествѣ. Теперь же, какъ то и указывалъ самъ Аксаковъ, этимъ торжествомъ, принявшимъ неожиданно огромныя размѣры, „всевластно объявилось дѣйствительное, доселѣ, можетъ быть, многимъ сокрытое значеніе Пушкина для русскаго народа“. Эти мысли очень занимали меня, и я чувствовала большое любопытство къ рѣчи, которую Аксаковъ долженъ былъ говорить на другой день. Не могу однако же сказать, чтобы краткое заявленіе Аксакова многихъ поразило. Послѣ обѣда толки шли больше объ выходкѣ противъ Каткова, о рѣчи пресвященнаго Амвросія и т. д. Эту рѣчь по-немногу такъ переименовали, что, наконецъ, кто-то рассказывалъ, будто пресвященный назвалъ Тургенева *первымъ ничимствомъ*.

Прошу читателя извинить мнѣ эти подробности. Едва ли удастся мнѣ, но очень хотѣлось-бы изобразить то необыкновенное возбужденіе, которое овладѣло всѣми дѣятельными участниками торжества. Они волновались и напрягались, какъ борцы, которымъ предстоитъ побѣда или поражение. Рукоплесканія публики, смотрѣвшей на нихъ съ уваженіемъ и постоянно готовой къ восторгу, поддерживали ихъ оживленіе и силы. Мнѣ встрѣтились двѣ дамы, пріѣхавшія изъ Петербурга, большія поклонницы просвѣщенія и литературы; онѣ горько жаловались, что просто не узнаютъ знакомыхъ имъ литераторовъ: такъ они стали надменны и заняты лишь собою, своимъ участіемъ въ праздникѣ.

Настоящее состязаніе и дѣйствительная литературная оцѣнка Пушкина должна была начаться 7 іюня, въ первомъ публичномъ засѣданіи нашего

„Общества“. Въ этотъ день, среди другихъ рѣчей, долженъ былъ читать свою рѣчь Тургеневъ, а потомъ Аксаковъ, т. е. оба представителя противоположныхъ направленій. Но такъ какъ засѣданіе затянулось за множествомъ рѣчей, стиховъ, вызывовъ и т. д., то успѣлъ читать одинъ Тургеневъ. Его рѣчь, разумѣется, была встрѣчена и провозжена громкими, восторженными рывоплесканіями. Но между литераторами поднялись оживленные толки о мысляхъ, высказанныхъ въ этой рѣчи, и обнаружилось даже прямое желаніе какъ нибудь возразить на нее и дополнить ее. Иначе и не могло быть въ „Обществѣ“, заключавшемъ въ себѣ такъ много славнофильствующихъ писателей. Главный пунктъ, на которомъ остановилось общее вниманіе, состоялъ въ опредѣленіи той *ступени*, на которую Тургеневъ ставилъ Пушкина. Онъ признавалъ его вполнѣ-народнымъ, т. е. самостоятельнымъ поэтомъ. Но онъ ставилъ еще другой вопросъ: есть-ли Пушкинъ поэтъ *національный*? Національнымъ, по мнѣнію оратора, можетъ быть названъ только поэтъ великій и всемірный; потому что, если поэтъ вполнѣ выражаетъ духъ своей націи, то онъ тѣмъ самымъ есть великій поэтъ, а потому и всемірный поэтъ, вносящій свой вкладъ въ сокровищницу человѣчества. Такъ поставилъ ораторъ вопросъ, но поставилъ только затѣмъ, чтобы отказать отвѣчать на него. „Я не утверждаю“, сказалъ онъ, „такого значенія Пушкина, но и не осмѣливаюсь отрицать его“. Эти слова возбудили большіе толки; нѣкоторые изъ сочленовъ собирались даже обратиться къ Тургеневу съ вопросомъ о причинахъ его нерѣшительности; потому что въ своей рѣчи онъ ничего не сказалъ ни о томъ, почему не рѣшается утверждать, ни о томъ, почему не осмѣливается отрицать національное значеніе Пушкина. Много говорили такъ же о тѣхъ разсужденіяхъ Тургенева, въ которыхъ онъ старался показать историческую необходимость порицаній и глумленій надъ Пушкинымъ, долго происходившихъ въ нашей литературѣ и едва недавно затихшихъ. Ораторъ упоминалъ также, что *муза мести и печали* пѣла свои права на вниманіе и естественно отвлекла умы отъ великаго поэта.

Все это, и другое подобное, было инымъ не совсѣмъ по душѣ. Въ группѣ дѣятельныхъ участниковъ торжества пронеслось чувство нѣкоторой неудовлетворенности, неясной досады. Одни критически разбирали слова Тургенева; другіе, которымъ самимъ приходилось читать на слѣдующій день, надѣялись выразить мысли, ниспровергающія тургеневскіе взгляды; кто-то успѣлъ написать даже насмѣшливые стихи—конечно, не для публичнаго чтенія. Но то, что случилось на другой день, превзошло всѣ ожиданія и разсчеты. По порядку слѣдовало-бы читать сперва Аксакову и потомъ Достоевскому; но, не знаю по какой причинѣ, рѣшено было, что

Достоевскій будетъ читать въ первую половину засѣданія, а Аксаковъ во вторую (эти половины раздѣлялись маленькимъ антрактомъ); эта перемѣна порядка оказалась важнѣе, чѣмъ сперва думали сами ораторы. Какъ только началъ говорить Федоръ Михайловичъ, зала встрепенулась и затихла. Хотя онъ читалъ по писанному, но это было не чтеніе, а живая рѣчь, прямо, искренно выходящая изъ души. Всѣ стали слушать такъ, какъ будто до тѣхъ поръ никто и ничего не говорилъ о Пушкинѣ. То одушевленіе и естественность, которыми отличается слогъ Федора Михайловича, вполне передавались и его мастерскимъ чтеніемъ. Не говорю ничего о содержаніи рѣчи, но, разумѣется, оно давало главную силу этому чтенію. До сихъ поръ слышу, какъ надъ огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голосъ: „Смирись, гордый человѣкъ, потрудиись, праздный человѣкъ!“

Восторгъ, который разразился въ залѣ по окончаніи рѣчи, былъ неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не былъ его свидѣтелемъ. Толпа, давно зарядившаяся энтузіазмомъ и изливавшая его на все, что казалось для того удобнымъ, на каждую громкую фразу, на каждый звонко произнесенный стихъ, эта толпа вдругъ увидѣла человѣка, который самъ былъ весь полонъ энтузіазма, вдругъ услышала слово, уже несомнѣнно достойное восторга, и она захлебнулась отъ волненія, она ринулась всею душою въ восхищеніе и трепетъ. Мы тутъ же всѣ принялись цѣловать Федора Михайловича; нѣсколько человѣкъ, вопреки правиламъ, стали пробираться изъ залы на эстраду; какой-то юноша, какъ говорятъ, когда добрался до Федора Михайловича, упалъ въ обморокъ.

Восторгъ толпы заразителенъ. И на эстрадѣ и въ „комнатѣ для артистовъ“, куда мы ушли съ эстрады въ перерывъ засѣданія, всѣ были въ радостномъ волненіи и предавались похваламъ и восклицаніямъ. „Вы сказали рѣчь“, обратился Аксаковъ къ Достоевскому, „послѣ которой И. С. Тургеневъ, представитель западниковъ, и я, котораго считаютъ представителемъ славянофиловъ, одинаково должны выразить вамъ величайшее сочувствіе и благодарность“. Не помню другихъ подобныхъ заявленій; но живо осталось въ моей памяти, какъ П. В. Анненковъ, подошедши ко мнѣ, съ одушевленіемъ сказалъ: „вотъ что значитъ гениальная, художественная характеристика! Она разомъ порѣшила дѣло!“

Бстати, замѣчу здѣсь одинъ маленькій случай, очень характерный. Въ первой половинѣ своей рѣчи, говоря о Пушкинскій Татьянѣ, Федоръ Михайловичъ, сказалъ: „такой красоты положительный типъ русской женщины почти уже и не повторился въ нашей художественной литературѣ—кромя развѣ образа Лизы въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ Тургенева...“ При

имени Тургенева, зала, какъ всегда, загрохотала отъ рукоплесканій и заглушила голосъ Федора Михайловича. Мы слышали, какъ онъ продолжалъ: „...и Наташи въ „Войнѣ и Мирѣ“ Толстаго“. Но никто въ залѣ не могъ этого слышать, и онъ долженъ былъ остановиться, чтобъ переждать, пока утихнетъ вновь и вновь подымавшійся шумъ. Когда онъ сталъ продолжать рѣчь, онъ не повторилъ этихъ заглушенныхъ словъ, и потомъ выпустилъ ихъ въ печати, такъ какъ они дѣйствительно не были произнесены во всеуслышаніе. Такова была горячка этого засѣданія и такъ горячо шла внутренняя борьба въ публикѣ и въ представителяхъ литературы.

Приходилось затѣмъ еще говорить передъ публикой И. С. Аксакову. Его рѣчь должна была открыться вторая половина засѣданія. Онъ вышелъ и, какъ давнишній любимецъ Москвы, былъ встрѣченъ жаркими и долгими рукоплесканіями. Но вмѣсто того, чтобы начать рѣчь, онъ вдругъ объявилъ съ каеэдръ, что не будетъ говорить. „Я не могу говорить“, сказалъ онъ, „послѣ рѣчи Федора Михайловича Достоевскаго; все, что я написалъ, есть только слабая варіація на нѣкоторыя темы этой *гениальной* рѣчи“. Слова эти вызвали громъ рукоплесканій. „Я считаю“, продолжалъ Аксаковъ, „рѣчь Федора Михайловича Достоевскаго *событіемъ* въ нашей литературѣ. Вчера еще можно было толковать о томъ, великій-ли всемірный поэтъ Пушкинъ, или нѣтъ; сегодня этотъ вопросъ упрямъ; истинное значеніе Пушкина показано, и нечего больше толковать!“ И Аксаковъ сошелъ съ каеэдръ. Восторгъ опять овладѣлъ заломъ, восторгъ, относившійся и къ благородной горячности Аксакова и еще болѣе къ той рѣчи, которою была она вызвана и которую публика слышала часъ тому назадъ. Аксаковъ высказалъ приговоръ, составившійся въ массѣ читавшихъ и слушавшихъ, объявилъ, что словесный турниръ кончился и что первый вѣнокъ принадлежитъ Достоевскому, что его составители явно превзойдены.

Когда шумъ затихъ, Аксакова стали, однако, просить и понуждать прочесть свою рѣчь. Онъ уступилъ и прочелъ большую часть того, что написалъ. Прекрасное чтеніе часто вызывало рукоплесканія. Напримѣръ, когда прочитавъ стихи:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Аксаковъ воскликнулъ: „какой-же пользы еще нужно? Да вѣдь такіе стихи—*благодѣяніе!*“

Рѣчь его, по содержанію, конечно не повторяла рѣчи Достоевскаго, но вполне согласовалась съ нею, содержала даже канву нѣкоторыхъ ея мыслей.

Въ концѣ засѣданія, на эстрадѣ вдругъ появилась группа дамъ; онѣ принесли огромный вѣнокъ Достоевскому. Его упросили взойти на кафедру, сзади его, какъ рамку для головы, держали вѣнокъ, и долго не смолкали рукоплесканія всей залы.

Такимъ образомъ Достоевскій былъ чувствуемъ какъ герой этого дня. Всѣ чувствовали себя довольнѣе, всѣ, очевидно, были благодарны ему за то, что онъ разрѣшилъ, наконецъ, томительныя ожиданія, далъ всему празднику содержаніе и цвѣтъ. Поэтому публика уже не упускала его изъ виду и осыпала его наиболѣе громкими знаками одобренія. День этотъ, послѣдній день торжества, кончился литературно-музыкальнымъ вечеромъ, на которомъ и Достоевскій читалъ нѣкоторыя стихотворенія Пушкина. Всего значительнѣе было чтеніе стихотворенія „Пророкъ“. Достоевскій дважды читалъ его, и каждый разъ съ такой напряженной восторженностію, что жутко было слушать. Зная его, я не могъ безъ невольной жалости и умиленія видѣть его истощенное маленькое тѣло, охваченное этимъ напряженіемъ. Правая рука, судорожно вытянутая внизъ, очевидно удерживалась отъ напрашивающагося жеста; голосъ былъ усиливаемъ до крика. Чтеніе выходило слишкомъ рѣзкимъ, хотя произношеніе стиховъ было прекрасное. Въ этомъ отношеніи я вполне раздѣлялъ вкусъ Федора Михайловича, любившаго напирать на музыкальность, на ритмъ стиховъ, — разумѣется, безъ нарушенія естественности. При концѣ жизни онъ достигъ въ такомъ чтеніи удивительнаго мастерства и любилъ читать и передъ публикою и въ частныхъ кружкахъ.

Этотъ второй и послѣдній вечеръ заключился, какъ и первый, увѣнчаніемъ бюста Пушкина на сценѣ, на которую выходили для этого всѣ исполнители. Въ первый вечеръ вѣнокъ былъ возложенъ Тургеневымъ, въ послѣдній — Достоевскимъ, котораго при всѣхъ пригласилъ къ тому самъ-же Тургеневъ.

Такъ кончилось это торжество. Замолели послѣднія восторженныя рукоплесканія, и мы разошлись, утомленные и довольные. Впечатлѣніе было для меня не только сильное, но и совершенно ясное. Мнѣ живо вспомнилось все литературное движеніе, въ которомъ когда-то я такъ близко участвовалъ. Прежде всего вспомнилось то постоянное поклоненіе Пушкину, которое неповѣдывалъ Достоевскій. Онъ, еще въ „Бѣдныхъ Людяхъ“, указалъ на Пушкина, какъ на образецъ и руководство (въ сужденіяхъ о „Станціонномъ Смотрителѣ“) и потомъ всю жизнь питалъ и

заявлялъ безграничный восторгъ къ главному герою нашей литературы. Побѣда, думалъ я, досталась Федору Михайловичу по всей справедливости, потому что во всей этой толпѣ онъ, конечно, больше всѣхъ любилъ Пушкина.

Потомъ мнѣ вспомнился весь нашъ литературный кружокъ, „Русское Слово“ (1859), „Время“, „Эпоха“, „Заря“, „Гражданинъ“... Это были полосы и бучки людей, всегда придававшихъ литературному художеству высокое значеніе и потому видѣвшихъ въ Пушкинѣ свое главное свѣтило. Никто лучше Аполлона Григорьева не писалъ о Пушкинѣ, и никакіе другіе кружки не были больше преданы литературѣ. Въ этихъ кружкахъ прыскалъ Федоръ Михайловичъ, въ иныхъ изъ нихъ былъ руководителемъ и когда-то далъ этому направленію особое названіе *почвенниковъ*... Вотъ какое направленіе, думалось мнѣ, одержало верхъ на пушкинскомъ праздникѣ. Если тутъ Федоръ Михайловичъ побѣдилъ западниковъ и превзошелъ славянофиловъ, то, конечно, только въ силу того широкаго взгляда, который избѣгаетъ нѣкоторыхъ крайностей тѣхъ и другихъ, который, хотя отвергаетъ безусловное преклоненіе передъ Западомъ, но не столько чуждается его духовной жизни, какъ исключительное славянофильство, и видитъ и въ современной нашей умственной жизни больше здороваго содержанія, чѣмъ успѣвали находить славянофилы. Итакъ, то, что случилось, было естественно и неизбѣжно. На пушкинскомъ торжествѣ должна была одержать верхъ та партія, которая во все продолженіе послѣднихъ тридцати лѣтъ питала и неповѣдывала поклоненіе Пушкину, и Достоевскій, самый важный и дѣятельный представитель этой партіи, долженъ былъ получить вѣночекъ первенства, какъ то, что ему принадлежало по всѣмъ правамъ и заслугамъ.

И, наконецъ, живо представилось мнѣ, какъ въ этомъ случаѣ выступили и засіяли передъ всѣми личныя свойства ума и сердца Федора Михайловича, его широкая способность всему симпатизировать, его умѣнье примирять въ себѣ, повидимому, несогласныя настроенія, его стремленіе ничего не отвергать, ничего не исключать безусловно и оставаться вѣрнымъ въ любви къ тому, что разъ онъ полюбилъ.

Онъ представляетъ намъ великій примѣръ въ двухъ отношеніяхъ: онъ образецъ истиннаго консерватора и образецъ того, какъ слѣдуетъ намъ держать себя въ отношеніи къ тому, съ чѣмъ мы враждуемъ, что считаемъ ложнымъ и гибельнымъ. По направленію, по духу, онъ самый широкій изъ современныхъ писателей и потому естественна его любовь къ самому широкому изъ нашихъ гениевъ, къ Пушкину.

Консерватизмъ, патріотизмъ часто понимаются, какъ нѣчто узкое,

тупое, глупое. Такъ оно, конечно, нерѣдко и бываетъ, потому что это душевное настроеніе свойственно огромнымъ массамъ людей, а умы людскіе вообще слабы и ограничены. Но это не относится къ существу дѣла, точно такъ, какъ, напримѣръ, глупые ученые или глупыя книги, встрѣчающіеся такъ часто, не составляютъ возраженія противъ учености и книгъ вообще. По сущности-же, что можетъ быть естественнѣе и правильнѣе, чѣмъ любовь къ тому, что насъ обружаетъ, и желаніе сохранить то, что мы любимъ? Мы и любить учимся на людяхъ близкихъ къ намъ, и понимать на томъ умственномъ содержаніи, которое сообщается намъ сначала. Сердце чуткое, умъ чуткій постепенно открываетъ и усваиваетъ положительную сторону окружающей жизни, то добро, тотъ свѣтъ ума, ту красоту, которыя составляютъ главный нервъ всякаго человѣческаго существованія, безъ которыхъ это существованіе невозможно. А разъ что нибудь полюбивши, разъ что нибудь понявши, глубокая натура уже не забываетъ этого потому, уже не можетъ этого выкинуть изъ себя, какъ ненужный соръ. Такимъ образомъ процессъ самый простой и обыкновенный можетъ достигать въ одаренныхъ людяхъ самаго высокаго значенія. Люди мало способные къ консерватизму, легко и безъ слѣда отвергающіе тѣ чувства и мысли, которыя нѣкогда въ нихъ жили, очевидно, свидѣтельствуютъ этимъ о малой своей чуткости, о слабости своей сердечной памяти. Они обыкновенно увлекаются своею энергіею, и въ ней заключается ихъ оправданіе; но зло непониманія, презрѣнія, насилія неизбѣжно примѣшивается къ ихъ дѣятельности и часто искажаетъ дѣла, совершаемыя во имя благороднѣйшихъ цѣлей.

Достоевскій былъ консерваторомъ по натурѣ. Въ немъ сильно, но быстро совершился тотъ процессъ, которымъ почти неизмѣнно характеризуется развитіе всѣхъ значительныхъ русскихъ писателей: сперва они увлекаются отвлеченными мыслями, идеалами, заимствованными съ Запада, потомъ возникаетъ внутренняя борьба и разочарованіе и, наконецъ, пробуждаются—лишь на время подавленныхъ чувства, любовь къ родной святынѣ, къ тому, чѣмъ жива и крѣпка русская земля. У каждаго бываетъ минута возрожденія, когда онъ говоритъ вмѣстѣ съ Пушкинымъ:

Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ чистыхъ дней.

Но, отказавшись отъ исканія на Западѣ высшихъ руководительныхъ началъ, Достоевскій сохранилъ любовь и уваженіе къ духовной жизни Европы. Да и у насъ, среди разлива того крайняго западничества, кото-

рое называется нигилизмомъ, онъ умѣлъ видѣть корень и этихъ извращенныхъ стремленій, умѣлъ понимать и жалѣть и эти заблудшія души. Этотъ взглядъ, находящій возможность выхода и примиренія, эта тонкая и широкая симпатія, обнимающая оба полюса нашей умственной жизни и ищущая соединенія ихъ въ нѣкоторомъ высшемъ началѣ и дѣлѣ,— есть прекрасная и характерная черта Достоевскаго. Его вражда, такая горячая и волнующаяся, никогда не была безусловнымъ отверженіемъ. *Появившійся нигилизмъ*, вотъ тема, которую онъ любилъ, на которую написано „Преступленіе и Наказаніе“ и которая отзывается во всѣхъ послѣдующихъ его произведеніяхъ. Понятно, почему онъ имѣлъ такую привлекательность для молодыхъ людей, почему на многихъ изъ нихъ онъ успѣвалъ производить самое благотворное дѣйствіе. Та-же самая черта примиряющей симпатіи обнаружилась и на Пушкинскомъ праздникѣ. Онъ нашелъ формулу, которая объединяла стремленія западниковъ и славянофиловъ, направляя ихъ къ общей высшей цѣли; естественно, что восторгъ овладѣлъ въ эту минуту давнишними противниками, и они искренно подали другъ другу руки.

XXI.

Послѣдніе дни.—Впечатлительность.—Герой литературы.

Послѣ торжества на Пушкинскомъ праздникѣ, конечно, бывшаго одною изъ лучшихъ минутъ жизни Федора Михайловича, самымъ блестящимъ изъ тѣхъ литературныхъ успѣховъ, которыми онъ такъ дорожилъ, ему уже не много оставалось жить на свѣтѣ. Между тѣмъ онъ находился въ полномъ развитіи силъ и въ самомъ разгарѣ своей дѣятельности. Во вторую половину 1880 года онъ кончилъ „Братьевъ Карамазовыхъ“ и составилъ: „Дневникъ Писателя, единственный выпускъ за 1880 годъ, Августъ“. Въ этомъ выпускѣ онъ помѣстилъ свою рѣчь о Пушкинѣ, обставилъ ее разными поясненіями и отвѣчалъ на подыавшіяся противъ нея возраженія. Въ то время, когда въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ еще не было кончено печатаніе „Карамазовыхъ“, было уже объявлено, что на слѣдующій 1881 годъ будетъ выходить „Дневникъ“. Январскій номеръ уже печатался и былъ почти готовъ къ выходу, когда, ни для кого неожиданно, явилась смерть и прекратила эту выпущую дѣятельность.

Эта смерть, наступившая такъ быстро, имѣла характеръ довольно ясный для тѣхъ, кто зналъ Федора Михайловича въ послѣднее его время.

Онъ былъ необыкновенно худъ и истощенъ, легко утомлялся, онъ страдалъ отъ своей эмфиземы. Онъ жилъ, очевидно, одними нервами, и все остальное его тѣло дошло до такой степени хрупкости, при которой его могъ разрушить первый, даже небольшой толчекъ. Всего поразительнѣе была при этомъ неустойчивость его умственной работы. Онъ былъ чрезвычайно занятъ. Онъ писалъ 25 или 30 печатныхъ листовъ въ годъ, а работа, какъ онъ самъ мнѣ говорилъ, стала ему труднѣе. „Теперь мнѣ нужно вдвое, втрое больше времени, чтобы написать столько же, какъ прежде“. Жизнь, спокойная и правильная съ внѣшней стороны, безъ переѣздовъ и помѣхъ, давала ему больше времени, но тѣмъ усерднѣе онъ отдавалъ это время своему призванію. Потому, въ послѣдніе годы, особенно съ начала „Дневника Писателя“, онъ былъ заваленъ перепиской и замученъ посѣтителями. Къ нему писали и шли люди совершенно незнакомые, со всѣхъ концовъ Петербурга и краевъ Россіи. Приходили съ просьбами о помощи, такъ какъ онъ усердно помогалъ бѣднымъ и принималъ участіе въ чужихъ затрудненіяхъ и несчастіяхъ; но также безпрерывно приходили съ выраженіями своего поклоненія, съ вопросами, съ жалобами на другихъ и съ возраженіями противъ него. Такого же рода были и письма. Нужно было разговаривать, спрашивать, отписываться, объяснять. Популярность его радовала; много онъ встрѣтилъ заявленій, которыя показывали, что слова его не пропали даромъ; много узналъ людей, принесшихъ ему отраду своими душевными качествами. Эти сношенія онъ считалъ прямымъ долгомъ поддерживать и направлять въ хорошую сторону. Особенно онъ былъ внимателенъ къ молодымъ людямъ, къ студентамъ, къ курсисткамъ.

Затѣмъ — сыпались приглашенія на засѣданія всякихъ обществъ, на обѣды по разнымъ случаямъ, на литературныя чтенія съ благотворительной цѣлью. Нужно было сговариваться о времени, выбирать что прочесть, готовиться и читать. Но нельзя было вовсе забросить и знакомыхъ и хоть изрѣдка да не побывать у нихъ въ заведенныя среды или субботы. И все это помимо домашнихъ, и семейныхъ, и родственныхъ дѣлъ и заботъ, тоже бравшихъ время и силы. А когда же было думать и читать? То-есть, когда было совершать дѣло, требующее очень много времени и неподдающееся никакому сокращенію? Понятно, что онъ жилъ въ постоянномъ напряженіи, что внутри его кипѣла непрерывная работа, о которой не имѣютъ понятія люди, не занимавшіеся писательствомъ. Писателю нельзя, какъ профессору, изъ году въ годъ повторять одно и то же; а писателю творческому приходится напрягать всѣ силы своей души, отдаваться вдохновенію до высшаго полета, къ какому оно способно. Вотъ почему писатель,

погружающійся въ свою работу, часто бываетъ совершенно другимъ человекомъ, чѣмъ въ то время, когда не занимается писаніемъ. Напряженіе отзывается во всемъ, и въ подъемѣ самолюбія, и въ повышенной чуткости ко всемъ впечатлѣніямъ. „Нельзя писать хорошія вещи“, говорилъ мнѣ одинъ первостепенный и знаменитый своею искренностію писатель, „не будучи убѣжденнымъ въ это время, что дѣлаешь самое важное дѣло, какое есть на свѣтѣ“. Такова причина того глубокаго обращенія внутрь себя, той шекотливости и даже раздражительности, которыя были замѣтны въ Федорѣ Михайловичѣ, особенно въ послѣдніе годы. Въ эти годы онъ почти уже не приходилъ въ расположеніе духа, свойственное людямъ спокойно и просто идущимъ по житейской дорогѣ. Внутреннее напряженіе почти не оставляло его. Это одно изъ тѣхъ бѣдствій, которыми сопровождается литературная карьера, бѣдствіе иногда очень тяжелое и составляющее тѣневую сторону радостей творчества.

Мнѣ хотѣлось объяснить здѣсь нормальную сторону той чрезвычайной впечатлительности, которую обнаруживалъ Федоръ Михайловичъ. Но вѣдь онъ сверхъ того былъ человекъ больной; припадки „священной болѣзни“ такъ часто совмѣщающейся съ высокими нервными организаціями, отнимали у него память, приводили его въ мрачное настроеніе и удваивали его мнительность и шекотливость. Здѣсь было-бы у мѣста привести анекдоты о его забывчивости, неожиданныхъ вспышкахъ и рѣзкостяхъ, тѣ анекдоты, изъ которыхъ нѣмне, конечно, сохранились въ памяти множества людей, приходившихъ въ соприкосновеніе съ замѣчательнымъ человекомъ. Не останавливаясь на этихъ случаяхъ, замѣчу только, что соль подобныхъ анекдотовъ состоитъ не только въ противорѣчій между тѣми признаками раздраженія, которые иногда обнаруживалъ Федоръ Михайловичъ, и тѣмъ большимъ и всеобщимъ уваженіемъ, которое его окружало въ послѣднее время, но также въ умѣ и жѣткости, которые проявлялись и въ этихъ, вовсе ненужныхъ и странныхъ выходкахъ.

Я самъ очень обижался на Федора Михайловича, тѣмъ болѣе обижался, чѣмъ ближе мы когда-то были. Непобѣдимая мнительность иногда заставляла его смотрѣть и на меня, какъ на человека, имѣющаго къ нему что-то враждебное, недостаточно къ нему расположеннаго, и это очень огорчало меня. „Онъ несправедливъ“, думалъ я, „онъ могъ бы знать мои чувства и вѣрнуть въ нихъ“. Я старался побѣдить въ себѣ раздраженіе, вѣроятно, черезчуръ самолюбивое, дѣлалъ нѣкоторые приступы къ большому сближенію и до послѣдняго времени все мечталъ, какъ о большемъ благополучіи, о возможности возстановить вполне наше прежнее взаимное расположеніе. Охотно признаю себя виновнымъ, что не вполне

сѣумѣлъ и успѣлъ въ этомъ; съ его стороны, я увѣренъ, было такое-же желаніе.

Дѣло въ томъ, что вся эта внѣшность, вся сила этихъ наружныхъ мелочей и слабостей почти вовсе не имѣли вліянія на его поступки, на его образъ чувствъ и дѣйствій, всегда сохранявшій благородство и высоту. Онъ былъ строгъ къ себѣ и даже щепетилень; его великодушіе не могло помириться не только съ темнымъ или недобрымъ поступкомъ, но и съ темнымъ или недобрымъ чувствомъ. Онъ трудился и жилъ, постоянно воспитывая въ себѣ наилучшія чувства и дѣйствуя не только безукоризненно и безкорыстно, а часто самоотверженно.

Но тяжесть его положенія и той дѣятельности, которой онъ предавался всѣми силами, была такъ велика, что онъ невольно сгибался подъ нею. Онъ умеръ въ самый разгаръ своей дѣятельности, какъ будто эта тяжесть вдругъ и неожиданно сломила его, когда онъ стоялъ на своемъ посту, когда боролся и напрягался, какъ того требовало его призваніе. И нельзя отказать ему въ нашемъ умиленіи и удивленіи, если мы вспомнимъ, сколько этотъ человекъ вынесъ труда и горя и сколько онъ сдѣлалъ.

Съ низменной, пошлой точки зрѣнія, на Достоевскаго можно смотрѣть, какъ на зауряднаго литератора. Иные пожалуй скажутъ такъ: „Онъ шелъ самымъ обыкновеннымъ путемъ, торною дорогою этого поприща. Еще въ школѣ онъ почувствовалъ страсть писать,—очень обыкновенное явленіе въ порѣ самолюбивой молодости. По выходѣ изъ школы, онъ бросаетъ профессію, къ которой готовился, не продолжаетъ своего образованія, а весь отдается литературѣ. Онъ скоро увлекается противуправительственными мнѣніями и подвергается ссылке въ ка-торгу. По возвращеніи онъ получаетъ, въ силу этого, особенный вѣсъ въ либеральной публикѣ и пользуется этимъ. Онъ пишетъ какъ можно больше и эффектнѣе, берется за различныя литературныя предпріятія, обыкновенно неудачныя, но усиленно и постоянно хлопочетъ объ успѣхѣ. Онъ очень высокаго мнѣнія о себѣ, безпорядоченъ въ дѣлахъ, вѣчно въ долгахъ и нуждается, и вѣчно погруженъ въ литературныя дразги. Критики, газетные отзывы, соперники по ремеслу, полемика — вотъ чѣмъ онъ занятъ постоянно и усердно. Нападки на него его раздражаютъ, какъ-будто онъ только-что начинающій фельетонистъ. Пишетъ онъ, вѣчно торопясь, не успѣвая ни вполне обдумать, ни вполне обдѣлать свои произведенія, потому что онъ живетъ одною только литературою. Такъ онъ достигаетъ шестидесяти лѣтъ, написавши очень много; понятно, что его вещи далеко не равнаго достоинства, и лишь нѣкоторыя дѣйствительно замѣчательны“.

Такъ могутъ сказать иные. Но вспомнимъ, что литература имѣетъ двѣ стороны, и что мы ничего не поймемъ въ ней, если станемъ смотрѣть не съ того конца. Писаніе, конечно, есть дѣло пустое и даже презрѣнное, когда оно дѣлается изъ попугайства, по глупости, по самолюбію или изъ разсчета. Но оно есть очень высокое дѣло, когда человѣкъ видитъ въ немъ свое дѣйствительное призваніе. Федоръ Михайловичъ не только всегда былъ, что называется завзятымъ литераторомъ, но былъ, можно сказать, *урожденнымъ* литераторомъ. Можетъ быть еще мальчикомъ, но лѣтъ съ пятнадцати навѣрное, онъ сталъ питать въ себѣ и горячую вѣру въ себя, какъ писателя, и горячую вѣру въ литературу, какъ великое и прекрасное поприще. И онъ до конца не измѣнилъ своей вѣрѣ, и она оправдалась блистательнымъ образомъ. Онъ былъ очень высокаго мнѣнія о своихъ дарахъ, но вѣдь онъ-же имѣлъ на это и немалыя права, да и безъ увѣренности въ себѣ нельзя было выступать на поприще проповѣдничества, въ которому онъ чувствовалъ такое влеченіе. По праву поэта

Стрѣла тогда летитъ далеко,
Когда здорова тетива.

Онъ долженъ былъ сознавать свои силы. Но, хотя онъ и считалъ себя богато одареннымъ, хотя готовъ былъ въ минуту вдохновенія видѣть въ своихъ мысляхъ и чувствахъ нѣчто высшее, почти пророческое, онъ, при этомъ, съ самаго начала и до конца признавалъ своимъ поприщемъ только одну литературу, не литературу вообще, а именно нашу текущую литературу; онъ никогда не желалъ и не искалъ никакихъ другихъ успѣховъ, кромѣ успѣховъ въ нашей читающей публикѣ и среди нашей пишущей братіи. Онъ принималъ литературу какъ она есть, со всѣми ея условіями, никогда не становился отъ нея въ сторонѣ и не бросалъ на нее взглядовъ свысока. Это отсутствіе малѣйшаго *литературнаго аристократизма* есть въ немъ черта прекрасная и даже трогательная. Русская литература была, какъ будто, тоже *почвою*, на которой выросъ Федоръ Михайловичъ, отъ которой онъ никогда не отрывался, въ которой питалъ кровную любовь и преданность. Мнѣ уже приходилось въ началѣ указывать, что онъ былъ даже прямымъ питомцемъ петербургской литературы, раздѣлялъ ея вкусы и употреблялъ ея приемы. Всѣ литературныя формы, отъ фельетоннаго дурачества до высшаго художественнаго творчества имѣли въ его глазахъ свою законность, свое мѣсто, и онъ готовъ былъ упражняться во всякихъ родахъ. Всѣ чисто-литературныя способы дѣйствовать на публику, возбуждать ея вниманіе и имѣть въ ней успѣхъ онъ считалъ дѣломъ хорошимъ, такъ какъ это были условія его ремесла,

и уже одно распространеніе чтенія было въ его глазахъ великою пользою. Журналъ, который-бы вѣчно блестялъ новизною, который-бы и смѣшилъ, и развлекалъ, и серьезно наставлялъ читателя, былъ его постоянною мечтою. Онъ хорошо зналъ, что, выступая въ публику и въ литературную сферу, онъ выходитъ на базаръ, на площадь, и ни мало не думалъ стыдиться ни своего ремесла, ни своихъ собратій по ремеслу. Напротивъ, онъ гордился этимъ дѣломъ, считалъ его великимъ, священнымъ, — и вотъ гдѣ истинный смыслъ всего его поведенія, всѣхъ его стараній и приемовъ.

Дѣло въ томъ, что онъ несъ на площадь свою мысль, свою душу. Онъ съ самаго начала выступилъ какъ *новый* писатель, глядящій на вещи съ своей, съ особенной стороны. Это тотчасъ поняли и признали Бѣлинскій и Некрасовъ, хотя и не вся глубина и ширина этой *новости* была имъ доступна. Самъ Достоевскій всю жизнь рвался выразить тотъ рои мыслей и чувствъ, которымъ полна была его голова, и все не успѣвалъ вполне высказаться, все оставался недоволенъ тѣмъ, что писалъ. И такъ, не изъ подражанія или расчета онъ писалъ, а, напротивъ, онъ былъ отъ начала твердо увѣренъ, что другіе должны ему подражать, и что драгоценности, которыя онъ предлагаетъ читателямъ, несравненно выше всякихъ денегъ, всякой цѣны. Успѣхъ его былъ, однакоже, медленный и очень трудный, отчасти потому, что талантъ его хотя и значительно обнаружился съ перваго-же раза, но продолжалъ медленно зрѣть до полной силы, отчасти потому, что онъ не умѣлъ вести своихъ дѣлъ, а между тѣмъ брался за разныя литературныя предпріятія, воображая, что можетъ соперничать съ иными изъ самыхъ практичныхъ своихъ собратій по профессіи. Но наконецъ онъ всетаки достигъ своего; послѣ долгой и тяжелой борьбы онъ достигъ огромной извѣстности, достигъ распространенія въ публикѣ своихъ чувствъ и мыслей и наконецъ, достатка, если не богатства, котораго, конечно, стоилъ, хоть и не желалъ.

Если, такимъ образомъ, взять въ цѣломъ эту жизнь и эту карьеру, то нельзя не быть пораженнымъ. Ему досталась на долю тяжелая кара со стороны власти, которая не безъ причины подозрительно смотритъ на иные кружки интеллигенціи, но на этотъ разъ была черезчуръ строга, да и потомъ ошибалась по отношенію къ нему. Ему досталось на долю разореніе, то есть не только потеря всякаго имущества, но еще большіе долги и обязанность поддерживать большую семью покойнаго брата. Ему, наконецъ, досталось на долю все неустройство литературной жизни, десятки лѣтъ невѣрнаго, непостояннаго заработка, забирающаго денегъ впередъ, выжиданья, запрашиванья, нерасчетливыхъ тратъ и сидѣнья безъ копѣйки. Все онъ перенесъ, все побѣдилъ, не измѣняя своей цѣли, не

покидая своего поприща, не теряя ни бодрости, ни пламеннаго желанія высказаться, оставаясь себѣ вѣрнымъ отъ „Бѣдныхъ людей“ и до „Братьевъ Карамазовыхъ“. Это не простой литераторъ, а настоящій герой литературнаго поприща. Въ его сочиненіяхъ много мыслей, приводящихъ въ умиленіе; но и самъ онъ, какъ человѣкъ, съ такимъ трудомъ создавшій свою судьбу, бодро вынесшій столько тягостей и волненій, достоинъ умиленія.

XXII.

Послѣднія минуты *).

Дней за десять до той кратковременной болѣзни, которая свела Федора Михайловича въ могилу, зашелъ къ нему О. Ф. Миллеръ напомнить ему о данномъ имъ обѣщаніи участвовать въ Пушкинскомъ вечерѣ 29-го января (въ день смерти поэта). Незванный гость, какъ это и часто случалось съ Федоромъ Михайловичемъ, оказался для него хуже татарина. О. Ф. Миллеръ не сообразилъ, что Федоръ Михайловичъ какъ разъ дописывалъ тогда январскій номеръ возобновляемаго имъ „Дневника Писателя“. Онъ выбѣжалъ къ посѣтителю въ прихожую съ перомъ въ рукѣ, страшно взволнованный — отчасти, какъ самъ тутъ и высказалъ, опасеніемъ, пропуститъ ли ему цензура нѣсколько такихъ строкъ, содержаніе которыхъ должно развиваться въ дальнѣйшихъ номерахъ „Дневника“, — въ теченіи всего года. „Не пропускать этого“, говорилъ онъ, — „и все пронало“ (извѣстно, что не имѣя средствъ для внесенія залога, онъ долженъ былъ издавать свой „Дневникъ“ подъ предварительною цензурою). Строки, такъ его безпокоившія, надо думать, тѣ, которыми открывался 5-й отдѣлъ 1-й главы „Дневника“ (подъ заглавіемъ: „Пусть первые скажутъ, а мы пока постоимъ въ сторонкѣ, единственно чтобъ уму разуму поучиться“): „На это есть одно магическое слово, именно: „Оказать довѣріе“. Да, нашему народу можно оказать довѣріе, ибо онъ достоинъ его. Позовите сѣрые зипуны и спросите ихъ самихъ объ ихъ нуждахъ, о томъ, чего имъ надо, и они скажутъ вамъ правду, и мы всѣ въ первый разъ, можетъ быть, услышимъ настоящую правду“.

Если въ дальнѣйшихъ номерахъ „Дневника“ Федоръ Михайловичъ предполагалъ развивать эту мысль — подробно говорить о томъ, что называлось у Писошкова „народосовѣтіемъ“, и что, такъ сказать, прошло

*) Глава эта составлена общими силами очевидцевъ.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИЗНЕОПИСАНІЯ.

мимо ушей у нашей интеллигенціи, то къ самому Федору Михайловичу смѣло могутъ быть отнесены послѣднія слова его рѣчи о Пушкинѣ: „жилъ-бы онъ долѣе, такъ и между нами, было-бы, можетъ быть, менѣе недоразумѣній и споровъ, чѣмъ видимъ теперь. Но Богъ судилъ иначе. Онъ умеръ въ полномъ развитіи своихъ силъ и безспорно унесъ съ собою въ гробъ нѣкоторую великую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ“.

Какъ ни понятно было то возбужденное состояніе, при которомъ Федоръ Михайловичъ не принялъ тогда для переговоровъ о литературномъ вечерѣ Ореста Федоровича Миллера, изъ письма къ послѣднему Анны Григорьевны, написаннаго день или два снустя, видно, что Федоръ Михайловичъ беспокоился, не обидѣлъ-ли онъ неласковымъ приѣмомъ своего знакомаго. „Вотъ и еще, пожалуй, человѣка потеряю“, говорилъ онъ Аннѣ Григорьевнѣ, поручая ей извиниться за себя въ письмѣ и сказать, что онъ непремѣнно будетъ участвовать въ Пушкинскомъ вечерѣ. Въ воскресенье, 25-го января, рассчитавъ, что „Дневникъ“ уже долженъ быть дописанъ, О. Э. Миллеръ отправился къ Федору Михайловичу и засталъ у него А. Н. Майкова и Н. Н. Страхова. Сдавъ работу, такъ его безпечною, и обнадеженный стоявшимъ тогда во главѣ управленія по дѣламъ печати г. Абазой, что у цензуры рука не поднимется ни на одну его мысль, Федоръ Михайловичъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа. Но когда рѣчь зашла о чтеніи, онъ вдругъ настоятельно заявилъ, что желаетъ прочесть на вечерѣ нѣкоторыя любимыя имъ небольшія стихотворенія Пушкина. О. Э. Миллеръ замѣтилъ ему, что онъ заранѣе указалъ на отрывокъ изъ „Евгенія Онѣгина“, какъ уже и значится въ афишѣ вечера, и что выборъ Федоромъ Михайловичемъ другаго предмета для чтенія заставитъ опять хлопотать у попечителя учебнаго округа и у градоначальника. Федоръ Михайловичъ нѣсколько раздражился и сказалъ, что кромѣ указываемыхъ имъ теперь небольшихъ стихотвореній онъ ничего другаго читать не будетъ. О. Э. Миллеръ, въ свою очередь раздражившись, неосторожно попрекнулъ Федора Михайловича недостаточнымъ вниманіемъ къ его, Миллера, не легкому положенію въ качествѣ устроителя вечера. Тогда Федоръ Михайловичъ уже не раздражился, а огорчился. „И не грѣхъ вамъ“, сказалъ онъ, „говорить это; сколько разъ я по вашей просьбѣ читалъ для студентовъ“. Небольшая размолвка окончилась миролюбиво. О. Э. Миллеръ далъ слово выхлопотать разрѣшеніе на замѣну прежняго отрывка другими стихотвореніями, только бы Федоръ Михайловичъ участвовалъ въ вечерѣ. Когда онъ уходилъ, хозяинъ, совершенно уже успокоенный, проводилъ до дверей О. Э. Миллера, которому такъ и

не пришлось уже болѣе увидать живымъ Ѳедора Михайловича. На другой же день узналъ онъ о внезапной его болѣзни (разрывъ легочной артеріи) и поспѣшилъ къ Аннѣ Григорьевнѣ въ сильнѣйшемъ безпокойствѣ о томъ, не вчерашнія-ли объясненія повредили Ѳедору Михайловичу. Къ успокоенію своему, О. Ѳ. Миллеръ узналъ, что, вслѣдъ затѣмъ, Ѳедоръ Михайловичъ былъ дѣйствительно сильно взволнованъ другимъ совсѣмъ посѣщеніемъ. Вызвавшись съѣздить сейчасъ-же за проф. Кашлаковнмъ, О. Ѳ. Миллеръ, отправился къ нему снова въ среду узнать его мнѣніе о болѣзни Ѳедора Михайловича. Проф. Кашлаковъ далеко не терялъ надежду на выздоровленіе больного, но когда нѣсколько часовъ спустя О. Ѳ. Миллеръ отправился на квартиру къ Ѳедору Михайловичу, то къ ужасу своему узналъ, что его только что не стало. Сильный припадокъ обыкновенной его болѣзни сразу сокрушилъ давно надломленный организмъ.

Послѣднія 9 лѣтъ своей жизни Ѳедоръ Михайловичъ страдалъ эмфиземой, вслѣдствіе катарра дыхательныхъ путей. Смертельный исходъ болѣзни произошелъ отъ разрыва легочной артеріи и былъ случайностію, которой никто изъ докторовъ не предвидѣлъ. Предсмертная болѣзнь началась въ ночь съ 25 на 26 января небольшимъ кровотеченіемъ изъ носа, на которое Ѳедоръ Михайловичъ не обратилъ никакого вниманія. 26 января онъ былъ, повидимому, совершенно здоровъ, но хотѣлъ посоветоваться съ докторами на счетъ кровотечения. Въ 4 часа пополудни сдѣлалось первое кровотеченіе горломъ. Тотчасъ привезли всегдашняго доктора Ѳедора Михайловича, Якова Богдановича Фонъ-Бретцеля. Уже при немъ, часа черезъ полтора послѣ перваго кровотеченія, произошло второе, болѣе сильное, при чемъ больной потерялъ сознание. Когда онъ пришелъ въ себя, то тотчасъ пожелалъ исповѣдаться и причаститься. До прихода священника, онъ простился съ женой и дѣтьми и благословилъ ихъ. Послѣ причащенія почувствовалъ себя гораздо лучше.

Кромѣ фонъ-Бретцеля былъ приглашенъ еще докторъ, А. А. Пфейферъ и потомъ, какъ уже сказано, профессоръ Кашлаковъ, который былъ трижды, 26, 27 и 28 января.

Весь день 27 января кровотеченіе не повторялось и Ѳедоръ Михайловичъ чувствовалъ себя сравнительно хорошо. Очень заботился онъ о томъ, чтобы „Дневникъ Писателя“ вышелъ непременно 31 января. Просилъ Анну Григорьевну прочесть принесенныя корректуры и поправить ихъ. Потомъ просилъ читать ему газеты.

28 января до 12 часовъ все шло благополучно, но затѣмъ опять пошла кровь и Ѳедоръ Михайловичъ очень ослабѣлъ.

Въ это время къ нему заѣхалъ А. Н. Майковъ и провелъ у него все

предобъденное время, наблюдая и ухаживая за нимъ вѣстѣ съ домашними. Разговорѣвъ не было, потому что больному было строго запрещено говорить.

Около двухъ часовъ, ему было, повидимому, лучше. Часу въ пятомъ А. Н. Майковъ уѣхалъ домой обѣдать.

Во всю свою жизнь въ рѣшительныя минуты Федоръ Михайловичъ имѣлъ обыкновеніе, по словамъ Анны Григорьевны, раскрывать на удачу то самое евангеліе, которое было съ нимъ въ каторгѣ, и читать верхнія строки открывшейся страницы. Такъ поступилъ онъ и тутъ и далъ прочесть женѣ. Это было: Мате. гл. III, ст. 11: „Іоаннъ-же удерживалъ его и говорилъ: мнѣ надобно креститься отъ тебя и ты-ли приходишь ко мнѣ? Но Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: не удерживай, ибо такъ надлежитъ намъ исполнить великую правду“. Когда Анна Григорьевна прочла это, Федоръ Михайловичъ сказалъ: „ты слышишь — „не удерживай“, — значитъ я умру“, и закрылъ книгу. Предчувствіе скорѣ оправдалось. За два часа до кончины, Федоръ Михайловичъ просилъ, чтобы Евангеліе было передано его сыну, Федѣ.

Послѣ обѣда А. Н. Майковъ вернулся къ больному уже не одинъ, а съ женою, и при нихъ, въ 6¹/₂ часовъ вечера, случилось послѣднее кровоточеніе, за которымъ слѣдовало безпамятство и агонія. Анна Ивановна Майкова сейчасъ пустилась отыскивать еще доктора и привезла съ собой Н. П. Черепнина, котораго нашла у одного изъ его знакомыхъ. Но когда они пріѣхали, уже наступалъ конецъ, и Н. П. Черепнину довелось только услышать послѣднія біенія сердца Федора Михайловича.

Нѣсколько ранѣ пріѣхалъ Б. М. Маркевичъ, описавшій потомъ печальную минуту смерти. (См. „Русскій Вѣстникъ“, 1881 г. февраль).

Федоръ Михайловичъ скончался въ 8 часовъ 38 минутъ вечера.

XXIII.

Похороны.

Похороны Достоевскаго представляли явленіе, которое всѣхъ поразило. Такого огромнаго стеченія народа, такихъ многочисленныхъ и усердныхъ заявленій уваженія и сожалѣнія не могли ожидать самые горячіе поклонники покойнаго писателя. Можно смѣло сказать, что до того времени никогда еще не бывало на Руси такихъ похоронъ.

Всего яснѣе покажутъ дѣло цифры: въ погребальной процессіи, при выносѣ тѣла изъ квартиры (Бузничный переулокъ, № 5) въ церковь Св. Духа, въ Невской лаврѣ, было несено 67 вѣнковъ и гѣли 15 хо-

ровъ пѣвчихъ. 67 вѣнковъ—это значить 67 различныхъ депутацій, 67 различныхъ обществъ и учреждений, пожелавшихъ оказать почести умершему. 15 хоровъ пѣвчихъ—значить 15 различныхъ кружковъ и вѣдомствъ, имѣвшихъ возможность для этого снарядить пѣвчихъ. Какимъ образомъ составила такая громадная манифестація—это составляетъ не малую загадку. Очевидно, она составила вдругъ, безъ всякой предварительной агитаціи, безъ всякихъ подготовленій, уговоровъ и распоряженій, потому что никто не ожидалъ смерти Достоевскаго, и время между неожиданнымъ извѣстіемъ о ней и похоронами (три дня) было слишкомъ коротко для какихъ нибудь обширныхъ приготовленій. Следовательно, почти каждая изъ 67 депутацій имѣетъ свою особую исторію, независимую отъ другихъ. Свойство и смыслъ тѣхъ побужденій, по которымъ шли эти депутаціи—вотъ что важно въ высшей степени и о чемъ трудно говорить съ опредѣленною, для чего требовалось-бы больше свѣдѣній, чѣмъ мы имѣемъ.

Извѣстно, однако, что въ разныхъ мѣстахъ города, въ учебныхъ заведеніяхъ, въ церквахъ—служились по Достоевскомъ панихиды по собственному желанію преподавателей и духовныхъ лицъ. Извѣстно, что лица иныхъ официальныхъ вѣдомствъ едва успѣвали по краткости времени получить надлежащее разрѣшеніе для участія въ церемоніи, и были случаи, что даже обходились безъ разрѣшенія. Наканунѣ выноса, Аннѣ Григорьевнѣ было извѣстно о 8-ми депутаціяхъ, желавшихъ нести вѣнки, и она съ радостію думала о такомъ великомъ почетѣ, оказываемомъ покойному мужу. Между тѣмъ, къ минутѣ похоронъ оказалось на лицо 72 депутаціи. Главная масса провожавшихъ состояла изъ разнообразнѣйшихъ классовъ публики, и очень было замѣтно множество молодыхъ людей, мужчинъ и женщинъ. Характеръ самой процессіи былъ удивительно ясенъ. Она была нѣсколько безпорядочна, вслѣдствіе поспѣшности, съ которою собралась, но безъ всякой тѣни волненія, безъ признаковъ того возбужденія, которое обнаруживается, когда толпа дѣлаетъ демонстрацію. Это была настоящая похоронная процессія. И такой-же спокойный, чистый, грустный характеръ имѣли всѣ обряды погребенія и тѣ рѣчи, которыя были сказаны въ церкви и на могилѣ. Церковь Св. Духа была удивительно красива во время заупокойной обѣдни. Не только гробъ, стоявшій на высокомъ катафалкѣ, былъ покрытъ цвѣтами и вѣнками, но огромные вѣнки подымались еще со всѣхъ сторонъ по сторонамъ и даже по стѣнамъ и давали всему храму особенный видъ, необыкновенно прекрасный. Тѣснота была большая, но, несмотря на то, тишина была вполне благоговѣйная.

Такъ просто, спокойно и прилично дѣлу совершились эти похороны, несмотря на то, что по своимъ размѣрамъ они были истиннымъ событіемъ, не меньшимъ, а даже несравненно большимъ, чѣмъ событіе рѣчи о Пушкинѣ. Почести, которыя отдавались покойному писателю, вдругъ обнаружили, что онъ имѣлъ необычайно широкій кругъ искреннихъ поклонниковъ и были изумительны для всѣхъ, и для его близкихъ, и для литературной сферы, и даже для самихъ поклонниковъ, неожиданно увидѣвшихъ другъ друга въ такомъ множествѣ. Въ городѣ поднялись горячіе толки и пересуды о значеніи и причинахъ этого событія. Изъ людей подозрительныхъ и равнодушныхъ къ литературѣ иные говорили, что публику привлекло больше всего желаніе почитать бывшаго каторжника и такимъ образомъ выразить извѣстнаго рода протестъ; но изъ людей, ближе знакомыхъ съ движеніемъ литературы и болѣе преданныхъ прогрессивнымъ идеямъ, нѣкоторые судили правильнѣе. Они огорчались этими знаками сочувствія писателю патріотическому и, по ихъ мнѣнію, ретроградному. Была, наконецъ, и третья странная категорія судей, нашедшая выходъ изъ дилеммы въ томъ, что Достоевскій есть будто-бы изобразитель всего мрака и ужаса русской жизни, что онъ уже не смѣялся надъ нею, какъ Гоголь, а плакалъ.

Разумѣется, въ огромной толпѣ, провожавшей покойника, попадались люди, которые могли подать поводъ къ каждому изъ этихъ толкованій. Но главная масса, составлявшая ядро толпы и менѣе другихъ расположенная ораторствовать, конечно, руководилась другими чувствами. Она очевидно хоронила въ Достоевскомъ наставника, нравственнаго учителя, того, кто ей говорилъ: „смирись, гордый человѣкъ! Потрудиись, праздный человѣкъ!“ Проповѣдь любви и мира, съ которою онъ выступилъ отъ начала и которая составила его особое направленіе среди литературы, не всегда отказывавшейся отъ распространенія вражды и отъ возбужденія всякаго рода страстей, — вотъ главная причина сочувствія къ нему. Общество, утомленное пустыи и ненавистнымъ броженіемъ, измученное господствующею смутною умовъ и сердецъ и жаждущее твердой нравственной опоры, видѣло въ немъ одного изъ руководителей, указывавшаго на тѣ пути, гдѣ можно и должно искать спасенія. Дѣйствительно, поклонники читали въ немъ человѣка пострадавшаго, но не такого, который въ силу этого ниталь-бы какую нибудь мысль о враждѣ или мести. Дѣйствительно, въ немъ читали патріота и консерватора; но онъ былъ для многихъ отраднымъ явленіемъ не потому, что какъ нибудь бичевалъ и поражалъ революціонныя стремленія, грозящія нарушить порядокъ и наше спокойствіе, а потому, что умѣлъ сочувствовать самымъ высокимъ, чисто духовнымъ инте-

ресахъ русскихъ людей; въ его словахъ обнаруживалось религиозное настроеніе, преданность ученію Христа и православію; онъ благоговѣлъ передъ нравственными силами и идеалами народа, не только вѣрилъ въ народъ, а любилъ его, какъ родную почву, какъ родныхъ людей; наконецъ, ему дорого было наше государственное могущество, наше единство и его политическія задачи, ради которыхъ издавна и всегда русскіе люди такъ много жертвовали и готовы жертвовать. Вотъ что дѣлало его дорогимъ для людей, видѣвшихъ и слышавшихъ каждый день, какъ оскорбляются словесъ и дѣломъ самые святыя для нихъ предметы. Но всего меньше можно принять Достоевскаго за обличителя, толковать его писанія въ смыслъ обличеній,—т. е. употреблять излюбленный манѣвръ, къ которому прибѣгаетъ наша критика въ затруднительныхъ случаяхъ. Такое толкованіе было-бы прямымъ извращеніемъ дѣла. Съ самаго начала, съ „Бѣдныхъ Людей“, онъ выступилъ съ мыслью, которая несравненно выше обличенія и отвергаетъ обличеніе, какъ слишкомъ узкую точку зрѣнія. Онъ сталъ доказывать, что всякимъ несчастнымъ, всякимъ „униженнымъ и оскорбленнымъ“ нужно сочувствовать не потому лишь, что они терпятъ страданія, что судьба искажаетъ ихъ, ломаетъ, уродуетъ, а напротивъ потому, что они бываютъ прекрасны, что въ ихъ душахъ иногда проявляются лучшія человѣческія черты, что искра Божія въ нихъ не гаснетъ; слѣдовательно, что нужно не только сожалѣть и горевать объ нихъ, а нужно ихъ *любить*. На эту тему онъ писалъ отъ начала до конца; весь мракъ и ужасъ, который онъ захватилъ въ свои картины, служитъ ему для того, чтобы показать тотъ свѣтъ, который горитъ въ этомъ мракѣ. Обличенія въ обыкновенномъ смыслѣ, то есть, обличенія среды, обстоятельствъ, строя общества и т. п., тутъ никакъ не выйдеть; скорѣе выйдеть иногда старинная мысль, что страданіе очищаетъ душу, а счастье ее портитъ. Но во всякомъ случаѣ выйдеть постоянная проповѣдь любви, постоянный призывъ къ тому, чтобы мы въ забытыхъ, искаженныхъ существахъ умѣли видѣть и любить своихъ братьевъ.

Не нужно забывать притомъ, что Достоевскій умеръ неожиданно, умеръ тогда, когда его голосъ сталъ раздаваться всего чаще и всего громче. Это была не смерть заслуженнаго литератора, на покоѣ доживающаго свои дни, а смерть журналиста, застигшая его наканунѣ выпуска горячаго номера. Популярность его росла въ послѣдніе годы съ удивительною быстротою, и онъ умеръ въ минуту этого быстро нарастанія. Поэтому пробѣлъ, образовавшійся въ литературѣ, былъ живо всѣми почувствованъ, утрата была явная, поразительная. Его „Дневникъ“ и по своему внутреннему вѣсу и по внѣшнему вліянію на читателей, конечно, равнялся цѣлому

толстому журналу, самому популярному и живому. Въ послѣдніе годы Достоевскій приобрѣлъ стариковскую увѣренность и твердость въ писаніи, выступалъ съ настоящимъ авторитетнымъ тономъ, простымъ и живымъ, и поэтому производилъ могущественное впечатлѣніе. Точно такъ и его романы всегда стояли въ первомъ ряду художественныхъ произведеній текущей литературы, были выдающимися ея явленіями. Размѣры-же всей этой дѣятельности были необыкновенны; никто еще изъ нашихъ крупныхъ писателей не писалъ такъ много. Поэтому понятно, что для многихъ читателей со смертью Достоевскаго сошла въ могилу огромная доля, чуть не половина наличной литературы.

Подумайте сверхъ того, сколько было людей, для которыхъ эта утрата была незамѣнима. Достоевскій не былъ просто *частью* петербургской литературы; скорѣе онъ былъ ея *противоположью*, контрастомъ этой литературы. Онъ и вообще не былъ поклонникомъ минуты, не плылъ по вѣтру, а всегда былъ писателемъ независимымъ, слѣдовалъ своимъ собственнымъ мыслямъ. Но меньше всего онъ потворствовалъ какому нибудь модному направленію, ходячему литературному настроенію; напротивъ, онъ объявилъ себя ихъ врагомъ, онъ открыто преклонялся передъ началами, которыя для нашей интеллигенціи только „соблазнъ и безуміе“. Свою преданность искусству, свою любовь къ народнымъ началамъ, свое отвращеніе къ язвамъ Европы, свою вѣру въ безсмертіе души, свою религіозность, все это онъ смѣло и настойчиво проповѣдывалъ, и всего смѣлѣе и настойчивѣе въ ту минуту, когда его настигла смерть. И такъ не мода, не заднія мысли собрали ту огромную толпу, которая шла за его гробомъ.

Въ этой толпѣ особенно важно и полно смысла появленіе множества молодыхъ людей. Проповѣдникъ любви и прощенія сдѣлался имъ дорогъ потому, что онъ, жарко нападавъ на ихъ заблужденія, жалѣлъ самихъ заблуждающихся, умѣлъ понимать ихъ и указывать имъ выходъ на другую дорогу. Тутъ были вѣроятно и нераскаянные, но непремѣнно были и *кающіеся нигилисты*, то есть люди, дающіе намъ надежду на исцѣленіе отъ этого великаго зла. Что касается до самого покойника, то въ немъ эта надежда горѣла постоянно. Онъ вѣрилъ, что трудился для началъ спасительныхъ, животворныхъ и радовался своимъ успѣхамъ, и трудился неутомимо. Мнѣ рѣдочно вспомнить, что въ послѣдніе годы и даже передъ самою его смертью я выражалъ ему свое удивленіе передъ его дѣятельностію, говорилъ ему, что онъ дѣлаетъ чудеса и что нельзя не восхищаться огромными успѣхами такой прекрасной проповѣди. Зная настроеніе петербургской публики и литературы, я не могъ не придавать великаго значенія той жадности, съ которою расхватывался „Дневникъ Писателя“. Поэтому

похороны хотя очень удивили и меня, но все же не такъ, какъ многихъ другихъ. И я думаю, смыслъ ихъ болѣе или менѣе понятенъ былъ только тому, кто сохранилъ въ себѣ слѣды патріотическаго и религіознаго духа. Этотъ духъ еще силенъ неизмѣримо; онъ еще проявляется при каждомъ удобномъ случаѣ, хотя болѣею частію чувствомъ, а не мыслию, дѣломъ, а не словомъ. Если-же окажется надобность въ полномъ его напряженіи, то тѣ, кто не чуждъ этого духа, хорошо знаютъ, что передъ нимъ ничто не устоитъ и разлетится, какъ пустая шелуха, всѣ труды и созиданія его противниковъ.

Н. Страховъ.

Вотъ нѣсколько телеграммъ, полученныхъ Анною Григорьевною:

Сергіевскій посадъ, 31 января 5 час. дня.

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Жгучею болью отозвалась въ сердцахъ нашихъ вѣсть о смерти глубоко уважаемаго нами супруга вашего. Позвольте-же намъ раздѣлить съ вами великое горе свое. Прискорбно и больно видѣть намъ смерть эту, отнявшую у Россіи труженика, печальника и доброй души человѣка. Жалка потеря дѣятеля, который радовался радостями русскаго народа и страдалъ его страданіями, который носилъ въ сердцѣ своемъ тяготы алчущихъ, жаждущихъ, униженныхъ и оскорбленныхъ, который любилъ свою родину истинною любовью. Онъ любилъ не идеализированную Русь, а Русь со всѣми ея слабостями и недостатками. Будучи далекимъ отъ того, чтобы восторгаться идеальными совершенствами русской жизни и русскаго народа, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ далекъ былъ и отъ намѣренія бросать грязью въ эту жизнь и въ этотъ народъ. Въ самыхъ невылазныхъ болотахъ русской жизни и русскаго быта онъ старался находить драгоцѣнную жемчужину широкой доброй русской души и дѣйствительно находилъ ее. Самая даже маленькая черточка образа Божія въ человѣкѣ дорога была ему, потому что она являлась для него залогомъ лучшаго будущаго, возможныхъ лучшихъ отношеній между людьми. Жалка намъ потеря общаго друга, который имѣлъ столь всеобъемлющее и любвеобильное сердце, что способенъ былъ примирить съ собою самыхъ разномыслящихъ людей, что почти всѣхъ ихъ заставлялъ подать ему руку. Больно и горько намъ видѣть смерть истинно-русскаго человѣка, который всѣхъ больше понималъ

душу и сердце своего народа, и уже поэтому болѣе другихъ способенъ былъ указать ему его истинный идеалъ.

Почившій о Божѣ любимецъ нашъ! Ты самъ совѣтовалъ намъ повторять всегда: упокой, Господи, всѣхъ усопшихъ. Въ этотъ день съ великою скорбію мы принимаемъ теперь эти слова твои къ тебѣ-же самому. Миръ праху твоему, честный труженикъ на русской нивѣ! Да будетъ тебѣ, добрый человекъ, любовь Божія на небесахъ наградою за любовь твою къ братьямъ о Христѣ!

Отъ лица всѣхъ студентовъ Московской Духовной Академіи

Иванъ Яхонтовъ.

Харьковъ, 31 января 1881 г.

Харьковцы глубоко поражены смертью незабвеннаго Федора Михайловича. Завтра въ унивеуситетской церкви соберется почтить его память

Сыхра.

Тверь, 1 февраля 12 ч. 10 м. дня.

Почитатели таланта усопшаго супруга вашего, служащіе тверской гимназіи и реального училища, помолившись за упокой души его, шлютъ вамъ глубокое сочувствіе къ поразившему васъ горю и выражаютъ сожалѣніе объ утратѣ, постигшей васъ и всю Россію, лишившуюся въ лицѣ Федора Михайловича глубокаго русскаго мыслителя и истиннаго патриота.

Протоіерей Первухинъ, Геречанъ, Федоровъ, Львовъ, Кирсикъ, Голейшовскій, Шмелевъ, Крыловъ, Крупаръ, Горнманъ, Одинцовъ, Кизимъ, Розовъ, Некрасовъ.

Харьковъ, 1 февраля 2 ч. 59 м. дня.

Позвольте выразить вамъ сочувствіе къ вашему личному горю, близкому также всѣмъ намъ. Мы, учительницы женской воскресной школы въ Харьковѣ, со всѣми нашими ученицами возвратились сейчасъ съ панихиды, на которой молились о незабвенномъ Федорѣ Михайловичѣ. Панихида происходила въ университетской церкви при огромномъ стеченіи народа. Уважаемый профессоромъ Бекетовымъ была произнесена прочувствованная рѣчь, вызвавшая слезы.

Алевская.

Старая Русса, 2 февраля 1881 г.

Старорусское городское общество, считая въ числѣ своихъ согражданъ великаго писателя и человѣка, супруга вашего, Федора Михайловича Достоевскаго, сегодня въ общемъ составѣ въ городскомъ соборѣ молилось о немъ и скорбь свою о потерѣ его считаетъ долгомъ выразить предъ вами искреннимъ своимъ сочувствіемъ.

Городской голова Иванъ Дьячковъ.

Кронштадтъ, 3 февраля 1881 г.

Анна Григорьевна! Ученики старшихъ классовъ Кронштадтской классической гимназіи, возвратившись только что съ панихиды по незабвенному супругу вашему, Федорѣ Михайловичѣ, единогласно рѣшили выразить вамъ свое искреннее душевное сочувствіе въ понесенной вами утратѣ. Вѣримъ, что утрата эта самою жгучею болью отозвалась въ вашемъ сердцѣ, но повѣрьте и вы, Анна Григорьевна, что смерть того, кто цѣлую жизнь ратовалъ за человѣческія права „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, смерть того не можетъ не сжать болѣзненно сердца всякаго русскаго человѣка, не испорченнаго, не искалѣченнаго и угнѣждаемаго еще молодо и горячо сочувствовать всему честному, всему искреннему. Память о томъ человѣкѣ, который еще нѣсколько дней до смерти такъ горячо вѣрилъ въ подрастающее молодое поколѣніе, кто училъ прощать его увлеченія и сочувствовать его стремленіямъ, кто предсказывалъ ему свѣтлую дорогу труда и чести, кто осѣнялъ эту дорогу примѣромъ своей безукоризненной жизни, память о томъ человѣкѣ не умретъ въ сердцахъ русской молодежи, въ сердцахъ нашихъ. А кончая нашъ жизненный путь, мы научимъ дѣтей нашихъ уважать и любить того, кончину кого мы сами такъ горько и безутѣшно оплакиваемъ. И мы вѣримъ, что наши дѣти поймутъ насъ.

Отъ лица трехъ старшихъ классовъ, воспитанникъ *М. Кольцовъ.*

Саратовъ, 7 февраля 1881 г.

Кружокъ саратовскихъ литераторовъ вмѣстѣ съ издателями и редакторами газетъ: „Саратовскій Листокъ“, „Волга“, „Дневникъ“ и „Губернскія Вѣдомости“, чтя память великаго нашего писателя Федора Ми-

хайловича Достоевскаго, шлеть вамъ выраженіе глубокаго сожалѣнія о потерѣ вашей и всей мыслящей Россіи.

Ф. М. Достоевскій, Илья Саловъ, Михаилъ Поповъ, Петръ Лебедевъ, Леонидъ Бюммеръ, Иванъ Ларионовъ, Ананій Куцъ, Иванъ Горизонтовъ, Сергій Гусевъ, Федоръ Соколовъ, Александръ Кулаковъ, Юреневъ, Редакторъ „Воли“ Дмитрій Авксентьевъ.

Одесса, 8 февраля 1881 г.

Просимъ передать вдовѣ Федора Михайловича Достоевскаго. Одесское Славянское Общество въ сегодняшнемъ торжественномъ собраніи постановило высказать телеграммою сочувствіе ея горю и свою скорбь о потерѣ милаго, добраго, хорошаго русскаго мыслителя.

Предсѣдатель Бухтеевъ.

Казань, 9 февраля 1881 г.

Любвеобильное сердце усопшаго Федора Михайловича чистой и горячей любовью билось и къ бѣднымъ дѣтямъ. Совѣтъ Казанскаго общества земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ приютовъ, принявшій на себя тяжелую, но святую заботу нравственнаго перевоспитанія и исправленія несчастныхъ дѣтей, не можетъ не чтить его свѣтлой памяти и виѣсть съ вами и всей Россіей не оплакивать тяжелой потери. Примите выраженіе и нашей скорби къ постигнутому всѣхъ горю.

Предсѣдатель Молоствовъ. Члены совѣта: Профессоръ Осокинъ, Николаи, Юшковъ, Петръ Куріиловъ, Сергій Ивановъ, Моисей Струзеръ, Петръ Месетниковъ, смотритель Злобинъ.

ПИСЬМА Ф. М. ДОСТОВЕВСКАГО

КЪ РАЗНЫМЪ ЛИЦАМЪ.



С.-Петербургъ. Юля 23 дня 1837 г.

Любезнѣйшій Папенька!

Сегодня суббота и мы, слава Богу, имѣемъ время вамъ написать хоть нѣсколько строкъ: такъ мы заняты въ продолженіи всего времени. Вотъ уже близко къ сентябрю, а вмѣстѣ съ этимъ и къ экзаменамъ, и мы не можемъ потерять ни минуты въ недѣлю. Только въ субботу и въ воскресенье мы бываемъ свободны, т. е. Коронадъ Филипповичъ намъ ничего не показываетъ въ эти дни; а слѣдовательно только теперь смыкали время поговорить съ Вами письменно.

Математика и науки идутъ теперь у насъ своимъ чередомъ; также фортификація и артиллерія. По воскресеньямъ и субботахъ мы чертимъ планы и рисунки. Почти каждый день занимается со всѣми Коронадъ Филипповичъ, а съ нами двоими и особенно, потому что изъ всѣхъ, у него приготовляющихся, только мы хотимъ вступить во 2-й классъ, а всѣ прочіе въ низшій. Коронадъ Филипповичъ на насъ надѣется болѣе нежели на всѣхъ 8-рыхъ, которые у него приготовляются. Скоро мы начнемъ учиться фронту у унтеръ-офицера, котораго пригласилъ Коронадъ Филипповичъ, и займемся этимъ до самаго вступленія, т. е. до декабря мѣсяца. На фронтъ чрезвычайно смотрятъ и хотъ знай все превосходно, то за фронтомъ можно попасть въ низшіе классы. И притомъ этимъ однимъ мы можемъ выиграть у Его Высочества Михаила Павловича. Онъ чрезвычайный любитель порядка. И такъ судите-же сколько мы должны этимъ заняться, не смотря на то, что послѣ сентябрьскаго экзамена всѣ должны ходить въ Инженерный замокъ учиться фронту.— Что-то будетъ? Теперь одна надежда на Бога. Мы не прекинемъ приложить все свое старанье.

Теперь у васъ идетъ въ деревнѣ уборка хлѣба, а это, какъ мы знаемъ, самое любимое для Васъ занятіе; мы не знаемъ каковъ-то въ вашей сторонѣ урожай, какова-то у васъ погода? Что касается до петер-

бургской, то у насъ прелестнѣйшая, итальянская. — Съ Шидловскимъ мы еще не видались и слѣдовательно не могли ему отдать Вашего поклона.

Что-то подѣлываютъ въ деревнѣ наши братцы и сестрицы? Всѣ должно быть до-сыта нагулялись, набѣгались, налагомились ягодами и загорѣли. Сашенька, думаемъ, чрезвычайно какъ подросла; ей полезень свѣжій воздухъ. Варенька, навѣрно, что нибудь руководъничаетъ и вѣрно ужъ не позабываетъ заниматься науками и прочитывать Русскую Исторію Карамзина. Она намъ это обѣщала. Что касается до Андриуши, то навѣрно онъ и среди удовольствій деревни не позабываетъ исторію, которую онъ бывало и частенько мнѣ плохо зналъ. Осенью вы повезете его повидимому въ Москву къ Чермаку на порожнее мѣсто. — Такъ! Еще долго Вамъ будетъ пешись о воспитаніи дѣтей: насъ у Васъ много. Судите же какъ мы должны просить Бога о сохраненіи Вашего драгоценнаго для насъ здоровья.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и преданностью пребываемъ васъ сердечно любяще.

Михаилъ и Федоръ Достоевскіе.

Поцѣлуйте за насъ всѣхъ братцевъ и сестрицъ.

С.-Петербургъ. Сентября 6 дня 1837 г.

Любезнѣйшій Папенька!

Долго мы не писали къ Вамъ и наше долгое молчанье, должно быть, приносить Вамъ не мало безпокойства, а особливо въ такихъ обстоятельствахъ. — Мы теперь только нашли время увѣдомить Васъ; такъ заняты; экзаменъ близко, безпрестанныя приготовленія; все совершенно сбиваетъ съ толку.

1-го сентября, какъ объявлено было въ программѣ отъ Инженернаго Училища, мы должны быть представлены въ замокъ. Мы явились всѣ въ назначенный срокъ и были представлены Коронадомъ Филипповичемъ инспектору Ломновскому и генералу Шарнгорсту, главному начальнику Инженернаго Училища. Генералъ обошелся со всѣми ласково и всѣмъ приказано быть въ готовности; ибо насъ довольно часто будутъ призывать въ Инженерное Училище. Такая скука! Вотъ сейчасъ пришла бумага отъ генерала къ Коронаду Филипповичу, чтобы насъ всѣхъ представили въ Инженерное Училище. Не знаю для чего. Кажется, для аттестатовъ, ибо генералъ приказалъ принести аттестаты отъ пражскихъ заведеній, гдѣ

кто находился. — Насилу дождались главнаго экзамена, который назначень 15-го числа. — Всѣхъ кандидатовъ 43. Мы такъ рады, что такъ мало. Прошлаго года было 120, а въ прежніе года 150 и болѣе. И ученики Костомар. всегда были изъ первыхъ. Что же нынѣ, когда такъ мало! Правда, комплектъ есть 25, но, кажется, довольно забракують, ибо все, повидиному, пустыя люди, и всѣ въ четвертый классъ. Они, повидиному, чрезвыч. боятся учениковъ Костомарова. — Всѣмъ намъ такое уваженіе. Что-то дальше?

Уже долго и мы объ васъ не имѣли никакого извѣстія. Но мы и утруждать не смѣемъ Васъ въ вашихъ занятіяхъ. — Это письмо придетъ къ Вамъ въ то время, когда уже будетъ рѣшаться наша участь, т. е. будетъ настоящій экзаменъ. — Въ будущемъ письмѣ постараемся увѣдомить обо всемъ. Теперь наши занятія утроились. Самое время не посѣваеъ за нами. Всегда за книгой. Ждемъ не дождемся экзамена. Теперь пишу къ вамъ на почтовыхъ. Сколько дѣлъ послѣ письма. Не больше $\frac{1}{4}$ часа я писалъ къ Вамъ его. Еще скажу Вамъ, что принуждены были купить новыя шляпы къ экзамену. Это намъ обошлось въ 14 руб. Съ Шидловскимъ мы не видались долгое время. Только нынче провели съ нимъ часъ въ Казанскомъ соборѣ. — Намъ это хотѣлось давно, особенно передъ экзаменомъ. Шидловскій и Коронадъ Фил. Вамъ кланяются. Прощайте до будущаго письма. Честь имѣемъ пребыть всегда Васъ любящіе сыновья

Михаилъ и Федоръ Достоевскіе.

10 мая 1839 г.

Странно: эти глупыя обстоятельства моей теперешней жизни много лишаютъ меня. — Я на 5 дней долженъ былъ удержать послышку письма моего. Парадъ былъ отложенъ до 10 мая. Я хотѣлъ сдѣлать вамъ эту присылку, и вѣрите-ли, любезнѣйшій Папенька, мнѣ не удавалось за фронтонныя ученіемъ (которыя насъ мучать) и за экзаменами. — Теперь пишу къ Вамъ на почтовыхъ.

Милый, добрый Родитель мой! Неужели Вы можете думать, что сынъ Вашъ, прося отъ Васъ денежной помощи, проситъ у Васъ лишняго. — Богъ свидѣтель, ежели я хочу сдѣлать Вамъ хоть какое бы то ни было лишеніе, не только изъ моихъ выгодъ, но даже изъ необходимости. — Какъ горько то одолженіе, которыя тяготятся мои кровные. У меня есть голова, есть руки. Будь я на волѣ, на свободѣ, отдамъ самому себѣ, а бы не требовалъ отъ Васъ копѣйки; я обжился бы съ желѣзной нуждою.

Стыдно было бы тогда мнѣ и заикнуться о помощи. — Теперь я Вамъ высказываю себя одними обѣщаньями въ будущемъ; но это будущее недалеко и Вы со временемъ увидите. —

Теперь же, любезн. Папенъка, вспомните, что я *служу* въ полномъ смыслѣ слова. — Волей или неволей, а я долженъ сообразоваться вполне съ уставами моего теперешняго общества. — Къ чему же дѣлать исключенье собою? — Подобныя исключенія подвергаютъ иногда ужаснымъ неприятностямъ. Вы сами это понимаете, любезный Папенъка. Вы жили съ людьми. — Теперь: лагерная жизнь каждаго воспитанника военно-учебныхъ заведеній требуетъ по крайней мѣрѣ 40 р. денегъ. (Я вамъ пишу все это потому, что я говорю съ отцомъ моимъ). — Въ эту сумму я не включаю такихъ потребностей, какъ на примѣръ: имѣть чай, сахаръ и проч. Это и безъ того необходимо, и необходимо не изъ одного приличія, а изъ нужды. Когда вы мокнете въ сырую погоду подъ дождемъ въ полотняной палаткѣ, или въ такую погоду, прійдя съ ученья усталый, озябшій, безъ чаю, можно заболѣть, что со мною случилось прошлаго года на походѣ. — Но всетаки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимаго на 2 пары простыхъ сапоговъ 16 р. — Теперь мои вещи: книги, сапоги, перья, бумага и т. д. и т. д. должны же лежать гдѣ нибудь. Для этого я долженъ имѣть сундукъ, ибо въ лагеряхъ нѣтъ никакихъ строеній, кромѣ палатокъ. Койки наши — это куча соломы, покрытая простынею. Спрашивается, не имѣя сундука, куда я положу все это. — Нужно знать, что казна не заботится, нужно-ли мнѣ мѣсто или нѣтъ; не заботится, имѣю-ли я сундукъ. Ибо экзамены кончатся; слѣд. книги не нужны; казна одѣваетъ меня, слѣд. сапоги не нужны и т. д.. Но безъ книгъ какъ я проведу время? 3-хъ паръ казенныхъ сапогъ не станеть и въ городѣ на полгода! — Слѣд. мнѣ нѣтъ казеннаго мѣста поставить сундука, который необходимъ для меня. Въ палаткѣ общей я стѣсно товарища, слѣд. сдѣлаю неприятность другимъ, да и мнѣ просто не позволять держать сундукъ въ палаткѣ, ибо никто въ палаткѣ не держитъ; слѣд. для моей поклажи я долженъ буду имѣть мѣсто. Мѣсто я найду уговорившись (какъ всѣ дѣлають) съ какимъ нибудь изъ солдатъ-служителей нашихъ поставить сундукъ мой. За это надобно заплатить. Слѣд. за покупку сундука по крайней мѣрѣ цѣльковый.

За провозъ туда и сюда. 5 цѣльковыхъ.

За мѣсто. 2 "

За чистку мнѣ сапоговъ. 5 "

Это условная такса съ служителемъ. — Въ городѣ дѣло другое, а въ

лагерѣ имъ должно платить за каждый шагъ ихъ. А начальство не входитъ въ это.

Теперь:

16
3, 75.
5
7 (2 цѣлковыхъ)
5
36 или около 40.

(За отсылку писемъ, за перья, бумагу и т. д.)

Я сберегъ отъ вашей посылки 15 р. — Вы видите, любезный Паленька, что мнѣ крайне необходимо пужни 25 р. еще. Въ первыхъ числахъ іюня мы выйдемъ въ лагеря. И такъ пришлите мнѣ эти деньги къ 1-му іюня, ежели Вамъ хочется помочь Вашему сыну въ ужасной пуждѣ. Не смѣю требовать; не требую излишняго, но благодарность моя будетъ безпредѣльна. Письмо адресуйте опять на имя Шидловскаго.

Прощайте мой любезный Паленька.

Вашъ весь, весь

Ф. Достоевскій.

С.-Петербургъ. Августа 9 дня. 1838 г.

Братъ!

Какъ удивило меня письмо твое, любезный братъ: неужели же ты не получилъ отъ меня ни полстрочки; я тебѣ со времени отъѣзда твоего переслалъ 3 письма: 1-ое вскорѣ послѣ твоего отъѣзда; на 2-ое не отвѣчалъ потому, что не было ни копѣйки денегъ (я не бралъ у Меркуровыхъ). Это продолжалось до 20 іюля когда я получилъ отъ Паленьки 40 руб. И наконецъ недавно 3-е. — Слѣд. ты не можешь похвалиться, что не забывалъ меня и писалъ чаще. Слѣд. и я былъ всегда вѣренъ своему слову. Правда я лѣнивъ, очень лѣнивъ. Но что же дѣлать, когда мнѣ осталось одно въ мірѣ: дѣлать непрерывный кейфъ! Не знаю стихнуть-ли когда мои грустныя идеи? Одно только состоянье и дано въ удѣлъ человѣку: атмосфера души его состоитъ изъ сліянья неба съ землею; какое-же противузаконное дѣла человѣкъ; законъ духовной природы нарушень... Мнѣ кажется, что міръ нашъ — чистилище духовъ небесныхъ,

отуманенных грѣшною мыслию. Мнѣ кажется, міръ принялъ значенье отрицательное и изъ высокой, изящной духовности вышла сатира. Попадись въ эту картину лицо, не раздѣляющее ни эффекта, ни мысли съ цѣлымъ, словомъ совсѣмъ постороннее лицо, что-жь выйдетъ? Картина испорчена и существовать не можетъ!

Но видѣть одну жесткую оболочку, подъ которой томится вселенная, знать что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться съ вѣчностью, знать и быть какъ послѣднее изъ созданий... Ужасно! Какъ малодушенъ человекъ! Гамлетъ! Гамлетъ! Когда я вспомню эти бурныя, дикія рѣчи, въ которыхъ звучитъ стenanье оцѣпенѣлаго міра, тогда ни грустный ропотъ, ни укоръ не сжимаютъ груди моей... душа такъ подавлена горемъ, что боится понять его, чтобы не разтерзать себя. Разъ Паскаль сказалъ фразу: кто протестуетъ противъ философіи, тотъ самъ философъ. Жалкая философія!

Но я заблтался. Изъ твоихъ писемъ я получилъ только 2 (кромѣ послѣдняго). Ну, братъ! ты жалуешься на свою бѣдность. Нечего сказать и я не богатъ. Вѣришь-ли, что я во время выступленія изъ лагерей не имѣлъ ни копѣйки денегъ; заболѣлъ дорогою отъ простуды (дождь лилъ цѣлый день, а мы были открыты) и отъ голода и не имѣлъ ни гроша, чтобъ смочить горло глоткомъ чаю. Но я выздоровѣлъ и въ лагерѣ участь моя была самая бѣдственная до полученія папенькиныхъ денегъ. Тутъ я заплатилъ долги и издержалъ остальное. Но описаніе твоего состоянія превосходить все. — Можно-ли не имѣть 5 копѣекъ; *нитаться* Богъ знаетъ чѣмъ и лакомымъ взоромъ ощущать всю сладость прелестныхъ ягодъ, до которыхъ ты такой охотникъ! Какъ мнѣ жаль тебя! Спросишь чтò стало съ Меркуровыми и деньгами твоими? А вотъ чтò: я бывалъ у нихъ нѣсколько разъ послѣ твоего отъѣзда. Потомъ я не могъ быть потому, что отсиживалъ. Въ крайности я послалъ къ нимъ, но они прислали такъ мало, что мнѣ стало стыдно просить у нихъ. Тутъ я получилъ на мое имя письмо къ нимъ отъ тебя. У меня ничего не было и я рѣшился просить ихъ вложить мое письмо въ ихнее. Ты же, какъ видно, не получалъ ни котораго. — Кажется, они не писали къ тебѣ. Передъ лагерями (не имѣя денегъ прежде отослать, давно приготовленное Папенькѣ письмо) я обратился къ нимъ съ просьбою прислать мнѣ хоть что нибудь; они прислали мнѣ всѣ наши вещи, но ни копѣйки денегъ, и не написали отвѣта; я сѣлъ какъ ракъ на мели! Изъ всего я заключилъ, что они желаютъ избавиться отъ докучныхъ требованій нашихъ. Хотѣлъ объясниться въ письмѣ съ ними, но я отсиживаю послѣ лагеря, а они сѣхали съ прежней квартиры. Знаю домъ, гдѣ они квартируютъ, но не знаю адреса.

Его я *сообщу* тебѣ послѣ. Но давно пора пережвигнуть матерію разговора. Ну, ты хвалишься, что перечиталъ много... но прошу не воображать, что я тебѣ завидую. Я самъ читалъ въ Петергофѣ по крайней мѣрѣ не меньше твоего. Весь Гофманъ русскій и нѣмецкій (т. е. непереуведенный Котъ Муръ), почти весь Бальзакъ (Бальзакъ великъ! Его характеры — произведенія ума вселенной! Не духъ времени, но цѣлыя тысячелѣтія приготовили бореньемъ своимъ такую развязку въ душѣ человѣка). Фаустъ Гете и его мелкія стихотворенія, Исторія Полеваго, Уголино, Ундина (объ Уголино напишу тебѣ кой что послѣ). Также Викторъ Гюго кромя Кромвеля и Гернани.

Теперь прощай. Пиши же, сдѣлай одолженіе, утѣшь меня и пиши какъ можно чаще. — Отвѣчай немедля на это письмо. Я рассчитываю получить отвѣтъ черезъ 12 дней. — Самый долгій срокъ! Пиши же, или ты меня замучаешь.

Твой братъ

Ф. Достоевскій.

У меня есть прожектъ: сдѣлаться сумасшедшимъ. Пусть люди бѣсятся, пусть дѣлаютъ, пусть дѣлаютъ умнымъ. — Ежели ты читалъ всего Гофмана, то навѣрно помнишь характеръ Альбана. Какъ онъ тебѣ правится? Ужасно видѣть человѣка, у котораго во власти непостижимое, человѣка, который не знаетъ что дѣлать ему, играетъ игрушкой, которая есть — Богъ! —

Часто ли ты пишешь къ Куманинымъ? И напиши, не сообщая ли тебѣ Кудравцевъ что нибудь о Чернакѣ. Ради Бога пиши и объ этомъ: мнѣ хочется знать объ Андрюшѣ.

Но послушай, братъ. Ежели наша переписка будетъ идти такимъ образомъ, то, кажется, лучше не писать. Условимся же писать черезъ недѣлю каждую субботу другъ къ другу, это будетъ лучше. Я получилъ еще письмо отъ Шренка и не отвѣчалъ ему 3 мѣсяца. Ужасно! Вотъ что значитъ нѣтъ денегъ!

С.-Петербургъ. 1838 года 31 октября.

О, какъ долго, какъ долго я не писалъ къ тебѣ, милый мой братъ... Скверный экзаменъ! Онъ задержалъ меня писать къ тебѣ, Паленькѣ и видѣться съ Иваномъ Николаев. и что же вышло? Я не переведенъ! О, ужасъ! Еще годъ, цѣлый годъ лишній! Я бы не бѣсился такъ, ежели бы не зналъ что подлость, одна подлость низложила меня; я бы не жалѣлъ

ежели бы слезы бѣднаго отца не жгли души моей. До сихъ поръ я не зналъ что значить оскорбленное самолюбіе. — И бы краснѣлъ, ежели бы это чувство овладѣло мною... но знаешь? Хотѣлось бы раздавить весь міръ за одинъ разъ... Я потерялъ, убилъ столько дней до экзамена, заболѣлъ, похудѣлъ, выдержалъ экзамень отлично въ полной силѣ и объемѣ этого слова и остался... Такъ хотѣлъ одинъ преподающій (алгебры), которому я нагрубилъ въ продолженіи года и который нынче имѣлъ подлость напомнить мнѣ это, объясняя причину отчего остался я... При 10-и полныхъ я имѣлъ $9\frac{1}{2}$ среднихъ, и остался... Но въ чорту все это. — Терпѣть такъ терпѣть... Не буду тратить бумаги, а что-то рѣдко разговариваю съ тобой.

Другъ мой! Ты философствуешь какъ поэтъ. И какъ не ровно держиваетъ душа градусъ вдохновенья, такъ не ровна, не вѣрна и твоя философія. Чтобъ больше *знать*, надо меньше *чувствовать* и обратно, правило опрометчивое, бредъ сердца. — Что ты хочешь сказать словомъ *знать*? Познать природу, душу, Бога, любовь... это познается сердцемъ, а не умомъ. Ежели бы мы были духи, мы бы жили, носились въ сферѣ той мысли, надъ которою носится душа наша, когда хочетъ разгадать ее. Мы же, прахъ, люди, должны разгадывать, но не можемъ объять вдругъ мысли. Проводникъ мысли съвозъ брѣнную оболочку въ составъ души есть *умъ*. Умъ способность матеріальная... душа же или духъ живетъ мыслию, которую напечатываетъ ей сердце... Мысль зарождается въ душѣ. Умъ — орудіе, машина, движимая огнемъ душевнымъ... При томъ (2-я статья) умъ человѣка, увлекшись въ область знаній, дѣйствуетъ независимо отъ *чувства*, слѣд. отъ *сердца*. Ежели же цѣль познанія будетъ любовь и природа, тутъ открывается чистое поле *сердцу*... Не стану съ тобою спорить, но скажу, что не согласенъ въ мнѣнїи о поэзіи и философіи... Философію не надо полагать простой математической задачей, гдѣ неизвѣстное — природа!.. Замѣть, что поэтъ въ порывѣ вдохновенья разгадываетъ Бога, слѣд. исполняетъ назначеніе философіи. Слѣд. поэтической восторгъ есть восторгъ философіи... Слѣд. философія есть та-же поэзія, только высшій градусъ ея!.. Странно, что ты мыслишь въ духѣ нынѣшней философіи. Сколько безтолковыхъ системъ ея родилось въ умныхъ пламенныхъ головахъ; чтобы вывести вѣрный результатъ изъ этой разнообразной кучи надобно подвести его подъ математическую формулу. — Вотъ правила нынѣшней философіи... Но я замечтался съ тобою... Не допуская твоей вялой философіи, я допускаю однакожь существованіе вялаго выраженія ея, которымъ я не хочу утомлять тебя...

Братъ, грустно жить безъ надежды... Смотрю впередъ и будущее меня ужасаетъ... Я пошусь въ какой-то холодной, полярной атмосферѣ, куда не заползала лучъ солнечный... Я давно не испытывалъ взрывовъ вдохновенья... зато часто бываю и въ такомъ состояніи, какъ, помнишь, Шильонскій Узникъ послѣ смерти братьевъ въ темницѣ... Не залетить ко мнѣ райская птичка поэзіи, не согрѣеть охладѣлой души... Ты говоришь, что я скретенъ; но вотъ уже и прежнія мечты мои меня оставили и мои чудныя арабески, которыя создавалъ я нѣкогда, сбросили позолоту свою. Тѣ мысли, которыя лучами своими зажигали душу и сердце, нынче лишились пламени и теплоты, или сердце мое очерствѣло, или... Дальше ужасаюсь говорить... Мнѣ страшно сказать, ежели все прошлое было одинъ золотой сонъ, кудрявыя грезы...

Братъ, я прочелъ твое стихотвореніе... Оно выжало нѣсколько слезъ изъ души моей и убаюкало на время душу пріятнымъ напентомъ воспоминаній. Говоришь, что у тебя есть мысль для драмы... Радуюсь... Пиши ее... О, ежели бы ты лишенъ былъ и послѣднихъ крохъ съ райскаго пира, тогда чтò тебѣ оставалось бы... Жаль, что я прошлую недѣлю не могъ увидѣться съ Иваномъ Николаевъ., боленъ былъ! — Послушай! Мнѣ кажется, что слава такъ же содѣйствуетъ вдохновенью поэта. Байронъ былъ згоиствъ; его мысль о славѣ была ничтожна, суетна... Но одно помншенье о томъ, что нѣкогда велѣдъ за твоимъ былымъ восторгомъ вырвется изъ праха душа чистая, возвышенно-прекрасная, мысль, что вдохновенье, какъ таинство небесное, освятить страницы, надъ которыми плакалъ ты и будетъ плакать потомство, не думаю, чтобы эта мысль не закрадывалась въ душу поэта и въ самыя минуты творчества. — Пустой же крикъ толпы ничтоженъ. Ахъ! Я вспомнилъ 2 стиха Пушкина, когда онъ описываетъ толпу и поэта:

И плыветъ (толпа) на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ!..

Не правда-ли прелестно! Прощай. Твой другъ и братъ

О. Достоевскій.

Да! Напиши мнѣ главную мысль Шатобрианова сочиненья *Genie du Christianisme*. — Недавно въ „Сынѣ Отечества“ я читалъ статью критика Низара о Victor Hugo. — О, какъ низко стоитъ онъ во мнѣннн французовъ. — Какъ ничтожно выставляетъ Низаръ его драмы и романы. — Они несправедливы къ нему и Низаръ (хотя умный человекъ) а вретъ. — Еще: напиши мнѣ главную мысль твоей драмы: увѣренъ, что она прекрасна; хотя для обдумыванія драматическихъ характеровъ мало 10-и

лѣтъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, я думаю. — Ахъ, братъ, какъ жаль мнѣ, что ты бѣденъ деньгами! Слезы вырываются. Когда это было съ нами? Да кстати. Поздравляю тебя мой милый и съ днемъ ангела и съ прошедшимъ рожденьемъ.

Въ твоемъ стихотвореніи: „Видѣнье матери“, я не понимаю въ какой страннѣйшій абрисъ облекъ ты душу покойницы. — Этотъ замогильный характеръ не выполненъ. — Но за то стихи хороши, хотя въ одномъ мѣстѣ есть промахъ. Не сердись за разборъ. — Пиши чаще и будь аккуратнѣе.

Ахъ скоро, скоро перечитаю я новыя стихотворенія Ивана Николаевича. Сколько поэзіи! Сколько гениальныхъ идей! Да еще позабылъ сказать: Ты, я думаю, знаешь, что Смирдинъ готовитъ Пантеонъ нашей словесности книгою: „Портреты 100 литераторовъ съ приложеніемъ къ каждому портрету по образцовому сочиненію этого литератора“. И вообрази Зотовъ (!?) и Орловъ (Александръ. Анфимовъ.) въ томъ же числѣ. Умора! Послушай, пришли мнѣ еще одно стихотвореніе. То предестно. Меркуровы скоро уѣдутъ въ Пензу, или, кажется, уже совсѣмъ уѣхали.

Мнѣ жаль бѣднаго отца! Страннѣйшій характеръ! Ахъ сколько несчастій перекалъ онъ! Горько до слезъ что нечѣмъ его утѣшить. — А знаешь ли? Пашенька совершенно не знаетъ свѣта. Прожилъ въ немъ 50 лѣтъ и остался при своемъ мнѣніи о людяхъ, какое онъ имѣлъ тридцать лѣтъ назадъ. Счастливое невѣдѣнье. Но онъ очень разочарованъ въ немъ, это, кажется, общій удѣлъ нашъ. — Прощай еще разъ.

С.-Петербургъ. 1840 года Января 1-го дня.

Благодарю тебя отъ души, добрый братъ мой, за твое милое письмо. Нѣтъ, я не таковъ какъ ты; ты не повѣришь какъ сладостный трепеть сердца ощущаю я, когда приносятъ мнѣ письмо отъ тебя; и я избрѣлъ для себя новаго рода наслажденіе — престранное — томить себя. Возьму твое письмо, перевертываю нѣсколько минутъ въ рукахъ, щупаю его, полноувѣсно-ли оно, и насмотрѣвшись, налюбовавшись на запечатанный конвертъ, кладу его въ карманъ... Ты не повѣришь, что за сладострастное состояніе души, чувствъ и сердца! И такимъ образомъ жду иногда съ четверть часа; наконецъ съ жадностію нападаю на пакетъ, рву печать и пожираю твои строки, твои милыя строки. О, чего не переживаетъ сердце, читая ихъ! Сколько ощущеній толпятся въ душѣ, и милыхъ и непріятныхъ, и сладкихъ и горькихъ; да, братъ милый, и непріятныхъ и горькихъ; ты не повѣришь какъ горько, когда не разберутъ, не

поймутъ тебя, поставятъ все совершенно въ другомъ видѣ, совершенно не такъ, какъ хотѣлъ сказать, но въ другомъ безобразномъ видѣ. Прочитай твоё послѣднее письмо, я былъ *un enragé*, потому что не былъ съ тобою вмѣстѣ: лучшія изъ мечтаній сердца, священнѣйшія изъ правилъ, данныхъ мнѣ опытомъ, тяжкимъ, многотруднымъ опытомъ, исковерканы, изуродованы, выставлены въ презалкомъ видѣ. Самъ ты пишешь ко мнѣ: „пиши, возражай, спорь со мною“ и находишь въ этомъ какую-то пользу! Никакой, милый братъ мой, рѣшительно никакой; только то, что твой эгоизмъ (который есть у всѣхъ насъ грѣшныхъ) выведетъ *превладное* заключеніе о другомъ, о его мнѣніяхъ, правилахъ, характерѣ и скудомуіи... Вѣдь это преобидно, братъ! Нѣтъ! Полемика въ дружескихъ письмахъ — подслащенный ядъ. Что-то будетъ, когда мы увидимся съ тобою? Это будетъ, кажется, всегдашнимъ предлогомъ раздора между нами... Но оставляю это! Объ этомъ еще можно поговорить на послѣднихъ страницахъ.

Военная академія — *c'est du sublime!* Знаешь ли, что это преблистательный проектъ (!) Я много думаю о судьбѣ твоей, чтобы согласить ее съ нашими обстоятельствами, и самъ остановился на Военной академіи; но ты предупредилъ меня; слѣдовательно и тебѣ это нравится... Но вотъ что: вѣдь надо прослужить по крайней мѣрѣ годъ, предъ вступленіемъ въ Военную академію; останься при чертежной на этотъ годъ.

Ну что ты бредишь *тетрадками*, когда я не знаю твоей программы; что же я пришлю тебѣ? Артиллерію, впрочемъ, курсъ кондукторскихъ классовъ (что именно, кажется, вамъ и надобно) пришлю непременно, записки генераль-маіора Дядина, который самъ, собственною особою, будетъ экзаменовывать тебя. Но не иначе посылаю тебѣ эти тетрадки, какъ на мѣсяць. Онѣ чужія. Я на силу досталъ ихъ. Ни дня больше одного мѣсяца. Спиши ихъ, или отдай списать (Дядинъ человекъ съ причудами, ему надо вызубрить или говорить своими словами, какъ по книгѣ). Полевая фортификація такая глупость, которую можно вызубрить въ 3 дня. Впрочемъ, въ маѣ пришлю и ее тебѣ. Другое дѣло долговременная; постараюсь объ ней. Есть у насъ и изъ аналитики литографированныя тетрадки; но это взято слово въ слово изъ Брашмана и, разумѣется, сокращено. Итакъ, у насъ проходятъ Брашмана, и ты его зубри. Купи себѣ.

Знаешь ли геодезію? У насъ курсъ Болотова. Физика (курсъ Озимова). О литографированныхъ дифференціалахъ постараюсь. Исторіи у насъ курсъ преполюннѣйшій и преогромнѣйшій (литографированный) — достать не могу. Словесность и литература русская — Плаксина, который самъ учить у насъ. Скажу тебѣ, что вашъ экзаменъ въ полевые инженеры прелегкій.

Глядеть сквозь пальцы и у всѣхъ та логика, чтобы не притѣснять своего брата инженера. Этому вижу я пречастые примѣры.

Къ Куманинымъ я отправилъ прелюбопытное письмо. Не безпокойся. Я жду хорошихъ послѣдствій. Къ онекуну еще не писалъ: ей-Богу нѣтъ времени!

Поздравляю тебя съ новымъ годомъ, милый, что-то принесетъ онъ намъ? Что хочешь, а послѣднія 5 лѣтъ для нашего семейства были ужасны. Я читалъ твое прошлогоднее посланье къ новому году. Мысль хорошая; духъ и выраженье стиховъ подъ сильнымъ вліяніемъ Barbier; между прочимъ, у тебя были въ свѣжей памяти его слова о Наполеонѣ.

Теперь о твоихъ стихахъ: послушай, милый братъ! Я вѣрю: въ жизни человѣка много, много печалей, горя и — радостей. Въ жизни поэта это и тернъ, и розы. Лирика — всегдашній спутникъ поэта, потому что онъ существо словесное. Твои лирическія стихотворенья были прелестны; „Прогулка“, „Утро“, „Видѣнье матери“, „Роза“ (кажется такъ), „Ѳебовы кони“, и много другихъ прелестны. Какая живая повѣсть о тебѣ, милый! И какъ близко она сказалась мнѣ. Я могъ тебя понимать тогда, потому что тѣ мѣсяцы были такъ памятны для меня, такъ памятны. О сколько случилось тогда и страннаго и чудеснаго въ моей жизни. Это предолгая повѣсть, и я ее никому не расскажу. Шидловскій показалъ мнѣ тогда твои стихотворенья... О! какъ ты несправедливъ къ Шидловскому. Не хочу защищать того, что развѣ не увидитъ тотъ, кто не знаетъ его, и кто не очень перемѣнчивъ въ мнѣніяхъ — знаній и правилъ его. Но ежели бы ты видѣлъ его прошлый годъ. Онъ жилъ цѣлый годъ въ Петербургѣ безъ дѣла и безъ службы! Богъ знаетъ для чего онъ жилъ здѣсь; онъ совсѣмъ не былъ такъ богатъ, чтобы жить въ Петербургѣ для удовольствій. Но это видно, что именно для того онъ и пріѣзжалъ въ Петербургъ, чтобы убѣжать куда нибудь. Взглянуть на него: это мученикъ! Онъ изсохъ; щеки впали; влажные глаза его сухи и пламенны. Духовная красота его лица возвысилась съ упадкомъ физической. Онъ страдалъ! Тяжко страдалъ! Воже мой, какъ любить онъ какую-то дѣвушку (Marie, кажется). Она же вышла за кого-то замужъ. Безъ этой любви онъ не былъ бы чистымъ, возвышеннымъ, безкорыстнымъ жрецомъ поэзіи... Пробираясь къ нему на его бѣдную квартиру, иногда въ зимній вечеръ (н. п. ровно годъ назадъ), я невольно вспоминалъ о грустной зимѣ Онѣгина въ Петербургѣ (8-я глава). Только предо мной не было холоднаго созданья, пламеннаго мечтателя поневолѣ, но прекрасное, возвышенное созданье, правильный очеркъ человѣка, который представили намъ

и Шекспиръ и Шиллеръ; но онъ уже готовъ былъ тогда пасть въ мрачную манію характеровъ Байроновскихъ. Часто мы съ нимъ просиживали цѣлыя вечера, толкуя Богъ знаетъ о чемъ! О, какая откровенная чистая душа! У меня льются теперь слезы, какъ вспомню прошедшее! Онъ не скрывалъ отъ меня ничего, а что я былъ ему? Ему надо было сказаться комунибудь; ахъ! для чего тебя не было при насъ! Какъ онъ желалъ тебя видѣть! Назвать тебя лично другомъ — названье, которымъ гордился онъ. Я помню, когда слезы лились у него при чтеніи стиховъ твоихъ; онъ зналъ ихъ наизусть. И про него ты могъ сказать, что онъ смѣялся надъ тобою! О, какое бѣдное, жалкое созданье былъ онъ! Чистая ангельская душа! И въ эту тяжкую зиму онъ не забылъ любви своей. Она разгоралась все сильнѣе и сильнѣе. Наступила весна; она оживила его. Воображеніе его начало создавать драмы, и какія драмы, братъ мой. Ты бы переѣмилъ мнѣніе о нихъ, ежели бы прочелъ передѣланную „Марію Симонову“. Онъ передѣлывалъ ее всю зиму, старую же форму ея самъ назвалъ уродливою. А лирическія стихотворенія его! О, ежели бы ты зналъ тѣ стихотворенія, которыя написалъ онъ прошлою весною. Напримѣръ, стихотвореніе, гдѣ онъ говоритъ о славѣ. Ежели бы ты прочелъ его, братъ! Пришедъ изъ лагеря, мы мало пробыли вѣстѣ. Въ послѣднее свиданіе мы гуляли въ Екатерингофѣ. О, какъ провели мы этотъ вечеръ! Вспоминали нашу земную жизнь, когда мы разговаривали о Гомерѣ, Шекспирѣ, Шиллерѣ, Гофманѣ, о которомъ столько мы говорили, столько читали. Мы говорили съ нимъ о насъ самихъ, о будущемъ, о тебѣ, мой милый. Теперь онъ уже давно уѣхалъ и вотъ ни слуху, ни духу о немъ! Живъ-ли онъ? Здоровье его тяжело страдало; о, пиши къ нему!

Прошлую зиму я былъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи. Знакомство съ Шидловскимъ подарило меня столькими часами лучшей жизни; но не то было тогда причиною этого. Ты можетъ быть упрекалъ и упрекаешь меня, почему я не писалъ къ тебѣ. Глупныя рутинныя обстоятельства тому причиною. Но сказать-ли тебѣ, милый; я никогда не былъ равнодушенъ къ тебѣ; я любилъ тебя за стихотворенія твои, за поэзію твоей жизни, за твои несчастья — и не болѣе; братской любви, дружеской любви не было... Я имѣлъ у себя товарища, одно созданье, которое такъ любилъ я! Ты писалъ ко мнѣ, братъ, что я не читалъ Шиллера. Ошибаешься, братъ! Я вызубрилъ Шиллера, говорилъ имъ, бредилъ имъ; и я думаю, что ничего болѣе встати не сдѣлала судьба въ моей жизни, какъ дала мнѣ узнать великаго поэта въ такую эпоху моей жизни; никогда бы я не могъ узнать его такъ, какъ тогда. Читая съ нимъ Шиллера,

я повѣрялъ *надъ нимъ* и благороднаго, пламеннаго донъ-Карлоса, и маркиза Позу и Мортимера. Эта дружба такъ много принесла мнѣ и горя и наслажденья! Теперь я вѣчно буду молчать объ этомъ; имя же Шиллера стало мнѣ роднымъ, какимъ-то волшебнымъ звукомъ, вызывающимъ столько мечтаній; они горьки, братъ; вотъ почему я ничего не говорилъ съ тобою о Шиллерѣ, о впечатлѣннѣхъ имъ произведенныхъ: мнѣ больно, когда я услышу хоть имя Шиллера.

Хотѣлъ было много написать тебѣ въ отвѣтъ на твои нападки на меня, на то, что ты не понялъ словъ моихъ. Также и потолковать кой о чемъ; но нынѣшнее письмо къ тебѣ доставило мнѣ столько сладкихъ минутъ, мечтаній, воспоминаній, что я рѣшительно не способенъ говорить о другомъ. Оправдаюсь только въ одномъ: я не сортировалъ великихъ поэтовъ, и тѣмъ болѣе не зная ихъ. Я никогда не дѣлалъ подобныхъ параллелей, какъ напр. Пушкинъ и Шиллеръ. Не знаю съ чего ты взялъ это; выспиши мнѣ, пожалуйста, слова мои; а я отрекаюсь отъ подобной сортировки; можетъ быть говоря о чемъ нибудь, я поставилъ рядомъ Пушкина и Шиллера, но я думаю, чтд между этими словами есть запятая. Они ни мало не похожи другъ на друга. Пушкинъ и Байронъ такъ. Что же касается до Гомера и Victor'a Hugo, то ты, кажется, нарочно не хотѣлъ понять меня. Вотъ какъ я говорю: Гомеръ (баснословный человекъ можетъ быть какъ Христосъ, воплощенный Богомъ и къ намъ посланный) можетъ быть параллелью только Христу, а не Гёте. Вникни въ него, братъ, пойми Илиаду, прочти ее хорошенько (ты вѣдь не читалъ ее, признайся). Вѣдь въ Илиадѣ Гомеръ далъ всему древнему міру организацію и духовной и земной жизни, совершенно въ такой же силѣ, какъ Христосъ новому. Теперь поймешь-ли меня? Victor Hugo, какъ лирикъ, чисто съ ангельскимъ характеромъ, съ христіанскимъ младенческимъ направленіемъ поэзіи, и никто не сравнится съ нимъ въ этомъ, ни Шиллеръ (сколько не христіанскій поэтъ Шиллеръ), ни лирикъ Шекспиръ, ни Байронъ, ни Пушкинъ. Я читалъ его сонеты на французскомъ. Только Гомеръ съ такою же непоколебимою увѣренностью въ призваніи, съ младенческимъ вѣрованіемъ въ Бога поэзіи, которому служить онъ, похожъ въ направленіи источника поэзіи на Victor'a Hugo, но только въ направленіи, а не въ мысли, которая дана ему природою и которую онъ выражалъ, а и не говорю про это. Державинъ, кажется, можетъ стоять выше ихъ обоихъ въ лирикѣ. Прощай, милый.

Твой другъ и братъ

Ф. Достоевскій.

Нынѣшнее письмо заставило меня пролить нѣсколько слезъ отъ воспоминаній о прошломъ.

Сюжетъ твоей драмы прелестенъ, видна вѣрная мысль, и особенно то нравится мнѣ, что твой герой, какъ Фаустъ, ища безпредѣльнаго, необъятнаго, дѣлается сумасшедшимъ именно тогда, когда онъ нашелъ это безпредѣльное и необъятное—когда онъ любитъ.—Это прекрасно! Я радъ, что тебя чему нибудь научилъ Шекспиръ.

Сердишься, зачѣмъ не отвѣчаю на всѣ вопросы. Радъ бы да нельзя! Ни бумаги, ни времени нѣтъ. Впрочемъ ежели на все отвѣчать, наприм. и на такіе вопросы: „Есть-ли у тебя усы?“ то вѣдь никогда не найдешь мѣста написать что нибудь лучшаго. Прощай, мой милый, добрый братъ. Прощай еще. Пиши.

Вотъ тебѣ распекавціи: говоря о формѣ, ты поѣти съ ума сошелъ; а давно уже подозрѣваю это маленькое безпокойство ума твоего, и не шута! Недавно ты что-то такое говорилъ о Пушкинѣ! Я пропустилъ это и не безъ причины. О формѣ твоей потолкую въ слѣдующ. письмѣ, теперь нѣтъ ни мѣста, ни времени. Но скажи, пожалуйста: говоря о формѣ, съ чего ты взялъ сказать: намъ не могутъ нравиться ни Расинъ, ни Корнель (!?!) оттого, что у нихъ форма дурна. Жалкій ты человекъ! Да еще такъ умно говорить мнѣ: *Неужели ты думаешь, что у нихъ нѣтъ поэзіи?* У Расина нѣтъ поэзіи? У Расина, пламеннаго, страстнаго, влюбленнаго въ свои идеалы Расина, у него нѣтъ поэзіи? И это можно спрашивать. Да читаль-ли ты *Andromaque*? А? Братъ! Читаль-ли ты *Iphigénie*; неужели ты скажешь, что это не предивно. Развѣ Ахиллъ Расина не Гомеровскій? Расинъ и обокралъ Гомера, но какъ обокралъ! Каковы у него женщины! Пойми его. Расинъ не былъ гений; могъ ли (?) онъ создать драму? Онъ только долженъ былъ подражать Корнелю. *A Phèdre?* Братъ! Ты Богъ знаетъ что будешь, ежели не скажешь, что это не высшая, чистая природа и поэзія. Вѣдь это Шекспировскій очеркъ, хотя статуя изъ гипса, а не изъ мрамора.

Теперь о Корнелѣ? Послушай братъ. Я не знаю какъ говорить съ тобою; кажется à la Иванъ Никифорчъ: „*гороху напѣшисъ*“. Нѣтъ, не повѣрю, братъ! Ты не читаль его и оттого такъ промахнулся. Да знаешь ли, что онъ по гигантскимъ характерамъ, духу романтизма, — почти Шекспиръ. Бѣдный! У тебя на все одинъ отпоръ: „классическая форма“. Бѣднякъ! Да знаешь-ли, что Корнель появился только 50 лѣтъ послѣ жалкаго, безталаннаго горемыки Jodel'я, съ его пасквильною Клеопатрою, послѣ Тредьяковскаго Ronsard'a и послѣ холоднаго Рифмача Malherb'a почти его современника. Гдѣ же ему было выдумать форму плана! Хорошо,

что онъ ее взялъ хоть у Сенеки. Да читаль-ли ты его „Синна“. Предъ этимъ божественнымъ очеркомъ Октавія, предъ которыми Карлъ Моръ, Фіеско, Тель, Донъ Карлосъ. Шекспиру честь принесло бы это. Вѣднѣя! Ежели ты не читаль этого, то прочти, особенно разговоръ Августа съ Синна, гдѣ онъ прощаетъ ему измѣну (но какъ прощаетъ (?)), Увидишь, что такъ только говорятъ оскорбленные ангелы. Особенно тамъ гдѣ Августъ говоритъ: „Soyons amis Sinna“. Да читаль-ли ты „Ногасе“. Развѣ у Гомера найдешь такіе характеры. Старый Ногасе — это Діомедъ. Молодой Ногасе — Аяксъ Теламонидъ, но съ духомъ Ахилла, а Куріасъ — это Патроклъ, это Ахиллъ, это все, что только можетъ выразить грусть любви и долга. Какъ это велико все. Читаль-ли ты: „Le Cid“. — Прочти, жалкій человѣкъ, прочти и пади въ прахъ предъ Корнелемъ. Ты оскорблялъ его! Прочти, прочти его. Чего же требуетъ романтизмъ, ежели высшія идеи его неразвиты въ Cid'ѣ. — Каковъ характеръ Don Rodrigue' а, молодого сына его, и его любовницы! А каковъ конецъ!

Впрочемъ не сердись, милый, за обидныя выраженія, не будь Ивановъ Ивановичемъ Перерепенко.

Петергофъ. 19 іюля 1840 г.

Снова беру письмо, милый, хотя и неумолимый братъ мой, и снова долженъ начинать письмо просьбою о незлопамятности, просьбою тѣмъ сильнѣйшею, чѣмъ ты будешь болѣе упорствовать и сердиться. Нѣтъ, мой милый, добрый братъ! Я отъ тебя не отстану, пока ты не протянешь по прежнему ко мнѣ руки своей. — И не знаю, милый мой! Ты всегда былъ справедливъ ко мнѣ (бывали хотя и исключенья), всегда извинялъ меня въ случаѣ долгаго молчанья, а теперь, когда я представляю причину, причину неопровержимую, самъ знаешь, ты какъ будто глухъ къ словамъ моимъ; извини эти упреки, добрый другъ мой; я не скрою отъ тебя, что они вышли прямо изъ сердца; я люблю тебя, мой милый, и мнѣ больно видѣть твое равнодушіе. — На твоемъ мѣстѣ я бы давно забылъ все, чтобы только скорѣе извинить друга своего, чѣмъ заставить его еще долѣе выпрашивать извиненіе! — По крайней мѣрѣ я съ моей стороны, видя себя теперь въ порядочныхъ обстоятельствахъ, т. е. при деньгахъ (опебунъ уже прислалъ мнѣ), хотя не при большихъ, непремѣнно обѣщаюся писать рѣшительно каждую недѣлю. Теперь же пишу наскоро, потому что

не смѣю распространиться большимъ письмомъ; поминутно ожидаемъ тревоги и маневровъ, которые будутъ продолжаться дня 3.

Ахъ, милый братъ! пиши мнѣ ради Бога хоть чтонибудь. Ежели бы ты только зналъ какъ я беспокоюсь о твоей участи, о твоихъ рѣшеньяхъ, нагѣреньяхъ, о твоихъ экзаменѣ, милый мой; потому что вотъ уже и онъ и на дворѣ. Богъ знаетъ, застанетъ-ли это письмо тебя еще въ Ревелѣ; дай-то Богъ тебѣ, милый другъ; ахъ, ежели мы еще далѣе будемъ продолжать эти несогласія, это разстройство въ нашей *неразрывной* дружбѣ, то я не знаю что за мученье испытаю я черезъ твое молчаніе. — Вѣдь вотъ уже наступаетъ эта глупая и между тѣмъ эта рѣшительная развязка въ судьбѣ твоей, развязка, которой я ожидалъ всегда съ какими-то трепетомъ. Въ самомъ дѣлѣ: что отъ этого зависить? Вспомни-ка. Твоя жизнь, твой досугъ, твое счастье, милый мой, да, твое счастье; потому, что ежели ты не переѣхалъ самъ, или не переѣхалась судьба твоя съ тѣхъ поръ, когда ты съ такимъ восторгомъ писалъ мнѣ о своихъ надеждахъ, о своей Эмили, то разумѣется можешь самъ разсудить, какую переѣху можетъ произвести твой удачный экзаменъ въ судьбѣ твоей. Ну вотъ хоть и это обстоятельство въ судьбѣ твоей, добрый братъ мой! Неужели ты думаешь, что это было бы не слишкомъ ужъ жестоко лишать довѣренности брата своего, когда, можетъ быть, я бы могъ своею дружбою раздѣлить съ тобой или счастье или... горе, милый другъ; ахъ! добрый мой! Богъ тебѣ судья за то, что ты оставляешь меня въ такой неизвѣстности, въ такой тяжкой неизвѣстности.

Да, что-то случилось съ тобою, братъ мой! Сбылись-ли, я не говорю, мечты твои, но сбылось-ли то, чѣмъ блеснула тебѣ въ глаза судьба, показавъ въ темной перспективѣ жизни твоей свѣтлый уголокъ, гдѣ сердце сулило себѣ столько надеждъ и счастья; время, время много показываетъ; только одно время можетъ оцѣнить, ясно опредѣлить все значеніе этихъ эпохъ жизни нашей. — Оно можетъ опредѣлить, прости мнѣ за слова мои, братъ мой, можетъ опредѣлить, была-ли эта дѣятельность душевная и сердечная чиста и правильна, ясна и свѣтла какъ наше естественное стремленіе къ полной жизни человѣка, или неправильная, безцѣльная, тщетная дѣятельность, заблужденіе, вынужденное у сердца одинокаго, часто не понимающаго себя, часто еще бессмысленнаго какъ младенецъ, но также чистаго и пламеннаго, невольно ищущаго для себя пищи вокругъ себя и истомляющаго себя въ неестественномъ стремленіи „неблагороднаго мечтанья“. — Въ самомъ дѣлѣ, какъ грустна бываетъ жизнь твоя, и какъ тягостны остальные ея мгновенья, когда человѣкъ, чувствуя свои заблужденія, сознавая въ себѣ силы необъятныя, видитъ, что они

истрачены въ дѣятельности ложной, въ неестественности, въ дѣятельности недостойной для природы твоей; когда чувствуешь, что пламень душевный задавленъ, потушенъ Богъ знаетъ чѣмъ; когда сердце разорвано по клочкамъ, и отчего? Отъ жизни, достойной пигмея, а не великана; ребенка, а не человѣка.

И здѣсь опять необходима дружба; потому что сердце само осѣтитъ себя тогда неразрывными путами и человѣкъ падетъ духомъ, поникнетъ передъ случаемъ, передъ причудами сердца своего, какъ передъ велѣньями судьбы, и сочтетъ ничтожную паутину за эти ужасныя сѣти, изъ нитей которыхъ не выбивается никто, передъ которыми все никнетъ: — это тогда, когда судьба бываетъ истинно велѣньемъ Провидѣнья, т. е. дѣйствуетъ на насъ неотразимою силою цѣлой природы нашей.

Я на время прервалъ письмо мое; былъ развлеченъ службою; ахъ, братъ, ежели бы ты только имѣлъ понятіе о томъ, какъ мы живемъ! Но пріѣзжай скорѣе, милый другъ мой; ради Бога пріѣзжай. — Ежели бы зналъ ты какъ необходимо для насъ быть вмѣстѣ, милый другъ! Цѣлые годы протекли со времени нашей разлуки. Клочекъ бумаги, пересылаемый мною изъ мѣсяца въ мѣсяцъ — вотъ была вся связь наша; между тѣмъ, время текло, время наводило и тучи и вѣдро на насъ и все это протекло для насъ въ тяжкомъ, грустномъ одиночествѣ; ахъ! ежели бы ты зналъ, какъ я одичалъ здѣсь, милый, добрый другъ мой; любить тебя — это для меня вполнѣ потребность. Я совершенно свободенъ, не завишу ни отъ кого; но наша связь такъ крѣпка, мой милый, что я кажется сросся съ кѣмъ-то жизнію.

Сколько перемѣнъ въ нашемъ возрастѣ, мечтахъ, надеждахъ, думахъ ускользнуло другъ отъ друга межъ нами незамѣченными, и которыя мы сохранили у себя на сердцѣ. О! когда я увижу тебя, чувствую, что мое существованье обновится; — я чувствую себя какъ-то спокойнымъ теперь; теченье моего времени такъ неправильно... Я самъ не знаю что со мною. Пріѣзжай, ради Бога пріѣзжай, другъ мой, милый братъ мой.

Не знаю, опасаться-ли мнѣ на счетъ твоего экзамена. Какъ-то ты приготовленъ? Что касается до вашихъ экзаменаторовъ, то я увѣренъ въ нихъ. Васъ экзаменуютъ у насъ всегда такъ легко и просто, что ежели ты чѣмъ нибудь да занимался, то выдержишь; и не такіе выдерживали. Примѣровъ я видалъ кучу. — Я думаю, ты не сердись на меня за тетрадки; опять повторяю: онѣ не нужны для тебя по ихъ ничтожности, это все прежалкія сокращенья, стыдно сказать; да ихъ и нѣтъ ни у кого. . . .

Сестры не было въ Петербургѣ. Мы скоро выйдемъ изъ Петергофа. Адресъ въ Петербургъ. Прощай, добрый, милый другъ мой. Вотъ тебѣ нѣсколько строкъ, писалъ такими урывками. Ежели бы ты зналъ какъ намъ теперь несносно жить.

Прощай же, мой милый, мой добрый другъ, братъ. Пиши скорѣе непременно.

Ф. Достоевскій.

С.-Петербургъ, 27-го февраля (1841 г.).

Вотъ и опять письма, милый другъ мой! Давно ли думали мы почти на вѣкъ не разлучаться и кое-какъ, весело, безопасно проводили время, и вдругъ въ одинъ мигъ ты отнять отъ меня на долго, на долго. Мнѣ очень стало грустно одному, милый мой. Не съ кѣмъ слова молвить, да и некогда. Такое зубренье, что и Боже упаси, никогда такого не было. Изъ насъ жилы тянуть, милый мой. Сижу и по праздникамъ, а вотъ ужъ наступаетъ мартъ мѣсяцъ — весна, таетъ, солнце теплѣе, свѣтлѣе, вѣтъ югомъ — наслажденье да и только! Что дѣлать! Но зубрить осталось не много.

Вѣроятно ты догадаешься отчего это письмо на $\frac{1}{4}$ листа. Пишу его ночью, урвавъ время.

Ну, милый мой, радъ, очень радъ хоть однимъ тебя порадовать — ежели ты доселѣ еще не обрадованъ и если письмо мое еще застанетъ тебя въ Нарвѣ. Въ понедѣльникъ (въ день твоего отъѣзда) прѣзжаетъ ко мнѣ Кривошипинъ; мы обѣдали тогда и я не видалъ его. Оставилъ записку, приглашенье къ нимъ. Въ воскресенье я былъ у него вечеромъ и онъ мнѣ показываетъ донесенье Пол.т.е.в.скаго о сдѣланномъ распоряженьи на счетъ твоей командировки въ Ревель. Вѣроятно (да и безъ сомнѣннй) ты уже въ Ревелѣ, цѣлуешь свою Эмилию (не забудь и отъ меня); иначе ничѣмъ не объяснится медленность командировки. Только на счетъ денегъ вѣроятно у тебя сильная чахотка. Писалъ я къ опекуну и въ понедѣльникъ отослалъ письмо (въ день отъѣзда твоего). Но письмо его, ежели и будетъ отъ него что нибудь, придетъ въ Нарву, слѣдовательно всетаки не скоро получишь, а между тѣмъ задолжаешь. Изъ кассы остается получить немного. Вообще обстоятельства не благоприятны. Нѣтъ надежды ни на настоящее, ни на будущее. Правда ошибаюсь! Есть одна на 1.000,000, который я выиграю — надежда довольно вѣроятная! 1 противъ 1.000,000!

Не умри, голубчикъ мой, съ тоски въ Нарвѣ прежде полученья дальнѣйшей командировки.

Благодари Кривошпина. Вотъ безцѣннѣйшій человѣкъ! Поискать! Принять я у нихъ Богъ знаетъ какъ. Меня одного принимаютъ, когда всѣмъ отказываютъ, какъ въ послѣдній разъ. Твое дѣло рѣшилось въ минуту, а безъ того

„не жить тебѣ съ людьми!“

Благодари его. Они стоятъ того. Чѣмъ заслужили мы ихъ вниманіе? Не понимаю! Ни у кого еще не былъ у кое-кого изъ знакомцевъ Петербурга. Ни у... ни у Григоров., ни у Ризенкампа, ни въ крѣпости. Жду погоды.

Голова болитъ смертельно. Передо мной системы Марино и Жилломе и приглашаютъ мое вниманье. Мочи нѣтъ, мой милый.

Ожидай большей связи въ слѣдующемъ письмѣ моемъ, а теперь ей Богу не могу. Хочется застать тебя въ Нарвѣ оттого и пишу теперь.

О, братъ! Милый братъ! Скорѣе къ пристани, скорѣе на свободу! Свобода и призванье — дѣло великое. Мнѣ снится и грезится оно опять, какъ не помню когда-то. Какъ-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни. Въ слѣдующемъ письмѣ болѣе объ этомъ!

Ты же, милый — дай Богъ тебѣ счастья въ мирномъ, прелестномъ кругу семейственномъ, въ любви, въ наслажденіи — и свободѣ. О, ты будешь свободнѣе меня — ежели устроится вѣнность!

Прощай, другъ мой.

Твой Ф. Достоевскій.

22-го декабря (1841 г.).

Ты пишешь мнѣ, безцѣнный другъ мой, о горести зацемившей сердце твое, о твоёмъ бѣдствіи, пишешь, что ты въ отчаяніи, мой любезный, милый братъ! Но посуди же самъ о тоскѣ моей, объ *моей* горести, когда я узналъ все это. Мнѣ стало грустно, очень грустно: это было невыносимо. Ты приближаешься къ той минутѣ жизни, когда расцвѣтають всѣ надежды и желанія наши; когда счастье прививается къ сердцу, и сердце полно блаженствомъ; и что же? Минуты эти осквернены, потемнены горестію, трудомъ и заботами. Милый, милый мой! Еслибъ ты зналъ, какъ я счастливъ, что могу хоть чѣмъ нибудь помочь тебѣ. Съ какимъ наслажденіемъ посылаю я эту бездѣлку, которая хоть сколько нибудь мо-

жесть возстановить покой твой; этого мало — я знаю это. Но что же дѣлать, если болѣе, братъ — клянусь, не могу! Самъ посуди. Если бы я былъ одинъ, то я бы для тебя, дорогой мой, остался бы безъ необходимаго; но у меня на рукахъ братъ; а писать скоро въ Москву — Богу знаетъ, что они подумаютъ. Итакъ, посылаю эту бездѣлицу. Но Боже мой — какъ же несправедливъ ты, мой милый, безцѣнный другъ, когда пишешь подобныя слова — *взаймы* — *заплати*. Не совѣстно-ли, не грѣшно-ли, и между братьями: Другъ мой, другъ мой, неужели ты не знаешь меня. Не этимъ могу я для тебя пожертвовать!! Нѣтъ! Ты былъ не въ духѣ и я это тебѣ прощаю.

Когда свадьба! Желаю тебѣ счастья и жду длинныхъ писемъ. Я же даже и теперь не въ состояніи написать тебѣ порядочнаго. Вѣришь-ли, я въ тебѣ пишу въ 3 часа утра, а прошлую ночь и совсѣмъ не дожился спать. Экзамены и занятія страшныя. Всѣ спрашиваютъ — и репутаціи потерять не хочется, — вотъ и зубришь, „*съ отращеніемъ*“ — а зубришь.

Чрезвычайно много виновать передъ твоей дорогой невѣстой — моею сестрицею, милой, безцѣнной какъ и ты, но извини меня, добрый другъ мой — не понятнаго характеромъ. Неужели такъ мало ко мнѣ родственнаго довѣрія, или уже обо мнѣ составлено чудовищное понятіе — неучтивости, невѣжливости, неприязни, наконецъ всѣхъ пороковъ, чтобы быть такъ противъ меня предубѣжденной, не вѣрить моимъ увѣреніямъ въ совершенномъ отсутствіи времени, а сердиться за молчаніе; но я этого не заслужилъ — *по чести нѣтъ*. Извиняюсь передъ нею пажайше, прошу ея снисхожденія, и наконецъ совершеннаго прощенія и отпущенія во грѣхахъ мнѣ окаянному. Лестно было бы мнѣ называться братомъ, добрымъ, искренно любящимъ, но что же дѣлать? Но всегда льщу и буду льстить себя надеждою, что наконецъ достигну этого. Объ себѣ въ письмѣ этомъ не пишу ничего. Не могу, некогда — до другаго времени. Андриша болень, я разстроенъ чрезвычайно.

Прощай, безцѣнный мой! Счастіе да будетъ съ тобой.

Твой Достоевскій.

Посылаю тебѣ 150 рублей. (Это для вѣрности).

31 декабря 1843 г.

Мы весьма давно не писали другъ другу, любезный братъ, и повѣрь мнѣ, что обонимъ намъ это не дѣлаетъ чести. Ты тяжелъ на подъѣмъ, лю-

безнѣйшій!.. Но такъ какъ дѣло сдѣлано, то ничего не остается, какъ схватить за хвостъ будущность, а тебѣ пожелать счастья на новый годъ, да еще малютку.—Ежели будетъ у тебя дочка, то назови Маріей.

Эмилии Ѳедоровѣ свидѣтельствую низжайшее почтеніе мое, желаю при семь новаго года, съ которымъ тутъ же и поздравляю. Желаю ей наиболѣе здоровья, а Ѳедю цѣлую и желаю ему выучиться ходить.

Теперь, милѣйшій мой, поговоримъ о дѣлахъ. Хотя Каренинъ и прислалъ мнѣ 500, но, слѣдуя прежней системѣ, которой невозможно не слѣдовать, имѣя долги въ домѣ, я опять съ 200 руб. сер. долгу.—Изъ долговъ какъ нибудь нужно выбраться. Подъ сидячъ камень вода не потечетъ.—Судьба благословила меня идеею, предпріятіемъ, назови какъ хочешь.—Такъ какъ оно выгодно до нѣльзя, то спѣшу тебѣ сдѣлать предложеніе участвовать въ трудахъ, рискѣ и выгодахъ. Вотъ въ чемъ сила.

2 года тому назадъ на русскомъ языкѣ появился переводъ $\frac{1}{2}$ первой книжки „Матильда“ (Eug. Sue), т. е. $\frac{1}{16}$ доля романа. Съ тѣхъ поръ не являлось ничего. Между тѣмъ вниманіе публики было разожжено; изъ одной провинціи прислали 500 требованій и запросовъ о скоромъ продолженіи „Матильды“.

Но продолженія не было.—Серчевскій, переводчикъ ея, безтолковый спекулянтъ, не имѣлъ ни денегъ, ни перевода, ни времени. Такъ шли дѣла $1\frac{1}{2}$ года. Около Святой недѣли, нѣкто Черноглазовъ, купилъ за 2000 р. асс. у Серчевскаго право продолжать переводъ „Матильды“ и уже переведенную 1-ю часть. Купивши, онъ нанялъ переводчика, который перевелъ ему всю „Матильду“ за 1600 руб. Черноглазовъ получилъ переводъ, отложилъ его къ сторонкѣ, не имѣя ни гроша не только издать на свой счетъ, но даже заплатить за переводъ. „Матильда“ канула въ вѣчность.—Паттонъ, я и, ежели хочешь, ты соединяемъ трудъ, деньги и усилія для исполненія предпріятія и издаемъ переводъ къ Святой недѣлѣ. Предпріятіе держится нами въ тайнѣ, разсмотрѣно со всѣхъ сторонъ, и irrévocablement принято нами.

Вотъ какъ будетъ происходить дѣло.

Мы раздѣляемъ трудъ на 3 равныя части, и усидчиво трудимся надъ нимъ. Разчитано, что ежели каждый можетъ переводить по 20 страничекъ Вихелл'скаго маленькаго изданія „Матильды“, то къ 15 февраля кончить свой участокъ. Переводить нужно начисто прямо, т. е. разборчиво. У тебя хороша рука и ты можешь это сдѣлать. По мѣрѣ выхода перевода онъ будетъ цензурованъ. Паттонъ знакомъ съ Никитенко, главнымъ цензоромъ, и дѣло будетъ сдѣлано скорѣе обыкновеннаго.—Чтобы

напечатать на свой счет, нужно 4,500 руб. ассигн., цѣны бумаги, типографіи — нами узнаны.

За бумагу требуютъ $\frac{1}{3}$ цѣны, а остальное даютъ въ долгъ. Долгъ обезпечивается экземплярами книги.

Знакомый типографщикъ, французъ, сказалъ мнѣ, что ежели я дамъ 1000 руб., то онъ мнѣ напечатаетъ всѣ экземпляры (въ числѣ 2,500), а остальное будетъ ждать до продажи книги.

Денегъ нужно самое малое 500 руб. сер. У Паттона готовы 700, мнѣ пришлютъ въ январѣ руб. 500 (ежели же нѣтъ, то я возьму впередъ жалованіе). Съ своей стороны ты распорядись, чтобы имѣть въ февралѣ 500 руб. (къ 15 числу), хоть возьми жалованіе. Съ этими деньгами мы печатаемъ, объявляемъ и продаемъ экземпляры по 4 руб. сер. (Цѣна дешевая, французская).

Романъ раскупается. *Никитенко* предсказываетъ успѣхъ. Притомъ любопытство возбуждено. 300 экземпляровъ окупаютъ всѣ издержки печати. Пустя весь романъ въ 8 томахъ по цѣлковому — у насъ барыня 7 тысячъ. Книгопродавцы увѣряютъ, что книга раскупится *въ 6 мѣсяцевъ*. Барышъ на 3 части. Если мы пустимъ романъ весь по рублю ассигн., то твои 500 руб. возвратятся къ тебѣ и изданіе окупится.

Вотъ наше предпріятіе: хочешь вступить въ союзъ или нѣтъ. Выгоды очевидны. Если хочешь, то начни переводить съ „la cinquième partie“. Переводи какъ можно болѣе, насчетъ границъ перевода твоего напишу.

Пиши не медля хочешь или нѣтъ?

Ф. Достоевскій.

Отвѣчай немедля. Прощай.

1844 г.

Любезный братъ!

Твой отвѣтъ имѣлъ я удовольствіе получить и спѣшу самъ написать тебѣ нѣсколько строкъ. Пишешь, что не зналъ моего адреса. Но, милый мой, вѣдь ты зналъ, что я служу въ Чертежной Инженернаго Департамента. Можно-ли ошибиться адресуя въ мѣсто службы. Твой адресъ совершенно вѣренъ. Но радуюсь твоей отговоркѣ, и принимаю ее. По крайней мѣрѣ ты не совсѣмъ забылъ меня, милый братъ. Весьма радъ вашему счастью, желаю дочку и хорошеѣть Федашкѣ. — Уже если мнѣ суждено крестить у тебя, то да будетъ воля Господня. Только дай Богъ счастья

крестникамъ. Цѣлую ручки Эмилиі Федоровнѣ и благодарю за память. — На счетъ Ревеля *мы подумаемъ*, nous verrons cela (выраженіе Pape Grandet.)

Теперь къ дѣлу; это письмо дѣловое. Наши обстоятельства идутъ хорошо, до *pas plus ultra*. Редакторство поручено мнѣ, и переводъ хорошъ будетъ. Паттонъ человѣкъ драгоценный, когда дѣло дойдетъ до интереса. А вѣдь ты знаешь, что подобныя товарищи въ аферахъ лучше самыхъ безкорыстныхъ друзей. — Ты непременно намъ помоги и постарайся перевести щегольски. Книгу я тебѣ хотѣлъ послать съ этой же почтой, но она у Паттона, а онъ куда-то пропалъ. Пришлю съ слѣдующею. Но ради Бога не выдай, милѣйшій! Переводи съ перепиской. Не худо, если бы крайнимъ срокомъ прислалъ ты намъ переводъ къ 1-му марта. Тутъ мы сами все кончимъ свои участки и переводъ пойдетъ въ цензуру. Цензоръ Никитенко знакомъ Паттону, и обѣщаль процензуровать въ 2 недѣли. 15 марта печатаемъ все разомъ и много что къ половинѣ апрѣля выдаемъ. Спросишь гдѣ достали деньги; я сколочусь и дамъ 500. Паттонъ 700; у него они есть; и маменька Паттона 2000. Она даетъ сыну деньги по 40 процентовъ. Этихъ денегъ вельми довольно для печатанія. Остальное въ долгъ.

Мы обѣгали всѣхъ книгопродавцевъ и издателей и вотъ что узнали.

Черноглазовъ, переводчикъ Матильды — un homme, qui ne pense à rien, не имѣетъ ни денегъ, ни смысла. Переводъ же у него есть. Мы объявимъ о переводѣ, когда половина будетъ напечатана и Черноглазовъ погибъ. Онъ виноватъ самъ; зачѣмъ между 1-ю и 2-ю частями протекло три года. — Всякій имѣетъ право выдавать по 2 по 3 перевода одного и того же сочиненія. Книгопродавцы ручаются за 1,000 экзempl. въ провинціи, причѣмъ деньги получаютъ тотчасъ; только берутъ они по 40 коп. съ руб. Книгопродавцы сказали намъ, что безразсудно пускать книгу менѣе 6-ти руб. сер. (цѣна француз. книги Брюссел. Изд.). Слѣдовательно мы разомъ въ маѣ получимъ 3,500 руб. сер. Теперь въ Петербургѣ, по увѣренію тѣхъ же самыхъ книгопрод. выйдетъ непременно 350 экзempl., 20 проц. въ пользу лавочниковъ; считая за 1500 экзemplаровъ, нельзя получить менѣе 5000 руб. сер. На насъ будетъ 1000 руб. с. долгу, 4000 р. сер. барыша. Мы рѣшились дѣлить по братски, трое, и ты непременно получишь 4000 асс. на свою долю. Переведи только теперь.

Въ перепискѣ оставляй собственныя имена въ карандашъ или мы перепишемся насчетъ этого.

Миленькой побратимъ, есть до тебя сублинная просьбица. Я теперь безъ денегъ. Нужно тебѣ знать, что на праздникахъ я перевелъ Евгенію

Grandet Балзака (чудо! чудо!). Переводъ безподобный. Самое крайнее мнѣ дадутъ за него 350 руб. асс. Я имѣю ревностное желаніе продать его, но у будущаго тысячника нѣтъ денегъ переписать; времени тоже. Ради ангеловъ небесныхъ пришли 35 руб. ассиг. (цѣна переписки). Клянусь Олимпомъ и моимъ жидомъ Янкелемъ (оконченной драмой) и чѣмъ еще? развѣ усами, комъ надѣюсь когда нибудь выростутъ, что половина того, что возьму за Евгению, будетъ твоя. — dixi. —

До свиданія.

Достоевскій.

Понимаешь, что съ первою почтою.

14 февраля 1844 г.

Любезный Братъ!

Ты мнѣ приказалъ увѣдомить себя на счетъ обстоятельствъ перевода. Къ крайнему прискорбію моему, безцѣнный другъ мой, скажу тебѣ, что дѣло кажется не пойдетъ на ладъ;—и потому прошу тебя повременить, и не переводить далѣе, доколѣ не получишь, милый мой, отъ меня болѣе вѣрнаго увѣдомленія. Видишь-ли: я по настоящему не имѣю никакого основанія подозрѣвать неудачу. Но осторожность не излишня ни въ какомъ случаѣ. Что до меня—я переводить продолжаю. Тебя же прошу остановиться до времени, чтобы во всякомъ случаѣ не утруждать себя по напрасну. Мнѣ и такъ очень прискорбно, милый мой, что можетъ быть ты и теперь уже потерялъ время. — Подозрѣваемая мною неудача находится не въ самомъ переводѣ и не въ литературномъ его успѣхѣ (предпріятіе было бы блистательно), но въ странныхъ обстоятельствахъ, возникшихъ между переводчиками. 3-й переводчикъ былъ Паттонъ, который за условленную цѣну отъ себя нанялъ капитана Гартонга поправить свой переводъ. Это тотъ самый Гартонгъ, который переводилъ „Плигъ и Плокъ“, „Хромоногій бѣсъ“ и нанисалъ въ „Библиотеку для Чтенія“ повѣсть „Панихида“. Дѣло шло очень хорошо. Деньги намъ давала въ займы мать Паттона, которая дала въ томъ честное слово. Но Паттонъ въ апрѣлѣ ѣдетъ на Кавказъ служить подъ командою отца вмѣстѣ съ своею матерью; онъ говоритъ, что непременно окончитъ переводъ и мнѣ поручитъ печатаніе и продажу. Но мнѣ что-то не вѣрится, чтобы такіе люди какъ Паттоны захотѣли повѣрить до 3,000 руб. мнѣ на дѣло, какъ бы то ни было а рискованное; для нихъ двойной рискъ. Не смотря на то, Паттонъ переводить. Я это знаю и видѣлъ своими глазами.

Всѣ эти причины понудили меня просить тебя, другъ мой, оставить покажѣсть переводъ. Весьма въ недолгомъ времени увѣдомлю тебя о послѣднемъ рѣшеніи; но вѣроятно не въ пользу перевода: — самъ суди. А какъ жалко, другъ мой, какъ мнѣ-то тебя жалко. Извини, голубчикъ, и меня бѣдняка; вѣдь я Мурадъ несчастный. — Желаю Эмилиі Федоровнѣ прехорошенькую дочку и много, много здоровья. Цѣлую у ней и у Феди ручки.

Твой всегда

Ф. Достоевскій.

Напиши, что у тебя было съ Егоромъ Ризенкампфомъ. Отецъ писалъ что-то своему сыну. А я тебѣ въ будущемъ письмѣ напишу про моего Ризенкампфа Алексѣя!

(Начало 1844 г.).

Любезный братъ!

Пишу къ тебѣ на скоро и нѣсколько строчекъ. Я полагаю, что ты, получа письмо мое, немедленно принялся за работу. Ради Бога займись переводомъ донъ-Карлоса. Славная будетъ вещь! Займись и поскорѣе. На дняхъ въ головѣ моей блеснула идея. Это: напечатать Донъ-Карлоса немедленно по полученіи на свой счетъ. Деньги я достану, именно возьму впередъ жалованье (что я уже не разъ дѣлывалъ). Вотъ счетъ, что будетъ стоить печать, что я накинулъ примѣрно: Бумаги лучшей веленовой на 1,000 экземпляровъ, листовъ 5,000, 500 листовъ лучшей бумаги стоятъ 10 руб., итого 100 руб.

Печатать мелкимъ разбористымъ шрифтомъ (немного крупнѣе бельгійскаго) за листъ 30 руб. асс., всѣхъ листовъ будетъ 5 (наиб.)

слѣд.	всего 150
	да 100 за бумагу.
	250
Брасивая лососиновая или свѣтло-зеленая обертка. .	30 р. асс.
	всего. 280 р.

Экземпляръ стоитъ 1 руб. сер. 100 экземпляровъ окупятъ изданіе съ большими процентами. Остальные, если продать по 10 коп. сер. за экземпляръ — то выручишь въ случаѣ неудачи 350 руб. ассигн.—цѣну, которую дадутъ тебѣ въ репертуаръ — это наибольшее.

Подумай братъ. Переводъ Донъ-Карлоса будетъ отрадною новостію въ литературѣ. Его купятъ любители, продадутъ по крайней мѣрѣ 300 экземпляровъ. Подумай! Ты ничѣмъ не рискуешь. За меня не безпокойся. Я эти дѣла понимаю и не войду въ просакъ, всегда окупимъ изданіе.

У тебя семейство. Сиди или колотаясь на работахъ смотря, какъ кладутъ кирпичи, немного отрадныхъ мыслей войдетъ въ голову. Жалованье маленькое. Будете съ хлѣбомъ, но ты будешь безъ новаго сюртука, когда надобно его имѣть. Непремѣнно. Горе въ молодости опасно! Слѣдовательно нужно работать. Стихомъ ты владѣешь прекрасно. И съ французскаго переводчикъ можетъ быть съ хлѣбомъ въ Петербургѣ; да еще съ какинь; я на себѣ испытываю, перевожу Жоржъ Зандъ и беру 25 руб. асс. съ листа печатнаго. Отчего Струговщиковъ уже славенъ въ нашей литературѣ? Переводами. А ты хуже его, что-ли, переводишь. Тотъ нажилъ состояніе. Ты бы давно могъ, а прежде мы принятъ не умѣли только. Я напишу предисловіе, а ты стихи къ Шиллеру. Можно начать печать въ іюнѣ и къ 1-му іюлю я бы тебѣ прислалъ экземпляръ въ золотой оберткѣ. Въ литературѣ—поле чисто. Примутъ съ восторгомъ. Я увѣренъ, что ты переводишь. Пиши ради Бога скорѣе и успокой меня. Эполеты не прислалъ оттого, что позабылъ. Пришлю непременно. Жду отвѣта ради Бога.

Твой Достоевскій.

Служба надоѣдаетъ.

Служба надоѣла, какъ вартофель. Прощай. Кланяйся Эмилии Теодоровнѣ. Цѣлуй племянниковъ. Пріѣхать къ вамъ не могу. Не пускаютъ, душа моя. Но пріѣду на 2 недѣли въ сентябрѣ, когда выйду въ отставку. То-то поговоримъ.

30-го сентября (1844 г.?).

Любезный братъ!

Я получилъ Донъ-Карлоса и спѣшу отвѣчать какъ можно скорѣе (времени нѣтъ). Переводъ весьма хорошъ, мѣстами удивительно хорошъ, строчками плохъ; но это оттого, что ты переводилъ на-скоро. Но можетъ быть всего-то пять-шесть строчекъ дурныхъ. Я взялъ смѣлость кое-что поправить, также кой-гдѣ сдѣлать стихъ позвучнѣе. Всего досаднѣе, что мѣстами ты вставлялъ иностранныя слова, н. п. *коммюта*. Этого допустить нельзя. Также (впрочемъ, я не знаю какъ въ подлинникѣ), ты употребляешь слово Сиръ. Сколько мнѣ известно, этого слова въ Испаніи не было,

а употреблялось только въ Западной Европѣ въ государствахъ Нормандскаго происхожденія. Но это все пустяки сущія. Переводъ удивительно какъ хорошъ. Лучше чѣмъ я ожидалъ. Я отнесу его этимъ дуракамъ въ „Репертуаръ“. Пусть рты разинутъ. Если же (чего я боюсь), есть уже у нихъ переводъ Ободроваго, то въ „О. Записки“. За мелочь не продамъ, будь покоенъ. Какъ только продамъ, пришлю деньги. Что же касается до изданія Шиллера, то, разумѣется, я съ тобой согласенъ, даже самъ хотѣлъ предложить тебѣ раздѣлить на 3 выпуска. Пустимъ сперва: „Разб.“, „Фіеско“, „Донъ-Карлосъ“, „Коварство“, „Письма о Сент. и Наивн.“. Это будетъ очень хорошо. На счетъ издателей посмотримъ. Но штука въ томъ, что гораздо лучше самимъ; иначе нѣтъ барыша. Ты только переводы, а на счетъ денегъ не безпокойся; какъ нибудь ихъ найдемъ, такъ-ли, этакъ-ли — все равно. Только вотъ что, братъ, черезъ мѣсяцъ это дѣло нужно кончить, т. е. рѣшиться, ибо *объявленіе* не можетъ быть выпущено послѣ, а безъ *объявленія* мы погибли. Вотъ почему я и прикажу припечатать нѣсколько словъ о семъ въ „Репертуаръ“. Переводъ произведетъ сенсацию. (Малѣйшій успѣхъ и барышъ удивительный).

Ну, братъ, — я и самъ знаю, что я въ адскихъ обстоятельствахъ; вотъ я тебѣ объясню:

Подаль я въ отставку оттого, что подаль, т. е. клянусь тебѣ не могъ служить болѣе. Жизни не радъ, какъ отнимаютъ лучшее время даромъ. Дѣло въ томъ, что я, наконецъ, никогда не хотѣлъ служить долго, слѣд. зачѣмъ терять хорошіе годы? А наконецъ, главное: меня хотѣли командировать — ну, скажи пожалуйста, чтобы я сталъ дѣлать безъ Петербурга. Куда я бы годился? Ты меня хорошо понимаешь?

На счетъ моей жизни не безпокойся. Кусокъ хлѣба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободенъ. Но что я буду дѣлать теперь, въ настоящую-то минуту — вотъ вопросъ. Вообрази себѣ, братъ, что я долженъ 800 руб., изъ коихъ хозяину 525 руб. асс. (я написалъ домой, что долговъ у меня 1,500 руб., зная ихъ привычку присылать $\frac{1}{3}$ чего просишь). Никто не знаетъ, что я выхожу въ отставку. Теперь если я выйду — что тогда будетъ дѣлать. У меня нѣтъ ни копѣйки на платѣе. Отставка моя выходитъ къ 14 октября. Если свиньи москвичи промедлятъ, я пропалъ. И меня пресерьезно стащутъ въ тюрьму (это ясно). Прекомическое обстоятельство. Ты говоришь семейный раздѣлъ. Но знаешь-ли ты, чего прошу я? За отстраненіе мое отъ всякаго участія въ имѣніи теперь, и за совершенное отчужденіе, когда позволятъ обстоятельства, т. е. за уступку съ сей минуты моего имѣнія имъ — я требую 500 руб. сер. разомъ и другіе 500 уплатою по

10 руб. сер. въ мѣсяцъ (вотъ все, что я требую). Согласись, что немного и никого не обижаю. Они и знать не хотятъ. Согласись еще, что не мнѣ предлагать имъ это теперь. Они мнѣ *не доверяютъ*. Они думаютъ, что я ихъ обману. Поручись, душа моя, пожалуйста за меня. Скажи именно такъ: *что ты готовъ всею поручиться за меня въ томъ, что я не простру далте моихъ требованій*. Если у нихъ нѣтъ столько денегъ, то въ моемъ положеніи 700 даже 600 руб. могутъ быть отпадными; я еще могу обернуться, и за это поручись, *что это примется въ уплату всей суммы 500 руб. сер. и 500 руб. сер. итервалами*.

Ты говоришь: спасеніе мое драма. Да вѣдь постановка требуетъ времени. Плата также. А у меня на носу отставка (впрочемъ, милый мой, если бы я еще не подавалъ отставки, то подалъ бы сейчасъ. Я не каюсь). У меня есть надежда. Я кончаю *романъ* въ объемъ Eugénie Grandet. Романъ довольно оригинальный. Я его уже переписываю, къ 14-му я навѣрно уже и отвѣтъ получу за него. Отдамъ въ „О. З.“. (Я моею работою доволенъ). Получу можетъ быть руб. 400, вотъ и всѣ надежды мои. Я бы тебѣ болѣе распространился о моемъ романѣ, да некогда. (Драму поставлю непремѣнно. Я этимъ жить буду).

Эти москвичи невыразимо самолюбивы, глупы и резонеры. Въ послѣднемъ письмѣ К. ни съ того ни съ сего совѣтовалъ мнѣ не увлекаться Шекспиромъ! Говорить, что Шекспиръ и мыльный пузырь все равно. Мнѣ хотѣлось, чтобы ты понялъ эту колическую черту, озлобленіе на Шекспира. Ну, къ чему тутъ Шекспиръ? Я ему такое письмо написалъ! Однимъ словомъ, образецъ поленики. Какъ я его отдѣлалъ. Мои письма *chef d'oeuvre летристики*.

Братъ, пиши домой какъ можно скорѣе, пожалуйста, ради самого Создателя. Я въ страшномъ положеніи; 14 самый дальній срокъ; я уже 1 1/2 мѣсяца какъ подалъ. Ради небесъ! Проси ихъ, чтобы прислали мнѣ. Главное, я буду безъ платья. Хлестаковъ соглашается идти въ тюрьму, только *благороднымъ образомъ*. Ну, а если у меня *штановъ* не будетъ, будетъ-ли это благороднымъ образомъ?

Мой адресъ: У Владимирской церкви, въ домѣ Пранишниковъ, въ Графскомъ переулкѣ. Спросить Достоевскаго.

Я чрезвычайно доволенъ романомъ моимъ. Не нарадуюсь. Съ него-то я деньги навѣрно получу, — а тамъ.

Извини, что письмо безо всякой связи. •

24 марта, (1845 г.).

Любезный братъ!

Ты вѣрно заждался письма моего, л. б. Но меня задерживала неустойчивость моего положенія. Я никакъ не могу заниматься вполнѣ чѣмъ бы то ни было, когда передъ глазами одна неизвѣстность и нерѣшительность. Но такъ какъ я и до сихъ поръ ничего не сдѣлалъ хорошаго по части моихъ собственныхъ обстоятельствъ, то все равно пишу; ибо давно бы было нужно писать.

Я получилъ отъ москвичей 500 руб. сер. Но у меня столько было долговъ, старыхъ и вновь накопившихся, что на печать не достало. Это бы еще ничего. Можно бы было задолжать въ типографіи или уплатить не все изъ домашнихъ долговъ, но романъ еще не былъ готовъ. Кончилъ я его совершенно чуть-ли еще не въ ноябрѣ мѣсяцѣ, но въ декабрѣ вздумалъ его весь передѣлать; передѣлалъ и переписалъ, но въ февралѣ началъ опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я былъ готовъ и доволенъ. Но тутъ другая исторія: цензора не берутъ менѣе, чѣмъ на мѣсяцъ. Раньше отцензировать нельзя. Они де работой завалены. Я взялъ назадъ рукопись, не зная на что рѣшиться. Ибо кромѣ четырехнедѣльнаго цензурованья печать съѣстъ тоже недѣли три. Выйдетъ къ маю мѣсяцу. Поздно будетъ! Тутъ меня начали толкать и направо и налево, чтобы отдать мое дѣло въ „Отечеств. Записки“. Да пустяки. Отдашь, да не радъ будешь. Во первыхъ и не прочтутъ, а если прочтутъ, такъ черезъ полгода. Тамъ рукописей довольно и безъ этой. Нанечатать, денегъ не дадутъ. Это какая-то олигархія. А на что мнѣ тутъ слава, когда я пишу изъ хлѣба? Я рѣшился на отчаянный скачекъ; ждать, войти пожалуй опять въ долги и къ 1-му сентября, когда всѣ переселятся въ Петербургъ и будутъ какъ гончія собаки искать носомъ чего нибудь новенькаго, тиснуть на послѣднія крохи, которыхъ можетъ быть и не достанетъ, мой романъ. Отдавать вещь въ журналъ значить идти подъ яремъ не только главнаго Maitre d'hotel'я, но даже всѣхъ чумичекъ и поваренковъ, гнѣздящихся въ гнѣздахъ, откуда распространяется просвѣщеніе. Диктаторовъ не одинъ; ихъ штукъ двадцать. Нанечатать самому значить пробиться впередъ грудью, и если вещь хорошая, то она не только не пропадетъ, но окупитъ меня отъ долговой кабалы и дастъ мнѣ ѣсть.

А теперь на счетъ ѣды! Ты знаешь, братъ, что я въ этомъ отношеніи предоставленъ собственнымъ силамъ. Но какъ бы то ни было, а я далъ клятву, что коль и до зарѣзу будетъ доходить, — крѣпиться и не писать

на заказъ. Заказъ задавить, загубить все. Я хочу, чтобы каждое произведеніе мое было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали не много, а оба ждутъ монументовъ. И теперь Гоголь беретъ за печатный листъ 1,000 руб. сер., а Пушкинъ, какъ ты самъ знаешь, продавалъ 1 стихъ по червонцу. За то слава ихъ, особенно Гоголя, была куплена годами нищеты и голода. Старныя шеолы исчезаютъ, новыя жажутъ, а не пишутъ. Весь талантъ уходитъ въ одинъ широкій размахъ, въ которомъ видна чудовищная недодѣланная идея и сила мышцъ размаха, а дѣла крошечку. Вѣгагер сказалъ про нынѣшнихъ фелетонистовъ французскихъ, что это бутылка Chambertin въ ведрѣ воды. У насъ ихъ тоже подражаютъ. Рафаель писалъ года, отдѣлывалъ, отнизывалъ, и выходило чудо! Боги создавались подъ его рукою. Veruet пишетъ въ мѣсяцъ картину, для которой заказываютъ особенныхъ размѣровъ залы, перспектива богатая, наброски, размашисто, а дѣла нѣтъ ни гроша. Декораторы они!

Моимъ романомъ я серьезно доволенъ. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочемъ, ужасныя недостатки. Печатаіе вознаградитъ меня. Теперь покажѣтъ я пусть. Думаю что нибудь написать для дебюта или для денегъ, но пустяки писать не хочется, а на дѣло нужно много времени.

Приближается время, въ которое я обѣщаль быть у васъ, милые друзья. Но не будетъ средствъ, т. е. денегъ. Я рѣшилъ остаться на старой квартирѣ. Здѣсь по крайней мѣрѣ сдѣлалъ контрактъ и знать ничего не знаешь мѣсяцевъ на шесть. Такъ дѣло въ томъ, что я все это хочу выкупить романомъ. Если мое дѣло не удастся, я, можетъ быть, повѣшусь.

Мнѣ бы хотѣлось спасти хоть 300 руб. въ августу мѣсяцу. И на триста можно напечатать. Но деньги ползутъ, какъ раки, все въ разныя стороны. У меня долговъ было около 400 руб. сер. (съ расходами и прибавкою платя), по крайней мѣрѣ я на два года одѣтъ прилично. Впрочемъ, я непременно приѣду къ вамъ. Пиши мнѣ поскорѣе какъ ты думаешь на счетъ моей квартиры. Это рѣшительный шагъ. Но что дѣлать!

Ты пишешь, что ужасаешься будущности безъ денегъ. Но Шиллеръ выкупить все, а въ добавокъ, кто знаетъ, сколько раскупится экземпляровъ моего романа. Прощай. Отвѣчай мнѣ скорѣе. Я тебѣ объявлю въ слѣдующую почту всѣ мои рѣшенія.

Твой братъ

Достоевскій.

Цѣлуй дѣтей и кланяйся Эмилии Федоровнѣ. Я о васъ часто думаю. Ты, можетъ быть, хочешь знать, чѣмъ я занимаюсь, когда не пишу, — читаю. Я страшно читаю и чтеніе странно дѣйствуетъ на меня. Что нибудь, давно перечитанное прочитаю вновь и какъ будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю и самъ извлекаю умѣніе создавать.

Писать драмы — ну, братъ. На это нужны годы трудовъ и спокойствія, по крайней мѣрѣ для меня. Писать нынѣ хорошо. Драма теперь удари-лась въ мелодраму. Шекспиръ блѣднѣетъ въ сумракѣ и свозъ туманъ слѣпнидасовъ-драматурговъ кажется богомъ, какъ явленіе духа на Брокенѣ или Гарцѣ. Впрочемъ, лѣтомъ я можетъ быть буду писать. 2, 3 года, и посмотримъ; а теперь подождемъ! Братъ, въ отношеніи литературы я *не тотъ* что былъ тому назадъ два года. Тогда было ребячество, вздоръ. Два года изученія много принесли и много унесли.

Въ „Инвалидѣ“, въ фельетонѣ, только что прочелъ о нѣмецкихъ поэтахъ, умершихъ съ голоду, холоду и въ сумасшедшемъ домѣ. Ихъ было штукъ 20, и какія имена! Мнѣ до сихъ поръ какъ-то страшно. Нужно быть шарлатаномъ...

4 мая 1845 г.

Любезный братъ!

Извини, что такъ давно не писалъ къ тебѣ. Я до сей самой поры былъ чертовски занятъ. Этотъ мой романъ, отъ котораго я никакъ не могу отвязаться, задалъ мнѣ такой работы, что если бы зналъ, такъ не начиналъ бы его совсѣмъ. Я вздумалъ его еще разъ переправлять и ей-Богу къ лучшему: онъ чуть-ли не вдвое выигралъ. Но ужъ теперь онъ конченъ и эта переправка была послѣдняя. Я слово далъ до него не дотрогиваться. Участъ первыхъ произведеній всегда такова, ихъ переправляешь до безконечности. Я не знаю была-ли Atala Chateaubriana's его первымъ произведеніемъ, но онъ, помнится, переправлялъ ее 17 разъ. Пушкинъ дѣлалъ такіа переправки даже съ мелкими стихотвореніями. Гоголь лощитъ свои чудныя созданія по два года и если ты читалъ Voyage Sentimental Stern'a, — крошечную книжечку, то ты помнишь, что Walter Scott въ своемъ Notice о Стернѣ говорить, ссылаясь на авторитетъ Ла-Флѣра, слуги Стерна. Лафлѣръ говорилъ, что баринъ его исписалъ чуть-ли не сотню дестей бумаги о своемъ путешествіи во Францію. Ну, спрашивается, куда это пошло? Все-то это

составило книжоночку, которую хорошій писака какъ Плюшкинъ и. п. умѣстилъ бы на полудести. Не понимаю, какимъ образомъ этотъ же самый Вальтеръ-Скоттъ могъ въ нѣсколько недѣль писать такіа, вполне оконченныя созданія, какъ Маннерингъ, наприимѣръ! Можетъ быть оттого, что ему было 40 лѣтъ.

Не знаю, братъ, что со мною будетъ! Ты несправедливо говоришь, что меня не мучаетъ мое положеніе. До дурноты, до тошноты мучаетъ, часто я по цѣлымъ ночамъ не сплю отъ мучительныхъ мыслей. Миѣ говорятъ толковые люди, что я пропаду, если напечатаю мой романъ отдѣльно. Говорятъ — положимъ книга будетъ хороша, очень хороша. Но вы не купецъ. Какъ вы будете публиковать о немъ. Въ газетахъ что-ли? Нужно непременно имѣть на своей рукѣ книгопродавца; а книгопродавецъ себя на умѣ; онъ не станетъ себя компрометировать объявленіями о неизвѣстномъ писателѣ. Онъ потеряетъ кредитъ у своихъ рѣtiques. Каждый изъ порядочныхъ книгопродавцевъ хозяинъ нѣсколькихъ журналовъ и газетъ. Въ журналахъ и газетахъ участвуютъ первѣйшіе литераторы или претендующіе на первенство. Объявляется о новой книгѣ, въ журналѣ скрѣпляютъ ихъ подписью, а это много значить. Слѣд. книгопродавецъ пойметъ, когда ты придешь къ нему съ своимъ напечатаннымъ товаромъ, что онъ можетъ прижать тебя до нельзя. Вотъ дѣло какое! А книгопродавецъ — алтынная душа, прижметъ непременно, и я саду въ болото, непременно саду.

Итакъ, я рѣшилъ обратиться къ журналамъ и отдать мой романъ за безцѣнокъ — разумѣется, въ „Отечеств. Записки“. Дѣло въ томъ, что „Отечеств. Записки“ расходятся въ 2,500 экземплярахъ, слѣдовательно читаютъ ихъ по крайней мѣрѣ 100,000 человекъ. Напечатай я тамъ — моя будущность литературная, жизнь — все обезпечено. Я вышелъ въ люди. Миѣ въ „От. Записки“ всегда доступъ, я всегда съ деньгами, а въ добавокъ пусть выйдетъ мой романъ, положимъ, въ августовскомъ номерѣ или въ сентябрѣ, я въ октябрѣ перепечатаваю его на свой счетъ, уже въ твердой увѣренности, что романъ раскупятъ тѣ, которые покупаютъ романы. Къ тому же, объявленія миѣ не будутъ стоить ни гроша. Вотъ дѣло какое!

Въ Ревель я пріѣхать не могу раньше пристройки романа, а то и времени нечего напрасно терять. Нужно хлопотать. Есть у меня много новыхъ идей, которыя если 1-ый романъ пристроится, упрочатъ мою литературную извѣстность. Вотъ всѣ мои надежды въ будущемъ.

Что же касается до денегъ, то увы! Ихъ нѣтъ. Чортъ знаетъ куда они исчезли. За то мало долговъ. Что же касается до квартиры, то во-

1-хъ, я еще кое-что долженъ; 2-е я въ неизвѣстномъ положеніи — поѣду-ли я въ Ревель, нѣтъ-ли? Пристрою-ль романъ, нѣтъ-ли? Если поѣду, то успѣю тогда же съѣхать; ибо расходы и хлопоты на переселеніе обойдутся дороже, чѣмъ оставаться, какую бы ни нанять квартиру. Я ужь считалъ. Квартира, романъ, Ревель — 3 неподвижныя идеи — *Ma femme et mon raparluie!*

Прощай, въ будущемъ письмѣ будетъ все рѣшено. А теперь до свиданья, и желаю тебѣ всѣхъ благъ вмѣстѣ съ твоею супругой и дѣтками.

Твой Достоевскій.

У насъ погода страшная. Разверзлись хляби небесныя и Провидѣніе послало на С. Пальмиру по нѣскольку 1,000 насморковъ, кашлей, чахотокъ, лихорадокъ, горячекъ и т. п. даровъ. Иже согрѣшихомъ! Читалъ-ли ты Емелю Вельтмана, въ послѣд. „Вибл. для Чт.“ — что за прелесть! Тарантасъ хорошо написанъ. Что за гадость иллюстраціи.

Эмилиі Федоровнѣ мое нижайшее почтеніе. Хочется мнѣ со всѣми вами увидѣться.

Устрой я романъ, тогда *Шиллеръ* найдетъ себѣ мѣсто, или я не я. „Вѣчный Жидъ“ недуренъ. Впрочемъ, Сю весьма недалекъ.

Я только не хочу писать, братъ, но меня такъ мучаетъ твое положеніе и Шиллеръ, что я о себѣ забываю. А мнѣ самому не легко.

А не пристрою романа, такъ можетъ быть и въ Неву! Что же дѣлать? Я ужь думалъ обо всемъ! Я не переживу смерти моей *idée fixe!*

Отвѣчай поскорѣе, ибо скучно.

(1845 г.).

Драгоценнѣйшій другъ мой!

Пишу къ тебѣ тотчасъ же по приѣздѣ моемъ, по условію. Сказать тебѣ, возлюбленный другъ мой, сколько неприятностей, скуки, грусти, гадости, пошлости было вытерпѣно мною во время дороги и въ первый день въ Петербургѣ — свине пера моего. Во первыхъ, простившись съ тобою и съ милой Эмилией Федоровной, я взомель на пароходъ въ самомъ несносномъ расположеніи духа. Толкотня была страшная, а моя тоска была невыносимая. Отправились мы въ двѣнадцать часовъ съ минутами перваго. Паро-

ходъ ползъ, а не шель. Вѣтеръ былъ противный, волны хлестали черезъ всю палубу; я продрогъ, прозябъ невыносимо и провелъ ночь неописанную, сидя, и почти лишаюсь чувствъ и способности мыслить. Помню только, что меня раза три вырвало. На другой день ровно въ четыре часа по полудни пришли мы въ Броншгадтъ, т. е. въ 28 часовъ. Прождавъ часа три, мы отправились уже въ сумеркахъ на гадчайшемъ, мизернѣйшемъ пароходѣ „Ольга“, который плылъ часа три съ половиною въ ночи и въ туманѣ. Какъ грустно было мнѣ въѣзжать въ Петербургъ; я смутно перечувствовалъ всю мою будущность въ эти смертельные три часа нашего въѣзда. Особенно привыкнувъ съ вами и сжившись такъ какъ будто-бы я цѣлый вѣкъ уже въвовакъ въ Ревель, мнѣ Петербургъ и будущая жизнь петербургская показались такими странными, безлюдными, безотрадными, а необходимость такую суровою, что еслибъ моя жизнь прекратилась въ эту минуту, то я, кажется, съ радостію бы умеръ. Я право не преувеличиваю. Весь этотъ спектакль рѣшительно не стоитъ свѣчей. Ты, братъ, желаешь побыть въ Петербургѣ. Но если пріѣдешь, то пріѣзжай сухимъ путемъ, потому что нѣтъ ничего грустнѣе и безотраднѣе въѣзда въ него съ Невы и особенно ночью. Но крайней мѣрѣ мнѣ такъ показалось. Ты вѣрно замѣчаешь, что мои мысли и теперь отличаются пароходной качкою. Когда я пріѣхалъ на квартиру, ночью въ 12-мъ часу, то человѣка моего дома не оказалось; онъ служилъ на время въ другомъ мѣстѣ, и дворникъ, неизвѣстно чему обрадовавшійся, вручилъ мнѣ осиротѣлый ключъ моей шестисотъ рублевой квартиры (въ долгахъ). Я даже не могъ чаю выпить и такъ и легъ въ рѣшительномъ апатическомъ состояніи. Сегодня, проснувшись въ восемь часовъ, я увидѣлъ передъ собою моего человѣка. Поразспросилъ его. Все какъ было, по старому. Квартира моя слегка подновлена. Григоровича и Некрасова нѣтъ еще въ Петербургѣ, а извѣстно лишь по слухамъ, что они явятся развѣ-развѣ къ 15-му сентября, да и то сомнительно. Давъ самую коротенькую, но весьма рѣшительную аудіенцію кой-какимъ кредиторамъ, я отправился *по деламъ* и ровно ничего не сдѣлалъ. Познакомился съ журналами, поѣлъ кое-что, купилъ бумаги и перьевъ — да и кончено. Къ Вѣлинскому не ходилъ. Намѣреваюсь завтра отправиться, а сегодня я страшно не въ духѣ. Вечеромъ пріѣлъ за письмо, которое уже почти кончается, письмо вялое, тоскливое, вполне отзывающееся тяжкимъ моимъ теперешнимъ положеніемъ — „Скучно на бѣломъ свѣтѣ, господи!“

Это письмо пишу къ тебѣ, во первыхъ, вслѣдствіе обѣщанія написать поскорѣе, а во вторыхъ, оттого, что тоска, и письмо просилось написаться. Ахъ, братъ, какое грустное дѣло одиночество, и я начинаю

тебѣ теперь завидовать. Ты, братъ, счастливъ, право счастливъ, самъ не зная того. Съ слѣдующею почтою напишу тебѣ еще. Занимаетъ меня немного то, что я почти совсѣмъ (до 15-го) безъ ресурсовъ, но только немного, потому что я въ настоящее время и думать ни объ чемъ не могу. Впрочемъ, все это вздоръ. Я ослабъ страшно и хочу теперь лечь спать, потому что уже ночь на дворѣ. Что-то скажетъ будущность. Какъ жаль, что нужно работать, чтобы жить. Моя работа не терпитъ принужденія. Ахъ, братъ, ты не повѣришь, какъ бы я желалъ теперь хоть два часочка еще пожить вмѣстѣ съ вами. Что-то будетъ, что-то будетъ впереди? Я теперь настоящій Голядкинъ, которымъ я между прочимъ займусь завтра же. Покажѣте прощай! До слѣдующей почты. Прощай, возлюбленный другъ мой; кланяйся и поцѣлуй за меня Эмилию Федоровну. Дѣтяшъ тоже кланяюсь. Помнишь-ли еще меня Одея или оказываешь равнодушіе. Ну, прощай, дражайшій мой. Прощай.

Твой Достоевскій.

Голядкинъ выигралъ отъ моего сплина. Родились двѣ мысли и одно новое положеніе. Ну, прощай, мой голубчикъ. Послушай, что-то съ нами будетъ лѣтъ черезъ двадцать? Не знаю, что со мной будетъ; знаю только, что я теперь мучительно чувствую.

М. И-нѣ и А-ру Ада-чу Бергманамъ мое нижайшее почтеніе. Петербургъ еще пусть. Все порядочно вяло.

8 октября 1845 г.

Любезнѣйшій братъ!

До сихъ поръ не было у меня ни времени, ни расположенія духа увѣдомлять тебя о чемънибудь до меня касающемся. Такъ все было скверно и гадко, что самому было тошно глядѣть на свѣтъ Божій. Во первыхъ, дражайшій, единственный другъ мой, все это время я былъ безъ копѣйки и жилъ на кредитъ, что весьма скверно. Во вторыхъ, было вообще какъ-то грустно, такъ что поневолѣ упадаешь духомъ, не заботишься о себѣ и становишься не безмозгло-равнодушнымъ, но—что хуже этого—переходишь за предѣлъ и бѣсишься и злишься до крайности. Въ началѣ этого мѣсяца явился Некрасовъ, отдалъ мнѣ часть долга, а другую получаю на дняхъ. Нужно тебѣ знать, что Вѣлинскій недѣли двѣ тому назадъ прочелъ мнѣ полное наставленіе, какимъ образомъ можно ужитья въ нашемъ литературномъ мірѣ, и въ заключеніе объявилъ мнѣ, что я непре-

мѣнно долженъ, ради спасенія души своей, требовать за мой печатный листъ не менѣе 200 руб. асс. Такимъ образомъ мой Голядкинъ пойдетъ по крайней мѣрѣ въ 1,500 рубляхъ асс. Терзаемый угрызениями совѣсти, Некрасовъ забѣжалъ впередъ и къ 15 генваря обѣщалъ мнѣ 100 руб. серебромъ за купленный имъ у меня романъ „Бѣдные люди“. Ибо самъ чистосердечно сознался, что 150 руб. сер. плата не христіанская и посему 100 руб. сер. набавляетъ мнѣ сверхъ изъ раскаянія. Все это покажется хорошо. Но вотъ что скверно, что еще ровнешенько ничего не слыхать изъ цензуры насчетъ „Бѣдныхъ людей“. Такой невинный романъ таскаютъ, таскаютъ, и я не знаю чѣмъ они кончатъ. Ну, какъ запретить? Исчеркаютъ сверху до низу? Бѣда да и только, просто бѣда, а Некрасовъ поговариваетъ, что не успѣетъ издать Альманаха, а уже истратилъ на него 4,000 руб. ассигн.

Яковъ Петровичъ Голядкинъ выдерживаетъ свой характеръ вполне. Подлецъ страшный, приступу нѣтъ къ нему; никакъ не хочетъ впередъ идти, претендуя, что еще вѣдь онъ не готовъ, а что онъ теперь покажется самъ по себѣ, что онъ ничего, ни въ одномъ глазу, а что пожалуй, если ужъ на то пошло, то и онъ тоже можетъ, почему же и нѣтъ, отчего же и нѣтъ? Онъ вѣдь такой, какъ и всѣ, онъ только такъ себѣ, а то такой, какъ и всѣ. Что ему! Подлецъ, страшный подлецъ! Раньше половины ноября никакъ не соглашается окончить карьеру. Онъ ужъ теперь объяснился съ Е. Превосходительствомъ, и пожалуй (отчего же нѣтъ) готовъ подать въ отставку. А меня, своего сочинителя, ставить въ крайне негодное положеніе.

Я бываю весьма часто у Бѣлинскаго. Онъ ко мнѣ до-нельзя расположенъ и серьезно видитъ во мнѣ *доказательство передъ публикою* и оправданіе мнѣній своихъ. Познакомился я на дняхъ съ Кронебергомъ, переводчикомъ Шекспира (сыномъ стар. Кронеберга харьк. проф.). Вообще говоря будущность (и весьма недалекая) можетъ быть хороша и можетъ быть и страхъ какъ дурна. Бѣлинскій понукаетъ меня дописывать Голядкина. Ужъ онъ разгласилъ о немъ во всемъ литературномъ мірѣ и чуть не запродалъ Краевскому, а о „Бѣдныхъ людяхъ“ говорить уже полъ-Петербурга. Одинъ Григоровичъ чего стоитъ! Онъ самъ мнѣ говорить: „Je suis votre claqueur-chauffeur“.

Некрасовъ аферистъ отъ природы, иначе онъ не могъ бы и существовать, онъ такъ съ тѣмъ и родился и посему въ день же приѣзда своего, у меня вечеромъ, подалъ проектъ *летучему маленькому альманаху*, который будетъ создаваться посильно всѣмъ литературнымъ народомъ, но главными его редакторами будетъ я, Григоровичъ и Некрасовъ. Послѣдній

Прочти *Тевверина* (Жоржъ Зандъ въ „Отечеств. Записк.“ октябрь). Ничего подобнаго не было еще въ нашемъ столѣтїи. Вотъ люди первообразы.

Прощай, другъ мой. Эмилии Федоровнѣ влѣваюсь и цѣлую у ней ручки. Здоровы-ли дѣти? Пиши мнѣ подробнѣе.

Шиллера переводи исподволь, хотя изданіе его рѣшительно нельзя сказать, когда осуществится. Я теперь пронохиваю каковойнибудь переводъ для тебя. Но бѣда! Въ „Отеч. Записк.“ три офиц. переводчика. Авось уладимъ мы, братъ, чтонибудь вмѣстѣ съ тобой. Все впереди, впрочемъ. Если я пойду, то *театръ Шиллера* тоже пойдетъ — вотъ, что я только знаю.

Твой О. Достоевскій.

16 ноября 1845 г.

Любезный братъ!

Пишу къ тебѣ теперь наскоро, и тѣмъ болѣе, что временемъ теперь совсѣмъ не богатъ. Голядкинъ до сей поры еще не конченъ; а нужно кончить непремѣнно къ 25-му числу. Ты мнѣ весьма долго не отвѣчалъ и я было началъ крайне за тебя беспокоиться. Пиши почаще; а что ты отговариваешься неимѣніемъ времени, то это просто вздоръ. Времени тутъ надо немного. Лѣнь провинціальная губить тебя въ цвѣтѣ лѣтъ, любезнѣйшій, а больше ничего.

Ну, братъ, никогда, я думаю, слава моя не дойдетъ до такой апогеи, какъ теперь. Всюду почтеніе неизмовѣрное, любопытство насчетъ меня страшное. Я познакомился съ бездной народу самаго порядочнаго. Князь Одоевскій проситъ меня осчастливить его своимъ посѣщеніемъ, а графъ С. рветъ на себѣ волосы отъ отчаянія. Панаевъ объявилъ ему, что есть талантъ, который ихъ всѣхъ въ грязь втопчетъ. С. обѣгалъ всѣхъ и зашедши къ Краевскому, вдругъ спросилъ его: Кто этогъ Достоевскій? Гдѣ мнѣ *достать Достоевскаго?* Краевскій, который никому въ усъ не дуетъ и рѣжетъ всѣхъ на пропалую, отвѣчаетъ ему, что Достоевскій не захочетъ вамъ едѣлать чести осчастливить васъ своимъ посѣщеніемъ. Оно и дѣйствительно такъ: аристократишка теперь становится на ходули и думаетъ, что уничтожить меня величіемъ своей ласки. Всѣ меня принимаютъ, какъ чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всѣхъ углахъ не повторили, что Достоев. то-то сказалъ, Достоев. то-то хочетъ дѣлать. Вѣдлин-

скій любить меня какъ нельзя болѣе. На дняхъ воротился изъ Парижа поэтъ Тургеневъ (ты вѣрно слыхалъ) и съ перваго раза привязался ко мнѣ такую привязанностию, такую дружбой, что Вѣлинскій объясняетъ ее тѣмъ, что Тургеневъ влюбился въ меня. Но, братъ, что это за человѣкъ! Я тоже едва-ль не влюбился въ него. Поэтъ, талантъ, аристократъ, красавецъ, богачъ, уменъ, образованъ, 25 лѣтъ, — я не знаю въ чемъ природа отказала ему? Наконецъ: характеръ неистоцимо прямой, прекрасный, выработанный въ доброй школѣ. Прочти его повѣсть въ „Отечеств. Записк.“ „Андрей Колосовъ“ — это онъ самъ, хотя и не думалъ тутъ себя выставлять.

Деньгами же я до сихъ поръ не богатъ, — но и не нуждаюсь. На дняхъ я былъ безъ гроша. Некрасовъ между тѣмъ затѣялъ „Зубоскала“ — прелестный юмористическій альманахъ, къ которому объявленіе написалъ я. Объявленіе надѣлало шуму; ибо это первое явленіе такой легкости и такого юмору въ подобнаго рода вещахъ. Мнѣ это напомнило 1-й фельетонъ Lucien de Rubenprgé. Объявленіе мое напечатано уже въ „Отеч. Запискахъ“ въ „Разныхъ извѣстіяхъ“. За него взялъ я 20 руб. серебр. Итакъ, на дняхъ, не имѣя денегъ, зашелъ я къ Некрасову. Сидя у него у меня пришла идея романа въ 9 письмахъ. Прийдя домой я написалъ этотъ романъ въ одну ночь; величина его $\frac{1}{2}$ печатнаго листа. Утромъ отнесъ къ Некрасову и получилъ за него 125 руб. асс., т. е. мой листъ въ „Зубоскалѣ“ цѣнится въ 250 руб. асс. Вечеромъ у Тургенева читался мой романъ во всемъ нашемъ кругѣ, т. е. между 20 человѣками по крайней мѣрѣ и произвелъ фуроръ. Напечатанъ онъ будетъ въ 1-мъ номерѣ „Зубоскала“. Я тебѣ пришлю книгу къ 1-му декабря. Вѣлинскій сказалъ, что онъ теперь увѣренъ во мнѣ совершенно, ибо я могу брать за совершенно различные элементы. На дняхъ Краевскій, услышавъ, что я безъ денегъ, упросилъ меня покорнѣе взять у него 500 руб. въ займы. Я думаю, что я ему продамъ листъ за 200 руб. асс.

У меня бездна идей; и нельзя мнѣ рассказать что нибудь изъ нихъ хоть Тургеневу и. п., чтобы назавтра почти во всехъ углахъ Петербурга не знали, что Достоев. пишетъ вотъ то-то и то-то. Ну, братъ, если бы я сталъ исчислять тебѣ все успѣхи мои, то бумаги не нашлось бы столько. Я думаю, что у меня будутъ деньги. Голядкинъ выходитъ превосходно; это будетъ мой chef-d'oeuvre. Вчера я въ первый разъ былъ у П. и, кажется, влюбился въ жену его. Она умна и хорошенькая, въ добавокъ любезна и пряма до-нельзя. Время я провожу весело. Нашъ кружокъ пребольшой. Но я все пишу о себѣ; извини, любезнѣйшій; я откровенно тебѣ скажу, что я теперь почти упоенъ собственной славой своей.

Съ будущимъ письмомъ пришлю „Зубоскала“. Бѣлинскій говоритъ, что я профанирую себя, помѣщая свои статьи въ „Зубоскаль“.

Прощай, мой голубчикъ. Желаю счастья тебѣ. Поздравляю съ чиномъ. Цѣлую ручки Эмилиі Федоровнѣ и дѣтей твоихъ. Что они?

Твой Достоевскій.

Бѣлинскій охраняетъ меня отъ антрепренеровъ. Я перечелъ мое письмо и нашелъ, что я, во 1-хъ, безграмотенъ, а во 2-хъ, самохваль.

Прощай, ради Бога пиши.

Нашъ Шиллеръ пойдетъ на ладъ непремѣнно. Бѣлинскій хвалитъ предпріятіе *помаго изданія*. Я думаю современемъ его можно выгодно продать, хоть Некрасову и. прим.

Прощай.

Минушки, Кларушки, Маріанны и т. п. похорошѣли до-нельзя, но стоятъ страшныхъ денегъ. На дняхъ Тургеневъ и Бѣлинскій разбрали меня въ прахъ за беспорядочную жизнь. Эти господа ужъ и не знаютъ, какъ любить меня, влюблены въ меня всѣ до одного. Мои долги на прежней точкѣ.

1 февраля 1846 г.

Любезный братъ!

Во первыхъ, не сердись, что долго не писалъ. Ей Богу некогда было, и сейчасъ докажу. Главное, что меня задержало, было то, что я до самаго послѣдняго времени, т. е. до 28-го числа кончалъ моего подлеца Голядкина. Ужась! Вотъ каковы человѣческіе расчеты: хотѣлъ было кончить до августа и протянулъ до февраля! Теперь посылаю тебѣ Альманахъ. „Бѣдные люди“ вышли еще 15-го. Ну, братъ! Какою ожесточенною бранью встрѣтили ихъ вездѣ! Въ Иллюстраціи я читалъ не критику, а ругательство. Въ „Сѣверной Пчелѣ“ было чортъ знаетъ что такое, но я помню какъ встрѣчали Гоголя и всѣ мы знаемъ какъ встрѣчали Пушкина. Даже публика въ остервенѣніи: ругаютъ $\frac{3}{4}$ читателей, но $\frac{1}{4}$ (да и то нѣтъ) хвалятъ отчаянно. Debats пошли ужаснѣйшіе. Ругаютъ, ругаютъ, ругаютъ, а всетаки читаютъ. (Альманахъ расходится неестественно, ужасно. Есть надежда, что черезъ 2 недѣли не останется ни одного экземпляра). Такъ было и съ Гоголемъ. Ругали, ругали его, ругали — ругали, а все-таки читали и теперь помирились съ нимъ и стали хвалить. Сунуть-же я имъ всѣмъ собачью кость! Пусть грызутся — мнѣ славу дурачье строить.

До того осрамиться какъ „Сѣверная пчела“ своей критикой есть верхъ посярмленія. Какъ неистово-глупо! За то какія похвалы слышу я, братъ! Представь себѣ, что наши все и даже Вѣлинскій нашли, что я даже далеко ушелъ отъ Гоголя. Въ „Библиотекѣ для Чтенія“, гдѣ критику пишетъ Никитенко, будетъ огромнѣйшій разборъ Вѣдныхъ людей въ мою пользу. Вѣлинскій подымаетъ въ мартѣ мѣсяцѣ трезвонъ. Одоевскій пишетъ отдѣльную статью о Вѣдныхъ людяхъ. Соллогубъ, мой пріятель, тоже. Я, братъ, пустился въ высшій свѣтъ и мѣсяца черезъ три лично расскажу тебѣ все мои похождения.

Въ публикѣ нашей есть инстинктъ, какъ во всякой толпѣ, но нѣтъ образованности. Не понимаютъ какъ можно писать такимъ слогомъ. Во всемъ они привыкли видѣть рожу сочинителя; я же моей не показывалъ. А имъ и не въ догадъ, что говорить Дѣвушкинъ, а не я, и что Дѣвушкинъ иначе и говорить не можетъ. Романъ находятъ растянутымъ, а въ немъ слова лишняго нѣтъ. Во мнѣ находятъ новую оригинальную струю (Вѣлинскій и проч.), состоящую въ томъ, что я дѣйствую анализомъ, а не синтезисомъ, т. е. иду въ глубину и, разбирая по атомамъ, отыскиваю цѣлое, Гоголь же беретъ прямо цѣлое и оттого не такъ глубоко какъ я. Прочтешь и самъ увидишь. А у меня будущность преблистательная, братъ!—Сегодня выходитъ Голядкинъ. 4 дня тому назадъ я еще писалъ его. Въ „Отечест. Запискахъ“ онъ займетъ 11 листовъ. Голядкинъ въ 10 разъ выше Вѣдныхъ людей. Наши говорятъ, что послѣ „Мертвыхъ душъ“ на Руси не было ничего подобнаго, что произведеніе гениальное и чего-чего не говорятъ они! Съ какими надеждами они все смотрятъ на меня! Дѣйствительно Голядкинъ удался мнѣ до-нельзя. Понравится онъ тебѣ, какъ не знаю что! Тебѣ онъ понравится даже лучше Мертвыхъ душъ, и это знаю. Получаютъ-ли у васъ „Отечест. Записки“? Не знаю, дастъ ли мнѣ экземпляръ Краевскій.

Ну, братъ, я тебѣ такъ давно не писалъ, что не помню на чемъ я тогда остановился. Такъ много воды утекло! Скоро увидимся. Лѣтомъ я непремѣнно къ вамъ, друзья мои, и все лѣто буду страшно писать: мысли есть. Теперь я тоже пишу.

За Голядкина взялъ я ровно 600 руб. серебромъ. Сверхъ того я еще получилъ бездну денегъ, такъ что истратилъ 3 тысячи послѣ разлуки съ тобою. Живу-то я безпорядочно—вотъ въ чемъ вся штука! Я переѣхалъ съ квартиры и нанимаю теперь двѣ превосходно-меблированныя комнаты отъ жильцовъ. Мнѣ очень хорошо жить. Адресъ мой: у Владимірской церкви, на углу Гребецкой улицы и Кузнечнаго переулка, домъ купца Бучина, въ № 9-мъ. Пиши пожалуйста, ради Бога. Напиши, понравились-ли

Бѣдные люди. Кланяйся Эмилиі Федоровнѣ, цѣлуй дѣтей. Я былъ влюбленъ не на шутку въ П., теперь проходить, а не знаю еще. Здоровье мое ужасно разстроено; я боленъ нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно жить я не могу, до того я безпутенъ. Если не удастся лѣтомъ купаться въ морѣ, то просто бѣда. Прощай, ради Бога пини. Извини, что скверно написалъ письмо. Сгѣшу. Цѣлую тебя. Прощай. Твой

Достоевскій.

Ну, братъ, ради Бога извини, что ничего не прислалъ до сихъ поръ. Лѣтомъ все привезу. Ну, прощай, уже третій часъ.

Всѣмъ вамъ привезу подарки.

Мы съ тобою лѣтомъ, дружище, проведемъ время повеселѣе нынѣшняго. Деньгами-то я буду не богатъ, но на 800 руб. или на 1000 надѣюсь. На лѣто довольно.

Вѣрочка выходитъ замужъ. Знаешь ты это?

1 апрѣля 1846 г.

Любезный братъ!

Посылаю тебѣ каску съ принадлежностями и пару эполетъ. Чешуи на каскѣ не вдѣланы; потому что, какъ сказали, въ дорогѣ киверъ попортится. Не знаю, хорошо-ли услужилъ. Если же не хорошо, то не я виноватъ, потому что рѣшительно ничего не понимаю въ этихъ вещахъ. Отсталъ отъ вѣка, другъ мой. — Теперь 2-й вопросъ. Спросишь почему такъ поздно. Но я, милѣйшій мой, въ такой каторгѣ, что какъ бы ни показалось оно страннымъ тебѣ, ей Богу не сыскалъ времени для комиссiи твоей. Правда, двѣ почты пропустилъ рѣшительно только по своей оплошности. Виноватъ. Не сердись.

Теперь далѣе. Другъ мой. Ты вѣрно пѣняешь, что я такъ долго тебѣ не пишу, но я совершенно согласенъ съ Гоголевымъ *Поприщинимъ*: — „*Письмо вздоръ, письма пишутъ аптекари*“. Что мнѣ было написать тебѣ? Мнѣ нужно было бы исписать томы, еслибы начать говорить такъ, какъ бы хотѣлось мнѣ. Въ моей жизни каждый день столько новаго, столько перемѣнъ, столько впечатлѣній, столько хорошаго и для меня выгоднаго, столько и непріятнаго и невыгоднаго, что и раздумывать некогда. Во первыхъ я весь занятъ. Идей бездна и пишу безпрерывно. Не думай,

чтобы я совсѣмъ былъ на розахъ. Вздоръ. Во первыхъ я прожилъ много денегъ, т. е. ровно 4,500 руб. со времени нашей разлуки съ тобою и на 1,000 руб. ассигн. продалъ впередъ своего товару. Такимъ образомъ, при извѣстной тебѣ моей аккуратности я себя обокралъ совершенно и начинаю опять по прежнему бывать безъ копѣйки. Но это ничего. — Слава моя достигла до апогея. Въ 2 мѣсяца обо мнѣ, по моему счету, было говорено около 35 разъ въ различныхъ изданіяхъ. Въ иныхъ хвала до небесъ, въ другихъ съ исключеніями, а въ третьихъ руготня на пропалую. Чего лучше и выше? Но вотъ чтò гадко и мучительно: свои, наши, Бѣлинскій, и всѣ мною недовольны за Голядкина. Первое впечатлѣніе было безотчетный восторгъ, говоръ, шумъ, толки. Второе — критика. Именно: всѣ, всѣ съ общаго говору, т. е. *наши* и вся публика наши, что до того Голядкинъ скученъ и вялъ, до того растянуть, что читать нѣтъ возможности. Но чтò всего комичнѣе, такъ это то, что всѣ сердятся на меня за растянутость и всѣ до одного читаютъ на пропалую и пересчитываютъ на пропалую. А одинъ изъ нашихъ тѣмъ только и занимается, что каждый день прочитываетъ по главѣ, чтобы не утомить себя, и только чмокаетъ отъ удовольствія. Иные изъ публики кричатъ, что это совсѣмъ невозможно, что глупо и писать и помѣщать такія вещи, другіе же кричатъ, что это съ нихъ и списано и снято, а отъ нѣкоторыхъ я слыхалъ такіе мадригалы, что говорить совѣстно. Что-же касается до меня, то я даже на нѣкоторое мгновеніе впалъ въ уныніе. У меня есть ужасный порокъ: неограниченное самолюбіе и честолюбіе. Идея о томъ, что я обманулъ ожиданія и испортилъ вещь, которая могла бы быть великимъ дѣломъ, убивала меня. Мнѣ Голядкинъ опротивѣлъ. Многое въ немъ писано на-скоро и въ утомленіи. 1-ая половина лучше послѣдней. Рядомъ съ блистательными страницами, есть скверность, дрянъ, изъ души воротить, читать не хочется. Вотъ это-то создало мнѣ на время адъ и я заболѣлъ отъ горя. Братъ, я тебѣ пришлю Голядкина черезъ двѣ недѣли. Ты прочтешь. Напиши мнѣ свое полное мнѣніе.

Пропускаю жизнь и мое *ученіе* и скажу кое-что о нашихъ новостяхъ. 1) Огромная новость. *Бѣлинскій* оставляетъ „Отечеств. Записки“. Онъ страшно разстроилъ здоровье, отправляется на воды, можетъ быть за границу. Онъ не возьмется за критику года два. Но для поддержанія финансовъ издаетъ *исполинской* толщины альманахъ (въ 60 печатн. листовъ). Я пишу ему двѣ повѣсти 1) „Сбритыя бакенбарды“, 2) „Повѣсть объ уничтоженныхъ канцеляріяхъ“, обѣ съ потрясающимъ трагическимъ интересомъ и уже, отвѣчаю — сжатыя до нельзя. Публика ждетъ моего съ нетерпѣніемъ. Обѣ повѣсти небольшія... Кромѣ того, что нибудь

Краевскому и романъ Некрасову. Все это займетъ меня годъ. „Сбитыя бакенбарды“ я кончаю.

2-я новость. Явилась цѣлая тьма новыхъ писателей. Инне мои соперники. Изъ нихъ особенно замѣчательнъ Герценъ (Искандеръ) и Гончаровъ. 1-й печатался, второй начинающій и не печатавшійся нигдѣ. Ихъ ужасно хвалятъ. Первенство остается за мною покажѣсть и надѣюсь что навсегда. Вообще никогда такъ не закипала литература, какъ теперь. Это къ лучшему.

Третье. Я или очень рано приѣду къ вамъ, или очень поздно, или даже совсѣмъ не приѣду. Я долженъ, у меня денегъ не будетъ (а безъ денегъ я ни за что не приѣду, въ третьихъ, я заваленъ работой. Все скажетъ будущее).

4-е. Шидловскій отозвался. Его братъ былъ у меня. Я съ нимъ начинаю переписку.

5-е. Если хочешь, мой возлюбленный другъ, что нибудь заработать на литератури. поприщѣ, то есть случай и щегольнуть и эффектъ произвести однимъ переводомъ. Переведи: Рейнеке-Фуксъ по Гете. Меня даже просили поручить тебѣ перевести, ибо вещь нужна въ альманахъ Некрасову. Если захочешь — переведи. Не торопись. И даже, если я не приѣду къ 15-му маю или къ 1-му июню, то прислай, если будетъ готово. Всѣ разъѣзжаются на лѣто; но если возможно будетъ, то я, можетъ быть, и весной помѣщу его куда нибудь и тебѣ деньги привезу. Если же не весной, то осенью, — *но непременно*. Деньги будутъ непременно. Некрасовъ издатель, онъ купитъ, Вѣлиискій купитъ, Ратьковъ купитъ, а Браевскій въ полномъ моемъ распоряженіи. Дѣло выгодное. У насъ говорили объ этомъ переводѣ. Итакъ начни, если хочешь, а за успѣхъ я ручаюсь головой. Если переведешь главы три, то пришли мнѣ, я *покажу* господамъ и случится можетъ, что денегъ дадутъ впередъ.

Никогда еще не былъ я такъ богатъ дѣятельностію, какъ теперь. Все кипитъ, идетъ... Но что-то будетъ? Прощай, мой возлюбленный.

Вѣрочка уже 3 мѣсяца какъ вышла замужъ. Говорять, счастлива. Дядя далъ столько же, сколько и Варѣ. Пиши дядѣ. Она вышла за Иванова (его высокобл.). Ему 30 лѣтъ. Онъ гдѣ-то профессоръ химіи. Мнѣ писала Вѣрочка, говорить, что и тебѣ тоже.

Прощай, милый мой. Цѣлую васъ всѣхъ и желаю вамъ всего. У Эмилии Федоровны цѣлую обѣ ручки. Дѣтей тоже. Какъ ты? Напиши о себѣ. Ахъ, другъ мой. Я хочу тебя видѣть. Но что дѣлать.

Твой весь Ф. Достоевскій.

16 мая 1846 г.

Любезный братъ!

Передъ тобою госпожи, вручившія тебѣ сіе посланіе. Пожалуйста, прими хорошенько и если можно, то даже не худо бы было пригласить ихъ къ обѣду — и ш-ше Бѣлинскую и ея интереснѣйшую сестрицу. Просятъ онѣ тоже зарекомендоваться и къ Эмилиі Оеодоровнѣ. Попитай ихъ дамскій эгоизмъ какъ можно болѣе участіемъ къ нимъ, и разумѣется, какъ можно менѣе толкуй о литературѣ. Впрочемъ, ты и самъ смыслишь лучше меня въ этихъ *дѣлахъ*; научи ихъ гдѣ имъ остановиться и что дѣлать... Я не знаю, что для нихъ лучше, остаться-ли въ Ревелѣ или ѣхать въ Гансаль.

Про себя скажу, что я рѣшительно не знаю, что еще со мною будетъ. Денегъ у меня нѣтъ ни копейки, да и не знаю еще откуда я ихъ получу. Подняться мнѣ нельзя отсюда не имѣя 500 руб. собственно для отдачи петербург. долговъ. Слѣд. суди самъ. Вѣроятно, да и всего вѣроятнѣе, что мы просто не увидимся, братъ, и что я не приѣду. Мнѣ скучно и тяжело здѣсь. Я пишу и не вижу конца работъ. Посылаю мой поклонъ Эмилиі Оеодоровнѣ. Прошу ея о г-жахъ Бѣлинскихъ и надѣюсь на все ея снисхожденіе и любезность. Не дурно, если Оеда и Мапа окажутъ тоже со своей стороны какую нибудь пріязнь, и откровенно выскажутъ свое мнѣніе въ предѣлахъ ихъ извѣстной солидности. Ну, прощай, братъ, некогда. Я рѣшительно никогда не имѣлъ у себя такого тяжелого времени. Скука, грусть, апатія и лихорадочное судорожное ожиданіе чего-то лучшаго мучать меня. А тутъ болѣзнь еще. Чортъ знаетъ что такое? Кабы какъ нибудь пронеслось все это.

Твой Ф. Достоевскій.

5 сентября 1846 г.

Спѣшу тебя увѣдомить, любезный братъ, что я кое-какъ добрался до Петербурга и остановился какъ желалъ у Трутовскаго. Качки я не чувствовалъ, но въ дорогѣ и здѣсь въ Петербургѣ промозъ до костей и простудился совсѣмъ, кашель, насморкъ и все это у меня въ самой сильной степени. Первое время было ужасно скучно. Я ходилъ нанимать квартиру и нанялъ уже за 14 руб. сер. отъ жильцовъ двѣ маленькія комнатки, съ хорошею мебелью и прислугою, но еще не переѣхалъ. Адресъ же: напро-

тивъ Казанскаго Собора, въ домѣ Кохендорфа въ номерѣ 25. По этому адресу ты мнѣ и пиши поскорѣе; ибо очень желаю отъ тебя письма. На мнѣ грусть страшная.

Бѣлинскія доѣхали хорошо и съ самой пристани я еще не видался съ ними. Зашелъ на другой день къ Некрасову. Онъ живетъ въ одной квартирѣ съ Панаевыми, и потому я видѣлся со всѣми. Альманахъ идетъ; нужно списать. Про лавку я не хотѣлъ спрашивать и не знаю; навѣрно тоже идетъ. Но вотъ извѣстie: чтобъ узнать адресъ Некрасова, я зашелъ къ Прокоповичу. Онъ мнѣ объявилъ причину пріѣзда Некрасова въ Ревель — причину, которую онъ держалъ въ тайнѣ, по разнымъ политичнымъ видамъ, и не говорилъ даже и Прокоповичу; — да тотъ догадался по разнымъ даннымъ. Пріѣзжалъ онъ видѣться съ Масальскимъ, чтобъ купить у него „Сынъ Отечества“, дѣло-то кажется пошло на ладъ и къ Новому году у насъ можетъ быть новый журналъ.

Я тебѣ ничего не говорю о Гоголѣ, но вотъ тебѣ фактъ. Въ „Современникѣ“ въ слѣдующемъ мѣсяцѣ будетъ напечатана статья Гоголя — его духовное завѣщаніе, въ которой онъ отрекается отъ всѣхъ своихъ сочиненій и признаетъ ихъ бесполезными и даже болѣе. Говоритъ, что не возьмется во всю жизнь за перо, ибо дѣло его молиться. Соглашается со всѣми отзывами своихъ противниковъ. Приказываетъ напечатать свой портретъ въ огромнѣйшемъ количествѣ экземпляровъ и выручку за него опредѣлить на вспомошествованіе путешествующимъ въ Іерусалимъ и проч. Вотъ. — Заклучай самъ.

Былъ я и у Краевскаго. Онъ началъ набирать Прохарчина; появится онъ въ октябрѣ. Я покажѣсь о деньгахъ не говорилъ; онъ же ласкается и заигрываетъ. У другихъ ни у кого не былъ еще. Языковъ открылъ контору и выставилъ выѣску. На дворѣ страшный дождь, а потому трудно выходить. Я еще живу у Трутовскаго, завтра же переѣзжаю на квартиру. На счетъ шинели тоже никакъ нельзя было хлопотать за хлопотами и дождемъ. Хочу жить скромнѣйшимъ образомъ. Желаю и тебѣ того же. Нужно дѣла дѣлать по маленьку. Поживемъ и увидимъ. А теперь прощай. Я спишу. Много бы хотѣлось написать, да иногда лучше и не говорить. Пиши. Жду отъ тебя отвѣта въ наискорѣйшемъ времени. Цѣлуй дѣтей. Кланяйся Эмилиі Оедоровнѣ. Тоже поклонись и другимъ кому слѣдуетъ. Съ слѣдующей почтой напишу гораздо болѣе. Это только уведомленіе. Прощай. Желаю тебѣ всего лучшаго, безцѣнный другъ мой — а главное покажѣсь терпѣнія и здоровья. Твой братъ

О. Достоевскій.

17 сентября 1846 г.

Любезный братъ!

Посылаю тебѣ шинель. Извини, что поздно. Задержка была не съ моей стороны, отыскивалъ моего человѣка и, наконецъ-то, нашель. Безъ него же кушить не могъ. Шинель имѣеть свои достоинства и свои неудобства. Достоинство то, что необыкновенно полна, точно двойная, и цвѣтъ хорошъ, самый форменный, сѣрый; недостатокъ тотъ, что сукно только по 8 руб. ассигнаціями. Лучше не было. За то стоила только 82 руб. асс. Остальныя деньги употреблены на посылку. Чтѣ дѣлать: были сукна и по 12 руб. ассигн., но цвѣта — свѣтло-стальнаго, отличнаго, но ты ими брезгаешь. Впрочемъ, не думаю, чтобъ тебѣ не понравилась. Она еще немного длинна.

И не писалъ тебѣ до сихъ поръ изъ за шинели. Я уже тебѣ объявлялъ, что нанялъ квартиру. Мнѣ не дурно, только средствъ въ будущемъ почти не имѣю. Краевскій далъ 50 руб. сер. и по виду его можно судить, что больше не дастъ; мнѣ нужно сильно перетерпѣть.

Прохарчинъ страшно обезображенъ въ извѣстномъ мѣстѣ. Эти господа извѣстнаго мѣста запретили даже слово *чиновникъ* и Богъ знаетъ изъ за чего; ужъ и такъ все было слишкомъ невинное, и вычеркнули его во всѣхъ мѣстахъ. Все живое исчезло. Остался только скелетъ того, чтѣ я читалъ тебѣ. Отступаюсь отъ своей повѣсти.

Новаго у насъ ничего не слышно. Все по старому; ждуть Бѣлинскаго. М-ше Бѣлинская тебѣ кланяется. Всѣ затѣи, которыя были, кажется, засѣли на мѣстѣ; или ихъ, можетъ быть, держуть въ тайнѣ — чортъ знаетъ.

Я обѣдаю въ складчинѣ. У Бекетова собралось шесть человѣкъ знакомыхъ, въ томъ числѣ я и Григоровичъ. Каждый даетъ 15 коп. сер. въ день, и мы имѣемъ хорошихъ чистыхъ кушаній за обѣдомъ 2 и довольны. Слѣд. обѣдъ мнѣ обходится не болѣе, какъ 16 руб.

Пишу къ тебѣ на-скоро. Ибо запоздалъ и человѣкъ ждетъ съ посылкой, чтобы нести на почту. У меня еще больше нескладницы, чѣмъ когда у тебя зубы болѣли. Очень боюсь, что шинель тебѣ поздно придетъ. Чтѣ дѣлать? Я старался всѣми силами.

Пишу все „Сбритыя Бакенбарды“. Такъ медленно дѣло идетъ. Боюсь опоздать. Я слышалъ отъ двухъ господъ, именно отъ одного 2-го Бекетова и Григоровича, что „Петербургскій Сборникъ“ въ провинціи не

иначе называется, какъ „Бѣдными Людьми“. Остальнаго и знать не хотѣть, хотя на расхватъ берутъ его тамъ, перекупаютъ другъ у друга, кому удалось достать за огромную цѣну. А въ книжныхъ лавкахъ напр. въ Пензѣ и въ Кіевѣ, онъ официально стоитъ 25 и 30 руб. ассигнац. Чтѣ за странный фактъ: здѣсь сѣлъ, а тамъ достать нельзя.

Григоровичъ написалъ удивительно хорошенъкую повѣсть; стараніями моими и Майкова, который, между прочимъ, хочетъ писать обо мнѣ большую статью къ 1-му января, эта повѣсть будетъ помѣщена въ „Отеч. Записки“, которыя, между прочимъ, совсѣмъ обѣднѣли. Тамъ нѣтъ ни одной повѣсти въ запасѣ.

У насъ здѣсь ужаснѣйшая тоска. И работаешь хуже. Я у васъ жилъ, какъ въ раю, и чертъ знаетъ, давай мнѣ хорошаго, я непременно самъ сдѣлаю своимъ характеромъ худшее. Желаю Эмилиі Оедоровнѣ удовольствій, а всего болѣе здоровья, искренно желаю; я много объ васъ всѣхъ думаю. Да, братъ: деньги и обезпеченіе — хорошая вещь. Цѣлую племянниковъ. Ну, прощай. Въ слѣдующемъ письмѣ напишу болѣе. А теперь ради Бога не сердись на меня. Да будь здоровъ, и не ѣшь такъ много говядины.

Адресъ мой:

У Казанскаго собора, на углу Большой Мѣщанской и Соборной площади, въ домѣ Кохендорфа, № 25.

Прощай. Твой братъ

Ф. Достоевскій.

Старайся ѣсть какъ можно здоровѣе, и пожалуйста безъ грибковъ, горчицъ и тому подобной дряни. Ради Бога.

7 октября 1846 г.

Любезный братъ!

Спѣшу отвѣчать тебѣ на твое письмо, и вмѣстѣ съ тѣмъ написать то, объ чемъ хотѣлъ увѣдомить тебя и безъ твоего письма.

Прошлый разъ писалъ я тебѣ, что собираюсь за границу. Книгопродавцы даютъ мнѣ четыре тысячи ассигн. за все. Некрасовъ давалъ было 1,500 руб. серебр. Но, кажется, у него денегъ на это не будетъ и онъ отступится. Если цѣна мнѣ покажется низкою (судя по моимъ расходамъ), то я не возьму, и самъ издамъ свой томикъ, можетъ быть даже къ 15-му

ноября. Оно же и лучше, ибо на глазахъ дѣло будетъ, не изуродуютъ изданія, напримѣръ, и однимъ словомъ будутъ свои выгоды. Потомъ къ 1-му января продамъ всѣ экземпляры гуртомъ книгопродавцамъ. Можетъ быть выручу 4,000, и хотя это то же самое, что дадутъ книгопродавцы, но я буду въ своемъ томѣ печатать не все. Слѣд., если немного прибавить, то по возвращеніи изъ Италіи выйдетъ 2-й томъ, и я приѣду прямо на деньги.

Я ѣду не гулять, а лѣчиться. Петербургъ адъ для меня. Такъ тяжело, такъ тяжело жить здѣсь! А здоровье мое слышно хуже. Къ тому же я страшно боюсь. Что-то скажетъ, напримѣръ, октябрь; до сихъ поръ дни ясные. Я очень жду твоего письма; ибо желаю знать твое мнѣніе. А покажѣсть вотъ тебѣ слѣдующее: помоги мнѣ, братъ, до 1-го декабря самое дальнее. Ибо до 1-го декабря я совершенно не знаю, гдѣ взять денегъ. Т. е. деньги-то будутъ, Краевскій наприм. навязываетъ, но я взялъ уже у него 100 руб. сер. и теперь отъ него бѣгаю. Ибо чтѣ 50 цѣлковыхъ, то и листъ печатный. А я въ Италіи, на досугъ, на свободѣ хочу писать романъ для себя и быть въ возможности набинуть, наконецъ, цѣну. А система всегдашняго долга, которую такъ распространяетъ Краевскій, есть система моего рабства и зависимости литературной. Итакъ, дай же мнѣ средства, если можешь. Уѣзжая за границу, я тебѣ писалъ ужъ, что отдамъ 100 руб. сер.; но если мнѣ пришлешь теперь 50 руб. серебр., то отдамъ и ихъ, все будетъ обдѣлано къ 1-му января. Разсчитайся, если можешь ссудить меня до 1-го января, то дай. На меня же въ отношеніи отдачи надѣйся, какъ на каменную гору. Пишу послѣднее собственно для того, чтобъ тебѣ яснѣе было можно разсчитать.

Деньги эти мнѣ нужны на шинель. Платья себѣ я ужъ не шью, занятый весь моею системою литературной эманципаціи, а оно, т. е. платье, уже неприличное. Шинель же нужна. На нее употребляю съ воротникомъ 120 р., а на остальные хочу кое-какъ пробиться до напечатки. Вызвался хлопотать за меня самъ Краевскій. Печатаютъ же по его рекомендаціи Ратьковъ и Кувшинниковъ. Я уже съ ними говорилъ. Давали же они 4,000 за рукопись.

Къ 1-му января намѣренъ еще настроить какуюнибудь мелочь Краевскому и потомъ удеру отъ всѣхъ. Чтѣбы мнѣ подняться въ Италію нужно заплатить разныхъ долговъ (тутъ же и тебѣ) всего 1,600 руб. асс. Слѣд. останется развѣ-развѣ 2,400 руб. асс. Я обо всемъ разспрашивалъ: проѣздъ стоитъ 500 р. (крайнее). Да въ Вѣнѣ я сдѣлаю платья и бѣлья на 300 руб., тамъ дешево, всего 800; останется стало быть 1,600. Я проживу восемь мѣсяцевъ. Пришлю въ „Современникъ“ 1-ю часть ро-

мана, получу 1,200 р. и изъ Рима на 2 мѣсяца съѣзжу въ Парижъ и обратно. Пріѣхавъ издамъ тотчасъ же 2-ю часть, а романъ буду писать до осени 1848 года и тутъ издамъ 3 или 4 части его. Первая же, прологъ, будетъ напечатана уже въ „Современникѣ“ въ видѣ пролога. И сюжетъ и мысль у меня въ головѣ. Я теперь почти въ паническомъ страхѣ за здоровье. Сердцебіеніе у меня ужасное, какъ въ первое время болѣзни.

„Современникъ“ издаетъ Некрасовъ и Панаевъ 1-го января. Критикъ Вѣлинскій. Подымаются разные журналы и чортъ знаетъ что еще. Но я бѣгу отъ всего затѣмъ, что хочу быть здоровымъ, чтобы написать что нибудь здоровое. Лавка падаетъ у Некрасова. Но Языковъ и комп. процвѣтають. У него тоже комиссіонерство книгами. Я уже съ нимъ говорилъ для сдачи ему экземпляровъ для хозяйственнаго командованія ими.

Кланяйся всѣмъ. Эмилиі Федоровнѣ особенно. Дѣтямъ тоже и ради Бога отвѣчай мнѣ по первой почтѣ. Жду твоего письма. Наниши скорѣе; ибо если не пришлешь денегъ, то по крайней мѣрѣ скажи, что нѣтъ (за что ей-Богу не буду претендовать), чтобъ мнѣ можно было хлопотать въ другомъ мѣстѣ.

Твой весь

О. Достоевскій.

Я тебѣ буду теперь писать письма очень часто.

Мы, братъ, долго теперь не увидимся. Но по пріѣздѣ изъ за границы прямо заѣду къ тебѣ, гдѣ бы ты ни былъ.

Къ 20 октября время окончанія сырого матеріала, т. е. „Сбитыхъ Бакенбардъ“, мое положеніе означится наисенѣйшимъ образомъ, ибо уже съ 15-го октября начнется печатаніе съ „Вѣднихъ Людей“.

17 октября 1846 г.

Спѣшу тебя увѣдомить, л. б., что я твои деньги получилъ, за что несказанно благодаренъ, ибо не чувствую болѣе холода и другихъ неприятностей. Спѣшу тоже сказать тебѣ, что всѣ мои надежды и расчеты отлагаются кажется до болѣе удобнаго времени. По крайней мѣрѣ теперь самъ еще немного знаю. Предлагаются все такія условія, какихъ и принять нельзя: то деньги маленькія, то деньги порядочныя, но не всѣ, а

ждать нужно. Разумѣется, если продавать, то я могу исполнить это только на наличныя деньги. Наконецъ совѣтуютъ мнѣ подождать. Оно и худо и хорошо. Худо за здоровье. Хорошо то, что если выждать, такъ можно получить болѣе значительную сумму. Издавать же въ послѣднемъ случаѣ никакъ не предстоитъ къ Рождеству. Ибо нужно жить чѣмъ нибудь; слѣд. нужно продавать повѣсти въ журналы; и потомъ нужно будетъ выждать; и потому изданіе можетъ развѣ состояться въ 1-му мал. Къ тому же нужно будетъ потрудиться все пообдѣлать, и издать 2 томка толстыхъ, и не за 2 р. 50 коп., какъ я предполагалъ, а уже за 3 и, можетъ быть, болѣе. И такъ можетъ быть увидимся лѣтомъ еще разъ и развѣ осенью осуществится поѣздка, при большихъ деньгахъ.

Меня все это такъ разстраиваетъ, братъ, что я какъ одурѣлый. Экъ сколько труда и тягости разной нужно перенести сначала, чтобъ устроить себя. Здоровье свое, наприм., нужно пускать на авось, а обезпеченіе чортъ знаетъ еще будетъ когда. Я тебѣ пишу письмо маленькое, ибо самъ еще навѣрно не знаю ничего. Я впрочемъ не совсѣмъ унываю. Какъ-то ты живешь? Пишешь, что ожидаешь новаго гостя въ семейство. Дай Богъ, чтобы это все обошлось хорошо. Кабы и у тебя тоже поправлялись обстоятельства. Я, братъ, не перестаю думать о своихъ цѣляхъ. Наша ассоціація можетъ осуществиться. Я все мечтаю. Мнѣ, братъ, нужно рѣшительно имѣть *полный успѣхъ*; безъ того ничего не будетъ, и я буду только существовать съ горемъ пополамъ. Все же это зависитъ не отъ меня, а отъ силъ моихъ.

„Сбрит. Бак.“ еще не совсѣмъ кончены. Прохарчина очень хвалятъ. Мнѣ рассказывали много сужденій. Бѣлинскій еще не пріѣхалъ. Господа въ „Современникѣ“ все таятся. Такъ что я еще придерживаюсь съ „Сбрит. Бакенбард.“ и не обѣщаль. Можетъ быть будутъ у Краевского. Впрочемъ, я еще не знаю какъ устроюсь и съ этимъ. Буду пользоваться обстоятельствами и нущу повѣсть въ драку, кто больше? Стащу-то я денегъ ужъ навѣрно порядочно. Но если случится издавать отдѣльно, такъ что дадутъ извѣстную сумму впередъ, то я не отдамъ въ журналы.

Братъ Андрей тебѣ кланяется. Бѣлинскія тоже, и тебѣ и Эмилиі Оедоровнѣ. Я у нихъ бываю. Вотъ играютъ-то на авось! Цалую дѣтей; я объ нихъ часто вспоминаю. Если продамъ хорошо повѣсть, то непременно пришло имъ къ Рождеству конфетовъ и разныхъ сластей. Свидѣтельствую всю мою преданность Эмилиі Оедоровнѣ. Потерпимъ, братъ, авось разбогатѣемъ. Нужно работать. Но ради Бога храни здоровье. И я бы тебѣ совѣтовалъ и просилъ — не работай много. Чтò къ чорту! Пожалуй-

ста береги себя. И главное ѣшь здоровѣе пищу. Меньше кофею и мяса. Это ядъ. Прощай, братъ. Скоро еще напишу. Такія потемки.

Ф. Достоевскій.

У насъ октябрь сухой, ясный и холодный. Болѣзней мало. Не забывай меня и пиши. Кланяйся форштадтскимъ, Рейнгардту и прочимъ.

(1846 г.?).

Любезный братъ!

Хочу тебѣ написать слова два, но не болѣе, ибо хлопочу и бьюсь объ ледъ, какъ рыба. Дѣло въ томъ, что всѣ мои планы рухнули и уничтожились сами собою. Изданіе не состоится. Ибо не состоялось ни одной изъ тѣхъ повѣстей, о которыхъ я тебѣ говорилъ. Я не пишу и „Сбри-тыхъ Вагенбардъ“. Я все бросилъ: ибо все это есть ни что иное, какъ повтореніе стараго, давно уже мною сказаннаго. Теперь болѣе оригинальныя, живыя и свѣтлыя мысли просятся изъ меня на бумагу. Когда я дописалъ „Сбр. Вак.“ до конца, все это представилось мнѣ само собою. Въ моемъ положеніи однообразіе — гибель.

Я пишу другую повѣсть, и работа идетъ, какъ нѣкогда въ „Вѣднхъ Людахъ“ — свѣжо, легко и успѣшно. Назначаю ее Краевскому. Пусть господа „Современника“ сердятся, это ничего. Между тѣмъ, написавъ повѣсть къ январю, перестану печатать совсѣмъ до самаго будущаго года, а пишу романъ, который ужъ и теперь не даетъ мнѣ покоя.

Но чтобъ жить я рѣшаюсь издать „Вѣднхъ Людей“ и обдѣланнаго „Двойника“ отдѣльными книжками. Я не ставлю, на примѣръ, на нихъ 1-я часть, 2-я часть, это просто будетъ „Вѣднхъ Люди“ отдѣльно и „Двойникъ“ тоже — вся дѣятельность моя за годъ. Также точно надѣюсь я поступить и относительно будущаго романа. И, наконецъ, развѣ года черезъ 2 приступлю къ полному изданію, и тѣмъ чрезвычайно выиграю, ибо возьму деньги два раза и сдѣлаю себѣ извѣстность.

„Вѣднхъ Люди“ начинаю печатать завтра или послѣ завтра. Сдѣлаю это черезъ Ратькова, онъ обѣщаетъ. И теперь только клянусь судьбу, что нѣтъ у меня 700 руб. ассигн., чтобъ издать на свой счетъ. Издавать на свой счетъ — это все. На чужой — это значитъ на страхъ, можно погибнуть. Книгопродавцы подлецы. Бездна есть у нихъ уловокъ, которыхъ не знаю я, и которыми можно облапошить. Но самая варварская вещь у нихъ слѣдующая: Напечатаетъ онъ изданіе на свой

счетъ и получить за это отъ меня 350 или 400 экземпляровъ (цѣна, окупающая ему издержки), проценту беретъ онъ 40 на 100, то есть 40 к. сер. съ экземпляра (я пушу по рублю). Это за *оборотъ его капитала* и за *страхъ*. У него въ рукахъ, положимъ, 300 экземпляр. Онъ ужъ ихъ и продаетъ. Я же не имѣю права продать ни одного экземпляра до тѣхъ поръ, пока онъ все свое не продастъ, ибо его подрываю. Онъ продастъ все и скажетъ мнѣ, что публика не требуетъ болѣе и что у него нейдутъ. Повѣрять его невозможно. Это значитъ разсориться съ нимъ. Это дѣлается только въ крайнихъ случаяхъ. У меня экземпляры лежатъ. Мнѣ нужны деньги. Онъ покупаетъ, наконецъ, у меня, проморивъ меня, сотни двѣ экземпляровъ за половинную цѣну. Наконецъ, есть такія каналы, которыя задерживаютъ иногороднія требованія и не даютъ требующей даже въ Петербургѣ публикѣ. Теперь: издай я самъ, я вдругъ продаю всѣмъ книгопродавцамъ въ Петербургѣ на чистыя. Процентъ беретъ законный. Они даютъ каждый больше, подрывая другъ друга, если книга идетъ и, наконецъ, въ конторѣ Языкова учреждается главный складъ.

Слушай, братъ: требую отъ тебя немедленнаго отвѣта и вотъ что предлагаю. Если только у тебя есть деньги 200 руб. сер. (нужно болѣе, но можно войти въ маленькій долгъ), то не хочешь-ли спекуляцію. Если ты согласишься, то деньги у тебя пролежатъ даромъ. Я же тебѣ предлагаю, дай мнѣ денегъ на изданіе. Къ 15-му ноября можно уже напечатать. До 1-го января окупится изданіе. Я тебѣ присылаю деньги твои 200 р. сер. тотчасъ же. Потомъ, со всего остальнаго барыша тебѣ $\frac{1}{4}$ долю. Изданіе окупится 350 экзempl. (всего 1,200 экз.). Останется 850 по 75 к. сер. — 635 руб. асс. Книгопродавцу я дамъ же этотъ барышъ. Но я бы лучше желалъ взять тебя въ долю. Мои деньги бы не пропали. Потомъ, если бы понахло успѣхомъ, мы бы издали „Двойника“. Наконецъ, во всякомъ случаѣ, твои деньги воротятся къ тебѣ до генваря мѣсяца. Свидѣтельствуюсь честнымъ словомъ моимъ, что я не вовлеку тебя въ ложное положеніе. Наконецъ, я ожидаю успѣха. Хотя и медленнаго. Все изданіе разоидется развѣ въ годъ. Вотъ примѣръ: „Панъ Халявскій“ Основьяненко былъ напечатанъ въ „Отеч. Запискахъ“ 3 года назадъ. Потомъ изданъ отдѣльно и теперь уже хотять дѣлать 3-е изданіе.

Если хочешь, братъ, то отвѣчай мнѣ немедленно и деньгами. Я же поправлю въ это время кое-что, буду въ цензурѣ и уговорюсь въ типографіи. Если пришлешь и у тебя нѣтъ столько, то пришли на 1-ый разъ хоть 120 р. сер. не менѣе для задатка, и потомъ непременно къ 15-му ноября остальные 80 р. сер.

Наконецъ, если ты не можешь всего этого сдѣлать, то ты меня не стѣснишь, по крайней мѣрѣ, во времени. Я обращусь къ книгопродавцамъ и мы издадимъ уже потомъ „Двойника“.

Отбрось въ этомъ дѣлѣ всю братскую любовь, деликатность и проч. разности. Смотри на дѣло, какъ на спекуляцію. Изъ желанія мнѣ добра, не обкради себя самъ, хотя даже и не на большое время. У тебя рождается новое дитя. Прощай, цалуй всѣхъ. Кланяйся кому нужно. Мнѣ все нездоровится. Но вѣдь ты меня знаешь.

Твой Достоевскій.

Прощай, любезный братъ. Ожидаю отвѣта немедленнаго. Ради Бога не ставь себя самъ въ ложное положеніе, т. е. еслибъ ты, напр., давалъ свои послѣднія. Тогда лучше не нужно. Я вѣдь только предлагаю. Но если ты богатъ и *солмасенъ*, то высылай деньги съ 1-ою почтою, напр., во 2-му или 3-му числу.

Ну, слушай же: Я тебѣ написалъ все и послѣдній разъ говорю; если есть деньги, не бойся и соглашайся. Нѣтъ, или мало, то ради Бога не вступай въ долю. Отвѣчай сейчасъ.

Кланяйся Эмилиіи Федоровнѣ. Желаю вамъ всѣмъ счастья, друзья мои. Гоголь умеръ во Флоренціи 2 мѣсяца назадъ.

26 ноября 1846 г.

Ну какъ ты могъ, драгоценнѣйшій другъ мой, писать, будто бы я на тебя разсердился за неприсылку денегъ и потому молчу. Какъ могла такая идея придти тебѣ въ голову? И чѣмъ, наконецъ, я могъ подать тебѣ поводъ такъ думать обо мнѣ? Если ты меня любишь, то сдѣлай одолженіе откажись впредь навсегда отъ подобныхъ идей. Постараемся, чтобъ между нами было все прямо и просто. Я вслухъ и прямо скажу тебѣ, что я тебѣ ужъ и такъ много обязанъ и что было бы смѣшнымъ и подлымъ свинствомъ съ моей стороны не сознаться въ этомъ. Теперь объ этомъ довольно. Буду писать лучше о моихъ обстоятельствахъ и постараюсь обо всемъ тебя пояснѣе увѣдомить.

Во первыхъ всѣ мои изданія лопнули и не состоялись. Не стоило, брало много времени и рано было. Публика, можетъ быть, не подалась бы. Изданіе сдѣлаю къ будущей осени. Со мной къ тому времени публика болѣе ознакомится и положеніе мое будетъ яснѣе. Къ тому же я ожидаю

нѣсколькихъ авансовъ. „Двойникъ“ уже иллюстрированъ однимъ московскимъ художникомъ. „Бѣдные люди“ иллюстрируются здѣсь въ двухъ мѣстахъ—кто сдѣлаеть лучше. Бернадскій говоритъ, что не прочь начать со мной переговоры въ февралѣ мѣсяцѣ и дать мнѣ известную толку денегъ на право издать въ иллюстраціи. До того времени онъ возится съ „Мертвыми душами“. Однимъ словомъ, къ изданію я сталъ равнодушенъ. Къ тому же и некогда возиться съ этимъ. Работы и заказовъ у меня бездна. — Скажу тебѣ, что я имѣлъ неприятность окончательно поссориться съ „Современникомъ“ въ лицѣ Некрасова. Онъ досадуетъ на то, что я всетаки даю повѣсти Краевскому, которому я долженъ, и что я не хотѣлъ публично объявить, что не принадлежу къ „Отечеств. Запискамъ“. Отчаявшись получить отъ меня въ скоромъ времени повѣсть, надѣлалъ мнѣ грубостей и неосторожно потребовалъ денегъ. Я его поймалъ на словѣ и обѣщалъ заемнымъ письмомъ выдать ему сумму къ 15-му декабря. Мнѣ хочется, чтобы сами пришли ко мнѣ. Когда я разругалъ Некрасова въ пухъ, онъ только что сѣменилъ и отдѣлывался какъ жидъ, у котораго крадутъ деньги. Однимъ словомъ, грязная исторія. Теперь они выпускаютъ, что я зараженъ самолюбіемъ, возмечталъ о себѣ и передаю Краевскому затѣмъ, что Майковъ хвалитъ меня. Некрасовъ же меня собирается ругать. Чтѣ же касается до Вѣлинскаго, то это такой слабый человѣкъ, что даже въ литературныхъ мнѣніяхъ у него пять пятницъ на недѣлѣ. Только съ нимъ я сохранилъ прежнія добрыя отношенія. Онъ человѣкъ благородный. Между тѣмъ, Краевскій, обрадовавшись случаю, далъ мнѣ денегъ и обѣщалъ сверхъ того уплатить за меня всѣ долги къ 15 декабря. За это я работаю ему до весны. — Видишь-ли чтѣ, братъ: изъ всего этого я извлекъ премудрое правило. 1-е убыточное дѣло для начинающаго таланта—это дружба съ пропріетерами изданій, изъ которой необходимымъ слѣдствіемъ исходитъ кумовство и потомъ разныя сальности. Потомъ независимость положенія и, наконецъ, работа для святаго искусства, работа свѣтая, чистая въ простотѣ сердца, которое еще никогда такъ не дрожало и не двигалось у меня, какъ теперь, передъ всѣми новыми образами, которые сознаются въ душѣ моей. Братъ, я возрождаюсь не только нравственно, но и физически. Никогда не было во мнѣ столько обилія и ясности, столько ровности въ характерѣ, столько здоровья физическаго. Я много обязанъ въ этомъ дѣлѣ моимъ добрымъ друзьямъ Бекетовымъ, Залюбецкому и другимъ, съ которыми я живу; это люди дѣльные, умные, съ превосходнымъ сердцемъ, съ благородствомъ, съ характеромъ. Они меня вылечили своимъ обществомъ. Наконецъ, я предложилъ жить вмѣстѣ. Нашлась квартира большая и всѣ издержки, по

всѣмъ частямъ хозяйства, все не превышаетъ 1,200 руб. ассигнац. съ человѣка въ годъ. Такъ велики благодѣянія ассоціаци! У меня своя комната и я работаю по цѣлымъ днямъ. Адресъ мой новый, куда прошу адресовать ко мнѣ: — на Васильевскомъ островѣ, въ 1-й линіи, у Большаго проспекта, въ домѣ Солошича, № 26, противъ лютеранской церкви.

Поздравляю, милѣйшій мой другъ, съ 3-мъ племянникомъ. Желаю всѣхъ благъ и ему и Эмилиі Федоровнѣ. Я васъ всѣхъ теперь втрое больше люблю. Но не сердись на меня, безцѣнный мой, что пишу не письмо, а какой-то клочекъ исписанный; времени нѣтъ, меня ждуть. Но зато въ пятницу еще разъ буду писать. Считай же это письмо недоконченнымъ.

Твой другъ Ф. Достоевскій.

С.-Петербургъ. 17 декабря 1846 г.

Что это съ тобою случилось, любезный братъ, что ты совершенно замолкъ? Съ каждой почтой жду чего нибудь отъ тебя и ни слова. Я въ безпокойствѣ, часто думаю о тебѣ, о томъ, что ты хвораетъ иногда, и боюсь дѣлать заключенія. Ради Бога, напиши мнѣ хоть двѣ строчки. Пожалуйста напиши и успокой меня. Ты, можетъ быть, все выжидалъ продолженія моего недавняго посланія. Но на меня не сердись, что я такъ неточно исполняю слово мое. Я теперь заваленъ работою и къ 5-му числу генваря обязался поставить Краевскому 1-ю часть романа „Неточка Незванова“, о публикаціи которой ты уже вѣрно прочелъ въ „Отеч. Запискахъ“. Это письмо пишу я урывками, ибо пишу день и ночь, развѣ отъ семи часовъ вечера для развлеченія хожу въ итальянскую оперу въ галерею слушать нашихъ несравненныхъ пѣвцовъ. Здоровье мое хорошо, такъ что объ немъ ужъ и нечего писать болѣе. Пишу я съ рвеніемъ. Мнѣ все кажется, что я завелъ процессъ со всею нашею литературою, журналами и критиками, и тремя частями романа моего въ „Отечеств. Запискахъ“ и устанавливаю и за этотъ годъ мое первенство на зло недоброжелателямъ моимъ. Краевскій повѣсилъ носъ. Онъ почти погибаетъ. „Современникъ“ же выступаетъ блистательно. У нихъ уже завязалась перестрѣлка.

Итакъ, братъ, я не поѣду за границу ни нынѣшнюю зиму, ни лѣто, а приѣду опять къ вамъ въ Ревель. Я самъ съ нетерпѣніемъ жду лѣта. Лѣ-

листовъ. Смѣшной человѣкъ. Самъ въ нихъ ничего не разбираетъ и хочетъ, чтобы другіе чтонибудь сдѣлали. Я какънибудь похлопочу о твоёмъ отвѣтѣ. Поѣду по вѣзмъ, у кого есть записки.

Но время уходитъ. Хотѣлъ тебѣ написать многое. Какъ досадно, что все перебито. И потому ограничусь самымъ послѣднимъ, напишу кое-что о себѣ. Я, братъ, работаю; не хочу ничего выдавать раньше, чѣмъ кончу. Денегъ, между тѣмъ, нѣтъ, и если бы не было добрыхъ людей, я бы погибъ. Разложеніе моей славы въ журналахъ доставляетъ мнѣ болѣе выгоды, чѣмъ невыгоды. Тѣмъ скорѣе схватятся за новое мои поклонники, которые, кажется, очень многочисленны и отстоятъ меня. Я живу очень бѣдно и всего, съ того времени, какъ я тебя оставилъ, прожилъ 250 р. с., до 300 руб. сер. употребилъ на долги. Меня сильнѣе всѣхъ подрѣзаль Некрасовъ, которому я отдалъ его 150 руб. сер., не желая съ нимъ связываться. Къ веснѣ сдѣлаю у Краевского большой заемъ и пришлю тебѣ 400 руб. непременно. Это какъ Богъ святъ; ибо мысль о тебѣ мучаетъ меня болѣе, чѣмъ все. Въ Гельсингфорсъ же врядъ-ли приѣду рано. Ибо, можетъ быть, буду лечиться окончательно по методѣ Присница холодной водой. И потому приѣду развѣ въ іюнь. Впрочемъ, ничего еще не знаю, мой милый. Мое будущее впереди. Но, хоть громъ трещи надо мной, я теперь не подвинусъ, я знаю все, что могу сдѣлать, работы своей не испорчу, и поправлю свои обстоятельства денежныя успѣшнымъ ходомъ книги, которую издамъ осенью. Проклятый Свиридовъ. Уже почти два часа. Вообрази: я всѣми силами давалъ ему замѣтить, что у меня нѣтъ времени. Онъ все сидѣлъ и болталъ о томъ, какъ онъ вопросъ твой составлялъ, давалъ знать, какъ важно тебѣ его въ этомъ помощничество, какъ онъ на Кавказъ поѣдетъ, и напишетъ о тамошней флорѣ такое сочиненіе, какого и не бывало. Чортъ съ нимъ... Шутъ! Право съ иными людьми поговоришь и точно выйдешь изъ какойнибудь канцеляріи. Онъ меня оторвалъ отъ тебя, мой возлюбленный. Береги себя, братъ. Особенно здоровье. Развлекайся, и пожелай мнѣ скорѣе кончить работу. За ней сейчасъ послѣдуютъ деньги и я у тебя. Лечение у Присница въ моемъ воображеніи. Можетъ быть, доктора и отсовѣтуютъ мнѣ. Какъ бы я желалъ тебя видѣть. Иногда меня мучаетъ такая тоска. Мнѣ вспоминается иногда, какъ я былъ угловать и тяжель у васъ въ Ревелѣ. Я былъ боленъ, братъ. Я вспоминаю, какъ ты разъ сказалъ мнѣ, что мое обхожденіе съ тобою исключаетъ взаимное равенство. Возлюбленный мой. Это совершенно было несправедливо. Но у меня такой скверный отталкивающій характеръ. Я тебя всегда цѣнилъ выше и лучше себя. Я за тебя и за твоихъ готовъ жизнь отдать, но иногда, когда сердце мое плаваетъ въ любви, не до-

бьешься отъ меня ласковаго слова. Мои нервы не повинуются мнѣ въ эти минуты. Я смѣшонъ и гадокъ, и вѣчно посему страдаю отъ несправедливаго заключенія обо мнѣ. Говсрятъ, что я черствъ и безъ сердца. Сколько разъ я грубилъ Эмилиіи Ѳедоровнѣ, благороднѣйшей женщинѣ въ 1,000 разъ лучше меня. Помню, какъ иногда я нарочно злился на Ѳедю, котораго любилъ въ то же самое время даже больше тебя. Я тогда только могу показать, что я человекъ съ сердцемъ и любовью, когда самая вѣшность, обстоятельства, случай, вырветъ меня насильно изъ обыденной пошлости. До того времени я гадокъ. Неравенство это я приписываю болѣзни. Читалъ-ли ты „Луcreцію Флоріани“, посмотри „Кароля“. Но скоро ты прочтешь „Неточку Незванову“. Это будетъ исповѣдь, какъ *Голядкинъ*, хотя въ другомъ тонѣ и родѣ. О Голядкинѣ я слышу изъ подтишка (и отъ многихъ) такіе слухи, что ужасъ. Иные прямо говорятъ, что это произведеніе *чудо* и не-понято. Что ему страшная роль въ будущемъ, что еслибъ я написалъ одного Голядкина, то довольно съ меня, и что для иныхъ оно интереснѣе Дюмаcовскаго интереса. Но вотъ самолюбіе мое разхлесталось. Но, братъ! Какъ пріятно быть понятымъ. Братъ, за чѣмъ ты такъ любишь меня! Постараюсь тебя обнять поскорѣе. Будемъ любить другъ друга горячо. Пожелай мнѣ успѣха. Я пишу мою „Хозяйку“. Уже выходитъ лучше „Вѣдныхъ Людей“. Это въ томъ же родѣ. Перомъ моимъ водить родниѣ вдохновенія, выбивающійся прямо изъ души. Не такъ какъ въ Прохарчинѣ, которымъ я страдалъ все лѣто. Какъ бы мнѣ хотѣлось помочь тебѣ, братъ, поскорѣе. Но надѣйся, братъ, на тѣ деньги, которыя я общалъ тебѣ, какъ на стѣну, какъ на гору. Цалуй всехъ твоихъ. А покажѣсть

Твой Достоевскій.

Сойдемся-ли мы, братъ, когда нибудь вмѣстѣ въ Петербургѣ. Чтобы ты сказала о статской службѣ съ приличнымъ жалованьемъ.

Не знаю чѣмъ родила м-ше Вѣлинская. Слышала, что кричитъ за двѣ комнаты ребенокъ, а спросить какъ-то совѣстно и странно.

(Весною 1847 г.?).

Любезный братъ!

Напишу тебѣ двѣ строчки, ибо занятъ. Не знаю, гдѣ застанеть тебя письмо мое. Всѣми силами постараюсь такъ окончить свои дѣла, чтобы

хоть даже въ сентябрѣ побывать къ тебѣ на недѣлю. Что же касается до денегъ, то я немножко ошибся въ расчетѣ. Мнѣ придется писать едва-ли и два фельетона въ недѣлю, т. е. ужъ не болѣе какъ 250 — 300 руб. ассигн. И такъ какъ я долженъ уплачивать Майковымъ, которымъ я очень много задолжалъ (хотя они и не спрашиваютъ) и за квартиру, то ужъ я и не знаю сколько я тебѣ буду присылать; но буду присылать. Я, братъ, въ такомъ положеніи, что если отдамъ тебѣ до 1-го октября только 100 руб. сер., то почту себя счастливейшимъ человѣкомъ. Но съ 1-го октября или сентября *) дѣла перемѣнятся. Я возьму у Краевского послѣ окончанія романа 1,000 руб. сер. впередъ и не иначе, какъ на *неопредѣленный срокъ*. Такъ какъ „Современникъ“ идетъ, и съ ожесточеніемъ переманиваетъ къ себѣ сотрудниковъ „Отечеств. Записокъ“, то онъ, *Андр. Алекс. Краевскій*, сильно труситъ. Онъ будетъ согласенъ на все. Къ тому же, счастье его и *мое*, что романъ мой печатается въ концѣ года. Онъ завершитъ годъ, пойдетъ во время подписки и, главное, будетъ, если не ошибаюсь теперь, капитальною вещью въ году, и утретъ носъ друзьямъ Современникамъ, которые рѣшительно стараются похоронить меня. Но къ чорту ихъ. Тогда, получа 1,000 руб. сер., я приѣду къ тебѣ съ деньгами и съ окончательнымъ рѣшеніемъ на счетъ тебя. Ты можешь приѣхать въ Петербургъ хоть одинъ, взявъ отпускъ на 28 дней, получить мѣсто и — или продолжать службу въ инженерахъ, или навѣки оставить ее.

Адресъ мой: На углу Малой Морской и Вознесенскаго проспекта, въ домѣ Шила, въ квартирѣ Времмера, спросить Ф. Достоевскаго.

На счетъ перевода не знаю, буду хлопотать все лѣто, искать его. У насъ былъ въ Петербургѣ (онъ теперь за границей) одинъ дуракъ Фурманнъ, тотъ получаетъ до 20,000 р. въ годъ одними переводами! Еслибъ у тебя былъ хоть одинъ годъ обезпеченный, то ты бы непременно пошелъ. Ты молодъ; можно бы даже сдѣлать литературную карьеру. Теперь всѣ ее дѣлаютъ. Лѣтъ черезъ десять можно бы и забыть о переводахъ. Я пишу очень прилежно, авось кончу. Тогда мы увидимся ранѣе. Что говоритъ Эмилія Федоровна? Я ей низайше кланяюсь, дѣтямъ тоже. Прощай, братъ. У меня маленькая лихорадка. Я вчера простудился выйдя ночью безъ сюртука въ одномъ пальто, а по Невѣ шелъ ледъ. У насъ холодно, какъ въ ноябрѣ. Но уже я разъ до шести простуживался, — вздоръ! Вообще, здоровье мое очень поправилось! Прощай, братъ, пожелай мнѣ успѣха. Послѣ романа, я пристунаю къ изданію моихъ 3-хъ романовъ

*) Тогда-то я и приѣду къ тебѣ съ послѣдними пароходами.

(„Бѣдн. люд.“, „Дв.“ передѣл. и послѣднаго) на свой счетъ, и тогда авось прояснится судьба.

Дай Богъ тебѣ счастья, мой милый.

Тв. Ф. Достоевскій.

Ты не повѣришь. Вотъ уже третій годъ литературнаго моего поприща я какъ въ чадѣ. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходитъ за невремяемъ. Хочется установиться. Сдѣлали они мнѣ извѣстность сомнительную, и я не знаю, до которыхъ поръ пойдетъ этотъ адъ, тутъ бѣдность, срочная работа, — кабы покой!!

Мой всенизжайшій поклонъ Николаю Ивановичу Рейнгардту, Бергманамъ.

9 сентября 1847 г.

Спѣшу отвѣчать на твое письмо, братъ. Ну ужь какъ хочешь съ семействомъ, какъ самъ лучше рассчитываешь, но ты, относительно себя самого, ужь ни за что не измѣняй своей диспозиціи. Ты боишься, что тебѣ не дадутъ отсрочки; но развѣ ты не можешь взять отпуска на 2, на 3 мѣсяца? А если не можешь, то справься у окружнаго командира и просто попроси его, чтобы задержки въ отсрочкѣ не было. Вѣдь это если захотятъ прижать; но, я думаю, прижимать выходящаго въ отставку не будутъ. Только ты всетаки приѣзжай. Ты пишешь, что приѣдешь къ 1-му октябрю; но въ такомъ случаѣ ты только 2-го сентября подашь въ отпускъ, слѣд. срокъ ему въ $\frac{1}{2}$ ноября, а въ половинѣ ноября можетъ выйти твоя отставка.

Ты говоришь, что покачиваютъ головами; а я тебѣ говорю: не приходи въ разстройство отъ этого. Пишешь, что и у меня первый блинъ комомъ. Но вѣдь это только теперь; погоди, братъ, поправимся. А у насъ ассоціація. Невозможно, чтобъ мы оба не выбились на дорогу; вздоръ! Вспомни, какіе люди покачиваютъ головами! Свое, что теперь получаешь, ты всегда получишь здѣсь, въ Петербургѣ, да еще не такой тяжелой работой. Буду сидѣть на своей квартирѣ и ждать тебя. Я теперь нездоровъ и кончаю повѣсть, чтобъ напечатать ее въ октябрѣ мѣсяцѣ. И потому тороплюсь. Не пишешь какого числа ты отправляешься въ Ревель. Но все равно; письмо мое, можетъ быть, застанетъ тебя наканунѣ отъѣзда. Какъ-то ты устроишь тамъ семейство? 125 руб. сер. мало денегъ. Я напишу

работалъ такъ сон-амоге, какъ теперь), всегда изнурила меня, дѣйствуя на нервы. Когда я работалъ на свободѣ, мнѣ нужно было непрерывно прерывать себя развлеченіями, а здѣсь волненіе послѣ письма должно проходить само собою. Здоровье мое хорошо, развѣ только геморрой, да разстройство нервовъ, которое идетъ crescendo. У меня по временамъ стало захватывать горло, какъ прежде, аппетитъ очень небольшой, а сонъ очень малый, да и то съ сновидѣніями болѣзненными. Сплю я часовъ пять въ сутки и раза по четыре въ ночь просыпаюсь. Вотъ только это и тяжело. — Всего тяжелѣе время, когда смеркается, а въ 9 часовъ у насъ уже темно. Я иногда не сплю до часа, до двухъ за полночь, такъ что часовъ пять темноты переносить очень тяжело. Это болѣе всего разстраиваетъ здоровье. О времени окончанія нашего дѣла ничего сказать не могу, потому что всякій расчетъ потерялъ, и только веду календарь, въ которомъ пассивно отмѣчаю ежедневно прошедшій день — съ плечъ долой! Я здѣсь читалъ немного: два путешествія къ св. мѣстамъ и сочиненія св. Дмитрія Ростовскаго. Послѣднія меня очень заняли; но это чтеніе — капля въ морѣ, и какойнибудь книгѣ я бы, мнѣ кажется, былъ бы до невѣроятности радъ. Тѣмъ болѣе, что это будетъ даже цѣлительно, затѣмъ, что перебьешь чужими мыслями свои, или перестроишь свои по новому складу.

Вотъ всѣ подробности о моемъ житьѣ-бытьѣ; больше нѣтъ ничего. Радъ очень, что нашелъ ты все семейство свое здоровымъ. Писалъ-ли ты въ Москву о своемъ освобожденіи? Жаль очень, что тамошнее дѣло не складывается. Какъ-бы я желалъ хоть одинъ день побыть съ вами! Вотъ уже скоро три мѣсяца нашему заключенію; что-то дальше будетъ. Можетъ быть и не увидишь зеленыхъ листьевъ за это лѣто. Помнишь, какъ насъ выводили иногда гулять въ садикъ въ маѣ мѣсяцѣ? Тамъ тогда начиналась зелень, и мнѣ припомнился Ревель, въ которомъ я бывалъ у тебя къ этому времени, и садъ въ инженерномъ домѣ. Мнѣ все казалось тогда, что и ты сдѣлаешь это сравненіе, — такъ было грустно. Хотѣлось бы видѣть и другихъ кой-кого. Съ кѣмъ-то ты теперь видишься? Всѣ должно быть за городомъ. Братъ Андрей непременно долженъ быть въ городѣ; видѣлъ-ли ты Николу? Кланяйся имъ отъ меня. Перецѣлуй за меня дѣтей, кланяйся женѣ, скажи ей, что очень тронуть тѣмъ, что она меня помнить, и много обо мнѣ не беспокойся. Я только и желаю, чтобы быть здоровымъ, а скука дѣло переходное, да и хорошее расположеніе духа зависитъ отъ одного меня. Въ человѣкѣ бездна тягучести и жизненности, и я, право, не думалъ, чтобы было столько, а теперь узналъ по опыту. Ну, прощай! Вотъ два слова отъ меня и желаю, чтобы они тебѣ доста-

вили удовольствіе. Кланяйся всѣмъ, кого увидишь и кого я зналъ, не обойди никого. Я же обо всѣхъ припоминалъ. Чтò-то думаютъ дѣти обо мнѣ и любопытно знать, какія они дѣлаютъ обо мнѣ предположенія: куда, дескать, онъ дѣлся! Ну, прощай. Если можно будетъ, пришли мнѣ „Отечественныя Записки“. Хотя что нибудь да прочтешь. Напиши тоже два слова. Это меня чрезвычайно обрадуетъ.

До свиданія

Твой братъ Ф. Достоевскій.

(Изъ крѣпости). 27 августа, 1849 г.

Очень радъ, что могу тебѣ отвѣчать, любезный братъ, и поблагодарить тебя за присылку книгъ. Особенно благодаренъ за „Отечеств. Записки“. Радъ тоже, что ты здоровъ, и что заключеніе не оставило никакихъ дурныхъ слѣдовъ для твоего здоровья. Но ты очень мало пишешь, такъ что мои письма гораздо подробнѣе твоихъ. Но это въ сторону: послѣ поправишься.

Насчетъ себя ничего не могу сказать опредѣленнаго. Все та же неизвѣстность касательно нашего дѣла. *Частная* жизнь моя попрежнему однообразна; но мнѣ опять позволили гулять въ саду, въ которомъ почти семнадцать деревьевъ. И это для меня цѣлое счастье. Кромѣ того, я могу имѣть теперь свѣчу по вечерамъ — и вотъ другое счастье. Третье будетъ, если ты мнѣ поскорѣе отвѣтишь и пришьлешь „Отечественныя Записки“; ибо я, въ качествѣ иногороднаго подписчика, жду ихъ какъ эпохи, какъ соскучившійся помѣщикъ въ провинціи. Хочешь мнѣ прислать историческихъ сочиненій? Это будетъ превосходно. Но всего лучше, если бы ты мнѣ прислалъ Библію (оба Завѣта). Мнѣ нужно. Но если возможно будетъ прислать, то пришли во французскомъ переводѣ. А если къ тому-же прибавишь и славянскій, то все это будетъ верхомъ совершенства.

О здоровьѣ моемъ ничего не могу сказать хорошаго. Вотъ уже цѣлый мѣсяць, какъ я просто ѣмъ касторовое масло и тѣмъ только и пробиваюсь на свѣтъ. Геморой мой ожесточился до послѣдней степени, и я чувствую грудную боль, которой прежде никогда не бывало. Да къ тому-же, особенно къ ночи, усиливается впечатлительность; по ночамъ длинныя, безобразныя сны и сверхъ того, съ недавняго времени, мнѣ все кажется, что подо мной колыхнется полъ, и я въ моей комнатѣ сижу словно въ паролетной каютѣ. Изъ всего этого я заключаю, что нервы мои разстраиваются. Когда такое нервное время находило на меня прежде, то я поль-

къ москвичамъ, но ты напиши тоже изъ Гельсингфорса и самъ объяви, чтобъ деньги выслались на мое имя *).

Пріѣзжай, братъ, скорѣе. Въ припадкѣ страшной нужды я могу достать денегъ. Но знаешь-ли сколько мнѣ нужно самому? По крайней мѣрѣ 300 руб. сер. къ 1-му октября. Изъ этихъ денегъ 200 будутъ отданы за долги, а 100 истратятся на меня самого, и все это если еще будутъ деньги. На всякій случай я тебѣ напишу все то, что я могу осуществить до 1-хъ чиселъ октября, еслибъ предтояла крайняя надобность.

Отъ Краевского	50 руб. сер.
Отъ Некрасова	100 " "
Въ одномъ мѣстѣ	50 " "
И продавъ право изданія „Бѣдн. люд.“ .	200 " "
	<hr/>
	400 руб. сер.

Этотъ кушъ хорошій, но онъ меня разорить, принявъ въ соображеніе продажу „Бѣдныхъ Людей“. Мнѣ некогда издавать „Бѣдныхъ Людей“. Но чрезъ одну типографію я надѣюсь ихъ напечатать безъ денегъ. Еслибы ты здѣсь случился, ты бы похлопоталъ объ этомъ, и тогда мы бы всю зиму получали да получали. Ты не дурно едѣлаешь, если пріѣдешь какъ можно скорѣе. Скажу тебѣ, что можетъ быть есть надежда, что работа, о которой я тебѣ писалъ прошлый разъ, будетъ у тебя, если ты будешь въ городѣ. Кромѣ того, есть одно изданіе къ новому году, колоссальное, затѣваемое съ огромнымъ капиталомъ, въ которомъ тебѣ можно будетъ доставить много работы переводно-компиляціонной. Кромѣ того, можно будетъ достать переводовъ у Краевского или у Некрасова, съ которымъ я сойдуся для этого окончательно, чего онъ конечно желаетъ. Кромѣ того, есть еще одно изданіе къ новому году, да еще *одно*. И всѣ будутъ осуществлены.

Какъ жаль, что ты недоперевелъ театр Шиллера. Еслибъ онъ былъ весь, его бы можно было продать. Собери все что есть. На дняхъ, когда я говорилъ Краевскому, что ты бы могъ перевести книгу для Географическаго Общества (въ прошломъ письмѣ) и что ты знаешь нѣмецкій языкъ и перевелъ всего Шиллера, Краевскій вдругъ спросилъ необдуманно: а гдѣ его переводъ? — И потомъ вдругъ замолчалъ, одумавшись. Хотъ не въ „Отечественныя Записки“, а Краевскій могъ бы содѣйствовать пріобрѣтенію.

*) Это непременно нужно.

Ну прощай, мой милый. Многого не написалъ, что хотѣлъ, ей-Богу некогда.

Твой весь Ф. Достоевскій.

Поклонъ Эмилии Федоровнѣ. Цалуй дѣтей.

Видишь-ли, что значить ассоціація. Работай мы врозь, упадемъ, оробѣемъ и обвиняемъ духомъ. А двое вмѣстѣ для одной цѣли — тутъ другое дѣло. Тутъ бодрый человѣкъ, храбрость, любовь и вдвое больше силъ.

Пиши обо всемъ какъ можно обстоятельнѣе. Внимательнѣе и точнѣе пиши мнѣ о цифрахъ (денегъ, времени и т. д.).

(Изъ крѣпости). 18 іюля, 1849 г. *).

Я несказанно обрадовался, любезный братъ, письму твоему. Получилъ я его 11 іюля. Наконецъ-то ты на свободѣ, и воображаю, какое счастье было для тебя увидѣться съ семьей. То-то они, думаю, ждали тебя! Вижу, что ты уже начинаешь устраиваться по новому. Чѣмъ-то ты теперь занятъ и, главное, чѣмъ ты живешь? Есть-ли работа, и что именно ты работаешь? Лѣто въ городѣ тяжело! Да къ тому же ты говоришь, что взялъ другую квартиру и уже вѣроятно тѣснѣе. Жаль, что тебѣ нельзя кончить лѣтняго времени за городомъ. Благодарю за посылки; онѣ мнѣ доставили большое облегченіе и развлеченіе. Ты мнѣ пишешь, любезный другъ, чтобы я не унывалъ. Я и не унываю; конечно, скучно и тошно, да что же дѣлать! Впрочемъ, не всегда и скучно. Вообще мое время идетъ чрезвычайно не ровно, — то слишкомъ скоро, то тянется. Другой разъ даже чувствуешь, какъ будто уже привыкъ къ такой жизни и что все равно. Я конечно гоню всѣ соблазны отъ воображенія, но другой разъ съ нимъ не справишься, и прежняя жизнь такъ и ломится въ душу съ прежними впечатлѣніями, и прошлое переживается снова. Да впрочемъ, это въ порядкѣ вещей. Теперь ясные дни, большею частію по крайней мѣрѣ, и немножко веселѣе стало. Но ненастные дни невыносимы, казематъ смотреть суровѣе. У меня есть и занятія. Я времени даромъ не потерялъ: выдумалъ три повѣсти и два романа; одинъ изъ нихъ пишу теперь, но боюсь работать много.

Эта работа, особенно если она дѣлается съ охотою (а я никогда не

*) Это и два слѣдующихъ письма были уже намечатаны въ газетѣ „Недѣля“, 1882 г. № 1.

работалъ такъ сон-амоге, какъ теперь), всегда изнуряла меня, дѣйствуя на нервы. Когда я работалъ на свободѣ, мнѣ нужно было непрерывно прерывать себя развлеченіями, а здѣсь волненіе послѣ письма должно проходить само собою. Здоровье мое хорошо, развѣ только геморрой, да разстройство нервовъ, которое идетъ crescendo. У меня по временамъ стало захватывать горло, какъ прежде, аппетитъ очень небольшой, а сонъ очень малый, да и то съ сновидѣніями болѣзненными. Сплю я часовъ пять въ сутки и раза по четыре въ ночь просыпаюсь. Вотъ только это и тяжело. — Всего тяжелѣе время, когда смеркается, а въ 9 часовъ у насъ уже темно. Я иногда не сплю до часа, до двухъ за полночь, такъ что часовъ пять темноты переносить очень тяжело. Это болѣе всего разстраиваетъ здоровье. О времени окончанія нашего дѣла ничего сказать не могу, потому что всякій расчетъ потерялъ, и только веду календарь, въ которомъ пассивно отмѣчаю ежедневно прошедшій день — съ плечъ долой! Я здѣсь читалъ немного: два путешествія къ св. мѣстамъ и сочиненія св. Дмитрія Ростовскаго. Послѣднія меня очень заняли; но это чтеніе — капля въ морѣ, и какойнибудь книгѣ я бы, мнѣ кажется, былъ бы до невѣроятности радъ. Тѣмъ болѣе, что это будетъ даже цѣлительно, затѣмъ, что перебьешь чужими мыслями свои, или перестройшь свои по новому складу.

Вотъ всѣ подробности о моемъ житьѣ-бытьѣ; больше нѣтъ ничего. Радъ очень, что нашелъ ты все семейство свое здоровымъ. Писалъ-ли ты въ Москву о своемъ освобожденіи? Жаль очень, что тамошнее дѣло не складывается. Какъ-бы я желалъ хоть одинъ день пробыть съ вами! Вотъ уже скоро три мѣсяца нашему заключенію; что-то дальше будетъ. Можетъ быть и не увидишь зеленыхъ листьевъ за это лѣто. Помнишь, какъ насъ выводили иногда гулять въ садикъ въ маѣ мѣсяцѣ? Тамъ тогда начиналась зелень, и мнѣ припомнился Ревель, въ которомъ я бывалъ у тебя къ этому времени, и садъ въ инженерномъ домѣ. Мнѣ все казалось тогда, что и ты сдѣлаешь это сравненіе, — такъ было грустно. Хотѣлось бы видѣть и другихъ кой-кого. Съ кѣмъ-то ты теперь видишься? Всѣ должно быть за городомъ. Братъ Андрей непременно долженъ быть въ городѣ; видѣлъ-ли ты Николу? Кланяйся имъ отъ меня. Перецѣлуй за меня дѣтей, кланяйся женѣ, скажи ей, что очень тронуть тѣмъ, что она меня помнить, и много обо мнѣ не беспокойся. Я только и желаю, чтобы быть здоровымъ, а скука дѣло переходное, да и хорошее расположеніе духа зависитъ отъ одного меня. Въ человѣкѣ бездна тягучести и жизненности, и я, право, не думалъ, чтобы было столько, а теперь узналъ по опыту. Ну, прощай! Вотъ два слова отъ меня и желаю, чтобы они тебѣ доста-

вили удовольствіе. Кланяйся всѣмъ, кого увидишь и кого я знаю, не обойди никого. Я же обо всѣхъ приноминалъ. Чтò-то думаютъ дѣти обо мнѣ и любопытно знать, какія они дѣлаютъ обо мнѣ предположенія: куда, дескать, онъ дѣлся! Ну, прощай. Если можно будетъ, пришли мнѣ „Отечественныя Записки“. Хоть что нибудь да прочтешь. Напиши тоже два слова. Это меня чрезвычайно обрадуетъ.

До свиданія

Твой братъ Ф. Достоевскій.

(Изъ крѣпости). 27 августа, 1849 г.

Очень радъ, что могу тебѣ отвѣчать, любезный братъ, и поблагодарить тебя за присылку книгъ. Особенно благодаренъ за „Отечеств. Записки“. Радъ тоже, что ты здоровъ, и что заключеніе не оставило никакихъ дурныхъ слѣдовъ для твоего здоровья. Но ты очень мало пишешь, такъ что мои письма гораздо подробнѣ твоихъ. Но это въ сторону: послѣ поправишься.

Насчетъ себя ничего не могу сказать опредѣленнаго. Все та же неизвѣстность касательно нашего дѣла. *Частная* жизнь моя попрежнему однообразна; но мнѣ опять позволили гулять въ саду, въ которомъ почти семнадцать деревьевъ. И это для меня цѣлое счастье. Кромѣ того, я могу имѣть теперь свѣчу по вечерамъ — и вотъ другое счастье. Третье будетъ, если ты мнѣ поскорѣ отвѣтишь и пришьешь „Отечественныя Записки“; ибо я, въ качествѣ иногороднаго подписчика, жду ихъ какъ эпохи, какъ соскучившійся помѣщикъ въ провинціи. Хочешь мнѣ прислать историческихъ сочиненій? Это будетъ превосходно. Но всего лучше, если бы ты мнѣ прислалъ Библію (оба Завѣта). Мнѣ нужно. Но если возможно будетъ прислать, то пришли во французскомъ переводѣ. А если къ тому-же прибавишь и славянскій, то все это будетъ верхомъ совершенства.

О здоровьѣ моему ничего не могу сказать хорошаго. Вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ я просто ѣмъ касторовое масло и тѣмъ только и пробиваюсь на свѣтъ. Геморой мой ожесточился до послѣдней степени, и я чувствую грудную боль, которой прежде никогда не бывало. Да къ тому-же, особенно къ ночи, усиливается впечатлительность; по ночамъ длинныя, безобразныя сны и сверхъ того, съ недавняго времени, мнѣ все кажется, что подо мной колышется полъ, и я въ моей комнатѣ сижу словно въ паровой каютѣ. Изъ всего этого я заключаю, что нервы мои разстраиваются. Когда такое нервное время находило на меня прежде, то я поль-

зовался имъ, чтобы писать, — всегда въ такомъ состояніи напишешь лучше и больше, но теперь воздерживаюсь, чтобы не доканать себя окончательно. У меня былъ промежутокъ недѣли въ три, въ которомъ я ничего не писалъ; теперь опять началъ. Но все это еще ничего; можно жить. Авось, успѣю поправиться.

Ты меня просто удивилъ, написавъ, что, по твоему мнѣнію, московскіе ничего не знаютъ объ нашемъ приключеніи. Я подумалъ, сообразилъ и вывелъ, что это никакимъ образомъ невозможно. Знаютъ, навѣрно, и въ молчаніи ихъ я вижу совершенно другую причину. Впрочемъ, этого и ожидать должно было. Дѣло ясное.

Какъ здоровье Эмилиі Федоровны? Чтò это, какое ей несчастіе! Вотъ уже второе лѣто ей приходится такъ нестерпимо скучать! Прошлый годъ холера и другія причины, а нынѣшній ужъ Богъ знаетъ чтò! Право, братъ, грѣшно впадать въ апатію: усиленная работа сопъ амого — вотъ настоящее счастье. Работай, пиши, — чего лучше?

Ты пишешь, что литература хвораетъ. А тѣмъ не менѣе номера „Отечественныхъ Записокъ“ по прежнему пребогатые, конечно, не по части беллетристики. Нѣтъ статьи, которая читалась бы безъ удовольствія. Отдѣлъ наукъ блестящій. Одно „Завоеваніе Пѣру“ — цѣлая Иліада и, право, не уступить прошлогодней: „Завоеваніе Мексики“. Чтò за нужда, что статья переводная? Прочелъ я съ величайшимъ удовольствіемъ вторую статью разбора Одиссеи; но эта вторая статья далеко хуже первой, Давыдова. Та была статья блистательная; особенно то мѣсто, гдѣ онъ опровергаетъ Вольфа, написано съ такимъ глубокимъ пониманіемъ дѣла, съ такимъ жаромъ, что этого трудно было и ожидать отъ такого стариннаго профессора. Даже въ этой статьѣ онъ умѣлъ избѣжать педантизма, свойственнаго всѣмъ ученымъ вообще, а московскимъ въ особенности.

Изъ всего этого ты можешь заключить, братъ, что твои книги доставляютъ мнѣ чрезвычайное удовольствіе и что я благодаренъ тебѣ за нихъ до-нельзя. Ну, прощай; желаю тебѣ всякаго успѣха. Пиши поскорѣе. Весьма не худо бы ты сдѣлалъ, еслибъ написалъ москвичамъ о нашихъ дѣлахъ и формально спросилъ бы ихъ, въ какомъ состояніи дѣло о деревнѣ?—Цѣлую всѣхъ дѣтей. Я думаю, что въ Лѣтній садъ ихъ водятъ. Кланяйся Эмилиі Федоровнѣ и всѣмъ, кого увидишь изъ знакомыхъ. Ты пишешь, что хотѣлъ бы видѣть меня... Когда-то это будетъ! Ну, до свиданія.

Твой Федоръ Достоевскій.

Написи мнѣ, кто такой Г. (Вл. Ч.), помѣщающій свои статьи въ

„Отеч. Зап.“ Да еще, кто авторъ разбора стихотвореній Шаховской въ июльскомъ номерѣ „Отеч. Зап.“. Узнай, если можно.

Между 10-мъ и 15-мъ сентября мои деньги, братъ, выйдутъ. Если можно будетъ, помоги мнѣ опять. Нужно немного. Есть у меня счетъ съ Сорокинымъ за „Бѣдныхъ Людей“, но позабылъ сколько; впрочемъ, сумма крайне ничтожная. Онъ почти все заплатилъ.

Федоръ Достоевскій.

(Изъ крѣпости). 14 сентября 1849 г.

Письмо твое, любезный братъ, книги (Шекспиръ, Библия, „Отеч. Записки“) и деньги (10 р. сереб.) я получилъ и за все это тебя благодарю. Радъ, что ты здоровъ. Я же все по-прежнему. Тоже разстройство желудка и геморой. Не знаю ужъ, когда это пройдетъ. Вотъ подходятъ теперь трудные осенніе мѣсяцы, а съ ними моя ипохондрія. Теперь небо ужъ хмурится, а свѣтлый клочекъ неба, видный изъ моего каземата, — гарантія для здоровья моего и для добраго расположенія духа. Но все же, покажѣсть, я еще живъ, здоровъ. А ужъ это для меня фактъ. И потому ты, пожалуйста, не думай обо мнѣ чего нибудь особенно дурнаго. Покажѣсть все хорошо относительно здоровья. Я ожидалъ гораздо худшаго и теперь вижу, что жизненности во мнѣ столько запасено, что и не вычернаешь.

Еще разъ благодарю за книги. Это все хоть развлеченіе. Вотъ уже пять мѣсяцевъ, безъ малаго, какъ я живу своими средствами, т. е. одной своей головой и больше ничѣмъ. Покажѣсть еще машина не развинтилась и дѣйствуетъ. Впрочемъ, вѣчное думанье и одно только думанье, безъ всякихъ вѣшнихъ впечатлѣній, чтобъ возродить и поддерживать думу—тяжело! Я весь какъ будто подъ воздушнымъ насосомъ, изъ подъ котораго воздухъ вытягиваютъ. Все изъ меня ушло въ голову, а изъ головы въ мысль, все, рѣшительно все, и несмотря на то, эта работа съ каждымъ днемъ увеличивается. — Книги хоть капля въ морѣ, но всетаки помогаютъ. А собственная работа только, кажется, выжимаетъ послѣдніе соки. Впрочемъ, я ей радъ.

Перечитывалъ присланныя тобою книги. Особенно благодарю за Шекспира. Какъ это ты догадался! Въ „Отечественныхъ Записк.“ англійскій романъ чрезвычайно хорошъ. Но комедія Т. непозволительно плоха. Чтò это ему за несчастье? Неужели же ему такъ и суждено непременно испортить каждое произведеніе свое, превышающее объемомъ пе-

чатный листъ? Я не узналъ его въ этой комедіи. Никакой оригинальности: старая, торная дорога. Все это было сказано до него и гораздо лучше его. Последняя сцена отзывается ребяческимъ безсиліемъ. Кое-гдѣ мелькаетъ что нибудь, но это что нибудь хорошо только за неизвѣніемъ лучшаго. Что за прекрасная статья о банкахъ! И какъ общедоступно! Благодарю всѣхъ, которые обо мнѣ помнятъ; кланяйся Эмилиіи Ѳедоровнѣ, брату Андрею и поцѣлуй дѣтей, которымъ особенно желаю здоровѣть. Ужь не знаю, братъ, какъ и когда мы увидимся! Прощай и не забывай меня, пожалуйста. Напиши мнѣ хоть черезъ двѣ недѣли.

До свиданія.

Твой Ф. Достоевскій.

Пожалуйста же, будь обо мнѣ покойнѣе. Если добудешь что нибудь читать, то пришли.

(Изъ крѣпости). 22 декабря 1849 г.*).

Сегодня, 22 декабря, насъ отвезли на Семеновскій плацъ. Тамъ всѣмъ намъ прочли смертный приговоръ, дали приложиться къ кресту, переломили надъ головою шпаги и устроили намъ предсмертный туалетъ (бѣлыя рубахи). Затѣмъ трехъ поставили къ столбу для исполненія казни. Я стоялъ шестымъ, вызывали по трое, слѣдовательно я былъ во второй очереди и жить мнѣ оставалось не болѣе минуты. Я вспомнилъ тебя, братъ, всѣхъ твоихъ; въ послѣднюю минуту ты, только одинъ ты, былъ въ умѣ моемъ, я тутъ только узналъ какъ люблю тебя, братъ мой милый! Я успѣлъ тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возлѣ, и проститься съ ними. Наконецъ ударили отбой, привязанныхъ къ столбу привели назадъ и намъ прочли, что Его Императорское Величество даруетъ намъ жизнь. Затѣмъ послѣдовали настоящіе приговоры. Одинъ *Пальмъ* прощенъ. Его тѣмъ же чиномъ въ армію.

Ф. Д.

Семипалатинскъ, 30 іюля 1854 г.

Вотъ уже два мѣсяца, какъ не писалъ я къ тебѣ, любезный другъ и братъ мой. Нельзя было, почти невозможно. Но скажи мнѣ, отчего ты

*) Было напечатано въ „Новомъ Времени“ № 1790. Перепечатано въ „Русск. Старинѣ“ 1881 г., мартъ, стр. 706 и 708 (въ статьѣ А. П. Милюкова).

молчишь? Сколько писемъ уже послалъ я тебѣ! Ты же, кромѣ своего январскаго письма, отвѣчалъ мнѣ только на одно, на первое. Этотъ отвѣтъ, т. е. второе письмо твое, писанное въ апрѣлѣ, я получилъ въ началѣ іюня, и до сихъ поръ не отвѣчалъ тебѣ на него. Увѣрю тебя, дорогой мой, что почти совсѣмъ не было времени до самой настоящей минуты. Наконецъ, если и было хоть сколько нибудь свободныхъ минутъ, то я нарочно откладывалъ до времени болѣе удобнаго, все ожидая, что оно скоро придетъ. Мнѣ же не хотѣлось бы писать тебѣ урывками и наскоро. Конечно ты знаешь или, наконецъ, можешь угадать чѣмъ я теперь занятъ. Ученье, смотри бригаднаго и дивизионнаго командировъ и приготовленія къ нимъ. Приѣхалъ я сюда въ мартѣ мѣсяцѣ. Фрунтовой службы почти не зналъ ничего и между тѣмъ въ іюлѣ мѣсяцѣ стоялъ на смотру на ряду съ другими и зналъ свое дѣло не хуже другихъ. Какъ я уставалъ и чего это мнѣ стоило — другой вопросъ; но мною довольны и слава Богу! Конечно все это для тебя не очень интересно; но по крайней мѣрѣ ты знаешь чѣмъ я былъ исключительно занятъ. Что ни пиши, однакоже на письмѣ никогда ничего не расскажешь. Какъ ни чуждо все это тебѣ, но я думаю ты поймешь, что солдатство не шутка, что солдатская жизнь со всѣми обязанностями солдата не совсѣмъ-то легка для человѣка съ такимъ здоровьемъ и съ такой отвычкой, или лучше сказать съ такимъ полнымъ ничего незнаніемъ въ подобныхъ занятіяхъ. Чтобы приобрести этотъ навыкъ надо много трудовъ. Я не ропщу; это мой крестъ и я его заслужилъ. Я пишу это только для того, чтобы вынудить отъ тебя хоть нѣсколько строкъ, безъ которыхъ мнѣ, право, тяжело жить на свѣтѣ. Сообрази, наконецъ, что если на каждое письмо ждать другъ отъ друга отвѣта и безъ того не писать, то вѣдь промежутки будутъ, пожалуй, мѣсяца по три. Каково же переносить все это! Ты знаешь что значитъ для меня письмо отъ тебя. Неужели же мы будемъ съ тобою считаться письмами, какъ визитами. И такъ уже давно не видались, и такъ ужъ давно ничего не писали другъ другу! Отъ сестеръ Вариньки и Вѣрочки я получилъ, наконецъ, письма. Какіе ангелы! Я увѣренъ, что онѣ меня такъ же любятъ, какъ говорятъ. Какъ мило написала Варинька. Вся душа въ этомъ прекрасномъ письмѣ. Я думалъ имъ отвѣчать съ первой же почтой, но вотъ уже третью почту откладываю. Очень былъ занятъ, а маленькаго письма имъ писать не хочу. Я не знаю чѣмъ показать имъ мою любовь и вниманіе. Да благословить ихъ Богъ! Теперь ты знаешь мои главнѣйшія занятія. По правдѣ, болѣе не было никакихъ кромѣ служебныхъ. Внѣшнихъ событій, переворотовъ жизненныхъ, экстренныхъ случаевъ тоже никакихъ. А душу, сердце, умъ, — что выросло, что со-

зрѣло, что завяло, что выбросилось вонъ, вмѣстѣ съ плевелами, того не передашь и не расскажешь на клочкѣ бумаги. Живу я здѣсь уединенно; отъ людей по обыкновенію прячусь. Къ тому-же я пять лѣтъ былъ подъ конвоемъ, и потому мнѣ величайшее наслажденіе очутиться иногда одному. Вообще каторга много вывела изъ меня и много привила ко мнѣ. Я, на-примѣръ, уже писалъ тебѣ о моей болѣзни. Странные припадки, похожіе на падучую и однакожь не падучая. Когда нибудь напишу о ней по-дробнѣе.

Впрочемъ, сдѣлай одолженіе и не подозрѣвай, что я такой же меланхоликъ и такой же мнительный, какъ былъ въ Петербургѣ въ послѣдніе годы. Все совершенно прошло, какъ рукой сняло. Впрочемъ, все отъ Бога и у Бога. Благодарю брата Колю за приниску. Я было хотѣлъ и самъ написать ему, но пусть до времени подождетъ и извинитъ меня, горемычнаго. Въ одномъ пусть будетъ увѣренъ, что онъ очень милъ и близокъ моему сердцу, и что я вспоминаю о немъ съ горячимъ чувствомъ. Расцалуй его за меня и пожелай ему всего хорошаго. Расцалуй тоже дѣтей. Поклонись отъ меня Эмилиіи Федоровнѣ. Я иногда съ ужасомъ вспоминаю объ 49 годѣ и объ тѣхъ двухъ мѣсяцахъ, которые она провела одна, тогда какъ ты былъ арестованъ. Здорова-ли, довольна-ли она теперь? Въ каторгѣ я тамъ много промечталъ и продумалъ о прошедшемъ и будущемъ, и, главное, объ васъ всѣхъ. Инныя воспоминанія мнѣ больны и горьки, но я не гоню ихъ. Мнѣ и горькое сладко.

Поклонись отъ меня сестрѣ Сашенькѣ; поцѣлуй и поздравь ее отъ меня. Здорова-ли она теперь. Поцалуй ее отъ меня и скажи ей обо мнѣ что нибудь хорошее. Вообще рекомендую меня. Пожелай ей отъ меня много, много всякаго счастья.

Милый мой, ты пишешь мнѣ о деньгахъ и спрашиваешь надо-ли мнѣ? Но ты самъ знаешь мое положеніе. Можешь прислать, такъ пришли. Вѣдь ты моя главная надежда. Такъ какъ на тебя я ни на кого не надѣюсь.

Прощай, мой милый! Пиши побольше о себѣ. Пиши мнѣ непременно о своемъ здоровьѣ, и болѣе подробностей о томъ, какъ воспитываются твои дѣти. Прощай, другъ мой, вотъ и письмо кончено, а что написалъ? Грустно жить въ письмахъ, не выдавшись 5 лѣтъ. Теперь буду писать и больше и чаще. Но самъ отвѣчай мнѣ какъ можно скорѣе. Прощай, до свиданія.

Твой братъ

Федоръ Достоевскій.

Семипалатинскъ, 6 ноября 1854 г.

Любезнѣйшій и дорогой братъ Андрей Михайловичъ.

Письмо твое, безцѣнный мой, отъ 14 сентября, получилъ я только въ концѣ октября, пропустилъ одну почту и теперь сиѣшу отвѣчать тебѣ. Во первыхъ благодарю тебя за твой привѣтъ и за то, что не забылъ меня, горемычнаго. Ты не повѣришь до какой степени обрадовало меня письмо твое! Никто-то не забылъ обо мнѣ изъ всей нашей семьи! Всѣ до одного писали ко мнѣ, всѣ до одного берутъ во мнѣ самое искреннее, братское участіе, а мнѣ, отвыкшему отъ всего ласковаго, привѣтливаго и родственнаго, все это было цѣлымъ счастьемъ. Вотъ уже скоро 10 мѣсяцевъ, какъ я вышелъ изъ каторги и началъ мою новую жизнь. А тѣ 4 года считаю я за время, въ которое я былъ похороненъ живой и закрытъ въ гробу. Чтѣ за ужасное было это время, не въ силахъ я рассказать тебѣ, другъ мой. Это было страданіе невыразимое, безконечное, потому что всякій часъ, всякая минута тяготѣла какъ камень у меня на душѣ. Во всѣ 4 года не было мгновенія, въ которое бы я не чувствовалъ, что я въ каторгѣ. Но чтѣ рассказывать! Даже еслибы я написалъ къ тебѣ 100 листовъ, то и тогда ты не имѣлъ бы понятія о тогдашней жизни моей. Это нужно по крайней мѣрѣ видѣть самому, — я уже не говорю испытать. Но это время прошло и теперь оно сзади меня, какъ тяжелый сонъ, такъ же какъ выходъ изъ каторги представлялся мнѣ прежде, какъ свѣтлое пробужденіе и воскресеніе въ новую жизнь. Все это время я не имѣлъ обо всѣхъ васъ ни вѣсточки. Я былъ какъ ломоть отрѣзанный. Выйдя изъ каторги, я вскорѣ получилъ письмо отъ Михайла Михайловича, моего вѣрнаго брата, друга и благодѣтеля. Послѣ того, въ скоромъ времени, обрадовали меня сестры. Изъ этихъ писемъ узналъ я все, о каждомъ изъ нашего семейства и объ тебѣ, милый другъ. Наконецъ, вотъ пишешь и ты, а вмѣстѣ съ тѣмъ и любезнѣйшая сестрица Домника Ивановна удостоила меня своимъ милымъ привѣтствіемъ. Ради Бога, любезный братъ, не сердись на меня, что не я первый написалъ тебѣ. Я, впрочемъ, написалъ бы непременно. Но въ новой жизни моей встрѣтилось столько новыхъ заботъ и хлопотъ, что, право, я до сихъ поръ едва успѣлъ оглядѣться! Поступилъ я согласно съ конfirmaціею въ 7-й Линейный батальонъ. Тутъ началась для меня новая забота: служба. Здоровье и силы мои помогали мнѣ мало. Вышелъ я изъ каторги рѣшительно больной. А между тѣмъ надо было заняться фрунтомъ, ученьемъ, смотрами. Все лѣто я былъ такъ занятъ, что едва находилъ время спать. Но теперь немного при-

вынѣ. Здоровье мое тоже стало получше. И не теряя надежды смотрю я впередъ довольно бодро. Но довольно обо мнѣ; поговоримъ о другомъ, болѣе интересноу.

Во первыхъ я радъ несказанно, что ты, судя по всему, счастливъ. Поздравляю тебя съ женитьбой, хотя уже срокъ минулъ 4-хъ лѣтній. Я всегда и прежде считалъ, что нѣтъ ничего выше на свѣтѣ счастья семейнаго. Искренно желаю тебѣ его безъ конца. Твоя доля тихая, скромная, но вѣрная, а это прекрасно. Тяжело пробывать дорогу вкривь и вкось, направо и налево, какъ было со мной во всю жизнь мою. Пишутъ о братѣ Николѣ очень много хорошаго, да и самъ онъ приписываетъ мнѣ аккуратно въ каждомъ письмѣ. Съ братомъ Мих. Михайловичемъ переписываемся мы какъ только можемъ, но письма мои ходятъ въ Россію медленно, ровно два мѣсяца, поэтому и теперешнее письмо мое ты получишь, дорогой мой, развѣ что къ Рождеству. Не писалъ я только къ одной сестрицѣ Сашенькѣ, хотя приписываю ей поклоны въ братнинихъ письмахъ. Она ко мнѣ не писала, а мнѣ какъ-то щекотливо. Не подумали бы, что я заискиваю изъ выгодъ, будучи въ положеніи, во всякомъ случаѣ, бѣдномъ. Я не объ ней говорю, а объ ея мужѣ, котораго еще не знаю. Но я, впрочемъ, напишу, а все это послѣднее пусть будетъ между нами. Прощай, дорогой мой, пиши чаще; благодарю тебя, не забывай меня. А я объ васъ всѣхъ никогда не забуду.

Любящій тебя братъ

Ф. Достоевскій.

Прошу убѣдительноше, и не откладывая, поцѣловать за меня моихъ дорогихъ и, конечно, премиленькихъ племянницъ Евочку и Машеньку.

Семипалатинскъ 6 ноября, 1854 г.

Любезнѣйшая сестрица

Домника Ивановна!

Ваше милое, родственное письмо, въ которомъ вы прямо называете меня именемъ вашего брата, доставило мнѣ неизъяснимое наслажденіе. Черезъ него я узналъ, что у меня есть еще сестра, есть еще сердце любящее и сострадающее, которое не отказало мнѣ въ привѣтѣ и участіи. Мнѣ вдвойнѣ это было пріятно. Пріятно было узнать такую сестру, и видѣть ее женою моего дорогаго брата. Но что-то странное есть въ этомъ обѣихъ чувствъ и мыслей между нами. Знать, что мы съ вами никогда не сойдемся, никогда не увидимся, — развѣ чудо вмѣшается въ судьбу

мою и Богъ сдѣлаетъ его, наконецъ, для меня, — знать это, и какъ, скажите, какъ не почувствовать тоски, хоть по родинѣ и по всему, что въ ней мило, тоски, которая омрачаетъ свѣтлое чувство, посѣщающее меня при перечитываніи письма вашего? Дай вамъ Богъ всякаго счастья и радости. Желаю вамъ этого какъ братъ; ибо вы уже милы и близки мнѣ какъ сестра. Еще разъ благодарю васъ за ваше письмо. Любите меня какъ я васъ люблю, и не забывайте

Преданнаго вамъ душою брата

Ф. Достоевскаго.

КЪ БРАТУ МИХАИЛУ МИХАЙЛОВИЧУ.

Семипалатинскъ, 14 мая 1855 г.

Любезный братъ и дорогой мой другъ!

Письмо твое отъ 26-го января и 21 марта я, наконецъ, получилъ и благодарю тебя за него и за посылку отъ всей души. Пришло оно кстати, но я долженъ сознаться — и ради Бога не сердись на меня за это сознание, — что я почти пересталъ надѣяться получить отъ тебя письмо, хоть когда нибудь. Шутка-ли! Съ 3-го октября, отъ котораго ты писалъ ко мнѣ въ предпоследній разъ, до сихъ поръ ничего, ни одной строки! Чего, чего я ни надумался! Во первыхъ твое здоровье: я думалъ, я совершенно увѣренъ былъ, что ты или тяжко боленъ или умеръ. Ты знаешь какъ я мнителенъ. Какъ же я мучился!

Но, къ счастью, передъ весной попались газеты съ твоими объявленіями. Тогда другія мысли замучили меня. Именно: каково-то идутъ твои дѣла торговля? Стало быть, думаю про себя, худо, когда или оторваться отъ нихъ не можетъ, или написать объ нихъ не хочеть. Замѣть себѣ, милый мой, что ни разу я не подумалъ, что ты оттого не пишешь, что я надоѣлъ тебѣ и что письма ко мнѣ пишутся тобою такъ, изъ какого-то приличія. Ни разу не усумнился я въ твоемъ прекрасномъ сердцѣ. Я писалъ сестрѣ Варинькѣ, которая тоже уже очень долго не пишетъ ко мнѣ — (а остальные совсѣмъ перестали писать), — что ты меня вѣрно забылъ и что это мнѣ было очень тяжело. Но эти слова вырвались изъ сердца отъ горечи, и ты не сердись на нихъ; мнѣ было очень тяжело. — Очень радъ, что твои дѣла кое-какъ удаются. Не покидай ихъ, другъ мой. Это единственная надежда твоя и семьи твоей. Всегда съ наслажденіемъ читаю твои рассказы о семействѣ. Какъ я радъ за дѣтей твоихъ! Я ихъ такъ люблю, какъ будто

никогда не покидалъ. Вѣрить не хочу, чтобъ Маша не была хорошенькая. Это невозможно. Въ другихъ письмахъ пиши мнѣ побольше про Москву. Какъ я радъ, что ты съ ними сошелся и хорошо принять у дяди и тетки. Знаешь что, напиши мнѣ подробно обо всемъ ихъ бытѣ (т. е. объ дядѣ), что они и какъ? Тоже познакомь меня съ нашими новыми родственниками, съ Голеновскимъ, съ Ивановымъ, поподробнѣе. Я очень мало слышалъ отъ тебя объ нихъ особеннаго и подробнаго. Что тебѣ сказать о моемъ житьѣ. Живу день за день и больше ничего. Здоровье не совсѣмъ хорошо и потому жизнь не совсѣмъ красна. Разныя припадки не оставляютъ меня, и хоть черезъ большіе промежутки, но все-же очень непріятны. Теперь занимаюсь службой. — Не сердись ради Бога, что пишу о себѣ такъ мало!

Какъ здоровье Эмилиі Федоровны?

Дай Богъ ей всего лучшаго. Скажи, братъ, всю-то жизнь я былъ на твоемъ содержаніи, былъ тебѣ долженъ. Что за судьба! Спасибо тебѣ, спасибо, что не оставляешь меня, а безъ тебя что-бы я былъ!

Прощай, родной мой. Люби меня, какъ я тебя люблю.

Твой Ф. Достоевскій.

Къ барону А. Е. Врангелю.

Семиналатинскъ, 14 августа 1855 г.

Съ перваго же слова прошу у васъ извиненія, дорогой мой Александръ Егоровичъ, за будущій безпорядокъ моего письма. Я уже увѣренъ, что оно будетъ въ безпорядкѣ. Теперь два часа ночи, я написалъ два письма. Голова у меня болитъ, спать хочется и къ тому же я весь разстроень. Сегодня утромъ получилъ изъ Кузнецка письмо. Бѣдный, несчастный Александръ Ивановичъ Исаевъ, скончался. Вы не повѣрите какъ мнѣ жаль его, какъ я весь растерзанъ. Можетъ быть, я только одинъ изъ здѣшнихъ и умѣлъ цѣнить его. Если были въ немъ недостатки, на половину виновата въ нихъ его черная судьба. Желалъ бы я видѣть, у кого бы хватило терпѣнія при такихъ неудачахъ? Зато сколько доброты, сколько истиннаго благородства! Вы его мало знали. Боюсь, не виновать-ли я передъ нимъ, что подчасъ въ жолчную минуту, передавалъ вамъ, и, можетъ быть, съ излишнимъ увлеченіемъ, одни только дурныя его стороны. Онъ умеръ въ нестерпимыхъ страданіяхъ, но прекрасно, какъ дай Богъ умереть и намъ съ вами. И смерть красна на человѣкѣ. Онъ умеръ твердо, благо-

словляя жену и дѣтей и только томясь объ ихъ участи. Несчастливая Марья Дмитріевна сообщаетъ мнѣ о его смерти въ малѣйшихъ подробностяхъ. Она пишетъ, что вспоминать эти подробности — единственная отрада ея. Въ самыхъ сильныхъ мученіяхъ (онъ мучился два дня) онъ призывалъ ее, обнималъ и непрерывно повторялъ: „Что будетъ съ тобою, что будетъ съ тобою?“ Въ мученіяхъ о ней онъ забывалъ свои боли. Бѣдный! Она въ отчаяніи. Въ каждой строкѣ письма ея видна такая грусть, что я не могъ безъ слезъ читать, да и вы, чужой человѣкъ, но человѣкъ съ сердцемъ, заплакали бы. Помните вы ихъ мальчика, Пашу? Онъ обезумѣлъ отъ слезъ и отъ отчаянія. Среди ночи вскакиваетъ съ постели, бѣжитъ къ образу, которымъ его благословилъ отецъ за 2 часа до смерти, самъ становится на колѣни и молится, съ ея словъ, за упокой души отца. — Похоронили бѣдно, на чужія деньги (нашлись добрые люди), она же была какъ безъ памяти. Пишетъ, что чувствуетъ себя очень нехорошо здоровьемъ. Нѣсколько дней и ночей сряду она не спала у его постели. Теперь пишетъ, что больна, потеряла сонъ и ни куска съѣсть не можетъ. Жена исправника и еще одна женщина помогаютъ ей. У ней ничего нѣтъ, кромѣ долговъ въ лавкѣ. Кто-то прислалъ ей три руб. сер. „Нужда руку толкала принять, — пишетъ она, — и приняла... подаваніе!“

Если вы, Александръ Егоровичъ, еще въ тѣхъ мысляхъ, какъ нѣсколько дней тому назадъ, въ Семипалатинскѣ (а я увѣренъ, что у васъ благородное сердце и вы отъ добрыхъ мыслей не отказываетесь *изъ какой нибудь пустой причины, совершенно не идущей къ дѣлу*), то пошлите теперь, съ письмомъ, которое я прилагаю отъ себя къ ней, ту сумму, о которой мы говорили. Но повторяю вамъ, любезнѣйшій Александръ Егоровичъ, — я болѣе чѣмъ когда въ мысляхъ считать всѣ эти 75 руб. (прежнія 25) моимъ долгомъ вамъ. Я вамъ отдамъ непременно, но не скоро. Я знаю очень хорошо, что ваше сердце само жаждетъ сдѣлать доброе дѣло... Но разсудите: вы ихъ знакомый недавній, знаете ихъ очень мало, такъ мало, что хотя покойный Ал. Ив. и занялъ у васъ денегъ на поѣздку, но предлагать вамъ ей отъ себя — тяжело! Съ своей стороны я пишу ей въ письмѣ моемъ всю готовность вашу помочь и что безъ васъ я бы ничего не могъ сдѣлать. Пишу это не для того, чтобы вамъ была честь добраго дѣла, или чтобы вамъ были благодарны. Я знаю; вы, какъ христіанинъ, въ томъ не нуждаетесь. Но я-то самъ не хочу, чтобы *мнѣ* были благодарны, тогда какъ я того не стою, ибо взялъ изъ чужаго кармана, и хоть постараюсь отдать вамъ скорѣе — но взялъ почти-что на неопредѣленный срокъ.

Если намѣрены послать деньги, то вложите ихъ въ мое письмо ей,

которое при семъ прилагаю (незапечатанное). Очень было бы хорошо отъ васъ, еслибъ вы написали ей хоть нѣсколько строкъ. Положимъ вы были очень мало знакомы. Но онъ остался вамъ долженъ; теперь она знаетъ, что вы дали мнѣ деньги, и потому написать есть случай, даже бы надо было, — какъ вы думаете? Не много, нѣсколько строкъ... Но Боже мой! Я кажется васъ учу какъ писать! Повѣрьте мнѣ, Алекс. Егоровичъ, я очень хорошо знаю, что вы понимаете, можетъ быть, лучше другаго, какъ должно обходиться съ человѣкомъ, котораго пришлось одолжить. Я знаю, что вы съ нимъ удвоите, утроите учтивость; съ человѣкомъ одолженнымъ надо поступать осторожно; онъ мнителенъ; *ему такъ и кажется, что небрежностью съ нимъ, фамиллярностью хотятъ его заставить заплатить за одолженіе, ему сдѣланное.* Все это вы знаете такъ же, какъ и я; если Богъ далъ намъ смыслъ и благородство, то мы иначе и не можемъ быть. Noblesse oblige, а вы благородны, это я знаю.

Но я знаю тоже, по вашимъ словамъ, что вашъ кошелекъ не совсѣмъ исправенъ въ эту минуту. И потому, если послать не можете, то и моего письма къ ней не посылайте, а послѣ возвратите мнѣ. Меня-же, сдѣлайте мнѣ милость, увѣдомьте съ 1-й почтой, *послали вы письмо или нѣтъ?*

Онъ васъ вспомнилъ при смерти. Кажется такъ было, что онъ *) „не смѣетъ и думать предложить вамъ взаимнѣ дома, но просить передать вамъ книгу, въ память о себѣ“ (Сподвижниковъ Александра, помните это богатое изданіе; онъ получилъ ее изъ Петропавловска, гдѣ оставилъ). Вамъ книгу пришлютъ.

Пишу къ вамъ въ Барнаулъ, по адресу, который вы мнѣ дали, а еще не знаю, въ Барнаулъ-ли вы? Кажется, вы написали тогда, что писать въ Барнаулъ надо послѣ 23-го числа. Посылаю на авось, черезъ Крутова. Хорошо-ли черезъ Крутова? Напишите мнѣ. Что вы подѣлываете, веселели вамъ? Кстати правда-ли я слышалъ (впрочемъ, уже не разъ) что m-elle A...за выходитъ замужъ?

Если будете посылать деньги, не мѣшкайте. Ужъ конечно, никогда не можетъ быть болѣе затруднительнаго положенія, какъ теперь.

Не знаю застанетъ-ли васъ это письмо въ Барнаулъ и не пролежить-ли до вашего пріѣзда. Пишу къ Марьѣ Дмитріевнѣ съ этой же почтой другое письмо, которое посылаю завтра, *на ура!* Посылаю вамъ тоже вашу субботнюю корреспонденцію. Я распечаталъ письмо, какъ вы говорили. Если Крутовъ завтра успеетъ принести и понедѣльничьи письма, то вложу и ихъ.

*) Его слова.

До свиданья. Смерть голова болить. Я такъ разстроенъ. Перо въ рукахъ не держится. Обнимаю васъ отъ души.

Вашъ Достоевскій.

Семипалатинскъ, воскресенье 23 августа 1855 г.

Дорогой и добрѣйшій мой Александръ Егоровичъ!

Вотъ и второе письмо пишу вамъ. Желалъ бы очень получить отъ васъ хоть двѣ строчки, что вы вѣрно и едѣваете, т. е. приплете. Желалъ бы тоже пожать вамъ руку. Скучно! А кругомъ все такъ плохо и людей нѣтъ. Я почти никуда не хожу. Знакомиться терпѣть не могу. Право, на каждаго новаго человѣка, по моему, надо смотрѣть какъ на врага, съ которымъ придется вступить въ бой. А тамъ его можно раскусить. Что-то вы подѣлываете и весело-ли вамъ? Въ Барнаулѣ-ли вы? Я рискнулъ и на прошломъ письмѣ поставилъ: въ Барнаулъ, хотя, помнится, вы говорили, что въ Барнаулѣ будете только послѣ 23-го. Но Богъ знаетъ, въ Барнаулѣ-ли вы и теперь? Теперь позвольте мнѣ извиниться передъ вами: свои-то письма я вамъ переслалъ и теперь посылаю, а ваши поручилъ Демчинскому. Пересылать же ихъ мнѣ самому трудно, и по весьма простой причинѣ: толстый пакетъ, застрахованный на почтѣ, будетъ очень дорого стоить, а у меня, съ позволенія сказать, ни полупшки денегъ. И потому пусть пересылаетъ Демчинскій.

На случай, если вы не получите того письма, которое я отправилъ вамъ недѣлю назадъ, въ Барнаулъ, по адресу, указанному вами (хотя, впрочемъ, трудно не получить), то извѣщаю васъ, что *А. Ив. Исавъ* умеръ (4 августа), что жена его осталась одна, съ сомнительною помощью, въ отчаянїи, не зная что дѣлать, и — конечно, безъ денегъ. Сегодня получишь отъ нея уже 2-е письмо, считая послѣ смерти мужа. Она пишетъ, что ей страшно грустно, что кругомъ послалъ Богъ людей, берушихъ участіе, что ей хоть кой-чѣмъ да помогаютъ, что ей очень грустно, спрашиваетъ что ей дѣлать? Пишетъ, что страпчій и исправникъ обнадеживаютъ ее, что Бекманъ можетъ дать пособіе казенное (въ 250 руб. сер.). Если что можно едѣлать, то давай бы Богъ! Показывъсть хочетъ продавать вещи. Если вы еще не раздумали (какъ мы говорили тогда) о посылкѣ 50 руб., то пошлите теперь. Никогда не было нужнѣе. Только я такъ думаю: пошлите 25, а не 50, такъ какъ у ней съ прежними 25-ю да съ продажей вещей, да можетъ быть и съ посторонней помощью будетъ чѣмъ

нѣкоторое время прожить. Можно потомъ послать. Пишу это, во 1-хъ, для того, чтобы не обременять васъ, ибо 25 менѣе 50, а вамъ вѣрно деньги необходимы. Во 2-хъ, мнѣ ужъ и такъ досталось отъ нея за первые 25. Очень укоряла, говоря, что у меня самого нѣтъ ничего и что я себя не жалѣю. Я отвѣчалъ, что деньги ваши, а не мои, что безъ васъ я ничего бы не сдѣлалъ, чтобы обо мнѣ не беспокоилась, что дружба имѣетъ свои права и т. д., и т. д., и что, наконецъ, безъ этихъ денегъ ей пришлось бы потерпѣть ужасное горе, — съ этимъ она вѣрно согласится. Я вамъ покажу письмо, когда вы прѣдете. Боже мой! Чтò это за женщина! Жаль, что вы ее такъ мало знаете!

Еще одно обстоятельство. Она знаетъ, что ей присланы деньги, подозреваетъ, что отъ меня, но письмо лежитъ до сихъ поръ на кузнецкой почтѣ. Почтмейстеръ ни за чтò не рѣшается отдать, хотя знакомый ей человекъ, чтобы не попасть въ бѣду. Виноватъ адресъ. Вы правы. Надо было адресовать ей. Адресовано мужу. Онъ умеръ. И потому почтмейстеръ, увѣренный, что пишете вы, проситъ передать вамъ, *чтобы вы въ кузнецкую почтовую контору прислали казенную или частную доверенность на передачу письма вдовѣ Исаевой.* Ради Христа; добрый шій Александръ Егоровичъ, сдѣлайте это и, главное, не медля. Ради Бога. Извѣстна-ли вамъ форма этихъ доверенностей? Я не знаю ея. Вѣроятно въ барнаульскомъ почтамтѣ есть форма. Вѣдь вотъ не встаетъ-то формалистъ кузнецкій почтмейстеръ!

Чтò вамъ сказать о себѣ? Мое время тянется вяло. Не совсѣмъ здоровъ; грустно. Изъ новостей ничего не знаю, кромѣ того, что (и кажется вѣрно) китайцы сожгли нашу факторию въ Чугучакѣ и консулъ спасся бѣгствомъ. Желалъ бы отъ души, чтобы вамъ было въ 10,000 разъ веселѣе моего. Если во время вашихъ странствованій попадетъ вамъ хорошая книга, то зацѣпите ее съ собой. До свиданья, Александръ Егоровичъ. Желаю вамъ всего хорошаго, и отъ души. Повторяю вамъ о почтамтѣ. Ради Бога не замедлите. Крѣпко жму вамъ руку.

Вашъ весь

Ф. Достоевскій.

Я и ее увѣдомилъ, что вмѣсто 50 посылаются 25. Хотите васъ благодарить. Напишите-ли вы ей чтòнибудь?

КЪ АПОЛЛОНУ НИКОЛАЕВИЧУ МАЙКОВУ.

Семипалатинскъ, 18 генваря, 1856 г.

Давно хотѣлось мнѣ отвѣтить на ваше дорогое письмо, дорогой мой Ап. Ник — чѣ. Какъ то повѣяло на меня старинъ, прежнихъ, когда я читалъ его. Благодарю васъ безсчетно за то, что меня не забыли. Не знаю почему мнѣ казалось всегда, что вы меня не забудете, развѣ ужъ по одному тому, что я васъ забыть не могъ. Вы пишете, что много прошло времени, много измѣнилось, много пережилось. Да! должно быть. Но одно то хорошо, что мы какъ люди не измѣнились. Я за себя отвѣчаю. Много любопытнаго могъ бы я вамъ написать о себѣ. Не пеняйте только, что теперь пишу письмо на скоро, урывками и, можетъ быть, неясное. Но я испытываю въ эту минуту то, чѣ вѣроятно испытали и вы, когда ко мнѣ писали: невозможность высказать себя послѣ столькихъ лѣтъ не только въ одномъ, но даже и въ 50 листахъ. Тутъ нужно говорить глазъ на глазъ, чтобы душа читалась на лицѣ, чтобы сердце сказывалось въ звукахъ слова. Одно слово, сказанное съ убѣжденіемъ, съ полною искренностью и безъ колебаній, глазъ на глазъ, лицомъ къ лицу, гораздо болѣе значить, нежели десятки листовъ исписанной бумаги. Благодарю васъ особенно за свѣденія о себѣ. Я впередъ зналъ, что такъ у васъ кончится и что вы женитесь. Вы пишете мнѣ помню ли я Анну Ивановну? Но какъ-же забыть. Радъ ея и вашему счастью, оно мнѣ и прежде было не чуждо; помните въ 47 году, когда все это начиналось. Напомните ей обо мнѣ и увѣрьте ее въ безпредѣльномъ моемъ уваженіи и преданности. Родителямъ вашимъ скажите, что я знакомство и ласку ихъ вспоминалъ и вспоминаю съ наслажденіемъ. Получила-ли Евгенія Петровна книгу — разборы и критики въ „Отеч. Запис.“, писанные незабвеннымъ Валеріаномъ Николаевичемъ? Когда меня арестовали, у меня взяли эту книгу, потомъ возвратили, но подѣ арестомъ я никакъ не могъ доставить Евгеніи Петровнѣ, а я зналъ, что она ей была дорога. Меня все это очень печалило. За 2 часа до отправленія въ Сибирь я просилъ коменданта Набокова отдать книгу по принадлежности. Отдали-ли? — Поклонитесь отъ меня вашимъ родителямъ. Я отъ души желаю имъ счастья и долгой, долгой жизни. — Можетъ быть, вы черезъ брата знаете нѣкоторыя подробности обо мнѣ. Въ часы, когда мнѣ нечего дѣлать, я кое что записываю изъ воспоминаній моего пребыванія въ каторгѣ, чѣ было любопытнѣе. Впрочемъ тутъ мало чисто личнаго. Если кончу и когда нибудь будетъ *очень удобный* случай, то пришлю вамъ

экземпляръ, написанный моею рукою, на память обо мнѣ. Кстати, я и забылъ, и принужденъ теперь сдѣлать отступление: письмо это доставить вамъ Александръ Егоровичъ баронъ Врангель, человѣкъ очень молодой, съ прекрасными качествами души и сердца, пріѣхавшій въ Сибирь прямо изъ лица съ великодушной мечтой узнать край, быть полезнымъ и т. д. Онъ служилъ въ Семипалатинскѣ; мы съ нимъ сошлись и я полюбилъ его очень. Такъ какъ я васъ буду особенно просить обратить на него вниманіе и познакомиться съ нимъ, если возможно, получше, то и дамъ вамъ два слова о его характерѣ: чрезвычайно много доброты, сердце нѣжное, хотя наружность съ перваго взгляда имѣетъ нѣкоторый видъ недоступности. Мнѣ очень хотѣлось бы, чтобъ вы съ нимъ познакомились вообще для его пользы. Кругъ полу-аристократическій или на $\frac{3}{4}$ аристократическій, баронскій, въ которомъ онъ выросъ, мнѣ не совсѣмъ нравится, да и ему тоже, ибо онъ съ превосходными качествами, но многое замѣтно изъ стараго вліянія. Имѣйте вы на него свое вліяніе, если успѣете. Онъ того стоитъ. Добра онъ мнѣ сдѣлалъ множество. Но я его люблю и не за одно добро, мнѣ сдѣланное. Въ заключеніе: онъ немного мнителенъ, очень впечатлительнъ, иногда скрытенъ и нѣсколько неровенъ въ расположеніи духа. Говорите съ нимъ, если сойдетесь прямо, просто, какъ можно искреннѣе и не начинайте издалика. Извините, что я васъ такъ прошу о баронѣ. Но, повторяю вамъ, я его очень люблю. Мои замѣчанія о немъ, да и вообще все письмо это держите въ секретѣ (впрочемъ васъ учить нечего). Вы говорите, что вспоминали обо мнѣ горячо и говорили: зачѣмъ, зачѣмъ? Я самъ васъ вспоминалъ горячо, а на слово ваше: зачѣмъ? — ничего не скажу, — будетъ лишнее. Вы говорите, что много пережили, много передумали и много выжили новаго. Это и не могло быть иначе и я увѣренъ, что мы и теперь поладимъ бы съ вами въ мысляхъ. Я тоже думалъ и переживалъ и были такія обстоятельства, такія вліянія, что приходилось переживать, передумывать и переживать слишкомъ много, даже не подъ силу. Зная меня очень хорошо, вы вѣрно отдадите мнѣ справедливость, что я всегда слѣдовалъ тому, что мнѣ казалось лучше и прямѣе, и не кривилъ сердцемъ, и то, чему я предавался, предавался горячо. Не думайте, что я этими словами дѣлаю какіе нибудь намеки на то, за чтѣ я попалъ сюда. Я говорю теперь о послѣдовавшемъ за тѣмъ, о прежнемъ же говорить не у мѣста, да и было то оно не болѣе какъ случай. Идеи мѣняются, сердце остается одно. Читалъ письмо ваше и не понималъ главнаго. Я говорю о патріотизмѣ, объ русской идеѣ, объ чувствѣ долга, чести національной, обо всемъ, о чемъ вы съ такимъ восторгомъ говорите. Но, другъ мой! Неужели вы были когда нибудь иначе? Я все-

гда раздѣлялъ именно эти же самыя чувства и убѣжденія. Россія, долгъ, честь? — да! я всегда былъ истинно русскій — говорю вамъ откровенно. Что-же новаго въ томъ движеніи, обнаружившемся вокругъ васъ, о которомъ вы пишете какъ о какомъ-то новомъ направленіи? Признаюсь вамъ, я васъ не понялъ. Читалъ ваши стихи и нашелъ ихъ прекрасными; вполне раздѣляю съ вами патріотическое чувство *нравственнаго* освобожденія славянъ. Это роль Россіи, благородной, великой Россіи, святой нашей матери. Какъ хорошо окончаніе, послѣднія строки въ вашемъ Клермонтскомъ Соборѣ! Гдѣ вы взяли такой языкъ, чтобъ выразить такъ великолѣпно такую огромную мысль? Да! раздѣляю съ вами идею, что Европу и назначеніе ея окончить Россія. Для меня это давно было ясно. Вы пишете, что общество какъ бы проснулось отъ апатіи. Но вы знаете, что въ нашемъ обществѣ вообще манифестацій не бываетъ, но кто-жъ изъ этого заключалъ когда нибудь, что оно безъ энергіи? Освѣтите хорошо мысль и позовите общество и общество васъ пойметъ. Такъ и теперь: идея была освѣщена великолѣпно, вполне національно и рыцарски (это правда, надо отдать справедливость) — и наша политическая идея, завѣщанная еще Петромъ, оправдалась всѣми. Можетъ быть васъ смущалъ и смущалъ еще недавно наплывъ французскихъ идей въ ту часть общества, которая мыслить, чувствуетъ и изучаетъ? Тутъ была и исключительность, правда, но всякая исключительность по натурѣ своей вызываетъ противоположность. Но согласитесь сами, что всѣ здраво-мыслящіе, т. е. тѣ, которые даютъ тонъ всему, смотрѣли на французскія идеи со стороны научной, — не болѣе и сами, можетъ быть, даже преданные исключительности, были всегда русскими. Въ чемъ же вы видите новостъ? Увѣрю васъ, что я, наприм., до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, — это былъ русскій народъ, мои братья по несчастью, и я имѣлъ счастье отыскать не разъ даже въ душѣ разбойника великодушіе, потому собственно, что могъ понять его; ибо былъ самъ русскій. Несчастіе мое дало мнѣ многое узнать практически, можетъ быть, много вліянія имѣла на меня эта практика, но я узналъ практически и то, что я всегда былъ русскимъ по сердцу. Можно ошибиться въ идеѣ, но нельзя ошибиться сердцемъ и ошибкой стать безсовѣстнымъ, т. е. дѣйствовать противъ своего убѣжденія. Но зачѣмъ, зачѣмъ я вамъ все это пишу! Вѣдь знаю, что ничего не выскажу въ строчкахъ, зачѣмъ же это писать! Скажу вамъ еще кое что о себѣ. Въ каторгѣ я читалъ очень мало, рѣшительно не было книгъ. Иногда попадались. Выйдя сюда, въ Семипалатинскъ, я сталъ читать больше. Но всетаки нѣтъ книгъ и даже нужныхъ книгъ, а время уходитъ. Не могу вамъ выразить, сколько я мукъ терпѣлъ оттого, что не

могъ въ каторгѣ писать. А между прочимъ внутренняя работа кипѣла. Кое что выходило хорошо, а это чувствовалъ. Я создалъ тамъ въ головѣ большую окончательную мою повѣсть. Я боялся, чтобъ первая любовь къ моему созданію не остыла, когда минутъ года и когда насталь бы часъ исполненія, — любовь, безъ которой и писать нельзя. Но я ошибся; характеръ, созданный мною и который есть основаніе всей повѣсти потребовалъ нѣсколькихъ лѣтъ развитія и я увѣренъ, я бы испортилъ все, елибъ принялся съ горяча неприготовленный. Но выйдя изъ каторги, хотя все было готово, я не писалъ. Я не могъ писать. Одно обстоятельство, одинъ случай, долго медлившій въ моей жизни и, наконецъ, посѣтившій меня, увлекъ и поглотилъ меня совершенно. Я былъ счастливъ, я не могъ работать. Потомъ грусть и горе посѣтили меня. Я потерялъ то, что составляло для меня все. Сотни верстъ раздѣлили насъ. Я вамъ не объясняю дѣла, можетъ быть, когданибудь объясню; теперь не могу. Однако же я не былъ совершенно празденъ. Я работалъ; но я отложилъ мое главное произведеніе въ сторону. Нужно болѣе спокойствія духа. Я шутилъ началъ комедію и шутилъ вызвалъ столько комической обстановки, столько комическихъ лицъ и такъ понравился мнѣ мой герой, что я бросилъ форму комедіи, не смотря на то, что она удавалась, собственно для удовольствія какъ можно долѣе слѣдить за приключеніями моего новаго героя и самому хохотать надъ нимъ. Этотъ герой мнѣ нѣсколько сродни. Короче, я пишу комическій романъ, но до сихъ поръ все писалъ отдѣльными приключеніями, написалъ довольно, теперь все шиваю въ цѣлое. Ну, вотъ вамъ реляція объ моихъ занятіяхъ: не могъ не рассказать; это оттого, что заговорилъ *съ вами* и вспомнилъ наше старое, незабвенный другъ мой. Да! Я много разъ былъ счастливъ съ вами: какъ же бы я могъ васъ забыть! Вы пишете мнѣ кое что о литературѣ. За нынѣшній годъ я почти ничего не читалъ. Скажу вамъ и свои наблюденія: Тургеневъ мнѣ нравится наиболѣе — жаль только, что при огромномъ талантѣ въ немъ много неустойчивости. Л. Т. мнѣ очень нравится, но, по моему мнѣнію, много не напишетъ (впрочемъ, можетъ быть, я ошибаюсь). Островскаго совсѣмъ не знаю, ничего не читалъ въ цѣломъ, но читалъ много отрывковъ въ разборахъ о немъ. Онъ, можетъ быть, знаетъ извѣстный классъ Руси хорошо, но, мнѣ кажется, онъ не художникъ. Ктому же, мнѣ кажется, онъ *поэтъ безъ идеала*. Разувѣрьте меня пожалуйста, пришлите мнѣ ради Бога что получше изъ его сочиненій, чтобъ я могъ знать его не по однимъ критикамъ. Писемскаго я читалъ „Фанфаронъ“ и „Богатый женихъ“ — больше ничего. Онъ мнѣ очень нравится. Онъ уменъ, добродушенъ и даже наивенъ; рассказываетъ хорошо. Но одно въ немъ грустно: спѣшитъ писать.

Слишкомъ скоро и много писать. Нужно имѣть побольше самолюбія, побольше уваженія къ своему таланту и къ искусству, больше любви къ искусству. Идемъ съ молодю такъ и льются, не всякую же подхватывать на-лету и тотчасъ высказывать, спѣшить высказываться. Лучше подождать побольше синтезу; — побольше думать, подождать, пока многое мелкое, выражающее одну идею, соберется въ одно большее, въ одинъ крупный, рельефный образъ, и тогда выражать его. Колоссальные характеры, создаваемые колоссальными писателями, часто создавались и вырабатывались долго и упорно. Не выразить же всѣ промежуточные пробы и эскизы? Не знаю, поняли-ли вы меня! Что же касается до Писемскаго, то, мнѣ кажется, онъ мало сдерживаетъ перо. Наши дамы-писательницы пишутъ какъ дамы писательницы, т. е. умно, мило и чрезвычайно спѣшатъ высказываться. Скажите, почему дама-писательница почти никогда не бываетъ строгимъ художникомъ? Даже несомнѣнный, колоссальный художникъ, Georges Sand, не разъ вредила себѣ своими дамскими свойствами. — Много мелкихъ вашихъ стиховъ читалъ въ журналахъ за *все время*. Они мнѣ очень нравились. Мужайте и работайте. Скажу вамъ по секрету, по большому секрету: Тютчевъ очень замѣчательнъ; но... и т. д. Какой это Тютчевъ, не нантъ-ли? Впрочемъ, многіе изъ его стиховъ превосходны.

Прощайте дорогой другъ мой. Извините за безсвязность письма. Въ письмѣ никогда ничего не напишешь. Вотъ почему я терпѣть не могу M-me de Sevigné. Она писала уже слишкомъ хорошо письма. — Кто знаетъ? Можетъ быть когда нибудь я обниму васъ. Даль бы Богъ! Ради Бога *никому* (вполнѣ *никому*) не сообщайте письма моего. Обнимаю васъ.

КЪ ВАРОНУ А. Е. ВРАНГЕЛЮ.

Семипалатинскъ, пятница 23 марта 1856 г.

Добрѣйшій, незамѣнимый другъ мой, Александръ Егоровичъ! Гдѣ вы, что съ вами? И не забыли-ли вы меня? Съ слѣдующаго понедѣльника начинаю ждать отъ васъ обѣщаннаго письма, съ такимъ нетерпѣніемъ, какъ будто счастья и осуществленія всѣхъ настоящихъ надеждъ моихъ. Подъ этимъ конвертомъ найдете вы незапечатанныя три письма: одно къ брату, другое къ ген.-ад. Эдуарду Иваловичу Тотлебену. Не удивляйтесь! Все расскажу! А теперь приступаю прямо по порядку и начинаю съ себя. Еслибъ вы только знали всю мою тоску, все мое уныніе, почти отчаяніе теперь, въ

настоящую минуту, то право поняли бы, почему я ожидаю вашего письма, какъ спасенія? Оно должно многое, многое разрѣшить въ судьбѣ моей. Вы обѣщали мнѣ написать въ возможно скоромъ времени по прибытіи въ Петербургъ и увѣдомить о всемъ томъ, чего я надѣюсь и о чемъ вы такъ братски хлопотали за меня цѣлый годъ,—откровенно, не утаивая ничего, не прикрашивая истину и отнюдь не обнадеживая меня шаткими надеждами. Такихъ-то извѣстій жду отъ васъ, какъ жизни. Не показывайте моего письма никому, ради Бога. Увѣдомляю васъ, что дѣла мои въ положеніи чрезвычайномъ.

Мои надежды, дорогой, безцѣнный и, можетъ быть, единственный другъ мой, въ чистое, честное сердце—мои надежды.—Выслушайте ихъ. Какъ ни думаю, онѣ мнѣ кажутся довольно ясными. Во 1-хъ) неужели не будетъ никакой милости нынѣшнимъ лѣтомъ, по заключеніи мира или при коронаціи? Вотъ этого-то извѣстія я и ожидаю отъ васъ теперь съ судорожнымъ нетерпѣніемъ. Во 2-хъ) положимъ то еще въ области надеждъ; но неужели нельзя мнѣ перейти изъ военной въ статскую и перейти въ Барнаулъ, если *ничего* не будетъ другаго по манифесту? Вѣдь Дуровъ перешелъ-же въ статскую. Въ 3-хъ) долго-ли я буду безъ чина? Какъ вы думаете? Неужели будетъ заперта моя карьера? Такіе-ли преступники, какъ я, получали все? Не вѣрю я тому! Вѣрю, что черезъ 2 года, если даже теперь ничего не будетъ, я ворочусь въ Россію. Теперь самое важнѣйшее—деньги. 2 вещи, одна статья, другая—романъ будутъ готовы къ сентябрю. Хочу формально просить печатать. Если позволятъ, то я на всю жизнь съ хлѣбомъ. Теперь не такъ, какъ прежде, столько обдѣланнаго, столько обдуманнаго и такая энергія къ писанью! Надѣюсь написать романъ (къ сентябрю) лучше „Бѣдныхъ Людей“. Вѣдь если позволятъ печатать (а я не вѣрю, слышите: не вѣрю, чтобъ этого нельзя было выхлопотать) вѣдь это гуль пойдетъ, книга раскупится, доставитъ мнѣ деньги, значеніе, обратитъ на меня вниманіе правительства, да и возвращеніе придетъ скорѣй. А мнѣ что надобно: 2, 3 тысячи въ годъ ассигнаціями. Чтожь этого мало, что-ли, для содержанія нашего? Года черезъ два возвратимся въ Россію, она будетъ жить хорошо; и даже, можетъ быть, наживемъ чтонибудь. Ну, неужели, имѣвъ столько мужества и энергіи въ продолженіи 6-ти лѣтъ для борьбы съ неслыханными страданіями, я не способенъ буду достать столько денегъ, чтобъ прокормить себя и жену. Вздоръ! Вѣдь главное никто не знаетъ ни силъ моихъ, ни степени таланта, а на это-то главное я и надѣюсь. Наконецъ, послѣдній случай: ну, положимъ, что еще годъ не позволятъ печатать? Но я, при первой перемѣнѣ судьбы, напишу къ дядѣ, попрошу у него 1000 р.

серебр. для начала на новомъ поприщѣ, не говори о бракѣ; я увѣренъ что дастъ. Ну, неужели не проживешь на это году! А такъ дѣла уладятся. Наконецъ, я могу напечатать *incognito* и всетаки взять денегъ. Поймите же, что всѣ эти надежды только въ томъ случаѣ, если нынѣшнее дѣло ничего не будетъ (манифестъ). А что если будетъ? Александръ Егоровичъ, душа моя! Еслибъ вы знали какъ жду письма вашего! Можетъ быть, въ немъ есть положительныя извѣстія.

Но понимаете въ какихъ я теперь хлопотахъ! Есть у меня до васъ много просьбъ: ради Христа исполните всѣ. *1-я просьба*: вы найдете тутъ письмо къ *Эд. Из. Тотлебену*. Вотъ у меня какая идея: съ этимъ человекомъ когда-то я былъ знакомъ хорошо; съ братомъ его я другъ съ дѣтства. Еще за нѣсколько дней до ареста моего я случайно встрѣтился съ нимъ и мы такъ привѣтливо подали другъ другу руки. Чтѣ-же? Онъ, можетъ быть, не забылъ меня. Человекъ онъ добрый, простой, съ великодушнымъ сердцемъ (онъ это доказалъ), настоящій герой севастопольскій, достойный именъ Нахимова и Корнилова. Снесите ему мое письмо. Прочтите его сначала хорошенько. Вы вѣрно замѣтите по тону моего письма къ нему, что я колебался и не зналъ *какъ* ему писать. Онъ теперь стоитъ такъ высоко, а я кто такой? Захочетъ-ли вспомнить меня? На всякій случай я и написалъ такъ. Теперь: отправьтесь къ нему лично (надѣюсь, что онъ въ Петербургѣ) и отдайте ему письмо мое наединѣ. Вы по лицу его тотчасъ увидите, какъ онъ это принимаетъ. Если дурно, то и дѣлать нечего; въ короткихъ словахъ объяснивъ ему положеніе и замолвивъ словечко, откланяйтесь и уйдите, попрося напередъ у него на счетъ всего этого дѣла секрета. Онъ человекъ очень вѣжливый (нѣсколько рыцарскій характеръ), приметъ и отпуститъ васъ очень вѣжливо, если даже и ничего не скажетъ *удовлетворительно*. Если же вы по лицу его увидите, что онъ займется мною и выкажетъ много участія и доброты, о, тогда будьте съ нимъ совершенно откровенны; прямо, отъ сердца войдите въ дѣло; расскажите ему обо мнѣ, и скажите ему, что его *слово* теперь много значитъ, что онъ могъ бы попросить за меня у Монарха, поручиться (какъ знающій меня) за то, что я буду впередъ хорошимъ гражданиномъ, и вѣрно ему не откажутъ. Нѣсколько разъ по просьбѣ Паскевича Государь прощалъ преступниковъ поляковъ. Тотлебенъ теперь въ такой милости, въ такой любви, что, право, его просьба будетъ стоять Паскевичевой. Вообще же я во многомъ надѣюсь на васъ. Вы скажете горячее слово, я увѣренъ. Ради Бога не откажите мнѣ въ этомъ. Напирайте собственно на то, чтобъ мнѣ оставить военную службу (но главное, если можно чего нибудь болѣе, т. е. даже полнаго прощенія, то не упускайте этого изъ виду.) Нельзя-ли, наприм., уво-

лить меня съ правомъ поступленія въ статскую 14-мъ классомъ и съ возможностью возвратиться въ Россію, а главное печатать? Вообще прочтите внимательно мое письмо къ Тотлебену.

Нельзя-ли будетъ пустить въ ходъ стихотвореніе. Я читалъ въ газетахъ, что на обѣдѣ, Майковъ говорилъ ему стихи. Не знакомъ-ли онъ съ нимъ? Если такъ, то расскажите все Майкову, подъ секретомъ, и попросите, чтобъ и онъ попросилъ за меня Тотлебена и отправился бы къ нему вмѣстѣ съ вами. Не встрѣтите-ли какъ нибудь младшаго брата Тотлебена, Адольфа. Тотъ мнѣ другъ. Скажите ему обо мнѣ и тотъ бросится на шею къ брату и будетъ умолять его хлопотать за меня. Само собой разумѣется, вы мое письмо къ Тотлебену занечайте въ конвертъ и такъ подайте. Мнѣ же какъ можно скорѣе пришлите увѣдомленіе обо всемъ этомъ, хорошо-ли, худо-ли будетъ. Но вотъ бѣда: чтобъ Lamotte не ухалъ къ тому времени по своему округу! Онъ поѣдетъ на мѣсяцъ. Я думаю не уѣдетъ! Кажется, навѣрно такъ. Поторопитесь отвѣчать мнѣ. Боюсь еще одного: хорошо-ли, наприм., принялъ письмо мое кн. *Одоев.* Не обезкуражены-ли вы и, можетъ быть, *не хотя* пойдете къ Тотлебену. Ангель мой! Не оставляйте меня, не доводите меня до отчаянія!

2-я просьба: Напишите мнѣ подробно и скорѣе: какъ вы нашли моего брата? Въ какихъ онъ мысляхъ обо мнѣ. Прежде это былъ человѣкъ меня любившій горячо! Онъ плакалъ, прощаясь со мною. Не охладѣлъ-ли онъ ко мнѣ! Не измѣнилъ-ли характера! Какъ грустно было бы мнѣ это! Не обратился-ли онъ весь въ наживу денегъ и забылъ все старое? Не вѣрится мнѣ какъ-то этому. Но опять: чѣмъ-же объяснить, что онъ не пишетъ иногда по 7 по 8 мѣсяцевъ, пишетъ Богъ знаетъ что, даже въ безцензурномъ письмѣ съ Хоментовскимъ не отвѣчалъ ничего на мои вопросы, и такъ мало я вижу прежняго, душевнаго! Никогда не забуду, что онъ сказалъ Хоментовскому, передавшему ему мою просьбу похлопотать за меня: *что мнѣ лучше оставаться въ Сибири.* Въ декабрѣ мы писали (помните черезъ вашего брата), я просилъ денегъ, прося ихъ выслать на Ламота. Вы знаете, какъ я нуждался! Чтось ни слуху ни духу! Я понимаю, что онъ можетъ ихъ не имѣть, ибо онъ торгуетъ, но въ крайнихъ случаяхъ спасаютъ чело-вѣка. Притомъ же не долго я буду у нихъ на шеѣ и все отдамъ. Притомъ же и прошу то его о деньгахъ, помня его же слова при прощаніи со мною. Въ письмѣ къ нему, здѣсь приложенномъ, прошу его кромѣ тѣхъ 100 руб. выслать мнѣ еще, сколько можетъ больше. Мнѣ нужно это на всякій случай (еслибъ я получилъ свободу, то тотчасъ же поѣхалъ бы въ Кузнецъ, а безъ денегъ этого сдѣлать нельзя. Кромѣ того, если уѣдетъ она въ Барнаулъ, уговорю ее принять отъ меня;). Я всего вамъ не могу на-

писать, но мнѣ нужны, нужны деньги до зарѣзу; одинъ разъ въ жизни они только такъ бывають нужны. 300 р. сереб. спасли бы меня. Но даже 200 и то хорошо, включая сюда тѣ 100, которыя уже я просилъ въ декабрѣ. Разумѣется, я это вамъ пишу какъ другу, а вы не вздумайте сами чѣмъ нибудь поочь! Я и то передъ вами *подлецомъ*, долженъ вамъ пропастъ! Во всякомъ случаѣ перочтите мое письмо къ брату. Этого, что теперь пишу къ вамъ, ему не показывайте. Но я его отсылаю за поясненіями къ вамъ: расскажите ему все. Что если онъ, подобно всевозможнымъ дядюшкамъ и родниимъ въ романахъ сердится *на любовь мою къ ней* и отговариваетъ васъ помогать мнѣ! Но вѣдь мнѣ 35 лѣтъ. Что онъ думаетъ? Что я его люблю изъ за денегъ, которыя онъ мнѣ присылаетъ. Вздоръ! У меня гордость есть. Я буду ѣсть одинъ хлѣбъ и погибнемъ я и она, но не надобно мнѣ отъ него денегъ, посланныхъ съ такимъ чувствомъ. Не хочу подаенія! Мнѣ нужно брата, а не денегъ! Мы съ нимъ когда-то и вздорили, не горячо любили другъ друга, и, клянусь вамъ, я бы голову за него отдалъ. У меня дурной характеръ, но когда дойдетъ до дѣла, тогда я стою за друзей. Когда насъ арестовали, то ужъ тутъ, кажется бы, въ 1-ю минуту ужаса, позволительно бы подумать прежде всего о себѣ. Что-же? Я думалъ только объ немъ, о томъ, какъ поразить арестъ его семью, какъ поразить его бѣдную жену; я умолялъ 3-го моего брата, котораго арестовали ошибкой, не объяснять ошибки арестовавшихъ какъ можно долѣе и послать денегъ брату, полагая, что у него нѣтъ. Неужели онъ забылъ все старое и разсердится на то, что я прошу много денегъ и когда? Когда для меня самый критическій моментъ всей жизни. Напишите, какъ онъ принялъ васъ, какъ вы его нашли (откровенно напишите его образъ мыслей *обо всемъ этомъ дѣлѣ*, и слушайте только своего золотого сердца, добрѣйшій другъ; да будьте по откровеніи съ Майковимъ на мой счетъ. Это превосходный человекъ и меня любитъ. Разумѣется, просите держать все въ секретѣ. *3-я просьба*. Ради Бога поймите меня, помогайте мнѣ, не думая, что я чѣмъ нибудь могу повредить своей карьерѣ моею любовью къ ней.... Я увѣренъ, что могу проворонить семью. Я буду работать, писать. Вѣдь если не будетъ теперь никакихъ даже милостей, всетаки можно будетъ перейти въ статскую, взять 14-ый классъ поскорѣе, получать жалованіе, а главное, я могу печатать, даже incognito печатать. Буду съ деньгами! Наконецъ вѣдь это все не сейчасъ, а къ тому сроку дѣло уладится. Наконецъ: ради Христа увѣдомьте меня обо всемъ ходѣ дѣлъ моихъ какъ можно подробнѣе и поскорѣе; въ этомъ полагаюсь совершенно на васъ. Уговаривайте брата помогать мнѣ, дѣйствуйте передъ нимъ какъ ходатай за меня. Внушите ему, что я только осчастливилъ

себя бракомъ съ нею, что намъ не такъ много надо, чтобъ жить, и что у меня достанетъ энергіи и силы, чтобъ прокормить семью. Что если позволить писать и печатать, тогда я спасенъ, что я не буду *имѣ никому въ тягость*, не буду просить ихъ помогать себѣ, и главное: не сейчасъ же и женюсь, а выжду чего нибудь обезпеченнаго. Она же съ радостію подождетъ, только бы имѣла надежду на вѣрное устройство судьбы моей. Скажите тоже, что мнѣ 35 лѣтъ и что во мнѣ благоразумія хватить на 10-хъ. Прощайте, дорогой мой, голубчикъ мой!

Да, забылъ! Ради Христа поговорите съ братомъ о денежныхъ дѣлахъ моихъ. Уговорите его помочь мнѣ послѣдній разъ. *Поймите*, въ какомъ я положеніи. Не оставляйте меня. Вѣдь такія обстоятельства какъ мои только разъ въ жизни бываютъ. Когда же и выручатъ друзей, какъ не въ такое время. Обнимаю, цалую васъ. Чтò ваши дѣла. Вѣдь я ничего-то объ васъ не знаю! Жду съ нетерпѣніемъ письма отъ васъ. Съ сожалѣніемъ кончаю письмо; теперь опять я одинъ съ моими сомнѣніями и отчаяніемъ.

Семипалатинскъ, 13 апрѣля 1856 г.

Спѣшу вамъ отвѣтить на ваше милое, добрѣйшее письмо, добрый другъ мой, которое вы мнѣ написали 12-го марта и которымъ я былъ обрадованъ третьяго дня. А я такъ нетерпѣливо ждалъ отъ васъ извѣстія. Но въ послѣднее время и надѣяться пересталъ на скорое полученіе, ибо Демчинскій, пріѣхавшій недѣли 2 тому изъ Россіи, говорилъ, что вы промѣшкали въ Казани, а потомъ сюда писали изъ Москвы (Спиридонову), что вы только день или два пробыли въ Москвѣ и отправились уже 9-го марта въ Петербургъ. По всѣмъ этимъ слухамъ я и рассчитывалъ, что получу, самое раннее, на Святой, и вотъ получилъ раньше! Вы не повѣрите, какъ вы меня обрадовали и какъ мнѣ *нужно* было ваше письмо. А въ томъ, что я его получу отъ *васъ*, въ увѣренности, что вы меня не забудете и будете *стараться* обо мнѣ—въ этомъ у меня и мысли не было усомниться, подумать, что вы меня забудете. Я знаю васъ, добрѣйшее, благороднѣйшее сердце, и не даромъ же я васъ такъ любилъ. Вы не повѣрите, въ какомъ положеніи я былъ все это послѣднее время... Но объ этомъ потомъ, а для порядка начну сначала съ вашего письма, добрѣйшій мой Александръ Егоровичъ.

Пишете вы, добрѣйшій и незабвенный другъ мой, что въ іюль рассчитываете быть въ Сибири и проѣхать черезъ Семипалатинскъ. Вы не

повѣрите, какъ я обрадовался, что вы не переѣхали своихъ нагѣреній и хотите возвратиться въ Сибирь, а къ зимѣ даже располагаете устроиться въ Барнауль. Я буду васъ ждать, какъ солнца. Но, другъ мой, правда-ли тѣ слухи, которые здѣсь распространились о васъ: именно, что будто-бы корпусный командиръ назначилъ васъ къ себѣ, въ Омскъ, чиновникомъ по особымъ порученіямъ (разсказываютъ, что онъ былъ очень удивленъ, что вы не проѣхали черезъ Омскъ), именно тѣмъ, чѣмъ вы не хотѣли быть. Тогда, пожалуй, чтобъ избѣгнуть этого, и если не будетъ уже возможности переѣхать, вы останетесь въ Петербургѣ, а не поѣдете сюда! Впрочемъ, вы теперь уже объ этомъ знаете. Вамъ вѣрно написали отсюда. Ради Бога, другъ мой, ради Бога увѣдомьте *настурно*, если можно. Приѣдете-ли вы или нѣтъ, когда, куда, чѣмъ приѣдете сюда и какъ надѣяетесь устроить свои дѣла въ Петербургѣ. Кромѣ того, что я хочу васъ видѣть, вы мнѣ теперь необходимы, какъ воздухъ, да и всегда мнѣ необходимы были и я это помню. Вы не повѣрите, какъ я обрадовался тому, что мой братъ вамъ поправился и что вы, кажется, сойдетесь съ нимъ. Сдѣлайте это ради Бога; не раскайтесь. Какъ я радъ, что онъ все тотъ же, и любить меня. Много я вамъ написалъ о моихъ сомнѣніяхъ даже на его счетъ въ прошломъ письмѣ. Но еслибъ вы знали, въ какомъ грустномъ, въ какомъ ужасномъ я былъ положеніи и какъ я раскаяваюсь въ моихъ предположеніяхъ на счетъ брата. Скажите ему, что я его цалую; не пишу ему потому, что и вамъ-то едва успѣваю отвѣтить. Напишу ему скоро письмо официальное, въ которомъ будетъ: *живетъ, здоровъ* и только. Чтò написать въ официальномъ письмѣ, кромѣ этого? Но въ слѣдующемъ письмѣ къ вамъ напишу и ему. Въ прошломъ письмѣ я просилъ у него еще 100 руб. Не для меня, мой другъ, а для всего, чтò только теперь есть у меня самаго дорогаго въ жизни, и, главное, *на всякій случай*. Если только онъ можетъ исполнить мою просьбу, пусть исполнитъ и Господь его наградитъ за это, а онъ меня, можетъ быть, этимъ осчастливить и избавить отъ отчаянія. Какъ знать, чтò случится. Къ тому же, если позволять печатать, тогда я уже буду съ своими деньгами и начну новую жизнь и не буду его безнокотить, чтò у меня всегда было на сердцѣ, ибо братъ самъ добываетъ себѣ трудомъ кусокъ хлѣба. Писалъ я вамъ, другъ мой, сходить къ Тотлебену и отдать мое письмо. Теперь вы уже, можетъ быть, это сдѣлали. Вы не повѣрите, съ какимъ замираніемъ сердца буду ждать на этотъ счетъ вашего отвѣта. Заранѣе благодарю васъ за все, чтò вы для меня дѣлаете, только, ради Христа, не обнадѣживайте понапрасну меня, изъ желанія меня успокоить. Факты, одни факты напишите мнѣ. Просилъ и васъ и брата написать къ Марьѣ Дмитріевнѣ, и

если возможно поскорѣе. Повторяю мою просьбу; ради Бога сдѣлайте это. Вы пишете, что готовится что-то изъ милостей для насъ, но что именно — это держать въ секретѣ. Сдѣлайте милость, другъ мой безцѣнный, нельзя ли хоть что нибудь узнать заранѣе относительно меня. Это мнѣ нужно, нужно. Если что узнаете, сообщите немедленно. О Кавказѣ я и не думаю. О Барнаульскомъ батальонѣ тоже. *Теперь* все это пустяки. Вы пишете, что всѣ любятъ Царя. Я самъ обожаю его. Производство мое мнѣ лично очень важно, сознаюсь. Но если ждать офицерства, то это ждать еще долго, а мнѣ хоть что бы нибудь теперь, при коронаціи. Самое лучшее и здравое, конечно, хлопотать о позволеніи печатать. Я думаю переслать вамъ въ скоромъ времени стихи на коронацію, частнымъ образомъ. Но пойдутъ они тоже и официальнымъ путемъ. Вы вѣрно встрѣтитесь съ Гасфордомъ. Онъ вѣдь ѣдетъ на коронацію. Не поговорите-ли вы ему, чтобы онъ самъ представилъ мои стихи? Нельзя-ли будетъ это сдѣлать? Увѣдомьте тоже меня, до котораго времени можно будетъ писать къ вамъ, ибо если вы оставите Петербургъ, то не хорошо будетъ, если письма пропадутъ. Я говорилъ вамъ о статьѣ объ Россіи. Но это выходилъ чисто политической памфлетъ. Изъ статьи моей я слова не захотѣлъ бы выкинуть. Но врядъ-ли позволили бы мнѣ начать мое печатаніе съ памфлета, не смотря на самыя патріотическія идеи. А выходило дѣльно и я былъ доволенъ. Сильно занимала меня статья эта! Но я бросилъ ее. Ну, какъ откажутъ напечатать! Къ чему же пропадать моимъ трудамъ? А теперь мнѣ время дорого, чтобы тратить его напрасну, изъ удовольствія писать для себя. Да и политическія обстоятельства измѣнились. И потому я прислалъ за другую статью: „Письма объ искусствѣ“. Е. В. Марія Николаевна — президентъ академіи. Хочу просить позволенія посвятить статью мою ей и напечатать безъ имени. Статья моя — плодъ десятилѣтнихъ обдумываній. Всю ее до послѣдняго слова я обдумалъ еще въ Омскѣ. Будетъ много оригинальнаго, горячаго. За изложеніе я ручаюсь. Можетъ быть во многомъ со мной будутъ несогласны многіе. Но я въ свои идеи вѣрю и того доволенъ. Статью хочу просить прочесть предварительно Ап. Майкова. Въ нѣкоторыхъ главахъ цѣликомъ будутъ страницы изъ памфлета. Это собственно о назначеніи Христіанства въ искусствѣ. Только дѣло въ томъ, гдѣ ее помѣстить? Напечатать отдѣльно — купятъ 100 человекъ, ибо это не романъ. Въ журналахъ дадутъ деньги. Но „Современникъ“ былъ всегда мнѣ враждебенъ, „Москвитиницъ“ тоже. „Русскій Вѣстникъ“ напечаталъ вступленіе къ разбору Пушкина Каткова, гдѣ идеи совершенно противоположны моимъ. Остаются однѣ „Отечеств. Записки“, но что дѣлается съ „Отеч. Записками“ теперь —

я не знаю. И потому поговорите съ Майковымъ и братомъ, только такъ, въ видѣ проекта, возможно-ли будетъ гдѣ нибудь напечатать за деньги, и сообщите мнѣ. А главное, сижу за романомъ и это мое наслажденіе. Только этимъ я могу составить себѣ имя и обратить на себя вниманіе. Но, конечно, лучше начать прежде серьезной статьёй (объ искусствѣ) и на нее просить разрѣшенія печатать; ибо на романъ до сихъ поръ смотрятъ какъ на пустяки. Такъ мнѣ кажется. — Если будетъ возможность говорить и хлопотать о переводѣ моемъ въ статскую службу, *именно въ Барнауль*, то ради Бога не оставляйте безъ вниманія. Если возможно говорить объ этомъ съ Гасфортомъ, то ради Бога поговорите, а если можно не только говорить, но и дѣлать, то не упускайте случая и похлопочите о моемъ переводѣ въ Барнауль въ статскую службу. Это самый *близкій* и самый *вѣрный* шагъ для меня. Впрочемъ согласенъ съ вами совершенно, что надо ждать коронаціи. Господь знаетъ, можетъ быть, и *больше* будетъ, чѣмъ даже и мы ожидаемъ. Время близко, но Богъ знаетъ, сколько можетъ воды утечь въ это время. Я говорю про мои обстоятельства, которыя вы знаете.

Семипалатинскъ, 23-го мая 1856 г., среда.

„Дорогой, добрѣйшій мой Александръ Егоровичъ, слѣшу (въ полномъ смыслѣ слова *слѣшу*) отвѣчать вамъ. И потому не взыщите, если письмо написано наскоро и безалаберно. Послѣ все объясню. Во-1-хъ, благодарю васъ несказанно за все то, что вы сдѣлали, за всѣ старанія ваши за меня. Вы мой второй братъ, дорогой и возлюбленный! Тотлебенъ благороднѣйшая душа, я въ этомъ былъ увѣренъ всегда. Это рыцарская душа, возвышенная и великодушная. Братъ его такого же характера. Ради Христа *скажите Эрсту*, что я безъ слезъ не могъ читать вашего письма и я не знаю, есть-ли слова, чтобы выразить мои чувства къ нему. Адольфа расцалуйте за меня. Что-то будетъ! Дѣло, я самъ понимаю, на хорошей дорогѣ. Дай Богъ счастья великодушному Монарху!

Итакъ, все справедливо, что разсказывали постоянно о горячей къ нему любви всѣхъ!

Какъ это меня радуетъ! Больше вѣры, больше единства, а если любовь къ тому, — то все сдѣлано. — Каково же кому нибудь оставаться назади? Не прижвнуть къ общему движенію, не принести свою лепту!? О, дай Богъ, чтобы моя судьба поскорѣе устроилась. — Вы мнѣ пишете — прислать что нибудь. Посылаю стихи на *коронацію* и *заключеніе мира*.

Хороши-ли, дурны-ли, но я послалъ здѣсь по начальству, съ просьбою позволить *напечатать* (т. е. объ этой просьбѣ Петръ Михайловъ только доложилъ Гасфарту). Просить же официально (прошеніемъ) позволенія печатать, не представивъ въ то же время сочиненія, по моему неловко. Потому я началъ съ стихотворенія. Прочтите его, перепишите и поспешите, чтобъ оно дошло къ Монарху. Но вотъ въ чемъ дѣло: миновать Гасфорта нельзя. Вѣдь можетъ быть придется здѣсь служить. Гасфортъ 10-го іюня ѣдетъ въ Петербургъ. Конечно онъ явится къ Царю. Стихотвореніе мое онъ повезетъ, но надобно, чтобъ онъ былъ предупрежденъ и, главное, получше настроенъ въ мою пользу. Будете-ли вы въ Петербургѣ при пріѣздѣ Гасфорта? Встрѣтитесь-ли съ нимъ? Еслибъ встрѣтились, то прошу васъ не говорить ему о Тотлебенѣ. Онъ горячѣе примется, если успѣхъ дѣла отнесутъ лично къ нему. Но превосходно было бы, еслибъ Тотлебенъ, встрѣтивъ его гдѣ-нибудь, или даже (но на такую милость отъ Тотлебена я и надѣяться не смѣю) *сдѣлавъ самъ визитъ* Гасфарту (что Гасфарту страшно польститъ), попросилъ бы его представить мое стихотвореніе Царю съ просьбой печатать и замолвить за меня доброе слово, если его будутъ обо мнѣ спрашивать, т. е. достоинъ-ли къ производству. Не правда-ли, что тогда дѣло обдѣлалось бы хорошо! Итакъ, другъ мой, будете-ли вы или нѣтъ при Гасфортѣ въ Петербургѣ, сообщите эту мысль Тотлебену осторожно (ибо я много прошу) и если увидите, что онъ это одобряетъ, объясните ему все.— Вы не повѣрите, какъ вы меня вдохновили этими извѣстіями. Жду не дождусь васъ увидѣть! О! кабы поскорѣе! Какъ много надо переговорить! О, дай Богъ вамъ счастья, а не тѣхъ ужасовъ, которые иногда могутъ быть,—говорю по опыту! Но не засидитесь въ Петербургѣ. Пріѣзжайте, ради Бога, пріѣзжайте.—Брату скажите, что я обнимаю его, прошу у него прощенія за всѣ горести, которыя я нанесъ ему; на колѣняхъ передъ нимъ. — Дѣла *мои* ужасно плохи и я почти въ отчаяніи. Трудно перестрадать, сколько я выстрадалъ! Но не буду утомлять васъ, тѣмъ болѣе, что всего передать *не могу*, и такимъ образомъ, я одинъ совершенно съ своей безвыходной тоской. О! Кабы вы были здѣсь, при васъ того не было бы! О Пашѣ она проситъ меня хлопотать въ Сибирскій корпусъ, проситъ и васъ похлопотать у Гасфорта, не примутъ-ли даже и въ этомъ году въ малолѣтнее отдѣленіе (Пашѣ девятый годъ)? Я обѣщала хлопотать безкорыстно и потому—умоляю,—что можете—сдѣлайте. Но умоляю тоже, ради Бога, уговорите брата, чтобъ онъ справился подробно и прилежно, нельзя-ли Пашу помѣстить въ Павловск. корпусъ, хоть не теперь, такъ въ будущемъ году? Если можно, то чтобъ братъ написалъ

Марья Дмитріевнѣ, въ возможно *скоромъ* времени, всѣ подробности, обнадежилъ бы ее совершенно, а вы, Ал. Егор., ради Христа и для меня, обнадежьте ее, что можетъ быть хорошій случай доставки Паша въ Петербургъ, что ей не надо и съ мѣста сдвигаться, чтобъ отправлять сына въ Петербургъ, что другіе довезуть, а въ Петербургѣ Паша найдетъ друзей. Увѣрьте ее, успокойте ее! Особенно умоляю въ томъ брата...

Семипалатинскъ, 14 іюля 1856 г.

Спѣшу вамъ отвѣчать съ первой же почтой, добрѣйшій, безцѣнный мой Александръ Егоровичъ. А долго же я отъ васъ ждалъ хоть одной строчки! Не упрекаю васъ; вы всегда мнѣ братъ были; я это чувствую и знаю. Но еслибъ вы знали какъ мнѣ нужно было ваше дружеское участіе, ваша память обо мнѣ во все это время. Тысячу разъ собирался писать къ вамъ самъ, но все боялся, что вы тѣмъ временемъ выѣдете къ намъ, и письмо мое васъ не застанетъ. Впрочемъ, чтожь бы я вамъ сталъ писать? Не напишешь ничего, *что надобно*, на письмѣ. И теперь тоже. — Благодарю васъ еще въ 100-й разъ за всѣ ваши старанія обо мнѣ. Поблагодарите обоихъ Тотлебеновъ. Вы не можете представить себѣ съ какимъ восторгомъ я гляжу на поведеніе такихъ душъ, какъ вы и они оба, относительно меня! Что я вамъ сдѣлалъ, что вы меня такъ любите? Что я имъ сдѣлалъ, благороднымъ душамъ. Благослови васъ всѣхъ Господь! И такъ теперь я могу надѣяться крѣпко, но... уже поздно! Отъ васъ думалъ хоть строку получить (никого-то нѣтъ со мною), и вы молчите; а теперь Господь знаетъ увидимся или нѣтъ! Ради Бога не оставляйте меня! Что стоитъ мнѣ черкнуть два три слова? не правда-ли? чѣмъ это все кончится, не знаю! — Ради Бога пишите какъ можно скорѣе о своей судьбѣ! Приѣдете или нѣтъ? Я ничего вамъ не смѣю совѣтывать; сами знаете. Слышалъ отъ Демчинскаго, что Андр. Родіон. говорилъ ему, будто-бы хочеть зимой за границу. Такъ-ли. Что тогда вы? — О Пашѣ просилъ Слуцкаго и другихъ хлопотать въ Омскѣ, а еще о пособіи (отецъ тоже ее не забываетъ и помогаетъ). Пособіе двинулось впередъ. Слуцкій такъ обязателенъ, отвѣтилъ мнѣ до невѣроятности вѣжливо. Сдѣлалъ все, что могъ. Но о Пашѣ пишетъ, что нѣтъ вакансіи и что только одинъ Государь можетъ утвердить сверхштатнаго, а въ кандидаты записать. Похлопочите у Гасфорта, — ради Бога, можетъ быть еще есть надежда принять его на нынѣшній годъ.

Есть еще къ вамъ одна самая экстренная просьба. Если можете —

сдѣлайте, а если нѣтъ — суда нѣтъ. Другъ мой, если произведутъ да и вообще въ августѣ мнѣ нужны деньги, очень, крайне, хоть зарѣжься. Вы не повѣрите сколько мнѣ стоила моя экспедиція, а я рискну на другую. У меня долгу до 1,000 руб. сер. Живу я бѣдно, но расходы экстренные. Мнѣ, чувствую это (на всякій случай) нужны, очень нужны будутъ деньги. Теперь именно нужны до зарѣза. Молите брата! (котораго прошу расцаловать безъ конца) чтобъ выслалъ мнѣ если можетъ скорѣе. Васъ же прошу вотъ что: если есть у васъ дѣйствительно надежда и убѣжденіе что мнѣ позволятъ печатать (но только въ этомъ случаѣ), то ради Бога займите (ибо у васъ самихъ вѣрно нѣтъ) 300 руб. сер. до генваря. Ужь если позволятъ печатать, то я и не такія деньги отдать могу въ генварѣ. Я васъ не окопрометирую. Только если есть у васъ у кого занять. Но если вамъ очень тяжело — не хлопчите, ибо тяжело занимать. Если займете, то высылайте тотчасъ — по на Ламота. Ради Бога простите за подобныя просьбы. Во 1-хъ я вашихъ обстоятельствъ не знаю въ этомъ родѣ, а во 2-хъ я самъ какъ помѣшанный. Ради Бога не подумайте чегонибудь. Прощайте, скоро еще чтонибудь напишу. Ради Бога пишите скорѣе обо всемъ. Не забывайте меня. Обнимаю васъ безсчетно вѣстѣсь братомъ. Другимъ поклонъ. Не скрывайте отъ меня ничего. —

Семипалатинскъ, 21 іюля 1856 г.

Вотъ и еще къ вамъ письмо, добрейшій, безцѣннѣйшій Ал. Ег. Не знаю только какъ дойдетъ оно до васъ, — застанетъ ли васъ въ Петербургѣ? Это письмо—просьба. Другъ мой, добрый другъ мой, я васъ буквально осыпаю просьбами. Знаю, что дурно дѣлаю, — но на васъ только и надежда! Притомъ же я такъ вѣрю въ васъ, вспоминая ваше чистое, прекрасное сердце! Не потяготитесь просьбами отъ меня. А я-бы радъ былъ за васъ хоть въ воду. Вотъ въ чемъ дѣло. Я вамъ писалъ, что просилъ Слуцкаго хлопотать за Пашу и Ждаль-Пушкина тоже просилъ и что отъ обоихъ получилъ отвѣты. На этотъ годъ надежда плохая. Я просилъ васъ сказать объ этомъ Гасфорту. Но теперь получилъ еще письмо отъ Слуцкаго, котораго я тоже просилъ подвинуть впередъ дѣло Марьи Дмитріевны о назначеніи ей единовременнаго пособія, такъ какъ она имѣетъ право на него по закону по смерти мужа, именно въ 285 руб. сер. Слуцкій дѣйствительно подвинулъ дѣло, совсѣмъ залежавшееся. На ту бѣду уѣхалъ Гасфортъ. Главное управленіе, за отсутствіемъ его, представило это дѣло министру внутреннихъ дѣлъ (отъ 7-го іюля 1856, за

№ 972). Теперь: это представленіе о назначеніи ей пособія можетъ *застать* въ Петербургѣ, особенно при теперешнихъ обстоятельствахъ, и Богъ знаетъ сколько можетъ пройти времени, прежде чѣмъ рѣшатъ его. Да кромѣ того еще рѣшатъ ли въ ея пользу? Ну, какъ откажутъ! Другъ мой, добрый мой ангелъ! Если вы все еще продолжаете любить меня, непрерывно осаждающаго васъ самыми разнообразными просьбами, то помогите, если можно, и въ этомъ дѣлѣ. Ради Бога справьтесь объ участи этого *представленія*; вѣрно у васъ найдутся знакомые, которые вамъ помогутъ въ этомъ и люди съ влияніемъ, съ вѣсомъ. Нельзя ли такъ пошевелить это дѣло, чтобъ оно не залежалось и разрѣшилось въ пользу Марьи Дмитриевны. Ангелъ мой! Не полѣнитесь, сдѣлайте это, ради Христа. Подумайте: въ ея положеніи такая сумма цѣлый капиталъ, а въ *теперешнемъ* положеніи ея — спасеніе, единственный выходъ. Я трепещу, чтобъ она не дождавшись этихъ денегъ, не вышла замужъ. Тогда пожалуй (какъ я полагаю) ей еще откажутъ въ немъ. У него ничего нѣтъ, у ней тоже. Бракъ потребуетъ издержекъ, отъ которыхъ они оба года два не поправятся! И вотъ опять для нея бѣдность, опять страданіе. Къ отцу ей тогда уже обращаться нельзя съ просьбами о помощи: ибо она будетъ замужемъ. За что же она, бѣдная, будетъ страдать и вѣчно страдать? И потому ради Бога исполните мою просьбу; исполните тоже (хоть по возможности) и тѣ просьбы, которыя я вамъ настрочилъ въ прошломъ письмѣ. Вы не знаете, до какой степени вы меня осчастливите!

Пишу къ вамъ, а самъ еще не знаю, гдѣ и когда получите вы это письмо? Если вы сюда поѣдете, то оно уже васъ не застанетъ. Если вы тамъ остаетесь, но гдѣ именно будете? Ради Бога, увѣдомьте меня, получили ли вы это письмо? Да не лѣнитесь мнѣ писать, добрый другъ мой! Хоть нѣсколько, только нѣсколько строчекъ! Еслибъ вы знали, какъ я теперь нуждаюсь въ вашемъ сердцѣ! Такъ бы и обнялъ васъ и, можетъ быть, легче бы мнѣ стало. Такъ невыносимо грустно. Я хоть и знаю, что если вы не пріѣдете въ Сибирь, то, конечно, потому, что вамъ гораздо выгоднѣе будетъ остаться въ Россіи, но простите мнѣ мой эгоизмъ: и силю и вижу, чтобъ поскорѣе увидать васъ здѣсь. Вы мнѣ нужны, такъ нужны! Простите, что пишу на такомъ клочкѣ бумаги. Во 1-хъ, спѣшу, а во 2-хъ, въ настоящее время почти ни на что неспособенъ и такъ на все тяжело смотрю!

Обнимите бездѣянаго моего брата и передайте ему, чтобы простилъ меня за мое молчаніе. Послѣ напишу, а теперь ей Богу хоть въ воду! Хоть вино начать пить! Обнимите его за меня и скажите ему, что я его безконечно люблю. Видѣли ли вы X? и въ чемъ дѣло? Боюсь, что вы те-

перь еще больше замолчите. Напишите мнѣ ради Создателя все. Если дѣйствительно есть надежда произвестъ меня въ офицеры, то нельзя ли устроить, чтобы въ Барнаулъ? Тотлебенамъ скажите мою безконечную благодарность, мою любовь къ нимъ безъ конца! Дай вамъ Богъ, добрый, безцѣнный другъ мой, всякаго счастья и не дай вамъ Богъ испытать то, что я испытываю. Подожду вашего отвѣта и напишу вамъ (общаюсь) письмо позанимательнѣе и подробнѣе. Поклонитесь всѣмъ, особенно Жушкину, если увидите. — Вы спрашивали, женился ли Гавриловъ? — Нѣтъ и, кажется, теперь и не думаетъ. Была прекомическая исторія. Я съ нимъ недавно близко сошелся. Демчинскій такой же какъ всегда, со мной очень хорошъ и много услугъ оказываетъ. Прощайте, безцѣнный другъ мой! Неужели вы не будете на коронаціи? Не забудьте моей просьбы о деньгахъ. Всѣ планы мои рушатся безъ нихъ! Повторяю: хоть въ воду! Кромѣ того самъ терплю нужду. Прощайте, прощайте! Цалую васъ безсчетно.

Вашъ Достоевскій.

Семипалатинскъ, 9 ноября 1856 г.

Я получилъ письмо ваше, безцѣнный другъ мой Александръ Егоровичъ, еще 30-го октября и не отвѣчалъ съ первой почтой по особымъ обстоятельствамъ. У меня въ головѣ была тогда поѣздка въ Б—ль и я хотѣлъ вамъ написать оттуда, увидавъ Х., и, конечно, сдѣлавъ для васъ письмо занимательнѣе. Но поѣздка моя до сихъ поръ еще не состоялась, но почти увѣренъ, что состоится на будущей недѣлѣ, если, какъ обѣщано, мнѣ пришлютъ денегъ. Тогда я вамъ напишу изъ Б—ла и письма этого ждите въ скоромъ очень времени. А это письмо, которое теперь пишу, не считайте и за письмо, а только за нѣсколько строкъ, чтобы поскорѣе, хоть что нибудь, отвѣтить вамъ. Еслибъ вы были здѣсь, я бы и въ недѣлю не передалъ вамъ, незабвенный другъ мой, всего, о чемъ хотѣлъ бы говорить съ вами.

Вы пишете, что я кромѣ безконечно-милосердаго Монарха нашего долженъ благодарить Тотлебена и Е. В. Принца Ольденбургскаго. Благодарю ихъ отъ горячаго сердца и, если увидите Тотлебена, скажите ему, что у меня нѣтъ словъ, чтобы выразить мою благодарность ему. Всю жизнь буду помнить о благородномъ поступкѣ его со мною. Но мое сердце справедливо: еслибъ не было васъ, дорогой другъ мой, еслибъ вы не старались за меня, я увѣренъ, мое дѣло не подвинулось бы такъ скоро. Богъ

васъ послалъ мнѣ. Благодарю васъ и обнимаю крѣпко, крѣпко. Вы знаете, что я васъ люблю.

Теперь скажу вамъ въ короткихъ словахъ (хотя и много хотѣлъ бы говорить объ этомъ, но всего не упишешь):—вы никогда не поймете, безцѣнный мой, въ какую грусть, въ какую тоску ввергнули вы меня вашимъ долгимъ молчаніемъ! Другъ мой, я понижаю нравственное состояніе духа, въ которомъ не хочется браться за перо, чтобъ написать даже тому, который способенъ понять насъ,—ко мнѣ, однимъ словомъ, съ которымъ вы почти не имѣли тайнъ.

Здѣсь было извѣстно, что вы уже назначены въ экспедицію, но что вы еще въ П—гѣ,—я былъ въ томъ увѣренъ. Почему же онъ не пишетъ?—вотъ вопросъ, который я задавалъ себѣ каждый день. Но, клянусь вамъ, что не смотря ни на что, я ни разу не усумнился въ дружбѣ вашей, не подумалъ, что вы забыли меня. Вы доказали это, пославъ мнѣ свой портретъ (который я еще не получилъ). Но, другъ мой, я понижаю эту тревогу духа, когда не хочется разбередить боль въ сердцѣ, говоря о ней съ другимъ. Но неужели вы и двухъ строкъ не могли написать мнѣ? Другая причина, которую вы выставляете, объясняя мнѣ свое молчаніе (именно: что *не исполнили ничего изъ просьбъ моихъ*)— для меня совсѣмъ непонятна. Я попросилъ у васъ денегъ, какъ у друга, какъ у брата, въ то время, въ тѣхъ обстоятельствахъ, когда или петля остается, или рѣшительный поступокъ. Я и рѣшился просить у васъ, зная, что могу обременить васъ моею просьбою, но еслибъ вы были въ обстоятельствахъ, подобныхъ моимъ, и потребовали для васъ рискнуть чѣмъ нибудь крайнимъ, я бы это сдѣлалъ. Чувствуя это по себѣ, я безъ угрызенія совѣсти рѣшился васъ беспокоить (еслибъ я не перехватилъ здѣсь и не надѣлалъ долговъ, я бы пропалъ,—такъ мнѣ было нужно, не для существованія моего, а для моихъ *нампреній*). Вы знаете изъ прежнихъ писемъ моихъ, въ какомъ состояніи духа я находился. Какъ я не сошелъ еще съ ума до сихъ поръ! Но если, добрыйшій Александръ Егоровичъ, если у васъ не было у самихъ, чтобъ помочь мнѣ (что безъ сомнѣнія такъ, потому что вы всегда не оставляли меня)—скажите ради Бога, отчего было просто не написать: *нѣтъ* или *не могу?* (если невозможность удовлетворить меня была одною изъ причинъ вашего молчанія). Неужели же я не способенъ былъ понять, что, конечно, *невозможность* заставила васъ отказать мнѣ, а не недостатокъ дружбы? И какое бы я право имѣлъ досадовать на васъ за неприсылку (я и безъ того кругомъ вамъ должный, — вамъ, который былъ и есть для меня какъ любимый дорогой мнѣ братъ мой?

потому что послѣ всего, что вы для меня сдѣлали, вы позволите мнѣ называть васъ такъ). Наконецъ, тоска моя въ послѣднее время о васъ возросла до нелзя (я въ послѣднее время сверхъ того былъ часто боленъ). Я и вообразилъ, что съ вами случилось что нибудь трагическое, въ родѣ того, о чемъ мы съ вами когда-то говорили. И никого-то не было, чтобы хоть малѣйшую вѣсточку псдать о васъ. Наконецъ, пришло ваше письмо и разрѣшило многія недоразумѣнія, многія, но не всё.

Другъ мой, вы спрашиваете меня, чего я желаю, о чемъ просить? И говорите тоже, что меня могутъ перевести въ Россію. Но, другъ мой, милость нашего ангела-Царя—безконечна, и я знаю, что я даже и не служа, черезъ годъ, черезъ два и безъ того буду возвращенъ окончательно. Переводъ же въ армію еще тѣмъ худъ, что я, во всякомъ случаѣ, плохой офицеръ, хотя бы по здоровью. А надо будетъ служить. Еслибъ я желалъ возвратиться въ Россію, такъ это единственно для того, чтобы обнять родныхъ и повидаться съ докторами знающими и узнать, что у меня за болѣзнь (эпилепсія), что за припадки, которые все еще повторяются и отъ которыхъ каждый разъ тупѣетъ моя память и всё мои способности и отъ которыхъ боюсь впоследствии сойти съ ума. Какой я офицеръ? Еслибъ меня выпустили въ отставку—хоть бы оставя здѣсь *на время*—вотъ все мое желаніе. Я бы добылъ себѣ денегъ на существованіе. Здѣсь я бы не пропалъ. и потому напишите мнѣ *положительно* (по возможности): во-1-хъ) *могу-ли* я въ очень скоромъ времени, по слабости здоровья, подать въ отставку? (прося на всякій случай возвращенія въ Россію, *для совѣта съ докторами*) и во-2-хъ) *могу-ли* я *печатать*—вопросъ для меня *самый главный*, о которомъ вы *ничего* не пишете въ своемъ письмѣ. Но вѣдь это средство къ существованію моему и *карьерѣ*, потому что я *уверенъ* въ себѣ и надѣюсь быть известнымъ и составить себѣ значеніе, участь, обратить на себя вниманіе, наконецъ. И потому прошу васъ, напишите мнѣ утвердительно: Если бы я послалъ напечатать что-нибудь, въ скоромъ времени, подъ своимъ именемъ (или псевдонимъ)—*будетъ-ли напечатано?* Ради Бога, другъ мой, безцѣнный братъ мой, не оставьте меня, не забудьте меня и напишите мнѣ объ этомъ, если возможно, скорѣе и утвердительно. Впрочемъ, положительнѣе буду знать о томъ, чего намѣренъ добиться, послѣ поѣздки; ибо многое рѣшится въ эту поѣздку. А теперь, покажѣсть, отвѣчайте мнѣ на эти два вопроса.

Такъ вы познакомились съ Г.? Какъ онъ вамъ понравился? Джентльменъ изъ „Соединеннаго Общества“, гдѣ онъ членомъ, съ душою чинов-

ника, безъ идей, и съ глазами вареной рыбы, котораго Богъ, будто на смѣхъ, одарилъ блестящимъ талантомъ.

Какъ жаль мнѣ, что вы не сошлись близко съ моимъ братомъ. Это превосходнѣйшій человѣкъ и, право, вы бы не имѣли никого подлѣ себя, кто бы васъ любилъ горячѣе его. — Прилагаю къ нему письмо. Ради Бога передайте поскорѣе, не задержите письмо. Пишу къ вамъ на-скоро, ибо о многомъ не могу писать положительно; повторяю, *слѣдующее письмо* будетъ ровнѣе и обстоятельнѣе.

О вашихъ вещахъ и книгахъ ничего не могу вамъ сказать. У Степанова нѣтъ *ничего*, онъ мнѣ самъ говорилъ. (Ни самовара, ни кастрюль). Я видѣлъ лѣтомъ 4 ящика, которые Демчинскій отправилъ къ Остермейеру. Степановъ говоритъ, что вы ему ничего не оставили. Демчинскій говоритъ, что не знаетъ, чтѣ въ ящикахъ. Обо всемъ узнаю въ Барнаулѣ и о книгахъ и все постараюсь исполнить, о чемъ вы просили. Если мнѣ выдадутъ вашъ чемоданъ (который вы мнѣ дарите), то я возьму. Благодарю васъ, другъ мой, вы безъ конца обо мнѣ думаете.

Благодарю васъ за обѣщанье обмундировать меня. Но я по возможности обмундировался здѣсь (въ долгъ и кое-какъ). Мнѣ очень жаль, что я не могу предувѣдомить васъ раньше; ибо вы, можетъ быть, выслали уже все! Но мнѣ совѣстно, что вы на меня много истратили. Но отъ каски, полусабли и шарфа не откажусь, даже буду просить; ибо здѣсь этого (особенно каски) не достанешь.

О новостяхъ здѣшнихъ ничего не пишу. Здѣсь все то же и все тѣ же (напишу послѣ). Я довольно коротокъ съ Демчинскимъ (онъ мнѣ много помогаетъ на счетъ *позѣдокъ*; ибо самъ мнѣ сопутствуетъ, имѣя дѣлишки сердца въ Змиевѣ). Ради Бога не подумайте, чтобъ онъ мнѣ васъ замѣнилъ. Но онъ ужасно преданъ мнѣ (не знаю отчего) и я не могу не быть благодарнымъ. За чтѣ онъ васъ не совсѣмъ любитъ? Впрочемъ, все это у него дѣлается по *вдохновенію* какому-то. Обухъ (?) въ Вѣрномъ.

Прощайте, мой безцѣнный, пишите какъ можно скорѣе и отъ меня ждите скоро. Обнимаю васъ крѣпко.

Вашъ Д.

Семипалатинскъ, 21 декабря 1856 г.

Добрѣйшій, безцѣнный мой Александръ Егоровичъ. Вотъ уже сколько времени съ нетерпѣніемъ жду вашего письма и ничего не получаю. Получили-ли вы мое, въ которомъ я увѣдомлялъ васъ, что недѣли на двѣ

хочу уѣхать изъ Семипалатинска. Но если вы и получили, то, конечно, вашъ отвѣтъ на него еще не могъ прійти; я же говорю про то письмо ваше, которое вы обѣщали написать мнѣ еще и не ожидая отъ меня отвѣта. Вы хотѣли мнѣ выслать офицерскія вещи. Я уже увѣдомилъ васъ, добрыйшій другъ мой, чтобъ вы не раззорялись напрасно для меня, что всей экипировки мнѣ не надо (ибо во всякомъ случаѣ она поздно придетъ), и что если мнѣ дѣйствительно очень нужны были нѣкоторыя изъ вещей, наприм. киверъ, форменные погоны, нумѣрныя пуговицы и т. д., то это единственно потому, что здѣсь этого нѣтъ, — надо выписывать. И потому-то я васъ и увѣдомлялъ, что вотъ эти мелочи я готовъ принять отъ васъ съ благодарностію. Но если заготовка этихъ вещей и покупка ихъ задержала васъ, такъ что вы, ожидая окончанія этихъ закупокъ, и не писали ко мнѣ — то напрасно, конечно, напрасно! Другъ мой добрый и незабвенный, вы, которому я и безъ того такъ много обязанъ, — неужели какія нибудь подобныя мелочи могутъ помѣшать вамъ писать ко мнѣ? Но можетъ быть я ошибаюсь, можетъ быть время уже успѣло изгладить въ вашей душѣ память обо мнѣ, и вы уже не такъ любите меня, какъ прежде! Кто знаетъ! Но нѣтъ! Мнѣ грѣшно говорить это. Вы такъ много для меня сдѣлали, что сомнѣніе, которое бы могло закраситься въ сердце мое, было бы неблагодарностію къ вамъ! Не хочу этихъ сомнѣній, гоню ихъ я, обнявъ васъ отъ души, хочу говорить съ вами по прежнему, какъ бывало, въ Семипалатинскѣ, когда вы были для меня всѣмъ: и другомъ, и братомъ, и когда мы оба дѣлили другъ съ другомъ свои заботы... *сердечныя*.

Во 1-хъ, давно-ли вы видѣли Тотлебена? Въ Петербургѣ-ли онъ? А если тамъ, то передали-ли вы ему мою благодарность? Скажите ему, другъ мой, что нѣтъ у меня словъ, чтобъ выразить ему ее, и что я вѣчно буду благоговѣть передъ нимъ, всю мою жизнь и никогда не забуду того, что онъ для меня сдѣлалъ. — Ради Бога, добрый другъ мой, напишите мнѣ обо всемъ этомъ поскорѣе. Обѣщаль я вамъ письмо большое и вотъ пишу на полулистѣ. Причина тому, что не знаю, застанетъ-ли васъ мое письмо въ Петербургѣ. Вы писали мнѣ, что хотите ѣхать въ Ирбитъ, и, Богъ знаетъ, можетъ вы вздумаете ѣхать и до Барнаула. Въ такомъ случаѣ не знаю, пролежитъ-ли мое письмо до вашего возвращенія или вамъ его перешлютъ уже изъ Петербурга туда, гдѣ вы будете находиться. Вотъ почему и пишу вамъ коротко о томъ, о чемъ могъ бы написать и подлиннѣе. Есть и еще причина, которую вы поймете изъ слѣдующихъ словъ: „Богъ знаетъ, какъ бы я желалъ переговорить съ вами изустно, а не на письмѣ!“ Еслибъ я могъ видѣть васъ, я бы вамъ кое что пере-

далъ, а теперь нельзя. Скажу только одно: я ѣздилъ въ Барнаулъ и въ Кузнецкъ, съ Демчинскимъ и Семеновымъ (членъ Географическаго общества). Въ Барнаулъ мы пріѣхали 24-го декабря (въ день именинъ Х.) и Гернгроссъ, не выдавъ еще насъ, прямо пригласилъ насъ черезъ Семенова на балъ. Онъ мнѣ очень понравился. О барнаульскихъ я не пишу вамъ. Я съ ними со многими познакомился. Хлопотливый городъ и сколько въ немъ сплетенъ и доморощенныхъ Талейрановъ! Въ Барнаулѣ я пробылъ сутки и отправился одинъ въ Кузнецкъ. Тамъ пробылъ 5 дней и, воротившись, пробылъ еще сутки въ Барнаулѣ. Обѣдалъ у Гернгросса и былъ у него до вечера. Онъ обошелся со мной превосходно. За столомъ я едѣлалъ маленькую неловкость. Сынъ ихъ, мальчикъ лѣтъ 8 мнѣ очень понравился; онъ уласно похожъ на мать. Я это сказалъ. Она возразила, что нѣтъ сходства. Я началъ подробно разбирать это сходство. Представьте же себѣ: этого мальчика, какъ я послѣ узналъ, они считаютъ въ семействѣ чуть не уродомъ! Хорошъ мой комплиментъ!

Портретъ вашъ получилъ. Благодарю, другъ мой, благодарю! Чемоданъ, который вы мнѣ подарили, не получилъ. *Гернгроссъ* ни слова не сказалъ мнѣ о немъ. А мнѣ спросить было совѣстно. Конечно, онъ забылъ, но это все равно, ибо можетъ быть чемоданъ у Остермейера. Получу послѣ, если онъ у него. Книги ваши и минералы, по всей вѣроятности, въ Зміевѣ у Остермейера, въ тѣхъ 4-хъ ящикахъ, которые были отправлены лѣтомъ къ нему. Въ Зміевѣ мы, въ обратный путь, пріѣхали ночью. У Остермейера я быть не могъ. *Но будьте увѣрены*, что все будетъ спасено и доставлено вамъ. Я еще надѣюсь быть въ Зміевѣ.

Теперь, другъ мой, хочу объявить вамъ объ одномъ важномъ для меня дѣлѣ. Вамъ, какъ другу моему, это должно быть открыто. Коротко и ясно: *Если не помъшаетъ одно обстоятельство*, то я, до масляницы, женюсь—вы знаете на комъ. Она же любитъ меня до сихъ поръ... Она сама сказала мнѣ: *да. То, что я писалъ вамъ объ ней лѣтомъ*, слишкомъ мало имѣло вліянія на ея привязанность ко мнѣ. Она меня любитъ.—Это я знаю навѣрно. Я зналъ это и тогда, когда писалъ вамъ лѣтомъ письмо мое. Она скоро разувѣрилась въ своей новой привязанности. Еще лѣтомъ, по письмамъ ея, я зналъ это. Мнѣ было все открыто. Она никогда не имѣла тайнъ отъ меня. О, еслибъ вы знали, чтѣ такое эта женщина!—Я вамъ пишу *навѣрно*, что я женюсь; между прочимъ, можетъ быть одно обстоятельство, о которомъ долго рассказывать, но которое можетъ отдалить бракъ нашъ на неопредѣленное время. Это обстоятельство совершенно постороннее, но мнѣ, по всѣмъ видимостямъ, кажется, что оно *не случится*. А если его не будетъ, то слѣдующее письмо вы получите отъ

меня, когда уже *все будетъ кончено*. Денегъ у меня нѣтъ ни копѣйки. По самымъ скромнымъ и скупымъ расчетамъ мнѣ на все надо 600 руб. сереб. Я намѣренъ ихъ *заять* у К. (онъ въ Омскѣ, но скоро прїѣдетъ). Мы съ нимъ въ послѣднее время сошлись очень хорошо. Я надѣюсь, что онъ мнѣ дастъ. А если не дастъ, то все рухнетъ, по крайней мѣрѣ, на неопредѣленное время. Я займу у К. на далекій срокъ, т. е. на годъ по крайней мѣрѣ. Но съ будущей почтой пишу въ Москву къ дядѣ, человѣку богатому, который не разъ помогаль нашему семейству и прошу у него 600 руб. сер. Если дастъ мнѣ, то я тотчасъ же отдамъ К. — Если же не дастъ, то надо *самому* достать деньги, ибо этотъ долгъ — *священный* долгъ и отдать его надо какъ можно скорѣе.

На брата я надѣяться не могу. Еслибъ у него были деньги, онъ далъ бы мнѣ. Но онъ писалъ, что обстоятельства его худы, по крайней мѣрѣ теперь. И потому одна надежда и на отдачу долга и на средства къ будущей жизни моей это: если мнѣ позволить печатать. Не удивляйтесь, другъ мой, что я, не имѣя ничего, занимаю такіе куши, какъ 600 р. сер. Но у меня есть готовога для печати *слишкомъ* на 1,000 руб. сер. Слѣдовательно будетъ чѣмъ отдать, если позволить печатать, и если дядя не пришлетъ. — Но если печатать не позволить еще годъ — я пропалъ. Тогда лучше не жить! Никогда въ жизни моей не было для меня такой критической минуты, какъ теперь. И потому поймите, безцѣннѣйшій другъ мой, какъ важно для меня хоть какое-нибудь *извѣстіе с позволеніем* печатать. И потому умоляю васъ какъ Бога, если могли что нибудь узнать объ этомъ (я просилъ васъ объ этомъ еще въ прошломъ письмѣ), то увѣдомьте *немедленно*. Умоляю васъ объ этомъ, и если въ васъ еще прежнія чувства ко мнѣ, вы примете мою просьбу и исполните ее. Такъ-ли, другъ мой; обманываюсь я или нѣтъ? (почему не напечатана моя *дѣтская сказка*, о которой вы мнѣ писали? *Не отказали-ли?* Это очень важно мнѣ знать. Разумѣется, я готовъ печатать *хоть навсегда безъ имени* или псевдонимомъ). Если К. дастъ денегъ, я постараюсь выѣхать между 20-мъ и 25-мъ января, и дней черезъ 20 возвращусь въ Семипалатинскъ уже съ женой. Въ Барнаулѣ *надѣются*, не знаю почему, что вы тамъ будете. Не сойдемся-ли мы тамъ? Видите-ли вы моего брата? Ради Бога увидайтесь съ нимъ, поговорите обо мнѣ въ мою пользу. Я не прошу у него денегъ; у него нѣтъ. Но прошу его, если онъ можетъ, выслать мнѣ кой-какія вещи. Мнѣ бы очень хотѣлось имѣть ихъ.

Да скажите брату, чтобъ написалъ мнѣ все, что знаетъ о всѣхъ *закулисныхъ тайнахъ* теперешней литературы. Это для меня очень важно.

Прощайте, дорогой другъ мой, обнимаю васъ. Пишите, ради Христа, поскорѣе и увѣдомьте обо всемъ. Прощайте.

Вашъ вѣсь Достоевскій.

Семипалатинскъ, 25 генваря 1857 г.

На письмо ваше, безцѣнный другъ, безцѣнный братъ мой, отвѣчаю этимъ коротенькимъ письмецомъ. Прошу васъ, не считайте мое письмо отвѣтомъ на ваше, а только предисловіемъ къ отвѣту. Писать я вамъ буду очень скоро, именно 10-го февраля, а если удастся, то даже и раньше, 3-го февраля. Да, другъ мой незабвенный, судьба моя приходитъ къ концу. Я вамъ писалъ послѣдній разъ, что Марья Дмитріевна согласилась быть моею женою. Все это время я былъ въ ужаснѣйшихъ хлопотахъ, какъ не потерялъ голову. Надо было устроить возможность свадьбы. Надо было занять денегъ. Я крѣпко надѣюсь, что мнѣ въ этомъ же году что нибудь позволить напечатать и тогда я отдамъ. Въ ожиданьи же надо было занять во что бы ни стало. У меня былъ только одинъ человѣкъ, у котораго я могъ просить—К. Но онъ все время былъ въ Омскѣ; наконецъ, воротился и по первому моему слову далъ мнѣ 600 руб. сер., помогъ мнѣ какъ братъ родной. Я взялъ съ условіемъ воротить не ранѣе какъ черезъ годъ. Онъ просилъ не беспокоить себя. Это благороднѣйшій человѣкъ! Только 3 дня тому, какъ я получилъ деньги и въ воскресенье 27-го я ѣду въ Кузнецкъ на 15 дней. Не знаю, успѣю ли въ такой короткій срокъ доѣхать и сдѣлать свадьбу. Она можетъ быть больна, она можетъ быть не готова или, напримѣръ, не стануть вѣнчать въ такой короткій срокъ (ибо нужно много обрядовъ),—однимъ словомъ я рискую до-нельзя, но никакъ не могу не рисковать, т. е. отложить *до посылъ Святой. Нѣтъ никакой возможности откладывать по нѣкоторымъ обстоятельствамъ*, и потому надо сдѣлать одно изъ рѣшительныхъ дѣлъ. Какъ-то надѣюсь, что удастся. Во всѣхъ моихъ рѣшительныхъ случаяхъ мнѣ сходило съ рукъ и удавалось. Но тысяча хлопотъ въ виду. Ужъ одно то, что изъ 600 руб. у меня почти ничего не останется по возвращеніи въ Семипалатинскъ: такъ много и такъ дорого все это стоитъ! А между тѣмъ я едва могъ купить нѣсколько стульевъ для мебели—такъ все бѣдно. Обмундировка, долги, плата и необходимые обряды и 1,500 верстъ ѣзды, наконецъ все, что могъ стоить *ея* подъемъ съ мѣста—вотъ куда ушли всѣ деньги. Вѣдь намъ обонитъ пришлось начинать

чуть не съ рубашекъ — ничего-то не было, все надо было завести. Писалъ въ Москву къ родственнику и просилъ 600 руб. Если не пришлетъ, — я погибъ, по крайней мѣрѣ мѣсяцевъ 8 буду жить какъ нищій, т. е. до того времени, когда, по расчетамъ, могу что нибудь напечатать. Теперь я хлопочу, какъ угорѣлый, дѣла бездна и письмо это пишу къ вамъ, другъ милый, въ три часа ночи, а завтра въ 7 надо уже быть на ногахъ. Много что черезъ 2 недѣли буду отвѣчать вамъ на все *подробно* и ничего не скрываая. А теперь только нѣсколько словъ и то отвѣчу на главнѣйшее..... Благодарю васъ безъ конца за письмо ваше, но ради Бога пишите чаще; отвѣчайте мнѣ тотчасъ же на *это* письмо, не дожидаясь 2-го. Адресъ мой другіе пишутъ прямо на мое имя. Но васъ попрошу писать на имя Ламота, съ передачею *Ф. М. т. е. мнѣ*. — Вы пишете о братѣ: мнѣ жаль, что вы съ нимъ не сходитесь. Я объ немъ Богъ знаетъ съ какого времени ни слуху, ни духу не имѣю. Онъ даетъ мнѣ въ 8 мѣсяцевъ по 2 строчки, никогда не пишетъ о нужномъ. Чего онъ боится? Есть столько, о чемъ надо написать и что *можно* написать. А я нуждаюсь въ извѣстіяхъ. Онъ мнѣ ни слова не пишетъ о литературѣ, а вѣдь это мой хлѣбъ, моя надежда. Хотъ бы онъ отвѣчалъ мнѣ только на мои вопросы. Напримѣръ, я крайне нуждаюсь знать, кто нынче антрепренеры литературные! Это для меня капитально! Не понимаю, не понимаю его, не смотря ни на какія *его объясненія*. Я знаю одно: это превосходнѣйшій человекъ! Но что же съ нимъ дѣлается? Вы пишете, что я *люблю* писать; нѣтъ, другъ мой, но отношенія съ М. Д. занимали всего меня въ послѣдніе 2 года. По крайней мѣрѣ, *жилъ*, хотъ страдалъ да жилъ! Хочу просить торжественно о позволеніи печатать. Помогите, помогите мнѣ, когда настанетъ время! Похлопочите о позволеніи, по крайней мѣрѣ не оставляйте извѣстіями. Поймите мое положеніе и будьте хотъ вы моимъ во всемъ хранителемъ, какъ до сихъ поръ были!

До сихъ поръ не зналъ навѣрное, гдѣ ваши вещи и книги. Вы такъ положительно писали, что у Геригросса, что я и самъ это думалъ. Теперь оказывается, что они у Остермейера. Ъду черезъ Зміевъ, спрошу о нихъ! Но не понимаю, какъ отошлю ихъ вамъ, ибо всѣ уже отправились въ Ирбитъ. Теперь поздно.

Р. S. Прилагаю мѣрку съ головы для кивера. Безцѣннѣйшій Ал. Егор! Мнѣ *крайне нужны* эти вещи. У насъ нѣтъ ни за какія деньги, и даже мы не знаемъ хорошо настоящей формы. Надо: *киверъ, шарфъ, пононы, пуговицы*, — вотъ и все! Но гдѣ достать, коли нѣтъ! Вышлите ради Бога поскорѣе.

Простите же, безцѣннѣйшій другъ, что пишу такъ наскоро. Скоро

напишу обо всемъ, а теперь до свиданья близкаго и обнимаю васъ! Ради Бога пишите подробнѣе обо всемъ, особенно о себѣ.

Семипалатинскъ, 9 марта 1857 г.

Вотъ уже двѣ недѣли слишкомъ, какъ я дома, дорогой мой другъ и братъ Александръ Егоровичъ, и только теперь насилу собрался написать къ вамъ. Еслибы вы знали, сколько выдалось мнѣ хлопотъ, суеты и занятій, самыхъ непредвидѣнныхъ, при новомъ порядкѣ вещей, то вѣрно простите меня за то, что тотчасъ по прибытіи не написалъ вамъ. Во 1-хъ, свадьба моя, которая совершилась въ Кузнецкѣ (6 февраля) и обратный путь до Семипалатинска взяли гораздо болѣе времени, чѣмъ я рассчитывалъ. Въ Барнаулѣ со мной случился припадокъ, и я лишнихъ четыре дня прожилъ въ этомъ мѣстѣ. (Припадокъ мой сокрушилъ меня и тѣлесно и нравственно: докторъ сказалъ мнѣ, что у меня настоящая эпилепсія и предсказалъ, что если я не приму немедленныхъ мѣръ, т. е. правильнаго леченья, которое не иначе можетъ быть какъ при полной свободѣ, то припадки могутъ принять самый дурной характеръ и я въ одинъ изъ нихъ задохнусь отъ горловой спазмы, которая почти всегда случается со мной во время припадка). Пріѣхавъ въ Семипалатинскъ, встрѣтили меня хлопоты по устройству квартиры; потомъ заболѣла жена, потомъ пріѣхалъ бригадный командиръ и дѣлалъ смотръ всему, такъ что я и вамъ и брату принужденъ былъ отложить писать до сегодня. А какъ мнѣ хотѣлось поскорѣе отвѣчать, другъ мой незабвенный, на ваше доброе, милое, прекрасное письмо! Не тужите, не тужите, другъ мой, хоть я и ясно вижу, что у васъ со всѣхъ сторонъ горе. Болѣе всего беспокоятъ меня за васъ, другъ мой, отношенія ваши съ отцомъ. Я знаю, чрезвычайно хорошо знаю (по опыту), что подобныя непріятности нестерпимы, и тѣмъ болѣе нестерпимы, что вы оба, я знаю это, любите другъ друга. Это своего рода безконечное недоразумѣніе съ обѣихъ сторонъ, которое чѣмъ далѣе идетъ, тѣмъ болѣе запутывается. Тутъ не отдѣлаешься ни крестомъ, ни постомъ. Никакія объясненія не возстановятъ согласія, а если возстановятъ, то на нигъ. Одна помощь, одно лекарство: — разлука. Въ первые же дни разлуки вы попадете опять въ его сердце и онъ первый обвинитъ себя во всемъ. Характеры, какъ у вашего отца — странная смѣсь подозрительности самой мрачной, болѣзненной чувствительности и великодушія. Не зная его лично, я такъ заключаю о немъ, ибо зналъ въ жизни, два раза, точно такія же отношенія какъ у васъ съ нимъ. Его тоже нужно щадить, и вы знаете

это лучше меня. Знаете что, другъ мой милый: мнѣ кажется, что въ такого же характера, тоже болѣны сердцемъ и душою, и если въ васъ еще не развилась мнительность и подозрительность, то не было случая, или еще рано, т. е. разовьется потомъ. Зато у васъ болѣзненно развилась чувствительность. Берегите и спасайте себя отъ этого; сильные перевероты въ жизни помогаютъ всегда; я былъ ипохондрикомъ въ высшей степени, но излечился вполне крутымъ переверотомъ, случившимся въ судьбѣ моей. Путешествіе превосходно.

Къ брату Михаилу Михайловичу.

Семипалатинскъ, 1 марта 1858 г.

Спѣшу тебѣ отвѣчать, добрѣйшій другъ мой Миша. Извини, что пишу коротко. На этотъ разъ мало времени, и кромѣ письма къ тебѣ, надо еще отправить два большихъ письма. Слушай же. Извѣстіе о напечатаніи *Дятской сказки* было мнѣ не совсѣмъ пріятно. Я давно думалъ ее передѣлать и хорошо передѣлать и, во 1-хъ, все никуда негодное начало выбросить вонъ. Но что же дѣлать? Напечатано, такъ не воротись. Къ тому же я еще не могъ достать августов. книжки „Отеч. Записокъ“. Здѣсь ихъ получаютъ. Обѣщались дать. А покажьтесь нѣтъ. И потому я еще не читалъ напечатаннаго.

Второе обстоятельство. Мнѣ очень грустно, дорогой другъ мой Миша, что ты поступаешь со мной не по братски, именно: въ случаѣ если я не считаю себя должнымъ Кр., ты хочешь мнѣ *немедленно* выслать 200 руб., да еще прибавляешь: „*хоть и занять придется*“. Не стыдно-ли тебѣ такъ со мной поступать! Съ какими же безстыдными глазами потребовалъ бы я отъ тебя эти 200 руб., тогда какъ я тебѣ кругомъ долженъ, мало того, тогда какъ я былъ облагодѣтельствованъ тобою, потому что безъ тебя не зналъ бы что дѣлать при многихъ случаяхъ здѣшней моей жизни. И такъ выкинь этотъ вздоръ изъ головы и если „Дѣтс. Сказка“ можетъ быть тебѣ полезна для окончанія твоихъ расчетовъ съ К., то употребляй ее для этого какъ тебѣ угодно. Смѣшонъ г. Кр. съ своимъ великодушіемъ. Вотъ какъ я рѣшилъ:

Скажи слово въ слово такъ:

Во 1-хъ) Я былъ долженъ ему *не слишкомъ* 800 руб. сер., а ровно 650 руб. Приписывать 150 руб. совсѣмъ не годится. Цифру долга я

помню очень хорошо. Впрочемъ, увѣренъ, что онъ ошибается неумышленно и знаю причину почему ошибается. Именно: выдавая мнѣ деньги по частямъ, онъ всегда бралъ съ меня росписки (на клочкахъ бумаги). Принося ему что нибудь для намеѣтанія (въ уплату долга) я никогда у него не бралъ назадъ росписокъ и не вычеркивалъ того, что шло на уплату. Оставшіеся у него въ рукахъ росписки вѣроятно и сбиваютъ его съ толку.

2) Если я и признаю, что долженъ ему 650 руб. и если *желаю* отдать ему ихъ (всею душою желаю), то въ то же время совершенно *не признаю за нимъ права* требовать съ меня немедленной уплаты этихъ 650 р. или печатаніемъ мнѣ принадлежащей статьи самому распорядиться уплатою себѣ моего долга. Это рѣшеніе мое имѣетъ слѣдующія основанія:

а) Что по закону я ему ничего не долженъ и если признаю долгъ и желаю уплатить, то единственно по чувству чести и по собственной охотѣ.

б) Если я бралъ у Кр. деньги, то *никогда* не обязывался отдавать ему деньгами же, а, напротивъ, статьями. Для того-то онъ и давалъ мнѣ деньги, чтобы я приносилъ ему статьи. Во всякомъ другомъ случаѣ онъ никогда и ничего бы мнѣ не далъ. А такъ какъ десятилѣтнія обстоятельства, *независяція отъ моей воли*, могутъ быть таковы, что я и статьями не могу ему отдать долгъ мой, то какія основанія имѣетъ онъ *требовать* съ меня долгъ?

с) Если онъ хвалится, что *до сихъ поръ* не требовалъ съ меня долга, то я никакимъ образомъ не могу признать этого за великодушіе, на томъ основаніи, что онъ, еслибъ и захотѣлъ требовать, *не могъ* бы этого сдѣлать.

д) Если же онъ обращается ко мнѣ какъ человекъ къ человеку и мимо всѣхъ соображеній, основанныхъ на законѣ, потребуетъ долга *во имя моей чести*, то я ему отвѣчаю такъ: во 1-хъ) десять лѣтъ я не уплачивалъ *по независящимъ отъ меня обстоятельствамъ. Тѣ же обстоятельства* поставляютъ меня въ физическую невозможность уплатить ему теперь или въ скорости, хотя я бы и желалъ того. Въ 3-хъ) прошу опять припомнить, что я обязался уплатить не деньгами, а статьями.

е) Если же онъ скажетъ, что въ такомъ случаѣ я и долженъ уплачивать статьями и что онъ въ правѣ былъ помѣстить мою „Дѣтскую сказку“, то я отвѣчаю: что по тѣмъ же *независящимъ отъ меня обстоятельствамъ* я считаю себя теперь въ правѣ располагать своей собственностью по своей волѣ, а не по чужой. 2) Что уплату самому себѣ, насиліемъ, онъ можетъ сдѣлать только получивъ такую власть отъ закона, какъ дѣлаютъ съ несостоятельными должниками.

ф) Наконецъ и *главное*: Признавая себя твоимъ должникомъ на сумму вчетверо больше того, что стоитъ „Дѣтская сказка“, и кромѣ того при-

зная себя одолженнымъ тебѣ вѣчною благодарностью. . . . (Конца не имѣется).

(На поляхъ):

Я и жена кланяемся вамъ всѣмъ, Эмилиі Федоровѣ въ особенности. Чтò же, братъ: похвалился, что пришлешь портреты, и до сихъ поръ ничего! А мы-то ждемъ не дождемся, жена особенно. Дѣтей разпалуй.

Еще разъ: ни подъ какимъ видомъ не присылай мнѣ эти 200 руб. сер. Кланяйся Шренку. Вотъ вѣдь когда прійдется встрѣтиться.

Увѣдомлю тебя какъ кончатся мои дѣла съ „Русскимъ Вѣстникомъ“. А я пишу. Не знаю теперь когда кончу. Положеніе мое критическое. Надежда — на Бога. Если Плещеевъ дастъ 1000, тотчасъ же поѣду въ Россію, а не дастъ — не знаю какъ и буду. Онъ общалъ. Я знаю какъ съ нимъ сквитаться. Прощай. Пиши ради Бога.

Объ „Русскомъ Словѣ“ помню. Будетъ статья. *Впрочемъ объ этомъ напишу тебѣ въ скорости* и сообщу мои планы.

Семипалатинскъ, 31 мая 1858 г.

Слѣшу тебѣ отвѣчать, любезный другъ, съ первой же почтой. Удивляюсь тому, что мои письма такъ медленно до тебя доходятъ. А между тѣмъ я писать не лѣнивъ. Если ты обо мнѣ беспокоился, то и я о тебѣ тоже. Особенно въ послѣднее время: я такъ и рѣшилъ, что съ тобой что нибудь случилось, а главное, что ты боленъ. Извѣстіе о твоей потерѣ (3,000 руб.) меня очень огорчило. Ты говоришь, что не потеря денегъ тебя огорчала, а критическое положеніе и проч... Нѣтъ, братъ, можно пожалѣть и о деньгахъ. У тебя дѣти растутъ, а 3,000 не скоро достанешь. Неужели нѣтъ никакой надежды воротить ихъ? Мнѣ досадно, другъ мой, что я, какъ нарочно, подвернулся тутъ съ моими комиссіями и просьбами. Но чтò дѣлать! Ты пишешь, что скоро вышлешь. Благодарю тебя, братъ. Надѣюсь, что это въ послѣдній разъ я тебя безпокою. Хотѣлъ было подождать вещей и тутъ и отвѣчать. Но вещи еще могутъ замедлить. Пишешь, что вышлешь фракъ и одни брюки. По моему, лучше бы сюртукъ. Вѣдь онъ всегда полезнѣе. Какъ нибудь сколочусь и сдѣлаю здѣсь, хотя въ деньгахъ у меня большая крайность.

Ты пишешь, другъ мой, чтобъ я прислалъ тебѣ написанное. Не помню (вообще, у меня память стала очень плоха)—не помню, писалъ ли я тебѣ, что я открылъ сношенія съ Катковымъ („Русскій Вѣстникъ“) и послалъ ему письмо, въ которомъ предложилъ ему участвовать въ его

журналъ, и обѣщаль повѣсть въ этомъ году, если онъ мнѣ пришлетъ сейчасъ 500 руб. сереб.? Эти 500 руб. я получилъ отъ него назадъ тому съ мѣсяць или недѣль пять, при весьма умномъ и любезномъ письмѣ. Онъ пишетъ, что очень радъ моему участию, немедленно исполняетъ мое требованіе (500 р.) и проситъ какъ можно менѣе стѣснять себя, работать не спѣша, т. е. не на срокъ. Это прекрасно. Я сижу теперь за работой въ „Русскій Вѣстникъ“ (большая повѣсть); но только то бѣда, что я не уговорился съ Катковымъ о платѣ съ листа, написавъ, что полагаюсь въ этомъ случаѣ на его справедливость. Въ „Русское Слово“ тоже пришлось въ этомъ году: это я надѣюсь. Но не романъ мой, а повѣсть. Романъ же я отложилъ писать до возвращенія въ Россію. Это я сдѣлалъ по необходимости. Въ немъ идея довольно счастливая, характеръ новый, еще нигдѣ не являвшійся. Но такъ какъ этотъ характеръ вѣроятно теперь въ Россіи въ большомъ ходу, въ дѣйствительной жизни, особенно теперь, судя по движеніямъ и идеямъ, которыми все полны, то я увѣренъ, что я обогащу мой романъ новыми наблюденіями, возвратясь въ Россію. Торопиться, милый другъ мой, не надо, а надо стараться сдѣлать хорошо. Ты пишешь, дорогой мой, что я, вѣроятно, самолюбивъ, и теперь желаю явиться съ чѣмъ нибудь очень хорошимъ и потому сижу и высиживаю это очень хорошее на яйцахъ. Положимъ, что такъ; но такъ какъ я уже отложилъ попеченіе явиться съ романомъ, а пишу двѣ повѣсти, которыя будутъ только что сносны (и то дай Богъ), то и высиживанія во мнѣ теперь нѣтъ. Но что у тебя за теорія, другъ мой, что картина должна быть написана съ разу и проч. и проч. и проч.? Когда ты въ этомъ убѣдился? Повѣрь, что вездѣ нуженъ трудъ и огромный. Повѣрь, что легкое, изящное стихотвореніе Пушкина, въ нѣсколько строчекъ, потому и кажется написаннымъ сразу, что оно слишкомъ долго клеилось и перемарывалось у Пушкина. Это факты. Гоголь восемь лѣтъ писалъ „Мертвыя души“. Все, что написано сразу—все было незрѣлое. У Шекспира, говорятъ, не было помарокъ въ рукописяхъ. Оттого-то у него такъ много чудовищностей и безвкусія, а работалъ бы — такъ было бы лучше. Ты явно спѣшиваешь вдохновеніе, т. е. первое, мгновенное созданіе картины или движенія въ душѣ (что всегда такъ и дѣлается) съ работой. Я, наприм., сцену тотчасъ же и записываю, такъ, какъ она мнѣ явилась впервые, и радъ ей; но потомъ цѣлые мѣсяцы, годъ, обрабатываю ее, вдохновляюсь ею *по нѣскольку разъ*, а не одинъ (потому что люблю эту сцену) и нѣсколько разъ прибавлю къ ней или убавлю что нибудь, какъ уже и было у меня, и повѣрь, что выходило гораздо лучше. Было бы вдохновеніе. Безъ вдохновенія конечно, ничего не будетъ.

Правда, у васъ теперь даютъ большую плату. Значитъ Писемскій получилъ за 1,000 душъ 200 или 250 руб. съ листа. Этакъ можно жить и работать не торопясь. Но неужели ты считаешь романъ Писемскаго прекраснымъ? Это только посредственность и хотя *золотая*, но только всетаки посредственность. Есть ли хоть одинъ новый характеръ, *созданный*, никогда не являвшійся. Все это уже было и явилось давно у нашихъ писателей-новаторовъ, особенно у Гоголя. Это все старыя темы на новый ладъ. Превосходная клейка по чужимъ образцамъ, Сазиковская работа по рисункамъ Бенвенуто-Челлини. Правда, я прочелъ только двѣ части; журналы поздно доходятъ къ намъ. Окончаніе второй части рѣшительно неправдоподобно и совершенно испорчено. Калиновичъ, обманывающій сознательно — невозможенъ. Калиновичъ по тому, какъ показалъ намъ авторъ прежде, долженъ былъ принести жертву, предложить жениться, покрасоваться, насладиться въ душѣ своимъ благородствомъ и быть увѣреннымъ, что онъ не обманетъ. Калиновичъ такъ самолюбивъ, что не можетъ себя даже и про себя считать подлецомъ. Конечно, онъ насладится всеѣмъ этимъ, переночуетъ съ Настенькой, и потомъ, конечно, надуетъ, но это *потомъ*, когда дѣйствительность велитъ и, конечно, самъ себя утѣшить, скажетъ и тутъ, что поступилъ благородно. Но Калиновичъ, надувающій сознательно и ночующій съ Настенькой — отвратительнъ и *невозможенъ*, т. е. возможенъ, только не Калиновичъ. Но довольно объ этихъ пустякахъ.

Другъ мой, жду отставки и не дождусь. Прямо жить въ Москвѣ я не просился, а прямо написано въ просьбѣ объ отставкѣ, такъ какъ требуетъ форма: *жительство имѣть буду въ городѣ Москвѣ*. Если не возразятъ, то я и поѣду. Поѣду, но съ чѣмъ? Денегъ, до окончанія повѣсти, у меня не будетъ. Чѣмъ и жить буду черезъ два мѣсяца — не знаю, потому что черезъ два мѣсяца и денегъ не будетъ. Изъ 500, присланныхъ Катковымъ, немедленно уплачено было 400 р. долгу. Я издерживаю въ мѣсяцъ 40 руб., но *экстренные расходы* не оставляютъ меня. Вотъ ужъ 1½ года непрерывно то да се и все непредвидѣнное. Чтѣ будетъ со мною до окончанія года, когда я получу за свою работу? (За работу я раньше не получу). Не знаю; голова трещить, теперь и занять не у кого. Но не безпокойся обо мнѣ очень; все какъ нибудь уладится.

Плещеевъ пріѣдетъ въ Москву и въ Петербургъ. Онъ ѣдетъ въ маѣ. Прими его хорошенько и познакомься съ женою его. Сейчасъ получилъ посылку Милюкова (его книгу), завозилъ какой-то офицеръ; но я офицера не видалъ, можетъ быть заѣдетъ. Кланяйся Милюкову и всеѣмъ.

Что съ нашими родными? Съ Варенькой, съ Вѣрочкой? Ни слова, ни слова до сихъ поръ. Гдѣ братъ Андрей, гдѣ Коля?

Прощай! Обнимаю тебя. Кланяйся Эмилиі Федоровнѣ, цалуи дѣтей! Жена вамъ всѣмъ кланяется.

Прощай, твой

Ф. Достоевскій.

Напишу еще по полученіи вещей и *отставки*. Увѣдожю о моемъ положеніи. Но ради Бога не затягивай и пиши самъ; ради Бога!

19 іюля 1858 г.

Безцѣнный другъ и братъ Миша, на письмо твое (отъ 5-го мая) я тебѣ отвѣчалъ тотчасъ же по полученіи. Въ этомъ письмѣ между прочимъ ты мнѣ пишешь: „на этой или на будущей недѣлѣ высылаю тебѣ платье и проч.“ Это значитъ, что самый поздній срокъ высылки былъ бы въ 15 мая, не позже. Такъ, по крайней мѣрѣ, выходитъ по смыслу твоего же письма. Теперь рѣши самъ, безцѣнный мой: почта изъ Петербурга въ Семипалатинскъ ходитъ обыкновенно 22 или 25 дней. (Между этими числами). — Что же мнѣ подумать теперь о тебѣ, о твоёмъ положеніи и о твоихъ обстоятельствахъ? И пойми прежде всего, безцѣнный мой, что не присылка платья беспокоитъ меня (хотя Богъ видитъ какъ дорого мнѣ теперь это платье, ибо не имѣю ни гроша чтобъ одѣться). Но Богъ съ нимъ и съ платьемъ!

Пойми прежде всего, что беспокоитъ меня *ты*, только одинъ *ты*, и что я рѣшительно не понимаю теперь, что о тебѣ подумать? Въ послѣднемъ письмѣ своемъ ты писалъ мнѣ о тяжелыхъ торговыхъ непріятностяхъ. Не онѣ ли и теперь причиною твоего молчанія? Пойми, другъ мой, что я о тебѣ убиваюсь. Здоровъ-ли ты? Живъ-ли ты? Ничего этого я не знаю. Никто не пишетъ, никто не даетъ знать. Изъ Москвы вотъ ужъ слышномъ годъ ни строчки. Я тебя каждую ночь во снѣ вижу, тревожусь страшно. Я не хочу, чтобъ ты умеръ, я хочу еще разъ въ жизни видѣть и обнять тебя, мой безцѣнный. Успокой же меня ради Бога, и если ты здоровъ, то ради Христа отбрось всѣ свои дѣла и хлопоты и напиши мнѣ сейчасъ, сію минуту, иначе я съ ума сойду. Пойми, другъ мой, мое положеніе. Если не можешь выслать платья, то не высылай (если только это тебя задерживаетъ). Но я не думаю, чтобъ это одно тебя задерживало. Успокой же меня, мой голубчикъ, клянусь, моя тоска стала теперь невynosима.

О себѣ не могу тебѣ сказать ничего утѣшительнаго. Отставка моя до сихъ поръ не выходитъ (уже 6 мѣсяцевъ какъ подалъ; не могу придумать въ чемъ задержка?). Здоровье не поправляется. Припадки изрѣдка бывають и оставляють грустныя послѣдствія. Денегъ нѣтъ; осталось буквально *нѣсколько цѣлковыхъ*. Занимать теперь не у кого; ибо прежнихъ людей, которые бы мнѣ всегда дали, здѣсь теперь нѣтъ. Обѣщалъ мнѣ Плещевъ, еще прошлаго года, 1000 руб. сер., какъ только получить свое наслѣдство. Но до сихъ поръ ни денегъ не присылаетъ, ни сказать не можетъ ничего рѣшительнаго. Безъ 1000 же руб. я рѣшительно не могу подняться изъ Сибири, чтобъ пріѣхать въ Россію (все рассчитано до копѣйки; потому что и въ Россію пріѣхавъ надо имѣть что нибудь въ запасъ на первые мѣсяцы). Теперь Плещевъ поѣхалъ въ Москву и въ Петербургъ на 6 мѣсяцевъ въ отпускъ (съ женой). Онъ будетъ и въ Петербургѣ; зайдетъ и къ тебѣ. Разспроси его откровенно и подробно о томъ: 1) можетъ-ли онъ прислать мнѣ 1000 руб.; 2) когда онъ можетъ ихъ прислать? Отвѣты возьми отъ него *положительные* и тотчасъ же, съ совершенною откровенностію, мнѣ напиши. Въ дружбѣ Плещева я не сомнѣваюсь. Но я понимаю, что значить получать наслѣдство. Надѣешься получить черезъ 6 мѣсяцевъ, а получишь черезъ 6 лѣтъ. Достать денегъ для житья совершенно не знаю гдѣ. Ты пишешь—прислать тебѣ повѣсть и говоришь, что тотчасъ же продашь ее и пришлешь деньги. Но, другъ мой, на заказъ писать не буду никогда; клятву далъ. Пишу же теперь 2 повѣсти. Одну, большую (величиною съ „Двойника“) въ „Русскій Вѣстникъ“, другую, листовъ въ 5 печатныхъ, въ „Русское Слово“, которое ждетъ отъ меня романа; въ самомъ концѣ года доставлю. Романъ бросилъ, ибо это, по всѣмъ признакамъ, будетъ мой *chef-d'oeuvre*, а портить торопясь не хочу, да и свѣдѣнія по нѣкоторымъ статьямъ романа надо собрать лично въ Россіи. Повѣсть въ „Русскій Вѣстникъ“—хороша будетъ въ деталяхъ, въ цѣломъ же манкирована (растянута, а я помѣшанъ на краткости, которая мнѣ не удается). Въ „Русское Слово“—можетъ, будетъ не дурно. Я уже взялъ у Каткова 500 руб. сер. впередъ. Всѣхъ главъ въ моей повѣсти (Каткову) 13. (По печатному листу глава). 10-го августа пошлю къ нему 7 главъ совершенно оконченныхъ и переписанныхъ и попрошу еще 600 р. с. *Навѣрно знаю, что не дастъ*. Но это послѣдняя отчаянная моя попытка. Все теперь зависитъ отъ милосердаго Императора—захочетъ сдѣлать счастливымъ—позволить пріѣхать въ Москву. Я болѣзнь мою теперь ничѣмъ не лечу. Нѣтъ ничего легче испортить совершенно. Хочу посоветоваться съ лучшими московскими докторами: тогда рѣшусь.

Если платёе трудно выслать—чортъ съ нимъ, не надо. Прощай, мой голубчикъ.

Жена кланяется. Она меня ободряетъ, но также беспокоится о тебѣ, какъ и я. Обнижаю всёхъ твоихъ. Эмилиа Федоровнѣ особенно кланяюсь. Прощай, мой безцѣнный, мой единственный. Ободри меня, успокой хоть одной строчкой. Умоляю тебя.

Напиши, ради Бога, какое изданіе ты затѣваешь на будущій годъ. Напиши подробнѣе.

Теперь буду считать по пальцамъ дни и часы до полученія отъ тебя отвѣта на это письмо.

Семипатинскъ, 11 апрѣля 1859 г.

Милый братъ Миша, пишу тебѣ только 2 слова. Некогда. Отсылаю съ этою почтой *три четверти* моего романа *Каткову*. До сихъ поръ не успѣлъ кончить всего. Работалъ почти всю ночь, всталъ поздно, времени нисколько, почта отходить. Уже двѣ недѣли какъ я получилъ 1000 руб. отъ Кушелева, при письмѣ съ похвалами. Не увѣдомилъ тебя до сихъ поръ, ибо все ожидалъ отъ тебя письма, и на все хотѣлъ отвѣчать разомъ. Въ твоей радости о томъ, что моя повѣсть многимъ нравится, видна вся твоя прекрасная душа. Но ты пишешь отъ *6-го марта*, а не упоминаешь, что повѣсть моя уже вышла изъ печати. Развѣ „Русское Слово“ выходитъ не въ 1-ое число мѣсяца? Ради Бога вышли мнѣ „Русское Слово“, или, по крайней мѣрѣ, ту книжку, гдѣ напечатана моя повѣсть. Попроси у Кушелева, скажи, чтобы на мой счетъ записали. Устрой какъ нибудь ради Бога.

Благодарю за обѣщаніе выслать бѣлье и жилеты. Я надѣялся, что ты вышлешь изъ кушелевской тысячи. Теперь же сосчитаемся уже развѣ по прїѣздѣ въ Тверь.

Другъ мой, изъ этой тысячи осталось уже только 600 руб. Съ этимъ надо выѣхать и прожить до выѣзда; но это невозможно и не достанетъ. Я пишу Каткову, чтобы выслалъ еще 200 руб. и что буду ждать отъ него до 15 іюня. А тамъ ужъ нельзя ждать, выѣду. Писалъ ему тоже о 100 рубляхъ съ листа. Каковъ-то будетъ отвѣтъ? Онъ на меня сердится и не отвѣчалъ на мое послѣднее письмо. Какъ тяжело, братъ, эти сношенія заочно, а не лично!

Романъ, который я отсылаю Каткову, я считаю несравненно выше чѣмъ „Дядюшкинъ Сонъ“, тамъ есть два серьезные характера и даже

новые, небывалые нигдѣ. Но какъ-то еще кончу романъ? Ужасно онъ мнѣ надоѣлъ, даже измучилъ меня (буквально). Онъ появится, надѣюсь, въ августѣ или въ сентябрѣ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“.

Ожидаю отъ тебя скоро письма. Я увѣренъ, что ты напишешь мнѣ обо всемъ, т. е. о мнѣніяхъ литературныхъ, которыми встрѣтятъ „Дядюшкинъ Сонъ“. Пожалуйста напиши побольше подробностей! Умоляю тебя.

Ты не пишешь ничего о Плещеевѣ. Выѣхалъ ли онъ въ Москву? Завьяловъ часто у насъ бывалъ. Это добрый и незлобивый малый. Я очень люблю его.

Ты пишешь о Твери и говоришь, что нужно прожить въ ней 2 года. Но, другъ мой, это ужасно. Я надѣюсь, напротивъ, тотчасъ же испросить позволенія жить въ Москвѣ. Начну просить по приѣздѣ въ Тверь, разумѣется. Мнѣ вѣдь отказали не по Высочайшей волѣ, а просто Инспекторскій департаментъ *точно и ясно* написалъ сюда, что онъ (Инспекторскій департаментъ) *не беретъ на себя* разрѣшить этотъ вопросъ, *не зная*, позволено ли мнѣ жить въ Москвѣ и *соотвѣтуетъ* обратиться о разрѣшеніи къ Государю Императору черезъ третье отдѣленіе. Еще надежда: 8-го сентября будетъ совершеннолѣтіе Государя Наслѣдника. При совершеннолѣтіи нынѣ царствующаго Императора оказаны были огромныя милости политическимъ преступникамъ. Я увѣренъ, что Государь, и при теперешнемъ празднествѣ, вспомнитъ о насъ несчастныхъ и проститъ все остальное. Я рассчитываю, что къ этому времени (къ 8 сентября) необходимо просить о разрѣшеніи жить въ Москвѣ, только бы быть къ этому времени въ Твери.

Прощай, добрый мой Миша. Обнимаю тебя крѣпко, крѣпко, тебя и всѣхъ твоихъ. Жена тебѣ кланяется. Завтра Святая: Христосъ Воскресе! Здоровье мое попрежнему.

Твой Ф. Достоевскій.

О моемъ Пашѣ позаботься.

Семипалатинскѣ, 9 мая 1859 г.

Дорогой другъ мой Миша, письмо твое отъ 8-го апрѣля я наконецъ получилъ съ прошедшею почтой и чрезвычайно былъ огорченъ и испуганъ твоею болѣзнію. Воязнь моя еще и до сихъ поръ не прошла. Я очень хорошо понимаю, что такіе припадки могутъ получить самый опасный исходъ, и если не получу отъ тебя новыхъ писемъ о твоемъ совершенномъ выздоровленіи, то буду самъ не свой все это время. Выѣзжаю я, если

только Богъ поможетъ, 15 іюня, но не раньше, а можетъ и очень позже. Я писалъ уже тебѣ, что отставка моя вышла въ Петербургѣ, въ Высочайшемъ приказѣ 18 марта, но она только что здѣсь получена и надо ожидать, по крайней мѣрѣ, до начала іюня, покажутся кончатся всѣ формальности по корпусу и я буду уволенъ совершенно. Но если я выѣду 15 іюня, то врядъ ли получу отъ тебя отвѣтъ на *это* письмо мое, тѣмъ болѣе, что почта ходитъ теперь гораздо медленнѣе, за весеннимъ разлитіемъ рѣкъ. Но всетаки, если только любишь меня, отвѣчай мнѣ на это письмо немедленно (и подробнѣе о своемъ здоровьи) и адресуй прямо въ Семипалатинскъ. Мнѣ придется прожить въ Омскѣ, по дѣлу о взятіи Пани изъ Корпуса, недѣли двѣ или три; и мнѣ письмо твое пришлютъ изъ Семипалатинска (НВ. Въ Омскѣ не адресуй, а адресуй въ Семипалатинскъ).

Мнѣ, другъ мой Миша, такъ сильно представилось, что ты вдругъ умрешь и что я тебя никогда не увижу, что страхъ и до сихъ поръ лежитъ на моей душѣ. Ахъ, кабы поскорѣе получить отъ тебя еще хоть 4 строчки письма!

Благодарю тебя, другъ мой, очень за посылки жилетовъ, рубашекъ и проч. Но я до сихъ поръ еще ничего не получалъ. По письму твоему вижу, что ты послалъ все это въ половинѣ марта. Письмо твое, отъ 9 апрѣля, пришло уже недѣля, а посылка отъ половины марта все еще сидитъ гдѣ нибудь на дорогѣ. Ничего въ этомъ не понимаю.

Я тебя увѣдомлялъ, что получилъ отъ Куселева деньги. Но журнала отъ него не получалъ. Можетъ быть получу еще: онъ увѣдомлялъ меня, что пришлетъ мнѣ счетъ. Можетъ быть вмѣстѣ и журналъ.

Другъ Миша, прошу тебя, исполни мою просьбу, напиши мнѣ все что услышишь безъ утайки о моемъ романѣ, т. е. какъ объ немъ говорить, если только кто нибудь говорить. Пойми, что это для меня чрезвычайно интересно.

Съ прошлою почтой я писалъ Куселеву. Надо было увѣдомить его о полученіи денегъ. Самъ просилъ у него журналъ. На счетъ же *участія* въ его журналѣ (онъ мнѣ писалъ въ своемъ письмѣ, что съ великимъ нетерпѣніемъ будетъ ждать отъ меня моей будущей повѣсти)—я написалъ ему, что желалъ бы прежде всего видѣть его и переговорить съ нимъ лично. Объяснилъ ему, что у меня въ виду большой романъ, листовъ въ 25, что мнѣ чрезвычайно бы желалось начать немедленно писать его (и только его), но что, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, я никакъ не могу присѣсть за эту работу, и *что объ этихъ-то обстоятельствахъ мнѣ и хотѣлось бы поговорить съ нимъ лично*. Этимъ я заключилъ мое письмо къ Куселеву, безъ всякихъ объясненій, но тебѣ я объясню — какія это

обстоятельства. Во 1-хъ, чтобы съѣсть мнѣ за романъ и написать его — 1¹/₂ года сроку. Во 2-хъ, чтобы писать его 1¹/₂ года, — нужно быть въ это время обезпеченнымъ; а я ничего ровно не имѣю. Въ 3-хъ, ты пишешь мнѣ непрерывно такіа извѣстія, что Гончаровъ, напримѣръ, взялъ 7000 за свой романъ, а Тургеневу за его „Дворянское гнѣздо“ (я, наконецъ, прочелъ. Чрезвычайно хорошо) самъ Катковъ (у котораго я прошу 100 руб. съ листа) давалъ 4000 рублей, т. е. по 400 рублей съ листа. Другъ мой! Я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но вѣдь не слишкомъ же хуже и, наконецъ, я надѣюсь написать советѣмъ не хуже. За чтѣ-же я-то, съ моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургеневъ, у котораго 2000 душъ, по 400. Отъ бѣдности я *принужденъ* торопиться и писать для денегъ, слѣдовательно *непрерывно портить*. И потому, при свиданіи съ Кушелевымъ, я намѣренъ прямо изложить ему, чтобы онъ далъ мнѣ полугодовой срокъ, 300 рублей съ листа, и, сверхъ того, чтобы жить во время работы — 3000 руб. сер. впередъ. Если согласится, то я сверхъ того обязуюсь дать ему, на будущій годъ (къ началу) маленькую повѣсть листа въ 1¹/₂ печатныхъ. У меня много сюжетовъ большихъ повѣстей, а маленькихъ нѣтъ. Но я надѣюсь какъ нибудь до новаго года наткнуться на вдохновеніе и состряпать Кушелеву маленькую повѣсть. — Тебѣ, можетъ быть, покажется, что условія мои, вдругъ, изъ смиренныхъ сдѣлались ужъ слишкомъ заносчивы; но все это, другъ мой, связано съ однимъ обстоятельствомъ, котораго ты не знаешь. А такъ какъ это обстоятельство, въ свою очередь, тѣсно связано съ твоимъ вопросомъ ко мнѣ о „Бѣдныхъ Людахъ“, — вопросомъ, на который ты требуешь скорѣйшаго отвѣта, то я и перейду прямо къ „Бѣднымъ Людямъ“.

Ты хочешь, другъ мой, продать ихъ Кушелеву. Это было бы хорошо; но я прошу тебя этого не дѣлать, потому что у меня другая мысль въ головѣ. Вотъ она: я оканчиваю теперь Каткову романъ (длинный вышелъ: листовъ 14 или 15). ³/₄ его ужъ отослано; остальное отошлю въ первыхъ числахъ іюня. Слушай, Миша! Этотъ романъ, конечно, имѣетъ величайшіе недостатки и главное, можетъ быть, растянутость; но въ чемъ я увѣренъ, какъ въ аксіомѣ, это то, что онъ имѣетъ въ тоже время и великія достоинства и что это *лучшее* мое *произведеніе*. Я писалъ его два года (съ перерывомъ въ срединѣ „Дядюшкина Сна“). Начало и середина обдѣланы, конецъ писанъ на скоро. Но тутъ положилъ я мою душу, мою плоть и кровь. Я не хочу сказать, что я высказался въ немъ весь; это будетъ вздоръ! Еще будетъ много чтѣ высказать. Къ тому же въ романѣ мало сердечнаго (т. е. страстнаго элемента, какъ напримѣръ въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“), — но въ немъ есть два огромныхъ типическихъ харак-

тера, *создаваемых* и *записываемых* пять лѣтъ, обдѣланных безукоризненно (по моему мнѣнію), — характеровъ вполне русскихъ и плохо до сихъ поръ указанныхъ русской литературой. Не знаю, оцѣнить ли Катковъ, но если публика приметъ мой романъ холодно, то, признаюсь, я, можетъ быть, впаду въ отчаяніе. На немъ основаны всѣ лучшія надежды мои и, главное, упроченіе моего литературнаго имени. — Теперь сообрази: романъ явится въ нынѣшнемъ году, можетъ быть въ сентябрѣ. Я думаю, что если заговорять о немъ, похвалять его, то мнѣ уже можно будетъ предложить Куселеву 300 руб. съ листа и проч. Съ нимъ уже имѣеть дѣло не тотъ писатель, который написалъ только „Дядюшкинъ Сонъ“. Конечно, я могу очень ошибаться въ моемъ романѣ и въ его достоинствѣ; но на этомъ всѣ мои надежды. Теперь: если романъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ получитъ успѣхъ, и, пожалуй, значительный, тогда, вмѣсто того чтобы издавать „Бѣдныхъ Людей“ отдѣльно, у меня явилась новая мысль: пріѣхавъ въ Тверь и съ твоєю помощью, разумѣется, голубчикъ мой, мой вѣчный помощникъ, — издать къ январю или февралю будущаго года 2 тома моихъ сочиненій, въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) 1-й томъ: 1) „Бѣдные люди“, „Нечочка Незванова“ 6 первыхъ главъ обдѣланныя (которыя всѣмъ понравились), „Бѣлыя ночи“, „Дѣтская сказка“ и „Елка и Свадьба“ — всего листовъ 18 печатныхъ. 2-й томъ: „Село Степанчиково“ (романъ Каткову) и „Дядюшкинъ сонъ“. Во 2-мъ томѣ 24 печатныхъ листа (NB. Впослѣдствіи можно издать обдѣланнаго или, лучше сказать, совершенно вновь написаннаго „Двойника“ и проч. Это будетъ 3-й томъ, но это *впослѣдствіи*, а теперь только 2 тома). Изданіе въ 2000 экземплярахъ будетъ стоить 1500 руб. не болѣе. Продавать можно по три руб. И потому, если я 1½ года буду писать большой романъ, то постепенная продажа экземпляровъ меня можетъ обезпечить и я буду съ деньгами. Можно и такъ: продать изданіе Куселеву, тысячи за три или даже за 2½ т.; но, разумѣется, въ переговоры теперь вступать *никакъ нельзя*; нужно ожидать успѣха Катковскаго романа. Тутъ вся надежда и этотъ успѣхъ облегчитъ всѣ переговоры.

NB. Каткову я пошлю всего 15 листовъ, по 100 руб. — 1,500 руб. Взялъ я у него 500, да еще, пошлавъ $\frac{3}{4}$ романа, просилъ 200 руб. на дорогу, итого взято 700. Пріѣду я въ Тверь безъ копѣйки, но зато въ самомъ непродолжительномъ времени получаю съ Каткова 700 или 800 рублей. Это еще ничего. Можно обернуться.

Пугаютъ меня слухами, что, если взять Пашу изъ корпуса совсѣтъ, то надо будетъ заплатить за его содержаніе рублей по 200 за годъ, всего 400 руб., а гдѣ я ихъ возьму? Это поразить меня какъ громомъ. У меня

денегъ теперь всего 600 руб., да съ Катковскими будетъ 800, но вѣдь надо купить экипажъ и проч. да проѣхать 4000 верстъ, въ лѣтнее время, когда ѣхать всего дороже (будутъ впрягать 4 лошади, а иногда и 5) и потому всего только денегъ у меня на проѣздъ. Чѣмъ я заплачу за Пашу?

Прощай, голубчикъ мой, родной мой, милый мой Миша, будь счастливъ и *здоровъ* и дай обнять тебя поскорѣе. Поклонъ твоей женѣ и расцалуй дѣтей. Можетъ еще многого не написалъ въ письмѣ моемъ, но сиѣшу ужасно. Есть дѣло. Прощай, голубчикъ! Поклонъ Плещееву; что онъ ко мнѣ не пишетъ? Ужъ не разсердился ли за требованіе денегъ? Не можетъ быть! Жена тебѣ кланяется. Кланяйся всѣмъ, кто меня помнитъ. *До свиданья*, другъ мой.

Тверь. 22 сентября 1859 г.

Дорогой другъ мой, Александръ Егоровичъ, хотѣлъ было не писать къ вамъ; но не утерпѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, чтѣ можно писать послѣ 4-хъ лѣтъ разлуки? Надоно, сначала, вновь свидѣться, и какъ я былъ радъ, что вы (по словамъ брата) думаете махнуть сюда и повидаться со мной. Хоть на денекъ, безцѣнный вы мой! Какъ бы мы переговорили! А для такого господина, который изѣздилъ всю планету, пріѣхать по желѣзной дорогѣ изъ Петербурга въ Тверь — вздоръ. Братъ пишетъ, что вы еще разъ собираетесь въ экспедицію. Это плохо, — плохо для меня. Я думалъ, что мы ужъ не разлучимся, когда сойдемся въ Петербургѣ, и, потому, — можете себѣ представить мое нетерпѣніе васъ видѣть, — хоть два дня, хоть нѣсколько часовъ. Вѣдь у насъ съ вами есть чтѣ помянуть. Много есть прекрасныхъ воспоминаній. Хотя съ того времени, когда я васъ проводилъ изъ вашей квартиры, въ 10-мъ часу ночи (помните?), у васъ слишкомъ много прибавилось въ жизни, но неужели же мы теперь не поймемъ другъ друга? Мы тогда крѣпко сошлись. Пріѣзжайте же. Поговоримъ о старомъ, когда было такъ хорошо, о Сибири, которая мнѣ теперь мила стала, когда я покинулъ ее, о Казаковомъ садѣ (помните?), о *бобахъ* и другихъ огородныхъ растеніяхъ, о милѣйшихъ — Змѣиногоревѣ и Барнаулѣ, гдѣ я послѣ васъ бывалъ довольно часто... ну да обо всемъ! А вы мнѣ расскажете что нибудь изъ послѣдующей жизни вашей; — сойдемся опять и напомнимъ еще лучше воспоминанія. Будетъ чѣмъ помянуть жизнь на старости лѣтъ.

Чтѣ вы теперь замышляете? Чего ожидаете и каковы ваши надежды?

Что вашъ отецъ и всѣ ваши домашніе? — Кто замѣнилъ X.? Бѣда если X. въ Петербургѣ и имѣеть на васъ вліяніе. Но это вздоръ и я дуракъ, что это заподозрилъ:

Не цвѣсти цвѣтамъ послѣ осени.—

Объ васъ все, въ подробности, надѣюсь услышать отъ васъ же самихъ. Надѣюсь тоже, что вы мнѣ черкнете что нибудь. — Если спросите обо мнѣ, то чтѣ вамъ сказать: взялъ на себя заботы семейныя и тѣну ихъ. Но я вѣрю, что еще не кончилась моя жизнь и не хочу умирать. Болѣзнь моя по прежнему, — ни то, ни сѣ. Хотѣлъ бы посоветоваться съ докторами. Но пока не доберусь до Петербурга — не буду лечиться! Что пачкаться у дураковъ! Теперь я запертъ въ Твери и это хуже Семипалатинска. Хоть Семипалатинскъ, въ послѣднее время, измѣнился совершенно (не осталось ни одной симпатичной личности, ни одного свѣтлаго воспоминанія), — но Тверь въ тысячу разъ гаже. Сумрачно, холодно, каменные дома, никакого движенія, никакихъ интересовъ, — даже бібліотеки нѣтъ порядочной. Настоящая тюрьма! Намѣревался какъ можно скорѣе выбраться отсюда. Но положеніе мое престранное: я давно уже считаю себя совершенно прощеннымъ. Мнѣ возвращено и потомственное дворянство, особымъ указомъ, еще два года назадъ. А между тѣмъ, я знаю, что безъ особой формальной просьбы (жить въ Петербургѣ) — мнѣ нельзя вѣхаться ни въ Петербургъ, ни въ Москву. Я пропустилъ время; надо бы просить еще мѣсяць назадъ. Теперь же князь Долгорукій въ отсутствіи. Я пишу Долгорукому письмо. Являлся съ нимъ къ графу Баранову (нашему губернатору) и просилъ его переслать князю. Барановъ обѣщалъ, но сказалъ — когда князь воротится, раньше же нечего и думать. Князь воротится въ половинѣ октября; слѣд. до тѣхъ поръ надо сидѣть и ничего не предпринимать. Я, конечно, почти увѣренъ, что мою просьбу уважатъ. Примѣры уже были: много изъ нашихъ въ Петербургѣ. Къ тому же Государь безпримѣрно добръ и милостивъ. Да и я постоянно былъ хорошо аттестованъ. Но вотъ чего я боюсь: затянется дѣло, а я живи въ Твери. И потому хотѣлъ было писать къ Эдуарду Ивановичу, да и напишу; хочу просить его: написать или переговорить обо мнѣ съ княземъ Долгорукинымъ; тогда тотъ, уваживъ его ходатайство, не замѣшкаетъ и сократитъ формы. Хотѣлъ было тоже просить Эдуарда Ивановича написать и Баранову, — чтобъ и здѣсь не затянули дѣло. Но, опять, беретъ раздумье: въ какихъ отношеніяхъ Эдуардъ Ивановичъ къ князю и знаетъ-ли онъ нашего графа. Можетъ быть ему тяжело просить ихъ, а онъ ужъ и такъ для меня много сдѣлалъ. Письмо къ Эд. Ив — чу хотѣлъ отправить черезъ васъ. (Еслибъ только онъ былъ въ Петербургѣ и вы переговорили съ нимъ лично! это

лучше бы было; но братъ уже писалъ мнѣ, что Эд. Ив. въ Ригѣ). И потому, другъ мой, посоветуйте мнѣ что нибудь. На васъ очень надѣюсь и надѣюсь, что вы меня не покинете, особенно, если Эд. Ив. скоро пріѣдетъ. Не знаю, когда писать. Какъ вы думаете? Скажите мнѣ что нибудь и я вашему совѣту вполнѣ послѣдую.

Теперь о другомъ дѣлѣ: у меня много вашихъ книгъ, которыя я привезъ изъ Сибири съ собою. 2 пакета вашей домашней переписки и вашъ коверъ. Все это надо къ вамъ отправить. Я надѣюсь, что вы уже получили нѣкоторыя изъ книгъ, которыя я вамъ отправилъ, еще два года назадъ (*съ Семеновымъ, членомъ Географическаго общества*)—именно сочиненія Симашко. Книги ваши довольно хорошия. Напишите же объ нихъ распоряженія.

Ну, теперь покажѣтесь довольно. Дѣло за вами. Напишите мнѣ что нибудь, голубчикъ мой, бездѣнный мой. Я такъ радъ былъ, когда братъ написалъ, что вы зашли къ нему. Я только что поручилъ брату розыскивать васъ въ Петербургѣ всѣми средствами. Мы, съ Марьей Дмитриевной, всѣ три года васъ такъ часто вспоминали и съ великимъ удовольствіемъ. Она очень желала бы васъ видѣть. Все хвораетъ. Прощайте же — обнимаю васъ.

Вашъ Достоевскій.

Здѣсь такой скверный, неисправный и гадкій почтальтъ, что я даже хотѣлъ застраховать это письмо. Но можетъ быть и такъ пойдетъ. Мнѣ по три дня задерживаютъ письма. Братъ написалъ отъ 16 и вдругъ пересталъ писать, а теперь уже 22-ое. Что съ нимъ? Не боленъ ли? Я съ нетерпѣніемъ жду его письма и тревожусь.

Тверь, 4 октября 1859 г.

Бездѣнный другъ мой, Александръ Егоровичъ, милое письмо ваше я получилъ назадъ тому дня три, хотѣлъ отвѣчать тотчасъ же, но задержало письмо къ Эдуарду Ивановичу, да и другія дѣла. И потому спѣшу написать теперь. Во 1-хъ дѣла. Прилагаю тутъ же письмо къ Эдуарду Ивановичу. Прочтите его, запечатайте, надпишите адресъ и передайте Эдуарду Ивановичу, если возможно, лично. Надѣюсь на васъ во всемъ. Поддержите меня и попросите его за меня. Мое положеніе въ Твери прегадко. Я здѣсь сдѣлалъ знакомство, между прочимъ съ графомъ Барановымъ (губернаторомъ). Графиня прекрасная женщина (Васильчикова

урожденная), которую я встрѣчалъ еще дѣвухой въ Петербургѣ, у ихъ родственника Соллогуба, о чемъ она мнѣ сама первая напомнила. Она мнѣ и тогда очень нравилась. Но, не смотря на всѣ эти знакомства, мнѣ здѣсь невыносимо. Все, что я писалъ Эдуарду Ивановичу — справедливо до послѣдней точки. Я страдаю и нравственно, и физически, да и дѣла мои въ запущеніи... И потому, бездѣльный мой Александръ Егоровичъ, на васъ надежда моя. Увѣдомьте меня ради Бога, когда передадите письмо, какъ его принялъ и что сказалъ Эдуардъ Ивановичъ.

То, что вы остаетесь зиму въ Петербургѣ, меня чрезвычайно обрадовало. Дѣйствительно будетъ время поговорить и вспомнить прошедшее. И настанетъ-же, наконецъ, это время, не все же мнѣ маяться? Извѣстіе, что Х. готова *опять начать*, меня нѣсколько беспокоитъ. Ради Бога будьте осторожныѣе. Кромѣ худаго, кромѣ новыхъ цѣпей, — ничего быть не можетъ. Да и не возвратится то, что уже давно прошло. Эта женщина должна бы знать это. Да, наконецъ, и лѣта ея. Конечно ей вся выгода васъ опять заманить, но не вамъ. — Пишете вы мнѣ о другой особѣ и о тяжелыхъ обстоятельствахъ. То что вы говорите дѣйствительно не радостно. Желалъ бы я это знать въ подробности, только ужъ, разумѣется, не на письмѣ. На письмѣ ничего не выйдетъ. Сколько я ни размышлялъ о васъ, голубчикъ мой, на дняхъ, мнѣ все кажется, что вы точь въ точь остались такой же, какъ и были, т. е. сердцемъ. Это и хорошо, а отчасти и дурно. Я такъ радъ былъ за васъ, два года назадъ, когда вы ушли путешествовать; я думалъ, что вамъ это поможетъ, переродитъ васъ. Очень радъ, что съ отцомъ у васъ лучше дѣла. Знаете-ли, что это почти главное, и что этимъ очень, очень нужно дорожить. Вы пишете, что вамъ нужно устроиться. Но неужели эти дѣла еще не рѣшены у васъ съ отцомъ? Боже мой, какое же однакожь ваше положеніе! Разрѣшить его необходимо, но какъ можно мягче. Вотъ мое мнѣніе. Впрочемъ, объ этомъ много поговоримъ, и поговоримъ душа въ душу. Вы правы, говоря о моей дружбѣ. Никто никогда не желалъ вамъ столько добра, сколько я. — Что ваши сестры? У меня два толстыхъ и не запечатанныхъ пакета вашей домашней переписки. Разумѣется я ничего не читалъ. Если мнѣ позволятъ пріѣхать въ Петербургъ, то первоначально я пріѣду одинъ, безъ жены и остановлюсь у брата. Пробуду въ Петербургѣ съ недѣлю. Найму квартиру, все устрою, и тогда уже отправлюсь за женой и за Пашей, котораго надо пристроить. Напишите, куда бы пристроить мальчика, но такъ, чтобъ получше, гдѣ легче, гдѣ возможно и скорѣе? Дайте мнѣ совѣтъ. А пророс: знакомы ли вы съ Петромъ Петровичемъ Семеновымъ, который былъ у насъ въ Сибири, послѣ васъ, — мой превосходный знакомый.

Это прекрасный человекъ, а прекрасныхъ людей надо искать. Если знакомы, то передайте ему мой поклонъ и расскажите ему обо мнѣ. — Марья Дмитриевна вамъ очень кланяется. Я уже писалъ вамъ, что она очень часто васъ вспоминаетъ. Вашъ портретъ постоянно у насъ на столѣ. Прощайте, бездѣвный мой, посѣщайте брата. Обнимаю васъ. Помните вашего друга — пишите.

Ф. Достоевскій.

Тверь, 1 октября 1859 г.

Дорогой мой Миша, письмо твое я получилъ вчера уже послѣ того, какъ отправилъ тебѣ мое, съ упреками. Дѣло въ томъ, мой другъ, что я совершенно упалъ духомъ, не получая отъ тебя ничего. И потому умоляю тебя и впредь, если даже и нечего писать, — напиши просто, что нечего и не оставляй меня въ тревогѣ, которая еще болѣе увеличиваетъ скверность и безнадежность моего положенія. Надѣюсь, ты на меня и на мое письмо не сердись. Не сердись, голубчикъ, и пиши ко мнѣ чаще.

Признаюсь, твое письмо меня удивило. Что же Некрасовъ? Ужъ не чванятся ли они? А можетъ просто еще не читалъ. Я слышалъ, что Некрасовъ страшно играетъ въ карты. Панаеву тоже не до журнала и не будь Чернышевскаго и Добролюбова — у нихъ бы все рушилось. Ты говоришь, что нужно подождать и что это даже деликатнѣе. Но, другъ мой, уже довольно ждали. И потому поѣзжай пожалуйста (я тебя убѣдительно прошу) самъ къ Некрасову, постарайся застать его дома (это главное) и лично поговори съ нимъ объ участи, которую они готовятъ роману. Главное узнай — на три или на двѣ книжки они берутъ романъ, какія именно ихъ замѣчанія о романѣ, — и, поговоривъ объ этомъ, уже подъ конецъ, можно упомянуть и о деньгахъ. Сдѣлай это ради Христа и вытяни отъ нихъ послѣднее слово. А не поѣдешь самъ, — можетъ быть никогда не дождешься его къ себѣ, особенно если въ карты играетъ. Надѣюсь на тебя.

Теперь, голубчикъ мой, хочу тебѣ написать о томъ, на что я рѣшился по зрѣломъ соображеніи; я рѣшилъ такъ: начать писать романъ (большой — это уже рѣшено) — пропишу годъ. Спѣшить не желаю. Онъ такъ хорошо скомпоновался, что невозможно поднять на него руку, т. е. спѣшить къ какому нибудь сроку. Хочу писать свободно. Этотъ романъ съ *идеей* и дать мнѣ ходъ. Но чтобъ писать его, — нужно быть обезпеченнымъ. Запродать его впередъ, — это самоубійство. Это значитъ взять

100 или 120, тогда какъ я можетъ быть выторговать бы 150 или 200. Я самъ буду своимъ судьей и, если романъ удастся, — самъ положу цѣну. А потому нужно не запродавать впередъ и писать будучи обеспеченнымъ. Но вопросъ: гдѣ взять денегъ, чтобъ обезпечить себя, по крайней мѣрѣ, на годъ? Сообразивъ серьезно, — я *рѣшилъ неотменно* издать прежнія свои сочиненія, и издать самому, а не продавать ихъ, — развѣ дали бы очень много, но очень много не дадутъ. Слушай: положимъ, что сочиненія пойдутъ медленно. Но для меня это ничего не значить. Мнѣ нужно 120 или 150 въ мѣсяць. Только бы это выбрать, слѣд. они будутъ кормить меня. Ты спросишь: гдѣ взять денегъ на изданіе? Вотъ, что я придумалъ: въ 1-хъ издать не вдругъ, а книгу за книгой. Всего три книги. Въ 1-й: „Бѣдные люди“, „Неточка Незванова“ — 2 части, „Бѣлыя ночи“, „Дѣтская сказка“, „Елка и свадьба“, „Честный воръ“ (передѣлать), „Ревнивый мужъ“. Всего около 23 листовъ убористой печати. 2-я часть: „Двойникъ“ (совершенно передѣланный) и „Дядюшкинъ сонъ“. 3-я часть: „Село Степанчиково“. 1-я часть я думаю *разойдется* довольно скоро. Но надо поисправить. „Бѣдные люди“ безъ перемѣны со 2-го изданія, а остальное все въ 1-й части надо бы слегка поисправить. Для этого буду просить тебя помочь мнѣ, именно: достать всѣ эти остальныя повѣсти 1-й части, нѣкоторыя, какъ „Неточка Незванова“, можетъ быть, есть у тебя, а остальныя поищи, и поищи поскорѣй, не медля, у Майкова, Милюкова и проч. Поклонись имъ отъ меня и попроси убѣдительно: не дадутъ ли выдрать изъ книгъ эти повѣсти. Если дадутъ, — пришли ихъ ко мнѣ какъ можно скорѣе, я поправлю на печатномъ, и, не задерживая, отошлю къ тебѣ. Если къ концу октября мы это все обдѣлаемъ, и всѣ эти повѣсти уже будутъ у тебя исправленныя, то 1-го ноября можно будетъ отдать въ цензуру. Положимъ цензура продержитъ до 1-го декабря. Тогда съ 1-го декабря печатать 1-й томъ. Гдѣ взять денегъ? А вотъ какъ: опять тебѣ поклонъ: возьми нужное количество бумаги для 1-ой части у купца и дай отъ себя векселя на 6 мѣсяцевъ или даже раньше. Дѣло въ 300 рубльхъ или немного больше. Клянусь, Миша, дорогой мой, я заплачу по векселю, который ты теперь дашь (за меня). Если не пойдетъ книга и не окунитъ даже бумагу, то изъ подъ земли достану денегъ, и къ сроку выкуплю вексель. На тебя ничего не падеть. Что же касается до типографіи, то если нельзя и тутъ по векселю, то половину денегъ за типографію дамъ я, а другую займу у кого нибудь (нельзя ли у Сашеньки?).

Такимъ образомъ печатанье можетъ окончиться въ январѣ, въ половинѣ, — и въ продажу! Я увѣренъ, что 1-й томикъ произведетъ нѣкото-

рый эффектъ. Во 1-хъ, собрано лучшее; во вторыхъ, я напому о себѣ, въ 3-хъ и мя интересное; въ 4-хъ, если романъ въ „Современникѣ“ удастся, то и это пойдетъ. Между тѣмъ къ половинѣ декабря я пришлю тебѣ (или привезу самъ) исправленнаго „Двойника“. Повѣрь, братъ, что это исправленіе, снабженное предисловіемъ, будетъ стоить *новаго романа*. Они увидятъ наконецъ — что такое „Двойникъ“! Я надѣюсь слишкомъ даже заинтересовать. Однимъ словомъ, я вызываю всѣхъ на бой. (И, наконецъ, если я теперь не поправлю „Двойника“, то когда же я его поправлю? Зачѣмъ мнѣ терять превосходную идею, величайшій типъ, по своей социальной важности, который я первый открылъ и котораго я былъ провозвѣстникомъ?)

Въ декабрѣ же — въ цензуру „Двойника“ и „Дядюшкинъ сонъ“. Въ январѣ печатать, а къ концу февраля 2-ой томъ выходитъ въ свѣтъ, а за нимъ, почти вѣсть, можно и 3-й — „Степанчиково“. Деньги — или въ долгъ, или 1-й томъ окупить. Наконецъ, послѣдніе два тома (по успѣху 1-го) можно даже въ крайнемъ случаѣ и продать. Окуплю изданіе, а до тѣхъ поръ живу деньгами „Современника“, а потомъ, по окупкѣ изданія, хоть и медленно будетъ идти, но мнѣ все равно: ибо на кормъ мой и медленной продажи достанетъ, а я тѣмъ временемъ съ самаго декабря, серьезно сажусь за большой романъ (который, увы, черезъ годъ, произведетъ эффектъ, что можетъ увлечь за собою и остальные экземпляры „Собранія сочиненій“). — И потому теперь 1-й шагъ: тотчасъ же отвѣчай мнѣ твое мнѣніе и немедленно, по возможности, вышлай экземпляры повѣстей 1-го тома для поправки.

Другъ мой, если ты замедлишь отвѣтомъ, то знай, что мое время пропадетъ даромъ. Я ничего не буду дѣлать (и не въ состояніи дѣлать) до окончательнаго разрѣшенія, т. е. одобришь ты или нѣтъ и станешь-ли мнѣ помогать? — отвѣчай ради Бога скорѣе.

Майковъ не былъ, отъ Врангеля получилъ письмо. Головинскій здѣсь и познакомилъ меня разомъ со всѣмъ здѣшнимъ обществомъ. Я не намѣренъ слишкомъ поддерживать со всѣми, но съ другими невозможно. Въ провинціи нигуда не спрячешься. Это мнѣ отчасти и въ тягость. Два — три человѣка есть хорошихъ. Я очень хорошо познакомился съ Барановымъ и съ графиней. Она меня нѣсколько разъ *убѣдительноше* приглашала бывать у нихъ за-просто, по вечерамъ. Невозможно не бывать у нихъ. Она оказалась уже отчасти мнѣ знакомою. Лѣтъ 12 назадъ Соллогубъ представилъ меня ей (она его кузина), тогда еще дѣвушкѣ, Васильчиковой. Марья Дмитріевна кланяется. Я обнимаю тебя отъ всего сердца и всѣми силами радъ бы вырваться изъ Твери. Въ Твери мнѣ теперь бу-

дуть мѣшать писать. Ради Бога, голубчикъ мой, отвѣчай. Прощай, вѣрѣю палую тебя. Всѣмъ кланяйся. Береги здоровье какъ драгоценность. Эмилии Федоровнѣ, Колѣ, Сашѣ—поклоны. Пиши чаще. А деньги бы нужны отъ Некрасова. Во 1-хъ тебѣ, а во 2-хъ мнѣ.

Тверь, 11 октября 1859 г.

Добрѣйшій мой Миша, получилъ твое письмо отъ 9-го октября и сейчасъ же отвѣчаю. Очень беспокоюсь: получилъ-ли ты мое письмо (большое, на 2-хъ листахъ)? Вчера долженъ былъ получить. Я его писалъ 9-го. По штемпелю на твоёмъ письмѣ значится, что оно пошло изъ Петербурга 10-го. Впрочемъ, зачѣмъ терять надежду; надѣюсь, что получилъ, и потому знаешь, что я не разсердился и что не было и тѣни подобнаго вздора. На тебя-ли я разсержусь, голубчикъ ты мой? Но къ дѣлу:

Ты ужъ знаешь изъ большаго письма всѣ мои надежды и инструкціи. Теперь дѣло затѣвается съ Краевскимъ. Штука важная. Ты спрашиваешь о цѣнѣ, и вотъ тебѣ на этотъ счетъ послѣднее слово: 120 съ листа, обыкновеннаго крупнаго журнальнаго шрифта, которыми печатаются повѣсти, — и ни копѣйки меньше. Если же *en bloc*—другое дѣло. Въ такомъ случаѣ я уполномочиваю тебя продать Краевскому за 1700 и ни копѣйки меньше, да и то если, по крайней мѣрѣ, 1,000 руб. дастъ *тотчасъ-же*, т. е. на этихъ дняхъ. (Надо бы спрашивать и настаивать на всѣ 1,700 впередъ т. е. такъ: рукопись въ руки—деньги въ руки. На счетъ цензуры не можетъ быть и тѣни сомнѣнія; ни одной запятой не вычеркнуть). Если Краевскій напечатаетъ *непретѣнно* въ этомъ году, то можно взять только 1,000 впередъ, а 700 при напечатаніи. Если-же въ началѣ будущаго года, то 1,700 *сейчасъ* и *ни копѣйки меньше*.

Объясни ради Бога Краевскому, что если по 120 съ листа, то за 15 листовъ придется 1,800, слѣдовательно я теряю 100. А вѣдь я *наотрѣно* полагаю, что будетъ еще болѣе пятнадцати листовъ. Слѣд. ему вся выгода купить за 1,700.

Если „Свѣточъ“ даетъ 2,500—(за Степанчиково), то, *разумеется*, отдать. Чтò же можетъ быть лучше! Пусть у нихъ ни одного подписчика, за то 2,500 и въ мнѣніи другихъ журналовъ утвердится цѣнность моихъ сочиненій, т. е. стыдно будетъ дать меньше 2,000 или 1,800 за такую вещь, за которую я сейчасъ же, не думавши, могу взять 2,500. Къ тому же у меня, въ будущемъ году, еще двѣ вещи могутъ быть напечатаны: *Мерт-*

вый Домъ и *Первый эпизодъ большого романа*. Это пойдетъ въ Современникъ. Небось тогда не упустятъ, да я и отдамъ-то съ рекомендаціей. Что же касается до *Мертвого Дома*, то вѣдь у нихъ не бараньи головы. Вѣдь они понимаютъ, какое любопытство можетъ возбудить такая статья въ первыхъ (январскихъ) номерахъ журнала. Если дадутъ 200 съ листа, то напечатаю въ журналъ. А нѣтъ, такъ и не надо. Не думай, милнй Миша, что я задралъ носъ, или хвалюсь съ моимъ „Мертвымъ Домомъ“, что прошу 200? Совсѣмъ нѣтъ; но я очень хорошо понимаю любопытство и значеніе статьи, и своего терять не хочу.

Этой статьей, да еще будущимъ романомъ (если о немъ ловко говорить заранѣ, теперь, что вотъ, дескать, пишется) можно заткнуть глотку *От. Запискамъ* и „Современнику“, чтобъ не ругались въ журналахъ за то, что не уступилъ я имъ Степанчиковъ (въ надеждѣ имѣть будущаго сотрудника). А что у „Свѣточа“ читателей мало,—такъ это вздоръ. Мнѣ же лучше. Когда издамъ отдѣльно, тогда романъ будетъ имѣть видъ новости. Встати о Степанчиковѣ. Я писалъ Плещееву, чтобъ онъ узналъ *навѣрно*: почему именно „Русскій Вѣстникъ“, возвратилъ мнѣ рукопись, и получилъ отвѣтъ, что онъ узнавалъ и *навѣрно* знаетъ, что они испугались 100 съ листа, что Катковъ бы и далъ, но что всѣмъ журналомъ управляетъ Леонтьевъ и держитъ Каткова въ рукахъ, и что это такіе скряги, которыхъ и на свѣтѣ не было. Про романъ же они говорятъ, что отъ начала они были просто въ восторгѣ, но что конецъ, по ихъ мнѣнію, слабъ и что вообще романъ требуетъ сокращеній.

Наконецъ, заключу однимъ *главнѣйшимъ замѣчаніемъ*, которое я и забылъ въ прошломъ (большомъ) письмѣ. Именно: если Некрасовъ станетъ торговаться и будетъ *резонить*, то, во всякомъ случаѣ, преимущество ему.—Какъ жаль, какъ мнѣ крайне жаль, что онъ не засталъ тебя дома! Тогда бы мы знали его мысли навѣрно. Нельзя-ли, голубчикъ мой, *какъ нибудь* увидать его поскорѣе? Видишь-ли: очень важно то, что романъ будетъ напечатанъ въ „Современникѣ“. Этотъ журналъ прежде гналъ меня, а теперь самъ хлопочетъ о моей статьѣ. Для литературнаго моего значенія это очень важно. 2) Некрасовъ, возвратившій тебѣ рукопись *и пришедшій опять за ней* и (если-бъ такъ было), наконецъ, вошедшій въ резонъ, всѣми этими продѣлками придаетъ чрезвычайное значеніе роману. Значить романъ не дурень, если изъ-за него такъ хлопочать и торгуются. Мимоходомъ скажи Некрасову откровенно мнѣніе „Русскаго Вѣстника“ о романѣ (и про Леонтьева, и назови его скрягой); прибавь Некрасову, что я самъ очень хорошо знаю недостатки своего романа, но что мнѣ кажется, что и въ моемъ романѣ есть нѣсколько хорошихъ страницъ. Скажи

этими словами, потому что действительно таково мое мнѣніе. Да не худо это-же сказать и Краевскому. Говори имъ откровеннѣе. Откровенность—сила.

НВ. Теперь я заваленъ дѣлами. Писать начну („Мертвый Домъ“) послѣ 15-го. У меня болятъ глаза, заниматься рѣшительно не могу при свѣчахъ; прощай, мой голубчикъ, обнимаю тебя. Пиши мнѣ. Постарайся видѣть Некрасова. Присылай старія сочиненія для переправки. Поговори съ книгопродавцами. Я думаю, лучше всего издать во 2-мъ видѣ. Прощай, голубчикъ мой, благодарю тебя за всѣ старанія. Пиши.

Тверь, 20-го октября 1859 г.

На этотъ разъ пишу тебѣ только два слова, безцѣнный мой Миша. Письмо твое отъ 17-го октября я получилъ, а послылки твоей еще не получалъ, даже повѣстки изъ почтамта не получалъ. Нашъ почтамтъ чрезвычайно неисправенъ. Впрочемъ, не знаю еще навѣрно, когда пошла послылка изъ Петербурга. Тамъ, можетъ быть, задерживаютъ.

Благодарю тебя, другъ мой, за твое стараніе и за хлопоты при собираніи моихъ сочиненій. Я понимаю, какъ ты стараешься обо мнѣ и чувствую. Когда нибудь отплатю.

Получилъ-ли ты то письмо мое (последнее), гдѣ я прошу тебя съѣздить къ Некрасову и Калиновскому? Вообще, другъ мой, еще разъ умоляю тебя, въ каждомъ письмѣ своемъ увѣдомляй, что „такое-то письмо твое, десять, мною получено“ и т. д. Это важно. Пойми это, да еще умоляю тебя, безцѣнный мой, поступить по моей просьбѣ въ последнемъ письмѣ, т. е. съѣздить и къ Некрасову и къ Калиновскому. Конечно, повергаю все на твое соображеніе. (Могутъ выйти обстоятельства, какихъ я не знаю). Но согласись самъ, что совѣтъ мой довольно основателенъ и что къ этимъ людямъ не худо бы съѣздить.

Краевскій еще въ четвергъ обѣщалъ тебѣ на дняхъ дать знать. Вотъ, ужъ вторникъ. Надо признаться, что они таки тянутъ.

На счетъ Кушелева я, конечно, согласенъ и благодарю васъ обоихъ (тебя и Майкова). 2,000 не худо, но какія же 3 части? Развѣ Степанчиковъ въ 3-й? Но это въ томъ случаѣ, если Краевскій напечатаетъ въ этомъ году. (Настанвай, голубчикъ, чтобъ въ этомъ году).

НВ. Да вотъ еще чтѣ. Помнишь литературныя сужденія полковника Растанева о литературѣ, о журналахъ, объ учепости „Отеч. Записокъ“ и проч.? Непремѣнное условіе: чтобъ ни одной строчки Краевскій не выбра-

сывалъ изъ этого разговора. Миѣннѣ Растанева не можетъ ни унижить, ни обидѣть Краевскаго. Пожалуйста, настой на этомъ. Особенно упомяни.

Деньги твои я получилъ и благодарилъ тебя, ты уже знаешь.

Просьба моя въ Петербургъ отправлена. Жду. Но очень еще долго, можетъ быть, тебя не увижу. Будутъ справки и проч. Такъ я предвижу. Развѣ мѣсяца черезъ два.

Прощай, мой безцѣнный. Обнимаю тебя и цѣлую. Твой братъ, преданный тебѣ.

Д.

Блажися всѣмъ своимъ. Врангель не пишетъ, что съ нимъ? Я послалъ письмо, черезъ него, къ Тотлебену. Не получалъ отвѣта. Недѣли двѣ прошли.

Тверь, 29 октября 1859 г.

Спѣшу написать тебѣ только два слова, голубчикъ мой. Буквально нѣтъ времени. Здѣсь С. Д. Яновскій, и я иду теперь къ нему, въ гостиницу; да на почту еще надо зайти деньги получить. Благодарю тебя за деньги. Но къ дѣлу. Не топите меня живого! Нѣтъ возможности (я убѣдился въ этомъ) кончить раньше 1-ю часть, т. е. не на 12-й главѣ. Ради Христа, спаси меня. Проси, умоляй. Покажи мое письмо Андрею Александровичу. Некрасовъ и тотъ сразу рѣшилъ, что остановиться не на 12-й главѣ значитъ сразу манкировать весь эффектъ. Если остановиться на другой главѣ, то значитъ не иначе, какъ заключить главою „Ваше Превосходительство“, такъ что глава „Мизинчиковъ“ будетъ начинать 2-ю часть. Но вспомни, посуди самъ: возможно-ли это? 12-я глава — единственная, гдѣ можно кончить. Эффектъ пропадетъ. Можно-ли до такой степени идти противъ себя, быть себѣ же врагомъ, портить то, что у себя же въ журналѣ печатано? Проси, умоляй, настаивай ради Христа. Да отвѣчай скорѣе, какъ рѣшили. До твоего отвѣта я буду въ лихорадкѣ.

Ахъ, голубчикъ, какъ бы ты разодолжилъ меня, еслибъ въ корректурѣ своею рукою повнечеркалъ вонъ во 2-й главѣ хоть половину того, что я приписалъ туда, когда ты былъ въ Москвѣ. Плохо я сдѣлалъ этой переправкой. Глава невыносимо скучна и длинна, да еще 1-я.

Прощай. Я немного хвораю (не безпокойся, геморроемъ). Яновскій сегодня увѣзжаетъ. Когда будешь читать письмо это, онъ уже будетъ въ Петербургѣ.

P. S. О моей просьбѣ ничего не слышно. Нѣтъ отвѣта. Получилъ письмо отъ Врангеля.

Къ Александру Егоровичу Врангелю изъ Твери.

Тверь. 31-го октября 1859 г.

Благодарю васъ отъ всей души, добрый другъ мой, за всѣ ваши старанія обо мнѣ. Поблагодарите за меня тоже Эдуарда Ивановича. Я бы ему самъ написалъ; но все думаю, что, можетъ быть, скоро буду въ Петербургѣ и тогда ужъ лично буду у него. А между тѣмъ, не смотря на мои надежды, я не знаю, чтѣ и придумать. Рѣшительно, какъ повѣшенный между небомъ и землею. Вы знаете, что я написалъ прямо къ Государю, и что письмо мое отослано здѣшнимъ губернаторомъ г. Барановымъ Адлербергу, который передастъ его Государю Императору лично. Вотъ ужъ 12 дней какъ пошло письмо. Не знаю и не слыхалъ ничего: было-ли оно показано Государю Императору? Еслибъ было показано, то, можетъ быть, сейчасъ же былъ бы и отвѣтъ; но крайней мѣрѣ гр. Адлербергъ написалъ бы что нибудь о результатѣ подачи письма гр. Баранову, нашему губернатору; а гр. Барановъ мнѣ бы сейчасъ сообщилъ. Но ничего нѣтъ, покажѣсть. Теряюсь въ догадкахъ. Думаю (чтѣ впрочемъ, очень вѣроятно), не отослалъ-ли Его Императорское Величество мое письмо князю Долгорукову, чтобъ спросить его: не существуетъ-ли противъ моей просьбы какихъ нибудь особенныхъ препятствій? (Такъ, мнѣ кажется, и должно идти дѣло; это формальный ходъ). Но такъ какъ противъ меня рѣшительно не можетъ быть никакихъ особыхъ препятствій (это я знаю навѣрно) и такъ какъ князь уже обѣщалъ Эд. Ив.—чу обратить вниманіе на мое дѣло,—то, мнѣ кажется, онъ-бы не могъ задержать его. Неужели станутъ дѣлать у гр. Баранова, какъ у губернатора г. Твери, обо мнѣ справки, то есть о моемъ поведеніи? Не думаю. Вѣдь гр. Адлербергъ подастъ письмо отъ имени гр. Баранова. Чего же больше? (Значить гр. Барановъ находитъ меня достойнымъ, если самъ за меня хлопочетъ). Къ тому-же, еслибъ были официальные справки, гр. Барановъ, я думаю, увѣдомилъ бы меня объ этомъ и, я бы зналъ. Другъ мой, я знаю, вы меня любите и мнѣ не откажете. Попросилъ бы я васъ; но не знаю о чемъ и просить. Вотъ въ чемъ дѣло: хорошо было бы справиться, но у кого? Безпокоить Эд. Ив.? Спросить черезъ кого нибудь (не слишкомъ оглашая дѣла) у Адлерберга? Справиться у Долгорукаго? — Рѣшительно не

знаю какъ и придумать. Если услышите что нибудь, сообщите ради Бога, умоляю васъ, добрѣйшій Александръ Егоровичъ. Жду не дождусь. Живу точно на станціи. Даромъ теряю время и проигрываю по дѣламъ. А у меня дѣла по продажѣ моихъ сочиненій, т. е. денежные; слѣд. для меня важныя. Я вѣдь этимъ живу. Но, впрочемъ, еще не теряю надежды. Богъ и Государь милостивы... —

Прочелъ съ крайнимъ участіемъ ваше письмо. Чтò это вы мнѣ пишете, дорогой мой, о своемъ сердцѣ, что оно уже не можетъ жить по прежнему? И когда же? Въ 26 лѣтъ. Но развѣ это возможно? Просто вы сами не знаете вашихъ силъ. Выдержавъ два раза сердечную горячку, вы думаете, что истощили все. А впрочемъ это естественно думать. Когда нѣтъ *новало*, такъ и кажется, что совсѣмъ уже умеръ. Такъ и всѣ думаютъ. Но сердце человѣческое живетъ и требуетъ жизни. Ваше тоже требуетъ жизни, — и это-то и есть признакъ его свѣжести и силы. Оно ждетъ и тоскуетъ. Но подождите. Жизнь возьметъ свое, а увѣренъ. Много еще впереди... Какъ, впрочемъ, желалъ-бы я видѣться и поговорить съ вами! О Полонскомъ я слышалъ много хорошаго. Вашего Дм. Волховскаго я здѣсь встрѣчалъ. Но о Львовѣ не имѣю понятія. Чтò за исторія въ Баденѣ? Рѣшительно въ первый разъ слышу. Фу, Боже мой! Сколько прошло съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались! И вы и я прожили и *много прожили*.

Въ Твери мнѣ рѣшительно скучно, хотя тутъ и есть 2—3 человѣка. Книги ваши нѣкоторыя спасены, хотя и поистерлись немного дорогой. А изъ минеральной коллекціи былъ у меня только списокъ (теперь затерянный) и не болѣе 3 или четырехъ штукъ минераловъ. Я ихъ оставилъ въ Семипалатинскѣ. Куда дѣвалась вся коллекція — не знаю. Ягдташъ же вашъ и маленькій кинжалъ (какъ лежавшій въ чемоданѣ), я почелъ своею собственностью, такъ какъ вы мнѣ все подарили, и увѣжая подарилъ въ свою очередь между прочимъ кинжаликъ Валиханову. Ужь за это простите. Валихановъ премилый и презамѣчательный человѣкъ. Онъ, кажется, въ Петербургѣ? Писалъ я вамъ объ немъ? Онъ членъ географическаго общества. Справьтесь тамъ о Валихановѣ, если будетъ время. Я его очень люблю и очень имъ интересуюсь. Прощайте, другъ мой. Обнимаю васъ. Хотѣлъ было написать больше; но спѣшу. Авось увидимся. Дай-то Богъ. Марья Дмитріевна вамъ кланяется.

Вашъ весь Достоевскій.

Тверь. 2 ноября 1859 г.

Безцѣнный другъ мой, Александръ Егоровичъ, письмо мое, на этотъ разъ, *дѣловое* и все объ моихъ дѣлахъ. Къ вамъ же просьбы. Вполнѣ полагаюсь на васъ. Вотъ въ чемъ дѣло: Эд. Ив. прислалъ мнѣ письмо, въ которомъ извѣщаетъ меня, что онъ говорилъ обо мнѣ кн. Долгорукову и генералъ-адъютанту Тимашеву; что оба они изъявили свое согласіе на житье мое въ Петербургѣ, и просятъ, чтобъ я написалъ къ нимъ объ этомъ письма. Съ этой же почтой увѣдомляю Эд. Ивановича и посылаю письма кн. Долгорукову и Тимашеву. Особенно и убѣдительнѣйше прошу васъ, другъ мой, передать немедленно письмо мое Эд. Ив.—чу, сдѣлавъ конвертъ и надпись. Прочтите письмо это внимательно. Я въ большомъ затрудненіи, признаюсь вамъ.—Выбравъ Эд. Ив.—ча моимъ ходатаемъ у кн. Долгорукаго, я вдругъ пишу письмо къ Государю и черезъ гр. Баранова, оно передается Адлербергу для передачи Его Императорскому Величеству (о чемъ уже я васъ увѣдомилъ въ послѣднемъ письмѣ моемъ). Не обидѣлся бы Эд. Ивановичъ. Поймите меня: Эд. И.—чъ благороднѣйшій человѣкъ, и не посмотритъ на мелочи, но меня-то онъ *давно* ужъ не знаетъ лично. Какъ бы не хотѣлось мнѣ, чтобъ онъ подумалъ обо мнѣ дурное! Дурное вотъ въ чемъ: *какъ будто я, не доверяя его стараніямъ и хлопотамъ обо мнѣ, обращаюсь къ другимъ людямъ, ожидая отъ нихъ болѣе, чѣмъ отъ него.* По крайней мѣрѣ, рѣшась на письмо къ Государю, я-бы *долженъ былъ* тотчасъ же объ этомъ увѣдомить Эд. Ив.—ча. Я тогда же чувствовалъ необходимость этого. Но вы уѣхали тогда въ деревню, письма отъ васъ я не имѣлъ и потому не могъ знать: успѣли-ли вы передать мое письмо Эд. Ив.—чу. Безъ увѣдомленія отъ васъ я не рѣшался на другое письмо. Да и черезъ кого-бы я и послалъ другое письмо Эд. Ив.—чу, не зная даже его адреса? Обо всемъ этомъ я ему пишу.—То же обстоятельство, что я какъ будто болѣе доверяю стараніямъ другихъ обо мнѣ, чѣмъ Эд. Ив.—чу, совершенно несправедливо, и я невиноватъ нисколько. Гр. Барановъ — губернаторъ. Князь Долгоруковъ непремѣнно сдѣлалъ-бы ему запросъ обо мнѣ, *какъ губернатору*: благонадеженъ-ли я? — если-бы князя просилъ я о жительствѣ въ Петербургѣ. Изъ этого вышла бы лишняя трата времени. Государю же гр. Барановъ переслалъ письмо мое *отъ своего имени*, какъ губернаторъ, а слѣд. не надо справляться обо мнѣ, если самъ губернаторъ обо мнѣ старается; слѣд. дѣло много могло выиграть времени. Къ тому же въ письмѣ моемъ къ Государю я прошу о помѣщеніи моего пасынка Паши въ гимназію. Марья Дмитриевна убивается за судьбу сына. Ей все кажется, что если я умру, то она оста-

нется съ подростяющимъ сыномъ опять въ такомъ-же горѣ, какъ и послѣ перваго вдовства. Она напугана и хотъ сама не говоритъ мнѣ всего, но я вижу ея безпокойство. А такъ какъ жизнь въ Твери я еще не знаю когда кончится, а Паша не пристроенъ и только теряетъ дорогое время, то я, въ рѣшительную минуту, пустился на крайнюю мѣру и написалъ къ Государю, надѣясь на его милосердіе. Вотъ исторія письма моего. Я разсуждалъ, что если откажутъ въ одномъ, то, можетъ быть, не захотятъ отказать въ другомъ, и если не соизволитъ Государь разрѣшить мнѣ жить въ Петербургѣ, то по крайней мѣрѣ приметъ Пашу, чтобъ не отказывать совершенно.

Другъ мой, я совершенно вѣрю въ благородство и въ ясный взглядъ Эд. Ив—ча; но если вы замѣтите, что онъ недоволенъ тѣмъ, что я его не увѣдомилъ тотчасъ же о письмѣ къ Государю, то защитите меня. Мнѣ слишкомъ больно будетъ, если онъ обвинитъ меня. Отъ вашей дружбы ожидаю всего. Увѣдомьте меня, ради Бога, обо всемъ этомъ подробнѣе. Я вамъ уже писалъ о письмѣ моемъ черезъ Адлерберга. Отъ Адлерберга нѣтъ еще никакихъ извѣстій Баранову, — и я недоумѣваю, что это значитъ? Вѣроятно графъ Адлербергъ медлитъ передачею. Что будетъ, — не знаю! Одна надежда: на Государево милосердіе и на добрыхъ людей.

Не знаю, когда обниму васъ, дорогой мой. Простите за безпрерывныя просьбы и порученія. Но скоро, можетъ быть, все кончится и кончится къ лучшему.

Въ этотъ разъ ничего не пишу болѣе: надо заготовить къ завтрашнему письму кн. Долгорукову и Тимашеву. Работы ужасъ. Прощайте, обнимаю васъ крѣпко и, повторяю, надѣюсь на всю вашу дружбу ко мнѣ.

Вашъ неизмѣнный

Федоръ Достоевскій.

Тверь. 19 ноября 1859 г.

Дорогой другъ мой, Александръ Егоровичъ, спѣшу писать къ вамъ. Разныя обстоятельства рѣшительно задержали меня отвѣчать вамъ раньше. Да и теперь беру перо, чтобъ опять писать о дѣлахъ. Когда-то они кончатся, и когда-то я обниму васъ всѣхъ, моихъ милыхъ. Я опять къ вамъ съ просьбой и дай Богъ, чтобъ это была послѣдняя! Измучилъ я васъ этими просьбами. Но вы всегда для меня были братомъ. Не откажите и теперь.

Вотъ въ чемъ дѣло: вы пишете, для чего я, имѣя согласіе отъ Дол-

горукова и Тимашева на водвореніе мое въ Петербургъ, не ѣду къ вамъ. То-то и бѣда, другъ мой, что нельзя; ибо дѣло теперь у Государя. Самъ же я писалъ къ Нему и теперь уже Онъ рѣшитъ. Я, было, думалъ пріѣхать на нѣкоторое время; потому что если Долгорукій согласенъ *даже на окончательный мой переездъ въ Петербургъ*, то уже не будетъ сердиться, если я, въ ожиданіи окончательнаго рѣшенія, пріѣду въ Петербургъ на нѣсколько дней. Я, было, и рѣшился ѣхать и сказалъ объ этомъ гр. Баранову. Но тотъ мнѣ отсовѣтовалъ, боясь, чтобъ я не повредилъ себѣ, самовольно воспользовавшись правомъ, о которомъ еще такъ недавно просилъ и до сихъ поръ не получилъ отвѣта. Согласитесь сами, другъ мой, что не могу же я ѣхать, если Баранову этого не хочется. А не сказавшись ему, я не могъ уѣхать. Онъ переслалъ мое письмо къ Государю (черезъ Адлерберга) и просилъ вручить его отъ *своего имени*, слѣд. ручался за меня, какъ губернаторъ; а потому, еслибъ я поѣхалъ тихонько отъ него, было-бы съ моей стороны не деликатно. И потому вотъ что я придумалъ и что графъ самъ мнѣ посовѣтовалъ. Именно: написать кн. Долгорукому письмо, въ которомъ я прошусь на временный пріѣздъ въ Петербургъ, въ ожиданіи окончательнаго рѣшенія по первой просьбѣ моей, т. е. объ окончательномъ водвореніи моемъ въ Петербургъ. Это письмо Долгорукому я уже написалъ и отсылаю сегодня же. Причину, по которой я прошусь въ Петербургъ, я выставляю денежныя мои обстоятельства; т. е. что намѣренъ издать выборъ изъ прежнихъ моихъ сочиненій, что долженъ сыскать себѣ издателя, т. е. покушника, и сдѣлать это непременно лично. Ибо, дѣйствуя заочно много могу потерять, что уже и случалось со мной не разъ; а всякая потеря, въ настоящемъ крайнемъ положеніи моемъ, для меня очень значительна. (Все это справедливо и истинно; я хочу посовѣтоваться съ Кушелевымъ. Онъ издаетъ и можетъ за мои сочиненія заплатить мнѣ порядочно. Да къ тому-же у меня съ нимъ еще счеты по журналу, и объ этомъ надо поговорить лично. Вотъ почему я поставилъ эту причину въ письмѣ къ Долгорукому, разумѣется, не упоминая о Кушелевѣ). Какъ вы думаете теперь, дорогой мой? Если согласенъ былъ князь Долгорукій даже на водвореніе мое въ Петербургъ, неужели откажетъ, въ ожиданіи окончательнаго рѣшенія, позволить мнѣ пріѣхать на малое время? Думаю, что нѣтъ; но *могутъ протянуть отвѣтъ*. Вотъ поэтому-то и просьба къ вамъ слѣдующая:

Если можно, дорогой мой, увѣдомьте Эдуарда Ивановича о томъ, что я сегодня, 19-го числа послалъ письмо къ Долгорукому съ этой просьбой и увѣдомьте, по возможности, немедленно. Я бы самъ написалъ Эду-

арду Ивановичу; но боюсь, что я уже слишком безпокою. Вы — мой братъ и другъ; съ вами я не церемонюсь; мы связаны старыми, хорошими воспоминаніями. А Эдуардъ Ивановичъ, только по крайней добротѣ своей и по благородству своему обо мнѣ заботится. Такъ боюсь, такъ боюсь обезпокоить его черезчуръ! Онъ такъ со мной былъ деликатенъ, что и мнѣ надо быть съ нимъ деликатнымъ. Съ другой стороны я понимаю и его положеніе. Кто знаетъ, въ какихъ отношеніяхъ онъ находится ко всѣмъ этимъ лицамъ. Можетъ быть, ему тяжело просить ихъ о чемъ нибудь. А потому *главнѣйшая черта, духъ и смыслъ* моей просьбы къ вамъ: съѣздите (если только вамъ возможно) къ Эдуарду Ивановичу и посмотрите со всѣмъ вниманіемъ, призвавъ на помощь всю деликатность вашего сердца, — какъ бы могъ принять Эдуардъ Ивановичъ эту новую просьбу мою? Если увидите, что она его не отяготитъ, то скажите ему все. Именно: расскажите въ чемъ дѣло, что 19-го ноября я послалъ письмо къ Долгорукому съ такой-то просьбой и что нельзя ли поддержать это письмо мое къ Долгорукому, своимъ ходатайствомъ у него за меня. Если онъ скажетъ, что можно, то скажите ему, что мнѣ прямо совѣстно было написать ему объ этомъ, скажите ему всю правду. Если же вы сами найдете, что я уже слишкомъ безпокою его, — если найдете это, даже еще не ѣздя къ нему, то ужъ и не ѣздите совсѣмъ. Все на ваше усмотрѣніе, другъ мой, а на расположеніе ваше ко мнѣ я полагаюсь. Просьба-то, видите ли, роковая! Могутъ отказать, могутъ не отвѣтить и, наконецъ, могутъ затануть дѣло; могутъ, наконецъ, и очень скоро отвѣтить, но отказомъ. И потому, чтобъ не потерять время! Впрочемъ, все на ваше усмотрѣніе. Кланяйтесь Эд. Ив. и благодарите его отъ меня. На этотъ разъ прощайте, голубчикъ мой. Не пишу вамъ больше ничего. Скоро, можетъ быть, увидимся. Даже брату не отвѣчаю сегодня, — такъ *горююсь*.

Вашъ Ѡ. Достоевскій.

КЪ БРАТУ АНДРЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ.

С.-Петербургъ, 6-го іюня 1862 г.

Любезный и незабвенный другъ и братъ мой, милый Андрюша, прости голубчикъ, за то, что такъ долго, такъ долго не писалъ тебѣ. Не вини меня; я человекъ больной, постоянно больной, а дѣла въ послѣднее время навалили на себя столько, что едва расхлебать. Не съ моими силами

братъ на себя столько. Но, слава Богу: дѣло у насъ удалось, зато здоровье мое до того разстроилось, что теперь (именно завтра) уѣзжаю за границу до сентября лечиться. У меня падухая, а сверхъ того много другихъ мелкихъ недуговъ, развившихся въ Петербургѣ. Не сердись же. Вспомни то, что мнѣ всѣ причины тебя любить и уважать и ни одной — забыть тебя. И потому молчаніе мое прими хоть за скверное нерадѣніе съ моей стороны, но не сомнѣвайся въ томъ, что хоть я и лѣнивъ, а все-таки люблю и уважаю тебя очень. Я помню, дорогой ты мой, помню, когда мы встрѣтились съ тобой (последній разъ кажется), въ знаменитой Бѣлой залѣ. Тебѣ тогда одно только слово стоило сказать кому слѣдуетъ и ты немедленно былъ бы освобожденъ, какъ взятый по ошибкѣ вмѣсто старшаго брата. Но ты послушался моихъ представленій и просьбъ: ты великодушно вникнулъ, что братъ въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, что жена его только что родила и не оправилась еще отъ болѣзни, — вникнулъ въ это и остался въ тюрьмѣ, чтобъ дать брату приготовить къ тому жену и по возможности обезпечить ее на отсутствіе можетъ быть долгое: хоть онъ и зналъ тогда, что онъ правъ и кончить тѣмъ, что его освободятъ, но когда и какъ обернется дѣло, онъ не могъ предугадывать. А если такъ, если ты ужъ такъ разъ поступилъ, такъ великодушно и честно, — стало быть и я не могъ забыть тебя и не вспоминать о тебѣ какъ о честномъ и добромъ человѣкѣ. А ты сверхъ того доказалъ, что и любишь меня. Ты писалъ мнѣ въ Семипалатинскъ, и даже помогалъ мнѣ. Жена твоя тоже привѣтствовала меня какъ брата. Я этого не могу забыть. Вѣрьте же оба, и ты и добрая, уважаемая мною жена твоя, что я вамъ преданъ и очень люблю, а, главное, не сомнѣвайся во мнѣ и на будущее время.

Хоть я и написалъ въ эти два года до ста печатныхъ листовъ, но, братъ Миша, взявшій на себя всѣ денежныя и редакціонныя заботы о журналѣ, еще болѣе трудился. И потому извини его за молчаніе. У него голова трещитъ отъ заботъ, отъ которыхъ другой давно бы бѣжалъ, или сложилъ руки и тѣмъ вызвалъ бы на себя гибель. Подожди немного: уладятся дѣла наши и мы вѣрно не будемъ такъ чужды другъ другу какъ теперь. Хотя наши дѣла по журналу идутъ неслыханно-хорошо (у насъ на этотъ годъ 4,200 подписчиковъ), но мы надѣлали долговъ за прошлый годъ, и только развѣ третій и четвертый годъ журнала дадутъ намъ спокойствіе и устойчивое положеніе. Вотъ я теперь ѣду (одинъ), оставляю брата, а самъ думаю: какъ-то онъ одинъ безъ меня будетъ? а все-таки былъ ревностный помощникъ.

Ѣду я одинъ. Жена моя остается въ Петербургѣ. Денегъ нѣтъ

чтобы ѣхать вмѣстѣ, да и нельзя ей своего сына (моего пасынка) оставить, который готовится къ экзамену въ гимназію. Всѣ наши сестры здоровы. Братъ Коля кое-какъ ведетъ свои дѣла; даже и очѣнь не худо, хотя бы всетаки желательно было, еслибъ ему побольше повезло. Голеновскій въ отставкѣ и Саша нѣсколько грустна поэтому. Семейство растетъ, а доходу всего-то ихъ домикъ на Петербургской.

Голеновскій вышелъ въ отставку изъ благородной гордости, не могли снести несправедливостей начальника, сильнаго человека, желавшаго опредѣлить на его мѣсто своего родственника. Саша первая оправдываетъ мужа, да и мы всѣ. А между тѣмъ онъ ищетъ теперь мѣста и тяготеетъ своимъ бездѣйствіемъ. Въ этомъ отношеніи у нихъ теперь не совсѣмъ хорошія обстоятельства.

Варинька въ Москвѣ выдала дочь свою замужъ. Вѣрочка живетъ счастливо. Покровскіе здоровы. Я разъ ужъ шесть въ эти два года былъ въ Москвѣ и мнѣ весело было припомнить нашу старину, наше дѣтство.

Данилевскій что-то передавалъ мнѣ про какую-то клевету про тебя, скверную сплетню. Я говорилъ съ Калиновскимъ. Онъ мнѣ и брату написалъ письмо, въ которомъ объясняетъ эти обстоятельства грязными сплетнями мерзкихъ людей, говоритъ, что тебя едва знаетъ и про тебя ничего не могъ говорить дурнаго. Если хочешь, я тебѣ пришлю и это письмо. Отвѣчай мнѣ въ сентябрю; я на этотъ разъ обещаю тебѣ отвѣтить въ скорости.

Обнимаю и цалую тебя. Пожелай мнѣ добраго пути и здоровья. Завтра въ 8 часовъ утра буду уже по дорогѣ въ Берлинъ. Передай полное и искреннее мое уваженіе женѣ твоей; разцалуй своихъ дѣтей и скажи имъ, что у нихъ есть дядя Федя, какъ зовутъ меня всѣ здѣшніе племянники.

Твой братъ, тебя любящій

Ф. Достоевскій.

Приписка Михайла Михайловича:

И я, голубчикъ Андрюша, приписываю тебѣ одну строку, чтобы сказать тебѣ, что помню тебя и люблю по прежнему. Обнимаю тебя братски.

Твой *М. Достоевскій.*

БЪ БРАТУ МИХАЙЛУ МИХАЙЛОВИЧУ ИЗЪ МОСКВЫ.

Москва, 9 февраля 1864 г.

Милый другъ, Миша,—медлилъ тебѣ отвѣчать, потому что дѣйстви-тельно думалъ поминутно ѣхать въ Петербургъ. А между тѣмъ я вотъ ужъ двѣ недѣли все болень и въ послѣднее время все хуже. Было два припадка, но это-бы еще не много, а главное геморой бросился на моче-вой пузырь и таки довольно неприятно. Боюсь, чтобъ не разболѣться. Если не разболѣюсь, то, разумѣется, долженъ буду скоро вылечиться. Тогда тотчасъ-же отправлюсь въ Петербургъ. Теперь-же не рискую; во 1-хъ, немного лечусь, а во 2-хъ, 20 часовъ сидѣть, тогда какъ мнѣ и си-дѣть-то прямо нельзя. Я впрочемъ не лежу, а такъ, — ни спать, ни сѣсть.

Черезъ это работа моя остановилась совершенно. Не можешь пред-ставить, сколько мученій я вытерпѣлъ отъ мысли, что къ 1-мъ книгамъ моего ничего не будетъ. Но нечего дѣлать; надо, наконецъ, въ этомъ сознаться. До самаго сегодня мучилъ себя мыслию, что авось успѣю. Съ одной Тургенева повѣстью выходитъ мало; достань, голубчикъ, хоть что нибудь и не жалкй матеріалу. Я-же къ марту. Не скрою отъ тебя, что и писанье мое худо шло. Повѣсть вдругъ мнѣ начала не правиться. Да и я самъ тамъ сплосалъ. Чтѣ будетъ, не знаю.

Я, можетъ быть, приѣду на будущей недѣлѣ. Все не хотѣлъ и письма писать, въ надеждѣ, что самъ приѣду. Это-же пишу на всякій случай, т. е. на случай если и еще разболѣюсь.

Никогда не прощу себѣ, что раньше не успѣлъ кончить. Вся-то повѣсть дрянъ, да и та не успѣла: это значить записался. И вышло не то. Минутелень я ужасно сталъ.

Трудно тебѣ должно быть, милый, двѣ-то книги разомъ издавать. Здѣсь я слышалъ, что подписка на толстые журналы — мизерная. (Даже „Московск. Вѣдомости“, т. е. газета — ждали себѣ больше. Вообще на журналы). Надо такъ сдѣлать, чтобъ „Эпоха“, въ продолженіи года, взяла рѣшительное первенство между толстыми.

Про себя вотъ чтѣ скажу: отсюда нельзя *сотрудничать* въ Петер-бургъ. Журналъ издается *подождя*, а я далеко; здѣсь я-бы ногъ только повѣсти писать, да и то не сужѣлъ.

Впрочемъ скоро приѣду — это навѣрно, тогда, по крайней мѣрѣ, пере-говоримъ. Если-же заболѣю — увѣдомлю.

Мнѣ-бы хотѣлось выѣхать послѣ завтра или въ среду. Можетъ быть

я такъ и сдѣлаю. Алек. Павл. обнадеживаетъ, что сегодня-завтра пройдетъ у меня. Его-бы устами.

А встати: о деньгахъ по твоему счету онъ мнѣ, въ послѣдній разъ, ни слова не отвѣтилъ.

Если получишь какое-нибудь письмо, не пересылай ко мнѣ до тѣхъ поръ, пока я не напишу.

Марья Дмитриевна *очень* нездорова, и это много задерживаетъ меня въ Москвѣ (т. е. будетъ задерживать).

7-го числа у Вазунова было 40 подписчиковъ. Новыхъ очень мало. Они говорятъ, что и не можетъ быть до выхода книжки. Я тамъ не былъ. Былъ Алек. Павловичъ.

У Черенина тоже есть около 25, кажется такъ.

До свиданія, голубчикъ, обнимаю тебя.

Мнѣ кажется, Паша не долженъ нуждаться. Всѣмъ кланяйся, всѣмъ, а мнѣ пожелай здоровья. Да не пеняй на меня. Болѣзнь и многое что мнѣ помѣшало.

Твой весь Ф. Достоевскій.

У Аксакова за болѣзнію давно не былъ. Островскаго тоже не видѣлъ.

Москва, 29 февраля.

Любезный братъ, Миша, вчера я благополучно прибылъ въ Москву, и хоть дорогой мало терпѣлъ, но зато вчера, здѣсь, вынесъ много, точно тѣми-же болями, какъ и въ Петербургѣ, во время самаго тяжелаго періода болѣзни. Но я надѣюсь, что это пройдетъ и скоро, слѣд. объ этомъ и говорить больше нечего.—Какъ у васъ теперь въ домѣ? Всю дорогу мнѣ все это случившееся представлялось и мучило меня ужасно. Варю мучительно было жаль, здѣсь всѣ, какъ узнали, очень жалѣли. Марья Дмитриевна плакала и даже хотѣла было написать Эмилиі Федоровнѣ, но раздумала. Тѣмъ не менѣе ей очень, очень ея жалко и это вполнѣ искренно. Дай Богъ только, чтобъ у васъ остальное-то все шло порядкомъ и хоть-бы этимъ сколько нибудь утѣшило. Главное—здоровье, а во вторыхъ дѣла. Береги свое здоровье. Не торонись очень и не выѣзжай, если чувствуешь себя не совсѣмъ здоровымъ. На счетъ-же книги—такъ хоть если-бы она вышла и въ концѣ марта—не бѣда. Было-бы хорошо. Вчера я видѣлъ „Современникъ“ 1-й номеръ; критики много, и вообще тѣхъ статей, гдѣ выражается мнѣніе журнала. А литература подгуляла. Вотъ что мнѣ

пришло въ голову: какъ-бы завести въ „Эпохѣ“ прежній отдѣлъ, бывшій въ старину въ журналахъ — „Литературной лѣтописи“. Тутъ вовсе даже не надо статей. Тутъ только перечень всѣхъ книгъ и переводовъ, явившихся за прошлый мѣсяць, но зато *естяхъ* безъ исключенія. Изъ-за убѣжденія, бывшаго въ свое время, что вся литература сосредоточилась въ журналахъ, перестали обращать вниманіе на появляющіяся книги. Прежде это было справедливо, но теперь не такъ, потому что много книгъ появляется, а публика должна непремѣнно слѣдить по газетнымъ объявленіямъ, чтобъ знать ихъ названія, но всетаки, и зная названія, не имѣетъ объ нихъ понятія. Тутъ-же о каждой книгѣ надо сказать строкъ шесть, много десять, а иногда и двѣ. (Объ иной ужъ очень любопытной книгѣ можно, разумеется, написать и страницу и двѣ). Весь этотъ отдѣлъ могъ-бы составлять весьма удобно ктонибудь изъ молодыхъ людей, а то напримѣръ и Бибииковъ. Ему нечего дѣлать какъ слѣдить за этимъ. Такимъ образомъ въ одномъ только нашемъ журналѣ и будетъ полный каталогъ, съ необходимѣйшими объясненіями, о вышедшихъ книгахъ. Въ „Современникѣ“ какъ будто ужъ заводится нѣчто подобное. Наконецъ, въ каждые два мѣсяца, можно помѣщать въ журналѣ и обзорнѣе библиографическое другихъ журналовъ, — не прежнія обзоры, гдѣ журналы разбирали другъ друга, а тоже какъ и въ „Литературной лѣтописи“, перечень всѣхъ статей, явившихся за два мѣсяца въ журналахъ и газетахъ, съ отиѣтками противъ нѣкоторыхъ о ихъ достоинствахъ въ двухъ словахъ. Если будутъ соблюдены точность и полнота, то журналъ принимаетъ видъ дѣловитости, видъ серьезно-пекущагося о литературѣ органа. Право-бы не худо; даже и теперь можно. Начать и лѣтопись и журналы съ 1-го января. Какъ ты думаешь.

Видумалъ еще великолѣпную статью на теоретизмъ и фантастизмъ теоретиковъ („Современникъ“). Она не уйдетъ, особенно если они насъ затронутъ. Будетъ не полемика, а дѣло. Съ завтрашняго-же дня сажусь за статью о Костомаровѣ. Черезъ недѣлю увѣдомлю о ходѣ дѣла. Ради Бога отвѣчай мнѣ и извѣсти меня, какъ все идетъ у васъ. Хоть немного напиши, но увѣдомь.

Кланяйся Эмилиі Федоровнѣ, перецалуй дѣтей, Машу и Катю особенно. Колѣ передай мой поклонъ непремѣнно.

Здѣсь оттепель, мокрять. Снѣгъ весь сошелъ.

До свиданія, голубчикъ.

Твой весь Ф. Д.

Николаю Николаевичу и кой-кому другимъ мое почтеніе. Марья Дмитриевна очень слаба.

Москва, 2 апрѣля 1864 г.

Любезный другъ Миша, сейчасъ получилъ твое письмо. Пусть Аверкѣвъ пишетъ статью о Костомаровѣ, если хочетъ и если только *теперь успѣетъ*, но съ подписью имени, не отъ редакціи. Я вѣдь чего боюсь? Только того, что мы какъ нибудь разойдемся въ направленіи. Я вѣдь не историческую статью хочу писать, а по поводу русскихъ историковъ и ихъ знанія своего дѣла. (Не безпкойся, я знаю чтò сказать и достаточно даже специалистъ—не въ исторіи, а въ развитіи нашихъ идей историческихъ въ литературѣ, во взглядахъ нашихъ историковъ (главнѣйшихъ)). Однимъ словомъ, въ грязь лицомъ не шлепнусь, да кромя того тутъ всѣ идеи „Эпохи“ о „почвѣ“ должны быть выражены, не безпкойся). Пусть Аверкѣвъ пишетъ, но очень-бы мнѣ желалось, чтобъ онъ собственно о Костомаровѣ писалъ, а не о спорѣ его съ *Погодинымъ*. Но, впрочемъ, стѣснять нельзя, какъ знаетъ. Я-же мою статью напишу тоже какъ знаю. На счетъ-же того, что время уйдетъ и будетъ *несвоевременно*—то это ничего не значить. Всегда можно прицѣпиться и придать такую литературную форму. Написалъ-же Чернышевскій объ Окружномъ славянофильскомъ посланіи—годъ спустя. Это ничего.

Но вотъ чтò важное, Миша: Что я *наверно* не напишу въ этомъ мѣсяцѣ, и не только этой статьи, но и ничего въ этомъ мѣсяцѣ не напишу въ критику. Ты пишешь о „Замѣткахъ Лѣтописца“. Это превосходная мысль, но отъ меня все будетъ послѣ, а не теперь. Съ лихвой будетъ, а теперь надо подождать. Я теперь пишу повѣсть, да и съ ней горе. Другъ мой, большую часть мѣсяца я былъ боленъ, потомъ поправился и до сихъ поръ еще, по настоящему, порядочно не поправился. Нервы разстроены и силъ до сихъ поръ не собираю. Мученія мои *всяческія* теперь такъ тяжелы, что я и упоминать не хочу о нихъ. Жена умираетъ, *буквально*. Каждый день бываетъ моментъ, что ждемъ ея смерти. Страданія ея ужасны и отзываются на мнѣ, потому что... Писать-же, работа не механическая и однакожь я пишу и пишу, по утрамъ, но дѣло только начинается. Повѣсть растягивается. Иногда мечтается мнѣ, что будетъ дрянъ, но однакожь я пишу съ жаромъ; не знаю, чтò выйдетъ. Но всетаки въ томъ дѣло, что она потребуетъ много времени. Если я хоть половину напишу, то вышлю для набора; но напечатать я ее хочу всю, *sine qua non*. Вообще писать времени мало, хотя, кажется, время-то все у меня мое, но все таки мало, потому что пора для меня *нерабочая* и иногда не то въ головѣ. Вотъ чтò еще: боюсь, что смерть жены будетъ скоро, а тутъ *необходимо* будетъ перерывъ въ работѣ. Если-бы не было этого перерыва,

то, кажется, кончиль-бы. Окончательно ничего не могу сказать. Представляю только факты, въ какомъ положеніи дѣло. Самъ можешь судить.

Ты хлопочешь о критикѣ; правда; но три, четыре статьи, какъ напримѣръ Аверкіева (историческихъ, по лѣтописямъ), при всемъ ихъ успѣхѣ, не будутъ стоять и одной руководящей, вводной статьи, въ родѣ *ряда статей*, въ родѣ объясненія направленія „Эпохи“. Вотъ мое мнѣніе. И потому обратись къ Страхову и умолай его писать. Что же касается до критическаго отдѣла вообще, за весь годъ, то не безпокойся, будетъ съ лихвой, даже эффектъ произведемъ (отвѣчаю за это) и на слѣдующій годъ нашъ журналъ будетъ рѣшительно *первый* изъ толстыхъ журналовъ, а въ этомъ увѣренъ. Увидишь. Но покажетъ хоть одну статью руководящую, или задорную. Не безпокойся и этого довольно для подписчиковъ. Но всетаки 1,900 подписчиковъ мало. Стало бытъ будетъ всего около 3,000 подписчиковъ. Это великолѣпно для начинающаго и новаго журнала (потому что, какъ ни верти, а нашъ журналъ и *начинающій* и *новый*), но мало для матеріальныхъ средствъ журнала. Не мало будетъ мукъ, хлопотъ и долговъ. Будущій годъ поправить дѣло. Только бы этотъ годъ довести до конца.

Романа до сихъ поръ не читалъ. Это очень ловко, если онъ хорошъ. Что же касается до статьи Ержинскаго, то она дѣйствительно хороша и прекрасно читается. Статья Горскаго производитъ здѣсь нѣкоторый эффектъ. Это любятъ. Голая доска правда, а публика—младенецъ. Объявленій мало. Нигдѣ не встрѣчаю. Только и видѣлъ въ одномъ „Днѣ“. Такъ-ли поступила, напримѣръ, Библіотека для Чтенія, сначала осени и до сегодня. Можетъ объявленія и были въ газетахъ. Но значить только *мелькнули*, а надо бы завалить всю Россію объявленіями.

Благодарю за всѣ хлопоты и за Пашу. Онъ мнѣ пишетъ, и пишетъ, что ты заплатилъ за квартиру и далъ ему денегъ, но вотъ что, братъ: увѣряю тебя, клянусь, что деньги и для меня здѣсь необходимы. Расходы ужасные. Ты объ моемъ положеніи понятія не имѣешь и, потому, вышли мнѣ еще 100, умоляю тебя. Ты писалъ, что вышлешь на этой недѣлѣ, но въ этомъ письмѣ твоемъ не упоминается. Еслибъ была какая нибудь возможность не брать у тебя, я бы не бралъ. На себя собственно я очень мало трачу. И потому пришли. Да мало того еще: я не знаю, что будетъ *дальше*. Въ повѣсти моей навѣрно 3 листа будетъ, а можетъ и больше, можетъ и четыре. Сочтемся, пригожусь, но не оставляй и ты меня въ это тяжелое время, ради Бога. Не оставляй и Пашу; я надѣюсь, что онъ не попроситъ у тебя лишняго. Онъ хоть и шалунъ, но честенъ. Я это знаю и за это отвѣчаю.

Безъ твоей помощи мнѣ рѣшительно не на кого здѣсь надѣяться. Александръ Павловичъ для насъ какъ Ангелъ Божій, но денегъ у него нѣтъ.

Забылъ, про что-то еще хотѣлъ писать. Въ слѣдующемъ письмѣ вспомню. Но объявленій ей Богу мало, очень мало, нужно повторять, надоѣдать объявленіями. Первая же книга такъ пріятно пестритъ статьями, что въ объявленіи очень хорошо могла бы фигурировать.

Прощай, до свиданія, всѣмъ твоимъ кланяюсь, а тебя обнимаю.

Твой Ф. Достоевскій.

Доставь ради Бога эту записочку Пашѣ, отъ тетки, ради Бога не забывай.

5 апрѣля 1864 г.

Другъ мой Миша!

Напишу тебѣ два слова:

Повѣсть моя, еслибъ только силы, да досугъ, да *безъ перерыва*, могла бы быть написана въ этомъ мѣсяцѣ, но ужь отнюдь не въ первой половинѣ. Это во всякомъ случаѣ. Теперь разсуди: книгу за *мартъ* надобно выдать непременно въ апрѣлѣ. Неблаговидно начинающему журналу являться съ мартовской книгой въ маѣ. Могу-ли я кончить и поспѣть? По всѣмъ признакамъ — нѣтъ. И главное — перерывъ, который не отъ меня зависитъ и за послѣдствія котораго я не могу ручаться. И потому, голубчикъ мой, обращаюсь къ тебѣ: какъ можно скорѣй напиши мнѣ: къ которому числу, *самое позднее*, надо имѣть тебѣ въ рукахъ повѣсть? По отвѣту твоему буду судить — кончу, или не кончу. Во всякомъ же случаѣ возьми въ соображеніе могущія быть обстоятельства, которыя остановятъ работу и которыя не отъ меня зависятъ.

Напиши мнѣ тоже: есть-ли у тебя что нибудь въ отдѣлѣ повѣстей на мартъ, кромѣ моей, и что именно?

Мое соображеніе такое: можно явиться и безъ извѣстныхъ именъ въ этомъ отдѣлѣ. Объ моей повѣсти можно увѣдомить (я думаю, совершенно не надо) что напечатается въ апрѣльской книжкѣ. Наконецъ, хочется хорошенько написать и не вомкать какъ нибудь, а главное, что я, хоть бы можетъ быть и могъ окончить, но ни силъ (физическихъ), ни обстоятельствъ благопріятныхъ къ тому не имѣю.

И потому я рѣшилъ такъ:

До полученія отъ тебя отвѣта буду *усиленно и настойчиво* продол-

жать повѣсть (будь что будеть). Если напишешь, что можно *за нужду* и обойтись безъ моей повѣсти, то я тотчасъ-же ее отложу и успѣю таки въ этотъ нумеръ (*навѣрно*, если скоро отвѣтишь), написать что нибудь въ критику (не о Костомаровѣ, такъ какъ эта статья велика).

Если-жъ напишешь, что нельзя обойтись — буду писать повѣсть. Впрочемъ, по числу, тобой означенному, для срока присылки, самъ рѣшу, что возможно, что невозможно, и только въ случаѣ совершенной невозможности оставлю повѣсть.

Я сознаю, братъ, что теперь я тебѣ плохой помощникъ. Наверстаю потому. Теперь-же положеніе мое до того тяжелое, что *никогда не бывалъ я въ такомъ*. Жизнь угрюмая, здоровье еще слабое, жена умираетъ совсѣмъ, по ночамъ, отъ всего дня, у меня раздражены нервы. Нуженъ воздухъ, моціонъ, а и гулять некогда и негдѣ (грязь). Мое теплое (слишкомъ ватное) пальто мнѣ уже тяжело (вчера было 17 градусовъ въ тѣни). Да что описывать! Слишкомъ тяжело. А главное слабость и нервы разстроены.

А между прочимъ только на тебя и надежда. Братъ, деньги у меня текутъ какъ вода. Повѣрь, что расходы огромны. На себя копѣйки не трачу, лѣтнихъ калошъ не соберусь купить, въ зимнихъ хожу. Не могу существовать безъ денегъ. Поддержи-же меня теперь, въ слишкомъ эксцентрическомъ положеніи, и повѣрь, что скоро заработаю.

Читалъ на публичномъ чтеніи. Читалъ и Островскій, который, хоть и привѣтливо, но какъ-бы съ *обидчивостью*, замѣтилъ мнѣ, что прежде ты прислалъ ему „Время“, а теперь „Эпохи“ не выслалъ. Я обѣщала тебѣ передать. Если находишь нужнымъ, пошли ему билетъ на Базунова.

Видѣлъ Чаева. Онъ спрашивалъ меня, какой былъ твой отвѣтъ на счетъ его драмы: „Александръ Тверской?“ Напиши пожалуйста. (Стихи хороши. Драмы же я самъ еще не читалъ, а о рекомендаціи въ „Днѣ“ я писалъ тебѣ).

Прощай, обнимаю тебя, ослабѣлъ ужасно и едва перомъ вожу. Теперь 12 часовъ, а къ ночи я дѣлаюсь ужасно слабъ и не работаю (что очень худо; прежде *лучшая* работа была по ночамъ). Прощай, голубчикъ.

Твой Ф. Достоевскій.

Прочелъ половину „Загадочныхъ натуръ“. По моему, ничего необыкновеннаго. Натурн *совсѣмъ таки* не загадочныя, слишкомъ обыкновенныя. Гдѣ дѣло касается до современныхъ идей, то видна молодость и нѣкоторое нахальство. Много истинной поэзіи, но какое-же колбасничество. Хорошо только, что не скучно.

Ты скажешь, можетъ быть, чтобъ я присылалъ по частямъ повѣсть. Но вѣдь мнѣ главное-то нужно крайній срокъ знать и повѣсть поспѣшностью не испортить.

Пожалуйста, не церемонься и меня не жалѣй. Мнѣ вѣдь все равно, что ни писать, только-бы кончить. Хотѣлось-бы только повѣсть кончить получше.

Москва, 9 апрѣля 1864 г.

Милый другъ Миша,

На письмо твое отвѣчаю сейчасъ-же; сначала о *займѣ*.

Вотъ мое мнѣніе:

1) Занять у тетки и возможно и невозможно. Это значитъ, что не-совсѣмъ невозможно. А такъ какъ ты въ положеніи критическомъ и губить дѣйствительно блестящее предпріятіе есть почти преступленіе, то тебѣ *непремѣнно* надобно попытаться занять у тѣтки. Спрось не бѣда, ничего имъ не проиграешь, а выигрышь слишкомъ великъ.

2) Теперь, какъ это сдѣлать? На это у меня есть свое опредѣленное мнѣніе, можетъ быть, очень ошибочное, но зато опредѣленное. Прежде всего представлю тебѣ на видъ обстоятельства: тетка, хоть и въ здравомъ разсудкѣ *вполнѣ* (я очень недавно былъ тамъ), но очень слаба памятью (но совсѣмъ не такъ, чтобъ забывать людей и не помнить происшествій). Въ расположеніи духа хорошемъ. Начала для своего утѣшенія на фортепіанахъ играть, 30 лѣтъ не игравши. Характеру никакого, рѣшимости никакой, находится подъ вліяніями. Довольно сильное (даже очень) вліяніе бабушки. Потомъ, я подозреваю, она даже боится разныхъей, которымъ до нея, въ свою очередь, дѣла нѣтъ (исключая того случая, который мнѣ всегда мерещился, — чтои сами захотятъ при-брать ея деньги въ руки себѣ, а ей выдавать проценты. На это я не имѣю никакого основанія, но они такъ жадны, что это мнѣ мерещится). Теперь опишу тебѣ, что мнѣ мѣсяцъ тому назадъ рассказывалъ Александръ Павловичъ о томъ, какъ принимала тетка, при жизни дяди, безчисленныя просьбы. Обыкновенно... прислали сначала письмо къ Александру П — чу съ просьбой передать особое письмо теткѣ. Тотъ являлся въ теткѣ и прямо, *безъ предисловія и подготовленія*, передавалъ письмо чтобъ ошибиться сразу. Тетка пугалась, махала руками, охала, тосковала и не хотѣла принимать письма. Тотъ оставлялъ насильно. Принимали, но не распечатывали. Наконецъ, послали за нимъ и заставляли его са-

мого распечатать и прочесть. Онъ читалъ безъ своихъ замѣчаній и безо всякихъ подготовленій. „Да что, не читайте, деньги, что-ли, денегъ надо?“ — Да-съ. — „Сколько, сколько?“ — 800. — Ахъ, ахъ! и т. д. Наконецъ посылаютъ за нимъ опять на завтра. „Да скажите же вы-то, что дѣлать? что дѣлать? Да говорите же!“ — И вѣдь вижу, говоритъ Александръ Павловичъ, что кончатъ тѣмъ, что дадутъ, а только такъ *балуются*. — Да вѣдь ваши деньги, сами и распоряжайтесь, а я что! — „Ахъ Боже мой, ахъ Боже мой, сказать, что-ли?“ — Конечно, скажите-съ. — „Александръ Алексѣичъ, письмо“. — Ахъ, прочти, прочти, и залется слезами. Начинается чтеніе плачевнаго письма. „Денегъ просятъ, Александръ Алексѣичъ, 800 р.“ — „Пошли, пошли, сейчасъ же пошли!“ и зарыдаеть. Ну, тутъ ужъ все кончено и деньги посылаются. Надо принять въ соображеніе, что она боялась тогдаей. Но характеру и рѣшимости, конечно, съ тѣхъ поръ не прибавилось.

Александрю Павловичу я о секретѣ не расскажу и никому не скажу (хотя Александръ Павловичъ и не разболталъ бы, *утрю тебя*). Варю я видѣлъ недавно. Она тебя любитъ, она говорила про тебя, но ей-Богу не знаю, утерпитъ-ли она противъ искушенія рассказать теткѣ. Но что она не будетъ ходатайствовать и въ особенности ходатайствовать *заранѣе*, готовить, въ этомъ я *уверенъ*. Но, можетъ быть, она секретъ сохранить способна.

Окончательное мое мнѣніе слѣдующее:

— Если будешь дѣйствовать черезъ ходатаевъ (хоть бы черезъ Вариньку, еслибъ возможно, что она согласилась, другихъ кромѣ нея и нѣтъ ходатаевъ) и напишешь письмо съ просьбою для передачи теткѣ, то *навѣрно ничего не достигнешь*. Откажутъ непремѣнно, *непремѣнно*. Да и Варя, повторяю, *навѣрно* не захочетъ *прямо* ходатайствовать.

Еслибъ еще дѣло шло рубляхъ о тысячѣ, то еще, можетъ быть, согласились бы, но о 10-ти тысячахъ — невѣроятно, чтобъ рѣшились дать.

Совсѣмъ другое *могло бы быть*, еслибъ ты пріѣхалъ самъ и изложилъ просьбу лично (я говорю *могло бы быть*; ручаться, о, даже по соображенію, я не могу. Я говорю только, что это мое *опредѣленное* мнѣніе, и это такъ). *Подготовлять*, по моему мнѣнію, совершенно не нужно. По-вѣрь мнѣ. Никто не изложитъ дѣла лучше тебя самого. Будетъ только излишнее и очень вредное кудахтанье въ случаѣ *подготовленія*, а кромѣ того и излишняя *болтовня, омаска*. Напротивъ, если хочешь, сдѣлай такъ: выдай книгу и пріѣзжай тотчасъ же по выходѣ, въ началѣ Святой недѣли. (НВ. Александра Павловича, кажется, не застанешь. Онъ *навѣрно* ѣдетъ на 10 дней въ отпускъ въ деревню для окончательнаго размежеванія и поѣдетъ на Святой. Это рѣшено).

Остановишься у Александра Павловича. Сначала ни слова имъ не говорить, зачѣмъ пріѣхалъ. (Я, пожалуй, за нѣсколько дней до пріѣзда предувѣдомлю, что ты, *можетъ быть*, пріѣдешь, по денежнымъ дѣламъ съ Базуновымъ). Можно только Варѣ сказать да и то если окажется, что она, по крайней мѣрѣ, не враждебно отнесется къ твоему намѣренію. Но дѣйствовать и просить ее готовить — не надо совѣтъ. Ты сдѣлаешь первый визитъ. Потомъ, на другой день, пріѣдешь съ изложеніемъ просьбы. Я думаю, что хорошо бы было, еслибъ предварительно изложить дѣло бабушкѣ, вполне и откровенно. Это ей даже польститъ. Да иначе и нельзя, потому что тетка даже заговаривается (хоть и въ полномъ здравомъ смыслѣ). Она испугается и тотчасъ же позоветъ бабушку. Бабушка же, предувѣдомленная предварительно, хоть и не возьметъ на себя поддерживать твою просьбу, но, *можетъ быть*, не враждебно отнесется къ ней, благодаря своему подготовленію. Съ теткой нужно говорить рѣшительно, вполне откровенно и ясно. Нужно представить, что если ты разъ, прошлаго года, выльзъ *буквально* изъ петли, то каково же теперь не *додать* журналъ и просто погибнуть, стоя на краю несомнѣннаго и блистательнаго успѣха? Представить, что тетка не раззорится, а отказомъ погубитъ и тебя, и семейство. — Съ разу ни тетка, ни бабушка не рѣшатся, закудахтаютъ и заахаютъ. Пусть. Надо ихъ только на первый разъ крѣпко озадачить, насѣсть на нихъ нравственно, чтобъ передъ ними ясно стояла дилемма: „Дать — опасно, не заплатить; не дать — убьешь челоуѣка и грѣхъ возьмешь на душу“. Разуиѣтся, они съ разу ничего не рѣшатъ и начнутъ совѣтываться. Тутъ и пустить Варю, если она дѣйствительно захочетъ ходатайствовать; въ противномъ же случаѣ лучше пусть и не ѣздитъ. Если же Вара захочетъ, то совѣтъ ея много сдѣлаетъ; пусть не упрашиваетъ тетку, а скажетъ ей à la Александръ Павловичъ: „Ваши деньги; хотите — дайте, хотите — нѣтъ. Не дадите — раззорите до тла и *погубите*, а это вашъ племянникъ, вашъ крестникъ, который ничего отъ васъ не получалъ и никогда ни о чемъ не просилъ. Вы въ гробъ смотрите и сдѣлаете злодѣйство: съ чемъ передъ Христа и передъ покойной сестрой явитесь? Сестеръ устраивалъ Александръ Алексѣичъ, а вы чтѣ сдѣлали сами? У васъ 150,000, а вы боитесь раззориться!“ Все это надо рѣзко сказать, тѣмъ болѣе, что это все *правда* и что это *надо* хоть когда нибудь высказать. Варинька не скажетъ, такъ я выскажу. И выскажу. Вообще надо быть не очень просителемъ, дрожащимъ заискивателемъ. Коммерческою сухостью и дѣловымъ видомъ тоже не много съ *ними* сдѣлаешь. Надо дѣйствовать нравственно, на душу, и дѣйствовать не патетически, а *строю*,

сурово. Это всего болѣе ошибеть.— Легко можетъ быть, что я всѣхъ обстоятельствъ не знаю и что она, можетъ быть, въ своихъ собственныхъ деньгахъ, пойдетъ просить позволенія уей. Тутъ можетъ выйти случай и очень дурной и хорошій, смотря по тому, что уей на умѣ.

.....
 Варя же, вообще говоря, можетъ много пользы оказать, но не предварительно, не подготовленіемъ, а когда онѣ во всѣ стороны будутъ кудахтать и за совѣтами кидаться.

Однимъ словомъ: вѣроятностей выиграть дѣло— очень много и на мой взглядъ *даже болше, чѣмъ проиграть*. Тебѣ вся выгода начать дѣло: выигришь большой, а проигришь только въ томъ, что въ Мосеву напрасно проѣхался. И потому мой совѣтъ — начинай, и начинай немедленно, на Святой.

Можетъ быть, что въ первый разъ просто откажутъ. Но потомъ совѣсть замучитъ, сами призовутъ и дадутъ.

Варѣ я покажѣть ни слова не скажу. На это письмо мое отвѣчай мнѣ *немедленно, тотчасъ же*, какъ ты рѣшилъ? Тогда же и Варю можно увѣдомить (а лучше увѣдомить послѣ твоего приѣзда — мое мнѣніе). Начинать же съ бабушки.

Окончательно: начинай дѣло лично и отълаживать не совѣтую.

—
 Теперь о другой статьѣ:

Другъ мой, ты вѣрно получилъ мое послѣднее письмо. Я писалъ тебѣ, что повѣсть кажется не кончится. Повторяю Миша: я такъ измученъ, такъ придавленъ обстоятельствами, въ такомъ мучительномъ я теперь положеніи, что даже за физическія силы мои, при работѣ, отвѣчать не могу. Жду я съ жадностію твоего отвѣта. Но теперь я вотъ что скажу: повѣсть разростается. Можетъ быть, будетъ 5 печатныхъ листовъ, не знаю; такъ что, при самомъ огромномъ стараніи, окончить *материально* невозможно. Что-же дѣлать? Неужели печатать неоконченномъ? Невозможно. Она дробиться не можетъ. А между тѣмъ, — я не знаю, что будетъ, — можетъ быть дрянъ, но я-то, лично, сильно на нее надѣюсь. Будетъ вещь сильная и откровенная; будетъ правда. Хоть и дурно будетъ пожалуй, но эффектъ произведетъ. Я знаю. А можетъ быть и очень хороша будетъ. Что-же дѣлать? Во всякомъ случаѣ, повторяю, подобный трудъ *материально* невозможенъ въ такой срокъ; и если ты рѣшаешься выдать къ Святой, то и критическая статья можетъ быть невозможна. Да и навѣрно. И потому, если только возможно, — избавь меня отъ мартовской книжки, будь благодѣтелемъ. На апрѣль, зато, у тебя значи-

тельной величины моя повѣсть и критическая статья. За это *ручаюсь головой*, если только не умру. Дай мнѣ докончить повѣсть и тогда увидишь мою дѣятельность.

Ты пишешь, что надобно занимательнѣй выдать слѣдующія книжки. За апрѣль ручаюсь. Но мартъ? Приставай къ Страхову за критикой; если только имѣешь чтò на мартъ занимательнаго—помѣщай все. Не безпкойся за апрѣль, и помѣсти какъ можно больше „Загадочныхъ натуръ“, ибо онѣ очень любопытны.—Подписка, еслибъ мы даже теперь съ каждымъ номеромъ выдавали по *Тургеневу*—не очень увеличится. Вся подписка будетъ отъ 1-й книги. Объявленіе же и статьи 1-й книги заманчивы. Въ провинцію и объявленія и книга едва дошли. Подписка еще можетъ быть отъ впечатлѣнія первой книги. Позднѣе-же, т. е. къ лѣту, едва-ли увеличится, даже при всѣхъ совершенствахъ книжекъ. Для впечатлѣнія-же на публику—не одинъ мартъ мѣсяць есть въ году. Къ будущему году мы великолѣпно подготовимъ публику. Ручаюсь.

На дняхъ вышлю повѣсть А.... Предувѣдомляю заранѣ, для того, чтобъ ты, получивъ пакетъ съ моею надписью, не подумалъ, что моя повѣсть. Повѣсть-же не хуже ея прежнихъ и можетъ идти.

За 100 рублей благодарю. Чтò со мною будетъ дальше—понять не могу!

Прежде чѣмъ рѣшиться на что нибудь на счетъ тети, непремѣнно и сейчасъ-же отвѣчай мнѣ на это письмо. Не забывай, это очень нужно.

До отвѣта на это письмо, я твоего письма Варенькѣ не покажу, ничего ей не скажу, да и никому не скажу. Тебя же прошу Варенькѣ *не писать*.

Марья Дмитриевна почти при послѣднемъ дыханіи. Предувѣдомляю: ты, можетъ быть, пріѣдешь ко мнѣ на похороны. Прощай, обнимаю тебя и всѣмъ кланяюсь.

Твой Ф. Достоевскій.

Не привезешь ли Машу? Право, это можетъ быть пособить дѣлу. Да и Маша проѣхалась-бы. А ужь ее такъ здѣсь хотѣли-бы видѣть. Такъ хорошо васъ здѣсь поминають.

Москва, 13 апрѣля 1864 г.

Милый другъ мой Миша.

Сегодня получилъ твои два письма, одно съ деньгами 100 рублей и съ припиской въ двѣ строки, за чтò (т. е. за письмо и за приписку)

благодарю тебя отъ всего сердца; а другое письмо, отъ 10 апрѣля, на которое спѣшу отвѣчать. Я уже писалъ тебѣ о моей повѣсти въ двухъ письмахъ.—Что она не готова и что я оставилъ тебя въ самое критическое время (время первыхъ книгъ журнала) безъ повѣсти и безъ статей,—я самъ слишкомъ мучительно знаю, другъ мой милый. Но что-же дѣлать; все это внѣшній фатализмъ; все это не отъ меня зависѣло. По году жизни-бы отдалъ за каждую книгу журнала, только-бы этого не было. Я въ положеніи ужаснѣйшемъ, нервномъ, больномъ нравственно, и только гащу съ тебя деньги, потому что траты мои не уменьшаются, а увеличиваются. Все это меня мучить, мучить и я не знаю, чѣмъ это кончится. Но о дѣлѣ: чтѣ я писалъ о повѣсти, то и теперь пишу: повѣсть растягивается; очень можетъ быть, что выйдетъ эффектно, работаю я изо всѣхъ силъ, но медленно подвигаюсь, потому что все время мое по неволѣ другимъ занято. Повѣсть раздѣляется на 3 главы, изъ конхъ каждая не менѣе 1½ печатныхъ листовъ. 2-я глава находится въ хаосѣ, 3-я еще не начиналась, а 1-я обдѣлывается. Въ 1-й главѣ можетъ быть листа 1½, можетъ быть обдѣлана вся дней черезъ 5. Неужели ее печатать отдѣльно? Надъ ней насмѣются, тѣмъ болѣе, что безъ остальныхъ 2-хъ (главныхъ) она теряетъ весь свой сокъ. Ты понимаешь, что такое *переходъ* въ музыкѣ. Точно такъ и тутъ. Въ 1-й главѣ, повидимому, болтовня; но вдругъ эта болтовня въ послѣднихъ 2-хъ главахъ разрѣшается неожиданной катастрофой. Если напишешь, чтобъ я прислалъ одну 1-ю главу,—я пришлю. Напиши-же непременно. Пожертвовать такими пустяками я еще могу, и пришлю главу. Но вотъ чтѣ: ты самъ писалъ, что хочешь выдать къ празднику книгу. Когда-жъ присылать? Неужели-жъ выйти послѣ праздниковъ? Это задержать подписку. Теперь о подпискѣ. Братъ, я увѣренъ и твоя собственная опытность должна-бы научить и тебя, что теперь подписка уже почти проходить и что если-бъ мы въ каждомъ номерѣ издавали-бы по Тургеневу, то и тогда-бы не подняли *сильно* подписку. У тебя есть большая вещь Зарубина. Печатай ее. Это не дурно. Возьми у Милюкова рассказовъ и проч. Похлопочи только о критикѣ, главное о критикѣ. Направленіе наше, конечно, для публики несомнѣнно, но статей-то *спеціально* разрабатывающихъ направленіе мало. О, конечно надо, необходимо надо, чтобъ мартъ былъ даже лучше первыхъ двухъ номеровъ. Но что-жъ дѣлать? Да и на подписку за нынѣшній годъ уже нельзя надѣяться. Но за то мы послѣдующими номерами возьмемъ, цѣлымъ годомъ возьмемъ, и зато въ концу года выработаемъ великолѣпную подписку на будущій годъ. За это отвѣчаю. Деньги-же на этотъ годъ, доставай адѣсь у тѣтки. Ты вѣроятно получилъ уже мое отвѣтное письмо на этотъ вопросъ.

Было-бы съумасшествіемъ не испробовать (имѣя столько вѣроятностей на успѣхъ) этотъ заемъ! Издавай-же книгу скорѣе, до Пасхи, и пріѣзжай на Святой сюда.

Кстати: достань для марта, если возможно, статью у Горскаго, съ бойкимъ заглавіемъ. Вотъ такія-то статьи и читаются публикой. Я видѣлъ, какъ въ Москвѣ эту статью старъ и малъ читали и объ ней говорили *). Это ясно, это понятно. Это и заманчиво. Статью-же Тургенева все, что называется массой, не хвалятъ, а такихъ людей какъ песку морскаго. „Загадочныхъ натуръ“ тоже побольше. Общай, что въ будущемъ номерѣ *настрно* будетъ продолженіе „Подполья“. Объяви, что я былъ боленъ.— Я читалъ въ газетахъ объявленіе о выходѣ мартовской книги „Отечественныхъ Записокъ“, одно это объявленіе—пріемъ микстуры.

О Чаевѣ я тебѣ писалъ уже разъ, и все ждалъ отвѣта. Написалъ съ полстраницы, помню это какъ то, что я живу. Ты вѣрно проглядѣлъ, или письмо затерялось. О драмѣ этой я лично не имѣю понятія. Читалъ онъ ее здѣсь на всѣхъ литературныхъ чтеніяхъ. Аксаковъ въ газетѣ „День“ хвалилъ стихи. Чаевъ человекъ образованный и смыслить русскую исторію. Островскій сказалъ, что драматизма нѣтъ, но что это *хромика*, а стихи прекрасны и есть удачныя сцены. Драма его была давно уже послана къ Боборыкину. Дмитріевъ (повѣсть „Лѣсъ“ и проч.), его пріятель, писалъ ему на дняхъ, что беретъ его драму отъ Боборыкина и несетъ въ „Эпоху“. Боборыкинъ не рѣшался напечатать ее всю, а хотѣлъ печатать отдѣльныя сцены. Чаевъ не согласенъ. Просилъ онъ съ Боборыкина 100 рублей съ листа. Я сказалъ, что ты этого ни за что не дашь, во всякомъ случаѣ. (Да и нельзя давать). И потому, если получишь отъ Дмитріева, *не печатай не условившись*. Чаевъ самъ хотѣлъ тебѣ писать. Человекъ онъ очень хорошій. Но драму его прочти со вниманіемъ. Вѣдь, можетъ быть, и дѣйствительно все-то виѣстѣ и тяжело. А такія вещи не даютъ подписчиковъ. Ну вотъ и все о Чаевѣ.

Теперь о Страховѣ: какъ-бы онъ отлично сдѣлалъ, еслибъ еще прежде хоть двѣ строчечки писнулъ мнѣ объ этомъ дѣлѣ. Уѣзжая, я съ нимъ говорилъ, что по первому требованію Боборыкина, — деньги у тебя готовы. Но вотъ у тебя и требуютъ. Я ужасно-бы желалъ знать, какъ это у нихъ тамъ происходило. Тутъ не простое любопытство, а честь. Не хотѣлъ-бы я, чтобъ Боборыкину представлялось, что я *надулъ* его. Богъ видитъ, что я, не смотря ни на какія обстоятельства, отдаль-бы сперва

*) Рѣчь идетъ о разсказѣ *Петра Горскаго*: „Бѣдные жильцы. Въ больницѣ и на морозѣ“. („Эпоха“. 1864 г., № 1 и 2). Н. С.

туда мою повѣсть. Если-же не даль, *то не хочу*, чтобъ осмѣливались подсмѣиваться надо мной за 300 руб. Еслибъ еще я не бралъ оттуда 300 руб., то я бы наплевалъ на насмѣшку, и еслибъ случились такія обстоятельства—отдалъ-бы туда повѣсть. Но когда редація „Библіотеки“ сама связала меня, не то что обѣщаніемъ, а честнымъ словомъ и деньгами, то ужъ тогда ей-бы не слѣдовало допускать на меня насмѣшки *на страницахъ своего журнала*: купленъ, дескать, отвергъться и обидѣться не смѣешь, повѣсть все-таки дашь. Нѣтъ-съ, я своей личности и свободы моихъ дѣйствій за 300 руб. не продаю.—И потому я ужасно-бы желалъ знать подробности, т. е. какимъ образомъ и *при какихъ словахъ* Боборыкинъ потребовалъ денегъ? Ужасно-бы мнѣ не хотѣлось отдать эти 300 р. безъ личныхъ объясненій съ Боборыкинымъ. Написать письмо отсюда къ Боборыкину я въ настоящую минуту не могу: вѣдь Богъ знаетъ, чтó тамъ произошло и на что я долженъ отвѣчать? Хотѣлось бы это знать сперва. Но тамъ, навѣрно, что нибудь произошло: иначе Ник. Николаевичъ не сталъ-бы *требовать* съ тебя денегъ. Бывши въ Петербургѣ, я борчился отъ болѣзни и мнѣ было не до „Библіотеки“. Помню, Николай Николаевичъ меня подбивалъ ѣхать къ Боборыкину, но у меня на то и времени и здоровья не было и... еще было кое-что, чтó помѣшало мнѣ ѣхать. А именно: если только Боборыкинъ тогда уже зналъ *хоть кое-что* о томъ, что я обидѣлся, то, мнѣ кажется, самая простая, самая простѣйшая учтивость требовала, *чтобъ онъ сдѣлалъ* самъ первый шагъ, — не къ извиненію, а къ простому объясненію. Но онъ и этого не сдѣлалъ. И потому ради Бога, передай отъ меня Николаю Николаевичу, не можетъ-ли онъ *для меня*, слишкомъ искренно его любящаго, сдѣлать такъ: хотъ на нѣсколько минутъ отдалить Боборыкину отдачу денегъ. Я понимаю очень хорошо его преекверное, двусмысленное положеніе, въ которое я его поставилъ (т. е. не я, а самъ Боборыкинъ и всѣ обстоятельства). Онъ былъ посредникомъ между Боборыкинымъ и мною въ самомъ началѣ займа. Онъ передавалъ туда мое честное слово, да и посредничествомъ своимъ *какъ бы самъ* гарантировалъ Боборыкину этотъ заемъ. Если Боборыкинъ сердится, обижается и требуетъ денегъ, то Николаю Николаевичу, разумѣется, мучительно непріятно. *И потому, если только онъ видитъ себя дѣйствительно* въ крайнемъ двусмысленномъ положеніи—то пусть отдастъ; а ты выдай деньги, такъ и быть, хотя мнѣ, можетъ быть, изъ за этого безславіе: вѣдь я, отдавая молча деньги, *какъ-бы соглашаюсь*, что я дѣйствительно надулъ Боборыкина. Но *если только возможно хоть капельку повременить*, то упроси Николая Николаевича на это. Тѣмъ временемъ узнай отъ него, отъ моего имени, объ обстоятельствахъ дѣла.

Надѣюсь, онъ тебѣ не откажетъ все въ подробности сообщить, вѣдь мнѣ бы онъ вѣрно не отказалъ (я не претендую на самую полную его откровенность и не смѣю требовать, чтобъ онъ сообщилъ все, что было лично между нимъ и Боборыкинымъ). Узнавъ, не было-ли тутъ чего *нибудь* и что именно было, я-бы сочинилъ Боборыкину письмецо, самое утонченно-вѣжливое, оправдательное и безъ всякой обиды, переслалъ-бы тебѣ для передачи Николаю Николаевичу незапечатаннымъ. Николай Николаевичъ самъ-бы его контролировалъ, т. е. въ томъ смыслѣ, чтобъ не было чего щекотливаго, касающагося собственно Николая Николаевича, такъ какъ онъ все-таки былъ посредникомъ въ этомъ дѣлѣ—и тогда, съ приложеніемъ денегъ, все-бы это было отослано Боборыкину черезъ редакцію журнала „Эпохи“, или, если возможно, доставлено черезъ Николая Николаевича. Однимъ словомъ я очень прошу: 1) увѣдомить меня (въ случаѣ если еще возможно ждать отдачи денегъ), какъ смотритъ на это дѣло Боборыкинъ? 2) Не обвиняетъ-ли онъ, меня *засно*? Не было-ли для меня чего оскорбительнаго, *равно какъ* и для Николая Николаевича? И потому сообщи эту часть моего письма Николаю Николаевичу. Что онъ скажетъ окончательно, то и будетъ. Повторяю, если ему будетъ хотя *малѣйшая* тягость отъ задержки платежа, то пусть немедленно беретъ у тебя деньги и отдаетъ. Если же можно повременить, то пусть прежде-бы я узналъ это дѣло обстоятельнѣе и тамъ ужъ поступилъ какъ мнѣ слѣдуетъ.

Я-бы и безъ задержки могъ написать Боборыкину. Но во 1-хъ (я уже упомянулъ это выше), обстоятельствъ теперешнихъ, можетъ быть очень щекотливыхъ, не знаю, а во 2-хъ, не знаю какъ посмотреть на это Николай Николаевичъ, который въ этомъ дѣлѣ былъ посредникомъ. Однимъ словомъ это исторія запутанная.

Да вотъ еще кстати: пусть не винить меня Николай Николаевичъ, что я самъ ему не пишу. Еслибъ онъ все зналъ, какъ я здѣсь живу, то онъ понялъ-бы, что я до сихъ поръ не успѣлъ собраться написать ему объ этомъ дѣлѣ. Да и теперь у меня столько на шеѣ дѣлъ, что дѣло съ Боборыкинымъ совсѣмъ и на умъ не просилось. Николаю Николаевичу я хотѣлъ-было писать по прочтеніи его статьи въ „Эпохѣ“ и навѣрно-бы позабылъ написать о Боборыкинѣ, еслибъ написалось письмо къ Николаю Николаевичу.

Прощай, братъ. Обнимаю тебя, будь здоровъ и бодръ, а я

Твой весь Ф. Достоевскій.

Вторникъ, 14 апрѣля. Вчера, въ 2 часа ночи, кончилъ это письмо. Потомъ Марья Дмитриевна стало очень худо. Она потребовала

священника. Я пошелъ къ Александру Павловичу и послалъ за священникомъ. Всю ночь сидѣли, въ 4 часа причащали. Въ 8 часовъ утра я легъ отдохнуть, въ 10 меня разбудили, Марья Дмитріевнѣ въ эту минуту легче.

Изъ денегъ 100 руб., присланныхъ тобою, ко 2-му дню праздника ни гроша не остается; вотъ моя жизнь.

Надѣюсь, другъ милый, что о Боборыкинѣ я написалъ удачно. Николай Николаевичъ, можетъ быть, прочтя это, и повременитъ. Я, впрочемъ, писалъ правду. Иначе я бы и самъ не могъ рѣшить вопроса. Но я-то, я-то, который въ такое время только тяну съ тебя деньги! Никогда я не переживалъ времени болѣе мучительнаго.

Повѣсть А. посылаю отдѣльно. Обрати вниманіе. Печатать очень можно.

Москва, 15 апрѣля 1864 г.

Милый Миша!

Сейчасъ черезъ Алек. Павловича послана тебѣ отъ меня телеграфическая депеша. Я просилъ выслать Пашу. Можетъ быть у него есть хоть какойнибудь черныи сертукъ. Штаны бы только развѣ купить. Боюсь, что онъ тебя втянулъ въ расходы. Хорошо, еслибъ онъ отправился хоть завтра, 16-го апрѣля, съ 12 часовниъ поѣздомъ.

Вчера съ Марьей Дмитріевной сдѣлался рѣшительный припадокъ: хлынула горломъ кровь и начала заливать грудь и душить. Мы все ждали кончины. Все мы были около нея. Она со всеми простилась, со всеми примирилась, всемъ распорядилась. Передаетъ всему твоему семейству поклонъ съ желаніемъ долго жить. Эмилиі Федоровнѣ особенно. Съ тобой изъявила желаніе примириться. (Ты знаешь, другъ мой, она всю жизнь была убѣждена, что ты ея тайный врагъ). Ночь провела дурно. Сегодня же, сейчасъ, Александръ Павловичъ сказалъ *рѣшительно*, что нынче—умреть. И это несомнѣнно.

Поѣду къ теткѣ просить денегъ. Но можетъ отказать, потому что въ рукахъ у ней можетъ не быть.

Не знаю какъ буду. Но тебя прошу — не оставь. Расходы будутъ очень большіе. Пришли *сколько можешь* больше, на все. Ради Бога. Заслужу.

Отъ Боборыкина получилъ письмо 3-го дня. Но въ настоящихъ обстоятельствахъ отвѣчать ему *сейчасъ* не могу. Миѣ не до литературы.

Отвѣтомъ, впрочемъ, не замедлю. Много черезъ недѣлю онъ его получить.

Деньги онъ требуетъ прямо отъ меня. Одна фраза до нахальства грубая. Я хочу ему отвѣтить; отвѣчу вѣжливо и напишу ему, что я „прошу тебя отдать ему деньги за меня. Что я надѣюсь, что ты отдашь, и чтобъ Боборыкинъ не сердился, если ты, неприготовленный къ моей просьбѣ, нѣсколько замедлишь. Во всякомъ случаѣ (уотряю его)—замедленіе будетъ ничтожное и ты выдашь непременно“.

Вотъ въ какомъ смыслѣ я пишу Боборыкину о деньгахъ. Иначе, Миша, я никакъ не могъ сдѣлать, согласись самъ. Отдать надо непременно и скоро. Во всякомъ случаѣ я выставляю тебя передъ Боборыкинымъ и Николаемъ Николаевичемъ—вовсе не связаннымъ и не обязаннымъ такъ ужъ очень платить за меня. Ты, если заплатишь, то по усерднѣйшей моей просьбѣ, да и то если захочешь.

Можетъ быть, я тогда же напишу и Страхову. А копію съ письма Боборыкину тебѣ пришлю.

Страхову скажи о содержаніи телеграфической депеши. Онъ пойметъ, что не могу я въ такое время быть слишкомъ точнымъ въ отвѣтахъ къ такому лицу, какъ Боборыкинъ. Да и хорошо бы было, еслибъ онъ передалъ это Боборыкину.

О письмѣ же этомъ, что я теперь пишу къ тебѣ, пожалуй и не говори Страхову.

Прощай, другъ мой, обнимаю тебя крѣпко.

Твой Ф. Достоевскій.

P. S. Повѣсть теперь во всякомъ случаѣ (даже и начала) не могу прислать. Что дѣлать. Зато апрѣль будетъ.

Пріѣзжай на Святой. Выдавай скорѣе книгу — какая бы ни была, все же будетъ лучше „Отеч. Записокъ“, а можетъ и „Современника“. Составъ важень, а ты умѣешь составить.

Марья Дмитриевна умираетъ тихо, въ полной памяти, Папу благословила заочно.

Копія съ письма къ П. Д. Боборыкину.

Москва, 14 апрѣля 1864 г.

Милостивый Государь!

Сегодня пишу къ моему брату и очень прошу его заплатить вамъ за меня долгъ. Я очень надѣюсь, что онъ захочетъ исполнить мою просьбу.

Очень вамъ благодаренъ, что вы разрѣшили, наконецъ, мое недомѣшнѣе этихъ требованіемъ денегъ назадъ. Главное дѣло для меня въ томъ, что, кромѣ денегъ, я связанъ былъ съ вами и честнымъ словомъ; да, сверхъ того, передавалъ вамъ это честное слово отъ меня и ходатайствовалъ въ мою пользу нашъ общій знакомый многоуважаемый Николай Николаевичъ Страховъ. Неисполненіемъ же моихъ обязательствъ, я какъ бы кладу тѣнь на крѣпость моего честнаго слова а, можетъ быть, дѣлаю нѣкоторую непріятность и Николаю Николаевичу. И то и другое обстоятельство побуждаютъ меня теперь сказать нѣсколько словъ, чтобъ по возможности разъяснить подробнѣе все это дѣло.

Разъясненіе это состоитъ въ откровенномъ моемъ сознаніи, что я, кромѣ поразившихъ меня тяжелыхъ домашнихъ бѣдъ и долгой болѣзни моей, много помѣшавшихъ моимъ занятіямъ, получилъ, мѣсяца два назадъ, нѣкоторое нежеланіе доставить въ вашъ журналъ мою будущую работу, хотя въ то же время мнѣ и очень хотѣлось сдержать мое слово. Я бы могъ представить вамъ положительныя доказательства, что до этого времени, т. е. еще 2 мѣсяца назадъ, я имѣлъ твердое намѣреніе и искреннее желаніе исполнить мои обязательства передъ „Библ. для Чтенія“. Мысли же мои измѣнились, по неволѣ, съ того времени, какъ я имѣлъ нѣкоторое неудовольствіе прочесть въ вашемъ журналѣ насмѣшку на мои сочиненія. Печатныхъ насмѣшекъ на мои сочиненія, во время столькихъ лѣтъ моего литераторствованія, было множество. Хотя я на очень многія изъ нихъ и обращалъ вниманіе, но никогда не вступалъ по поводу ихъ въ какія бы то ни было объясненія, гласныя или негласныя. Теперь же—дѣло особенное и, вслѣдствіе моего взгляда на нѣкоторыя вещи, не обратитъ совершенно вниманія на насмѣшку „Библиотеки“ (хотя и довольно скромную) я не могъ. У васъ, въ одной статьѣ, сказано было, что я пишу „въ чувствительномъ родѣ“, и сказано было въ достаточно насмѣшливомъ тонѣ. Конечно, это очень невинно, но такой тонъ, при отношеніяхъ моихъ къ „Библиотекѣ“, даже—извините меня—былъ *невозможенъ*. Не получи я отъ васъ впередъ денегъ, и, главное, не свяжи я себя съ вами честнымъ словомъ, насмѣшка эта, какъ бы я ни смотрѣлъ на нее, не имѣла бы никакого вліянія на невозможность для меня печатать или не печатать въ „Библиотекѣ“. Но теперь она касалась меня, связаннаго по рукамъ и по ногамъ. Могло предполагаться, что я не посмѣю измѣнить обстоятельствъ и долженъ перенести *всякій тонъ*, потому—деньги взялъ. Я, конечно, не предполагаю и возможности такого взгляда на наши отношенія въ редакціи „Библиотеки“, но уже одна возможность въ такомъ случаѣ есть щекотливое дѣло. Я согласенъ, что съ моей сто-

ронн это „тонкости“. Но, по моему взгляду, даже и излишняя тонкость въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ жизни все же лучше известной „плотности“ отношеній, — извините, не могу прибавить удачнаго слова для изображенія того цинизма, котораго я всегда избѣгалъ въ сношеніяхъ съ людьми.

Вы скажете, что я могъ бы и не беспокоить васъ этими подробностями, тѣмъ болѣе, что о нихъ всякое слово устранено вами же, — такъ какъ вы требованіемъ денегъ назадъ придали всему дѣлу чисто коммерческій оборотъ. Но, извините меня, мнѣ показалось почему-то, что, при теперешнихъ обстоятельствахъ, нѣкоторая откровенность объясненія вовсе была бы не лишнею. Я всетаки не могу смотрѣть на васъ иначе, какъ на собрата-литератора, тѣмъ болѣе, что имѣлъ удовольствіе познакомиться съ вами лично, хотя и не имѣлъ чести продолжать это знакомство. Но во всякомъ случаѣ еще разъ благодарю васъ за то, что вы, очевидно, желая избавить меня разомъ отъ всѣхъ затрудненій, такъ деликатно повернули всѣ наши взаимныя сношенія — въ одну коммерческую сторону и находите, какъ вы сами выразились, „что возвращеніе вамъ мною денегъ будетъ лучшимъ исходомъ этихъ сношеній“. Я нахожу то же и надѣюсь, что братъ мой не заставитъ васъ ждать долго.

Съ чрезвычайнымъ почтеніемъ имѣю честь быть,

М. Г.

В...

Къ Александру Егоровичу Врангелю.

Висбаденъ, 5 сентября (здѣшн. стила) 1865 г.

Многоуважаемый и добрый другъ Александръ Егоровичъ, получили-ли вы мое письмо, которое я вамъ послалъ съ мѣсяцъ тому назадъ въ Копенгагенъ? Я совершенно рассчитывалъ, что вы въ Копенгагенѣ, посылая письмо, потому что написалъ вамъ въ скорости по выѣздѣ моемъ за границу. Если вы выѣхали изъ Копенгагена раньше 10-го іюля (нашего стила) въ Россію, то навѣрно бы отыскали меня въ Петербургѣ. А такъ какъ въ Петербургѣ мы не видались, то я навѣрно рассчитывалъ, что вы еще не выѣзжали въ Россію (о намѣреніи этомъ вы мнѣ писали прежде). Слѣдственно (думаю теперь) — мы разѣхались именно въ то время, когда я выѣхалъ за границу. — Но, можетъ быть, вамъ мое письмо переслали изъ Копенгагена въ Россію, и въ такомъ случаѣ, можетъ быть, вы и отвѣчали мнѣ по адресу въ Цюрихъ, какъ я вамъ писалъ. Но увы! я

засѣлъ въ Висбаденъ и въ Цюрихъ еще не былъ, а потому ничего не знаю.

Есть здѣсь священникъ, Янишевъ, который былъ въ Копенгагенѣ. Я случайно съ нимъ здѣсь, въ Висбаденѣ, познакомился и узналъ, что онъ васъ знаетъ. Между прочимъ, онъ мнѣ сказалъ, что вы, наѣзжаясь нынѣшнимъ лѣтомъ ѣхать въ Россію, *говорили, что къ сентябрю воротитесь опять* въ Копенгагенъ. Это дало мнѣ надежду написать вамъ опять, и можетъ быть, этотъ разъ мое письмо найдетъ васъ въ Копенгагенѣ.

На этотъ разъ буду писать только о себѣ и именно объ одномъ только дѣлѣ. Не сообщайте вы то, что я вамъ напишу, никому, потому что чувствую, что это отчасти чернить меня. Но такъ какъ въ такомъ случаѣ фразы совершенно бесполезны и тяжелы, то и признаюсь вамъ прямо, — хотя и совѣстно признаться, — что я, по глупости моей, недѣли двѣ тому назадъ *весь проигрался*, т. е. проигралъ все, что со мной было.

Я игралъ и прежде, съ самаго пріѣзда моего въ Висбаденъ, но игралъ счастливо, и даже значительно (относительно говоря) выигралъ, но по глупости моей свихнулся и все проигралъ въ три дня, и теперь сижу въ самомъ скверномъ положеніи, какое только можно изобрѣсти, и изъ Висбадена не могу выѣхать.

Я написалъ въ Россію одному преданному мнѣ человѣку (Милюкову) и поручилъ ему постараться взять у когонибудь впередъ изъ издателей для меня, въ видѣ задатка будущихъ трудовъ. Онъ это мнѣ обѣщаетъ непремѣнно, да и самъ, можетъ быть, поможетъ, но письма отъ него и денегъ, я, по расчетамъ моимъ, не могу раньше ждать, какъ черезъ двѣ недѣли (отъ сего числа), и это самое скорое. Въ ожиданіи же сижу совершенно безъ гроша и, что всего хуже, долженъ въ отелѣ. А это ужъ хуже всего.

И потому, добрый другъ мой, рѣшаюсь обратиться къ вамъ. Спасите меня и выведите изъ бѣды: пришлите мнѣ на самый короткій срокъ 100 талеровъ. Этимъ я здѣсь расплачусь и тотчасъ же уѣду въ Парижъ, гдѣ у меня дѣло и гдѣ я отыщу одного человѣка (который навѣрно тамъ) и который тотчасъ же мнѣ поможетъ. Тогда немедленно вамъ отдамъ.

Пишу вамъ на угадъ, въ предположеніи, что вы въ Копенгагенѣ. Но въ случаѣ, если вы еще въ Россіи, и вамъ перешлютъ это письмо, и получите его не позже, какъ черезъ двѣ недѣли, т. е. *не позже* 19-го сентября здѣшняго стilia (по нашему 7-го), то все равно, пришлите мнѣ сюда эти 100 талеровъ, если можете, въ Висбаденъ. Если же позже получите, то и не присылайте. Я потому такъ пишу, что невольно долженъ

разсчитывать на худое. Милюковъ *наверно* мнѣ все устроитъ, но, во 1-хъ, онъ *одна* моя надежда въ Россіи, а во 2-хъ, онъ можетъ не быть въ Петербургѣ, потому что, при разставаніи нашемъ, говорилъ мнѣ, что думаетъ это лѣто съѣздить прогуляться въ Нижній.

Въ такомъ случаѣ, я могу еще долго быть безъ денегъ, и поѣздка моя въ Парижъ, которая для меня слишкомъ важна, можетъ не состояться. А тамъ я и деньги тоже могу достать. Кромѣ того, здѣсь я слишкомъ задолжаю, а это чрезвычайно тяжело. И потому, если можете, ради Бога пришлите.

Потому такъ обратился къ вамъ, что помню васъ прежняго, и что въ нашей жизни было много моментовъ, такъ насъ соединившихъ, что мы, хотя бы и были разъединены жизнію, не можемъ оставаться болѣе другъ другу чужды. Вотъ почему и рѣшился смѣло признаться вамъ въ этомъ глупомъ и малодушномъ моемъ поступкѣ. Пусть это между нами. На счетъ же денегъ думаю, что если у васъ есть въ эту минуту, то вы не оставите безъ помощи утопающаго.

Если будетъ у меня какая возможность, заѣду непременно въ Копенгагенъ.

Обнимаю васъ. Вашъ искренній

Федоръ Достоевскій.

Адресъ мой: Allemagne, Nassau, Wiesbaden, poste restante, à M-r Théodore Dostoiewsky.

Wiesbaden 10 (22 сентября) 1865 г.

Любезнѣйшій и Многоуважаемый

Александръ Егоровичъ.

Я писалъ вамъ уже два письма, на которыя не получилъ отвѣта. Такъ и положилъ, что вы вѣрно въ Россіи и не сдѣлали распоряженія, чтобъ письма выслались къ вамъ въ Россію. Здѣсь есть при русской церкви священникъ Янышевъ. Я съ нимъ познакомился и, разговаривая съ нимъ, узналъ, что онъ былъ въ Копенгагенѣ и васъ знаетъ. Онъ сообщилъ мнѣ, что вы намѣревались ѣхать въ Россію, съ тѣмъ чтобъ къ сентябрю воротиться въ Копенгагенъ. Имѣя такимъ образомъ, хотя нѣкоторую надежду, что это письмо найдетъ васъ уже въ Копенгагенѣ, рѣшился я написать вамъ еще, въ третій разъ. Авось хоть это письмо дойдетъ до васъ.

Надобно вамъ сказать, что во второмъ письмѣ моемъ я просилъ у васъ помощи. Я весь истратился, задолжалъ въ отелѣ, кредитъ мой здѣсь исчезъ, и я въ самомъ тягостномъ положеніи. Тоже самое продолжается и до сихъ поръ, съ тою только разницею, что вдвое хуже. Между тѣмъ, надо ѣхать въ Россію, тамъ неотлагаемая дѣла, а мнѣ ни расплатиться, ни подняться не на что и я въ совершенномъ отчаяніи. Еще не много, и я сдѣлаюсь серьезно боленъ. Что мнѣ дѣлать, не могу понять!

Надѣялся я на мою повѣсть, которую пишу день и ночь. Но вмѣсто 3-хъ листовъ она растянулась въ 6-ть, и работа до сихъ поръ не окончена. Правда, мнѣ-же больше денегъ придется, но во всякомъ случаѣ раньше мѣсяца я ихъ не получу изъ Россіи. А до тѣхъ поръ? Здѣсь уже грозятъ полиціей. Что-же мнѣ дѣлать?

Я писалъ вамъ и просилъ, чтобъ вы выслали мнѣ 100 талеровъ. Эти деньги теперь уже не помогутъ мнѣ радикально, но по крайней мѣрѣ сильно облегчатъ меня и спасутъ отъ сраму. И потому, если можете мнѣ помочь, если вы тотъ-же прежній, добрый другъ мой, то не откажите мнѣ въ этихъ 100 талерахъ. Повѣсть моя стѣбитъ, по теперешнимъ нашимъ цѣнамъ,—minimum 1,000 сереб. и черезъ мѣсяць я *наверно* вамъ отдамъ.

Я до того въ тоскѣ, до того измученъ заботой, что не въ состояніи ничего вамъ написать болѣе. Простите, добрый другъ, что васъ беспокою. Есть—такъ помогите.

Адресъ мой: Wiesbaden, poste restante, à M-г Théodore Dostoiewsky.
Этотъ адресъ на цѣлый мѣсяць.

Крѣпко жму вамъ руку

Вашъ Федоръ Достоевскій.

Висбаденъ, 28 сентября 1865 г.

Благодарю васъ, безцѣнный другъ, что помогли мнѣ. Вы показали, что вы всегдашній, неизмѣнный другъ и что сердце ваше не измѣнилось съ лѣтами. Вы ѣдете въ Швецію,—вѣроятно не надолго. Такимъ образомъ, это письмо, можетъ быть, и не застанетъ васъ въ Копенгагенѣ. Вотъ вопросъ: застану-ли я васъ въ Копенгагенѣ? Мнѣ бы очень, очень хотѣлось заѣхать къ вамъ. Но если у меня будетъ хотя два-три дня въ моемъ распоряженіи лишнихъ, и притомъ при хорошихъ обстоятельствахъ,—то всетаки я не хочу послѣдовать вашему совѣту возвратиться въ Петербургъ моремъ, потому что мнѣ *необходимо* заѣхать дня на три въ Псковскую губернію (возлѣ самой дороги).

Ваши сто талеровъ принесли мнѣ пользу отчасти относительную. Такъ какъ госпожа Бриккенъ сама (вчера) пришла въ нашъ отель вечеромъ и не застала меня дома, то и успѣла разсказать хозяину отеля, что она должна мнѣ передать письмо съ деньгами. А вслѣдствіе того сегодня, когда я къ ней ходилъ самъ и получилъ, хозяинъ, увѣдомленный о деньгахъ, отобралъ у меня почти все, такъ что мнѣ осталось десятка полтора гульденовъ. Это совершенно въ здѣшнихъ нравахъ, а между тѣмъ у меня есть одинъ долгъ и одинъ расходъ (выкупъ заклада), которые ужасно меня тревожатъ. Но все равно: авось получу скоро свои деньги, и тогда отданное теперь хозяину будетъ уже отданное. *Autant de gagné.*

Надѣюсь, что мнѣ не долго ждать, и однакожь всетаки дней 10. Эти 10 дней я проведу въ лихорадкѣ. Вотъ на чтѣ я рѣшился: я написалъ письмо къ Каткову, съ предложеніемъ моей повѣсти въ „Русскій Вѣстникъ“ и съ просьбою выслать сюда 300 руб. впередъ. Но я боюсь очень двухъ обстоятельствъ: 1) 6 лѣтъ тому назадъ Катковъ мнѣ выслалъ въ Сибирь (передъ отъѣздомъ изъ Сибири) 500 впередъ за повѣсть, которую еще я ему не послалъ. (Можетъ и 1,000 выслалъ; я забылъ: 500 или 1,000). А вдругъ потомъ мы письменно повздорили въ условіяхъ и разошлись. Деньги Каткову были возвращены, и повѣсть, которую, тѣмъ временемъ, я успѣлъ уже выслать, взята назадъ. 2) Съ тѣхъ поръ, въ продолженіи изданія „Времени“, были между обоими журналами потасовки. А Катковъ такой человѣкъ, что я очень боюсь теперь, чтобъ онъ, припомнивъ прошлое, не отказался высомѣрно теперь отъ предлагаемой мною повѣсти и не оставилъ меня съ носомъ. Тѣмъ болѣе, что я не могъ, предлагая ему повѣсть, сдѣлать это предложеніе иначе, какъ въ независимомъ тонѣ и безо всякаго униженія *).

А между тѣмъ, повѣсть, которую я пишу теперь, будетъ можетъ быть лучше всего, чтѣ я написалъ, если дадутъ мнѣ время ее окончить. О, другъ мой! Вы не повѣрите, какая мука писать на заказъ. И даже матеріально невыгодно. Чѣмъ слабѣе вещь, тѣмъ больше спускается цѣна. Но чтѣ мнѣ дѣлать: у меня 15,000 долгу, тогда какъ въ это время прошлаго года у меня не было долгу ни копейки. Я не только пожертвовалъ для семейства брата своими собственными 10-ю тысячами, но даже давалъ векселей и переписалъ братнины векселя на свое имя, и теперь буду сидѣть нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ за чужіе долги. А съ бѣднымъ моимъ Пашей чтѣ будетъ? А съ больнымъ братомъ Колей? Вотъ я самъ

*) О Катковѣ читатель найдетъ дальше совершенно другіе отзывы. Мнѣніе, выраженное въ этомъ письмѣ, вовсе не подтвердилось на дѣлѣ. *Н. С.*

выѣхалъ за границу, чтобъ поправить здоровье и что нибудь написать. Написать-то я написалъ, а здоровье стало хуже; падучей нѣтъ, а сжигаетъ меня какая-то внутренняя лихорадка, ознобъ, жаръ каждую ночь, и я худѣю ужасно. Должно быть простудился. До свиданія, другъ мой. Адресъ мой все тотъ же: Wiesbaden, poste restante, пожалуйста poste restante.

Вашъ вѣсь Ф. Достоевскій.

Деньги, если не успѣю отдать вамъ въ руки еще до Россіи, отдамъ въ Петербургъ, какъ вы назначили.

Я въ Висбаденѣ пробуду навѣрно еще дней десять до отвѣта отъ Каткова.

Петербургъ, 8 ноября 1865 г.

Добрѣйшій и многоуважаемый другъ Александръ Егоровичъ. Неужели ужъ четыре недѣли прошли? Сосчиталъ и дѣйствительно такъ. А чтѣ я сдѣлалъ? Странно: По вашему письму вижу, что вы какъ будто и не получили мою записочку съ парохода изъ Кронштадта. Такъ-ли? Напишите. Я вамъ лишній фунтъ задолжалъ. Это была не записка, а нѣсколько словъ на пароходномъ счетѣ. Не хватило фунта, а между тѣмъ на карманные мои расходы пошло всего 5 шиллинговъ (на пиво. Вода была сквернѣйшая). Явились такія рубрики счета, которыхъ и подозрѣвать нельзя было и избѣжать тоже. Я и написалъ на счетѣ вамъ нѣсколько строкъ, прося заплатитъ этотъ фунтъ въ Копенгагенѣ. Потому что у меня уже ни копѣйки не было. Неужели они не явились? Переходъ былъ спокойный, но притащились мы только на шестыя сутки.

Какъ пріѣхалъ — сейчасъ припадокъ, въ первую ночь, — сильнѣйшій. Оправился, дней черезъ пять — другой припадокъ, еще сильнѣе. Наконецъ, 3-го дня еще, хоть и слабый, но три сряду меня ужасно разстроили. — Тѣмъ не менѣе сижу и работаю не разгибая шеи. Катковъ прислалъ 300 руб. въ Висбаденъ, дома ихъ нашелъ у себя: переслалъ Янышевъ. Между тѣмъ, все на меня обрушилось. Семейство брата (повойнаго) въ полномъ разстройствѣ. Только меня и ждали. Все имъ отдалъ и кромѣ того на дняхъ занялъ еще 100 руб. Чтѣ мнѣ дѣлать, не знаю. Совѣтывался только съ Полонскимъ. Много говорилъ мнѣ о томъ, что надо *непретменно* подождать съ журналомъ и совѣтывалъ написать романъ и еще что нибудь, чтобъ подновить свое имя, и тогда уже начинать. Значитъ черезъ годъ. На счетъ-же вспоможенія качаетъ головой. Но я еще не

пробоваль, а все еще хочу попробовать. Я буду просить для семейства брата у министра.

Въ головѣ у меня есть одно періодическое изданіе, не журналъ. И полезное и выгодное. Можетъ быть, осуществлю въ будущемъ году. Но пока надо романъ кончить. Работаю изъ всѣхъ силъ, а между тѣмъ это запрещено докторами, ибо припадки.

Сейчасъ вамъ ничего не могу выслать. Потерпите, добрый другъ. За романъ получу не менѣе 2,500 руб. Отдамъ. Вѣдь ужъ это вѣрно; я и задатокъ получилъ. Только-бы кончить.

Пальто и пледъ пришлю. Можетъ завтра-же вышлю въ Любекъ. — Что мнѣ дѣлать съ Янышевымъ! Боже мой: къ 12-му декабрю ему надо *непретѣнно* выслать долгъ. Тогда, можетъ, и вамъ тоже вышлю. Но гдѣ взять? У Каткова-же слишкомъ не политично еще просить впередъ. Невозможно. Нелѣпо. Совсѣмъ не тѣ у меня отношенія.

Полную преданность и безпредѣльное уваженіе свидѣтельствую вашей супругѣ. А главное желаю ей здоровья—это главное. Поздравляю съ дочерью и цѣлую всѣхъ дѣтей, особенно *умницу*.

До свиданія, голубчикъ и старій другъ,

Крѣпко жму вашу руку

Вашъ весь О. Достоевскій.

Все хотѣлъ вамъ писать и все выжидалъ чего нибудь положительнаго. Папа мой здоровъ и меня не утѣшаетъ, а братъ больной, навѣрно скоро умереть—въ этомъ году, можетъ быть. Буду вамъ подробно писать о всѣхъ новостяхъ и *планахъ*. Не забывайте меня и вы. У насъ снѣгъ, санная дорога и Нова становится. Пароходы врядъ-ли могутъ быть. Перешлю другимъ образомъ. Чемоданъ получилъ изъ Франкфурта. Все стоило 65 р.

Петербургъ, 9-го мая 1866 г.

Добрый другъ Александръ Егоровичъ!

Запоздалъ отвѣтомъ и спѣшу наверстать потерянное. Повѣрьте, другъ неизмѣнный Александръ Егоровичъ, что совѣсть меня самого беспокоитъ, и еслибъ ваше письмо пришло ко мнѣ только недѣлей раньше, — я бы вамъ тотчасъ выслалъ. Не смѣйтесь, что такъ говорю. Вотъ вамъ мои дѣла: всю зиму жилъ анахоретомъ, работалъ, разстроилъ здоровье, жилъ вопійками, а истратилъ 1,500 руб. — Куда? Да съ меня такъ и рвутъ! На страстной поѣхалъ въ Москву и взялъ у Каткова *спередъ* 1,000 руб.

Цѣль была та, чтобы поскорѣй поѣхать въ Дрезденъ, засѣсть тамъ на 3 мѣсяца и кончить романъ, *чтобы никто не мѣшалъ*. Иначе здѣсь, въ Петербургѣ, невозможно кончить. Припадки усиливаются (чего за границей не бываетъ), а кредиторы, чѣмъ болѣе имъ плати, тѣмъ становятся нахальнѣе. А между тѣмъ, они-же должны быть мнѣ благодарны, что послѣ смерти брата я переписалъ векселя на себя и часть уже заплатилъ. А еслибъ я не переписалъ векселя на себя, то ничего-бы они не получили.— Но дѣло обернулось такъ что, на этотъ разъ въ выдачѣ паспорта за границу потребовались особня формальности, дѣло затянулось, а курсъ сталъ падать, и чтò было на Святой еще возможно, то теперь и немислимо. А между тѣмъ кредиторы стали подавать ко взыскаю, и моя тысяча пошла прахомъ. Мнѣ рѣшительно нельзя жить въ Петербургѣ.— Не смотря на все это, сижу и продолжаю романъ изо всѣхъ силъ. Онъ въ настоящую минуту — одна моя надежда. За него еще придется мнѣ дополучить около 1,500, а можетъ быть и болѣе, а потомъ продамъ на второе изданіе тоже никакъ не менѣе 1,500 руб. (уже торгуютъ). Но деньги съ Каткова получать начну не раньше іюля. Въ іюлѣ вамъ и пришло, — *несомненно*. Если-же хотя малѣйшая возможность будетъ прислать раньше (а это очень можетъ случиться, потому что книгопродавцы уже торгуютъ на второе изданіе, прежде чѣмъ романъ конченъ), то тотчасъ-же пришло. А вась-же попрошу черкнуть мнѣ хоть въ двухъ словахъ точную цифру моего прошлогодняго къ вамъ долга въ *ристаллахъ*, потому что записную книжку мою я потерялъ и помню мой долгъ приблизительно, но не точно. Прибавлю, что мнѣ прискорбнѣе вашего не послать вамъ теперь. Вы, конечно, обвините меня; зачѣмъ другимъ платилъ, а не вамъ? Все, чтò могу отвѣтить въ извиненіе себѣ, это то— что безъ намѣренія произошло. Они подлѣ меня и стиснули меня такъ, чтодохнуть нельзя было—все и роздалъ по неволѣ.

Курсъ-то нашъ сталъ падать по европейскимъ причинамъ; за Каткова я не стою, и стоять не стану очень, но социализма онъ не проповѣдуетъ. Вы читаете вѣрно только заграничныя статьи. Это мало, чтобы знать дѣло. Неужели вы не прїѣдете на лѣто? Много было-бы объ чемъ поговорить. Я-же, кажется, останусь въ Петербургѣ, а слѣдственно заплачу лишнихъ рублей 1000. Хоть-бы въ Москву или въ деревню куда уѣхать? Напишите же.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

Къ Аполлону Николаевичу Майкову.

Женева, 16 (28) августа 1867 г.

Эвона сколько времени я молчалъ и не отвѣчалъ на дорогое письмо ваше, дорогой и незабвенный другъ Аполлонъ Николаевичъ. Я васъ называю: *незабвеннымъ другомъ* и чувствую въ моемъ сердцѣ, что названіе правильно: мы съ вами такіе *давнишніе* и такіе *привычные*, что жизнь, разлучавшая и даже *разводившая* насъ иногда, не только не развела, но даже, можетъ быть, и свела насъ окончательно. Если вы пишете, что почувствовали отчасти мое отсутствіе, то ужь колыми паче я ваше. Кромѣ ежедневно подтверждавшагося во мнѣ убѣжденія въ сходствѣ и стачкѣ нашихъ мыслей и чувствъ, — возьмите еще въ соображеніе, что я, потерявъ васъ, попалъ еще, сверхъ того, на чужую сторону, гдѣ нѣтъ не только русскаго лица, русскіхъ книгъ и русскіхъ мыслей и заботъ, но даже привѣтливаго лица нѣтъ. Право, я даже не понимаю, какъ можетъ заграничный русскій человѣкъ, если только у него есть чувство и смыслъ, этого не замѣтить и больно не почувствовать. Можетъ быть эти лица и привѣтливы для себя, но намъ-то кажется, что для насъ нѣтъ. *Право такъ!* И какъ можно выживать жизнь за границей? Безъ родины — *страданіе, ей Богу!* Вѣхать хоть на полгода, хоть на годъ — хорошо. Но вѣхать такъ какъ я, не зная и не вѣдая, когда ворочусь — очень дурно и тяжело. Отъ идеи тяжело. А мнѣ Россія нужна, для моего *писанія* и труда нужна (не говорю уже объ остальной жизни), да и какъ еще. Точно рыба безъ воды; силъ и средствъ лишаешься. Вообще объ этомъ поговоримъ. Обо многомъ мнѣ надо съ вами поговорить и попросить вашего совѣта и помощи. Вы *одинъ* у меня, съ которымъ я могу отсюда говорить. NB. Кстати: прочтите это письмо про себя и не рассказывайте обо мнѣ кому не нужно знать. Сами увидите. Еще слово: почему я такъ долго вамъ не писалъ? На это я вамъ обстоятельно отвѣтить не въ силахъ. Самъ сознавалъ себя слишкомъ не устойчиво и ждалъ хоть малѣйшей осѣдлости, чтобъ начать съ вами переписку. Я на васъ, на одного васъ надѣюсь. Пишите мнѣ чаще, не оставляйте меня, голубчикъ! Я вамъ теперь буду очень часто и регулярно писать. Заведите переписку постоянную, ради Бога! Это мнѣ Россію замѣнитъ и силъ мнѣ придастъ.

Разскажу-же вамъ эти четыре мѣсяца *tant bien que mal*, и откровенно.

Вы знаете, какъ я выѣхалъ и съ какими причинами. Главныхъ причинъ двѣ: 1-я — спасать не только здоровье, но даже жизнь. Припадки стали ужь повторяться каждую недѣлю, а чувствовать и *сознавать* ясно

это нервное и *мозговое* разстройство было невыносимо. Разсудокъ дѣйствительно разстроивался,—это истина. Я это чувствовалъ; а разстройство нервовъ доводило иногда меня до бѣшеныхъ минутъ. 2-я причина или обстоятельство: кредиторы ждать больше не могли, и въ то время, какъ я выѣзжалъ, ужъ было подано во взысканію Латкинымъ и потомъ Печаткинымъ—не много меня не захватили. Оно положимъ—(и говорю не для красы и не для словца)—*домовое отдѣленіе* съ одной стороны было-бы мнѣ даже очень полезно. Дѣйствительность, матеріаль, второй мертвый домъ, однимъ словомъ матеріалу было-бы, по крайней мѣрѣ, на 4 или на 5 тысячъ рублей, но вѣдь я только-что женился и, кромя того, выдержалъ-ли бы я душеное лѣто въ домъ Тарасова?—Это составляло неразрѣшимый вопросъ. Если-же бы мнѣ писать въ домъ Тарасова, при припадкахъ усиленныхъ, было нельзя,—то чѣмъ-бы я расплатился съ долгами? А обуза выросла страшная. Я поѣхалъ, но уѣзжалъ я тогда съ смертью въ душѣ. Въ заграницу я не вѣрилъ, т. е. я вѣрилъ, что нравственное вліяніе заграницы будетъ очень дурное: одинъ, *безъ матеріалу*, съ юнымъ созданиемъ, которое съ наивною радостію стремилось раздѣлать со мною странническую жизнь; но вѣдь я видѣлъ, что въ этой наивной радости много неопытнаго и первой горячки, и это меня смущало и мучило очень. Я боялся, что Анна Григорьевна соскучится вдвоемъ со мною. А вѣдь мы дѣйствительно до сихъ поръ только *одни* вдвоемъ. На себя же я не надѣялся: характеръ мой больной, и я предвидѣлъ, что она со мной измучается. (NB. Правда, Анна Григорьевна оказалась сильнѣе и глубже, чѣмъ я ее зналъ и рассчитывалъ, и во многихъ случаяхъ была просто ангеломъ-хранителемъ моимъ; но въ то же время—много дѣтскаго и двадцатилѣтняго, что прекрасно и естественно *необходимо*, но чему я врядъ-ли имѣю силы и способность отвѣтить. Все это мнѣ мерещилось при отъѣздѣ и хотя, повторяю, Анна Григорьевна оказалась и сильнѣе, и лучше, чѣмъ я думалъ, но я все-таки и до сихъ поръ не спокоенъ). Наконецъ, наши малыя средства смущали меня: поѣхали мы со средствами весьма не великими и задолжавъ *впередъ ТРИ (!)* тысячи Каткову. Я, правда, рассчитывалъ тотчасъ-же, выѣхавъ заграницу, приняться немедленно за работу. Чтожь оказалось? Ничего, или почти ничего до сихъ поръ не сдѣлалъ и только теперь принимаюсь за работу серьезно и окончательно. Правда, на счетъ того, что *ничего* не сдѣлалъ, я *еще* въ сомнѣніи: зато прочувствовалось и много *кой-чего выдумалось*; но написаннаго, но *чернаго на бѣломъ* еще не много, а вѣдь *черное на бѣломъ* и есть окончательное; за него только и платять.

Бросивъ поскорѣе скучный Берлинъ (гдѣ я стоялъ одинъ день, гдѣ

скучные нѣмцы успѣли таки разстроить мои нервы до злости и гдѣ я былъ въ русской банѣ) — мы проѣхали въ Дрезденъ, наняли квартиру и на время основались.

Впечатлѣніе оказалось очень странное; тотчасъ-же мнѣ представился вопросъ: для чего я въ Дрезденъ, именно въ Дрезденъ, а не гдѣнибудь въ другомъ мѣстѣ, и для чего именно стоило бросать все въ одномъ мѣстѣ и прѣзжать въ другое? Отвѣтъ-то былъ ясный (здоровье, отъ долговъ и проч.). Но сверху было и то, что я слишкомъ ясно почувствовалъ, что теперь гдѣ-бы ни жить — оказывается все равно, въ Дрезденъ или гдѣ-нибудь, вездѣ на чужой сторонѣ, вездѣ лопоть отрѣзанный. Я было тотчасъ-же хотѣлъ за работу, и почувствовалъ, что положительно не работается, положительно не то впечатлѣніе. Что-же я дѣлалъ? Прозябалъ. Читалъ, кой-что писалъ, мучился отъ тоски, потомъ отъ жары. Дни проходили однообразно. Мы съ Аней регулярно послѣ обѣда гуляли въ Вольшомъ саду, слушали дешевую музыку, потомъ читали, потомъ ложились спать. Въ характерѣ Анны Григорьевны оказалось рѣшительное антикварство (и это очень для меня мило и забавно). Для нея, напримеръ, цѣлое занятіе пойти осматривать какую-нибудь глупую ратушу, записывать, описывать ее, что она дѣлаетъ своими стенографическими знаками и исписала 7 книжекъ; но пуще всего заняла ее и поразила галерея, и я этому былъ очень радъ: потому что въ душѣ ея возродилось слишкомъ много впечатлѣній, чтобъ соскучиться. Ходила она въ галерею каждый день. Сколько мы съ ней переговорили и перетолковали о всѣхъ нашихъ, о петербургскихъ, о московскихъ, о васъ и объ Аннѣ Ивановнѣ; было довольно грустно отчасти.

Мыслей моихъ вамъ не описываю. Много накопилось впечатлѣній. Читалъ русскія газеты и отводилъ душу. Почувствовалъ въ себѣ, наконецъ, что матеріалу накопилось на цѣлую статью объ отношеніяхъ Россіи къ Европѣ и объ русскомъ верхнемъ слоѣ. Но что говорить объ этомъ! Нѣмцы мнѣ разстраивали нервы, а наша русская жизнь, нашего верхняго слоя, и ихъ вѣра въ Европу и *цивилизацию* — тоже. Происшествіе въ Парижѣ меня потрясло ужасно. Хороши тоже адвокаты парижскіе, кричавшіе *vive la Pologne!* Фу, что за мерзость, а главное глупость и казенщина! Еще болѣе убѣдился я тоже въ моей прежней идеѣ: что отчасти и выгодно намъ, что Европа насъ не знаетъ и такъ гнусно насъ знаетъ. А подробности процесса г..... Березовскаго! Сколько гнусной казенщины; но главное, главное, — какъ это они не выболтались, какъ все еще на одномъ и томъ-же мѣстѣ, все на одномъ и томъ-же мѣстѣ!

Россія тоже отсюда выпуклѣе кажется нашему брату. Необыкновен-

ный фактъ состоятельности и неожиданной зрѣлости русскаго народа при встрѣчѣ всѣхъ нашихъ реформъ (хотя-бы только одной судебной), и въ тоже время извѣстіе о высѣченномъ купцѣ 1-й гильдіи въ Оренбургской губерніи исправникомъ. Одно чувствуется: что русскій народъ, благодаря своему благодѣтелю и его реформамъ, сталъ наконецъ мало-по-малу въ такое положеніе, что по неволѣ приучится къ дѣловитости, къ самонаблюденію, а въ этомъ-то вся и штука. Ей-Богу, время теперь по перелому и реформамъ чуть-ли не важнѣе Петровскаго. А что дорѣдги? Поскорѣ-бы на югъ, поскорѣ какъ можно; въ этомъ вся штука. Къ тому времени вездѣ *правый судъ* и тогда, что за великое обновленіе! (Обо всемъ объ этомъ здѣсь думается, мечтается; отъ всего этого сердце бьется). Здѣсь хоть и ни съ кѣмъ почти не встрѣчался, но и нельзя не столкнуться нечаянно. Въ Германіи столкнулся съ однимъ русскимъ, который живетъ за границей постоянно, въ Россію ѣздитъ каждый годъ, недѣли на три, получить доходъ и возвращается опять въ Германію, гдѣ у него жена и дѣти, всѣ онѣхчались. Между прочимъ спросилъ его: „Для чего собственно онъ экспатрировался?“ Онъ буквально (и съ раздраженною наглостью) отвѣчалъ: „Здѣсь цивилизація, а у насъ варварство. Кромя того, здѣсь нѣтъ народностей; я ѣхалъ въ вагонѣ вчера и разобрать не могъ француза отъ англичанина и отъ нѣмца.“

— Такъ, стало быть, это прогрессъ по *вашему*?

„Какже, разумѣется“.

— Да знаете-ли вы, что это совершенно невѣрно? Французъ прежде всего французъ, а англичанинъ—англичанинъ, и быть самими собою ихъ высшая цѣль. Мало того: это-то и ихъ сила.

„Совершенно не правда. Цивилизація должна сравнять все, и мы тогда только будемъ счастливы, когда забудемъ, что мы русскіе, и всякій будетъ походить на всѣхъ. Не Каткова-же слушать!“

— А вы не любите Каткова?

„Онъ подлець“.

— Почему?

„Потому, что поляковъ не любить“.

— А читаете вы его журналъ?

„Нѣтъ, никогда не читаю“.

Разговоръ этотъ я передаю буквально. Человѣкъ этотъ принадлежитъ къ молодымъ прогрессистамъ, впрочемъ, кажется держитъ себя отъ всѣхъ въ сторонѣ. Въ какихъ-то шпидовъ, ворчливыхъ и брезгливыхъ, они за границей обращаются.

.....

..... Онъ объявилъ мнѣ, что онъ окончательный атеистъ. Но Воже мой: Деизмъ намъ далъ Христа, т. е. до того высокое представленіе человѣка, что его понять нельзя безъ благоговѣнія и нельзя не вѣрить, что это идеаль челоуѣчества вѣковѣчный. А что же они-то
 намъ представили! Въмѣсто высочайшей красоты Вожеіей, на которую они плюютъ, всѣ они до того пакостно самолюбивы, до того безстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно: на что они надѣются и кто за ними пойдетъ. Ругаль онъ Россію и русскихъ безобразно, ужасно. Но вотъ что я замѣтилъ: всѣ эти либералишки и прогрессисты, преимущественно школы еще Вѣдлинскаго, ругать Россію находятъ первымъ своимъ удовольствіемъ и удовлетвореніемъ. Разница въ томъ, что послѣдователи просто ругаютъ Россію и откровенно желаютъ ей провалиться (преимущественно провалиться!) Эти же отпрыски прибавляютъ, что они *любятъ Россію*. А между тѣмъ, не только все, что есть въ Россіи чуть-чуть самобытнаго, имъ ненавистно, такъ что они его отрицаютъ и тотчасъ же съ наслажденіемъ обращаютъ въ карикатуру, но что, еслибъ дѣйствительно представить имъ наконецъ фактъ, который бы ужъ нельзя опровергнуть или въ карикатурѣ испортить, а съ которымъ надо непременно согласиться, то, мнѣ кажется, они бы были до муки, до боли, до отчаянія несчастны. 2) Замѣтилъ я, что они (равно какъ и всѣ, долго не бывшіе въ Россіи) рѣшительно фактовъ не знаютъ (хотя и читаютъ газеты) и до того грубо потеряли всякое чутье Россіи, такихъ обыкновенныхъ фактовъ не понимаютъ, которые даже нашъ русскій нигилистъ ужъ не отрицаетъ и только карикатуритъ по своему. Между прочимъ, онъ говорилъ, что мы должны ползать передъ нѣмцами, что есть одна общая всѣмъ дорога и неминувшая, — это цивилизація, и что всѣ попытки руссизма и самостоятельности — свинство и глупость.

Наконецъ, въ Дрезденѣ тоска измучила и меня и Анну Григорьевну. А главное оказались слѣдующіе факты: 1) по письмамъ, которыя переслалъ мнѣ Паша (онъ только разъ и писалъ мнѣ), оказалось, что кредиторы подали ко взыскаіію (стало бытъ *возвращаться въ Россію до уплаты нельзя*). 2) Жена почувствовала себя беременною. (*Это пожелуста* между нами: девять мѣсяцевъ выйдутъ къ февралю: стало бытъ возвращаться тѣмъ болѣе нельзя). 3) Предсталъ вопросъ: что же будетъ съ моими петербургскими, съ Эмилией Ѳедоровной и съ Пашей и съ нѣкоторыми другими? Денегъ, денегъ, а ихъ нѣтъ! 4) Если зимовать, то зимовать гдѣ-нибудь на югѣ. Да къ тому-же хотѣлось хоть что-нибудь

показать Аннѣ Григорьевнѣ, развлечъ ее, поѣздить съ ней. Рѣшили зимовать гдѣ-нибудь въ Швейцаріи, или въ Италіи. А денегъ нѣтъ. Взятая нами уже очень поистратились. Написалъ къ Каткову, описалъ все положеніе и попросилъ еще 500 руб. *впередъ*. Какъ вы думаете: вѣдь прислалъ! Что за превосходный это человѣкъ! Это съ сердцемъ человѣкъ! Мы отправились въ Швейцарію. Но тутъ, начну вамъ описывать мои подлости и позоры.

Голубчикъ Аполлонъ Николаевичъ, я чувствую, что могу васъ считать какъ моего судью. Вы человѣкъ съ сердцемъ, въ чемъ вы убѣдили меня давно, наконецъ сужденіе ваше я всегда цѣнилъ. Мнѣ передъ вами покаяться не больно. Но пишу только для *васъ одного*. Не отдавайте меня на судъ людской.

Проѣзжая не далеко отъ Бадена, я вздумалъ туда завернуть. Соблазнительная мысль меня мучила: пожертвовать 10 гуидоровъ и можетъ быть выиграю хоть 2,000 франковъ лишнихъ, а вѣдь это на 4 мѣсяца житья, со всѣмъ, со всѣми петербургскими. Гаже всего, что мнѣ и прежде случалось иногда выигрывать. А хуже всего, что натура моя подлая и слишкомъ страстная. Вездѣ-то и во всемъ я до послѣдняго предѣла дохожу, всю жизнь за черту переходилъ.

Бѣсъ тотчасъ же сыгралъ со мной штуку: я дня въ три выигралъ 4,000 франковъ съ необыкновенною легкостію. Теперь изображу вамъ, какъ все это мнѣ представилось: съ одной стороны этотъ легкій выигрышъ, — изъ *ста* франковъ я въ три дня сдѣлалъ четыре тысячи. Съ другой стороны — долги, взъисканія, тревога душевная, невозможность воротиться въ Россію. Наконецъ третье и главное — сама игра. Знаете-ли, какъ это втягиваетъ! Нѣтъ, клянусь вамъ, тутъ не одна корысть, хотя мнѣ прежде всего нужны были деньги для денегъ. Анна Григорьевна умоляла меня удовольствоваться 4,000 франковъ и тотчасъ уѣхать. Но вѣдь такая легкая и возможная возможность поправить все! А примѣры-то? Кромѣ собственнаго выигрыша, ежедневно видишь, какъ другіе берутъ по 20,000, 30,000 франковъ. (Проигравшихся не видишь). Чѣмъ они святые? Мнѣ деньги нужнѣе ихъ. Я рискнулъ дальше и проигралъ. Сталъ свои *послѣднія* проигрывать, раздражаясь до лихорадки, — проигралъ. Сталъ закладывать платьѣ. Анна Григорьевна *все* свое заложила, послѣднія вещицы (что за ангелъ! Какъ утѣшала она меня, какъ скучала въ проклятомъ Баденѣ, въ нашихъ двухъ комнаткахъ надъ кузницей, куда мы переѣхали!) Наконецъ довольно, все было проиграно. (О, какъ подлы при этомъ нѣмцы, какіе всѣ до одинаго ростовщики, мерзавцы и надувалы! Хозяйка квартиры, понимая, что намъ, покажѣтъ, до полученія

денегъ, некуда ѣхать, набавила цѣну!) Наконецъ, надо было спастись, уѣзжать изъ Бадена. Опять написалъ Каткову, опять попросилъ 500 рублей (не говоря объ обстоятельствахъ, но письмо было изъ Бадена, и онъ навѣрно кое-что понялъ). Ну-съ, вѣдь прислалъ! ,Прислалъ! Итого теперь 4,000 взято *впередъ* изъ „Русскаго Вѣстника“. Но, однакожь, вотъ въ чемъ дѣло: изъ этихъ 500 болѣе половины пошло на уплату процентовъ и перезакладъ нашей мебели въ Петербургѣ, что сдѣлала мать Анны Григорьевны. На ея имя, по моей просьбѣ, и деньги были высланы изъ „Русскаго Вѣстника“. Затѣмъ 100 руб. пошли на уплату долговъ въ Баденѣ, 50 рублей ждемъ еще—мать Анны Григорьевны вышлетъ (изъ тѣхъ же 500 руб. Это недополученный остатокъ) и наконецъ, франковъ двѣсти осталось намъ на переѣздъ въ Женеву (почему въ Женеву? А почему я знаю; не все-ли равно?) Въ Женеву-то мы переѣхали, наняли *chambre garnie* у двухъ старухъ, а теперь, т. е. на четвертый день у насъ *всего капитала* 18 франковъ. Кромѣ 50 рублей, которые ожидаемъ надняхъ отъ Анны Николаевны, — мѣсяца на два не предстоитъ въ виду никакого полученія.

Но чтобъ окончить съ Баденомъ: въ Баденѣ мы промучились, въ этомъ адѣ, 7 недѣль. Въ самомъ началѣ, какъ только что я пріѣхалъ въ Баденъ, на другой же день я встрѣтилъ въ вокзалѣ N. N. Какъ конфузился меня въ началѣ N. N.! Онъ тоже поигрывалъ. Но такъ какъ оказалось, что скрыться нельзя, а къ тому же я самъ играю съ слишкомъ грубою откровенностію, то онъ и пересталъ отъ меня скрываться. Игралъ онъ съ лихорадочнымъ жаромъ, игралъ все 2 недѣли, которыя прожилъ въ Баденѣ, и, кажется, значительно проигрался. Но дай Богъ ему здоровья, милому человѣку; когда я проигрался до тла (а онъ видѣлъ въ моихъ рукахъ много золота), онъ далъ мнѣ, по просьбѣ моей, 60 франковъ взаимы. Осуждалъ онъ должно быть меня ужасно: „зачѣмъ я все проигралъ, а не половину, какъ онъ?“

.....

Теперь выслушайте, другъ мой, мои намѣренія: я, конечно, сдѣлалъ подло, что проигралъ. Но, говоря сравнительно, я проигралъ немного своихъ-то денегъ. Тѣмъ не менѣе, эти деньги могли служить мнѣ мѣсяца на два жизни, даже на четыре, судя по тому, какъ мы живемъ. Я уже вамъ сказалъ: я не могъ устоять противъ выигрыша. Если-бъ я первоначально проигралъ 10 лундоровъ, какъ положилъ себѣ, я бы тотчасъ бросилъ все и уѣхалъ. Но выигрышъ 4,000 франковъ погубилъ меня. Возможности не было устоять противъ соблазна выиграть больше (когда это

оказывалось такъ легко) и разомъ выйти изъ всѣхъ этихъ взысканій, обезпечить себя на время и всѣхъ моихъ: Эмилию Федоровну, Пашу и пр. Впрочемъ, это все ни мало меня не оправдываетъ, потому что я былъ не одинъ. Я былъ съ юнымъ, добрымъ и прекраснымъ существомъ, которое вѣритъ въ меня вполне, котораго я защитникъ и покровитель, а слѣд. которое я не могъ губить и такъ рисковать всѣмъ, хотя-бы и немногимъ. Будущность моя представляется мнѣ очень тяжелой: главное, возвратиться въ Россію не могу, по вышеизложеннымъ причинамъ, а пуще всего вопросъ: чтъ будетъ съ тѣми, которые зависятъ отъ моей помощи? Всѣ эти мысли убиваютъ меня. Но такъ или этакъ, а изъ этого положенія, рано-ли, поздно-ли, надо выйти. Надѣяться-же я могу, конечно, только на одного себя, потому что другаго ничего нѣтъ въ виду.

Въ 65 году, возвратясь изъ Висбадена, въ октябрѣ, я кое-какъ уговорилъ кредиторовъ капельку подождать, сосредоточился въ себѣ и принялся за работу. Мнѣ удалось, и кредиторамъ было порядочно заплачено. Теперь я пріѣхалъ въ Женеву съ идеями въ головѣ. Романъ есть, и если Богъ поможетъ, выйдетъ вещь большая и, можетъ быть, недурная. Люблю я ее ужасно и писать буду съ наслажденіемъ и тревогой.

Катковъ самъ мнѣ сказалъ, въ апрѣлѣ, что инъ-бы хотѣлось и было-бы лучше начать печатать мой романъ съ января 1868 года. Такъ оно и будетъ, хотя высылать частями я начну раньше.

Хотя здѣсь и нѣтъ кредиторовъ, но обстановка моя хуже, чѣмъ въ 1865 году. Все-таки Паша, Эмилиа Федоровна были передъ глазами, этому-же я былъ одинъ. Правда, Анна Григорьевна ангель, и если-бы вы знали, чтъ она теперь для меня значить! Я ее люблю, и она говоритъ, что она счастлива, вполне счастлива и что вдвоемъ со мной, въ комнатѣ, она вполне довольна.

Хорошо. Теперь, стало быть, мнѣ мѣсяцевъ шесть непрерывной работы. Но къ тому времени жонѣ придется родить. Женевъ городъ хорошій: тутъ и докторъ, и французскій языкъ. Но климатъ очень дуренъ, мрачный, а осень, зима — скверность. Можетъ быть, если будутъ средства, мѣсяца черезъ два съ половиной можно еще будетъ переѣхать въ Италію. Вообще зимовать или въ Италію, или въ Парижъ. Вообще, гдѣ выгодноѣе и удобнѣе, не знаю. А можетъ быть и прямо до весны въ Женевѣ останемся.

Денежные расчеты такіе: если напечатать романъ, то Катковъ не откажетъ еще впередъ дать въ теченіе будущаго года, тоже тысячи три. Тутъ, стало быть, будетъ и для насъ, и для Пашы съ Эмилией Федоровной, и даже немного и для кредиторовъ (для ободренія ихъ). Романъ-же можно продать или запродасть съ половины года, вторымъ изданіемъ.

Вы одинъ у меня, вы мой голубчикъ, мое провидѣніе. Не откажитесь помогать мнѣ въ будущемъ. Ибо во всѣхъ этихъ моихъ дѣлахъ и дѣлншкахъ я буду умолять принять участіе.

Вамъ вѣроятно ясна мысль, основная мысль всѣхъ этихъ надеждъ моихъ: ясно, что все это можетъ успѣть сдѣлаться и принести свои результаты подѣ однимъ только условіемъ; именно: *что романъ будетъ хорошиъ*. Объ этомъ, стало быть, и нужно теперь заботиться всѣми силами. Ахъ, голубчикъ, тяжело, слишкомъ тяжело было взять на себя эту заносчивую мысль, три года назадъ, что я заплачу всѣ эти долги, и сдуру дать всѣ эти векселя! Гдѣ взять здоровья и энергіи для этого! И если опытъ показаль уже, что успѣхъ можетъ быть, то при какомъ условіи? При одномъ только, что всякое сочиненіе мое непрежѣнно будетъ на столько удачно, чтобъ возбудить довольно сильное вниманіе въ публикѣ; иначе — все рушилось. Да развѣ это возможно, развѣ это можетъ войти въ ариѳметическій расчетъ!

Теперь послѣднее мое слово къ вамъ. Выслушайте, сообразите и помогите!

У насъ теперь 18 франковъ. Завтра или послѣ завтра придутъ отъ матери Анны Григорьевны 50 рублей, которые она намъ не дослала изъ Катковскихъ денегъ. И вотъ *все*, всѣ средства наши, до новаго полученія отъ Каткова. (Мать Анны Григорьевны, именно теперь, въ эту минуту, въ такихъ обстоятельствахъ, что ни одной копѣйкой намъ помочь не можетъ).

Но просить у Каткова, *теперь*, рѣшительно нельзя. Черезъ 2 мѣсяца, дѣло другое: тогда я вышлю ему *тысячи на полторы* романа и опишу свое положеніе. 1,000 руб. онъ зачтетъ въ уплату моего долга, а 500 мнѣ вышлетъ. Я на это надѣюсь *вполнѣ*: онъ добръ и благороденъ.

Но какъ-же прожить эти 2 мѣсяца работы? Не судите меня и будьте моимъ ангеломъ-хранителемъ! Я знаю, Аполлонъ Николаевичъ, что у васъ у самихъ денегъ *лишнихъ* нѣтъ. Никогда-бы я не обратился къ вамъ съ просьбою о помощи. Но я вѣдь утопаю, утонулъ совершенно. Черезъ двѣ-три недѣли я совершенно безъ копѣйки, а утопающій протягиваетъ руку, уже не спрашиваясь разсудка. Такъ дѣлаю и я. Я знаю, что вы расположены ко мнѣ хорошо; но знаю тоже, что помочь мнѣ деньгами вамъ почти невозможно. И всетаки, зная это, прошу у васъ помощи, потому что кромѣ васъ — *никого* не имѣю, и если вы не поможете, то я погибну, вполнѣ погибну!

Вотъ моя просьба:

Я прошу у васъ 150 руб. Вышлите мнѣ ихъ въ Женеву *poste res-*

tante. Черезъ 2 мѣсяца, редакція „Русскаго Вѣстника“ вышлетъ вамъ 500 рублей на мое имя. Я самъ буду просить ее сдѣлать такъ. А что она вышлетъ—въ этомъ *нѣтъ сомнѣнiя*, только бы я выслалъ имъ романъ. *А я вышлю.* Это тоже безъ сомнѣнiя.

И такъ, я прошу у васъ *на два мѣсяца*. Голубчикъ, спасите меня! Заслужу вамъ во вѣки дружбой и привязанностию. Если у васъ нѣтъ, займите у когонибудь для меня. Простите, что такъ пишу: но вѣдь я утопающiй!

Съ сентября мѣсяца Паша останется безъ денегъ (объ Эмилии Федоровнѣ уже не говорю!), и потому изъ этихъ 150 руб. отдѣлите ему 25 руб. и выдайте ему показѣсть, сказавъ, чтобъ онъ потѣснился и поприжался мѣсяца на два. Потомъ, я напишу вамъ сколько отдѣлить для него показѣсть изъ Катковскихъ 500 руб. Для того-то я и нахѣренъ просить редакцію „Русскаго Вѣстника“ прислать впередъ деньги на ваше имя; ибо васъ я умоляю быть мнѣ на время помощникомъ въ кой-какихъ моихъ петербургскихъ дѣлншвахъ, т. е. черезъ ваши руки буду производить кой-какия уплаты и выдачи. Не безпокойтесь, тутъ не будетъ ничего, чтѣ бы васъ поставило въ *двусмысленное* положенiе. Я прошу только вашего дружескаго участiя, умоляю потому, что *никого, никого* нѣтъ у меня въ Петербургѣ, кромя васъ, на кого-бы я могъ понадѣяться!

Прошу васъ тоже написать мнѣ какъ можно скорѣе. Не оставляйте меня одного! Богъ васъ вознаградитъ за это.

Скажите Пашѣ, чтобъ написалъ мнѣ сюда, въ Женеву, обо всѣмъ, чтѣ съ нимъ было, и если имѣетъ ко мнѣ письма, то чтобъ прислалъ ихъ по примѣру прежняго раза. Я получилъ отъ него всего только одно письмо за все это время. А вѣдь это очень мнѣ тяжело.

Адресъ мой: М-г Théodore Dostoiewsky, Suisse, Genève, poste restante.

Напишите мнѣ тоже вашъ адресъ. Такъ какъ я не знаю вашъ домъ, то посылаю это письмо черезъ Анну Николаевну Сниткину (мать Анны Григорьевны), она и доставитъ вамъ.

Во всякомъ случаѣ, прошу васъ убѣдительнѣйше, напишите мнѣ, голубчикъ, какъ можно скорѣе и сообщите побольше извѣстiй обо всѣхъ нашихъ, объ томъ, чтѣ дѣлается, чтѣ въ ходу, чтѣ вы дѣлаете сами. Однимъ словомъ, оросите каплей воды душу, изсохшую въ пустынѣ. Ради Бога! Всѣмъ вашимъ поклонъ, родителямъ и Аннѣ Ивановнѣ. Ей особенно. Отъ Анны Григорьевны особенно. Сколько мы объ васъ вспоминали, сколько мы переговорили.

Когда-то увидимся!

Посоветуйте мнѣ тоже что-нибудь. Скажите мнѣ вашъ взглядъ на мое положеніе. Да не слыжали-ли вы чего объ моихъ дѣлахъ петербургскихъ, хоть отъ Паши?

Въ будущемъ письмѣ напишу кой о чемъ о другомъ.

Въ Женевѣ я совершенно уединенъ и никого изъ русскихъ не видалъ.

Ни звука русскаго, ни русскаго лица!

Прощайте, обнимаю васъ крѣпко, крѣпко и цѣлую.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій

Женева, 15 сентября 1867 г.

Простите меня, голубчикъ Аполлонъ Николаевичъ, что замѣшкался вамъ отвѣтить, — да еще на ваше письмо, въ которомъ вы прислали мнѣ деньги. Дѣло въ томъ, что кончилъ вотъ эту проклятую статью: „Знакомство мое съ Бѣлинскимъ“. Возможности не было отлагать и мѣшкать. А между тѣмъ, я вѣдь и лѣтомъ ее писалъ, но до того она меня измучила и до того трудно ее было писать, что я дотянулъ до сего времени и, наконецъ-то, со скрежетомъ зубовымъ кончилъ. Штука была въ томъ, что я сдуру взялся за такую статью. Только что притронулся писать и сейчасъ увидалъ, что возможности нѣтъ написать *цензурно* (потому что я хотѣлъ писать все). 10 листовъ романа было-бы легче написать, чѣмъ эти 2 листа! Изъ всего этого вышло, что эту растреклятую статью я написалъ, если все считать въ сложности, разъ *пять*, и потомъ все перекрепчивалъ и изъ написаннаго опять передѣлывалъ. Наконецъ, кое-какъ вывелъ статью, — но до того дрянная, что изъ души воротить. Сколько драгоценнѣйшихъ фактовъ я принужденъ былъ выкинуть! Какъ и слѣдовало ожидать, осталось все самое дрянное и золотосрединное. Мерзость!

За эту статью деньги мнѣ дали впередъ Бабиновъ съ кѣмъ-то. Я, бывши въ апрѣлѣ въ Москвѣ, выпросилъ у Бабинова отсрочку (разумеется не на 5 мѣсяцевъ, хотя срокъ былъ и не опредѣленъ окончательно). Альманахъ свой они хотѣли издать въ сентябрѣ или октябрѣ (такъ рассчитывали въ апрѣлѣ, — это значитъ, что книга никакъ раньше Нового Года не явится). И такъ лучше поздно, чѣмъ никогда. Голубчикъ, помогите! Сдѣлайте милость, а именно слѣдующее:

Перешлите, родной мой, статью мою Бабинову въ Москву, вмѣстѣ съ письмомъ, которое тутъ-же прилагаю незапечатанное. Бабиновъ въ Москвѣ, въ гостинницѣ „Римъ“. Я-бы и самъ могъ прямо ему послать. Да ну какъ въ „Римъ“ его нѣтъ? Вотъ почему я и прошу васъ быть отцомъ

роднымъ. А именно такъ сдѣлать: напишите три строчки Бабикову въ гостинницу „Римъ“ и приложите мое письмо *безъ статьи* и пошлите ему въ „Римъ“. А статью (если найдете возможнымъ поступить такъ) пошлите съ тою-же почтой на Страстной бульваръ, въ магазинъ Соловьева, бывший Базунова, съ двумя строчками Соловьеву, которыми объяснить Соловьеву (самому), что вотъ статья для передачи Константину Ивановичу Бабикову (что можно надписать на пакетъ), и съ просьбой къ Соловьеву, что если Бабиковъ не въ „Римъ“ и если Соловьевъ знаетъ, гдѣ онъ, то переслалъ-бы *ему* (Бабикову). Сдѣлайте такъ, ради Бога. У меня совѣсть не чиста по поводу этой статьи, и ужь не знаю что дѣлать. Помогите, голубчикъ, и простите, что мучаю васъ моими комиссіями.

Письмо къ Бабикову прочтите и, если захотите, то прочтите и статью! А прочтя (если только прочтете), напишите мнѣ откровенно ваше мнѣніе. Мнѣ-бы только не слишкомъ дурно было, — вотъ что.

Эту статью я по нѣскольку разъ думалъ окончить въ три дня, и представьте себѣ, какъ только переѣхалъ въ Женеву, тотчасъ-же начались припадки, да какіе! — какъ въ Петербургѣ. Каждые 10 дней по припадку, а потомъ дней 5 не опомнюсь. Пропащій я человекъ! Климатъ въ Женевѣ сквернѣйшій и въ настоящую минуту у насъ уже 4 дня вихрь, да такой, что и въ Петербургѣ развѣ только разъ въ годъ бываетъ. А холодъ — ужасъ! Прежде было тепло. Вотъ почему и работа, и письма, и все въ послѣднее время затянулось...

Ваши 125 руб. *рѣшительно* насъ спасли. Теперь вздохну немного и опять за романъ. Пишите мнѣ, пожалуйста. Мы съ Аней въ такомъ удивленіи, что письма для насъ манна небесная, тѣмъ паче отъ васъ. Разъ по пяти перечитываемъ.

Здѣсь есть русскія газеты, читаю и „Голосъ“, и „Московскія“, и „Петербургскія Вѣдомости“. Это счастье. А то ужасно здѣсь скучно; но что дѣлать: надобно писать.

Писалъ-ли я вамъ о здѣшнемъ *мирномъ компрессѣ*? Я въ жизнь мою не только не видывалъ и не слыхивалъ подобной безтолковщины, но и не предполагалъ, чтобъ люди были способны на такія глупости. Все было глупо: и то, какъ собрался, и то, какъ дѣло повели и какъ разрѣшили. Разумѣется, сомнѣнія и не было у меня въ томъ, еще прежде, что первое слово у нихъ будетъ: *драка*. Такъ и случилось. Начали съ предложеній вотировать, что не нужно большихъ монархій и все подѣлать маленькія, потомъ — что не нужно *отры* и т. д. Это было 4 дня крику и ругательства. Подлинно мы у себя, читая и слушая рассказы, видимъ

все превратно. Нѣтъ, посмотрѣли-бы своими глазами, послушали-бы своими ушами.

Видѣлъ и Гарibaldi. Онъ мигомъ уѣхалъ.

Кой-что еще вамъ хотѣлъ написать, но до слѣдующаго письма. Вѣрите-ли?—До сихъ поръ припадочное состояніе и боюсь много писать.

Что-же мнѣ наши (Паша) и не напишетъ? Я на дняхъ Эм. Федоровнѣ напишу.

До свиданья, голубчикъ, не сердитесь на меня за чтонибудь. А что наша южная дорога? Она намъ теперь нужнѣе всего.

Поклонъ мой Аниѣ Ивановнѣ. Аня тоже и вамъ и Аннѣ Ивановнѣ сердечно кланяется.

Если вамъ что нужно узнать о Бабиновѣ, то о немъ больше всѣхъ могутъ знать Страховъ и Аверкиевъ.

Въ слѣдующемъ письмѣ напишу и побольше и полюбознѣе. А теперь голова не свѣжа.

Крѣпко жму вамъ руку

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

NB. Вообразите себѣ! И тутъ бревно на дорогѣ. Вѣдь я совершенно-то *наверно* и *не знаю*, гдѣ гостинница „Римъ!“ Но кажется, кажется, что *наверно* на Тверской.

На Тверской, въ гостинницу „Римъ“, Константину Ивановичу Бабинову.

Еще разъ благодарю отъ всей души за помощь!

Ради Бога, пришлите мнѣ вашъ адресъ, *т. е. № и имя дома*. Опять прошу Анну Николаевну доставить вамъ и это письмо.

Женева, 9 (21) октября 1867 г.

Я вамъ, дорогой другъ, на ваше письмо отвѣчалъ (въ немъ благодарилъ за присылку 125 руб.). Последнее-же ваше письмо отъ 20 сент. получилъ и прочелъ съ чрезвычайною радостью. Какъ ни развито ваше сердце, а это вамъ трудно представить во всей силѣ: вы всетаки у себя и окружены всѣмъ тѣмъ, чѣмъ и прежде. Ну, а мы съ женой до того на необитаемомъ островѣ, что вотъ такое, напримѣръ, письмо, какъ это послѣднее ваше, производитъ впечатлѣніе колоссальное, на нѣсколько дней. Если мы, съ Аней, не сошли еще съ ума отъ скуки, то какъ не хвалились своими природами, а всетаки въ перспективѣ—помѣшаться можно. Все одни да

одни и ничего больше! Правда, можно-бы сдѣлать такъ, что если мы одни, такъ чтобъ кругомъ насъ было не одно, замѣнить разнообразіемъ окружающаго. Но на переѣздъ, наприм., на зимовку въ Парижъ, какъ я думалъ сперва, теперь кажется надѣяться нечего. Хоть мы живемъ и очень скромно (въ мѣсяць ровно 300 франковъ, такъ что 100 руб., т. е. 340 франк., стало бы и въ Парижѣ (навѣрно), но всетаки, чтобъ переселиться нужны деньги, а денегъ у насъ долго не будетъ. Но есть и вторая причина: Аннѣ Григорьевнѣ только 4 мѣсяца сроку, и потому если ѣхать, то сейчасъ еще можно, но мѣсяць спустя, я думаю, нельзя, хоть и по хорошей желѣзной дорогѣ. Парижъ довольно далеко. Да вотъ еще газеты съ каждымъ № сулятъ непремѣнную войну. Чтобъ не разгорѣлось. Правда, большіе центры, какъ Парижъ, тогда вещь хорошая, да вѣдь не совѣмъ). Я почему говорю: Парижъ? Не для здоровья, о здоровьи ужъ и говорить нечего, но для удобства ужъ, конечно, Парижъ недурень, и кромя того, всетаки можетъ доставить для Анны Григорьевны многочисленныя и разнообразныя развлеченія, не смотря на то, что денегъ нѣтъ: тамъ одного Лувра на мѣсяць хватить. При безденежьи Парижъ очень хорошъ. Эту парадоксальную фразу замѣйте, потому что она совершенная истина; вѣдь тутъ все зависитъ отъ взгляда на вещи. Нужда, конечно, не хорошо, но безъ нужды можно жить и безъ большихъ денегъ; большія деньги въ Парижѣ нужны преимущественно холостому. — Что-же касается до меня лично, то мнѣ мѣсяцевъ на пять еще все равно хоть-бы и не двигаться нигуда, потому что еще мѣсяцевъ 5, не меньше, рассчитываю работать. Но не смотря на это: *все равно*, Женева — пакость, и я въ ней дѣйствительно обманулся. Припадки у меня здѣсь почти каждую недѣлю; начинается кромя того какое-то скверное сердцебіеніе. Это ужасъ, а не гордость. Это Кафенна. Вѣтры и вихри по цѣлымъ днямъ, а въ обыкновенные дни самыя внезапныя перемены погоды, раза по три, по четыре въ продолженіе дня. Это гемороидалисту-то и эпилептику! И какъ здѣсь грустно, какъ здѣсь мрачно! И какіе здѣсь самодовольные хвастунишки! Вѣдь это черта особенной глупости быть такъ всеимъ довольнымъ. Все здѣсь гадко, гнило, все здѣсь дорого. Все здѣсь пьяно! Столько буяновъ и крикливыхъ пьяницъ даже въ Лондонѣ нѣтъ. И все у нихъ, каждая тумба своя, — изящна и величественна. Гдѣ Rue такая-то? — *Voyez, monsieur, vous irez tout droit et quand vous passerez près de cette majestueuse et élégante fontaine en bronze, vous prendrez etc.* Этотъ majestueuse et élégante fontaine, — самая чахлая, дурнаго вкуса, дрянъ гососо, но онъ ужъ не можетъ не похвалиться, если вы даже только дорогу спрашиваете. Разбили дряннѣйшій палисадникъ, изъ нѣсколькихъ кустиковъ (ни одного дерева),

совершенно въ родѣ 2-хъ московскихъ палисадниковъ, въ Москвѣ на Садовой, еслибъ ихъ соединить вмѣстѣ, — и фотографируютъ и продаютъ: „Англійскій садъ въ Женевѣ“. Но чортъ съ этими мерзавцами! И однакожь всего 2¹/₂ часа ѣзды, на томъ же Женевскомъ озерѣ, Vevey, гдѣ, говорятъ, зимой очень здорово и даже приятно. Про Montreux, Chillon и проч. я знаю и бывалъ тамъ нѣсколько разъ. Это и красиво, и здорово, и вихрей и частыхъ пережвѣвъ нѣту. Тутъ-то бы и поселиться—мнѣ писать, а Аннѣ Григорьевнѣ укрѣпляться въ здоровьѣ. Но вотъ бѣда: Montreux и проч. дорого и представляетъ одни пансіоны. А въ пансіонѣ намъ не хорошо, въ положеніи Анны Григорьевны. Остается Vevey. Мнѣ говорили про него, и именно теперь и время-бы переселиться. Но — денегъ нѣтъ; въ Женевѣ у насъ хоть и одна комната, да своя, у двухъ добрыхъ старухъ; тамъ въ Веве надо наживать и квартиру, и людей, и все-таки на это надо изстратить и время и деньги. Кто знаетъ, можетъ быть, какъ-нибудь и переселимся. Все зависитъ теперь *не отъ меня*. Что будетъ — то будетъ.

Про работу мою вамъ не пишу ничего, да еще и нечего. Одно: надо сильно, очень сильно работать. А между тѣмъ припадки добиваютъ окончательно, и послѣ каждаго а сутокъ по 4 съ разсудкомъ не могу собраться. А какъ было хорошо въ началѣ, въ Германіи! Это Женева проклятая. Что съ нами будетъ? — не понимаю! А межъ тѣмъ романъ единственное спасеніе. Сквернѣе всего, что это долженъ быть очень хорошій романъ. Не иначе; это *sine qua non*. А какъ онъ будетъ хорошъ при совершенно забытыхъ болѣзненнымъ способностямъ! Воображеніе-то у меня еще есть, и даже не дурно: это я на дняхъ на романъ же испыталъ. Нервы тоже есть. Но памяти нѣтъ. Однимъ словомъ, бросаюсь въ романъ *на ура!* — весь съ головой, все разомъ на карту, что будетъ, — то будетъ! Ну, довольно.

Объ Кельсіевѣ съ умиленіемъ прочелъ. Вотъ дорога, вотъ истина, вотъ дѣло! Знайте, однако же, что (не говоря уже о полякахъ) все наши либералишки, семинаро-соціального оттѣнка, взѣдятся какъ звѣри. Это ихъ пройметъ. Это имъ пуще, еслибъ имъ всемія носы отрѣзали. Ну что имъ теперь говорить, въ кого грязью кидать? Скалить зубы, конечно, можно; у насъ только это и ужвуютъ. Развѣ вы замѣчали хоть какою-нибудь серьезную идею въ нашихъ либералишкахъ? Одно только скаленіе зубовъ. Скаленіе зубовъ гимназистамъ внушаетъ. Но теперь про Кельсіева говорить будутъ, что онъ на всѣхъ донесъ. Ей-Богу, помяните мое слово. И точно на нихъ ужъ можно что доносить? 1) Самы себя компрометировали, и 2) Кто ими и занимается-то? Стоять они того, чтобъ на нихъ доносить!

Есть у меня до васъ, голубчикъ, просьба: къ вамъ (навѣрно не говорю, но можетъ быть) придетъ изъ редакціи „Русскаго Вѣстника“ 60 р. на мое имя. Я самъ указалъ на васъ. Эти 60 р. я предназначилъ Пашѣ. У васъ они будутъ, а вы ему выдавайте. Но я получилъ письмо отъ Эм. Ѳедоровны и отъ Ѳеди. Они у меня не просятъ, но видно, что въ крайне бѣдственномъ положеніи. Тяжело мнѣ это слышать, и вотъ какъ я рѣшился: такъ какъ Паша живетъ у Эмилиі Ѳедоровны на хлѣбахъ, то отдайте 40 р. Эмилиі Ѳедоровнѣ за Пашу, а 20 р. Пашѣ. Для этого надо бы узнать: живетъ-ли точно Паша у Эм. Ѳедоровны? Они переѣхали съ дачи и теперь на прежней моей квартирѣ, въ Столярномъ пер., д. Алонкина. Разумѣется, все это въ случаѣ, если вамъ пришлютъ 60 руб. изъ „Русскаго Вѣстника“. Я для этого и неспросилъ у нихъ.

Паша мальчикъ добрый, мальчикъ милый и котораго некому любить. Одно только худо за нимъ—сами знаете что. Кромѣ того, онъ мальчикъ честный. Если дѣйствительно ему мѣсто выходить, то пусть бы взялъ. Я послѣдней рубашкой съ нимъ подѣлюсь и буду дѣлиться всю мою жизнь. А вамъ, другъ Аполлонъ Николаевичъ,—до земли за Пашу кланяюсь! Никому, никому не могъ я поручить его лучше въ крайнемъ случаѣ! Вѣдь вы не оставите его въ крайнемъ случаѣ? Я не про деньги говорю, и ихъ даже въ виду не имѣю. Но совѣтомъ и словомъ не оставьте, и особенно теперь, когда онъ знаетъ вполнѣ, во что цѣню я ваше вниманіе къ нему. Я надняхъ ему напишу. Говорилъ-ли онъ вамъ, что ему изъ всѣхъ силъ ищутъ (и нашли уже) мѣсто Анна Николаевна и Марья Григорьевна? Что за добрыя души! А про Эмилию Ѳедоровну не знаю, что дальше и будетъ. Ѳеда жалуется, что уроковъ нѣтъ. Вотъ Ѳеда такъ бравый малый: мать кормить, семейство кормить. Вотъ это молодецъ!

Обнимаю васъ, голубчикъ. Пишите иногда. Адресъ тотъ же, но авось переселюсь. Пишите, если можно, почаще. Пусть большія письма, а пишите. Такъ и рвусь въ Россію. Вотъ ужъ по дѣлу Умецкихъ не оставилъ бы безъ своего слова, напечаталъ бы его. Какъ пріѣду, такъ самъ лично пойду по судамъ и проч. Присяжные наши — лучше невозможно. Но что касается судей, то можно пожелать нѣсколько побольше образованія и практикн. И знаете, чего еще: нравственныхъ началъ. Безъ этого основанія ничего не устроится. — Но, слава Богу, идетъ еще хорошо. Напишите мнѣ ваше мнѣніе о газетѣ „Москва“. Издается ли „Русскій“?

Что-то скажетъ политика? Чѣмъ-то развяжутся всѣ эти ожиданія? Наполеонъ какъ будто къ чему-то и готовился. Италия, Германія. Съ за-

мираніемъ сердца отъ радости прочель, что, бажется, откроютъ дорогу до Курска. Охъ, поскорѣй бы ужъ, и да здравствуетъ Русь.

Анна Григорьевна пишетъ Аннѣ Ивановнѣ.

Аннѣ Ивановнѣ мой глубокій поклонъ и горячее пожатіе руки.

До свиданія, голубчикъ.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

Женева, 9 (21) апрѣля 1868 г.

Любезнѣйшій другъ Аполлонъ Николаевичъ, Анна Григорьевна получила сегодня письмо отъ своей мамы, и та пишетъ, что у васъ была на Святой и вы сказали ей, что давно уже послали мнѣ письмо съ 25 р. и не застраховали. — Ну, разумѣется, оно пропало. Я ничего не получалъ, а теперь уже вторникъ Өоминой недѣли. Если я вамъ и писалъ, чтобы просто вложить 25 р. въ письмо, такъ это потому, что здѣсь наши деньги легко мѣняются. Но всетаки я вамъ приписалъ въ письмѣ: *рекомендируйте*, т. е. застрахуйте. — А ужъ извѣстно, что нашъ почтамтъ деньги таскаетъ. Они вѣдъ недавно судились за это; я читалъ. Но тамъ не уймень никакимъ судомъ.

Денегъ мнѣ очень жаль, потому что ужъ страхъ какъ нужны и ужъ, конечно, въ 1,000 разъ было бы лучше, еслибъ они попались Пашѣ, или Эм. Өедоровнѣ: но однако, чортъ съ ними, больше-то они и не стоятъ, а вотъ чего мнѣ жаль, — вашего письма, голубчикъ мой! Вѣрите-ли, какъ досадно! т. е. ей-Богу, я бы за него 200—300 фр. далъ, только чтобъ получить его теперь. И въ такомъ я черезъ это уныніи, что и представить не можете.

Въ вашемъ письмѣ вы, можетъ быть, мнѣ кой-что и важное, дѣловое сообщали. Если такъ, то ради Христа напишите еще это письмо *кратко*.

Я вамъ пишу, влагая письмо въ письмо жены къ Аннѣ Николаевнѣ. Она навѣрно не откажется передать. Какова Анна Николаевна, хочетъ пріѣхать къ намъ! Вотъ это я люблю!

Я вамъ пишу, только чтобъ обо всемъ васъ извѣстить. А теперь даже и минуты времени не имѣю. Работаю и ничего не дѣлается. Только рву. Я въ ужаснѣйшемъ уныніи; ничего не выйдетъ. Они объявили, что въ апрѣльскомъ № явится продолженіе, а у меня ничего не готово, кромѣ одной, ничего не значущей главы. Что я пошлю — не понимаю! 3-го дня былъ сильнѣйшій припадокъ. Но вчера я всетаки писалъ, въ состояніи,

похожемъ на сьумасшествіе. Ничего не выходитъ. Чѣмъ я извинюсь передъ Катковымъ—и понять не могу, а кирѣльской книгѣ ужь пора выходить. Хоть бы 2 листа выслать успѣлось. — Во всякомъ случаѣ буду писать. А денегъ-то я всетаки у Каткова ужь попросилъ на переѣздъ въ Вевей. Полнѣйшее, самое полнѣйшее имѣеть право не прислать! И я бы на его мѣстѣ навѣрно не послалъ, со зла. Но только, что съ нами-то будетъ тогда?

Напишите мнѣ, голубчикъ, напишите хоть что нибудь о томъ, что у васъ дѣлается и происходитъ. Я газеты читаю, это правда, но газеты — не живая дружеская рѣчь. Видите-ли, время мое скучное, гдѣ-бы я ни жилъ, время тяжело-рабочее, время и скучное и волнующее, стало быть. Я все дома сижу и каждый день выхожу только на 2¹/₂ часа. Прихожу въ кафе читать русскія газеты, и можете представить, какое они оставляютъ впечатлѣніе! Еще „Московскія Вѣдомости“ — хорошо читать, но „Голось“ и „С.-Петербургскія“ (ужась!) невозможно читать безъ сквернаго ощущенія. Приходишь домой въ этомъ грустномъ и вѣтреномъ городѣ—грустный и чуть не сьумасшедшій, а дома опять работа и работа неудающаяся. Одно дитя и развлекаетъ меня съ Аней. Но развлекаетъ-то мучительно; какъ подумаешь впередъ—ухъ!

И вотъ, можете судить поэтому, что значить для меня ваше письмо. Пишите же, пожалуйста. Я же васъ буду увѣдомлять всегда. А со мной—что будетъ, то будетъ.

Да напишите на счетъ крестинь. Вы навѣрно написали въ пропавшемъ письмѣ.

Взялъ перо для двухъ словъ, только чтобъ увѣдомить и извѣстить. Аня вамъ кланяется.

А я вашъ вѣрный и всегда

Ф. Достоевскій.

Я письмо не запечатываю, по трудности послать два письма въ одномъ конвертѣ. Не взыщите. Анна Николаевна не прочтетъ ни строчки.

Жеяева, 18 (30) мая 1868 г.

Благодарю васъ за ваше письмо, дорогой мой Аполлонъ Николаевичъ, и за то, что, разсердясь на меня, не прекратили со мной переписку. Я всегда, въ глубинѣ сердца моего, былъ увѣренъ, что *Аполлонъ Майковъ* такъ не сдѣлаетъ. —Соня моя умерла, три дня тому назадъ похо-

ронили. Я за два часа до смерти не зналъ, что она умретъ. Докторъ за три часа до смерти сказалъ, что ей лучше и что будетъ жить. Болѣла она всего недѣлю; умерла воспаленіемъ въ легкихъ. — Охъ, Аполлонъ Николаевичъ, пусть, пусть смѣшна была моя любовь къ моему первому дитяти, пусть я смѣшно выражался объ ней во многихъ письмахъ многимъ многимъ поздравлявшимъ меня. Смѣшное для нихъ было только одинъ я, но вамъ, *вамъ* я не боюсь писать. Это маленькое, трехмѣсячное созданіе, такое бѣдное, такое крошечное—для меня было уже лицо и характеръ. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходилъ. Когда я своимъ смѣшнымъ голосомъ пѣлъ ей пѣсни, она любила ихъ слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее цаловалъ; она оставалась плакать, когда я подходилъ. И вотъ теперь мнѣ говорятъ въ утѣшеніе, что у меня еще будутъ дѣти. А Соня гдѣ? Гдѣ эта маленькая личность, за которую я, смѣло говорю, крестную муку приму, только чтобъ она была жива? Но, впрочемъ, оставимъ это, жена плачетъ. Послѣ завтра мы наконецъ разстанемся съ нашей могилкой и уѣдемъ куда нибудь. Анна Николаевна съ нами: она только недѣлю раньше ея смерти пріѣхала.

Я работать послѣднія двѣ недѣли, съ самого открытія болѣзни Сони, не могъ. Опять написалъ извиненіе Каткову и въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, въ майскомъ номерѣ опять явится только три главы. Но я надѣюсь, что теперь день и ночь буду работать не отрываясь, и съ іюнскаго номера романъ будетъ выходить по крайней мѣрѣ прилично.

Благодарю васъ, что не отказались быть крестнымъ отцемъ. Она крещена была за 8 дней до смерти.

Я знаю, другъ мой, что очень виноватъ передъ вами, до сихъ поръ не возвративъ вамъ взятыхъ у васъ денегъ, и что кромя того изъ тѣхъ, которыя еще недавно получилъ отъ Каткова, отдалъ часть Эмилиі Федоровнѣ и Пашѣ и ничего еще вамъ, тогда какъ вы теперь должно быть очень нуждаетесь. Но сожалѣніемъ не поправишь, и потому скажу прямо все, что могу сказать *точно*: въ настоящую минуту отдать ничего не могу, у самого *почти* ничего нѣтъ, и, оставляя Женеву, даже платье свое и женно заложилъ (говорю только вамъ). У Каткова же попросить въ сію минуту—не смѣю, такъ какъ вотъ уже три мѣсяца его обманываю. Но черезъ 1½ мѣсяца и *самое большее* черезъ 2 (*вѣрно говорю*) — попрошу Каткова выслать вамъ отъ меня 200 руб. Это вѣрно. Что-же касается до того, что до сихъ поръ объ васъ не подумалъ—то это *ей-Богу* несправедливо. У меня очень болѣло; но что я вамъ скажу? Ничего не могу сказать. Вспомните только одно, Аполлонъ Николаевичъ, что, занимая у

васъ тогда эти 200 руб., я и тогда почти на половину занималъ для нихъ, для родныхъ, и черезъ васъ-же пошло итъ 75 руб. изъ тѣхъ 200. Кажется такъ было, сколько помню. Васъ-же слишкомъ благодарю за то, что спасли меня тогда и слишкомъ цѣню вашу деликатность со мной до сихъ поръ, не смотря на то, что ваше положеніе было тяжелое, объ чемъ я теперь узналъ.

Кстати, одна *большая просьба*: не передавайте извѣстія о томъ, что моя Соня умерла, никому изъ моихъ *родныхъ*, если встрѣтите ихъ. По крайней мѣрѣ, я-бы очень желалъ, чтобъ они не знали этого до времени, разумѣется въ томъ числѣ и Паша.

Простите, что Паша васъ такъ беспокоитъ. Чтѣ съ нимъ будетъ—не понимаю? Къ чему онъ ведетъ? Эти два мѣста, которыя у него были, могли-бы сдѣлать его честнымъ и независимымъ. Но опять-таки, съ другой стороны,—какъ его такъ оставить? Чтѣ съ нимъ будетъ не знаю, только Богу *молюсь* за него. Кстати еще: на мое письмо, три мѣсяца назадъ,—онъ ничего не отвѣтилъ. Нѣжнѣе нельзя было написать ему.

Я узналъ тоже, что у него въ рукахъ нѣкоторыя пришедшія ко мнѣ, въ этотъ годъ, письма—чрезвычайно важныя. (Одно изъ нихъ отъ прежней моей знакомой Круковской). Какъ-бы ихъ переслать мнѣ сюда? Это очень, очень для меня важно. Можетъ быть, и другія есть у него письма.

До свиданія другъ мой. Постараюсь писать вамъ съ новаго мѣста. *Montreux* — про которое вы пишете, есть одно изъ самыхъ *дорогихъ* и модныхъ мѣстъ въ всей Европѣ. Поищу гдѣ нибудь деревеньку подлѣ Вевея. Вашъ переводъ Апокалипсиса—великолѣпный, но жаль, что не все. Вчера читалъ его.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Жена васъ благодаритъ за все и проситъ образокъ Сони оставить для нея.

Вевей, 4 (22) іюня 1868 г.

Любезнѣйшій, добрѣйшій и лучшій другъ мой, Аполлонъ Николаевичъ, простите меня, голубчикъ, за долгое молчаніе. Ради Христа. Причина молчанія пустѣйшая: я до того запоздалъ въ „Русскій Вѣстникъ“, что все это время работалъ *день и ночь* буквально, не смотря на припадки. Но увы! Замѣчаю съ отчаяніемъ, что уже не въ состояніи, почему-то, сталъ такъ скоро работать, какъ еще недавно и какъ прежде. Ползу какъ

торъ типографіи, въ которой печатался нашъ журналъ. Человѣкъ такъ себѣ, пожилой, не безъ нѣкоторыхъ достоинствъ и имѣющій деньжонки. Онъ у меня разъ купилъ второе изданіе романа („Униж. и Оскорб.“) за 1,000 руб. Другой разъ онъ ко мнѣ какъ-то пришелъ; я спросилъ его: Гавриловъ, у васъ есть деньги?—Есть не много.—Дайте мнѣ 1000 руб. Извольте, и принесъ въ тотъ-же день, подъ вексель, разумѣется, на отличные проценты, не помню какіе. Эту 1000 я третьяго года ему отдалъ всею. Дѣйствительно, этотъ человѣкъ могъ-бы дать. По просьбѣ Паша я написалъ ему письмо, а Пашѣ послалъ и росписку въ 200 р. (за 160 р. которые Паша хотѣлъ-бы взять у него, на мое имя, для себя и для Эм. Ѳедоровны, находящейся въ нищетѣ и заболѣвшей). Срокъ 1-е января. Не знаю: получилъ-ли съ него Паша? Голубчикъ, ради Бога, если увидите Пашу, спросите его, — получилъ-ли онъ, и если еще онъ не отвѣчалъ мнѣ, то понудьте его отвѣчать немедленно, но такъ, чтобъ письма его не пропадали. (Очень можетъ быть, что онъ какъ нибудь посылаетъ такъ небрежно, что они пропадаютъ, а пожалуй и другія причины — не знаю). Васъ-же прошу написать мнѣ — (а вы вѣрно не будете такъ же долго не отвѣчать мнѣ, какъ я вамъ, потому что простите меня за это и поймете дѣйствительную *тягость* моего положенія и работы)—получилъ ли Паша съ Гаврилова, потому что я ужасно беспокоюсь о томъ: что съ нимъ будетъ, если онъ не получитъ? Я вѣдь чувствую, что онъ въ послѣдней крайности. Разумѣется, я не прошу васъ нарочно ѣхать съ дачи отыскивать Пашу. Онъ, вѣроятно, и къ вамъ самъ явится. Но между тѣмъ, вотъ объ чемъ я хотѣлъ спросить вашего совѣта:

Очень можетъ быть, что Гавриловъ, если у него есть деньги на лицо, былъ-бы опять расположенъ мнѣ дать рублей тысячу на годъ (т. е. 800, если Пашѣ далъ 200); разумѣется, подъ вексель. Вексель можно и отсюда написать. Да сверхъ того, черезъ 1¹/₂ года (по контракту) мнѣ придется получить съ Стелловскаго за „Преступленіе и Наказаніе“ (которое онъ *напрямъ* напечатаетъ въ своемъ изданіи моихъ сочиненій, имѣя право по контракту, но только не раньше 1-го января 1870 года, и такъ какъ уже онъ публиковалъ объ этомъ въ газетахъ) — не менѣе 650 руб. или 700 въ видѣ доплаты (такъ у насъ по контракту и это *напрямъ*). Не заложить-ли мнѣ этотъ контрактъ, т. е. право полученія по немъ съ Стелловскаго денегъ,—Гаврилову, чтобъ заохотить его дать эту тысячу? Не предложить-ли это Гаврилову? А мнѣ 800 р. были-бы очень теперь спасительны, даже за огромные проценты. Кромѣ нѣкоторыхъ *долговъ*, которые *необходимо* уплатить,—надо внести проценты за заложенную свою мебель и вещи въ Петербургѣ, иначе пропадутъ, а это дороже тысячи р. Наконецъ,

изъ этихъ 800 капелька денегъ осталась-бы и мнѣ сюда, а ужь Богъ видѣть какъ намъ здѣсь надо. — Я писалъ Пашѣ, чтобъ онъ сходилъ къ Гаврилову и, *не говоря ему* всего, — сондировалъ-бы его на счетъ того, могъ-бы онъ дать, или нѣтъ? Но Паша человѣкъ юный и неопытный. (Притомъ я хотъ и написалъ Пашѣ объ этой моей мысли занять для себя 800 р., но, признаюсь вамъ, я смотрю на эту мысль даже и теперь только какъ на фантазію, и много не жду отъ нея, потому что самъ еще не рѣшился, да и не знаю, что можетъ сказать Гавриловъ). Однимъ словомъ, я-бы желалъ знать, какъ у него обошлось съ Пашей, чтобъ судить о его расположеніи, и 2-е) желалъ-бы вашего совѣта: дѣлать или не дѣлать?— Прибавлю, что Гавриловъ—человѣкъ горячій и предприимчивый. По его собственному признанію, онъ отъ „Унижен. и Оскорбленныхъ“ былъ съ барышникомъ. Этотъ человѣкъ, если только онъ издастъ иногда и не прекратилъ теперь этихъ *попытокъ* издательскихъ, какъ прежде, могъ-бы ужь по тому одному не отказать мнѣ въ деньгахъ, что надѣялся-бы выгодно купить у меня право изданія (ну хотъ „Идіота“, если окончаніе будетъ хорошо), хотъ я, разумѣется, и не займусь дѣлать предложенія. На всякій случай, его адресъ теперешній: у Вознесенскаго моста, въ домѣ Кнѣтера, при типографіи Головачева, Гавриловъ, факторъ въ типографіи. — Я, голубчикъ, не смѣю утруждать васъ и не прошу ходить къ Гаврилову, потому что и не надо, но *на всякій случай* только сообщаю этотъ адресъ.

Я до того заработался, что отупѣлъ и голова какъ забитая. Отъ васъ пишу жду всегда какъ *Царства небеснаго*. Голосъ изъ Россіи, отъ друга — что-же драгоцѣннѣе? Нечего мнѣ вамъ написать, никакихъ новостей, тушю и дурью я здѣсь. И однако-же, пока не кончу романа, — ничего предпринять нельзя. А тогда, во что-бы то ни стало приѣду въ Россію. А чтобъ кончить романъ, нужно сидѣть по 8 часовъ въ день минимумъ, не вставая. Долгъ Каткову я на половину уже отработалъ. Отработаю и остальное. Пишите мнѣ, другъ мой, Христа ради пишите. Жена кланяется вамъ и Аннѣ Ивановнѣ. Она васъ обоихъ очень любитъ. Засвидѣтельствуйте Аннѣ Ивановнѣ мое уваженіе. Анна Николаевна тоже просила вамъ поклониться. До свиданія. Обнимаю васъ

Вашъ преданный и искренній

Ф. Достоевскій.

Въ 4-хъ главахъ, которыя прочтете въ июньскомъ номерѣ (а можетъ только въ 3-хъ, потому что четвертая запоздала) попробовалъ эпизодъ современныхъ позитивистовъ изъ самой крайней молодежи. Знаю, что

написалъ вѣрно (ибо писалъ съ опыта; никто болѣе меня этихъ опытовъ не имѣлъ и не наблюдалъ) и знаю, что всѣ обругаютъ, скажутъ: нелѣпо, *наивно и глупо* и невѣрно. Адресъ мой: Suisse, Vevey (Lac de Genève)
A M-r Dostoiewsky, poste restante.

Вевей, 19 (2-ое) августа 1868 г.

Добрѣйшій и любимый другъ мой, незабвенный Аполлонъ Николаевичъ, беру перо, чтобъ написать вамъ три строки.

Я послалъ вамъ большое письмо въ *донецъ мѣсяцъ*, въ отвѣтъ на ваше, написанное въ маѣ. То письмо ваше (майское) доказало мнѣ, что вы не только на меня не сердитесь ни за что (что я могъ слудру вообразить, по больному моему характеру), — но даже и любите меня по прежнему. Не отвѣтилъ я сію минуту, потому что день и ночь сидѣлъ 20 дней сряду за работой, которая плохо шла. Но на письмо мое къ вамъ, отвѣтное іюньское, большое и чрезвычайно для меня важное, я отъ васъ никакого отвѣта *не получилъ до сихъ поръ*. Причины передо мной двѣ: 1) или вы на меня за что нибудь разсердились или 2) пропало мое письмо, или ваше.

Я ни за что не вѣрю первой причинѣ: ваше письмо (последнее, майское) было такое, что я не могу понять, можно-ли, послѣ такихъ добрыхъ чувствъ ко мнѣ, опять вдругъ на меня разсердиться, и потому я *слѣпо вѣрю*, что письмо мое пропало. Вѣрю потому еще, что имѣю причины такъ думать: я слышалъ, что за мной приказано слѣдить. Петербургская полиція вскрываетъ и читаетъ *всѣ* мои письма, а такъ какъ женеvскій по всѣмъ даннымъ (замѣтьте, не по догадкамъ, а по фактамъ) служить въ тайной полиціи, то и въ здѣшнемъ почтамтѣ (женеvскомъ), съ которымъ онъ имѣетъ тайныя сношенія, какъ я знаю завѣдомо, нѣкоторыя изъ писемъ, мною получаемыхъ, задерживались. — Наконецъ, я получилъ анонимное письмо о томъ, что меня подозрѣваютъ (чортъ знаетъ въ чемъ), велѣно вскрывать мои письма и ждать меня на границѣ, когда я буду вѣзжать, чтобы строжайше и нечаянно обыскать. Вотъ почему я твердо увѣренъ, что или мое письмо не дошло, или ваше ко мнѣ пропало. NB. (Но каково же вынести человеку чистому, патриоту, предавшемуся имъ до измѣны своимъ прежнимъ убѣжденіямъ, обожающему Государя, — каково вынести подозрѣніе въ какихъ нибудь сношеніяхъ съ какими нибудь полячишками или съ „Колоколомъ“ ! Руки отваливаются неволью служить имъ. Кого они не просмотрѣли у насъ, изъ виновныхъ, а Достоевскаго подозрѣваютъ!)

Но не къ томъ дѣло. Письмо это вамъ доставить сестра жены моеи изъ рукъ въ руки.

Это всетаки не письмо, а три строчки, потому я ужъ и не знаю, что написать вамъ? Всетаки вѣдь я не имѣю вашего письма у себя. Аполлонъ Николаевичъ, другъ мой (вы меня сами называли другомъ!), какъ мнѣ тяжело было въ это время иногда отъ мысли, что вы на меня сердитесь?

Напишите же мнѣ, напишите въ обоихъ случаяхъ: если сердитесь, то объясните причину. Если не сердитесь, напишите, что меня любите.

Я былъ несчастенъ все это время. Смерть Сони и меня и жену измучила. Здоровье мое не красиво; припадки; климатъ Вевея разстраиваетъ нервы.

При первыхъ средствахъ намѣренъ выѣхать изъ Вевея. (Но во всякомъ случаѣ, если сейчасъ отвѣтите, то адресуйте по прежнему: Vevue, (Lac de Genève) poste restante).

Романомъ я педоволенъ до отвращенія. Работать напрягался ужасно, но не могъ: душа нездорова. Теперь сдѣлаю послѣднее усиліе на 3-ю часть. Если поправлю романъ—поправлюсь самъ, если нѣтъ, то я погибъ.

У жены разстроены нервы, худѣетъ и здоровье хуже и хуже.

Я написалъ передъ вашими письмомъ письмо къ Пашѣ; онъ просилъ, нельзя-ли занять у одного отдающаго подъ залогъ деньги (бывшаго знакомаго фактора типографіи) на мое имя. Такъ какъ и въ вашемъ письмѣ подтвердили вы о его нуждахъ, то я позволилъ занять и послалъ росписку въ 200 рубляхъ, такъ, какъ они просили и требовали. До сихъ поръ отъ Паши *никакого отвѣта*.

Передъ вами я преступникъ, ваши 200 руб. до сихъ поръ за мной! Отдамъ; не обвиняйте меня! Еслибъ вы знали, сколько я вынесъ, но отдамъ! Что скажетъ 3-я часть.

Если переѣду, то главное, чтобъ спасти жену.

Она кланяется вамъ, жметъ руку. Мой и ея поклонъ искренній многоуважаемой Аннѣ Ивановнѣ.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

Имѣю причины подозрѣвать, что и Паша ни письма, ни росписки отъ меня не получилъ. Росписка въ 200 рубляхъ. Если перехватили на почтѣ, то гдѣ же она можетъ быть? Всетаки документъ важный.

Не обратиться-ли мнѣ къ какому нибудь *лицу*, не попросить-ли о томъ, чтобъ меня не подозрѣвали въ измѣнѣ отечеству и въ сношеніяхъ съ полячишскими и не перехватывали моихъ писемъ? Это отвратительно! Но вѣдь они должны же знать, что нигилисты, либералы-современники

еще съ третьяго года въ меня грязью кидаютъ за то, что я разорвалъ съ ними, ненавижу полячишекъ и люблю отечество.

Миланъ, 7 окт. (26 ноября) 1868 г.

Дорогой другъ Аполлонъ Николаевичъ. Давно уже, недѣли три назадъ, получилъ я ваше письмо и не отвѣчалъ сейчасъ, потому что занятъ и душою и тѣломъ работой; и хотъ и можно было найти часъ-другой, чтобъ отвѣтить, но мнѣ такъ тяжело бываетъ въ рабочее время, что ей-Богу силъ нѣтъ писать, тѣмъ болѣе, когда отъ души хотѣлъ бы погово- рить. А тутъ сталъ ждать ваше второе письмо, которое получилъ, нако- нецъ, вчера и за которое очень васъ благодарю, безцѣнный другъ. Но прежде всего—никакого никогда я не имѣлъ на васъ неудовольствія и говорю это честно и совѣстливо, но напротивъ думалъ, что вы на меня разсердились за что нибудь. Во первыхъ то, что вы перестали писать, а для меня ваше письмо здѣсь—событіе въ жизни; Россіей вѣсть, празд- никъ, буквально говоря. Но какъ вы-то могли подумать, что я изъ какой нибудь идеи или фразы могъ обидѣться! Нѣтъ, у меня сердце другое. И вотъ чтó: познакомился я съ вами 22-хъ лѣтъ (въ первый разъ у Вѣли- скаго, помните?) Съ тѣхъ поръ много разъ швыряла меня жизнь туда и сюда и изумляла иногда своими варіаціями, а въ концѣ концовъ теперь, въ эту минуту—вѣдь одинъ вы, т. е. одинъ человѣкъ, въ душу и сердце котораго я вѣрю и котораго я люблю и съ которымъ идеи наши и убѣж- денія наши сошлись въ одно. Можете-ли вы мнѣ не быть дороги почти какъ покойный братъ былъ для меня? Письма ваши меня обрадовали и ободрили. Потому что нравственное состояніе мое очень плохо. И, во пер- выхъ, работа меня измучила и истощила. Вотъ ужъ годъ почти, какъ я пишу по 3¹/₂ листа каждый мѣсяцъ. Это тяжело. Кромѣ того,—нѣтъ рус- ской жизни, нѣтъ впечатлѣній русскихъ кругомъ, а для работы моей это было всегда необходимо. Наконецъ, если вы хвалите мысль моего романа, то до сихъ поръ исполненіе его было не блестящее. Мучаетъ меня очень, что напиши я романъ впередъ, въ годъ, а потомъ мѣсяца два-три пере- писки и поправки, и не то бы вышло, отвѣчаю. Теперь, какъ ужъ все мнѣ самому выяснилось, я это ясно вижу.

Я такъ прямо и началъ вамъ съ себя и съ романа. Но хочу объяс- нить сначала мое положеніе, изъ него яснѣе увидите дальнѣйшее. И такъ, вотъ оно, мое положеніе:

Болѣе 3¹/₂ листовъ въ мѣсяцъ писать нельзя, — это фактъ, — если

писать цѣлый годъ сразу. Но чрезъ это вышло то, что въ этомъ году я не кончу романъ и напечатаю всего только половину послѣдней, четвертой части. Даже мѣсяць назадъ я еще надѣялся кончить, но теперь прозрѣлъ—нельзя. А между тѣмъ 4-я часть большая (12 листовъ)—весь расчетъ мой и вся надежда моя! Теперь, когда я все вижу какъ въ стекло,—я убѣдился горько, что никогда еще въ моей литературной жизни не было у меня ни одной поэтической мысли лучше и богаче чѣмъ та, которая выяснилась теперь у меня для 4-й части, въ подробнѣйшемъ планѣ. И что-же? Надо слѣпить изъ всѣхъ силъ, работать не переставая, гнать на почтовыхъ и, въ концѣ концовъ, всетаки не поспѣю! Въ какое же положеніе, не говоря уже о себѣ, ставлю я „Русскій Вѣстникъ“ и какъ оказываюсь передъ Катковимъ? Катковъ же такъ благородно поступилъ со мной. Имъ надо будетъ додавать окончаніе романа въ будущемъ году въ приложеніи, а это уже убытокъ журналу! Я рѣшился даже написать туда и отказаться отъ платы за все то, что будетъ напечатано въ будущемъ году, чтобъ вознаградить журналъ за убытокъ печатанія въ приложеніи. А это сильно подрываетъ мои интересы денежныя.

Жизнь моя здѣшняя слишкомъ ужъ мнѣ становится тяжела. Ничего русскаго, ни одной книги и ни одной газеты русской не читалъ вотъ уже 6 мѣсяцевъ, и наконецъ полное уединеніе. Весной, когда мы потеряли Соню, мы переселились въ Вевей. Тутъ прибыла къ намъ мать Анны Григорьевны. Но Вевей разстраиваетъ нервы (что извѣстно всѣмъ здѣшнимъ докторамъ; и не могли предупредить, когда я совѣтовался!) Подъ конецъ жизни въ Вевей и я и жена—мы заболѣли. И вотъ два мѣсяца назадъ мы переѣхали черезъ Симплонъ въ Миланъ. Здѣсь климатъ лучше, по жить дороже, дождя много, и кромѣ того скука смертная. Анна Григорьевна терпѣлива, но объ Россіи тоскуетъ, и оба мы плачемъ объ Сонѣ. Живемъ мрачно и по монастырски. Характеръ Анны Григорьевны воспримчивый, дѣятельный. Здѣсь ей заняться нечѣмъ. Я вижу, что она тоскуетъ, и хоть мы любимъ другъ друга чуть не больше, чѣмъ 1¹/₂ года назадъ, а все-таки мнѣ тяжело, что она живетъ со мной въ такомъ грустномъ монастырѣ. Это очень тяжело. Въ перспективѣ же Богъ знаетъ что. По крайней мѣрѣ, еслибъ конченъ былъ романъ, то я былъ-бы свободнѣе. Въ Россію воротиться—трудно и помыслить. Никакихъ средствъ. Это значитъ какъ пріѣхать, такъ и попасть въ долговое отдѣленіе. Но вѣдь я ужъ тамъ не рабочій. Тюрьмы я, съ моей падучей, не вынесу, а стало бытъ и работать въ тюрьмѣ не буду. Чѣмъ-же я стану уплачивать долги и чѣмъ жить буду? Еслибъ мнѣ дали кредиторы одинъ спокойный годъ (а они мнѣ три года ни одного спокойнаго мѣсяца не давали), то я бы взялся

черезъ годъ уплатить имъ работой. Какъ ни значительны мои долги, но они только $\frac{1}{5}$ доля того, что я уже уплатилъ работой моею. Я и уѣхалъ чтобъ работать. И вотъ, идея „Идіота“ почти лопнула. Если даже и есть или будетъ какое нибудь достоинство, то эффекта мало, а эффектъ необходимъ для 2-го изданія, на которое я еще нѣсколько мѣсяцевъ назадъ слѣпо рассчитывалъ и которое могло дать нѣкоторые деньги. Теперь, когда даже и романъ не конченъ, — о второмъ изданіи нечего и думать. Переѣхавъ въ Россію, я бы узналъ, чѣмъ заняться и добыть денегъ; я-таки добывалъ ихъ въ свое время. А здѣсь я тупѣю и ограничиваюсь, отъ Россіи отстаю. Русскаго воздуха нѣтъ и людей нѣтъ. Я не понимаю, наконецъ, совсѣмъ русскихъ эмигрантовъ. Это — сумасшедшіе.

Вотъ въ такомъ-то положеніи наши дѣла. Но въ Миланѣ оставаться тоже нельзя: слишкомъ неудобно жить и слишкомъ ужъ дорого. Хотимъ переѣхать черезъ мѣсяцъ во Флоренцію, и тамъ я кончу романъ. Деньги я все еще получаю отъ Каткова; ужасъ сколько проживаемъ en tout, хотя живемъ страшно обрѣзая себя. Скоро, съ окончаніемъ романа, кончится, разужьется, и полученіе денегъ отъ Каткова. Опять хлопоты и заботы. Но всетаки долгъ мой Каткову, считая съ тѣмъ, что забрано первоначально, чрезвычайно теперь уменьшенъ.

Отъ вашей жизни я отсталъ совершенно, хотя все сердце мое у васъ, и потому ваши письма — для меня манна небесная. Ужасно я порадовался извѣстію о новомъ журналѣ. Я никогда не слыхалъ ничего о Башпиревѣ, но я очень радъ, что, наконецъ-то, Николай Николаевичъ находитъ достойное его занятіе; именно ему надо быть редакторомъ и не ограничивать себя какъ нибудь отдѣломъ въ новомъ журналѣ, а стать душой всего журнала. Это, въ такомъ случаѣ, будетъ благонадежно. Съ полгода назадъ онъ мнѣ писалъ сюда, и очень очень порадовалъ своимъ письмомъ. Я не отвѣтилъ, не зная его адреса, который онъ не приложилъ. Онъ сообщилъ мнѣ въ этомъ письмѣ выписку своего письма къ Каткову, въ которомъ предлагалъ ему занять въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ критическій отдѣлъ. — Я не знаю, что отвѣчалъ Катковъ Николаю Николаевичу, но знаю про себя, что тамъ, и въ газетѣ и въ журналѣ всѣ мѣста, редакторства и отдѣлы, заняты и крѣпко заняты, по гоголевскому выраженію, что какъ сядетъ человекъ, то скорѣе подъ нимъ мѣсто затрепичитъ, чѣмъ онъ слетитъ съ мѣста. По моему, между нами, еслибъ даже и Катковъ захотѣлъ что нибудь измѣнить въ этомъ занятіи мѣстъ, то не всегда бы могъ исполнить. — Но теперь чего-же лучше Николаю Николаевичу? Но пусть только, главное, онъ будетъ полнымъ хозяиномъ на своемъ мѣстѣ. Желательно-бы очень, чтобъ журналъ былъ непремѣнно *русскаго духа*, какъ

мы съ вами это понимаемъ, хотя положимъ и не чисто славянофильскій. (По моему, другъ мой, намъ *слишкомъ* гоняться за славянствомъ право не надо, т. е. *слишкомъ*. Надо, чтобъ они сами къ намъ пришли. Послѣ славянскаго съѣзда въ Москвѣ, нѣкоторые изъ славянъ-же, возвратясь къ себѣ, подшучивали съ высока надъ русскими за то, что „руководствовать другихъ взялись, и какъ-бы импонировать славянамъ, а у самихъ-то еще что, и какое малое самосознаніе“, и т. д. и т. д. И повѣрьте, что многіе изъ славянъ, въ Прагѣ напримѣръ, судятъ насъ совершенно съ западныхъ точекъ зрѣнія, съ нѣмецкой и съ французской, и даже, можетъ быть, удивляются, что у насъ, славянофилы, напримѣръ, мало заботятся объ общепринятыхъ формахъ западной цивилизаціи. Такъ что намъ, напримѣръ, гоняться-то бы подождать за славянами. Изучать ихъ—дѣло другое; помочь тоже можно; но браться лѣзть не надо, но только лѣзть, потому что братьями ихъ считать и какъ съ братьями поступать съ ними несомнѣнно должно. Надѣюсь тоже очень, что Николай Николаевичъ придастъ журналу и политическій оттѣнокъ, не говоря ужъ о самопознаніи. Самопознаніе—это хромое наше мѣсто, наша потребность. Во всякомъ случаѣ у Николая Николаевича будетъ блистательно, и я съ неистощимымъ удовольствіемъ готовлюсь читать его статьи, которыхъ такъ давно не читалъ, съ той самой „Эпохи“. Хорошо, еслибъ журналъ поставилъ себя сразу независимѣе собственно въ литературномъ мѣрѣ; чтобъ, напримѣръ, не платить двухъ тысячъ за вещи въ родѣ „Минина“ или другихъ историческихъ драмъ Островскаго; а вотъ если комедію о купцахъ дастъ, то и заплатить можно. Или „Роя“ Кохановской,

А вотъ если дастъ что нибудь въ родѣ „Гайки“, ну, тогда и погордиться можно. Или напищеннаго и исписавшагося Е..... Однимъ словомъ, литераторовъ, по моему, надо-бы взять, наконецъ, въ руки и за одно имя не платить, а только за дѣло—чего ни одинъ журналъ доселѣ еще не осмѣливался сдѣлать, не исключая „Времени“ и „Эпохи“. Безъ литературнаго-же произведенія первой руки въ 1-хъ двухъ нумерахъ журнала,—и выходить нельзя. Это значить унустить 1,000 подписчиковъ въ самомъ началѣ. Я не совѣты даю, а отъ любви говорю. Надѣюсь, что Николай Николаевичъ мнѣ пришлетъ журналъ. Быть участникомъ журнала, разумѣется, согласенъ отъ всей души. Только теперь занятъ. Вотъ кончу романъ, тогда можно подумать. Хотѣлось-бы мнѣ, чтобъ журналъ былъ капитально хорошъ. Напишите мнѣ побольше подробностей, голубчикъ мой. Даете-ли вы сами что-нибудь въ журналъ? Дайте мнѣ для перваго номера что нибудь цѣлое и большое, ваше „Слово о полку Иг.“,

напримѣръ. Какъ называется журналъ? Публиковались-ли, объявляя подписку? Если хотѣть издавать съ новаго года, то давно пора.

Я читалъ книжку, объ которой вы мнѣ писали, какъ разъ незадолго до вашего увѣдомленія и признаюсь былъ взбѣшонъ ужасно *). Наглѣе ничего представить нельзя. Конечно, наплевать, я такъ-было и хотѣлъ сначала; но меня смущаетъ и то, что если я не протестую, то тѣмъ самымъ какъ-бы дамъ мое оправданіе подлой книжонкѣ. Но гдѣ протестовать? Въ „Nord?“ Но я по французски не умѣю хорошо написать и, кромѣ того, желалъ-бы поступить съ тактомъ. Думаю перебраться во Флоренцію и посоветоваться въ русскомъ консульствѣ, спросить наставленія, какъ поступить. Конечно, перебираюсь во Флоренцію не для одного этого. Вы мнѣ предлагаете съѣздить въ Венецію (которую хвалятъ зимою въ санитарномъ отношеніи во всѣхъ городахъ и всѣ доктора). Я ужасно-бы радъ, хотя-бы собственно для того, чтобъ развлечь Анну Григорьевну, и не знаю, можетъ быть и сдѣлаю, ибо дѣйствительно переѣздъ не долгій; но, во первыхъ, времени очень ужъ мало; во вторыхъ, это будетъ стоить намъ обоемъ, если даже ѣхать въ третьемъ классѣ и жить хотя три дня, 100 франковъ не менѣе, а для насъ теперь ужасъ что значить сто франковъ, хотя, напримѣръ, намъ не рѣдкость получить 1,000 франковъ отъ Каткова. Но получишь и тотчасъ-же отдѣлать надо на жизнь на мѣсяць или полтора, потомъ заплатить долги, которые всегда накопятся, переѣздъ, одежда. А такъ какъ будущее очень не обезпечено, то надо сильно поджать ноги. А прежде всего кончить романъ и работать день и ночь; ибо иначе ничего не будетъ.

Съ Ламанскимъ желалъ-бы увидѣться очень. Книгу Самарина **) радъ бы прочесть ужасно, тѣмъ болѣе, что обо всемъ этомъ самъ всегда думаю, — но гдѣ я ее достану? Здѣсь ужасъ что такое. Даже въ Женевѣ, гдѣ есть русскія книги, лежитъ на прилавкахъ только „Что дѣлать“ и разная дрянь нашихъ эмигрантовъ. Если и есть еще русскія книги — какойнибудь томикъ Гоголя, Пушкина — то случайно. Въ продажѣ русскихъ книгъ нигдѣ ни порядку, ни толку, ни мысли. И рѣдко гдѣ даже и продаютъ. Здѣсь, въ Италіи, ничего нѣтъ. Желалъ-бы достать Самарина, да негдѣ.

Мучаюсь и беспокоюсь тоже объ родныхъ. Пашѣ я не могъ ничего прислать все лѣто, но и онъ ужъ хорошъ. Но я на него не сержусь; не

*) Дѣло идетъ о романѣ „Les secrets du palais de Tsars“, изъ временъ Николая Павловича. Однимъ изъ главныхъ лицъ выведенъ О. М. съ женой; въ романѣ, среди многихъ вздоровъ, Достоевскій умираетъ, а жена его идетъ въ монастырь.

**) „Окраины Россіи“.

за что ему любить меня особенно, а къ ошибкамъ его по службѣ я не могу быть строгъ. Бѣдный, неразвитый мальчикъ, одинъ и безъ помощи, — какъ не надѣлать ошибокъ, но боюсь худшаго и ужасно-бы желалъ поскорѣ помочь ему. — Эмилиа Федоровна, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, тоже должна съѣхать съ моей квартиры у Алонкина, потому что я не могу платить за квартиру. Все это меня безпокоитъ, а всетаки прежде всего надо кончить работу!

А ужъ про мой долгъ вамъ, другъ мой, вамъ, — мнѣ стыдно и подумать! Мучаетъ онъ меня ужасно и именно тѣмъ, что вы поступили со мной какъ родной братъ, да еще не всякій, поступить. — У васъ-же у самихъ семья. Но получаю-же вѣдь я деньги! И потому — отдамъ. Придетъ и для меня разсвѣтъ, а главное хотѣлось-бы мнѣ въ Россію. Въ Россіи я бы обернулся лучше. И подумать еще, что Соня навѣрно была-бы жива, если-бы мы были въ Россіи!

Анна Григорьевна васъ любитъ и объ васъ думаетъ и говорить съ радостію. Передайте мой и ея поклонъ усердный (она уже три раза спрашивала сегодня, пишу-ли я отъ нея поклонъ) вашей супругѣ и вашимъ родителямъ. А отъ меня тоже, и всѣмъ меня помнящимъ. Мнѣ жаль Ковалевскаго *), — добрый и *полезнѣйшій* былъ человекъ, — такъ полезенъ, что, можетъ быть, только по смерти его это совершенно почувствуется.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

Ради Бога пишите ко мнѣ. Адресъ *во всякомъ случаѣ*: Italie, Milan, à M-r Dostoiewsky, poste restante.

11 (23) декабря 1868 г., Флоренція.

Спѣшу вамъ отвѣтить, дорогой другъ Аполлонъ Николаевичъ, и именно спѣшу, хотя такъ-бы хотѣлось отъ сердца поговорить. Вообразите, что я натащилъ на себя! Я писалъ вамъ, кажется, что я съ окончаніемъ „Идіота“ застрялъ и кончить въ декабрьскомъ номерѣ не успѣлъ и не успѣю. Объ этой моей силѣ я увѣдомилъ Каткова совершенно откровенно, т. е. что окончаніе романа придется напечатать въ видѣ приложения подписчикамъ въ будущемъ году. Теперь я вдругъ рѣшилъ иначе (только не знаю, согласятся-ли съ моимъ рѣшеніемъ въ редакціи „Русскаго Вѣстника“). *Я рѣшилъ кончить все, и 4-ю часть и заклю-*

*) Егоръ Петровичъ.

ченіе, въ декабрьскомъ № нынѣшняго года, съ тѣмъ однако, чтобъ декабрьская книжка „Русск. Вѣстникъ“ нѣсколько запоздала, а именно: сегодня послалъ Каткову уведомленіе, что къ 15 января, нашего стили, заключеніе „Идіота“ будетъ уже въ редакціи; предварительныя-же главы буду высылать постепенно, каждыя пять дней. Штука въ томъ, что у нихъ и безъ того декабрьская книга каждый годъ опаздывала, и даже такъ, что январская книга слѣдующей подписки выходила даже ранѣе декабрьской прошлаго года. Номеръ такимъ образомъ выйдетъ къ 20-му января— не много запоздаетъ, стало бытъ. Не знаю, какъ рѣшать. Но мнѣ отъ сегодня надо будетъ написать и отослать листовъ 7 печатныхъ въ 4 недѣли. Я вдругъ увидалъ, что я это въ состояніи сдѣлать не портя романа очень. Къ тому-же, все что осталось, все уже записано болѣе или менѣе на-черно, и я каждое слово наизусть знаю. Если есть читатели „Идіота“, то они, можетъ быть, будутъ нѣсколько изумлены неожиданностью окончанія; но, поразмысливъ, конечно согласятся, что такъ и слѣдовало кончить. Вообще окончаніе это изъ удачныхъ, т. е. собственно какъ окончаніе. Я не говорю про достоинство собственно романа; но когда кончу, кой-что напишу вамъ, какъ другу, что я думаю самъ о немъ.

Итакъ вотъ въ какомъ я положеніи. А между тѣмъ накопилось 4 письма, на которыя я слишкомъ долженъ отвѣтить, хотя-бы по тому одному, что самому хочется. Вы, конечно, не можете себя вообразить, какъ ваши письма меня здѣсь оживляютъ. Вотъ уже съ мая мѣсяца не читалъ ни одной русской газеты! Получаю только одинъ „Русскій Вѣстникъ“, и день полученія книжки—цѣлый праздникъ. Кстати: Николаю Николаевичу я пишу, чтобъ онъ мнѣ прислалъ „Зарю“, сюда во Флоренцію, такъ-таки съ перваго №, иначе жить не могу. Пусть поставятъ въ редакціи „Заря“ на счетъ, если хотятъ; вѣдь, можетъ быть, и сочтемся. Судите послѣ того, какъ-же мнѣ дороги письма такого извѣданнаго и испытаннаго пріятели, какъ вы. А когда вы пишете мнѣ о вашихъ бесѣдахъ съ Страховымъ, то вѣдь я точно самъ тутъ присутствую. Я отъ Страхова письмо тоже получилъ; много литературныхъ новостей. Порадовало меня между прочимъ извѣстіе о статьѣ Данилевскаго „Европа и Россія“*), о которой Нив. Ник—чѣ пишетъ какъ о капитальной статьѣ. Признаюсь вамъ, что о Данилевскомъ я, съ самаго 49-го года, ничего не слыхалъ, но иногда думалъ о немъ. Я припоминалъ, какой это былъ отчаянный фурьеристъ. И вотъ изъ фурьериста обратиться къ Россіи, статья опять

*) Тутъ ошибка, которую часто дѣлаютъ, когда говорятъ объ этой книгѣ; она называется *Россія и Европа*.
Н. С.

русскимъ и возлюбить свою почву и сущность! Вотъ почему узнается широкій человѣкъ!
 Равномѣрно, никогда не повѣрю словамъ покойнаго Аполлона Григорьева, что Вѣлинскій кончилъ бы славянофильствомъ. Не Вѣлинскому кончить было этимъ. Это былъ только и больше ничего. Большой поэтъ въ свое время; но развиваться далѣе не могъ. Онъ кончилъ-бы тѣмъ, что состоялъ-бы у какой нибудь здѣшней М-мъ Гѣггъ адъютантомъ по женскому вопросу на митингахъ и разучился-бы говорить по русски, не выучившись всетаки по нѣмецки. А знаете-ли, кто новые русскіе люди? Вотъ тотъ мужикъ, бывшій раскольникъ, при Павлѣ Прусскомъ, о которомъ напечатана статья съ выписками въ юньскомъ номерѣ „Русскаго Вѣстника“. Это не типъ грядущаго русскаго человѣка, но ужь, конечно, одинъ изъ грядущихъ русскихъ людей.

Но на эту тему начнешь—вѣдь и не кончишь. Хочу я у васъ, дорогой мой, спросить дружескаго совѣта: чтѣ дѣлать?—Но у васъ одного, конечно. Не надо, чтобъ другимъ были извѣстны мои домашнія дѣла. Вотъ въ чемъ дѣло; черезъ мѣсяцъ я отработаюсь въ „Русскій Вѣстникъ“. Въ „Идіотѣ“ всего окажется около 42-хъ печатныхъ листовъ. Взялъ я у нихъ (считая то, чтѣ взялъ передъ свадьбой моей и бездѣлицу, которую еще попрошу), до 7,000 руб. Да-съ, до семи тысячъ. Правда, оно такъ и выходитъ, что мы проживали во все это время, среднимъ числомъ въ годъ, до 2,000, и это со всѣми разъездами, съ платьемъ, съ ребенкомъ, со всѣмъ,—чего ужь никакъ не могли-бы сдѣлать въ Петербургѣ.

По моему разсчету (не входя въ подробности), я всетаки останусь долженъ въ редакціи „Русскаго Вѣстника“ до 1,000 руб. Можетъ быть, они этимъ и не потянутся; они знаютъ, что я заработаю. Но вопросъ: чѣмъ-же мнѣ жить? Кончивъ романъ, я еще мѣсяца два протану, ну а тамъ чтѣ дѣлать? Обращаться къ Каткову? Если они намѣрены пользоваться моимъ сотрудничествомъ, то, конечно, они будутъ присылать деньги по моимъ просьбамъ, но хуже всего для меня будетъ то, что я всетаки не буду знать, на какомъ я буду у нихъ основаніи? То есть, какъ должный въ редакцію писатель,—это я понимаю. Но они никогда не отвѣчаютъ,—такъ даже, что я не знаю, приятенъ-ли имъ мой романъ, или нѣтъ, и желаютъ-ли они моего сотрудничества? А это, даже по однимъ только денежнымъ разсчетамъ, уже довольно важно знать.

Проклятые кредиторы убьютъ меня окончательно. Дурно сдѣлалъ я, что выѣхалъ за границу, право, лучше было-бы въ долговомъ просидѣть. Если-бъ я могъ отсюда войти съ ними въ соглашеніе!—а я и этого-то не могу, потому что нѣтъ меня тамъ лично.—Главное-же я къ тому говорю,

что у меня есть на умѣ, напимѣрѣ, два или даже *три* изданія, требующія одной только воловьей механической работы и между тѣмъ которыя безспорно дали-бы деньги. Мнѣ вѣдь на этотъ счетъ иногда удавалось.— Здѣсь-же у меня на умѣ теперь: 1) огромный романъ, названіе ему „Атеизмъ“ (ради Бога между нами), но, прежде чѣмъ приняться за который, мнѣ нужно прочесть чуть не цѣлую бібліотеку атеистовъ, католиковъ и православныхъ. Онъ поспѣетъ, даже при полномъ обезпеченіи въ работѣ, не раньше какъ черезъ два года. Лицо есть. Русскій человѣкъ нашего общества, *и съ тѣмъ*, не очень образованный, но и не необразованный, не безъ чиновъ,—*вдругъ*, уже въ лѣтахъ, теряетъ вѣру въ Бога. Всю жизнь онъ занимался одной только службой, изъ колен не выходилъ и до 45 лѣтъ ничѣмъ не отличился. (Разгадка психологическая: глубокое чувство, человѣкъ и русскій человѣкъ). Потеря вѣры въ Бога дѣйствуетъ на него колоссально (собственно дѣйствіе въ романѣ, обстановка—очень большія). Онъ шныряетъ по новымъ поколѣніямъ, по атеистамъ, по славянамъ и европейцамъ, по русскимъ изувѣрамъ и пустынножителемъ, по священникамъ; сильно между прочимъ попадаетъ на крючокъ іезуиту пропагатору, поляку; спускается отъ него въ глубину хлыстовщины—и подъ конецъ обрѣтаетъ и Христа и русскую землю, русскаго Христа и русскаго Бога (ради Бога, не говорите никому; а для меня такъ: написать этотъ послѣдній романъ, да хоть-бы и умереть—весь выскажусь). Ахъ, другъ мой! Совершенно другія я понятія имѣю о дѣйствительности и реализмѣ, чѣмъ наши реалисты и критики. Мой идеализмъ—реальнѣе ихняго. Господи! Поразсказать толково то, что мы все, русскіе, пережили въ послѣднія 10 лѣтъ въ нашемъ духовномъ развитіи,—да развѣ не закричатъ реалисты, что это фантазія! А между тѣмъ, это исконный настоящій реализмъ! Это-то и есть реализмъ, только глубже, а у нихъ мелко плаваешь. Ну, не ничтоженъ-ли Любимъ Торцовъ въ сущности,—а вѣдь это все, что только идеальнаго позволилъ себѣ ихъ реализмъ. Глубокъ реализмъ—нечего сказать! Ихнимъ реализмомъ—сотой доли реальныхъ, дѣйствительно случившихся фактовъ не объяснишь. А мы нашимъ идеализмомъ пророчили даже факты. Случалось. Голубчикъ мой, не смѣйтесь надъ моимъ самолюбіемъ; но я какъ Павелъ: „Меня не хвалятъ, такъ я самъ буду хвалиться“.

Но повамѣсть нужно жить. „Атеизмъ“ на продажу не потащу (а о католицизмѣ и объ іезуитѣ у меня есть что сказать сравнительно съ православіемъ). Есть у меня идея одной довольно большой повѣсти, листовъ въ 12 печатныхъ, и привлекаетъ меня. Есть и еще одна мысль. На что рѣшиться и кому предложить трудъ? „Зарѣ“? Но вѣдь я беру деньги впередъ,

и тамъ врядъ-ли дадутъ. Конечно, не обойдусь, можетъ быть, безъ ихъ помощи, но туда надо послать готовую статью, а это тяжело! Чѣмъ жить, пока готовишь статью? Это и „Русскій Вѣстникъ“ съ лихвой мнѣ дастъ (150 руб. за листъ, да еще впередъ тысячами, по крайней мѣрѣ давалъ). Окончаніе „Идіота“ будетъ эффектно (не знаю, хорошо-ли?) Но предлагать самому книгопродавцамъ второе изданіе—значитъ потерять половину. Надо, чтобъ сами пришли, какъ всегда и было со мною, а придутъ-ли? Я понятія не имѣю объ успѣхѣхъ или неуспѣхѣхъ романа. Впрочемъ, все рѣшить конецъ романа.—Во всякомъ случаѣ прошу у васъ, другъ мой, совѣта.—Главнаго совѣта жду отъ васъ, когда прочтете окончаніе „Идіота“. Съ января-же я свободенъ, а не въ моемъ положеніи сидѣть сложа руки: надо жить и долги отдавать. Напишите мнѣ, другъ мой, (между нами только одними) все о „Зарѣ“, каковы ея денежные средства и можетъ-ли она выдать впередъ, говоря вообще, и мнѣ, говоря въ частности? Я же вамъ признаюсь, что для меня попросить впередъ у „Зари“ будетъ нѣчто слишкомъ рѣшительное. Оставлять „Русскій Вѣстникъ“, хотя-бы на время, нѣсколько щекотливо, особенно оставаясь туда должнымъ. (Если-бъ я только зналъ личный взглядъ на мое сотрудничество въ „Русскомъ Вѣстникѣ“! Впрочемъ конечно знаю: *даюмъ деньги*). Во всякомъ случаѣ, напишите мнѣ кое-что и объ этомъ обо всемъ. Опять-таки тоже: хорошо-ли самому кабалиться и лѣзть въ исключительное сотрудничество, —тѣмъ болѣе, если на него смотрятъ довольно хладнокровно? Отсталъ я ужасно отъ васъ—ничего не знаю. Во всякомъ случаѣ все, чтѣ я вамъ написалъ, прося совѣта, — между нами.

Благодарю васъ очень, родной мой, что пристроили Пашу. Ужъ если у Порѣцкаго не уживется, то чего-же ему надобно? Опять просьба, голубчикъ, опять просьба: я только-что попросилъ у Каткова 100 руб., съ тѣмъ чтобъ онъ выслалъ ихъ на ваше имя, а васъ умоляю еще разъ быть также безконечно-добрымъ, какъ вы до сихъ поръ ко мнѣ были. Эти 100 руб. Пашѣ и Эмилиі Федоровѣ, по 50 руб. въ каждыя руки.

...Братъ Миша послалъ мнѣ деньги въ Сибирь. Но это было въ сложности такъ не много, что я уже, по крайней мѣрѣ, въ пять разъ болѣе отдалъ и ему и имъ. Я въ Сибири 2,000 руб. за двѣ мои напечатанныя тогда повѣсти получилъ—не могъ онъ мнѣ все помогать. Я еще при жизни его ему отдалъ. Но когда я пріѣхалъ, фабрика была въ упадкѣ; папирсы, которыя пошли вначалѣ, совершенно лопнули подъ конецъ и были задавлены Миллеромъ и Лафермъ; долговъ же было пропасть и онъ все охалъ, предчувствуя банкротство. Все это можетъ засвидѣтельствовать Николай Ивановичъ, его прикащикъ, который и ку-

пилъ на 2-й годъ журнала у него фабрику за 1,000 руб. — всю фабрику! Это не великое богатство. Журналъ основанъ былъ имъ и затѣянъ по его идеѣ, и съ 1-го года имѣлъ 4,000 слишкомъ подписчиковъ, въ продолженіе 4-хъ лѣтъ *), это значитъ минимумъ 20,000 руб. сереб. чистаго барыша ежегодно. На это существуютъ книги редакціи, чтобъ знать, да есть и свидѣтели. Журналъ спасъ брата отъ банкротства. Я-же получалъ за все мое сотрудничество никогда не болѣе семи или восьми тысячъ въ годъ. Запрещеніе журнала разорило брата... Когда онъ умеръ, были долги. А я выпросилъ тогда у тетки 10,000 и далъ на журналъ. Журналъ-же затѣялся съ общаго совѣта всѣхъ сотрудниковъ; на этомъ совѣтѣ и они всѣ участвовали: продолжать или нѣтъ? Рѣшили продолжать; я и сталъ продолжать. Я съ 10,000 выдалъ 8 книгъ и заплатилъ множество долговъ. Журналъ не пошелъ, потому что думали, что я умеръ (вѣдь я это положительно знаю!), а не братъ (насъ всегда смѣшивали), да и редакторомъ ужъ имя Достоевскаго не стояло. Лопнулъ журналъ—и всѣ долги на меня упали. Я послѣ того моими сочиненіями (продажей Стелловскѣму „Преступленія и Наказанія“) еще 10,000 заплатилъ. Остался теперь кончикъ, который не могу выплатить. . . Папа мнѣ писалъ, что Гавриловъ могъ-бы дать ему займы подъ мое обезпеченіе. Я написалъ бумагу, что долженъ Гаврилову и, сверхъ того, послалъ другую, въ обезпеченіе займа, будущими деньгами, которыя навѣрно получу отъ Стелловскаго въ этомъ, или въ будущемъ году. Такъ у насъ по контракту. Эти двѣ бумаги до сихъ поръ у Паши. Онъ мнѣ писалъ, что Гавриловъ не согласился. Я потребовалъ отъ Паши высылки мнѣ назадъ моихъ бумагъ; но онъ не высылаетъ и теперь на настоятельныя приказанія мои ему (черезъ Эм. Ф.—ну) *обѣщался* выслать *одну* бумагу. Я напишу ему теперь, чтобъ онъ обѣ бумаги принесъ и *отдалъ вамъ*. (Васъ-же попрошу сохранить ихъ до моего пріѣзда). Спросите у него эти бумаги. Адресъ-же Эмилии Федоровны: на Петербургской сторонѣ, по Свѣзжинской улицѣ, домъ Корба, № 13, кварт. № 5. Умоляю васъ, голубчикъ, добрый вы какъ ангелъ человекъ, не сердитесь на меня, что я васъ еще разъ въ этомъ утруждаю,—тѣмъ болѣе, что вамъ-же еще долженъ (но вамъ теперь скоро отдамъ, скоро; иначе быть не можетъ). Простите, что такъ говорю; но, другъ мой, вѣдь вы сами трудами живете).

Флоренція хороша, но ужъ очень мокра. Но розы до сихъ поръ цвѣтутъ въ саду Воволі на открытомъ воздухѣ. А какія драгоценности въ галереяхъ! Боже, я просматрѣлъ Мадону въ креслахъ въ 63-мъ году,

*) Обмолвка: журналъ существовалъ только три года. 

смотрѣлъ недѣлю и только теперь увидѣлъ. Но и кромя нея сколько божественнаго! Но все оставилъ до окончанія романа. Теперь закупо-
рился.

Ваша: „У часовни“ — безподобно. И откуда вы словъ такихъ достали! Это одно изъ лучшихъ стихотвореній *вашихъ*; — все прелестно, но *однимъ* только я не доволенъ: *тономъ*. Вы какъ будто *извиняете* икону, *оправдываете*. Пусть, дескать, это изувѣрство, но вѣдь это слезы убійцы и т. д. Знайте, что мнѣ даже знаменитыя слова Хомякова о чудотворной иконѣ, которыя приводили меня прежде въ восторгъ, — теперь мнѣ не нравятся, слабы кажутся. Одно слово: „Вѣрите вы иконѣ, или нѣтъ!“ Можеть быть вы поймете то, что мнѣ хочется сказать; это трудно вполне высказать. Ахъ, какъ о многомъ хотѣлось-бы поговорить. Пишите мнѣ. Адресъ мой: Italie, Florence, à M-г Th. Dostoiewsky, poste restante.

Анна Григорьевна вамъ и Аннѣ Ивановнѣ отъ души кланяется. — Ей вѣдь еще скучнѣе, чѣмъ мнѣ, я, по крайней мѣрѣ, занятъ усиленно.

P. S. Можеть случиться, что вѣдь изъ ред. „Русскаго Вѣстника“ и *не придутъ* къ вамъ деньги (100 руб.).

P. S. Я Страхову пишу: въ редакцію журнала „Заря“. Дойдетъ-ли? Обнимаю васъ

Вашъ Ф. Достоевскій.

Дрезденъ, 17 (29) сентября 1869 г.

Безцѣнный и единственный другъ Аполлонъ Николаевичъ! Предполагаю, что переѣздъ съ дачи и нервные дни вновь начавшейся городской жизни не дали вамъ возможности исполнить доброе обѣщаніе ваше — написать мнѣ сейчасъ же по окончаніи дачной жизни. Не жалею и не претендую, мы другъ друга знаемъ (хотя и жду вашего письма съ самымъ крайнимъ нетерпѣніемъ), но одно сомнѣніе меня очень мучаетъ: такъ какъ всетаки отвѣта на мое письмо, уже болѣе мѣсяца тому назадъ къ вамъ посланное, я не получилъ, то и боюсь, во-1-хъ, что оно къ вамъ не дошло; 2) на той-ли вы квартирѣ въ Петербургѣ, что и прежде? Я вамъ адресовалъ на Садовую, домъ Шеффера. Чтò, если вы оставили квартиру? И потому, если-бъ я былъ поскорѣе выведенъ изъ моихъ недоумѣній, было бы очень хорошо. Напримѣръ, теперь, это письмо, которое теперь пишу къ вамъ, для меня самое экстренное и роковое. Чтò, если не дойдетъ до васъ? Отвѣтите хоть на одной страницѣ, хоть полстранички напишите, чтобъ я, по крайней мѣрѣ, зналъ, *но только отвѣтите сейчасъ*, иначе силъ моихъ

больше не хватить. Сейчас опишу вамъ мое положеніе и въ какой именно вашей помощи я нуждаюсь, какъ утопающій:

Во первыхъ, три дня тому назадъ (14 сентября) родилась у меня дочь, Любовь. Все обошлось превосходно, и ребенокъ большой, здоровый и красавица. Мы съ Аней счастливы. (Вспомните, что мы васъ зовемъ крестить. Аня проситъ васъ, сложъ руки, и непременно васъ; дайте же отвѣтъ). Но денегъ у насъ меньше 10 талеровъ. Не вините меня въ небрежности и непредвидѣніи; тутъ никто не виноватъ. Разсчитывали во Флоренціи, что денегъ, присланныхъ „Русск. Вѣстникомъ“, достанетъ на все. Но, какъ и при всѣхъ расчетахъ,—обочились. Нечего пускаться въ подробности, но дѣло въ томъ, что хоть я и напишу деликатѣйшему, добрейшему и благороднѣйшему Михаилу Никифоровичу, чтобъ выручилъ, но писать *сейчасъ*, такъ недавно получивши отъ него, — ужасно стыдно и почти невозможно; руки не поднимаются. Между тѣмъ, ни бабкѣ, ни доктору еще не заплачено, и хоть каждую копѣйку учитываемъ, но въ теперешнемъ положеніи невозможно безъ денегъ. Невозможно! Вслѣдствіе этого взялъ слѣдующую мѣру:

Сегодня-же, вмѣстѣ съ этимъ письмомъ къ вамъ, отправляю письмо къ Башпиреву, *лично* (такъ какъ знаю, что Страхова нѣтъ въ Петербургѣ). Въ письмѣ сначала описываю мое положеніе, упоминаю о переѣздѣ, о рожденіи ребенка (все какъ слѣдуетъ), солгалъ притомъ, что у меня осталось 15 талеровъ, тогда какъ нѣтъ и *десяти*, и кончаю просьбою о присылкѣ мнѣ впередъ 200 рублей на слѣдующемъ основаніи:

Такъ какъ сижу въ настоящую минуту за повѣстью въ „Зарю“, и довелъ работу уже до половины (все это справедливо), то во-1-хъ вижу, что повѣсть будетъ объемомъ въ 3½ листа „Русскаго Вѣстника“ (т. е. чуть-ли не въ 5 листовъ „Зари“). Это *минимумъ*. И такъ какъ я получилъ уже весной изъ „Зари“ 300 руб., то всетаки по окончаніи повѣсти мнѣ придется дополучить почти за 1½ листа (печати „Русскаго Вѣстника“) еще. Хоть повѣсть еще не кончена, но въ концѣ октября *навѣрно* будетъ выслана уже въ „Зарю“. Это навѣрно. 2) Хоть я и не въ правѣ просить на этихъ основаніяхъ *теперь* впередъ, но, по моему критическому положенію прошу его по христіански меня выручить и выслать 200 руб. Но такъ какъ это можетъ быть тяжело сдѣлать сейчасъ, то прошу его выслать *сейчасъ* всего только 75 рублей (это чтобъ спасти сейчасъ изъ воды и не дать провалиться). Затѣмъ *черезъ семь недѣль* отъ этой 1-й высылки, прошу выслать еще 75 рублей и, наконецъ, уже при этой второй высылкѣ, выдать вамъ (Ап. Ник. Майкову) 50 руб. Такимъ образомъ и составитъ просимая сумма въ 200 руб. Не зная совершенно

личности Кашпирева, пишу въ усиленно-почтительномъ, хотя и въ нѣсколько настойчивомъ тонѣ (боюсь, чтобъ не пикировался; ибо почтительность слишкомъ усиленная, да и письмо, кажется, очень глупымъ слогомъ написано).

Затѣмъ въ письмѣ къ Кашпиреву излагается и вторая, самая главная просьба моя. Именно: если онъ согласенъ будетъ исполнить мою просьбу о деньгахъ, то пусть вышлетъ первые 75 руб. *сейчасъ, не медля ни мало*. Написалъ ему, что прибѣгаю ко всей деликатности его ума и сердца, чтобъ онъ не обидѣлся за настойчивость о присылкѣ *сейчасъ и не медля ни мало*, но пусть вникнетъ и пойметъ, что для меня время и срокъ помощи чуть не важнѣе самихъ денегъ. Ибо равнымъ образомъ его прошу: что если онъ не заблагоразсудитъ помочь мнѣ и откажетъ, то всетаки пусть сейчасъ-же извѣститъ меня объ отказѣ, *не медля ни мало*. Написалъ при этомъ, что для этого извѣщенія объ отказѣ достаточно для меня будетъ получить хоть двѣ строчки рукою секретаря его редакціи, но только *сейчасъ*, для того, чтобъ я могъ скорѣе принять *последнія мѣры*, а не ждать праздно возможности присылки денегъ (тутъ я еще второй разъ въ письмѣ къ Кашпиреву солгалъ по поводу этихъ *последнихъ мѣръ*, объясняя ему, что я принужденъ буду тотчасъ-же продать послѣднія и необходимѣйшія вещи и за вещь, стоящую 100 талеровъ, взять 20, что, конечно, принужденъ буду сдѣлать, для спасенія жизни трехъ существъ, если онъ *замедлитъ* отвѣтомъ, хотя-бы и удовлетворительнымъ. Что я черезъ недѣлю стану продавать послѣднія вещи, если не получу денегъ, то это правда полная; ибо иначе никакъ нельзя; но солгалъ я въ томъ, что буду продавать сто-рублевныя вещи. Двѣ-три сто-рублевныя вещи, у насъ бывшія, уже давнымъ давно, сейчасъ-же по пріѣздѣ въ Дрезденъ, заложены и дѣйствительно по оцѣнкѣ вмѣсто 100 рублей — двадцатью. Но теперь придется продать бѣлье, пальто и пожалуй сѣртукъ; ибо, хотъ и напишу Каткову, но всетаки *раньше мѣсяца* оттуда денегъ не будетъ, хотъ и будутъ навѣрно).

Изложивъ вамъ содержаніе письма къ Кашпиреву, излагаю мою личную, особенную и чрезвычайную просьбу къ вамъ; пособите по христіански, дружески и по товарищески! Не потягивайтесь! Послѣдній разъ утруждаю васъ. Просьба-же въ слѣдующемъ:

Такъ какъ Страховъ писалъ мнѣ, что вы довольно близко знакомы съ Кашпиревымъ, то съѣздите сейчасъ по полученіи этого письма и не отлагая къ Кашпиреву и попросите его, чтобъ онъ исполнилъ мою просьбу о *немедленномъ отвѣтѣ*. Главное, чтобъ былъ *немедленный отвѣтъ*. Ну вотъ и вся моя просьба къ вамъ. Но поймите, дорогой другъ, до

какой степени она важна для меня теперь въ моемъ положеніи! (Прибавлю еще, *собственно для васъ* (т. е. между нами), что я прошу почти *своею*, что вѣдь повѣсть черезъ мѣсяць все оплатитъ, и что хоть я и не претендую *на право* взиманія *впередъ*, но такія снисхожденія послѣднему литератору дѣлаются. Такъ что если мнѣ откажутъ въ „Зарѣ“ теперь, то я слишкомъ пойму тотъ уровень, на который меня ставятъ тамъ въ литературномъ отношеніи. Боюсь еще, чтобъ онъ не принялъ мой усиленно-почтительный тонъ въ письмѣ за ироническій. Богъ знаетъ вѣдь какой человекъ; я объ немъ не имѣю никакого понятія лично. А просто-за-просто я не умѣю писать въ незнакомыхъ о щекотливыхъ предметахъ. Писалъ отъ руки, на-бѣло, и потомъ уже, перечтя письмо, увидалъ, что вается ужъ слишкомъ почтительно).

Отвѣчайте-же, другъ мой. Пишу наскоро. Жена вамъ кланяется. Мы въ великой радости. У ней третьи сутки—т. е. самыя опасныя. Мое здорье въ Дрезденѣ крайне плохо. Безпрерывно простужаюсь, чего почти никогда со мной не было, а въ Швейцаріи и Италіи было немнѣлимо. Да и припадки въ Дрезденѣ увеличились; но это, можетъ быть, только съ пріѣзда.

Работаю усиленно. Замыслилъ вещь въ „Русскій Вѣстникъ“, которая волнуетъ меня, но боюсь усиленной работы. Много-бы хотѣлось написать вамъ объ литературѣ, но не до литературы въ эту минуту. О повѣсти въ „Зарю“ ничего не скажу: одно знаю навѣрно, что будетъ довольно оригинальна, а что дальше выйдетъ, то сами увидите, если прочтете.

Главное хотъ двумя строками отвѣтьте.

Наконецъ послѣднее: Я прошу, чтобъ вамъ Кашпиревъ выдалъ 50 руб. на руки. Это (простите меня, дорогой мой, за надобданіе и исполните ради Христа)—это для того, чтобъ 25 руб. выдать Эмилиі Оедоровнѣ и 25 руб. Пашѣ. Они имѣютъ полное право негодовать на такую нищенскую помощь; но пусть, пусть даже обидятся, въ правѣ будутъ, но такъ какъ 25 руб. всетаки что нибудь и сколько нибудь принесетъ имъ пользы, то выдайте. Такъ какъ они ни за что не повѣрятъ, въ какомъ я самъ положеніи, и почему такъ нищенски помогаю, то и не говорите имъ ничего въ извиненіе мое. Сдѣлайте-же, ради Господа Бога.

2) Напишите мнѣ что нибудь о Пашѣ.

3) Чтò такое вы мнѣ написали тогда о теткѣ и Веселовскомъ? Я написалъ ему тогда-же, давно уже, письмо, по вашимъ словамъ, но въ письмѣ этомъ я просилъ только объясненій и говорилъ положительно, что не начну дѣла, если не буду убѣжденъ вполне, *нравственно*, въ томъ, что это завѣщаніе монастырю сдѣлано не по желанію теткы, а въ бреду.

Этотъ господинъ Веселовскій даже двумя строчками не удостоилъ мнѣ отвѣтить. Мое письмо было очень прилично. Я теперь положительно знаю, изъ другаго источника, что тетка жива. Пусть все это бурда и ошибка, но со стороны Веселовскаго не отвѣтить хоть 2-хъ строкъ, напримеръ, хоть о томъ, что онъ ничего тутъ не понимаетъ, — по моему совершенно невѣжливо. Я узналъ, что онъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ моимъ братомъ Андреемъ Михайловичемъ, который управляетъ имѣніемъ тетки. Не вышло-бы чего для меня щекотливаго? Но Веселовскій ужъ навѣрно ему мое письмо показалъ. И такъ, главное въ томъ, что такое Веселовскій, какой человекъ? Не напишете-ли мнѣ чего-нибудь объ этомъ?

4) Получили-ли вы мое письмо изъ Флоренціи, весной, въ которомъ я вамъ писалъ объ „Идіотѣ“ и Базуновѣ? Такъ какъ вы ничего не упомянули на этотъ счетъ въ вашемъ письмѣ пять недѣль назадъ, то боюсь, что вы не получили.

Впрочемъ я теперь другихъ имѣній объ изданіи „Идіота“. Не къ тому и упоминаю. А главное: не пропадаютъ-ли мои и ваши письма?

Обнимаю васъ крѣпко. Вашъ неизмѣнный

Федоръ Достоевскій.

Есть и еще одинъ предметъ, который крайне тяготитъ меня, но въ этомъ письмѣ не говорю объ немъ. Я продолжъ вамъ говорю. Другъ мой, отдамъ скоро, скоро, вѣрьте! Благодарю васъ за вашу ангельскую снисходительность, но на счетъ денегъ у меня есть нѣкоторыя надежды. Напишу потомъ, до свиданія.

Увѣдомьте-же. Хоть 2 строки. Главное увѣдомьте.

Адресъ тотъ-же.

PS. Чуть не забылъ чрезвычайно важное.

Тогда они выслали мнѣ 300 руб. изъ „Зари“ и деньги тащились *мѣсяцъ*. Я знаю эту штуку: это черезъ какія-то конторы. Но главное въ томъ, что Ник. Ник. Страховъ написалъ мнѣ потому, что *иначе деньги и не высылаются*. Стало быть у нихъ и понятія не имѣютъ, какъ высылаются деньги, чтобъ придти такъ же скоро, какъ и письмо, т. е. на третій день. Голубчикъ, помогите, посоветуйте имъ; иначе, если деньги замедлятъ — я пропасть. Высылаются-же деньги такимъ образомъ, что надо поѣхать въ Петербургъ къ какому нибудь банкиру (хоть къ Гинцбургу, или есть тамъ и другой какой-то), внести имъ высылаемыя деньги, получить отъ нихъ вексель на три мѣсяца (на имя Ротшильда, наприм., такъ высылаютъ „Русскій Вѣстникъ“). Впрочемъ всего лучше, изъяснивъ банкиру надобность скорой почтовой пересылки — вѣряться ему и онъ сдѣ-

лаетъ какъ знаетъ. Они ужѣютъ; тѣмъ и занимаютъ). Затѣмъ этотъ полученный вѣрный вексель (на почтѣ это называется здѣсь и вездѣ пересылкою Valeur'овъ (Valeurs, т. е. почти что деньги), этотъ вексель вложить въ письмо ко мнѣ и *застраховать* на почтѣ. (Это непременно, но „Русскій Вѣстникъ“ хоть и страхуетъ всегда, но никогда не обозначаетъ *на оберткѣ* пересылаемой суммы; ибо это Valeur *)—переслать мнѣ, *poste restante*. Дойдетъ на третій день. Получивъ, я вынимаю вексель и иду къ первому (или ко всякому) здѣшнему банкиру и мѣняю на золото, приплачивая за промѣнъ ничтожную сумму (на 1,000 франковъ 10). Все происходитъ въ 20 минутъ. У Гинцбурга-же (или гдѣ въ другомъ мѣстѣ) пусть переведутъ по курсу рубли на *талеры*. Умоляю, замолвите слово объ этомъ. Ибо срокъ, время — для меня теперь *все*, пуще денегъ!

Дрезденъ, 16 (28) октября 1869 г.

Дорогой другъ Аполлонъ Николаевичъ, получилъ и письмо ваше, съ мѣсяцъ назадъ, и приписку къ Пашину письму, но объ этомъ послѣ.

Ради Христа, скажите мнѣ: что мнѣ дѣлать и на что теперь рѣшиться? Я въ отчаяніи! Вы читали мое первое (просительное о 200 руб.) письмо къ Кашпиреву, я и вамъ писалъ. Писалъ объ ужасной нуждѣ и объ *отчаянномъ* моемъ положеніи. И что-же? до сихъ поръ *ни копѣйки денегъ не получилъ*—одни обѣщанія! Еслибъ вы знали только, въ какомъ мы теперь положеніи. Вѣдь насъ трое—я, жена, которая кормитъ и которой ѣсть надо, и ребеночекъ, который можетъ заболѣть черезъ нашу нужду и умереть! Вотъ какъ было все дѣло, день за днемъ; прислушайтесь и зашѣйте все:

Черезъ недѣлю послѣ моего просительнаго (перваго письма) я дѣйствительно получилъ письмо отъ Кашпирева, съ выраженіемъ искренняго согласія и готовности и съ векселемъ, отъ петербургскаго банкира Хессина, на здѣшняго дрезденскаго банкира Гирша. Иду къ Гиршу: онъ читаетъ вексель и говоритъ: тутъ написано, чтобы выплатить съ *laut Bericht*, а *laut Bericht* значить предувѣдомленіе мнѣ, Гиршу, отъ Хессина, чтобы я *не платилъ* безъ особаго *Avis*, которое должно быть мнѣ

*) Впрочемъ, какъ потребуетъ почтамтъ. Главное только застраховать, т. е. положить 5 печатей. Объ деньгахъ-же почтамту и не упоминается. Я такъ пересылалъ изъ Петербурга за границу самъ. Лучше всего повторяю разспросить Гинцбурга (или кого тамъ). Онъ научить. Но пусть переведутъ на талеры.

выслано Хессиню особю, а потому и не заплачу; а заплачу, когда придетъ *Avis*. Я сталъ ждать: хожу каждый день въ контору: не пришло-ли *Avis*? Нѣтъ *Avis*. Наконецъ, въ конторѣ надо мной стали посмѣиваться. Потерявъ терпѣніе и будучи *безъ хлѣба* — пишу Кашпиреву, объясняю мое отчаянное положеніе, прошу понудить Хессина прислать *Avis*, а съ будущей 2-й присылкой 75 руб. — избавить меня отъ Хессина и Гирша. Письмо мое было послано отъ 27 сентября (9 октября). Жду — пѣтъ отвѣта! Ей Богу думалъ, что ужъ и не будетъ. Между тѣмъ бѣгаю каждый день къ Гиршу. Тамъ смѣются и говорятъ, что вѣрно Хессинъ *забылъ* прислать *Avis*. Зашелъ справиться въ двѣ-три другія конторы: вездѣ сказали, что по векселю съ *laut Bericht* — никто денегъ не дастъ безъ *Avis*. Въ одной конторѣ сказали, что такіе векселя иногда выдаются, но только *на смѣхъ*. Наконецъ, получается отвѣтъ Кашпирева — *на двенадцатый день* послѣ моего письма! Забудьте: почта изъ Дрездена въ Петербургъ идетъ *три* дня, т. е. если вы, напримѣръ, отправили письмо изъ Дрездена въ *понедѣльникъ*, то въ Петербургъ оно *доставится въ руки въ четвергъ*. Сопоставивъ мое письмо съ первымъ моимъ письмомъ (гдѣ я изъяснилъ-же отчаянную нужду мою), вѣдь могъ-бы онъ поторопиться и отвѣтить сейчасъ. Но письмо пришло на *двенадцатый день*! И забудьте: пишетъ отъ 3-го октября нашего стиля, а штампель пріема на петербургской почтѣ значится 6-го октября. Значить оно валялось у него на столѣ *такъ*, безъ отсылки три дня. Хоть-бы для деликатности зачеркнулъ 3 и поставилъ 5! Неужели онъ не понимаетъ, что мнѣ это *оскорбительно*? Вѣдь я ему писалъ о нуждахъ *жены* и ребенка моего — и послѣ того такая небрежность! Развѣ не оскорбленіе! И чтожь, въ письмѣ пишетъ, что справлялся у Хессина и что Хессинъ говоритъ, что *Avis* послано, что онъ не понимаетъ, почему я не получилъ, что онъ, впрочемъ, понудилъ Хессина послать другое *Avis*, и что теперь, стало быть, онъ „увѣренъ, что я уже получилъ отъ Гирша деньги“ (откуда *увѣренъ*? почему увѣренъ?) Но что если я до сихъ поръ не получилъ по векселю Гирша, то чтобъ я прислалъ ему назадъ вексель и что онъ *на другой-же день* по полученіи его пошлетъ мнѣ вексель на другаго банкира. Затѣмъ прибавляетъ въ припискѣ, что если деньги еще мною не получены, то чтобъ я ему телеграфировалъ немедленно, „разумѣется на мой счетъ“, и что онъ сейчасъ-же, не дожидаясь присылки векселя, (который придетъ по почтѣ) — пошлетъ мнѣ вексель новый. Наконецъ, прибавляетъ, что „на дняхъ вышлетъ мнѣ и вторые 75 руб.“. (NB. Забудьте, что онъ пишетъ отъ 3-го октября).

Телеграфировать я не могъ въ тотъ-же день, т. е. 9 (21) октября,
14*

потому что гдѣ-же у меня два талера на телеграмму? Неужели-же онъ не могъ сообразить послѣ моихъ двухъ писемъ, что у меня *ни копѣйки* нѣтъ денегъ, *буквально* ни копѣйки! Еслибъ онъ только зналъ, какъ я досталъ эти два талера на другой день, чтобъ ему телеграфировать! Но досталъ и послалъ телеграмму на другой день 10 (22) октября, въ пятницу. *Въ субботу-же отсылаю ему вексель обратно.* Справился у Гирша: никакого *Avis*, ни перваго, ни втораго; я и телеграфировалъ: „*Kein Avis. Hirsch giebt nicht Geld*“.

Теперь слушайте-же: телеграфировалъ въ пятницу; онъ, стало быть, получилъ никакъ не позже, какъ въ субботу утромъ. Вѣдь онъ могъ-бы послать въ субботу утромъ. Это дѣло въ *одинъ часъ* дѣлается. Вѣдь онъ самъ-же мнѣ написалъ, что *сейчасъ* послѣ телеграммы вышлетъ. Безъ такой надежды для чего-жъ бы я сталъ мучиться какъ угорѣлый доставать два талера. Но онъ въ субботу не выслалъ! Ну, думаю, вышлетъ въ понедѣльникъ. Если въ понедѣльникъ, то я въ четвергъ здѣсь получаю непремѣнно. И что-же? Вотъ и четвергъ—ничего! Неужели я и теперь получу отвѣтъ на *двенадцатый день*, т. е. въ тотъ четвергъ? Какъ сумасшедшій, захожу къ Гиршу справиться. И что-жъ? Только что сейчасъ пришло *Avis* отъ Хессина! Пришло, а у меня ужъ 5 дней какъ нѣтъ векселя, а его отослалъ обратно, по его собственному приглашенію.

Теперь вникните ради Христа; тутъ могло быть два случая: 1) Или Кашпиревъ послѣ моей телеграммы поѣхалъ къ Хессину и понудилъ его, наконецъ, послать *Avis*, или 2) что Кашпиревъ не ѣздилъ къ Хессину послѣ телеграммы, а Хессинъ самъ (можетъ быть въ отвѣтъ на запросъ Гирша изъ Дрездена, который былъ ему сдѣланъ дней семь назадъ) отвѣчалъ, наконецъ, Гиршу. Въ 1-мъ случаѣ, какъ могъ Кашпиревъ послѣ телеграммы моей понуждать Хессина послать, *наконецъ*, *Avis*, когда самъ-же пригласилъ меня выслать ему вексель *обратно*? Вѣдь онъ зналъ же непремѣнно, что я вышлю послѣ его *собственного* приглашенія и дѣйствительно, онъ долженъ былъ его получить во вторникъ! Неужели онъ не сообразилъ, что когда Хессинъ пошлетъ *Avis*, то векселя у меня уже давно не будетъ? Ну не небрежность-ли это для меня оскорбительная! Если-же онъ не ѣздилъ къ Хессину, а Хессинъ самъ прислалъ, наконецъ, *Avis*, то небрежность Кашпирева еще для меня оскорбительнѣе: вѣдь ужъ сколько разъ я увѣдомлялъ его, что нѣтъ *Avis*! Вѣдь дѣло это съ Хессиномъ идетъ болѣе трехъ недѣль! Какъ-же онъ понуждалъ-то Хессина, какъ-же онъ справлялся у него послѣ этого! Приѣзжалъ и по первому слову того, что уже послано, увѣждалъ назадъ. Вѣдь признается же Хессинъ въ письмѣ къ Гиршу, что *Avis* онъ не высылалъ потому, что

думалъ, что вексель и безъ того правильно написанъ, ибо все дѣло, какъ видно по его объясненію Гиршу, произошло отъ того, что онъ велѣлъ написать вексель *ohne Berricht*, а *commis* перевралъ, и написалъ вмѣсто *ohne—laut Berricht*. Хорошо-же послѣ этого Кашпиревъ объяснялся съ Хессингомъ, который его надувалъ, говоря, что уже послалъ два *AVIS*, тогда какъ теперь, очевидно, по его собственному письму къ Гиршу, что никакого *AVIS* никогда не было выслано! Развѣ это не небрежность въ отношеніи ко мнѣ! Что-же теперь мнѣ дѣлать? Когда я получу теперь деньги! И почему, почему онъ ждетъ моей телеграммы, просить прислать вексель обратно („и тогда, дескать, вышлю вамъ на другой-же день“, а не въ тотъ-же),—а не высылаютъ теперь, сейчасъ, вторыхъ 75 руб., которые, въ настоящую минуту, уже десять дней тому назадъ, должны-бы были высланы? Неужели онъ думаетъ, что я писалъ ему о моей нуждѣ только для красоты слога? Какъ могу я писать, когда я голоденъ, когда я, чтобъ достать два талера на телеграмму, штаны заложилъ! Да чортъ со мной и съ моимъ голодомъ! Но вѣдь она кормитъ ребенка, чтожъ, если она послѣднюю свою теплую, шерстяную юбку идетъ сама закладывать! А вѣдь у насъ второй день снѣгъ идетъ (не вру, справьтесь въ газетахъ!), вѣдь она простудиться можетъ! Неужели онъ не можетъ понять, что мнѣ стыдно все это объяснять ему? Но это не все, есть и еще стыднѣе: у насъ до сихъ поръ ни бабка, ни хозяйка не уплачены—и это все ей въ первый мѣсяцъ послѣ родовъ! Да неужели-жъ онъ не понимаетъ, что онъ не только меня, но и жену мою оскорбилъ, обращаясь со мной такъ небрежно, послѣ того, какъ я самъ ему писалъ о *нуждахъ жены*. Оскорбилъ, оскорбилъ!—Онъ скажетъ, можетъ быть: „А чортъ съ нимъ и съ его нуждой! Онъ долженъ просить, а не требовать, я не обязанъ впередъ давать“. Да неужели-жъ онъ не понимаетъ, что утвердительнымъ отвѣтомъ на мое первое просительное письмо онъ заручилъ меня! Вѣдь почему я къ нему обратился съ просьбой о 200 р., а не къ Каткову? Потому что думалъ, что отъ него получу раньше, чѣмъ отъ Каткова (котораго мнѣ не хотѣлось утруждать), тогда какъ теперь, еслибъ я написалъ тогда къ Каткову, а не къ нему, то давнымъ давно, уже недѣлю тому назадъ, имѣлъ-бы деньги навѣрно! А я не написалъ! Почему? Потому, что онъ меня заручилъ своимъ словомъ! Слѣдственно, онъ не имѣетъ права говорить, что онъ плюетъ на мой голодъ и что я не смѣю торопить его.—Онъ, конечно, будетъ говорить, что онъ плюетъ на мой голодъ и что я не смѣю торопить его.—Онъ, конечно, будетъ говорить, что онъ сдѣлалъ все съ своей стороны, вексель выслалъ тотчасъ, и онъ не виноватъ, что вышло недоразумѣніе, что онъ по моей жалобѣ къ Хессину ѣздилъ и тотъ обѣщался прислать *AVIS* и т. д. И вѣдь, ей Богу-же, онъ себя считаетъ пра-

вынь! Да неужели-же онъ понять не можетъ, что *нельзя* на отчаянное письмо о томъ, что столько ужъ времени ничего не получено по ихъ-же ошибкѣ—отвѣчать только на *двенадцатый день*. На двѣнадцатый день, да, не лгу—у меня конверты цѣлы и на нихъ штампеля. Нельзя на телеграмму, *которую самъ вызвалъ*, ровно *шесть дней* не отвѣчать, тогда какъ почта достигаетъ на 4-й день! Это небрежность непростительная, оскорбительная! Лично для меня оскорбительная! Вѣдь я ему о женѣ моей писалъ, о томъ, что она родила? Каково-же оскорбленіе, послѣ того, какъ онъ ужъ *заручилъ* меня, и черезъ это зарученіе сдѣлалъ то, что я къ Каткову не посылалъ! Какъ они издають журналъ послѣ этого, при такой небрежности, при такой неумѣлости! Воображаю, что терпятъ иногородные подписчики! Понятна мнѣ теперь и всеобщая ненависть, съ которою ихъ вездѣ встрѣтили. Я постоянно получаю журналъ недѣль шесть послѣ выхода! И они требуютъ отъ меня теперь литературы! Кашпиревъ пишетъ мнѣ (въ своемъ письмѣ, на двѣнадцатый день) о моей повѣсти, требуетъ сообщить ей названіе для публикаціи впередъ и т. д. Да развѣ я могу писать въ эту минуту? Я хожу и рву на себѣ волосы, а по ночамъ не могу заснуть! Я все думаю и бѣшусь! Я жду! О, Боже мой! Ей-Богу, ей-Богу я *не могу* описать всѣ подробности моей нужды: мнѣ стыдно ихъ описывать! Но еслибъ вы все то узнали! А онъ тамъ, на телеграмму отвѣтитъ на *двенадцатый день*, а о второй присылкѣ 75 руб. *забылъ*, какъ Хессинъ *забылъ* Avis. Развѣ не обидно это? Развѣ не обидно видѣть изъ его письма, что онъ и *не думаетъ* о второй высылкѣ, которая могла бы поскорѣе мнѣ помочь, а требуетъ объяснительной телеграммы о первой, и уморительно пишетъ: „на мой счетъ, разумѣется“. Да развѣ онъ не вѣдаетъ, что неоплаченной телеграммы не примутъ нигдѣ и что я-же долженъ достать *два талера*, чтобъ послать ее. Неужели ему не вдомезъ (послѣ-то моихъ писемъ!), что у меня не можетъ быть двухъ талеровъ? Вѣдь это небрежность человѣка, который и знать не хочетъ обстоятельствъ другого. И послѣ того у меня требуютъ художественности, чистоты поэзіи, безъ напряженія, безъ угару, и указываютъ на Тургенева, Гончарова! Пусть посмотрятъ, въ какомъ положеніи я работаю!

Вы пишете, другъ мой, о Стелловскомъ. Поблагодарите милаго Пашу за хлопоты и скажите ему, что я его очень люблю. Благодарю и васъ, и особенно и крестница васъ благодарить вмѣстѣ съ Анной Григорьевной за согласіе крестить. О Стелловскомъ напишу послѣ: теперь возможности нѣтъ, весь измученъ, едва понимаю, хожу какъ угорѣлый. Чувствую только, что въ дѣлѣ съ Стелловскимъ вамъ и Пашѣ *необходимо познаться* съ копіей прежняго моего контракта съ Стелловскимъ, ко-

торая у меня хранится. Сниму копию съ этой копии и вамъ вышлю; сообщите Пашѣ, ибо тутъ виднѣе крючки отъ Стелловскаго при теперешнемъ предложеніи. Но всетаки этимъ дѣломъ можно и не пренебречь и попробовать, но осторожно. Можетъ и удастся. А теперь до свиданія, весь вамъ преданный

Вашъ Федоръ Достоевскій.

Письма моего не показывайте никому, а Каширеву сообщите смыслъ письма. Пожалуйста *).

Дрезденъ, 27 октября (8 ноября) 1869 г.

Письмо ваше, безцѣнный другъ, съ 100 рублями и съ билетомъ Гирша я получилъ вчера, *въ воскресенье*. Такъ какъ въ воскресенье Гиршъ запертъ, то я и не могъ вамъ отвѣчать вчера-же. Сегодня же Гиршъ билетъ развѣнялъ, такъ что я все получилъ, о чемъ васъ и увѣдомляю. Выходитъ изъ всего этого, что еслибъ я вамъ не написалъ, и еслибъ вы были не такой какъ вы есть, то я бы ничего и не получилъ до сихъ поръ и даже, можетъ быть, въ будущемъ, то есть не только денегъ, но даже и увѣдомленія. Вы пишете, чтобъ я не злился на Каширева; безъ сомнѣнія не злюсь, особенно если вы утверждаете, что онъ самъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ и все происходило отъ этого. Но перенесите себя мыслію и въ мое положеніе и разсудите: можно-ли было не бѣситься? Я рѣшаю такъ, что при самыхъ христіанскихъ, какъ вы пишете, чувствахъ, не бѣситься отъ негодованія было невозможно. *Отвѣтитъ всегда онъ могъ*. Теперь дѣло прошлое, я говорю только про прошедшее, и особенно если его самого такъ мучаютъ. Говорю вамъ искренно, что настоящей злобы во мнѣ не было и тогда, когда я писалъ вамъ.

О томъ-же, чѣмъ я собственно вамъ обязанъ, я ужъ и не говорю. Никогда не забуду. Спасибо.

Я такъ и надѣялся, что вы не покажете ему мое письмо. Я просилъ только сообщить ему *смыслъ* письма. И я слишкомъ благодаренъ вамъ, что вы не показали ему письма въ оригиналѣ.

*) Понятно раздраженіе, вызванное въ Федорѣ Михайловичѣ всею путаницею и замедленіемъ въ этомъ дѣлѣ. Но необходимо прибавить, что его подозрѣнія были совершенно несправедливы. Вас. Вл. Каширевъ былъ человекъ очень добрый, очень деликатный, съ благороднымъ образомъ чувствъ и мыслей и безъ всякой склонности обижать когонибудь; но его медлительность и косность переходили всякую мѣру и безъ сомнѣнія происходили отъ нѣкотораго богѣзвеннаго расположенія.

На счетъ-же процентовъ и издержекъ моихъ, которые онъ беретъ на *свой счетъ*, то все это совершенно лишнее. При свиданіи скажите ему, ради Бога, что я ни за что на это не соглашусь. Не ростовщикъ-же я! Мало-ли что въ жизни случается. Косвенно я могу обвинить всякаго человѣка во всякой моей неудачѣ: васъ, Яновскаго, Краевскаго, Авсарова, Салтыкова, всѣхъ. Я иду покупать шубу; встрѣтится незнакомый, но который скажетъ-мнѣ, что въ этомъ-вотъ магазинѣ великолѣпныя и недорогія шубы. Я иду туда и оказывается, что я переплатилъ 20 рублей лишнихъ. Неужели-же спрашивать ихъ съ этого незнакомаго? Во всякомъ жизненномъ явленіи безконечность комбинацій, въ которыхъ никакъ нельзя обвинить лишь одну ихъ первоначальную причину, а Кашпиревъ въ моихъ комбинаціяхъ не первоначальная, а даже косвенная причина. Ни за что не хочу никакихъ вознагражденій; поблагодарите его отъ меня за готовность; но мнѣ довольно и одной только готовности; на дѣлѣ не приму. А васъ еще разъ благодарю; подлинно въ-время успѣло; еще немного и—сплошалъ-бы я совсѣмъ.

А между тѣмъ много у меня до васъ просьбъ. Понимаю, что гнусно мнѣ вамъ надобѣдать; но, не видя малѣйшей возможности устроиться безъ вашего содѣйствія и посредничества, рѣшаюсь васъ опять безпокоить. Не сердитесь, ради Бога.

Первое о чемъ хочу просить,—это нѣкотораго посредничества вашего между мною и Кашпиревымъ насчетъ моей повѣсти. Я и самъ ему напишу, но ваше слово, т. е. слово человѣка, котораго Кашпиревъ, вѣроятно, цѣнитъ и главное—благопріятеля „Зари“—будетъ очень вѣско. Вотъ въ чемъ дѣло: во 1-хъ, повѣсть (которая раньше 2-хъ недѣль отъ сего числа въ „Зарю“ выслана быть не можетъ)—будетъ не въ 3¹/₂ листа, какъ я первоначально писалъ Кашпиреву (впрочемъ, назначая только *минимум* числа листовъ, а не *максимум*)—будетъ, можетъ быть, листовъ въ шесть или въ семь печати „Русскаго Вѣстника“. Двѣ трети повѣсти уже написано и переписано окончательно. Старался сократить изъ всѣхъ силъ, но не могъ. Но дѣло не въ объемѣ, а въ достоинствѣ; но объ достоинствѣ мнѣ сказать нечего, ибо самъ ничего не знаю на этотъ счетъ; рѣшатъ другіе. Но заботить меня то, что Кашпиревъ хочетъ (и писалъ мнѣ объ этомъ) публиковать впередъ о моей повѣсти. Не хотѣлось-бы мнѣ этого ни за что. То есть ни за что! Упросите его не публиковать въ частномъ разговорѣ, когда съ нимъ увидите! Я чувствую, что не моя тутъ воля и что онъ въ этомъ дѣлѣ полный хозяинъ; не могу я ему запретить; но не послушаетъ-ли онъ просьбы?

2) По первоначальному уговору я самъ ему писалъ, что онъ волею

напечатать мою повѣсть въ этомъ году, или въ будущемъ, хотя при этомъ и заявлялъ желаніе, чтобъ въ этомъ году. Я буду его просить самъ, при отправленіи, чтобъ онъ помѣстилъ повѣсть въ декабрѣ (или даже въ ноябрской книжкѣ, если успѣю выслать). Но мнѣ слишкомъ, слишкомъ будетъ тяжело, если онъ отложитъ до будущаго года. Тутъ у меня свой особый расчетъ, такъ обстоятельства сошлись. Я не про денежный расчетъ говорю, тутъ *совсѣмъ другое*. Я бы желалъ, чтобъ въ декабрской книжкѣ. Это для меня слишкомъ важно. Когда братъ издавалъ „Время“, то у насъ къ концу перваго года было взаимно рѣшено: что для начинающаго, издающагося *первый годъ* журнала, послѣднія книги перваго года *важныя для подписки*, чѣмъ январская и февральская наступающаго года. Успѣхъ подписки совершенно оправдалъ этотъ расчетъ. Если Кашпиревъ хочетъ публиковать о моей повѣсти заранѣе, значить цѣнить-же меня какъ писателя, а если цѣнить, то ему болѣе съ руки напечатать меня въ декабрѣ. Прошу васъ заговорить съ нимъ объ этомъ и по присылкѣ въ редакцію повѣсти этому способствовать. Для меня очень это важно; впрочемъ его воля.

3) Повѣсть въ 7 печатныхъ листовъ „Русскаго Вѣстника“ будетъ имѣть въ „Зарѣ“, можетъ быть 8^{1/2} листовъ. Я-бы въ высшей степени желалъ, чтобъ повѣсть помѣстили въ одномъ номерѣ, а не разбивали на два. Въ этомъ я особенно буду настаивать. Сообщите ему и объ этомъ пожалуйста.

4) Я взялъ у него теперь 500 руб. впередъ. Если будетъ до 7, напримѣръ, листовъ („Русскаго Вѣстника“), то мнѣ придется дополучить еще 500 руб. (Ну, положимъ, меньше семи. а шесть листовъ; значить, дополучить 400). Не можетъ-ли онъ мнѣ уплатить раньше выхода книжки, напримѣръ въ декабрѣ въ первой половинѣ, когда подписка уже сильно обозначается. Буду просить его объ этомъ при посылкѣ повѣсти, а васъ прошу очень (не откажите ради Бога!) принять отъ него эти деньги (когда-бы онъ ихъ ни заплатилъ). Если согласитесь — такъ ему и напишу. Изъ этихъ денегъ съ благодарностію горячею, безпредѣльною успѣшю возвратитъ вамъ долгъ 200 руб. Ихъ возьмите себѣ прямо отъ Кашпирева; такъ ему и напишу. Остальные-же 200 или 300 руб. пойдутъ на выкупъ изъ заклада, въ Петербургѣ-же, нѣкоторыхъ заложенныхъ нами передъ отъѣздомъ вещей, преимущественно жениныхъ. Выкупить хотимъ по крайней мѣрѣ на 200 руб. Вещи же, стоятъ по крайней мѣрѣ 600, а онѣ пропастъ могутъ, если долго не выкупать. Съ этою цѣлью къ вамъ явится (не раньше, какъ когда уже деньги будутъ у васъ) младшій братъ Анны Григорьевны — Иванъ Григорьевичъ; онъ и выкупитъ, а вы ему,

безо всякаго сомнѣнія, можете вручить деньги (т. е. когда уже они будутъ у васъ въ рукахъ. Раньше васъ беспокоить не буду). Это чрезвычайная просьба къ вамъ наша, и потому собственно васъ беспокоимъ, что при трудности полученія съ „Зари“ денегъ, нельзя дѣйствовать мнѣ съ нею непосредственно. Разумѣется, если въ декабрѣ онъ не можетъ выдать, то все это произойдетъ въ январѣ. Къ вамъ-же, раньше полученія вами денегъ — никто не придетъ за ними. Придутъ къ вамъ, когда уже они будутъ у васъ. Но я только о томъ и прошу васъ, чтобъ вы согласились взять на себя полученію денегъ съ Кашпирева, — разумѣется только тогда, когда онъ въ состояніи будетъ заплатить, т. е. я не разсчитываю вовсе на то, чтобъ вы были хоть чѣмъ нибудь тутъ утруждены. И такъ ужъ я слишкомъ много вамъ задалъ безпокойства. Я не *достать* отъ Кашпирева прошу васъ деньги, а только *принять* ихъ, когда можно будетъ.

Наконецъ, и главнѣйшая просьба моя, — объ Эмилиі Федоровнѣ. Получивъ теперь 100 руб. отъ васъ и билетъ на Гирша, я, стало быть, получилъ съ „Зари“ всего 175 руб., а такъ какъ Кашпиревъ обѣщалъ мнѣ 200, то нельзя-ли остающіеся 25 руб. *неотлагательно* вручить Эмилиі Федоровнѣ? Ради *Христа*, не откажитесь попросить Кашпирева! Сердце мое изныло; слишкомъ я ужъ долго ничего не помогаль! А ей и Бати до того худо теперь, что хуже ужъ и быть не можетъ. Пославъ-же повѣсть, буду просить Кашпирева изъ всѣхъ силъ вручить ей еще хоть 25 р. на первый случай по полученіи повѣсти (это вышеупомянутаго разчета не нарушить) и тоже черезъ ваше содѣйствіе. Другъ мой, вы въ этомъ дѣлѣ не мнѣ, а Богу послужите. У Паши вы всегда можете узнать ея адресъ. А главное, эти оставшіеся теперь 25 доставьте ей теперь-же отъ Кашпирева. Двадцать-то пять руб., можетъ быть, у него найдутся *сейчасъ!* Не откажите же похлопотать! Успокойте меня, ибо *очень* безпокоюсь духомъ. А Паша пусть подождетъ на время; и ему помогу.

Объ разсказахъ вашихъ изъ Русской Исторіи хотѣлъ совсѣмъ теперь не писать, потому что хотѣлъ написать много, но не удержался и пишу нѣсколько строкъ. Я ихъ читаль, они мнѣ нравятся безусловно, что объ этомъ и говорить. Но въ нихъ есть важный, чрезвычайный недостатокъ, а именно: вы напишете еще, можетъ быть, разсказа два, да такъ и забросите дѣло. Я въ этомъ почти увѣренъ; просто затынете дѣло. А между тѣмъ, какую-бы пользу вы могли принести! Представьте себѣ, что вы полагаете цѣлый годъ безустанной работы на эти разсказы, напишете не торопясь, обдѣлаете ихъ, разсказовъ 25, по крайней мѣрѣ (вѣдь я увѣренъ, что разсказы изъ исторіи послѣ-Петровской, съ здоровой русской точки зрѣнія, выйдутъ еще занимательнѣе, и, *главное, полезнѣе*). Тогда

составилась-бы у васъ книга, отдѣльно изданная (какъ можно не замедляя и *отнюдь* (!) не продавая книгопродавцамъ, а на свой счетъ непременно) — книга, которая принесла-бы чрезвычайную пользу во всѣхъ школахъ, гимназіяхъ и проч., гдѣ она сдѣлалась-бы *обязательною*. Ни Карамзина, ни Соловьева тамъ цѣликомъ не читаютъ, а ваша книга могла-бы быть прочтена цѣликомъ и укрѣпить навѣки ясныя и здравыя мысли въ молодомъ умѣ школьника или гимназиста. Если вы сообщаете, что и старики говорятъ, что есть чему имъ поучиться въ вашихъ разсказахъ, то ужъ навѣрно покупать для своихъ дѣтей. Книга лѣтъ 20 будетъ книгою, совершенно необходимою при воспитаніи. Половина разсказовъ, напечатанныхъ заранѣ въ журналахъ, отрекомендовали-бы книгу и объяснили-бы ее. Станемъ судить съ одной только экономической точки зрѣнія: вѣдь это *капиталъ*, и, можетъ быть, большой. Въ 20 лѣтъ можетъ быть много изданій будетъ. Неужели все это бросать и не воспользоваться. Вѣдь это ваша идея, ваша собственная! Если вы затянете дѣло, то какойнибудь талантливый человѣкъ, въ родѣ Разина („Божій Міръ“), васъ предупредитъ, возьметъ вашу идею, напишетъ самъ разсказы и издастъ и получитъ барышъ, а васъ подорветъ. Не бросайте-же дѣла — вотъ что главное.

Кстати: не будетъ-ли какой возможности сказать Кашпиреву, наконецъ, настоятельно, чтобъ прислалъ мнѣ „Зарю“! Сентябрьскій номеръ у нихъ вышелъ 8-го октября, а теперь 27-е, а я все не получаю! Вѣдь я считаю себя подписчикомъ, я объявилъ это и заплачу деньги. Воображаю, что терпятъ у нихъ иногородные подписчики! Нѣтъ, такъ журналъ издавать невозможно. Будь у нихъ одни Пушкины и Гоголи въ сотрудникахъ, и тогда журналъ лопнетъ при неакуратности. Сами себя бьютъ. Краевскій взялъ акуратностию и рациональнымъ веденіемъ дѣла въ коммерческомъ отношеніи. И каждую-то книгу я такъ получаю! Экое мученье!

Вѣдь чѣмъ больше понравится подписчику журналъ, тѣмъ болѣе онъ ощущаетъ досады при такомъ веденіи дѣла. Они и преданныхъ-то подписчиковъ отобьютъ отъ себя!

Я думаю такъ: Если я сотрудникъ, то какъ же мнѣ не знать журнала, въ которомъ участвую?

Теперь о Стелловскомъ. Посылаю вамъ при этомъ *копію* съ копій контракта моего съ нимъ въ 1865 году, переписанную точнѣйшимъ образомъ, даже съ соблюденіемъ грамматическихъ ошибокъ подлинника. Къ этому контракту принудилъ меня Стелловскій силою, грозясь засадить меня въ тюрьму, такъ что ужъ и помощникъ квартальнаго приходилъ ко мнѣ для исполненія. Но я съ помощникомъ квартальнаго тогда подружился,

и онъ мнѣ много тогда способствовалъ разными свѣдѣніями, которыя потомъ пригодились для „Преступленія и Наказанія“. Контрактъ этотъ ужасенъ. Прошу васъ—сообщите его Пашѣ немедленно. Пусть просмотритъ внимательно вмѣстѣ съ своимъ нотариусомъ. Ибо Стелловскій такая, что поддѣнетъ гдѣ и не предполагаешь. Мои мысли *покаместъ* такія: пусть Стелловскій покупаетъ „Идіота“ за 1,000; при этомъ я согласенъ на 500 руб. наличными, а остальные 500 руб. векселями на короткій срокъ. На счетъ платы впередъ за „Преступленіе и Наказаніе“, то я бы, чтобы не было смѣшенія и путаницы, и подождать-бы до будущаго года, т. е. до напечатанія, такъ что дѣло будетъ идти объ одномъ „Идіотѣ“. Впрочемъ, если ему хочется, то можно и теперь, но съ особыми предосторожностями, чтобы не было тутъ крючка. Но лучше объ одномъ „Идіотѣ“ отдѣльно. О печатаніи „Преступленія и Наказанія“ не должно быть и рѣчи теперь; ибо онъ печатать можетъ, когда кончится срокъ мой съ Базуновымъ, т. е. съ 1-го января 1870 г. (объ этомъ справится бы у Базунова Пашѣ; впрочемъ я увѣренъ, что Базунову продано право до 1870 года). Проектъ контракта пусть Паша составитъ съ своимъ нотариусомъ, принесетъ вамъ на усмотрѣніе и пришлетъ ко мнѣ, а тамъ ужъ показать Стелловскому на окончательное его рѣшеніе. Но непременно руководствоваться Пашѣ и нотариусу высылаемой теперь копіей внимательно, ибо Стелловскій, можетъ быть, имѣетъ въ виду завернуть крючекъ, *напримѣръ*: въ копіи съ контракта сказано въ одномъ мѣстѣ, что плату за „Преступленіе и Наказаніе“, если бы Стелловскій пожелалъ напечатать, я получаю такую-то и т. д. по расчету съ листа и т. д., печатать же онъ можетъ только съ 1870 года, при чемъ и плату я получаю *послѣ напечатанія*. Теперь, если онъ выдастъ мнѣ за „Преступленіе и Наказаніе“ впередъ, раньше 1870, то онъ пожалуй придерется и скажетъ потомъ: если вы получили плату впередъ за „Преступленіе и Наказаніе“, то тѣмъ самымъ контрактъ нарушенъ, ибо по контракту я имѣю право печатать только въ 1870 г.—и тогда только заплатить. Такъ что во всякихъ пунктахъ контракта объ „Идіотѣ“, чуть-чуть двусмысленныхъ, нужно упомянуть буквально, что такимъ-то и такимъ-то теперешнимъ распоряженіемъ и соглашеніемъ, прежній контрактъ ни въ одномъ пунктѣ не нарушается, а остается въ полной цѣлости и т. д.

Впрочемъ все увидимъ на дѣлѣ. Но дѣло-то надо-бы повести поскорѣе. Стелловскій не можетъ не напечатать „Преступленія и Наказанія“, т. е. отказаться отъ своего права, а стало бы ему могло бы быть выгодно напечатать и „Идіота“. Стало бы это дѣло можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ серьезнымъ. А мнѣ 1,000 руб. ужъ какъ были-бы нужны.

Жаль только, что Стелловскій такой и крючекъ. Онъ, *напримѣръ*, очень хочетъ выговорить себѣ лишній годъ права печати „Идіота“, т. е. чтобъ считали *два* года его права съ конца будущаго года. А если такъ, то не имѣеть-ли онъ въ виду какъ нибудь поймать меня? Напишется, *напримѣръ*, въ контрактѣ, что печатать онъ будетъ въ томъ же форматѣ, какъ его изданіе „Русскихъ литераторовъ“, потомъ пришетъ сюда „Преступленіе и Наказаніе“, и скажетъ, что я ему, продавъ „Идіота“, тѣмъ самымъ дозволилъ протянуть право изданія *еще* моихъ сочиненій еще на годъ (а можетъ и на неопредѣленное время); ибо, такъ какъ онъ купилъ, чтобъ напечатать въ форматѣ прежде изданныхъ имъ моихъ сочиненій, и напечатано рядомъ съ „Преступленіемъ и Наказаніемъ“, то значить онъ уже не можетъ продавать „Идіота“ отдѣльно, а долженъ продавать вмѣстѣ съ сочиненіями, а стало быть и сочиненія должны продаваться съ правомъ лишняго года и т. д., и прежній контрактъ нарушенъ и проч. и проч. (Всего бы лучше, чтобы право на изданіе „Идіота“ кончалось съ правомъ на изданіе сочиненій. Однимъ словомъ, сообщите этотъ листокъ письма Пашѣ. Поблагодарите его, голубчикъ, за его старанія. Напишу ему. (И какъ онъ поумнѣлъ, судя по его письму!) А дѣло, если его дѣлать, то какъ можно скорѣе. Только, во всякомъ случаѣ, нужно помнить неустанно, что Стелловскій и тѣмъ руководствоваться). Изъ этой 1,000 руб. Стелловскаго, если устроится,—помогу и Пашѣ и Эмилиі Федоровнѣ. Повѣсть моя, кажется, будетъ называться: „Вѣчный Мужъ“, но не знаю навѣрно. До свиданія, дорогой мой. Анна Григорьевна вамъ кланяется и благодарить. Люба здорова и начинаетъ все понимать. Люба кланяется вамъ и Пашѣ.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

Дрезденъ, 23 ноября (5 декабря) 1869 г.

Дорогой другъ, Аполлонъ Николаевичъ! пишу и спѣшу, и опять къ вамъ прибѣгаю. Пожалуйста, прочтите со вниманіемъ и окажите дружеское участіе ваше. Пожалуйста!

Вы пишете въ вашей послѣдней припискѣ ко мнѣ, къ Пашиной кинѣ бумагъ, что „*повѣсти отъ меня еще нѣтъ*“, а что ноябрскій и декабрскій номера набираются въ типографіи. Я писалъ къ Ваширеву больше 2-хъ недѣль назадъ и очень просилъ его меня увѣдомить на счетъ того, можно-ли услѣть напечатать въ ноябрѣ и декабрѣ? Я отвѣта не полу-

чиль никакого, ни одной строчки, такъ что не знаю, дошло-ли мое письмо? NB. *Между нами*: У нихъ удивительная манера обращаться съ людьми, такъ что я, во всю жизнь мою, никогда еще не встрѣчался ни съ чѣмъ подобнымъ. Но къ дѣлу:

Я рѣшилъ наконецъ, что пусть печатаютъ какъ имъ угодно. Думаю, что напечатаютъ въ январѣ и февралѣ. *Повѣсть готова*, но въ такомъ ужасномъ объемѣ, что это ужасъ: ровно 10 печатныхъ листовъ „Русскаго Вѣстника“. (Не оттого, что разползлась подъ перомъ, а оттого, что сюжетъ измѣнился подъ перомъ и вошли новые эпизоды). Такъ или этакъ, хороша она или дурна (думаю, что не совѣмъ неоригинальна),—но я долженъ буду доплатить за нее 1000 руб. ровно (и даже съ небольшимъ).

Но вотъ что: положеніе мое заставляетъ меня непремѣнно узнать какъ можно точнѣе, когда именно она будетъ у нихъ напечатана? А восторыхъ—долженъ буду опять обратиться къ нимъ, при отсылкѣ рукописи, съ просьбой о деньгахъ впередъ.

Но вѣдь это даже и не впередъ—не правда-ли? Не было редакціи, съ тѣхъ поръ какъ я литераторствую, которая отказалась бы мнѣ дать впередъ настоящимъ образомъ (а не то что когда уже рукопись въ рукахъ). Да и кому не дается впередъ? Мы вели журналъ—*всѣмъ* давали впередъ, да и какія суммы! А главное, я на томъ основываюсь, что уже теперь, въ эту даже минуту, должна уже начаться подписка. Въ декабрѣ-же бывають въ редакціяхъ журналовъ самыя сильныя деньги. Почему же имъ мнѣ отказать,—тѣмъ болѣе, что я не требую, а *покорнѣйше прошу*.

Но объ этомъ обо всемъ при отсылкѣ рукописи я ему самъ напишу. Васъ же прошу очень, дорогой другъ, содѣйствовать.

Теперь главный пунктъ собственно этого письма:

Денегъ у меня ни малѣйшей сломанной копѣйки. (Деньги, присланныя вами и изъ „Зари“, были прожиты еще раньше ихъ полученія почти всѣ и пошли на уплату долговъ). Изъ „Русскаго Вѣстника“ я еще ничего не имѣю. И потому (повѣрьте, *буквально*) не имѣю и *не могу достать* денегъ, для отправки рукописи въ редакцію. Рукопись толстая и спростать ѓ талеровъ. И потому вотъ чего я прошу у васъ: съ полученіемъ этого письма, ради Бога, прочтите его по возможности немедленно В. В. Каширеву. (Кромѣ NB. на 1-й страницѣ). Прошу я его мнѣ выслать, если можетъ *пятьдесятъ* рублей, ибо очень мнѣ тяжело. На рукопись надо ѓ талеровъ, но и намъ тоже надо. Ухъ, трудно. Если же нѣтъ пятидесяти, то хоть скольконибудь, хоть *двадцать пять* (но если возможно, то *пятьдесятъ!*) Но *главное* всего: пусть вышлетъ *тотчасъ-*

же, на другой же день. Вы получите письмо въ среду. Еслибъ онъ въ пятницу выслалъ! Просьба моя къ вамъ—способствуйте этому! Тотчасъ же по полученіи денегъ, на другой же день, вышлю въ редакцію рукопись. Къ тому времени все и письмо будетъ приготовлено, ни минуты не задержу. Да и теперь *все* совершенно готово. Хочу только послѣдній разъ перечитать, съ перомъ въ рукахъ.

И такъ—буду ждать!

Теперь о Стелловскомъ два слова: не могу понять—серьезное это дѣло или нѣтъ? Я бы желалъ только въ такомъ случаѣ приняться за него, если серьезное. А между тѣмъ Паша, присылая кипы бумагъ, не написалъ главнаго: согласенъ на все это Стелловскій или нѣтъ?

Во вторыхъ: ту довѣренность, которую Паша отъ меня отсюда требуетъ, выдать невозможно въ такой формѣ: я за 100,000 не соглашусь, серьезно говоря. Брату и отцу родному такую довѣренность не дамъ. Это невозможно: кромѣ дѣла Стелловскаго въ довѣренности требуется, чтобъ и выдалъ совершенное уполномочіе вести *ест* мои дѣла, безъ исключенія, да еще съ правомъ Пашѣ передавать право этой довѣренности кому угодно. Это смѣшно и нелѣпо; Паша пишетъ, что это только форма: быть не можетъ, чтобы въ законѣ стояла такая нелѣпность, и чтобъ продать стулъ или старыя шкапы, —необходимо выдать полномочіе на цѣлую душу человѣческую. Вздоръ это все! Къ тому-же, два года назадъ, жена выслала отсюда разъ довѣренность на продажу акцій на 400 руб. Довѣренность была на простой бумагѣ, безо всякой формы, но только съ точнымъ упоминovenіемъ объ акціяхъ и объ главной сущности дѣла. Все было крѣпко засвидѣтельствовано въ посольствѣ и дѣло мигомъ обдѣлалось, потому что довѣренность оказалась совершенно пригодною. Мое мнѣніе, что дѣло, если оно серьезно, —затягивается по-пусту у Паши. Поскорѣе-бы рѣшить его. Передайте это Пашѣ, когда встрѣтите.

Деньги всего лучше (и выгодыѣ) выслать въ застрахованномъ конвертѣ, *нашими кредитками*, совершенно такъ, какъ вы мнѣ прислали 100 руб. И скорѣе и прогнѣну меньше.

До свиданія, спѣшу.

Весь вашъ Ф. Достоевскій.

Простите, ради Христа, что все васъ беспокою, все беспокою! Обѣ мои вамъ кланяются сердечно.

Дрезденъ, 19 (7) декабря 1869 г.

Любезнѣйшій другъ Аполлонъ Николаевичъ, я отослалъ третьяго дня въ редакцію „Зари“ мою повѣсть, а вчера писалъ Кашпиреву. Прибѣгаю теперь къ Вамъ. (Все съ просьбами!) Выслушайте въ чемъ дѣло:

Въ повѣсти *минимум* девять печатныхъ листовъ „Русскаго Вѣстника“. Это совершенно вѣрно, что *минимум*; навѣрно-же 9^{1/2}; но я кладу только 9 на первый случай. Девять листовъ—это 1,350 р. Я получилъ отъ нихъ до сихъ поръ впередъ отъ пяти сотъ пятидесяти до шести сотъ руб. (При окончательномъ разсчетѣ сочтемся; возьмемъ пока *шахимум*, то есть 600). Значитъ останется навѣрно получить еще *минимум семь сотъ пятьдесятъ руб.* Изъ нихъ *двѣсти* руб., какъ я уже писалъ, прошу принять Васъ, голубчикъ, въ уплату моего Вамъ долга, отъ Кашпирева, при первомъ удобномъ случаѣ. Значитъ *навѣрно* всего мнѣ останется получить пять сотъ пятьдесятъ руб. (или нѣсколько болѣе при окончательномъ разсчетѣ, но теперь, по крайней мѣрѣ, не менѣе пяти сотъ десяти руб.).

Но ждать, пока напечатаютъ, мнѣ почти невозможно. Здѣсь къ празднику *остъ* требуютъ уплаты, а я—ужасъ что долженъ! Хоть на улицу выходи! Праздникъ здѣсь черезъ 7 дней. Вчера я писалъ Кашпиреву, прося покорнѣйше прислать сейчасъ-же, если можно, 200 руб. разомъ (если только можно!) Вамъ-же напишу нѣчто другое, и если только возможно спасти меня, то спасите. (Слово *спасти* примите буквально; еслибъ Вы знали *все* мое положеніе здѣсь, Вы сами-бы сказали, что такъ невозможно жить).

Вотъ въ чемъ это *нѣчто другое*: такъ какъ мнѣ возможности никакой нѣтъ къ здѣшнему празднику остаться совершенно безъ денегъ и такъ какъ, съ другой стороны, въ редакціи теперь еще, можетъ быть, и нѣтъ лишнихъ денегъ, то пусть пришлютъ *сейчасъ* хоть не двѣсти, а только *сто*, но только-бы сейчасъ. Сообщите, ради Христа, это Кашпиреву. Но главное вотъ въ чемъ:

При большомъ и долгомъ разстройствѣ, хотя Вы, можетъ быть, не испытали никогда лично, но навѣрно поймете меня, необходимо иногда для поправки обстоятельствъ получить послѣ долгихъ бѣдствій *разомъ* значительную поддержку. Такъ какъ у меня на 360 талеровъ заложено вещей (признаюсь Вамъ теперь вполне откровенно), что составляетъ гораздо болѣе 400 руб. сер., и такъ какъ я за заклады плачу по 5 процентовъ въ мѣсяцъ, то мнѣ ужасно выгодно выкупить все разомъ.

Второе то, что накопились бездна вещей, самыхъ необходимыхъ, бо-

торня надо исправить въ *корнѣ*—покупка для меня и для жены теплыхъ вещей, для Любы тоже, и проч., и проч. Наконецъ, надо окрестить Любу, а она до сихъ еще не крещена—не на что.

Однимъ словомъ, я прошу у „Зари“, выслать мнѣ сейчасъ *сто рублей*, остальные *четыреста* выслать мнѣ въ *нашему* русскому Рождеству, то есть, чтобъ ужъ въ двадцать пятому нашего декабря эти четыреста руб. у меня уже были!

Теперь весь вопросъ въ томъ: возможно-ли это устроить? Поговорите, дорогой мой, съ Кашпировымъ! Чудовищнымъ я этого не считаю: я и по три тысячи впередъ получалъ (отъ „Русскаго Вѣстника“), а это не впередъ, почти. Разумѣется, существенное въ томъ: будутъ-ли у нихъ деньги? Но по моему мнѣнію и точному убѣжденію—когда-жъ и бываетъ въ журналахъ больше денегъ, какъ не къ *двадцатому декабря*? Я здѣсь ничего не понимаю про ихъ условія съ Базуновымъ, но полагаю, всетаки, навѣрно и здраво,—что если Базуновъ не могъ имъ выдать ихъ-же денегъ въ ноябрѣ, то ужъ никакъ не можетъ удерживать послѣ половины декабря сумму въ *20* или *тридцать* тысячъ, которая у него *должна* скопиться въ то время отъ подписки. И потому у нихъ, вѣрно, будетъ хоть что нибудь, чтобъ изъ этого и мнѣ отдѣлать.

Понимаю, что я не имѣю права требовать. Но я не требую, а прошу покорнѣйше.

Если-же они не могутъ такъ,—то есть теперь *сто*, а двадцатаго декабря *400*,—то пусть ужъ вышлютъ теперь *двести*, т. е. такъ, какъ я писалъ Кашпиреву. Поговорите съ нимъ, другъ мой, будьте добры!

Всѣ дѣла мои поправились-бы ужасно, еслибъ состоялась дѣйствительно комбинація со Стелловскимъ! Я такъ спѣшилъ кончить повѣсть въ „Зарю“, что мнѣ почти некогда было подумать о Стелловскомъ; теперь это меня занимаетъ до лихорадки. *Тысяча* рублей теперь отъ Стелловскаго, это для меня теперь—*полное спасеніе*, воскресеніе! Но есть-ли тутъ хоть что-нибудь серьезнаго? Возможно-ли это, въ самомъ дѣлѣ? На всякій случай я рѣшился на дняхъ выслать Пашѣ (на ваше имя,—позвольте это) *довѣренность* и наставленіе на счетъ условій со Стелловскимъ. Если дѣло чуть-чуть серьезно, то пусть онъ *кончаетъ* его *скорѣе* до Рождества, если можно. Просьба къ Вамъ при этомъ моя—внушить Пашѣ не затягивать дѣло,—чтобъ ужъ знать скорѣй результатъ. И такъ, на дняхъ вышлю довѣренность. Если уладится это дѣло—то надолго кончены мои заботы!

Знаете-ли что я теперь дѣлаю? Написавъ въ $2\frac{1}{2}$ мѣсяца *девять* печатныхъ, убористыхъ листовъ, *изъ всей силы пишу* теперь письма всѣмъ

тѣмъ, кому не писалъ, будучи занятъ повѣстью. И затѣмъ черезъ три дня сажусь за романъ въ „Русскій Вѣстникъ“. И не думайте, что я блины пеку: какъ-бы ни вышло скверно и гадко тѣ, чтѣ я напишу, но мысль романа и работа его — всетаки мнѣ-то бѣдному, то есть автору, дороже всего на свѣтѣ! Это не блинъ а самая дорогая для меня идея и давнишняя. Разумѣется испакошу; но чтѣ-же дѣлать!

Весь вашъ Ф. Достоевскій.

Дрезденъ, 12 (24) февраля 1870 г.

Какъ мнѣ ни совѣстно, любезный и многоуважаемый Аполлонъ Николаевичъ, васъ беспокоить, но на этотъ разъ обстоятельства рѣшительно заставили меня опять обратиться къ вамъ. Я въ крайнемъ безпокойствѣ по одному случаю, а къ вамъ обращаюсь какъ къ доброму ко мнѣ человеку и хотя слишкомъ не имѣю правъ на ваши услуги, но думаю иногда про себя, что, можетъ быть, вы хоть отчасти тотъ-же самый остались для меня Аполлонъ Николаевичъ, принимавшій во мнѣ въ свое время весьма теплое участіе. А вѣдь я вамъ развѣ чтѣ надобѣлъ, а особенно ничѣмъ вѣдь передъ вами не провинился. А потому простите и на этотъ разъ мою доуку.

Дѣло мое вотъ въ чемъ: мѣсяцевъ около двухъ тому назадъ я послалъ отсюда Паши заведѣтельствовавшую по формѣ довѣренность (можетъ быть, и раньше нѣсколько). Я не помню, но мнѣ кажется почти навѣрно, что послалъ ее на ваше имя и стало быть о существованіи этой довѣренности въ рукахъ Паши вы, можетъ быть, знаете. Затѣмъ все заглохло и мѣсяць я не получалъ никакого отвѣта. Наконецъ, полтора мѣсяца назадъ я получилъ отъ Паши письмо, въ которомъ онъ просить меня согласиться на предложеніе Стелловскаго увеличить срокъ льготы Стелловскаго еще на годъ. Я тотчасъ-же согласился и, главное, потому, что въ письмѣ своемъ онъ положительно (а не въ видѣ только намѣреній и догадокъ какъ прежде) извѣщалъ меня, что дѣло рѣшено окончательно и что если я потороплюсь выслать мой отвѣтъ, то между 15 и 20 января (нашего стиля) оно навѣрно окончится. Подробностей не разяснял „и безъ того торопился“, прибавлялъ только: „вы мнѣ вѣрите и потому оставайтесь спокойны“.

Я тотчасъ отослалъ ему мое согласіе; въ первый разъ онъ мнѣ писалъ такъ утвердительно, такъ что я даже понадѣялся взаправду. И вотъ

съ тѣхъ поръ — ни строки. Наконецъ ровно 15 дней тому назадъ я написалъ въ нему съ категорическимъ требованіемъ немедленно меня увѣдомить, написать мнѣ только двѣ строки, только *да* или *нѣтъ*. Но до сихъ поръ отъ него всетаки ни единого слова. Какъ въ воду кануло...

Но можетъ быть и то, что все это дѣло съ Стелловскимъ у него просто разошлось, а на требованія мои увѣдомить Паша молчитъ по лѣности. Мнѣ и самому странно было еще въ самомъ началѣ, что Стелловскій покупаетъ теперь, тогда какъ совершенно удобно могъ-бы купить, если ему надо, въ концѣ года, когда онъ печатать намѣренъ. Что ему за охота выдавать деньги полгода раньше? Теперь-же онъ, нарочно тянулъ съ Пашей, чтобъ узнать въ какомъ положеніи его продавецъ, т. е. я, есть-ли у меня деньги, чего я ожидаю и проч., и навѣрно узналъ, что черезъ полгода я еще болѣе буду нуждаться, чѣмъ теперь. Не Павлу Александровичу перехитрить Стелловскаго.

Теперь вотъ въ чемъ собственно моя просьба къ вамъ: потребуйте къ себѣ Пашу, а отъ него отчетъ по дѣлу, т. е. *да* или *нѣтъ*, больше ничего. Сверхъ того потребуйте, чтобъ онъ немедленно передалъ вамъ, въ ваши руки, довѣренность, которую я ему выслалъ и, получивъ ее, оставьте у себя.

Если Паша въ чемъ-нибудь виновать, то онъ получить только то, чтò заслуживаетъ. Если-же онъ не виновать ни въ чемъ, то я и передъ нимъ не виновать нисколько. Я слишкомъ показалъ ему самую простодушную довѣренность, выславъ ему отсюда довѣренность писанную и засвидѣтельствованную. Я не виновать, что онъ, получивъ эту бумагу, вдругъ бросилъ все и замолчалъ, т. е. не понялъ, что, имѣя такую довѣренность въ рукахъ, онъ, изъ одной уже *деликатности къ самому себѣ* долженъ-бы былъ мнѣ отвѣчать, тѣмъ болѣе, что это ему ничего не стоило.

Если онъ откажется вамъ выдать довѣренность, то скажите ему, что я тогда принужденъ помѣстить публикацію въ газетахъ объ уничтоженіи довѣренности, и тогда хуже ему будетъ.

Впрочемъ, если онъ и передастъ довѣренность вамъ, то этимъ ничего не объяснится. Если онъ и заключилъ какой-нибудь контрактъ съ Стелловскимъ, то такъ, стало быть, я до времени объ этомъ и не узнаю. Всего-бы лучше было, если-бы можно было, еще до свиданія съ Пашей, спросить самого Стелловскаго, т. е. имѣлъ-ли онъ, Стелловскій, какое-нибудь дѣло по поводу покупки романа „Идіотъ“ Федора Достоевскаго. По моему, тотчасъ-же можно-бы было узнать всю правду, по тому что Стелловскій врядъ-ли имѣетъ какія-нибудь причины скрывать ее. Паша-же не можетъ и не имѣетъ права претендовать на эти справки: онъ самъ

довелъ до нихъ, такъ безцеремонно, съ довѣренностью въ рукахъ, бросивъ все дѣло. Онъ самъ, повторяю, былъ слишкомъ не деликатенъ къ самому себѣ.

Не смѣю просить васъ самого справиться у Стелловскаго. Но еслибъ вы это для меня сдѣлали, — никогда-бы я не забылъ вашего одолженія.

Двѣ недѣли тому назадъ послалъ къ Кашпиреву самую покорнѣйшую и убѣдительнѣйшую просьбу прислать мнѣ остальные деньги за повѣсть (которая теперь у него непремѣнно набрана вся во второй книжкѣ, а стало быть ему очень легко сдѣлать мой расчетъ). Ни строчки отвѣта, и однако, что ему стоитъ расчитаться теперь, т. е. какихънибудь двѣ недѣли раньше, а теперь ужъ недѣлю! Ему ничего не стоитъ, а я просто погибаю. Здѣсь я теряю весь свой кредитъ по лавочкамъ и у хозяевъ, отсрочивая платежи; хоть я и заплачу черезъ двѣ недѣли, но кредитъ прекращается. Это мнѣ объявили. За что-же? И почему онъ боится уплатить мнѣ теперь? Я такъ думалъ, что онъ навѣрно напечатаетъ мою повѣсть всю, — такъ и расчитывалъ. По газетамъ я видѣлъ, что Лѣскову, напримѣръ, онъ выдавалъ и по 1,500 руб. впередъ. А какъ должно быть выдавалось Писемскому! А для меня нѣтъ, даже тогда, когда я прошу уже не впередъ, а своего, и пишу такія постыдныя просительныя письма. Никогда еще со мной этого не было, и никогда я не былъ въ такой нуждѣ, выработавъ однако-же въ четыре мѣсяца около 1,500 руб. Я ему пишу еще, но ради Бога скажите ему обо мнѣ, напомните, должно быть онъ забылъ! Я опять въ такой нуждѣ, что хоть повѣситесь.

Очень-бы радъ былъ узнать, пошелъ-ли ихъ журналъ, прибавилось-ли сколько-нибудь подписчиковъ? Здѣсь, въ сторонѣ, въ глаза бросаются всѣ эти мелкія ошибки изданія, которыя они ни во что, должно быть, не ставятъ, смотря свысока, на высшія цѣли, и которыя навѣрно у нихъ отняли подписчиковъ тысячу, если не больше. И не понимаютъ, что сами виноваты! А между тѣмъ жалко: „Заря“ журналъ съ хорошими направленіемъ. — И что за манеру взяли они публиковать заранѣе объ всякой вещицѣ, которая у нихъ будетъ напечатана! Въ слѣдующей книжкѣ начнется романъ: „Цыгане“, и это появится раза два, на заглавномъ листѣ, заглавными буквами. Журналъ, который съ самаго перваго номера, въ направленіи своемъ и въ критикѣ, сталъ на самый высокій тонъ, — тотъ журналъ не можетъ такъ торжественно извѣщать объ „Цыганахъ“, безъ того, чтобъ „Цыгане“ не были произведеніе равное по силѣ — „Мертвыми Душами“, „Дворянскому гнѣзду“, „Обломову“, „Войнѣ и Миру“. А

между тѣмъ романъ „Цыгане“, хоть и не безъ достоинствъ, но вовсе ужь не „Мертвыя Души“. Всякій подписчикъ накидывается на возвѣщенныхъ „Цыганъ“ съ жадностію и говоритъ потомъ: „Э, такъ вотъ они чему обрадовались, значить тонко“! Такимъ образомъ и журналу вредятъ и роману вредятъ. Тоже самое и повѣсти госпожи Кобаковой. Ну къ чему они выставили всѣ имена и всѣ статьи при публикаціи за нынѣшній годъ? Если-бъ промолчали, то про нихъ думали-бы всѣ, что они богаты. Прочта-же перечень возвѣщенныхъ статей, всякій скажетъ: „Э, да у нихъ еще только-то!“ Первый № „Зари“ за этотъ годъ представляетъ самое сѣренькое впечатлѣніе: полное отсутствіе современнаго, насущнаго, горячаго (у нихъ это всегда), беллетристика ничтожная (даже мою-то повѣсть разбили на двѣ части). Вашъ великолѣпный переводъ не можетъ вѣдь считаться беллетристикой: это поэма въ стихахъ и въ то же время ученая статья, а не беллетристика; такіе стихи помѣщаются для богатства, для щегольства, а надо собственно и беллетристики. Даже и переводный романъ дрянъ. Даже и критика, хотя и въ прежнихъ тонѣ и силѣ, но все-таки вѣдь повтореніе уже въ третій разъ или въ четвертый прежней идеи. — Декабрьская книжка прошлаго года вышла въ свѣтъ раньше праздниковъ, и что-же? Январская за нынѣшній годъ выходитъ 23 января (по газетамъ). Ну не скажетъ-ли каждый подписчикъ: „ужь ежели первый номеръ, въ такое горячее, подписное время, не съумѣли выдать раньше, что-же будетъ съ 10-мъ, 11-мъ, 12-мъ номерами?“ Я убѣжденъ, что всѣ въ редакціи, съ Каширскими во главѣ, считаютъ всѣ эти промахи пустяками, мелочами. Но вѣдь такихъ мелочей можно насчитать нѣсколько десятковъ, и ужь навѣрно онѣ у нихъ лишнюю тысячу подписчиковъ скрали! И еще при такой могучей конкуренціи, какъ напримѣръ „Вѣстникъ Европы“, совкупившій у себя все, что есть блестящаго изъ именъ (Тургенева, Гончарова, Костомарова), печатающій каждый номеръ любопытнѣйшимъ и богатѣйшимъ образомъ и повадившійся выходить въ первое число каждаго мѣсяца! Но въ „Зарѣ“ думаютъ, должно быть, что все это пустяки, было-бы направленіе! Да я и не про направленіе говорю, а про издательское умѣніе. То-то и жалко, что „Вѣстникъ Европы“ несомнѣнно будетъ первымъ журналомъ. Состоялась-ли у „Зари“ подписка-то?

Послѣ большаго промежутка между припадками, теперь они принялись меня опять колотить и злать меня особенно тѣмъ, что мѣшаютъ работать. Сѣлъ за богатую идею; не про исполненіе говорю, а про идею. Одна изъ тѣхъ идей, которыя имѣютъ несомнѣнный эффектъ въ публикѣ. Въ родѣ „Преступленія и Наказанія“, но еще ближе, еще насущнѣе къ дѣйствительности и прямо касается самаго важнаго современнаго вопроса. Кончу

къ осени, не спѣшу и не тороплюсь. Постараюсь, чтобъ осенью-же и было напечатано, а нѣтъ такъ все равно. Денегъ надѣюсь добыть по крайней мѣрѣ столько-же, сколько за „Преступленіе и Наказаніе“, а, стало быть, къ концу года надежда есть и всѣ дѣла мои уладить и въ Россію возвратиться. Только ужъ слишкомъ горячая тема. Никогда я не работалъ съ такимъ наслажденіемъ и съ такою легкостію. Но довольно! Убиваю я васъ монни безконечными письмами!... Если можно—скажите Кашпиреву (о присылкѣ денегъ) и исполните все насчетъ Паши, какъ я просилъ,—въ вѣкъ не забуду. Мои вамъ кланяются.

Вашъ Федоръ Достоевскій.

Дрезденъ, 25 марта (6 апрѣля) 1870 г.

Виновать, многоуважаемый и добрѣйшій Аполлонъ Николаевичъ, что до сихъ поръ промедлилъ отвѣтомъ, когда каждый день рвался писать къ вамъ. Но во-первыхъ — работа, а во-вторыхъ здоровье и мнительность, возродившаяся въ уединеніи—мнительность о здоровьѣ, и я очень тосковалъ. Сердце неправильно очень стучало и спать не могу. Пошелъ однакожь къ доктору, изъ знаменитыхъ профессоровъ, осмотрѣлъ меня всего— „рѣшительно ничего, одни нервы. Но нервы сильно разстроены“. На дѣто надо-бы куда нибудь переѣхать изъ Дрездена, хорошо-бы на море, покупаться. Хорошо-бы и для жены. Безспорно лучше всего воздухъ родины и *все*, что вы писали объ этомъ въ вашемъ письмѣ, — золотая правда, правда изъ правдъ. Но, Аполлонъ Николаевичъ, развѣ вы не знаете, почему я не возвращаюсь и не могу бросить этой проклятой границы? Баково пріѣхать и прямо поступить въ долговое отдѣленіе? До нѣкоторой поры мнѣ никакъ невозможно возвращеніе, и неужели вы думаете, что я самъ не тоскую и не стремлюсь душою въ Россію? А жена какъ тоскуетъ; развѣ мнѣ весело смотрѣть на ея тоску? Мало того: я *положительно* знаю, по фактамъ, что дѣла мои въ экономическомъ отношеніи пошли-бы втрое лучше, чѣмъ здѣсь идутъ. На этотъ счетъ хочу вамъ высказаться окончательно: клянусь вамъ, дорогой другъ, что я-бы не посмотрѣлъ на то, что меня *непретменно* въ долговое посадятъ, — то-ли я видывалъ въ своей жизни? Отсидѣлъ-бы годъ и выкупился-бы. Но я знаю, что если прежде (еще дѣтъ пять назадъ), это было возможно, то теперь, — знаю навѣрно, — рѣшительно невозможно. Съ моимъ здоровьемъ я не вынесу и полугода въ заключеніи публичномъ, а главное ничего не работаю. А писать—

темъ куча. Про здѣшнее-же писаніе вы говорите золотныя слова; дѣйстви- тельно я отстану—не отъ вѣка, не отъ знанія, что у насъ дѣлается (я на- вѣрно гораздо лучше вашего это знаю, ибо, *ежедневно!* прочитываю *три* русскія газеты до послѣдней строчки и получаю два журнала)—но отъ *живой струи жизни* отстану; не отъ идеи, а отъ плоти ея, — а это ужъ какъ вліяетъ на работу художественную! Все это правда, но какъ мнѣ быть? Войти въ соглашеніе съ кредиторами, упросить, чтобы дали годъ сроку и тогда все уплачу? Да согласятся-ли? Если уплатить половину, то можетъ быть и дали-бы годъ сроку. Я объ этомъ думаю день и ночь. Даже еслибъ 30% уплатить, то можетъ быть согласились-бы! Но съ ними и въ сношенія трудно войти теперь. Богъ знаетъ, всѣ-ли еще въ Петербургѣ? А надобно; иначе средства нѣтъ. Всѣхъ долговъ *опасныхъ*, т. е. вексель- ныхъ, я думаю теперь 4,000 руб. Слѣдственно, двѣ тысячи на уплату, да 1,000 руб. на подъемъ отсюда и на первый пріѣздъ въ Петербургъ— вотъ, стало быть, 3,000 руб. необходимы. Гдѣ это взять? Но вѣрите мнѣ, еслибъ я тогда не выѣхалъ изъ Петербурга, то въ два бы года *все* упла- тилъ совершенно. Но вѣдь я и выѣхалъ потому, что Печаткинъ подалъ ко взыскацію, объ чемъ я услышалъ заранѣ. Каково-бы мнѣ тогда, только что женившись, засѣсть въ тюрьму? Я этого не снесъ и поѣхалъ,— ну вотъ и все.

Впрочемъ, объ этомъ буду сильно думать лѣтомъ, когда что-нибудь окажется. Теперь я работаю въ „Русскій Вѣстникъ“. Я тамъ задол- жалъ и, отдавъ „Вѣчнаго Мужа“ въ „Зарю“, поставилъ себя тамъ, въ „Р. В—кѣ“, въ двусмысленное положеніе. Во чтобы то ни было надо туда кончить то, что теперь пишу. Да и обѣщано мною имъ твердо, а въ литературѣ я человѣкъ честный. То, что пишу— вещь тенденціозная, хо- чется высказаться погорячѣе. (Вотъ завопятъ-то про меня нигилисты и западники, что *ретроградъ!*) Да чертъ съ ними, а я до послѣдняго слова выскажусь. И знаете, въ какой я смутѣ!—рѣшительно не могу рѣшить: будетъ успѣхъ или нѣтъ? То мнѣ кажется, что чрезвычайно удачно вый- деть и я деньги на 2-мъ изданіи хвачу, то кажется, что совсѣмъ не удастся. Но лучше пусть совсѣмъ провалюсь, чѣмъ успѣхъ середка на половинѣ. Вы меня огрѣли дубиной по лбу вашей замѣткой объ „уси- ліяхъ воображенія“, подмѣченныхъ вами въ „Вѣчномъ Мужѣ“. Сколько мнѣ это тоски стоило; но, однако-же, какъ Богъ дастъ. Не надѣясь на успѣхъ, нельзя съ жаромъ работать. А я съ жаромъ работаю. Стало быть надѣюсь.

Но я еще не поблагодарилъ васъ за ваше доброе участіе и за хо- женіе къ Стелловскому и прочее. Вы и *не подозреваете*,

сколько вы для меня этииъ сдѣлали. Вы мнѣ миръ души возвратили и рану залечили. Я вамъ (и только вамъ) признаюсь во всемъ окончательно: я ужь думалъ, что Паша обманулъ меня! Какъ я страдалъ, какъ я молился за него и наконецъ-то ваше письмо разсѣяло всѣ сомнѣнія мои; это только вѣтрянный мальчигъ, но добрый и честный. Повторяю— вы рану въ душѣ моей залечили. А съ Стелловскимъ— съ нимъ! Да я отчасти и радъ,—можете себѣ представить! До того тяжело имѣть дѣло съ этимъ !

А, между тѣмъ, я положительно въ ужасномъ теперь состояніи (мистеръ Микоберъ). Денегъ нѣтъ ни копейки; а надо просуществовать до осени, когда у меня будутъ деньги. Просить въ „Русскомъ В—кѣ“ почти невозможно; во первыхъ—ну какъ откажутъ, а во вторыхъ—это будетъ безшѣрно забираться у нихъ впередъ. Отъ нихъ я навѣрно получу, но только осенью; зато получу значительно. Чтò я вамъ пишу теперь, тò знаю навѣрно. Но до осени совсѣмъ нечѣмъ жить будетъ. Вы думаете, я здѣсь трачу, роскошествую. Вѣрите-ли, что я съ самаго переѣзда въ Дрезденъ, 8 мѣсяцевъ, жилъ однимъ „Вѣчнымъ Мужемъ“, почти 100 талеровъ въ мѣсяцъ, а тутъ и родины, и самый необходимый ремонтъ, и жить не дешево,—такъ что въ концѣ концовъ задолжалъ и до сихъ поръ есть долги. Н. Н. Страховъ, мѣсяцъ назадъ, приглашалъ меня положительно къ дальнѣйшему участію въ „Зарѣ“. Я отвѣтилъ ему предложить Кашпиреву мой романъ въ будущему году, но съ тѣмъ, чтобъ 500 руб. теперь и по сту рублей ежемѣсячно, впродолженіе пяти мѣсяцевъ, такъ что выйдеть всего 1,000 руб. По моему немного; давалъ же Кашпиревъ и по полторы тысячи впередъ за годъ Стебницкому. (Да и журнала издавать нельзя, не выдавая впередъ, иначе всѣхъ писателей упустишь). Николай Николаевичъ отвѣтилъ, что Кашпиревъ согласенъ, что деньги пришлютъ въ апрѣлѣ, но чтобъ я доставилъ мою вещь въ нынѣшнемъ году на осенніе мѣсяцы. Я отвѣчалъ, что въ нынѣшнемъ году мнѣ положительно невозможно. Кашпиревъ, впрочемъ, мнѣ ничего не писалъ самъ. Жду послѣдняго отъ нихъ отвѣта. Согласитесь сами, что если я заберусь въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ еще, то и работа моя будущая будетъ надолго принадлежать „Русскому Вѣстнику“. То, чтò я пишу теперь въ „Русскій Вѣстникъ“, я кончу мѣсяца черезъ три навѣрно. Тогда, погулявъ мѣсяцъ, съѣзду-бы за работу въ „Зарю“. Я теперь года полтора сряду не работалъ и меня томить писать („Вѣчнаго Мужа“ не считаю). Надъ тѣмъ, чтò пишу въ „Русскій Вѣстникъ“, я не очень устану; зато въ „Зарю“ я общаю вещь хорошую и хочу сдѣлать хорошо. Эта вещь въ „Зарю“ уже два года какъ зрѣеть въ моей головѣ. Это та самая идея, объ которой я

вамъ уже писалъ. Это будетъ мой послѣдній романъ. Объемомъ въ „Войну и Миръ“, и идею вы бы похвалили, — сколько я по крайней мѣрѣ сообщаюсь съ нашими прежними разговорами съ вами. Этотъ романъ будетъ состоять изъ пяти большихъ повѣстей (листовъ 15 въ каждой; въ 2 года планъ у меня весь созрѣлъ). Повѣсти совершенно отдѣлены одна отъ другой, такъ что ихъ можно даже пускать въ продажу отдѣльно. Первую повѣсть я и назначаю Башпиреву: тутъ дѣйствіе еще въ сороковыхъ годахъ. (Общее названіе романа есть „Житіе великаго грѣшника“, но каждая повѣсть будетъ носить названіе отдѣльно). Главный вопросъ, который проведется во всѣхъ частяхъ — тотъ самый, которымъ я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существованіе Воле. Герой, впродолженіе жизни, — то атеистъ, то вѣрующій, то фанатикъ и сектаторъ, то опять атеистъ. 2-я повѣсть будетъ происходить вся въ монастырѣ. На эту 2-ю повѣсть я возложилъ всѣ мои надежды. Можетъ быть скажутъ, наконецъ, что не все писалъ пустяки. (Вамъ одному исповѣдуюсь, Аполлонъ Николаевичъ: хочу выставить во 2-й повѣсти главной фигурой Тихона Задонскаго, конечно подъ другимъ именемъ, но тоже архіерей будетъ проживать въ монастырѣ на покой). 13 лѣтній мальчикъ, участвовавшій въ совершеніи уголовного преступленія, развитый и развращенный (я этотъ типъ знаю), будущій герой всего романа, посаженъ въ монастырѣ родителями (кругъ нашъ, образованный) и для обученія. Волченокъ и нигилистъ-ребенокъ сходится съ Тихономъ (вы вѣдь знаете характеръ и все лицо Тихона). Тутъ-же въ монастырѣ посажу Чаадаева (конечно подъ другимъ тоже именемъ). Почему Чаадаеву не просидѣть года въ монастырѣ? Предположите, что Чаадаевъ послѣ первой статьи, за которую его свидѣтельствовали доктора каждую недѣлю, не утерпѣлъ и напечаталъ, напримѣръ, за границей, на французскомъ языкѣ, брошюру, — очень и могло-бы быть, что за это его на годъ отправили-бы посидѣть въ монастырѣ. Къ Чаадаеву могутъ пріѣхать въ гости и другіе, Бѣлинскій напримѣръ, Грановскій, Пушкинъ даже. (Вѣдь у меня-же не Чаадаевъ, я только въ романъ беру этотъ типъ). Въ монастырѣ есть и Павелъ Прусскій, есть и Голубовъ и инокъ Парфеній. (Въ этомъ мѣрѣ я знатокъ, и монастырѣ русскій знаю съ дѣтства). Но главное Тихонъ и мальчикъ. Ради Бога не передавайте никому содержанія этой 2-й части. Я никогда впередъ не рассказываю никому моихъ темъ, стыдно какъ-то; а вамъ исповѣдуюсь. Для другихъ пусть это гроша не стоитъ, но для меня сокровище. Не говорите-же про Тихона. Я писалъ о монастырѣ Стравову, но про Тихона не писалъ. Авось выведу величавую, *положительную*, святую фигуру. Это ужъ не Костанжоглосъ и не нѣмецъ (забылъ

фамилію) въ Обломовѣ *); и не Лопуховы, не Рахметовы. Правда, я ничего не создамъ, а только выставлю дѣйствительнаго Тихона, котораго я принялъ въ свое сердце давно съ восторгомъ. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важнымъ подвигомъ. Не сообщайте-же никому. Но для 2-го романа, для монастыря, я долженъ быть въ Россіи. Ахъ, кабы удалось! Первая-же повѣсть — дѣтство героя. Разумѣется, не дѣти на сценѣ; романъ есть. И вотъ, благо я могу написать это за границей, предлагаю „Зарѣ“. Неужто откажутъ? Да и 1,000 рублей—не Богъ знаетъ какія деньги. Какъ хотять; такъ дѣйствуя, все и всѣхъ упустять. Впрочемъ, ихъ дѣло. Я вчера писалъ Страхову и попросилъ поскорѣе послѣдняго рѣшенія. Иначе мнѣ надо-же что-нибудь предпринять не теряя времени; обратиться въ „Русскій Вѣстникъ“— тоже время пройдетъ—такъ ужъ, по крайней мѣрѣ, не задерживали-бы меня отвѣтомъ изъ „Зари“. (Весь-то романъ, я думаю, я буду лѣтъ шесть писать). Если можете сказать слово въ мою пользу въ „Зарѣ“, то скажите, голубчикъ. Ибо страшно тяжело въ „Русскій Вѣстникъ“ обращаться въ эту минуту; черезъ три мѣсяца дѣло иное. Да и самому мнѣ бы хотѣлось работать въ „Зарѣ“. Направленіе то, которое я наиболѣе раздѣляю, кромѣ кой чего разумѣется. Впрочемъ, какъ хотять. Бѣдность-то моя меня съѣла, а то сталъ-бы я лѣзть самъ съ предложеніями! И замѣтьте, только что свяжусь съ журналомъ, сейчасъ торопятъ срокомъ, сейчасъ-бы имъ къ самому раннему сроку! Да я лучше умру, чѣмъ теперь себя стѣсняю. Одинъ „Русскій Вѣстникъ“ меня не стѣснялъ. Благороднѣйшіе люди!

Кстати, дорогой Аполлонъ Николаевичъ, откуда могла-къ вамъ зайти идея о Яновскомъ? И въ мысли не было у меня, ни разу, ни одного мгновенія! Я такъ удивился, прочтя у васъ. Да и исторія Яновскаго, въ этомъ отношеніи, я совсѣмъ не знаю. Развѣ у него было что нибудь подобное?

Про нигилизмъ говорить нечего. Подождите, пока совсѣмъ перегнѣтъ этотъ верхній слой, оторвавшійся отъ почвы Россіи. Знаете-ли: мнѣ приходитъ въ голову, что многіе изъ этихъ-же самыхъ подлецовъ юношей, гнѣющихся юношей, кончатъ тѣмъ, что станутъ настоящими, твердыми почвенниками, чисто-русскими. Ну, а остальные пусть сгниютъ. Кончатся тѣмъ, что и они замолчатъ, въ параличѣ. А мерзавцы однакоже!

Аннѣ Григорьевнѣ слишкомъ лестно мнѣніе Анны Ивановны. Знаете-ли, она у меня самолюбива и горда. Но если-бы вы знали, какъ я съ ней

*) Почему мы знаемъ: можетъ быть именно Тихонъ-то и составляетъ нашъ русскій положительный типъ, который ищетъ наша литература, а не Лаврецкій, не Чичиковъ, не Рахметовъ и проч.

счастливы! Одно несчастье — не можем покаместъ возвратиться. Но вѣдь воротится-же можетъ быть? — Люба дѣлаетъ зубки и мучается. Здоровый ребенокъ; вы-бы подивились. Но еслибъ не Анна Николаевна, мать Анны Григорьевны, то умерла-бы и Люба. Пропали-бы мы безъ нея.

Эхъ, о многомъ хотѣлъ-бы я васъ пораспросить, но до свиданія однако же. Не забывайте меня совсѣмъ и не оставляйте, а я вашъ, вы знаете, всегдашній и неизмѣнный

Федоръ Достоевскій.

— Аня, вамъ и Аннѣ Ивановнѣ кланяется. Я тоже свидѣтельствую мое глубокое уваженіе Аннѣ Ивановнѣ и благодарность сердечную за отзывъ объ Анѣ.

— Кстати: Кашпировъ, выславъ мнѣ мѣсяць назадъ 400 руб., прибавилъ, что будетъ еще остаточекъ, примѣрно отъ 50 до 100 руб., но до сихъ поръ не высылаетъ. Если этотъ остаточекъ есть, то намекайте ему, *ради Христа*, дорогой Аполлонъ Николаевичъ, чтобъ выслалъ. Для меня 50 руб. слишкомъ, слишкомъ дороги.

— Нравятся-ли вамъ критики Страхова? Я высоко ставлю.

Дрезденъ, 15 (27) декабря 1870 г.

Давно не писали мы другъ другу, дорогой и любезнѣйшій Аполлонъ Николаевичъ. Не знаю, не сердитесь-ли вы за что нибудь на меня? Кажется за что бы? Вѣрнѣе-же всего, что виновато долгое мое отсутствіе. Между тѣмъ (такъ какъ скоро наступаетъ время, что и я расплунусь съ заграницей и возвращусь *домой*), вспоминается и мечтается сильно о прежнихъ друзьяхъ и товарищахъ. Какъ-то встрѣтятся, что-то перескажемъ другъ другу и какими другъ другу покажемся? Однимъ словомъ, предчувствую наступленіе новаго періода жизни и — волнуясь. Анна Григорьевна даже больна тоской по родинѣ. Но увы, никакимъ образомъ не смогъ устроить возвращенія осенью. Приѣду къ 1-му мая 1871 и — что бы тамъ ни было! Разумѣется не безъ надеждъ устроить дѣла хоть на половину. Но все это еще въ будущемъ. Одно несомнѣнно — что срока возвращенія не переимѣню. — Живу я теперь ужасно. Еслибъ не работа денная и ночная, то очумѣлъ бы съ тоски. Здоровье попрежнему. Одно мучаетъ: прихварываетъ Анна Григорьевна. Дочка здорова и весела. — Работу навалилъ на себя почти сверхъ силъ. Задумавъ огромный романъ (съ направленіемъ — дикое для меня дѣло) полагалъ сначала, что слажу легко.

И что-жъ? Перемѣнилъ чуть не десять редакцій и увидалъ, что тема *oblige*, а поэтому ужасно сталъ къ роману мнителенъ. Еле-еле окончилъ первую часть (большую, въ 10 листовъ, а всѣхъ частей 4) и отослалъ. Думаю, что сильно неказиста и неэффектна. Съ первой части даже и угадать нельзя будетъ читателю, куда я клоню и во что обратится дѣйствіе. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ отозвались благосклонно. Названіе романа „Бѣсы“ (все тѣже „бѣсы“, о которыхъ писалъ вамъ какъ-то) съ эпиграфомъ изъ Евангелія. Хочу высказаться вполне открыто и не заигрывая съ молодымъ поколѣніемъ. А впрочемъ въ письмѣ ничего не расскажешь. — Жаль, что я не сдержалъ слова въ „Зарю“. Если поступать со мною гуманно и не обругаютъ подлецомъ, то заслужу „Зарю“ въ свое время. Невозможно разсчитывать все по ниткѣ впередъ. Зналъ ли я, что въ цѣлый годъ и 10-ти листовъ не напишу? Оторваться отъ „Русскаго Вѣстника“ до слова не могу. Да и начавъ одно, нельзя перейти къ другому.

Аполлонъ Николаевичъ, я къ вамъ съ величайшею просьбою, но не подумайте, что изъ-за нужды только сталъ писать къ вамъ. Просьба моя огромная; не имѣю никого, кому-бы могъ довѣриться въ этомъ дѣлѣ. А оно такъ для меня важно, что въ немъ, при извѣстномъ оборотѣ, можетъ заключаться въ близкомъ будущемъ или бѣда для меня, или разрѣшеніе большей части моихъ затрудненій.

Стелловскій объявилъ объ изданіи моихъ сочиненій и „Преступленія и Наказанія.“ Объявленіе прочелъ въ „Голосѣ“ (кажется отъ 11-го декабря). Не сказано, какое это изданіе, старое или новое, и въ форматѣ ли его Собранія сочиненій русскихъ авторовъ (т. е. въ 2 столбца и въ 8-ю долю). Но вѣроятно старое и вѣроятно въ 8-ю долю. Иначе онъ, въ силу контракта, заплатилъ-бы мнѣ 3,000 руб. неустойки, и потому не станетъ онъ дѣлать новаго. — *Но важно для меня то, что издано имъ „Преступленіе и Наказаніе“, за которое онъ долженъ мнѣ немедленно заплатить, въ силу контракта и подѣ страхомъ неустойки въ 3,000 руб.* Уплата, по пункту контракта, опредѣлена такимъ образомъ: онъ долженъ заплатить за каждый листъ „Преступленія и Наказанія (напечатаннаго *не иначе* какъ въ его форматѣ Сочиненій русскихъ авторовъ, т. е. 8-я доля и въ 2 столбца)—ровно столько, во сколько обошелся каждый листъ напечатаннаго имъ въ 1866-мъ году (въ его форматѣ) изданія моихъ сочиненій. Провѣрить поэтому слишкомъ легко: стоитъ сосчитать число листовъ прежняго изданія (въ его форматѣ, за исключеніемъ „Преступленія и Наказанія“, которое *только теперь* появилось) и раздѣлить *3000 руб.* (цѣну, которую я тогда съ него получилъ) на это число листовъ.

Такимъ образомъ опредѣлится плата за листъ. Затѣмъ, помноживъ эту плату на число листовъ „Преступленія и Наказанія“ (въ его форматѣ), получимъ всю сумму, которую мнѣ придется получить теперь съ него. Сумма эта будетъ, кажется, около 900 руб. Помнится, я вамъ писалъ объ этомъ когда-то, да и Стелловскій, кажется, такъ вамъ говорилъ.

Повторяю: Стелловскій не имѣетъ никакой причины и никакой возможности отказаться отъ *немедленной* уплаты по первому востребованію. Иначе платить мнѣ неустойку въ 3,000 рублей. А потому никакъ не посмѣетъ отказаться.

Теперь:

Прсбба моя къ вамъ въ томъ: не согласитесь-ли вы (ради Христа) потребовать съ него уплату и получить сумму? Если согласитесь, то дѣло, по формальному порядку, должно произойти такимъ образомъ:

Получивъ ваше согласіе, я немедленно высылаю вамъ отсюда безспорную и совершенно законную довѣренность на получение этихъ денегъ, по пункту контракта. Довѣренность будетъ засвидѣтельствована въ нашемъ здѣшнемъ посольствѣ (я знаю, что такого рода довѣренности совершенно законны и безспорны). При этомъ высылаю вамъ *подлинную копию* съ контракта моего съ Стелловскимъ въ 1865 году, и, наконецъ, мое письмо отсюда къ Стелловскому (незапечатанное).

Письмо это будетъ слѣдующаго содержанія:

М. Г. Вы объявили о вашемъ изданіи моего романа „Преступленіе и Наказаніе“, о чемъ я извѣстился изъ объявленій вашихъ въ газетахъ. По такому-то пункту контракта, совершеннаго нами обоюдно (тамъ-то и тамъ-то), вы должны немедленно уплатить мнѣ причитающуюся мнѣ плату. А по такому-то пункту контракта, въ случаѣ неуплаты, подвергаетесь законной неустойкѣ въ мою пользу въ 3,000 руб. Находясь въ настоящее время въ Дрезденѣ, я выслалъ дѣйств. статск. совѣтн. Аполлону Николаевичу Майкову законную и безспорную довѣренность на получение слѣдующихъ мнѣ отъ васъ денегъ за напечатанный романъ, засвидѣтельствованную, по закону, русскимъ посольствомъ. Сверхъ того, выслалъ ему-же подлинную копию съ контракта, совершеннаго нами обоюдно въ 1865 году. Вслѣдствіе чего и прошу васъ, немедленно по полученіи письма сего, произвести Аполлону Николаевичу Майкову сію уплату, въ конторѣ частнаго маклера Барулина, въ которой совершенъ нами обоюдно вышеупомянутый контрактъ. По предъявленіи вамъ въ сей конторѣ Аполлономъ Николаевичемъ довѣренности и по уплатѣ денегъ, прошу васъ на подлинномъ и на копіи контракта росписаться въ уплатѣ денегъ и получить на подлинномъ и на копіи съ контракта росписку съ Апол-

лона Николаевича въ полученіи имъ сихъ денегъ. Затѣмъ уплата и полученіе имѣеть быть засвидѣтельствовано частнымъ маклеромъ Барулиннымъ. Все это по примѣру и образцу того, какъ получена была мною въ 1865 году уплата вами 3,000 руб. за изданіе моихъ сочиненій. Разсчитать же сумми, слѣдующей имѣ въ уплату за напечатанный вами романъ „Преступленіе и Наказаніе“, довѣряю сдѣлать Аполлону Николаевичу Майкову, по соглашенію съ вами и въ силу таковаго-то пункта контракта.

Вотъ смыслъ письма; напишу-же я его болѣе юридически.

Теперь:

По полученіи отъ меня довѣренности, копій и письма, вамъ осталось-бы только слѣдующее:

Написать Стелловскому четыре строки и послать ихъ ему вмѣстѣ съ письмомъ моимъ къ нему. Вы его просто увѣдомите, что, имѣя отъ меня довѣренность мою, какъ усмотритъ онъ изъ прилагаемаго моего письма къ нему, вы просите его назначить вамъ, по возможности *немедленно*: когда угодно ему будетъ произвести вамъ уплату, въ томъ видѣ, какъ усмотритъ онъ изъ прилагаемаго мною къ нему письма?

Вотъ и все. Вся моя просьба къ вамъ! Угодно-ли вамъ безконечно одолжить меня, Аполлонъ Николаевичъ? Это *послѣднее* одолженіе, о которомъ прошу васъ. Болѣе уже не буду беспокоить моими просьбами.

Выслушайте теперь, Аполлонъ Николаевичъ, почему это все для меня такъ важно:

Само собою разумѣется, что важно для меня и самое полученіе, въ настоящую минуту, всей этой значительной для меня сумми. Тѣмъ болѣе, что ни подъ какимъ видомъ Стелловскій не можетъ отказаться отъ уплаты, ибо знаетъ, что заплатитъ неустойку въ 3,000 по совершенно точному и ясному пункту контракта. Я потому и прошу васъ такъ настоятельно и убѣдительно, что никакой задержки и никакихъ, чуть-чуть лишь значительныхъ хлопотъ не предвижу; ибо онъ никакимъ образомъ не посмѣетъ отказаться, зная, чему подвергается.

Но, кромѣ полученія денегъ, для меня важно и будущее. А во всемъ этомъ дѣлѣ очень и очень можетъ заключаться нѣчто, могущее повліять на мое будущее. Именно: Стелловскій Скупивъ въ 1865 году векселя мои (за брата) Д. . . . у и мой вексель Гаврилову, онъ принудилъ меня тогда сдѣлать съ нимъ этотъ позорный контрактъ продажи моихъ сочиненій, требованіемъ немедленной уплаты, или тюрьмы. Такъ точно можетъ онъ поступить и теперь по моемъ возвращеніи. Скупивъ съ выгодой, т. е. за безцѣнокъ, нѣкоторые мои векселя, онъ можетъ опять лѣтъ на семь сдѣлаться собственникомъ моихъ бывшихъ и будущихъ сочиненій,

принудивъ меня, по возвращеніи моемъ, къ какому нибудь контракту, подобному контракту 1865 года. Я даже имѣю основаніе это предполагать; разъ уже ему удалось, почему-же ему въ другой не попробовать? Теперь разсудите: если-бы онъ, *подъ какимъ-бы то ни было предлогомъ*, не заплатилъ вамъ теперь этихъ денегъ за „Преступленіе и Наказаніе“ (хотя-бы, наприимѣръ, объявилъ вамъ, что у него на меня вексель, что будетъ совершенно незаконно, ибо вексель векселемъ, а уплату онъ все-таки произведи) — то я, въ будущемъ, имѣю противъ него щить, а именно — требованіе 3,000 руб. неустойки, потому что онъ, по смыслу контракта, ни *подъ какимъ видомъ*, не имѣетъ права уклониться отъ законнаго требованія уплаты *съ ту-же минутой*, какъ ее потребуютъ.

И потому просилъ-бы васъ очень:

Если онъ отъ уплаты уклонится, замедлитъ отвѣтомъ, или предъявитъ вамъ какую нибудь причину, то чудесно было-бы, еслибъ при этомъ находился еще кто нибудь свидѣтелемъ. Всего лучше и удобнѣе, по моему, поступить-бы такъ:

Когда вы въ первый разъ пошлете ему записку вашу при моемъ къ нему письмѣ, то прибавьте въ запискѣ, что ждете отвѣта по возможности не далѣе, какъ въ трехдневный срокъ. Если онъ вамъ ничего не отвѣтитъ, или отвѣтитъ (что бы тамъ ни было, это все равно), но не письменно, а лично, то вотъ тутъ-бы не худо свидѣтеля. Для этого сдѣлать такъ: если онъ уклонится отъ отвѣта въ трехдневный срокъ, то послать къ нему еще четыре строчки, но не по почтѣ, а съ кѣмъ нибудь (можно-бы даже взять какого-нибудь ходатая по дѣламъ, если будетъ стоять не дорого; я заплачу) и *добиться* отъ него отвѣта (какого-бы тамъ ни было), только отвѣта при свидѣтелѣ. Такимъ образомъ, я буду имѣть фактъ и свидѣтелей факта, что Стелловскій, по предъявленному отъ моего имени законному требованію съ него, въ силу контракта, денегъ — ихъ не заплатилъ. Съ меня довольно. Онъ заплатитъ мнѣ тогда непременно 3,000.

И такъ я прошу васъ, многоуважаемый другъ мой, всего только добиться отъ него какого нибудь отвѣта, и чтобъ объ этомъ отвѣтѣ знало и еще какое нибудь третье лицо, т. е. вашъ посланный. Вотъ и все. Хлопотать-же о непремѣнномъ полученіи денегъ, въ случаѣ, еслибъ онъ сталъ вилать и отлынивать, — совершенно *не надо*. Съ меня довольно будетъ того, что онъ, *подъ какимъ-бы тамъ ни было предлогомъ*, не заплатилъ.

Но повторяю еще разъ: предположеніе, что онъ не заплатитъ вамъ по первому вашему требованію и станетъ вилать, — почти невозможно. Онъ слишкомъ тертый калачъ и знаетъ, чему онъ подвергается. Знаетъ тоже, что я его не пощажу и неустойку съ него возьму. И потому не

посмѣетъ онъ вамъ не уплатить и не отвѣтить тотчасъ-же на ваше письмо. А такъ какъ вы, кромѣ довѣренности отъ меня, будете имѣть въ рукахъ еще подлинную копію съ нашего контракта 1865, и дѣло будетъ происходить въ конторѣ маклера, то онъ уже никакъ не посмѣетъ заподозрить неправильность выданной вамъ мною довѣренности, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Дѣло будетъ вестись слишкомъ серьезно, ясно и на открытую. И опять повторяю: если онъ не захочетъ уплатить, то добиваться уплаты *не надо*. Я васъ не посмѣю обременить такою просьбой. Всего только послать ему четыре строки съ извѣщеніемъ и получить отвѣтъ.

НВ. Уплата въ конторѣ Барулина (гдѣ-то на Невскомъ) дѣлается лишь для его полнѣйшаго удостовѣренія. Но если онъ захочетъ отдать вамъ деньги просто подъ росписку вашу, безъ Барулина, — то тѣмъ лучше еще; меньше хлопотъ.

Не откажите-же мнѣ, Аполлонъ Николаевичъ. Прошу васъ чрезвычайно. Дѣло не можетъ имѣть никакихъ особенныхъ хлопотъ, а мнѣ вы сдѣлаете Богъ знаетъ какое одолженіе!

Буду ждать вашего отвѣта. Но по важности для меня дѣла, прошу васъ, любезнѣйшій Аполлонъ Николаевичъ, отвѣтите мнѣ немедленно по полученіи *этого* письма, всего хоть двумя строчками: *да* или *нѣтъ*?

Анна Григорьевна очень кланяется вамъ и Аннѣ Ивановнѣ. Глубокій поклонъ Аннѣ Ивановнѣ отъ меня.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Женился-ли Паша?

Дрезденъ, 30 декабря 1870 г.

Благодарю васъ безпредѣльно, любезнѣйшій Аполлонъ Николаевичъ, во первыхъ, за вашу готовность помочь, а во вторыхъ, за то, что не замедлили отвѣтомъ. Но такъ какъ вы позабыли выставить на конвертѣ *poste restante*, то я и получилъ ваше письмо только на третій день по приходѣ его въ Дрезденъ, и почтальонъ розыскивалъ меня здѣсь три дня черезъ полицію. Высылаю вамъ довѣренность, и не обвините меня въ нахальствѣ прочтя ее: все это, какъ увѣряли меня, одна только необходимая форма. Впрочемъ, такая *помота* довѣренности и для самого Стелловскаго будетъ внушительнѣе. Эту довѣренность вамъ надо будетъ засвидѣтельствовать въ департаментѣ внѣшнихъ сношеній, кажется (Паша знаетъ), гдѣ засвидѣтельствуютъ подпись нашего посольства. Кромѣ того,

высылаю вамъ подлинную копию съ контракта моего съ Стелловскимъ въ 1865 году. Прочтите, прошу васъ очень, внимательно эту копию, особенно 8-й и 13-й пункты, — и вы увидите всю суть дѣла совершенно ясно и убѣдитесь, до какой степени это дѣло простое и *безспорное*. Тутъ только взять да получить. Да и тяжело было-бы мнѣ утруждать васъ болѣе сложнымъ дѣломъ. Мое мнѣніе, что чѣмъ открытѣе, проще и *суше* (т. е. строже) вы поведете дѣло, тѣмъ лучше. Высылаю и письмо къ Стелловскому, незапечатанное; прочтите его. *Главное* въ томъ, чтобъ у васъ подъ рукою былъ уполномоченный (если надо, я заплачу изъ полученной съ Стелловскаго суммы, если не много), для того чтобъ онъ снесъ Стелловскому это письмо мое съ запиской отъ васъ въ четырехъ строкахъ (но и уполномоченный пусть бы передалъ письмо мое незапечатаннымъ). Въ вашихъ-же четырехъ строкахъ вы пригласите его, если онъ захочетъ, къ Барулину, и чтобъ онъ назначилъ вамъ время для уплаты въ конторѣ Барулина. А то какъ захочетъ, но только пусть уплатитъ подъ вашу росписку.

Не заплатить онъ не можетъ: прочтите 13-й пунктъ контракта. Но бѣда, если будетъ вылатъ и оттягивать. Тогда пусть уполномоченный вашъ спроситъ черезъ полицію. Главное въ томъ, чтобъ онъ далъ отвѣтъ. Конечно, это дѣло прямое, и рано-ли, поздно-ли, а я съ него получу. Но ужъ какъ-бы хотѣлось получить теперь! Не хочется просить все впередъ, да впередъ у „Русскаго Вѣстника“, а иначе и жить нечѣмъ.

Повторяю, какъ и въ прошломъ письмѣ моемъ: не думаю, чтобъ онъ могъ отказаться, да и представить не могу, на какомъ основаніи онъ бы могъ это сдѣлать? Но въ случаѣ, если онъ откажется отъ уплаты на какомъ-бы то ни было основаніи, то покажите, прошу васъ очень, довѣренность мою вамъ и копию какому нибудь дѣльцу: что онъ скажетъ? Дѣло безспорное и можно-бы потребовать сейчасъ уплаты черезъ полицію. Въ такомъ случаѣ, если дѣлецъ возьмется выиграть навѣрно дѣло, то я готовъ уплатить по окончаніи дѣла, если не очень много, говоря сравнительно (не можетъ-ли вамъ прислужить въ чемъ Паша?).

Во всякомъ случаѣ, повторяю это, я только прошу васъ предъявить Стелловскому мое письмо и четыре ваши строки и втребовать у него какой либо отвѣтъ. Вотъ и все. А главное, умоляю васъ увѣдомить меня объ отвѣтѣ его неотлагательно. Это очень важно для меня; разсудите: или знать, что получу рублей 900, или писать въ „Русскій Вѣстникъ“ просьбу. Кстати — сдѣлайте расчетъ. Это въ одну минуту: стоитъ только знать число листовъ въ изданіи „Преступленіи и Наказаніи“ и помножить на то число рублей, въ которое обошелся каждый листъ изданія

всѣхъ моихъ сочиненій Стелловскимъ въ 1866 году. То же число рублей опредѣлится ясно: надо сосчитать все число листовъ всѣхъ трехъ томовъ изданія Стелловскимъ моихъ сочиненій въ 1866 году (разумѣется, кромѣ „Преступленія и Наказанія“) и этимъ числомъ листовъ раздѣлить сумму 3,000 руб. Тогда и опредѣлится, что стоитъ каждый листъ. Впрочемъ, прочтите 8-й пунктъ контракта, тамъ это ясно обозначено. Ну, вотъ и все. Въ концѣ концовъ думаю, что онъ не откажется, а просто уплатитъ, развѣ только повилаетъ не много. Но ради Бога увѣдомьте поскорѣе.

Да, пріѣхать я непременно хочу и ворочусь весной навѣрно. Здѣсь я нахожусь въ такомъ гнусномъ состояніи духа, что почти писать не могу. Мнѣ ужасъ какъ тяжело писать. За событіями слѣжу и у насъ и здѣсь лихорадочно, и много прожилъ жизни въ эти четыре года. Сильно жилъ, хотя и уединенно. Что Богъ пошлетъ дальше—приму безропотно. Семейство тоже сильно обязываетъ совѣсть. Хочется, наконецъ, и людей видѣть.

Страховъ писалъ мнѣ, что ужасно все еще въ нашемъ обществѣ молодозелено. Еслибъ вы знали, какъ это отсюда видно! Но еслибъ вы знали, какое кровное отвращеніе, до ненависти, возбудила во мнѣ къ себѣ Европа, въ эти четыре года. Господи, какіе у насъ предрасудки на счетъ Европы! Ну развѣ не младенецъ тотъ русскій (а вѣдь почти всѣ), который вѣрится, что пруссакъ побѣдилъ школой? Это похабно даже: хороша школа, которая грабитъ и мучаетъ какъ Атилова орда? (да не больше-ли?).

Вы пишете, что противъ грубой силы встаетъ теперь, во Франціи, духъ націи? Да никогда-же я въ этомъ не сомнѣвался съ самаго начала, и если тамъ не дадутъ маху, заключивъ миръ, и переждутъ еще мѣсяца три, то нѣмцы будутъ выгнаны, и тогда—какой позоръ! Долго писать надо, а то бы я могъ сообщить вамъ много любопытнаго изъ наглядныхъ наблюденій, напримѣръ, какъ отправляются отсюда во Францію солдаты, какъ собираютъ ихъ, экипируютъ, продовольствуютъ и везутъ. Это ужасно любопытно. Дрянная, напримѣръ, бабенка, проживающая тѣмъ, что снимаетъ двѣ комнаты и, меблировавъ ихъ, отдаетъ ихъ въ наемъ (стало бытъ имѣть свою мебель на два гроша), за то, что имѣетъ свою мебель, должна дать постоя, съ прокормленіемъ на свой счетъ, десятернымъ солдатамъ. Они простоятъ дня три, два, одинъ, рѣдко недѣлю. Но вѣдь это ей въ 20—30 талеровъ обойдется.—Я самъ читалъ нѣсколько писемъ солдатиковъ-нѣмцевъ изъ Франціи, изъ подъ Парижа, сюда къ своимъ матерямъ и отцамъ (лавочникамъ, торговкамъ). Господи, что пишутъ! Какъ они больны, какъ голодны! Но—долго рассказывать! Между прочимъ наблюденіе: первоначально Wacht am Rein раздавалось на улицѣ въ толпѣ часто, теперь *совѣстьмъ нѣтъ*. Всего больше горячатся и *гордятся*

профессора, доктора, студенты, но народъ—не очень. Совсѣмъ даже нѣтъ. Но профессора гордятся. Въ Lese-Bibliothek каждый вечеръ встрѣчаю ихъ. Одинъ съдой какъ лунь и вліятельный ученый громко кричалъ третьяго дня—Paris muss bombardirt seyn! Вотъ результаты ихъ науки. Если не науки—такъ глупости. Пусть они ученые, но они ужасные глупцы! Еще наблюденіе: весь здѣшній народъ—грамотенъ, но до невѣроятности необразованъ, глупъ, тупъ, съ самыми низменными интересами. Но до свѣданія, довольно. Обнимаю васъ, благодарю заранѣ. Ради Бога, не забывайте и увѣдомьте теперь.

Вашъ Достоевскій.

Сохраните копію съ контракта; это важный для меня документъ.

P. S. На случай, если получите съ Стелловскаго деньги, то не переводите черезъ банкира, а просто, застраховавъ, вышлите сюда мнѣ русскими кредитными билетами, т. е. тѣ самыя, которые получите. Здѣсь они хорошо мѣняются.

P. S. Еслибъ Стелловскій сталъ предлагать вамъ вмѣсто уплаты какую нибудь другую сдѣлку, напримѣръ, изданіе „Идіота“ и проч., то не соглашайтесь и не слушайте, а требуйте уплаты, *безъ рассрочки.*

Дрезденъ, 18 (30) января 1871 г.

Любезнѣйшій Аполлонъ Николаевичъ, посылаю и я вамъ нѣсколько строкъ, въ отвѣтъ на ваши отъ 12-го января. Не понимаю, почему Паша не нашелъ извѣстія въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ въ департаментѣ *внутреннихъ* сношеній. Сейчас сдѣлалъ справку въ канцеляріи посольства: еще отъ 3-го числа было послано. Посылаю вамъ номеръ, по которому легко найти въ одинъ мигъ, на случай если и до сихъ поръ Паша не отыскиваетъ.

Благодарю васъ чрезвычайно за ваше увѣдомленіе и за господина съ густыми бровями на о, взявшагося хлопотать по дѣлу.

Чтой-то не выходятъ журналы? Это ужасъ какъ опоздали. Даже „Русскій Вѣстникъ“ еще въ Дрезденѣ не полученъ; прежде всегда январьскій № выпускали рано. Если случится, что прочтете мой романъ,—то пришлите мнѣ ради Бога вашу критику хотя бы въ 2-хъ строкахъ. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, я слышалъ, довольны; но я моею первой частью ухъ какъ недоволенъ!

Читаете-ли вы романъ Лѣскова въ „Русскомъ Вѣстникѣ“? Много

вранья, много чортъ знаетъ чего, точно на лунѣ происходитъ. Нигилисты искажены до бездѣльности, — но зато — отдѣльные типы! Какова *Ванскакъ!* Ничего и никогда у Гоголя не было типичнѣе и вѣрнѣе. Вѣдь я эту Ванскакъ видѣлъ, слышалъ самъ, вѣдь я точно осязалъ ее! Удивительнѣйшее лицо! Если вымретъ нигилизмъ начала шестидесятыхъ годовъ, — то эта фигура останется на вѣковѣчную память. Это гениально! А какой мастеръ онъ рисовать нашихъ поповъ! Каковъ *отецъ Евангель!* Это другого попка я уже у него читаю. Удивительная судьба этого Стебницкаго въ нашей литературѣ. Вѣдь такое явленіе, какъ Стебницкій, стоило-бы разобрать критически, да и посерьезнѣе.

До свиданія, благодарю васъ душевно, а деньги — деньги ужасно нужны, до невѣроятности. Жена все прихварываетъ, а ребенокъ здоровѣетъ. Чтѣ за прелесть ваша крестница, и какой у ней аппетитъ и какое некапризное, вѣчно веселое расположеніе духа! — Я еще не видалъ такого ребенка!

Вашъ Ѳедоръ Достоевскій.

Дрезденъ, 26 января (5 февраля) 1871 г.

Вчера получилъ ваше письмо, дорогой другъ, и спѣшу заявить вамъ мое воззрѣніе. Во первыхъ, я ничего не понялъ въ вашемъ возраженіи противъ 8-го пункта. Вы спрашиваете про срокъ уплаты, „необозначенный“ будто-бы въ 8-мъ пунктѣ, и предвидите крючки и послѣдствія? Но какой-же тутъ срокъ, когда все обозначено въ чрезвычайной точности и ясности? Вотъ текстъ 8-го пункта, внимайте:

„Если въ теченіи срока сего условія Стелловскій пожелаетъ включить въ полное изданіе моихъ сочиненій, предпринятое имъ, Стелловскимъ, по сему условію, могущія быть мною, Достоевскимъ, написанными и напечатанными въ 1866 и 1867 годахъ новыя мои сочиненія, то Стелловскій *имѣетъ право издавать* ихъ не иначе, какъ съ платою по разсчету съ листа, сколько я, Достоевскій, получалъ со Стелловскаго за каждый листъ при продажѣ въ настоящее время по сему условію полного собранія моихъ сочиненій Стелловскому, но съ тѣмъ, однако . . . и т. д.“ (NB. Далѣе не касается теперешняго дѣла).

Итакъ, что-же васъ теперь смущаетъ? Какой еще срокъ? Сказано: „Стелловскій *имѣетъ право издавать* ихъ не иначе, какъ съ платою по разсчету съ листа . . . и т. д.“ А такъ какъ Стелловскій теперь уже *издалъ совершенно*, т. е. напечаталъ и продаетъ, то, стало быть, и дол-

женъ заплатить по расчету, обозначенному въ 8-мъ пунктѣ! Вы спрашиваете: съ котораго же времени считать его *обязаннымъ уплатою*? Да разумѣется, со дня *опубликованія въ продажу*! Публикація была сдѣлана въ „Голосѣ“ (вѣроятно, и въ другихъ газетахъ), въ концѣ ноября или въ самомъ началѣ декабря. Итакъ, день публикаціи и есть срокъ по самому точному, ясному и естественному смыслу 8-го пункта. Или вамъ смущаетъ слово *издавать*? Вы дѣлаете какое-то различіе между словами *печатать* и *пускать въ продажу*. Но если-бъ онъ только напечаталъ, а не пускалъ въ продажу, то я бы могъ и не знать этого вовсе. И кто-же печатаетъ и не пускаетъ въ продажу? *Издавать* значитъ печатать и продавать. А такъ какъ онъ исполнилъ *оба факта*, т. е. напечаталъ и продаетъ, то тотчасъ-же, *со дня опубликованія*, и сталъ повиненъ по 8-му пункту, ибо тамъ прямо сказано: „имѣетъ право издавать ихъ! *не иначе!* какъ съ платою по расчету съ листа и т. д.“ Вотъ вамъ и срокъ. Если-же я не пришелъ къ нему на другой день опубликованія требовать слѣдующей мнѣ уплаты, — то въ этомъ (если-бъ я былъ въ Петербургѣ) была моя полная воля. Я и по векселю могу согласиться ждать уплаты нѣсколько лѣтъ, и всетаки онъ сохраняетъ полную силу. Чѣмъ-же вы смущаетесь?

Пишете вы тоже, что надѣе получить вексель, ибо въ векселѣ обозначится какою нибудь срокъ, чѣмъ и восполнится пробѣлъ (будто-бы) 8-го пункта. Напротивъ, по моему: настоящій срокъ есть день публикаціи въ продажу; если же допустите какою нибудь другой срокъ, то значитъ сами вы откажетесь отъ права на прежній срокъ (т. е. день печати), слишкомъ ясно обозначенный въ контрактѣ, значитъ добровольно (хотя и обокдно) согласитесь нарушить 8-й пунктъ контракта.

И наконецъ: Если вы уже разъ согласитесь взять вексель (въ которомъ обозначится срокъ), — то зачѣмъ вамъ понадобится тогда срокъ и 13-й пунктъ контракта? Если онъ далъ часть денегъ, а на остальную часть выдалъ вексель и вы *согласитесь принять* и приняли, — то тогда, *по моему*, онъ заплатилъ совершенно, расквитался со мной, раздѣлался совершенно. контрактъ исполненъ, и 8-й и 13-й пункты сданы въ архивъ. По векселю вѣдь онъ не можетъ не заплатить, *ибо онъ купецъ* и будетъ въ тотъ же день объявленъ банкротомъ. Если-же не заплатитъ по векселю, то тогда мой искъ на немъ будетъ только по векселю, а дѣло съ контрактомъ будетъ всетаки кончено, однимъ словомъ будетъ уже совершенно другое дѣло.

И повѣрьте, что если-бъ былъ какою нибудь недосмотръ въ 8-мъ пунктѣ, то Стелловскій навѣрно-бы нигъ воспользовался и не назначилъ самъ срокомъ уплаты свое возвращеніе изъ Москвы.

Вы совѣтуете согласиться на его условія, т. е. на часть денегъ и на краткосрочный вексель. Да, вижу, что нельзя не согласиться. Но, другъ мой, не разсердитесь на мое замѣчаніе, мнѣ кажется, г. Цвѣтугинъ слишкомъ мягко и робко принялся за дѣло! Ну, какъ-же можно три раза ходить и допустить его не сказываться дома? И потомъ, чтобъ онъ осмѣлился самъ предлагать условія, т. е. по возвращеніи изъ Москвы выдать половину денегъ, а тамъ вексель и т. д., — т. е. точно онъ имѣетъ право предлагать условія? По моему, пугнуть-бы тотчасъ же его требованіемъ по закону, чтобъ онъ сейчасъ догадался, что мы сознаемъ вполне свое право. Да и не пугнуть только, а прямо по закону потребовать. Это уже вовсе не будетъ *дѣло*, или *процессъ*; тутъ контрактъ, смыслъ котораго ясенъ и точенъ. Ходъ дѣла, разумѣется, возьметъ нѣкоторое время, но уплата будетъ полная. И сверхъ того, онъ ни за что не согласится самъ спорить и затѣвать процессъ, во 1-хъ, потому, что не имѣетъ никакихъ основаній и крючковъ, чтобы отпереться, все слишкомъ ясно, а во 2-хъ, когда его законъ принудитъ заплатить, то значить онъ нарушилъ 8-й пунктъ контракта, ибо принужденъ закономъ уплатить, а самъ не соглашался. Тогда, будьте увѣрены, онъ побоится 13-го пункта и если только увидитъ, что г. Цвѣтугинъ серьезно рѣшается обратиться къ закону, то повѣрьте, тотчасъ-же окажется дома и тотчасъ-же согласится уплатить все.

Тѣмъ не менѣе, я съ вашимъ мнѣніемъ согласенъ, хотя мнѣ и тяжело это. Но вотъ мои просьбы, покорнѣйшія и нижайшія, дорогой мой Аполлонъ Николаевичъ:

1) Нельзя-ли все устроить какъ можно скорѣе! Клянусь вамъ, это не пустое нетерпѣніе. Совершенно все прожилъ и не имѣю копѣйки, а шутка-ли сколько ждать! Положимъ, по первому моему вопросу выслали-бы изъ „Русскаго Вѣстника“, но вѣдь тогда мнѣ не такъ ловко будетъ (да и невозможно) спросить у „Русскаго Вѣстника“ тысячи двѣ разомъ для возвращенія, и вотъ — я опять не возвращусь! На Стелловскаго же деньги я думалъ пробиться до весны.

Онъ сказалъ вамъ: возвращусь въ концѣ января. Но по его манерѣ, онъ устроить такъ, что хотя и воротится, а всетаки будетъ не сказываться дома г. Цвѣтугину, и ему будутъ отвѣчать, что еще не воротился, и Богъ знаетъ, сколько это продолжится. Вотъ чего я боюсь. И такъ, нельзя-ли будетъ избѣгнуть этого хоть какънибудь! — вотъ въ чемъ первая просьба.

2) Нельзя-ли, чтобъ онъ выдалъ деньгами по крайней мѣрѣ половину? Всякій вексель, хотя бы и краткосрочный, для меня все равно, что

нѣтъ ничего. Если-же невозможно половину, то по крайней мѣрѣ болѣе *трети*. Ради Христа!

NB. Все это, впрочемъ, оставляю на совершенное усмотрѣніе и рѣшеніе ваше, и, ради Бога, дорогой другъ, не спрашивайте меня особыми письмами о какихъ-нибудь подробностяхъ, даже и не мелкихъ, ибо все это беретъ время. Претендовать и роптать на васъ не буду ни въ чемъ, да и невозможно это. Вѣдь я знаю, что вы желаете мнѣ всего лучшаго, и кромя того были такъ добры, что взяли на себя столько хлопотъ.

3) Наконецъ, 3-я просьба (самая важная). Какъ только получите деньги, то тутъ-же получите и обѣщанный вексель, въ одной даже пачкѣ, вмѣстѣ, и росписку ему дайте такую: Получилъ уплату столько-то деньгами, а на остальную сумму векселемъ. Но только непременно вмѣстѣ. Тогда дѣло будетъ *все* кончено; ибо повторяю, онъ *все* уже заплатитъ.

4) Паша писалъ мнѣ прошлаго года, что векселя Стелловскаго можно *учесть* съ потерей отъ 8 до 10% *въ Международномъ Коммерческомъ Банкѣ* (но не въ Государственномъ Банкѣ). Просьба моя: позовите Пашу и узнайте отъ него объ этомъ точнѣе, и если только можно *учесть*, то тотчасъ же *учтите* вексель, а мнѣ пришлите деньгами, ибо я Богъ знаетъ сколько рѣшусь потерять, только чтобъ деньги получить—до такого зарѣзу они нужны!

Наконецъ, на счетъ разсчета по листамъ совершенно на васъ полагаюсь. Разумѣется, чѣмъ больше содрать—тѣмъ лучше. (NB но только, сколько-же вышло: листовъ 27 съ дробью, или 28 съ дробью?)

Вотъ, кажется, все объ этомъ проклятомъ дѣлѣ. Не пишу вамъ ничего. Еслибъ вы знали, какъ я разстроенъ въ эту минуту усиленной работой! Про общество наше прочелъ съ грустію въ вашемъ письмѣ, а объ германскихъ дѣлахъ—сами знаете что думать. Болѣе лжи и коварства нельзя себѣ и представить. Мечемъ хотятъ возстановить Наполеона, ожидая въ немъ себѣ раба вѣковѣчнаго и въ потомствѣ, а ему гарантируя за это династію,—т. е. все, чего ему надо, дѣло ясное. Увидите, что если и будетъ Націон. Собраніе, то безмѣрностію своихъ требованій (умышленною) они нарочно заставятъ Собраніе не согласиться и тогда—объявятъ Наполеона.

Но помните текстъ Евангелія: „Взявшій мечъ и погибнетъ отъ меча“. Нѣтъ, непрочно мечемъ составленное! И послѣ этого кричатъ: „Юная Германія!“ Напротивъ,—изжившіи свои силы народъ, ибо послѣ такого духа, послѣ такой науки—вѣрится идеѣ меча, крови, насилья и даже не подозревать, что есть духъ и торжество духа, а сибѣться надъ этимъ съ капральскою грубостію! Нѣтъ, это мертвый народъ и безъ будущности.

А если онъ живъ, то послѣ перваго опьяненія, самъ, повѣрьте, найдетъ въ себѣ протестъ къ лучшему, и мечъ упадетъ самъ собою.

Да и то опять: матеріальное истощеніе Германіи до того теперь сильно, что врядъ-ли они вытерпятъ еще мѣсяца четыре сопротивленія.

О, возвратясь изъ Франціи, они будутъ намъ льстить въ первые года два! Впрочемъ, можетъ случиться, что какъ нибудь съ грубостью проговорятся и раньше.

Дай Богъ жить Царю и Россіи, но будущее дѣйствительно хлопотливо относительно Европы.

До свиданія, дорогой другъ, не разсердитесь за мои возраженія.

Весь вамъ Ф. Достоевскій.

P. S. Еслибъ Стелловскій прежде уплаты сталь-бы вдругъ предлагать новыя условія, т. е. покупку моихъ позднѣйшихъ сочиненій и проч., то не слушайте, ради Бога, а требуйте денегъ, однимъ словомъ, не давайте ему затагивать дѣла.

Дрезденъ, 25 февраля (9 марта) 1871 г.

Многоуважаемый Аполлонъ Николаевичъ. Не удержался и безпокою васъ опять: слишкомъ тяжело оставаться въ неизвѣстности, да и вредно мнѣ: — все ожидая — не знаю, что предпринять. Увѣдомьте прошу васъ очень: ожидать-ли мнѣ чего нибудь? Мнѣ приходитъ на мысль, что, можетъ быть, еще Стелловскаго нѣтъ въ Петербургѣ. Не получая отъ васъ рѣшительнаго слова о томъ, что дѣло лопнуло, полагаю, что вы еще питаете надежду. Но надежда иногда ужасно тяжела и прямо вредитъ интересамъ; нечего дѣлать, рѣшусь написать въ Москву. Но такъ какъ это можетъ въ конецъ разорить мой планъ возвращенія весной въ Петербургъ (потому что, забравъ теперь, въ неурочное время, деньги изъ „Русскаго Вѣстника“, лишу себя возможности спросить къ веснѣ *извѣстную* сумму) — то подожду еще вашего отвѣта на это письмо, и тогда только рискну написать въ „Русскій Вѣстникъ“. И потому, ради Бога отвѣтите, добрѣйшій Аполлонъ Николаевичъ.

Да не сердитесь-ли вы уже на меня? Это можетъ быть: — слишкомъ уже надоѣдаю я вамъ. Я просилъ васъ въ послѣднемъ письмѣ не стѣснять себя моимъ мнѣніемъ и дѣйствовать въ высшей степени по единому вашему усмотрѣнію. Повторяю теперь то же самое: какъ-бы вы ни рѣшили это дѣло, — я всемъ останусь доволенъ — лишь-бы этотъ

хоть чтонибудь отдалъ. Слишкомъ самъ понимаю, каково съ нимъ имѣть дѣло.

Я не совсѣмъ здоровъ и почти не могу писать. Пересмотрѣлъ первыя книжки журналовъ (здѣсь почти всѣ они есть): — не Богъ знаетъ что. Въ нашихъ журналахъ все еще лучше. А въ тѣхъ только старая пѣсня — ассоціаціи, да рабочіе, да Лассаль, или искаженіе русской дѣйствительности въ разныхъ обзорахъ. А что хваленый судъ? Читаю теперь дѣло Дмитріевой — оправдали! Булики! Задолбили *по писанному*. Нѣтъ, видно всего труднѣе на свѣтѣ самимъ собою стать.

А вѣдь чуть-ли теперь, по заключеніи мира, не станетъ еще любопытнѣе въ Европѣ. Года съ три намъ будутъ ужасно льстить и улетать насъ. Во Франціи-же, кажется, начнется междуусобная война городовъ съ поселянами. Бисмаркъ пронюхалъ дѣло и самъ пожелалъ тамъ республики — *для порядку*. Провалится Франція. Развѣ спасеть себя — выберетъ короля построжее. Что-же касается до перемѣны политическаго возрѣнія въ французскихъ головахъ (на что такъ наивно надѣется Данилевскій въ своей статьѣ) — то никогда этого не будетъ, или очень долго не будетъ. Не такія головы, чтобы отказаться могли отъ ненавистнаго взгляда на Россію. И сами себя погубятъ. Такихъ даже и не жалко.

Услышите же мольбу мою и отвѣтите мнѣ чтонибудь, чтобъ хоть знать. Главное — поспѣшите отвѣтить. Положенія моего не описываю, не стоять.

Вашъ искренній

Федоръ Достоевскій.

P. S. Что такое „Бесѣда“? Получилъ приглашеніе сотрудничать. Разумѣется, отвѣчалъ, что съ чрезвычайнымъ удовольствіемъ. Увѣдомляютъ, что выслали книжку журнала; но еще не получилъ. Любопытно очень. Но ваше мнѣніе?

Кстати, ради Бога не забывайте написать *poste restante*. Иначе я совсѣмъ не получу письма. Январская книжка „Зари“ пять дней путешествовала по городу и попала въ другому лицу, потому что забыли написать *poste restante*.

Дрезденъ, 2 (14) марта 1871 г.

Любезнѣйшій и многоуважаемый другъ Аполлонъ Николаевичъ, прежде всего о нашемъ нескончаемомъ дѣлѣ.

Я рѣшился его окончить, т. е. *начать искъ* судомъ. И труднѣе иско

выигрывались, а мое право по контракту несомнѣнное. Однимъ словомъ, вотъ чего я желаю и на чемъ порѣшилъ безвозвратно: такъ какъ искъ дѣло такое, которымъ я васъ утруждать не смѣю, да къ тому-же вы и не адвокатъ, то прошу васъ изо всѣхъ силъ: *передовѣрите* (такъ какъ вы имѣете право на то по довѣренности отъ меня) дѣло какому нибудь извѣстному адвокату (Спасовичу, Архангельскому, или тому подобное) — *чего бы ни стоило*, и пусть тотъ *тотчасъ же* начнетъ противъ Стелловскаго формальный законный искъ въ полученіи денегъ (при чемъ сумму надо обозначить по расчету листовъ; если будетъ ошибка, то судъ рѣшить). Впрочемъ, адвокатъ знаетъ, какъ сдѣлать. Главное, сообщите адвокату копію съ контракта и попросите его особенно изучить пункты 8-й и 13-й. 13-й главное, ибо я хочу требовать неустойки. Вотъ это-то и прошу васъ сообщить адвокату.

Главное — надо констатировать, что Стелловскій не хотѣлъ уплатить, иначе нельзя будетъ и искать по 13-му пункту. Но адвокатъ вѣроятно начнетъ съ того, что потребуетъ съ Стелловскаго *формально* всей уплаты чистыми деньгами (безъ векселя). (Это дѣлается, кажется, съ помощію полиціи — впрочемъ, не знаю. Адвокатъ знаетъ). И если Стелловскій откажется, наприимѣръ, въ трехдневный срокъ уплатить, то и начать искъ по 13-му пункту, т. е. требовать сверхъ уплаты и неустойку. Если же заплатитъ, то чортъ съ нимъ и съ 13-мъ пунктомъ. Тогда дѣло кончено.

И такъ вся моя просьба къ вамъ; 1) немедленно передать и передовѣрить все дѣло адвокату, но только хорошему и чего-бы это ни стоило.

2) Сдѣлать это безъ малѣйшаго промедленія и не опасаясь нисколько за мои интересы. (NB. Вѣдь по закону адвокатъ получаетъ плату по окончаніи дѣла — такъ, кажется? Такъ что васъ ничто не остановитъ). Но ради Бога сдѣлайте безъ малѣйшаго промедленія, сейчасъ по полученіи этого письма. Не сомнѣвайтесь ни въ чемъ: вѣдь это мое собственное желаніе, и если я сгублю мои деньги, то вѣдь я самъ того хочу. И потому, ради Бога, передайте адвокату. Если у васъ сохранены еще мои письма къ вамъ при началѣ дѣла, то при передачѣ адвокату дѣла — прочтите ему или дайте прочесть нѣкоторыя мѣста изъ этихъ писемъ, чтобъ онъ видѣлъ мой взглядъ.

Наконецъ, 3) можно еще разъ попробовать до адвоката собственными силами. И для того, по полученіи этого письма вотъ бы какъ сдѣлать: напишите, дорогой другъ, сейчасъ-же самую лаконическую записку Стелловскому (безъ мнительности и ничего не опасаясь за мои интересы), что я

желаю начать искъ по закону, и потому вы въ послѣдній разъ обращаетесь къ нему, Стелловскому, приглашая уплатить. При этомъ, въ запискѣ назначьте ему (пожалуйста посуше и неумолимѣе, формальнѣе) день, напри- мѣръ *послѣ завтра*, и часъ, въ который онъ можетъ васъ застать дома и принести *всѣ* деньги. Тутъ-же прибавьте, что дольше этого дня и часу вы ждать не будете и не хотите и что такъ я требую.

Будутъ два случая: или Стелловскій не придетъ къ вамъ, тогда тот- часъ-же къ адвокату и начинать искъ. Или Стелловскій придетъ и запла- тить. Тогда взять съ него деньги или всѣ, или не менѣе половины; вексель же (если предложить, въ случаѣ половины, вексель) не длиннѣе, какъ на 3 мѣсяца, ни за что.

Или Стелловскій придетъ безъ денегъ и начнетъ пробовать тянуть, дѣлать предложенія. Въ такомъ случаѣ, *ничего* не слушайте. А если по- просить отсрочки (напримѣръ, скажетъ, что черезъ 2 недѣли получить и заплатить) — то ничего не слушайте. Самую большую отсрочку дайте ему до завтра, т. е. еще на день. И ни часу долѣе. Ради Бога (это глав- ное для иска), не входите съ нимъ при этомъ въ какія-бы то либо раз- говоры и разсужденія по дѣлу.

Наконецъ, если ужъ и начнется искъ, а Стелловскій во время иска, но до суда, явится съ деньгами, что несомнѣнно; ибо повѣрьте не захочетъ иска, то тогда самъ адвокатъ будетъ знать, какъ рѣшить.

Главное же, не тяните; сдѣлайте *буквально* такъ, какъ я васъ прошу. Вѣдь деньги мои, вѣдь я самъ желаю *такъ* сдѣлать, и если я потеряю ихъ *моимъ* способомъ дѣйствій — то вѣдь вамъ все равно: я самъ хотѣлъ. Сдѣ- лайте же *буквально* такъ, какъ я прошу (и безъ всякихъ мнительностей, безъ предварительныхъ разузнаваній, посѣщеній Стелловскаго, подсылокъ къ нему, справокъ и проч.). Ради Бога *буквально* такъ, какъ я прошу. И не теряйте ни одного дня.

Иначе Стелловскаго вы до того избалуете разными послабленіями, что дуракъ онъ будетъ, если отдастъ.

Ради Бога тоже не справляйтесь у меня и не требуйте отъ меня раз- рѣшеній, чтобъ не тянуть дѣла. Сдѣлайте *буквально*, какъ я прошу теперь — вотъ и все.

NB. Сроку не давайте ему въ вашей запискѣ болѣе двухъ дней, ни за что, *ни за что!* И сейчасъ къ адвокату.

Адвоката-же, опять повторяю, возьмите хорошаго (отнюдь не госпо- дина съ густыми бровями, а настоящаго адвоката. Знатный адвокатъ,

хоть и пустое мое дѣло — но можетъ быть возьмется, потому что дѣло литературное, дастъ огласку, и потому не откажется).

Главное, буквально какъ я прошу, безъ смущеній, безъ вопросовъ и *не опасаясь за мои интересы*. Ради Бога такъ.

Лестный вашъ отзывъ о началѣ моего романа привелъ меня въ восторгъ. Боже, какъ я боялся и боюсь! Когда прочтете это — вѣроятно уже прочтете и вторую половину 1-й части въ февральской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“. Что-то скажете? Боюсь, боюсь. А за дальнѣйшее — просто въ отчаяніи, справлюсь-ли. Кстати, вѣдь всего будетъ 4 части — сорокъ листовъ. Степанъ Трофимовичъ лицо второстепенное, романъ будетъ совсѣмъ не о немъ: но его исторія тѣсно связывается съ другими происшествіями (главными) романа, и потому я и взялъ его какъ-бы за краугольный камень всего. Но всетаки бенефисъ Степана Трофимовича будетъ въ 4-й части: тутъ будетъ преоригинальное окончаніе его судьбы. За все другое — не отвѣчаю, но за это мѣсто отвѣчаю заранѣе. Но опять повторяю: боюсь, какъ испуганная мышь. *Идея* соблазнила меня и полюбилъ я ее ужасно, но слажу-ли, не-ли весь романъ, — вотъ бѣда.

Вообразите, что я уже получилъ нѣсколько писемъ изъ разныхъ концовъ съ поздравленіями за первую часть. Это ужасно, ужасно ободрило меня. Но безъ лести къ вамъ, прямо говорю: вашъ отзывъ для меня больше всего стоитъ. Во-первыхъ, вы ужъ не польстите мнѣ, а во-вторыхъ, у васъ, въ отзывѣ вашемъ, проскочило одно гениальное выраженіе: „*это Тургеневскіе герои въ старости*“. Это гениально! Пиша, я самъ грезилъ о чемъ-то въ этомъ родѣ; но вы тремя словами обозначили все, какъ формулой. Ну, благодарю васъ за эти слова: вы мнѣ все дѣло освѣтили.

Ужасно туго работается, чувствую себя нездоровымъ и наступаетъ для меня очень скоро частый періодъ припадковъ. Боюсь не поспѣть въ срокъ, опоздать. Не хотѣлось бы портить поспѣшностію. Правда, планъ хорошо составленъ и изученъ, но поспѣшностію можно все испортить.

Непремѣнно рѣшился воротиться весной. То-то наговоримся. „Бесѣду“ получилъ: что-то далѣе будетъ. Эстетическаго отдѣла нѣтъ вовсе, это правда ваша. Чѣмъ „Заря“ хуже какого бы то ни было журнала! По моему лучше. Но безпорядокъ и *неумѣлость* редакторской части — (вотъ увидите) похоронять ее. Съ мнѣніемъ вашимъ о Страховѣ не согласенъ; это единственный критикъ въ наше время. Строгая критика — вѣдь это специальность „Зари“. Выждавъ время и улучшивъ редакторскую часть — взяли бы свое. Пусть „Бесѣда“ существуетъ, по моему она вовсе не могла бы повредить „Зарѣ“ конкуренціей. Но она повредить. До свиданія. Бла-

годарю васъ за ваши добрыя ко мнѣ чувства. У насъ распускаются почки, совершенное начало весны. Но до свиданія и скорого.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

Ради Бога не забывайте, черкните иногда мнѣ строчки двѣ.

Дрезденъ, 19 марта (1 апрѣля) 1871 г.

Любезнѣйшій и многоуважаемый другъ Аполлонъ Николаевичъ, сдѣлайте ради Христа, такъ, какъ я васъ просилъ и передайте дѣло адвокату. Пославъ вамъ послѣднее письмо, я думалъ, что, наконецъ-то, дѣло двинется, а между тѣмъ вотъ опять переписка и опять движеніе дѣла затянулось на *мѣсяцъ*.

Не только дисконтъ, но и многое другое было-бы очень хорошо. Но вѣдь вы сами знаете, что *все* невозможно. Ни вы, ни я не понимаемъ ничего въ дисконтѣ. Вы начнете мнѣ писать, прося моего мнѣнія, и дѣло опять затянется. Да, и наконецъ, почему знать, что Стелловскій не надуетъ съ дисконтомъ?

И потому одно прежнее рѣшеніе: передайте адвокату, котораго сами выберете.

Простите меня, голубчикъ, что не могу отвѣчать вамъ на ваше превосходное, оживившее меня письмо. Меня ваши письма оживляютъ здѣсь, знаете-ли вы это? Но въ настоящую минуту рѣшительно раздавленъ работой. Просрочилъ — не по лѣни, а потому, что ничего не пишется. Только раздраженіе нервовъ и мука. Надо въ Россію, а здѣсь раздавила тоска. Думалъ отослать въ „Русскій Вѣстникъ“ листовъ 6, а и трехъ не будетъ. Мартовская книжка явится безъ моего романа. Осталось нѣсколько дней до отсылки. Хотѣлось вамъ отвѣчать много и подробно на кое-что; не могу. До свиданія, обвиняю васъ и говорю Христосъ воскресъ. Жена вамъ кланяется, а крестница здорова въ высшей степени и насъ ужасно радуеть. Прилагаю требуемое вами письмецо по-официальнѣе.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Адвоката какого сами выберете; на вашу волю. Я вѣдь никого не знаю.

Дрезденъ, 19 марта (1 апрѣля) 1871 г.

Многоуважаемый Аполлонъ Николаевичъ.

Послѣ трехмѣсячной нашей возни съ Стелловскимъ, я, наконецъ, совсѣмъ убѣдился, что онъ добромъ не расплатится и что лучше дѣйствовать прибѣгнувъ къ закону. Я уже просилъ васъ передать дѣло адвокату—разумѣется, не на крайне невыгодныхъ для меня условіяхъ. Пусть подробно прочтеть контрактъ и особенно 8-й пунктъ контракта. Дѣло плѣвое, совершенно законное, ясное. Мнѣ кажется, адвокату слѣдовало бы начать простой просьбой къ Стелловскому уплатить, пригласить уплатить,—но сдѣлать это какъ можно официальнѣе, т. е. въ томъ смыслѣ, чтобъ было чѣмъ уличать потомъ Стелловскаго, что его приглашали уплатить, но онъ не заплатилъ.

(NB. Ваше мнѣніе, что у Стелловскаго нѣтъ денегъ, по моему, совершенно ошибочно. Этотъ человѣкъ во всякомъ случаѣ можетъ достать ихъ. По смыслу контракта, онъ долженъ былъ приготовить уплату за напечатанный мой романъ на другой же день, какъ публиковалъ въ газетахъ о выпускѣ его въ продажу, т. е. 4 мѣсяца назадъ. Онъ не имѣетъ права отговариваться, а денегъ у него столько, что онъ купитъ всю русскую литературу, если захочетъ. У того-ли человѣка не быть денегъ, который всего Глинка купилъ за 25 цѣлковыхъ).

Вы спрашиваете моего окончательнаго мнѣнія на счетъ пункта о неустойкѣ. Но если Стелловскій, на приглашеніе адвоката заплатить въ условленный короткій срокъ—(или тамъ какъ адвокатъ найдетъ удобнѣе; совершенно на его соображеніе) не заплатитъ, и по суду его можно будетъ уличить, что онъ не заплатилъ, то, разумѣется, можно начать особый искъ и о неустойкѣ въ 3,000. Но я бы радъ былъ и тому, еслибъ адвокатъ поскорѣе взыскалъ съ него *просто* уплату (по 8-му пункту), по разсчету, ясно обозначенному въ контрактѣ; тогда Богъ съ ней, съ неустойкой!

Что-же касается до огромности неустойки, то, право, Стелловскій стоилъ-бы этой кары. Не я выдумалъ эту неустойку, а онъ ее ввелъ въ контрактъ, и ужъ навѣрно спросилъ-бы съ меня все до копейки, всѣ три тысячи, еслибъ я не исполнилъ какой нибудь пунктъ контракта. Вы знаете-ли при какихъ обстоятельствахъ былъ написанъ этотъ контрактъ? Онъ пустилъ на меня Д....а и Гаврилова съ векселями, которые я переписалъ на себя, по долгамъ покойнаго брата, а съ другой стороны предложилъ мнѣ 3,000 за мои сочиненія, за которыя Вазуновъ далъ-бы осенью шесть, но лѣтомъ денегъ не имѣлъ. Я продалъ сочиненія, да еще написалъ для нихъ новую повѣсть въ 1,000 руб. (я беру 150 руб. съ

листа). И потому, еслибъ теперь я взялъ съ Стелловскаго неустойку, то воротилъ-бы только *свое*, да и то съ большимъ убыткомъ.

Вообще-же, пусть адвокатъ дѣйствуетъ какъ только самъ найдетъ лучше и выгоднѣе. Самое лучшее—поскорѣе взять уплату за „Преступленіе и Наказаніе“. Если-же нельзя, то пугнуть Стелловскаго неустойкой и, разуиѣется, пугнуть на дѣлѣ, а не словами.

Вотъ все, что, мнѣ кажется, надо было сказать вамъ. Сдѣлайте-же такъ, добрый другъ мой, какъ я прошу, передовѣрьте мою довѣренность адвокату. Въ выборѣ адвоката совершенно полагаюсь на васъ. Я никого изъ нихъ не знаю.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

P. S. Не худо, еслибъ адвокатъ, начавъ съ приглашенія Стелловскому уплатить, напомнилъ ему, что онъ, по смыслу такого-то пункта, отказавшись отъ уплаты или затягивая ее, долженъ заплатить неустойку. Впрочемъ, какъ знаетъ самъ. Что мы знаемъ въ этихъ дѣлахъ?

Дрезденъ, 1 (13) апрѣля 1871 г.

Многоуважаемый Аполлонъ Николаевичъ, сейчасъ получилъ вашу телеграмму. Не понимаю ровнешенько ничего. Для чего ѣхать въ Петербургъ? Если я спрошу у литературнаго фонда, то въ самомъ лучшемъ оборотѣ дѣла пройдетъ три недѣли или мѣсяць, пока получу, а между тѣмъ вы шлете телеграмму. Что-же такое случилось?

Если только одинъ прежній процессъ о прежнихъ деньгахъ, то не стоять онѣ того, чтобы рѣшиться мнѣ на такой ужасъ, т. е. сейчасъ-же ѣхать. Физическая невозможность, если-бъ и деньги были. Сообразите: Если я прїѣду *сейчасъ* въ Петербургъ, то меня кредиторы не выпустятъ обратно въ Дрезденъ. Между тѣмъ я буду въ Петербургѣ, а жена останется въ Дрезденѣ, ибо не только на 100 руб., но и на 400 руб. намъ подняться нельзя съ ребенкомъ теперь виѣстѣ (долги и проч.). И такъ она въ Дрезденѣ, а между тѣмъ ей *въ августѣ родить*. Деньги изъ „Русскаго Вѣстника“ я получу только *въ началѣ іюня* (вѣрно). Но и съ деньгами она не могла бы воротиться одна, безъ меня, на послѣднихъ порахъ и съ ребенкомъ въ рукахъ. Служанки-же нанять нельзя; въ Россію не ѣдутъ. И такъ, безъ меня она ѣхать не можетъ, слѣдовательно останется въ Дрезденѣ, родить, и такъ какъ новорожденнаго глубокою осенью нельзя везти, то стало быть она годъ или полтора опять остается здѣсь, и я безъ нихъ, да еще во время родинъ.

Да и весь-то Стелловскій и всё мои дѣла не стоятъ того!

Напишите мнѣ, ради Христа, сейчасъ-же письмо.

Какой процессъ затѣваетъ Стелловскій? Прежнее мое дѣло ясное и чистое, тутъ спору нѣтъ.

Ради Бога, посоветуйтесь съ ловкимъ адвокатомъ, съ *настоящимъ* адвокатомъ.

Во всякомъ случаѣ, понимаю и чувствую, какъ дружески вы обо мнѣ заботитесь. Цѣню и не забуду.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

Ради Христа, скорѣе письмо.

Ночью былъ сильнѣйшій припадокъ, и я весь разбитъ и раздраженъ, весь въ разстройствѣ.

PS. Да еще дастъ-ли мнѣ литературный-то фондъ 100 руб.? Въ 1864 году, я выпросилъ себѣ вспоможеніе за границу по болѣзни. (Иначе что бы я сталъ дѣлать съ *тогдашнею* моею падуцею, да еще въ петербургскомъ климатѣ?) Изъ за этого Лавровъ, и съ нимъ 100 человекъ подняли такой гамъ, что я долженъ былъ выйти изъ членовъ комитета. Будь пострадавшій—больной искалѣченный физически и нравственно,—вѣчный труженикъ,—они плюнуть, а не помогутъ. А будь нигилистъ, сейчасъ вспоможеніе дадутъ. Вы вспомните, изъ кого тамъ состоитъ комитетъ! Съ позоромъ откажутъ *).

Дрезденъ, 5 (17) апрѣля 1871 г.

Любезнѣйшій другъ Аполлонъ Николаевичъ, такъ какъ ни вчера, ни третьяго дня я отъ васъ письма не получилъ (объясняющаго телеграмму), то, по всей вѣроятности, могу, кажется, заключить теперь, что все это было продѣлкой какихъ нибудь негодяевъ. 1-го апрѣля я вдругъ получаю отъ васъ телеграмму, изъ Петербурга, въ которой вы приглашаете меня немедленно бросить все и ѣхать въ Петербургъ по дѣлу Стелловскаго (процессъ!), а денегъ на проѣздъ взять въ литературномъ фондѣ.

Одно вижу, что этому извѣстны подробно мои обстоятельства, и домашнія, и съ Стелловскимъ. Еще заключаю по нѣкоторымъ

*) Федоръ Михайловичъ только разъ получилъ помощь отъ литературнаго фонда, именно, въ 1863 году 24 іюля, онъ получилъ отъ него *взаимы* 1,500 руб. на срокъ до 1 февраля 1864 года, подъ залогъ всѣхъ своихъ сочиненій и съ уплатою 5%. И занятая сумма и проценты были въ срокъ уплачены. *Н. С.*

даннымъ, что это не насмѣшка, а скорѣе какой нибудь расчетъ, чтобъ я въ Петербургъ явился. А впрочемъ наплевать. Но, во всякомъ случаѣ, дѣло до того правдоподобное, что я могъ вѣдь и поддаться и поѣхать, тѣмъ болѣе, что и денегъ на поѣздку не надо мнѣ просить ни у какого фонда, а они есть у меня въ настоящую минуту и безъ того.

Во всякомъ случаѣ вижу и предчувствую, чего могу ожидать по возвращеніи въ Петербургъ? И откуда я набралъ себѣ столько ненавидящихъ меня мелкихъ враговъ? Кажется, никому особаго зла не дѣлалъ.

Но покажѣтъ они останутся съ носомъ. Извините, другъ мой, что васъ только привелъ въ недоумѣніе прошлымъ письмомъ. Не худо-бы, еслибъ вы мнѣ хоть что нибудь написали, хоть по этому-бы только поводу.

До свиданія покажѣтъ. Хорошо, кабы обдѣлать всѣ свои дѣла успешно. Напишите мнѣ подробно вашъ лѣтній адресъ.

Мои вамъ кланяются, а я весь вашъ

Ф. Достоевскій.

Дрезденъ, 21 апрѣля (3 мая) 1871 г.

Простите, дорогой другъ, что не отвѣтилъ вамъ на ваше объяснительное письмо отъ 4-го апрѣля тотчасъ-же, а отложилъ на капельку времени, а капелька разрослась въ такой срокъ. Я передъ вами еще долженъ извиниться въ томъ, что въ самомъ послѣднемъ письмѣ моемъ обругалъ негодяемъ того предполагаемаго анонимнаго насмѣшника, который прислалъ телеграмму. Вы поймете, разумѣется, дорогой другъ, что еслибъ и въ самомъ дѣлѣ такую штуку сдѣлалъ кто нибудь посторонній, изъ смѣху (а мнѣ случалось получать анонимныя ругательныя письма), то было-бы досадно и можно бы его обругать. Вся нелѣпица произошла во-первыхъ 100 roubles въ телеграммѣ, а во-вторыхъ, что я во всякомъ случаѣ ничѣмъ предварительно былъ вами не предувѣдомленъ, такъ что я, только что раскрылъ телеграмму и усумнился въ ней. Но чтъ *главнѣйше* подтвердило мое подозрѣніе — это, что ваше объяснительное письмо запоздало и не пришло съ первой почтой для разъясненія телеграммы. Тогда я совершенно убѣдился и — совралъ. Теперь мнѣ все понятно, а ваше дружеское участіе ко мнѣ меня слишкомъ радуетъ. Но видите-ли, однако, какъ фондъ высокоумѣрно отнесся къ моей (т. е. къ вашей обо мнѣ) просьбѣ на счетъ займа, какихъ потребовалось гарантій и

проч. и какой высокомерный тонъ отвѣта. Еслибъ нигилистъ просилъ, не отвѣтили-бы такъ. На счетъ-же моего возвращенія, разъясню вамъ одно, чтобъ вы знали навѣрно: денегъ, чтобъ воротиться и пріѣхать хоть-бы съ пустыми руками намъ нужно несравненно больше, чѣмъ вы предполагаете. Прижившись къ мѣсту, не такъ легко отрываться. Въ 4 года всякій кафтанъ продырявится и чинка потребуетъ средствъ. Безъ аллегорій говоря, безъ тысячи рублей невозможно, и это самымъ бѣднѣйшимъ образомъ. Вы поймете, что тутъ вовсе не одинъ переѣздъ. На весь переѣздъ съ Аней и съ Любой мы положили только 120 руб. Тутъ на другое нужно, безъ чего нельзя отсюда тронуться. Мнѣ изъ „Русскаго Вѣстника“ выслали къ празднику денегъ, но просимую собственно на переѣздъ тысячу попросили меня подождать до конца іюня. А между тѣмъ именно ждать-то почти невозможно. Въ началѣ августа жена должна родить и потому такой длинный переѣздъ несравненно лучше сдѣлать за два мѣсяца до родовъ, чѣмъ только за мѣсяцъ, ибо въ послѣднемъ случаѣ оно даже и невозможно. Припомните, что мы должны ѣхать безъ прислуги и имѣя Любу на рукахъ. Остаться же послѣ родовъ тоже нельзя; невозможно возвращаться въ октябрѣ съ новорожденнымъ ребенкомъ. Наконецъ, остаться въ Дрезденѣ еще на годъ—всею уже невозможно. Это значить совсѣмъ убить Анну Григорьевну отчаяніемъ, въ которомъ она невластна, ибо тутъ настоящая болѣзнь тоски по родицѣ. Невозможно и мнѣ годъ не переѣзжать: я, во-первыхъ, по извѣстнымъ мнѣ причинамъ, оставшись здѣсь, не въ состояніи буду кончить романъ и ужасно могу потерять въ денежныхъ дѣлахъ; все это объясню при свиданіи.

Итакъ, возвратиться первое дѣло. Пишу Каткову особую и большую просьбу ускорить присылку и объясняю почему. Но если не ускорять, а это навѣрно почти такъ будетъ, тогда что? Тогда именно надежда на эти деньги съ Стелловскаго, а недостающее до тысячи (необходимой на переѣздъ) ужь я чѣмънибудь восполню.

И такъ опять моя прежняя, всегдашняя, ноющая просьба къ вамъ *поспѣшитъ* съ Стелловскимъ. Поспѣшить же только *однимъ* можно, а стало быть и я только *одною* прошу: это передовѣрить поскорѣе адвокату (Губину, кажется) и попросить его немедленно и энергически начать дѣло законнымъ порядкомъ, то есть судомъ. И именно такъ, какъ вы писали въ послѣднемъ письмѣ, т. е. сначала потребовать уплаты немедленной и полной и, если не уплатить, — то въ судъ съ требованіемъ неустойки. (NB. что совершенно законно). Стелловскій пойметъ, что неустойка тутъ весьма законна съ моей стороны, и всетаки думаю до сихъ поръ, что не рискнетъ

на процессъ, а уплатить. Того-то и надобно. Если же долго не будетъ уплачивать, а по ходу процесса будетъ межъ тѣмъ видно, что полученіе неустойки очень возможно, то—зачѣмъ же свое терять? Въ этой неустойкѣ онъ ничего не приплатитъ лишняго, по совѣсти говоря, потому что, при самой покупкѣ сочиненій моихъ, онъ надулъ меня тогда, по крайней мѣрѣ, на 3 тысячи, *заставивъ* продать ему за три, тѣмъ, что скупилъ тогда мои векселя и выпустилъ на меня кредиторовъ, самымъ образомъ потребовавшихъ вдругъ уплаты (ибо Д., напримѣръ, божился мнѣ, послѣ смерти брата, что не потребуетъ уплаты скоро, только бы я перевелъ братнины векселя на мое имя).

Но во всякомъ случаѣ, не задерживайте дѣло, голубчикъ. Торопите Губина. Помните, что отъ этого зависитъ теперь мой переѣздъ въ Россію, а стало быть вся моя будущность, и что если не переѣду, то почти погибну.

У Стелловскаго деньги есть и должны быть всегда. Въ то самое время, когда онъ увѣрялъ васъ, что у него денегъ нѣтъ, онъ приобрѣталъ Сѣрова у вдовы, а та должно быть взяла не мало.

Обо многомъ хотѣлось бы мнѣ поговорить съ вами. До возвращенія: тогда славно поговоримъ. Гдѣ вы лѣтомъ? Для меня теперешняя пережѣвна жизни — чрезвычайное и о сю пору волнующее меня событіе, такъ что заниматься почти не могу. А какой ущербъ моему роману доставитъ этотъ переѣздъ, и особенно если онъ задержится! Ужасъ. Весь вашъ. Черкните мнѣ что нибудь.

Вашъ Ф. Достоевскій.

Къ Николаю Николаевичу Страху.

Флоренція, 12 (24) декабря 1868 г.

Вы меня много обрадовали, дорогой Николай Николаевичъ, во первыхъ письмомъ, а во вторыхъ добрыми извѣстіями въ письмѣ. На первое письмо ваше я не отвѣтилъ уже потому одному, что вы адреса вашего не приложили, хотя письмо „*заклучилъ* *въ моему сердцу*“. Буквально говорю: такія письма какъ отъ васъ, отъ Майкова, — для меня здѣсь какъ манна небесная. Теперь сижу во Флоренціи уже недѣли съ двѣ, и кажется долго придется просидѣть, всю зиму, по крайней мѣрѣ, и часть весны. А помните, какъ мы съ вами сживали по вечерамъ, за бутылками, во Флоренціи (при чемъ вы были каждый разъ запасливѣе меня: вы пригото-

ляли себѣ 2 бутылки на вечеръ, а я только одну, и выпивъ свою, добрался до вашей, чѣмъ, конечно, не хвалюсь)? Но всетаки тѣ 5 дней во Флоренціи мы провели не дурно. Теперь Флоренція нѣсколько шумнѣе и пестрѣе, давка на улицахъ страшная. Много народу привалило, какъ въ столицу; жизнь гораздо дороже, чѣмъ прежде, но сравнительно съ Петербургомъ всетаки сильно дешевле. И всетаки всѣ мечты мои устремлены къ вамъ, въ Россію, въ Петербургъ, да видно бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ. Но какая-же, однако, я бодливая корова, помилуйте? И, можетъ быть, глупая корова, во многихъ дѣлахъ—это правда, согласенъ, но если бодливая, то развѣ нечаянно.

Что совсѣмъ было прекратилась литература, такъ это совершенно вѣрно *). Да она, пожалуй, и прекратилась, если хотите. И давно уже. Видите, дорогой мой Николай Николаевичъ, вѣдь съ какой точки зрѣнія смотрѣть: по моему, если изсякло свое, настоящее русское и оригинальное слово, то и прекратилась; нѣтъ генія впереди—стало быть прекратилась. Со смерти Гоголя она прекратилась. Миѣ хочется поскорѣе своего. Вы очень уважаете Льва Толстаго, я вижу; я согласенъ, что тутъ есть и *свое*; да мало. А впрочемъ онъ, *изъ степей насъ*, по моему миѣнію, успѣлъ сказать наиболѣе своего и потому стоитъ, чтобъ поговорить о немъ.—Но оставимъ это, а вотъ чтѣ: что это вы пишете про себя: „Нѣтъ, вы на меня не надѣйтесь“. Эти слова ваши не могутъ имѣть серьезнаго основанія, Николай Николаевичъ. Если вамъ стало, наконецъ, *отвратительно* вѣчно писать, къ срокамъ, заказныя статьи, то вѣдь это и всѣмъ намъ точно такъ. Эти сроки и заказы одолѣваютъ, наконецъ, всякое настроеніе и всякій жаръ, особенно къ лѣтамъ. Но успокойтесь, *сердцевины вашего влеченія* вы никогда не потеряете. Что-же? Не пишете 12-ти статей въ годъ, а пишете *три*. Это напишете съ удовольствіемъ, особенно если разгорячитесь. Но вѣдь достаточно не только трехъ, двухъ, но даже

*) Для ясности приведу начало моего письма къ Федору Михайловичу, отъ 24 ноября 1868.

И такъ, многоуважаемый Федоръ Михайловичъ, начинается новый журналъ „Заря“. Его непременно нужно было начать, а то, какъ выражается одинъ изъ моихъ новыхъ и юныхъ знакомыхъ, *Незеленовъ*, написавшій большую и прекрасную статью о Пушкинѣ,—*совсѣмъ было прекратилась литература*. А знаете-ли, съ которыхъ поръ онъ считаетъ прекращеніе литературы? Со времени прекращенія „Эпохи“. А знаете-ли кто г. Кашпиревъ, нашъ редакторъ? Познакомившись съ нимъ ближе, я увидѣлъ, что онъ воспитанникъ „Времени“ и „Эпохи“, что онъ воспитался на нихъ, какъ другіе русскіе люди на „Современникѣ“, „Русскомъ Словѣ“ и пр. И такъ есть плоды и нашей дѣятельности; они рѣдки, но дѣйствительные плоды, а не пустоцвѣтъ“. Разумѣется, въ гиперболю о прекращеніи литературы подъ литературой понималась журнальная струйка народнаго и эстетическаго направленія.

одной статьи покапительнѣе, чтобъ ужь дать тонъ журналу (новому особенно) и обратить на него вниманіе. Но вѣдь главное—редакторство. Редакторство вещь капиталнѣйшая: свой глазъ, своя рука и всегдашнее направленіе. Теперь-же, особенно теперь—это самое главное. Нѣтъ не разувѣряйте меня на счетъ „Зари!“ Изъ писемъ Аполлона Николаевича и даже изъ вашего, я вижу что, къ счастью, у новаго журнала много будетъ молодого и горячаго; много соберется около него людей, которые захотятъ что нибудь сдѣлать. А было-бы молодо, будетъ и свѣжо, а что будетъ толково и даже назидательно,—то въ этомъ я, зная васъ, не хочу сомнѣваться. Теперь вотъ что, Николай Николаевичъ: я жду „Зари“; ради Бога пришлите экземпляръ, сюда во Флоренцію, и не задерживая. Поставьте на счетъ (если ужь очень надо?). Можетъ быть какъ нибудь и сочтемся. Вы не повѣрите, что для меня это будетъ значить! Это надо самому испытать на себѣ, чтобъ постичь. Напишите мнѣ, если не секретъ, число вашихъ подписчиковъ. Я вамъ пишу: „напишите мнѣ“: это значить я серьезно убѣжденъ, что вы меня не забудете. Я понимаю, что вамъ много дѣла; но напишите страницу—для меня и то будетъ радостью. Вы да Аполлонъ Николаевичъ—только вѣдь двое и есть у меня. Я надѣюсь черезъ мѣсяць совершенно отработаться въ „Русскій Вѣстникъ“, но зато этотъ мѣсяць буду сидѣть не отрываясь отъ работы. Хорошо еще, что во Флоренціи тепло, хотя и сыро, а въ Миланѣ я не зналъ, сидя дома, во что закутаться. Про Швейцарію-же и говорить нечего—это Лапландія.—Да, дорогой мой, много-бы хотѣлось переговорить съ вами; послѣ двухъ лѣтъ, я думаю, даже и взгляды и убѣжденія должны отчасти измѣниться!—То, что вы мнѣ пишете про Данилевскаго, меня очень интересуетъ *). Онъ непременно долженъ быть тотъ отчаянный фурьеристъ (и натуралистъ), кажется Данилевскій, котораго я тогда зналъ. Исполать ему—коли въ силахъ былъ изъ фурьериста стать русскимъ, да еще передовымъ, какъ вы рекомендуете. Жду его статьи, какъ голодный хлѣба.—И такъ, наше направленіе и наша общая работа—не умерла. „Время“ и „Эпоха“ всетаки принесли плоды—и новое дѣло нашлось вынужденнымъ начать съ того, на чемъ мы остановились. Это слишкомъ отрадно.—А знаете, не худо-бы въ продолженіе года, въ „Зарѣ“, пустить статью объ Аполлонѣ Григорьевѣ, т. е. не то, чтобъ біографію, а вообще

*) Дѣло идетъ объ Н. Я. Данилевскомъ, авторѣ известной книги „Россия и Европа“ и нашемъ „рыбномъ законодателѣ“, какъ называютъ его ныне, вслѣдствіе его изслѣдованій по рыболовству въ Россіи и правилъ, составленныхъ для этого промысла. Книга „Россия и Европа“ печаталась въ „Зарѣ“ начиная съ первой книжки.

о его литературномъ значеніи. — Пишу вамъ на угадъ: въ редакцію „Заря“. Надѣюсь дойдетъ.

Мой адресъ: Italie, Florence, а М-г Th. Dostojewsky. Poste restante.

До свиданія, жена сейчасъ напомнила, чтобъ я не забылъ вамъ написать отъ нея поклонъ. Еслибъ вы знали, какъ мы часто обо всѣхъ васъ вспоминаемъ. Одни сидимъ. Но вотъ я отработаюсь и не безъ милости-же Богъ! Можетъ и возвращусь какъ нибудь въ будущемъ году въ Петербургъ. То-то радость! Того только и жду. А покаместъ до свиданія.

Вашъ искренній О. Достоевскій.

Флоренція, 26 февраля (10 марта) 1869 г.

Каждый день порываюсь отвѣчать вамъ, дорогой и многоуважаемый Николай Николаевичъ, на ваше привѣтливое и любопытнѣйшее письмо, и вотъ только что теперь исполняю желаніе мое. Нѣсколько разъ я уже отвѣчалъ вамъ мысленно, и каждый день прибавлялъ что нибудь къ мысленному письму, и еслибъ все это записывать, то образовался-бы, кажется, цѣлый томъ. Запоздалъ-же я отвѣчать сначала по нездоровью (послѣ припадка, ждалъ пока освѣжѣть голова), а потомъ вы сами были виноваты отчасти въ томъ, что я все откладывалъ писать: по письму вашему я вообразилъ, что „Заря“ выйдетъ на дняхъ; а она вонъ еще сколько запоздала противъ перваго мѣсяца! *). Мнѣ-же все хотѣлось познакомиться со вторымъ томомъ и тогда уже изложить всѣ мои впечатлѣнія. Потому что всѣмъ этимъ я очень взволнованъ; впрочемъ постараюсь писать въ нѣкоторомъ порядкѣ.

Во первыхъ, вотъ главная сущность впечатлѣній о „Зарѣ“. Для меня „Заря“ — явленіе отрадное и необходимое. Но это для меня; для многого множества она, въ настоящую минуту, вѣроятно, точь въ точь соответствуетъ тому впечатлѣнію, которое я прочелъ о ней на-дняхъ въ „Голосѣ“ (единственная газета русская, здѣсь получающаяся). Это полное выраженіе мнѣнія средины и рутины, т. е. большинства. Эта статейка написана явно съ враждебною цѣлью, но статейка ничтожная, объ которой не слѣдовало-бы и упоминать; но по одному случаю она показала мнѣ чрезвычайно любопытную, именно: что авторъ этой статейки *просмотрѣлъ мысль журнала* (а онъ, очевидно, просмотрѣлъ; потому что

*) Первая книжка „Заря“ вышла 8-го января 1869 г., вторая — 18-го февраля.
Н. С.

еслибъ онъ ее понялъ, то не преминулъ-бы осмѣять ее). Онъ именно спрашиваетъ въ недоумѣніи; какая причина журнала? Что его вызвало? т. е. что новаго онъ хочетъ сказать? Это, пожалуй, будетъ спрашивать и большинство. А такъ какъ въ первые-же мѣсяцы каждаго новаго журнала въ публикѣ (совершенно даже равнодушной) начинается непремѣнно образовываться оппозиція журналу, то долго еще будетъ раздаваться эта оппозиція (очень дурно, если журналъ нѣкоторыми второстепенными промахами оправдаетъ эту оппозицію). Но это все ничего; это все мелочи и пустяки. Знаете отвѣтъ: „Пусть бранятъ, значить не молчатъ, а говорить“. Вы-же, безъ сомнѣнія, вѣруете (какъ и я) въ то, что успѣхъ всякой новой идеи зависитъ отъ меньшинства. Это меньшинство будетъ необходимо за васъ (даже несмотря на всѣ промахи и ошибки журнала. которые, кажется, будутъ). Это меньшинство окрѣпнетъ и установится къ концу года *навѣрно*. Почему я такъ утвердительно говорю? Потому что въ журналѣ есть *мысль*, и именно та самая, которая теперь необходима, которая неминуема и которой *одной* предстоитъ расти, а всѣмъ прочимъ „малиться“. Но мысль эта трудная и щекотливая, вы это сами знаете. За эту мысль, особенно когда ее начнутъ понимать, т. е. когда вы ее еще больше растолкуете, васъ назовутъ отсталыми, камчадалами и пожалуй продавшимися, тогда какъ она есть единственная передовая и либеральная мысль для насъ въ наше время. Когда-же это растолкуете окончательно, тогда всѣ и пойдутъ за вами. А покажетъ рутиня всегда видитъ либерализмъ и новую мысль именно въ томъ, что старо и отстало. „Отечественныя Записки“, „Дѣло“ навѣрно считаются самыми передовыми. Все это вы сами знаете великолѣпно, а пуще всего то, что вамъ принадлежитъ будущность. Теперь знаете-ли, чего я боюсь? Что вы (и многіе изъ васъ) испугаетесь трудовъ и оставите огромное дѣло. Ахъ, Николай Николаевичъ, эти труды такъ огромны и требуютъ столько вѣры и упорства, что вы ихъ только послѣ долгаго времени узнаете *воплоть*. Такъ мнѣ кажется. Я-же ихъ самъ только краешкомъ знаю, когда соредакторствовалъ брату; но „Время“ и „Эпоха“, какъ вы сами знаете, до такой откровенности и обнаженности въ выраженіи своей мысли никогда не добивались и держались большею частію середины, особенно вначалѣ. Вы-же прямо начали съ верхушекъ; вамъ трудно, а стало быть надо крѣпко стоять.

Вы въ эти два-три года *почти* молчанія вашего сильно выиграли, Николай Николаевичъ. Это мое мнѣніе, судя по вашимъ „Бѣдность“ *)

*) Брошюра: „Бѣдность нашей литературы“. Критическій и историческій очеркъ. Н. Страхова. Спб. 1867. Н. С.

и статью въ „Зарѣ“. Я всегда любовался на ясность вашего изложенія и на послѣдовательность; но теперь, по моему, вы стоите несравненно крѣпче. Жаль, что не „Бѣдностью“ вы начали въ „Зарѣ“, т. е. жалѣю, что „Бѣдность“ была напечатана раньше. Какъ брошюра, вѣроятно, она была замѣчена очень немногими и вѣроятно множество изъ тѣхъ, которые, очевидно, прочли-бы ее съ симпатіей при ея появленіи, даже, можетъ быть, и не знаютъ до сихъ поръ о ея существованіи, т. е. просто не замѣтили ея. (Эта брошюрка у васъ впоследствии вся раскупится, будьте увѣрены. Я вѣдь убѣжденъ, что ея немного теперь разошлось). Кстати, замѣтили вы одинъ фактъ въ нашей русской критикѣ? Каждый замѣчательный критикъ нашъ (Бѣлинскій, Григорьевъ) выходилъ на поприще непременно какъ-бы опираясь на передоваго писателя, т. е. какъ-бы посвящая всю свою карьеру разъясненію этого писателя и въ продолженіе жизни успѣвалъ высказать всѣ свои мысли не иначе, какъ въ формѣ растолковыванія этого писателя. Дѣлалось же это наивно и какъ-бы необходимо. Я хочу сказать, что у насъ критикъ не иначе растолкуетъ себя, какъ являясь рука объ руку съ писателемъ, приводящимъ его въ восторгъ. Бѣлинскій заявилъ себя вѣдь не пересмотромъ литературы и именъ, даже не статью о Пушкинѣ, а именно опираясь на Гоголя, которому онъ поклонялся еще въ юношествѣ. Григорьевъ вышелъ разъясняя Островскаго и сражаясь за него. У васъ безконечная, непосредственная симпатія къ Льву Толстому, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ я васъ знаю. Правда, прочтя статью вашу въ „Зарѣ“, я первымъ впечатлѣніемъ моимъ ощутилъ, что она *необходима* и что вамъ, чтобъ по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать, какъ съ Льва Толстаго, т. е. съ *его послѣдняго сочиненія* *). Въ „Голосѣ“ фельетонистъ говорилъ, что вы раздѣляете *историческій фатализмъ* Льва Толстаго. Наплевать, конечно, на глупенькое слово, но не въ томъ дѣло, а въ томъ: скажите, откуда они берутъ такіа мудренныя мысли и выраженія? Чтò значить *историческій фатализмъ*? Почему именно рутинна и глупенькіе, ничего не замѣчающіе далѣе носа, всегда затемнять и углубять такъ свою-же мысль, что ее и не разберешь? Вѣдь онъ, очевидно, что-то хотеть сказать; что онъ читалъ вашу статью, то это несомнѣнно. Именно то, чтò вы говорите въ томъ мѣстѣ, гдѣ говорите о Бородинской битвѣ, и выражаетъ всю сущность мысли и Толстаго и вашу о Толстомъ. Ясно-бы невозможно, кажется, выразиться. Національная русская мысль заявлена почти обнаженно. И вотъ этого-то и не поняли и перетолковали въ фатализмъ. Чтò касается до остальныхъ

*) Дѣло идетъ о „Войнѣ и мирѣ“.

подробностей о статьѣ, то жду продолженія (которое до сихъ поръ еще не дошло до меня). Ясно, логично, твердо сознанныя мысль, написанная изящно до послѣдней степени. Но кой съ чѣмъ въ подробностяхъ я не согласился. Разумѣется, при свиданіи мы-бы съ вами не такъ поговорили, какъ на письмѣ. Въ концѣ концовъ я считаю васъ за единственнаго представителя нашей теперешней критики, которому принадлежитъ будущее. Но знаете-ли что: я прочелъ ваше письмо съ безпокойствомъ. Я вижу по тону его, что вы волнуетесь и безпокоитесь, что вы въ большомъ волненіи. Боюсь еще за непривычку вашу къ срочной работѣ и къ упорной работѣ. Вы должны непремѣнно написать въ годъ три или четыре большія статьи (вамъ много еще надо разяснять, будьте увѣрены), а между тѣмъ вы точно падаете духомъ, и не въ мѣру, малая вещь васъ колеблетъ какъ бы и большая. Между тѣмъ вы въ журналѣ, очевидно, самое необходимое лицо по сознательному разясненію мысли журнала. Безъ васъ журналъ не пойдетъ (это говорю я вамъ одному). Итакъ, надо твердо рѣшиться на подвигъ, Николай Николаевичъ, на долгій и трудный подвигъ, и не смотрѣть на неприятели. Всякая неприятели несравненно ниже вашей цѣли, а потому надо сносить, выучиться сносить и вообще закрѣпиться. Но оставить дѣло вы не имѣете даже и права; я прогляну васъ тогда первый.

Теперь скажу вамъ вкратцѣ объ остальномъ впечатлѣніи на меня журнала. (Похвалу мою ему вы знаете: у него мысль и будущность; приѣмъ его великолѣпенъ; онъ обнажаетъ мысль, не закрывается, отвергаетъ средину, начинается съ верхушки; но теперь перейду къ неприятели въ моемъ впечатлѣніи). Прежде всего журналъ малъ объемомъ, скупъ, что выражается даже его наружностію. Листы романа Писемскаго (т. е. самые дорогие цѣной издателю, — это всѣ поймутъ) напечатаны такъ растянута, т. е. такимъ крупнымъ шрифтомъ, что я даже и не видывалъ такого. — Статья Данилевскаго, изъ капитальныхъ по разясненію мысли журнала, печатается скупо, т. е. слишкомъ помаленьку; дурной эффектъ обнаружится впоследствии. Если въ ней 20 главъ, то, по моему мнѣнію, надо-бы напечатать всю статью въ 4-хъ, много въ 5-ти книгахъ; нужды нѣтъ, что выйдеть по многу; журналъ заявляетъ, стало быть, что это его статья капитальная. А то, печатаясь какъ теперь, статья растянется нумеровъ на 10 или на всѣ 12 — такъ сказать примозолится публикѣ; видя все ее да ее, публика потеряетъ къ ней какъ-бы уваженіе. Я сужу материально, не пренебрегайте материальнымъ взглядомъ, видимостями. — Мало статей; право на меня такое впечатлѣніе произвелъ первый номеръ! Миѣ показалось, что надо-бы еще статейки двѣ. Нѣтъ насущной, текущей политики, и

нѣтъ фельетона. Ежемѣсячное политическое обозрѣніе такъ же необходимо, какъ и ежедневная газета, особенно для русской публики. И замѣтите, теперь время горячее; политическаго обозрѣвателя хорошаго у насъ можно найти (кстати, — тотъ молодой человѣкъ, чиновникъ, который писалъ въ послѣднихъ номерахъ „Эпохи“ политическое обозрѣніе; забылъ даже фамилью его. Очень, *очень талантливый* и кажется превосходный молодой человѣкъ). Другое дѣло фельетонистъ: фельетониста талантливаго у насъ трудно найти; сплошь Минаевщина и Салтыковщина; но, Боже мой, сколько текущихъ, повседневныхъ и необыкновенно примѣчательныхъ явленій и какъ-бы разъясненіе ихъ послужило въ свою очередь разъясненію мысли журнала *)! Вы избѣгаете полемики? Напрасно. Полемика есть чрезвычайно удобный способъ къ разъясненію мысли. У насъ публика слишкомъ любитъ ее. Всѣ статьи, напримѣръ, Бѣлинскаго имѣютъ форму полемическую. Притомъ-же въ полемикѣ можно выказать тонъ журнала и заставить его уважать. Притомъ-же вамъ лично отсутствіе полемическаго приѣма можетъ даже и повредить. У васъ языкъ и изложеніе несравненно лучше Григорьевскаго. Ясность необычайная; но всегдашнее *спокойствіе* придаетъ вашимъ статьямъ видъ *отвлеченности*. Надо поволноваться, надо и хлестнуть иногда, снизить до самыхъ частныхъ, текущихъ, насущныхъ частныхъ. Это придаетъ появленію статьи видъ самой насущной необходимости и поражаетъ публику. — Только что почтамы увеличилъ плату за пересылку, какъ тотчасъ-же я и прочелъ въ „Голосѣ“ объявленіе „Зари“ подписчикамъ объ увеличеніи цѣны журналу. Это такъ, и это по праву; но въѣдъ подписчикъ тотчасъ-же скажетъ: „Хорошо-съ, вотъ вы неумолимо требуете денегъ; sine qua pop; но будьте-же и сами исправны. А то начали тѣмъ, что вышли 8-го числа, а на второй мѣсяцъ и еще на недѣлю опоздали. Охъ, Николай Николаевичъ, въ первый годъ журналъ долженъ не жалѣть своихъ усилій. Покойный братъ вотъ что говорилъ: „Если-бъ у сѣателя дома и совсѣмъ хлѣба не оставалось, но если ужъ онъ разъ вышелъ сѣять, то ужъ не жалѣй, что отъ семьи хлѣбъ отнялъ и пришелъ въ землю бросать; сѣй какъ слѣдуетъ, иначе не взойдетъ и не пожнешь“. А у васъ вдругъ ужъ 2,000 подписчиковъ **). Тутъ-то бы и усилить пожертвованія, чтобъ добрать третью тысячу. И добрали-бы навѣрно, и на 2-й годъ какъ-бы легко было. Ну а теперь не доберете, и трудовъ себѣ

*) Кстати: кто писалъ театральныя фельетонъ? Очень, очень пріятная и точная статья.

(„Театральныя замѣтки“ были писаны покойнымъ Лукою Николаевичемъ Антроповымъ. Н. С.).

***) Цифра эта преувеличена. Мнѣ было неизвѣстно точное число подписчиковъ.
Н. С.

самимъ только больше надѣлали въ будущемъ. Впрочемъ, будущность ваша, но нужно упорство и ужасный трудъ. Кто у васъ заправляетъ собственно пасушною, дѣловою частію журнала? Тутъ нуженъ человѣкъ крѣпкій и упорный и подымчивый. Надо раза по три въ сутки иногда въ типографію съѣздить Жду съ нетерпѣніемъ продолженія трехъ статей, особенно вашей и Данилевскаго. Объ романѣ Писемскаго сказать ничего теперь не могу, надо прочесть дальше. Впрочемъ на этотъ счетъ у васъ лучше всѣхъ другихъ: а ужъ Тургенева повѣсть въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ — (я читалъ) такая ничтожность, что не приведи Господи. — По первой части Писемскаго заключаю, что не можетъ не быть весьма талантливыхъ вещей и въ остальныхъ частяхъ...

Благодарю васъ очень, добрыйшій и многоуважаемый Николай Николаевичъ, что мною интересуетесь. Я здоровъ по прежнему, то есть припадки даже слабѣе, чѣмъ въ Петербургѣ. Въ послѣднее время, 1¹/₂ мѣсяца назадъ, былъ сильно занятъ окончаніемъ „Идіота“. Напишите мнѣ, какъ вы общали, о немъ ваше мнѣніе; съ жадностію ожидаю его. У меня свой особенный взглядъ на дѣятельность въ искусствѣ; и то, что большинство называетъ почти фантастическимъ и исключительнымъ, то для меня иногда составляетъ самую сущность дѣйствительнаго. Обыденность явленій и казенный взглядъ на нихъ по моему не есть еще реализмъ, а даже напротивъ. Въ каждомъ номерѣ газетъ вы встрѣчаете отчетъ о самыхъ дѣйствительныхъ фактахъ и о самыхъ мудреныхъ. Для писателей нашихъ они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тѣмъ они дѣйствительность, потому что они *факты*. Кто-же будетъ ихъ замѣчать, ихъ разъяснять и описывать? они поминутны и ежедневны, а не *исключительны*. псевдо-русская черта, что все начинаетъ человѣкъ, задается большимъ и не можетъ кончить даже малаго. Экая старина! Экая дряхлая пустыньская мысль, да и совѣтъ даже невѣрная! Клевета на русскій характеръ, при Вѣлинскомъ еще. И какая мелочь и низменность воззрѣнія и проникновенія въ дѣйствительность! И все одно, да одно! Мы всю дѣйствительность пропустимъ этапъ мимо носу. Кто-жъ будетъ отмѣчать факты и углубляться въ нихъ? Про повѣсть Тургенева я уже не говорю: это чортъ знаетъ что такое! Неужели фантастичный мой „Идіотъ“ не есть дѣйствительность, да еще самая обыденная? Да именно теперь-то и должны быть такіе характеры въ нашихъ оторванныхъ отъ земли слояхъ общества, — слояхъ, которые въ дѣйствительности становятся фантастичными. Но *нечего* говорить! Въ романѣ много написано наскоро, много растянута

и неудалось, но кой-что и удалось. Я не за романъ, а я за идею мою стою. Напишите, напишите мнѣ ваше мнѣніе, и какъ можно откровеннѣе. Чѣмъ больше вы обругаете, тѣмъ больше я оцѣню вашу искренность. „Русскій Вѣстникъ“ не успѣлъ напечатать конецъ въ декабрѣ и обѣщалъ его въ приложеніи; полагаю, что приложить въ февральской книгѣ. Я-бы желалъ, чтобъ вы прочли конецъ. Тѣмъ не менѣе я нахожусь въ очень хлопотливомъ положеніи. Впрочемъ, я самъ очень многимъ недоволенъ въ моемъ романѣ. А я, кому-же, еще отецъ его.

Вотъ въ чемъ дѣло: поблагодарите отъ меня Данилевскаго, Каширева, Градовскаго *) и всѣхъ тѣхъ, которые принимаютъ во мнѣ участіе. Это во-первыхъ. А во 2-хъ, голубчикъ Николай Николаевичъ, надѣюсь на васъ въ одномъ очень щекотливомъ для меня дѣлѣ и прошу всего вашего дружескаго въ немъ участія. Вотъ это дѣло:

Вы чрезвычайно лестно для меня написали мнѣ, что „Заря“ желаетъ моего участія въ журналѣ. Вотъ что я *принужденъ* отвѣтить: такъ какъ я всегда нуждаюсь въ деньгахъ чрезвычайно и живу одной только работою, то всегда почти принужденъ былъ, всю жизнь, вездѣ, гдѣ ни работалъ, брать деньги впередъ. Правда и вездѣ мнѣ давали. Я выѣхалъ скоро два года назадъ изъ Россіи, уже будучи долженъ Каткову 3,000 р., и не по старому разсчету съ „Преступленіемъ и Наказаніемъ“, а по новому забору. Съ той поры я забралъ еще у Каткова до трехъ тысячъ пятисотъ рублей. Сотрудникомъ Каткова я остаюсь и теперь, но врядъ-ли дамъ въ „Русскій Вѣстникъ“ что нибудь въ этомъ году. У меня теперь есть три идеи, которыми я дорожу, одна изъ нихъ составляетъ большой романъ. Полагаю, что они изберутъ романъ, чтобы начать будущій годъ. Нѣсколько мѣсяцевъ у меня теперь свободныхъ. Конечно, „Русскій Вѣстникъ“ будетъ присылать мнѣ деньги и въ этомъ году, хотя я и остался тамъ нѣсколько долженъ. Но нужды мои увеличиваются (жена опять беременна), расходовъ много, а жили мы послѣднее время съ такой экономіей, что даже отказывали себѣ во всемъ. Въ послѣдніе полгода мы прожили всего на все только 900 рублей, и это съ переѣздами изъ Вевы въ Миланъ и во Флоренцію, и сверхъ того, изъ этихъ 900 рублей сто было отослано недавно Пашѣ и Эмилиі Федоровнѣ. Въ настоящую минуту, я еще не получилъ отъ Каткова денегъ, нуждаюсь чрезвычайно, почти до послѣдней степени. „Русскій Вѣстникъ“ правъ: я опоздалъ и потому-же просилъ свести счеты. Полагаю, недѣли три еще промедлать присылкой;

*) Извѣстный профессоръ А. Д. Градовскій. Статья его: „Политическія теоріи XIX вѣка. Бенжаменъ Констанъ“ была помѣщена въ „Зарѣ“ 1869, №№ 1, 3 и 4.
Н. С.

но не въ томъ главное дѣло, а дѣло въ ближайшемъ будущемъ. Короче, мнѣ необходимы деньги до послѣдней степени, и потому я предлагаю редакціи „Зари“ слѣдующее: во 1-хъ) я прошу выслать мнѣ сюда, во Флоренцію, теперь-же впередъ 1,000 руб. (тысячу рублей). Самъ-же я обязуюсь во 2-хъ) къ 1-му сентября нынѣшняго года, т. е. черезъ полгода, доставить въ редакцію „Зари“ повѣсть, т. е. романъ. Онъ будетъ величиною съ „Бѣдныхъ Людей“, или въ 10 печатныхъ листовъ; не думаю, чтобы меньше; можетъ быть нѣсколько больше. *Не опоздаю доставкой ни одного дня* (на этотъ разъ я довольно точенъ). Если опоздаю хоть мѣсяцъ, то пожалуй рѣшаюсь не получить за него остальной платы. Идея романа меня сильно увлекаетъ. Это не что нибудь изъ-за денегъ, а совершенно напротивъ. Я чувствую, что сравнительно съ „Преступленіемъ и Наказаніемъ“ эффектъ „Идіота“ въ публикѣ слабѣе. И потому все мое самолюбіе теперь поднято: мнѣ хочется произвести опять эффектъ; а обратить на себя вниманіе въ „Зарѣ“ мнѣ еще выгоднѣе, чѣмъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Видите, я вамъ все пишу ужасно откровенно. Плату съ листа я предлагаю въ 150 руб. (съ листа по расчету „Русскаго Вѣстника“, если листъ „Зари“ меньше),—т. е. то, что я получаю съ „Русскаго Вѣстника“. Меньше не могу. (Мы съ братомъ впередъ давали еще болѣе). Постараюсь справить работу, какъ можно лучше; вы сами поймете, голубчикъ, что вся моя выгода въ этомъ. Теперь собственно къ вамъ, Николай Николаевичъ, чрезвычайная просьба моя. 1) Способствовать дружески успѣху этого дѣла, если найдете это подходящимъ дѣломъ для журнала. 2) Если получите согласіе Каширева, то чрезвычайно и убѣдительно прошу прислать мнѣ денегъ ни мало не медля, распорядившись такъ: 200 (двѣсти рублей) изъ этой тысячи выдать отъ меня, съ передачею моею чрезвычайной благодарности, Аполлону Николаевичу Майкову, которому я ихъ уже слишкомъ годъ долженъ. Другіе 200 руб. (двѣсти рублей) передать отъ меня сестрѣ моей жены, Марьѣ Григорьевнѣ Сватковской (она знаетъ для чего) по прилагаемому адресу: Марья Григорьевна *Сватковская*, на Пескахъ, у 1-го военнаго сухопутнаго госпиталя, по Ярославской улицѣ, домъ № 1, хозяйкѣ дома. Остальные затѣмъ 600 руб. (шестьсотъ рублей) прошу васъ выслать прямо мнѣ, сюда во Флоренцію, по слѣдующему адресу: *Italie, Florence, à M-r Théodore Dostoiewsky, poste restante*. Наконецъ 3) если все это возможно устроить, то увѣдомить меня и выслать мнѣ деньги *ни мало не медля*. Объ этомъ прошу васъ, какъ стараго друга; ибо до того нуждаюсь въ настоящую минуту, какъ никогда не нуждался. Наконецъ, если и не обдѣляется дѣло, то тоже прошу васъ немедленно меня объ этомъ увѣдомить, чтобы ужъ я напрасно не надѣялся

и не рассчитывалъ, а главное, чтобы *знать*. Кроме того, если и уладится дѣло, то до времени объ этомъ лучше не говорить лишнимъ людямъ. Наконецъ, я бы желалъ, чтобы романъ, который я доставлю къ 1-му сентября въ редакцію „Зари“, былъ напечатанъ въ осеннихъ номерахъ журнала этого года. Такъ мнѣ выгоднѣе по нѣкоторымъ расчетамъ. Но разумѣется, если редакторъ захочетъ напечатать въ будущемъ году, то я не воспротивлюсь. Однимъ словомъ, оставляю на волю редакціи и изъявляю только желаніе.

Теперь, какъ старому другу и сотруднику, сообщу вамъ въ *секретъ* и еще одно мое чрезвычайное безпокойство: эти 200 руб., которые я долженъ болѣе года Аполлону Николаевичу, кажется причиною его теперешняго молчанія; онъ вдругъ прекратилъ со мною всякую переписку. Я просилъ Каткова, въ декабрѣ, выслать 100 руб. Эмилиі Федоровнѣ *) и Пашѣ **), на имя Аполлона Николаевича (какъ и всегда дѣлалось въ этихъ случаяхъ), а его просилъ въ послѣднемъ письмѣ моемъ передать эти 100 руб. Эмилиі Федоровнѣ. Онъ, вѣроятно, подумалъ, что я получалъ знатный кушъ, купаюсь въ золотѣ, ему не возвращаю долга, а его-же прошу передать 100 руб. Эмилиі Федоровнѣ. „Помогать другимъ есть деньги, а возратить долгъ нѣтъ“ — вотъ что вѣроятно онъ подумалъ. А между тѣмъ, еслибъ онъ зналъ, въ какое положеніе я самъ поставилъ себя. Забравъ много въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ (на необходимое), я въ послѣдніе полгода такъ нуждался съ женой, что послѣднее бѣлье наше теперь въ закладѣ (не говорите этого никому). Въ „Русскомъ-же Вѣстникѣ“ просить не хотѣлъ до окончанія романа. Но они теперь сводятъ счеты и до сихъ поръ медлятъ отвѣтомъ. Конечно, я виноватъ, что въ цѣлный годъ не заплатилъ, и ужъ слишкомъ много страдалъ отъ этой мысли, но въ эти два года за границей я прожилъ всего только 3,500 р.; тутъ и переѣзды, и нѣкоторыя посылки въ Петербургъ, и Сона, — не было изъ чего выслать. А онъ къ тому-же никогда не спрашивалъ съ меня, а и думалъ, что онъ можетъ подождать, каждый мѣсяць почти надѣясь выслать ему. Эти 100 руб. Эмилиі Федоровнѣ должно быть его обидѣли. Но вѣдь Эмилиі Федоровна чуть съ голоду не умираетъ, какъ было не помочь! При ирачномъ положеніи моемъ, мысль, что вотъ и еще преданный человекъ оставляетъ меня, — мнѣ ужасно мучительна. Не говорилъ-ли онъ съ вами чего, или не знаете-ли вы чего? Если знаете, то сообщите, голубчикъ! Съ другой стороны, странно мнѣ, что изъ за 200 рублей порвалась связь

*) Эмилиі Федоровна Достоевская, вдова Михаила Михайловича. Н. С.

***) Павелъ Александровичъ Исаевъ, сынъ Марьи Дмитріевны, пасынокъ Федора Михайловича. Н. С.

иногда дружеская, продолжавшаяся между нами съ 46-го года. Къ тому-же я и безъ того всёми забыть. — Ну, вотъ сколько написалъ, а между тѣмъ, что это значить предъ свиданіемъ и пріятельскимъ разговоромъ? Холодно, недостаточно, ничего не выражено. — Эхъ, когда-то увидимся! Можетъ быть какъ нибудь это и обдѣляется. Я кое на что надѣюсь. До свиданія. Анна Григорьевна жметъ вашу руку и благодарить за память. Еще разъ поклонъ всёмъ, кто меня помнитъ. Что Аверкіевъ? Кланяйтесь ему. Какъ жалко мнѣ Долгомостьева! *) Вашъ весь и душевно преданный.

Федоръ Достоевскій.

(Приписка на 1-й стран.). Если вамъ придется отдавать двѣсти рублей Аполлону Николаевичу, то не забудьте, добрыйшій Николай Николаевичъ, упомянуть при этомъ, что я самъ буду благодарить его письмомъ, но что теперь не увѣдомилъ его письмомъ потому, что не могъ знать заранѣ о рѣшеніи редакціи „Зари“.

(Приписка на послѣдней стран.). Вотъ уже 10-е марта, а я все еще не получилъ 2-й номеръ „Зари“. Хожу каждый день на почту и все: niente, niente. Ктому же дождь и холодъ, скверно.

Флоренція, 18 (30) марта 1869 г.

Во первыхъ, благодарю васъ, многоуважаемый Николай Николаевичъ, за то, что не замедлили вашимъ отвѣтомъ: въ моихъ обстоятельствахъ — это составляетъ половину дѣла, потому что опредѣляетъ мои занятія и намѣренія. Благодарю васъ, во вторыхъ, за распоряженіе о присылкѣ „Зари“, а въ третьихъ, — за доброе извѣстіе объ Аполлонѣ Николаевичѣ. Я напишу ему самъ, въ отвѣтъ на его письмо, на дняхъ. Если онъ меня вамъ хвалилъ, то будьте увѣрены, что и я его постоянно. Въ это послѣднее время *недоразумѣнія*, происшедшаго отъ моей мнительности, я ни капли не потерялъ къ нему моего сердечнаго расположенія. А о томъ, что онъ хорошій и чистый человѣкъ — въ этомъ для меня слишкомъ давно нѣтъ сомнѣнія, и я весьма радъ, что вы съ нимъ такъ сошлись.

Если „Заря“ не имѣетъ показатъ такого успѣха, какого-бы желательно, то вѣдь все-таки-же она имѣетъ успѣхъ, и почти значительный, а это не шутка. Хотя третью тысячу подписчиковъ вы, можетъ быть, и не доберете; но, поддерживавъ успѣхъ въ продолженіе года, вы, повторяю это

*) Объ И. Г. Долгомостьевѣ см. выше: „Воспоминанія“, стр. 205 и 206. Н. С.

съ упорствомъ, станете на твердое основаніе. Изъ ежемѣсячныхъ журналовъ нѣтъ ни одного съ такимъ точнымъ и твердымъ направленіемъ. Второй номеръ на меня произвелъ чрезвычайно пріятное впечатлѣніе. Про вашу статью и не говорю, кромя того, что это *настоящая* критика, именно то самое *слово*, которое теперь всею необходимѣе и всего болѣе разъясняетъ дѣло. Статья-же Данилевскаго, въ моихъ глазахъ, становится все болѣе и болѣе важною и капитальною. Да вѣдь это—будущая настольная книга всѣхъ русскихъ надолго. И какъ много способствуетъ тому языкъ и ясность его, популярность его, не смотря на строго научный пріемъ. Какъ хотѣлось-бы мнѣ поговорить объ этой статьѣ съ вами, именно съ вами, Николай Николаевичъ; но слишкомъ много надо говорить! Она до того совпала съ моими собственными выводами и убѣжденіями, что я даже изумляюсь, на иныхъ страницахъ, сходству выводовъ; многія изъ моихъ мыслей я давно-давно, уже два года, записываю, именно готовя тоже статью, и чуть не подъ тѣмъ-же самымъ заглавіемъ, съ точно такою мыслию и выводами. Каково-же радостное изумленіе мое, когда встрѣчаю теперь почти то же самое, что я жаждалъ осуществить въ будущемъ,—уже осуществленнымъ, стройно, гармонически, съ необыкновенной силой логики и съ тою степенью научнаго пріема, которую я, конечно, не смотря на всѣ усилія мои, не могъ-бы осуществить никогда. Я до того жажду продолженія этой статьи, что каждый день бѣгаю на почту и высчитываю всѣ вѣроятности скорѣйшаго полученія „Зари“. (И хотъ-бы по три-то главы печатала редакція вмѣсто двухъ! Прочтешь двѣ главы и думаешь: цѣлый мѣсяцъ еще, а пожалуй и 40 дней!—[такъ какъ „Заря“ всетаки не отличается-же аккуратностію выхода, не правда-ли?]). Потому еще жажду читать эту статью, что сомнѣваюсь нѣсколько, и со страхомъ, объ окончательномъ выводѣ; я все еще не увѣренъ, что Данилевскій укажетъ въ *полной силѣ* окончательную сущность русскаго призванія, которая состоитъ въ разоблаченіи передъ міромъ русскаго Христа, міру невѣдомаго и котораго начало заключается въ нашемъ родномъ православіи. По моему, въ этомъ вся сущность нашего могучаго будущаго цивилизаторства и воскрешенія хотъ-бы всей Европы и вся сущность нашего могучаго будущаго бытія. Но въ одномъ словѣ не выскажешься, и я напрасно даже заговорилъ. Но одно еще выскажу: не можетъ такое строгое, такое русское, такое охранительное и зиждительное направленіе журнала не имѣть успѣха и не отозваться радостно въ читателяхъ, послѣ нашего жалкаго, напускнаго, съ раздраженными нервами, односторонняго и безплоднаго отрицанія.

2-я книжка „Зари“ составлена, кромя того, обильно. Въ ней есть

очень хорошія статьи. Пріятно видѣть книжку. Но нѣсколько строкъ въ вашемъ письмѣ, многоуважаемый Николай Николаевичъ, *на время* весьма удивили меня. Что это вы пишете—и съ такою тоскою, съ такою видимою грустію,—что статья ваша не имѣетъ успѣха, *не понимаютъ*, не находятъ ее любопытною. Да неужели-жь вы, дѣйствительно, убѣждены были, что всѣ такъ, тотчасъ-же, и поймутъ? По моему, это было-бы даже плохую рекомендацію для статьи. Что слишкомъ скоро и быстро понимается,—то несовѣтъ прочно. Вѣлинскій только въ концѣ своего поприща заслужилъ извѣстность желаемую, а Григорьевъ такъ и умеръ, *ничего* почти не достигнувъ при жизни. Я привыкъ Васъ до того уважать, что считалъ Васъ *мудрымъ* и для этого обстоятельства. Сущность дѣла такъ тонка, что всегда улетаетъ отъ большинства; они понимаютъ когда уже очень разжуютъ имъ; а до того, имъ кажется всегда всякая новая мысль не особенно любопытною. И чѣмъ проще, чѣмъ яснѣе (т. е. чѣмъ съ большимъ талантомъ) она изложена,—тѣмъ болѣе и кажется она слишкомъ *простою* и *ординарною*. Вѣдь это законъ-съ! Простите меня, но я даже усмѣхнулся на ваше очень наивное выраженіе, что „не понимаютъ люди *даже* очень *смьшленные*“. Да эти-то скорѣе другихъ и всегда не понимаютъ, и даже вредятъ пониманію другихъ,—и это имѣетъ свои причины, слишкомъ ясныя, и конечно тоже законъ. Но вѣдь сами-же говорите вы, что за васъ восторженно стоятъ и Градовскій и Данилевскій, что Аксаковъ къ вамъ заѣхалъ и т. д. Мало вамъ этого? Но я всетаки твердо увѣренъ, что въ васъ настолько есть самосознанія и внутренней потребности движенія впередъ, что *вы* не потеряете уваженія къ своей дѣятельности и не оставите дѣла! А то не пугайте пожалуйста. Вы увидите—„Заря“ распадется.

Теперь о *дѣлахъ*: Личныя денежныя обстоятельства мои теперь нѣсколько поисправились присылкою отъ Каткова, который видимо цѣнитъ меня, какъ сотрудника, а я ему за это очень благодаренъ. Но я до того зануждался, что и эти присланныя деньги мнѣ помогли почти только на минуту. Очень скоро я буду опять нуждаться: но повѣрьте мнѣ, многоуважаемый Николай Николаевичъ, что не однѣ деньги, а истинное сочувствіе къ „Зарѣ“ (въ которомъ вы-то можете быть сомнѣваться не будете) возбуждаютъ мое желаніе въ ней участвовать. Не смотря на все это, я не могу никакъ принять предложеніе Капширева въ томъ видѣ, какъ вы изобразили въ вашемъ письмѣ,—именно потому, что это для меня физически невозможно. Тысяча рублей, да еще съ разсрочкой (и первая выдача не сейчасъ, а *сейчасъ*-то и составляетъ главное)—для меня теперь слишкомъ мало. Согласитесь сами, что заняться вещью, говоря от-

носительно, объемистой, въ 10 въ 12 листовъ, — и во все это время имѣть въ виду только тысячу рублей, чуть не до сентября, въ моемъ положеніи слишкомъ недостаточно. Конечно и прежде, дѣлая такое предложеніе, я былъ-бы въ тѣхъ-же условіяхъ. Но настоящая *нужда* моя была *мѣсяцъ назадъ, при молчаніи „Русскаго Вѣстника“*, до того сильна, что тысяча рублей *сейчасъ* и *разомъ* имѣли для меня чрезвычайную цѣнность. Теперь-же мнѣ выгодыѣ състь, и състь какъ можно скорѣе, за романъ на будущій годъ въ „Русскій Вѣстникъ“, который до того времени не оставитъ меня безъ денегъ, да и разставаться съ Катковимъ я никогда не былъ нагѣренъ. — Но вотъ что я могу въ настоящую минуту представить „Зарю“, *вмѣсто прежнихъ* условій, и въ томъ случаѣ, если всетаки хоть сколько нибудь оцѣнить мое сотрудничество и предложеніе мое не будетъ противорѣчить видамъ журнала:

У меня есть одинъ рассказъ, весьма небольшой, листа въ 2 печатныхъ, можетъ быть, нѣсколько болѣе (въ „Зарѣ“, можетъ быть, займетъ листа 3 или даже 3^{1/2}). Этотъ рассказъ я еще думалъ написать четыре года назадъ, въ годъ смерти брата, въ отвѣтъ на слова Ал. Григорьева, похвалившаго мои „Записки изъ подполья“ и сказавшаго мнѣ тогда: „Ты въ этомъ родѣ и пиши“. Но это не „Записки изъ подполья“; это совершенно другое по формѣ, хотя сущность та же, моя всегдашняя сущность, если только вы, Николай Николаевичъ, признаете и во мнѣ, какъ у писателя, нѣкоторую свою, особую сущность. Этотъ рассказъ я могу написать очень скоро, — такъ какъ нѣтъ ни одной строчки и ни единого слова, неяснаго для меня въ этомъ рассказѣ. При томъ-же много уже и *записано* (хотя еще ничего не написано). Этотъ рассказъ я могу кончить и выслать въ редакцію гораздо раньше перваго сентября (хотя, впрочемъ, думаю, вамъ раньше и не надо; не въ лѣтнихъ-же мѣсяцахъ будете вы меня печатать!) Однимъ словомъ, я могу его выслать даже черезъ *два* мѣсяца. И вотъ все, чѣмъ въ нынѣшнемъ году я въ состояніи принять участіе въ „Зарѣ“, несмотря на все желаніе писать туда, гдѣ пишете вы, Данилевскій, Градовскій и Майковъ. Но вотъ при этомъ мои условія, которыя и прошу васъ передать, въ отвѣтъ на его первый отвѣтъ, Кашпиреву:

Я прошу, во первыхъ, *сейчасъ* впередъ — 300 рублей. Изъ нихъ 125 рублей, *немедленно* (въ случаѣ согласія) прошу васъ, Николай Николаевичъ, очень — передать Марьѣ Григорьевнѣ Сватковской (адресъ я вамъ писалъ въ прошломъ письмѣ); остальные-же 175 рублей выслать мнѣ сюда во Флоренцію не болѣе, *какъ черезъ мѣсяцъ отъ сегодняшняго числа* (то есть отъ 18 (30) марта), т. е. я-бы желалъ, чтобъ къ 18-му

апрѣля, *нашего стиля*, эти 175 рублей были уже здѣсь у меня. Въ такомъ случаѣ я черезъ два мѣсяца вышлю повѣсть и постараюсь не сконфузиться, т. е. представить работу по возможности лучше. (Не за деньги-же я выдумываю сюжеты; не было-бы у меня замышлено разсказа, то я-бы и не представлялъ условій).

Теперь, Николай Николаевичъ, не разсердитесь (дружески прошу) за эту *условность*, за *торгъ*, и т. д. Это вовсе не торгъ,—это точное и ясное изложеніе моихъ обстоятельствъ, и чѣмъ точнѣе, чѣмъ яснѣе, тѣмъ вѣдѣ и лучше въ дѣлахъ. Но я слишкомъ хорошо васъ-то, по крайней мѣрѣ, знаю, чтобъ быть увѣреннымъ въ вашемъ на меня взглядѣ. Не писали-бы вы мнѣ такихъ добрыхъ писемъ, если-бы не уважали меня до известной степени, и какъ человѣка и какъ литератора. А ваше мнѣніе я всегда (и во всѣхъ нашихъ отношеніяхъ) цѣнилъ.

Теперь собственно къ вамъ большущая просьба, Николай Николаевичъ: увѣдомьте меня о рѣшеніи Кашпирова, немедленно по полученіи письма моего. Это *необходимо* мнѣ крайне, для распредѣленія моихъ расчетовъ и, главное, занятій. Если будете заняты, то напишите только хоть нѣсколько увѣдомляющихъ строкъ.

Адресъ Маріи Григорьевны Сватковской:

На Пескахъ, напротивъ Перваго Военно-Сухопутнаго Госпитала, по Ярославской улицѣ, домъ № 1-й (хозяйскій дома), т. е. въ собственномъ домѣ.

До свиданія, многоуважаемый и добрыйшій Николай Николаевичъ. Ваши письма для меня составляютъ слишкомъ многое. Анна Григорьевна вамъ очень кланяется. А я вамъ

совершенно преданный

Федоръ Достоевскій.

PS. Плата за мой листъ прежняя, какъ я уже писалъ: 150 руб. съ листа печати „Русскаго Вѣстника“. Само собою, что если въ повѣсти будетъ болѣе 2-хъ листовъ, то редакция „Зари“ доплатитъ остальное.

PS. Кто это говорилъ вамъ дурно про мое здоровье? Здоровье мое чрезвычайно хорошо, а припадки хоть и продолжаются, но *буквально* вдвое рѣже, чѣмъ въ Петербургѣ, по крайней мѣрѣ съ переселенія въ Италію.

и неудалось, но кой-что и удалось. Я не за романъ, а я за идею мою стою. Напишите, напишите мнѣ ваше мнѣніе, и какъ можно откровеннѣе. Чѣмъ больше вы обругаете, тѣмъ больше я оцѣню вашу искренность. „Русскій Вѣстникъ“ не успѣлъ напечатать конецъ въ декабрѣ и обѣщалъ его въ приложеніи; полагаю, что приложить въ февральской книгѣ. Я-бы желалъ, чтобъ вы прочли конецъ. Тѣмъ не менѣе я нахожусь въ очень хлопотливомъ положеніи. Впрочемъ, я самъ очень многимъ недоволенъ въ моемъ романѣ. А я, кому-же, еще отецъ его.

Вотъ въ чемъ дѣло: поблагодарите отъ меня Данилевскаго, Кашнирева, Градовскаго *) и всѣхъ тѣхъ, которые принимаютъ во мнѣ участіе. Это во-первыхъ. А во 2-хъ, голубчикъ Николай Николаевичъ, надѣюсь на васъ въ одномъ очень щекотливомъ для меня дѣлѣ и прошу всего вашего дружескаго въ немъ участія. Вотъ это дѣло:

Вы чрезвычайно лестно для меня написали мнѣ, что „Заря“ желаетъ моего участія въ журналѣ. Вотъ что я *принужденъ* отвѣтить: такъ какъ я всегда нуждаюсь въ деньгахъ чрезвычайно и живу одной только работою, то всегда почти принужденъ былъ, всю жизнь, вездѣ, гдѣ ни работалъ, брать деньги впередъ. Правда и вездѣ мнѣ давали. Я выѣхалъ скоро два года назадъ изъ Россіи, уже будучи долженъ Каткову 3,000 р., и не по старому разсчету съ „Преступленіемъ и Наказаніемъ“, а по новому забору. Съ той поры я забралъ еще у Каткова до трехъ тысячъ пятисотъ рублей. Сотрудникомъ Каткова я остаюсь и теперь, но врядъ-ли дамъ въ „Русскій Вѣстникъ“ чтонибудь въ этомъ году. У меня теперь есть три идеи, которыми я дорожу, одна изъ нихъ составляетъ большой романъ. Полагаю, что они изберутъ романъ, чтобы начать будущій годъ. Нѣсколько мѣсяцевъ у меня теперь свободныхъ. Конечно, „Русскій Вѣстникъ“ будетъ присылать мнѣ деньги и въ этомъ году, хотя я и остался тамъ нѣсколько долженъ. Но нужды мои увеличиваются (жена опять беременна), расходовъ много, а жили мы послѣднее время съ такой экономіей, что даже отказывали себѣ во всемъ. Въ послѣдніе полгода мы прожили всего на все только 900 рублей, и это съ переѣздами изъ Вевея въ Миланъ и во Флоренцію, и сверхъ того, изъ этихъ 900 рублей сто было отослано недавно Пашѣ и Эмилиі Федоровнѣ. Въ настоящую минуту, я еще не получилъ отъ Каткова денегъ, нуждаюсь чрезвычайно, почти до послѣдней степени. „Русскій Вѣстникъ“ правъ: я опоздалъ и втому-же просилъ свести счеты. Полагаю, недѣли три еще промедлять присылкой;

*) Извѣстный профессоръ А. Д. Градовскій. Статья его: „Политическія теоріи XIX вѣка. Бенжаменъ Констанъ“ была помѣщена въ „Зарѣ“ 1869, №№ 1, 3 и 4.
Н. С.

колай Николаевичъ, получать и мнѣ въ свое время? При этомъ осмѣливаюсь прибавить, для разъясненія, что я и въ самомъ началѣ имѣлъ въ виду не даромъ получать „Зарю“, а за тѣ же деньги. Я убѣжденъ, что въ повѣсти моей будетъ съ поллиста больше, чѣмъ за сколько я получу теперь денегъ. И потому, при окончательномъ расчетѣ пусть редакція вычтетъ. Ну вотъ 2-я просьба, но при этомъ маленькая частность: если, напримѣръ, въ минуту полученія *этого* письма — „Заря“ уже вышла, то вышлите мнѣ ее немедленно во Флоренцію, такъ какъ еще меня застанете во Флоренціи. Если-же еще не вышла, то ужъ и не высылайте во Флоренцію, а по новому адресу:

Allemagne, Saxe, Dresden, poste restante, à M-r Théodore Dostoiewsky.

3-я просьба (щекотливая), но зато, если чуть-чуть затруднительна, то бросьте ее безъ церемоніи, т. е. если даже чуть-чуть. Именно:

Я написалъ сейчасъ, что убѣжденъ, что въ повѣсти моей будетъ хвостикъ, за который придется редакціи мнѣ приплатить. Но кромѣ того, что стоитъ „Заря“, я-бы желалъ имѣть нѣсколько книгъ, которыхъ я до сихъ поръ еще не читалъ: А именно: „Окраины Россіи“ Самарина, и всю „Войну и Миръ“ — Толстаго. „Войну и Миръ“ я, во-первыхъ, до сихъ поръ прочелъ не всю (о 5-мъ послѣднемъ томѣ и говорить нечего), а во-вторыхъ и что прочелъ, то — порядочно забылъ. И такъ, если возможно не торопясь выслать мнѣ эти двѣ книги, на мой счетъ, преспокойно взявъ ихъ у Базунова въ кредитъ, т. е. такимъ образомъ, чтобъ это никому ничего не стоило, и за что я самъ рассчитываюсь при расчетѣ. Выслать-же прошу по адресу въ Дрезденъ. Ну вотъ это третья просьба! Хорошо? Видите-ли, многоуважаемый Николай Николаевичъ, если эта просьба заключается въ себѣ хотя каплю непріятности или хлопотъ, то бросьте ее. Я-же потому прошу, что мнѣ читать рѣшительно нечего! Вы вотъ спрашиваете въ письмѣ вашемъ, что я читаю. Да Вольтера и Дидро всю зиму и читалъ. Это, конечно, мнѣ принесло и пользу и удовольствіе, но хотѣлось-бы и теперешняго нашего.

Окончаніе моего „Идіота“ я самъ получилъ только что на дняхъ, особой брошюрой (которая разсылается изъ редакціи прежнимъ подписчикамъ). Не знаю, получили-ли вы? Я прошу Марью Григорьевну Сватковскую поговорить съ Базуновымъ — не купитъ-ли онъ 2-е изданіе? Если заламается, то и не надо. Цѣну я (сравнительно съ прежними изданіями моими) назначаю ничтожную, 1,500 руб. Меньше не спущу ни копѣйки. Хотѣлось-бы 2,000 руб. Базуновъ будетъ не разсудителенъ, если откажется. Вѣдь ужъ ему-то, кажется, извѣстно, что нѣтъ сочиненія моего, которое не выдерживало-бы двухъ изданій (не говоря уже о трехъ, че-

тырехъ и пяти изданіяхъ). Объ этомъ сообщеніи моемъ не говорите впрочемъ никому, прошу васъ, до времени.

Разъ навсегда — замолчите и не говорите о своемъ „безсмысли“ и объ „скомканныхъ наброскахъ“. Точно слушать. Подумаешь, что вы притворяетесь. Никогда еще не было у васъ столько ясности, логики, *взгляда* и *убѣжденнаго вывода*. Правда, ваша „Вѣдность русской литературы“ мнѣ поправилась больше, чѣмъ статья о Толстомъ. Она шире будетъ. Но зато первая половина статьи о Толстомъ — ни съ чѣмъ не сравнишь: это идеаль критической постановки. По моему, въ статьѣ есть и ошибка, но во 1-хъ, это только по моему, а во 2-хъ, и ошибки такіа хороши. Эта ошибка называется: *излишнее увлеченіе*, а это всегда дѣлу спорить, а не вредить. Но въ концѣ концовъ я еще не читывалъ ничего подобнаго въ русской критикѣ. Про статью Данилевскаго думаю, что она должна имѣть колоссальную будущность, хотя-бы и не имѣла теперь. Возможности нѣтъ предположить, чтобъ такіа сочиненія могли заглухнуть и не произвести всего впечатлѣнія. Про „Фрола-же Скобѣева“ *) хотѣлъ-бы написать къ вамъ письмо, съ тѣмъ, чтобъ его напечатать въ „Зарѣ“, да некогда и слишкомъ волнуюсь; впрочемъ, можетъ быть и исполню. Не знаю, что выйдетъ изъ Аверкіева, но послѣ „Капитанской дочки“ я ничего не читалъ подобнаго. Островскій — щеголь и смотритъ безмѣрно выше своихъ куницъ. Если же и выставитъ кунца въ человѣческомъ видѣ, то чуть-чуть не говоря читателю или зрителю: „Ну, что-жъ, вѣдь и онъ человѣкъ“. Знаете-ли, я убѣжденъ, что Добролюбовъ правѣе Григорьева въ своемъ взглядѣ на Островскаго. Можетъ быть, Островскому и дѣйствительно не приходило въ умъ всей идеи на счетъ Темнаго Царства, но Добролюбовъ подсказалъ хорошо, и попалъ на хорошую почву. У Аверкіева, не знаю, найдется-ли столько блеску въ талантѣ и въ фантазіи, какъ у Островскаго, но изображеніе и духъ этого изображенія — безспорно выше. Никакого намѣренія предвзятаго. Аннушка прекрасна безъ всякихъ условій, отецъ тоже. Фрола-бы только я сдѣлалъ немножко подаритѣе. Знаете-ли, Николай Николаевичъ, Великъ-Бояринъ, Нащокинъ, Лычиковъ — вѣдь это наши тогдашніе джентельмены (не говоря о другомъ), вѣдь это сановитость боярская безо всякой карриатуры. Вѣдь на нихъ не только нельзя бросать карриатурнаго ослабленія à la Островскій, но, напротивъ, надо подивиться ихъ джентельменству, т. е. русскому боярству. Это — grand-monde того времени въ высшей и правдивѣйшей степени, такъ что если и засмѣется кто,

*) Напечатанъ въ „Зарѣ“, 1869, № 3.

такъ только развѣ надъ тѣмъ, что кафтанъ другого покроя. Прежде всего и главнѣе всего слышится, что это *изображеніе въ самомъ дѣлѣ*, именно то настоящее, что и было. Это—великій новый талантъ, Николай Николаевичъ, и, можетъ быть, повыше многого современнаго. Бѣда, если его хватитъ только на одну комедію.

Хотѣлъ было кой-что написать вамъ о мартовской „Зарѣ“, да не напишу, т. е. я разувѣю объ изящной литературѣ мартовскаго (да и февральскаго) номера, подожду еще. Не годится мнѣ-то писать, да и боюсь. Поклонъ мой всѣмъ. Крѣпко жму вашу руку. Анна Григорьевна очень вамъ кланяется.

Вашъ весь О. Достоевскій.

PS. Само собою деньги (175 руб.) надо высылать во *Флоренцію*; безъ нихъ я и подняться не могу. „Заря“ тоже, если вышла уже, во Флоренцію. Если-же хоть чуть-чуть замедлила, то въ Дрезденъ.

(Приписка на 1-й стр.).

Ради Христа, не извѣщайте о моей повѣсти раньше, т. е. такъ, какъ сдѣлано было про *Цыганъ*.

Флоренція, 29 апрѣля (11 мая) 1869 г.

Многоуважаемый Николай Николаевичъ, послѣ срока, вами назначеннаго, прошло столько времени, и не только не видно денегъ, но и никакого извѣстія. А извѣстіе мнѣ теперь дороже всего: я ничего не могу предпринять, я долженъ *ждать* и это меня совершенно связываетъ. Я здѣсь даже трачу втрое черезъ это жданіе: чтобъ не возобновлять угорворъ съ прошлой квартирой на мѣсяць, я ее оставилъ, по моему мнѣнію, дня на три, не больше, и вотъ теперь уже восемь дней плачу не помѣсячно, а подневно, что несравненно дороже. Такъ и во всѣхъ другихъ расходахъ—и гадко, и дорого, и предпринять ничего не могу. Обратись я просить денегъ къ другимъ, придется опять три недѣли во Флоренціи оставаться. Здѣсь-же жарко. Но главное,—неопредѣленное положеніе. Что сдѣлалось у васъ, ради Бога объясните. Послѣ такого твердаго вашего завѣренія, я рассчитывалъ день и часъ моего выѣзда отсюда. Не больны-ли вы? Не ошиблись-ли вы въ моемъ адресѣ? Повторяю его: *Italie, Florence, à M-r Théodore Dostoiewsky, poste restante.*

Не случилось-ли чего очень непріятнаго съ „Зарей“? Я не получалъ 4-го номера. Она-то почему не выходитъ?

Величайшая просьба, многоуважаемый Николай Николаевичъ: напишите мнѣ—ждать или нѣтъ? Напишите, пожалуйста, *не медля ни минуты*. По крайней мѣрѣ, вы мнѣ руки развяжете.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Жена кланяется вамъ. Не сердитесь, что я къ вамъ такъ пристаю. Увѣряю васъ, что я въ очень жестокомъ положеніи. Но главное, мнѣ все мерещится,—не случилось-ли чего у васъ въ редакціи?

Всего только два слова отвѣта *).

(Получено 17 августа 1869 г.)

Не винитесь, многоуважаемый Николай Николаевичъ, передо мной въ молчаніи: дѣло извѣстное и житейское и къ тому-же, до переписки-ли редактору, хотя-бы и съ друзьями, не то что съ сотрудниками! Но по припискѣ вашей къ письму многоуважаемаго и дорогаго Аполлона Николаевича вижу и заключаю, что вы по прежнему добры до меня. Это очень хорошо для меня, потому что добрыхъ ко мнѣ людей чѣмъ далѣе, тѣмъ менѣе оказывается. Виноватъ самъ: слишкомъ застрѣлъ за границей, а напоминаю объ себѣ плохо. А стало быть и претензій имѣть не въ правѣ. Но довольно объ дѣлѣ. Благодарю васъ, во-первыхъ, за адресъ Веселовскаго и за мысль, при этомъ, о моемъ интересѣ. Я Веселовскому написалъ. Объ моемъ взглядѣ на это дѣло пишу (съ этою-же почтой) Аполлону Николаевичу въ подробности Въ Дрезденѣ я дѣйствительно всего только 10 дней; но адресъ мой, данный мною кой-кому, еще 3 мѣсяца назадъ въ Дрезденѣ, былъ вѣрный; ибо дрезденскій почтамтъ, по просьбѣ моей изъ Флоренціи, переслалъ мнѣ всѣ письма, ко мнѣ приходившіе въ Дрезденъ, во Флоренцію.—Да-съ, я всего только три недѣли какъ изъ Флоренціи! Провелъ въ ней весь іюль и захватилъ августъ. Можете съ увѣренностію сказать, что никто никогда такой жары не испытывалъ. Русскую баню на полѣхъ,—только съ этимъ и можно сравнить, и это день и ночь. Воздухъ чистъ,—это правда, небо ясно и

*) Дѣло было такъ, что 27 марта мною были отвезены 125 руб. Марѣ Григорьевнѣ; но хотя въ тотъ же день я писалъ Федору Михайловичу, что 175 руб. будутъ ему посланы въ половинѣ апрѣля, а потомъ въ письмѣ отъ 12 апрѣля повторилъ это обѣщаніе, деньги не были отправлены, къ великому моему огорченію. Полученіе откладывалось день за днемъ; я не зналъ что дѣлать, и мнѣ было такъ совѣстно передъ Федоромъ Михайловичемъ, что потомъ я прекратилъ съ нимъ переписку.

голубо, солища ужасно много, — но всетаки невыносимо. Я видѣлъ собственными глазами въ тѣни (въ чрезвычайной тѣни и съ закрытіемъ) — *тридцать пять* градусовъ по Реомюра. Тридцать одинъ, тридцать два въ послѣднія три недѣли было дѣломъ почти обыкновеннымъ. По ночамъ природа смягчалась и давала намъ *двадцать шесть* Реомюра; ну тутъ отдыхали. И представьте себѣ, хотъ и разъѣхались всѣ заграничники въ Германію на воды, или къ нѣмецкимъ морямъ, но во Флоренціи всетаки оставалось ужасно много народу, и даже самыхъ, такъ сказать, милордовъ! Щеголяли костюмами, прогуливались и проч. и проч. Однимъ словомъ, если-бъ вы знали до какой степени я чувствую себя здѣсь совершенно лишнимъ и чужимъ человѣкомъ.

Переѣздъ нашъ совершился черезъ Венецію (какая прелесть Венеція!) и черезъ Прагу, въ которой мы чуть не умерли отъ холоду (сравнительно съ Флоренціей) и въ которой не нашли квартиры. Да-съ, это такъ. Мы намѣрены были провести зиму не въ Дрезденѣ, а въ Прагѣ; такъ и рѣшили. Но пріѣхавъ въ Прагу, искали квартиру три дня и не нашли. *Оттого и уѣхамъ.* Меблированныхъ квартиръ нѣтъ въ цѣломъ городѣ, кромѣ какъ по одной комнатѣ для холостыхъ. Надо покупать свою мебель, нанимать прислугу, а на квартиру совершать контрактъ на шесть мѣсяцевъ. Съ тѣмъ мы и уѣхали въ Дрезденъ.

И такъ, „Заря“ все еще продолжаетъ существовать! Вамъ смѣшны мои слова, но, однако, разсудите, многоуважаемый Николай Николаевичъ: писемъ литературныхъ я ни отъ кого не получаю: въ „Голосѣ“, который читалъ во Флоренціи, въ читальнѣ, объ „Зарѣ“ не упоминалось ни разу. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, который я самъ получалъ, — тоже не упоминалось. А я, я, — получатель „Зари“ (и не въ качествѣ сотрудника, а за деньги, на счетъ, который за мною не пропадетъ) — получивъ *майскій номеръ*, остальные номера (за іюнь, за іюль и проч.) — *получать пересталъ*, — по какой причинѣ, не вѣдаю. Вотъ почему я и рискнулъ на богохульное предположеніе о томъ, что „Заря“ перестала являться. Голубчикъ Николай Николаевичъ, утолите духовную жажду, пришлите „Зарю“, съ іюньской книжки, въ Дрезденъ, *poste restante*, не отлагая дѣла.

(У меня есть и еще въ виду одно изъ собственныхъ обѣщаній вашихъ (въ хорошую минуту, вѣроятно) о присылкѣ мнѣ романа Льва Толстого, но въ настоящую минуту не осмѣливаюсь вамъ напомнить объ этомъ, а такъ только, ради празднаго слова упоминаю). Можете представить, добрый и дорогой Николай Николаевичъ, что въ тридцать градусовъ Реомюра въ тѣни — писать, т. е. сочинять, буквально невозможно. Тѣмъ не менѣе, я уже принялся здѣсь за повѣсть въ „Зарю“, боюсь только, что

выйдет нѣсколько длинна (впрочемъ, только-бы не растянута). Если отвѣтите мнѣ скоро на это письмо, то къ тому времени, можетъ быть, напишу что нибудь поподробнѣе. Очень надѣюсь, что черезъ мѣсяцъ, или черезъ пять недѣль, повѣсть вамъ вышлю.

Эмилія Федоровна написала мнѣ мѣсяца три тому письмо, въ которомъ увѣдомляла, что вы такъ добры, что беретесь передавать ей посылаемые отъ меня деньги и вообще быть до нея добрымъ. Я очень радъ, что Эмилія Федоровна и ея семейство теперь кой-что навѣрно получили по смерти тетки (о смерти этой я узналъ изъ письма Аполлона Николаевича въ первый разъ). Если они что нибудь получили — я ужасно радъ. Во всѣ эти три мѣсяца я былъ крайне бѣденъ деньгами. Еслибъ имѣлъ ихъ, то не сталъ бы жариться во Флоренціи, показъсть скоплю на выѣздъ. Очень прошу васъ, добрѣйшій Николай Николаевичъ, напишите мнѣ слово о нихъ и о томъ, какихъ именно услугъ требовала тогда отъ васъ Эмилія Федоровна. (Разумѣется, я позволяю себѣ любопытствовать только о томъ, что касается до меня).

Черезъ три недѣли у меня будетъ дитя. Жду съ волненіемъ и страхомъ, и съ надеждою, и съ робостію. Вообще, время у меня очень хлопотливое. Надѣюсь, что вы меня не забудете и отвѣтите. Мое почтеніе Данилевскому и всѣмъ, кто меня помнитъ. Упомяните мнѣ хоть двумя словами, когда нибудь, объ Александрѣ Петровичѣ Милюковѣ. Но отвѣта вашего и „Заря“ жду скоро. Это ужъ позвольте.

Вашъ искренно преданный и горячо сочувствующій

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Дрезденъ, 10 (22) января 1870 г.

Любезнѣйшій Николай Николаевичъ, сдѣлайте одолженіе не разсердитесь, что эти нѣсколько строкъ Паша передастъ вамъ незапечатанными. Посылаю въ общемъ конвертѣ и по просьбѣ Паши, очень пожелавшаго получать въ этомъ году „Зарю“. Если можно, то устройте ему это полученіе. Вся возможность факта зависитъ въ этомъ случаѣ отъ кредита. За прошлый годъ я получалъ „Зарю“ въ кредитъ, но за деньги. Кромѣ того, получилъ „Войну и Миръ“ (5 частей). Итакъ за „Зарю“ прошлаго года и за „Войну и Миръ“ я долженъ въ редакцію. Очень прошу васъ, Николай Николаевичъ, сообщите этотъ расчетъ. Такимъ образомъ за прошлый годъ будемъ квиты.

Теперь: за этотъ годъ (1870) я долженъ тоже получать „Зарю“, да Паша просить еще „Зарю“ для себя. И такъ—можно-ли мнѣ это устроить уже на кредитъ? То есть въ этомъ (1870) году я буду получать уже два экземпляра „Зари“, конечно за деньги, но такъ, чтобъ расчетъ былъ уже въ концу года. Вотъ это-то и будетъ значить въ кредитъ. Если возможно, то очень прошу васъ способствовать этому.

Кромѣ того на *кредитъ* тоже буду просить васъ выслать мнѣ черезъ Базунова 6-ю часть Льва Толстаго („Война и Миръ“), о которой я читалъ въ газетахъ. Очень прошу, и если возможно, то не откладывая.

И такъ я буду долженъ въ редакцію за этотъ 1870 годъ за двѣ „Зари“ и за 6-ю часть „Войны и Мира“. Болѣе беспокоить не буду просьбами ни васъ, ни редакцію, а въ суммѣ, которую буду долженъ (т. е. за эти 2 „Зари“ и за 6-ю часть), найдемъ случай сквитаться въ концѣ года такъ или этакъ.

Я и не зналъ, что вы уже воротились въ Петербургъ. Какъ ваше здоровье и много-ли намѣрены работать? Дай вамъ Богъ всякаго успѣха. Мнѣ-бы очень хотѣлось васъ видѣть; мнѣ все кажется, что и вы и всѣ должны были ужасно измѣниться за эти три года.

Вашъ совершенно преданный

О. Достоевскій.

Дрезденъ, 26 февраля (10 марта) 1870 г.

Спѣшу поблагодарить васъ, многоуважаемый Николай Николаевичъ, за память и за письмо. На чужбинѣ письма отъ прежнихъ добрыхъ знакомыхъ дороги. Вонъ Майковъ такъ совѣтъ, кажется, пересталъ мнѣ писать. Съ жадностію прочелъ тоже ваши нѣсколько строкъ одобренія о моемъ рассказѣ *). Это мнѣ и лестно и пріятно; читателямъ, какъ вы, я и всегда желалъ бы угодить и желаю угодить. Кашпиревъ тоже доволенъ—въ двухъ письмахъ упомянулъ. Очень радъ всему этому и особенно

*) Дѣло идетъ о рассказѣ „Вѣчный Мужъ“, напечатанномъ въ „Зарѣ“ 1870, №№ 1 и 2. Вотъ что я писалъ Федору Михайловичу: „Ваша повѣсть производить весьма живое впечатлѣніе и будетъ имѣть несомнѣнный успѣхъ. По моему, это одна изъ самыхъ обработанныхъ вашихъ вещей,—а по темѣ—одна изъ интереснѣйшихъ и глубочайшихъ, какія только вы писали. Я говорю о характерѣ Трусоцкаго; большинство едва-ли пойметъ, но читаютъ и будутъ читать съ жадностію“.
(14 февраля).
Н. С.

выйдетъ нѣсколько длинна (впрочемъ, только-бы не растянута). Если отвѣтите мнѣ скоро на это письмо, то къ тому времени, можетъ быть, напишу что нибудь поподробнѣе. Очень надѣюсь, что черезъ мѣсяцъ, или черезъ пять недѣль, повѣсть вамъ вышлю.

Эмилія Федоровна написала мнѣ мѣсяца три тому письмо, въ которомъ увѣдомляла, что вы такъ добры, что беретесь передавать ей посланные отъ меня деньги и вообще быть до нея добрымъ. Я очень радъ, что Эмилія Федоровна и ея семейство теперь кой-что навѣрно получили по смерти тетки (о смерти этой я узналъ изъ письма Аполлона Николаевича въ первый разъ). Если они что нибудь получили — я ужасно радъ. Во всѣ эти три мѣсяца я былъ крайне бѣденъ деньгами. Еслибъ имѣлъ ихъ, то не сталъ бы жариться во Флоренціи, показъсть скоплю на выѣздъ. Очень прошу васъ, добрѣйшій Николай Николаевичъ, напишите мнѣ слово о нихъ и о томъ, какихъ именно услугъ требовала тогда отъ васъ Эмилія Федоровна. (Разумѣется, я позволяю себѣ любопытствовать только о томъ, что касается до меня).

Черезъ три недѣли у меня будетъ дитя. Жду съ волненіемъ и страхомъ, и съ надеждою, и съ робостію. Вообще, время у меня очень хлопотливое. Надѣюсь, что вы меня не забудете и отвѣтите. Мое почтеніе Данилевскому и всѣмъ, кто меня помнитъ. Упомяните мнѣ хоть двумя словами, когда нибудь, объ Александрѣ Петровичѣ Милуковѣ. Но отвѣта вашего и „Заря“ жду скоро. Это ужъ позвольте.

Вашъ искренно преданный и горячо сочувствующій

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Дрезденъ, 10 (22) января 1870 г.

Любезнѣйшій Николай Николаевичъ, сдѣлайте одолженіе не разсердитесь, что эти нѣсколько строкъ Паша передастъ вамъ незапечатанными. Посылаю въ общемъ конвертѣ и по просьбѣ Паши, очень пожелавшаго получать въ этомъ году „Зарю“. Если можно, то устройте ему это полученіе. Вся возможность факта зависитъ въ этомъ случаѣ отъ кредита. За прошлый годъ я получалъ „Зарю“ въ кредитъ, но за деньги. Кромѣ того, получилъ „Войну и Миръ“ (5 частей). Итакъ за „Зарю“ прошлаго года и за „Войну и Миръ“ я долженъ въ редакцію. Очень прошу васъ, Николай Николаевичъ, сообщите этотъ расчетъ. Такимъ образомъ за *прошлый годъ* будетъ квиты.

Теперь: за этотъ годъ (1870) я долженъ тоже получать „Зарю“, да Паша просить еще „Зарю“ для себя. И такъ—можно-ли мнѣ это устроить уже на кредитъ? То есть въ этомъ (1870) году я буду получать уже два экземпляра „Зари“, конечно за деньги, но такъ, чтобъ расчетъ былъ уже въ концу года. Вотъ это-то и будетъ значить въ кредитъ. Если возможно, то очень прошу васъ способствуйте этому.

Кромѣ того на *кредитъ* тоже буду просить васъ выслать мнѣ черезъ Базунова 6-ю часть Льва Толстаго („Война и Миръ“), о которой я читалъ въ газетахъ. Очень прошу, и если возможно, то не откладывая.

И такъ я буду долженъ въ редакцію за этотъ 1870 годъ за двѣ „Зари“ и за 6-ю часть „Войны и Мира“. Болѣе беспокоить не буду просьбами ни васъ, ни редакцію, а въ суммѣ, которую буду долженъ (т. е. за эти 2 „Зари“ и за 6-ю часть), найдемъ случай сквитаться въ концѣ года такъ или этакъ.

Я и не зналъ, что вы уже воротились въ Петербургъ. Какъ ваше здоровье и много-ли намѣрены работать? Дай вамъ Богъ всякаго успѣха. Мнѣ-бы очень хотѣлось васъ видѣть; мнѣ все кажется, что и вы и всѣ должны были ужасно измѣниться за эти три года.

Вашъ совершенно преданный

Ф. Достоевскій.

Дрезденъ, 26 февраля (10 марта) 1870 г.

Спѣшу поблагодарить васъ, многоуважаемый Николай Николаевичъ, за память и за письмо. На чужбинѣ письма отъ прежнихъ добрыхъ знакомыхъ дороги. Вонъ Майковъ такъ совсѣмъ, кажется, пересталъ мнѣ писать. Съ жадностію прочелъ тоже ваши нѣсколько строкъ одобренія о моемъ рассказѣ *). Это мнѣ и лестно и пріятно; читателямъ, какъ вы, я и всегда желалъ бы угодить и желаю угодить. Кашпиревъ тоже доволенъ—въ двухъ письмахъ упомянулъ. Очень радъ всему этому и особенно

*) Дѣло идетъ о рассказѣ „Вѣчный Мужъ“, напечатанномъ въ „Зарѣ“ 1870, №№ 1 и 2. Вотъ что я писалъ Федору Михайловичу: „Ваша повѣсть производить весьма живое впечатлѣніе и будетъ имѣть несомнѣнный успѣхъ. По моему, это одна изъ самыхъ обработанныхъ вашихъ вещей,—а по темѣ—одна изъ интереснѣйшихъ и глубочайшихъ, какія только вы писали. Я говорю о характерѣ Трусоцкаго; болшинство едва-ли пойметъ, но читаютъ и будутъ читать съ жадностію“. (14 февраля).
Н. С.

радъ тому, что вы пишете о „Зарѣ“: если она стала твердо, то и славно. По направленію я совершенно ей принадлежу, а стало быть ея успѣхъ все равно, что свой успѣхъ. Мнѣ она, отчего-то, „Время“ напоминаетъ, — время „нашей вности“, Николай Николаевичъ! А впрочемъ хотѣте скажу откровенно: я нѣсколько боялся за успѣхъ подписки. За успѣхъ журнала не боялся; рано-ли, поздно-ли журналъ пріобрѣлъ-бы, наконецъ, подписчиковъ; но за нынѣшнюю подписку нѣсколько опасался. Мнѣ все казалось здѣсь, что журналъ могъ-бы издаваться и по аккуратнѣе и даже по самоувѣреннѣе. Но я ошибся и это славно. 2,500 подписчиковъ тѣмъ славно, что обозначаютъ установившійся журналъ *). Разумѣется 3,500 подписчиковъ было-бы не въ примѣръ лучше. И не понимаю рѣшительно, почему ихъ нѣтъ у журнала съ такимъ необходимѣйшимъ направленіемъ и при такихъ статьяхъ, какія являлись въ прошломъ году. Совершенно убѣжденъ, что эта тысяча неявившихся подписчиковъ уже были и стучались въ двери редакціи, но только такъ какъ-то проскользнули у ней между пальцевъ **). И все то можетъ быть зависѣло отъ такихъ мелочей, — отъ какой нибудь ловкости, яркости издательской. Всѣ эти мелочи такъ важны въ издательскомъ дѣлѣ. Слишкомъ понимаю, что вмѣшиваюсь теперь не свое дѣло, но посудите: по газетному объявленію февральскій № „Зари“ вышелъ 16 февраля. И вотъ уже 26 февраля, а я еще не получалъ! Допустить не могу, чтобы контора редакціи дѣлала это только со мной (почему-же съ однимъ со мной?) А стало быть ясно для меня, что страдаютъ такъ и другіе иногородные. Вѣрите-ли, сегодня ушелъ съ почти скрежеща зубами, — до того мнѣ хочется, наконецъ, прочесть книжку. Здѣсь каждое полученіе „Зари“ для меня праздникъ, именины. Думалъ даже телеграфировать сегодня въ редакцію. (Кто знаетъ, можетъ быть, дѣйствительно забыли послать мнѣ? Справьтесь ради Бога, прошу васъ). Безспорно все это мелочи. Но если этихъ мелочей наберется нѣсколько, то вовсе немудрено, что цѣлая тысяча подписчиковъ ускользнетъ.

Я, по полученіи перваго номера „Зари“, написалъ Майкову, что книга не произвела на меня сильнаго впечатлѣнія. Ужасно мало показало мнѣ беллетристики. Одна моя повѣсть. Вы ее хвалите, но вѣдь не Богъ знаетъ-же она что, чтобы ею одной обойтись, да еще въ добавокъ не повѣсть, а полповѣсти, 5 листочковъ. (Слово Майкова — стихи, а не бел-

*) Повторяю, что точныя цифры подписчиковъ мнѣ были неизвѣстны. Проницательность Федора Михайловича не обманывала его, заставляя съ сомнѣніемъ принимать мои слова.
Н. С.

**) Здѣсь отзывается воспоминаніе успѣха „Времени“ и тѣхъ ошибокъ и не исправностей, которыя погубили „Эпоху“.
Н. С.

тристика *). Ваша-же статья хоть и превосходна, но всетаки на старую тему (я не съ моей точки зрѣнія говорю, а съ точки зрѣнія подписчиковъ). Кстати, кто это вамъ сказалъ, что статья ваша о Тургеневѣ лучше чѣмъ о Толстомъ? Статья о Тургеневѣ прекрасная и ясная статья, но въ статьяхъ о Толстомъ вы поставили, такъ сказать, вашу основную точку, съ которой и намѣрены продолжать вашу дѣятельность—вотъ какъ я смотрю на это. И, если позволите сказать—я буквально со всѣмъ согласенъ теперь (прежде не былъ), и изъ всѣхъ, нѣсколькихъ тысячъ строкъ этихъ статей,—я отрицаю всего только *дѣтъ* строки, ни болѣе ни менѣе, съ которыми положительно не могу согласиться. Но объ этомъ послѣ. Важно то, что всетаки журналъ *основался*, а стало быть и слава Богу!

Кстати, что это вы пишете про свое здоровье: все *скрипю*? Развѣ вы больны чѣмънибудь постояннымъ? Въ первый разъ это слышу отъ васъ, мое-же здоровье—такъ себѣ. Вы знаете—припадки, а остальное все хорошо.

Вы пишете мнѣ: не поможете-ли?—то-есть на счетъ участія въ „Зарѣ“. На этотъ счетъ объяснюсь съ вами, многоуважаемый Николай Николаевичъ, совершенно прямо и откровенно: участвовать въ „Зарѣ“ я желаю всей душой и всѣмъ сердцемъ, да и „Зарѣ“ желаю не только отъ сердца, но и по самымъ дорогимъ мнѣ убѣжденіямъ самаго блистательнаго успѣха. Но, чтобъ я могъ приготовить чтонибудь по аккуратнѣе для „Зари“, нужно, чтобъ и „Заря“ помогла мнѣ впередъ. Можетъ-ли она сдѣлать это для меня? Въ этомъ и весь вопросъ.

Этотъ разговоръ о деньгахъ впередъ—не капризъ, не заносчивость и не ломанье самонадѣянное съ моей стороны, и это тѣмъ болѣе, что не меня просать, а я самъ себя предлагаю, потому что ваше приглашеніе *помочь* не могу счесть за формальное предложеніе. Считаю излишнимъ и скучнымъ распространяться о моихъ денежныхъ обстоятельствахъ, но вся суть вамъ будетъ слишкомъ понятна изъ двухъ словъ: я всю жизнь работалъ изъ за денегъ и всю жизнь нуждался ежеминутно; теперь-же болѣе чѣмъ когданибудь. Къ веснѣ долженъ непремѣнно достать денегъ; за работу-же мою мнѣ всю жизнь и всѣ давали впередъ, и по многу даже, и иначе никогда не бывало. Да иначе и не можетъ быть, ибо у меня никогда не случается заразъ значительной суммы, съ которою я бы могъ выдержать нѣсколько мѣсяцевъ и уже потомъ, выдержавъ, продавать романъ готовый, какъ дѣлаютъ наши старшіе литераторы.

Но при этомъ скажу вамъ прямо, что я никогда не выдумывалъ

*) Дѣло идетъ о „Словѣ о полку Игоревѣ“.

сюжета изъ за денегъ, изъ за принятой на себя обязанности къ сроку написать. Я всегда обязывался и запродавался, когда уже имѣлъ въ головѣ тему, которую дѣйствительно хотѣлъ писать и считалъ нужнымъ написать. Такую тему имѣю и теперь. Распространяться объ ней не буду, но вотъ что скажу: рѣдко являлось у меня чтонибудь новѣе, полнѣе и оригинальнѣе. Я могу такъ говорить не будучи обвиненъ въ тщеславіи, потому что говорю еще только про тему, про воплотившуюся въ головѣ мысль, а не про исполненіе. Исполненіе-же зависитъ отъ Бога; могу и испакостить, что часто со мною случалось, но что-то мнѣ говоритъ внутри меня, что вдохновеніе не оставитъ меня. Но за новостъ мысли и за оригинальность приѣма ручаюсь и покажѣсть смотрю на мысль съ восторгомъ. Это будетъ романъ въ двухъ частяхъ — не менѣе 12, но и не болѣе 15 листовъ (такъ я думаю). По крайней мѣрѣ, никакъ не болѣе. Доставленъ быть можетъ въ редакцію къ 1-му декабря нынѣшняго (1870) года навѣрно. Я могу обезпечиться временемъ, чтобъ написать порядочно. (NB. Онъ-бы могъ быть доставленъ и къ 1-му ноября, но, признаюсь, мнѣ глубоко не желалось-бы напечатать вторую большую повѣсть въ одномъ и томъ-же журналѣ, въ одномъ и томъ-же году. Не лучше-ли, какъ и теперь, въ январѣ и февралѣ будущаго года? Впрочемъ, иначе, кажется, и не могло-бы быть).

Вотъ все, что я могу выставить съ моей стороны. Со стороны-же редакціи вотъ чего прошу: тысячу рублей впередъ въ такой формѣ: пятьсотъ рублей черезъ мѣсяць отъ сего числа, и остальные пятьсотъ пожалуй хоть въ разбивку, начиная черезъ мѣсяць по выдачѣ первыхъ пятисотъ рублей, ежемѣсячно по сту, и такъ въ продолженіи пяти мѣсяцевъ. Все дѣло и главное въ томъ, чтобъ доставки были аккуратны. Первые-же 500 руб. непремѣнно черезъ мѣсяць и непремѣнно разомъ.

Если вы, многоуважаемый Николай Николаевичъ, найдете сами, на свой собственный взглядъ, это предложеніе мое возможнымъ и исполнимымъ, то сообщите Василю Владиміровичу, и затѣмъ какъ онъ рѣшитъ. Въ случаѣ его согласія, дайте мнѣ знать, чтобъ ужъ мнѣ не рассчитывать по напрасну и чтобъ я могъ распорядиться на весь этотъ годъ моимъ временемъ и трудомъ окончательно.

Прибавлю еще, что съ моей стороны такое предложеніе не считаю ни чрезмѣрнымъ и не задорнымъ, во 1-хъ, потому что я десятки разъ дѣлалъ подобныя, и даже несравненно значительнѣйшія предложенія, которыя всѣ почти были приняты; надѣюсь, что и теперь все еще сохранилъ нѣкоторый кредитъ; во 2-хъ-же, журналъ „Заря“, какъ я изъ газетъ знаю, выдавалъ-же и по 1,500 руб. впередъ прошлаго года. Во всякомъ слу-

чаѣ, я съ моимъ полнымъ удовольствіемъ и работать буду съ жаромъ; а затѣмъ, какъ рѣшить издатель.

Еще прибавлю, что я всегда, во всю мою литературную жизнь, исполнялъ точнѣйшимъ образомъ мои литературныя обязательства и ни разу не манкировалъ; сверхъ того ни разу не писалъ собственно изъ за однихъ денегъ, чтобъ отдѣлаться отъ принятаго на себя обязательства. Если портить, то портить отъ чистаго сердца, а не злоумышленно.

Сверхъ того обязуюсь, вплоть до доставки рукописи, уже не беспокоить редакцію просьбами о иныхъ вспоможеніяхъ деньгами, кромѣ этихъ тысячи рублей. И, наконецъ, обязуюсь не умереть въ этомъ году.

Итакъ, жду вашего отвѣта, и кромѣ всего этого имѣю до васъ величайшую и неотступнѣйшую просьбу: если возможно, вышлите мнѣ, на будущій кредитъ (такъ же, какъ вы выслали мнѣ „Войну и Миръ“) книжку Станкевича о Грановскомъ. Окажете мнѣ этимъ огромную услугу, которую вѣкъ буду помнить. Книжонка эта нужна мнѣ, какъ воздухъ, и какъ можно скорѣе, какъ матеріалъ, необходимѣйшій для моего сочиненія, — матеріалъ, безъ котораго я ни за что не могу обойтись. Не забудьте же, ради Христа, если только найдете возможнымъ выслать.

Анна Григорьевна вамъ кланяется и сердечно васъ вспоминаетъ. Мы теперь возимся съ нашей Любочкой. Ахъ, зачѣмъ вы не женаты и зачѣмъ у васъ нѣтъ ребенка, многоуважаемый Николай Николаевичъ! Клянусь вамъ, что въ этомъ $\frac{3}{4}$ счастья жизненнаго, а въ остальномъ развѣ только одна четверть.

Неужели и сегодня не получу „Зарю“? Точу зубы на вашу статью „Женскій вопросъ“ — этакая тема! Жду огромнаго наслажденія. Именно вы можете написать объ этомъ такъ какъ надо. Я всегда съ вашихъ статей разрѣзаю книгу, и не для комплимента это говорю. А знаете-ли, очень можетъ быть, что въ нынѣшнемъ году свидимся.

Вашъ душевно преданный

Федоръ Достоевскій.

Дредегъ, 24-го марта (5-го апрѣля 1870 г.).

Слѣшу отвѣтить вамъ, многоуважаемый Николай Николаевичъ, и прежде всего о себѣ. Скажу вамъ откровенно и окончательно, что разсчитавъ все, я никакъ не могу и не смѣю обѣщать романъ для осеннихъ книжекъ. Мнѣ кажется, что это положительно невозможно; да и Редакцію

я бы просилъ не стѣснятъ меня въ работѣ, которую я хочу сдѣлать начисто, со всѣмъ стараніемъ,—такъ какъ дѣлаютъ тѣ господа (т. е. великіе). За одно я отвѣчаю, что къ январю будущаго года поспѣю. Мнѣ эта работа моя дороже всего. Это одна изъ самыхъ дорогихъ мыслей моихъ и мнѣ хочется сдѣлать очень хорошо. Теперь-же, въ настоящее время, я работаю одну вещь въ „Русскій Вѣстникъ“, кончу скоро. Я туда еще остался *значительно* долженъ. Еслибъ, имѣя теперь крайнюю нужду, я обратился теперь, описавъ все, къ Каткову, то ясное дѣло, что и будущая работа моя должна принадлежать ему. Я откровенно вамъ все объясняю. (На вещь, которую я теперь пишу въ „Русскій Вѣстникъ“, я сильно надѣюсь, но не съ художественной, а съ тенденціозной стороны; хочется высказать нѣсколько мыслей, хотя-бы погибла при этомъ моя художественность, но меня увлекаетъ накопившееся въ умѣ и въ сердцѣ; пусть выйдетъ хоть памфлетъ, но я выскажусь. Надѣюсь на успѣхъ. Впрочемъ, кто-же можетъ садиться писать, не надѣясь на успѣхъ?)

Теперь повторяю вамъ, что говорилъ еще прежде: Я всегда всю жизнь работалъ тѣмъ, кто давалъ мнѣ впередъ деньги. Такъ оно всегда случалось и иначе никогда не бывало. Это худо для меня съ экономической точки зрѣнія, но что-же дѣлать! Зато я, получая деньги впередъ, всегда давалъ уже нѣчто имѣющееся, т. е. продавался только тогда, когда поэтическая идея уже родилась и по возможности созрѣла. Я не бралъ денегъ впередъ за *пустое мѣсто*, т. е. надѣясь къ данному сроку *выдумать* и *сочинить* романъ. Я думаю, тутъ есть разница. Теперь-же я и въ работѣ хочу быть спокоенъ. Я въ „Русскій Вѣстникъ“ кончу скоро, и за романъ сяду съ наслажденіемъ. Идея этого романа существуетъ во мнѣ уже три года, но прежде я боялся сѣсть за него за границей, я хотѣлъ для этого быть въ Россіи. Но за три года созрѣло много, весь планъ романа, и думаю, что за первый отдѣлъ его (т. е. тотъ, который назначаю въ „Зарю“), могу сѣсть и здѣсь, ибо дѣйствіе начинается много лѣтъ назадъ. Не безпокойтесь о томъ, что я говорю о „*первомъ отдѣлѣ*“. Вся идея потребуетъ большаго размѣра объемомъ, по крайней мѣрѣ такого-же, какъ романъ Толстого. Но это будетъ составлять пять отдѣльныхъ романовъ, и до того отдѣльныхъ, что нѣкоторые изъ нихъ (кромя двухъ среднихъ) могутъ появляться даже въ разныхъ журналахъ, какъ совсѣмъ отдѣльныя повѣсти, или быть изданы отдѣльно, какъ совершенно законченныя вещи. Общее названіе впрочемъ будетъ: „Житіе великаго грѣшника“, при особомъ названіи отдѣла. Каждый отдѣлъ (т. е. романъ) будетъ не болѣе 15 листовъ. Для втораго романа я уже долженъ быть въ Россіи; дѣйствіе во второмъ романѣ будетъ проис-

ходить въ монастырѣ и, хотя я знаю русскій монастырь превосходно, но всетаки хочу быть въ Россіи. Я ужасно-бы хотѣлъ поговорить съ вами подробнѣе; но что-же выскажешь на письмѣ? Скажу еще разъ, мнѣ невозможно обѣщать для нынѣшняго года; не торопите меня и получите вещь совѣстливую, а можетъ быть и хорошую. (По крайней мѣрѣ изъ этой идеи я сдѣлалъ цѣль всей моей будущей литературной карьеры; ибо нечего разсчитывать жить и писать далѣе, какъ лѣтъ 6 или 7). Пусть „Заря“ не обижается тѣмъ, что дастъ деньги за девять мѣсяцевъ раньше: я и за два года впередъ иногда получалъ. Вѣдь не посяешь не пожнешь, а вы знаете, Николай Николаевичъ, въ точности, что это я не изъ задора говорю, а потому, что такъ всегда у меня складывались обстоятельства. *Да и деньги-то тогда небольшія* въ сущности. Если-же я обращусь къ другимъ, то и трудъ мой, естественно, долженъ принадлежать другимъ. Литераторъ я былъ всегда честный. „Зарѣ-же“ желалъ-бы и самъ служить, ибо направленіе мнѣ по душѣ. Вотъ все о моемъ этомъ дѣлѣ. Объ одномъ прошу серьезно, Николай Николаевичъ, — если дѣло это возможно, то увѣдомьте меня, какъ старый добрый пріятель и сотрудникъ, *поскорѣе*. Мои нужды до того растутъ, что мнѣ нельзя терять времени; такъ чтобы знать ужъ навѣрно. У меня на рукахъ жена и ребенокъ, да кромѣ того нужно спокойствіе и обезпеченіе. Пусть Кашпиревъ рѣшится на что нибудь, на *да* или *нетъ*; по крайней мѣрѣ, чтобы знать, ибо время мнѣ дорого. Въ этомъ случаѣ и *нетъ* будетъ выгоднѣе оттягивающагося *да*, ибо время не потеряю. Мартовскую книжку „Зари“ прочелъ съ великимъ удовольствіемъ. Съ нетерпѣніемъ жду продолженія вашей статьи, чтобы все понять въ ней. Я предчувствую, что вы главное хотите представить Г. какъ западника и поговорить объ западѣ, въ противоположеніи съ Россіей, такъ-ли? *) Вы чрезвычайно удачно поставили главную точку Г. — пессимистъ; но признаете-ли вы *дѣйствительно* сомнѣнія его (это виновать, Круповъ и т. д.) не разрѣшными? Вы это, кажется, обходите и, кажется мнѣ, для того, чтобы высказать специально вашу главную мысль. Во всякомъ случаѣ съ страшнымъ нетерпѣніемъ жду продолженія статьи; тема слишкомъ задирающая и современная. И каково-же это будетъ, когда вы докажете, что Г. раньше многихъ другихъ сказалъ, что западъ гниетъ? Что скажутъ западники времени Грановскаго? Не знаю, то-ли будетъ у васъ, я только предугадываю. Кстати (хотя это и не входитъ въ *тему* вашей статьи), но неправда-ли, что есть и еще одна точка въ опредѣленіи

*) Дѣло идетъ о статьѣ „Литературная дѣятельность Герцена“. Статья первая. „Заря“, 1870, № 3.

и постановкѣ главной сущности всей дѣятельности Г.—именно та, что онъ былъ всегда и вездѣ, — *поэтъ по преимуществу*. Поэтъ беретъ въ немъ верхъ вездѣ и во всемъ, во всей его дѣятельности. Агитаторъ-поэтъ, политическій дѣятель-поэтъ, социалистъ-поэтъ, философъ — въ высшей степени поэтъ! Это свойство его натуры. Мнѣ кажется, много объяснить можетъ въ его дѣятельности даже его легкомысліе и склонность къ каламбуру въ высочайшихъ вопросахъ нравственныхъ и философскихъ (что, говоря мимоходомъ, въ немъ очень претитъ). „Женскій вопросъ“ (въ февралѣ) по моему изложенъ у васъ превосходно, но отвѣчаю на вашъ вопросъ — почему я нашелъ въ „Зарѣ“ недостатокъ *самоуверенности*? Я можетъ быть не точно выразился, но вотъ что: вы слишкомъ, слишкомъ мягки. Для нихъ надо писать съ плетью въ рукѣ. Во многихъ случаяхъ, вы для нихъ слишкомъ ужны. Если-бъ вы на нихъ поазартиге и *поурубне* нападали, было-бы лучше. Нигилисты и западники требуютъ окончательной плети. Въ статьяхъ о Толстомъ вы какъ-бы умоляете ихъ согласиться съ вами, а въ послѣднихъ статьяхъ о Толстомъ — вы впадаете въ какое-то уныніе и разочарованіе, тогда какъ, по моему, тонъ долженъ быть торжественный и радостный *до дерзости!* Ну что вы думаете — понимаютъ они въ самомъ дѣлѣ тонкій, блестящій юморъ вашъ въ письмахъ Косицы? Когда я здѣсь читалъ объ г-жѣ Конради, подражающей Писареву, или объ томъ, гдѣ вы просите вашего корреспондента, послѣ того какъ вы, въ своему удивленію, чувствуете, что не можете считать себя ни дуракомъ, ни подлецомъ — и тотчасъ-же оговариваетесь, какъ-бы въ страхѣ: „я васъ прошу понять меня какъ слѣдуетъ“ — то я здѣсь хохоталъ, а неужели вы думаете, что такой тонъ имъ понятенъ? *). Однимъ словомъ: вамъ подобнымъ тономъ *не* писать — невозможно; ибо эта серьезность, любовь и почтительность къ дѣлу есть теперь тонъ журнала, и этотъ тонъ высокъ, что и прекрасно и составляетъ сущность „Зари“; но иногда, по моему надо *понижать* тонъ, брать плеть въ руки и не защищаться, а самимъ нападать, гораздо поглубже. Вотъ что я разумѣлъ подъ *самоуверенностью*. Впрочемъ, можетъ быть, я сужу ошибочно — изъ азарта. Двѣ строчки о Толстомъ, съ которыми я не соглашаюсь вполнѣ, это, когда вы говорите, что Л. Толстой равенъ всему, что есть въ нашей литературѣ великаго **).

*) Дѣло идетъ о статейкѣ „за Тургенева“ („Заря“, 1869 г., сентябрь), подписанной псевдонимомъ: *Н. Косица*.

Н. С.

***) Вотъ мои подлинныя слова: „Война и Миръ“ есть произведеніе *гениальное*, равное всему лучшему и истинно-великому, что произвела русская литература („Заря“, 1869 г., мартъ, стр. 199). Прямой смыслъ тотъ, что романъ этотъ слѣдуетъ причислять къ высшему разряду произведеній всей нашей литературы.

Н. С.

Это рѣшительно невозможно сказать! Пушкинъ, Ломоносовъ — гениі. Явиться съ „Арапомъ Петра Великаго“ и съ „Вѣлкинымъ“ значить рѣшительно появиться съ гениальнымъ *новымъ словомъ*, котораго до тѣхъ поръ *совершенно* не было нигдѣ и никогда сказано. Явиться-же съ „Войной и Миромъ“, — значить явиться послѣ этого *новаго слова*, уже высказаннаго Пушкинымъ, и это *во всякомъ случаѣ*, какъ-бы далеко и высоко ни пошелъ Толстой въ развитіи уже сказаннаго въ первый разъ до него, гениемъ, новаго слова. По моему, это очень важно. Впрочемъ, я не могу всего высказать въ нѣсколькихъ строкахъ.

Извините, Чаева романъ „Подспудныя силы“ мнѣ очень понравился: очень поэтично и написано поважѣсть хорошо. А зачѣмъ-же вы его упустили? „Свекровь“ — строже, какъ произведеніе, но вѣдь это не романъ и сверхъ того *стихи*. (Я т. е. сужу съ площадной точки зрѣнія — *необходимой* говоря о подписчикахъ).

Анна Григорьевна вамъ сердечно кланяется. Ахъ, кабы поскорѣй домой, Николай Николаевичъ, поскорѣе-бы!

Весь вамъ Ф. Достоевскій.

PS. Повторяю, жду отъ васъ, какъ отъ добраго стараго пріятеля — извѣщенія меня поскорѣе. Да и деньги ухъ какъ нужны; хорошо, если-бъ Башпиревъ не оттягивалъ присылку, если скажетъ *да*.

Все забываю спросить: неужели книга Данилевскаго „Европа и Россія“ — не появится отдѣльно? Да какъ-же это можно? Ради Бога, не забудьте объ этомъ увѣдомить.

Дрезденъ, 28 мая (9 іюня) 1870 г.

Благодарю васъ за письмо, добрѣйшій Николай Николаевичъ. Вы пишете всегда такія коротенькія письма, но имѣющія свойство шевелить меня. Мнѣніе ваше о критической вашей дѣятельности считаю и неполнымъ и неправильнымъ. Во первыхъ, я такъ думаю: не будь теперь вашихъ критикъ, и вѣдь у насъ совсѣмъ ужъ не останется *никого*, въ цѣлой литературѣ, кто-бы смотрѣлъ на критику, какъ на дѣло серьезное и строго необходимое. Не останется даже никого изъ пишущихъ критиковъ, кто-бы сколько нибудь цѣнилъ потребность (и уваженіе къ нему) правильнаго философскаго осмысленія текущихъ и минувшихъ вещей, а стало быть цѣнилъ и критику, т. е. собственное дѣло свое. И такъ, за вами, прежде всего, этотъ строгій и философскій взглядъ на критику, чего у другихъ нѣтъ, что и дѣлаетъ „Зарю“ единственнымъ журналомъ,

имѣющимъ критику и правильный взглядъ на нее. (Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ критика легкомысленная, правда впадающая въ тонъ общаго направленія журнала, но слишкомъ мелкая). А стало быть, если-бъ за вами только это и было, — то ужъ это громадно много. А потомъ, позвольте вамъ сказать, что вліянія не такъ скоро создаются, что сумбуръ нашего современнаго общества имѣеть-же смыслъ, т. е. свои законы движенія, и что, наконецъ, вы даже не имѣете никакой возможности судить о непосредственной полезности и вліятельности вашихъ статей и дѣйствительно-ли онѣ пишутся для тѣхъ только, „кто и безъ васъ также думалъ“. Это неправда.

Вотъ вамъ однако-же, по моему соображенію, и нѣкоторая мѣрка судить о вліяніи: журналъ „Заря“ — по преимуществу журналъ направленія и критики; число подписчиковъ черезъ 2—3 года покажетъ и вліяніе ея въ публикѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ несомнѣнно и вліяніе критики; потому что критика есть главная черта „Зари“, главная ея спеціальность для публики. Публика, хотя безсознательно, но всегда такъ обнаруживаетъ себя.

А вѣдь я думалъ, что вы похвалите Струве! По крайней мѣрѣ за доброе намѣреніе. Шваховать я въ философіи (но не въ любви къ ней; въ любви къ ней я силенъ). Миѣ, впрочемъ, когда я внимательно читалъ диссертацию Струве, самому показалась новымъ матеріальность души. Любопытна-же миѣ была диссертациа главное потому, что я предчувствовалъ, что это именно теперешняя, послѣдняя манера мыслить нѣмецкихъ философовъ. Только знаете, Николай Николаевичъ, вѣдь они васъ сочтутъ за отсталаго старика, сражающагося еще лукомъ и стрѣлами, тогда какъ у нихъ уже давно ружья пошли. Что касается до меня, то я вашу статью прочелъ два раза и съ наслажденіемъ. Кромѣ того, вы удивительно имѣете писать. Литературный языкъ вашъ лучше, чѣмъ у нихъ у всѣхъ. А это, какъ хотите, не можетъ быть подъ конецъ не замѣчено. Я очень порадовался, что вы съ такимъ презрѣніемъ относитесь къ теперешней манерѣ философствовать, но и очень-бы желалъ, чтобъ вамъ они отвѣчали. А какой ерничный тонъ во всей теперешней литературѣ! Про безпорядокъ и сумятицу въ идеяхъ — Богъ съ ними, они и должны были произойти. Но этотъ тонъ всеобщій! Какая ерничность, какая уличность! И ни одной-то усвоенной, крѣпкой мысли; хоть какойнибудь, хотя-бы и ложной! Что у нихъ за философы, что у нихъ за фельетонисты! Полная дрянь! Но есть зато единицами люди, которые и мыслятъ и вліяніе имѣють — и такъ всегда бываетъ при всякомъ безпорядкѣ. Только чтобъ эти единицы пересилили сумбуръ публики, и вы увидите, что она приметъ ихъ тонъ наконецъ.

Кстати: кто этот молодой профессор, который, передовыми статьями в „Голосѣ“ „совершенно убилъ Каткова, такъ что ужъ того теперь и не читаютъ!“ Имя этого счастливица! Напишите мнѣ ради Бога поскорѣе, возвѣстите *)! Давно уже, еще лѣтъ двадцать слишкомъ назадъ, при первомъ появленіи „Ярмарки тщеславія“ въ Англии, я зашелъ къ Краевскому, и на слова мои, что, вотъ, можетъ быть, Диккенсъ напишетъ что нибудь, и къ Новому году можно будетъ перевести, Краевскій вдругъ отвѣчалъ мнѣ: „Кто? Диккенсъ? Диккенсъ убитъ! Теперь тамъ Теккерей явился; убилъ наповалъ; Диккенса никто и не читаетъ теперь!“ — Объ этомъ профессоръ я въ „Зарѣ“ прочелъ. „Голосъ“ я читаю, были очень хорошия статьи. Напишите-же, Николай Николаевичъ, имя-то профессора, пожалуйста. Да вотъ еще, давно хотѣлъ васъ спросить: не знакомы-ли вы съ Львомъ Толстымъ лично? Если знакомы, напишите, пожалуйста мнѣ, какой это человѣкъ? Мнѣ ужасно интересно узнать что нибудь о немъ. Я о немъ очень мало слышалъ, какъ о частномъ человѣкѣ.

Пишу въ „Русскій Вѣстникъ“ съ большимъ жаромъ и совершенно не могу угадать — чтò выйдетъ изъ этого. Никогда еще я не бралъ на себя подобной темы и въ такомъ родѣ. — Томлюсь нечтой устроить свое переселеніе въ Россію въ нынѣшнемъ году; всѣ усилія употребляю. Ахъ, Николай Николаевичъ, мнѣ такъ нестерпимо жить за границей, что и передать нельзя этого!

Большая у меня до васъ просьба, многоуважаемый Николай Николаевичъ. Пожалуйста помогите, хотя и совѣстно васъ утруждать. Просьба слѣдующая:

Вамъ безъизвѣстно, можетъ быть, что Василій Владиміровичъ далъ мнѣ слово — (о чемъ и писалъ съ точностью и самъ опредѣлилъ числа и сроки) — высылать мнѣ ежемѣсячно, 15-го числа каждаго мѣсяца, по 100 руб. Первая подобная высылка опредѣлена имъ самимъ къ 15-му мая (нашего сочисленія). И вотъ уже 28-е мая, а ровно ничего еще я не получилъ!.. Вы не повѣрите, Николай Николаевичъ, какъ разстраиваетъ всѣ мои дѣла и весь мой здѣшній бытъ — такое отношеніе къ дѣлу. Я такъ тогда и распорядился; 500 рублей у меня всѣ ушли (у меня и долги здѣсь, и закупки необходимѣйшія). Изъ высланныхъ тогда 500 я оставилъ себѣ ровно до 15 мая. А вотъ уже двѣ недѣли прошло

*) На этотъ вопросъ я отвѣчалъ тогда такъ: „Вы преувеличиваете похвалу „Зари“ профессору Градовскому; тамъ сказано, что статьи его до того хороши, что въ одномъ случаѣ оказались даже лучше „Моск. Вѣд.“. Такая похвала есть виѣсть признаніе, что „Моск. Вѣд.“ всегда первенствуютъ“. (4 іюня, 1870).

съ 15 мая. И квартира, и лавочка, и содержаніе, все остановилось, а вдобавокъ заболѣлъ ребенокъ и ходитъ докторъ. Вы не можете себѣ представить, какъ это вліяетъ на мои занятія, не говоря уже ни о чемъ другомъ. Я на нѣсколько дней иногда неспособенъ работать. Если ужъ съ первой присылкой (объщанныхъ ста рублей ежемѣсячно) вышла такая неточность, то что будетъ впослѣдствіи, съ другими присылками? Теперь же лѣто, у васъ всё на дачахъ, застой; обо мнѣ совсѣмъ забудутъ. А я развѣ только къ зимѣ могу надѣяться на какое нибудь полученіе мимо „Зари“. Что же мнѣ дѣлать? Пусть не пеняютъ и на меня, если я оказъсь неточнымъ!

Клянусь вамъ, какъ это ни смѣшно, что точность высылки чуть не важнѣе для меня самихъ денегъ. Въ концѣ концовъ деньги, какія нибудь и откудова нибудь, всетаки вѣдь явятся; но спокойствія, но возможности избавиться отъ заботъ хоть на время работы—этого уже не будетъ, это уже нарушено. Вся просьба моя къ вамъ—напомните обо мнѣ Василю Владиміровичу, сдѣлайте это для меня, какъ старшій пріятель. И вотъ еще: я раскаяваюсь теперь, что просилъ его высылать помѣсячно. Я предчувствую, что каждый мѣсяцъ такъ будетъ. Если только возможно для него,—не лучше-ли, чтобъ онъ мнѣ выслалъ всё 500 руб. разомъ (объщанные въ разбивку по 100 ежемѣсячно). Если только возможно!—Если-же нѣтъ, то хоть 300 или даже 200—всетаки не каждый мѣсяцъ будетъ у меня это безпокойство и потрясеніе жизни. Дѣйствительно потрясеніе; вѣдь я мѣсяцевъ пять еще ни отъ кого не могу ждать ничего, кромѣ этихъ 100 руб. ежемѣсячно. И потому—остановились они, и жизнь останавливается.

Все это подробности, мелкія, дрянныя; но помогите мнѣ, пожалуйста, Николай Николаевичъ, переговорите съ Василюмъ Владиміровичемъ. Я очень нуждаюсь.

Жена вамъ кланяется и благодаритъ за память. Она тоже нездорова, кормитъ ребенка, а теперь и ночей не спитъ съ нимъ по болѣзни.

Вамъ искренно преданный и сочувствующій

Вашъ Федоръ Достоевскій.

Дрезденъ, 11 (23) іюня 1870 г.

Благодарю васъ, добрѣйшій Николай Николаевичъ, за скорый отвѣтъ, но письмо ваше меня испугало, во первыхъ, за васъ: мнѣ кажется, что я вовлекъ васъ, изъ за себя, въ непріятности съ Кашширевымъ. Какъ-бы я

не желалъ этого! Впрочемъ, можетъ я не такъ хорошо понялъ ваше письмо. Во всякомъ случаѣ благодарю васъ за стараніе обо мнѣ. Отказъ Капширева меня поразилъ, и я теперь совершенно не понимаю, что буду дѣлать. Время-же самое критическое для меня. Изъ тѣхъ 500 руб. я ничего не сохранилъ—именно рассчитывая на постоянную присылку. Какъ и чѣмъ я продержусь, и придумать не могу. Ребенокъ боленъ и расходы усиленные. Знакомствъ у меня здѣсь почти никакихъ, а въ „Русскій Вѣстникъ“ я положительно не желалъ-бы обращаться съ просьбами до положеннаго мною срока.

Мнѣ случайно достался здѣсь „Вѣстникъ Европы“ за нынѣшній годъ, и я просмотрѣлъ всѣ нумера. Меня изумило даже. Неужели такая неслыханная еще до сихъ поръ у насъ *посредственность* (развѣ исключая „Булгаринскую Сѣверную Пчелу“) — могла имѣть подобный успѣхъ (6,000 экз. и 2-е изданіе!) Вотъ что значитъ всѣмъ по плечу. Какое подлаживаніе подъ уличное мнѣніе! Самая послѣдняя казенщина либерализма! Вотъ что, значитъ, успѣваетъ у насъ! Издають, впрочемъ, ловко, въ 1-е число каждаго мѣсяца, и литераторовъ много. Я прочелъ, между прочимъ, „Казнь Тропмана“ — Тургенева. Вы можете имѣть другое мнѣніе, Николай Николаевичъ, но меня эта напыщенная и щепетильная статья возмутила. Почему онъ все конфузится и твердитъ, что не имѣлъ права тутъ быть? Да, конечно, если только на спектакль пришелъ; но человекъ, на поверхности земной, не имѣетъ права отвертываться и игнорировать то, что происходитъ на землѣ, и есть высшія нравственныя причины на то. Ното sum et nihil humanum... и т. д. Всего комичнѣе, что онъ въ концѣ отвертывается и не видитъ, какъ казнятъ въ послѣднюю минуту: „смотрите, господа, какъ я деликатно воспитался! Не могъ выдержать“. Впрочемъ, онъ себя выдаетъ. Главное впечатлѣніе статьи, въ результатѣ—ужасная забота, до послѣдней щепетильности, о себѣ, о своей цѣлости и своемъ спокойствіи, и это въ виду отрубленной головы. Плевать, впрочемъ, на нихъ всѣхъ. Надоѣли они мнѣ ужасно. Я считаю Тургенева самымъ исписавшимся изъ всѣхъ исписавшихся русскихъ писателей,—что-бы вы ни писали „за Тургенева“, Николай Николаевичъ, — ужъ простите.

Съ мнѣніями вашими о вашей дѣятельности еще разъ въ высочайшей степени несогласенъ.

А какъ-бы славно было хоть на минутку увидѣться! И отчего-бы вамъ не съѣздить на мѣсяцъ за границу? Двѣсти рублей съ проѣздомъ не болѣе, а если 300—то и по Европѣ можно проѣхать. Заѣхали-бы въ Дрезденъ, новидались-бы. Развѣ нельзя?

До свиданія, благодарю васъ еще разъ. Не оставьте меня, позаботьтесь — если только можно.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Анна Григорьевна вамъ кланяется. Она совсѣмъ измучена и кормленіемъ и заботами. А тутъ еще эти неприятности.

Дрезденъ, 9 (21) октября 1870 г.

Вотъ уже три недѣли, какъ получилъ ваше письмо, многоуважаемый Николай Николаевичъ, и до сихъ поръ еще не отвѣчалъ на него, и увѣренъ, что вы Богъ знаетъ что теперь обо мнѣ думаете. А между тѣмъ мнѣ ваше письмо было дорого: безъ нѣжностей говоря, я весьма обрадовался тому, что вы вновь пожелали завязать сношенія письменныя. Никогда я еще такъ не цѣнилъ людей, какъ теперь въ моемъ скверномъ уединеніи. Надежда возвратиться осенью въ Петербургъ мнѣ не удалась; средствъ не достало; пришлось опять отложить до весны и мучительно проскучать въ Дрезденѣ еще зиму.

Не отвѣтилъ я вамъ до сихъ поръ потому, что буквально сидѣлъ на разгибавшей шею за романомъ въ „Русскій Вѣстникъ“. До того не удавалось, до того много разъ пришлось передѣлывать, что я, наконецъ, далъ себѣ слово не только не читать и не писать, но даже и не глядѣть по сторонамъ, прежде чѣмъ кончу то, что задалъ себѣ. И это вѣдь еще только самое первое начало! Правда, романа много написано изъ середины, и много забракованнаго (разумѣется, не цѣликомъ). Но тѣмъ не менѣе, я всетаки сижу еще на началѣ. Признаю дурной, и однако хочется сдѣлать что нибудь получше. Говорятъ, что тонъ и манера разсказа должны у художника зарождаться сами собою. Это правда, но иногда въ нихъ сбиваешься и ихъ ищешь. Однимъ словомъ, никогда никакая вещь не стоила мнѣ большаго труда. Въ началѣ, т. е. еще въ концѣ прошлаго года, я смотрѣлъ на эту вещь, какъ на вымученную, какъ на сочиненную, смотрѣлъ съ высока. Потомъ посѣтило меня вдохновеніе настоящее — и вдругъ полюбилъ вещь, схватился за нее обѣими руками — давай черкать написанное. Потомъ лѣтомъ опять переимѣна: выступило еще новое лицо, съ претензіей на настоящаго героя романа, такъ что прежній герой (лицо любопытное, но дѣйствительно не стоящее имени героя) сталъ на второй планъ. Новый герой до того плѣнилъ меня, что я опять принялся за перо. И вотъ теперь, какъ уже отправилъ въ редакцію „Русскаго Вѣстника“

начало,—я вдругъ испугался: боюсь, что не по силамъ взять тому. Но серьезно боюсь, мучительно! А между тѣмъ, я вѣдь ввелъ героя не съ бухъ-да-барахъ. Я предварительно *записалъ* всю его роль въ программѣ романа (у меня программа въ нѣсколько печатныхъ листовъ), и вся записалась одними сценами, т. е. дѣйствіемъ, а не разсужденіями. И потому думаю, что выйдетъ лицо и даже, можетъ быть, *новое*; надѣюсь, но боюсь. Пора-же, наконецъ, написать что нибудь и серьезное. А можетъ быть и лопну. Что-бы тамъ ни было, а надо писать, потому что этими передѣлками я ужасно много времени потерялъ и ужасно мало написалъ.

Но о дѣлѣ: вы не можете себѣ представить, многоуважаемый Николай Николаевичъ, какъ мнѣ тяжело было измѣнить своему обѣщанію „Зарѣ“. Но я до того доведенъ, что еще не много, и я съ ума сойду! Не могъ я предвидѣть такихъ остановокъ и переворотовъ въ моей работѣ. Но если я не кончу предварительно одного, то я ничего не сдѣлаю и въ другомъ. Моя *вещь* въ „Зарю“ будетъ въ будущемъ году, но—въ концѣ года, а въ антрактѣ я возвращусь въ Петербургъ. Что-же касается до повѣсти, то не знаю, въ состояніи-ли буду выполнить даже и это обѣщаніе. Два мѣсяца назадъ (давая это обѣщаніе) я былъ въ другомъ положеніи. Одно скажу: всѣ мои симпатіи и пожеланія обращены къ „Зарѣ“, и если я, съ своей стороны, хоть одной каплей могу послужить „Зарѣ“, то сочту себя счастливымъ. Подождите на мнѣ—и тогда произнесите обо мнѣ окончательное сужденіе. А теперь пока пощадите.

Я ваше письмо прочелъ съ большимъ удовольствіемъ. Мнѣ въ немъ понравилась особенно нѣкоторая переиѣна вашего собственнаго взгляда на ваши труды. Говорю вамъ и предрекаю, что вы непремѣнно *должны* найти горячихъ приверженцевъ и не мало. Уже одно то, что вы проповѣдуете истину! Я съ большимъ нетерпѣніемъ жду цѣлаго ряда вашихъ статей за нынѣшній сезонъ. Такъ или этакъ, а истина должна восторжествовать. Вы пишете о крикахъ: да вѣдь тѣмъ лучше. А объ „Вѣстникѣ Европы“ и объ успѣхахъ его и говорить нечего, какъ тѣ, что это журналъ петербургскихъ чиновниковъ и всѣмъ по плечу (въ пошломъ, а не въ популярномъ смыслѣ этого выраженія). Онъ *не могъ не имѣть успѣха* и продержится еще очень долго—нѣсколько лѣтъ. Но вы побѣдите. Одно-бы пожелать надо „Зарѣ“: этой бюрократической аккуратности „Вѣстника Европы“ (NB. Загѣтали-ли вы, однако, что всѣ лучшіе журналы, бывшіе въ Россіи, не отличались аккуратностію? Но лучше-бы этому не подражать). Въ послѣдней книжкѣ „Зари“ я прочелъ только вашу статью о Полонскомъ. Остальное лишь переглядѣлъ,—времени не было, но, кажется, книжка превосходно составлена. Всѣ статьи читаются и именно

имѣющимъ критику и правильный взглядъ на нее. (Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ критика легкомысленная, правда впадающая въ тонъ общаго направленія журнала, но слишкомъ мелкая). А стало быть, если-бъ за вами только это и было,—то ужъ это громадно много. А потомъ, позвольте вамъ сказать, что вліянія не такъ скоро создаются, что сумбуръ нашего современнаго общества имѣеть-же смыслъ, т. е. свои законы движенія, и что, наконецъ, вы даже не имѣете никакой возможности судить о непосредственной полезности и вліятельности вашихъ статей и дѣйствительно-ли онѣ пишутся для тѣхъ только, „кто и безъ васъ также думалъ“. Это неправда.

Вотъ вамъ однако-же, по моему соображенію, и нѣкоторая мѣрка судить о вліяніи: журналъ „Заря“ — по преимуществу журналъ направленія и *критики*; число подписчиковъ черезъ 2—3 года покажетъ и вліяніе ея въ публикѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ несомнѣнно и вліяніе критики; потому что критика есть главная черта „Зари“, главная ея специальность для публики. Публика, хотя безсознательно, но всегда такъ обнаруживаетъ себя.

А вѣдь я думалъ, что вы похвалите Струве! По крайней мѣрѣ за доброе намѣреніе. Шваховать я въ философіи (но не въ любви къ ней; въ любви къ ней я силенъ). Мнѣ, впрочемъ, когда я внимательно читалъ диссертацию Струве, самому показалась новымъ матеріальность души. Любопытна-же мнѣ была диссертация главное потому, что я предчувствовалъ, что это именно теперешняя, послѣдняя манера мыслить нѣмецкихъ философовъ. Только знаете, Николай Николаевичъ, вѣдь они васъ сочтутъ за отсталаго старика, сражающагося еще лукомъ и стрѣлами, тогда какъ у нихъ уже давно ружья пошли. Что касается до меня, то я вашу статью прочелъ два раза и съ наслажденіемъ. Кромѣ того, вы удивительно умѣете писать. Литературный языкъ вашъ лучше, чѣмъ у нихъ у всѣхъ. А это, какъ хотите, не можетъ быть подъ конецъ не замѣчено. Я очень порадовался, что вы съ такимъ презрѣніемъ относитесь къ теперешней манерѣ философствовать, но и очень-бы желалъ, чтобъ вамъ они отвѣчали. А какой ерыжанный тонъ во всей теперешней литературѣ! Про безпорядокъ и сумятицу въ идеяхъ — Богъ съ ними, они и должны были произойти. Но этотъ тонъ всеобщій! Какая ерыжность, какая уличность! И ни одной-то усвоенной, крѣпкой мысли; хоть какойнибудь, хотя-бы и ложной! Что у нихъ за философы, что у нихъ за фельетонисты! Полная дрянь! Но есть зато единицами люди, которые и мыслятъ и вліяніе имѣють — и такъ всегда бываетъ при всякомъ безпорядкѣ. Только чтобъ эти единицы пересилили сумбуръ публики, и вы увидите, что она приметъ ихъ тонъ наконецъ.

остался туда долженъ значительную сумму. Меня не беспокоили, обращались со мной деликатнѣйшимъ и благороднѣйшимъ образомъ. Говорилъ съ полною точностію, повѣсть (романъ, пожалуй), задуманный мною въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, начался еще мною въ концѣ прошлаго (1869 г.). Я надѣялся окончить его даже къ іюлю мѣсяцу, хотя-бы онъ разросся свыше 15 листовъ. Я вполне былъ увѣренъ, что поспѣю въ „Зарю“. И что-же? Весь годъ я только рвалъ и переименовывалъ. Я исписалъ такія груды бумаги, что потерялъ даже систему для справокъ съ записаннымъ. Не менѣе 10 разъ я измѣнялъ весь планъ и писалъ всю первую часть снова. Два-три мѣсяца назадъ я былъ въ отчаяніи. Наконецъ, все создано разомъ и уже не можетъ быть измѣнено, но будетъ 30 или 35 листовъ. Если-бъ было время теперь написать не торопясь (не къ срокамъ), то, можетъ быть, и вышло-бы что нибудь хорошее. Но ужъ навѣрно выйдетъ удлинненіе однихъ частей передъ другими и растянutosть! Написано мною до 10 листовъ всего, 5 отослано, 5 отсылаю черезъ двѣ недѣли и затѣмъ буду работать каждый день какъ волъ, до тѣхъ поръ какъ кончу. Вотъ мое положеніе: что-же могу я въ эту минуту отвѣчать вамъ утвердительно?

Вѣрьте, что все, что написалъ я вамъ, — честная правда, до послѣдняго слова.

Не могъ-же я знать впередъ, что цѣлый годъ промучаюсь надъ планомъ романа (именно промучаюсь).

Наконецъ, если-бъ я, чтобы сдержать мое лѣтнее обѣщаніе „Зарѣ“, бросилъ романъ и принялся за другой въ „Зарю“, то, согласитесь сами, было-ли-бы возможно физически писать его? Я не могъ-бы никакъ бросить теперешнюю работу, именно потому, что она такъ болѣзненно досталась мнѣ. Я къ вамъ обращаюсь, къ вашему тонкому пониманію участіи писателя: рѣшите сами, возможно-ли это?

И такъ, буду писать, — но будущаго не знаю. Одно знаю: вторая половина романа достанется мнѣ неизмовѣрно легче, чѣмъ первая. Если кончу (что, впрочемъ, навѣрно) лѣтомъ, то къ концу года помѣщу въ „Зарѣ“ или повѣсть, или начало романа (т. е. такое начало романа, которое само по себѣ есть отдѣльный романъ). Вы просите заглавіе? Не могу дать. Вотъ въ чемъ дѣло: повѣстей, задуманныхъ и хорошо записанныхъ у меня до шести. Каждая такого свойства, что я съ жаромъ присѣлъ-бы за нее. Но если-бъ я былъ свободенъ, т. е. если-бъ не нуждался поминутно въ деньгахъ, то ни одну-бы не написалъ изъ всѣхъ шести, а сѣлъ-бы прямо за мой будущій романъ. Этотъ будущій романъ уже болѣе трехъ лѣтъ какъ мучаетъ меня, но я за него не сажусь, ибо хочется писать

его не въ срокъ, а такъ, какъ пишутъ Толстые, Тургеневы и Гончаровы. Пусть хоть одна вещь у меня свободно и не на срокъ напишется. Этотъ романъ я считаю моимъ послѣднимъ словомъ въ литературной карьерѣ моей. Названіе его: „Житіе великаго грѣшника“. Онъ дробится *естественно* на цѣлый рядъ повѣстей. Но не знаю, смогу-ли начать его въ этомъ году, если даже къ іюлю кончу въ „Русскій Вѣстникъ“. И такъ, все во времени. Заглавіе теперь дать не могу. Сговорился-же обо всемъ *лично*, или въ концѣ апрѣля, или въ маѣ будущаго года. (Я былъ-бы и осенью въ Петербургѣ, еслибъ не запоздалъ съ романомъ, а стало быть и съ деньгами. Теперь-же, въ декабрѣ, возможности нѣтъ перевезти ребенка, а потому и сижу здѣсь до весны). Чтобъ окончить въ настоящую минуту, скажу вамъ, что редакція во всякомъ случаѣ можетъ обѣщать меня (безъ заглавія), и я, чтѣ-бы ни случилось, слово сдержу. (NB. Хотя, признаюсь, работа дорога достается, начинаются сильныя приливы крови къ головѣ; боюсь не доканать-бы себя. Но меня романъ въ „Русскій Вѣстникъ“ измучилъ за годъ).

Вы пишете на счетъ Писемскаго и Ключникова. Но вѣдь Писемскій, во всякомъ случаѣ, напишетъ любопытно. Вы говорите, что ихъ имена не привлекутъ. Сдѣлайте такъ: напишите, что въ будущемъ году непремѣнно явятся у васъ слѣдующіе, и затѣмъ выставьте всѣ имена, т. е. Толстаго, Бухановскую, Писемскаго, Ключникова, Чаева, меня и проч. и проч.—и повѣрьте, что выйдетъ, по крайней мѣрѣ, прилично. Ну какой-же журналъ можетъ обѣщать больше этого по беллетристичѣ?

Въ будущемъ году направленіе „Зари“ могло-бы обратить на себя вниманіе влѣдствіе клонящихся къ тому политическихъ обстоятельствъ въ Европѣ. Во всякомъ случаѣ, всѣ будущіе ближайшіе годы, какъ кажется, не обойдутся безъ начала разрѣшенія восточно-славянскаго вопроса. Еслибъ даже и не состоялась подписка на будущій годъ вполне удовлетворительная, то журналу, какъ „Заря“, т. е. съ такимъ направленіемъ—нельзя унывать. Будущность несомнѣнно его возвыситъ, и даже близкая; будущность принадлежитъ этому направленію *), а нигилисты исчезнутъ яко прахъ. Дѣло стало быть въ исполненіи задачи.

Вы спрашиваете моего мнѣнія о послѣднихъ книжкахъ. На лету не скажешь, а еслибъ увидѣться, то, кажется, долго и много-бы говорилъ. И какъ хочется высказать! Для меня „Заря“—вещь родная. Она, почти одна, изъ журналовъ стоитъ за тѣ мнѣнія, которыя я цѣню теперь выше

*) Этого только вашъ *прозорливый* Тургеневъ не видитъ. Не соглашусь съ вами въ его прозорливости. (Примѣчаніе Ф. М.).

моей жизни, и которыми, по убѣжденію моему, принадлежать будущность. На счетъ-же теперешняго исполненія, то (исключая вашихъ статей, которыми упиваюсь)—оно не совсѣмъ, по моему, удовлетворительно. Но все это — длинная тема. Вотъ вамъ одна крошечная замѣтка: по моему, нельзя-бы помѣщать въ одноѣ номерѣ двѣ такія статьи, какъ объ Америкѣ Огородникова и о „Грамотности и Народности“ Константинова— онѣ обратно противоположны по направленію.

Изъ русскаго ему нравится и онъ съ почтеніемъ говоритъ лишь о студентѣ Я., явившимся въ глубь Америки, чтобы узнать на опытѣ, каково работать американскому работнику (!). И вдругъ въ томъ-же номерѣ статья Константинова.

Но, впрочемъ, все это я напрасно пишу.

Мнѣ не нравится въ вашихъ статьяхъ лишь то, что вы ихъ рѣдко помѣщаете. Ну возможно-ли было манкировать вамъ въ ноябрьскую книгу, голубчикъ Николай Николаевичъ, т. е. въ самую подписную книгу изъ всѣхъ! (Замѣчу, что въ ноябрьской книгѣ, такъ или этакъ, но всѣ статьи чрезвычайно занимательны. Еслибъ къ тому-же и ваша, то вышло-бы вдвое занимательнѣе).

Къ статьѣ о Карамзинѣ (вашей) я пристрастенъ, ибо такова-то была и моя юность, и я возросъ на Карамзинѣ. Я ее съ чувствомъ читалъ. Но мнѣ понравился и тонъ. Мнѣ кажется, вы въ *первый разъ* такъ рѣзко высказываете то, о чемъ всѣ молчали. Рѣзкость-то мнѣ и нравится. Именно смѣлости, именно усиленнаго самоуваженія надо больше. Нисколько не удивляюсь, что эта статья вамъ доставила даже враговъ.

Король Лиръ Тургенева мнѣ совсѣмъ не понравился. Напыщенная и пустая вещь. Тонъ низокъ. Ей Богу, не изъ зависти говорю.

До свиданія, многоуважаемый Николай Николаевичъ, не забывайте меня и вѣрьте моимъ искреннимъ чувствамъ къ вамъ. Неужели мы скоро свидимся? Какъ хочется въ Россію! Анна Григорьевна больна по Россіи. До свиданія, дорогой Николай Николаевичъ.

Вашъ Федоръ Достоевскій.

P. S. Анна Григорьевна вамъ кланяется.

(Приписка на 2-й стр). Здѣсь очень много столпилось Русскихъ. На этой недѣлѣ всѣ собрались (собственной инициативой) и послали адресъ канцлеру по поводу 19-го октября.

Адресъ написалъ имъ я.

(Приписка на 3-й стр). Всё-то меня, не то что забыли, а въ родѣ того, что забросили. Здоровъ-ли А. Николаевичъ Майковъ?

(Приписка на 4-й стр). Вы говорите, что интересная для васъ минута пришла. Но теперь именно такое время настаетъ, что чѣмъ дальше, тѣмъ интереснѣе для нашего направленія.

Дрезденъ, 10-го (22-го) февраля 1871 г.

Обращаюсь къ вашему добродушію, тонкому и всегда почти вѣрному пониманію людей и вещей, любезнѣйшій и многоуважаемый Николай Николаевичъ, и попрошу васъ быть на столько ко мнѣ добрымъ, чтобы не оставить меня въ нѣкоторомъ неприятномъ неумѣніи. Въ октябрьскомъ или ноябрьскомъ (а можетъ и въ декабрьскомъ, виноватъ, не имѣю подъ рукой) номерѣ „Заря“ за прошлый годъ были помѣщены 2 статьи г-на Константинова *). Въ одной изъ этихъ статей, онъ, для поддержанія одного мнѣнія, выставляетъ на видъ, что журналъ „Время“ и нѣкоторые другіе журналы извѣстнаго направленія—имѣли *малый успѣхъ*. „Время“ имѣло въ первый годъ болѣе 2500 подписчиковъ, а на третій годъ (годъ запрещенія) до 4500 подписчиковъ. Книжки редакціи цѣлы до сихъ поръ; цѣлы и свидѣтели. Даже Базуновъ можетъ засвидѣтельствовать. Къ чему-же наѣздничать, какъ Г. Константиновъ, и извращать факты? Онъ не церемонится съ фактами: ему такъ надо, и онъ утверждаетъ, какъ о вѣрномъ, о томъ, чего не знаетъ. Признаюсь вамъ, многоуважаемый Николай Николаевичъ, что мнѣ было тяжело съ этимъ встрѣтиться въ „Зарѣ“. Тутъ не самолюбіе говоритъ. Когда третьяго года Писемскій въ своемъ романѣ, въ „Зарѣ“, помѣстилъ обо мнѣ нѣсколько брезгливыхъ отзывовъ, какъ о литераторѣ, я только посмѣялся натурѣ и нетерпѣнію Писемскаго и нисколько, не претендовалъ на журналъ, который пожелавъ напечатать у себя мою повѣсть (о чемъ и заявилъ мнѣ и публикѣ) и прежде чѣмъ помѣститъ обо мнѣ хоть какой нибудь отзывъ,—далъ у себя мѣсто плевку на меня другаго писателя. Но теперь мнѣ обидно. Журналъ „Время“ былъ столько-же моимъ дѣломъ, сколько и брата. Редакторами мы были оба. Успѣхъ журнала былъ неслыханный. Только два журнала имѣли такой успѣхъ съ разу: первоначальная „Библіотека для Чтенія“ и первоначальный „Современникъ“. Я не считаю малодушіемъ и тщеславіемъ, что

*) Рѣчь идетъ о статьѣ: „Грамотность и народность“. („Заря“, 1870, ноябрь и декабрь).
H. C.

гордился этимъ. — Извращенный фактъ вредить и исторіи литературы: Теперь уже есть, стало быть, свидѣтельство „Зари“ (въ которой много прежнихъ сотрудниковъ „Времени“) о томъ, что „Время“ *не имѣло успеха*. Пусть этотъ фактъ и ничтоженъ для исторіи русской журналистики, согласенъ; но вѣдь и онъ можетъ понадобиться; вѣдь понадобился-же этотъ фактъ Г-ну Константинову въ подтвержденіе какого-то мнѣнія? — Собственно для меня-же, признаюсь вамъ, этотъ фактъ имѣетъ и нѣкоторое личное значеніе: на меня до сихъ поръ есть обвиненіе нѣкоторыхъ людей, что я будто-бы *разорилъ* брата, отвлекши его отъ прежнихъ торговыхъ занятій и уговоривъ его, вмѣсто того, издавать журналъ. Обвиненіе это произносится съ горечью и тѣмъ, которые произносятъ его, съ книгами редакціи „Времени“ справляться не будутъ. Строчка-же въ журналѣ (строчка такъ мала, такъ легко прочесть ее) — сильно подтвердить обвиненіе на меня въ ихъ совѣсти. Между тѣмъ братъ получилъ за три года съ журнала по крайней мѣрѣ 65 тысячъ *чистаго барыша*, и если умеръ безъ копѣйки и въ долгахъ, то вѣдь это ужъ совсѣмъ не касается журнала.

У этого-же г. Константинова написано въ той-же статьѣ, что статья „Роковой вопросъ“ умно написана, но *безтактно* напечатана. Эти жалкіе безтактные редакторы заставили однако-же читать свой журналъ всю Россію (4500 подписчиковъ — это вся Россія, по крайней мѣрѣ тогда). Бъ тому-же, вамъ, многоуважаемый Николай Николаевичъ, лучше всѣхъ извѣстны обстоятельства напечатанія этой статьи. Мое мнѣніе до сихъ поръ не измѣнилось: не статья была напечатана безтактно, а донесено было о ней безтактно, тѣми людьми, которые и не прочли ее всю, а дочитали уже послѣ. Г. Константинову видимо извѣстно, что вы знаете всѣ обстоятельства этого дѣла, и что вы изъ главныхъ сотрудниковъ въ „Зарѣ“: статью онъ находитъ умною, но въ пострадавшихъ и беззащитныхъ людей (ибо какъ-же мнѣ защищаться гласно, т. е. печатно, и доказать, что такая статья напечатана не безтактно?) — кинулъ ругательствомъ. Онъ совершенно зналъ, что *нельзя* ему будетъ отвѣтить. Ловкій человекъ.

Итакъ, кто-же этотъ наѣздникъ, нашедшій въ „Зарѣ“ такое гостепріимство? Гостепріимство-же дѣйствительно чрезвычайное: у него подъ Ватерлоо разбиваетъ Наполеона Блюхеръ (котораго тамъ и не было), и „Заря“ все это помѣстила у себя безъ оговорокъ и безъ возраженія.

Простите меня за мою хандру, Николай Николаевичъ; все это слишкомъ лично — я сознаюсь. Мнѣ надо было-бы пропустить безъ вниманія, потому что пустяки. Но какъ-то горечь укоренилась въ сердцѣ и не лѣ-

зеть вонъ. Не знаю, тщеславіе-ли это, малодушіе-ли, — но мнѣ очень больно почему-то было прочесть, что дѣятельность моя (какъ журналиста), въ которую я втянулъ и брата, — безтактныя, неудавшіяся пустяки и ничего больше.

Я давно хотѣлъ написать вамъ объ этомъ, тогда-же, какъ прочелъ, но сильно былъ занятъ. Теперь опять сажусь за работу. Почти некогда читать, но очень жалѣю, что не удалось прочесть вашей статьи о русской литературѣ въ „Зарѣ“. Редакція исключила меня изъ числа своихъ подписчиковъ на этотъ годъ и не прислала номера (вамъ, конечно, неизвѣстно, что я не даровой номеръ получалъ, а въ кредитъ, до общаго расчета съ редакціей моими сочиненіями, стало быть, я всетаки былъ подписчикомъ „Зари“). Никакъ не могу понять, за что меня исключили? Нахожу только два возможныхъ объясненія: или недовѣріе въ мою состоятельность въ уплатѣ, такъ какъ я и безъ того много долженъ въ редакцію, или нѣкоторое враждебное ко мнѣ чувство редакціи, за то, что не могъ сдержать обѣщанія насчетъ статьи. Признаюсь, что вторую причину я искренно отвергаю — это было-бы слишкомъ, — т. е. не непріятное чувство редакціи отвергаю, а этотъ способъ дать мнѣ его почувствовать. Редакція „Русскаго Вѣстника“ въ концѣ 1869 года и въ началѣ 1870 питала ко мнѣ чувства непріязненныя за то, что я на 1870 годъ, не смотря на обѣщаніе, ничего не прислалъ имъ, а отдалъ въ „Зарю“; но, не смотря на это и на то, что я оставался должнымъ „Русскому Вѣстнику“ до 2000 руб., они всетаки не лишили меня журнала, а продолжали присылать постоянно.

Неужели-же до такой степени на меня сердятся? Между тѣмъ въ газетныхъ объявленіяхъ я выставленъ въ числѣ сотрудниковъ. Это значитъ: „задолжалъ, такъ не отвертисься; всетаки дашь повѣсть *какъ-бы тебя не третировали*“. Неужели такъ это? Но чѣмъ-же иначе объяснить?

Пишу это вамъ *одному*, Николай Николаевичъ. Вѣдь настолько-то, можетъ быть, уважаете-же вы меня, чтобъ не подумать обо мнѣ, что я просто за просто хочу теперь, черезъ ваше посредство, выканючить себѣ книжку „Зари“, не имѣя чистыхъ денегъ на подписку? Къ самой-же „Зарѣ“ мнѣ совѣстно обратиться въ такихъ обстоятельствахъ, а стало быть до лѣта просижу безъ „Зари“. Мнѣ все обходится дороже, чѣмъ другимъ. Боже, что другіе-то литераторы дѣлаютъ съ редакторами, да еще нарочно, а не потому, что нужда колотить въ загорбокъ молотомъ, — и имъ все сходитъ.

Еще разъ простите меня за это письмо. Жалобы, дразги — какая

гадость! И эту-то гадость я вамъ посылаю вмѣсто письма! Не сердитесь. Или лучше такъ: сперва выберите меня, а потомъ скажите: „вѣдь и овъ капельку справедливъ“.

Здоровы-ли вы? Черкните мнѣ хоть чтонибудь когданибудь. Неужто и вы на меня такъ сердитесь? *).

Весь вашъ искренно

Достоевскій.

Дрезденъ, 18 (30) марта 1871 г.

Во первыхъ, многуважаемый Николай Николаевичъ, простите меня, что такъ долго не отвѣчалъ на письмо ваше. Все произошло отъ обстоятельствъ. Нѣкоторое время хворалъ, а главное тосковалъ послѣ припадка надучей. Когда припадки долго не бываютъ и вдругъ разразится, то наступаетъ тоска необычайная, нравственная. До отчаянiя дохожу. Прежде эта хандра продолжалась дня три послѣ припадка, а теперь дней по семи, по восьми, хотя сами припадки въ Дрезденѣ гораздо рѣже приходятъ, чѣмъ гдѣнибудь. Во вторыхъ, *тоска по работѣ*. Мочи нѣтъ, какъ туго пишется. Надо въ Россiю, хотя и совершенно отвыкъ отъ петербургскаго климата. Но всетаки, во что-бы то ни стало, а надобно воротиться.—Но нечего пересчитывать всѣ эти тоски. Однимъ словомъ, все отвлекало меня, и только теперь сажусь поговорить съ вами, хотя, послѣ письма вашего, чрезвычайно много о васъ думалъ.

Вы не можете представить себѣ, какiя грустныя и тяжелыя сообра-

*) На это письмо я отвѣчалъ (22 февраля), между прочимъ, по пунктамъ:

„1) Намека Писемскаго я не замѣтилъ и до сихъ поръ не знаю, гдѣ онъ.

„2) „О маломъ успѣхѣ „Времени“. Я это мѣсто исправлялъ; не понимаю, какъ я пропустилъ, не сдѣлавъ оговорки. Вѣроятно меня пожирило то, что тутъ говорится разомъ о многихъ журналахъ.

„3) О „роковомъ вопросѣ“. Вы правы въ вашемъ толкованiи, но оно слишкомъ точно, и я не догадался объ *этомъ* смыслѣ словъ Константинова. Божусь вамъ, упрекъ въ безтактности я *принялъ на себя*, такъ какъ статью свою я все-таки считаю не глупою, но безтактно написанною и не во время напечатанною. Недавно въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ *именно меня* упрекали въ отсутствiи гражданскаго достоинства, что я каялся передъ Катковымъ и пр.“

Такъ и тогда писалъ. Но теперь, принявшись наводить справки, я нашелъ, что „Заря“ была еще менѣ виновата передъ Федоромъ Михайловичемъ. Въ статьѣ „Грамотность и народность“, какъ оказывается, было сказано такъ:

„Но „Время“, хотя имѣло большой успѣхъ, только постепенно уясняло свою задачу, и скоро погубило себя одною умно написанною, но безтактно напечатанною статьей“. („Заря“, 1870, ноябрь, стр. 198).

И такъ, прямо сказано было, что „Время“ имѣло *большой успѣхъ*. Н. С.

женія пришли ко мнѣ по прочтеніи письма вашего. Что-же это такое? Все, чѣмъ была оригинальна „Заря“, что давало ей свой особый индивидуальный видъ между другими журналами—все это найдено у нихъ препятствіемъ къ успѣху? И это единственный русскій журналъ, въ которомъ оставалась чистая литературная критика! Да именно потому, что всё бросили ее, она и нужна теперь. Она давала „Зарѣ“ свою физиономію. Они испугались говору и насмѣшекъ. Напротивъ, чаще, въ каждомъ номерѣ, нужно было настаивать на своей идеѣ, и будущность была-бы за ними. Не знаю, какъ другіе, а я по полученіи „Зари“ каждый разъ разрѣзывалъ прежде всего ваши статьи и упивался ими. Разумѣется, иногда не во всемъ соглашался (напримѣръ, въ приемахъ, въ тонѣ, т. е. въ излишней мягкости вашей, и кромѣ того въ преувеличеніи нѣкоторыхъ явленій литературы и жизни) — но интересъ былъ всегда чрезвычайный. Ваша статья о Карамзинѣ такъ глубока и такъ мужественно-откровенна, что я порадовался здѣсь, что еще раздастся у насъ такой голосъ. Вы мнѣ что-то вскользь писали тогда, но я и самъ кое-что читалъ потому и, сколько могу судить, ее кажется осудили какъ ретроградную. Ужъ не редакция-ли ваша вмѣстѣ съ другими? *).

Во всякомъ случаѣ вашъ голосъ замолчать не можетъ и не долженъ. Безъ сомнѣнія то, что вы сообщили о *вашихъ новыхъ* отношеніяхъ къ „Зарѣ“ — есть полутетавка. Что-же, Николай Николаевичъ, какъ-же вы рѣшаетесь? Мѣсяца черезъ три-четыре мы, можетъ быть, увидимся и тогда наговоримся вдоволь, но покажѣтесь? Безъ сомнѣнія продолжать *покажѣтѣсь* въ „Зарѣ“, напечатать тамъ еще нѣсколько превосходныхъ статей, а къ осени серьезно подумать о своемъ положеніи. Вѣдь если вы не утвердитесь въ „Зарѣ“ на прочныхъ и совершенно приличествующихъ вамъ основаніяхъ, то годится-ли вамъ оставаться? (Я вовсе не амбіцію имѣю въ виду; я хлопочу о критикѣ, о существованіи у насъ литературнаго органа съ здоровой критикой). Что-же, если „Заря“ сама ее находитъ *не такъ нужною?*

Я надѣюсь, Николай Николаевичъ, что я пишу вамъ теперь конфиденціально и что письмо это останется между нашихъ четырехъ глазъ. Кстати: вы написали въ письмѣ вашемъ, чрезвычайно вскользь, что хотите сѣсть за литературныя воспоминанія. Что это будетъ? И будетъ-ли чтонибудь? Вы упомянули о времени изданія нашего бывшаго журнала, объ Ап. Григорьевѣ, о насъ. Я слишкомъ понимаю, что эта полоса жизни могла рѣзко, а можетъ быть и пріятно (какъ воспоминаніе вашей моло-

*) Конечно, никакъ не редакция.

дости), отпечататься въ вашей памяти. Но объ этомъ не рано-ли слишкомъ писать, да и интересно-ли въ данный моментъ? Думаю, что и рано, да и не интересно будетъ для другихъ. И однако мнѣ пришло вотъ что въ голову:

Дѣйствительно, какое нибудь значительное, серьезное сочиненіе, *смы* вашихъ обыкновенныхъ критическихъ статей (то есть главное не въ этой формѣ), а что нибудь новое, хотя-бы и дѣйствительно въ историко-литературномъ родѣ — было-бы прекраснымъ теперь для васъ предпріятіемъ (NB. Я съ чрезвычайнымъ наслажденіемъ, напримѣръ, прочелъ ваши горячія превосходныя страницы въ статьѣ о Карамзинѣ, гдѣ вы вспоминаете о вашихъ годахъ ученія). Если „Заря“ оставляетъ вамъ теперь столько свободнаго времени, то къ осени вы-бы могли что нибудь приготовить. Что вы думаете о „Бесѣдѣ“, напримѣръ? Тамъ совершенно нѣтъ литературной критики, но, мнѣ кажется, она ни за что не отказалась-бы напечатать приготовленное вами лѣтомъ сочиненіе, а это бы могло послужить дальнѣйшимъ шагомъ. Я не хочу изворотовъ и виланій въ изложеніи вамъ моей мысли и потому скажу прямо: это не можетъ быть измѣнной „Зарѣ“. Я не подговариваю васъ оставить прежнее знамя и бѣжать подъ другое. Но согласитесь же сами, что тутъ все, все заключается въ разрѣшеніи вопроса: хочеть вашего сотрудничества *сама* „Заря“, или не хочеть? Уважаетъ-ли его, или нѣтъ? А вѣдь это непремѣнно должно въ скоромъ времени совершенно выясниться.

Что касается до „Бесѣды“, то я рѣшительно не знаю, чтѣ это будетъ такое, хотя первый номеръ и прочелъ. Они мнѣ прислали журналъ и просили сотрудничества. Разумѣется, съ величайшею готовностію буду сотрудничать, если будетъ время. Я-то ужъ нигдѣ и ничѣмъ не связанъ, кромѣ долговъ. Но деньги вещь не столь деликатная и совершенно восполняются деньгами-же. (Это не значитъ вовсе, что я не думаю о моей повѣсти въ „Зарю“; думаю, очень думаю и во чтѣ-бы то ни было доставлю).

Опять повторяю, жду съ чрезвычайнымъ желаніемъ и даже волненіемъ момента встрѣчи съ прежними близкими людьми въ Петербургѣ. Но еще одна просьба, кстати: не говорите, если случится, *утвердительно* кому нибудь о скоромъ моемъ пріѣздѣ. Я бы желалъ, чтобъ хоть одну первую-то недѣлю послѣ прибытія мои кредиторы оставили меня въ покоѣ; жду, что такъ и накинута, и боюсь, потому что денегъ не имѣю, а все только надежды.

Черкните мнѣ что нибудь, Николай Николаевичъ, я человекъ вамъ преданный и васъ уважающій и говорю вамъ это вполне искренно. Ад-

ресь мой здѣсь покажетъ все одинъ и тотъ-же (poste restante непременно).

Не пишется, Николай Николаевичъ, или пишется съ ужаснымъ мученіемъ. Чтò это значить,—я понять не могу. Думаю только, что это—потребность Россіи. Во чтò-бы ни стало надо воротиться. Чрезвычайно благодарю васъ, что не забыли написать мнѣ о моемъ романѣ. Ужасно вы ободрили меня. Съ замѣчаніемъ вашимъ о *тонѣ* въ высшей степени согласенъ; я мучился долго этой невыдержкой тона *). Съ возвращеніемъ въ Россію придется перервать даже работу. Во всякомъ случаѣ, въ нынѣшнемъ году романъ кончу.

Благодаренъ вамъ тоже за нѣкоторыя разъясненія моихъ недоумѣній. Еслибъ пришлось повторить, я-бы не написалъ вамъ того письма. Я былъ тогда въ ужасномъ болѣзненномъ нервномъ раздраженіи.

Гдѣ вы будете жить лѣтомъ: въ городѣ или на дачѣ? Хорошо-бы, еслибъ я заранѣе зналъ. Мнѣ кажется, я явлюсь въ самую середину лѣта. А какія хлопоты съ переездомъ, дорогой Николай Николаевичъ! Уѣхали мы самъ другъ съ молодой женой, а теперь, хотя возвращаемъ съ такой же молодой женой, но *и съ дѣтьми!* Секретъ: одной 1¹/₂ года, а другой еще X, Y, Z. Каковы-же хлопоты переезда!

Вамъ преданнѣйшій и весь вашъ

Федоръ Достоевскій.

Дрезденъ, 23 апрѣля (5 мая) 1871 г.

Письмо ваше, какъ и всегда, меня чрезвычайно заинтересовало, многоуважаемый Николай Николаевичъ. Но какія-же странныя извѣстія: я не могъ представить, что вы такъ ужъ *совсѣмъ* покончили съ „Зарей“. Изъ письма вашего вывожу это, да еще пишете, что рады отдохнуть и набрали переводовъ. Нѣтъ, такъ нельзя, Николай Николаевичъ. Вы не можете бросать такъ ваше большое дѣло. У насъ нѣтъ критика ни одного. Вы были, буквально, единственный. Я два года радовался, что есть журналъ, главная спеціальность котораго, сравнительно со всѣми журналами,—критика. И что-же, они сами уничтожили то, чтò у нихъ было самостоятельнаго, оригинальнаго, своего. Я упивался ва-

*) Вотъ что я писалъ: „Степанъ Трофимовичъ—прелесть. Я нахожу, что *тонъ* разсказа не всегда выдерживается; но первыя страницы, гдѣ *взятъ этотъ тонъ*,— очарованіе“.

шими статьями, я вашъ страстный поклонникъ и твердо увѣренъ, что у васъ есть и кромѣ меня достаточно поклонниковъ и что во всякомъ случаѣ надо продолжать. Оставлять—малодушіе. Простите меня за такое слово; но я давно уже, зная вашъ характеръ лично, увѣренъ, что вы слишкомъ не въ мѣру обезкураживаетесь послѣ первой неудачи. Но неудача всегда бываетъ, во всякомъ дѣлѣ. И притомъ, вы вѣдь сами не выдержите: погуляете, какъ вы пишете, но на переводахъ однихъ не останетесь и станете издавать брошюры отдѣльно. Такъ зачѣмъ-же, вмѣсто того, не обезпечить себя, не пристроиться къ новому журналу („Бесѣдѣ“)? А мнѣ такъ кажется, что въ „Бесѣдѣ“ именно люди, которые васъ могутъ лучше понять и глубже оцѣнить, чѣмъ въ „Зарѣ“.

При этомъ вотъ какое я вывелъ заключеніе, Николай Николаевичъ, и которое, вѣроятно, вы тоже знаете, но не прониклись еще имъ вполне, такъ какъ былъ и я до самаго послѣдняго времени. Вотъ въ чемъ дѣло: вслѣдствіе громаднхъ переворотовъ, начиная съ гражданскихъ и доходя до тѣсно-литературнаго цикла, у насъ разбилось, разсѣялось на нѣкоторое время и понизилось общественное образованіе и пониманіе. Люди вообразили, что имъ уже некогда заниматься литературой (точно игрушкой, каково образованіе!), и уровень критическаго чутья и всѣхъ литературныхъ потребностей страшно понизился, такъ что всякій критикъ, кто-бы у насъ ни появился, не произвелъ-бы теперь надлежащаго впечатлѣнія. Добролюбовъ и Писаревъ имѣли успѣхъ именно потому, что, въ сущности, отвергли литературу,—цѣлую область человѣческаго духа. Но по-такать этому невозможно и продолжать критическую дѣятельность все-таки должно. Простите-же и меня за совѣтъ, но вотъ какъ-бы я поступилъ на вашемъ мѣстѣ.

У васъ была, въ одной изъ вашихъ брошюръ, одна великолѣпная мысль и, главное, первый разъ въ литературѣ высказанная,—это: что всякій, чуть-чуть значительный и дѣйствительный талантъ—всегда кончалъ тѣмъ, что обращался къ національному чувству, становился народнымъ, славянофильскимъ. Такъ свистунъ Пушкинъ, вдругъ, раньше всѣхъ Кирѣевскихъ и Хомяковыхъ, создаетъ лѣтописца въ Чудовомъ монастырѣ, т. е. раньше всѣхъ славянофиловъ высказываетъ всю ихъ сущность и, мало того,—высказываетъ это несравненно глубже, чѣмъ всѣ они до сихъ поръ. Посмотрите опять на Герцена: сколько тоски и потребности поворотить на этотъ-же путь и невозможность изъ-за северныхъ свойствъ личности. Но этого мало: этотъ законъ поворота къ національному можно прослѣдить не въ однихъ постахъ и литературныхъ дѣятеляхъ, но и во всѣхъ другихъ дѣятельностяхъ. Такъ что, наконецъ, можно-бы вывести

рестъ мой здѣсь покажетъ все одинъ и тотъ-же (poste restante непре- ждѣнно).

Не пишется, Николай Николаевичъ, или пишется съ ужаснымъ му- ченіемъ. Чтѣ это значить,—я понять не могу. Думаю только, что это— потребность Россіи. Во чтѣ-бы ни стало надо воротиться. Чрезвычайно благодарю васъ, что не забыли написать мнѣ о моемъ романѣ. Ужасно вы ободрили меня. Съ замѣчаніемъ вашимъ о *тонѣ* въ высшей степени согласенъ; я мучился долго этой невыдержкой тона *). Съ возвращеніемъ въ Россію придется перервать даже работу. Во всякомъ случаѣ, въ ны- нѣшнемъ году романъ кончу.

Благодаренъ вамъ тоже за нѣкоторыя разъясненія моихъ недоумѣній. Еслибъ пришлось повторить, я-бы не написалъ вамъ того письма. Я былъ тогда въ ужасномъ болѣзненномъ нервномъ раздраженіи.

Гдѣ вы будете жить лѣтомъ: въ городѣ или на дачѣ? Хорошо-бы, еслибъ я заранѣе зналъ. Мнѣ кажется, я явлюсь въ самую середину лѣта. А какія хлопоты съ переѣздомъ, дорогой Николай Николаевичъ! Уѣхали мы самъ другъ съ молодой женой, а теперь, хотя возвращаюсь съ та- кой же молодой женой, но *и съ дѣтьми!* Секретъ: одной 1¹/₂ года, а другой еще X, Y, Z. Каковы-же хлопоты переѣзда!

Вамъ преданнѣйшій и весь вашъ

Федоръ Достоевскій.

Дрезденъ, 23 апрѣля (5 мая) 1871 г.

Письмо ваше, какъ и всегда, меня чрезвычайно заинтересовало, многоуважаемый Николай Николаевичъ. Но какія-же странныя извѣ- стія: я не могъ представить, что вы такъ ужъ *совсѣмъ* покончили съ „Зарей“. Изъ письма вашего вывожу это, да еще пишете, что рады отдохнуть и набрали переводовъ. Нѣтъ, такъ нельзя, Николай Ни- колаевичъ. Вы не можете бросать такъ ваше большое дѣло. У насъ нѣтъ критика ни одного. Вы были, буквально, единственный.² Я два года радо- вался, что есть журналъ, главная спеціальность котораго, сравнительно со всѣми журналами,—критика. И что-же, они сами уничтожили то, чтѣ у нихъ было самостоятельнаго, оригинальнаго, своего. Я упивался ва-

*) Вотъ что я писалъ: „Стенанъ Трофимовичъ—преlestь. Я нахожу, что тонъ разсказа не всегда выдерживается; но первыя страницы, гдѣ *взятъ* этотъ тонъ,— очарованіе“.

шими статьями, я вашъ страстный поклонникъ и твердо увѣренъ, что у васъ есть и кромѣ меня достаточно поклонниковъ и что во всякомъ случаѣ надо продолжать. Оставлять—малодушіе. Простите меня за такое слово; но я давно уже, зная вашъ характеръ лично, увѣренъ, что вы слишкомъ не въ мѣру обезкураживаетесь послѣ первой неудачи. Но неудача всегда бываетъ, во всякомъ дѣлѣ. И притомъ, вы вѣдь сами не выдержите: погуляете, какъ вы пишете, но на переводахъ однихъ не останетесь и станете издавать брошюры отдѣльно. Такъ зачѣмъ-же, вмѣсто того, не обезпечить себя, не пристроиться къ новому журналу („Бесѣдъ“)? А мнѣ такъ кажется, что въ „Бесѣдѣ“ именно люди, которые васъ могутъ лучше понять и поглубже оцѣнить, чѣмъ въ „Зарѣ“.

При этомъ вотъ какое я вывелъ заключеніе, Николай Николаевичъ, и которое, вѣроятно, вы тоже знаете, но не прониклись еще имъ вполне, такъ какъ былъ и я до самаго послѣдняго времени. Вотъ въ чемъ дѣло: вслѣдствіе громаднхъ переворотовъ, начиная съ гражданскихъ и доходя до тѣсно-литературнаго цикла, у насъ разбилось, разсѣялось на нѣкоторое время и понизилось общественное образованіе и пониманіе. Люди вообразили, что имъ уже некогда заниматься литературой (точно игрушкой, каково образованіе!), и уровень критическаго чутья и всѣхъ литературныхъ потребностей страшно понизился, такъ что всякій критикъ, кто-бы у насъ ни появился, не произвелъ-бы теперь надлежащаго впечатлѣнія. Добролюбовъ и Писаревъ имѣли успѣхъ именно потому, что, въ сущности, отвергли литературу,—цѣлую область человѣческаго духа. Но потакать этому невозможно и продолжать критическую дѣятельность все-таки должно. Простите-же и меня за совѣтъ, но вотъ какъ-бы я поступилъ на вашемъ мѣстѣ.

У васъ была, въ одной изъ вашихъ брошюръ, одна великолѣпная мысль и, главное, первый разъ въ литературѣ высказанная,—это: что всякій, чуть-чуть значительный и дѣйствительный талантъ—всегда кончалъ тѣмъ, что обращался къ національному чувству, становился народнымъ, славянофильскимъ. Такъ свистунъ Пушкинъ, вдругъ, раньше всѣхъ Кирѣевскихъ и Хомяковыхъ, создаетъ лѣтописца въ Чудовомъ монастырѣ, т. е. раньше всѣхъ славянофиловъ высказываетъ всю ихъ сущность и, мало того,—высказываетъ это несравненно глубже, чѣмъ всѣ они до сихъ поръ. Посмотрите опять на Герцена: сколько тоски и потребности поворотить на этотъ-же путь и невозможность изъ-за северныхъ свойствъ личности. Но этого мало: этотъ законъ поворота къ національному можно прослѣдить не въ однихъ поэтахъ и литературныхъ дѣятеляхъ, но и во всѣхъ другихъ дѣятельностяхъ. Такъ что, наконецъ, можно-бы вывести

даже другой законъ: если человекъ талантливъ дѣйствительно, то онъ, изъ вывѣтрившагося слоя будетъ стараться воротиться къ народу, если-же дѣйствительно таланта нѣтъ, то не только останется въ вывѣтрившемся слое, но еще экспатрируется, перейдетъ въ католичество и проч. и проч. Вѣлинскій (котораго вы до сихъ поръ еще цѣните) именно былъ немощенъ и безсиленъ талантишкомъ, а потому и проклялъ Россію и принесъ ей сознательно столько вреда (о Вѣлинскомъ еще много будетъ сказано впослѣдствіи, вотъ увидите). Но дѣло въ томъ, что эта мысль ваша до того сильна, что непремѣнно должна быть развита особо, спеціально. Напишите статью на эту именно тему, развѣйте ее спеціально и помѣстите въ „Бесѣдѣ“. Навѣрно они ей обрадуются. Это будетъ та же критика, только въ иной формѣ. Двѣ-три такихъ статьи въ годъ, и я вамъ предрекаю успѣхъ, и кромѣ того въ публикѣ васъ не забудутъ, а именно скажутъ, что вы перешли въ кругъ, въ которомъ васъ болѣе понимаютъ. „Бесѣда“ не „Заря“. Главное, зачѣмъ бросать литературу?

Но простите, еслибъ мы говорили лично, то лучше поняли-бы другъ друга. Увы, если вы ѣдете въ Кіевъ, то я васъ ни за что не застаю въ Петербургѣ. Я ворочусь только въ іюнѣ, такъ расположились денежные средства мои. И такъ, до осени. Хорошо-бы, еслибъ вы, выѣзжая изъ Петербурга, написали мнѣ еще письмецо. Письма ваши я получаю съ радостію. Но вотъ что скажу о вашемъ послѣднемъ сужденіи о моемъ романѣ: во 1-хъ) вы слишкомъ высоко меня поставили за то, что нашли хорошимъ въ романѣ и 2) вы ужасно мѣтко указали главный недостатокъ. Да, я страдалъ этимъ и страдаю; я совершенно не умѣю, до сихъ поръ, (не научился) совладать съ моими средствами. Множество отдѣльныхъ романовъ и повѣстей разомъ втискиваются у меня въ одинъ, такъ что ни мѣры, ни гармоніи. Все это изумительно вѣрно сказано вами, и какъ я страдалъ отъ этого самъ уже многіе годы, ибо самъ созналъ это *). Но

*) Для ясности приведу отрывокъ изъ своего письма:

„Во второй части „Бѣсовъ“—чудесныя вещи, стоящія на ряду съ лучшимъ, что вы писали. Нигилистъ Кириловъ—удивительно глубоко и ярокъ. Разсказъ съумасшедшей, сцена въ церкви и даже маленькая сценка съ Кармазиновымъ—все это самое верхи искусства. Но впечатлѣніе въ публикѣ до сихъ поръ очень смутное. Она не видитъ дѣли разсказа и теряется во множествѣ лицъ и эпизодовъ, которыхъ связь ей не ясна. Простите, что пишу вамъ эти неблагоприятныя сужденія. Мнѣ даже приходило въ голову предложить вамъ совѣты, и я не могу воздержаться отъ этой глупости, которую прошу принять какъ выраженіе величайшаго моего интереса къ вашей дѣятельности“.

„Очевидно—по содержанію, по обилію и разнообразію идей, вы у насъ первый человекъ, и самъ Толстой, сравнительно съ вами, однообразенъ. Этому не противорѣчить то, что на всемъ вашемъ лежитъ особенный и рѣзкій колоритъ“.

„Но, очевидно-же, вы пишете большею частію для избранной публики и вы

есть и того хуже: я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывомъ, берусь выразить художественную идею не по силамъ. (NB. Такъ, сила поэтического порыва всегда, напримѣръ, у V. Hugo сильнѣе средствъ исполненія. Даже у Пушкина замѣчаются слѣды этой двойственности). И тѣмъ я гублю себя.—Прибавлю, что переѣздъ и множество хлопотъ этимъ лѣтомъ страшно повредятъ роману. Но благодарю васъ за сочувствіе. Какъ жаль, что долго еще не увидимся. А покажѣсть я вашъ весь, сполна преданный вамъ.

Федоръ Достоевскій.

Дрезденъ 18-го (30-го мая) 1871 г.

Многоуважаемый Николай Николаевичъ, вы прямо такъ-таки и начали ваше письмо съ Бѣлинскаго. Я это предчувствовалъ. Но взгляните на Парижъ, на коммуну. Неужели вы одинъ изъ тѣхъ, которые говорятъ, что опять не удалось за недостаткомъ людей, обстоятельствъ и проч.? Во весь XIX вѣкъ это движеніе или мечтаетъ о раѣ на землѣ (начиная съ фаланстеры), или чуть до дѣла (48 годъ, 49—теперь)—выказываетъ унижительное безсиліе сказать хоть что нибудь положительное. Въ сущности, все тотъ-же Руссо и мечта пересоздать вновь міръ разумомъ и опытомъ (позитивизмъ). Вѣдь ужъ, кажется, достаточно фактовъ, что ихъ безсиліе сказать новое слово—явленіе не случайное. Они рубятъ головы почему?—Единственно потому, что это всего легче. Сказать что нибудь несравненно труднѣе. Желаніе чего нибудь не есть достиженіе. Они желаютъ счастья человѣка и остаются при опредѣленіяхъ слова „счастье“ Руссо, т. е. на фантазіи, неоправданной даже опытомъ. Пожаръ Парижа есть чудовищность: „Не удалось, такъ погибай міръ“,

загромождаете ваши произведенія, слишкомъ ихъ усложняете. Если-бы ткань вашихъ романовъ была проще, они-бы дѣйствовали сильнѣе. Напр. „Игрокъ“, „Вѣчный мужъ“ произвели самое ясное впечатлѣніе, а все, что вы вложили въ „Идіота“, пропало даромъ. Этотъ недостатокъ, разумѣется, находится въ связи съ вашими достоинствами. Довкій французъ или нѣмецъ, имѣй онъ десятую долю вашего содержанія, прославился бы на оба полушарія и вошелъ-бы первостепеннымъ свѣтиломъ въ исторію всемірной литературы. И весь секретъ, мнѣ кажется, состоитъ въ томъ, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вмѣсто двадцати образовъ и сотни сценъ остановиться на одномъ образѣ и десяткѣ сценъ. Простите, Федоръ Михайловичъ, но мнѣ все кажется, что вы до сихъ поръ не управляете вашимъ талантомъ, не приспособляете его къ наибольшему дѣйствию на публику. Чувствую, что касаюсь великой тайны, что предлагаю вамъ негнѣпѣйшій совѣтъ—перестать быть самимъ собою, перестать быть Достоевскимъ. Но я думаю, что въ этой формѣ вы все-таки поймете мою мысль“.

Н. С.

ибо коммуна выше счастья міра и Франціи. Но вѣдь имъ (да и многимъ) не кажется чудовищностью это бѣшенство, а напротивъ, *красотой*. И такъ, эстетическая идея въ новомъ челоѳчествѣ помутилась. Нравственное основаніе общества (взятое изъ позитивизма) не только не даетъ результатовъ, но и не можетъ само опредѣлить себя, путается въ желаніяхъ и въ идеалахъ. Неужели, наконецъ, мало теперь фактовъ для доказательства, что не такъ создается общество, не тѣ пути ведутъ къ счастью и не оттуда происходитъ оно, какъ до сихъ поръ думали? Откуда-же? Напишутъ много книгъ, а главное упустятъ: На западѣ Христа потеряли (по винѣ католицизма), и оттого Западъ падаетъ, единственно оттого. Идеаль пережѣнился и—какъ это ясно! А паденіе папской власти рядомъ съ паденіемъ главы римско-германскаго міра (Франціи и друг.)—какое совпаденіе!

Все это требуетъ большихъ и долгихъ рѣчей, но вотъ что я собственно хочу сказать: Еслибъ Бѣлинскій, Грановскій и вся эта поглядѣли теперь, то сказали-бы: „Нѣтъ, мы не о томъ мечтали, нѣтъ, это уклоненіе: подождемъ еще, явится свѣтъ и воцарится прогрессъ, и челоѳчество перестроится на здравыхъ началахъ и будетъ счастливо!“ Они никакъ-бы не согласились, что, разъ ступивъ на эту дорогу, нигуда больше не придешь, какъ къ комунѣ и къ Феликсу Ша. Они до того были тупы, что и *теперь* бы, уже послѣ событія, не согласились-бы и продолжали мечтать. Я обругалъ Бѣлинскаго болѣе какъ явленіе русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явленіе русской жизни. Одно извиненіе—въ неизбѣжности этого явленія. И увѣряю васъ, что Бѣлинскій помирился-бы теперь на такой мысли: „А вѣдь это оттого не удалось комунѣ, что она всетаки прежде всего была французская, т. е. сохраняла въ себѣ заразу національности. А потому надо присеять такой народъ, въ которомъ нѣтъ ни капли національности и который способенъ бить, какъ я, по щекамъ свою мать (Россію)“. И съ пѣной у рта бросился-бы вновь писать поганья статьи свои, позоря Россію, отрицая великія явленія ея (Пушкѣина),—чтобъ окончательно сдѣлать Россію *вакантною* націею, способною стать во главѣ общечелоѳческаго дѣла. Іезуитизмъ и ложь нашихъ нередовыхъ двигателей онъ принялъ-бы со счастьемъ. Но вотъ что еще: Вы никогда его не знали, а я зналъ и видѣлъ, и теперь осмыслилъ вполне. Этотъ челоѳвѣкъ ругалъ мнѣ. , и между тѣмъ никогда онъ не былъ способенъ самъ себя и всѣхъ двигателей всего міра сопоставить со Христомъ для сравненія. Онъ не могъ замѣтить того, сколько въ немъ и въ нихъ мелкаго самолюбія, злобы, нетерпѣнія, раздражительности, подлости,

а главное самолюбія. Онъ не сказалъ себѣ никогда: что-же мы поставимъ вмѣсто него? Неужели себя, тогда какъ мы такъ гадки? Нѣтъ, онъ никогда не задумался надъ тѣмъ, что онъ самъ гадокъ; онъ былъ доволенъ собой въ высшей степени, и это была уже личная, сирдная, позорная тупость. — Вы говорите, онъ былъ талантливъ. Совсѣмъ нѣтъ, и, Боже! какъ навралъ о немъ въ своей статьѣ Григорьевъ! Я помню мое юношеское удивленіе, когда я прислушивался къ нѣкоторымъ чисто-художественнымъ его сужденіямъ (наприм. о Мертв. Душахъ); онъ до безобразія поверхностно и съ пренебреженіемъ относился къ типамъ Гоголя и только радъ былъ до восторга, что Гоголь *обличилъ*. Здѣсь, въ эти 4 года, я перечиталъ его критикъ: Онъ обругалъ Пушкина, когда тотъ бросилъ свою фальшивую ноту, и явился съ повѣстями Бѣлкина и съ Арапомъ. Онъ съ удивленіемъ провозгласилъ ничтожество повѣстей Бѣлкина. — Онъ въ повѣсти Гоголя *Коляска* не находилъ художественнаго цѣльнаго созданія и повѣсти, а только шуточный рассказъ. Онъ отрекся отъ окончанія „Евгенія Онегина“. Онъ первый выпустилъ мысль о камеръ-юнкерствѣ Пушкина. Онъ сказалъ, что Тургеневъ не будетъ художникомъ, а между тѣмъ это сказано по прочтеніи чрезвычайно значительнаго рассказа Тургенева „Три портрета“. Я-бы могъ вамъ набрать такихъ примѣровъ сколько угодно, для доказательства неправды его критическаго чутія и „воспримчиваго трепета“, о которомъ вралъ Григорьевъ (потому что самъ былъ поэтъ). О Бѣлинскомъ и о многихъ явленіяхъ нашей жизни судить мы до сихъ поръ еще сквозь множество чрезвычайныхъ предразсудковъ.

Неужели я вамъ не писалъ про вашу статью о Тургеневѣ? Читалъ я ее, какъ всѣ ваши статьи, — съ восхищеніемъ, но и съ нѣкоторой маленькой досадой. Если вы признаете, что Тургеневъ потерялъ точку и виляетъ и *не знаетъ, что сказать* о нѣкоторыхъ явленіяхъ русской жизни (на всякій случай относясь къ нимъ насмѣшливо), то должны-бы были и признать, что великая художественная способность его ослабла (и должна была ослабѣть) въ послѣднихъ его произведеніяхъ. Такъ оно и есть въ самомъ дѣлѣ: онъ очень ослабѣлъ какъ художникъ. „Голосъ“ говорить, что это потому, что онъ живетъ за границей; но причина глубже. Вы-же признаете и за послѣдними произведеніями его прежнюю художественность. Такъ-ли это? Впрочемъ, я, можетъ быть, ошибаюсь (не въ сужденіи о Тургеневѣ, а въ вашей статьѣ). Можетъ быть, вы не такъ только выразились... А знаете, вѣдь это все помѣщикья литература. Она сказала все, что имѣла сказать (великолѣпно у Льва Толстого). Но это въ высшей степени помѣщикье слово было послѣднимъ. *Нового слова*, замѣняющаго помѣщикье, еще не было, да и некогда. Рѣшетниковы ничего не

сказали. Но всетаки Рѣшетниковы выражаютъ мысль необходимости чего-то новаго въ художническомъ словѣ, уже *не помпозичьяго*, хотя и выражаютъ въ безобразномъ видѣ.

Какъ желалъ-бы я васъ еще застать въ Петербургѣ! Понятія не имѣю, когда ворочусь. (Между нами — мечтаю черезъ мѣсяць). Но если не придутъ деньги и упушу ерокъ, то придется остаться опять. Но это ужасно и безмысленно!

Романъ я или испорчу до грязи, до позора (я уже началъ портить), или осилю, и хоть что нибудь да изъ него выйдетъ хорошее. Пишу *на удачу*. Вотъ теперешній мой девизъ. (Все это между нами, ради Бога).

А я такъ мечталъ встрѣтить васъ въ Петербургѣ перваго! Безъ сомнѣннѣя, проѣхаться вамъ въ высшей степени необходимо. Но, — не останетесь какъ нибудь въ Кіевѣ совсѣмъ. Ваши письма стали страшно пугать меня за васъ. Вы одинъ изъ людей, наисильнѣйше отразившихся въ моей жизни, и я васъ искренно люблю и вамъ сочувствую. Вы просто въ уныніи (объ смерти начали говорить!) Ахъ, хорошо-бы было намъ повидаться!

— А „Заря“ -то кажется и совсѣмъ не выйдетъ. Неужели такъ? Какъ грустно. Я апрѣльскаго номера вотъ уже 2 мѣсяца не получаю и въ объявленіяхъ не вижу. У меня есть мысль, что „Заря“ могла-бы спастись отъ паденія, — цѣлый планъ. Но долго описывать, да и спеціальностей о „Зарѣ“ я не знаю. Я только вообще думаю, что не худо-бы журналамъ (хоть одному начать) специализироваться. Напримѣръ, „Зарѣ“ въ *одну* эстетико-критическую сторону и болѣе ничѣмъ не заниматься, никакихъ другихъ отдѣловъ. А вѣдь, право, могло-бы удаться. Жаль, что не могу развить передъ вами мою мысль сейчасъ.

О Тургеневѣ читалъ у васъ (въ письмѣ) съ наслажденіемъ.

Много-бы могъ разъяснить, но оставляю до свиданія.

Вашъ весь искренно вамъ преданный.

Ф. Достоевскій.

Если можете черкнуть — напишите. Адресъ тотъ-же. Жена вамъ кланяется.

Къ С. Д. Яновскому.

Петербургъ, 4 февраля 1872 г.

Многоуважаемый и незабвенный Степанъ Дмитриевичъ, какъ я радъ, что, наконецъ, знаю, куда вамъ написать. Еще въ ноябрѣ, Александръ

Устиновичъ *) говорилъ мнѣ, что вы въ Швейцаріи. Давно-ли вы въ Кіевѣ? И почему именно выбрали Кіевъ? (По климату?) Плохо то, что жалуетесь на здоровье. Представьте, и у меня точно такой же кашель, какой вы описываете, но мнѣ, по крайней мѣрѣ въ этомъ году, нечего думать о южныхъ климатахъ. Другое дѣло лѣтомъ; можетъ быть, проѣду хоть не въ Италію, но въ Воронежъ и Кіевъ, и дай Богъ, чтобъ еще привелось васъ застать въ Кіевѣ. Я бы очень, очень обрадовался, если-бъ пришлось намъ свидѣться! Вѣдь вы одинъ изъ „забвенныхъ“, одинъ изъ тѣхъ, которые рѣзко отозвались въ моей жизни и съ именемъ вашимъ связаны мои воспоминанія. Намъ, Степанъ Дмитріевичъ, нельзя не свидѣться передъ старостью. Что-же, надо признаться, старость подходитъ, а межъ тѣмъ и не думаешь, все еще располагаешь писать новое, что нибудь издать, чѣмъ бы наконецъ самъ остался доволенъ, ждешь еще чего-то отъ жизни, а межъ тѣмъ, можетъ быть, уже все получилъ. Я про себя вамъ повѣствую. Чтожъ, я вполне счастливъ, кажется ужился, и у насъ двое дѣтей, Люба и Федька, дѣвочка и мальчикъ.—Помните, какъ мы видѣлись въ послѣдній разъ въ Москвѣ? Боже, какой вы были еще тогда молодець, а теперь вотъ жалуетесь на нездоровье! Но ужъ если ѣздить за границу, то, по крайней мѣрѣ, хоть здоровье-то вывезти оттуда. Я же пробылъ за границей 4 года, въ Швейцаріи, Германіи и Италіи, и наскучило, наконецъ, ужасно. Съ ужасомъ сталъ замѣчать, что и отъ Россіи отстаю; читаю три газеты, говорю съ русскими, а чего-то какъ бы не понимаю, нужно воротиться и посмотреть своими глазами. Ну, чтожъ, воротился и особенной загадки не нашель, все въ два-три мѣсяца поймешь снова.—Но вообще, эта поѣздка за границу была съ моей стороны большой неразсчетъ: я думалъ отправляясь прожить за границей года два, написать романъ, продать, нажить денегъ, заплатить долги (еще послѣ журнала остались) и воротиться уже человѣкомъ свободнымъ, да еще поправивъ здоровье. И чтожъ? Долги только увеличились, здоровье (т. е. падучая) нѣсколько поутихли противъ прежняго, но радикально не вылечился, а между тѣмъ родились дѣти, и чѣмъ дальше, тѣмъ тяжеле было подняться съ мѣста, чтобы ѣхать въ Россію. Вошелъ опять въ страшные долги, но, наконецъ, кончилъ тѣмъ, что воротился—и вотъ моя эпопея съ одной стороны.

Я всего здѣсь еще полгода. Допишываю послѣднюю часть романа, который печатаю въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, и какъ допишу, къ лѣту, хочется поѣхать (имѣю въ виду) въ деревню, въ губернію (въ Тульскую), чтобъ поправить здоровье моей Любочки. Все въ порядкѣ, но такая

*) Порѣцкій.

худенькая, а я ее люблю больше всего на свѣтѣ. Вотъ Федька (здѣсь родился *шесть дней спустя по тризду* (!), теперь шести мѣсяцевъ), такъ навѣрно получили бы призъ на лондонской прошлогодней выставкѣ грудныхъ младенцевъ (только чтобъ не сглазить).

Нѣтъ, намъ нужно повидаться и поговорить. Въ умѣ у меня съѣздить на востокъ (Константинополь, Греческій Архипелагъ, Афонъ, Іерусалимъ) и написать книгу. Готовлюсь, т. е. читаю. Поѣздка потребуетъ менѣе года, а написать хочется многое, да и книга окупить.

Не покидайте меня, дорогой, незабвенный другъ. Вѣдь вы мой благодѣтель. Вы любили меня и возились со мною, съ больнымъ *душевною болѣзнію* (вѣдь я теперь сознаю это), *до моей поѣздки въ Сибирь*, гдѣ я вылечился. Желалъ бы я знать, что у васъ теперь въ душѣ и въ сердцѣ, чѣмъ заняты, какъ смотрите кругомъ, чего желаете? Пишите, пишите хоть изрѣдка. Письма—глупая вещь, я согласенъ, ничего не выскажешь, но что нибудь да расскажешь и такимъ образомъ хоть что нибудь да узнаешь о бывшемъ другѣ.

Я Майкова вижу часто и передаю ему о Цейдлерѣ при первомъ свиданіи (мнѣ кажется, что Цейдлеръ въ Москвѣ, или около Москвы). Вообще моя жизнь теперь трудовая. Пишется трудно и пишу по ночамъ. Но жить уединенно здѣсь нельзя даже и работающему. Вотъ почему вижу и старыхъ знакомыхъ, знакомясь и съ новыми.

Жена вамъ очень кланяется и очень обрадовалась, что вы отозвались. Она слишкомъ много знала о васъ черезъ меня еще и прежде, и считаетъ васъ (съ одного взгляда въ Москвѣ) самымъ лучшимъ моимъ доброжелателемъ. Радуюсь, что какъ разъ теперь при деньгахъ и слѣшу выслать мой долгъ сто рублей. Не браните, дорогой другъ, что раньше не высылалъ: почти все не было, за границей жилъ ужасно экономно, а когда были—то или не знаю вашего адреса, или улетать такъ скоро, что и не опомнишься.—Но, возвращая, еще разъ благодарю. Эти 100 руб. рѣшительно поддержали насъ въ свое время въ Женевѣ.

До свиданія. Жду непременно отъ васъ письмаца. А можетъ быть лѣтомъ и свидимся. Это хорошо бы было!

На всю жизнь вамъ искренно преданный и очень любящій васъ

Федоръ Достоевскій.

Жена очень вамъ кланяется и проситъ объ ней вспомнить.

Адресъ мой: Серпуховская улица, № 15, близъ Технологическаго Института.

NB. *Не надо* въ домъ Архангельской.

Къ Х. Д. N—ой.

Петербургъ, 9 апрѣля 1876 г.

Глубокоуважаемая Христина Даниловна!

Очень прошу васъ извинить, что отвѣчаю вамъ не сейчасъ. Когда я получилъ письмо ваше отъ 9-го марта, то уже сѣлъ за работу. Хотя я и кончаю работу примѣрно къ 25-му мѣсяца, но остаются хлопоты съ типографіей, затѣмъ съ разсылкой и проч. А нынѣшній мѣсяць, къ тому-же, заболѣлъ простудой, да и теперь еще не выздоровѣлъ.

Письмо ваше доставило мнѣ большое удовольствіе, особенно приложеніе главы изъ вашего дневника; это прелесть, но я вывелъ заключеніе, что вы одна изъ тѣхъ, которыя имѣютъ даръ одно *хорошее* видѣть.

Про пріютъ г-жи Чертовой я, впрочемъ, ничего не знаю (но узнаю при первой возможности); я вѣрю, что все такъ и есть, какъ вы написали. но можетъ быть, рядомъ, есть и что нибудь нежелательное, *этого вы не хотѣли замѣтить*. Все это рисуетъ характеръ, и я слишкомъ васъ уважаю за эту самую черту. Кромѣ того вижу, что вы сама изъ новыхъ людей (въ добромъ смыслѣ слова) — дѣятель и хотите дѣйствовать. Я очень радъ, что познакомился съ вами хоть въ письмахъ. Не знаю, куда меня пошлютъ на лѣто. доктора, думаю, что въ Эмсъ, куда ѣзжу уже два года, но можетъ быть и въ Эссентуви, на Кавказъ; въ послѣднемъ случаѣ, хоть можетъ быть и крѣпку сдѣлаю, а заѣду въ Харьковъ, на обратномъ пути. Я давно уже собирался побывать на нашемъ югѣ, гдѣ никогда не былъ. Тогда, если Богъ приведетъ, и если вы мнѣ сдѣлаете эту честь, познакомимся лично.

Вы сообщаете мнѣ мысль о томъ, что я въ „Дневникѣ“ разбѣняюсь на мелочи. Я это уже слышалъ и здѣсь. Но вотъ что я, *между прочимъ*, вамъ скажу: я вывелъ неотразимое заключеніе, что писатель художественный, кромѣ поэмы, долженъ знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую дѣйствительность. У насъ, по моему, одинъ только блистаетъ этимъ — графъ Левъ Толстой. Victor Hugo, котораго я высоко цѣню какъ романиста (за что, представьте себѣ, покойникъ Ѡ. Тютчевъ на меня даже разъ разсердился, сказавши, что „Преступленіе и Наказаніе“ (мой романъ) выше „Misérables“), хотя и очень иногда растянуть въ изученіи подробностей, но однако далъ такіе удивительные этюды, которые, не было-бы его, такъ бы и остались совсѣмъ неизвѣстными міру. Вотъ почему, готовясь написать одинъ очень большой романъ, я и задум-

малъ погрузиться специально въ изученіе — не дѣйствительности собственно, я съ нею и безъ того знакомъ, а подробностей текущаго. Одна изъ самыхъ важныхъ задачъ въ этомъ текущемъ, для меня, напимѣрь, молодое поколѣніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ — современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, какъ всего еще двадцать лѣтъ назадъ. Но есть и еще многое кромя того.

Игѣя 53 года, можно легко отстать отъ поколѣнія при первой небрежности. Я на дняхъ встрѣтилъ Гончарова и на мой искренній вопросъ: понимаетъ-ли онъ все въ текущей дѣйствительности, или кое-что уже пересталъ понимать, онъ мнѣ прямо отвѣтилъ, что многое пересталъ понимать. (NB. Это между нами). Конечно, я про себя знаю, что этотъ *большой умъ* не только понимаетъ, но и учителей научить, но въ томъ известномъ смыслѣ, въ которомъ я спрашивалъ (и что онъ понялъ съ $\frac{1}{2}$ слова), онъ, разумѣется, не то что не понимаетъ, а не хочетъ понимать. „Мнѣ дороги мои идеалы и то, что я такъ излюбилъ въ жизни“, прибавилъ онъ, „я и хочу съ этимъ провести тѣ немного лѣтъ, которыя мнѣ остались, а штудировать этихъ (онъ указалъ мнѣ на проходившую толпу на Невскомъ проспектѣ) мнѣ обременительно, потому что на нихъ пойдет мое дорогое время...“ Не знаю, понятно-ли я вамъ это выразилъ, Христина Даниловна, но меня какъ-то влечетъ еще написать что нибудь съ полнымъ знаніемъ дѣла; вотъ почему я, нѣкоторое время, и буду штудировать и рядомъ вести „Дневникъ Писателя“, чтобъ не пропало даромъ множество впечатлѣній. Все это, конечно, идеалъ! Вѣрите-ли вы, напимѣрь, тому, что я еще не успѣлъ уяснить себѣ форму „Дневника“, да и не знаю, налажу-ли это когда нибудь, такъ что „Дневникъ“ хоть и два года, напимѣрь, будетъ продолжаться, а все будетъ вещь неудавшаяся. Напимѣрь: у меня 10—15 темъ, когда сажусь писать (не меньше); но темы, которыя я излюбилъ больше, я поневодѣ откладываю: мѣста займутъ много, жару много возьмутъ (дѣло Кроненберга напимѣрь), N-ру повредить, будетъ разнообразно, мало статей; и вотъ пишешь не то, что хотѣлъ. Съ другой стороны я слишкомъ наивно думалъ, что это будетъ *настоящій* дневникъ. Настоящій дневникъ почти невозможенъ, а только показной, для публики. Я встрѣчаю факты и выношу много впечатлѣній, которыми очень бываю занятъ, — но какъ объ этомъ писать? Иногда просто невозможно. Напимѣрь: вотъ уже три мѣсяца, какъ я получаю отовсюду очень много писемъ, подписанныхъ и анонимныхъ, — всѣ сочувственныя. Иныя писаны чрезвычайно любопытно и оригинально, и къ тому-же всѣхъ возможныхъ существующихъ теперь *направлений*.

По поводу этихъ всѣхъ *возможныхъ* направлений, слившихся въ

общемъ мнѣ привѣтствіи, я и хотѣлъ было написать статью, а именно впечатлѣніе отъ этихъ писемъ (безъ обозначенія именъ). Къ тому же тутъ мысль всего болѣе меня занимающая: „въ чемъ наша *общность*, гдѣ тѣ пункты, въ которыхъ мы могли бы всѣ, разныхъ направленій, сойтись?“ Но, обдумавъ уже статью, я вдругъ увидалъ, что ее *со всею искренностью* ни за что написать нельзя; ну а если безъ искренности, то стоитъ ли писать? Да и горячаго чувства не будетъ.

Вдругъ, третьяго дня, утромъ входятъ ко мнѣ двѣ дѣвицы, обѣ лѣтъ по 20. Входятъ и говорятъ: „Мы хотѣли съ вами познакомиться еще съ поста. Надъ нами всѣ смѣялись и сказали, что вы насъ не примете, а если и примете, то ничего съ нами не скажете. Но мы рѣшили попытаться и вотъ пришли, такая-то и такая-то“. Ихъ приняла сначала жена, потомъ вышла я. Онѣ рассказали, что онѣ студентки Медицинской Академіи, что ихъ тамъ, женщинъ, уже до 500, и что онѣ „вступили въ Академію, чтобъ получить высшее образованіе и приносить потомъ пользу.“ Этого типа новыхъ дѣвицъ я не встрѣчалъ (старыхъ же *нигилистовъ* знаю множество, знаю ихъ лично и хорошо изучилъ). Вѣрите-ли, что рѣдко я провелъ лучше время, какъ тѣ два часа съ этими дѣвицами. Что за простота, натуральность, свѣжесть чувства, чистота ума и сердца, *самая искренняя серьезность* и *самая искренняя веселость!* Черезъ нихъ я конечно познакомился со многими, такими же, и признаюсь вамъ — впечатлѣніе было сильное и свѣтлое. Но какъ описать его? Со всею искренностью и радостію за молодежь — невозможно. Да и личность почти. А въ такомъ случаѣ, какія же я долженъ заносить впечатлѣнія?

Вчера вдругъ узнаю, что одинъ молодой человѣкъ еще изъ учащихся (гдѣ — не могу сказать) и котораго мнѣ показали, будучи въ знакомомъ домѣ, зашелъ въ комнату домашняго учителя, учившаго дѣтей въ этомъ семействѣ, и, увидавъ на столѣ его *запрещенную книгу*, донесъ объ этомъ хозяину дома, и тотъ тотчасъ же выгналъ гувернера. Когда молодому человѣку, въ другомъ уже семействѣ, замѣтили, что онъ *сдѣлалъ низость*, то онъ этого *не понялъ*. Вотъ вамъ другая сторона медали. Ну какъ я расскажу объ этомъ? Это личность, а между тѣмъ тутъ не личность, тутъ характеренъ былъ особенно, какъ мнѣ передавали, тотъ процессъ мышленія и убѣжденій, вслѣдствіе которыхъ онъ *не понялъ*, и объ чемъ можно бы сказать любопытное словцо.

Но я заболтался. Къ тому же, я ужасно не умѣю писать писемъ. Простите и за почеркъ, у меня гриппъ, болитъ голова и нынѣшній день — ломъ въ глазахъ, потому пишу почти не видя буквъ.

худенькая, а я ее люблю больше всего на свѣтѣ. Вотъ Федька (здѣсь родился *шесть дней спустя по приѣздъ* (!), теперь шести мѣсяцевъ), такъ навѣрно получилъ бы призъ на лондонской прошлогодней выставкѣ грудныхъ младенцевъ (только чтобъ не слазить).

Нѣтъ, намъ нужно повидаться и поговорить. Въ умѣ у меня сѣздить на востокъ (Константинополь, Греческій Архипелагъ, Аѳонъ, Іерусалимъ) и написать книгу. Готовлюсь, т. е. читаю. Поездка потребуетъ менѣе года, а написать хочется многое, да и книга окупить.

Не покидайте меня, дорогой, незабвенный другъ. Вѣдь вы мой благодѣтель. Вы любили меня и возились со мною, съ больнымъ *душевною болѣзнію* (вѣдь я теперь сознаю это), *до моей поездки въ Сибирь*, гдѣ и вылечился. Желалъ бы я знать, что у васъ теперь въ душѣ и въ сердцѣ, чѣмъ заняты, какъ смотрите кругомъ, чего желаете? Пишите, пишите хоть изрѣдка. Письма—глухая вещь, я согласенъ, ничего не выскажешь, но что нибудь да расскажешь и такимъ образомъ хоть что нибудь да узнаешь о бывшемъ другѣ.

Я Майкова вижу часто и передамъ ему о Цейдлерѣ при первомъ свиданіи (мнѣ кажется, что Цейдлеръ въ Москвѣ, или около Москвы). Вообще моя жизнь теперь трудовая. Пишется трудно и пишу по ночамъ. Но жить уединенно здѣсь нельзя даже и работающему. Вотъ почему вижу и старыхъ знакомыхъ, знакомлюсь и съ новыми.

Жена вамъ очень кланяется и очень обрадовалась, что вы отозвались. Она слишкомъ много знала о васъ черезъ меня еще и прежде, и считаетъ васъ (съ одного взгляда въ Москвѣ) самымъ лучшимъ моимъ доброжелателемъ. Радуюсь, что какъ разъ теперь при деньгахъ и спѣшу выслать мой долгъ сто рублей. Не браните, дорогой другъ, что раньше не высылалъ: почти все не было, за границей жилъ ужасно экономно, а когда были—то или не знаю вашего адреса, или улетать такъ скоро, что и не опомнишься.—Но, возвращая, еще разъ благодарю. Эти 100 руб. рѣшительно поддержали насъ въ свое время въ Женевѣ.

До свиданія. Жду непременно отъ васъ письмаца. А можетъ быть лѣтомъ и свидимся. Это хорошо бы было!

На всю жизнь вамъ искренно преданный и очень любящій васъ

Федоръ Достоевскій.

Жена очень вамъ кланяется и проситъ объ ней вспомнить.

Адресъ мой: Серпуховская улица, № 15, близъ Технологическаго Института.

NB. *Не надо* въ домъ Архангельской.

одного лица, въ прошломъ году, и отказали, не распечатавъ даже пакета, на томъ основаніи, что отъ *такого* лица, что бы онъ ни написалъ, имъ нельзя ничего напечатать, и что журналъ бережетъ свое знамя. Такъ я и *ушелъ*. Но объ васъ я всетаки поговорю, на томъ основаніи, что если-бы это было въ то время, когда покойный братъ мой издавалъ журналъ „Время“, то комедія или повѣсть ваша, чуть-чуть онъ-бы подходили къ направленію журнала, несомнѣнно были-бы напечатаны (хотя-бы вы сидѣли въ острогѣ).

NB. Мнѣ не совѣмъ по сердцу тѣ двѣ строчки вашего письма, гдѣ вы говорите, что не чувствуете никакого раскаянія отъ сдѣланнаго вами поступка въ банкѣ. Есть нѣчто высшее доводовъ разсудка и всевозможныхъ подошедшихъ обстоятельствъ, чему всякій обязанъ подчиниться (т. е. въ родѣ опять-таки какъ бы *знамени*). Можетъ быть, вы настолько умны, что не оскорбитесь откровенностью и *неприязнностью* моею замѣтки. Во-первыхъ я самъ не лучше васъ и никого (и это вовсе не ложное смиреніе, да и къ чему-бы мнѣ?), а во 2-хъ, если я васъ и оправдаю по своему въ сердцѣ моемъ (какъ приглашу и васъ оправдать меня), то все-же лучше, если я васъ оправдаю, чѣмъ *вы* сами себя оправдаете. Кажется, это не ясно. (NB. Кстати, маленькую параллель: христіанинъ, т. е. полный, высшій, идеальный, говоритъ: „я долженъ раздѣлить съ меньшимъ братомъ мое имущество и служить имъ всеѣмъ. А коммунаръ говоритъ: да, ты долженъ раздѣлить со мною, меньшимъ и нищимъ, твое имущество и долженъ мнѣ служить“. Христіанинъ будетъ правъ, а коммунаръ будетъ не правъ. Впрочемъ, теперь, можетъ быть, вамъ еще непонятнѣе, что я хотѣлъ сказать).

Теперь о евреяхъ. Распространиться на такія темы невозможно въ письмѣ, *особенно съ вами*, какъ сказалъ я выше. Вы такъ умны, что мы не рѣшимъ подобнаго спорнаго пункта и во сто письмахъ, а только себя изломаемъ. Скажу вамъ, что я и отъ другихъ евреевъ уже получалъ въ этомъ родѣ замѣтки. Особенно получилъ недавно одно идеально благородное письмо отъ одной еврейки, подписавшейся тоже съ горькими упреками. Я думаю, я напишу по поводу этихъ укоровъ отъ евреевъ нѣсколько строкъ въ февральской „Дневникѣ“ моемъ (который еще не начиналъ писать, ибо до сихъ поръ еще боленъ послѣ недавняго припадка падучей моею болѣзнію). Теперь-же вамъ скажу, что я вовсе не врагъ евреевъ и никогда имъ не былъ. Но уже 40-лѣтнее, какъ вы говорите, ихъ существованіе доказываетъ, что это племя имѣетъ чрезвычайно сильную жизненную силу, которая не могла, въ продолженіе всей ихъ исторіи, не формулироваться въ разные status in statu. Сильнѣйшій status in statu

безспоренъ и у нашихъ русскихъ евреевъ. А если такъ, то какъ-же они могутъ не стать, хотя *отчасти*, въ разладъ съ корнемъ націи, съ племенемъ русскимъ? Вы указываете на интеллигенцію еврейскую, но вѣдь вы тоже интеллигенція, а посмотрите

Но оставимъ, тема длинная. Врагомъ-же я евреевъ не былъ. У меня есть знакомые евреи, есть еврейки, входящія и теперь ко мнѣ за совѣтами по разнымъ предметамъ, а они читаютъ „Дневникъ Писателя“, и хотя щекотливые, какъ всѣ евреи за еврейство, но мнѣ не враги, а напротивъ приходятъ.

На счетъ дѣла о Корниловой замѣчу лишь то, что вы ничего не знаете, а стало быть тоже некомпетентны. Но какой, однакоже, вы ученикъ. Съ такимъ взглядомъ на сердце человѣка и на его поступки остается лишь погрязнуть въ матеріальномъ удовольствіи

...Но я васъ вовсе не знаю, не смотря на письмо ваше. Письмо ваше (первое) увлекательно хорошо. Хочу вѣрить отъ всей души, что вы совершенно искренни. Но если и не искренни—все равно: ибо неискренность въ данномъ случаѣ пресложное и преглубокое дѣло въ своемъ родѣ. Вѣрьте полной искренности, съ которою жму протянутую вами мнѣ руку. Но возвысьтесь духомъ и формулируйте вашъ идеалъ. Вѣдь вы-же искали его до сихъ поръ, или нѣтъ?

Съ глубокимъ уваженіемъ

Вашъ Федоръ Достоевскій.

Къ г-жѣ Герасимовой.

С.-Петербургъ, 7 марта 1877 г. *).

Милостивая государыня, г-жа Герасимова.

Письмо ваше изучило меня тѣмъ, что я такъ долго не могъ на него отвѣтить. Чтѣ вы обо мнѣ подумаете? И въ вашемъ тяжеломъ душевномъ настроеніи примете, пожалуй, мое молчаніе за оскорбленіе.

Знайте, что я заваленъ работой. Кромѣ срочной работы съ моимъ „Дневникомъ“, я заваленъ перепиской. Такихъ писемъ, какъ вы написали, приходитъ ко мнѣ по нѣскольку въ день (буквально), а на нихъ

*) На этомъ и слѣдующемъ письмѣ стоятъ помѣтки: „Собственность А. Палецкой. Нарва, домъ Крупенкиной.“

нельзя отвѣчать двумя строчками. Я выдержалъ *три* припадка моей падучей болѣзни, чего уже многіе годы не бывало въ такой силѣ и такъ часто. Но послѣ припадковъ я по два, по три дня ни работать, ни писать, ни даже читать ничего не могу, потому что весь разбитъ, и физически, и духовно. А потому, узнавъ это теперь, извините меня за долгій неотвѣтъ.

Письмо ваше я ни въ какомъ случаѣ не могъ счесть ни *дѣтскимъ*, ни *лутымъ*, какъ вы пишете сами. Главное то, что теперь это общее настроеніе и такихъ молодыхъ страдающихъ дѣвушекъ очень много. Но много я вамъ писать на эту тему не буду, а выражу лишь основныя мои мысли и вообще по этому вопросу и относительно васъ въ частности. Дѣло въ томъ, что просить васъ успокоиться и, оставшись въ родительскомъ домѣ, приняться за какое нибудь интеллигентное занятіе (за специальность какую нибудь по образованію и проч.), кажется нечего, — не послушаетесь. Но, однако, чего-же вы спѣшите и куда торопитесь? Вы торопитесь быть поскорѣе *полезною*. А между тѣмъ съ такимъ душевнымъ рвеніемъ, какъ ваше (предполагая, что оно искреннее), можно-бы, дѣйствительно, не торопясь Богъ знаетъ куда, а занявшись правильно своимъ образованіемъ, приготовить себя на дѣятельность *во сто разъ* болѣе полезную, чѣмъ темная и ничтожная роль какой нибудь фельдшерницы, бабки и лѣварки. Вы рветесь на медицинскіе здѣшніе курсы. Я положительно-бы вамъ отсовѣтовалъ поступать на нихъ. Тамъ не дадутъ ни малѣйшаго образованія, мало того, происходитъ нѣчто худшее. И что въ томъ, что вы когда нибудь будете бабкой или лѣваркой? Этакую специальность, если ужъ слишкомъ захотите пойти по ней, можно взять и послѣ, а не лучше-ли бы теперь преслѣдовать другія цѣли, заняться высшимъ образованіемъ? Посмотрите на всѣхъ нашихъ специалистовъ (даже профессоровъ университета), чѣмъ они страдаютъ и чѣмъ вредятъ (вмѣсто того, чтобы приносить пользу!) своему-же дѣлу и призванію? Тѣмъ, что у насъ большинство нашихъ специалистовъ — все люди *глубоко необразованные*. Не то въ Европѣ, тамъ встрѣтите и Гумбольдта, и Клодъ-Бернара, и проч. людей съ универсальной мыслью, съ огромнымъ образованіемъ и *знаніемъ*, не по одной своей специальности. У насъ же люди даже съ огромными талантами (Сѣченовъ, на примѣръ) въ сущности человѣкъ необразованный и внѣ своего предмета мало знающій. О противникахъ своихъ (философахъ) не имѣетъ понятія, а потому научными выводами своими скорѣе вреденъ, чѣмъ приноситъ пользу. А большинство студентовъ и студентокъ, — это все безо всякаго образованія. Какая тутъ польза ^{человѣчеству!} Такъ только, поскорѣе бы мѣсто съ жалованьемъ занять.

Позвольте пожать вамъ руку и сдѣлайте мнѣ честь считать меня въ числѣ многихъ глубокоуважающихъ васъ людей.

Примите въ томъ мои увѣренія

Вашъ слуга Федоръ Достоевскій.

Петербургъ, 14 февраля 1877 г.

Милостивый Государь Г. А. Ковнеръ!

Я вамъ долго не отвѣчалъ потому, что я человѣкъ больной и чрезвычайно туго пишу мое ежемѣсячное изданіе. Къ тому-же, каждый мѣсяцъ *долженъ* отвѣчать на нѣсколько десятковъ писемъ. Наконецъ, имѣю семью и другія дѣла и обязанности. Положительно, жить некогда и вступать въ длинную переписку невозможно. Съ вами-же особенно.

Я рѣдко читалъ что нибудь умнѣе вашего перваго письма ко мнѣ (2-е письмо ваше — спеціальность). Я совершенно вѣрю вамъ во всемъ томъ, гдѣ вы говорите о себѣ. О преступленіи разъ совершенномъ вы выразились такъ ясно и такъ (мнѣ по крайней мѣрѣ) понятно, что я, не знавшій *подробно* вашего дѣла, теперь по крайней мѣрѣ смотрю на него такъ, какъ вы сами о немъ судите.

Вы судите о моихъ романахъ. Объ этомъ, конечно, мнѣ съ вами нечего говорить, но мнѣ понравилось, что вы выдѣляете какъ лучшій изъ всѣхъ „Идіота“. Представьте, что это сужденіе я слышалъ уже разъ 50, если не болѣе. Книга-же каждый годъ покупается и даже съ каждымъ годомъ больше. Я про „Идіота“ потому сказалъ теперь, что всѣ говорившіе мнѣ о немъ, какъ о лучшемъ моемъ произведеніи, имѣютъ вѣчто особое въ складѣ своего ума, очень меня поражавшее и мнѣ нравившееся. А если и у васъ такой-же складъ ума, то *для меня* тѣмъ лучше. Разумѣется, если вы говорите искренно. Но хоть-бы и неискренно...

Оставимъ это. Желалъ-бы я чтобы вы не падали духомъ. Вы стали заниматься литературой—это добрый знакъ. На счетъ помѣщенія ихъ^{*)}, гдѣ нибудь мною, не знаю, что вамъ сказать. Я могу лишь поговорить въ „Отечественныхъ Запискахъ“ съ Некрасовымъ или съ Салтыковымъ, и поговорю непременно еще *до прочтенія ихъ*, но на успѣхъ даже и тутъ не надѣюсь. Они, ко мнѣ очень расположенные, уже отказали мнѣ разъ въ рекомендованномъ и доставленномъ мною въ ихъ редакцію сочиненіи

*) Рѣчь идетъ о присланныхъ Достоевскому двухъ рукописяхъ г. Ковнера.

ховно, а не онъ васъ. Впрочемъ вы пишете, что его не любите, а это *все*. Ни изъ какой цѣли нельзя уродовать свою жизнь. Если не любите, то и *не выходите*. Если хотите, напишите мнѣ еще. Эта дама (имя ея въ секретѣ; Впрочемъ, въ крайнемъ случаѣ, отцу вашему можете сказать) вамъ будетъ тоже помогать. Извините, если письмо мое найдете несоотвѣтствующимъ тому, чего вы ожидали, но вѣдь вы слишкомъ много надавали вопросовъ и не легко на нихъ отвѣчать.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

С.-Петербургъ, 16 апрѣля 1877 г.

Многоуважаемая А. Ф.

Я былъ и боленъ и занятъ весь мѣсяць, но хотъ я и теперь очень занятъ, такъ что не имѣю возможности отвѣчать на письма, но на ваше письмо, отъ 15 марта, не могу отказать себѣ въ сердечной потребности черкнуть вамъ хотъ два слова (хотъ вы и не требовали отвѣта). Мнѣ хотѣлось вамъ только выразить, что изъ втораго письма вашего я узналъ васъ вдесятеро больше, чѣмъ изъ перваго, и неудержимо желаю вамъ высказать, что глубоко уважаю васъ. То, что вы говорите о вашемъ отцѣ (который, хотъ неволью, но все же причиною вашего тяжелаго положенія) о томъ, что онъ хотъ и не образованъ, а лучше многихъ образованныхъ, о томъ, какъ вы его любите и боитесь огорчить — все это рисуетъ вашу прекрасную и твердую душу. Не удивляюсь послѣ того, что женихъ вашъ (котораго вы не любите) такъ дорожитъ вами. Рѣшеніе ваше выждать шесть мѣсяцевъ превосходно. Много воды утечетъ до тѣхъ поръ, а тамъ какъ Богъ пошлетъ. Я во всякомъ случаѣ, чѣмъ только могу, буду служить вамъ. Въ половинѣ мая я выѣду изъ Петербурга, но къ концу августа буду въ Петербургъ обратно (кромя того буду на 10 дней въ концѣ юня). Во всякомъ случаѣ я еще раньше шести мѣсяцевъ буду въ Петербургѣ.

А засимъ васъ глубоко уважающій

Ф. Достоевскій.

Къ О. А. Антиновой.

21 апрѣля 1877 г.

Уважаемая Ольга Афанасьевна!

Ошибся я или нѣтъ въ вашемъ имени и отчествѣ? Вашъ прежній адресъ мнѣ было долго искать, чтобы справиться, тѣмъ болѣе, что теперь у меня совсѣмъ времени нѣтъ. Если ошибся, то извините.

Я очень сожалѣю объ неудачѣ экзамена изъ географіи, но это такіе пустяки, по моему, что отнюдь уже не надо было такъ преувеличивать дѣла. А вы написали мнѣ совсѣмъ отчаянное письмо. Въ сущности ничего не случилось кромѣ хорошаго, потому что вы всетаки выдержали экзаменъ изъ 2-хъ труднѣйшихъ предметовъ. Изъ географіи-же отложите до осени и дѣло съ концомъ. Изъ чего такія слезы и отчаяніе? Я вижу, что вы просто измучили себя и разстроили непозволительно свои нервы. Да, кажется, и все семейство у васъ разстроено и встревожено вами-же. Это прекрасно, что вы такъ любите вашихъ родныхъ, меня это очень тронуло и заставляетъ васъ особенно уважать, но непозволительно и непростительно такъ быть нетерпѣливой, такъ торопиться, и въ ваши крошечныя лѣта восклицать: „изъ меня ничего не выйдетъ“. Вы еще подростокъ, вы не доросли еще до права такъ восклицать. Напротивъ, при вашей настойчивости непременно что нибудь выйдетъ. Оставайтесь только добры и великодушны. Вамъ надо спокойствія, вамъ надо себя полечить, а потому непременно отдохните гдѣ нибудь лѣтомъ (на дачѣ, что-ли). Вы пишете про дѣтей, съ которыми хотѣли заниматься: почему-же теперь вамъ не заниматься съ ними?—а если нельзя, то ваше время не ушло, не безпокойтесь, жизнь велика, а выправитесь, то и скажете, что жизнь хороша.

Священникъ, которому вы сдали экзаменъ изъ закона, конечно, добрый человѣкъ, но я бы на его мѣстѣ сказалъ вамъ, что вы не стоите хорошей отиѣтки. Это вамъ за текстъ изъ евангелія, приводимый вами въ письмѣ о тѣхъ, „у которыхъ отнимется“. Но вѣдь вы понимаете это прекрасное мѣсто евангелія совсѣмъ наоборотъ. Стыдно. А впрочемъ ничего. Въ васъ, кажется, есть и чувство, и теплота сердца, хотя вы капризны и избалованы. (Вы не сердитесь на меня за это?). Не сердитесь, дайте мнѣ вашу руку и успокойтесь. Боже мой! Съ кѣмъ не бываетъ неудачъ? Да и стоила бы чего нибудь жизнь, въ которой все гладко. Побольше мужества и самосознанія—вотъ чего вамъ надо. А главное здоровья. Успокойте свои нервы и будьте счастливы. Вотъ искреннее желаніе вашего

Ф. Достоевскаго.

Къ Юрію Александровичу Мюллеру.

Петербургъ, 21 сентября 1877 г.

Милостивый Государь Юрій Александровичъ.

Я уѣзжалъ въ Курскую губернію и письмо ваше получилъ лишь недавно. А потому очень прошу васъ извинить меня за опоздавшій отвѣтъ.

Прежде всего благодарю васъ за вашъ добрый и слишкомъ лестный для меня привѣтъ. Но такіе отзывы, какъ вашъ, я цѣню гораздо больше, чѣмъ всякія литературныя похвалы. Въ теплому и задушевномъ словѣ вашемъ вы высказали мнѣ болѣе, чѣмъ я стою, и если вы мои нѣсколько строкъ отвѣта считаете достойными передачи вашимъ дѣтямъ для памяти и храненія, то и я сохраню и передамъ моимъ дѣтямъ ваше письмо, вмѣстѣ съ другими, столь-же лестными и дорогими для меня письмами отъ моихъ читателей, которыя я удостоился получить въ продолженіи моей литературной дѣятельности.

Еще разъ благодарю васъ и горячо жму вамъ руку.

Глубоко уважающій васъ

Ф. Достоевскій.

Къ г-жѣ Л. А. Н., бывшей учительницею въ провинціи*).

17 декабря 1877 г.

Милостивая Государыня!

Простите мнѣ, что такъ долго не отзывался на ваше милое, доброе, лестное и въ высшей степени дорогое для меня письмо ваше. Извиняться не стану, потому что слишкомъ много надо тутъ говорить: я въ эти два года такъ разстроилъ мое здоровье и живу такою ненормальною жизнью, что, право, и не зналъ-бы съ чего и начать, еслибъ вздумалъ извиняться. Но вотъ еще обстоятельство: можете-ли вы представить, что я теперь твердо не знаю, отвѣтилъ я вамъ или нѣтъ на ваше (единственное) письмо ко мнѣ отъ 13 октября. Меня беретъ соннѣніе, что я вамъ отвѣтилъ, написалъ вамъ, но лишь забылъ отмѣтить въ записной книжкѣ объ этомъ. Изъ этого вы можете заключить, какая у меня ужасная память (вслѣд-

*) Это и слѣдующее письмо напечатано въ „Руси“ 1881 г., № 40, августъ.

ствіе припадковъ моей падучей болѣзни). Я даже лица людей, съ которыми познакомился, забываю и, встрѣчаясь потомъ, не узнаю ихъ и такимъ образомъ (вѣрите-ли?) наживаю даже враговъ.—Очень буду радъ, если вы извѣстите меня, что получили это письмо мое и разсѣете мои сомнѣнія въ томъ, писалъ я вамъ или нѣтъ.

Одно скажу: хоть въ эти два года я и усталъ съ „Дневникомъ“ (а потому и хочу годъ отдохнуть), но зато и много доставилъ мнѣ этотъ „Дневникъ“ счастливыхъ минутъ, именно тѣмъ, что я узналъ, какъ сочувствуетъ общество моей дѣятельности. Я получилъ сотни писемъ изъ всѣхъ концовъ Россіи и научился многому, чего прежде не зналъ. Никогда и предположить не могъ я прежде, что въ нашемъ обществѣ такое множество лицъ сочувствующихъ вполнѣ всему тому, во чтѣ и я вѣрю. Во всѣхъ этихъ письмахъ если и хвалили меня, то всего болѣе за искренность и прямоту. Значить этого-то всего болѣе и недостаетъ у насъ въ литературѣ, коли сразу и вдругъ такъ горячо меня поняли. Значить искренности и прямоты всего болѣе жаждутъ и всего менѣе находятъ. Но жажда эта знаменательна и способна зародить въ сердцѣ самыя отрадныя впечатлѣнія.

Глубоко вамъ кланяюсь, съ искреннимъ чувствомъ жму вашу руку.

Вамъ преданный и благодарный

Федоръ Достоевскій.

Петербургъ, 28 февраля 1878 г.

Милостивая Государыня, Любовь Александровна!

Разбирая письма, на которыя, за всякий недосугомъ и нездоровьемъ, не отвѣтилъ, набрелъ и на ваше вторичное, отъ 7 января. Изъ него вижу, что на первое ваше письмо вы отвѣта не получали, и однако я вамъ написалъ отвѣтъ, и помнится, на одинъ изъ указанныхъ вами адресовъ, а именно на Н. Н. Бекетова (такъ ли? получили-ли?) Или я только замыслилъ написать вамъ отвѣтъ, но за недосугомъ и за множествомъ переписки отложилъ, затѣмъ заболѣлъ, забылъ, и вы никакого еще отъ меня отвѣта не получали? Все это могло случиться, потому что у меня самая разстроенная (падучею болѣзнию) память въ мірѣ. Намѣренія я нерѣдко принимаю за исполненія, за чтѣ часто на меня сердятся.

Во всякомъ случаѣ, хоть я вамъ, можетъ быть, и отвѣтилъ и послалъ письмо (это, кажется, навѣрно), но для очистки совѣсти отвѣчу этими нѣсколькими строками еще.

ховно, а не онъ васъ. Впрочемъ вы пишете, что его не любите, а это *все*. Ни изъ какой цѣли нельзя уродовать свою жизнь. Если не любите, то и *не выходите*. Если хотите, напишите мнѣ еще. Эта дама (имя ея въ секретѣ; впрочемъ, въ крайнемъ случаѣ, отцу вашему можете сказать) вамъ будетъ тоже помогать. Извините, если письмо мое найдете несоответствующимъ тому, чего вы ожидали, но вѣдь вы слишкомъ много надавали вопросовъ и не легко на нихъ отвѣчать.

Вашъ весь Ф. Достоевскій.

С.-Петербургъ, 16 апрѣля 1877 г.

Многоуважаемая А. Ф.

Я былъ и боленъ и занятъ весь мѣсяць, но хоть я и теперь очень занятъ, такъ что не имѣю возможности отвѣчать на письма, но на ваше письмо, отъ 15 марта, не могу отказать себѣ въ сердечной потребности черкнуть вамъ хоть два слова (хотя вы и не требовали отвѣта). Мнѣ хотѣлось вамъ только выразить, что изъ втораго письма вашего я узналъ васъ въдесятеро больше, чѣмъ изъ перваго, и неудержимо желаю вамъ высказать, что глубоко уважаю васъ. То, что вы говорите о вашемъ отцѣ (который, хотя невольнo, но все же причиною вашего тяжелаго положенія) о томъ, что онъ хотя и не образованъ, а лучше многихъ образованныхъ, о томъ, какъ вы его любите и боитесь огорчить — все это рисуеъ вашу прекрасную и твердую душу. Не удивляюсь послѣ того, что женихъ вашъ (котораго вы не любите) такъ дорожитъ вами. Рѣшеніе ваше выждать шесть мѣсяцевъ превосходно. Много воды утечетъ до тѣхъ поръ, а тамъ какъ Богъ пошлетъ. Я во всякомъ случаѣ, чѣмъ только могу, буду служить вамъ. Въ половинѣ мая я выѣду изъ Петербурга, но къ концу августа буду въ Петербургъ обратно (кромя того буду на 10 дней въ концѣ іюня). Во всякомъ случаѣ я еще раньше шести мѣсяцевъ буду въ Петербургъ.

А засимъ васъ глубоко уважающій

Ф. Достоевскій.

оправдываюсь, но выставлю хоть двѣ причины. Слишкомъ большое и разстроенное состояніе вплоть до самаго послѣдняго № „Дневника“. Такъ и положилъ тогда никому не отвѣчать, пока не издамъ послѣдняго №. Ну а затѣмъ, почти вплоть до сихъ поръ еще пущее нездоровье, все падучая и мрачное затѣмъ расположеніе духа. Ну вотъ это первая причина, вѣрьте ей. Вторая причина—мое страшное, непобѣдимое, невозможное отвращеніе писать письма. Самъ люблю получать письма, но писать самому письма считаю почти невозможнымъ и даже нелѣпнымъ: я не умѣю положительно высказываться въ письмѣ. Напишешь иное письмо и вдругъ вамъ присылаютъ мнѣніе или возраженіе на такія мысли, будто-бы мною въ немъ написанныя, о которыхъ я никогда и думать не могъ. И если я попаду въ адъ, то мнѣ, конечно, присуждено будетъ за грѣхи мои писать по десятку писемъ въ день, не меньше. Вотъ вторая причина, вѣрьте ей.

Письмо ваше произвело на меня чрезвычайно милое и дружественное къ вамъ впечатлѣніе. Я получаю очень много дружественныхъ писемъ, но такихъ корреспондентовъ, какъ вы, не много. Въ васъ чувствуешь *своего* человѣка, а теперь, когда жизнь проходитъ, а межъ тѣмъ такъ-бы хотѣлось еще жить и дѣлать,—теперь встрѣча съ *своимъ* человѣкомъ производитъ радость и укрѣпляетъ надежду. Есть, значитъ, люди на Руси, и не мало ихъ, и они-то жизненная сила ея, они-то и спасутъ ее, только-бы соединиться имъ. Вотъ для того, чтобы соединиться, и вамъ отвѣчаю и жму вамъ руку отъ всего сердца.

Все ваше письмо прочелъ раза три и (виноватъ) прочелъ и еще кой-кому, и еще кой-кому прочту. Взглядъ мнѣ вашъ хочется передать здѣсь, духъ вашъ русскій (настойщій) втолковать кому нибудь изъ здѣшнихъ (NB читаль, между прочими, Аполлону Николаевичу Майкову, поэту. Онъ былъ восхищенъ и даже взялъ на время ваше письмо къ себѣ. Съ этимъ человѣкомъ я въ очень многомъ согласенъ въ мысляхъ).

О подробностяхъ письма вашего писать не стану. О здѣшнемъ много бы можно написать, но я коротко писать не умѣю, да и просто—не умѣю писать писемъ. Но если спросите что нибудь, т. е. если захотите именно отъ меня отвѣта въ чемъ нибудь, то отвѣчу, общаю это. А теперь одно дѣло: вы не прочь мнѣ еще писать, какъ упомянули въ вашемъ письмѣ. Я это очень цѣню и *на васъ рассчитываю*. Въ вашемъ письмѣ меня очень заинтересовало, между прочимъ, то, что вы любите дѣтей, много жили съ дѣтьми, да и теперь съ ними бываете. Ну вотъ и просьба къ вамъ, дорогой Владиміръ Васильевичъ: я замыслилъ и скоро начну большой романъ, въ которомъ, между другими, будутъ много участвовать дѣти и именно малолѣтніе, съ 7 до 15 лѣтъ примѣрно. Дѣтей будетъ выведено много. Я ихъ

изучаю и всю жизнь изучалъ, и очень люблю, и самъ ихъ имѣю. Но наблюденія такого человѣка, какъ вы, для меня (я понимаю это), будутъ драгоцѣнны. И такъ напишите мнѣ *объ дѣтяхъ* то, что сами знаете. И о петербургскихъ дѣтяхъ, звавшихъ васъ дяденькой, и о елизаветградскихъ дѣтяхъ, и о *чемъ знаете*. (Случай, привычки, отвѣты, слова и словечки, черты, семейственность, вѣра, злодѣйство и невинность; природа и учитель, латинскій языкъ, и проч., и проч. — однимъ словомъ, что сами знаете). Очень мнѣ поможете, очень буду благодаренъ и буду жадно ждать. Я въ Петербургъ буду навѣрно до 15-го мая, послѣ того буду, вѣроятно (съ моими дѣтьми), въ Старой Руссѣ. До 15-го мая адресъ мой теперешній.

Посылаю вамъ мою фотографическую карточку и еще разъ прошу прощенія. Хоть и невѣжливо былъ съ вами, но люблю васъ.

А теперь до свиданія. Вѣрьте моей сердечной искренности и глубочайшему въ вамъ уваженію.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Къ генералу-адъютанту Ф. Ф. Радецкому.

Петербургъ, 16 апрѣля 1878 г.

Дорогой намъ, всѣмъ русскимъ, генералъ

и незабвенный старый товарищъ

Федоръ Федоровичъ.

Можетъ быть вы меня и не помните, какъ стараго товарища въ главномъ инженерномъ училищѣ. Вы были во второмъ кондукторскомъ классѣ, когда я поступилъ, по экзамену, въ третій; но я припоминаю васъ портупей-юнкеромъ, какъ будто и не было тридцати пяти лѣтъ промежутка. Когда, въ прошломъ году, начались ваши подвиги, наконецъ-то объявившіе ваше имя всей Россіи, мы здѣсь, прежніе ваши товарищи — (иные, какъ я, давно уже оставившіе военную службу) — слѣдили за вашими дѣлами, какъ за чѣмъ-то намъ роднымъ, какъ будто до насъ, не какъ русскихъ только, но и лично, касавшемся. Разъ встрѣтившись, нынѣшней зимой съ многууважаемымъ Александромъ Ивановичемъ и заговоривъ о войнѣ, мы съ восторгомъ вспомнили о васъ и о побѣдахъ вашихъ. Александръ Ивановичъ, услышавъ отъ меня, что я хотѣлъ-бы вамъ написать, сталъ горячо настаивать, чтобы я не оставлялъ намѣренія.

И вотъ вдругъ оказывается, что вы, дорогой нашъ всѣмъ русскимъ чело-
вѣкъ, тоже насъ помните. Глубоко благодаримъ васъ за это. Здѣсь мы
трепещемъ отъ страха, чѣмъ и какъ закончится война—трепещемъ передъ
„европеизмомъ“ нашимъ. Одна надежда на Государя, да вотъ на такихъ
какъ вы. Дай-же вамъ Богъ всего лучшаго и успѣшнаго. Съ моей сто-
роны посылаю вамъ горячій русскій привѣтъ и глубокой поклонъ. Теперь
у насъ свѣтлый праздникъ: Христосъ воскресъ! И да воскреснетъ къ
жизни труждающееся и обремененное великое Славянское племя усилиями
такихъ, какъ вы, исполнителей всеобщаго и великаго русскаго дѣла.

А вмѣстѣ съ тѣмъ, да вступитъ и нашъ русскій „европеизмъ“ на
новую, свѣтлую и православную Христову дорогу. И безспорно, что самая
лучшая часть Россіи теперь съ вами, тамъ, за Балканами. Ворота съ долей
со славой, она принесетъ съ Востока и новый свѣтъ. Такъ многіе здѣсь
теперь вѣрятъ и ожидаютъ.

Примите, многоуважаемый Федоръ Федоровичъ, этотъ привѣтъ и
глубокой поклонъ мой, какъ сердечное и искреннее выраженіе чувствъ отъ
старога товарища и отъ благодарнаго русскаго

поворнѣйшаго слуги вашего

Федора Достоевскаго.

Къ московскимъ студентамъ *).

Петербургъ, 18 апрѣля 1878.

Многоуважаемые г-да писавшіе мнѣ студенты.

Простите, что такъ долго не отвѣчалъ вамъ; кромѣ дѣйствительнаго
нездоровья моего, были и еще обстоятельства замедленія. Я хотѣлъ было
отвѣчать печатно въ газетахъ; но вдругъ вышло, что это невозможно,

*) Это письмо Ф. М. Достоевскаго получено было въ апрѣлѣ 1878 года нѣ-
сколькими студентами Московскаго Университета. Привыкнувъ въ продолженіи
76-го и 77-го года находить въ „Дневникѣ писателя“ честное, правдивое сужденіе
автора о многихъ вопросахъ, дорогихъ ихъ сердцу и затрогивавшихъ ихъ за жи-
вое, они обратились къ Федору Михайловичу съ просьбой высказаться въ печати
по поводу уличной исторіи „съ мясниками Охотнаго рынка“, произведшей силь-
ное впечатлѣніе на всю университетскую молодежь. Настоящее письмо и есть
отвѣтъ на этотъ запросъ. Въ немъ Достоевскій въ свойственной ему безъискус-
ственной формѣ ясно выразилъ свой образъ мыслей о русскомъ учащемся юноше-
ствѣ, къ которому онъ относился съ такою горячей любовью. Для характеристики
Достоевскаго интересенъ какъ искренній тонъ, которымъ письмо это проникнуто,
такъ и самый фактъ, что онъ не отказался изложить свои взгляды въ письмѣ къ
нѣсколькимъ, вовсе ему незнакомымъ молодымъ людямъ.

по независящимъ отъ меня обстоятельствамъ, по крайней мѣрѣ невозможно отвѣтить въ должной полнотѣ. Во вторыхъ, еслибъ отвѣчать вамъ лишь письменно, то, думалъ я, что-же я вамъ отвѣчу? Ваши вопросы захватываютъ все, рѣшительно все современное внутреннее Россіи; итакъ, цѣлую книгу писать, что-ли, — все profession de foi?

Рѣшился, наконецъ, написать это маленькое письмецо, рискуя быть въ высшей степени вами непонятимъ, а это было-бы очень мнѣ непріятно.

Вы пишете мнѣ: „всего нужнѣе для насъ разрѣшить вопросъ, насколько мы сами, студенты, виноваты, какіе выводы о насъ изъ этого происшествія можетъ сдѣлать общество и мы сами?“

Далѣе, вы очень тонко и вѣрно подмѣтили существеннѣйшія черты отношенія русской современной прессы къ молодежи:

Въ нашей прессѣ явно господствуетъ какой-то „предупреждающій тонъ снисходительнаго извиненія (къ вамъ т. е.)“. Это очень вѣрно: именно *предупреждающій*, заготовленный заранѣе, на всѣ случаи, по извѣстному шаблону, и въ высшей степени оказавшійся и износившійся.

И далѣе вы пишете: „очевидно, намъ нечего ожидать отъ этихъ людей, которые сами ничего отъ насъ не ожидаютъ и отворачиваются, высказавъ свое безповоротное сужденіе „дикимъ народамъ“.

Это совершенно вѣрно, именно *отворачиваются*, да и дѣла имъ (большинству по крайней мѣрѣ) нѣтъ до васъ никакого. Но есть люди, и ихъ не мало, и въ прессѣ, и въ обществѣ, которые убиты мыслью, что молодежь отшатнулась *отъ народа* (это главное и прежде всего) и потому, т. е. теперь, и отъ общества. Потому что это такъ. Живетъ мечтательно и отвлеченно, слѣдуя чужимъ ученіямъ, ничего не хочетъ знать въ Россіи, и стремится учить ее сама. А, наконецъ, теперь, *несомненно*, попала въ руки какой-то совершенно внѣшней политической руководящей партіи, которой до молодежи ужъ ровно никакого нѣтъ дѣла и которая употребляетъ ее, какъ матеріалъ и Панургово стадо, для своихъ внѣшнихъ и особенныхъ цѣлей. Не думайте отрицать это, господа; это такъ.

Вы спрашиваете, господа: „насколько вы сами, студенты, виноваты?“ Вотъ мой отвѣтъ: по моему, вы ничѣмъ не виноваты. Вы лишь дѣти этого-же „общества“, которое вы теперь оставляете, и которое есть „ложь со всѣхъ сторонъ“. Но, отрываясь отъ него и оставляя его, нашъ студентъ уходитъ не къ народу, а куда-то за границу, въ „европейскія“, въ отвлеченное царство небывалаго никогда общечеловѣка, и такимъ образомъ разрываетъ и съ народомъ, презирая его и не узнавая его, какъ истинный сынъ того общества, отъ котораго тоже оторвался. А между тѣмъ въ народѣ все наше спасеніе (но это длинная тема)... Разрывъ-же съ наро-

домъ тоже не можетъ быть строго поставленъ въ вину молодежи. Гдѣ-же ей было, раньше жизни, *додуматься до народа!*

А между тѣмъ, всего хуже то, что народъ уже увидѣлъ и замѣтилъ разрывъ съ нимъ интеллигентной молодежи русской, и худшее тутъ то, что уже назвалъ отмѣченныхъ имъ молодыхъ людей *студентами*. Онъ давно ихъ сталъ отмѣчать, еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ; затѣмъ всѣ эти хожденія *въ народъ* произвели въ народѣ лишь отвращеніе. „Барченки“, говоритъ народъ (это названіе я знаю, я гарантирую его вамъ, онъ такъ называлъ). А между тѣмъ вѣдь въ сущности тутъ есть ошибка и со стороны народа; потому что никогда еще не было у насъ, въ нашей русской жизни, такой эпохи, когда-бы молодежь (какъ-бы предчувствуя, что вся Россія стоитъ на какой-то окончательной точкѣ, колеблясь надъ бездною) въ большинствѣ своемъ огромномъ была болѣе, какъ теперь, искреннею, болѣе чистою сердцемъ, болѣе жаждущею истины и правды, болѣе готовою пожертвовать всѣмъ, даже жизнью за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда Россіи! Я это давно уже чувствую, и давно уже сталъ писать объ этомъ. И вдругъ что-же выходитъ? Это слово правды, котораго жаждетъ молодежь, она ищетъ Богъ знаетъ гдѣ, въ удивительныхъ мѣстахъ (и опять-таки въ этомъ совпадая съ породившимъ ее и прогнавшимъ европейскимъ русскимъ обществомъ), а не въ народѣ, не въ Землѣ. Кончается тѣмъ, что къ данному сроку и молодежь, и общество *не узнаютъ народъ*. Въсто того, чтобы жить его жизнью, молодые люди, ничего въ немъ не зная, напротивъ глубоко презирая его основы, наприимѣръ вѣру, идутъ въ народъ—не учиться народу, а учить его, свысока учить, съ презрѣніемъ къ нему—чисто аристократическая, барская затѣя! „Барченки“, говоритъ народъ—и правъ. Странное дѣло: всегда и вездѣ, во всемъ мірѣ, демократы бывали за народъ; лишь у насъ, русский нашъ интеллигентный демократизмъ соединился съ аристократами противъ народа: они идутъ въ народъ, „чтобы сдѣлать ему добро“, и презираютъ всѣ его обычаи и его основы. Презрѣніе не ведетъ къ любви!

Прошлую зиму, въ Казанскую исторію нашу, толпа молодежи оскорбляетъ храмъ народный, курить въ немъ папироски, возбуждаетъ скандалъ. „Послушайте, сказалъ бы я этимъ казанскимъ (да и сказалъ нѣкоторымъ въ глаза), вы въ Бога не вѣруете, это ваше дѣло, но зачѣмъ-же вы народъ-то оскорбляете, оскорбляя храмъ его? „И народъ назвалъ ихъ еще разъ „барченками“, а хуже того—отмѣтилъ ихъ именемъ „студентъ“, хотя тутъ много было какихъ-то евреевъ и армянъ (демонстрація, доказано, политическая, извнѣ). Такъ, послѣ дѣла Засуличъ, народъ у насъ

опять назвалъ уличныхъ револьверщиковъ студентами. Это скверно, хотя тутъ, несомнѣнно, были и студенты. Скверно то, что народъ ихъ уже отмѣчаетъ, что начались ненависть и разладъ. И вотъ и вы сами, господа, называете московскій народъ „мясниками“ виѣстѣ со всей интеллигентной прессой. Что-же это такое? Почему мясники не народъ? Это народъ, настоящій народъ, мясникъ былъ и Мининъ. Негодованіе возбуждается лишь отъ того способа, которымъ проявилъ себя народъ. Но знаете, господа, если народъ оскорбленъ, то онъ всегда проявляетъ себя такъ. Онъ неотесанъ, онъ мужикъ. Собственно тутъ было разрѣшеніе недоразумѣнія, но уже стариннаго и накопившагося (чего не замѣчали) между народомъ и обществомъ, т. е. самою горячею и скорою на рѣшеніе его частью — молодежью. Дѣло вышло слишкомъ не красивое, и далеко не такъ правильно, какъ бы слѣдовало выйти, ибо кулаками никогда ничего не докажешь. Но такъ бывало всегда и вездѣ, во всемъ мірѣ, у народа. Англійскій народъ на митингахъ весьма часто пускаетъ въ ходъ кулаки противъ противниковъ своихъ, а во французскую революцію народъ ревѣлъ отъ радости и плясалъ передъ гильотиной во время ея *дѣятельности*. Все это, разумѣется, пакостно. Но фактъ тотъ, что народъ (народъ, а не одни мясники, нечего утѣшать себя тѣмъ или другимъ словомъ) возсталъ противъ молодежи, и уже отмѣтилъ студентовъ; а съ другой стороны бѣда въ томъ (и знаменательно то), что пресса, общество и молодежь соединились виѣстѣ, чтобы не узнать народа: это дескать не народъ, это чернь.

Господа, если въ моихъ словахъ есть что нибудь съ вами не согласное, то лучше сдѣлайте, если не будете сердиться. Тоски и безъ того много. Въ прогнившемъ обществѣ — ложь *со встѣхъ* сторонъ. Само себя оно сдержатъ не можетъ. Твердъ и могучъ лишь народъ, но съ народомъ разладъ за эти два года объявился страшный. Наши сентименталисты, освобождая народъ отъ крѣпостнаго состоянія, съ умиленіемъ думали, что онъ такъ сейчасъ и войдетъ въ ихнюю европейскую ложь, въ просвѣщеніе, какъ они называли. Но народъ оказался самостоятельнымъ, и, главное, начинаетъ *сознательно* понимать ложь верхняго слоя русской жизни. Событія послѣднихъ двухъ лѣтъ много озарили и вновь укрѣпили его. Но онъ различаетъ, кромѣ враговъ, и друзей своихъ. Явились грустные, мучительные факты: искренняя, честнѣйшая молодежь, желая правды, пошла было къ народу, чтобы облегчить его муки, и что-же? народъ ее прогоняетъ отъ себя и не признаетъ ея честныхъ усилій. Потому что эта молодежь принимаетъ народъ не за то, что онъ есть, ненавидитъ и презираетъ его основы, и несетъ ему гѣбарства, на его взглядъ, дикія и бессмысленныя.

У насъ здѣсь въ Петербургѣ чортъ знаетъ что. Въ молодежи проповѣдь револьверовъ и убѣжденіе, что ихъ боится правительство. Народъ же они, по прежнему презирая, считаютъ ни во что, и не замѣчаютъ, что народъ-то, по крайней мѣрѣ, не боится ихъ, и никогда не потеряетъ голову. Ну что, если произойдутъ дальнѣйшія столкновенія? Мы живемъ въ мучительное время, господа!

Господа, я написалъ вамъ *что могу*. По крайней мѣрѣ отвѣчаю прямо, хотя и не полно, на вопросъ вашъ: по моему студенты не виноваты, напротивъ, никогда молодежь наша не была искреннѣе и честнѣе (что не малый фактъ, а удивительный, великій, историческій). Но въ томъ бѣда, что молодежь несетъ на себѣ ложь всѣхъ двухъ вѣковъ нашей исторіи. *Не въ силахъ*, стало быть, она разобрать дѣло въ полнотѣ, и винить ее нельзя, тѣмъ болѣе, когда она сама очутилась пристрастной (и уже обиженной) участницей дѣла. Но хоть и *не въ силахъ*, а блаженъ тотъ, и блаженны тѣ, которымъ даже и теперь удастся найти правую дорогу! Разрывъ съ средой долженъ быть гораздо сильнѣе, чѣмъ, напри- мѣръ, разрывъ по социалистическому ученію будущаго общества съ теперешнимъ. Сильнѣе, ибо, чтобы пойти къ народу и остаться съ нимъ, надо прежде всего *разучиться презирать его*, а это почти невозможно нашему верхнему слою общества въ отношеніяхъ его съ народомъ. Во вторыхъ, надо, напри- мѣръ, увѣровать и въ Бога, а это ужъ окончательно для нашего европеизма невозможно (хотя въ Европѣ и вѣрятъ въ Бога).

Клянюсь вамъ, господа, и, если позволите, жму вамъ руку. Если хотите мнѣ сдѣлать большое удовольствіе, то ради Бога, не считите меня за какого-то учителя и проповѣдника свысока. Вы меня вынуждали сказать правду отъ сердца и совѣсти; я и сказалъ правду, какъ думалъ и какъ въ силахъ думать. Вѣдь никто не можетъ сдѣлать больше своихъ силъ и способностей.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Къ г-жѣ NN.

8 мая 1878 г. *).

Многоуважаемая N. N.

Благодарю за книги, но книгу Флеровскаго отсылаю вамъ обратно. Дѣло въ томъ, что много черезъ недѣлю выѣзжаю изъ Петербурга, те-

*) Напечатано въ „Русской Старинѣ“ октябрь, 1883 г.

перъ-же занять съ утра до ночи и ночью всѣмъ тѣмъ, что надо закончить передъ отъѣздомъ. Днемъ-же на всю недѣлю у меня часы распредѣлены тоже по разнымъ разъѣздамъ, а потому читать здѣсь, въ Петербургѣ, я уже ничего не могу и не буду, а стало быть выходить, что надо вамъ возвратитъ Флеровскаго, такъ какъ вы этой книгой дорожите. Тена-же возьму съ собою до сентября. (Если же и эта книга вамъ нужна, то дайте знать, и я вамъ возвращу ее до отъѣзда). Впрочемъ я навѣрно и самъ къ вамъ заѣду проститься. И такъ благодарю за книги.

Что-же до технолога, то тутъ какое-то мошенничество. Этотъ господинъ зашелъ ко мнѣ на дняхъ (первый разъ въ жизни). Фамилія его Н...кій (такъ онъ назвался). Тоже говорилъ мнѣ, что и вамъ (о купцахъ), тоже увѣрялъ, что не ѣлъ сутки, тоже указывалъ на свое платье. Просилъ на хлѣбъ. Я далъ ему три рубля и теперь почти жалѣю; ясно вижу, что это промышленникъ. Это потому, что никогда я его не посылалъ къ вамъ, ни одного слова не сказалъ про васъ, даже имени не упомянулъ (и въ мысляхъ не было посылать его къ вамъ!). И вдругъ онъ вамъ велеть такую неправду. Ясное дѣло, что онъ отъ кого нибудь и гдѣ нибудь узналъ о томъ, что я съ вами знакомъ, и воспользовался моимъ именемъ для рекомендаціи, чтобъ выманить и у васъ. (Моимъ именемъ и прежде нѣкоторые пользовались, являясь къ другимъ, будто я ихъ послалъ, и тѣмъ очень меня компрометировали, по редакціямъ напригѣръ). И такъ, это явно мошенникъ. Прошу васъ не принимать его. Я же еще разъ увѣряю, и даю слово, что не посылалъ его къ вамъ и не упоминалъ о васъ совсѣмъ въ разговорѣ съ нимъ, ни прямо, ни намекомъ.

Что онъ технологъ—это можетъ быть, но что онъ мошенникъ—это несомнѣнно. Да не шпионъ-ли онъ?

А засимъ до свиданія. Благодарю и жму вашу руку.

Вашъ Ф. Достоевскій.

И такъ, если Тенъ очень нуженъ, черкните мнѣ, я къ вамъ завезу.

Старая-Русса, 11 іюля, 1879 г. *)

Дорогая, уважаемая и незабвенная ** **. Ровно мѣсяць, какъ получилъ ваше милое письмецо, и до сихъ поръ не отвѣтилъ—но не судите, не осуждайте. Да и вы ли станете судить, вы, добрая беззавѣтно и без-

*) Напечатано въ „Русской Старинѣ“, октябрь, 1883 г.

предѣльно, съ вашимъ прекраснымъ, умнымъ сердцемъ! Я все время былъ здѣсь, въ Русси, въ невыносимо тяжеломъ состояніи духа, и хоть и было время побесѣдовать съ вами, но такъ иногда тяжело становилось, что каждый разъ откладывалъ, когда приходилось взяться за перо. Главное, здоровье мое ухудшилось, были все болѣзнь— сначала сынь тифомъ, а потомъ оба теперь коклюшемъ; погода ужасная, невозможная, дождь льетъ какъ изъ ведра съ утра до ночи, и ночью; холодно, сыро, простудно; на цѣлый мѣсяць не болѣе трехъ дней было безъ дождя, а солнечный день выдался развѣ одинъ. Въ этомъ состояніи духа и при такихъ обстоятельствахъ все время писалъ, работалъ по ночамъ, слушая какъ воетъ вихрь и ломаетъ столѣтнія деревья (sic). Написалъ весьма мало, да и давно уже замѣтилъ, что чѣмъ дальше идутъ годы, тѣмъ тяжелѣе мнѣ становится работа. Все мысли, стало быть, неутѣшительныя и мрачныя, а мнѣ хотѣлось побесѣдовать съ вами въ другомъ настроеніи души.

Чрезвычайно мы (я и жена) порадовались, что вы вздумали поѣхать на Кавказъ: во-первыхъ, несомнѣнная польза отъ леченія, въ это я вѣрю, только бы удалось вамъ не попасть къ худому доктору. (О, берегитесь медицинскихъ знаменитостей! Всѣ онѣ съ ума сошли отъ самолюбія и отъ заносчивости; уморять. Выбирайте всегда средняго доктора, какогонибудь скромнаго нѣмца, ибо, клянусь, нѣмцы, какъ доктора, лучше русскихъ, это свидѣтельствую вамъ я, славянофилъ!). Во-вторыхъ, поѣздка подальше, въ такое характерное мѣсто, какъ Кавказъ, сильно развлечетъ и отвлечетъ васъ отъ утомительно-однообразной (хотя и чрезмѣрно характерной съ виду) нашей Санктпетербургской дребедени и пошлости. Отдохнете, только имѣйте силу духа забыть недавнее, и непосредственнѣе отдаться впечатлѣніямъ природы и новаго мѣста. А затѣмъ, въ августѣ, въ деревню къ милымъ дѣтямъ. Какъ хорошо, что у васъ есть они— сколько очеловѣчиваютъ они существованіе въ высшемъ смыслѣ. Дѣтки— мука, но необходимая, безъ нихъ нѣтъ цѣли жизни. А европейскіе социалисты проповѣдываютъ всѣ о воспитательныхъ домахъ! Я знаю великодушныхъ душой людей, женатыхъ, но дѣтей не имѣющихъ— и что-же: при такомъ умѣ, при такой душѣ— все чего-то имъ недостаетъ и (ей, Богу правда) въ высшихъ задачахъ и вопросахъ жизни они какъ бы хромаютъ.— У васъ есть горькія строки о людской жестокости и о безстыдствѣ тѣхъ самыхъ, на которыхъ вы, истинно любя ихъ, пожертвовали можетъ быть всю жизнь и дѣятельность вашу (про васъ это можно сказать). Но не удивляйтесь и не огорчайтесь— никогда болѣе и не надо ждать ни отъ кого. Не осуждайте меня какъ бы за высшій профессорскій тонъ; я самъ оскорбленъ многими и, право, иными невинно, другіе же были

оскорблены моимъ характеромъ (въ сущности тѣмъ, что я говорилъ имъ искреннее слово, по ихъ-же просьбѣ) и горько отплатили мнѣ за это искреннее слово—и что-же, я навѣрно досадовалъ и негодовалъ болѣе, чѣмъ вы. Правда, болѣе того, что вы претерпѣли отъ тѣхъ и другихъ, рѣдко могло быть—ибо самъ я былъ свидѣтелемъ и сколько разъ слышалъ я ваше имя, обвиняемое тѣми и другими. Но вотъ что хорошо тутъ всегда: знайте, что всегда есть такая твердая кучка людей, которые оцѣнить, сообразить и сочувствуютъ непременно и вѣрно. У васъ есть сочувственники, понимающіе вашу дѣятельность и прямо любящіе васъ за нее. Я такихъ встрѣчалъ и свидѣтельствую, что они есть. Меня-же считите какъ горячаго изъ горячихъ почитателей вашихъ и прекраснаго, милаго, добраго, разумнаго сердца вашего. Жена-же моя васъ сразу полюбила, а знаетъ васъ меньше моего.

Грудь моя здѣсь такъ разстроилась, до того, что я 17-го числа іюля ѣду въ Эмсъ на шесть недѣль до сентября. Ужась, что вынесу скуки въ уединенномъ леченіи моемъ. Напишите мнѣ тогда хоть строчку (*Allemagne, Ems, M-r Theodor Dostoiewsky, poste restante*).

Глубокое мое уваженіе вашему супругу, до свиданія, дорогая ***, жму вамъ руку и цѣлую ее. Анна Григорьевна очень васъ любитъ и свидѣлствуетъ вамъ свою беззавѣтную преданность.

Вашъ Федоръ Достоевскій.

Напомните обо мнѣ вашимъ дѣткамъ.

Къ Василию Васильевичу Самоѣлову.

Петербургъ, 17 декабря 1879 г.

Милостивный государь, многоуважаемый Василій Васильевичъ.

Благодарю васъ глубоко за ваше любезное письмо. Слишкомъ радъ такому *автографу*, а ваше мнѣніе обо *мнѣ дорожше* всѣхъ мнѣній и отзывовъ о моихъ работахъ, которые мнѣ удавалось читать. Я слышу мнѣніе это тоже отъ великаго психолога, производившаго во мнѣ восторгъ еще въ юности и въ отрочествѣ моемъ, когда вы только что начинали вашъ художественскій подвигъ. Вашимъ гениальнымъ талантомъ вы, конечно и навѣрно, не мало имѣли вліянія на мою душу и умъ. На склонѣ дней моихъ мнѣ пріятно вамъ объ этомъ засвидѣтельствовать. Дай Богъ намъ обоимъ жить долго. Крѣпко жму вашу руку.

Примите увѣреніе въ моеиъ глубочайшемъ и искреннѣйшемъ уваженіи къ вамъ и къ прекраснѣйшему таланту вашему.

Ф. Достоевскій.

БѢ СЛУШАТЕЛЬНИЦѢ ВЫСШИХЪ ЖЕНСКИХЪ КУРСОВЪ.

15 января 1880 г.

N. N.

Прежде всего простите, что замедлилъ отвѣтомъ: двѣ недѣли сряду сидѣлъ день и ночь за работой, которую только вчера изготовилъ и отправилъ въ журналъ, гдѣ теперь печатаюсь. Да и теперь отъ усиленной работы голова кружится. На письмо-же ваше что могу я отвѣтить? На эти вопросы *нельзя отвѣчать* письменно. Это невозможно. Я большею частію дома отъ 3 до 5 часовъ пополудни, — большею частью, хотя и не навѣрно каждый день. Если захотите, то зайдите ко мнѣ и хоть у меня времени вообще мало, но глазъ на глазъ несравненно больше и увидишь и скажешь, чѣмъ на письмо, гдѣ всетаки отвлеченно. Ваше письмо горячо и задушевно, вы дѣйствительно страдаете и не можете не страдать. Но зачѣмъ вы падаете духомъ? Не вы однѣ теряли вѣру, но потомъ спасли-же себя. У васъ разрушили, пишете вы, вѣру во Христа. Но какъ-же вы не задали себѣ прежде всего вопроса: кто люди-то эти, которые отрицаютъ Христа, какъ Спасителя? Т. е. не то я говорю, хорошіе они или дурные, а то, что знаютъ-ли они Христа-то сами, по существу? Повѣрьте, что нѣтъ, — ибо, узнавъ хоть нѣсколько, видишь необычайное, а не простое, похожее на всѣхъ хорошихъ или лучшихъ людей существо. Во вторыхъ, всѣ эти люди до того *легкосовѣстны*, что даже не имѣютъ никакой научной подготовки въ знаніи того, что отрицаютъ. Отрицаютъ-же они отъ своего ума. Но чистъ-ли ихъ умъ и свѣтло-ли ихъ сердце? Опять таки не говорю, что они дурные люди, но заражены общей современной болѣзненной чертой всѣхъ интеллигентныхъ русскихъ людей: это легкомысленнымъ отношеніемъ къ предмету, самоинѣніемъ необычайнымъ, которое сильнѣйшимъ уваженіемъ въ Европѣ не мыслилось, и феноменальнымъ невѣжествомъ въ томъ, о чемъ судить. Ужь эти одни соображенія могли-бы, кажется, васъ остановить въ отрицаніи вашемъ, по крайней мѣрѣ, заставить задуматься, усомниться. Я знаю множество отрицателей, перешедшихъ всѣмъ существомъ своимъ подконецъ ко Христу. Но эти жаждали истины не ложно, а кто ищетъ, тотъ наконецъ и найдетъ.

Благодарю васъ очень за теплыя слова ваши ко мнѣ и обо мнѣ. Жму вашу руку и, если захотите, до свиданія.

Вашъ Ф. Достоевскій.

Петербургъ, 11 апрѣля 1880 г.

Милостивая государыня глубокоуважаемая N. N.

Простите что слишкомъ долго промедлилъ вамъ отвѣчать на прекрасное и столь дружественное письмо ваше; не сочтите за небрежность. Хотѣлось отвѣтить вамъ что нибудь искреннее и задушевное, а ей Богу моя жизнь проходитъ въ такомъ беспорядочномъ кнѣвнѣи и даже въ такой суетѣ, что право я рѣдко когда принадлежу весь себѣ. Да и теперь, когда я, наконецъ, выбралъ минуту чтобъ написать вамъ — врядъ-ли, однако, я въ состоянїи буду написать хоть малую долю изъ того, что сердце-бы хотѣло вамъ сообщить. Мнѣнїе ваше обо мнѣ я не могу не цѣнить: тѣ строки, которыя показала мнѣ, изъ вашего письма къ ней, ваша матушка, слишкомъ тронули и даже поразили меня: я знаю, что во мнѣ, какъ въ писателѣ, есть много недостатковъ, потому что я самъ, первый, собою всегда недоволенъ. Можете вообразить, что въ нѣныя тяжелыя минуты внутренняго отчета, я часто съ болью сознаю, что не выразилъ, буквально, и 20-й доли того, что хотѣлъ-бы, а можетъ быть и могъ-бы выразить. Спасаетъ при этомъ меня лишь всегдашняя надежда, что когда нибудь пошлетъ Богъ на столько вдохновенія и силы, что я выражусь полнѣе, однимъ словомъ, что выскажу все, что у меня заключено въ сердцѣ и въ фантазїи. На недавнемъ здѣсь диспутѣ молодого философа Влад. Соловьева (сына историка) на доктора философїи я услышалъ отъ него одну глубокую фразу: „Человѣчество, по моему глубокому убѣжденїю (сказалъ онъ), *знаетъ гораздо болѣе, чѣмъ до сихъ поръ успѣло высказать въ своей наукѣ и въ своемъ искусствѣ*“. Ну вотъ такъ и со мною: я чувствую, что во мнѣ гораздо болѣе сокрыто, чѣмъ сколько я могъ до сихъ поръ выразить какъ писатель. Но все-же, безъ ложной скромности говоря, я вѣдь чувствую-же, что и въ выраженномъ уже мною было нѣчто сказанное отъ сердца и правдиво. И вотъ, клянусь вамъ, сочувствїя встрѣтилъ я много, можетъ быть даже болѣе чѣмъ заслуживалъ, но критика, печатная литературная критика, даже если и хвалила меня (что было рѣдко), говорила обо мнѣ до того легко и поверхностно, что казалось совсѣмъ не замѣтила того, что рѣшительно родилось у меня съ болью сердца и вылилось правдиво изъ души. А потому можете заключить, какъ прїятно должна была

подѣйствовать на меня такая тонкая, такая глубокая оцѣнка меня какъ писателя, которую прочелъ я въ вашемъ письмѣ къ вашей матушкѣ.

Но я все о себѣ, хотя трудно не говорить о себѣ, говоря съ такимъ глубокимъ и симпатичнымъ мнѣ критикомъ моимъ, котораго вижу въ васъ. Вы пишете о себѣ, о душевномъ настроеніи вашемъ въ настоящую минуту. Я знаю, что вы художникъ, занимаетесь живописью. Позвольте вамъ дать совѣтъ отъ сердца: не покидайте искусства и даже еще болѣе предайтесь ему, чѣмъ доселѣ. Я знаю, я слышалъ (простите меня), что вы не очень счастливы. Живя въ уединеніи и разстраивая душу свою воспоминаніями, вы можете сдѣлать свою жизнь слишкомъ мрачною. Одно убѣжище, одно лекарство: искусство и творчество. Исповѣдь же вашу, теперь по крайней мѣрѣ, не рѣшайтесь писать; это будетъ, можетъ быть, вамъ очень тяжело. Простите за совѣты, но я бы очень желалъ васъ увидѣть и сказать вамъ хоть два слова изустно. Послѣ такого письма, которое вы мнѣ написали, вы, конечно, для меня дорогой человѣкъ, близкое душѣ моей существо, родная сестра по сердцу—и не могу-же я вамъ не сочувствовать.

Что вы пишете о вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей... не совѣтъ, впрочемъ, обыкновенныхъ. Черта, свойственная человѣческой природѣ вообще, но далеко-далеко не во всякой природѣ человѣческой встрѣчающаяся въ такой силѣ, какъ у васъ. Вотъ и поэтому вы мнѣ родная, потому, что это *раздвоеніе* въ васъ точь въ точь какъ и во мнѣ, и всю жизнь во мнѣ было. Это большая мука, но въ то же время и большое наслажденіе. Это—сильное сознаніе, потребность самоотчета и присутствія въ природѣ вашей потребности нравственнаго долга къ самому себѣ и къ человѣчеству. Вотъ что значитъ эта двойственность. Были-бы вы не столь развиты умомъ, были-бы ограниченнѣе, то были-бы и менѣе совѣстливы и не было-бы этой двойственности. Напротивъ, родилось-бы великое самоубіеніе. Но всетаки эта двойственность большая мука. Милая, глубокоуважаемая N. N., вѣрите-ли вы во Христа и въ его обѣты? Если вѣрите (или хотите вѣрить очень), то предайтесь ему вполне, и муки отъ этой двойственности сильно смягчатся и вы получите исходъ душевный, а это главное.

Простите, что написалъ такое безпорядочное письмо. Но если-бы вы знали, до какой степени я не умѣю писать писемъ и тягочусь писать ихъ. Но вамъ всегда буду отвѣчать, если вы еще напишете. Наживъ такого друга, какъ вы, не захочу потерять его. А пока прощайте, всѣмъ сердцемъ преданный вамъ другъ вашъ и родной по душѣ

О. Достоевскій.

(На поляхъ). Простите за наружный видъ письма, за помярки и проч.

Къ Оресту Федоровичу Миллеру.

Старая Русса, 26 августа 1880 г.

Глубокоуважаемый Орестъ Федоровичъ!

Къ 8 сентября, въ Петербургъ никакой возможности вернуться! Къ сожалѣнію большому, конечно. Я здѣсь какъ въ ваторжной работѣ и, не смотря на постоянно прекрасные дни, которыми надо бы пользоваться, сижу день и ночь за работой — кончаю Карамазовыхъ. Кончу только къ самому концу сентября и тогда возвращусь. 8 сентября именно буду усиленно занятъ отправкой написаннаго въ „Русскій Вѣстникъ“. Вообще я здѣсь заработался. Какая прекрасная мысль особое торжественное засѣданіе нашего общества на память 500-лѣтія Куликовской битвы. Спасибо К. Н. за будущую статью. Это именно надо теперь. Надо возрождать впечатлѣніе великихъ событій въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, забывшемъ и оплевавшемъ нашу исторію. Жду непременно, что скажете ваше слово и вы. Какъ бы хорошо было упомянуть хоть вскользь объ „ушедшемъ спать“ великомъ князѣ (вѣроятно отъ трусости), когда другіе бились. Нужно высоко возстановить этеть прекрасный образъ и затереть бездну мерзкихъ идей, пущенныхъ въ ходъ объ нашей исторіи за послѣдніе 25 лѣтъ. Какъ я сожалѣлъ, бывъ въ Москвѣ, что васъ не было: вы бы превосходно сдумѣли послужить доброму дѣлу вашимъ горячимъ и энергическимъ словомъ! За мое же слово въ Москвѣ видите какъ мнѣ досталось отъ нашей прессы почти сплошь: точно я совершилъ воровство-мошенничество или подлогъ въ какомъ нибудь банкѣ. Даже Юханцевъ не былъ облитъ такими помоями, какъ я. Во всякомъ случаѣ къ 8 сентября мнѣ нѣтъ ни малѣйшей возможности прибыть, не смотря на все мое чрезвычайное желаніе. — А. Гр. вамъ отъ души кланяется. Отъ Аксакова я только что получилъ превосходное, удивительное письмо въ отвѣтъ на мой „Дневникъ“. Но и ваше письмо какъ бы интересно было прочесть.

Вашъ преданный отъ всего сердца

Ф. Достоевскій.

Къ Ивану Сергѣевичу Аксакову *).

Старая Русса, 28 августа 1880 г.

Дорогой и глубокоуважаемый Иванъ Сергѣевичъ, я и на первое письмо ваше хотѣлъ отвѣчать немедленно, а получивъ теперь и второе, для меня *драгоценное* письмо ваше, вижу, что надо говорить много и обстоятельно. — Никогда еще въ моей жизни я не встрѣчалъ критика столь искренняго и столь полнаго участіемъ въ моей дѣятельности, какъ теперь вы. Я даже забылъ и думать, что есть и что могутъ быть такіе критики. Это не значитъ, что я съ вами во всемъ согласенъ *безусловно*, но вотъ какой есть однакоже фактъ: это то, что я самъ нахожусь, во многомъ, въ большихъ сомнѣніяхъ, хотя и имѣлъ 2 года опыта въ изданіи „Дневника“. Именно о томъ: какъ говорить, какинъ тономъ говорить и о чемъ вовсе не говорить? Ваше письмо застало меня въ самой глубинѣ этихъ сомнѣній, ибо я серьезно принялъ намѣреніе продолжать „Дневникъ“, въ будущемъ году, а потому волнуясь и молю Бога слѣдуетъ, чтобъ послалъ силъ, и главное умѣнія. Вотъ почему обрадовался ужасно, что имѣю васъ, — ибо вижу теперь, что вамъ могу изложить хоть часть сомнѣній, а вы всегда мнѣ скажете глубоко искреннее и прозорливое слово. Я ужъ это вижу, изъ двухъ вашихъ писемъ понимаю. — Но вотъ моя бѣда: написать придется къ вамъ не мало, а я теперь не свободенъ и писать не способенъ. Вы не повѣрите, до какой степени я занятъ, день и ночь, какъ въ каторжной работѣ! Именно — кончаю Карамазовыхъ, слѣдственно подвожу итогъ произведенію, которымъ, я, по крайней мѣрѣ, дорожу, ибо много въ немъ легло меня и моего. Я-же и вообще-то работаю нервно, съ мукой и заботой. Когда я усиленно работаю, — то болень

*) Посылая эти письма для настоящаго изданія, И. С. Аксаковъ пишетъ между прочимъ, слѣдующее: „До 1880 года, до Пушкинскаго праздника у меня не было переноски съ Достоевскимъ; но затѣмъ было получено мною писемъ шесть. Изъ нихъ посылаю четыре... Самое интересное это первое письмо, гдѣ говорится не о Карамазовыхъ по существу, а о способѣ его работы надъ Карамазовыми. Оно было отвѣтомъ на мое письмо къ нему по поводу его отвѣта Градовскому. Въ немъ, между прочимъ, я прямо высказалъ ему упрекъ въ томъ, что проповѣдуя нравственныя высшія начала, онъ въ изображеніи безнравственныхъ явленій *излишне реаленъ* и словно *смакуетъ ихъ*. Именно, есть мѣсто въ статьѣ къ Градовскому, гдѣ, упомянувъ о каскадныхъ пѣвицахъ, онъ тутъ же слишкомъ налегаетъ на изображение, какъ онъ „вертять задкомъ“ и пр. Я сказалъ, помнится, что высшее искусство требуетъ и въ обличіи порока цѣломудренности со стороны художника и ея у него нѣтъ. Я былъ убѣжденъ, пошлавъ письмо, что Достоевскій оскорбится, и было отраднo удивленъ его письмомъ отъ 27 августа“. (Москва, 28 августа 1883 г.).

даже физически. Теперь-же подводится итогъ тому, что 3 года обдумывалось, составлялось, записывалось. Надо сдѣлать хорошо, т. е. по крайней мѣрѣ сколько я въ состояніи. Я работы изъ за денегъ на почтовыхъ — не понимаю. Но пришло время, что всетаки надо кончить и кончить не оттягивая. Вѣрите-ли, не смотря, что уже три года записывалось, — иную главу напишу, да и забракую, вновь напишу и вновь напишу. Только вдохновенныя мѣста и выходятъ заразъ, залпомъ, а остальное все претяжелая работа. Вотъ почему теперь, сейчасъ, не смотря на *жгучее* желаніе, не могу написать вамъ: духъ во мнѣ не тотъ, да и разбивать себя не хочу. Напишу же вамъ около 10-го будущаго мѣсяца (сентября); вопросы-то трудныя и надо ихъ ясно изложить. А потому на меня не сердитесь, не примите за равнодушіе: еслибъ вы знали какъ вы, въ такомъ случаѣ, ошибетесь! А пока обнимаю васъ искренно и благодарю душевно. Мнѣ вы нужны, и я васъ не могу не любить.

Вашъ искренній О. Достоевскій.

С.-Петербургъ, 4 ноября 1880 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Иванъ Сергѣевичъ!

Третьяго дня я отправилъ въ редакцію „Руси“ одну рукопись, повѣсти или романа, подъ названіемъ „Мачиха“. Это вотъ что такое: Одна давно уже пишущая барыня, сама очень хорошій кажется человекъ, Пелагея Егоровна Гусева, лѣтъ 6 тому назадъ познакомилась со мною на водахъ въ Эмсѣ и теперь прибѣгла къ моему посредничеству по поводу своего романа. Живетъ она въ Рязани, очень бѣдно. „Мачиха“ была въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, была въ „Огонькѣ“. Вездѣ отказали. И вотъ Пелагея Егоровна, прочтя въ газетахъ ваше объявленіе, поручила мнѣ взять изъ редакціи изданія „Огонекъ“ ея рукопись и переслать вамъ въ „Русь“, что я и сдѣлалъ. „Мачиху“ я не читалъ; понятія о ея достоинствахъ не имѣю, и лишь по настоятельной просьбѣ автора совершилъ фактъ передачи. Какъ разсудите, такъ и будетъ, а я тутъ, конечно, ни причемъ. Ничего не рекомендую, ничего не навязываю. Г-жа Гусева прибавляетъ, что, можетъ быть, отчасти вамъ извѣстна переводами нѣкоторыхъ чешскихъ стихотвореній, которыя вы когда-то помѣстили въ какомъ-то изданіи, „Братская помощь“, кажется. Впрочемъ, она сама была названіе. Подписана „Мачиха“ псевдонимомъ А. Шумова. Этотъ

псевдонимъ она согласна уничтожить съ тѣмъ, чтобъ поставить настоящую фамилию: П. Гусева. Адресъ Г-жи Гусевой: Рязань, Введенская улица, домъ священника Успенскаго.

Исполнивъ порученіе, скажу два слова о себѣ. Я вамъ, дорогой Иванъ Сергѣевичъ, до сихъ поръ на ваше прекрасное письмо (мѣсяца 2 или болѣе назадъ) еще не отвѣтилъ. Но какъ былъ въ каторжной работѣ тогда, такъ состою и теперь. Все кончаю мой романъ и не могу кончить. Но на дняхъ, кажется, кончу совѣтъ и тогда я, относительно говора, свободенъ. Ваше объявленіе о „Руси“ превосходное, здѣсь-же нашлись люди (и, представьте, во многомъ нашего образа мыслей), которые находятъ, что объявленіе ваше заносчиво, туманно и *нагло*. Пусть брешутъ. Во многихъ случаяхъ первыми врагами бывають свои-же. Мнѣ только мерещится, что „Русь“ сдѣлала одинъ промахъ, именно, что начнется съ 15-го ноября, а не прямо съ 1-го января будущаго года. Публикѣ естественно покажется, что номера въ нынѣшнемъ году выпускаются, такъ сказать, какъ-бы *пробными*, чтобъ рекомендовать изданіе. Но „Русь“ и ея направленіе, по моему, столь должны быть извѣстны всѣмъ, равно какъ и ей редакторъ, что пробности никакой-бы и не надо. Безъ пробности было-бы *важнѣе, тверже, самоувереннѣе* въ хорошемъ смыслѣ слова. Общество въ этомъ смыслѣ глуповато; оно смотритъ на такіе пробные номера всегда какъ-бы еще не на *настоящіе*. Впрочемъ это мое только мнѣніе, и я, очень можетъ быть, ошибаюсь. Убѣжденъ, однако, только въ томъ, что вамъ необходимо теперь, такъ сказать, *усиленно* поразить и завлечь вниманіе первыми номерами, чтобъ доказать, что они *настоящіе*. Если-бы съ 1-го января, то никакой такой усиленности и не надо-бы было, потому что сдѣлалось-бы само собою. Опять таки я, можетъ быть, очень вру.

Вашъ тезисъ мнѣ о тонѣ распространенія въ обществѣ святыхъ вещей, т. е. безъ изступленія и ругательствъ, не выходитъ у меня изъ головы. Ругательствъ, разумѣется, не надо, но возможно-ли быть не самимъ собою, не искреннимъ? Каковъ я есмь, такимъ меня и принимайте: вотъ какъ-бы я смотрѣлъ на читателей. Заволакиваться въ облака величія (тонъ Гоголя, наприимѣръ, въ „перепискѣ съ друзьями“) есть неискренность, а неискренность даже самый неопытный читатель узнаетъ чутьемъ. Это первое что выдаетъ. Ну, какъ отказаться отъ полемики и иногда горячей? Вамъ дружески признаюсь, что, предпринимая съ будущаго года „Дневникъ“ (на дняхъ пускаю объявленіе), часто и многократно на колѣняхъ молился уже Богу, чтобъ далъ мнѣ сердце чистое, слово чистое, безгрѣшное, нераздражительное, независтливое. Смѣясь уже скажу: рѣшаю иногда совѣтъ не читать ни нападокъ, ни возраженій въ журналахъ. Кстати, Кошелева

статью въ „Русской Мысли“ до сихъ поръ не читаль. И не хочу. Извѣстно, что *свои-то* первыми и нападаютъ на своихъ-же. Развѣ у насъ можетъ быть иначе? Но вотъ и вся бумага, а сколько хотѣлъ-бы вамъ написать! Но напишу. До свиданія, обнимаю васъ горячо. Дай вамъ Богъ.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Петербургъ, 3 декабря 1880 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Иванъ Сергѣевичъ!

Еще съ перваго № вашей „Руси“ порывался написать вамъ, и вотъ только теперь удовлетворяю желанію моему, т. е. уже по прочтеніи 3 №. Главная причина задержки — мелкія, глупѣйшія хлопоты, въ родѣ публичныхъ чтеній и проч., но которыхъ нельзя обойти, а пуще всего жестокое нездоровье, не смотря на то, что вызжаю; разгулялась моя анфизема, укороченное дыханіе, а за нимъ и ослабленіе силъ. — Но довольно обо мнѣ: урвалъ минуту и хочу подѣлиться съ вами моими впечатлѣніями. Впечатлѣнія и хороши, и дурны. Во-первыхъ ваши передовья. Да, давно не являлось подобное раздавшемуся вновь голосу. Ваши статьи очень твердо и цѣлокупно (конкретно) написаны. Вы ставите чрезвычайно ясную мысль о земствѣ и понятную, какъ дважды два. Такъ какъ это отчасти самый корень дѣла, то вы конечно будете продолжать разъяснять вашу мысль и въ слѣдующихъ нумерахъ, при всякомъ удобномъ случаѣ. Такъ и надо. Но не ожидайте — о, не ожидайте, — чтобъ васъ поняли. Нынче именно такое время и настроеніе въ умахъ, что любятъ сложное, извилистое, проселочное и себѣ въ каждомъ пунктѣ противорѣчащее. Аксиома, въ родѣ дважды два — четыре, покажется парадоксомъ, а извилистое и противорѣчивое — истиной. Сейчасъ только прочелъ въ „Новомъ Времени“ выписку изъ „Русской Рѣчи“, гдѣ Градовскій учитъ васъ и читаетъ вамъ наставленія. „Не архитектуры дескать, а жизни“. Мертвецъ проповѣдуетъ жизнь, и повѣрьте, что мертвеца-то и послушаютъ, а васъ нѣтъ. Вы въ вашихъ письмахъ ко мнѣ утверждали, что это человѣкъ умный, хотя и порченный, а Орестъ Федоровичъ Миллеръ передавалъ мнѣ, что вы интересуетесь знать его, т. е. Градовскаго, мнѣніе о „Руси“. Ну вотъ вы теперь знаете его мнѣніе. Вы-де проглядѣли новую, живую, *національную* струю въ нашемъ обществѣ въ послѣднее 25-ти лѣтіе, вызванную реформами. И укоривъ, что вы проглядѣли, появившись, что она *есть*, су-

существуетъ, тутъ-же сейчасъ спрашиваетъ: „При какихъ условіяхъ возможенъ нашъ собственный нравственный ростъ, т. е. при какихъ условіяхъ мы будемъ становиться нравственнѣе, трудолюбивѣе, чище, образованнѣе, крѣпче характеромъ, рачительнѣе къ пользѣ общей; при какихъ условіяхъ эта святая идея отечества будетъ ближе нашему сердцу и вниманію?“ и т. д. и т. д. Ну, да вѣдь если ужъ онъ открылъ такой владъ, эту новую національную струю, — то чего-же спрашивать и затрудняться рѣшеніемъ? Фактъ совершился и преклонись. Описывай струю, изучай ея теченіе, откуда взялась она и ея доблести — вотъ и разрѣшеніе отвѣта. Иначе вѣдь, если онъ не умѣетъ разрѣшить вопросъ, то значить и не существуетъ струи, и она ему только такъ показалась. Но онъ не разрѣшаетъ и въ концѣ сваливаетъ дѣло о созданіи струи на правительство. Это колоссально хорошо. Повторяю, прочелъ въ выпискѣ. Завтра вѣроятно получу „Русскую Рѣчь“ и нарочно прочту въ оригиналѣ вздоръ Александра Дмитріевича. Но повѣрьте, что онъ будетъ имѣть успѣхъ, а вы нѣтъ; „онъ разрѣшилъ, онъ указалъ, а вы только пародаксалистъ“.

Разумѣется, вы писали не для него и не для огромной массы владѣющей умами интеллигенціи. Тѣ, которые васъ поймутъ, есть, и ихъ много, а для нихъ надобно, повторяю, чѣмъ дальше, тѣмъ больше разъяснять вашу мысль. Власть, закрѣпощенный народъ и горожане и между ними 14 классовъ. Вотъ дѣло Петрово. Освободите народъ, и какъ будто дѣло Петрово нарушено. Но поясъ-то, но зона-то между властью и народомъ ни за что не отступитъ и не отдастъ своей привилегіи править чернымъ народомъ. Самые лучшіе изъ нихъ скажутъ: „мы будемъ, мы станемъ лучше, постараемся стать и будемъ любить народъ, но самоуправленіе дадимъ ему лишь чиновничье, ибо мы не можемъ отказаться отъ нашей прерогативы“. Вотъ на эту-то стѣну, объ которую всѣ стукнулись лбомъ, вы и не указываете. Вы выговариваете лишь абсолютную истину, а какъ она разрѣшится? Ни намека. Даже нѣчто обратное, у васъ „Петръ (1-й № „Руси“) вдвинулъ насъ въ Европу и далъ намъ европейскую цивилизацію“. Вѣдь вы его почти хвалите именно за европейскую-то цивилизацію, а вѣдь она-то, ея-то лжеподобіе, и сидитъ между властью и народомъ въ видѣ роковаго пояса изъ „лучшихъ людей“ четырнадцати классовъ. Миѣ это неясно. Но довольно. Все-таки ваша статья есть, уже не слово, а дѣло. О литературномъ ея достоинствѣ и не говорю. Удивительно хорошо. Но повторяю: продолжайте разъяснять вашу мысль особенно на примѣрахъ и указаніяхъ. Посѣте зерно, — выростетъ дубъ.

Прявятся миѣ статьи „Опытъ фельетона“, подписаны буквами (Н.

Б., кажется,). Есть и еще много хорошаго. Но я сказалъ, что впечатлѣнія мои и хорошія и дурныя. Ну, такъ вотъ что по моему дурно: вотъ ужъ три выпуска „Руси“ и кажется мнѣ персоналъ вашего журнала пока слабенекъ. Кромѣ васъ—кто-же? Съ 1-го-же № мелькнула грустная мысль: „Умри, наприимѣрь, вы, и кто-же останется, чтобъ проповѣдовать „русское направленіе“? Дѣятелей нѣтъ, безсиліе, хотя и есть много сочувствующихъ. А потому, дай вамъ Богъ какъ можно дольше прожить на свѣтѣ, изъ глубины сердца говорю. Статейка въ родѣ разговора 3-хъ лицъ въ 1-мъ №, и выдержки изъ одной газеты (не изъ „Голоса“—ли?) хороши, и чрезвычайно мѣтко то, что вы хотите выставить на видъ абсурды нашей публицистики. Это совершенно необходимо, превосходная мысль и самая практическая.

Но вотъ въ слѣдующихъ 2-хъ номерахъ отчета объ абсурдахъ за недѣлю—не было. Значитъ вы находите эту мысль не столь практичною и не столь полезною. Кстати, въ этой статейкѣ, равно какъ въ разговорѣ трехъ лицъ—ума и правды много, но мало *жала*. Повѣрьте, глубокоуважаемый Иванъ Сергѣевичъ, что жало—еще не есть ругательство. Въ ругательствѣ, напротивъ, оно тупится. Я не къ ругательству призываю. Но жало есть лишь остроуміе глубокаго чувства, а потому его завести непременно надо.—Стиховъ вашего брата, напечатанныхъ въ 1-мъ номерѣ, я прежде не зналъ, удивительно хорошо. Статьи Ламанскаго учены, но вялы. Статей Дм. Самарина тоже еще не читалъ. Ну, вотъ вамъ, на лету, самыя первыя мои впечатлѣнія. Но напишу еще и еще. Еслибъ вы знали, какъ я обрадовался „Руси“! Я возлагаю на нее огромныя надежды. Но персоналъ, персоналъ!

Жду вашихъ сотрудниковъ. Не пренебрегите и еще однимъ „группымъ“ совѣтомъ. Дѣлайте „Русь“ разнообразнѣе, занимательнѣе, чѣмъ дальше, тѣмъ больше. А то скажутъ: умно, но невесело, и читать не станутъ.—Хочу издавать „Дневникъ“, но до этого еще далеко. Подписка началась, но анфизема: ѣзжу, даже хожу, а дыханія мало. Въ разборѣ Карамазовыхъ благодарю васъ лишь за вашу редакторскую выноску и за обѣщаніе сказать еще нѣчто. Скажите. Обнимаю васъ крѣпко, желаю вамъ самаго свѣтлаго успѣха, и повѣрьте, что ни одинъ изъ вашихъ читателей не желаетъ этого пламенинѣе, чѣмъ я.

Вашиъ весь Ф. Достоевскій.

P. S. Здѣсь въ Петербургѣ, по моему взгляду, *опредѣленнаго* мнѣнія о „Руси“ не составилось. 1-й № прочтенъ былъ съ чрезвычайнымъ лю-

бопытствомъ. Различныя экземпляры раскватали. Я знаю примѣръ, что къ вечеру разносчики доставали экземпляръ за полтора рубля. Но даже сочувствующіе „Руси“ удерживаются отъ опредѣленнаго отзыва. Видна какая-то нерѣшительность высказаться. И это у всѣхъ, даже сочувствующихъ.

P. S. NB. Забылъ о политикѣ и о внутреннемъ обзорѣни. Дѣльно и ясно, прекрасно составлено, но побольше бы огня, сопоставленій, указаній. Во внутреннемъ обзорѣни есть нѣсколько хорошихъ характерныхъ указаній. Въ политикѣ я бы пустилъ нѣсколько сарказму.

С.-Петербургъ, 18 декабря 1880 г.

Глубокоуважаемый Иванъ Сергѣевичъ!

Вамъ конечно теперь нѣтъ времени на переписку. — Съ сими виѣстѣ посылаю вамъ экземпляръ моихъ Карамазовыхъ. Прилагаю тоже 25 руб. для слѣдующихъ цѣлей. У васъ, въ „Руси“, печатается мое объявленіе о будущемъ изданіи „Дневника“, за что благодарю; но, не зная, что оно стоитъ, вотъ и посылаю, на первый случай, сіи 25, съ присовокупленіемъ покорнѣйшей и чрезвычайной просьбы: къ тому объявленію о „Дневникѣ“, которое печатается въ „Руси“, присовокупить и объявленіе о выходѣ Карамазовыхъ, печатный текстъ котораго при семъ же и прилагаю. Это объявленіе повторите тоже нѣсколько разъ, раза три, и потомъ велите меня увѣдомить, въ концѣ концовъ, сколько еще надо будетъ приплатить? Тотчасъ же и вышлю. „Русью“ здѣсь большею частью довольны. Ваши передовныя и статьи Н. Б. (не сравнивая ихъ взаимно) чрезвычайно полезныя статьи. Именно объ этомъ надо было заговорить, но заговоривъ не оставлять, а разъяснять, развивать, и „долбить“ неустанно. Головки у всѣхъ хоть и умныя (положимъ, что умныя), но случись вопросъ общій (вотъ хоть о студентахъ), и вѣдь всѣ-то *врозь*, всѣ-то въ темнотѣ стучаются своими умными лбами до шишекъ. До свиданія, глубокоуважаемый Иванъ Сергѣевичъ. Буде будетъ когда нибудь времечко, что нибудь черкните вашему наипреданнѣйшему

Федору Достоевскому.

БЪ ВРАЧУ А. Ф. БЛАГОПРАВОВУ *).

Петербургъ, 19 декабря 1880 г.

Милостивый государь Александръ Федоровичъ!

Благодарю васъ за письмо ваше. Вы вѣрно заключаете, что причину зла я вижу въ безвѣрїи, но что отрицающій народность отрицаетъ и вѣру. Именно у насъ это такъ, ибо у насъ вся народность основана на христіанствѣ. Слова „крестьянинъ“, „Русь православная“ суть коренныя наши основы. У насъ русскій, отрицающій народность (а такихъ много), есть непремѣнно атеистъ или равнодушный. Обратное, всякій невѣрующій или равнодушный рѣшительно не можетъ понять и никогда не пойметъ ни русскаго народа, ни русской народности. Самый важный теперь вопросъ: какъ заставить съ этимъ согласиться нашу интеллигенцію? Попробуйте заговорить: или съѣдать, или сочтуть за измѣнника. Но кому измѣнника? Имъ, — т. е. чему-то носящемуся въ воздухѣ и которому даже имя придумать трудно, потому что они сами не въ состояніи придумать, какъ назвать себя. Или народу измѣнника? Нѣтъ, ужъ я лучше буду съ народомъ; ибо отъ него только можно ждать чего нибудь, а не отъ интеллигенціи русской, народъ отрицающей, и которая даже не интеллигентна.

Но возрождается и идетъ новая интеллигенція; та хочетъ быть съ народомъ. А первый признакъ неразрывнаго общенія съ народомъ есть уваженіе и любовь къ тому, что народъ всею цѣлостію своею любитъ и уважаетъ болѣе и выше всего, что есть въ мірѣ, т. е. своего Бога и свою вѣру.

Эта новоградущая интеллигенція русская, кажется, именно теперь начинаетъ подымать голову. Именно, кажется, теперь она потребовалась къ общему дѣлу, и она это начинаетъ и сама сознавать.

Здѣсь за то, что я проповѣдую Бога и народность, изъ всѣхъ силъ стараются стереть меня съ лица земли. За ту главу Карамазовыхъ (о галлюцинаціи), которою вы, врачъ, такъ довольны, меня пробовали уже было обозвать ретроградомъ и изувѣромъ, дописавшимся „до чортиковъ“. Они наивно воображаютъ, что все такъ и воскликнуть: „какъ? Достоевскій про чорта сталъ писать? Ахъ, какой онъ пошлякъ, ахъ, какъ онъ

*) Это отвѣтъ на письмо г. Благоправова (въ г. Юрьевъ-Польскомъ, Владимірской губерніи), который написалъ Федору Михайловичу свое мнѣніе—мнѣніе врача—по поводу мастерскаго изображенія галлюцинаціи Ивана Карамазова въ послѣдней части романа.

неразвить!" Но, кажется, имъ не удалось. Васъ, особенно какъ врача, благодарю за сообщеніе ваше о вѣрности изображенной мною психической болѣзни этого человѣка. Мнѣніе эксперта меня поддержать, и, согласитесь, что этотъ человѣкъ (Ив. Карамазовъ) при данныхъ обстоятельствахъ никакой иной галлюцинаціи не могъ имѣть, кромѣ этой. Я эту главу хочу впоследствии, въ будущемъ „Дневникъ“, разъяснить самъ критически.

За сямъ, примите увѣреніе въ моихъ искреннѣйшихъ и лучшихъ чувствахъ. Вамъ совершенно преданный

Федоръ Достоевскій.

ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

В. М. ДОСТОВЕВСКАГО.



КЪ ВРАЧУ А. О. БЛАГОПРАВОВУ *).

Петербургъ, 19 декабря 1880 г.

Милостивый государь Александръ Федоровичъ!

Благодарю васъ за письмо ваше. Вы вѣрно заключаете, что причину зла я вижу въ безвѣрїи, но что отрицающій народность отрицаетъ и вѣру. Именно у насъ это такъ, ибо у насъ вся народность основана на христіанствѣ. Слова „крестьянинъ“, „Русь православная“ суть коренныя наши основы. У насъ русскій, отрицающій народность (а такихъ много), есть непременно атеистъ или равнодушный. Обратнo, всякій невѣрующій или равнодушный рѣшительно не можетъ понять и никогда не пойметъ ни русскаго народа, ни русской народности. Самый важный теперь вопросъ: какъ заставить съ этимъ согласиться нашу интеллигенцію? Попробуйте заговорить: или съѣдять, или сочтуть за измѣнника. Но кому измѣнника? Имъ, — т. е. чему-то носящемуся въ воздухѣ и которому даже имя придумать трудно, потому что они сами не въ состоянїи придумать, какъ назвать себя. Или народу измѣнника? Нѣтъ, ужъ я лучше буду съ народомъ; ибо отъ него только можно ждать чего нибудь, а не отъ интеллигенціи русской, народъ отрицающей, и которая даже не интеллигентна.

Но возрождается и идетъ новая интеллигенція; та хочетъ быть съ народомъ. А первый признакъ неразрывнаго общенія съ народомъ есть уваженіе и любовь къ тому, что народъ всею цѣлостію своей любитъ и уважаетъ болѣе и выше всего, что есть въ мірѣ, т. е. своего Бога и свою вѣру.

Эта новогрядущая интеллигенція русская, кажется, именно теперь начинаетъ подымать голову. Именно, кажется, теперь она потребовалась къ общему дѣлу, и она это начинаетъ и сама сознавать.

Здѣсь за то, что я проповѣдую Бога и народность, изъ всѣхъ силъ стараются стереть меня съ лица земли. За ту главу Карамазовыхъ (о галлюцинаціи), которою вы, врачъ, такъ довольны, меня пробовали уже было обозвать ретроградомъ и изувѣромъ, дописавшимся „до чортиковъ“. Они наивно воображаютъ, что все такъ и воскликнуть: „какъ? Достоевскій про чорта сталъ писать? Ахъ, какой онъ пошлякъ, ахъ, какъ онъ

*) Это отвѣтъ на письмо г. Благоправова (въ г. Юрьевъ-Польскомъ, Владимірской губерніи), который написалъ Федору Михайловичу свое мнѣніе—мнѣніе врача—по поводу мастерскаго изображенія галлюцинаціи Ивана Карамазова въ послѣдней части романа.

чено; такъ, но оно уже тѣмъ хорошо, что существуетъ; дрянненькое, а существуетъ, но главное *такъ* существуетъ, что сократить его теперь не только невозможно, но даже немислимо, не смотря на то, что существованіе его, какъ выражаются, не обезпечено.

Уничтожить общественное мнѣніе, такъ не то что ничего больше не будетъ, а и то, что есть, исчезнетъ.

Общественное мнѣніе дрянное, потому что до сихъ поръ еще только что зародилось и кто въ дѣсь, кто по дрова. Слагается-же оно долгимъ ходомъ исторіи, многими поколѣніями.

Либералы
и дѣло.

Вся наша либеральная партія прошла *мимо дѣла*, не участвуя въ немъ и не дотрогиваясь до него. Она только отрицала и хихикала.

Вѣчныя
экономическія ре-
формы.

Облегчить народъ, наприимѣръ, уничтоженіемъ налога на соль. Гдѣ взять денегъ? Для этого непремѣнно и неотложно обложить налогомъ высшіе богатые классы, и тѣмъ снять тягости съ бѣднаго класса.

Соціализмъ
и христіанство.

Попробуйте раздѣлиться, попробуйте опредѣлить, гдѣ кончается ваша личность и начинается другая? Опредѣлите это наукой! Наука именно за это берется. Соціализмъ именно опирается на науку. Въ христіанствѣ и вопросъ немислимъ этотъ. (NB. Картина христіанскаго разрѣшенія). Гдѣ шансы того и другого рѣшенія?—Повѣтъ духъ новый, внезапный.....

(въ 1-й № непремѣнно).

По поводу: проповѣдывалъ-ли я въ моей московской рѣчи безличность?

Богатство
(трудно
снаться).

Богатство—усиленіе личности, механическое и духовное удовлетвореніе, стало быть отъединеніе личности отъ цѣлаго.

Народъ.
(Въ статьяхъ
о финансахъ).

Въ народѣ потребность *чего-то новаго*, новаго слова, новаго чувства, потребность порядка новаго. Безшабанный періодъ пьянства послѣ крестьянской реформы проходитъ. Никогда народъ не былъ болѣе склоненъ (и беззащитенъ) къ инымъ вѣяніямъ и вліяніямъ. (Штундисты. Даже нигилистическая пропаганда найдетъ дорогу. Не нашла до сихъ поръ по неумѣлости, глузости и неподготовленности пропаторовъ). Надо беречься. Надо беречь народъ. Церковь въ параличѣ съ Петра Великаго. Страшное время, а тутъ пьянство. Штунда. Отъ штунды переходъ къ проповѣдямъ *Берсе*. Между тѣмъ народъ нашъ оставленъ почти что на однихъ свои силы. Интеллигенція мимо.

ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО.

дачи. (Въ Европѣ лучшихъ людей создаетъ власть). У насъ Петръ Великій, чтобъ подавить аристократію бояръ, ввелъ 14 классовъ. Есть аналогія съ Почетнымъ Легіономъ. Привилось, но и не начинало исчерпывать задачи. Не признано духомъ народнымъ, да и у чиновниковъ начало банкротиться. (Чиновники по найму, аферисты, адвокаты, банки переселятъ). А между тѣмъ безъ лучшихъ людей нельзя. Но Петръ тоже поступилъ по западному духу, надѣлавъ 14 классовъ, потому что *лучшіе* пошли отъ правительства, а не отъ духа народного. Лучшіе пойдутъ отъ народа и должны пойти. У насъ болѣе чѣмъ гдѣ нибудь это должно организоваться. Правда, народъ еще безмолвствуетъ, хоть и называетъ, кромѣ Алексѣя челоуѣка Божія — Суворова наприимѣръ, Бутузова). Но у него еще нѣтъ голоса. Голосъ-же интеллигенціи очень сбить и народу не понятенъ, да и не слышенъ. Богъ знаетъ кого интеллигенція поставитъ лучшимъ. Парижская коммуна и западный социализмъ не хотятъ лучшихъ, а хотятъ равенства и отрубятъ голову Шекспиру и Рафаэлю. У насъ въ народѣ нѣтъ зависти: сдѣлайте народу полезное дѣло и станете народнымъ героемъ. (Но, не возвышая его до себя, любите народъ, а сами принизившись передъ нимъ...)

Вольная Р.
Академія
Наукъ.

Проектъ Русской Вольной Академіи Наукъ.

По поводу отвергнутаго Менделѣева почему не завести нашимъ русскимъ ученымъ своей Вольной Академіи Наукъ (Пожертванія).

Благоговѣніе.

Возвышенность души измѣряется отчасти и тѣмъ, на сколько и передъ чѣмъ она способна оказать уваженіе и благоговѣніе (умиленіе).

Жидъ.

Бисмарки, Биконсфильды, Французская республика и Гамбетта и т. д. все это, какъ сила, одинъ только миражъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Господинъ и имъ, и всему, и Европѣ одинъ только жидъ и его банкъ. И вотъ услышимъ: вдругъ онъ скажетъ veto и Бисмаркъ отлетитъ какъ скошенная былинка. Жидъ и банкъ господинъ теперь всему: и Европѣ, и просвѣщенію, и цивилизаціи, и социализму, — социализму особенно, ибо имъ онъ съ корнемъ вырветъ христіанство и разрушитъ ея цивилизацію. И когда останется лишь одно безначаліе, тутъ жидъ и станетъ во главѣ всего. Ибо, проповѣдуя социализмъ, онъ останется межъ собой въ единеніи, а когда погибнетъ все богатство Европы, останется банкъ жиды. Антихристъ придетъ и станетъ на безначаліи.

Идеаль красоты челоуѣческой — русскій народъ. Непремѣнно выста-

вить эту красоту, аристократическій типъ и проч. Чувствуешь равенство невольно; не много спустя почувствуете, что онъ выше васъ.

Человѣкъ всю жизнь не живетъ, а сочиняетъ себя, *самосочиняется*.

Катерини
Ивановни
самосочи
неніе.

Нашъ интеллигентъ ничего путнаго не с^умѣетъ сказать объ народѣ, и только изумить его, а подъ конецъ, и очень скоро, выведетъ его изъ себя, — тѣмъ дѣло и кончится.

Конститу
ція.

Отцы и дѣти, — своя своихъ не узнали.

Все это ужасно старо. Новаго тутъ только развѣ то, что это никогда не приглядывалось къ дѣлу, и объ этомъ никто не говорилъ, а, можетъ быть, и не думалъ. Скажутъ: да какъ-же не приглядывалось къ дѣлу, да какъ вы, да чтѣ вы? Ну да, конечно, приглядывалось, ну да, конечно, на одну сотую долю: сперва о текущемъ, а потомъ: ну да, дай позабочусь и о корняхъ. А я вѣдь толкую о томъ, что, если возможно, бросить совсѣмъ текущее, а невозможно — сократить его до самаго крайняго минимума, до послѣдней нищеты, прибѣдиться, сѣсть у Европы на дорожку, прося почти милостыньку, а межъ тѣмъ работать у себя на задахъ, поливать корни, ходить за ними, нѣжить, холить, все для корней, и помнить: Россія, положимъ, въ Европѣ, а главное въ Азіи. Въ Азію! въ Азію!

Вѣдь земскія учрежденія и всѣ эти чины, вѣдь это, въ отношеніи къ народу: A quelle sauce voulez-vous qu'on vous mange, mais nous ne voulons pas и т. д. (Непремѣнный членъ). Глухое отчаяніе.

Народъ. Тамъ все. Вѣдь это море, котораго мы не видимъ, запершись и оградясь отъ народа въ чухонскомъ болотѣ.

Люблю тебя Петра творенье.

Виновать, не люблю его.

Окна, дырья — и монументы.

Намъ всѣ не вѣрять, всѣ насъ ненавидятъ, — почему? Да потому, Профѣтъ. что Европа инстинктомъ слышитъ и чувствуетъ въ насъ нѣчто новое и на нее несколько не похожее. Въ этомъ случаѣ Европа совпадаетъ съ нашими западниками: тѣ тоже ненавидятъ Россію, слыша въ ней нѣчто новое и ни на что не похожее.

чено; такъ, но оно уже тѣмъ хорошо, что существуетъ; дрянненькое, а существуетъ, но главное *такъ* существуетъ, что сократить его теперь не только невозможно, но даже немислимо, не смотря на то, что существованіе его, какъ выражаются, не обезпечено.

Уничтожить общественное мнѣніе, такъ не то что ничего больше не будетъ, а и то, что есть, исчезнетъ.

Общественное мнѣніе дрянное, потому что до сихъ поръ еще только что зародилось и кто въ лѣсъ, кто по дрова. Слагается-же оно долгимъ ходомъ исторіи, многими поколѣніями.

Либерализм
и дѣло.

Вся наша либеральная партія прошла *мимо дѣла*, не участвуя въ немъ и не дотрогиваясь до него. Она только отрицала и хихикала.

Вѣчная
экономическія ре-
формы.

Облегчить народъ, напимѣръ, уничтоженіемъ налога на соль. Гдѣ взять денегъ? Для этого непременно и неотложно обложить налогомъ высшіе богатые классы, и тѣмъ снять тягости съ бѣднаго класса.

Соціализмъ
и христіан-
ство.

Попробуйте раздѣлиться, попробуйте опредѣлить, гдѣ кончается ваша личность и начинается другая? Опредѣлите это наукой! Наука именно за это берется. Соціализмъ именно опирается на науку. Въ христіанствѣ и вопросъ немислимъ этотъ. (NB. Картина христіанскаго разрѣшенія). Гдѣ шансы того и другого рѣшенія?—Повѣсть духъ новый, внезапный.....

(въ 1-й № непременно).

По поводу: проповѣдывалъ-ли я въ моей московской рѣчи безличность?

Богатство
(трудно
снаться).

Богатство—усиленіе личности, механическое и духовное удовлетвореніе, стало быть отъединеніе личности отъ цѣлаго.

Народъ.
(Въ статью
о финан-
сахъ).

Въ народѣ потребность *чего-то новаго*, новаго слова, новаго чувства, потребность порядка новаго. Безшабашный періодъ пьянства послѣ крестьянской реформы проходить. Никогда народъ не былъ болѣе склоненъ (и беззащитенъ) къ инымъ вѣяніямъ и вліяніямъ. (Штундисты. Даже нигилистическая пропаганда найдетъ дорогу. Не нашла до сихъ поръ по неумѣлости, глупости и неподготовленности пропагаторовъ). Надо беречься. Надо беречь народъ. Церковь въ параличѣ съ Петра Великаго. Страшное время, а тутъ пьянство. Штунда. Отъ штунды переходъ къ проповѣдямъ *Берсье*. Между тѣмъ народъ нашъ оставленъ почти что на однихъ свои силы. Интеллигенція мимо.

...Вводя постепенно, не насаждая образованія, а постепенно приго- Классиче-
ская. товоря почву. Талантливейшіе вышли-бы классиками, и вотъ мало по малу получился-бы контингентъ молодежи съ правильнымъ образованіемъ. Они бы и послужили началомъ будущему. Тѣмъ временемъ, черезъ извѣстные періоды, каждыя пять лѣтъ напримѣръ, или каждые 4 года, можно-бы и умножить постепенно часы для классическихъ языковъ... Долго ждать, но было-бы вѣрнѣе. А то все разомъ, какъ-бы сгорѣло, (sic) въ 20,000 верстъ желѣзныя дороги, которыя построились у насъ въ 10 лѣтъ, отвлекши всѣ свободныя капиталы отъ земли и отъ промышленности. У насъ все вдругъ, выдумали Чеховъ, — холодныхъ, безучастныхъ, враждебныхъ къ юншества, не знающихъ русскаго языка и свнеока смотрящихъ на русскій языкъ. Ихъ ненавидѣли, презирали и смѣялись надъ ними. Иногда даже патриотическое чувство въ мальчикѣ было оскорблено, а у насъ ужасъ какъ немного оставалось его...

Намъ нужно прибѣдниться, сѣсть на дорожкѣ, а межъ тѣмъ про себя Экономи-
ческая. внутри созидаться. Къ чему фанфаронство, что и мы такіе-же, и мы Европа. Какъ ни увѣрй Стасюловичи, Градовскіе, Браевскіе, что мы Европа, въ Европѣ никто-то не принимаетъ насъ за европейцевъ.

Всеобщая грусть въ Европѣ. Какъ у насъ выдумали, что конецъ Профитъ. вѣмъ бѣдамъ Россіи въ завершеніи зданія, такъ тамъ порѣшили давно уже въ умахъ своихъ, и сознательно и бессознательно, что прежде всего надо покончить съ Россіей — ибо она мѣшаетъ имъ до внутреннихъ дѣлъ, заставляетъ содержать войска, хранить султана и даже прогнать его въ концѣ концовъ и завладѣть его наслѣдствомъ! Всему дескать виною Россія...

Намъ не укрыться отъ ихъ срезжета и когда нибудь они бросятся на насъ и съѣдятъ насъ.

Желѣзн. дороги въ Азію —... если только не пустимъ, прежде насъ, Финансы. по нашимъ-же дорогамъ нѣмцевъ, англичанъ и американцевъ, чтобъ они Азія. взяли все да еще съ монополіей, а намъ не оставили ничего.

Земскія учрежденія... нѣтъ, лучше мы ихъ обратимъ тоже въ адми- Финансы. нистрацію, въ такую же какъ мы, въ чиновническую, чтобъ не было диссонанса...

Устроится и само собою такъ, что Европѣ скоро будетъ не до Восточнаго Финансы. вопроса — какъ и было напримѣръ въ игновеніе франко-прусскаго побойща. Азія.

Финансы. Какъ это сдѣлать? Не знаю. Петръ Великій сдѣлалъ-бы. Важенъ принципъ. То-то и дѣло, что не знаемъ какъ и приступить-то. У насъ вотъ, по поводу дефицита въ 50 милліоновъ за текущій годъ, тотчасъ же предложили сокращеніе арміи на 50,000 человѣкъ. Именно, именно, попали въ точку: денежки-то у насъ истратятъ (у насъ-ли не истратить), такъ что и не увидишь ихъ, а пятидесяти тысячъ солдатъ все-таки ужъ не будетъ. Другіе рекомендовали сократить армію даже разомъ на половину (катай, валяй, благо либерально!) Да къ чему на половину, не лучше-ли всю сократить, а завести на ея мѣсто національную гвардію, благо сего либеральнаго европейскаго учрежденія (уже и въ Европѣ отжившаго) у насъ еще не было. А тамъ и мобилъ завести. Редакторы либеральныхъ журналовъ станутъ полковниками и дивизионными командирами — прелесть! То-то и есть что не знаемъ какъ экономить. Не солдатъ сокращать на цѣлыхъ 50,000 человѣкъ, а мошенничество въ управленіи солдатамъ и проч. (Администрація. Но тутъ принципъ).

Въ крайнемъ случаѣ не только можно бы 50,000, но и сто тысячъ сократить на время, въ видахъ непреложнѣйшей пользы отъ экономіи, но вѣдь куда пойдутъ денежки-то, вотъ вопросъ. Мало-ль пустыхъ и переполненныхъ кармановъ ждуть ихъ въ свои бездонныя пропасти.

Финансы. Уничтожьте-ка формулу администраціи!

Да вѣдь это измѣна европеизму, это отрицаніе того, что мы европейцы, это измѣна Петру Великому. О, на преобразованія наша администрація согласится, но на второстепенныя, на практическія и проч. Но чтобъ измѣнить совершенно характеръ и духъ свой — нѣтъ, этого ни за что (земство — журавль въ небѣ). Наши либералы, стоящіе за земство противъ чиновничества, право противурѣчаютъ себѣ. Земство, правильное земство — это поворотъ къ народу, къ *народнымъ началамъ* (столь осмѣянное ими словечко). Такъ устоитъ-ли европеизмъ въ настоящемъ-то видѣ, если правильно укоренится земство? Это еще вопросъ и, вѣроятнѣе всего, что не устоитъ.

Тогда какъ чиновникъ, теперешній чиновникъ — это европеизмъ, это сама Европа и эмблема ея, это именно идеалы Градовскихъ и Кавелинскихъ. Стало быть, чтобъ быть послѣдовательными, либераламъ и европейцамъ нашимъ надо бы стоять за чиновника, въ настоящемъ видѣ его, съ малыми лишь измѣненіями, соответствующими прогрессу времени и практическимъ его указаніямъ. А впрочемъ чтожь я? Они вѣдь за это въ сущности и стоятъ. Дайте имъ хоть конституцію, они и конституцію приурочатъ къ административной опека Россіи.

Научить народъ его правамъ и обязанностямъ. Это они-то будутъ ^{Финанси} учить народъ его правамъ и обязанностямъ! Ахъ мальчишки!

(Цинизмъ, отчаяніе, правды нѣтъ, пьянство, — что было-бы съ народомъ, еслибъ у него не было религіи? А что было-бы? Тогда-бы начали учить его правамъ и обязанностямъ. Да онъ бы удавился!)

А Россію-то подгоняютъ: почему это она не Европа? да какъ это она не Европа, да зачѣмъ это она не Европа? Рѣшено, наконецъ, и разрѣшенъ вопросъ: оттого-де, что не увѣнчано зданіе. И вотъ всѣ до одинаго кричатъ объ увѣнчаніи зданія. Механическія успокоенія всегда легки и пріятны. Оттого де, что не увѣнчано зданіе, оттого Россія и не Европа, а стало быть нечего вдумываться и нечего тревожиться: увѣнчать зданіе и станеть Россія сей же часъ въ Европѣ. Главное и пріятное въ этихъ механическихъ успокоеніяхъ то, что думать ни о чемъ не надо:

Мы вѣрно ужъ поладимъ,
Коль рядомъ сядемъ,

наладила сорока Якова. А что коль вы въ музыканты-то еще не годитесь? Обвинять-то, отрицать-то вы годитесь, говоря что угодно. А дай-ка вамъ самимъ что нибудь сдѣлать: Господи, что это будетъ! Говорильня-то будетъ, въ этомъ сомнѣнія нѣтъ. Но изъ бѣлыхъ жилетовъ выработаются лишь говоруны, а дѣла всетаки не будетъ. Выработался типъ говоруна. Выходить, напримѣръ, сановникъ и говорить, собравшимся подчиненнымъ: Господи, что иной разъ говорить! Садеть передъ вами иной передовой и ведущій и тоже начнетъ говорить: ни концевъ, ни началъ, дурманъ! Часа полтора говорить. Этотъ типъ выработался. Этотъ типъ народившійся еще не затрогивали. Много не затронула еще художественная литература наша и проглядѣла. Ужасно отстала. Все типы тридцатыхъ, сороковыхъ и много-много начала шестидесятыхъ годовъ.

Да Восточный вопросъ разрѣшится самъ собою. Въ сущности Восточ-Азіатный вопросъ для насъ теперь и не существуетъ. Мы рѣшимъ его вдругъ, въ грядущія времена, выберемъ минутку такую въ Европѣ, въ родѣ франко-прусской войны, и когда при томъ сама собой затрепещитъ Австрія. Потому что тамъ тоже все рѣшится само собой, помимо всѣхъ соображеній и всѣхъ Бисмарковъ. Только бы намъ не ввязываться, о, только бы намъ не ввязываться, т. е. спасти порядки и проч. Трепщете себя, валитесь — а мы тѣмъ временемъ станемъ твердо, и остановимъ волну именно тѣмъ, что стоимъ твердо. Только стоимъ. И тѣмъ только, что мы стоимъ, что мы есть, и спасемъ европейское человѣчество. Но эту басенку мы еще пояснимъ впоследствии.

Профѣтъ. Нѣтъ, ты не знаешь, какъ они насъ ненавидятъ. Нѣтъ, не та цивилизація, не Европа, мы для нихъ — не европейцы, мѣшаемъ мы имъ, пахнемъ не хорошо... Нѣтъ, они идею предчувствуютъ, будущую, самостоятельную, русскую, и хоть она и у насъ еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно, и въ страшныхъ мукахъ готовится родить ее, но мы только не вѣримъ и смѣемся. Ну, а они предчувствуютъ. Они больше предчувствуютъ, чѣмъ мы сами, интеллигентъ т. е. русскій. Ну, и по боку идею, сами задумимъ ее, для Европы, дескать, существуемъ и для увеселенія ея, всѣ для Европы, всѣ и вся — и для нашей невинности.

Тогда и повѣрятъ.

Финансы. Восточный вопросъ. Какъ мы тамъ ни ввязывайся, а мы съ Австріей, **Азія.** пока она съ Германіей вкупѣ, ничего не сдѣлаемъ, не смотря на всѣ ихъ наглости. Они, можетъ быть, того только и ждутъ, чтобъ мы разсердились.

Государ- Наше различіе съ Европой.

ство есть

церковъ.

Вирховъ.

Важное.

Государство есть по преимуществу христіанское общество и стремится стать церковью (христіанинъ — крестьянинъ). *Въ Европѣ наоборотъ* (одно изъ глубокихъ нашихъ различій съ Европой). Рѣчь профессора Вирхова („Новое Время“, № 1745, 6-го января, вторникъ). Вирховъ провозглашаетъ, что государство есть по преимуществу свободное отъ религіи и христіанства общество. Такъ во Франціи и Гамбетта. Крѣпцы. Наши глупенькіе тотчасъ подхватили западную формулу и записали въ свой катехизисъ. А она — глубоко не народная и не христіанская у насъ, въ русскомъ народѣ. Вся штука въ томъ, что Вирховъ боится, будто христіане станутъ тотчасъ-же избивать не-христіанъ. Напротивъ, полная свобода вѣроисповѣданій и свобода совѣсти есть духъ настоящаго христіанства. *Утѣруй свободно* — вотъ наша формула. Не сошелъ Господь со креста, чтобъ *насилъно* увѣрить внѣшнимъ чудомъ, а хотѣлъ именно свободы совѣсти. Вотъ духъ народа и христіанства! Если же есть уклоненія, то мы ихъ оплачиваемъ.

Финансы. Земскій соборъ. И сколько перейдетъ интеллигента! А доктринеры пусть поучатся у народа смиренію и какъ такое великое дѣло надобно дѣлать. А великое это дѣло: Царю всю правду сказать.

Но съ нихъ надо начать, съ мужиковъ. (Если и есть у меня какая мысль, такъ только эта), и пока отнюдь безъ интеллигенціи. Почему же такъ? А потому, чтобъ интеллигенція, когда услышитъ отъ народа всю

правду, поучилась бы сама этой правдѣ, прежде чѣмъ свое-то слово начать говорить. И какъ плодотворно будетъ обученіе, сколько перебѣгутъ, какъ осиротѣютъ доктринеры, вся молодежь отъ нихъ отшатнется, даже взрыватели отшатнутся и примкнуть къ русской правдѣ. Останутся только старые доктринеры, отжившіе свой срокъ, колпаки и либералы сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ.

75 милліоновъ, желѣзная дорога, если-бы не столь поглощало Финансы. текущее. Текинцы, да что-жь о нихъ зналъ ктонибудь? Они-ли потре- Азія. бители? А почему же и нѣтъ? Да и не въ потребительство ихнемъ дѣло, купеческія дороги невозможны были при нихъ. Народы бы возродились съ пребываніемъ Россіи въ Азіи и началась бы торговля, спросъ и промышленность, даже Узбой (sic). Чего сидѣть и махать руками на Азію: тамъ де ничего, тамъ мертво. Мертво потому, что вы жертвы, а на васъ, на Россіи вѣдь миссія вселенская лежитъ умиротворить и цивилизовать въ Азіи. Или вотъ еще крикъ: вы насъ въ Азію посылаете! Мы азіаты! Вы ретроградъ! Иамѣна просвѣщенію! Напротивъ, напротивъ—чуть самостоятельнѣе мы станемъ, усилятся спросъ на науку, удесатерится, усторится. Европа тогда только и сочтетъ насъ за нѣчто и посмотритъ на насъ съ уваженіемъ и приметъ насъ въ общеніе свое. О, были бы на нашемъ географическомъ мѣстѣ англичане или американцы, о, что бы они теперь сдѣлали въ Азіи и т. д.

Совершенное измѣненіе доселешняго взгляда на себя какъ на евро- Азія. пейцевъ, и признаніе, что мы и азіаты на столько же, на сколько и европейцы, даже болѣе, и что миссія наша въ Азіи даже важнѣе, чѣмъ въ Европѣ — пока, пока, разумѣется.

Я удивляюсь, наши европейцы на чиновничество нападаютъ, преслѣ- Финансы. дуютъ даже сатирами: а вѣдь это ошибка: чиновничество-то и есть вѣдь Чиновникъ. европеизмъ, по крайней мѣрѣ все государственное европеизма въ немъ организовалось и преимущественно выразилось. На эту тему, впрочемъ, потомъ: она любопытна.

Вѣдь европейцы (т. е. настоящіе, тамошніе) вѣдь это—престранный и Финансы пренеразрѣшимый народъ. Мы вотъ лѣземъ къ нимъ, даже иной разъ не 3-я часть. уважая себя, увѣряемъ ихъ въ нашей дружбѣ и нашей любви, а они-то Азія. все насъ отталкиваютъ! А только что мы станемъ особенно, и заявимъ, что впредь мы уважаемъ себя и жить будемъ только для себя — и тот-

часъ-же они начнутъ уважать насъ, повѣрять, даже къ намъ полѣзутъ сами и ужь безъ нашихъ замскиваній насъ къ своимъ причтутъ.

Финляси. Либералы себѣ противорѣчатъ, издѣваясь надъ идеей чиновничества. Она — „даже формула Европы“, какая только могла у насъ проявиться. Ибо 14 классовъ за себя стоятъ и въ себѣ все вмѣщаютъ, а особенности и своеобразности русскаго народа и силъ его мало признаютъ, а потому и Россіи внѣ Европы не признаютъ. Какъ-же они не съ вами, господа Европейцы наши? Это воплощеніе вашей идеи, ибо даже и нельзя никакъ стать надъ народомъ и заставить его просвѣтиться, какъ не принявъ той-же самой власти, и того-же авторитета, какой у чиновника.

Азія. Но вѣдь самое предчувствіе Англіи, тѣмъ самымъ, и указываетъ намъ нормальное и естественное отношеніе наше къ Азіи. Не станеть-же она даромъ предчувствовать, она дальновидна, И если хотите, наше мирное культурное движеніе въ Азію послужитъ первымъ шагомъ къ миротворному разрѣшенію нашихъ недоумѣній съ Англіей. Ибо теперь, не двигаясь вовсе, или двигаясь мало отъ опасенія Англіи, мы только держимъ ее въ смущеніи и невѣденіи на счетъ будущаго, и она ждетъ отъ насъ всего худшаго. Когда-же мы усилимъ наше движеніе культурное въ Азію, то она увидитъ по крайней мѣрѣ въ первый разъ настоящій характеръ движенія нашего и, очень можетъ быть, что сбавитъ многое изъ своихъ опасеній.

Final. Что Царь русскій есть Царь и повелитель всего Мусульманскаго Востока. Пусть приучаются къ этой мысли въ Константинополѣ.

Бритикамъ. Я ничего не ищу, и ничего не приму, и не мнѣ хватать звѣзды за мое направленіе.

Я, какъ и Пушкинъ, слуга Царю, потому что дѣти его, народъ его не погнушаются слугой Царевымъ. Еще больше буду слуга ему, когда онъ дѣйствительно повѣритъ, что народъ ему дѣти. Что-то очень ужь долго не вѣрять.

Азія. 100,000 для насъ ничто, а тамъ много. Ибо одинъ Урусъ всегда занимаетъ тамъ первое мѣсто. Одинъ Урусъ первенствуетъ надъ сотнями и тысячами, и сейчасъ-же становится тамъ господиномъ.

Самостоятельности прибавило-бы намъ.

На Азію надо-бы обратить вниманіе какъ можно скорѣе. Это корень, который какъ можно скорѣе надо оздоровить.

Еслибъ по три милліона отълаживать.

II.

Два разряда народныхъ школъ, въ однихъ только читать, кое-какъ Народныя школы. писать (выучатся — будутъ писаря, очень немногіе забудутъ) и три молитвы. И потомъ, другой разрядъ школъ, для крестьянъ же, по выше. 2-го разряда пока очень мало, но былъ-бы первый разрядъ, и вотъ уже вы *породили силу*. Кто грамотенъ — тотъ уже двинулся, тотъ уже пошелъ и поѣхалъ, тотъ уже вооруженъ. И увидите, какъ черезъ нѣсколько лѣтъ у васъ *сами собой* явятся уже школы для крестьянъ *по выше*: потребность выростеть, охота родится и школы сами произойдутъ. А у насъ все вдругъ.

Произвели классическую реформу отвлеченно. Главное, забыли, что Классическая реформа. мы не Европа.

За насажденіе великой мысли спасибо Каткову и покойному Леонтьеву, ну а за примѣненіе мысли нельзя похвалить. Ввели дубиной. Чехи. Нѣмецкій мальчишъ (долгъ) и русскій (растлѣнное семейство). Число часовъ постепенно возвышая изъ года въ годъ. Исторія, Естественныя, Русскій языкъ. „Чтобъ не было идей“. Наберутся своихъ, тогда хуже.

Исторія у насъ дала-бы духовныя идеи. Духовныя идеи у нѣмецкаго мальчишка другія: его строй, его бытъ, его національность. А у насъ въ семействахъ лишь растлѣніе. Исторія-бы спасла отъ растлѣнія и направила-бы умъ юноши хотя-бы въ міръ историческій изъ *отвлеченнаго бреда и бурды*, составляющихъ духовный міръ нашего общества. Однигъ словомъ, поступили не національно; (нашъ мальчишъ развитіе нѣмецкаго). Регулировать только-бы учителей словесности, чтобъ не преподавали либеральныхъ абсурдовъ. Пришло-бы само-собою.

Два шара надъ постелькой ребенка, красный и голубой, для разви- Развитіе дѣтей.тія, для возбужденія мысли и развитія. Уничтожается природа. Уничтожается впечатлѣніе гармоніи цѣлаго въ природѣ. Во всю жизнь въ *цѣломъ* Шары. искать будетъ уголковъ, частныхъ, яркихъ точекъ.

У некультурнаго русскаго отца или чиновничества и бартежъ, *или*, Культура.

если онъ чѣмъ нибудь занимается — отвлеченность, міровые вопросы. Жалда вѣдшихъ формъ конституціи, материализмъ, вѣчное сомнѣніе, при малѣйшей практикѣ, что такое честь и совѣсть (чего не можетъ же не видѣть и не замѣтить сынъ его) и, главное, полное непониманіе всего того, что подъ носомъ, отвращеніе отъ всего того, что подъ носомъ. Ну, такъ то же самое и у его сына. Жаль, что я долженъ быть кратокъ и не могу все это развить. Но исторія, всемірная исторія, по крайней мѣрѣ всалила бы уваженіе къ историческимъ формамъ жизни человѣческой, дала-бы смыслъ... „Идей не надо“. — Да они сами изобрѣтутъ идеи.

Да вѣдь кричали о преимуществѣ естественныхъ наукъ всѣ тѣ, которые въ нихъ ничего не знали. Взгляните на нѣкихъ редакторовъ и издателей газетъ — развѣ они что знаютъ? Обратно. А во истину ученый нашъ (иной даже замѣченъ въ Европѣ въ своей спеціальности) — это болѣею частью превосходные спеціалисты, великіе, положимъ, спеціалисты, но болѣею частью люди необразованные и которые ужъ, конечно, ничего не понимаютъ въ классической системѣ образованія. Надъ этими — вершители дѣла, у нихъ-же спрашивающіе совѣтовъ, болѣею частью люди невиннѣйшіе (съ блескомъ Европейизма), въ невинности своей считающіе себя блестящими Европейцами, по невинности: именно болѣею частью по совершенной невинности своей ровно ничего не понимающіе въ Россіи, — ну, и что-же выйдетъ? Ничего не выйдетъ, какъ ничего и не вышло... Нѣтъ культуры.

III.

„Отеч. Записки“. Васъ трепещетъ вся литература, особенно Сатирическаго старца. Никто противъ него не посмѣетъ: дескать, либераль, проѣденъ либерализмомъ. — Нѣтъ, вы полиберальничайте, *когда это невмодно*, вотъ-бы я на васъ посмотрѣлъ.

Пробиваетесь прожеванными мыслями.

Пресса. Пресса, между прочимъ, обезпечиваетъ слово всякому подлецу, умѣющему на бумагѣ ругаться, такому, которому ни за что-бы не дали говорить въ порядочномъ обществѣ. А въ печати пріютъ: приходи, сколько хочешь ругайся, даже съ почтеніемъ примутъ.

Карамзинъ. Мерзавцы дразнили меня *необразованною* и ретроградною вѣрою въ Бога. Этимъ олухамъ и не снилось такой силы отрицаніе Бога, какое положено въ Инквизиторѣ и въ предшествовавшей главѣ, которому отвѣ-

томъ служить *весь романъ*. Не какъ дуракъ-же (фанатикъ) я вѣрую въ Бога. И эти хотѣли меня учить и смѣялись надъ моимъ неразвѣтѣмъ! Да ихъ глупой природѣ и не снилось такой силы отрицаніе, которое перешель я. Ижъ-ли меня учить!

Чортъ. (Психологическое и *подробное* критическое объясненіе Ив. Федоровича и явленія чорта). Ив. Фед. глубокъ, это не современные атеисты, доказывающіе въ своемъ невѣрїи лишь узость своего міровоззрѣнія и тупость тупенькихъ своихъ способностей.

Необычайная стремительность къ воспрїятію новыхъ идей съ необы- Бѣлинскій. чайнымъ желаніемъ — каждый разъ, съ воспрїятіемъ новаго, растоптать все старое, съ ненавистью, съ оплеваніемъ, съ позоромъ. Какъ-бы жажда отмщенія старому; „и я сжегъ все, чему поклонялся“.

Если запрещены физическія отправленія на улицахъ, раздѣтый до Руготня. нага человѣкъ, то какъ не запретить и этого: это то же физическое от- Аписис. Г. правленіе, вредное и гадкое. Безъ жалобы Прокуратура должна-бы воз- Градовскій и проч. буждать и посылать къ Мировому судить за нетрезвость слова.

Въ этой идеѣ есть нѣчто безразсудное и нечестивое.

Сверхъ того, чрезвычайно удобная идея для домашняго обихода: ужь (Не стоитъ добра же- коль всѣ обречены, такъ чего же стараться, чего любить добро дѣлать? лать міру Живи въ свое пузо. (Живи впредь спокойно въ одно свое пузо). но сказа- но, что онъ погубить).

Послѣ Дневника и рѣчи въ Москву:

Тутъ, кромѣ несогласія въ идеяхъ, было сверхъ того нѣчто ко мнѣ завистливое. Да едва-ли не единое это и было. Разумѣется, нельзя требовать, чтобъ г. Леонтьевъ сознался въ этомъ печатно. Но пусть этотъ публицистъ спросить самого себя наединѣ съ своею совѣстью и сознается самъ себѣ; и сего довольно. (Для порядочнаго человѣка и сего довольно).

Г-нъ Леонтьевъ продолжаетъ извергать на меня (свои зависти) свою завистливую брань. Но чтѣ-же я ему могу отвѣчать? Ничего такому не могу отвѣчать кромѣ того, чтѣ отвѣтилъ въ прошломъ № „Дневника“.

„*Не бѣситесь г-нъ Достоевскій*“. Бѣдненькій, воображалъ, что я Григорію отъ его статьи буду бѣситься и вскакивать съ мѣста. Въ этой наивной Градов- скому идеѣ есть нѣчто даже трогательное.

*) Авторъ брошюры: „Наши новые христіане—Гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевскій“.

часъ-же они начнутъ уважать насъ, повѣрьте, даже къ намъ полѣзутъ сами и ужъ безъ нашихъ заискиваній насъ къ своимъ причтутъ.

Финансы. Либералы себѣ противорѣчатъ, издѣваясь надъ идеей чиновничества. Она — „даже формула Европы“, какая только могла у насъ проявиться. Ибо 14 классовъ за себя стоятъ и въ себѣ все вмѣщаютъ, а особенности и своеобразности русскаго народа и силъ его мало признаютъ, а потому и Россіи внѣ Европы не признаютъ. Какъ-же они не съ вами, господа Европейцы наши? Это воплощеніе вашей идеи, ибо даже и нельзя никакъ стать надъ народомъ и заставить его просвѣтиться, какъ не принявъ той-же самой власти, и того-же авторитета, какой у чиновника.

Азія. Но вѣдь самое предчувствіе Англіи, тѣмъ самымъ, и указываетъ намъ нормальное и естественное отношеніе наше къ Азіи. Не станеть-же она даромъ предчувствовать, она дальновидна, И если хотите, наше мирное культурное движеніе въ Азію послужитъ первымъ шагомъ къ миротворному разрѣшенію нашихъ недоумѣній съ Англіей. Ибо теперь, не двигаясь вовсе, или двигаясь мало отъ опасенія Англіи, мы только держимъ ее въ смущеніи и невѣденіи на счетъ будущаго, и она ждетъ отъ насъ всего худшаго. Когда-же мы усилимъ наше движеніе культурное въ Азію, то она увидитъ по крайней мѣрѣ въ первый разъ настоящій характеръ движенія нашего и, очень можетъ быть, что сбавитъ многое изъ своихъ опасеній.

Final. Что Царь русскій есть Царь и повелитель всего Мусульманскаго Востока. Пусть приучаются къ этой мысли въ Константинополѣ.

Бритикамъ. Я ничего не ищу, и ничего не приму, и не мнѣ хватать звѣзды за мое направленіе.

Я, какъ и Пушкинъ, слуга Царю, потому что дѣти его, народъ его не погнушаются слугой Царевымъ. Еще больше буду слуга ему, когда онъ дѣйствительно повѣритъ, что народъ ему дѣти. Что-то очень ужъ долго не вѣритъ.

Азія. 100,000 для насъ ничто, а тамъ много. Ибо одинъ Урусъ всегда занимаетъ тамъ первое мѣсто. Одинъ Урусъ первенствуетъ надъ сотнями и тысячами, и сейчасъ-же становится тамъ господиномъ.

Да ужь одно ношеніе жажды духовнаго просвѣщенія есть уже духов-Кавелину
ное просвѣщеніе.

Вы скажете, что на западѣ померкъ образъ Спасителя? Нѣтъ, я этой
глупости не скажу.

Совѣсть безъ Бога есть ужасъ, она можетъ заблудиться до самаго
безнравственнаго.

Недостаточно опредѣлять нравственность вѣрностью своимъ убѣжде-
ніямъ. Надо еще непрерывно возбуждать въ себѣ вопросъ: вѣрны-ли мои
убѣждения? Проверка-же ихъ одна—Христось. Но тутъ ужь не филосо-
фія, а вѣра, а вѣра—это красный цвѣтъ.

Дѣльцами бывають только люди нравственности сомнительной. Да
откуда вы все это взяли?

Сожигающаго еретиковъ я не могу признать нравственнымъ человѣ-
комъ, ибо не признаю вашъ тезисъ, что нравственность есть согласіе съ
внутренними убѣждениями. Это лишь *честность* (русскій языкъ богатъ),
но не нравственность. Нравственный образецъ и идеаль есть у меня—
Христось. Спрашиваю: сжегъ-ли бы онъ еретиковъ,—нѣтъ. Ну такъ зна-
чить сжиганіе еретиковъ есть поступокъ безнравственный.

Инъвизиторъ ужь тѣмъ однимъ безнравственъ, что въ сердцѣ его, въ
совѣсти его, могла ужиться идея о необходимости сожигать людей. Оренин
тоже. Конрадъ Валленродъ тоже.

Добро—что полезно, дурно—что не полезно. Нѣтъ, то, что любимъ.
Всѣ Христовы идеи испорчены человѣческимъ умомъ и кажутся невоз-
можными къ исполненію. Подставлять ланиту, возлюбить болѣе себя.
Помилуйте, да для чего это? Я здѣсь на мигъ, безсмертія нѣтъ, буду
жить въ мою волю. Неразсчетливо (англійскій министр). Позвольте ужь
мнѣ знать, что разсчетливо, что нѣтъ.

Государство создается для середины. Когда-же это государство созда-
ваясь говорило: я создаюсь для середины? Вы скажете, что такъ дѣлала
исторія. Нѣтъ, всегда вели избранные! И тотчасъ послѣ этихъ мужей
середина, дѣйствительно, это правда, формулировала на идеяхъ вышнихъ
людей свой срединненькій кодексъ. Но приходилъ опять великій или ори-
гинальный человѣкъ и всегда потрясалъ кодексъ. Да вы, кажется, при-
нимаете государство за нѣчто абсолютное. Повѣрьте, что мы не только
абсолютнаго, но болѣе или менѣе даже законченнаго государства еще не
выдали. Все эмбрионы.

Общества слагались вслѣдствіе потребности ужиться. Это неправда, а
всегда вслѣдствіе великой идеи.

Кавелину. Церковь — весь народъ — признано восточными патриархами весьма недавно, въ 48 году, въ отвѣтъ папѣ Пію IX-му.

Подставить ланиту, любить больше себя — не потому, что полезно, а потому, что нравится, до жгучаго чувства, до страсти. Христосъ ошибался — доказано! Это жгучее чувство говорить: лучше я останусь съ ошибкой, со Христомъ, чѣмъ съ вами.

Вы говорите: да вѣдь Европа сдѣлала много христіанскаго помимо папства и протестантства. Еще бы, не сейчасъ же тамъ умерло христіанство, умирало долго, оставило слѣды. Да тамъ и теперь есть христіане, но зато страшно много извращеннаго пониманія христіанства.

Поступокъ нравственный, но не идея.

Нравственно только то, что совпадаетъ съ вашимъ чувствомъ красоты и съ идеаломъ, въ которомъ вы ее воплощаете.

Поведеніе его (да и то лишь общее) положимъ честно, но поступокъ не нравственный. Потому еще *нравственное* не исчерпывается лишь однимъ понятіемъ о послѣдовательности съ своими убѣжденіями, — что иногда нравственнѣе бываетъ не слѣдовать убѣжденіямъ, и самъ убѣжденный, вполне сохраняя свое убѣжденіе, останавливается отъ какого-то чувства и не совершаетъ поступка. Вранить себя и презираетъ умомъ, но чувствомъ, значить совѣстью, не можетъ совершить и останавливается (и знаетъ, наконецъ, что не изъ трусости остановился). Это единственно потому остановился онъ, что призналъ остановиться и не послѣдовать убѣженію, — поступкомъ болѣе нравственнымъ, чѣмъ еслибы послѣдовать. Зосуличъ — „тяжело поднять руку пролить кровь“ — это колебаніе было нравственнѣе, чѣмъ само пролитіе крови.

Живая жизнь отъ васъ улетѣла, остались одни формулы и категоріи, а вы этому какъ будто и рады. Больше дескать спокойствія (лѣнь).

„Нѣтъ славянофиловъ и западниковъ какъ партій“. Это неправда. Именно въ послѣднее время образовались въ партіи. — Славянофильство правда едва-едва, но западничество — это партія во всеоружіи, готовая къ бою противъ народа, и именно политическая. Она стала надъ народомъ какъ опекающая интеллигенція, она отрицаетъ народъ, она, какъ вы, спрашиваетъ, чѣмъ онъ замѣчательнѣе, и, какъ вы, отрицаетъ всякую характерную самостоятельную черту его, снисходительно утверждая, что эти черты у всѣхъ младенческихъ народовъ. Она стоитъ надъ вопросами народными: надъ земствомъ, такъ какъ его хочетъ и признаетъ народъ; она мѣшаетъ ему, желая управлять имъ по чиновнически, она гнушается идею органической духовной солидарности народа съ царемъ, и толкуетъ о европейской вздорной бабѣ, и конечно только для себя зоветъ эту бабу,

для увѣнчанія зданія, чтобъ быть похожими на европейцевъ. Ибо, если народъ не захочетъ промежуточной бабы между собой и царемъ, а все по прежнему будетъ вѣрить, что онъ — дѣти, буквально дѣти, а царь — отецъ, то вѣдь остается опять сковать народъ.

Бабу вздорную мы эту,
Изъ Европы.....
Подведемъ... къ отвѣту
А народъ опять скуемъ.

Вотъ вѣдь ваши идеалы! Какъ же вы не партія? Развѣ не съ вами извѣстная сила? И кому, кому въ руку вы работаете — заходило вамъ это въ умъ?

У насъ дошло до того, что Россіи надо учиться, обучаться какъ на- Россіи
учиться.
укѣ, потому что непосредственное пониманіе ея въ насъ утрачено. Не во всѣхъ, конечно, и блаженъ тотъ, который не утратилъ непосредственнаго пониманія ея. Но такихъ немного. Всякій такой уже не западникъ и уже не партія.

Партія только западничество, ибо за нею власти.

Русская же партія не собрана и не организована, но зато опирается Партія; за-
падники и
Русь.
на весь народъ, а нѣкоторые вожаки ея понимаютъ непосредственно народныя начала, въ нихъ вѣруютъ и ихъ исповѣдуютъ. Роль этой партіи еще вся впереди, но она будетъ несомнѣнно.

Да культура есть, но родилась, отрицая цѣлое и воротаясь къ народу Статья Н.
В. въ „Рус-
си“ № 5.
въ самомъ маломъ меньшинствѣ. Остальные же окультурены отрицательно. (Кстати: почему Петру необходимо было закрѣпить народъ, чтобъ получить образованное сословіе!?) Освободили крестьянъ отвлеченно, русскаго мужика не только не понимая, но и отрицая, жалѣя его и сочувствуя ему какъ рабу, но отрицая въ немъ личность, самостоятельность, весь его духъ.

При полномъ реализмѣ найти въ человѣкѣ человѣка. Это русская я. черта по преимуществу, и въ этомъ смыслѣ я конечно народень (ибо направленіе мое истекаетъ изъ глубины христіанскаго духа народнаго) — хотя и неизвѣстенъ русскому народу теперешнему, но буду извѣстенъ будущему.

Меня зовутъ психологомъ: неправда, я лишь реалистъ въ высшемъ смыслѣ, т. е. изображаю всѣ глубины души человѣческой.

Ругатели-
омаиисты.

И только и дѣлають, что ругаются, и хоть дѣйствительно иногда дурное ругають, такое, что ужь нивакъ нельзя похвалить, но когда прочтешь, какъ они ругаются, то всегда, прочтя, невольно спросишь себя: что же гаже? То-ли, что они такъ обругали (что ими обругано), или они сами?

Какъ все книжно, свысока. Простодушно писать не умѣють. Гордятся очень, тонъ берутъ не тотъ, покровительствуютъ, учать, опекунами смотреть, въ облако славы своей замыкаются.

Кавелину.

Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убѣжденію. Но откуда же вы это вывели? Я вамъ прямо не повѣрю и скажу напротивъ, что безнравственно поступать по своимъ убѣжденіямъ. И вы, конечно, ужь ничѣмъ меня не опровергнете.

Проливать кровь вы не считаете нравственнымъ, но проливать кровь по убѣжденію вы считаете нравственнымъ. Но, позвольте, почему безнравственно кровь проливать?

Если мы не имѣемъ авторитета въ вѣрѣ и во Христѣ, то во всемъ заблудимся.

Нравственныя идеи есть. Они вырастають изъ религіознаго чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могутъ.

Жить стало-бы невозможно.

Каламбуръ: Іезуитъ лжетъ, убѣжденный что лгать полезно для хорошей цѣли. Вы хвалите, что онъ вѣренъ своему убѣжденію, т. е.: онъ лжетъ, и это дурно; но такъ какъ онъ по убѣжденію лжетъ, то это хорошо. Въ одномъ случаѣ, что онъ лжетъ—хорошо, а въ другомъ случаѣ, что онъ лжетъ—дурно. Чудо что такое!

На той почвѣ, на которой вы стоите, вы всегда будете разбиты. Вы тогда не будете разбиты, когда примете, что нравственныя идеи *есть* (отъ чувства, отъ Христа), доказать-же, что они нравственны, нельзя (соприкасаніе мірамъ инымъ).

...Конечно это не научно, хотя почему-бы и нѣтъ: огромный фактъ появленія на землѣ Іисуса и всего, что за сямъ прошло, требуетъ, по моему, и научной разработки. А между тѣмъ, не можетъ-же погнушаться наука и значеніемъ религіи въ человѣчествѣ, хотя-бы и въ виду историческаго только факта, поразительнаго своею непрерывностью и стойкостью. Убѣжденіе-же человѣчества въ *соприкосновеніи мірамъ инымъ*, упорное и постоянное, тоже вѣдь весьма значительно. Нельзя-же вѣдь рѣшить его

однимъ почеркомъ пера, тѣмъ способомъ, какъ вы рѣшили про Россію, т. е. у всѣхъ младенческихъ народовъ и т. далѣе.

Т. е. у всѣхъ дескать народовъ въ младенческомъ состояніи и проч. и проч. Это уже слишкомъ была-бы легка наука. Это уже петербургская наука, русско-европейская...

Инквизиторъ и глава о дѣтяхъ. Въ виду этихъ главъ вы-бы могли отнестись ко мнѣ хотя и научно, но не столь высокоумѣрно по части философіи, хотя философія и не моя специальность. И въ Европѣ такой силы атеистическихъ *выраженій* нѣтъ и *не было*. Стало быть не какъ мальчикъ-же я вѣрую во Христа и его исповѣдую, а черезъ большое *горнило сомнѣній* моя *осанна* прошла, какъ говорить у меня-же, въ томъ-же романѣ, чортъ. Вотъ, можетъ быть, вы не читали Карамазовныхъ—это дѣло другое, и тогда прошу извиненія *).

Комедія Грибоѣдова гениальна, но сбивчива:

„Пойду исвать по свѣту...“

Горе отъ ума. (Гончаровъ).

Т. е. гдѣ? Вѣдь у него только и свѣту, что въ его окошкѣ, у Московскихъ хорошаго круга, не къ народу-же онъ пойдетъ. А такъ какъ Московскіе его отвергли, то значить „свѣтъ“ означаетъ здѣсь Европу. За границу хочеть бѣжать.

Если-бы у него былъ *свѣтъ* не въ московскомъ только окошкѣ, не вопилъ-бы онъ, не кричалъ-бы онъ такъ на балѣ, какъ будто лишился всего, что имѣлъ, послѣдняго достоянія. Онъ имѣлъ-бы надежду и былъ-бы воздержнѣе и разсудительнѣе.

Чацкій—декабристъ. Вся идея его—въ отрицаніи прежняго, недавняго, наивнаго поклонничества. Европы всѣ похнуди и новыя манеры поправились. Именно *только* манеры, потому что сущность поклонничества и раболѣпія и въ Европѣ та-же.

*) Все, относящееся къ К. Д. Гавелину, написано, надо думать, подъ первымъ впечатлѣніемъ его открытаго письма къ О. М. Достоевскому въ „Вѣстникѣ Европы“.

Ругатели-
романисты.

И только и дѣлають, что ругаются, и хоть дѣйствительно иногда дурное ругають, такое, что ужь никакъ нельзя похвалить, но когда прочтешь, какъ они ругаются, то всегда, прочтя, невольно спросишь себя: что же гаже? То-ли, что они такъ обругали (что ими обругано), или они сами?

Какъ все книжно, свысока. Простодушно писать не умѣють. Гордятся очень, тонъ берутъ не тотъ, покровительствуютъ, учать, опекунами смотрять, въ облако славы своей замыкаются.

Кавелину.

Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убѣжденію. Но откуда же вы это вывели? Я вамъ прямо не повѣрю и скажу напротивъ, что безнравственно поступать по своимъ убѣжденіямъ. И вы, конечно, ужь ничѣмъ меня не опровергнете.

Проливать кровь вы не считаете нравственнымъ, но проливать кровь по убѣжденію вы считаете нравственнымъ. Но, позвольте, почему безнравственно кровь проливать?

Если мы не имѣемъ авторитета въ вѣрѣ и во Христѣ, то во всемъ заблудимся.

Нравственныя идеи есть. Они вырастають изъ религіознаго чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могутъ.

Жить стало-бы невозможно.

Каламбурь: Іезуитъ лжетъ, убѣжденный что лгать полезно для хорошей цѣли. Вы хвалите, что онъ вѣренъ своему убѣжденію, т. е.: онъ лжетъ, и это дурно; но такъ какъ онъ по убѣжденію лжетъ, то это хорошо. Въ одномъ случаѣ, что онъ лжетъ—хорошо, а въ другомъ случаѣ, что онъ лжетъ—дурно. Чудо что такое!

На той почвѣ, на которой вы стоите, вы всегда будете разбиты. Вы тогда не будете разбиты, когда примете, что нравственныя идеи *есть* (отъ чувства, отъ Христа), доказать-же, что они нравственны, нельзя (соприкасаніе мірамъ инымъ).

...Конечно это не научно, хотя почему-бы и нѣтъ: огромный фактъ появленія на землѣ Іисуса и всего, что за симъ прошло, требуетъ, по моему, и научной разработки. А между тѣмъ, не можетъ-же погнушаться наука и значеніемъ религіи въ человѣчествѣ, хотя-бы и въ виду историческаго только факта, поразительнаго своею непрерывностью и стойкостью. Убѣжденіе-же человѣчества въ *соприкосновеніи мірамъ инымъ*, упорное и постоянное, тоже вѣдь весьма значительно. Нельзя-же вѣдь рѣшить его

однимъ почеркомъ пера, тѣмъ способомъ, какъ вы рѣшили про Россію, т. е. у всѣхъ младенческихъ народовъ и т. далѣе.

Т. е. у всѣхъ дескать народовъ въ младенческомъ состояніи и проч. и проч. Это уже слишкомъ была-бы легка наука. Это уже петербургская наука, русско-европейская...

Инквизиторъ и глава о дѣтяхъ. Въ виду этихъ главъ вы-бы могли отнестись ко мнѣ хотя и научно, но не столь высокоумѣрно по части философіи, хотя философія и не моя специальность. И въ Европѣ такой силы атеистическихъ *выраженій* нѣтъ и *не было*. Стало быть не какъ мальчишья-же я вѣрую во Христа и его исповѣдую, а черезъ большое *горнило сомнѣній* моя *осанна* прошла, какъ говорить у меня-же, въ томъ-же романѣ, чортъ. Вотъ, можетъ быть, вы не читали Карамазовныхъ—это дѣло другое, и тогда прошу извиненія *).

Комедія Грибоѣдова гениальна, но сбивчива:

„Пойду искать по свѣту...“

Горе отъ ума. (Гончаровъ).

Т. е. гдѣ? Вѣдь у него только и свѣту, что въ его окошкѣ, у Московскихъ хорошаго круга, не къ народу-же онъ пойдетъ. А такъ какъ Московскіе его отвергли, то значить „свѣтъ“ означаетъ здѣсь Европу. За границу хочетъ бѣжать.

Еслибъ у него былъ *сэтъ* не въ московскомъ только окошкѣ, не вопилъ-бы онъ, не кричалъ-бы онъ такъ на балѣ, какъ будто лишился всего, чтѣ имѣлъ, послѣдняго достоянія. Онъ имѣлъ-бы надежду и былъ-бы воздержнѣе и разсудительнѣе.

Чацкій—декабристъ. Вся идея его—въ отрицаніи прежняго, недавняго, наивнаго поклонничества. Европы всѣ нюхнули и новыя манеры поправились. Именно *только* манеры, потому что сущность поклонничества и раболѣпія и въ Европѣ та-же.

*) Все, относящееся къ К. Д. Гавелину, написано, надо думать, похъ первымъ впечатлѣніемъ его открытаго письма къ О. М. Достоевскому въ „Вѣстникѣ Европы“.

ПОЛЗУНКОВЪ.



Я начал всматриваться въ этого человѣка. Даже въ наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдругъ, какъ бы вы разсѣяны ни были, пристально приковаться къ нему взглядомъ и тотчасъ же разразиться самымъ неумолимымъ смѣхомъ. Такъ и случилось со мною. Нужно замѣтить, что глазки этого маленькаго господина были такъ подвижны, или, наконецъ, что онъ самъ, весь, до того поддавался магнетизму всякаго взгляда, на него устремленнаго, что почти инстинктомъ угадывалъ, что его наблюдаютъ, тотчасъ же оборачивался къ своему наблюдателю и съ беспокойствомъ анализировалъ взглядъ его. Отъ вѣчной подвижности, поворотливости онъ рѣшительно походилъ на жирутку. Странное дѣло! Онъ какъ будто боялся насмѣшки, тогда какъ почти добывалъ тѣмъ хлѣбъ, что былъ всесвѣтнымъ шутомъ и съ покорностію подставлялъ свою голову подъ всѣ щелчки, въ нравственномъ смыслѣ и даже въ физическомъ, смотря по тому, въ какой находился компаніи. Добровольные шуты даже не жалки. Но я тотчасъ замѣтилъ, что это странное созданіе, этотъ смѣшной человѣчекъ вовсе не былъ шутомъ изъ профессіи. Въ немъ оставалось еще кое что благороднаго. Его беспокойство, его вѣчная болѣзненная боязнь за себя уже свидѣтельствовали въ пользу его. Мнѣ казалось, что все его желаніе услужить происходило скорѣе отъ добраго сердца, чѣмъ отъ матеріальныхъ выгодъ. Онъ съ удовольствіемъ позволялъ засмѣяться надъ собой во все горло и неприличнѣйшимъ образомъ, въ глаза, но въ то же время — и я даю клятву въ томъ — его сердце ныло и обливалось кровью отъ мысли, что его слушатели такъ неблагородно-жестокосерды, что способны смѣяться не факту, а надъ нимъ, надъ всѣмъ существомъ его, надъ сердцемъ, головой, надъ наружностью, надъ всею его плотью и кровью. Я увѣренъ, что онъ чувствовалъ въ эту минуту всю глупость своего положенія; но протестъ тотчасъ же умиралъ въ груди его, хотя непремѣнно каждый разъ зарож-

дался великодушнѣйшимъ образомъ. Я увѣренъ, что все это происходило не иначе, какъ отъ добраго сердца, а вовсе не отъ матеріальной невыгоды быть прогнаннымъ въ толчки и не занять у кого нибудь денегъ: тотъ господинъ вѣчно занималъ деньги, т. е. просилъ въ этой формѣ милостыню, когда, погримасничавъ и достаточно насмѣшивъ на свой счетъ, чувствовалъ, что имѣеть нѣкоторымъ образомъ право занять. Но, Боже мой! Какой это былъ заемъ! И съ какимъ видомъ онъ дѣлалъ этотъ заемъ! Я предположить не могъ, чтобы на такомъ маленькомъ пространствѣ, какъ сморщенное, угловатое лицо этого человѣчка, могло умѣститься въ одно и тоже время столько разнородныхъ гримасъ, столько странныхъ, разнохарактерныхъ ощущеній, столько самыхъ убійственныхъ впечатлѣній. Чего, чего тутъ не было!—и стыдъ-то и ложная наглость, и досада съ внезапной краской въ лицѣ, и гнѣвъ, и робость за неудачу, и просьба о прощеніи, что смѣлъ утруждать, и сознание собственнаго достоинства, и полнѣйшее сознание собственнаго ничтожества, — все это какъ молніи проходили по лицу его. Цѣлыхъ шесть лѣтъ пробивался онъ такимъ образомъ на Божию свѣтъ и до сихъ поръ не составилъ себѣ фигуры въ интересную минуту займа! Само собою разумѣется, что очерствѣть и заподличаться въ конецъ онъ не могъ никогда. Сердце его было слишкомъ подвижно, горячо! Я даже скажу болѣе: по моему мнѣнію, это былъ честнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ въ свѣтѣ, но съ маленькою слабостью: сдѣлать подлость по первому приказанію, добродушно и безкорыстно, лишь бы угодить ближнему. Однимъ словомъ, это былъ, что называется, человѣкъ-тряпка вполне. Всего смѣшнѣе было то, что онъ былъ одѣтъ почти такъ же какъ всѣ, не хуже, не лучше, чисто, даже съ нѣкоторою изысканностію и съ поползновеніемъ на солидность и собственное достоинство. Это равенство наружное и неравенство внутреннее, его безпокойство за себя и въ то же время непрерывное самоуменьшеніе, — все это составляло разительнѣйшій контрастъ и достойно было смѣху и жалости. Еслибъ онъ былъ увѣренъ сердцемъ своимъ (что, не смотря на опытъ, поминутно случалось съ нимъ), что всѣ его слушатели были добрѣйшіе въ мірѣ люди, которые смѣются только факту смѣшному, а не надъ его обреченною личностію, то онъ съ удовольствіемъ снялъ бы фракъ свой, надѣлъ его какъ нибудь на изнаю и пошелъ бы въ этотъ нарядъ, другимъ въ угоду, а себѣ въ наслажденіе, по улицамъ, лишь бы разсмѣшить своихъ покровителей и доставить имъ всѣмъ удовольствіе. Но до равенства онъ не могъ достигнуть никогда и ничѣмъ. Еще черта: чудакомъ былъ самолюбивъ и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушенъ. Нужно было видѣть и слышать, какъ онъ умѣлъ отдѣлать, иногда не

щады себя, слѣдовательно съ рискомъ, почти съ геройствомъ, когонибудь изъ своихъ *покровителей*, уже до-пельзя его разбѣсившаго. Но это было минутами... Однимъ словомъ, онъ былъ мученикъ въ полномъ смыслѣ слова, но самый бесполезнѣйшій, слѣдовательно самый комическій мученикъ.

Между гостями поднялся общій споръ. Вдругъ я увидѣлъ, что чудакъ мой вскакиваетъ на стулъ и кричитъ, что есть мочи, желая, чтобъ ему одному дали исключительно слово.

— Слушайте, шепнулъ мнѣ хозяинъ. — Онъ рассказываетъ иногда прелюбопытныя вещи... Интересуетъ онъ васъ?

Я кивнулъ головою и втѣснился въ толпу.

Дѣйствительно, видъ порядочно одѣятаго господина, вскочившаго на стулъ и кричавшаго всѣмъ голосомъ, возбудилъ общее вниманіе. Многіе, кто не знали чудака, переглядывались съ недоумѣніемъ, другіе хохотали во все горло.

— Я знаю Федосѣя Николаича! Я лучше всѣхъ долженъ знать Федосѣя Николаича! кричалъ чудакъ съ своего возвышенія. — Господа, позвольте рассказать. Я хорошо расскажу про Федосѣя Николаича! Я знаю одну исторію—чудо!..

— Расскажите, Осипъ Михайлычъ, расскажите.

— Рассказывай!!

— Слушайте же...

— Слушайте, слушайте!!!

— Начинаю; но, господа, это исторія особенная...

— Хорошо, хорошо!

— Это исторія комическая.

— Очень хорошо, превосходно, прекрасно, — къ дѣлу!

— Это эпизодъ изъ собственной жизни вашего низжайшаго...

— Ну зачѣмъ же вы трудились объявлять, что она комическая!

— И даже немножко трагическая!

— А???

— Словомъ, та исторія, которая вамъ всѣмъ доставляетъ счастье слушать меня теперь, господа, — та исторія, вслѣдствіе которой я попалъ въ такую *интересную* для меня компанію.

— Безъ каламбуровъ!

— Та исторія...

— Словомъ, та исторія, — ужъ доканчивайте поскорѣе апологъ, — та исторія, которая чегонибудь стоитъ, примолвилъ сильнымъ голосомъ одинъ бѣлокурый молодой господинъ съ усами, запустивъ руку въ кар-

манъ своего сюртука и какъ будто нечаянно вытащивъ оттуда кошелекъ вмѣсто платка.

— Та исторія, мои сударики, послѣ которой я бы желалъ видѣть многихъ изъ васъ на моемъ мѣстѣ. И, наконецъ, та исторія, вслѣдствіе которой я не женился!

— Женился!.. Жена!.. Ползунковъ хотѣлъ жениться!!

— Признаюсь, я бы желалъ теперь видѣть м-ше Ползункову!

— Позвольте поинтересоваться, какъ звали прошедшую м-ше Ползункову, пицалъ одинъ юноша, пробираясь къ рассказчику.

— И такъ, первая глава, господа:

— То было ровно шесть лѣтъ тому, весной, 31-го марта, — замѣтьте число, господа, — наканунѣ...

— Перваго апрѣля! закричалъ юноша въ завиткахъ.

— Вы необыкновенно угадливы-сь. Былъ вечеръ. Надъ уѣзднымъ городомъ N сгущались сумерки, хотѣла выплыть луна... ну и все тамъ, какъ слѣдуетъ. Вотъ-сь, въ самыя позднія сумерки, втихомолочку, и я выплылъ изъ своей квартиренки, — простившись съ моей замкнутой покойницей бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выраженіе, слышанное мной въ послѣдній разъ у Николая Николаича. Но бабушка моя была вполне *замкнутая*: она была слѣпа, вѣма, глуха, глупа, — все что угодно!.. Признаюсь, я былъ въ трепетѣ, я собирался на великое дѣло; сердчишко во мнѣ билось какъ у котенка, когда его хватаетъ чья нибудь костлявая лапа за швороть.

— Позвольте, м-г Ползунковъ!

— Чего требуете?

— Рассказывайте проще; пожалуйста, не слишкомъ старайтесь!

— Слушаюсь, проговорилъ немного смутившійся Осинъ Михайлычъ. — Я вошелъ въ домикъ Ѳедосѣя Николаича (благопріобрѣтенный-сь). Ѳедосѣй Николаичъ, какъ извѣстно, не то, чтобы сослуживецъ, но цѣлый начальникъ. Обо мнѣ доложили и тотчасъ же ввели въ кабинетъ. Какъ теперь вижу: совсѣмъ, совсѣмъ почти темная комната; а свѣчей не подаютъ. Смотрю входитъ Ѳедосѣй Николаичъ. Такъ мы и остаемся съ нимъ въ темнотѣ...

— Чтожь бы такое произошло между вами? спросилъ одинъ офицеръ.

— А какъ вы полагаете-сь? спросилъ Ползунковъ, немедленно обращаясь съ судорожно шевельнувшимся лицомъ, къ юношѣ въ завиткахъ.

— И такъ, господа, тутъ произошло одно странное обстоятельство. То есть страннаго тутъ не было ничего, а было что называется дѣло жи-

тейское, — я просто за просто вынулъ изъ кармана свертокъ бумагъ, а онъ изъ своего свертокъ бумажекъ, только государственными...

— Ассигнаціями?

— Ассигнаціями-съ, и мы пожвнялись.

— Бьюсь объ закладъ, что тутъ пахло взятками, проговорилъ одинъ солидно одѣтый и выстриженный молодой господинъ.

— Взятками-съ! подхватилъ Ползунковъ. — Эхъ!

Пусть я буду либераломъ,
Какихъ много видѣлъ я!

Если вы тоже, какъ вамъ попадется служить въ губерніи, не погрѣте рукъ... на родномъ очагѣ... Зане, сказалъ одинъ литераторъ:

И дымъ отечества и сладокъ и приятенъ!

Мать, мать, господа, родная, родина-то наша, мы птенцы, такъ мы ее и сосѣмъ!..

Поднялся общій смѣхъ.

— А только, повѣрите-ли, господа, я никогда не бралъ взятокъ, сказалъ Ползунковъ, недověрчиво оглядывая все собраніе.

Гомерическій, неумолимый смѣхъ всѣхъ залпомъ своимъ покрылъ слова Ползунова.

— Право такъ, господа...

Но тутъ онъ остановился, продолжая оглядывать всѣхъ съ какимъ-то страннымъ выраженіемъ лица. Можетъ быть, — кто знаетъ, — можетъ быть, въ эту минуту ему вспало на умъ, что онъ почестивѣ многихъ изъ всей этой честной компаніи... Только серьезное выраженіе лица его не исчезало до самаго окончанія всеобщей веселости.

— Итакъ, началъ Ползунковъ, — когда всѣ поутолки: — хотя я никогда не бралъ взятокъ, но въ этотъ разъ грѣшенъ: положилъ въ карманъ взятку... съ взятчица... То есть были кое-какія бумажки въ рукахъ моихъ, которыя, еслибъ я захотѣлъ послать кой-кому, такъ худо бы пришлося Федосью Николаичу.

— Такъ стало быть онъ ихъ выкупилъ?

— Выкупилъ-съ.

— Много далъ?

— Далъ столько, за сколько иной въ наше время продалъ бы совѣсть свою, всю, со всѣми варьяціями-съ... если бы только что нибудь дали-съ. Только меня варомъ обдало, когда я положилъ въ карманъ денежки. Право, я не знаю, какъ это со мной всегда дѣлается, господа, — но вотъ, ни живъ ни мертвъ, губами шевелю, ноги трясутся; ну, виновать, вино-

вать, совсѣмъ виновать, въ-пухъ засовѣтился, готовъ прощенья просить у Ѳедосѣя Николаича...

— Ну, чтѣ-жь онъ простилъ?

— Да я не просилъ-съ... я только такъ говорю, что такъ оно было тогда; у меня, то есть, сердце горячее. Вижу, смотритъ мнѣ прямо въ глаза:

— Бога, говоритъ, вы не боитесь, Осипъ Михайлычъ.

Ну, чтѣ дѣлать! Я этакъ развелъ изъ приличія руки, голову на сторону. — Чѣмъ-же, я говорю, Бога не боюсь, Ѳедосѣй Николаичъ?.. Только ужь такъ говорю, изъ приличія... самъ сквозь землю провалиться готовъ.

— Бывъ такъ долго другомъ семейства нашего, бывъ, могу сказать, сыномъ, — и кто знаетъ, чтѣ небо предполагало, Осипъ Михайлычъ! И вдругъ чтѣ-же, доносъ, готовить доносъ, и вотъ теперь!.. Чтѣ послѣ этого думать о людяхъ, Осипъ Михайлычъ?

Да вѣдь какъ, господа, какъ рацею читалъ! Нѣтъ, говоритъ, вы мнѣ скажите, чтѣ послѣ этого думать о людяхъ, Осипъ Михайлычъ? — Чтѣ, думаю, думать! Знаете, и въ горлѣ заскребло, и голосенко дрожить, ну, ужь предчувствую свой скверный норовъ и схватился за шляпу...

— Куда-жь вы, Осипъ Михайлычъ? неужели наканунѣ такого дня... Неужели вы и теперь злопамятствуете; чѣмъ я противъ васъ согрѣшилъ?..

— Ѳедосѣй Николаичъ, говорю, Ѳедосѣй Николаичъ!

Ну, то есть растаялъ, господа, какъ мокрый сахаръ-медовичъ растаялъ. Куда! И пакетъ, чтѣ въ карманѣ лежитъ съ государственными, и тотъ словно тоже кричитъ: „благодарный ты, разбойникъ, тать окаянный, — словно пять пудовъ въ немъ, такъ тянетъ... (А еслибъ и въ правду въ немъ пять пудовъ было!..)

— Вижу, говоритъ Ѳедосѣй Николаичъ: — вижу ваше раскаяніе... вы знаете, завтра...

— Маріи Египетскія-съ...

— Ну, не плачь, говоритъ Ѳедосѣй Николаичъ: — полно: согрѣшилъ и покался! Пойдемъ! Можетъ быть, удастся мнѣ возвратить, говоритъ, васъ опять на путь истинный... Можетъ быть, скромные пенаты мои (именно, помню, пенаты, такъ и выразился, разбойникъ) согрѣютъ, говоритъ, опять ваше очерствѣло... не скажу очерствѣлое, — заблудшее сердце...

— Взялъ онъ меня, господа, за руку и повелъ къ домочадцамъ. Мнѣ спину морозомъ прохватываетъ; дрожу! Думаю, съ какими глазами предстану я... — А нужно вамъ знать, господа... какъ бы сказать, здѣсь выходило одно щекотливое дѣльцо!

— Ужь не госпожа-ли Ползункова?

— Марья Федосѣевна-съ,—только не суждено, знать, ей было быть такой госпожей, какой вы ее называете, не дождалась такой чести. Оно, видите, Федосѣй-то Николаичъ былъ и правъ, говоря, что въ домъ-то я почти сыномъ считался. Оно и было такъ назадъ тому полгода, когда еще былъ живъ одинъ юнкеръ въ отставкѣ, Михайло Максимычъ Двигаиловъ по прозвищу. Только онъ волею Божію помре, а завѣщаніе-то совершить все въ долгій ящикъ откладывалъ; оно и вышло такъ, что ни въ какомъ ящикѣ его не отыскали потомъ...

— Ухъ!!!

— Ну, ничего, нечего дѣлать, господа, простите, обмолвился,—каламбурчикъ-то плохъ, да это бы еще ничего, что онъ плохъ,—штука-то была еще плоше, когда я остался, такъ сказать, съ нулемъ въ перспективѣ, потому что юнкеръ-то въ отставкѣ, хоть меня въ домъ къ нему и не пускали (на большую ногу жилъ, затѣмъ, что были руки длинны!) — а тоже, можетъ быть, не ошибкой, роднымъ сыномъ считалъ.

— Ага!!!

— Да-съ, оно вотъ какъ-съ! Ну, и стали мнѣ носы показывать у Федосѣя Николаича. Я замѣчалъ, замѣчалъ, крѣпился, крѣпился, а тутъ, вдругъ, на бѣду мою (а можетъ и къ счастью!), какъ снѣгъ на голову ремонтеръ наскочилъ на нашъ городишко. Дѣло-то оно его, правда, подвижное, легкое, кавалерійское,—только такъ плотно утвердился у Федосѣя Николаича,—ну, словно мортира засѣлъ! Я обиходцемъ да стороночкой, по подлему норову, такъ и такъ, говорю, Федосѣй Николаичъ, за чтѣмъ обижать! Я въ нѣкоторомъ родѣ ужъ сынъ... Отеческаго-то, отческаго когда я дождусь... Началъ онъ мнѣ, сударикъ ты мой, отвѣчать! Ну, то есть, начнеть говорить, поэмю наговорить цѣлую, въ двѣнадцати пѣсняхъ въ стихахъ, только слушаешь, облизываешься да руки разводишь отъ сладости, а толку нѣтъ ни на грошъ, т. е. какого толку, не разберешь; не поймешь, стоишь дуракъ дуракомъ, затуманить, словно въонъ вьется, вывертывается; ну, талантъ, просто талантъ, даръ такой, что вчужѣ страхъ пробираетъ! Я видаться пошелъ во все стороны: туды да сюды! Ужь и романы таскаю, и конфетъ привожу, и каламбуры высиживаю, охи да вздохи, болить, говорю, мое сердце, отъ амура болить, да въ слезы да тайное объясненіе! Вѣдь глупъ человекъ! Вѣдь не провѣрилъ у дьячка, что мнѣ тридцать лѣтъ... вуды! Хитрить выдумалъ! Нѣтъ же! Не пошло мое дѣло, смѣшки да насмѣшки кругомъ,—ну, и зло меня взяло, да горло совсѣмъ захватило,—я улинулъ, да въ домъ ни ногой, думалъ, думалъ— да хватъ доносъ! Ну, поподличалъ, друга выдать хотѣлъ, сознаюсь, ма-

теріальну-то было много, и славный такой матеріалъ, капитальное дѣло! Тысячу пятьсотъ серебромъ принесло, когда я его виѣтъ съ допосомъ на государственныя вымѣнялъ!

— А! Такъ вотъ она взятка-то!

— Да, сударь, вотъ была взяточка-то-съ, заплатился мнѣ взяточникъ! (И вѣдь не грѣшно, ну, право же нѣтъ!) Ну, вотъ-съ теперь продолжать начну: притащилъ онъ меня, если запомнить изволите, въ чайную ни жива, ни мертва; встрѣчаютъ меня: всѣ какъ будто обиженные, т. е. не то, что обиженные, — разогорченные такъ, что ужъ просто... Ну, убиты, убиты совсѣмъ, а между тѣмъ и важность такая приличная на лицахъ сіяетъ, солидность во взорахъ, этакъ что-то отеческое, родственное такое... блудный сынъ воротился къ намъ, — вотъ куда пошло! За чай усадили, а чего у меня у самого словно самоваръ въ грудь засѣлъ, кипитъ во мнѣ, а ноги леденеютъ: умалился, струсиль! Марья Оминишна, супруга его, совѣтница надворная (а теперь коллежская), мнѣ *ты* съ перваго слова начала говорить: что ты, батенька, такъ похудѣлъ, говорить. — Да такъ, прихварываю, говорю, Марья Оминишна... голосенко-то дрожить у меня! А она мнѣ ни съ того, ни съ сего, знать выжидала свое ввернуть, ехидна такая: — что видно совѣтъ, говорить, твоей душѣ не по мѣрѣ пришлось, Осипъ Михайлычъ, отецъ родной! Хлѣбъ-соль-то наша, говорить, родственная возопіяла къ тебѣ! Отлились знать тебѣ мои слезки кровавыя! Ей Богу, такъ и сказала, пошла противъ совѣти! Чего! То-ли за ней, бой-баба! Только такъ сидѣла да чай разливала. А поди-ка, я думаю, на рынкѣ, моя голубушка, всѣхъ бабъ перекричала бы. Вотъ какая была она, наша совѣтница! А тутъ, на бѣду мою, Марья Федосѣевна, дочка, выходитъ, со всѣми своими невинностями, да блѣденька немножко, глазки покраснѣлись, будто отъ слезъ, — я какъ дуракъ и погибъ тутъ на мѣстѣ. А вышло потомъ, что по ремонтерѣ она слезки роняла: тотъ утекъ во свояси, улечетнулъ по добру, по здорову, потому что, знаете, знать (оно пришлось теперь къ слову сказать), пришло ему время уѣхать, срокъ вышелъ, оно не то, чтобы и казенный былъ срокъ-то! а такъ... ужъ послѣ родители дрожайшіе спохватились, узнали всю подноготную, да что дѣлать, втихомолку зашили бѣду, — своего дому прибыло!.. Ну, нечего дѣлать, какъ взглянулъ я на нее, пропаль, просто пропаль, накосился на шляпу, хотѣлъ схватить да улечетнуть поскорѣе; не тутъ-то было: утащили шляпу мою... Я ужъ, признаться, и безъ шляпы хотѣлъ — ну, думаю, — нѣтъ же, дверь на крючекъ насадили, смѣшки дружескіе начались, подмигиванья да заигрыванья, сконфузился я, что-то совралъ, объ амурѣ понесъ; она, моя голубушка, за клавикорды сѣла, да гусара,

который на саблю опирался, прогѣла на обиженный тонъ, — смерть моя! — Ну, говорить Ѳедосѣй Николаичъ: — все забыто, приди, приди... въ объятія! — Я какъ былъ, такъ тутъ же и припалъ къ нему лицомъ на жилетку. Благодѣтель мой, отецъ ты мой родной, говорю! Да какъ залюсь своими горючими! Господи Богъ мой, какое тутъ поднялось! Онъ плачетъ, баба его плачетъ, Машенька плачетъ... тутъ еще бѣлобрысенъкая одна была: и та плачетъ... куда—со всѣхъ угловъ ребятишки повыползли (благословили его домкомъ Господь!) и тѣ ревуть..., сколько слезъ, то есть умиленіе, радость такаа, блуднаго обрѣли, словно на родину солдатъ воротился! — Тутъ угощеніе подали, фанты пошли: охъ болить! Чтѣ болить? Сердце; по комъ? Она краснѣетъ, голубушка! Мы со старикомъ пуншику выпили, — ну уходили, уластили меня совершенно...

Воротился я къ бабушкѣ. У самого голова кругомъ ходить; всю дорогу шелъ да подемяивался, дома два часа битыхъ по каморкѣ ходилъ, старуху разбудилъ, ей все счастье повѣдалъ. — Да денегъ-то далъ-ли, разбойникъ? — Далъ, бабушка, далъ, далъ, родная моя, далъ, привалило къ намъ, отворяй ворота! — Ну, теперь хоть женись, такъ въ тужь пору, женись, говорить мнѣ старуха: — знать молитвы мои услышаны! Софрона разбудилъ. Софронъ, говорю, снимай сапоги. Софронъ потащилъ съ меня сапоги. — Ну, Софроша! Поздравь ты теперь меня, поцалуй! Женюсь, просто, братецъ, женюсь, напейся пьянъ завтра, гуляй душа, говорю: баринъ твой женится! — Смѣшки да игрушки на сердцѣ!.. Ужъ засыпать было началъ; нѣтъ, подняло меня опять на ноги, сижу да и думаю; вдругъ и мелькни у меня въ головѣ: завтра-де 1-е апрѣля, день-то такой свѣтлый, игривый, какъ бы такъ? — да и выдумалъ! Чтѣжь, сударики, съ постели всталъ, свѣчу зажегъ, въ чемъ былъ за столъ письменный сѣлъ, т. е. ужъ расходился совсѣмъ, заигрался, знаете, господа, когда человекъ разыграется! Всей головой, отцы мои, въ грязь полѣзъ! То есть вотъ какой норовъ: они у тебя вотъ чтѣ возьмутъ, а ты имъ вотъ и это отдашь: дескать, на-те и это возьмите! Они тебя по ланитѣ, а ты имъ на радостяхъ всю спину подставишь. Они тебя потомъ калачемъ какъ собаку манить станутъ, а ты тутъ всѣмъ сердцемъ и всей душой облапишь ихъ глухими лапами — и ну лобызаться! Вѣдь вотъ хоть бы теперь, господа! Вы смѣтаетесь да шепчетесь, я вѣдь вижу! Послѣ, какъ расскажу вамъ всю мою подноготную, меня же начнете на смѣхъ поднимать, меня же начнете гонять, а я то вамъ говорю, говорю, говорю! Ну, кто мнѣ велѣлъ! Ну, кто меня гонитъ! Кто у меня за плечами стоитъ да шепчетъ: говори, говори да рассказывай! А вѣдь говорю же, рассказываю, вамъ въ душу

лѣзу, словно вы мнѣ, примѣромъ, всѣ братья родные, друзья закадыжные... э-эхъ!..

Хохотъ, начинавшій мало по малу подыматься со всѣхъ сторонъ, покрылъ, наконецъ, совершенно голосъ рассказчика, дѣйствительно пришедшаго въ какой-то восторгъ; онъ остановился, нѣсколько минутъ перелѣвая глазами по собранію, и потомъ вдругъ, словно увлеченный какимъ-то вихремъ, махнулъ рукой, захохоталъ самъ, какъ будто дѣйствительно находя смѣшнымъ свое положеніе, и снова пустился рассказывать:

„Едва заснулъ я въ ту ночь, господа; всю ночь строчилъ на бумагѣ; видите-ли, штуку я выдумалъ! Эхъ, господа! припомнить только, такъ совѣстно станеть! И добро бы ужъ ночью: ну, съ пьяныхъ глазъ, заблудился, напуталъ вздору, навралъ, — нѣтъ же! Утромъ проснулся ни свѣтъ ни заря, всего-то и спалъ часикъ, другой, и за то же! Одѣлся, умылся, завился, припомадился, фракъ новый напялилъ и прямо на праздникъ къ Ѳедосѣю Николаичу, а бумагу въ шляпѣ держу. Встрѣчаетъ меня самъ, съ отверзтыми, и опять зоветъ на жилетку родительскую! Я и приосанился, въ головѣ еще вчерашнее бродить! На шагъ отступилъ. — Нѣтъ, говорю, Ѳедосѣй Николаичъ, а вотъ коль угодно сію бумажку прочтите, — да и подаю ее при рапортѣ; а въ рапортѣ-то знаете чтò было? А было: По такимъ-то, да по такимъ-то, такого-то Осина Михайлыча, уволить въ отставку, да подъ просьбой-то весь чинъ подмахнулъ! Вотъ вѣдь чтò выдумалъ, Господи! И умнѣ-то ничего придумать не могъ! Дескать, сегодня 1-ое апрѣля, такъ я вотъ и сдѣлаю видъ, ради шуточки, что обида моя не прошла, что одумался за ночь, одумался да нахохлился, да пуще прежняго обидѣлся, да, дескать, вотъ же вамъ, родные мои благодѣтели, и ни васъ, ни дочки вашей знать не хочу; денежки-то вчера положилъ въ карманъ, обезпечень, такъ вотъ, дескать, вамъ рапортъ объ отставкѣ. Не хочу служить подъ такимъ начальствомъ, какъ Ѳедосѣй Николаичъ! Въ другую службу хочу, а тамъ, смотри, и доносъ подамъ. Этакимъ подлицомъ представился, напугать ихъ выдумалъ! И выдумалъ чѣмъ напугать! А? Хорошо, господа! Т. е. вотъ заласкалось къ нимъ сердце со вчерашняго дня, такъ дай я за это шуточку семейную отпущу, подтруню надъ родительскимъ сердечкомъ Ѳедосѣя Николаича...

Только взялъ онъ бумагу мою, развернулъ и вижу, шевельнулась у него вся физиономія. — Чтòжь, Осипъ Михайлычъ? А я какъ дуракъ, 1-ое апрѣля! Съ праздникомъ васъ, Ѳедосѣй Николаичъ! Т. е. совсѣмъ какъ мальчишка, который за бабушкино кресло спрятался втихомолку, да потомъ уфъ! ей на ухо, во все горло, — напугать вздумалъ! Да... да просто,

даже совѣстно рассказывать, господа! Да нѣтъ же! Я не буду рассказывать!

— Да нѣтъ, что-же дальше!

— Да нѣтъ, да нѣтъ, расскажите! Нѣтъ ужъ рассказывайте, поднялось со всѣхъ сторонъ.

— Поднялись, судари мои, толки да пересуды, охи да ахи! И проказникъ-то я, и забавникъ-то я, и перепугаль-то я ихъ, ну, такое сладчайшее, что самому стыдно стало, такъ что стоишь да со страхомъ и думаешь: какъ такого грѣшника такое мѣсто святое на себѣ держать можетъ! „Ну, родной ты мой, запищала совѣтница: — напугалъ меня такъ, что о сю пору ноги трясутся, еле на мѣстѣ держать! Выбѣжала я какъ полуумная къ Машѣ: Машенька, говорю, что съ нами будетъ! Смотри, какимъ *твоей-то* оказывается! Да сама согрѣшила, родимый, ужъ ты прости меня старуху, опростоволосилась! Ну, думаю: какъ пошелъ онъ отъ насъ вчера, пришелъ домой поздно, началъ думать, да можетъ показалось ему, что нарочно мы вчера ходили за нимъ, завлечь хотѣли, такъ и обмерла я! — Полно, Машенька, полно мигать мнѣ, Осипъ Михайлычъ намъ не чужой; я же твоя мать, дурнаго ничего не скажу! Слава Богу, не двадцать лѣтъ на свѣтѣ живу: цѣлыхъ сорокъ пять!..“

Ну, что, господа! Чуть я ей въ ноги не чибурахнулся тутъ! Опять прослезились, опять лобызанія пошли! Шуточки начались! Ѳедосѣй Николаичъ тоже для 1-го апрѣля штучку изволили выдумать! Говорить, дескать, жарь-птица прилетѣла, съ бриллиантовымъ клювомъ, а въ клювѣ то письмо принесла! Тоже надуть хотѣлъ, — смѣхъ-то пошелъ какой! умиленіе-то было какое! — тьфу! — даже срамно рассказывать!

Ну, что, мои милостивцы, теперь и вся недолга! Пожили мы день, другой, третій, недѣлю живемъ; я ужъ совсѣмъ женихъ! Чего! Кольца заказаны, день назначили, только оглашать не хотятъ до времени, ревизора ждутъ. Я-то жду не дождусь ревизора, счастье мое остановилось за нимъ! Спустить бы его скорѣй съ плечъ долой, думаю. А Ѳедосѣй-то Николаичъ подъ шумокъ и на радостяхъ всѣ дѣла свалилъ на меня: счеты, рапорты писать, книги свѣрять, итоги подводить, — смотрю; безпорядокъ ужаснѣйшій, все въ запусѣніи, вездѣ крючки да ковычки! Ну, думаю, потружусь для тещюшки! А тотъ все прихварываетъ, болѣзнь приключилась, день ото дня ему, видишь, хуже. А чего, я самъ какъ спичка, ночей не сплю, повалиться боюсь! Однако кончилъ-таки дѣло на славу! Выручилъ къ сроку! Вдругъ шлютъ за мной гонца. Поскорѣй, говорятъ, худо Ѳедосѣю Николаичу! Бѣгу, сломя-голову, — что такое? Смотрю, сидитъ мой Ѳедосѣй Николаичъ обвязанный, укусу къ головѣ

лѣзу, словно вы мнѣ, примѣромъ, всѣ братья родные, друзья закадышныя... э-эхъ!..

Хохоть, начинавшій мало по малу подыматься со всѣхъ сторонъ, покрылъ, наконецъ, совершенно голосъ рассказчика, дѣйствительно пришедшаго въ какой-то восторгъ; онъ остановился, нѣсколько минутъ перебѣгая глазами по собранію, и потомъ вдругъ, словно увлеченный какимъ-то вихремъ, махнулъ рукой, захохоталъ самъ, какъ будто дѣйствительно находя смѣшнымъ свое положеніе, и снова пустился рассказывать:

„Едва заснулъ я въ ту ночь, господа; всю ночь строчилъ на бумагѣ; видите-ли, штуку я выдумалъ! Эхъ, господа! припомнить только, такъ совѣстно станеть! И добро бы ужъ ночью: ну, съ пьяныхъ глазъ, заблудился, напуталъ вздору, навралъ,—нѣтъ же! Утромъ проснулся ни свѣтъ ни заря, всего-то и спалъ часикъ, другой, и за то же! Одѣлся, умылся, завился, припомадился, фракъ новый напялил и прямо на праздникъ къ Ѳедосію Николаичу, а бумагу въ шляпѣ держу. Встрѣчаетъ меня самъ, съ отверзтыми, и опять зоветъ на жилетку родительскую! Я и пріосанился, въ головѣ еще вчерашнее бродить! На шагъ отступилъ.—Нѣтъ, говорю, Ѳедосій Николаичъ, а вотъ коль угодно сію бумажку прочтите, — да и подаю ее при рапортѣ; а въ рапортѣ-то знаете чтѣ было? А было: По такимъ-то, да по такимъ-то, такого-то Осипа Михайлыча, уволить въ отставку, да подѣ просьбой-то весь чинъ подмахнулъ! Вотъ вѣдь чтѣ выдумалъ, Господи! И умнѣ-то ничего придумать не могъ! Дескать, сегодня 1-ое апрѣля, такъ я вотъ и сдѣлаю видъ, ради шуточки, что обида моя не прошла, что одумался за ночь, одумался да нахохлился, да пуще прежняго обидѣлся, да, дескать, вотъ же вамъ, родные мои благодѣтели, и ни васъ, ни дочки вашей знать не хочу; денежки-то вчера положилъ въ карманъ, обезпеченъ, такъ вотъ, дескать, вамъ рапортъ объ отставкѣ. Не хочу служить подѣ такимъ начальствомъ, какъ Ѳедосій Николаичъ! Въ другую службу хочу, а тамъ, смотри, и доносъ подамъ. Этакимъ подлецомъ представился, напугать ихъ выдумалъ! И выдумалъ чѣмъ напугать! А? Хорошо, господа! Т. е. вотъ заласкалось къ нимъ сердце со вчерашняго дня, такъ дай я за это шуточку семейную отпущу, подтруню надъ родительскимъ сердечкомъ Ѳедосія Николаича...

Только взялъ онъ бумагу мою, развернулъ и вижу, шевельнулась у него вся фізіономія. — Чтѣжь, Осипъ Михайлычъ? А я какъ дуракъ, 1-ое апрѣля! Съ праздникомъ васъ, Ѳедосій Николаичъ! Т. е. совсѣмъ какъ мальчишка, который за бабушкино кресло спрятался втихомолку, да потомъ уфъ! ей на ухо, во все горло, — попугать вздумалъ! Да... да просто,

даже совѣстно рассказывать, господа! Да нѣтъ же! Я не буду рассказывать!

— Да нѣтъ, что-же дальше!

— Да нѣтъ, да нѣтъ, расскажите! Нѣтъ ужъ рассказывайте, поднялось со всѣхъ сторонъ.

— Поднялись, судари мои, толки да пересуды, охи да ахи! И проказникъ-то я, и забавникъ-то я, и перепугаль-то я ихъ, ну, такое сладчайшее, что самому стыдно стало, такъ что стоишь да со страхомъ и думаешь: какъ такого грѣшника такое мѣсто святое на себѣ держать можетъ! „Ну, родной ты мой, запицала совѣтница: — напугаль меня такъ, что о сю пору ноги трясутся, еле на мѣстѣ держать! Выбѣжала я какъ полумумная къ Машѣ: Машенька, говорю, что съ нами будетъ! Смотри, какимъ *твоей-то* оказывается! Да сама согрѣшила, родимый, ужъ ты прости меня старуху, опростоволосилась! Ну, думаю: какъ пошелъ онъ отъ насъ вчера, пришелъ домой поздно, началъ думать, да можетъ показалось ему, что нарочно мы вчера ходили за нимъ, завлечь хотѣли, такъ и обмерла я!—Полно, Машенька, полно мигать мнѣ, Осипъ Михайлычъ намъ не чужой; я же твоя мать, дурнаго ничего не скажу! Слава Богу, не двадцать лѣтъ на свѣтѣ живу: цѣлыхъ сорокъ пять!..“

Ну, что, господа! Чуть я ей въ ноги не чибурахнулся тутъ! Опять прослезились, опять лобызанія пошли! Шуточки начались! Ѳедосѣй Николаичъ тоже для 1-го апрѣля штучку изволили выдумать! Говорить, дескать, жаръ-птица прилетѣла, съ брилліантовымъ клювомъ, а въ клювѣ то письмо принесла! Тоже надуть хотѣлъ, — смѣхъ-то пошелъ какой! умиленіе-то было какое!—тьфу!—даже срамно рассказывать!

Ну, что, мои милостивцы, теперь и вся недолга! Пожили мы день, другой, третій, недѣлю живемъ; я ужъ совсѣмъ женихъ! Чего! Кольца заказаны, день назначили, только оглашать не хотятъ до времени, ревизора ждутъ. Я-то жду не дождусь ревизора, счастье мое остановилось за нимъ! Спустить бы его скорѣй съ плечъ долой, думаю. А Ѳедосѣй-то Николаичъ подъ шумокъ и на радостяхъ всѣ дѣла свалилъ на меня: счета, рапорты писать, книги свѣрять, итоги подводить, — смотрю; безпорядокъ ужаснѣйшій, все въ запустѣніи, вездѣ крючки да ковыки! Ну, думаю, потружусь для тестюшки! А тотъ все прихварываетъ, болѣзнь приключилась, день ото дня ему, видишь, хуже. А чего, я самъ какъ спичка, ночей не сплю, повалиться боюсь! Однако кончилъ-таки дѣло на славу! Выручилъ къ сроку! Вдругъ шлютъ за мной гонца. Поскорѣй, говорятъ, худо Ѳедосѣю Николаичу! Бѣгу, слома-голову, — что такое? Смотрю, сидитъ мой Ѳедосѣй Николаичъ обвязанный, укусу къ головѣ

примочилъ, морщится, кряхтитъ, охаетъ: охъ да охъ! Родной ты мой, милый ты мой, говоритъ, умру, говоритъ, на кого-то я васъ оставлю птенцы мои! Жена съ дѣтьми припелась, Машенька въ слезы, — ну, я и самъ зарюмилъ! — Ну, нѣту же, говоритъ, Богъ будетъ милостивъ, не взыщеть же Онъ съ васъ за всѣ мои прегрѣшенія! Тутъ онъ ихъ всѣхъ отпустилъ, приказалъ за ними дверь запереть, остались мы съ нимъ вдвоемъ, съ глазу на глазъ. — „Просьба есть до тебя!“ — „Какая-съ?“ — „Такъ и такъ, братецъ, и на смертномъ одрѣ нѣтъ покоя, зануждался совсѣмъ!“ — „Какъ такъ?“ — Меня тутъ и краска прошибла, языкъ отнялся. — „Да такъ, братецъ, изъ своихъ пришлось въ казну приплатиться; я, братецъ, для пользы общей ничего не жалѣю! Жизни своей не жалѣю! Ты не думай чего! Грустно мнѣ, что меня передъ тобой клеветники очернили... Заблуждался ты, горе съ тѣхъ поръ мою голову убѣлило! Ревизоръ на носу, а у Матвѣева въ семи тысячахъ недочетъ, а отвѣчаю я... кто-жь больше! Съ меня, братецъ, взыщутъ: чего смотрѣлъ! А чтѣ съ Матвѣева взять! Ужъ и такъ довольно съ него; чтѣ горемыку подъ обухъ подводить!“ — Святители, думаю, вотъ праведникъ! вотъ душа! А онъ: „да, говоритъ, дочернихъ братъ не хочу изъ того, что ей пошло на приданое; это священная сумма! Есть свой, есть, правда, да въ люди отданы, гдѣ ихъ сейчасъ соберешь!“ — Я тутъ какъ былъ, такъ и брякъ передъ нимъ на колѣни. — „Благодѣтель ты мой, кричу, оскорбилъ я тебя, разобидѣлъ, клеветники на тебя бумаги писали, не убей въ конецъ, возьми назадъ свои денежки!“ — Смотритъ онъ на меня, потекли у него изъ глазъ слезы. — „Этого я и ждалъ отъ тебя, мой сынъ, встань; тогда простилъ ради дочернихъ слезъ! Теперь и мое сердце прощаетъ тебя. Ты залѣчилъ, говоритъ, мои язвы! Благословляю тебя во вѣки вѣковъ!“ — Ну, какъ благословилъ-то онъ меня, господа, я во всѣ лопатки домой, досталъ сумму: вотъ, батюшка, все, только пятьдесятъ цѣлковыхъ извелъ! — „Ну, ничего, говоритъ, а теперь всякое лыко въ строку; время спѣшное, напиши-ка рапортъ, заднимъ числомъ, что зануждался, да впередъ просишь жалованья 50 руб. Я такъ и покажу по начальству, что тебѣ впередъ выдано... Ну, чтожь господа! Какъ вы думаете! Вѣдь я и рапортъ написалъ!

— Ну, чтѣ же, — ну, чтѣ же, — ну, какъ это кончилось?

— Только что написалъ я рапортъ, сударики вы мои, вотъ чтѣмъ кончилось. На завтра же, на другой же день, ранехонько по утру пакетъ за казенной печатью. Смотрю — и чтѣжь обрѣтаю! Отставка! Дескать, сдать дѣла, свести счета, а самому идти на всѣ стороны!

— Какъ такъ?

— Да ужъ и я тутъ благимъ матомъ кривнулъ, какъ такъ, сударики! Чего, въ ухахъ зазвенѣло! Я думалъ спроста, анъ, нѣтъ ревизоръ въ городъ вѣхалъ. Дрогнуло сердце мое! Ну, думаю, не спроста! Да такъ какъ былъ къ Ѳедосѣю Николаичу; чтѣ? говорю. — А чтѣжь? говорить. — Да вотъ же отставка! — Какая отставка! — А это? — Ну, чтѣжь и отставка-сь! — Да какъ-же, развѣ я пожелалъ? — А какъ-же вы подали-сь, 1-го апрѣля вы подали (а бумагу-то я не взялъ назадъ!). Ѳедосѣй Николаичъ, да васъ-ли слышать уши мои, васъ-ли видятъ очи мои! — Меня-сь, а чтѣ-сь? — Господи, Богъ мой! — Жаль мнѣ, сударь, жаль, очень жаль, что такъ рано службу оставить задумали! Молодому человѣку нужно служить, а у васъ, сударь, вѣтеръ началъ бродить въ головѣ. А насчетъ аттестата будьте покойны: я позабочусь. Вы-же такъ хорошо себя всегда аттестуете-сь! — Да вѣдь я-жь тогда шуточкой, Ѳедосѣй Николаичъ, я-жь не хотѣлъ, я такъ подалъ бумагу, для родительскаго вашего... вотъ. — Какъ-сь вотъ! Какое, сударь, шуточкой! Да развѣ такими бумагами шутить-сь? Да васъ за такія шуточки когда нибудь въ Сибирь упекутъ-сь. Теперь прощайте, мнѣ некогда-сь, у насъ ревизоръ-сь, обязанности службы прежде всего; вамъ бить баклуши, а намъ тутъ сидѣть за дѣлами-сь. А ужъ я васъ тамъ какъ слѣдуетъ аттестую-сь. — Да еще-сь, вотъ я дожь у Матвѣева сторговалъ, переѣдемъ на дняхъ, такъ ужъ надѣюсь, что не буду имѣть удовольствія васъ на новосельѣ у себя видѣть. Счастливый путь! — Я домой со всѣхъ ногъ: пропали мы, бабушка! Взвыла она, сердечная; а тутъ, смотримъ, бѣжить казачокъ отъ Ѳедосѣя Николаича, съ запиской и съ клѣткой, а въ клѣткѣ скворецъ сидитъ; это я ей отъ бытка чувствъ скворца подарилъ; а въ запискѣ стоитъ: *1-ое апрѣля*, а больше и нѣтъ ничего. Вотъ, господа, чтѣ, какъ вы думаете-сь?!

— Ну, чтѣ-же дальше???

— Чего дальше! Встрѣтилъ я разъ Ѳедосѣя Николаича, хотѣлъ было ему въ глаза подлоца связать...

— Ну!

— Да какъ-то не выговорилось, господа!



НА ЕВРОПЕЙСІЯ Событія въ 1854 году *).

Съ чего взялась всесвѣтная бѣда?
Кто виновать, кто первый начинаетъ?
Народъ вы умный, всякой это знаетъ,
Да славушка пошла объ васъ худа!
Ужь лучше-бы въ покоѣ дома жить,
Да справиться съ домашними дѣлами!
Вѣдь, кажется, намъ нечего дѣлать,
И мѣста много всѣмъ подѣ небесами.
Бѣ тому-жь и то, коль все ужъ поминать:
Смѣшно Французомъ Русскаго пугать!

Знакома Русь со всякою бѣдой!
Случалось съ ней, что не бывало съ вами.
Давилъ ее Татаринъ подѣ пятой,
А очутился онъ-же подѣ ногами.
Но далеко она съ тѣхъ поръ ушла!
Не въ мѣрку ей стать ровень даже съ вами;
Заморскій ростъ она переросла,
Тянутся-ль вамъ въ одно съ богатырями!
Попробуйте на насъ теперь взглянуть,
Коль не боитесь голову свихнуть!

Страдала Русь въ бояхъ междуособныхъ,
По каплѣ кровью чуть не изошла,

*) Стихотвореніе это написано Ф. М. Достоевскимъ въ маѣ 1854 г. Было напечатано въ журналѣ „Гражданинъ“ за 1883 г. № 1.
приложенія.

Томась въ борьбѣ своихъ единокровныхъ;
 Но живуча святая Русь была!
 Умиѣ вы, — зато вамъ книги въ руки!
 Правѣ вы, — то знаетъ ваша честь!
 Но знайте-же, что и въ послѣдней мужѣ
 Намъ будетъ чѣмъ страданье перенестъ!
 Прощедшее стоитъ отвѣтомъ вамъ,
 И вашъ союзъ давно не страшень намъ.

Спасемся мы въ годину навожденій,
 Спасутъ насъ крестъ, святыня, вѣра, тронъ!
 У насъ въ душѣ сложился сей законъ,
 Какъ знаменье побѣдъ и избавленій!
 Мы вѣры нашей спроста не теряли
 (Какъ былъ какой-то западный народъ);
 Мы вѣрою изъ мертвыхъ воскресали,
 И вѣрою живетъ Славянскій родъ.
 Мы вѣруемъ, что Богъ надъ нами можетъ,
 Что Русь жива и умереть не можетъ!

Писали вы, что началъ ссору Русскій,
 Что какъ-то мы ведемъ себя не такъ,
 Что честью мы не дорожимъ французской,
 Что стыдно вамъ за вашъ союзный флагъ,
 Что жаль вамъ очень Порты златорогой,
 Что хочется завоеваній намъ,
 Что то, да се... Отвѣтъ вамъ дали строгой,
 Какъ школьникамъ, кривливымъ шалунамъ.
 Не нравится, — на то пеняйте сами,
 Не шапку же ломать намъ передъ вами!

Не вамъ судьбы Россіи разбирать!
 Не ясны вамъ ея предназначенья?
 Востокъ — ея! Къ ней руки простирать
 Не устаютъ миллионы поколѣній.
 И властвуя надъ Азіей глубокой,
 Она всему младую жизнь даетъ,
 И возрожденье древняго Востока
 (Такъ Богъ велѣлъ!) Россіей настаеть.

То вновь Русь, то подданство Царя,
Грядущаго роскошная заря!

Не ошумь, растлившій поколѣнья,
(Что варварствомъ зовемъ мы безъ прикрасъ)
Народы ваши двинетъ къ возрожденью
И вознесетъ униженныхъ до васъ!
То Альбионъ, съ насиліемъ безумнымъ, —
(Миссіонеръ Христовыхъ кроткихъ братствъ!)
Разлилъ недугъ въ народѣ полоумномъ,
Въ мерзительномъ алканіи богатствъ!
Иль не для васъ всходилъ на крестъ Господь,
И далъ на смерть Свою святую плоть?

Смотрите всѣ, — Онъ распятъ и понинѣ,
И вновь течетъ Его святая кровь!
Но гдѣ же жидъ, Христа распявшій нынѣ,
Продавшій вновь Предвѣчную Любовь?
Вновь язвенъ Онъ, вновь принялъ скорбь и муки,
Вновь плачутъ очи тяжкою слезой,
Вновь распростерты Божескія руки
И тнится небо страшною грозой!
То муки братій намъ единовѣрныхъ,
И стонъ церквей въ гоненьяхъ безпримѣрныхъ!

Онъ тѣломъ Божиимъ ихъ велѣлъ назвать,
Онъ самъ — Глава всей вѣры православной!
Съ невѣрными на Церковь воевать —
То подвигъ темный, грѣшный и безславный!
Христіанинъ за Турка на Христа!
Христіанинъ — защитникъ Магомета!
Позоръ на васъ, отступники Креста,
Гасители Божественнаго Свѣта!
Но съ нами Богъ! Ура! Нашъ подвигъ святъ,
И за Христа кто жизнь отдать не радъ!

Мечъ Гедеоновъ въ помощь угнетеннымъ,
И во Израиль сильный Судія!
То Царь, Тобой, Всевышній, сохраненный,

Помазанникъ десницы Твоя!
Гдѣ два или три для Господа готовы,
Господь межъ нихъ, какъ Самъ намъ общалъ.
Насъ милліоны ждутъ Царева слова,
И, наконецъ, Твой часъ, Господь, насталъ!
Звучить труба, шумитъ орелъ двуглавый,
И на Царьградъ несется величаво!

Федоръ Достоевскій.

ПРОШЕНИЕ ГОСУДАРЮ.

На подлинномъ собственною рукою шефа жандармовъ князя В. О. Долгорукова написано: „Высочайше повелѣно относительно Исаева снестись съ кѣмъ слѣдуетъ.“

27 ноября 1859 г.

Что касается до самого Достоевскаго, то просьба его уже рѣшена по письму, которое онъ ко мнѣ писалъ“.

Ваше Императорское Величество,

Я, бывшій государственный преступникъ, осмѣливаюсь повергнуть передъ великимъ трономъ Вашимъ мою смиренную просьбу. Знаю, что я недостойнъ благодѣяній Вашего Императорскаго Величества и послѣдній изъ тѣхъ, которые могутъ надѣяться заслужить Вашу Монаршую милость. Но я несчастенъ, а Вы, Государь нашъ, милосерды безпредѣльно. Простите меня за письмо мое и не казните Вашимъ гнѣвомъ несчастнаго, нуждающагося въ милосердіи.

Я былъ судимъ за государственное преступленіе въ 1849 году, въ С.-Петербургѣ, разжалованъ, лишенъ всѣхъ правъ состоянія и сосланъ въ Сибирь, въ каторжную работу втораго разряда, въ крѣпостяхъ, на четыре года, съ зачисленіемъ, по истеченіи срока работъ, въ рядовые. Въ 1854 году, по выходѣ изъ Омскаго крѣпостнаго острога, я поступилъ въ 7-й Сибирскій Линейный Баталіонъ рядовымъ; въ 1855 году былъ произведенъ въ унтеръ-офицеры, а въ слѣдующемъ, 1856 году, былъ ошачливленъ Высочайшею милостью Вашего Императорскаго Величества и произведенъ въ офицеры. Въ 1858 году Ваше Императорское Величество изволили даровать мнѣ право на потомственное дворянское достоинство. Въ томъ же году я подалъ въ отставку, вслѣдствіе

падучей болѣзни, открывшейся во мнѣ еще въ первый годъ каторжной работы моей, и теперь, по полученіи отставки, переѣхалъ на жительство въ городъ Тверь. Болѣзнь моя усиливается болѣе и болѣе. Отъ каждаго припадка я, видимо, теряю память, воображеніе, душевныя и тѣлесныя силы. Исходъ моей болѣзни—разслабленіе, смерть или сѣумасшествіе. У меня жена и пасынокъ, о которомъ я долженъ пешичь. Состоянія я не имѣю никакого и списываю средства къ жизни единственно литературнымъ трудомъ, тяжкимъ и изнурительнымъ въ болѣзненномъ моемъ положеніи. А между тѣмъ врачи обнадеживаютъ меня излѣченіемъ, основываясь на томъ, что болѣзнь моя приобрѣтенная, а не наследственная. Но медицинскую помощь, серьезную и рѣшительную, я могу получить только въ Петербургѣ, гдѣ есть медики, спеціально занимающіеся изученіемъ нервныхъ болѣзней. Ваше Императорское Величество! Въ Вашей волѣ вся судьба моя, здоровье, жизнь! Благоволите позволить мнѣ переѣхать въ С.-Петербургъ для пользованія совѣтами столичныхъ врачей. Воскресите меня и даруйте мнѣ возможность, съ поправленіемъ здоровья, быть полезнымъ моему семейству и, можетъ быть, хоть чѣмъ нибудь, моему Отечеству! Въ Петербургѣ живутъ постоянно двое братьевъ моихъ, съ которыми я десять лѣтъ былъ въ разлукѣ; братскія заботы ихъ обо мнѣ могли-бы облегчить тяжелое мое положеніе. Но, не смотря на всѣ надежды мои, дурной исходъ болѣзни или смерть моя могутъ оставить безъ всякой помощи мою жену и пасынка. Покамѣстъ во мнѣ есть хоть капля здоровья и силы, я буду работать для ихъ обезпеченія. Но въ будущемъ воленъ Богъ, а человѣческія надежды невѣрны. Государь Всемилостивѣйшій! Простите мнѣ еще и другую просьбу и благоволите оказать чрезвычайную милость, повелѣвъ принять моего пасынка, двѣнадцатилѣтняго Павла Исаева, на казенный счетъ, въ одну изъ С.-Петербургскихъ гимназій. Онъ—потомственный дворянинъ, сынъ губернскаго секретаря Александра Исаева, умершаго въ Сибири, на службѣ Вашего Императорскаго Величества, въ городѣ Кузнецкѣ, Томской губерніи,—умершаго единственно по недостатку медицинскихъ пособій, невозможныхъ въ глухомъ краѣ, гдѣ служилъ онъ, и оставившаго жену и сына безъ всякаго состоянія. Если-же пріемъ въ гимназію для Павла Исаева невозможенъ, то благоволите, Государь, повелѣть принять его въ одинъ изъ С.-Петербургскихъ Кадетскихъ Корпусовъ. Вы осчастливите его бѣдную мать, которая ежедневно учитъ своего сына молиться о счастіи Вашего Императорскаго Величества и всего Августѣйшаго дома Вашего. Вы, Государь, какъ солнце, которое свѣтитъ на праведныхъ и неправедныхъ. Вы уже осчастливили миллионы народа Вашего; осчастливьте-же еще бѣднаго

сироту, мать его и несчастнаго больнаго, съ котораго до сихъ поръ еще не снято отверженіе и который готовъ отдать, сейчасъ-же, всю жизнь свою за Царя, облагодѣтельствовавшаго народъ свой!

Съ чувствами благоговѣнія и горячей безпредѣльной преданности, осмѣливаюсь именовать себя вѣрнѣйшимъ и благодарнѣйшимъ изъ подданныхъ Вашего Императорскаго Величества.

Федоръ Достоевскій.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ НА ЖУРНАЛЪ „ВРЕМЯ“ 1862 Г. *)

Первый годъ изданія нашего журнала оканчивается, и мы приступаемъ къ объявленію подписки на второй. Публика поддержала насъ; она отозвалась на прошлогоднее объявленіе наше и тѣмъ укрѣпила въ насъ увѣренность, что идея, во имя которой мы предприняли нашъ журналъ, — справедлива. Не въ похвальбу себѣ говоримъ, что поддержка, оказанная намъ публикой, была въ разнѣрахъ, давно уже неслыханныхъ въ нашей журналистикѣ. Но вопросъ: какъ служили мы нашей идеѣ? Не обманули-ль мы публику въ тѣхъ ожиданіяхъ, которыя въ ней возбудили? Успѣли-ль мы высказаться хоть сколько-нибудь? Отвѣчаемъ: мы еще не могли много сдѣлать, хотя и желали и надѣялись сдѣлать и высказать больше. Мы сознаемся въ этомъ первые. Если публика и оказывала намъ свое вниманіе до конца, до послѣдней книжки, выданной нами, то относимъ это къ тому, что она вѣритъ въ честность и искренность нашей идеи; а это главное, что намъ нужно, и вѣры ея мы не обманемъ. Почти годъ изданія журнала — и обстоятельства, сопровождавшія его, не только не поколебали нашихъ убѣжденій, но даже еще болѣе усилили ихъ. Мы не теряемъ надежду высказать нашу мысль вполнѣ. А говорить еще надо о многомъ. Договориться до чегонибудь надо непремѣнно. Не слѣдуетъ, чтобъ событія, факты, застали литературу нашу врасплохъ.

Всѣ объявляютъ, что они за прогрессъ; безъ этого нельзя, это *sine qua non*. Но что за прогрессъ, когда мы *de facto* все еще сидимъ на европейскихъ учебникахъ? Движеніе впередъ — явленіе нормальное, законное, и Боже насъ сохрани противорѣчить ему! Но отказавшись отъ того, что было бесплоднаго и губительнаго въ явленіяхъ нашей прежней жизни, мы унеслись на воздухъ и отказались чуть-ли не отъ самой почвы. Безъ

*) „Время“ 1861 г. № 9.

почвы ничего не выростетъ и никакого плода не будетъ. А для всякаго плода нужна *своя* почва, *свой* климатъ, *свое* воспитаніе. Безъ вѣрнопкой почвы подъ ногами и движеніе впередъ невозможно: еще пожалуй поѣдешь назадъ или свалишься съ облаковъ. Какъ не согласиться, что многія явленія даже прошедшей, отжившей жизни нашей мы мѣряли слишкомъ узкой мѣркой? Мы ко всему сплошь прикидывали нашъ новый аршинчикъ торопливо, съ заранѣе готовимъ взглядомъ. Мы *поскорѣ* хотѣли успокоить себя, что во всемъ правы, а это значить сами про себя боялись: не лжемъ-ли? Даже во многихъ явленіяхъ, прямо отнесенныхъ нами къ „темному царству“, мы проглядѣли почвенную силу, законы развитія, любовь. На все это надо выработать взглядъ новый, безпристрастный, подальновиднѣе. Мы уничтожали все сплошь, потому только, что оно старое. Боже насъ сохрани отъ старыхъ формъ въ жизни!.. Не въ нихъ совсѣмъ и дѣло, и не про то совсѣмъ мы говоримъ.

Случается, что переселенцы, когда идутъ за тысячи верстъ, со стараго мѣста на новое, плачутъ, дѣлуютъ землю, на которой родились ихъ отцы и дѣды; имъ кажется неблагодарностью покинуть старую почву — старую мать ихъ, за то, что изсыкли и изсохли сосцы ея, ихъ кормившіе. Они берутъ съ собою въ дорогу по горсти старой земли, какъ святиню, чтобъ завѣщать эту святиню своимъ правнукамъ, въ вѣчное, благоговѣйное воспоминаніе. Но проходитъ время — и правнуки уже дивятся тому, что ихъ дѣды такъ почитали эту простую горсть простой земли. И правнуки правы: у нихъ давно уже есть своя, новая почва, уже имъ служившая, ихъ кормившая. Но у насъ, у насъ! какая у насъ новая почва? Мы вѣдь даже и не переселенцы. Мы просто поднялись на воздухъ. Въ самомъ дѣлѣ, наше внутреннее ощущеніе часто бываетъ теперь похоже на ощущеніе воздухоплавателя, поднявшагося на 7000 футовъ отъ земли. Онъ, конечно, съ такой высоты можетъ сдѣлать много прелюбопытнѣйшихъ наблюденій, разумѣется слишкомъ отвлеченныхъ, не совсѣмъ *ближнихъ*, и главное — какъ-то нестерпимо *сысосока*; а всетаки, какую бы любовь онъ ни питалъ къ наукѣ, ему все хочется на землю. Даже трусить немножко одинъ-то... дышать трудно, упасть можно... Вѣдь воздушный шаръ-то, пожалуй, можетъ и лопнуть, какъ мыльный пузырь...

Да ужъ согласился, наконецъ, вымолвить всю правду: мы и *русскую* то нашу землю любимъ какъ-то условно, по книжному. Мы приучились, наконецъ, къ тому, что намъ ужъ ни до чего дѣла нѣтъ. Мы такъ облѣнились, что привыкли къ тому, чтобъ за насъ все другіе дѣлали, а намъ ужъ подавали готовое, хоть и не хорошо приготовленное, но готовое. Зато самолюбія, жолчи, въ насъ накопилось бездна; немудрено: — сидячая

жизнь! Справьтесь съ медициной. Мы жаждемъ практики и сердимся лежа за то, что у насъ ея нѣтъ. Можетъ быть, еслибъ мы умѣли любить, то нашли бы себѣ, пожалуй, и практику; вѣдь любить-то можно и при развитіи жолчи...

Но покажѣте у насъ еще только раздоры и споры, правда все о предметахъ высокихъ: о русской мысли, о русской жизни, о русской наукѣ и проч. Мы даже дошли до того, что многіе изъ мыслителей нашихъ *откровенно* спрашиваютъ: „Какая же это русская мысль? Чтò это за слово такое: народная почва?“ *Откровенность* этихъ вопросовъ — фактъ очень значительный и многое оправдывающій. Мы говоримъ серьезно. Значить жь очень хочется договориться, коли объ этомъ не затрудняются спрашивать. Впрочемъ блаженной памяти „западники“ были еще послѣдовательнѣе: тѣ тоже въ крайнихъ случаяхъ никогда не хитрили и прямо говорили, что намъ надо сдѣлаться — на примѣръ хоть французами. Если они и не высказали этого прямо, то, по крайней мѣрѣ, уже раскрыли ротъ, чтобы высказать, и остановились единственно потому, что поперхнулись... слово-то у нихъ въ горлѣ поперегъ стало. Еслибъ Бѣлинскій прожилъ еще годъ, онъ бы сдѣлался славянофиломъ, т. е. попалъ бы изъ огня въ полмя; ему ничего не оставалось болѣе; да сверхъ того онъ не боялся, въ развитіи своей мысли, никакого полмя. Слишкомъ ужъ много любилъ человекъ! Многіе изъ теперешнихъ стоятъ на той же точкѣ, на которой остановился Бѣлинскій, хотя и увѣряютъ себя, что ушли дальше. Другіе наши мыслители, оттого, что они во фракахъ, не хотятъ признать себя за народъ. Третьи хотятъ выписывать русскую народность изъ Англіи, такъ какъ ужъ принято, что англійскій товаръ самый лучший. Четвертые бродятъ наканунѣ открытія общихъ законовъ, общей формулы для всего человѣчества, лѣняютъ общую всенародную форму, въ которую хотятъ отлить всеобщую жизнь, безъ различія племенъ и національностей, т. е. обратитъ человекъ въ стертый пятналтынный.

Мы будемъ слѣдовать вполнѣ все тѣмъ же идеямъ, которыя выразили въ прошлогоднемъ объявленіи о нашемъ журналѣ.

И хотъ мы немного еще могли сказать до сихъ поръ, но дѣлу своему служили совѣстливо. То, чтò мы считаемъ за истину, — мы любимъ и цѣнимъ. Литературу мы отстаивали. На литературу мы смотрѣли какъ на силу самостоятельную, а не какъ на средство, хотя и признаемъ нормальность и законность многого въ уклоненіяхъ нашего послѣдняго литературнаго времени. Передъ авторитетами мы не преклонились. Фразерства, эгоизма, самодовольства и самолюбія, доходщаго до пожертвованія истинной, мы не щадили въ другихъ и даже, можетъ быть увлекались до нена-

висти. Мы увлекались во многомъ, — сознаемся въ этомъ, но очень не раскаиваемся. Признаемся еще въ одной ошибкѣ: намъ иногда было тяжело возставать противъ иныхъ мнѣній, можетъ быть, и несогласныхъ съ нами радикально, можетъ быть даже поражавшихъ публику рѣзкостью и излишнею самонадѣянностью, но мнѣній честныхъ, высказанныхъ безъ боязни, истекавшихъ изъ направленія благороднаго. Мы потому извиняемся въ этомъ, что обѣщали полемику безпристрастную. Мы не думаемъ, впрочемъ, чтобъ мы были очень пристрастны; мы отвѣчаемъ за наши безпристрастія и впредь. Полемику-же идей мы считаемъ въ наше время необходимою. Скептицизмъ и скептический взглядъ убиваютъ все, даже и самый взглядъ, наконецъ, и граничатъ съ полной апатіей и мертвеннымъ сномъ. А вѣдь теперь литература есть одно изъ главнѣйшихъ проявленій русской сознательной жизни. Къ намъ почти все привилось извнѣ, все досталось намъ даромъ, начиная съ науки до самыхъ обиденныхъ жизненныхъ формъ; литература-же досталась намъ собственнымъ трудомъ, выжила съ своею жизнью нашей. Оттого-то мы и цѣнимъ и любимъ ее. Оттого-то мы и надѣемся на нее.

Не перечисляемъ нашихъ будущихъ сотрудниковъ, не хвалимся нашими надеждами. Не выставляемъ тоже на видъ ряда именъ писателей, участвовавшихъ доселѣ въ нашемъ журналѣ, и статей, ими написанныхъ. Если публика осталась ими довольна, то помнить ихъ и безъ этого перечня.

Въ будущемъ 1862 году нашъ журналъ будетъ издаваться по той же программѣ и въ томъ же составѣ. Для лицъ, не подписавшихся на нашъ журналъ и не читавшихъ его, излагаемъ программу.

(Слѣдуетъ программа, напечатанная выше. „Матеріалы“, стр. 193.)

Печатать позволяется. С.-Петербургъ, 23 сентября 1861 г. Цензоръ П. Дубровский

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ НА ЖУРНАЛЪ „ВРЕМЯ“ 1863 Г. *).

Съ будущимъ годомъ начнется третій годъ изданія нашего журнала. Направленіе наше остается то же самое. Мы знаемъ, что нѣкоторые изъ недоброжелателей нашихъ стараются затемнить нашу мысль въ глазахъ публики, стараются не понять ее. Недоброжелателей у насъ много, да и не могло быть иначе. Мы нажили ихъ сразу, вдругъ. Мы выступили на дорогу слишкомъ удачно, чтобъ не возбудить иныхъ враждебныхъ толковъ. Это очень понятно. Мы конечно на это не жалуемся: иной журналъ, иная книга иногда по нѣскольку лѣтъ не только не возбуждаютъ никакихъ толковъ, но даже не обращаютъ на себя никакого вниманія ни въ литературѣ, ни въ публикѣ. Съ нами случилось иначе, и мы этимъ даже довольны. По крайней мѣрѣ мы возбудили толки, споры. Это вѣдь болѣе лестно, чѣмъ встрѣтить всеобщее невниманіе.

Конечно мы оставляемъ въ сторонѣ пустыне и ничтожные толки рутинныхъ крикуновъ, непонимающихъ дѣла и неспособныхъ понять его. Они съ чужаго голоса бросаются на добычу; ихъ натравливаютъ тѣ, у которыхъ они въ услуженіи и которые за нихъ думаютъ. Это—рутина. Въ рутинѣ никогда не было ни одной своей мысли. Съ ними и толковать не стоитъ. Но въ нашей литературѣ есть теоретики и есть доктринеры, и они постоянно нападали на насъ. Эти дѣйствуютъ сознательно. И они понимаютъ насъ, и мы ихъ понимаемъ. Съ ними мы спорили и будемъ спорить. Но объяснимся почему они на насъ нападали.

Съ перваго появленія нашего журнала теоретики почувствовали, что мы съ ними во многомъ разнимся. Что хотя мы и согласны съ ними въ томъ, въ чемъ всякій въ настоящее время долженъ быть убѣжденъ окончательно (мы разумѣемъ прогрессъ), но въ развитіи, въ идеалахъ и въ

*) „Время“ 1862 г. № 9.

точкахъ отправленія и опоры общей мысли мы съ ними не могли согласиться. Они, администраторы и кабинетные изучатели западныхъ воззрѣній, тотчасъ же поняли про себя то, что мы говорили о почвѣ, и съ яростью напали на насъ, обвиняя насъ въ фразерствѣ, говоря что почва—пустое слово, котораго мы сами не понимаемъ и которое мы изобрѣли для эффекта. А между тѣмъ они насъ совершенно понимали и объ этомъ свидѣтельствовала самая ярость ихъ нападеній. На пустое слово, на рутинную гонку за эффектомъ не нападаютъ съ такимъ ожесточеніемъ. Повторяемъ: было много изданій и съ претензіей на новую мысль, и съ погоней за эффектомъ, которыя по нѣскольку лѣтъ издавались, но не удостоивались даже малѣйшаго вниманія теоретиковъ. А на насъ они обрушились со всею яростью.

Они очень хорошо знали, что призывы къ почвѣ, къ соединенію съ народнымъ началомъ—не пустыя звуки, не пустыя слова, изобрѣтенныя спекуляціей для эффекта. Эти слова были для нихъ напоминаемъ и упрекомъ, что сами они строятъ не на землѣ, а на воздухѣ. Мы съ жаромъ возставали на теоретиковъ, не признающихъ не только того, что въ народности почти *все* заключается, но даже и самой народности. Они хотятъ единственно началъ общечеловѣческихъ и вѣрятъ, что народности въ дальнѣйшемъ развитіи стираются какъ старыя монеты, что все сливается въ одну форму, въ одинъ общій типъ, который, впрочемъ, они сами никогда не въ силахъ опредѣлить. Это—западничество въ самомъ крайнемъ своемъ развитіи и безъ малѣйшихъ уступокъ. Въ своей ярости они преслѣдовали не только грязныя и уродливыя стороны національностей, стороны и безъ того необходимо долженствующія современемъ уступить правильному развитію, но даже выставляли въ уродливомъ видѣ и такія особенности народа нашего, которыя именно составляютъ залогомъ его будущаго самостоятельнаго развитія, которыя составляютъ его надежду и самостоятельную, вѣковѣчную силу. Въ своемъ отвращеніи отъ грязи и уродства, они, за грязью и уродствомъ, многое проглядѣли и многого не замѣтили. Конечно, желая искренно добра, они были слишкомъ строги. Они съ любовью самоосужденія и обличенія искали одного только „темнаго царства“ и не видали свѣтлыхъ и свѣжихъ сторонъ. Нехотя они иногда почти совпадали съ клеветниками народа нашего, съ бѣлоручками, смотрѣвшими на него свысока; они, сами того не зная, осуждали нашъ народъ на безсиліе и не вѣрили въ его самостоятельность. Мы, разумѣется, отличали ихъ отъ тѣхъ гадливыхъ бѣлоручекъ, о которыхъ сейчасъ упомянули. Мы понимали и умѣли цѣнить и любовь, и великодушныя чувства этихъ искреннихъ друзей народа, мы уважали и будемъ уважать ихъ искреннюю и честную дѣятельность, не смотря на то, что

мы не во всемъ согласны съ ними. Но эти чувства не заставляютъ насъ скрывать и нашихъ убѣжденій. Молчаніе было-бы пристрастіемъ; къ тому же мы не молчали и прежде. Теоретики не только не понимали народа, углубляясь въ свою книжную мудрость, но даже презирали его, разумѣется, безъ худаго намѣренія и, такъ сказать, нечаянно. Мы положи-тельно увѣрены, что самые умные изъ нихъ думаютъ, что при случаѣ стоитъ только десять минутъ поговорить съ народомъ, и онъ все пойметъ; тогда какъ народъ, можетъ быть, и слушать-то ихъ не станетъ, объ чемъ-бы они ни говорили ему. Въ правдивость, въ искренность нашего сочувствія не вѣритъ народъ до сихъ поръ и даже удивляется, зачѣмъ мы не за себя стоимъ, а за его интересы, и какал намъ до него надобность. Вѣдь мы до сихъ поръ для него птичьимъ языкомъ говоримъ. Но теоретики на это упорно не хотятъ смотрѣть, и кто знаетъ, можетъ быть не только разсужденія, но даже самые факты не могли-бы ихъ убѣдить въ томъ, что они одни, на воздухѣ, въ совершенномъ одиночествѣ и безъ всякой опоры на почву; что все это не то, совершенно не то.

Что касается до нашихъ доктринеровъ, то, они конечно, не отвергаютъ народности, но зато смотрятъ на нее свысока. Въ томъ-то и дѣло, что весь споръ состоитъ въ томъ, какъ нужно понимать народъ и народность. Они понимаютъ еще слишкомъ по старому; они вѣрятъ въ разные общественные слои и осадки. Доктринеры хотятъ учить народъ, согласны писать для него народныя книжки (до сихъ поръ, впрочемъ, не умѣли написать ни одной) и не понимаютъ главнѣйшей аксіомы, что только тогда народъ станетъ читать ихъ книжки, когда они сами станутъ народомъ, отъ всего сердца и разума, а не по маскараднему, т. е. когда народные интересы станутъ совершенно нашими, а наши — его интересами. Но подобное возвращеніе на почву для нихъ и немислимо. Недаромъ же они такъ много говорятъ о своихъ наукахъ, профессорствахъ, достоинствахъ и чуть-ли не объ чинахъ своихъ. Самые милостивые изъ нихъ соглашаются развѣ только на то, чтобъ возвысить народъ до себя, обучивъ его всѣмъ наукамъ и тѣмъ образовавъ его. Они не понимаютъ нашего выраженія: „соединеніе съ народнымъ началомъ“ и нападаютъ на насъ за него, какъ будто это какая-то таинственная формула, подъ которой заключается какой-то таинственный смыслъ. „Да и что новаго въ народности?“ говорятъ намъ они. „Это тысячу разъ говорилось и прежде, говорилось даже въ недавнія давнопрошедшія времена. Въ чемъ тутъ новая мысль, въ чемъ особенность?“

Повторяемъ: всѣ дѣло въ пониманіи слова „народность“. Въ нашихъ словахъ о соединеніи не было никакого таинственного смысла. Надо было понимать буквально, именно буквально, и мы до сихъ поръ убѣждены, что

мы ясно выразились. Мы прямо говорили и теперь говоримъ, что нравственно надо соединиться съ народомъ вполне и какъ можно крѣпче; что надо совершенно слиться съ нимъ и нравственно стать съ нимъ какъ одна единица. Вотъ что мы говорили и до сихъ поръ говоримъ. Такого полного соединенія, конечно, теоретики и доктринеры не могли понимать. Не могли понимать и тѣ, которые уже полтора ста лѣтъ по неволѣ привыкли себя считать за особое общество. Мы согласны, что совершенно понять это довольно трудно. Изъ книгъ иногда труднѣе понять то, что понимается часто само собой на фактахъ и въ дѣйствительной жизни. Но, впрочемъ, нечего пускаться въ слишкомъ подробныя объясненія. За нашу идею мы не боимся. Никогда и быть того не могло, чтобъ справедливая мысль не была, наконецъ, понята. За насъ жизнь и дѣйствительность. И Боже! Какія намъ иногда дѣлали возраженія: боялись за науку, за цивилизацію!.. „Куда дѣнется наука? кричатъ они:— и неужели намъ всѣмъ воротиться назадъ, надѣтъ зипуны и куда нибудь приписаться?“ На это мы отвѣчаемъ и теперь, что за науку опасаться нечего. Она—вѣчная и высшая сила, всѣмъ присущая и всѣмъ необходимая. Она—воздухъ, которымъ мы дышемъ. Она никогда не исчезнетъ и вездѣ найдетъ себѣ мѣсто. Что-же касается до зипуновъ, то, можетъ быть, ихъ и не будетъ, когда мы настоящимъ образомъ поймемъ, что такое народъ и народность. Можетъ быть, оттого-то именно, что мы искренно, а не въ шутку воротимся къ народу, и начнутъ исчезать у него зипуны. Разумѣется, это замѣчаніе мы дѣлаемъ для робкихъ и бѣлоручекъ, имъ въ утѣшеніе. Мы же уважаемъ зипунъ. Это честная одѣжа и гнушаться ею нечего.

Мы признаемся: намъ труднѣе издавать журналъ, чѣмъ кому нибудь. Мы вносимъ новую мысль о полнѣйшей народной нравственной самостоятельности, мы отстаиваемъ Русь, нашъ борень, наши начала. Мы должны говорить патетически, увѣрять и доказывать. Мы должны выказать идеаль нашъ и выказать въ полной ясности. Обличителямъ легче нашего. Имъ стоитъ только обличать, нападать и свистать, чтобъ быть всѣми понятыми, часто не давъя отчета, во имя чего они обличаютъ, нападаютъ и свистуютъ. Боже насъ сохрани, чтобъ мы теперь свисока говорили объ обличителяхъ. Честное, великодушное, смѣлое обличеніе мы всегда уважаемъ, а если обличеніе основано на глубокой, живой идеѣ, то конечно оно не легко достается. Мы сами обличители; ссылаемся на журналъ нашъ за все это время. Мы хотимъ только сказать, что обличителю легче найти сочувствіе. Даже разномыслящіе и не совсѣмъ согласные съ обличителемъ готовы примкнуть къ нему ради обличенія. Разумѣется, мы вмѣстѣ съ нашими обличителями, и дѣльными, и дешевыми, отвер-

гаемъ и гнилость иныхъ наносныхъ осадковъ, и исконной грязи. Мы рвемся къ обновленію ужь, конечно, не меньше ихъ. Но мы не хотимъ вмѣстѣ съ грязью и выбросить золота; а жизнь и опытъ убѣдили насъ, что оно есть въ землѣ нашей, свое, самородное, что залегаетъ оно въ естественныхъ, родовыхъ основаніяхъ русскаго характера и обычая, что спасенье въ почвѣ и народѣ. Этотъ народъ не даромъ отстоялъ свою самостоятельность. Надъ нимъ глумятся иные дешевые критики; говорятъ, что онъ ничего не сдѣлалъ, ни къ чему не пришелъ. Вольно-жь не видать. Это-то мы и хотимъ указать, что онъ сдѣлалъ. Это укажутъ и послѣдствія, разовьется и наука; мы вѣримъ въ это. Ужь одно то, что онъ отстоялъ себя втеченіе многихъ вѣковъ, что на его мѣстѣ другой народъ, послѣ такихъ испытаній, которыя тысячу разъ посылало ему провидѣніе, можетъ быть, давно сталъ-бы чѣмъ нибудь вродѣ какихъ нибудь чукчей. Пусть на немъ много грязи. Но въ его взглядахъ на жизнь, въ иныхъ его родовыхъ обычаяхъ, въ иныхъ уже сложившихся основаніяхъ общества и общины, есть столько смысла, столько надежды въ будущемъ, что западные идеалы не могутъ къ намъ подойти беззавѣтно. Не подойдутъ и потому, что не нашимъ племенемъ, не нашей исторіей они выжиты, что другія обстоятельства были при созданіи ихъ и что право народности есть сильнѣе всѣхъ правъ, которыя могутъ быть у народовъ и общества. Это аксіома слишкомъ извѣстная. Неужели повторять ее? Неужели повторять и то, что считающіе народъ несостоятельнымъ, готовы только обличать его за грязь и уродство, считающіе его неспособнымъ къ самостоятельности, уже тѣмъ самымъ про себя презираютъ его? Въ сущности, одинъ только нашъ журналъ признаетъ вполнѣ народную самостоятельность нашу, даже и въ томъ видѣ, въ которомъ она теперь находится. Мы идемъ прямо отъ нея, отъ этой народности, какъ отъ самостоятельной точки опоры, прямо, какая она ни есть теперь — невзрачная, дикая, двѣсти лѣтъ прожившая въ угрюмомъ одиночествѣ. Но мы вѣримъ, что въ ней-то и заключаются всѣ способы ея развитія. Мы не ходили въ древнюю Москву за идеалами; мы не говорили, что все надо переломить сперва по-нѣмецки и только тогда считать нашу народность за способный матерьялъ для будущаго вѣковѣчнаго зданія. Мы прямо шли отъ того, что есть, и только желаемъ этому что есть наибольшей свободы развитія. При свободѣ развитія мы вѣримъ въ русскую будущность; мы вѣримъ въ самостоятельную возможность ея.

И кто знаетъ, пожалуй насъ назовутъ обскурантами, непонимая, что мы, можетъ быть, несравненно дальше и глубже идемъ, чѣмъ они, обличители наши, доказывая, что въ иныхъ *естественныхъ* началахъ харак-

тера и обычаевъ земли русской несравненно болѣе здравыхъ и жизненныхъ залоговъ къ прогрессу и обновленію, чѣмъ въ мечтаніяхъ самихъ горячихъ обновителей запада, уже осудившихъ свою цивилизацію и ищущихъ изъ нея исхода. Возьмемъ хоть одинъ изъ многихъ примѣровъ. Тамъ, на западѣ, за крайній и самый недостижимый идеаль благополучія считается то, что у насъ уже давно есть на дѣлѣ, въ дѣйствительности, но только въ естественномъ, а не въ развитомъ, не въ правильно организованномъ состояніи. У насъ существуетъ, на примѣръ, такъ, что кромѣ ограниченнаго числа мѣщанъ и бѣдныхъ чиновниковъ никто не долженъ бы родиться бѣднымъ. Всякая душа, чуть выйдетъ изъ чрева матери, уже приписана къ землѣ, уже ей отрѣзанъ клочекъ земли въ общемъ владеніи и съ голоду она умереть не должна-бы. Если-же у насъ, несмотря на то, столько бѣдныхъ, такъ вѣдь это единственно потому, что эти народныя начала до сихъ поръ оставались въ естественномъ, въ неразвитомъ состояніи, даже не удостоивались вниманія передовыхъ людей нашихъ. Но съ 19 февраля уже началась новая жизнь. Мы жадно встрѣчаемъ ее.

Мы долго сидѣли въ бездѣйствіи, какъ будто заколдованные страшной силой. А между тѣмъ въ нашемъ обществѣ начала сильно проявляться жажда жить. Черезъ это-то самое желаніе жить общество и дойдетъ до настоящаго пути, до сознанія, что безъ соединенія съ народомъ оно одно ничего не сдѣлаетъ. Но только чтобъ безъ скачковъ и безъ опасныхъ salto-mortale совершился этотъ выходъ на настоящую дорогу. Мы первые желаемъ этого. Оттого-то мы и желаемъ благовременнаго соединенія съ народомъ. Но во всякомъ случаѣ, лучше прогрессъ и жизнь, чѣмъ застои и тупой безпробудный сонъ, отъ котораго все коченѣетъ и все парализуется. Въ нашемъ обществѣ уже есть энтузіазмъ, есть святая, драгоценная сила, которая жаждетъ примѣненія и исхода. И потому дай Богъ, чтобъ этой силѣ былъ данъ какой-нибудь законный, нормальный исходъ. Разумѣется, свобода, данная этому выходу, хотя-бы въ свободномъ словѣ, сама себя регуляризировала-бы, сама себя судила бы и законно, нормально направила. Мы искренно ждемъ и желаемъ того.

Намъ кажется, что съ нынѣшняго года наша прогрессивная жизнь, нашъ прогрессизмъ (если можно такъ выразиться) долженъ принять другія формы, и даже въ иныхъ случаяхъ и другія начала. Необходимость народнаго элемента въ жизни становится очевидной и ощутительной. Иначе не будетъ основанія, не будетъ поддержки ни для чего, ни для какихъ благихъ начинаній. Это слишкомъ очевидно, и на дѣлѣ въ этомъ согласны и прогрессисты и консерваторы.

Мы уважаемъ всякое благородное начинаніе; въ наше время, когда все запуталось и когда повсемѣстно возникаетъ споръ объ основаніяхъ и

принципахъ, мы стараемся смотрѣть какъ можно шире и безпристрастиѣ, не впадая въ безличность, потому что имѣемъ свои собственныя убѣжденія, за которыя горячо стоимъ. Но виѣсть съ тѣмъ и всѣмъ сердцемъ сочувствуемъ всему, чтѣ искренно и честно.

Но мы ненавидимъ пустыхъ, безмозглыхъ крикуновъ, позорящихъ все, до чего они ни дотронутся, марающихъ иную чистую, честную идею уже однимъ тѣмъ, что они въ ней участвуютъ; свистуновъ, свистящихъ изъ хлѣба и только для того, чтобъ свистать; выѣзжающихъ верхомъ на чужой, украденной фразѣ, какъ верхомъ на палочкѣ, и подхлестывающихъ себя маленькимъ вnutикомъ рутиннаго либерализма. Убѣжденія этихъ господъ имъ ничего не стоятъ. Не страданіемъ достаются имъ убѣжденія. Они ихъ тотчасъ же и продадутъ за что купили. Они всегда со стороны тѣхъ, кто сильнѣе. Тутъ одни слова, слова и слова, а намъ довольно словъ; пора ужъ и синицу въ руки.

Мы не боимся авторитетовъ и презираемъ лакейство въ литературѣ; а этого лакейства у насъ еще много, особенно въ послѣднее время, когда все въ литературѣ поднялось и замутилось. Скажемъ еще одно слово: мы надѣемся, что дублика въ эти два года убѣдилась въ безпристрастїи нашего журнала. Мы особенно этимъ гордимся. Мы хвалимъ хорошее и во враждебныхъ намъ изданіяхъ и никогда изъ кумовства не похвалили худаго у друзей нашихъ. Увы! неужели такую простую вещь приходится въ наше время ставить себѣ въ заслугу?..

Мы стоимъ за литературу, мы стоимъ и за искусство. Мы вѣримъ въ ихъ самостоятельную и необходимую силу. Только самый крайній теоретизмъ и съ другой стороны самая пошлая бездарность могутъ отрицать эту силу. Но бездарность, рутина отрицаютъ съ чужаго голоса. Имъ съ руки невѣжество. Не за искусство для искусства мы стоимъ. Въ этомъ отношенїи мы достаточно высказались. Да и беллетристическія произведенія, помѣщенныя нами, достаточно это доказываютъ.

Мы не станемъ говорить здѣсь о тѣхъ улучшеніяхъ, какія намѣрены сдѣлать въ будущемъ году. Читатели ихъ сами замѣтятъ.

Вотъ наша программа.

Слѣдуетъ программа, напечатанная выше (см. „Матеріалы“, стр. 193).

(Подпись цензора: 14 сентября 1862 г.).

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ НА ЖУРНАЛЪ „ЭПОХА“ 1865 Г. *)

Изданіе „Эпохи“, журнала литературнаго и политическаго, будетъ продолжаться въ будущемъ 1865 году семействомъ покойнаго Михаила Михайловича Достоевскаго. „Эпоха“ будетъ выходить по прежнему, разъ въ мѣсяць, въ прежней программѣ, въ объемѣ нашихъ ежемѣсячныхъ журналовъ, т. е. отъ 30 до 35 листовъ большаго формата въ каждой книгѣ.

Собственники журнала принимаютъ въ изданіи его непосредственное участіе.

Всѣ прежніе всегдашніе сотрудники покойнаго редактора, и почти всѣ тѣ писатели, которые помѣщали свои произведенія въ изданіяхъ М. Достоевскаго (Гг. Порѣцкій, Аверкіевъ, Страховъ, М. Владиславлевъ, Ахшарумовъ, А. А. Головачовъ, Долгомостьевъ, Островскій, Плещеевъ, Полонскій, Милюковъ, Ф. Достоевскій, Бабиковъ, Фатѣевъ, Майковъ, Тургеневъ и многіе другіе) по прежнему будутъ помѣщать свои труды въ „Эпохѣ“.

Изъ нихъ, А. Н. Островскій положительно обѣщалъ намъ въ будущемъ году свою комедію. И. С. Тургеневъ увѣдомилъ насъ, что первая написанная имъ повѣсть будетъ помѣщена въ нашемъ журналѣ. Ф. М. Достоевскій, кромѣ постояннаго, непосредственнаго своего участія въ „Эпохѣ“, помѣститъ въ ней въ будущемъ году свой романъ. Журналъ постоянно расширяетъ кругъ своихъ сотрудниковъ.

Направленіе журнала неуклонно остается прежнее. Разработка и изученіе нашихъ общественныхъ и земскихъ явленій, въ направленіи русскомъ, національномъ, по прежнему будутъ составлять главную цѣль нашего изданія. — Мы по прежнему убѣждены, что не будетъ въ нашемъ

*) „Эпоха“ 1864 г. № 8.

обществѣ никакого прогресса, прежде чѣмъ мы не станемъ сами настоящими русскими. Признакъ-же настоящаго русскаго теперь, это — знать то, что именно теперь надо не бранить у насъ на Руси. Не хулить, не осуждать, а любить умѣть — вотъ что надо теперь наиболѣе настоящему русскому. Потому что кто способенъ любить и не ошибается въ томъ, что именно ему надо любить на Руси — тотъ ужъ знаетъ, что и хулить ему надо; знаетъ безошибочно и чего пожелать, что осудить, о чемъ сѣтовать, и чего домогаться ему надо; и полезное слово умѣетъ онъ лучше и понятнѣе всякаго другаго сказать, — полезнѣе всякаго присяжнаго обличителя. Многое научились мы бранить въ нашемъ отечествѣ, и иногда, надо отдать справедливость, довольно остроумно и какъ будто даже и жѣтко бранились. Чаше-же всего городили ужаснѣйшій вздоръ, за который покраснѣють за насъ грядущія поколѣнія. Но зато мы до сихъ поръ не научились и, почти сплошь, не знаемъ того, что именно должно не бранить на Руси. За это и насъ никто не похвалитъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ мы наиболѣе всѣ ошибаемся и въ чемъ всѣ до ярости несогласны другъ съ другомъ? Въ томъ: что именно у насъ есть хорошаго? Еслибъ намъ только удалось согласиться въ этомъ пунктѣ, мы-бъ тотчасъ-же согласились и въ томъ, что у насъ есть не хорошаго. Неумѣлость эта — опасный и червивый признакъ для общества. Вотъ отчего насъ (т. е. общество) до сихъ поръ и не понимаетъ народъ. Народъ и мы — любимъ розно; вотъ въ чемъ нашъ главный пунктъ раздѣленія. — Понятно и смѣшно другимъ стало наше выраженіе: „почва“. Почва вообще есть то, за что всѣ держатся и на чемъ всѣ укрѣпляются. Ну, а держатся только того что любятъ. А что мы любимъ и умѣемъ любить теперь въ Россіи искренно, непосредственно, всѣмъ существомъ нашимъ? Что намъ въ ней теперь дорого? Развѣ не за стыдъ, не за ретроградство считаютъ у насъ до сихъ поръ идею о томъ, что мы — сами по себѣ, что мы своеобразны, *своеисторичны*? Развѣ не за принципъ науки считаютъ у насъ, что національность, *въ смыслъ высшаго преуспѣанія*, есть нѣчто въ родѣ болѣзни, отъ которой избавить насъ всестирающая цивилизація?

По нашему убѣжденію, какъ-бы ни была плодотворна сама по себѣ чья нибудь захожая къ намъ идея, но она лишь тогда только могла-бы у насъ оправдаться, утвердиться и принести намъ дѣйствительную пользу, когда-бы сама національная жизнь наша, безо всякихъ внушеній и рекомендацій извнѣ, сама собой выжила эту идею, естественно и практически, вслѣдствіе практически сознанный всѣми ея необходимости и потребности. Ни одна въ мірѣ національность, ни одно сколько нибудь прочное государственное общество, еще никогда не составлялись доселѣ по предвари-

тельно рекомендованной и заимствованной откуда нибудь извнѣ программѣ. Все живое составлялось само собой и жило въ самомъ дѣлѣ, въ правду. Всѣ лучшія идеи и постановленія запада были выжиты у него самостоятельно, рядомъ вѣковъ, вслѣдствіе органической, непосредственной и постепенной необходимости. Тѣ, которые начинали въ Англіи парламентъ, ужь конечно не знали, во что онъ обратится впослѣдствіи. Отчего-же обличители наши отказываютъ намъ въ собственной, своеобразной жизни и смѣются надъ выраженіями нашими: „органическая, почвенная, самостоятельная жизнь?“ Но смѣясь свысока, они то и дѣло ошибаются сами и путаются въ современныхъ явленіяхъ нашей національной жизни, не зная какъ и опредѣлить ихъ: органическими или наносными, хорошими или дурными, здоровыми или червивыми? Они до того теряютъ точность въ опредѣленіяхъ, что даже начинаютъ бояться опредѣленій и все чаще и чаще спасаются въ отвлеченность. Все болѣе и болѣе нарушается въ заболѣвшемъ обществѣ нашемъ понятіе о злѣ и добрѣ, о вредномъ и полезномъ. Кто изъ насъ, по совѣсти, знаетъ теперь, что *зло* и что *добро*. Все обратилось въ спорный пунктъ и всякій толкуетъ и учитъ по своему. Говоря это, мы не выставляемъ, разужьется, себя безошибочными и всезнающими; напротивъ, мы, такъ же какъ и всѣ, можемъ гордиться вздоръ, совершенно искренно и добросовѣстно. Мы не попрекая говорили сейчасъ; мы сокрушаясь говорили. Но намъ всетаки кажется, что наша точка зрѣнія даетъ возможность вѣрнѣе и безошибочнѣе разузнать и точнѣе распредѣлить то, что кругомъ насъ происходитъ (мы не журналъ нашъ хвалимъ теперь, мы точку зрѣнія хвалимъ). На такой точкѣ зрѣнія мы уже не можемъ, напригѣръ, оставаться въ недоумѣніи передъ недавними фактами нашей національной жизни, не зная какъ отнестись къ нимъ, т. е. и за общечеловѣческія наши убѣжденія боясь, и неотразимый фактъ проглядѣть боясь, — сбиваясь и путаясь и на всякой случай наблюдая благоразумное вліяніе туда и сюда.

Ни одна земля отъ своей собственной жизни не откажется и скорѣе захочетъ жить туго, но всетаки жить, чѣмъ жить по чужому и совсѣмъ не жить. Мудрецы и реформаторы являлись въ народахъ тоже органически и имѣли успѣхъ не иначе, какъ только когда состояли въ органической связи съ своими народами. Говорятъ, въ то время, когда шло у насъ дѣло объ улучшеніи быта нашихъ крестьянъ, одинъ французскій префектъ заявилъ и свой проектъ изъ Франціи. По его мнѣнію выходило, что ничего нѣтъ легче какъ дѣло освобожденія; что стоитъ только издать указъ, состоящій въ томъ, что всѣ живущіе родятся въ русской землѣ, съ такого-то года и съ такого-то числа, родятся свободными. Ет

c'est tout. И удобно и гуманно. Надъ этимъ французомъ у насъ смѣялись, — совершенно напрасно по нашему. Во первыхъ, онъ, разумеется, рѣшилъ по своему, по духу и идеалу своей націи, и не могъ быть въ своемъ рѣшеніи не французомъ. По убѣжденію-же француза человѣкъ безъ земли, пролетарій — всетаки можетъ считаться свободнымъ человекомъ. По русскому, основному, самородному понятію не можетъ быть русскаго человѣка безъ общаго права на землю. Западная наука и жизнь доросли только до личнаго права на собственность, слѣдственно чѣмъ-же былъ французъ виноватъ? Чѣмъ же онъ виноватъ, когда мы сами наше братское, широкое понятіе о правѣ на землю, за низшую степень экономическаго развитія по западной наукѣ считаемъ? А во вторыхъ, чѣмъ выше этого француза наши собственные журнальные мыслители и теоретики?— Всякая здоровая и земская сила вѣритъ въ себя и въ свою правду и это есть самый первый признакъ здоровья народнаго. Эта народная вѣра въ себя и въ собственные силы, — вовсе не застой, а напротивъ залогъ жизненности и энергіи жизни и отнюдь не исключаетъ прогресса и преуспѣянія. Безъ этой вѣры въ себя не устоялъ-бы, на примѣръ, впродолженіе вѣговъ бѣлорусскій народъ и не спасъ-бы себя никогда. — Народъ, какъ-бы ни былъ онъ грубъ, не станетъ упорствовать въ дряни, если только самъ создастъ, что это дрянь, и будетъ имѣть возможность измѣнить ее по своему собственному распоряженію и усмотрѣнію. Отъ науки тоже никогда народъ самъ собой не отказывается. Напротивъ, если кто искренно чтитъ науку, такъ это народъ. Но тутъ опять то-же условіе: надо непременно, чтобъ народъ самъ, путемъ совершенно самостоятельнаго жизненнаго процесса дошелъ до этого почитанія. Тогда онъ самъ къ вамъ придетъ и попроситъ себя научить. Иначе и науку онъ не приметъ отъ васъ и отъ дряни своей никогда не откажется. Народъ-же выживаетъ свои выводы практически, на примѣрахъ. А чтобы имѣть собственный, неоспоримый примѣръ, надо жить самостоятельно, надо натолкнуться на этотъ примѣръ настоящей практической жизнию. Итакъ что-же выходитъ? Выходитъ, что не надо посягать на самостоятельность жизни національной, а, напротивъ, всѣми силами расширять эту жизнь и какъ можно болѣе стоять за ея самобытность и оригинальность. Нашъ русскій прогрессъ не иначе можетъ опредѣлиться и хотъ чѣмъ нибудь заявить себя, какъ только по мѣрѣ развитія національной жизни нашей и пропорціонально расширенію круга ея самостоятельной дѣятельности, какъ въ экономическомъ, такъ и въ духовномъ отношеніи, — пропорціонально постепенности освобожденія ея отъ вѣковой ея въ себѣ замкнутости. Повторяемъ, — вотъ къ чему прежде всего надо стремиться и чему надо способство-

вать. До тѣхъ поръ будетъ у насъ на виду одно только смѣшеніе языковъ въ нашемъ образованномъ обществѣ и чрезвычайное духовное его безсиліе. Мы видимъ какъ исчезаетъ наше современное поколѣніе, само собою, вяло и безслѣдно, заявляя себя странными и невѣроятными для потомства признаніями своихъ „лишнихъ людей“. Разумѣется, мы говоримъ только объ избранныхъ изъ „лишнихъ“ людей (потому что и между „лишними“ людьми есть избранные); бездарность-же и до сихъ поръ въ себя вѣрить и, досадно, не замѣчаетъ какъ уступаетъ она дорогу новымъ, невѣдомымъ здоровымъ русскимъ силамъ, вызываемымъ, наконецъ, къ жизни въ настоящее царствованіе. И славу Богу!

Конечно, всѣ мы, въ нашей литературѣ, всѣ, кромѣ весьма немногихъ, вообще говоря — любимъ Россію, желаемъ ей преуспѣянія и всѣ ищемъ для нея того, чтò лучше. Одно только жаль: всѣ мы желаемъ и ищемъ каждый по своему и распозались въ разныхъ „направленіяхъ“ какъ раки изъ кульба. Почти всѣ у насъ ссорятся и перессорились. Правда, ничего болѣе намъ не оставалось и дѣлать въ качествѣ уединенныхъ людей и покажѣть никому ненадобныхъ и никѣмъ не прошенныхъ. Но всетаки, если проявлялись гдѣ признаки самостоятельной жизни въ нашемъ обществѣ (т. е. собственно въ образованномъ обществѣ), то ужь, конечно, наиболѣе въ литературѣ. Вотъ почему мы, не смотря на смѣшеніе языковъ и понятій и на всеобщія ссоры, всетаки смотримъ на нашу литературу съ уваженіемъ, какъ на явленіе жизненное и въ своемъ родѣ — совершенно органическое. — Осуждая другихъ въ ссорахъ и распряхъ, мы не думаемъ исключить и себя; мы тоже не избѣжали своей участи; не извиняемся и не оправдываемся; скажемъ одно: мы всегда дорожили не верхомъ въ спорѣ, а истиной. Конечно, и ловкія спекуляціи на убѣжденія уже водятся въ нашей литературѣ; но въ сущности, даже и тутъ — болѣе явленій смѣшныхъ, чѣмъ серьезныхъ; болѣе комическихъ исторій, раздраженныхъ самолюбій и напрашивающихся въ карикатуру претензій, чѣмъ истинно-грустныхъ и позорныхъ фактовъ. Мы общаемся внимательно слѣдить за ходомъ и развитіемъ нашей литературы и обращать вниманіе на все, по нашему мнѣнію, значительное и выдающееся. Мы не будемъ избѣгать и споровъ и серьезной полемики, и готовы даже преслѣдовать то, что считаемъ вреднымъ нашему общественному сознанію; но *личной* полемики мы положительно хотимъ избѣгать, хотя и не утверждаемъ, что до сихъ поръ не были сами въ ней, хотя-бы и невзначай, виноваты. Мерзавъ это намъ и не понимавъ мы какъ можно позорить бранью и сознательной клеветой людей (да что рѣшится нѣкоторые), за то только, что тѣ не-то
съ нами въ индѣяхъ. Хвалить дурное и

оправдывать его *изъ за принципа* мы не можемъ и не хотимъ. Издавать журналъ такъ, чтобы всѣ отдѣлы его пристрастно составлять изъ однихъ *подходящихъ* фактовъ; видѣть въ данномъ явленіи только то, что намъ хочется видѣть, а все прочее игнорировать и умышленно устраниать; называть это „*направленіемъ*“ и думать, что это и правильно и безпристрастно и честно, — мы тоже не можемъ. Не такъ разумѣемъ мы *направленіе*. Мы не боимся изслѣдованія, свѣту и ходячихъ авторитетовъ. — Мы всегда готовы похвалить хорошее даже у самыхъ яростныхъ нашихъ противниковъ. — Мы всегда тоже готовы искренно сознаться въ томъ, въ чемъ мы ошибались, тотчасъ-же, какъ намъ это доважутъ.

„Эпоха“, съ самаго начала своего существованія, подверглась большимъ и неожиданнымъ неудачамъ. Во первыхъ, она вышла поздно; покойный издатель объявилъ объ изданіи своего журнала только въ февралѣ нынѣшняго 1864 г. Первые два номера, въ одной книгѣ, могли выйти не ранѣе 20 марта. Слѣдственно журналъ опоздалъ съ самаго начала. Покойный издатель обѣщалъ войти въ сроки и непременно-бы сдержалъ свое слово; для этого онъ имѣлъ передъ собой девять мѣсяцевъ и сдѣлалъ-бы это, постепенно, не торопясь и такимъ образомъ не вреда составу номеровъ журнала успѣшностью.

Но неожиданная болѣзнь и смерть его совершенно остановили изданіе почти на полтора мѣсяца. Образовавшаяся, наконецъ, редакція увидѣла вдругъ передъ собой бездну новыхъ трудностей, которыя должна была преодолевать.

Во первыхъ опоздали поневолѣ вдвойнѣ противъ прежняго.

Во вторыхъ, — письменныя сношенія журнала, нѣсколько сотъ рукописей, хранящихся въ конторѣ журнала, — все это было незнакомо, неизвѣстно; все это предстояло разобрать и распутать, иногда совершенно безо всякой руководящей нити. Переписка съ иногородными увеличилась, усложнилась. Прежнія рѣшенныя дѣла требовали объясненія, провѣрки, новыхъ рѣшеній. Рукописи требовали новаго разбора и новаго съ ними знакомства. Не говоримъ уже о чисто-матеріальныхъ препятствіяхъ и заботахъ, которыя однакоже всѣ требовали настоятельнаго и скорѣйшаго разрѣшенія и отнимали время у редакціи. Тѣмъ не менѣе редакція поставила себя въ обязанность ввести журналъ въ срокъ. Сентябрьскій и октябрьскій номера будутъ печататься разомъ въ двухъ типографіяхъ и выйдутъ оба въ ноябрѣ мѣсяцѣ. Ноябрьскій и декабрьскій выйдутъ въ декабрѣ. Январскій № будущаго 1865 г. выйдетъ *непрѣменно* въ январѣ. Придать дѣлу такой усиленный ходъ редакція не могла съ самаго

начала; она должна была сперва обезпечить почти всѣ отдѣлы журнала, не повредивъ ему успѣшностию.

Редакція обратитъ особенное вниманіе на разсылку своего журнала въ губерніи и доставку его подписчикамъ. Хотя жалобъ на неправильную доставку книгъ получалось въ редакціи не болѣе, чѣмъ въ прежнее время, но тѣмъ не менѣе редакція сознается, что должны быть произведены улучшенія, и она непремѣнно займется ими.

(Подписано цензоромъ 22 октября 1864 года).

ПОСЛѢДНЯЯ СТРАНИЧКА *).

Во время трехмѣсячнаго перерыва, мы, въ свое время, въ іюлѣ мѣсяцѣ, получили за подписью „Друга Кузьмы Пруткова“ нижеслѣдующій фельетонъ, настоящій смыслъ котораго, признаться, для насъ не совсѣмъ ясенъ; притомъ же мы нѣсколько не вѣримъ рассказанному событію, тѣмъ болѣе, что и пруда на Елагиномъ острову, по отзыву знатоковъ, не оказывается. Во всякомъ случаѣ мы не совсѣмъ понимаемъ, что сей сонъ значитъ, но однако помѣщаемъ его.

Ред.

ИЗЪ ДАЧНЫХЪ ПРОГУЛОКЪ КУЗЬМЫ ПРУТКОВА И ЕГО ДРУГА.

Тритонъ.

Вчера, 27-го іюля, на Елагиномъ островѣ, на закатѣ солнца, въ прелестное тихое время, вся гуляющая великосвѣтская публика была невольною свидѣтельницею забавнаго приключенія. На поверхности пруда вдругъ показался выплывшій Тритонъ, по русски водяной, съ зелеными влажными волосами на головѣ и бородѣ, и, удерживаясь на волнахъ, началъ играть и выдѣлывать разныя штуки. Онъ нырялъ, вскрикивалъ, смѣялся, плескался водой, стучалъ своими длинными и ерѣпками зелеными зубами, скрежеща ими на публику. Появленіе его произвело обычное въ такихъ случаяхъ впечатлѣніе. Дамы бросились къ нему со всѣхъ сторонъ кормить его конфетами, протягивая къ нему свои бонбоньерки. Но миеологическое существо, выдерживая древній характеръ водянаго сатира, принялось вы-

*) Изъ журнала „Гражданинъ“ № 23—25, за 1878 г.

дѣлывать передъ дамами такія тѣлодвиженія, что всѣ онѣ бросились отъ него съ визгливымъ смѣхомъ, прача за себя своихъ наиболѣе взрослыхъ дочерей, на что водяной, видя это, крикнулъ имъ вслѣдъ нѣсколько весьма и весьма безцеремонныхъ выраженій, что усугубило веселость. Онъ скоро, впрочемъ, исчезъ, оставивъ по себѣ на поверхности воды лишь нѣсколько водяныхъ круговъ, а въ публикѣ недоумѣніе. Стали сомнѣваться и не вѣрить, хотя видѣли собственными глазами, — конечно мужчины, дамы же всѣ стояли за то, что это былъ настоящій Тритонъ, точъ въ точъ какъ бывають на столовыхъ бронзовыхъ часахъ. Нѣкоторые выразили мысль, что это будто-бы какой-то Пьеръ Бобо, всплывшій для оригинальности. Разумѣется, предположеніе не устояло, потому что Пьеръ Бобо всплылъ бы непременно во фракъ — и въ фюколяхъ, хотя бы и мокрыхъ. Тритонъ же былъ точъ въ точъ какъ ходили древнія статуи, т. е. безъ малѣйшей одежды. Но явились скептики, которые начали даже утверждать, что все происшествіе есть ничто иное какъ политическая аллегорія и тѣсно связано съ восточнымъ вопросомъ, только лишь разрѣшившимся въ данную минуту на берлинскомъ конгрессѣ.

Нѣсколько минутъ продолжалась даже идея, что это англійскія штуки и что все это продѣлываетъ все тотъ же великій жидъ *) для британскихъ интересовъ съ хитрою цѣлью отвлечь нашу публику, начиная съ дамъ, рядомъ эстетически шаловливыхъ картинъ отъ воинственнаго задора. Немедленно, впрочемъ, поднялись возраженія, основанныя на томъ, что лордъ Биконсфильдъ теперь за границей, что его теперь встрѣчаютъ въ Лондонѣ, и что слишкомъ много намъ русскихъ медвѣдячьести, чтобъ дѣлать самъ залѣзъ въ русскій прудъ для эстетическаго наслажденія нашихъ дамъ съ политическими цѣлями, что у него и безъ того своя дама въ Лондонѣ и проч. и проч. Но слѣпота и азартъ нашихъ дипломатовъ неудержимы: начали кричать, что если не самъ Биконсфильдъ, то почему же не быть господину Полетикѣ, издателю „Виржевыхъ Вѣдомостей“, жаждущему мира, и что именно его-то могли бы избрать англичане для представленія Тритона. Но и это все быстро рухнуло въ томъ соображеніи, что хотя господинъ Полетика, можетъ быть, и способенъ на тѣлодвиженія, но всетаки безъ достаточной античной граціи, изъ за которой все прощается, и которая одна могла бы прельстить нашихъ дачницъ. Подоспѣлъ притомъ какой-то господинъ, который какъ разъ сообщилъ, что господина Полетика видѣли въ томъ же самомъ часу совѣтъ на противоположномъ краю Петербурга въ одномъ мѣстѣ. Такимъ образомъ

*) Разумѣется, лордъ Биконсфильдъ.

предположеніе объ античномъ Тритонѣ всплыло опять на поверхность, не смотря на то, что самъ Тритонъ давно уже сидѣлъ въ водѣ. Замѣчательнѣе всего, что за античность и миеологичность Тритона особенно стояли дамы. Имъ чрезвычайно этого хотѣлось, конечно для того, чтобъ прикрыть откровенность своего вкуса, такъ сказать, классицизмомъ его содержанія. Такъ точно мы ставимъ въ наши комнаты и сады раздѣтныя совершенно статуй, именно потому, что это миеологическія, а слѣдовательно и классическія антики, и однако не подумаемъ вмѣсто статуй поставить напри- мѣръ обнаженныхъ слугъ, что еще можно было сдѣлать во времена крѣпостнаго права; даже и теперь можно, и тѣмъ скорѣе, что слуги исполнили бы все это не только не хуже, но даже и лучше статуй, потому что они во всякомъ случаѣ натуральнѣе. Вспомните тезисъ о яблोकѣ натуральномъ и яблोकѣ нарисованномъ. Но такъ какъ не будетъ миеологичности, то этого и нельзя. Споръ зашелъ на почвѣ чистаго искусства такъ далеко, что, говорятъ, былъ даже причиною нѣсколькихъ семейныхъ ссоръ мужей съ своими прекрасными половинами, стоявшими за чистое искусство, въ противоположность политическому и современному направленію, которое мужья ихъ усматривали въ совершившемся фактѣ. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ имѣло особенный и почти колоссальный успѣхъ мнѣніе извѣстнаго нашего сатирика, г. Щедрина. Бывъ тутъ же на гуляньи, онъ не повѣрилъ Тритону, и, рассказывали мнѣ, хотѣлъ включить весь эпизодъ въ слѣдующій же номеръ „Отечественныхъ Записокъ“ въ отдѣлѣ „Умѣренности и Аккуратности“. Взглядъ нашего юмориста очень тонокъ и чрезвычайно оригиналенъ: онъ полагаетъ, что всплывшій Тритонъ просто на просто переодѣтый, или, лучше сказать, раздѣтый до нага квартальный, отраженный еще до начала сезона, тотчасъ же послѣ весеннихъ нашихъ петербургскихъ волнеій, на все лѣто въ прудъ Елагинскаго острова, на берегахъ котораго столь много гуляетъ дачниковъ, для подслушанія изъ воды преступныхъ разговоровъ, буде таковыя окажутся. Догадка эта произвела впечатлѣніе потрясающее, такъ что даже дамы перестали спорить и задумались. Къ счастью, извѣстный нашъ историческій романистъ г. Мордовцевъ, случившійся тутъ-же, сообщилъ одинъ историческій фактъ изъ исторіи нашей Сѣверной Пальмиры, никому неизвѣстный, всѣми забытый, но изъ котораго оказалось яснымъ, что всплывшее существо—настоящій Тритонъ и сверхъ того совершенно древній. По свѣденіямъ г. Мордовцева, добытымъ изъ древнихъ рукописей, этотъ самый Тритонъ доставленъ былъ въ Петербургъ еще во времена Анны Монсъ, единственно чтобъ понравиться которой Петръ, какъ извѣстно г-ну Мордовцеву, совершилъ свою великую реформу. Античное чудище привезено

было вмѣстѣ съ двумя карликами, бывшими тогда въ чрезвычайной модѣ, и шутомъ Балакиревымъ. Все это привезено было изъ нѣмецкаго городка Карлсруэ, Тритонъ же въ кадкѣ съ карлсруйской водой для того, чтобы по переходѣ въ Елагинъ прудъ могъ тотчасъ-же найти около себя сопровождающую его стихію. Но когда опрокинули въ прудъ карлсруйскую кадку, то злой и насмѣшливый Тритонъ, не смотря на то, что за него такъ дорого заплатили, нырнулъ въ воду и ни разу потомъ не появился на поверхности, такъ что о немъ всё забыли до самаго іюля сего года, когда ему вдругъ почему-то вздумалось о себѣ напомнить. Въ прудахъ же они могутъ жить припѣваючи по нѣскольку даже вѣковъ. Нивогда ученое сообщеніе не принималось публикою съ такимъ восторгомъ какъ это. Позже всѣхъ пришли русскіе естественные ученые, иные даже съ другихъ острововъ: гг. Сѣменовъ, Менделѣевъ, Бекетовъ, Бутлеровъ и tutti quanti. Но они застали лишь вышеупомянутые круги на водѣ да умножившійся скептицизмъ. Конечно, они не знали на что рѣшиться и стояли какъ потерянные, на всякій случай отрицая явленіе. Всѣхъ болѣе заслужилъ симпатіи одинъ очень ученый профессоръ зоологій: онъ пришелъ позже всѣхъ, но въ совершенномъ отчаяніи. Онъ бросался на всѣхъ и ко всѣмъ, разспрашивалъ о Тритонѣ съ жадностью и почти плакалъ, что его не увидитъ и что зоологія и свѣтъ потеряли такую тему! Но окружающіе городовые отвѣчали нашему зоологу не могу-знаньемъ, военные смѣялись, биржевики смотрѣли свысока, а дамы, какъ трещотки, окруживъ профессора, сообщали ему лишь о тѣлодвиженіяхъ, такъ что нашъ скромный ученый принужденъ былъ, наконецъ, заткнуть себѣ пальцами уши. Горестный профессоръ тыкалъ палочкой въ воду близъ того мѣста, гдѣ скрылся Тритонъ, бросалъ маленькими камушками, выкрикивалъ: „кусь, кусь, сахарцу дамъ!“ но все тщетно, — Тритонъ не выплылъ... Впрочемъ, всё остались довольны... Прибавьте ко всему прелестный лѣтній вечеръ, заходящее солнце, дамскіе обтянутые туалеты, сладостное ожиданіе мира во всѣхъ сердцахъ и вы дорисуете сами картину. Замѣчательно, что Тритонъ проговорилъ сказанныя имъ нѣсколько въ высшей степени нецензурныхъ словъ на чистѣйшемъ русскомъ языкѣ, не смотря на то, что онъ по происхожденію нѣмецъ, да сверхъ того еще родился гдѣ нибудь въ древнихъ Аѳинахъ, вмѣстѣ съ тогдашней Минервой. Кто-же научилъ его по русски — вотъ вопросъ? Да-съ, Россію такъ начинаютъ изучать въ Европѣ! По крайней мѣрѣ оживилъ собою общество, заснувшее было подъ шумъ войны, всѣхъ уснившей, и разбудилъ его для внутреннихъ вопросовъ. И за то спасибо! Въ этомъ смыслѣ надо-бы желать не одного, а

и не только

въ Невѣ, но и въ Москвѣ-рѣкѣ *), и въ Кіевѣ, и въ Одессѣ, и вездѣ, во всякой даже деревнѣ. Въ этомъ смыслѣ ихъ даже можно-бы разводить нарочно: пусть будятъ общество, пусть всплываютъ... Но довольно, довольно! Будущее впереди. Мы вдыхаемъ новый воздухъ всею новою, жаждущею вопросовъ грудью, такъ что, можетъ быть, все это устроится само собой вмѣстѣ съ русскими финансами.

(Сообщено).

Другъ Кузьмы Пруткова.

*) Въ этой рѣкѣ особенно.

УЧАСТІЕ И ПОМИНКИ Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО ВЪ СЛАВЯНСКОМЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМЪ ОБЩЕСТВѢ.

Въ члены „Славянскаго Комитета“, впоследствии переименованнаго въ Славянское Благотворительное Общество, Федоръ Михайловичъ былъ принятъ 1873 г. 21 января *). Въ общемъ собраніи общества, происходившемъ 2 декабря 1878 г., онъ по баллотировкѣ былъ выбранъ въ члены совѣта.

3-го февраля 1880 г. онъ, такимъ же порядкомъ, былъ выбранъ товарищемъ председателя общества.

14-го февраля, въ торжественномъ засѣданіи, онъ читалъ слѣдующій проектъ адреса Государю по случаю 25-лѣтія царствованія.

„Ваше Императорское Величество

„Государь Всемилоостивѣйшій!

„Въ знаменательный и счастливый день 25-ти лѣтія славнаго царствованія Вашего соединяемъ и мы, Славянское Благотворительное Общество, „нашъ слабый голосъ съ многочисленнымъ великимъ голосомъ всего народа „русскаго, привѣтствующаго радостно и любовно добраго Государя своего, „столь искренно свой народъ возлюбившаго. Народъ славить и любитъ „Монарха своего и въ немъ видитъ и чтитъ Отца,—и никто болѣе не въ „состояніи понять и оцѣнить все глубокое и плодотворное значеніе этого „воззрѣнія и этого чувства народнаго, какъ мы, Славянское Общество, не „устанно старающееся познать всѣ великія и основныя идеи жизни русскаго, „и, познавъ, служить имъ. Давно уже среди интеллигентнаго слоя госу-

*) См. книгу: „Первыя 15 лѣтъ существованія С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества“. СПб. 1882.

„дарства нашего, рядомъ съ драгоценнѣйшими плодами науки и просвѣ-
 „щенія, выросли и многочисленные плевелы. Рядомъ съ истинными и горя-
 „чими сердцемъ слугами отечеству явились люди невѣрующіе ни въ народъ
 „русскій, ни въ правду его, ни даже въ Бога его, а вслѣдъ за симъ пришли
 „нетерпѣливые разрушители, невѣжды уже по убѣжденію, отрицающіе не
 „только Бога, но уже и науку, которую еще столь недавно сами же ставили
 „выше самаго Бога, злодѣи искренніе, провозглашающіе мысль о всеразру-
 „шеніи и анархїи и твердо вѣрящіе тому, что какаѣ бы гибель, каковой бы
 „хаосъ ни произошли отъ ихъ кровавыхъ злодѣйствъ, но все таки про-
 „исшедшее будетъ лучше чѣмъ то, что они теперь разрушаютъ. Эти юныя
 „русскія силы, увы, столь искренно заблудившіяся, подпали наконецъ подъ
 „власть силы темной, подземной, подъ власть враговъ имени русскаго, а
 „затѣмъ и всего христіанства. Съ неимовѣрною дерзостью они, еще такъ
 „недавно, произвели неслыханныя въ землѣ нашей злодѣйства, отъ кото-
 „рыхъ содрогнулся негодованиемъ честный и могучій народъ нашъ, а затѣмъ
 „и весь міръ. Мы же, Славянское Общество, стоимъ въ убѣжденіяхъ нашихъ
 „крѣпко и противоположно—и малодушію столь многихъ отцовъ, и дикому
 „безумству дѣтей ихъ, *увѣровавшихъ въ злодѣйство и искренно ему*
 „*поклонившихся*. Мы твердо исповѣдуемъ, что лишь въ нашихъ идеяхъ,
 „во имя которыхъ единимся мы и которымъ служимъ, заключается и правнѣй
 „исходъ всей тоски русской, всего, что стремится русскую жизнь къ великой
 „цѣли, несомнѣнно ей предназначенной. Мы твердо вѣруемъ, что вопросъ
 „Славянскаго общенія, равно какъ и всего Востока, въ конечныхъ цѣляхъ
 „своихъ есть вопросъ и высшаго объединенія духовнаго, есть вопросъ Пра-
 „вославія и великихъ судебъ его уже во всемъ человѣчествѣ. Ибо мы,
 „вмѣстѣ съ великимъ народомъ нашимъ, вѣруемъ и въ то, что Православіе,
 „объединяясь въ народахъ его исповѣдующихъ, явить и въ силахъ явить
 „въ концѣ концовъ, истинный и уже неискаженный ликъ Христовъ даже
 „всему остальному человѣчеству, измученному невѣріемъ и духовнымъ рас-
 „паденіемъ своимъ. Вотъ хотя еще и отдаленное упованіе наше, но все же
 „такое, которое мы исповѣдуемъ неразрывно съ народомъ нашимъ. Мы,
 „наше Славянское Благотворительное Общество, стоимъ убѣжденно за
 „самостоятельность русской мысли и національной силы нашей. А вмѣстѣ
 „съ тѣмъ вѣруемъ и въ древнюю правду, искони проникшую въ душу на-
 „рода русскаго: что Царь его есть и Отецъ его, что дѣти всегда придуть
 „къ Отцу своему безбоязненно, чтобы выслушалъ отъ нихъ съ любовію о
 „нуждахъ ихъ и о желаніяхъ ихъ, что дѣти любятъ Отца своего, а Отецъ
 „вѣритъ любви ихъ, и что отношенія русскаго народа къ Царю-Отцу сво-
 „ему лишь любовно-свободны и безбоязненны, а не мертвенно-формальны

„и договорны. Мы познали, что такъ восхотѣлъ народъ нашъ еще искони
 „и что въ этомъ образѣ Отца и дѣтей заключенъ и весь смыслъ всей исто-
 „рической связи Русской земли съ ея Монархомъ въ продолженіе уже столь-
 „кихъ вѣковъ. А потому вѣруемъ и въ то, что на этой лишь связи, какъ
 „на основаніи неизблѣомъ, и можетъ быть восполненъ и законченъ строй
 „всякихъ будущихъ преобразованій государства нашего, по мѣрѣ того
 „сколько будутъ они признаваемы необходимыми, ибо основаніе это есть
 „живое и дѣйствительное, живущее въ сердцѣ народа, а не мечтательное
 „и придуманное, не заимствованное изъ жизни чужихъ народовъ и съ чу-
 „жого голоса. Мы вѣримъ въ свободу истинную и полную, живую, а не
 „формальную и договорную, свободу дѣтей въ семьѣ отца любящаго и любви
 „дѣтей вѣрящаго, — свободу, безъ которой истинно русскій человѣкъ не
 „можетъ себя и вообразить.

„Вотъ, Великій Монархъ, убѣжденія наши, коиимъ мы служимъ, убѣж-
 „денія точныя и положительныя, и мы вѣримъ, что онѣ уже проникаютъ
 „въ интеллигентное общество наше чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, а за тѣмъ
 „ободрятъ, облегчаютъ и обновятъ его. Ибо устали уже сердца отъ лжи, не-
 „домолвокъ и отрицанія. Начинаетъ уже невѣрить русское интеллигентное
 „общество, что въ хуленіи, въ отрицаніи постоянномъ и въ жестокосердой
 „насмѣшкѣ — весь исходъ всей тоски его. Оно жаждетъ нынѣ указаній
 „точныхъ, цѣлей положительныхъ и правдивыхъ, а мы, Славянское Бла-
 „готворительное Общество, въ свою правду вѣримъ. Кланяемся Вамъ, Ве-
 „ликій Государь, въ слѣдъ за всѣмъ великимъ народомъ нашимъ и же-
 „лаемъ всѣмъ сердцемъ нашимъ, чтобы продлилось Государствованіе Ваше
 „еще на много и много лѣтъ. Да и слишкомъ нуженъ Царь-Освободитель
 „землѣ своей, ибо далеко еще не отъ всѣхъ золь освобождена она“.

Проектъ адреса былъ единогласно одобренъ и покрытъ многочислен-
 ными подписями.

Адресъ этотъ былъ доложенъ Государю Министромъ внутреннихъ
 дѣлъ и Государь повелѣлъ: „благодарить Славянское Общество за выра-
 женныя имъ вѣрнопопдаиическія чувства“.

11-го мая 1880 г., О. М. Достоевскій, вмѣстѣ съ И. О. Золотаре-
 вымъ, лично знавшимъ Пушкина, были выбраны депутатами въ Москву
 на открытіе памятника Пушкину.

По смерти Федора Михайловича Славянскимъ Обществомъ было
 устроено въ поминовеніе его особое собраніе. Заимствуемъ подробности
 этого собранія изъ брошюры, подъ заглавіемъ: „Въ память О. М. До-
 приложеніи.

ствоевского торжественное общее собраніе С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества 14-го февраля 1881 г.". Спб. 1881.

Торжественное общее собраніе гг. членовъ С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества, состоявшееся 14-го февраля 1881 г.; въ залѣ городской думы, было всецѣло посвящено памяти покойнаго товарища предсѣдателя, Фёдора Михайловича Достоевскаго. Собраніе состоялось подъ предсѣдательствомъ К. Н. Бестужева-Рюмина, въ присутствіи членовъ Совѣта: А. В. Васильева, И. О. Золотарева, О. О. Миллера, В. Г. Чубинскаго и протоіерея І. К. Яхонтова, членовъ Общества: П. В. Алабина, Н. Н. Бестужева-Рюмина, О. И. Богословскаго, князя А. И. Васильчикова, Г. С. Веселитскаго-Бождаровича, Е. Я. Грота, Н. Н. Дворяшина, В. П. Дельсаля, Е. М. Диллена, Э. К. Длотовскаго, И. И. Домонтовича, М. А. Домонтовича, П. В. Евстафьева, А. О. Ечинаца, Е. Е. Замысловскаго, И. П. Звѣрева, А. П. Ильашенко, Н. В. Бидошкова, С. И. Кокеша, И. П. Корнилова, О. П. Корнилова, М. О. Кояловича, В. И. Ламанскаго, М. И. Лихачева, В. М. Львова, А. Н. Майкова, Л. Н. Майкова, П. П. Менделѣва, П. Г. Моравека, В. И. Нечаева, М. С. Никольскаго, С. Л. Никольскаго, Н. Р. Овсянаго, П. Д. Паренсова, С. В. Петрова-Батурича, Н. П. Писаровскаго, С. Л. Птащичкаго, М. П. Розенгейма, Н. И. Розова, К. К. Случевского, А. А. Смирнова, И. И. Соколова, М. И. Соколова, А. П. Станчо-Дмитри, Н. Н. Страхова, А. Н. Уреніуса, В. В. Фидровскаго, Т. Д. Флоринскаго, Ю. О. Шрейера, В. А. Шрута, А. А. Штаекишнейдера, Е. А. Шумкова и И. О. Щербатскаго, при секретарѣ В. И. Аристовѣ.

Собраніе это почтили своимъ присутствіемъ болѣе 700 постороннихъ посѣтителей.

Засѣданіе было открыто въ 8^{1/4} вечера.

По открытіи засѣданія, по предложенію Предсѣдателя, Секретарь Общества прочелъ отчетъ о дѣятельности Славянскаго Общества въ 1880 году.

Затѣмъ Предсѣдатель обратился къ присутствующимъ съ слѣдующею рѣчью:

Мм. Гг. Въ день, когда мы обыкновенно пересчитываемъ наши утраты, собрались мы и на этотъ разъ помянуть отшедшаго отъ насъ сочлена, помянуть того, кто ровно годъ тому назадъ наэлектризовалъ все собраніе, читая свое исповѣданіе вѣры, въ которомъ съ свойственною только ему гениальною яркостью выразилъ общую мысль всѣхъ тѣхъ, кто душою и сердцемъ принадлежитъ нашему Обществу, кто душою принадлежитъ своему народу и вѣритъ въ него, и этимъ чтеніемъ какъ будто еще болѣе

закрѣпилъ въ умахъ и сердцахъ чисто русское воззрѣніе. Вы помните этотъ вечеръ, вы помните всю ту пору, когда раздавалось такъ много голосовъ отчаянія и невѣрія въ Россіи, вы помните какую отрадою повѣяло на всѣхъ присутствовавшихъ, когда послышалось мощное, полное вѣры въ себя, глубоко душевное и исторически правильное русское слово, то слово, въ которомъ все прошедшее и будущее Руси; слово это—слово нравственнаго единенія всѣхъ стихій русской земли. Всѣ мы почувствовали тогда, что гениальный поэтъ, давно уже ставшій учителемъ и врачомъ всѣхъ больныхъ душою,—а ихъ въ Россіи въ наше время много,— всѣхъ тѣхъ, кто приходилъ къ нему искать опоры для расшатанной души своей и уходилъ отъ него облегченный, всѣ мы почувствовали тогда, говорю я, что учитель этотъ сталъ по преимуществу нашимъ учителемъ, что нравственно-религіозная идея, имъ выраженная и въ формѣ романа, и въ формѣ поученія, есть та идея, которою давно живетъ наше общество, но которая никогда не выражалась въ такомъ яркомъ образѣ. Мы всегда вѣрили въ то, что лишь народная правда, вѣковая историческая правда есть настоящая, полная правда; но вѣра наша была какою-то отвлеченною вѣрою. Созданная уединенною дѣятельностью кружка мыслителей, философовъ и богослововъ, поддержанная историками и этнографами, провозглашенная вѣщими поэтами въ глубокихъ, но не всѣмъ ясныхъ образахъ, идея эта нашла себѣ орудіе въ нашемъ Славянскомъ Обществѣ (говорю и о Москвѣ, и о Петербургѣ—общество, какъ вы знаете, было всегда одно) и на короткое мгновеніе слилась съ памятнымъ для всѣхъ подъемомъ народнаго духа, подъемомъ, историческое значеніе котораго будетъ становиться все яснѣе и яснѣе, подъемомъ, который я позволилъ себѣ когда-то сравнить съ первымъ появленіемъ русскаго народа на историческую сцену;—совершилась великая эпопея, свидѣтельствующая о томъ, что во всемъ русскомъ народѣ живъ духъ творчества, что жизнь его, его міровая жизнь, только начинается. Все это чувствовалось, но не ясно сознавалось. Связь между вѣщими словами поэтовъ и мыслителей и тѣмъ героизмомъ и самопожертвованіемъ, которые стали историческимъ фактомъ, была неясна; связь между ними чувствовалась и то далеко не всѣми. Начались тяжелыя недоразумѣнія всякаго рода; не здѣсь и не въ короткихъ словахъ останавливаться на нихъ. И вотъ въ самое тяжелое мгновеніе, когда порокъ, какъ выразились бы наши предки, опутывалъ души, послышалось то бодрящее слово, о которомъ я говорилъ. 14-го февраля 1880 г. Федоръ Михайловичъ Достоевскій прочелъ въ торжественномъ собраніи нашего Общества написанный имъ всеподданнѣйшій адресъ Государю Императору по случаю 25-ти-лѣтія Его царствованія.

Кто былъ въ этомъ собраніи, тотъ помнитъ впечатлѣніе, кто не былъ, тому я не чувствую себя въ силахъ передать хотя бы слабое его подобіе. Въ іюнѣ прошлаго года, представляя наше общество на обще-русскомъ торжествѣ — открытія пушкинскаго памятника, Федоръ Михайловичъ произнесъ рѣчь. Кто не читалъ, по крайней мѣрѣ, если не слышалъ этой рѣчи, кто не знаетъ того впечатлѣнія, которое она произвела? Рѣчь эта, какъ тогда же сказалъ И. С. Аксаковъ, была „событіемъ“. Значеніе „событія“ вполнѣ еще откроется впереди; но и теперь нельзя не видѣть, что значеніе это, если не вполнѣ понято, то почувствовано и тѣми, кто восторженно сталъ за рѣчь, и тѣми, кто усомнился въ ея смыслѣ и старался другихъ отратить отъ признанія этого смысла. Таково всегда впечатлѣніе событія въ умственномъ мірѣ! Таково значеніе гениальнаго слова, которое вносятъ въ міръ — гармонію съ одной стороны, мечъ — съ другой. Давно-ли былъ этотъ іюнь мѣсяць, но что я говорю, — давно-ли мы слышали въ засѣданіяхъ нашего Совѣта горячія рѣчи Достоевскаго о потребности намъ имѣть свой органъ, органъ, который проводилъ-бы въ общество русскую идею нашу, ту идею, которою мы жили, и которая съ полною яркостью встала передъ нами въ образѣ самого Достоевскаго? Онъ самъ своею личностію, своимъ словомъ и дѣломъ, представлялъ идею, для него идея не была только предметомъ разсужденія, не выражалась только частію его дѣятельности, она охватывала все его существо, высказывалась въ каждомъ его дѣйствіи. Какъ Гамлетовъ отецъ

„Человѣкъ онъ былъ... Изъ всѣхъ людей
Мнѣ не видать уже такого „человѣка!“

Многого можно было ожидать впереди: мы всѣ вѣрили, что журналъ, если онъ состоится, журналъ, душою котораго станетъ Достоевскій, будетъ несомнѣнно развитіемъ и дополненіемъ его адреса, его рѣчи; но не прошло еще и трехъ недѣль послѣ этого памятнаго засѣданія, — а Достоевскаго не стало между нами. Петербургъ и вся Россія (во многихъ мѣстахъ служили панихиды, отовсюду неслись сочувственные отзывы) показали, что они умѣютъ цѣнить своихъ великихъ людей. Разомъ выяснилось, какъ дорогъ былъ всей землѣ ея учитель. Намъ, людямъ, кажется, что Достоевскій рано вышелъ изъ этого міра, рано оставилъ насъ и еще не укрѣпилъ въ насъ сознанія великаго дѣла, предназначеннаго русской землѣ, еще не воспиталъ въ насъ убѣжденія въ необходимости нравственнаго пересозданія каждаго изъ насъ, ибо только на мысли о нравственномъ усовершенствованіи, на требованіи возведенія въ сознаніе безсознательно живущей въ народѣ правды основано было ученіе Достоевскаго. Такъ мы судимъ, какъ люди, но — вѣримъ — свыше предопредѣлено

иное; вѣримъ, что не даромъ около гроба собралось такое множество, что идея, выражаемая всею жизнью Достоевскаго, достигшая яснаго и спокойнаго, вполне сознательнаго выраженія въ его послѣдніе годы—не только не умерла съ нимъ, но будетъ жить все шире и шире, что народъ, стихійный носитель этой великой идеи, выставитъ рядъ сознательныхъ мыслителей, которые пойдутъ по стопамъ великихъ учителей-теоретиковъ и великаго проповѣдника, котораго теперь мы поминаемъ. Будемъ вѣрить съ вѣщимъ поетомъ славянства, съ его глубочайшимъ мыслителемъ, что влючь, бьющій въ груди Россіи,

„Водоема въ тѣсной чашѣ
Не вѣчно будетъ заключенъ:
Нѣтъ, съ каждымъ днемъ живѣй и краше
И глубже будетъ литься онъ.
И вѣрю я: тотъ часъ настанетъ,
Рѣка свой край перебѣжитъ,
На небо голубое взглянетъ
И небо все въ себѣ вмѣститъ.
Смотрите, какъ широко воды
Зеленымъ доломъ разлились,
Какъ къ берегу чуждые народы
Съ духовной жаждой собрались!
И солнце яркими огнями
Съ лазурной свѣтитъ вышныи,
И осіянь весь міръ лучами
Любви, святости, тишины.
Смотрите, мчатся черезъ волны
Съ богатствомъ мыслей корабли,
Любимцы неба, силы полны,
Плодотворители земли“.

Проникнемся-же все этой вѣрою, какъ ею проникнуть былъ Достоевскій; но „вѣра безъ дѣлъ мертва есть“, дадимъ-же сами себѣ слово на всѣхъ поприщахъ нашей дѣятельности, и въ средѣ общества и въ ея, служить народной правдѣ. Будемъ исполнять этотъ обѣтъ, будемъ заботиться о сознаніи этой правды, и все остальное приложится намъ. Это послѣдній завѣтъ Достоевскаго, это выводъ изъ послѣдняго № „Дневника Писателя“. Да пребудетъ-же этотъ завѣтъ нашимъ неизмѣннымъ руководителемъ на всѣхъ путяхъ жизни. А тамъ

„Не вѣрь въ святую Русь кто хочетъ,
Лишь вѣрь она себѣ самой—
И Богъ побѣды не отсрочитъ
Въ угоду трусости людской“.

Послѣ рѣчи К. Н. Бестужева-Рюмина, О. Ф. Миллеръ прочелъ слѣдующее стихотвореніе К. К. Случевского:

„Три дня въ туманѣ солнце заходило...
 И на четвертый день безмѣрно велика,
 Какъ гнѣвая духовная рѣка,
 Тебя толпа къ могилѣ уносила...
 И отъ свѣчей въ рукахъ, отъ пламени вадилъ,
 Отъ блеска нашихъ слезъ и отъ живыхъ цвѣтовъ,
 Свѣтлѣвшихся на зелени вѣнковъ—
 Безсмертіе, прійди, твой свѣточъ засвѣтило...
 И приняла тебя земля твоей отчизны!—
 Дороже стала намъ одною изъ могилъ
 Земля, которую безъ всякой укоризны,
 Ты такъ мучительно и смѣло такъ любишь!..“

Вслѣдъ за стихотвореніемъ О. О. Миллеръ прочелъ слѣдующую рѣчь
 А. Н. Майкова:

„Милостивые государи!

„На похоронахъ Федора Михайловича многіе выражали желаніе, говорили даже, что я долженъ сказать что нибудь о покойномъ: я тогда отвѣчалъ, что это мнѣ очень трудно. Теперь прошло нѣсколько недѣль,— я чувствую то же затрудненіе. Можетъ быть, причина этого затрудненія заключается въ слишкомъ близкихъ и слишкомъ давнихъ моихъ отношеніяхъ къ покойному. Потому, вотъ чего боюсь: очень часто случается, что, желая говорить о знаменитомъ покойникѣ, говорящіе болѣе высказываютъ себя, чѣмъ изображаютъ его; мнѣ-бы не хотѣлось впасть въ эту ошибку,—но едва-ли возможно мнѣ ея избѣгнуть — именно вслѣдствіе близкихъ нашихъ отношеній. Они установились почти съ самаго появленія въ печати „Бѣдныхъ Людей“, прервались въ 49-мъ году на много лѣтъ; но возобновились тотчасъ же по возвращеніи Федора Михайловича изъ Сибири. Годы, проведенные имъ за границей съ 1867 года по 1871 включительно, вызвали между нами постоянную переписку, которая еще болѣе закрѣпила въ насъ общность идей и взглядовъ, симпатій и антипатій, такъ что по возвращеніи его изъ за границы въ Петербургъ видаться часто сдѣлалось нашею взаимною потребностью. Но мы видались, говорили и переписывались какъ всѣ простые скромные смертные, ничего не подозревающіе. Смерть прервала эти бесѣды—и вдругъ надъ гробомъ Федора Михайловича раздался всеобщій голосъ публики, и не только здѣшной публики, но всей читающей Россіи, что этотъ мой давній собесѣдникъ, другъ и пріятель—гений, что онъ въ своихъ трудахъ принесъ цѣлое откровеніе; молодежь называетъ его своимъ учителемъ, ораторы провозглашаютъ его пророкомъ. Его берутъ, такъ сказать, отъ его близ-

кихъ, отъ спутниковъ его жизни, чуть не отъ семьи, и объявляютъ его достояніемъ цѣлой Россіи. Что намъ остается дѣлать при громѣ этого приговора, несущагося со всѣхъ сторонъ, отъ всѣхъ возрастовъ, со всѣхъ ступеней общества—намъ, его бывшимъ друзьямъ? Намъ остается только отступить, сквозь слезы радоваться за усопшаго друга, и присоединить свой голосъ къ общему голосу.

Но вѣстѣ съ этимъ и мы, бывшіе близкіе люди, получили особенное значеніе, мы вдругъ оутились въ совсѣмъ особенномъ положеніи. Къ намъ предъявляются уже совсѣмъ новыя для насъ вопросы. Отъ насъ хотятъ услышать интимныя подробности о покойномъ. Отъ насъ ждутъ множества отвѣтовъ на множество-вопросовъ, которые даже едва-ли кто формулировать можетъ. Всѣ какъ будто вдругъ открыли Достоевскаго, и всѣ поскорѣй („главное поскорѣй“, какъ говорилъ покойный) хотятъ узнать и опредѣлить, что такое Достоевскій? „Все, все скажите“, говорятъ намъ.

Но близкіе люди, что они скажутъ, застигнутые врасплохъ? Спросите Анну Григорьевну о Федорѣ Михайловичѣ—она скажетъ: „ахъ, какой это былъ мужъ! Какъ онъ меня любилъ, какъ я его любила!“ Друзья что скажутъ? Ихъ отвѣты будутъ детальныя, отрывочныя, анекдотическія, пожалуй, а никакъ ужъ не отвѣчающія на предъявленныя вопросы. Словомъ, отвѣты не интересныя. Что до меня, по крайней мѣрѣ, я бы никогда ими не удовольствовался.

О великихъ людяхъ, о великихъ писателяхъ мнѣ не особенно интересно знать, въ какомъ домѣ они жили, какое платье носили, видѣть вещи, имъ принадлежавшія; въ старину, бывало, цѣнились табакерки, изъ которыхъ они нюхали табакъ, шляпы, чернилицы, перья и т. д. Вся мелочная обстановка ихъ жизни, это—только краски, штрихи, подробности. Для меня всегда важнѣе внутренній міръ писателя, и особенно русскаго писателя, его идеалы—нравственныя, философскія, политическія, его пониманіе Россіи, ея значенія въ мірѣ, ея исторіи; мнѣ интереснѣе этотъ, такъ сказать, идеальный очеркъ писателя, его душевный и умственный портретъ. Но дадутъ-ли вамъ его близкіе люди? И къ нимъ-ли надобно обратиться, чтобы его составить и нарисовать? Нѣтъ, всякій лучше можетъ сдѣлать это самъ, и обратиться не къ пріятелямъ, а къ самому лицу, о которомъ хочешь узнать. А это лицо—не умерло. Писатель, художникъ, мыслитель живетъ въ своихъ произведеніяхъ. Читайте ихъ, вдумывайтесь въ нихъ, разгадывайте смыслъ выведенныхъ ими образовъ, прочтите въ нихъ недосказанное—и вы войдете въ самыя тайники души писателя, и узнаете его, можетъ быть, лучше, чѣмъ его близкіе, узнаете изъ нихъ болѣе, чѣмъ изъ всей его обстановки, трудолюбиво составленной біогра-

фи, болѣе даже, чѣмъ изъ посмертной переписки, ибо въ письмахъ чело-
вѣкъ пишетъ иногда подъ вліяніемъ минуты, иногда шутки, и шутка
принимается за серьезное: вѣдь напечаталъ же одинъ педагогъ (а другой
перепечаталъ) о Батюшковѣ, на основаніи его собственноручнаго письма,
что поэтъ „былъ честолюбивъ и жаждалъ чиновъ и отличій“. Педагогъ
шутки-то не понялъ.

Но, однако-же, мы бесѣдовали съ нимъ по многимъ часамъ въ тече-
ніи многихъ лѣтъ, вырабатывали сообща многія идеи, спорили, судили
другъ друга, помогали такимъ образомъ одинъ другому уразумѣвать
вещи. Текуція дѣла, отдѣльные случаи частной и общей жизни, великія
событія, которыя мы пережили во внутренней жизни нашего отечества и
на міровомъ поприщѣ,—все это приводилось къ своему всемірно-истори-
ческому значенію: все мелкое, случайное, преходящее приводилось въ
логическую связь съ общимъ началомъ. Узнать прошедшее, чтобы понять
настоящее и угадать будущее,—вотъ что было характеромъ бесѣдъ съ
Ѳедоромъ Михайловичемъ; дойти до пониманья—вотъ къ чему онъ стре-
мился, вотъ чего онъ желалъ всѣмъ. О, если-бы люди только „поняли,—
на землѣ былъ бы рай“, говаривалъ онъ. Мы ужъ знали, что значило это
„если-бы люди поняли“, т. е. что именно поняли? — Да полагаю, что
догадываетесь и вы, милостивые государи. Это онъ говорилъ о людяхъ
вообще, о родѣ человѣческомъ. Но сердце его въ особенности горѣло по
Россіи.

Разъ я прочелъ ему одно мое стихотвореніе, обращенное когда-то
мною къ Ѳ. И. Тютчеву;—вотъ это стихотвореніе:

„Народы, племена, ихъ геній, ихъ судьбы,
Стоять передъ тобой своей идеі полны,
Какъ вдругъ застывшія въ разбѣгъ бурномъ волны,
Какъ въ самый жаркій мигъ отчаянной борьбы
Окаменѣвшіе атлеты...
Ты видишь ихъ насквозь, ихъ тайну ты постигъ,
И лсенъ для тебя и настоящій мигъ,
И тайные грядущаго обѣты...
Но грустно зрячему бродить между слѣпыхъ,
Твердить: „Поймите лишь—и будетъ вамъ прозрѣнье!
Поймите лишь, какихъ носители вы силъ,
И путь освѣтится, и упадутъ сомнѣнья,
И дастся вамъ само, что жребій вамъ судилъ!..“

Ѳедоръ Михайловичъ воскликнулъ: „Да, да, поймите лишь! Именно,
именно только-бы поняли! Да иѣтъ, не поймутъ! Знаете, если у насъ что
и дѣлаютъ иногда какъ слѣдуетъ, такъ это по инстинкту, а не созна-
тельно. Николай Чудотворецъ дѣлаетъ... А чтожь вы думаете“, продол-

жалъ онъ, — „многіе насъ понимаютъ? Все, молъ, это квась! Шовинизмъ! Мистицизмъ! Искусство для искусства!..“

Послѣ кликовъ, рукоплесканій и вѣнковъ, которыми удостоивали его на публичныхъ чтеніяхъ, опять онъ говаривалъ: „да, да, все это хорошо, да всетаки главнаго не понимаютъ!“

Теперь, послѣ торжественныхъ похоронъ, послѣ громкихъ рѣчей, послѣ множества хвалебныхъ статей въ газетахъ и журналахъ—невольно въ памяти моей выступаетъ опять этотъ-же вопросъ, который задавалъ довольно часто Федоръ Михайловичъ: а многіе-ли понимаютъ его, и понимаютъ-ли то, что онъ называлъ главнымъ?

Отвѣчать на себя не беру, но кончу мою бесѣду анекдотомъ, какъ любилъ, бывало, кончать серьезную рѣчь покойникъ.

Одинъ почтенный совѣтникъ, который былъ знакомъ съ Достоевскимъ до исторіи Петрашевскаго и не видался съ нимъ и по возвращеніи Федора Михайловича изъ Сибири до прошлаго года, встрѣтился съ нимъ въ одномъ блестящемъ обществѣ.

Старые пріатели, отрекомендованные другъ другу, вспомнили старое знакомство, завязался весьма дружескій разговоръ,—пріатель сказалъ:

„Какое, однако, несправедливое дѣло было эта ваша ссылка“.

— „Нѣтъ“, коротко, какъ всегда, обрѣзываетъ Достоевскій, — „нѣтъ, справедливое. Насъ-бы осудилъ русскій народъ. Это я почувствовалъ тамъ только, въ каторгѣ. И почему вы знаете,—можетъ быть тамъ, наверху, т. е. Самому Высшему, нужно было меня привести въ каторгу, чтобъ я тамъ что нибудь узналъ, т. е. узналъ самое главное, безъ чего нельзя жить, иначе люди съѣдятъ другъ друга, съ ихъ матеріальнымъ развитіемъ; ну-съ, и чтобъ это самое главное я вынесъ оттуда, потому что оно пока скрывается только въ народѣ, хоть онъ гадокъ, воръ, убійца, пьяница; такъ чтобъ я вынесъ это оттуда и другимъ сообщилъ, и чтобъ другіе (хоть не всѣ, хоть очень не многіе) лучше стали хоть на крошечку—хоть частичку-бы приняли, хоть-бы поняли, что въ бездну стремятся, и этого довольно. И этого ужъ много. И изъ-за этого стоило пойти на каторгу“.

Какое-же впечатлѣніе произвелъ на совѣтника этотъ взглядъ Федора Михайловича на роковое событіе его жизни, взглядъ, не разъ такъ или иначе выраженный имъ въ его „Дневникѣ Писателя“? Совѣтникъ, отойдя отъ Достоевскаго, съ искреннѣйшимъ сожалѣніемъ, качая головою, говорилъ его окружающимъ:

— Экая жалость, экая жалость!

— Что такое?

— Да вотъ, Достоевскій—совсѣмъ съумасшедшій. Богъ знаетъ какой мистицизмъ несетъ.

Въ чему-жь этотъ анекдотъ?

Да просто къ тому, чтобы выразить надежду, что такихъ совѣтниковъ не много! *).

Затѣмъ Н. Н. Страховъ прочелъ слѣдующее:

Изъ воспоминаній о О. М. Достоевскомъ.

Мнѣ досталось счастье быть очень близкимъ къ покойному Феодору Михайловичу въ послѣднія двадцать лѣтъ, особенно-же въ началѣ этого времени. Я былъ постояннымъ и ревностнымъ сотрудникомъ журналовъ „Время“ и „Эпоха“; мы вмѣстѣ ѣздили за границу въ 1862 г., вмѣстѣ хоронили въ 1864 редактора этихъ журналовъ Михаила Михайловича Достоевскаго и ихъ главнаго критика Аполлона Григорьева; потомъ во время изданія „Зари“, когда Феодоръ Михайловичъ жилъ за границею, онъ былъ сотрудникомъ „Зари“, съ живѣйшимъ участіемъ слѣдилъ за этимъ журналомъ, и мы съ нимъ вели дѣятельную переписку; а когда онъ вернулся и былъ одинъ годъ редакторомъ „Гражданина“, я былъ усерднымъ владчикомъ этого журнала.

Въ началѣ этихъ годовъ, когда мы жили въ нѣсколькихъ шагахъ другъ отъ друга и занимались исключительно журнальною работою, мы видались каждый день, и даже не разъ въ день; мы разговаривали безъ конца и такъ сговорились, что и до послѣдняго времени ни съ кѣмъ дру-

*) Въ „Руси“ (1881. № 18, 14 марта), гдѣ была перепечатана эта рѣчь, И. С. Аксаковъ прибавилъ къ ней слѣдующее примѣчаніе:

„Этотъ рассказъ А. Н. Майкова напоминаетъ и намъ слѣдующій случай. Какъ-то разъ, проѣзжая черезъ Москву, Достоевскій зашелъ къ намъ и съ увлеченіемъ разговорился о покойномъ государѣ Николаѣ Павловичѣ, о томъ, какъ на фонѣ прошлаго величаво рисуется этотъ историческій образъ монарха, вѣрившаго въ свой санъ и свое право, и какъ сочувственъ ему этотъ образъ. Во время разговора вошелъ извѣстный англійскій путешественникъ Уоллесъ Мэкензи, прожившій передъ тѣмъ уже года три въ Россіи, отлично выучившійся по-русски и знакомый съ русскою литературою. Когда онъ узналъ, что передъ нимъ Достоевскій, онъ загорѣлся любопытствомъ и съ жадностію сталъ слушать прерванную было и снова возобновившуюся рѣчь Феодора Михайловича о Николаѣ Павловичѣ. Достоевскій продолжалъ говорить, не обращая вниманія на англичанина и вскорѣ затѣмъ уѣхалъ. ...„Вы говорите, что это Достоевскій?“ спросилъ насъ англичанинъ.—Да.—„Авторъ „Мертваго Дома?“ — Именно онъ.—„Не можетъ быть. Вѣдь онъ былъ сосланъ на каторгу?“—Былъ. Ну, что-же?—„Да какъ-же онъ можетъ хвалить человѣка, сославшаго его на каторгу?“.—Вамъ, иностранцамъ, это трудно понять, отвѣчали мы, а намъ это понятно, какъ черта вполне національная...“

гимъ я не могъ вести такихъ живыхъ и разнообразныхъ разговоровъ, какіе у насъ неудержимо начинались при каждой встрѣчѣ.

Мнѣ нельзя не гордиться былымъ расположеніемъ такого человѣка, и я постоянно чувствовалъ къ нему и не перестану чувствовать глубокую благодарность за одобреніе, которымъ онъ меня встрѣтилъ; оно было безконечно дорого для начинающаго и оно постоянно внушало мнѣ радость и бодрость. Но я вовсе не хочу о себѣ говорить; я хотѣлъ только оправдать передъ вами свою смѣлость и объяснить, почему могли пожелать отъ меня какихъ нибудь воспоминаній о дорогомъ покойникѣ. Я познакомился съ Федоромъ Михайловичемъ въ концѣ 1859 года. Настроеніе кружка, въ который я тогда вступилъ, во многомъ для меня было ново и неожиданно. Это было одно изъ знаменитыхъ направленій *сороковыхъ* годовъ, направленіе, очевидно, сложившееся подъ вліяніемъ французской литературы. Теперь, издали, совершенно понятно могущество, съ которымъ отразилась на насъ нѣкогда духовная жизнь Европы. Между 1830 и 1848 годомъ, между іюльской и февральской революціей, Европа пережила едва-ли не самую счастливую эпоху своей исторіи. Это было время надеждъ и вѣрованій, предшествующее жестокимъ разочарованіямъ. Въ настоящее время Европа потеряла свои идеалы; ея политическая жизнь, и именно съ 1848 года, все больше и больше проникается матеріализмомъ; и въ нравственномъ, и въ умственномъ отношеніи она несомнѣнно дичаетъ, не смотря на всякіе успѣхи. Но не то было въ счастливую эпоху до 1848; Европа крѣпко вѣрила въ себя; ея политическія мечтанія были свѣтлы и радостны, къ нимъ не примѣшивалось никакой мысли о крови и огнѣ; литература, поэзія, философія были исполнены жизни и стремились подняться къ какимъ-то недостижимымъ высотамъ. Франція, какъ всегда, занимала первое мѣсто по жизненности и опредѣленности своихъ стремленій. Понятно, почему подобный расцвѣтъ европейской жизни долженъ былъ сильно подѣйствовать на насъ, вѣчныхъ учениковъ Европы; впоследствии я часто, однако-же, удивлялся, что въ 1859 году, когда Европа давно уже вступила въ свой нынѣшній безрадостный періодъ, у насъ продолжало жить и дѣйствовать, и долго увлекало меня самого, одно изъ минувшихъ европейскихъ настроеній. Очевидно, мы всегда отстаемъ отъ Европы, отстаемъ потому, что не живемъ ея жизнью, а беремъ отъ нея только мысли, которыя часто сохраняемъ навсегда, оставаясь глухи и нѣмы къ новымъ урокамъ нашей учительницы.

Въ томъ настроеніи 1859 года, о которомъ я говорю, я могу указать на двѣ черты, отразившіяся очень ясно на дѣятельности Достоевскаго. Во-первыхъ, проповѣдывалась совершенная гуманность къ человѣческимъ

слабостямъ и даже преступленіямъ. Сожалѣніе къ людямъ, объясненіе ихъ дурныхъ поступковъ изъ обстоятельствъ и строя общества, прощеніе всего того, что не составляло прямо злаго нарушенія чужой безопасности, словомъ безграничная мягкость отношеній считалась неизмѣннымъ правиломъ. Во-вторыхъ, литературѣ, художеству давалась опредѣленная задача. Художникъ долженъ быть въ сущности политикомъ и публицистомъ; онъ обязанъ слѣдить за развитіемъ общества, схватывать образы новыхъ и новыхъ типовъ, которые въ немъ зарождаются, и показывать ихъ корни, объяснять источники того зла и добра, которыя они въ себѣ представляютъ. Проповѣдь извѣстныхъ общественныхъ идеаловъ, вмѣшательство въ вопросы минуты—вотъ что ставилось главнымъ правиломъ.

Скажу прямо, что оба правила были вредныя, и мнѣ довелось потомъ видѣть жестокій вредъ, испытанный отъ нихъ нѣкоторыми членами литературныхъ кружковъ. Это одинъ изъ самыхъ яркихъ уроковъ моей литературной жизни. Правила эти вредны не потому, что они не вѣрны, а потому, что они не полны, не достаточны, что ихъ слѣдуетъ дополнить такими прибавками, которыя важнѣе самихъ правилъ. Казалось бы, что можетъ быть лучше гуманности? Или что можетъ быть интереснѣе такого художественнаго произведенія, въ которомъ ясно и глубоко отразилась современная минута? Между тѣмъ гуманность безъ руководящихъ началъ ведетъ часто къ распушенности нравовъ, какъ это было во времена Цезарей и въ XVIII вѣкѣ. Одного снисхожденія къ людямъ, одного сожалѣнія къ ихъ страданіямъ мало; нужно еще знать, за что любить людей, нужно понимать, въ чемъ красота и достоинство души человѣческой. Точно такъ художникъ только тогда можетъ дѣйствительно служить минутѣ, когда у него крѣпки на душѣ начала, годныя на вѣки-вѣчные. А иначе, какъ это часто и бывало, онъ будетъ не учителемъ, а рабомъ минуты.

Что касается Достоевскаго, то при своей удивительной широтѣ ума и сердца онъ никогда вполнѣ не подчинялся односторонности своего направленія. И чѣмъ дальше онъ дѣйствовалъ, т. е. писалъ, тѣмъ яснѣе у него выступали другія, истинныя начала. При концѣ своей жизни онъ прямо высказывался за формулу *искусства для искусства*, т. е. за самостоятельность, за свободу художества, и точно также уже давно всѣ общественные идеалы онъ подчинилъ одному вѣковѣчному идеалу *Христа*. Съ Достоевскимъ случилось то же, что совершается вотъ уже болѣе столѣтія со всѣми нашими крупными писателями; всѣ они начинали съ того, что увлекались *чужимъ*, и всѣ потомъ возвратились *къ своему*. Такъ было отчасти съ фонъ-Визинимъ и очень ясно съ Карамзинимъ, Грибо-

ѣдовымъ, Пушкинымъ, Гоголемъ. Достоевскій въ этомъ отношеніи—новый соблазнъ нашимъ западникамъ, новый и огромный поводъ къ раздраженію противъ русской литературы.

Эти внутренніе перевороты, совершающіеся у насъ съ лучшими душами, часто называютъ измѣной, отступничествомъ; но едва-ли на комъ такъ ясно можно видѣть, какъ на Достоевскомъ, что часто все дѣло тутъ только въ развитіи, въ раскрытіи задатковъ, лежавшихъ въ натурѣ чловѣка, а не въ перемѣнѣ однихъ чужихъ мыслей на другія—чужія-же. Съ первой своей повѣсти и до конца Достоевскій остался однимъ и тѣмъ-же; ему нельзя было измѣниться, потому что уже въ этомъ первомъ произведеніи вылилась его душа, сказался весь складъ его пониманія жизни. Отъ природы этой души зависѣло то, какія именно вліянія на нее дѣйствовали. И онъ нашелъ вокругъ себя вліянія, поставившія его на его прекрасный путь, на тотъ русскій и христіанскій путь, который возбудилъ такое широкое и глубокое сочувствіе. Двѣ главныя силы спасли его отъ всякихъ односторонностей и дали высокое и чистое направленіе его таланту: одна сила была русская литература, другая—русскій народъ, т. е. простой народъ. Когда я узналъ Достоевскаго, онъ былъ горячимъ поклонникомъ Пушкина и Гоголя. Онъ и тогда любилъ читать тѣ самыя стихотворенія Пушкина, которыя потомъ читалъ на пушкинскомъ праздникѣ. Но тогда, въ тѣ молодые годы, онъ читалъ хуже, читалъ нѣсколько подавленнымъ голосомъ; въ этотъ же послѣдній годъ онъ достигъ такой твердости тона и мастерства выраженія, что я изумлялся: часто это было совершенство въ своемъ родѣ. Послѣ торжества, которое онъ одержалъ на пушкинскомъ праздникѣ, я часто думалъ: это торжество досталось ему по всѣмъ правамъ, потому что, безъ сомнѣнія, во всей этой толпѣ писателей и слушателей онъ *больше всѣхъ* любилъ Пушкина. На Гоголь-же онъ былъ воспитанъ, какъ все поколѣніе, къ которому принадлежалъ, поколѣніе, для котораго литература имѣла въ тысячу разъ больше значенія, чѣмъ для нынѣшнихъ поколѣній.

Пушкинъ и Гоголь, эти два великана нашей словесности, замѣчательнымъ образомъ отразились уже въ первой повѣсти Достоевскаго, въ „Бѣдныхъ Людяхъ“. Именно тутъ прямо и ясно выражено, что авторъ не вполне доволенъ Гоголемъ и что прямымъ своимъ руководителемъ онъ признаетъ только Пушкина. Тутъ выведенъ на сцену чиновникъ, очень похожій на героя „Шинели“ и „Записокъ Съужаснаго“. Знакомая этого чиновника даетъ ему прочесть „Станціоннаго Смотрителя“; тотъ очень хвалитъ повѣсть и очень жалѣетъ о бѣдномъ смотрителѣ. Потомъ та же знакомая посылаетъ Макару Дѣвушкину (такъ зовутъ героя

„Вѣднхъ Людей“) „Шинель“ Гоголя; Дѣвухинъ обижается, узнавъ себя въ такомъ безжалостномъ изображеніи, упрекаетъ свою добрѣйшую знакомую, горюетъ, напивается пьянъ и подвергается всякимъ бѣдамъ и оскорбленіямъ. Такимъ образомъ беспощадная иронія Гоголя осуждена, какъ слишкомъ жестокое, сухое отношеніе къ людямъ. Еще болѣе она осуждается тѣмъ, какъ изображенъ самъ Дѣвухинъ. Между тѣмъ, какъ у Гоголя выставлена только одна ужасающая пустота и пошлость, Макаръ Дѣвухинъ, этотъ новый Поприщинъ, обладаетъ сокровищами нѣжности, самоотверженія, лучшихъ сердечныхъ чувствъ, о красотѣ которыхъ онъ самъ и не догадывается. Между тѣмъ какъ никто въ мірѣ не пожелалъ-бы быть Акакіемъ Акакіевичемъ или Поприщинымъ, всякій читатель долженъ съ завистью смотрѣть на несчастнаго Макара Дѣвухина, всякій долженъ сознаться, что ему далеко до такой душевной красоты.

Таковъ былъ первый шагъ Достоевскаго, сдѣланный еще въ 1846 г. Это была смѣлая и рѣшительная *поправка* Гоголя, существенный, глубокий поворотъ въ нашей литературѣ. Дѣло въ томъ, что поправка Гоголя была необходима *), что ее неминуемо должна была сдѣлать наша литература и дѣлаетъ ее до сихъ поръ, что въ извѣстномъ смыслѣ и всѣхъ другихъ нашихъ крупныхъ писателей, Островскаго, Л. Н. Толстаго, можно считать поправкою Гоголя, можно въ этомъ видѣть главную ихъ оригинальность. Достоевскій началъ первый.

Да, не даромъ тосковалъ Гоголь, не даромъ усиливался создать что-то новое. То напряженно-чуткое настроеніе, въ которомъ Гоголю такъ ясно открывалась пошлость существующаго, было слишкомъ напряжено. Непобѣдимое отвращеніе поднималось въ немъ при видѣ безобразія и безсмыслія русской жизни, этой жизни, въ которой все хорошее стыдливо и упорно прячется въ глубину, тогда какъ пошлое и грязное щеголяетъ на виду и всѣмъ мечется въ глаза. Конечно, Гоголь лилъ тѣ *тайныя слезы*, о которыхъ онъ говоритъ; но это были слезы сожалѣнія восторженнаго идеалиста, а не слезы любви. И чѣмъ больше мы станемъ вникать въ смыслъ всей послѣ-гоголевской литературы, которую начинаетъ собою Достоевскій, тѣмъ намъ яснѣе будетъ и коренной недостатокъ Го-

*) Примѣчаніе, прибавленное въ „Руси“: „Не *поправка*, а *дополненіе*, движеніе впередъ по открытому, намѣченному Гоголемъ пути. Мы предоставляемъ себѣ высказать когда нибудь свое слово о Гоголѣ. *Ред.*“

Къ сожалѣнію, до сихъ поръ И. С. Аксаковъ не успѣлъ высказать свои мысли о столь любимомъ имъ писателѣ. Мы хотѣли пока обратить лишь вниманіе читателей на то, что здѣсь именно заключается существенный вопросъ, важнѣйшій пунктъ дѣла.
И. С.

голя и вся настоятельная потребность, которую чувствовали наши художественные писатели — избѣжать односторонности и пойти по новому пути.

Пусть простятъ мнѣ эти указанія на развитіе нашей литературы. Художественная дѣятельность была для покойнаго главнымъ, первымъ дѣломъ въ жизни, и если мы хотимъ почтить его память, соблюсти его завѣтъ, то прежде всего, больше всего намъ слѣдуетъ вникать въ глубину и духъ его художественной дѣятельности и беречься, какъ-бы не истолковать этой дѣятельности въ неправильномъ смыслѣ. Примеръ того, что случилось съ Гоголемъ, на вѣки поучителенъ. Настроенія, господствующія въ нашемъ обществѣ, предубѣжденія, которыми оно постоянно заражено, отсутствіе твердыхъ началъ, которыя сдерживали-бы шатаніе мыслей и душъ, все это производитъ то, что самое чистое и простое явленіе у насъ подвергается самымъ страннымъ перетолкованіямъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и Достоевскій будетъ перетолкованъ; на немъ стануть строить такіе выводы и его произведеніями будутъ питать такіа чувства, которыя глубоко противорѣчатъ его истиннымъ мыслямъ и чувствамъ. Умъ нашей интеллигенціи слишкомъ привыкъ ходить по извѣстнымъ колеямъ и будутъ на нихъ сбиваться, несмотря на сильнѣйшія потрясенія. Есть два чувства, привычныя для нашихъ образованныхъ людей и обыкновенно питающія ихъ душевную жизнь, сверхъ житейскихъ интересовъ: одно — чувство негодованія, такъ называемаго благороднаго негодованія, на всякое зло и безобразіе, и другое — чувство сожалѣнія къ Россіи, сострадательное созерцаніе ея скудости и жалкой участи. Оба чувства — очень хорошія, но, къ несчастію, отдѣленныя слишкомъ тонкою чертою отъ дурныхъ чувствъ: негодованіе граничитъ съ озлобленіемъ, а сожалѣніе съ высокомеріемъ, такъ что часто люди, повидимому постоянно предающіеся самому благородному настроенію, въ сущности, даже сами того не замѣчая, питаютъ лишь свои дурныя свойства и только изъ нихъ почерпаютъ все свое видимое благородство. О Достоевскомъ могу твердо свидѣтельствовать, что онъ былъ безупреченъ въ этомъ отношеніи, что никогда онъ не измѣнялъ уваженію къ великой родинѣ и никогда негодованіе у него не могло перейти въ озлобленіе. Въ этомъ онъ истинный образецъ для насъ. Онъ-ли не потерпѣлъ отъ существовавшихъ порядковъ? Но изъ страданій, которыя онъ перенесъ, онъ не вынесъ ни малѣйшаго озлобленія и не выводилъ даже права на тотъ особый авторитетъ, который у насъ общество приписываетъ пострадавшимъ, и который часто присваиваютъ себѣ пострадавшіе. Онъ вовсе не хотѣлъ быть въ чьихъ-нибудь глазахъ страдальцемъ и, бывало, сердился, когда съ нимъ начинали рѣчь

въ такомъ смыслѣ. Обыкновенный тонъ его былъ веселый и бодрый, тотъ-неподражаемо-прекрасный тонъ, который онъ часто бралъ потомъ въ своемъ „Дневникѣ“, когда разсуждалъ о самыхъ тяжелыхъ и больныхъ вопросахъ. Въ то время, около 1860 года, были въ ходу, какъ и теперь, литературныя чтенія и Федоръ Михайловичъ иногда читалъ на нихъ отрывки изъ „Мертваго Дома“, только что написаннаго. Однажды, по поводу такого чтенія, онъ сказалъ мнѣ: „знаете-ли, мнѣ всегда немножко неприятно читать изъ „Мертваго Дома“; выходитъ такъ, какъ будто я все жалуюсь публикѣ, все жалуюсь, — это не хорошо“.

Вообще въ немъ было поразительно развитіе личности, необыкновенная душевная энергія. Мнѣ довелось видѣть его въ самыя тяжелыя минуты, послѣ запрещенія журнала, послѣ смерти брата, въ жестокихъ затрудненіяхъ отъ долговъ — онъ никогда не падалъ духомъ до конца, и, мнѣ кажется, нельзя представить себѣ обстоятельствъ, которыя могли-бы подавить его. Это было особенно изумительно при его страшной впечатлительности, причемъ онъ обыкновенно не сдерживался, а предавался вполне своимъ волненіямъ. Какъ будто одно другому не только не мѣшало, а даже способствовало. Прямо изъ его собственной души говорить одинъ изъ его героевъ, Дмитрій Карамазовъ: „столько во мнѣ силы, что я все поборю, всѣ страданія, только чтобы сказать и говорить себѣ минутно: я есмь! Въ тысячѣ мукъ — я есмь; въ пыткѣ корчусь, но есмь!“ („Братья Карамазовы“, т. II, стр. 411).

Въ своей литературной дѣятельности онъ также проявилъ живучесть и энергію, какъ никто другой. У него были періоды ослабленія дѣятельности, какъ будто упадка; но потомъ онъ вдругъ подымался выше прежняго и показывался съ новой стороны. Такихъ подъёмовъ можно считать четыре: первый — „Вѣдныя Люди“, второй — „Мертвый Домъ“, третій — „Преступленіе и Наказаніе“, четвертый — „Дневникъ Писателя“. Подъёмы эти были поразительны для самыхъ близкихъ къ нему людей: въ немъ былъ неистощимый запасъ силъ, что-то загадочное, не подчинявшееся обыкновенной постепенности развитія.

Новые образы, новые планы романовъ, новыя задачи являлись у него безпрестанно, осаждали его. Это даже мѣшало ему работать, и иные изъ его романовъ составляютъ цѣлыя клубки переплетшихся между собою темъ. Конечно, онъ написалъ только десятую долю тѣхъ романовъ, которые онъ уже обдумалъ, уже носилъ иногда въ себѣ многіе годы; нѣкоторые онъ разсказывалъ подробно и съ большимъ увлеченіемъ; а такимъ темамъ, которыхъ онъ не успѣвалъ разработать, у него конца не было.

И вотъ онъ неутомимо изображаетъ тѣ лица и картины, которыя со-

ставили его славу. Онъ рисуесть чудесныя идилліи среди величайшей грязи; благородство, нѣжность, великодушіе въ пошлѣйшей обстановкѣ; онъ не дѣлаесть своихъ лицъ, какъ Викторъ Гюго, театральными героями, не заставляесть ихъ совершать чудеса и подвиги; онъ твердо держится строгаго реализма, завѣщаннаго Гоголемъ, но въ величайшемъ безобразіи умѣесть видѣть человѣческія черты. Онъ идетъ далѣе: онъ выводитъ предъ нами вереницу преступниковъ, полупомѣшанныхъ, идіотовъ, самоубійцъ, больныхъ физически и еще болѣе нравственно, и изображаесть ихъ душевную жизнь съ удивительною точностью и объективностью, но онъ, какъ Диккенсъ, признаесть за всѣми ими человѣческія права; онъ не ставитъ ихъ въ положеніе не-людей, такихъ существъ, которыя должны быть чужды нормальному человѣческому обществу: у него „Идіотъ“ выходитъ лучше самыхъ здравомыслящихъ людей. На этомъ пути Достоевскій шель очень далеко: страшно было видѣть (по крайней мѣрѣ я иногда не могъ воздержаться отъ страха), какъ онъ все глубже и глубже спускается въ душевныя бездны, въ ужасныя бездны нравственнаго и физическаго растлѣнія (это его собственное слово). Но онъ выходилъ изъ нихъ невредимо, то есть не утрачивая мѣрила добра и зла, красоты и безобразія.

О достоинствѣ этихъ изображеній не можетъ быть спора. Не смотря на неправильную и неясную постройку иныхъ романовъ (не въ цѣломъ, которое весьма было стройно и ясно, а въ частяхъ), не смотря на полуфантастическую постановку сценъ и отношеній между дѣйствующими лицами, изъ каждой картины Достоевскаго била такая правда душевная, такая глубина душевной правды, что невозможно было не испытывать живѣйшаго впечатлѣнія. Бредъ идіота и съумасшедшаго, муки преступника и самоубійцы, лихорадочныя сны, галлюцинаціи — все было понятно и ясно. Читатель съ жадностью слѣдилъ за мыслями и чувствами лицъ, о которыхъ никогда не имѣлъ понятія, и съ изумленіемъ видѣлъ, какъ эти мысли и чувства отражаются въ его собственной душѣ.

И такъ, страданіе, отчаяніе, преступленіе, болѣзнь — вотъ постоянныя темы Достоевскаго. А въ чемъ же главное поученіе, какой выводъ? Неужели опять — уннїе и злоба? О нѣтъ, это ясно всѣмъ до очевидности. Надъ гробомъ покойнаго, на этомъ великомъ торжествѣ его похоронъ, великомъ по своей искренности, непрерывно раздавались слова, сами собою приходившія на умъ, при воспоминаніи о его дѣятельности. Эти слова: *прощеніе, любовь*. Думаю, что это высшая честь изъ всѣхъ, возданныхъ покойнику.

Идеаль христіанина — вотъ та господствующая мысль, которую онъ такъ смѣло и горячо проповѣдывалъ въ своемъ „Дневникѣ“, которую

прямо выразилъ въ своемъ послѣднемъ романѣ и которая особенно ясно установилась въ его душѣ, кажется, во время его четырехлѣтняго житья за границей (1868—1871 годы). Въ 1869 г. онъ мнѣ писалъ изъ Флоренціи: „Сущность русскаго призванія состоитъ въ разоблаченіи предъ міромъ русскаго Христа, міру невѣдомаго и котораго начало заключается въ нашемъ родномъ православіи. По моему, въ этомъ вся сущность нашего будущаго цивилизаторства и воскресенія хоть-бы всей Европы и вся сущность нашего могучаго будущаго бытія. Но въ одномъ словѣ не выразишься, и я напрасно даже заговорилъ“. (Письмо 1869 г. 30 (18) марта).

Въ идеалѣ Христа онъ нашелъ такимъ образомъ оправданіе своей всегдашней любви къ простому русскому народу и нашелъ высшій смыслъ своего горячаго патриотизма. Любовь къ простому народу, къ *почетъ*, какъ говорилъ Достоевскій, есть знаменательное явленіе въ нашей литературѣ вообще; сознаніе духовной красоты и духовнаго здоровья, которыя народъ сохранилъ, а мы утратили, давно у насъ зародилось и возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Достоевскій, по всему складу души, по своей способности симпатизировать внутренней красотѣ, былъ всегда, какъ Пушкинъ, поклонникомъ простаго народа. „Записки изъ Мертваго Дома“, въ которыхъ съ такимъ сочувствіемъ нарисованы народныя типы, написаны раньше, чѣмъ онъ могъ назвать себя славянофиломъ, какъ называлъ въ послѣдніе годы. А еще раньше, до ссылки, написана повѣсть „Хозяйка“, такъ разсердившая нашихъ западниковъ.

Такому человѣку, конечно, долженъ былъ открыться и главный нервъ народной жизни, высокій идеалъ святости, подчиняющій себѣ весь нравственный складъ народа, дающій этому народу такую несокрушимую жизненность и крѣпость. Вотъ тотъ послѣдній и высшій авторитетъ, которому подчинился Достоевскій, вотъ самое важное изъ вліяній, имѣвшихъ на него дѣйствіе, вотъ окончательная дорога, къ которой пришло это развитіе. Когда онъ вернулся изъ за границы, гдѣ онъ жилъ почти уединенно со своею семьей, безъ развлеченій и дѣлъ (хотя въ большихъ затрудненіяхъ и трудахъ), онъ принесъ съ собою то настроеніе глубокаго умиленія, въ которое привело его долгое погруженіе въ этотъ строй мыслей. Были минуты, когда онъ и выраженіемъ лица и рѣчью походилъ на кроткаго и яснаго отшельника. Да, онъ былъ христіаниномъ, онъ ясно зналъ тотъ идеалъ, къ которому нужно стремиться прежде всего другаго.

Это тотъ путь, по которому идутъ простыя души и къ которому, какъ мы видимъ, приходятъ и самыя одаренныя души, иногда долго блуждавшія по другимъ путямъ. Всѣ знаютъ уже, что идеалъ Христа сталъ выс-

шимъ идеаломъ и для другаго нашего художника, гр. Л. Н. Толстого. Переходы были тѣ же, какъ у Достоевскаго. Л. Н. Толстой всею своею натурою, всею симпатіею своего великаго художественнаго чувства былъ направленъ и устремленъ къ народу, и долгое и любовное созерцаніе народа открыло ему идеалъ, которнмъ живетъ народъ. Это совпаденіе съ Достоевскимъ было поразительно. Они не были знакомы другъ съ другомъ, но въ послѣднее время оба все собирались познакомиться. Позволю себѣ привести нѣсколько строкъ изъ письма Л. Н. Толстого, писаннаго ко мнѣ въ концѣ сентября прошлаго года. „Я не понимаю“, писалъ онъ, „жизни въ Москвѣ тѣхъ людей, которые сами не понимаютъ ее. Но жизнь большинства, — мужиковъ, странниковъ и еще кое-кого, понимающихъ свою жизнь, я понимаю и ужасно люблю. Я продолжаю работать надъ тѣмъ же, и кажется не бесполезно. Надняхъ нездоровилось, и я читалъ „Мертвый Домъ“. Я много забылъ, перечиталъ и не знаю лучше книги изъ всей новой литературы, включая Пушкина. Не тонъ, а точка зрѣнія удивительна, — искренняя, естественная и христіанская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера цѣлый день, какъ давно не наслаждался. Если увидите Достоевскаго, скажите ему, что я его люблю“. (Письмо 1880 г., 26 сентября).

Я принесъ это письмо Федору Михайловичу, и это была одна изъ прекрасныхъ минутъ и для него, и для меня, какъ свидѣтеля.

И такъ, въ любви къ народу, переходящей въ преданность высшему народному идеалу, идеалу Христа, завершается дѣятельность двухъ нашихъ лучшихъ художниковъ слова.

Отсюда намъ всего яснѣе открывается и смыслъ произведеній Достоевскаго. Кромѣ общей симпатіи ко всѣмъ „униженнымъ и оскорбленнымъ“, у него, особенно во второй половинѣ дѣятельности, является опредѣленная задача — изобразить больныя стороны нашего общества, оторваннаго отъ народа. Онъ выводитъ намъ два ряда типовъ: „нигилистовъ“, явившихся въ послѣдніе десятии лѣтъ, и предшествовавшихъ имъ „людей сороковыхъ годовъ“. Такъ и въ послѣднемъ романѣ драма идетъ между отцомъ Карамазовымъ, принадлежащимъ къ сороковымъ годамъ, и между его дѣтьми-нигилистами, Иваномъ и Смердяковымъ. И вотъ съ неподобною глубиною и тонкостью Достоевскій рисуетъ намъ извращеніе этихъ душъ, искаженіе ихъ нашимъ такъ называемымъ просвѣщеніемъ. И здѣсь, какъ и въ другихъ романахъ, наибольшая доля сочувствія принадлежитъ молодому поколѣнію, именно Ивану, въ которомъ изображена серьезная, искренняя преданность своимъ убѣжденіямъ, хотя и превратнымъ, увлеченіе, доходящее до поэзіи и грандіозности. Нельзя не замѣтить, что

меньше всего Достоевскій щадилъ людей сороковыхъ годовъ; ихъ онъ какъ будто уже не прощалъ и выставлялъ или рѣзко-комическими, какъ Степанъ Трофимовичъ Верховенскій въ „Бѣсахъ“, или рѣзко отвратительными, какъ живьемъ схваченная фигура Федора Павловича Карамазова. Къ нигилистамъ-же онъ отнесся, можно сказать, съ отеческою скорбью, съ отеческимъ состраданіемъ. Молодое поколѣніе мало по малу поняло, съ какимъ сердцемъ онъ къ нему обращался, и отвѣчало заявленіями своей любви.

Но тутъ яенѣ чѣмъ въ другихъ романахъ Достоевскій поставилъ и положительную сторону дѣла. Не вся же Россія состоитъ изъ прогнившихъ западниковъ, какъ Федоръ Павловичъ, и изъ безмѣрно-дерзкихъ умомъ нигилистовъ, какъ его сынъ Иванъ. Отцеубійство совершенно несчастнымъ Смердяковымъ, грѣхъ котораго долженъ равно пасть и на его отца и на брата Ивана, сбившаго съ пути жалкое созданіе. Но кромѣ ихъ есть еще Дмитрій Карамазовъ, ординарный русскій человѣкъ, грубый богатырь, въ которомъ много зла, но много и добра, и который отвѣчаетъ собою за чужія вины. Есть еще и задатки будущаго — благочестивый и чистый сердцемъ Алеша. Да и Иванъ, любимецъ автора, Иванъ, который въ душѣ, въ мысли, убилъ отца, какъ нигилисты въ мысли совершаютъ покушеніе на убійство нашего царства. Иванъ пораженъ своею совѣстью, какъ громомъ, и, если онъ выздоровѣетъ, онъ опомнится и станетъ другимъ человѣкомъ. Вотъ гдѣ намъ слѣдуетъ искать поученія. Будемъ сильны и бодры, и несокрушимы никакой бѣдой, какъ Дмитрій Карамазовъ. При всѣхъ нашихъ безобразіяхъ, при всѣхъ претерпѣваемыхъ несправедливостяхъ, будемъ чисты отъ ненависти и преступленія. Научимся, если придется, терпѣть за чужія вины и прощать, потому что онъ правду говоритъ: „всѣ за всѣхъ виноваты“.

Это черты настоящаго русскаго духа, того духа, которымъ живетъ и растетъ и на вѣки могуча Русская земля. Будемъ любить Россію тою любовью, которая дышетъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, научимся смотрѣть на нее не съ униженностью, какъ ея рабы, и не съ высокомѣріемъ, какъ ея господа и учителя, а съ тѣмъ чувствомъ, съ какимъ сыновья смотрятъ на мать. Постараемся „возродиться“, какъ замышляетъ Дмитрій Карамазовъ, воспитать въ себѣ „новаго“ человѣка, чтобы имѣть право на такія сыновнія отношенія, чтобы стать и для насъ идеаломъ идеаль Христа, наполняющій собою душу нашей великой родины. Такъ, мнѣ думается, завѣщаль намъ Федоръ Михайловичъ Достоевскій.

Приведу еще нѣсколько строкъ изъ письма, полученнаго мною надняхъ отъ Л. Н. Толстого. Его здѣсь нѣтъ, но пусть и онъ участвуетъ въ нашихъ поминкахъ.

„Какъ-бы я желалъ умѣть сказать все, что я чувствую о Достоевскомъ! Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видалъ этого человѣка и никогда не имѣлъ прямыхъ отношеній съ нимъ; и вдругъ, когда онъ умеръ, я понялъ, что онъ былъ самый близкій, дорогой, нужный мнѣ человѣкъ. И никогда мнѣ въ голову не приходило мѣряться съ нимъ, никогда. Все, что онъ дѣлалъ (хорошее, настоящее, что онъ дѣлалъ), было такое, что чѣмъ больше онъ сдѣлаетъ, тѣмъ мнѣ лучше. Искусство вызываетъ во мнѣ зависть, умъ тоже, но дѣло сердца—только радость. Я его такъ и считалъ своимъ другомъ, и иначе не думалъ, какъ то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдругъ читаю—умеръ. Опора какая-то отскочила отъ меня. Я растерялся, а потомъ стало ясно, какъ онъ мнѣ былъ дорогъ, и я плакалъ и теперь плачу. Надняхъ, до его смерти, я прочелъ „Униженные и Оскорбленные“ и умилился“.

За Н. Н. Страховымъ, М. А. Хитрово прочелъ слѣдующее стихотвореніе:

Какой богачъ, какой вельможа знатный
Скончался тутъ — и славетъ и великъ?
Съ утра народъ толпою необъятной
Спѣшитъ взглянуть на мертвый этотъ ликъ.

Тутъ все гласитъ о жизни сокровенной,
Тутъ скромно все, и просто и бѣдно;
Но тутъ онъ жилъ — богачъ тотъ незабвенный,
Тутъ все еще душой его полно.

Въ той комнатѣ, въ углу, подъ образами,
Гдѣ создавалъ, любилъ и мыслилъ онъ,
Лежитъ онъ тутъ съ застывшими чертами,
Въ великое безмолвье погруженъ.

Онъ былъ богачъ! Сокровищъ много, много
Въ своей душѣ великой онъ носилъ,
Онъ каждый день ихъ получалъ отъ Бога,
И каждый день онъ людямъ ихъ дѣлилъ.

И вотъ зачѣмъ тутъ всякій людъ столпился
Веруя богача — любимца своего,
Весь этотъ людъ въ единой скорби слился,—
Вѣдь это все, все—нищіе его.

Онъ, заживо бесѣдовавшій съ небомъ,
Устами онъ Зосимы утѣшалъ,
Онъ ихъ питалъ своимъ духовнымъ хлѣбомъ
И милосердье въ души ихъ вливалъ.

Животвора порокъ и преступленье,
Онъ ихъ любви и милости училъ,
И онъ свое народное значенье
И жизнь и ваторгой купилъ.

И вотъ зачѣмъ надъ нимъ вся Русь рыдаетъ
И вотъ зачѣмъ толпится тутъ народъ;
А въ небесахъ его Христосъ встрѣчаетъ
И въ немъ свое наслѣдье узнаетъ.

Всѣ произнесенныя рѣчи и стихотворенія вызывали одобренія и сопровождались шумными рукоплесканіями.

Во время послѣдовавшаго затѣмъ перерыва, хоръ любителей, подъ управленіемъ М. А. Бермана, исполнилъ три музыкальныя пьесы.

Образцовое исполненіе пьесъ и самый выборъ ихъ произвели на присутствующихъ необыкновенное впечатлѣніе.

Въ заключеніе О. О. Миллеръ произнесъ слѣдующую рѣчь:

Милостивые Государи!

Никогда еще торжественныя собранія Славянскаго Общества не были такъ многолюдны, какъ нынче! Этимъ множествомъ не только своихъ сочленовъ, но и множествомъ гостей, мы обязаны грустной злобѣ дня—поминовенію О. М. Достоевскаго, велѣдъ за столькими другими поминовеніями справляемому въ томъ Обществѣ, которое имѣло счастье въ послѣднее время считать его товарищемъ предсѣдателя.

Была полоса, когда къ намъ стекались толпой—не сразу такой многолюдной, но зато постоянной, не оскудѣвавшей ни въ одинъ изъ тѣхъ трехъ дней въ недѣлю, въ которые собиралась особо избранная Комmissія Славянскаго Общества, стремившаяся откликнуться на запросъ, сказавшійся въ самомъ Русскомъ Обществѣ, въ цѣломъ обществѣ. То было лѣто 1876 г. — пора сербской войны и русскаго добровольчества. Теодоръ Михайловичъ Достоевскій, при свойственной ему всегда прозорливости психолога и наблюдателя нравовъ, провидѣлъ, конечно, уже тогда, что такое необычайное одушевленіе неизбежно должно у насъ смѣниться настроеніемъ прямо противоположнымъ. Не даромъ писалъ онъ еще въ 60-хъ годахъ: „Увизжаться и прорваться отъ восторга—это у насъ самое первое дѣло; смотришь—года черезъ два и расходимся вновь, повѣ-

сивъ носъ“ *). Со славянскими восторгами оно у насъ вышло такъ даже какихъ нибудь *мѣсяца* черезъ два. Но Достоевскій никогда не унывалъ и не падалъ духомъ, при всей впечатлительности и болѣзненной нервности своей природы. Твердый въ своихъ славянскихъ сочувствіяхъ, онъ вѣрилъ, что общество наше рано или поздно уже прочнымъ образомъ вернется къ нимъ. Дѣло въ томъ, что для него эти сочувствія не представлялись только мимоходною данью и этого рода благотворительности, данью, вызванною приглашеніемъ на то со стороны какихъ нибудь добрыхъ знакомыхъ. Славянскія сочувствія не могли не выдвинуться у него прямо на первый планъ, ибо къ нимъ неизбѣжно приводили его задушевные основы его направленія.

Достоевскій сталъ съ самаго начала и навсегда остался честнѣйшимъ, а потому и вполне послѣдовательнымъ адвокатомъ всѣхъ „униженныхъ и оскорбленныхъ“. Могъ-ли онъ не почувствовать въ себѣ неотразимаго призыва на защиту униженныхъ и оскорбленныхъ народностей? А не такими-ли издавна являлись въ Европѣ Славяне всѣхъ отраслей (за исключеніемъ развѣ Поляковъ — но вѣдь и тѣ приголубливались ею лишь лицемерно, въ пиву Россіи). Не такими-ли окончательно оказались Славяне передъ послѣдней турецкой войной, а еще болѣе послѣ нея — въ лицѣ самихъ побѣдителей Русскихъ, обратившихся въ подсудимыхъ на Берлинскомъ конгрессѣ? Но дѣло въ томъ, что мы вѣдь и сами себя издавна унижали и оскорбляли. Мы сами забивали себя, свою народную личность, отрекаясь отъ своей исторіи, представлявшей намъ какую-то „глуповщину“, еще задолго до употребленія этого слова сатирикомъ. Между тѣмъ Достоевскій любилъ и умѣлъ выставять не вполне забытыми самыхъ маленькихъ, самыхъ даже несчастныхъ людей, хотя ему приходилось подчасъ, съ болью въ сердцѣ, выставять ихъ и вполне опустившимися. Каково-же было ему узнавать черты самой глубокой опущенности и приниженности въ русскомъ обществѣ — тѣмъ болѣе вызывавшемъ у него жалость, что само оно, это общество, не чувствовало своего положенія, а напротивъ того въ этой народной своей обезличенности видѣло какую-то благовоспитанную печать европейскаго благородства. Каково было ему замѣчать, какъ, гордое этою печатью, оно унижало и оскорбляло родной народъ, видя въ немъ лишь голодные желудки и ненасыщенные мозги, которые бралось оно наполнить со всѣми обычными презрительными приемами *благодѣтелей*? Вспомните же, наконецъ, не могъ онъ не говорить, что эти, какъ вамъ представляется, пустые сосуды — живые люди, достой-

*) „Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ“, глава 3.

ине не одной милостини, но и уваженія и любви! Вспомните, что ваша умственная подачка — только чужое доброе, усвоенное старой привычкой жить не своимъ умомъ, подобно тому, какъ вы уже давно привыкли и физически жить не своимъ, а народнымъ трудомъ; — да, трудомъ этого самаго народа, въ которомъ вы вдругъ взяли изгладить будто ему присущій „звѣринный образъ“.

Не мало различныхъ видовъ униженности и оскорбленности, унижителей и оскорбителей представляла Достоевскому наша русская жизнь при всѣхъ, обращаемихъ къ ней запросахъ совсѣмъ на иное, — запросахъ всего Славянства. Но съ тѣми же запросами *на иное* нужно было куда нибудь обратиться и европейскому міру — со всѣми его уцѣлѣвшими, изъ зло вѣковой и великой цивилизаціи, „несчастными“ — въ широкомъ русскомъ смыслѣ этого слова.

Достоевскій былъ вполне причастенъ европейской цивилизаціи со всѣми ея „святыми чудесами“. Но именно потому, что при всемъ величїи этихъ „чудесъ“, въ ней все-же остаются неисцѣлимые недуги, онъ обращается къ Европѣ, нашей путеводной звѣздѣ не со вчерашняго дня, съ непочтительными словами: „врачу, исцѣлся самъ“. Впрочемъ, сочувствіе этимъ словамъ явственно слышалось ему въ самой Европѣ — въ лицѣ ея лучшихъ людей, — тѣхъ, что, подобно ему, способны были принимать къ сердцу застарѣлые недуги, хотя-бы гнѣздо ихъ оказалось вѣковѣчно свитымъ собственно въ той толпѣ, которую они уже не въ силахъ были вслѣдъ за Вольтеромъ называть *la saignée*. Достоевскій еще въ 60-хъ годахъ писалъ подѣ влияніемъ непосредственнаго знакомства съ Европой:

„Предрекъ же аббатъ Сіэйсъ въ своемъ знаменитомъ памфлетѣ, что буржуа — это *все*. „*Что такое tiers-etat? Ничего. Чѣмъ должно оно быть? Вспль*“ *). Ну, такъ и случилось, какъ онъ сказалъ. Одни только эти слова и осуществились изъ всѣхъ словъ, сказанныхъ въ то время; они одни и остались... Въ самомъ дѣлѣ, провозгласили вскорѣ послѣ него: *liberté, égalité, fraternité*. Очень хорошо-съ. Что такое *liberté*? — Свобода. Какая свобода? — Одинаковая свобода всѣмъ дѣлать все, что угодно, въ предѣлахъ закона. *Когда можно дѣлать все, что угодно? Когда имѣешь миллионъ*. Даетъ-ли свобода каждому по миллиону? Нѣтъ. Что такое человекъ безъ миллиона? *Человекъ безъ миллиона есть не тотъ, который дѣлаетъ все, что угодно, а тотъ, съ которымъ дѣлаютъ все что угодно* **). Чтожь изъ этого слѣдуетъ? А слѣ-

*) Подчеркнуто авторомъ.

**) Подчеркнуто ораторомъ.

дуетъ то, что кромѣ свободы есть еще равенство, и именно равенство передъ закономъ. Про это равенство передъ закономъ можно только одно сказать, что въ томъ видѣ, въ какомъ оно теперь прилагается, каждый можетъ и долженъ принять его за личную для себя обиду. Чтожь остается изъ формулы: *братство*? Ну, эта статья самая курьезная и, надо признаться, до сихъ поръ составляетъ главный камень преткновения на западѣ. Западный человѣкъ толкуетъ о братствѣ какъ о великой движущей силѣ человѣчества, и не догадывается, что *неидтъ взять братства, коли его нтъ въ дѣйствительности*. Что дѣлать? Надо сдѣлать братство во что-бы ни стало. Но оказывается, что сдѣлать братства нельзя, потому что оно само дѣлается, дается, въ природѣ находится. А въ природѣ французской да и вообще западной его въ наличности не оказалось, а оказалось *начало личное*, начало особнякъ, усиленнаго самоохраненія, самопромышленія, самоопредѣленія въ своемъ собственномъ *Я*, сопоставленія этого *Я* всей природѣ и всѣмъ остальнымъ людямъ какъ самоправнаго отдѣльнаго начала, совершенно равнаго и равноцѣннаго всему тому, что есть кромѣ него. Ну, а изъ такого самооставленія не могло произойти братства. Почему? Потому что въ братствѣ, въ настоящемъ братствѣ, не отдѣльная личность, не *Я* должно хлопотать о правѣ своей равноцѣнности и равновѣсности со всѣмъ *остальнымъ*, а все-то это *остальное* должно бы было *само* придти къ этой требующей права личности, къ этому отдѣльному *Я* и само, безъ его просьбы, должно бы было признать его равноцѣннымъ и равноправнымъ себѣ, т. е. всему остальному, что есть на свѣтѣ. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое *Я*, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но напротивъ отдать его обществу безъ всякихъ условій. Но западная личность не привыкла къ такому ходу дѣла: она требуетъ съ бою, она требуетъ права, она хочетъ *длится*—ну и не выходитъ братства... Чтожь, скажете вы, надо быть безличностью, чтобъ быть счастливымъ? Развѣ въ безличности спасеніе? Напротивъ, напротивъ, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо въ высочайшей степени, чѣмъ та, которая теперь опредѣлилась на западѣ. Поймите меня: *самовольное, совершенно сознательное и никтѣмъ непринужденное самопожертвованіе всего себя въ пользу всѣхъ есть по моему признакъ высочайшаго развитія личности*, высочайшаго ея могущества, высочайшаго самообладанія, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой животъ за всѣхъ, пойти за всѣхъ на крестъ, на костеръ, можно только при самомъ сильномъ развитіи личности. Сильно развитая личность, вполне

увѣренная въ своемъ правѣ быть личностью, уже не имѣющая за собою никакого страха, ничего не можетъ и сдѣлать другаго изъ своей личности, т. е. никакого болѣе употребленія, какъ отдать ее всю всѣмъ, чтобы и другіе всѣ были точно такими-же самоправными и счастливыми личностями. *Это законъ природы; къ этому тянетъ нормально человека.* Но тутъ есть одинъ волосокъ, одинъ самый тоненькій волосокъ, но который если попадетъ подъ машину, то все разомъ треснетъ и разрушится. Именно: *бѣда имѣть при этомъ случаѣ хоть какой нибудь самый малѣйшій расчетъ въ пользу собственной выгоды... *)*. Сдѣлать братства нельзя, а надо чтобы оно само собой сдѣлалось, чтобы оно было *въ натурѣ **)*, безсознательно въ природѣ всего племени заключалось, однимъ словомъ: чтобы было братское, любящее начало, — надо любить. Надо, чтобы самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на соглашеніе, и тянуло, несмотря на всѣ вѣковыя страданія націи, несмотря на варварскую грубость и невѣжество, укоренившіяся въ націи, несмотря на вѣковое рабство, на нашествія иноплеменниковъ, — однимъ словомъ, чтобы потребность братской общины была въ натурѣ человека, чтобы онъ съ тѣмъ родился, или усвоилъ себѣ такую привычку искони вѣковъ. Въ чемъ состояло бы это братство, еслибъ переложить его на разумный сознательный языкъ? Въ томъ, чтобы каждая отдѣльная личность сама, безо всякаго принужденія, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу: „мы крѣпимъ только всѣ вмѣстѣ, возьмите же меня всего, если вамъ во мнѣ надобность; не думайте обо мнѣ, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько, — я всѣ свои права вамъ отдаю и пожалуйста располагайте мною. Это высшее счастье мое — вамъ всѣмъ пожертвовать и чтобы вамъ за это не было никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь съ полнымъ безразличьемъ, только бы ваше-то братство процвѣтало и осталось“. А братство, напротивъ, должно сказать: „ты слишкомъ много даешь намъ. То, что ты даешь намъ, мы не въ правѣ не принять отъ тебя, ибо ты самъ говоришь, что въ этомъ все твое счастье; но что же дѣлать, когда у насъ безпрестанно болитъ сердце и за твое счастье. Возьми же все и отъ насъ. Мы всѣми силами будемъ стараться поминутно, чтобы у тебя было какъ можно больше личной свободы, какъ можно больше самопроявленія...“

„...Послѣ этого, разумѣется, ужъ нечего дѣлиться, тутъ ужъ все само собой раздѣлится. Любите другъ друга и все сіе вамъ приложится...“

„Но опять-таки что-же дѣлать социалисту, если въ западномъ чело-

*) Все это подчеркнуто ораторомъ.

**) Подчеркнуто авторомъ.

вѣкъ нѣтъ братскаго начала, а напротивъ начало единичное, личное, непрерывно обособляющееся, требующее съ мечемъ въ рукахъ своихъ правъ? Соціалистъ, видя, что нѣтъ братства, начинаетъ уговаривать на братство... опредѣлять будущее братство, рассчитываетъ на вѣсь и на иѣру, соблазняетъ выгодой, толкуетъ, учитъ, рассказываетъ сколько кому отъ этого братства выгоды придется, кто сколько выиграетъ; опредѣляетъ, чѣмъ каждая личность смотритъ, насколько тяготѣетъ, и опредѣляетъ заранѣе расчетъ благъ земныхъ, насколько кто ихъ заслужитъ и сколько каждый за нихъ долженъ добровольно внести въ ущербъ своей личности въ общину... Впрочемъ, провозглашена была формула: „каждый для всѣхъ и всѣ для каждого“. Ужъ лучше этого, разумѣется, ничего нельзя было выдумать, тѣмъ болѣе, что вся формула цѣликомъ взята изъ одной, всѣмъ извѣстной книжки *). Но вотъ начали прикладывать эту формулу къ дѣлу и черезъ шесть мѣсяцевъ братья потянули основателя братства Кабета къ суду. Фурьеристы, говорятъ, взяли свои послѣднія девятьсотъ тысячъ франковъ изъ своего капитала и все еще пробуютъ, какъ бы устроить братство. Ничего не выходитъ... Кажется ужъ совершенно гарантируютъ человѣка, обѣщаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуютъ съ него самую капелюку его личной свободы для общаго блага, самую, самую капелюку. Нѣтъ, не хочетъ жить человѣкъ и на этихъ расчетахъ, ему и капелюка тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острогъ и что самому по себѣ лучше, потому — полная воля. И вѣдь на волѣ бьютъ его, работы ему не даютъ, умираетъ онъ съ голоду и воли у него нѣтъ никакой, такъ нѣтъ-же, всетаки кажется чудяку, что своя воля лучше. Разумѣется, соціалисту приходится плюнуть и сказать ему, что онъ дуракъ, не доросъ, не созрѣлъ и не понимаетъ своей собственной выгоды...

„И вотъ въ самомъ послѣднемъ отчаяніи соціалистъ провозглашаетъ наконецъ *liberté, égalité, fraternité ou la mort*. Ну ужъ тутъ нечего говорить, и буржуа окончательно торжествуетъ.

„А если буржуа торжествуетъ, такъ стало быть и сбылась формула Сіеиса буквально и въ послѣдней точности“.

Эта большая выписка была совершенно необходима. Важно, что уже тогда, въ 60-хъ годахъ, у Достоевскаго вполнѣ сложились основы всего того, что онъ впослѣдствіи проводилъ въ своемъ „Дневникѣ Писателя“, что внушило ему самыя горячія мѣста его Пушкинской рѣчи, оборону ея въ единственномъ лѣтнемъ номерѣ „Дневника“ за прошлый

*) Евангелія, разумѣется.

годъ, наконецъ его лебединую пѣснь — тотъ первый и послѣдній номеръ „Дневника“ за текущій годъ, который вышелъ въ свѣтъ въ день выноса его тѣла.

Корень европейскаго зла Достоевскій усматривалъ въ историческомъ началѣ запада—*развитіи личности во всей ея исключительности*. Но не даромъ, характеризуя *индивидуализмъ*, и извѣстный французъ-радикаль, историкъ революціи, яркимъ образчикомъ противоположнаго — *de la fraternité*—выставлялъ явленіе славянскаго міра: гуситство. Оно же сложилось на почвѣ *общины*, коренившейся, по выраженію Достоевскаго, „въ природѣ всего племени“, хотя вслѣдствіе (его же выраженіе) „вѣковыхъ страданій“, „варварской грубости и невѣжества“, „нашествія ино-племенниковъ“ и т. п., издавнее расположеніе къ общинѣ могло быть и дѣйствительно было всячески заглушаемо и извращаемо. Не смотря на весь этотъ фактическій упадокъ общинности въ самомъ славянскомъ мірѣ, Достоевскій продолжалъ возлагать всѣ свои надежды на ея принципъ—на воспитательную силу ея преданій, воспитательную не столько въ *политическомъ*, сколько въ *нравственномъ* смыслѣ. Потому-то и говорилъ Достоевскій въ своей пушкинской рѣчи: „О, народы Европы и не знаютъ, какъ они намъ дороги! И впоследствии, я вѣрю въ это... будущіе русскіе люди поймутъ уже всѣ до одинаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противорѣчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскѣ въ своей русской душѣ, всечеловѣчной и всесоединяющей, вмѣстѣ въ нее съ братскою любовью всѣхъ нашихъ братьевъ, а въ концѣ концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармоніи... Знаю, слишкомъ знаю, что слова мои могутъ показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что ихъ высказалъ“. Онъ не раскаивался и послѣ того, какъ въ отвѣтъ ему было указано на тѣ европейскія учрежденія, при помощи которыхъ на западѣ справились съ тѣмъ, съ чѣмъ не можемъ справиться мы. „Это Европа-то справилась?“ Спрашивалъ онъ въ отвѣтъ. Да кто только могъ вамъ это сказать?.. „Муравейникъ, давно уже создавшійся въ ней безъ церкви и безъ Христа (ибо церковь, замутивъ идеаль свой, давно уже и повсемѣстно перевоплотилась тамъ въ государство), съ расшатаннымъ до основанія нравственнымъ началомъ, утратившимъ все, все общее и все абсолютное, — этотъ создавшійся муравейникъ, говорю я, весь подкопанъ“. Слова эти опять послужили у насъ „камнемъ преткновенія и соблазна“ для многихъ, но именно на западѣ они бы не смутили и не оскорбили ни одной дѣйствительно вѣрующей души, такъ-же точно, какъ именно *радикальные* западные

политики не смущаются и не оскорбляются невыгодными картинами европейскаго политическаго строя. Въ словахъ Достоевскаго объ этомъ „нравейникѣ“ нѣтъ и тѣни мысли, чтобы въ нѣдрахъ католичества и порожденнаго имъ протестантства не было дѣйствительно вѣрующихъ, — но эти вѣрующіе, по его представленію, давно уже жаждутъ и ищутъ церкви — дѣйствительной церкви, т. е. *спрующей общины*. Увы! она давно уже замѣнилась въ католичествѣ единоличнымъ авторитетомъ государя-папы, въ протестантствѣ — авторитетностью личнаго разумѣнія каждаго (т. е. каждаго развитаго человѣка). А въ результатѣ выходитъ издавнѣе безвѣріе именно официальныхъ блюстителей вѣры въ католичествѣ, такъ глубокоисключенно разоблаченное Достоевскимъ въ его „Великомъ Инквизиторѣ“ *), и неизбѣжность перехода отъ положительной вѣры къ рационализму въ протестантствѣ, напрасно думающемъ остановиться на половинѣ дороги — въ качествѣ исповѣданія, формулированнаго государственною властью, къ соблазну искренно вѣрующихъ протестантовъ, ищущихъ и не находящихъ настоящей точки опоры. На распатанное до основанія религіозное начало указывало и указываетъ въ Европѣ многое множество числящихся какъ католиками, такъ и протестантами; но, на дѣлѣ часто оказываясь просто пребывающими внѣ всякой церкви, они эту утрату „всего общаго и всего абсолютнаго“ не хотятъ или не умѣютъ себѣ объяснить тѣмъ, что усовершенствованный механизмъ европейскаго общества движется „безъ Христа“. Между тѣмъ для Достоевскаго этимъ-то и объясняется непрочность того, что держится такимъ механизмомъ. „Грядетъ четвертое сословіе, говоритъ онъ, стучится и ломится въ дверь, и если ему не отворять, сломаетъ дверь. Не хочетъ оно прежнихъ идеаловъ, отвергаетъ всякій доселѣ бывшій законъ. На компромиссъ, на уступочки не пойдетъ, подпорочками не спасете зданія. Уступочки только разжигаютъ, а оно хочетъ всего. Наступитъ нѣчто такое, чего никто и не мыслить. Всѣ эти парламентаризмы, всѣ исповѣдаемыя теперь гражданскія теоріи, всѣ накопленныя богатства, банки, науки, жиды, все это рухнетъ въ одинъ мигъ и безслѣдно — кромѣ развѣ жидовъ, которые и тогда найдутся какъ поступить, такъ что имъ даже въ руку будетъ работа. Все это „близко при дверяхъ“. И это служило, конечно, „камнемъ преткновенія“, представляясь какимъ-то юродствованіемъ великаго таланта, юродствованіемъ даже и не совсемъ гуманнымъ — между прочимъ потому, что тутъ задѣвался *жиды*. Но Достоевскій зналъ очень хорошо, что они даже вовсе не *національность* — что *жиды* могутъ быть и между не евреями всѣхъ

*) „Братья Карамазовы“, т. I, кн. 5, гл. 5.

національностей. Разумные между *евреями* (интеллигентные — какъ они сами себя называютъ) не обижались и даже писали Достоевскому теплыя, задушевныя письма. Зато вовсе не евреи обижались, и сильно обижались — за Европу! „Вы смѣетесь? продолжалъ Достоевскій. Блаженны смѣющіеся. Дай Богъ вамъ вѣку, сами увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мнѣ, смѣясь: „Хорошо же вы любите Европу, коли такъ ей пророчите“. А я развѣ радуюсь? Я только предчувствую, что подведенъ итогъ. Окончательный же расчетъ, уплата по итогу, можетъ произойти даже гораздо скорѣе, чѣмъ самая сильная фантазія могла-бы предположить. Симптомы ужасны. Уже одно только стародавнее-неестественное политическое положеніе европейскихъ государствъ можетъ послужить началомъ всему. Да и какъ-бы оно могло быть естественнымъ, когда неестественность заложена въ основаніи ихъ и накоплялась вѣками? *Не можетъ одна малая часть челоуѣчества владѣть всѣмъ остальнымъ челоуѣчествомъ какъ работъ**). А вѣдь для этой единственной цѣли и слагались до сихъ поръ *всѣ* гражданскія (уже давно не христіанскія) учрежденія Европы, теперь совершенно языческой. А теперь-то вы, теперь-то — указываете намъ на Европу и зовете пересаживать къ намъ тѣ самыя учрежденія, которыя тамъ завтра же рухнутъ, какъ изжившій свой вѣкъ абсурдъ, и въ которыя и тамъ уже многіе умные люди давно не вѣрятъ, которыя держатся и существуютъ тамъ до сихъ поръ лишь по одной инерціи. Да и кто, кромѣ отвлеченнаго доктринера, могъ принимать комедію буржуазнаго единенія, которую видимъ въ Европѣ, за нормальную формулу челоуѣческаго единенія на землѣ? Они де тамъ давно справились. *Это посылъ двадцати-то конституцій менше чѣмъ въ столѣтіе, и безъ малого посылъ десятка революцій**!* Живое воображеніе Достоевскаго, въ которомъ, при всѣхъ его свойствахъ психолога и философа, постоянно сказывался и художникъ, — рисовало ему эту неизбежную картину точно будто уже открывающуюся — къ вящему соблазну и преткновенію людей разсудительныхъ. „Завтра, говорили они, завтра уже не станетъ Европы, всей Европы — и это намъ приходится слышать отъ такого таланта, какъ Достоевскій!“ Но изъ чего же выводили вы, господа, что онъ предсказываетъ гибель *всей* Европѣ, а не той ишь, которая, при всѣхъ своихъ „святыхъ чудесахъ“, до сихъ поръ держала и держитъ въ положеніи *илотовъ* свое-же „четвертое сословіе“? Хоть бы вы немножко вдумались въ слова Достоевскаго, что вѣдь собственно только для *малой части челоуѣчества*, для ея интересовъ и

*) Подчеркнуто ораторомъ.

**) Подчеркнуто ораторомъ.

наслажденій, до сихъ поръ слагались всѣ—и самыя даже прогрессивныя учрежденія Европы.

Но вы считаете ее, эту Европу, единою спасающей—владѣтельницаей ключей отъ земнаго рая, безъ которыхъ, коли оно такъ, и намъ никогда туда не войти. Но подумали-ли вы о томъ, что соответствующее у насъ европейской „малой части“ властнаго человѣчества тѣмъ паче есть *малая* часть сравнительно съ громаднымъ численнымъ преобладаньемъ у насъ того, что соответствуетъ „четвертому сословію“? Хорошо-бы вышло представительство для подавляющаго у насъ, какъ нигдѣ, крестьянскаго большинства,—при простой пересадкѣ къ намъ любой, хотя бы и самой просторной, западной формы! Какowo-бы пришлось „стихийному большинству“ отъ горсти интеллигенціи изъ рѣдкихъ „захудалыхъ родовъ“, болѣе частныхъ „потомковъ извѣстной подлостью прославленныхъ отцовъ“, различныхъ бароновъ, пановъ и, наконецъ, *жидовъ*—какъ изъ евреевъ, такъ и изъ христіанъ (т. е. людей, по выраженію Достоевскаго, „съ аппетитомъ“ и притомъ вооруженныхъ культурными способами удовлетворять аппетитъ). Вѣдь опасность отъ этой „интеллигенціи“ неизбѣжно усиливалась бы тою запущенностью, въ какой оставалось и остается у насъ дѣло просвѣщенія *народа* — т. е. до трехъ четвертей всего населенія Россіи. А если вспомнить, что часть этой интеллигенціи выросла еще на крѣпостномъ правѣ, наслѣдовала его хотя-бы и замаскированныя преданія, то какъ-же не признать поразительной глубины вопроса, задаваемаго Достоевскимъ въ предсмертномъ его „Дневникѣ“:

„Захочетъ-ли прежній помѣщикъ стать интеллигентнымъ народомъ?.. Не захочетъ-ли, напротивъ, опять возгордиться и стать опять надъ народомъ властью силы... изъ самаго образованія своего создать новую властную и разъединительную силу и стать надъ народомъ аристократіей интеллигенціи, его опекающей?“ Или, какъ замѣчаетъ онъ тутъ-же нѣсколько выше, „и теперь уже эта интеллигенція не думаетъ-ли про себя: „А народъ опять скуемъ?“

Но самъ Достоевскій предвидѣлъ и оправдательные отвѣты на своемъ возраженіи.

„Да не мы-ли, скажете вы, объ народѣ болѣемъ, не мы-ли объ немъ столь много пишемъ, не мы-ли его и къ нему призываемъ?“ выражается онъ языкомъ своихъ противниковъ. „Такъ, вы все это дѣлаете, отвѣчаетъ онъ, но русскій народъ убѣжденъ почему-то, что вы не объ немъ болѣете, а объ какомъ-то иномъ народѣ, въ вашу голову засѣвшемъ и на русскій народъ не похожемъ, а его такъ даже презираете. Это презрительное отношеніе къ народу—въ нѣкоторыхъ изъ насъ даже совсѣмъ безсознатель-

ное, положительно можно сказать, невольное, *Это остатокъ крѣпостнаго права.*“

Да, именно оно и сказывается до сихъ поръ, сказывается совершенно невольно, у людей, считающихъ себя великими либералами, сказывается въ этомъ, постоянно повторяющемся, особенно въ послѣднее время, превозношеніи нашей интеллигенціи за одно съ столь-же часто повторяющимся приниженьемъ народа, признаваніемъ въ немъ, на всѣ лады, не чего иного, по выраженію Достоевскаго, какъ „печати звѣриной“ и „звѣринаго образа“. Въ послѣднемъ своемъ „Дневникѣ“ Достоевскій вспомнилъ басню Крылова про свинью, готовую, дорожа только жолудями, подрить корни дуба. Но такъ же умѣстно было бы вспомнить другую, болѣе приличную басню: о „листахъ и корняхъ“. Все и сводится у насъ теперь именно къ отношеніямъ между ними. Хотите-ли узнать человѣка? Добейтесь прежде все, за кого онъ: за листы, или за корни? Но многіе будутъ чистосердечно увѣрять, что они за корни, тогда какъ на повѣрку выйдетъ, что они только за листы. Достоевскій всегда стоялъ за корни.

Въ послѣднемъ своемъ „Дневникѣ“ онъ говорилъ про одно магическое слово, именно: „оказать довѣріе“. „Да, нашему народу можно оказать довѣріе, ибо онъ достоинъ его. Позовите сѣрны зипуны и спросите ихъ самихъ объ ихъ нуждахъ, о томъ, чего имъ надо, и они скажутъ вамъ правду, и мы всѣ въ первый разъ, можетъ быть, услышимъ настоящую правду. И не нужно никакихъ великихъ подъемовъ и сборовъ; народъ можно спросить по мѣстамъ, по уздамъ, по хижинамъ. Ибо народъ нашъ, и по мѣстамъ сидя, скажетъ точь-въ-точь все то же, что сказалъ бы и весь вкупѣ, ибо духъ его одинъ. Каждая мѣстность только лишь свою мѣстную особенность прибавила-бы, но въ цѣломъ, въ общемъ, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужикъ, одинъ только заправскій мужикъ. О, не изъ какихъ-либо политическихъ цѣлей я предложилъ-бы устранить на время нашу интеллигенцію, — не приписывайте мнѣ ихъ, пожалуйста, — но предложилъ-бы я это (ужь извините, пожалуйста) — изъ цѣлей лишь чисто педагогическихъ. Да, пускай въ сторонѣ пока стоимъ и слушаемъ, какъ ясно и толково съумѣетъ народъ свою правду сказать, совѣмъ безъ нашей помощи, и объ дѣлѣ, именно объ заправскомъ дѣлѣ въ самую точку попадетъ, да и насъ не обидитъ, коли объ насъ рѣчь зайдетъ. Пусть стоимъ и поучимся у народа, какъ надо правду говорить. Увидавъ отъ народа столько дѣловитости и серьезности, мы будемъ озадачены и ужь, конечно, явятся изъ насъ, что не повѣрятъ глазамъ своимъ, но такихъ

будеть слишкомъ мало, ибо всё дѣйствительно искренніе, всё во-истину жаждущіе правды, а главное дѣла, заправскаго дѣла и общей пользы, — такіе всё присоединятся къ премудрому слову народному; всё-же неискренніе разомъ обнаружатъ все свое содержаніе и обнаружатся сами. А если останутся и искренніе, что и тогда въ народъ не увѣруютъ, — то это какіе нибудь старовѣры и доктринеры сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, *старыя неисправимыя дѣти, и они будутъ только смѣшны и безвредны.*

„Я, продолжалъ Достоевскій, *на молодежь надѣюсь; и она у насъ страдаетъ „исканіемъ правды“ и тоской по ней, а стало быть она народу сродни наиболѣе, и сразу пойметъ, что и народъ ищетъ правды. А познакомясь столь близко съ душою народа, броситъ тѣ крайнія бредни, которыя увлекли было столь многихъ изъ нея, вообразившихъ, что они нашли истину въ крайнихъ европейскихъ ученіяхъ. Совсѣмъ новая идея вошла бы вдругъ въ нашу душу и освѣтила бы въ ней все, что пребывало до сихъ поръ во мракѣ, свѣтомъ своимъ, обличила-бы ложь и прогнала ее. И, кто знаетъ, можетъ быть, это было-бы началомъ такой эпохи, которая по значенію своему даже могла-бы быть выше крестьянской: тутъ произошло-бы тоже „освобожденіе“ — освобожденіе умовъ и сердецъ нашихъ отъ нѣкоей крепостной зависимости, въ которой и мы тоже пробывъ цѣлыхъ два вѣка у Европы, подобно какъ крестьянинъ, недавній рабъ нашъ, у насъ. Я желалъ-бы только, чтобъ поняли безпристрастно, что я лишь за народъ стою прежде всего, въ его душу, въ его великія силы, которыхъ никто еще изъ насъ не знаетъ во всемъ объемъ и величій ихъ, — какъ въ святую вѣру *), главное въ спасительное ихъ назначеніе, въ великій народный охранительный и зиждительный духъ, и жажду лишь одного: да узрять ихъ всё. Только что узрять, тотчасъ-же начнутъ понимать и все остальное“.*

Слова эти — только восторженный набросокъ мысли, которая должна была практически выясниться въ теченіи года — въ остальныхъ нумерахъ „Дневника“. Въ нихъ собирался онъ подробно высказать, какъ это, какимъ способомъ „оказать довѣріе“, т. е. полное довѣріе. Онъ рассчитывалъ, какъ я заключаю изъ недолгаго разговора съ нимъ при нашемъ предпоследнемъ свиданіи, на участіе известной части интеллигенціи — той, которая ближе къ народу, а она у насъ всетаки есть. Составить какой нибудь сколокъ съ готоваго европейскаго образца могли бы и просвѣщенные бюрократы, но на творческую работу въ духѣ „корней“ способны

*) Все это подчеркнуто ораторомъ.
ПРИЛОЖЕНІЯ.

лишь просвѣщенные *земскіе люди*. А именно къ *творчеству* и призывалъ Достоевскій! Страна съ нигдѣ небывалымъ численнымъ перевѣсомъ „основныхъ, коренныхъ людей“ должна себѣ выработать совершенно своеобразныя соціальныя формы, — подобно тому, какъ съ другой стороны она неизбежно должна создать себѣ и совершенно своеобразную учебную систему. Творчество, только творчество, находилъ Достоевскій, послужило бы намъ настоящею „живою водою!“

„Оказать довѣріе“ — полное довѣріе именно и значило-бы вызвать творчество. А русскій народъ, пояснялъ Достоевскій, заслуживаетъ довѣрія потому уже, что самъ никогда не переставалъ довѣрять своей верховной власти. Дѣло выходитъ тутъ обоюдное. „Царь для народа, говоритъ Достоевскій все въ томъ же послѣднемъ своемъ „Дневникѣ“, — не внѣшняя сила, не сила какого нибудь побѣдителя (какъ была, напримѣръ, съ династіями прежнихъ королей во Франціи), а всенародная, вседняящая сила, которую самъ народъ восхотѣлъ, которую выростилъ въ сердцахъ своихъ, которую возлюбилъ, за которую претерпѣлъ, потому что отъ нея только одной ждалъ исхода своего изъ Египта...“

„У насъ гражданская свобода можетъ водвориться самая полная, полнѣе, чѣмъ гдѣ либо въ мірѣ... Не письменнымъ листомъ она утвердится, а соиздается лишь на дѣтской любви народа къ царю, какъ къ отцу, ибо дѣтямъ можно многое такое позволить, что и немислимо у другихъ, у договорныхъ народовъ...“

Опираясь на старое историческое наше начало *довѣрія*, Достоевскій тѣмъ самымъ призывалъ верховную власть на ничѣмъ несмущающемся постоянствѣ въ великомъ освободительномъ подвигѣ. Вполнѣ захотѣвъ дать народу на самомъ дѣлѣ то, чего онъ еще нигдѣ не имѣетъ — значило-бы, конечно, пойти на зло всѣмъ предостереженіямъ изуча относительно „тождества“ такъ называемой русской партіи, панславизма и „нигилизма!“ Это значило-бы смѣло прочесть и признать на русскомъ, на общеславянскомъ знамени новое слово, слово дѣйствительно страшное для „Европы“ — той Европы, которая въ сущности составляетъ только, по пониманію Достоевскаго, малую властную часть человѣчества. Это значило-бы пойти прямо на встрѣчу стремленіямъ той Европы, которая, по выраженію Достоевскаго, „стучится къ двери“, т. е. заглядитъ передъ нею, какъ и передъ собою, передъ своимъ *славянскимъ*, а съ тѣмъ вмѣстѣ и *мировымъ* призваніемъ, старый вольный и невольный грѣхъ состоянія на службѣ у „Меттерниховщины“. Это значило-бы неразумную службу Европѣ искупить разумнымъ служеніемъ человѣчеству! Тогда-бы успокоился, наконецъ, и тотъ нашъ „скиталецъ“, про котораго Достоевскій

сказалъ въ Москвѣ, что „ему необходимо именно всемірное счастье... дешевле онъ не примирится“.

Достоевскій, говорятъ болѣе добросовѣстные изъ противниковъ, былъ *утопистъ* (въ сущности это то же, что *пророкъ* — званіе, котораго не хотять ему предоставить); но онъ, пожалуй, и самъ признавалъ себя утопистомъ. Да, онъ вѣрилъ въ концѣ концовъ въ *добрую волю* человѣка. Онъ вѣрилъ въ возможность конечнаго совпаденія доброй воли единоличной верховной власти съ природными стремленіями и задушевными чаяніями народа — отчасти отражающагося и въ своихъ интеллигентныхъ „скитальцахъ“, хотя сами они не признають этого. Вотъ онъ и говорилъ имъ въ Москвѣ: „смирись, гордый человѣкъ!“ т. е. смирись передъ своимъ народомъ, признай себя духомъ отъ его духа. Но Достоевскій говорилъ также: „найди себя въ себѣ“ — т. е. запасись же и самъ у себя тою доброю волею, недостатокъ которой въ другихъ сферахъ тебя такъ возмущаетъ.

Оглянись на тотъ же народъ, поучись у него, не смотря на то, что порою онъ, можетъ быть, грубъ до животности. Въ немъ, при всякихъ грѣхахъ, живо *сознаніе грѣха*, т. е. личной отвѣтственности передъ всѣми, а есть ли оно въ тебѣ? Привыкнувъ винить только все постороннее, ты и надежду привыкъ возлагать лишь на то, что опять таки внѣ тебя — *на формы, на механизмъ*, а что если даже при величайшемъ его совершенствѣ ты испортишь все дѣло собой: вѣдь довольно, по замѣчанію Достоевскаго, и того „тоненькаго волоска“, какижъ является малѣйшій рассчетъ въ пользу собственной выгоды, — а что, если въ тебѣ, по его же замѣчанію, засѣло вовсе не маленькое желаніе: „а самому-то мнѣ пусть будетъ *какъ можно лучше*“? Что, если, между тѣмъ какъ ты ораторствуешь о братствѣ, тебя даже вовсе не тянетъ на братство? Что, если и самые твои подвиги — въ угоду тебѣ же, твоему тщеславію, а „долго тебѣ не вытерпѣть, особенно безъ шума и безъ широкой огласки“? Что, если, даже трудясь, ты остаешься чуждъ сознанья, что лишь „трудомъ спасенъ будешь“? Что, если при всемъ твоёмъ высшемъ уровнѣ — въ сущности твоему „аппетиту“, твоему хотя бы и утонченному, но все же чувственному, т. е. животному *Я*, постоянно приносится въ жертву то духовное, высшее, властное надъ собою *Я*, которое именно и скрывается въ самопожертвованіи — единственномъ, настоящемъ самопожертвованіи, въ постоянномъ, неказистомъ самообереженіи отъ малѣйшаго залѣзанья въ чужія права? Загляни въ свою душу, не кривя душой! Вспомни московскій кличъ Достоевскаго: „Найди себя въ себѣ“?

84 УЧАСТІЕ И ПОМИНЕНІЕ О. М. ДОСТОЕВСКАГО ВЪ СЛАВЯНСКОМЪ БЛАГ. ОБЩ.

Рѣчь эта была покрыта единодушными рукоплесканіями.

Во время засѣданія по предложенной подпискѣ было собрано господами: М. В. Карзиною и М. Г. Савиною 222 р., въ память Федора Михайловича Достоевскаго.

Засѣданіе было закрыто въ 11 ч. 10 м.

ПРОВОДЫ ТѢЛА Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО И ПОГРЕБЕНІЕ *).

Никогда еще Россія не видѣла такихъ многочисленныхъ проводовъ, какіе пришлось на долю Ф. М. Достоевскаго. Искреннее чувство выразилось въ участіи всей петербургской учащейся молодежи, собравшейся проводить своего любимаго учителя до мѣста вѣчнаго покоя. Никогда еще у насъ на Руси не высказывалось того единства учащихся и учащихся, какое оказалось на этотъ разъ. Никогда еще не бывало такого русскаго братства, сплотившагося во-едино, чтобы выразить скорбное сочувствіе всей Россіи въ ея великой утратѣ. Но нельзя подобрать словъ, нельзя ихъ сопоставить такъ, чтобы вполне выразить то непритворное, задушевное чувство, каковыя проникнуты были всѣ до единого провожавшіе гробъ съ бранными останками Федора Михайловича. Это были національные русскіе проводы національнаго русскаго писателя. Учащейся молодежи предоставленъ былъ самый широкій просторъ относительно участія въ этой процессіи, и, къ чести ея надо сказать, все было чинно.

А кто не перебивалъ у гроба почившаго дѣятеля въ его квартирѣ? Тутъ были представители всѣхъ слоевъ и состояній нашего общества, понимающаго заслуги Федора Михайловича: тутъ были и высокопоставленные лица, и свѣтскія дамы, и труженики науки и литературы. Въ числѣ явившихся поклониться праху почившаго, былъ Великій Князь Дмитрій Константиновичъ, были и дѣти, принесшія букеты цвѣтовъ на гробъ автору „Мальчика у Христа на елкѣ“...

„Радѣтель бѣдныхъ и угнетенныхъ“ встрѣтилъ со всѣхъ сторонъ почетъ и отовсюду знаки признательности за свою плодотворную дѣятельность.

Ея Высочество Государыня Великая Княгиня Александра Іосифовна

*) Напечатано въ брошюрѣ подъ названіемъ „Федоръ Михайловичъ Достоевскій“, изданіе Хлѣбникова, 1881 г.

письмомъ выразила вдовѣ О. М. Достоевскаго свое сердечное участіе въ постигшемъ ее горѣ.

Ея Высочество Принцесса Евгенія Максимилиановна Ольденбургская прислала на гробъ О. М. Достоевскаго роскошный вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ.

31-го января, съ 9-ти часовъ утра, несмѣтныя толпы народа стремились къ Кузнечному переулку, гдѣ была квартира О. М. Достоевскаго. Квартира покойнаго настолько мала, что въ ней могли помѣститься, съ грѣхомъ пополамъ, только родственники, близкіе, знакомые, друзья покойнаго и литераторы. Около 10-ти часовъ въ Кузнечномъ переулкѣ собрались воспитанники разныхъ учебныхъ заведеній, освобожденныхъ отъ учебныхъ занятій. Воспитанники установились въ отдѣльныя группы, и къ началу шествія процессія растянулась на полверсты. Ровно въ 11 часовъ утра изъ квартиры вынесенъ былъ гробъ покойнаго, и процессія двинулась въ слѣдующемъ порядкѣ:

Главный распорядитель погребальнаго шествія, товарищъ О. М. Достоевскаго по инженерному училищу, Д. В. Григоровичъ; за нимъ—большой лавровый вѣнокъ отъ военнаго Николаевскаго инженернаго училища, несомый юнкерами этого училища въ полной парадной формѣ, подъ предводительствомъ начальника Николаевской академіи генеральнаго штаба, генерала Дандевила съ нѣсколькими офицерами.

Далѣе отдѣльными группами слѣдовали:

- 1) петербургскія прогимназіи, съ вѣнками отъ каждой;
- 2) воспитанники мужскихъ петербургскихъ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 гимназій съ вѣнкомъ отъ каждой;
- 3) воспитанники реальныхъ училищъ, съ вѣнкомъ впереди *);
- 4) воспитанники земледѣльческаго училища, тоже съ вѣнкомъ;
- 5) воспитанники коммерческаго училища; впереди они несли большой лавровый вѣнокъ, среди котораго изъ бѣлыхъ иммортелей изображены были литеры: О. М. Д., а у нижней части вѣнка, соприкасающейся съ тремя пальцами, двѣ широкія бѣлыя ленты съ надписью: „Отъ воспитанниковъ Спб. коммерческаго училища“.

За симъ слѣдовали вѣнки отъ учебныхъ корпорацій съ депутатами:

- 1) вѣнокъ отъ Покровскихъ педагогическихъ женскихъ курсовъ;
- 2) вѣнокъ отъ студентовъ-техпологовъ;
- 3) вѣнокъ отъ студентовъ Горнаго института;

*) Каждая группа воспитанниковъ отдѣлялась отъ другой извѣстною дистанціею, разграничивавшеюся вѣнками, на которыхъ было отмѣчено, отъ какова именно учебнаго заведенія, съ обозначеніемъ: О. М. Д.

- 4) вѣнокъ отъ учениковъ Императорской академіи художествъ;
- 5) небольшой вѣнокъ отъ москвичей, перевязанный бѣлою лентою съ большими концами, на которыхъ черными большими буквами значилось: „Великому учителю изъ сердца Россіи“, а вверху вѣнка „Изъ Москвы“;
- 6) вѣнокъ отъ учителей и учительницъ;
- 7) вѣнокъ отъ студентовъ Петербургской духовной академіи;
- 8) вѣнокъ отъ студентовъ института Инженеровъ путей сообщенія;
- 9) вѣнокъ отъ Женскаго хороваго музыкальнаго общества;
- 10) вѣнокъ отъ Женскихъ медицинскихъ курсовъ;
- 11) вѣнокъ отъ студентовъ Медико-хирургической академіи.

Хоръ пѣвчихъ—любителей, свыше 100 человѣкъ, исполнившихъ на всемъ пути шествія осьми-голосное, погребальное „Святый Боже“, очень стройно.

За ними слѣдовали депутаціи:

1) вѣнокъ отъ правовѣдovъ; его несли три воспитанника училища правовѣдѣнія въ главѣ своего инспектора, профессора римскаго права Петербургскаго университета, г. Дорна;

2) вѣнокъ изъ живыхъ бѣлыхъ маргаритокъ, отъ слушательницъ Высшихъ женскихъ бестужевскихъ курсовъ, во главѣ профессора О. О. Миллера; курсистки образовали вокругъ себя ручную цѣпь, въ центрѣ которой слѣдовалъ ихъ хоръ.

3) Вѣнокъ, самый красивый, богатѣйшій и больше всѣхъ другихъ, отъ студентовъ Петербургскаго университета, сдѣланный изъ самыхъ дорогихъ цвѣтовъ: камелій, розановъ, маргаритокъ, тюльпановъ, гіацинтовъ, сирени, ландышей и т. п. дорогихъ зимою цвѣтовъ. Среди этого вѣнка гиганта, несомата студентами на трехъ высокихъ палкахъ, изъ бѣлыхъ иммортелей была сдѣлана надпись: „Отъ студентовъ Спб. университета“. У рукоятокъ завязанъ былъ большой бантъ изъ широкой бѣлой ленты, заканчивающійся длинными четырьмя концами, поддерживаемыми студентами; на нихъ чернымъ крупнымъ шрифтомъ отпечатано было: „Униженныя и Оскорбленныя“, „Преступленіе и Наказаніе“, „Записки изъ Мертваго Дома“, „Рѣчь въ Москвѣ“ и „Братья Карамазовы“. Отъ вѣнка, впереди котораго шелъ ректоръ университета, г. Бекетовъ, сдѣлана была ручная цѣпь студентами, въ центрѣ которой шелъ хоръ студентовъ университета.

4) вѣнокъ отъ С.-Петербургскаго университета.

5) вѣнокъ отъ Комитета грамотности;

6) вѣнокъ отъ Врачебной общины, который несли два военныхъ доктора въ полной парадной формѣ;

- 7) вѣнокъ отъ русскихъ художниковъ;
- 8) вѣнокъ отъ учениковъ Строительнаго училища;
- 9) вѣнокъ отъ Консерваторіи.

Хоръ пѣвчихъ любителей.

- 1) вѣнокъ отъ Общества русскихъ драматическихъ писателей;
- 2) вѣнокъ отъ русской оперы; его несли артисты Васильевъ 1-й и Мельниковъ;
- 3) вѣнокъ отъ русской драматической труппы, несомнй Сазоновымъ и Давыдовымъ;
- 4) вѣнокъ отъ судебныхъ слѣдователей Петербургскаго окружнаго суда; его несли слѣдователи въ парадной формѣ, въ треуголкахъ;
- 5) вѣнокъ отъ секретарей и кандидатовъ на судебныя должности Петербургскаго окружнаго суда;
- 6) вѣнокъ отъ судебныхъ приставовъ того-же суда;
- 7) вѣнокъ отъ присяжныхъ повѣренныхъ;
- 8) вѣнокъ, довольно красивый, изъ живыхъ цвѣтовъ и большой, съ литерами изъ темно-желтыхъ иммортелей: „Отъ города Петербурга“; его несли три депутата отъ петербургской думы, съ траурными перевязями черезъ плечо;

9) вѣнокъ отъ Московскаго лица.

Депутация отъ всѣхъ петербургскихъ журналовъ и газетъ, за которою слѣдовали:

- 1) большая трехцвѣтная русская хоругвь, изъ оранжеваго, бѣлаго и чернаго цвѣтовъ съ большимъ лавровымъ вѣнкомъ, съ надписью посрединѣ: „Достоевскому“, а внизу: „Отъ редакціи журнала Русская Рѣчь“;
- 2) вѣнокъ лавровый отъ „Петербургскаго Листка“, съ литерами посрединѣ: „другу чести и правды“;
- 3) вѣнокъ отъ редакціи „Новое Время“;
- 4) красивый вѣнокъ изъ бѣлыхъ маргаритокъ, переплетенныхъ лавровыми листьями, полевою засушеною травою, стебельками и мхомъ, перевязанный бантомъ изъ бѣлой ленты, на которой золотистыми буквами отпечатано: „Всемирная Иллюстрація“, „Огонекъ“.

Хоръ владимірскихъ пѣвчихъ.

Духовенство, состоящее изъ пяти священниковъ, въ томъ числѣ профессоръ церковнаго права, о. протоіерей Горчаковъ, и діаконъ.

Вѣнокъ лавровый, литерами изъ бѣлыхъ иммортелей подпись: „Отъ Спб. Славянскаго Общества Русскому человѣку“. Отъ вѣнка идетъ по обѣ стороны гирлянда изъ цвѣтовъ и лавровыхъ листьевъ, длиною въ 30 саженей; ее поддерживаютъ студентки и курсистки на высокихъ палкахъ и

образуютъ большой овальный кругъ, въ центрѣ котораго несутъ высоко на носилкахъ гробъ Федора Михайловича, литераторы, публицисты и журналисты; по обѣ стороны гроба идутъ профессора университета; сзади родственники и друзья покойнаго. Вдали движется колесница, покрытая малиновымъ бархатомъ съ перьями.

Таковъ былъ порядокъ шествія, не нарушаемый ни полиціею, ни жандармами, которыхъ было только шесть человѣкъ: все было чинно.

На пути шествія отслужены были двѣ литіи: у Владимірской и Знаменской церкви.

На всемъ пути этой процессіи, по обѣ стороны Невского проспекта, шпалерами стоялъ народъ. По мѣрѣ движенія, выставлены были шпалерами воспитанники и воспитанницы частныхъ учебныхъ заведеній, не участвовавшіе въ процессіи. Во все время слѣдованія — отъ Кузнечнаго переулка до воротъ Александро-Невской лавры пѣли неутомимо „Святый Боже“ всѣ воспитанники и воспитанницы учебныхъ заведеній, каждая группа отдѣльно и вполне самостоятельно, причемъ, въ виду широко раскинувшейся процессіи, не слышно было диссонанса. Пѣли юнкера Николаевского инженернаго училища, пѣли гимназисты и гимназистки, студентки, курсистки и студенты, пѣли хоры любителей и владимірскіе пѣвчіе. Въ особенности стройно пѣли любители, курсистки и студенты. Погребальное шествіе танулось чинно, безъ давки и толкотни, въ порядкѣ. У воротъ лавры вышли на встрѣчу воспитанники духовнаго училища и духовной семинаріи; духовенство въ полныхъ облаченіяхъ, во главѣ настоятеля лавры, архимандрита о. Симеона, и ректора духовной академіи, о. Янышева, съ монастырской братіей и лаврскими пѣвчими.

Толпы народа, провожавшаго тѣло Федора Михайловича, состояли изъ 25—30 тысячъ человѣкъ, которыя, конечно, не могло проникнуть въ самую лавру. Въ виду этого установленъ былъ слѣдующій порядокъ: всѣ депутаціи, состоявшія изъ трехъ человѣкъ, каждая съ вѣнками, которыхъ было до 62, проходятъ безпрепятственно въ самую церковь, причемъ воспитанники, воспитанницы, студенты и студентки останавливаются по порядку шпалерами у воротъ лавры.

Было уже три часа, когда толпа стала расходиться, унося съ собою отрадное сознаніе выполненнаго долга передъ памятью о человѣкѣ, который всю жизнь работалъ на пользу русскаго общества и народа.

Участвовавшіе въ процессіи получили „визитныя карточки“ покойнаго: небольшой въ траурной рамкѣ листъ, на которомъ отлитографирована подпись руки покойнаго — *Федоръ Достоевскій*; внизу: справа—

„родился 30-го октября 1821“, слѣва — „скончался 28-го января 1881 года“.

Похороны Федора Михайловича происходили на другой день, въ воскресенье 1-го февраля. Въ этотъ день толпы народа съ ранняго утра стекались къ Невскому монастырю.

Къ 62 вѣнкамъ, перечисленнымъ уже нами, въ день похоронъ присоединились еще новыя, такъ что составилось всего до 74 вѣнковъ; въ числѣ прибывающихъ мы видѣли лирообразный вѣнокъ отъ Артиллерійской академіи, отъ Академіи Генеральнаго Штаба, отъ юридической, отъ воспитанниковъ Морскаго училища, отъ гимназій Спѣшневой, отъ лицеевъ, отъ редакцій „Русской Мысли“, отъ „русскихъ дѣтей“, отъ „Общества драматическихъ писателей“ и громадный вѣнокъ изъ искусственныхъ и живыхъ цвѣтовъ и лавровъ съ надписью изъ импортеровъ „отъ литераторовъ“. Великая княгиня Александра Іосифовна прислала вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ, а дѣти ея — крестъ изъ такихъ-же цвѣтовъ. Отъ Академіи наукъ депутатомъ явился М. И. Сухомлиновъ. Вѣнки съ депутациями составили цвѣточную шпалеру по сторонамъ катафалка съ гробомъ отъ алтаря до входныхъ церковныхъ дверей. Много вѣнковъ еще лежало на гробѣ и на ступеняхъ около балдахина. Большая трехцвѣтная хоругвь съ вѣнкомъ и серебряными кистями съ надписью „Достоевскому“, была водружена, противъ балдахина, на хорахъ и ниспускалась внизъ, какъ-бы осѣняя молящихся.

Нечего и говорить, что всѣ литераторы, представители разныхъ редакцій, депутаты отъ учебныхъ заведеній и разныхъ обществъ переполнили собою церковь, въ которую впускъ производился только по билетамъ. Въ числѣ представителей драматическаго міра былъ В. В. Самойловъ. При богослуженіи также присутствовали: оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода, К. П. Побѣдоносцевъ, министръ народнаго просвѣщенія, г. Сабуровъ, начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати Н. С. Абаза, и много другихъ высокопоставленныхъ лицъ. Въ 10 часовъ, встрѣченный духовенствомъ, прибылъ архіерей, преосвященный Несторъ, епископъ Выборгскій, второй викарій с.-петербургской епархіи, и началъ литургію въ сослуженіи архимандритовъ и іеромонаховъ. Стройно пѣли превосходные пѣвчіе, горячо молились русскіе люди, когда раздались грустно-величественные и скорбно-торжественные звуки тропаря: „Со святыми упокой“. По окончаніи литургіи, преосвященный Несторъ вышелъ на середину церкви передъ гробомъ для совершенія отпѣванія. Съ нимъ вышли о. ректоръ с.-петербургской духовной академіи Янышевъ, о. намѣстникъ лавры архимандритъ Симеонъ, два очередные архиман-

дрита и за ними пять протоіереевъ стали по правую сторону гроба, пять іеромонаховъ по лѣвую. Архидіаконъ провозгласилъ: „благослови, Владыко, и тихіе, полныя скорби и умиленія звуки панихиднаго пѣнія полились тихой волной, исторгая слезы изъ глазъ молящихся. Въ это время вѣнки стали выносить изъ церкви, часть ихъ окружила могилу О. М. Достоевскаго, часть стала шпалерами по направленію къ кладбищу. Между тѣмъ въ церкви, по окончаніи чтенія евангелія, протоіерей о. Янышевъ обратился къ молящимся съ проповѣдью. Звучный голосъ, теплое чувство, которое слышалось въ каждомъ звукѣ проповѣди, и краснорѣчіе проповѣдника произвели сильное впечатлѣніе на слушателей. Смыслъ проповѣди приблизительно былъ таковъ. О. протоіерей обратилъ вниманіе на торжественность обстановки, на то, что здѣсь, вокругъ гроба одного человѣка соединились всѣ ученые, литераторы, учащіеся, всѣ русскіе люди. Здѣсь на глазахъ у насъ снова подтверждаются слова божественнаго учителя Христа: „блаженни кротціи, яко тѣи наслѣдуютъ землю; блаженни чистіи сердцемъ, яко тѣи Бога узрятъ; блаженни изгнанныи правды ради, яко тѣхъ есть царство небесное.

Вся дѣятельность покойнаго многострадальнаго, многолюбившаго писателя заключалась въ отыскиваніи свѣтлыхъ чертъ въ самой низкой душѣ. Онъ рылся въ грязи для того, чтобы отыскать и тамъ чистое и высокое. Стоитъ только припомнить заглавія его произведеній, чтобы видѣть, кого изображалъ нашъ великій писатель, о комъ болѣло его сердце, кому онъ сочувствовалъ; это были: „Вѣдныя Люди“, „Униженные и Оскорбленные“, „Мертвый Домъ“, „Идіотъ“. Онъ обращалъ на нихъ наше вниманіе, онъ глубоко заглядывалъ въ душу человѣка, онъ своими произведеніями продолжалъ намъ нагорную проповѣдь Христа и мы какъ-бы слышали: „Блаженни нищіе духомъ, яко тѣхъ есть царство небесное; блаженни плачущіе, яко тѣи утѣшатся; блаженни алчущіе и жаждущіе правды, яко тѣи насытятся; блаженни егда возненавидятъ васъ человѣцы“. Всю жизнь свою покойный искалъ истины и правды. Затѣмъ проповѣдникъ очертилъ его личность какъ высокаго христіанина, полагавшаго хранилище истины въ православной вѣрѣ, полагавшаго хранилище добрыхъ началъ въ душѣ русскаго человѣка. Дадимъ теперь ему, какъ многолюбившему, послѣдній поцѣлуй нашей любви.

Послѣ рѣчи и краткаго молитвословія, литераторы и друзья покойнаго подняли гробъ и понесли его въ предшествіи епископа съ духовенствомъ на кладбище. Передъ гробомъ несли нѣсколько малыхъ вѣнковъ, за гробомъ слѣдовало семейство покойнаго и литераторы. По иврѣ того, какъ проносили гробъ между шпалерами изъ вѣнковъ, державшіе вѣнки

„родился 30-го октября 1821“, слѣва — „скончался 28-го января 1881 года“.

Похороны Федора Михайловича происходили на другой день, въ воскресенье 1-го февраля. Въ этотъ день толпы народа съ ранняго утра стекались къ Невскому монастырю.

Къ 62 вѣнкамъ, перечисленнымъ уже нами, въ день похоронъ присоединились еще новыя, такъ что составилось всего до 74 вѣнковъ; въ числѣ прибывающихъ мы видѣли лирообразный вѣнокъ отъ Артиллерійской академіи, отъ Академіи Генеральнаго Штаба, отъ юридической, отъ воспитанниковъ Морскаго училища, отъ гимназіи Спѣшневой, отъ лицеевъ, отъ редакціи „Русской Мысли“, отъ „русскихъ дѣтей“, отъ „Общества драматическихъ писателей“ и громаднй вѣнокъ изъ искусственныхъ и живыхъ цвѣтовъ и лавровъ съ надписью изъ импортеровъ „отъ литераторовъ“. Великая княгиня Александра Іосифовна прислала вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ, а дѣти ея — крестъ изъ такихъ-же цвѣтовъ. Отъ Академіи наукъ депутатомъ явился М. И. Сухомяковъ. Вѣнки съ депутациями составили цвѣточную шпалеру по сторонамъ катафалка съ гробомъ отъ алтаря до входныхъ церковныхъ дверей. Много вѣнковъ еще лежало на гробѣ и на ступеняхъ около балдахина. Большая трехцвѣтная хоругвь съ вѣнкомъ и серебряными кистями съ надписью „Достоевскому“, была водружена, противъ балдахина, на хорахъ и ниспускалась внизъ, какъ-бы есіяная молящихся.

Нечего и говорить, что всѣ литераторы, представители разныхъ редакцій, депутаты отъ учебныхъ заведеній и разныхъ обществъ переполнили собору церковь, въ которую впускъ производился только по билетамъ. Въ числѣ представителей драматическаго міра былъ В. В. Самойловъ. При богослуженіи также присутствовали: оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода, К. П. Побѣдоносцевъ, министръ народнаго просвѣщенія, г. Сабуровъ, начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати Н. С. Абаза, и много другихъ высокопоставленныхъ лицъ. Въ 10 часовъ, встрѣченный духовенствомъ, прибылъ архіерей, преосвященный Несторъ, епископъ Выборгскій, второй викарій с.-петербургской епархіи, и началъ литургію въ сослуженіи архимандритовъ и іеромонаховъ. Стройно пѣли превосходные пѣвчіе, горячо молились русскіе люди, когда раздались грустно-величественные и скорбно-торжественные звуки тропаря: „Со святыми упокой“. По окончаніи литургіи, преосвященный Несторъ вышелъ на середину церкви передъ гробомъ для совершенія отпѣванія. Съ нимъ вышли о. ректоръ с.-петербургской духовной академіи Янышевъ, о. намѣстникъ лавры архимандритъ Симеонъ, два очередные архиман-

дрита и за ними пять протоіереевъ стали по правую сторону гроба, пять іеромонаховъ по лѣвую. Архидіаконъ провозгласилъ: „благослови, Владыко, и тихіе, полныя скорби и умиленія звуки панихиднаго пѣнія полились тихой волной, исторгая слезы изъ глазъ молящихся. Въ это время вѣнки стали выносить изъ церкви, часть ихъ окружила могилу О. М. Достоевскаго, часть стала шпалерами по направленію къ кладбищу. Между тѣмъ въ церкви, по окончаніи чтенія евангелія, протоіерей о. Яншевъ обратился къ молящимся съ проповѣдью. Звучный голосъ, теплое чувство, которое слышалось въ каждомъ звукѣ проповѣди, и краснорѣчіе проповѣдника произвели сильное впечатлѣніе на слушателей. Смыслъ проповѣди приблизительно былъ таковъ. О. протоіерей обратилъ вниманіе на торжественность обстановки, на то, что здѣсь, вокругъ гроба одного человѣка соединились всѣ ученые, литераторы, учащіеся, всѣ русскіе люди. Здѣсь на глазахъ у насъ снова подтверждаются слова божественнаго учителя Христа: „блаженни кротціи, яко тии наслѣдуютъ землю; блаженни чистіи сердцемъ, яко тии Бога узрятъ; блаженни изгнанныи правды ради, яко тѣхъ есть царство небесное.

Вся дѣятельность покойнаго многострадальнаго, многолюбившаго писателя заключалась въ отыскиваніи свѣтлыхъ чертъ въ самой низкой душѣ. Онъ рылся въ грязи для того, чтобы отыскать и тамъ чистое и высокое. Стоитъ только припомнить заглавія его произведеній, чтобы видѣть, кого изображалъ нашъ великій писатель, о комъ болѣло его сердце, кому онъ сочувствовалъ; это были: „Бѣдные Люди“, „Униженные и Оскорбленные“, „Мертвый Дожь“, „Идіотъ“. Онъ обращалъ на нихъ наше вниманіе, онъ глубоко заглядывалъ въ душу человѣка, онъ своими произведеніями продолжалъ намъ нагорную проповѣдь Христа и мы какъ-бы слышали: „Блаженни нищіе духомъ, яко тѣхъ есть царство небесное; блаженни плачущіе, яко тии утѣшатся; блаженни алчущіе и жаждущіе правды, яко тии насытятся; блаженни егда возненавидятъ васъ человѣцы“. Всю жизнь свою покойный искалъ истины и правды. Затѣмъ проповѣдникъ очертилъ его личность какъ высокаго христіанина, полагавшаго хранилище истины въ православной вѣрѣ, полагавшаго хранилище добрыхъ началъ въ душѣ русскаго человѣка. Дадимъ теперь ему, какъ многолюбившему, послѣдній поцѣлуй нашей любви.

Послѣ рѣчи и краткаго молитвословія, литераторы и друзья покойнаго подняли гробъ и понесли его въ предшествіи епископа съ духовенствомъ на кладбище. Передъ гробомъ несли нѣсколько малыхъ вѣнковъ, за гробомъ слѣдовало семейство покойнаго и литераторы. По мѣрѣ того, какъ проносили гробъ между шпалерами изъ вѣнковъ, державшіе вѣнки

тихо склоняли ихъ надъ гробомъ. Это была умиленная картина. Когда стали опускать гробъ въ могилу, маленькая дочка Достоевскаго тронула всѣхъ своимъ простимъ, глубоко-сердечнымъ крикомъ: „Прощай, милнй, добрый, хорошій папа, прощай!“ Всѣ стоявшіе въ оградѣ пѣли вмѣстѣ съ пѣвчими „Со святыми упокой“. Часть вѣнковъ была оборвана и гробъ весь былъ засыпанъ зеленью и цвѣтами и затѣмъ могилу засыпали землей. Начали говорить рѣчи и читать стихи. Желавшихъ было такъ много, что не всѣмъ удалось исполнить это желаніе. Отъ женщинъ желала, напримѣръ, говорить г-жа Архангельская, и когда пробралась къ оградѣ кладбища, то церемонія уже кончилась. Всѣ вѣнки потому были сложены на могилѣ Ф. М. Достоевскаго.

„Долго, еще до самой вечерни толпился у могилы народъ; многіе уносили на память цвѣты изъ вѣнковъ или старались добыть хотя просто зеленую вѣточку.

На могилѣ были произнесены многими депутатами рѣчи. Приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ. Нашъ извѣстный драматургъ А. И. Пальмъ, товарищъ Достоевскаго по дѣлу Петрашевскаго, сказалъ слѣдующее:

„Если художественныя творенія и вся писательская дѣятельность нашего Достоевскаго имѣютъ глубокое поучительное и воспитательное для насъ значеніе, то не меньшую долю этого значенія представляетъ намъ и жизнь Федора Михайловича, жизнь, начавшаяся въ суровой школѣ невзгодъ, къ сожалѣнію, едва ли не общихъ всей русской молодежи, ищущей идеаловъ правды и какихъ бы то ни было путей саморазвитія, — невзгодъ, можно сказать, неминуемыхъ, роковыхъ образомъ, исторически необходимыхъ въ трудномъ своеобразномъ ростѣ русскаго человѣка. Считаю большимъ счастьемъ, — считаю законною гордостью, что на мою скромную долю выпала честь быть товарищемъ знаменитаго покойника именно въ ту пору его жизни, когда въ небольшой группѣ сверстниковъ и онъ извѣдалъ эту тяжелую невзгду... Какъ теперь вижу минуту нашего прощанья въ декабрѣ 49 года. Онъ бодрый, почти веселый и какой-то свѣтлый, вѣрующій, обнялъ меня и сказалъ: „до свиданія, П., увидимся непременно, — ужъ это непременно — увидимся! Четыре года каторги, потомъ солдатчина — все вздоръ, пустыяки, пройдетъ, а будущее наше!“ Глаза его сверкали, прекрасная, любящая — хотя и не безъ тонкаго юмора — улыбка загорѣлась на его блѣдномъ, измученномъ лицѣ... Прошли многіе трудные годы и въ самомъ дѣлѣ наступило наше свиданье... Ф. М. опять все тотъ-же бодрый, свѣтлый, вѣрующій, — на литературномъ чтеніи въ пользу учащейся молодежи, шепчетъ мнѣ: „а вѣдь мы не пропали! Мало насъ, а всетаки нѣтъ — нѣтъ, да и вспомнить стариковъ... Вѣдь вотъ-же приго

дѣлись, не пропали!..“ Глубоко-поучительна эта неумирающая вѣра въ свое душевное дѣло, которое тихонько, но безъ перерыва двигается, теплится въ челобѣтѣ, помимо всѣхъ невзгодъ, всего шума, гамъ и сумятицы вѣшнихъ, переходящихъ явленій... Безъ этой вѣры нѣтъ ничего истинно-прочнаго, ничего истинно-великаго... И она-же — эта вѣра въ свое душевное дѣло неизмѣнно и прямо ведетъ къ всепрощенію, къ признанію правъ человѣческой личности, къ полному примиренію... Увы, господа, — примиреніе почти всегда настаётъ для человѣка послѣ смерти, — но въ настоящемъ случаѣ утѣшительно сознать, что примиреніе для Достоевскаго совершилось еще при жизни. Онъ не унесъ въ могилу горькой, ѣдкой мысли о неконченныхъ земныхъ счетахъ, онъ умеръ тихо, ясно, любовно, всѣми признанный и оправданный во всѣхъ путяхъ его жизни и дѣятельности... Отъ того-то и наша скорбь о немъ не мрачна, не безотраднa, а облекается въ какія-то праздничныя одежды, обращается въ торжество всенароднаго признанія заслугъ гениальнаго человѣка... Въ виду его свѣжей могилы пожелаемъ, чтобы всѣ страждущіе, униженные и оскорбленные, — бытописателямъ которыхъ былъ нашъ знаменитый художникъ, укрѣпляли и очищали правдой свое душевное дѣло, увѣровали въ завѣщанную жизнью Достоевскаго великій урокъ и дождались при жизни яснаго дня примиренія, возстановленія, всепрощенія — Свѣтлаго Христова Воскресенія, какъ сказалъ-бы онъ самъ — нашъ дорогой покойникъ“.

Профессоръ В. С. Соловьевъ между прочимъ говорилъ:

„Всѣ мы сошлись здѣсь ради общей нашей любви къ Достоевскому. Но если Достоевскій всѣмъ намъ такъ дорогъ, значитъ всѣ мы любимъ то, что онъ самъ болѣе всего любилъ, что ему было всего дороже; значитъ мы вѣримъ въ то, во чтò онъ вѣрилъ и чтò проповѣдывалъ. А то зачѣмъ-бы и приходитъ намъ сюда чествовать его кончину, если-бы намъ было чуждо то, ради чего онъ жилъ и дѣйствовалъ? А любилъ Достоевскій прежде всего живую человѣческую душу во всемъ и вездѣ, и вѣрилъ онъ, что всѣ мы — рабы Божіи, вѣрилъ въ безконечную божественную силу человѣческой души, торжествующую надъ всякимъ вѣшнимъ насиліемъ и надъ всякимъ внутреннимъ паденіемъ. Воспріявъ въ свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и, преодолевъ все это безконечною силою любви и всепрощенія, Достоевскій во всѣхъ своихъ твореніяхъ возвѣщалъ эту побѣду. Извѣдавъ божественную силу души, пробивающуюся черезъ всякую человѣческую немощь, Достоевскій вѣрилъ въ Бога и въ Богочеловѣка. Дѣйствительность Бога и Христа открылась ему во внутренней силѣ любви и всепрощенія и эту же всепримирающую и всепрощающую силу любви проповѣдывалъ онъ какъ основаніе для

осуществленія на землѣ того царства правды, котораго онъ жаждалъ и къ которому стремился всю свою жизнь.

„И мы, собравшіеся на могилѣ, чѣмъ лучшимъ можемъ выразить свою любовь къ нему, чѣмъ лучшимъ помянуть его, какъ если согласимся и провозгласимъ, что любовь Достоевскаго есть наша любовь и вѣра Достоевскаго — наша вѣра. Соединенные любовью къ нему, постараемся, чтобы такая любовь соединила насъ и другъ съ другомъ. Тогда только воздадимъ мы достойное духовному вождю русскаго народа за его великіе труды и великія страданія“.

Студентъ Павловскій произнесъ на могилѣ слѣдующія слова:

„Еще нѣсколько минутъ — и эти мерзлыя глыбы навсегда придавятъ грудь человѣка, который всю жизнь бился за угнетенныхъ и униженныхъ, всю жизнь болѣлъ и страдалъ за исчезновеніе въ насъ правды и нравственнаго совершенства, за нашу бѣдную, нищую землю и ея права на самобытную, самостоятельную жизнь. Изъ рудниковъ Сибири принесъ онъ вѣсть о вѣчно живущихъ въ человѣкѣ, не умирающихъ въ немъ и тамъ, въ царствѣ живой смерти, его лучшихъ душевныхъ силахъ. У насъ не было другаго подобнаго художника-психолога, который-бы умѣлъ открыть Божью искру тамъ, гдѣ ея нельзя было и чаять. Онъ по преимуществу художникъ того горя-горькаго, безъисходнаго, понятъ которое, войти въ суть котораго доступно было только тому, кто самъ перенесъ это горе, кто самъ на своей многострадальной груди перетерпѣлъ его, кто самъ былъ причисленъ къ паріямъ человѣчества и, въ цѣпяхъ, вдали отъ всего роднаго и живаго, въ глухомъ рудникѣ, за каторжной работой изучалъ, слѣдилъ и любилъ несчастныхъ и ихъ душу. Онъ повѣдалъ намъ про этихъ несчастныхъ и жизнь ихъ внутренняго „Я“. Онъ съ такимъ глубокимъ анализомъ прослѣдовалъ все изгибы ихъ больной души, съ такой фотографической точностью и правдой воспроизвелъ ихъ думы, что до подобной высоты не возвышался ни одинъ европейскій писатель. Онъ не захватываетъ душу слегка, не скользитъ по ней и не убѣгаетъ отъ нея. Нѣтъ... Онъ распластываетъ ее всю предъ нами на изнанку и тамъ, гдѣ не справился-бы другой талантъ, онъ лишь мощно развертываетъ свои силы и вездѣ, и въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, и въ этихъ тѣняхъ изъ „Мертваго Дома“, и въ несчастномъ „Раскольниковѣ“, вездѣ онъ съ вѣрой смотритъ на эти внутреннія силы, видитъ ихъ лишь изуродованными, но вездѣ въ нихъ онъ умѣетъ найти живущими лучшія силы человѣческой души. Изъ этой-то вѣры въ силы русской души вытекала у него вѣра и во всю нашу жизнь, въ нашъ народъ и нашу землю. „Наша земля нищая, но эту нищую землю исходилъ благословляя Христосъ“ — и за эти-

то глубоко правдивыя, за эти-то изъ изученія души русскаго человѣка въ ея несчастной обстановкѣ вытекавшія и полныя вѣры слова наше либеральное тупоуміе набросилось на великаго страдальца и отравило его послѣдніе дни. Но, — нашъ родной, нашъ незабвенный! — если не при твоей жизни, такъ теперь, въ эти горькія минуты, здѣсь надъ твоимъ прахомъ позволь намъ повторить твои слова и раздѣляемую нами твою глубокую вѣру въ могучія силы родной Руси, въ нашу „нищую землю“ съ ея Христовымъ идеаломъ.

„Не забудьте, далѣе, гг., что Достоевскій олицетворилъ для насъ идею нравственнаго совершенства, полную гармонію слова съ дѣломъ, поступковъ съ убѣжденіями. Думается, что онъ не произнесъ за свою жизнь ни единого фальшиваго, не искренняго слова. Его печатная рѣчь была всегда призывомъ изстрадавшагося, изболѣвшаго человѣка, страстнымъ воззваніемъ къ лучшимъ чувствамъ человѣческой природы. Его нравственно-изящный образъ недостижимъ по своей высотѣ. Онъ будетъ всегда свѣтить намъ, молодежи, въ нашей жизненной борьбѣ, всегда будетъ говорить о возможности сохранить чистыми и неприкосновенными вѣру въ добро и чистоту души при всякой обстановкѣ и средѣ жизни... Мы будемъ приближаться къ тебѣ, нашъ родимый, и твой образъ будетъ ободрять насъ въ нашемъ тернистомъ и горькомъ пути.

„Понесемъ-же, гг., отъ этой свѣжей могилы того генія добра, который слетѣлъ было, по призыву Федора Михайловича, на вѣхъ присутствовавшихъ въ Москвѣ, во время его знаменитой, гениальной рѣчи... Этого генія затоптали потомъ и изгнали, замѣнивъ всеневными кумирами; но лучшей наградой покойному будетъ, если ему, этому генію добра, опять слетѣвшему къ намъ сегодня проводить своего усопшаго друга, мы не дадимъ улетѣть опечаленнымъ, и понесемъ съ собой въ наши дома и исполнимъ завѣтъ покойнаго, покончивъ наши дразги и пререканія и въ дружной работѣ будемъ двигать общее святое дѣло.

„Смиримся-же, гордые люди; покоримся, гордые люди, и правда и добро да будутъ съ вами по завѣту Федора Михайловича Достоевскаго“.

Приводимъ слова, сказанныя у могилы профессоромъ О. Ф. Миллеромъ:

„То, что происходило на этихъ дняхъ, есть великое торжество человѣческаго духа. Вдохновеннымъ великимъ его исповѣдникомъ былъ покойникъ. Дѣло внутренняго самосовершенствованія, какъ первая основа усовершенствованія строя общественнаго — вотъ что онъ намъ проповѣдывалъ. Матеріализмъ и общественное служеніе несовмѣстимы — вотъ его исповѣданіе. Пребудемъ же всѣ ему вѣры.

„Онъ имѣлъ—кто не знаетъ этого—громадное вліаніе на молодежь. Со всѣхъ сторонъ получаютъ—и мною и, конечно, другими—задушевныя выраженія горя о немъ — большею частію въ видѣ стихотвореній. Вотъ одно изъ нихъ — неизвѣстной слушательницы высшихъ женскихъ курсовъ:

Надъ гробомъ Ф. М. Достоевскаго.

Еще прибавилось одной
Безвременной могпой,
Еще про скорбь земли родной
Вѣщаетъ звонъ унылый.

Но, еслибъ могъ заговорить
Поэтъ нашъ незабвенный,
То онъ сказалъ бы: „Что тужить
„Объ этой жизни тѣнной?

„Не плачьте, милые друзья,
„Горючими слезами!
„Хоть и въ гробу, живъ духомъ я
„И буду вѣчно съ вами.

„Пусть плоть на вѣки умерла!
„Надъ духомъ смерть бессильна:
„Не даромъ сѣялъ я: взошла
„Мнѣ жатва изобильна.

„И эти слезы, что текутъ
„На прахъ мой бездыханный,
„Меня торжественнѣе чтуть,
„Чѣмъ муръ благоуханный.

„Настанутъ дни, и вслѣдъ за мною
„Придутъ жнецы другіе
„И зерна, брошенныя мною,
„Сберутъ въ снопы густые“.

За недостаткомъ времени Ап. Ник. Майковъ не успѣлъ прочесть у могилы слѣдующія строки, вызванныя сегодняшнимъ грустнымъ событіемъ: „Мнѣ говорятъ, что я долженъ сказать что нибудь передъ этой могпой. Но и теперь у меня слишкомъ сильно бьется сердце,—какъ и дома, когда хотѣлъ написать нѣсколько стиховъ покойному. Сорокъ почти лѣтъ дружбы, почти единоншлія сдѣлали бесѣду съ Достоевскимъ для меня *потребностью*. Объ немъ сказано и написано было много. Но не сказано, кажется, то, что для меня всегда казалось самымъ великимъ проявленіемъ его души. Это — *какимъ* онъ возвратился изъ Сибири. Не убитымъ, не озлобленнымъ, не *возгордившимся* ссылкой. Нѣтъ, *примиреннымъ* и *просвѣтленнымъ*. Тамъ — онъ узналъ русскій народъ въ его историче-

скомъ и человѣческомъ образѣ и по этому народу, войдя душой въ его душу, узналъ Христа — „а все это, говорилъ онъ, такое благо, за которое не много заплатить каторгой“.

„Это-то примиреніе (или разумѣніе) и просвѣтлѣніе, это возрожденіе умомъ и сердцемъ и дало ту силу его таланту и ту мудрость его разуму, которыя сдѣлали его свѣтильникомъ для всѣхъ, жаждавшихъ свѣта и способныхъ его пріять“.

Слѣдующее стихотвореніе прочитано на могилѣ:

НА СМЕРТЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО *).

Тяжелый для Руси ударилъ смертный часъ,
И звукъ его въ сердцахъ болѣзненно отдался—
Великій человѣкъ безвременно угасъ,
Великихъ словъ потокъ безвременно прервался!

Усопшій геній нашъ! Въ душѣ своей чистѣйшей
Христовой правоты ученіе вмѣстилъ, —
И низшей братьѣ онъ, униженной, слабѣйшей
Глаголъ святой любви, участія возвѣстилъ!

Чье сердце, какъ его, любовью къ ближнимъ билось?
Кто могъ, какъ онъ, сердца на путь добра увлечь?
Предъ кѣмъ такъ, какъ предъ нимъ, все низкое таялось,
Почуявъ словъ его разящій, острый мечъ!..

Что насъ собрало здѣсь, предъ вырытой могилой,
Предъ прахомъ дорогимъ?.. О, братья! этотъ часъ
Воочью показала съ неотразимой силой,
Что теплится любви святой огонь у насъ,

Что не померкъ въ душѣ, среди житейской смуты,
Тотъ свѣточъ правоты, что въ ней зажегъ самъ Богъ!..
О, братья! Велика торжественность минуты!..
А вызвать этотъ свѣтъ—Достоевскій лишь могъ!..

Раздвиньтесь гробы, отмиѣченные славой,
Примите новый гробъ въ свой неподвижный рядъ,
Въ вашъ тихій сонъ пришелъ нашъ геній величавый,
Къ кому сердца всѣхъ насъ любовью горятъ.

Усни-же, геній нашъ! Не зависть здѣсь тебя,
А чистая любовь сердечная хоронитъ!..
Отсюда всякъ пойдетъ, въ душѣ своей скорбя,
А здѣсь на прахъ слезу горячую уронитъ!..

Александръ Арсеньевъ.

1 февраля 1881 г.

Кладбище Александро-Невскаго монастыря.

Кромѣ приведенныхъ рѣчей и стиховъ на могилѣ Достоевскаго г. Гайдубуровъ прочелъ стихотвореніе; затѣмъ профессоръ Бестужевъ-Рюминъ

*) Помѣщено въ „Игрушечкѣ“ № 6, 1881 г.
приложенія.

говорилъ рѣчь, потомъ двое студентовъ читали стихи. Послѣднимъ закончилъ П. В. Быковъ, произнесшій пятистишіе:

Любя глубоко правды свѣтъ,—
Ты самъ былъ свѣтъ намъ, наша сила!—
Неволя дни твои сломила —
Прими-жь прощальный нашъ привѣтъ:
„Пусть дасть тебѣ покой могила“.

Состоявшееся въ пятницу, 30 января, засѣданіе общаго собранія членовъ общества охраненія народнаго здравія открылось рѣчью пр. Андреевскаго, посвященною дорогой утратѣ великаго русскаго писателя Ф. М. Достоевскаго. Въ прочувствованныхъ словахъ ораторъ очертилъ дѣятельность писателя и характеръ его произведеній, „какъ мыслителя, сразу охватившаго всё специальности; нѣтъ ученаго, сказалъ пр. Андреевскій, который въ массѣ его художественныхъ трудовъ не нашелъ бы себѣ помощи въ томъ или другомъ случаѣ“. Далѣе ораторъ очертилъ то значеніе, которое беллетристическіе труды покойнаго могутъ имѣть для юриста. Юристу нужно вдуматься въ сложныя движенія человѣческой души. Жизнь, полная лишеній и страданій, выработала въ Ф. М. замѣчательнаго художника и психіатра, съ такою христіанскою любовью къ падшимъ. Послѣ этой рѣчи, присутствующіе почтили память усопшаго встаніемъ.

*) Въ засѣданіи с.-петербургской городской думы, 30-го января, гласный М. И. Семевскій, сообщивъ о тяжелой утратѣ, понесенной русскою литературою въ лицѣ Ф. М. Достоевскаго, добавилъ, что вѣсть объ этомъ печальномъ событіи будетъ принята съ глубокимъ соболѣзнованіемъ по всей Россіи. „Мы, сказалъ ораторъ, живемъ въ такое время, когда дѣятели мысли и слова особенно цѣнятся“, и въ подтвержденіе этого сослался на торжественное открытіе памятника Пушкину, на открывшіяся подписки для постановки памятниковъ Гоголю и Лермонтову. Покойный Ф. М. Достоевскій болѣе 30-ти лѣтъ принадлежалъ Петербургу, въ которомъ написана большая часть его произведеній; поэтому г. Семевскій находилъ умѣстнымъ, чтобы городъ выразилъ соболѣзнованіе, по случаю кончины талантливаго писателя, и предложилъ ко дню погребенія изготовить вѣнокъ отъ имени города и вмѣстѣ съ тѣмъ поручить городскому головѣ принять участіе въ проходахъ покойнаго, совмѣстно съ тѣми изъ гласныхъ, которые того пожелаютъ. Предложеніе это было принято думою почти единогласно.

На пушкинскомъ вечерѣ, бывшемъ 29 января, на которомъ Ф. М.

*) „Порядокъ“, № 30, 31 января 1881 г.

хотѣлъ читать, пришлось нашей университетской молодежи оплакивать его кончину. Послѣ увертюры на эстраду вошелъ профессоръ Миллеръ и обратился къ публикѣ съ краткою рѣчью. „Сегодня, началъ онъ, день номинальный. — Намъ приходится поминать не только Пушкина, но и Достоевскаго. Еще недавно мы думали поминать Пушкина вмѣстѣ съ Достоевскимъ, т. е., что онъ будетъ вмѣстѣ съ нами участвовать въ Пушкинской поминкѣ, читать его произведенія, мы надѣялись самымъ горячимъ образомъ привѣтствовать его здѣсь живымъ — теперь поминаемъ мертваго Достоевскаго. Наканунѣ дня смерти Пушкина, смерть похитила другаго великаго писателя“. Затѣмъ, профессоръ указалъ на значеніе Достоевскаго, какъ великаго художника и великаго гуманиста, который заглядывалъ въ душу униженныхъ и оскорбленныхъ и умѣлъ въ самой черной душѣ отыскать свѣтлыя стороны.

Д. В. Григоровичъ, передъ тѣмъ какъ читать, извинился передъ публикой, что не можетъ читать хорошо, не будучи спокоенъ духомъ, понесъ такую потерю, какъ смерть Достоевскаго, его друга со школьной скамьи. Слова Д. В., сказанныя съ слезами въ голосъ, вызвали и у присутствующихъ слезы по тяжелой утратѣ. Въ началѣ втораго отдѣленія подняли занавѣсъ и на сцену вынесли портретъ Достоевскаго, убранный цвѣтами и вѣнками. Его окружили всѣ участвующіе, и О. Ф. Миллеръ, обратясь къ присутствующимъ, сказалъ: „Вотъ теперь, именно въ это время, долженъ былъ бы пріѣхать Достоевскій и быть горячо привѣтствовать нами; теперь же мы можемъ видѣть лицо его только на портретѣ“.

По желанію публики, портретъ Ф. М. Достоевскаго остался весь вечеръ на аванъ-сценѣ.

2-го февраля происходило годовое собраніе членовъ литературнаго фонда, которое открылось рѣчью предсѣдателя В. П. Гаевского въ память Достоевскаго. Предсѣдатель сказалъ, между прочимъ, слѣдующее:

„Ф. М. Достоевскій съ первыхъ шаговъ своего литературнаго поприща заслужилъ громкую извѣстность, которая, возрастая въ теченіи всей его литературной дѣятельности, перешла въ такія оваціи, которыхъ еще не удостоивался ни одинъ русскій писатель. Тайна этого небывалаго еще у насъ общественнаго сочувствія лежитъ въ свойствѣ таланта покойнаго. Можно спорить о достоинствѣ его произведеній, но нельзя не признать, что всѣ они проникнуты истинно-христіанскою любовью къ бѣдному человѣку. Эта живая струя проходила чрезъ всю литературную дѣятельность Достоевскаго. Плачущіе и нищіе духомъ находили въ немъ утѣшеніе и опору, униженные и оскорбленные — защитника и друга, умѣв-

шаго прозрѣвать въ нихъ сокровища человѣческаго духа, бѣдныя и несчастныя—участника въ ихъ страданіяхъ и горѣ. Въ этомъ свойствѣ таланта и заключается тайна общественнаго сочувствія къ Достоевскому; это-же свойство, это направленіе крѣпко связывало его и съ литературнымъ фондомъ, задачамъ и дѣятельности котораго онъ постоянно и глубоко сочувствовалъ. Федоръ Михайловичъ принадлежалъ къ старѣйшимъ членамъ нашего общества; но его имени нѣтъ и не могло быть въ числѣ его учредителей. Всѣмъ памятно, что литературная дѣятельность Достоевскаго въ самомъ ея началѣ была прервана продолжительною ссылкой, изъ которой онъ возвратился только въ 1860 году, а между тѣмъ въ его отсутствіе учредился литературный фондъ, уставъ котораго утвержденъ въ 1859 году. По возвращеніи въ Петербургъ Достоевскій немедленно поступилъ въ члены общества и до конца жизни принималъ въ немъ близкое участіе. Въ 1863 году онъ былъ выбранъ въ члены комитета, и даже нѣкоторое время былъ секретаремъ общества, въ которомъ тогда предѣлательствовалъ князь Г. А. Щербатовъ. Вспомнимъ съ благодарностью, что, независимо отъ нравственнаго вліянія, Достоевскій значительно содѣйствовалъ увеличенію средствъ фонда постояннымъ участіемъ въ чтеніяхъ, посѣтители которыхъ знаютъ, какою притягательною силой было это участіе. Даже еще въ самое недавнее время онъ участвовалъ въ трехъ нашихъ чтеніяхъ, и наиболѣе содѣйствовалъ увеличенію „пушкинскаго капитала...“ Было-бы весьма желательно сохранить навсегда въ нашемъ обществѣ имя Достоевскаго, соединивъ съ его памятью какое нибудь доброе дѣло. Уже получено нѣсколько пожертвованій въ литературный фондъ „въ память Достоевскаго“, и съ этою-же цѣлью составляются подписки. Благой примѣръ, конечно, не останется безъ подражанія. Полученныя пока еще небольшія деньги будутъ переданы новому составу комитета, которому предстоитъ начать дѣятельность добрымъ дѣломъ въ память Достоевскаго“.

Лекторъ англійскаго языка въ петербургскомъ университетѣ, Е. Е. Тернеръ, напечаталъ слѣдующія строки „По повсду смерти Ф. М. Достоевскаго“:

„Позвольте мнѣ, какъ иностранцу, не вполне, однако чуждому русскому общественному развитію, выразить въ нѣсколькихъ словахъ полное и искреннее свое соболѣзнованіе о громаднѣйшей утратѣ, которую понесла русская литература съ кончиною Ф. М. Достоевскаго. Не хотѣлось бы вѣрить и тяжело сознать, что навсегда умолкъ этотъ очаровательный голосъ, который такъ жарко и такъ неутомимо защищалъ правду и свободу. Нельзя читать такіе романы, какъ „Бѣдныя Люди“, „Преступленіе и

Наказаніе“, или „Записки изъ Мертваго Дома“ безъ того, чтобъ не надрывалось сердце отъ сожалѣнія при воспоминаніи о страшныхъ и не заслуженныхъ страданіяхъ, вынесенныхъ авторомъ ихъ. Какъ же, однако, велика и крѣпка была природа человѣка, если даже и такіа страданія не успѣли погасить въ его душѣ самыя свѣтлыя и самыя широкія человѣческія чувства. Ѳ. М. Достоевскій достоинъ нашего уваженія, какъ писатель; онъ достоинъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и нашей любви, какъ человѣкъ“.

*) 2-го февраля состоялось годовое общее собраніе юридическаго общества, которое открылось рѣчью А. Ѳ. Кони, посвященной памяти Ѳ. М. Достоевскаго. Въ краткихъ, но прочувствованныхъ словахъ г. Кони очертилъ заслуги Достоевскаго по отношенію къ цѣлямъ, преслѣдуемымъ юридическимъ обществомъ. Его романъ „Преступленіе и Наказаніе“, составляющій безсмертное произведеніе, послужилъ краеугольнымъ камнемъ судебной реформы 1864 г. Тенденціи этого романа: уваженіе къ личности и т. д. цѣликомъ вошли въ новыя уставы. Взглядъ Достоевскаго на собственное сознаніе подсудимыхъ, мѣры пресѣченія способовъ уклоняться отъ суда, произвелъ переворотъ во взглядѣ на нихъ тогдашнихъ администраторовъ. Не менѣе великая заслуга Достоевскаго состоитъ въ мастерскомъ и детально вѣрномъ описаніи нравственнаго состоянія преступника. Воздавая должному должное, не лъстя своимъ героямъ, онъ невольно въ концѣ примиряетъ читателя съ преступникомъ. Достоевскій былъ великій психіатръ. Въ романѣ „Идіотъ“ онъ нѣсколькими художественными штрихами очертилъ страданія осужденнаго на смерть преступника и этими строками заставляетъ призадуматься самаго яраго защитника смертной казни. Замѣчательна также любовь Достоевскаго къ дѣтямъ и умѣнье обращаться съ ними. Однажды, въ сопровожденіи докладчика, Ѳеодоръ Михайловичъ посѣтилъ колонію малолѣтнихъ преступниковъ и попросилъ дозволенія остаться съ нимъ наединѣ. Когда, затѣмъ, чрезъ полчаса, вошли въ залъ, то застали Ѳ. М. сидѣвшимъ въ углу, при чемъ дѣти обступили его кругомъ и когда онъ собрался уходить, они не хотѣли разстаться съ нимъ и грожеко просили придти опять.

Прежде всего Достоевскій былъ человѣкъ, умѣвшій уважать человѣка, въ какомъ-бы онъ ни былъ социальномъ положеніи. Девизъ нашего суда „правда и милость“ нашли въ немъ живое примѣненіе и, какъ красная нить, проходятъ черезъ всѣ его сочиненія. — Долго несмолкавшіе аплодисменты покрыли послѣднія слова докладчика.

*) „Новости“ № 32, 4-го февраля 1881 г.

ЭПИЗОДЪ ИЗЪ ЖИЗНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО *).

(Матеріалъ для біографіи).

To live in hearts we leave behind,
Is not to die!..

Послѣ смерти Ф. М. Достоевскаго въ печати появилось не мало отрывочныхъ свѣдѣній о различныхъ чертахъ его характера. Сознавая важность подобныхъ свѣдѣній для біографіи покойнаго, я также считаю своею нравственною обязанностію повѣдать печатно нижеслѣдующій весьма характерный случай изъ жизни Федора Михайловича.

Въ октябрѣ 1876 года вниманіе петербуржцевъ было обращено на два дѣла, разрѣшенныя тогда въ здѣшнемъ судѣ почти одновременно. Одно изъ нихъ объ извѣстной мачихѣ Катеринѣ Корниловой, выбросившей изъ окна четвертаго этажа свою шестилѣтнюю падчерицу, а другое о нѣкоей Кирилловѣ, обвинявшейся въ убійствѣ, съ заранѣе обдуман-нымъ намѣреніемъ, архитектора Малевскаго, находившагося съ убійцей въ интимныхъ отношеніяхъ.

Въ то время всѣ недоумѣвали, почему первая изъ подсудимыхъ была осуждена присяжными, несмотря на то, что обнаруживала признаки ненормальнаго психическаго состоянія, обусловленнаго первюю беременностью, и что жертва преступленія не подверглась никакимъ вреднымъ для здоровья послѣдствіямъ; а другая — была оправдана, хотя преступленіе сопровождалось и предумышленіемъ и многими другими обстоятельствами, внушавшими очень мало симпатій и состраданія къ подсудимой.

Это сомнѣніе явилось и у незабвеннаго Федора Михайловича, который выразилъ его въ своемъ „Дневникѣ“ (октябрь, 1876 г.), въ замѣчательномъ произведеніи, озаглавленномъ „Простое, но мудреное дѣло“.

*) „Новое Время“ 12 октября 1882 г.

Въ этомъ произведеніи Федоръ Михайловичъ, путемъ поразительнаго психологическаго анализа, опредѣлилъ — съ необыкновенной ясностію — причины, вызвавшія преступленіе несчастной тогда мачихи Корниловой, и картину существовавшихъ впослѣдствіи отношеній между ея мужемъ и падчерицей, во время содержанія подсудимой въ домѣ предварительнаго заключенія, гдѣ суждено было появиться на свѣтъ первому ребенку Корниловой.

Не стану приводить ничего изъ замѣчательнаго произведенія, такъ какъ мнѣ пришлось бы взять его цѣликомъ, а остановлюсь только на заключительныхъ его словахъ, которыя дали мнѣ тогда возможность познакомиться съ покойнымъ и вызвать въ немъ проявленіе необычайнаго чувства состраданія къ жертвѣ „простаго, но мудренаго дѣла“.

Описываемое произведеніе Федоръ Михайловичъ закончилъ такъ: „А неужели нельзя теперь смягчить какъ-нибудь этотъ приговоръ Корниловой? Неужели никакъ нельзя? Право тутъ могла быть ошибка... Ну, такъ вотъ и мерещится, что ошибка!“

Подъ вліяніемъ необыкновенно сильнаго впечатлѣнія, произведеннаго мыслями великаго художника и его сомнѣніями, я немедленно написалъ къ нему письмо, въ которомъ удостовѣрилъ его, что описанное имъ до мельчайшихъ подробностей вѣрно дѣйствительности, и предложилъ свои услуги помочь несчастной, если только Федоръ Михайловичъ дѣйствительно желаетъ ея спасенія.

Дѣло въ томъ, что я тогда служилъ въ томъ вѣдомствѣ, отъ котораго зависѣло или оставлять просьбы о помилованіи „безъ послѣдствій“, или же представлять ихъ въ надлежащемъ свѣтѣ, со всеми обстоятельствами за и противъ. Раздѣляя совершенно взглядъ покойнаго Федора Михайловича на характеръ преступленія Корниловой, я всею душой желалъ оказать ей помощь, надѣясь на либеральнаго по тому времени ближайшаго начальника, въ рукахъ котораго находилась возможность дать успѣшное движеніе моему докладу.

Изложивъ все это, я просилъ Федора Михайловича обратиться къ прокурору здѣшней судебной палаты съ просьбой о разрѣшеніи свиданій съ осужденной, причемъ совѣтовалъ сказать прокурору совершенно откровенно о цѣли его посѣщеній заключенной.

Затѣмъ не зная, какъ отнесется Федоръ Михайловичъ къ моему письму, я помѣтилъ его только своими инициалами „Б. И. М.“ и просилъ отвѣтъ оставить въ книжномъ магазинѣ Я. А. Исакова, у кассира.

Недѣли черезъ двѣ, проведенныхъ мною въ постели, я справился у кассира названнаго магазина и узналъ о томъ, что у него было письмо

Ф. М. Достоевскаго на буквы „Б. И. М.“, но взято авторомъ надняхъ обратно.

Въ это-же самое время, придя на службу, я былъ немедленно позванъ къ либеральному начальству, которое сдѣлало мнѣ „за неуѣстное обращеніе“ къ Федору Михайловичу съ письмомъ, „должное внушеніе“, но слегка, причежь, однако, раздѣлило мои воззрѣнія на осужденную Корнилову и даже обѣщало содѣйствовать, „если дѣло дѣйствительно заслуживаетъ вниманія“.

Я, конечно, былъ въ полномъ восторгѣ отъ обѣщанія начальства, такъ какъ оно пользовалось и пользуется понынѣ вполне заслуженною славой глубокаго криминалиста и психолога-аналитика. Такое обѣщаніе сулило мнѣ возможность дѣйствительно помочь несчастной и доставить глубокое наслажденіе отзывчивой святой душѣ покойнаго Федора Михайловича.

Когда первый порывъ радости моей прошелъ, я заинтересовался тѣмъ, какимъ образомъ начальство узнало о моемъ анонимномъ письмѣ? Оказалось, что Федоръ Михайловичъ понесъ мое письмо къ прокурору судебной палаты, который, зная меня довольно близко, отгадалъ по почерку, что это мое письмо и передалъ объ этомъ, въ бесѣдѣ, моему начальству.

Послѣ всего этого я написалъ второе письмо Федору Михайловичу, также помѣченное инициалами „Б. И. М.“, на которое 22-го ноября 1876 года получилъ отъ него разомъ два письма, отъ 5-го и 21-го ноября 1876 года, въ конвертѣ, надписанномъ: „Здѣсь. Поварской переулокъ, домъ № 3, квартира № 14. Господину Б. И. М.“.

Нижеслѣдующія письма эти я привожу въ совершенной неприкосновенности, т. е. съ сохраненіемъ орфографіи и разстановки знаковь препинанія.

1) „21-го ноября. Многоуважаемый Г. Б. И. М. Въ отвѣтъ, посылаю „вамъ мое письмо къ вамъ отъ 5-го ноября, пролежавшее у Исакова. Я „самъ дурно сдѣлалъ, что послушался кассира и взялъ его обратно, такъ „что вся вина на мнѣ.

„Къ письму отъ 5-го я имѣю прибавить развѣ лишь то, что я былъ „еще разъ у Корниловой и вынесъ то же впечатлѣніе какъ и въ первый „разъ, развѣ лишь усиленное. Она просила меня съѣздить къ ея мужу. Я „съѣзжу, но съѣзжу тоже и къ адвокату ея. Между тѣмъ, я заболѣлъ и „ничѣмъ не занимался, а теперь *подавленъ* моими занятіями. Боюсь, что „пропущу какъ нибудь срокъ кассационнаго рѣшенія сената. Надо погово- „рится съ ея адвокатомъ, а у меня все нѣтъ времени; но я какъ нибудь „успѣю. Особенно радъ тому, что вы отделились; на васъ вся надежда,

„потому что въ сенатѣ конечно рѣшать не въ ея пользу, тогда сейчасъ
„просьбу на Высочайшее имя, а вы вѣроятно поможете какъ обѣщали.

„До свиданья. Примите увѣреніе въ моемъ самомъ искреннемъ ува-
„женіи

„Вашего слуги

„Ф. Достоевскаго.

„P. S. Если что надо будетъ, обращусь къ вамъ, если будете по
„прежнему добры“.

2) „5 ноября 1876. Милостивый государь Многоуважаемый г. К. И. М.
„Боюсь, что опоздалъ отвѣчать вамъ и вы, справившись разъ или два,
„уже не придете болѣе въ магазинъ Исакова за письмомъ.

„Во-первыхъ благодарю васъ за ваше лестное мнѣніе о моей статьѣ,
„а во-вторыхъ за ваше доброе мнѣніе обо мнѣ самомъ. Я и самъ желалъ
„посѣтить Корнилову, впрочемъ, врядъ-ли надѣясь подать ей помощь. А
„ваше письмо меня прямо направило на дорогу.

„Я тотчасъ отправился къ прокурору Фуксу. Выслушавъ о моемъ
„желаніи повидаться съ Корниловой и о просьбѣ на Высочайшее имя о
„помилованіи, онъ отвѣтилъ мнѣ, что все это возможно и просилъ меня
„прибыть къ нему на другой день въ канцелярію, а онъ тѣмъ временемъ
„справится. На другой день онъ послалъ бумагу къ управляющему въ
„тюрьмѣ о пропускѣ меня къ Корниловой *нѣсколько разъ*, самъ-же чрезъ
„вычайно обязательно обѣщаль мнѣ *содѣйствовать* и въ дальнѣйшемъ.
„Но главное въ томъ, что въ настоящее время *нельзя* подавать просьбу,
„потому что защитникъ Корниловой, два дня назадъ, уже подалъ на
„кассацию приговора въ сенатъ, а потому дѣло не имѣетъ еще оконча-
„тельнаго вида и только тогда, какъ сенатъ откажетъ, и наступитъ срокъ
„просьбы на Высочайшее имя.

„Такъ какъ въ этотъ день идти въ тюрьму было уже поздно, то я
„пошелъ лишь на другой день. Мысль моя (которую одобрилъ и прокуроръ)
„была—удостовериться сначала, хочетъ-ли еще Корнилова и помилованія,
„т. е. возвратиться къ мужу и проч.? Я ее увидѣлъ въ лазаретѣ: она
„всего 5 дней какъ родила. Признаюсь вамъ, что я былъ необыкновенно
„изумленъ результатомъ свиданія: оказалось, что я *почти* угадалъ въ
„моей статьѣ все буквально. И мужъ приходитъ къ ней и плачутъ вмѣстѣ
„и даже дѣвочку хотѣлъ онъ привести, „да ее изъ пріюта не пускаютъ“,
„какъ, съ печалью, сообщила мнѣ Корнилова. Но есть и разница противъ
„моей картины, но небольшая: онъ крестьянинъ настоящій, но ходитъ въ
„нѣмецкомъ сюртукѣ, служить черпальщикомъ въ экспедиціи заготовле-

„нія государственныхъ бумагъ за 30 руб. въ мѣсяцъ, но вотъ, кажется, и вся разница.

„Съ Корниловой я проговорилъ полчаса наединѣ. Она *очень* симпатична. Сначала я лишь вообще объяснилъ ей, что желалъ-бы ей помочь. Она скоро мнѣ довѣрилась, конечно и по тому соображенію что изъ-за *мустяковъ* не разрѣшилъ-бы прокуроръ мнѣ съ ней видѣться. Ужь у ней довольно твердый и лениый, но русскій и простой, даже простодушный. Она была швеей, да и замужемъ продолжала казанскую работу и добывала деньги. Очень моложава на лицо, недурна собой. Въ лицѣ прекрасный тихій душевный оттѣнокъ, но несомнѣнно, что она принадлежитъ къ простодушно-веселымъ женскимъ типамъ. Она теперь довольно спокойна, но ей *очень* скучно“, „поскорѣй-бы уже рѣшили“. Я еще ничего не говоря ей о ея *беременномъ состояніи*, спросилъ: какъ это она сдѣлала? Бротемъ, проникнутымъ голосомъ она мнѣ отвѣчала: сама не знаю, „точно что чужая во мнѣ воля была“. Еще черта: „я какъ одѣлась, такъ я въ участокъ не хотѣла идти, а *такъ вышла* на улицу и ужъ сама не знаю какъ въ участокъ прибыла“. На вопросъ мой: хотѣла-бы она съ мужемъ опять сойтись, она отвѣтила: „ахъ, да!“ и заплакала! Она прибавила мнѣ съ проникнутымъ выраженіемъ, что „мужъ *приходитъ и плачетъ съ ней*“, т. е. выставляя на видъ мнѣ: „вотъ дескать какой онъ хорошій“. Она горько заплакала, припоминая позаніе тюремнаго пристава противъ нея въ томъ, что будто она съ самаго начала своего брака возненавидѣла и мужа и падчерицу: „неправда это, никогда я этого не могла ему сказать“. „Съ мужемъ подвонецъ стало мнѣ горько, я все плакала, а онъ все бранилъ и въ утро, когда случилось преступленіе, онъ побилъ ее.

„Я ей не утаилъ о возможности просьбы на Высочайшее имя, если не удастся кассачія. Она выслушала очень внимательно и очень повеселѣла: „вотъ вы меня теперь ободрили, а то такая скука!“

„Я намекомъ спросилъ: не нуждается-ли она пока въ чемъ. Она, понявъ меня, совершенно просто, не обидчиво, прямо сказала, что у ней все есть и деньги есть и что ничего не надо. Рядомъ на кровати лежала новорожденная (дѣвочка). Уходя я подошелъ посмотреть и похвалилъ ребеночка. Ей очень это было пріятно, и когда я, сейчасъ потомъ, простился чтобъ уходить, она вдругъ сама прибавила: „вчера окрестили, Ебатеринушкой назвали“.

„Выйдя поговорилъ о ней съ помощницей смотрительши, Анной Петровной Борейша. Та съ чрезвычайнымъ жаромъ стала хвалить Корнилову: „какая она стала простая, умная, кроткая“. Она рассказала мнѣ,

„что поступила она къ нимъ нѣсколько мѣсяцовъ назадъ въ тюрьму со-
 „всѣмъ другая: „грубая, дерзкая и мужа бранила. Почти какъ полоум-
 „ная была“. Но побывъ немного въ тюрьмѣ быстро стала измѣняться
 „совсѣмъ въ противоположную сторону. Замѣчательно то, что уже давно
 „она безпokoится и ревнуетъ, „чтобы мужъ не женился“ (она вообра-
 „жаетъ, что онъ уже и теперь это можетъ сдѣлать). До приговора онъ
 „рѣдко ходилъ. Еще черта. Эта Анна Петровна увѣряетъ, что „мужъ
 „ее вовсе не стоитъ, онъ тушъ и безсердеченъ, и что будто Корнилова
 „два раза послала просить его прійти и онъ *наконецъ-то* пришелъ“.
 „Между тѣмъ Корнилова именно напирала мнѣ на томъ, что мужъ при-
 „ходить къ ней и *надъ ней плачетъ*, т. е. хотѣла выставить передо мной
 „какой это хорошій человекъ“ и т. д.

„Однимъ словомъ всего не упишешь и не различишь. Я убѣжденъ въ
 „томъ, что все было отъ болѣзни еще пуще прежняго и хоть *не имѣю*
 „строгихъ фактовъ, но свиданіе мое съ ней какъ будто все мнѣ под-
 „твердило.

„И такъ о просьбѣ нельзя думать до кассационнаго рѣшенія. Когда
 „это будетъ — не знаю. Но, потомъ, въ случаѣ неблагоприятнаго ей рѣ-
 „шенія (что вѣрнѣе всего), я напишу ей просьбу. Прокуроръ обѣщаль
 „содѣйствовать, вы тоже, и дѣло стало быть имѣть предъ собой *надежду*.
 „Въ Иерусалимѣ была купель, Внѣзда, но вода въ ней тогда лишь ста-
 „новилась цѣлительною, когда ангель сходилъ съ неба и возмущаль воду.
 „Разслабленный жаловался Христу, что уже долго ждетъ и живетъ у ку-
 „пели, но не имѣетъ *человѣка*, который опустилъ-бы его въ купель, когда
 „возмущается вода. По смыслу письма вашего думаю, что этимъ *человѣ-*
 „*комъ* у нашей больной хотите быть вы. Не пропустите-же момента, когда
 „возмутится вода. За это наградить васъ Богъ, а я буду тоже дѣйстви-
 „вать до конца. А за симъ позвольте засвидѣтельствовать передъ вами
 „мое чувство самаго глубокаго къ вамъ уваженія.

„Вашъ ѳ. Достоевскій“.

Къ счастью для Корниловой, а такъ же и для высокой души покой-
 наго ѳедора Михайловича, сомнѣнія его на счетъ сенатскаго рѣшенія не
 оправдались и я скоро сообщилъ ему о томъ, что уголовный кассационный
 департаментъ правительствующаго сената, отмѣнивъ вердиктъ присяж-
 ныхъ и приговоръ суда, опредѣнилъ передать дѣло — для новаго раз-
 смотрѣнія — въ другое отдѣленіе.

Сообщая эти свѣдѣнія, я убѣдительно просилъ ѳедора Михайловича,
 „Дневникъ“ котораго, какъ и всѣ вообще его произведенія, обращаль

всеобщее вниманіе, написать опять что нибудь о Корниловой въ томъ номерѣ „Дневника“, который выйдетъ не задолго до новаго разсмотрѣнія дѣла. Я сильно рассчитывалъ на то, что глубокой психологической анализъ характера осужденной и условій, сопровождавшихъ совершенное ею преступленіе, неминуемо произведетъ должное впечатлѣніе на какой угодно составъ присяжныхъ и этимъ спасетъ жертву болѣзненнаго состоянія, а слѣдовательно и судебной ошибки.

Впослѣдствіи, узнавъ, что дѣло о Корниловой назначено было къ слушанію въ концѣ декабря 1876 г., я немедленно написалъ объ этомъ Федору Михайловичу, который, подъ заглавіемъ „Опять о простомъ, но мудреномъ дѣлѣ“, воспроизвелъ въ декабрьскомъ номерѣ „Дневника“ почти дословно вышеприведенное письмо ко мнѣ отъ 5 ноября, добавивъ къ нему такой тонкій и глубокой анализъ душевнаго состоянія Корниловой во время совершенія преступленія и послѣ осужденія, который можетъ всегда доставлять читателю весьма художественное наслажденіе.

Я не ошибся! Высокохудожественное произведеніе Федора Михайловича произвело на столько сильное дѣйствіе на петербургское общество и на присяжныхъ, что даже предсѣдательствовавшій, въ резюме своемъ, предупреждалъ послѣднихъ не поддаваться вліяніямъ „нѣкоторыхъ талантливыхъ литераторовъ“, а обсуждать дѣло „по своему крайнему разумѣнію“.

Но что могли значить эти сухія слова для присяжныхъ, когда они успѣли уже проникнуться — виѣсть съ Федоромъ Михайловичемъ — сознаніемъ того, какъ „тяжело переносить такіа потрясенія душъ человѣческой“, какъ второе сужденіе! Они, подъ вліяніемъ могучаго таланта, съ необычайной ясностью поняли, что это „похоже на то какъ-бы приговореннаго къ разстрѣлію вдругъ отвязать отъ столба, подать ему надежду, снять повязку съ его глазъ, показать ему вновь солнце и, — черезъ пять минутъ вдругъ опять повести его привязывать къ столбу“...

Эта краткая, но глубоко-трагическая картина сдѣлала свое дѣло и на вопросъ „неужели-жь нельзя оправдать, *рискнуть* оправдать?“ напечатанный въ „Дневникѣ“ — Федоръ Михайловичъ услышалъ самъ въ залѣ суда лаконической отвѣтъ присяжныхъ: „нѣтъ, невинна!“

Что это былъ за счастливый день въ многострадальной жизни незабвеннаго учителя, предоставляю судить всѣмъ тѣмъ, которые знаютъ Федора Михайловича лично или по произведеніямъ!.. Для описанія этого дня нужно второго Федора Михайловича!..

Къ величайшему прискорбію для меня, на другой день послѣ процесса, Федоръ Михайловичъ не засталъ меня дома и я нашелъ его кар-

точку, которую храню вмѣстѣ съ приведенными письмами, какъ чрезвычайно дорогіе для меня по воспоминаніямъ предметы.

Черезъ нѣсколько дней я отдалъ ему визитъ и тутъ только мы съ нимъ *первые* познакомились. Онъ принялъ меня такъ трогательно радушно, какъ-бы родного или стариннаго пріятеля.

Онъ повелъ меня въ свой маленькій, сильно заваленный книгами, кабинетъ, выходявшій окнами на Греческій проспектъ Песковъ, гдѣ онъ говорилъ мнѣ очень много, несмотря на чрезвычайное утомленіе отъ болѣзни, заставлявшее часто прерывать рѣчь для того, чтобы „перевести духъ“.

К. Масленниковъ.

ПИСЬМА Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО КЪ РАЗНЫМЪ ЛИЦАМЪ *).

15 апрѣля (1856 [?] г.) **).

Благодарю васъ, многоуважаемый Е., за вашу память обо мнѣ и за ваше ко мнѣ вниманіе. Я неожиданно, къ моему счастью, нашелъ въ васъ какъ будто роднаго. Еще разъ благодарю. О себѣ скажу, что живу я большею частію однѣми надеждами, а настоящее мое не очень красиво. Къ тому-же примѣшалось и дурное здоровье. Мой товарищъ Д (уровъ?) вышелъ изъ военной службы и, какъ я слышалъ, опредѣлился въ Омскъ къ статскимъ занятіямъ. Все это по болѣзни.

Пушкина ***) я получилъ. Очень благодарю васъ за него. Братъ мой писалъ мнѣ, что онъ еще весною прошлаго года послалъ мнѣ черезъ васъ нѣкоторыя книги, какъ, напримѣръ, святыхъ отцовъ, древнихъ историковъ, и изъ вещей ящикъ сигаръ. Но я ничего не получилъ отъ васъ. Теперь увѣдомьте, пожалуйста: послали-ли вы ко мнѣ? Если послали, то пропало въ дорогѣ. Если не послали, то, конечно, сами не получали. Сдѣлайте одолженіе, увѣдомьте объ этомъ брата.

Мои занятія здѣсь самыя неопредѣленныя. Хотѣлось бы дѣлать систематически. Но я читаю и пописываю какими-то порывами и урывками. Времени нѣтъ, особенно теперь; совсѣмъ нѣтъ. Пишете вы о сборѣ пѣсенъ. Съ большимъ удовольствіемъ постараюсь, если что найду. Но врядъ-ли. Впрочемъ, постараюсь. Самъ-же я до сихъ поръ не собралъ ничего подобнаго. Меня останавливала мысль, что если дѣлать, то дѣлать хорошо. А случайно собирать, хоть-бы народныя пѣсни, ничего не сберешь. Безъ

*) Нижеслѣдующія письма доставлены были А. Г. Достоевской, послѣ отпечатанія предыдущаго собранія „Писемъ“ Федора Михайловича, а потому помѣщаются въ приложеніяхъ.

***) Напечатано въ „Русской Старинѣ“, сентябрь, 1883 г.

***) Сочиненія А. С. Пушкина въ изданіи П. В. Анненкова.

усилій ничего не дается. Бъ тому-же занятія мои теперь другаго рода. Сколько нужно прочесть, и какъ я отсталъ! Вообще въ моей жизни безалаберщина.

Увѣдомьте, ради Бога, кто такая Ольга Н. *) и Л. Т. (напечатавшій „Отрочество“ въ „Современникъ“)?

Прощайте, дорогой Е. Не забивайте меня, а я васъ никогда не забуду.

Вашъ Достоевскій.

Прилагаю при семъ письмо къ Б. И. Иванову **). Перешлите, пожалуйста, въ Петербургъ, въ дождь Лисицына, у Спаса Преображенія. Но, вѣроятно, адресъ вы сами знаете.

Семипалатинскъ, 12 декабря 1858 г. ***).

Давно уже я не писалъ вамъ ничего, добрѣйшій и благороднѣйшій Е., и считаю это непростительнымъ съ моей стороны. Вы такъ благородно и просто изъявляли мнѣ постоянно ваше участіе, что забыть о васъ я никогда не могу и очень боюсь, если вы назовете меня человѣкомъ безъ сердца и памяти. Но увѣряю васъ, что это будетъ несправедливо. Если же я вамъ такъ давно не писалъ, то это не отъ невнимательности или забывчивости. Я уже три мѣсяца сряду собираюсь писать вамъ и не соберусь отъ разныхъ причинъ, между прочимъ, и потому, что желалъ-бы написать о себѣ что нибудь положительное. Каждый день и часъ жду рѣшенія судьбы моей и не дождусь. Вы не повѣрите, какъ это тошно.

Вотъ уже скоро годъ безъ нѣсколькихъ дней, какъ я подалъ въ отставку, упомянувъ въ моей просьбѣ (сообразно формѣ), что жительство буду имѣть въ Москвѣ. Моя отставка пошла, и до сихъ поръ о ней ни слуху, ни духу. Не знаю, чтò задерживаетъ. Просился я въ отставку по болѣзни (падучей). Отставка выйдетъ когда нибудь, но не будетъ-ли препятствія ѣхать въ Москву, вотъ въ чемъ вопросъ. Братья и другіе, берущіе во мнѣ близкое участіе, увѣряютъ меня, что сомнѣній не можетъ быть никакихъ. Не знаю, но расположеніе мое пренеприятное. Я даже предпринять не могу ничего положительнаго во многихъ дѣлахъ, крайне меня интересующихъ, потому что не знаю, чтò впереди и какъ разсчитать.

*) Ольга Нарская и гр. Л. П. Толстой.

***) Нынѣ генералъ-лейтенантъ Константинъ Ивановичъ Ивановъ.

***) Напечатано въ „Русской Старинѣ“, сентябрь, 1883 г., II.

Живу въ Семипалатинскѣ, который надоѣлъ мнѣ смертельно; жизнь въ немъ болѣзненно мучить меня. Не могу вамъ за краткостью всего объяснить. Можете-ли вы себѣ представить, что даже самыя занятія литературой сдѣлались для меня не отдыхомъ, не облегченіемъ, а мукой. Это уже хуже всего. Во всемъ виновата моя обстановка и болѣзненное положеніе мое. Журналовъ я не читаю, и вотъ уже полгода не бралъ въ руки даже газетъ. Полагая, что скоро выѣду въ Россію, не записался, а брать не у кого, потому что не хочется быть инымъ людямъ хоть чѣмъ нибудь одолженнымъ. И увѣряю, это не гордость и не озлобленіе съ моей стороны. А такъ, — всего не расскажешь.

Катковъ мнѣ писалъ письмо и по просьбѣ моей выслалъ мнѣ впередъ 500 руб. сереб. Я обѣщаль ему романъ, засѣлъ писать съ увлеченіемъ, но бросилъ, ибо хочу написать хорошо, а недостаетъ кой-какихъ справокъ, которыя нужно сдѣлать самому лично въ Россіи. На-обумъ же писать не хочу. И потому оставилъ мой большой романъ, принялся за другой. Засѣлъ черезъ силу, но потомъ скоро увлекся и писалъ съ удовольствіемъ. Но выходить великъ — листовъ 12. Отдѣлавъ $\frac{2}{3}$, я оставилъ его, вотъ по какому случаю. Такъ какъ денегъ мнѣ нужно поминутно и много (особенно по поводу моей женитьбы), такъ вотъ я весь задолжалъ (теперь нѣтъ), то брать мой вошелъ въ Петербургъ въ условія съ будущей редакціей будущаго журнала „Русское Слово“, — выйдеть въ 1859 году, заключилъ отъ себя, на мое имя, условіе, взялъ впередъ 500 руб. (по 100 руб. съ листа) и выслалъ мнѣ деньги. Отъ денегъ я отказаться не могъ и одобрилъ всѣ условія, думая кончить къ новому году. Но не кончивъ къ сентябрю Каткову, опомнился и схватился за повѣсть въ „Русское Слово“, и теперь пишу ее на почтовыхъ, почти совсѣмъ кончилъ. Надняхъ отсылаю. Каткову же примусь тотчасъ по отсылкѣ въ „Русское Слово“ и въ непродолжительномъ времени вышлю половину, — чтобы видѣлъ, что я дѣло дѣлаю. Но не думайте, чтобы Катковъ меня торопилъ. Напротивъ, онъ мнѣ написалъ преблагородное письмо, въ которомъ просилъ меня не тяготиться долгомъ и не насиловать себя. Оттого-то мнѣ такъ и хочется поскорѣе кончить. Я же передъ нимъ очень виноватъ, взявъ обязательства въ „Русское Слово“, тогда какъ обязанъ былъ сперва кончить ему. Не говорю уже о томъ, сколько болѣзнь (падучая) отняла у меня времени, а главное расположеніе духа. Кромѣ того были и другія обстоятельства. Вотъ вамъ, добрѣйшій Е., краткая повѣсть обо мнѣ. Повторяю, вы такъ стали мнѣ близки вашими поступками со мной, что я ужъ не могу молчать передъ вами и не говорить вамъ моего всего откровенно. И однакожь я многое еще вамъ не написалъ.

Прощайте, добрыйшій Е., не забывайте меня, а я о васъ всегда буду помнить. Можетъ быть скоро увидимся.

Вашъ весь Федоръ Достоевскій.

Пишу на прежній адресъ и не знаю, дойдетъ-ли.

Къ врату Михайлу Михайловичу.

Тверь, 19 сентября 1859 г.

Вчера получилъ твое письмо, голубчикъ Миша, да поздно и потому не могъ сейчасъ отвѣчать тебѣ. Письмо твое меня ужасно обрадовало, во-первыхъ потому, что я вполнѣ одинъ, а во-вторыхъ, что оно пришло раньше, чѣмъ я думалъ. Я думалъ, что оно придетъ въ субботу. Радъ за тебя, что ты опять у своихъ и доволенъ. Только когда-то увидимся? Я хоть и сижу въ Твери, а всетаки *продолжаю странствовать*; когда то насъ опять соединитъ судьба?

Ходилъ къ Баранову съ письмомъ къ Долгорукову. Онъ мнѣ обѣщаль сдѣлать все (т. е. не болѣе, какъ переслать письмо), но сказалъ, что напрасно я теперь подаю, что князя Долгорукова теперь нѣтъ въ Петербургѣ, а въ вояжѣ онъ не доложитъ, и потому совѣтовалъ отложить мнѣ до половины октября, когда князь воротится въ Петербургъ. Тогда и просилъ придти съ письмомъ. Разсудивъ, я полагаю, что это спра-ведливо.

Тѣмъ болѣе, что если черезъ мѣсяць князь будетъ въ Петербургѣ, то дѣло сдѣлается скоро, особенно при ходатайствахъ и рекомендаціяхъ, напимѣръ отъ Эдуарда Ивановича. Такъ что я даже надѣюсь къ 1-му декабрю быть у васъ. И потому подождемъ.

О Врангелѣ я прочелъ въ твоёмъ письмѣ съ чрезвычайнымъ удовольствіемъ. Я такъ обрадовался ему! Поклонись отъ меня, скажи, что мнѣ ужасно хочется его видѣть и что, если онъ пріѣдетъ въ Тверь, хотя на одинъ день, то сдѣлаетъ чудесно хорошо. Надняхъ ему напишу. Эдуарду Ивановичу напишу тоже, погода немного.

Майкову поклонись и скажи, что я не менѣе его люблю и помню, а если пріѣдетъ, то сдѣлаетъ *прекрасное* дѣло; хоть на одинъ день; скажи ему, что я жду его съ крайнимъ нетерпѣніемъ.

Къ сестрамъ написалъ. Ты пишешь, что не засталъ Некрасова дома. Но вотъ что, другъ мой: Если ты и 16-го не засталъ, то не опоздать-бы

съ рукописью? Уйдетъ время, — и они будутъ другое печатать въ октябрьской книжкѣ. Надобно еще прочесть ее; а ты мнѣ не пишешь: оставилъ-ли у него рукопись? И передалъ-ли ему письмо? Общаешь писать 17-го, если увидишь Некрасова. Конечно увидишь, и потому жду сегодня твоего письма съ крайнимъ нетерпѣніемъ. NB: Въ сношеніяхъ съ Некрасовымъ замѣчай всѣ подробности и всѣ его слова, и, ради Бога, прошу, опиши все это поподробнѣе. Для меня вѣдь это очень *интересно*.

Врангельскаго Кольку поцѣлуй. Котовъ своихъ тоже. Эмилиі Федоровнѣ большой поклонъ. Жена тоже всѣмъ вамъ очень кланяется. Собственно обо мнѣ прибавить больше нечего: думаю о будущемъ, думаю, какъ сѣсть за романъ, сокрушаюсь, что много надо писать писемъ и мучился ужасно надъ письмомъ князю. Заказалъ тоже портному (да вѣдь это при тебѣ), штаны испортилъ. Въ Твери нога дурная, а скука страшная.

Думаю о тебѣ, голубчикъ мой. Вотъ ты уѣхалъ, а я вѣдь знаю, что мы вовсе еще не такъ познакомились другъ съ другомъ какъ надо, какъ-то не высказались, не показали во всемъ. Нѣтъ, братъ: надо жить вмѣстѣ, жизнью не скорою, а обыкновенною, и тогда вполне сживемся; ты у меня одинъ; насъ и десять лѣтъ не разъединили. Не пишешь ты ничего о своемъ здоровьи, а главное, что сказалъ тебѣ Розенбергъ? Пожалуйста съ нимъ совѣтуйся. Прощай, голубчикъ. Обнимаю тебя, пиши ради Бога.

Твой Д.

NB. Вспомнилъ твое: *пиши* при прощаньи. Обдумываю романъ, который тебѣ пересказывалъ, и вмѣстѣ жаль большого романа. Я думалъ его писать. Ахъ, кабы деньги, да обезпеченіе!

Тверь, 2 октября 1859 г.

Любезный братъ. Еще разъ пишу къ тебѣ и умоляю: ради Бога, съѣзди къ Некрасову самъ, добейся того, чтобъ застать его дома и кончи съ нимъ мое дѣло. Мнѣ деньги нужны, очень нужны, и именно вся сумма, на которую я рассчитывалъ, т. е. 500 сереб. Вѣдь общалъ-же онъ дать впередъ 1,200 за 10 печатныхъ листовъ, изъ которыхъ 700 опредѣлены сейчасъ же тебѣ, а 500 мнѣ. Теперь же мнѣ эти 500 нужны до крайности. Не откажи мнѣ, голубчикъ мой, — ты, на котораго только я и могу надѣяться. Прощу тебя. Главное, наконецъ, и то, что ты разрѣшишь мое положеніе.

Я писалъ къ тебѣ вчера объ изданіи моихъ сочиненій. Займись и этой идеей и ради Бога помоги мнѣ. Ты одинъ можешь спасти меня. Немного старанія съ твоей стороны и все могло-бы уладиться.

Положеніе мое здѣсь тяжелое, скверное и грустное. Сердце высохнетъ. Кончатся-ли когда нибудь мои бѣдствія и дастъ-ли мнѣ Богъ наконецъ возможность обнять васъ всѣхъ, и обновиться въ новой и лучшей жизни!

Не буду писать тебѣ никакихъ подробностей о здѣшнемъ житіи моемъ. Эти-же два слова пишу единственно для того, чтобъ еще разъ напомнить тебѣ объ Некрасовѣ и кончить съ нимъ поскорѣе. Ради Бога, сдѣлай это и уведомя меня сейчасъ-же, какъ можно скорѣе. До тѣхъ поръ я буду въ страшномъ безпокойствѣ.

Прощай, другъ мой милый, на тебя вся надежда моя. Успокой меня скорѣй.

Твой Ф. Достоевскій.

P. S. Сейчасъ получилъ отъ тебя твое вчерашнее письмо. Благодарю за извѣстія. Но вотъ въ чемъ бѣда: что отъ Некрасова до сихъ поръ никакихъ нѣтъ извѣстій. Ради Бога не медли. Дѣло важное. Не затягивай его. А деньги 500 мнѣ до крайности нужны. Ради Бога поспѣши. Врангелю я завтра пишу, также и Эдуарду Ивановичу.

Ты обо мнѣ думаешь, — благодарю. Ты знаешь самъ, какъ ты мнѣ дорогъ. Оторвался-бы отъ всего и бѣжалъ-бы къ вамъ. Отвѣчай, ради Бога, скорѣе. Ты одинъ у меня.

Д.

Отрывки изъ двухъ писемъ Ф. М. Достоевскаго къ г-жѣ Ш. *).

I.

14 марта (1860 г.) **).

....., Здѣсь у насъ скучно, даже очень. Погода скверная. Маленькіе хлопоты, а хотѣлось-бы писать, и вообще такая безразсвѣтная скверность, что и представить нельзя, по крайней мѣрѣ у меня. Думаю не оживить-

*) Напечатано въ „Русской Старинѣ“ сентябрь 1883 г.

**) Оба письма писаны весной 1860 года изъ Петербурга въ Москву.

ли весна? Хоть-бы дней на 7 оставить этотъ гадкій Петербургъ! Авось состоится наша прогулка въ Москву *).

Прощайте, добрыйшая и многоуважаемая . . . , не разсердитесь на меня, что написалъ съ помарками, кошачьимъ почеркомъ. Но во 1-хъ, почеркъ—мое единственное сходство съ Наполеономъ, а во 1-хъ (я) совершенно неспособенъ написать хоть двѣ строки безъ помарки“...

II **).

Вторникъ 3 мая 1860 г.

Многоуважаемая и добрыйшая . . . , вотъ уже три дня, какъ я въ Петербургъ и воротился къ своимъ занятіямъ. Вся поѣздка въ Москву представляется мнѣ свозъ сонъ; опять пріѣхалъ на сырость, на слякоть, на ладожскій ледъ, на скуку и проч., и проч.

Воротился я сюда и нахожусь вполне въ лихорадочномъ положеніи. Всею виною мой романъ. Хочу написать хорошо, чувствую, что въ немъ есть поэзія, знаю, что отъ удачи его зависитъ вся моя литературная карьера. Мѣсяца три придется теперь сидѣть дни и ночи. Зато какая награда, когда кончу? Спокойствіе, ясный взглядъ кругомъ, сознаніе, что сдѣлалъ то, что хотѣлъ сдѣлать, настоялъ на своемъ. Можетъ быть, въ награду себѣ поѣду за границу мѣсяца на два, но передъ этимъ непременно заѣду въ Москву.

...Самолюбіе хорошая вещь, но, по моему, его нужно имѣть только для главныхъ цѣлей, для того, что самъ поставилъ себѣ цѣлю и назначеніемъ въ жизни. А прочее все вздоръ. Только-бы легко жилось, это главное; да была-бы симпатія къ людямъ, да еще чтобъ удалось и отъ другихъ заслужить симпатію. Даже и безъ особенныхъ цѣлей — одно это уже достаточная цѣль въ жизни.

Но я слишкомъ зафилософствовался. Новостей я слышалъ мало, почти нѣтъ. Писемскій очень боленъ, ревматизмами. Я заходилъ къ А. Майкову; онъ рассказывалъ, что Писемскій блажитъ, сердится, капризится и проч. и проч., не мудро: болѣзнь мучительная. Кстати: не знавали вы одного Спиткина? Онъ еще пописывалъ комическіе стихи подъ именемъ Аммоса Шишкина. Представьте себѣ: заболѣлъ и умеръ въ какіе

*) Ф. М. собиравался въ Москву вмѣстѣ съ своимъ братомъ Михайломъ, который ѣхалъ туда по дѣламъ.

**) Въ концѣ апрѣля 1860 г. Ф. М. былъ въ Москвѣ и, возвратившись, написалъ вскорѣ г-жѣ III.

нибудь шесть дней. Литературный фондъ принялъ участіе въ его семействѣ. Очень жаль. Впрочемъ, можетъ быть вы его не знали. Видѣлъ Крестовскаго. Я его очень люблю. Написалъ онъ одно стихотвореніе и съ гордостію прочиталъ намъ его. Мы всѣ сказали ему, это стихотвореніе ужасная гадость, такъ между нами принято говорить правду. Что-же? Ни мало не обидѣлся. Милый, благородный мальчикъ! Онъ мнѣ такъ нравится (все болѣе и болѣе), что хочу, когданибудь, на попойкѣ выпить съ нимъ на ты. Удивительно странныя бываютъ иногда впечатлѣнія? Мнѣ все кажется, что Крестовскій долженъ скоро умереть; а почему это впечатлѣніе? И самъ рѣшить не могу. — Хочется намъ сдѣлать чтонибудь порядочное въ литературѣ, какоенибудь предпріятіе. Сильно мы заняты этимъ. Можетъ быть и удастся. По крайней мѣрѣ всѣ эти задачи — дѣятельность, хотя только 1-й шагъ. А я понимаю, что значить первый шагъ, и люблю его. Это лучше скачковъ... *).

...У меня прескверный характеръ, да только не всегда, а временемъ. Это-то меня и угѣшаетъ.

Федоръ Достоевскій.

Къ Н. Л. Озмидову.

Петербургъ, февраль 1878 г. **).

Добрѣйшій и любезнѣйшій Николай Лукичъ!

Во первыхъ, простите, что такъ непростительно запоздалъ отвѣтомъ за хворостью и всякими недосугами. Во вторыхъ, что я вамъ могу отвѣтить и какой намекъ могу вамъ дать на вашъ роковой и вѣковѣчный вопросъ? И въ двухъ-ли строкахъ письма уложится это дѣло? Вотъ еслибъ мы говорили съ вами нѣсколько часовъ—другое дѣло, но вѣдь и тогда ничего-бы, можетъ быть, не вышло; невѣрующіе всего труднѣе убѣждаются словами и разсужденіями. А не лучше-ли бы вамъ прочесть повника-тельнѣе всѣ посланія ап. Павла? Тамъ очень много говорится собственно о вѣрѣ, и лучше и сказать нельзя. Хорошо, еслибъ вы тоже прочли *ою* Библию въ переводѣ. Удивительное впечатлѣніе въ цѣломъ дѣлаетъ эта книга. Вындсите, напримѣръ, такую мысль несомнѣнно: что другой такой

*) Съ января 1861 г. М. М. и Ф. М. Достоевскіе предпріяли изданіе литературнаго ежемѣсячнаго журнала: „Время“.

***) Напечатано въ „Руси“, № 30, 1882 г.

книги въ человѣчествѣ нѣтъ и не можетъ быть. И это — вѣрите-ли вы, или не вѣрите.

Намековъ тутъ никакихъ быть не можетъ. Скажу вамъ лишь одно слово: всякій организмъ существуетъ на землѣ, чтобъ жить, а не истреблять себя. Наука опредѣлила такъ и уже подвела довольно точно законы для утвержденія этой аксіомы. Человѣчество въ его цѣломъ есть, конечно, только организмъ. Этотъ организмъ безспорно имѣетъ своя законы бытія. Разумъ-же человѣческой ихъ отыскиваетъ. Теперь представьте себѣ, что нѣтъ Бога и безсмертія души (безсмертіе души и Богъ — это все одно, одна и та же идея). Скажите, для чего мнѣ тогда жить хорошо, дѣлать добро, если я умру на землѣ совсѣмъ? Безъ безсмертія-то вѣдь все дѣло въ томъ, чтобъ только достигнуть мой срокъ, а тамъ хоть все гори. А если такъ, то почему мнѣ (если я только надѣюсь на мою ловкость и умъ, чтобъ не попасться закону) и не зарѣзать другаго, не ограбить, не обворовать, или почему мнѣ, если ужъ не рѣзать, такъ прямо не жить на счетъ другихъ, въ одну свою утробу? Вѣдь я умру и все умретъ, ничего не будетъ! Такимъ образомъ и выйдетъ, что одинъ лишь человѣческой организмъ не подпадаетъ подъ всеобщую аксіому и живетъ *лишь для разрушенія себя*, а не для сохраненія и питанія себя. Ибо чтѣ за общество, если всѣ члены одинъ другому враги? И выйдетъ страшный вздоръ. Прибавьте тутъ, сверхъ всего этого, мое я, которое все создало. Если оно это все создало, т. е. всю землю и ея аксіому, то стало быть это мое я выше всего этого, по крайней мѣрѣ не укладывается въ одно это, а становится какъ бы въ сторону, надъ всѣмъ этимъ, судить и сознаетъ его. Но въ такомъ случаѣ это я не только не подчиняется земной аксіомѣ, земному закону, но и выходитъ изъ нихъ, выше ихъ имѣетъ законъ. Гдѣ-же этотъ законъ? Не на землѣ гдѣ все закончено и все умираетъ безслѣдно и безъ воскресенія. Нѣтъ-ли намека на безсмертіе души? Еслибъ его не было, то стали-ли-бы вы сами-то, Николай Лукичъ, о немъ беспокоиться, письма писать, искать его? Значить вы съ вашимъ я не можете справиться; въ земной порядокъ оно не укладывается, а ищетъ еще чего-то другаго, кромѣ земли, чему тоже принадлежитъ оно. Впрочемъ, чтѣ ни пиши, ничего изъ этого не выйдетъ. Крѣпко жму вамъ руку и прощаюсь съ вами. Не оставляйте вашего беспокойства, ищите и, можетъ быть, найдете.

Вашъ слуга и искренній доброжелатель

Ф. Достоевскій.

Старая Русса, 18 августа 1880 г.

М. Г. Николай Лукич!

Я письмо ваше прочелъ со все́мъ вниманіемъ, и что́-же я могу на него отвѣтить? Вы сами, весьма умно, замѣтили, что въ письмѣ всего не упишешь. Я даже думаю, что и ничего нельзя написать удовлетворительно, кромѣ общихъ положеній. При́зжать-же ко мнѣ за совѣтами тоже для васъ все́мъ безцѣльно, потому что вовсе не считаю себя такимъ компетентнымъ судьей для разрѣшенія вашихъ вопросовъ. Вы говорите, что до сихъ поръ не давали читать вашей дочери что нибудь литературное, боясь развить фантазію. Мнѣ вотъ кажется, что это не все́мъ правильно: фантазія есть природная сила въ человѣкѣ, тѣмъ болѣе во всякомъ ребенкѣ, у котораго она, съ самыхъ малыхъ лѣтъ, преимущественно передъ все́ми другими способностями, развита и требуетъ утоленія. Не давая ей утоленія, или умертвивъ ее, или обратно, — дашь ей развиться, именно чрезмѣрно (что и вредно) своими собственными уже силами. Такая-же натуга лишь истощитъ духовную сторону ребенка преждевременно. Впечатлѣнія-же *прекраснаго* именно необходимы въ дѣтствѣ. 10-ти лѣтъ отъ роду я видѣлъ въ Москвѣ представленіе „Разбойниковъ“ Шиллера съ Мочаловымъ и, увѣряю васъ, это сильнѣйшее впечатлѣніе, которое я вынесъ тогда, подѣйствовало на мою духовную сторону очень плодотворно. 12-ти лѣтъ, я въ деревнѣ, во время вакацій, прочелъ всего Вальтеръ-Скотта, и пусть я развилъ въ себѣ фантазію и впечатлительность, но зато и направилъ ее въ хорошую сторону и не направилъ на дурную, тѣмъ болѣе, что захватилъ съ собою въ жизнь, изъ этого чтенія, столько прекрасныхъ и высокихъ впечатлѣній, что, конечно, они составили въ душѣ моей большую силу для борьбы съ впечатлѣніями соблазнительными, страстными и растлѣвающими. Совѣтую и вамъ дать вашей дочери теперь Вальтеръ-Скотта, тѣмъ болѣе, что онъ забытъ у насъ, русскихъ, все́мъ, и потомъ, когда уже будетъ жить самостоятельно, она уже и не найдетъ ни возможности, ни потребности сама познакомиться съ этимъ великимъ писателемъ; и такъ ловите время познакомить ее съ нимъ, пока она еще въ родительскомъ домѣ, Вальтеръ-Скоттъ же имѣетъ высокое воспитательное значеніе. Диккенса пусть прочтетъ всего безъ исключенія. Познакомьте ее съ литературой прошлыхъ столѣтій (Донъ-Кихоть и даже Жиль-Блазъ). Лучше всего начать со стиховъ. Пушкина она должна прочесть всего, — и стихи, и прозу. Гоголя тоже. Тургеневъ, Гончаровъ, если хотите; мои сочиненія, не думаю, чтобы всѣ пригодились ей. Хорошо прочесть всю исторію Шлоссера и русскую Соловьева. Хо-

рошо не обойти Карамзина. Костомарова пока не давайте. Завоеваніе Перу, Мексики, Прескота необходимы. Вообще историческія сочиненія имѣютъ огромное воспитательное значеніе. Левъ Толстой долженъ быть весь прочтенъ. Шекспиръ, Шиллеръ, Гёте, всё есть и въ русскихъ, очень хорошихъ переводахъ. Ну, вотъ этого пока довольно. Сами увидите, что впослѣдствіи, съ годами, можно-бы еще прибавить! Газетную литературу надо-бы, по возможности, устранить, теперь по крайней мѣрѣ. Не знаю, останетесь-ли вы довольны моими совѣтами. Написалъ я вамъ по соображенію и по *опыту*. Если угожу—буду очень радъ. Личное свиданіе считаю пока совсѣмъ ненужнымъ, тѣмъ болѣе, что я именно въ эту минуту слишкомъ занятъ. Да и повторяю опять: вовсе не считаю себя въ этихъ вопросахъ особенно компетентнымъ. Номеръ „Дневника“ вамъ высланъ. Онъ стоитъ съ пересылкою лишь 35;—65 коп. считаю за мной.

Истинно вамъ преданный

Ф. Достоевскій.

ИЗЪ АПОСТОЛА ЮАННА.

Когда пустынныйъ Иоаннъ,
Окрѣпивъ сердце въ жизни строгой,
Пришелъ крестить на Иорданъ
Во имя истиннаго Бога,
Народъ толпой со всѣхъ сторонъ
Бѣжалъ, ища съ Пророкомъ встрѣчи,
И былъ глубоко пораженъ
Святою жизнiю Предтечи.
Онъ тяжкій поясъ надѣвалъ,
Во власяницу облакался,
Подъ изголовье камень клалъ,
Одной акридою питался...
И фарисеи, для того
Чтобъ потушить восторгъ народный,
Твердили всюду про него
Съ усмѣшкой дерзкой и холодной:
„Не вѣрите! видано-ль во вѣкъ,
Чтобъ ктонибудь какъ онъ постился?
Нѣтъ, это лживый человѣкъ,
Въ немъ обѣсъ лукавый поселился!“
Но вотъ Крестителю во слѣдъ
Явился къ людямъ самъ Мессія,
Обѣтованный много лѣтъ
Черезъ пророчества святыхъ.
Сойдя съ небесъ спасти людей,
Къ завѣтной цѣли шелъ онъ прямо,

Во лжи корилъ учителей
 И выгналъ торжниковъ изъ храма.
 Онъ словомъ вѣру зажигалъ
 Въ сердцахъ униженныхъ и черствыхъ,
 Слѣдъ порожденныхъ исцѣлялъ
 И воскрешалъ изъ гроба мертвыхъ;
 Незримыхъ язвъ духовный врачъ,
 Онъ не былъ глухъ къ мольбамъ злодѣя,
 Услышавъ имъ Маріи плачь
 И вопль раскаянья Закхея...
 И чтожь? На площади опять
 Учители и фарисеи
 Пришли израиля смущать
 И зашипѣли словно змѣи:
 „Бѣгите ложнаго Христа!
 „Пусть онъ слова теряетъ праздно:
 „Его вразомольныя уста
 „Полны раздора и соблазна.
 „И какъ, взгляните, онъ живетъ?
 „Мірскимъ весь преданный заботамъ,
 „Онъ ѣсть, онъ бражничаетъ, пьетъ
 „И исцѣляетъ по субботамъ.
 „Онъ кинулъ камень въ Божество,
 „Законъ отвергнулъ Моисеевъ,
 „И кто межъ насъ друзья его,
 „Окромя блудницъ и злодѣевъ!“

С. Ѡ. Дуровъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТР.

Матеріалы для жизнеописанія Ф. М. Достоевскаго.

(О. Ф. Миллера).

Предисловіе	3
I. Дѣтство и учебные годы	5
II. Начало литературнаго поприща	48
III. Катастрофа	75
IV. Смысла и освобожденіе	127

Воспоминанія о Федорѣ Михайловичѣ Достоевскомѣ.

(Н. Н. Страхова).

I. Первые встрѣчи	179
II. Основаніе „Времени“	187
III. Новое направленіе.—Почвенники	198
IV. Богъзна.—Писательскій трудъ	212
V. Успѣхъ „Времени“.—Сотрудники	221
VI. Федоръ Михайловичъ, какъ романистъ и журналистъ	225
VII. Либерализмъ.—Студентская исторія	229
VIII. Полемика.—Нигилизмъ	234
IX. Первая поѣздка за границу	240
X. Третій годъ журнала.—Польское дѣло	245
XI. Вторая поѣздка за границу	259
XII. Разрѣшеніе новаго журнала	265
XIII. „Эпоха“ и ея паденіе	269
XIV. Разсказъ Федора Михайловича о дѣлахъ „Времени“ и „Эпохи“	276
XV. Тяжелый годъ.—„Преступленіе и Наказаніе“	284
XVI. Женитьба	290
XVII. Годы за границею	293
XVIII. Жизнь въ Петербургѣ	298
XIX. Изданія.—Доходы	302
XX. Пушкинскій праздникъ (1880)	304
XXI. Послѣдніе дни.—Впечатлительность.—Герой литературы	315
XXII. Послѣднія минуты	321
XXIII. Похороны	324

Письма Ф. М. Достоевскаго къ разнымъ лицамъ.

Къ отцу:	
23 іюля 1837 г.	3
6 сентября 1837 г.	4
10 мая 1839 г.	5

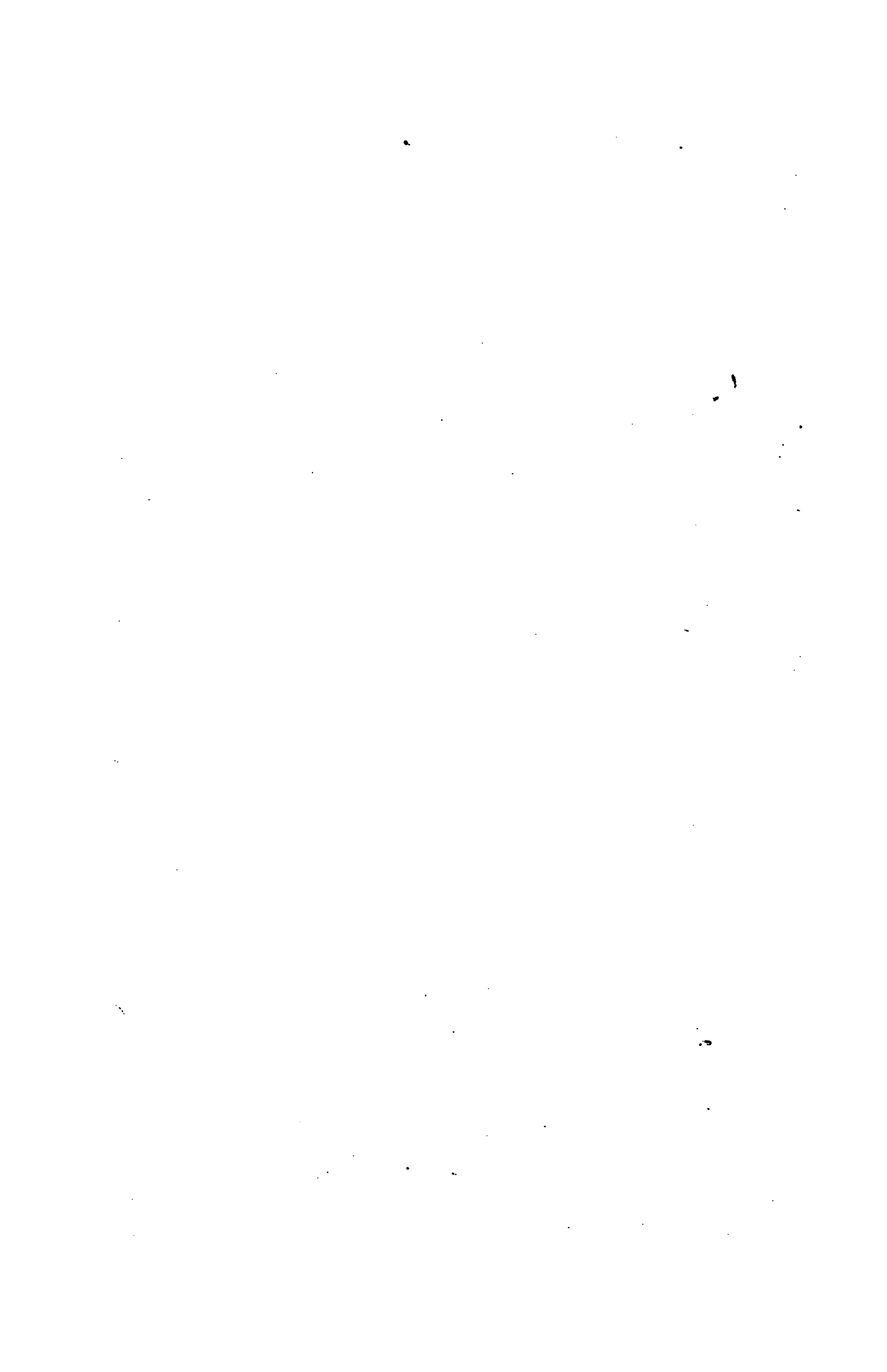
	стр.
Къ брату Михаилу Михайловичу:	
9 августа 1838 г.	7
31 октября 1838 г.	9
1 января 1840 г.	12
19 июля 1840 г.	18
27 февраля (1841 г. ?)	21
22 декабря (1841 г. ?)	22
31 декабря 1843 г.	23
(1844 г.)	25
14 февраля 1844 г.	27
(Начало 1844 г.)	28
30 сентября (1844 г. ?)	29
24 марта (1845 г. ?)	32
4 мая 1845 г.	34
(1845 г.)	36
8 октября 1845 г.	38
16 ноября 1845 г.	41
1 февраля 1846 г.	43
1 апрѣля 1846 г.	45
16 мая 1846 г.	48
5 сентября 1846 г.	48
17 сентября 1846 г.	50
7 октября 1846 г.	51
17 октября 1846 г.	53
(1846 г. ?)	55
26 ноября 1846 г.	57
17 декабря 1846 г.	59
(1847 г. ?)	61
(Весною 1847 г. ?)	63
9 сентября 1847 г.	65
(Изъ крѣпости) 18 июля 1849 г.	67
" " 27 августа 1849 г.	69
" " 14 сентября 1849 г.	71
" " 22 декабря 1849 г.	72
" Семипалатинска, 30 июля 1854 г.	72
Къ брату Андрею Михайловичу:	
изъ Семипалатинска, 6 ноября 1854 г.	75
Д. И. Достоевской:	
изъ Семипалатинска, 6 ноября 1854 г.	76
Къ брату Михаилу Михайловичу:	
изъ Семипалатинска, 14 мая 1855 г.	77
Къ барону А. Е. Врангелю:	
изъ Семипалатинска, 14 августа 1855 г.	78
" " 23 августа 1855 г.	81
Къ А. Н. Майкову:	
" " 18 января 1856 г.	83
Къ барону А. Е. Врангелю:	
изъ Семипалатинска, 23 марта 1856 г.	87
" " 13 апрѣля 1856 г.	92
" " 23 мая 1856 г.	95
" " 14 июля 1856 г.	97
" " 21 июля 1856 г.	98
" " 9 ноября 1856 г.	100
" " 21 декабря 1856 г.	103

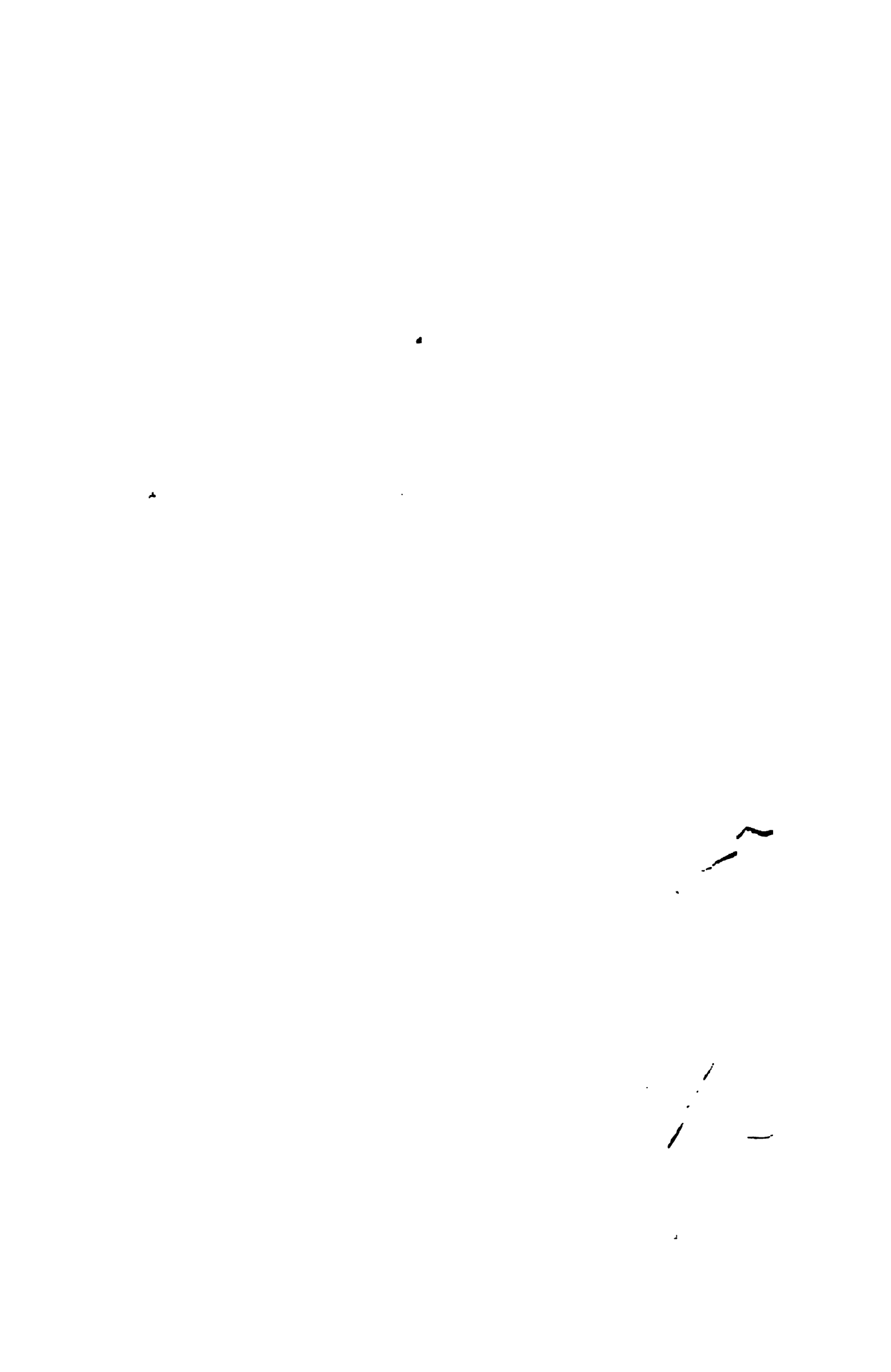
	СТР.
изъ Дрездена, 30 декабря 1870 г.	240
„ „ 18 января 1871 г.	243
„ „ 26 января 1871 г.	244
„ „ 25 февраля 1871 г.	248
„ „ 2 марта 1871 г.	249
„ „ 19 марта 1871 г.	253
„ „ 19 марта 1871 г.	254
„ „ 1 апрѣля 1871 г.	255
„ „ 5 апрѣля 1871 г.	256
„ „ 21 апрѣля 1871 г.	257
Къ Николаю Николаевичу Страхову:	
изъ Флоренціи, 12 декабря 1868 г.	259
„ „ 26 февраля 1869 г.	262
„ „ 18 марта 1869 г.	271
„ „ 6 апрѣля 1869 г.	276
„ „ 29 апрѣля 1869 г.	279
„ „ 17 августа 1869 г.	280
„ Дрездена, 10 января 1870 г.	282
„ „ 26 февраля 1870 г.	283
„ „ 24 марта 1870 г.	287
„ „ 28 мая 1870 г.	291
„ „ 11 июня 1870 г.	294
„ „ 9 октября 1870 г.	296
„ „ 2 декабря 1870 г.	298
„ „ 10 февраля 1871 г.	302
„ „ 18 марта 1871 г.	305
„ „ 23 апрѣля 1871 г.	308
„ „ 18 мая 1871 г.	311
Къ С. Д. Яновскому, изъ Петербурга, 4 февраля 1872 г.	314
„ Х. Д. N-ой, изъ Петербурга, 9 апрѣля 1876 г.	317
„ Г. А. Ковнеръ, изъ Петербурга, 14 февраля 1877 г.	320
„ г-жѣ Герасимовой, изъ Петербурга, 7 марта 1877 г.	322
„ А. Ѳ., изъ Петербурга, 16 апрѣля 1877 г.	325
„ О. А. Антиповой, 21 апрѣля 1877 г.	326
„ Юрію Александровичу Мюллеру, изъ Петербурга, 21 сентября 1877 г.	327
„ г-жѣ Л. А. N., бывшей учительницѣ въ провинціи:	
17 декабря 1877 г.	—
изъ Петербурга, 23 февраля 1878 г.	328
„ Владимиру Васильевичу Михайлову, изъ Петербурга, 16 марта 1878 г.	329
„ генералу-адъютанту Ѳ. Ѳ. Радецкому, изъ Петербурга, 16 апрѣля 1878 г.	331
„ московскимъ студентамъ, изъ Петербурга, 18 апрѣля 1878 г.	332
„ г-жѣ N N, 8 мая 1878 г.	336
„ г-жѣ ** **, отъ 11 іюля 1879 г.	337
„ Василію Васильевичу Самойлову, изъ Петербурга, 17 декабря 1879 г.	339
„ слушательницѣ высшихъ женскихъ курсовъ, 15 января 1880 г.	340
„ г-жѣ N N, 11 апрѣля 1880 г.	341
„ Оресту Ѳедоровичу Миллеру, изъ Старой Руссы, 26 августа 1880 г.	343
„ Ивану Сергѣевичу Аксакову:	
изъ Старой Руссы, 28 августа 1880 г.	344
„ Петербурга, 4 ноября 1880 г.	345
„ „ 3 декабря 1880 г.	347
„ „ 18 декабря 1880 г.	350
„ врачу А. Ѳ. Благонравову, 19 декабря 1880 г.	351

	СТР.
Изъ записной книжки Ф. М. Достоевскаго.	
I	355
II	367
III	368

П Р И Л О Ж Е Н І Я.

Ползуновъ. (Напечатанъ въ „Иллюстрированномъ Альманахѣ“ 1848 г.). (Ф. М. Достоевскаго).	1
На европейскія событія въ 1854 г. (Стихотвореніе Ф. М. Достоевскаго).	16
Прошеніе Государю. (Ф. М. Достоевскаго)	21
Объявленіе о подпискѣ на журналъ „Время“ 1862 г.	24
Объявленіе о подпискѣ на журналъ „Время“ 1863 г.	28
Объявленіе о подпискѣ на журналъ „Эпоха“ 1865 г.	35
Послѣдняя страничка	42
Участіе и поминки Ф. М. Достоевскаго въ Славянскомъ Благотворительномъ Обществѣ	47
Проводы тѣла Ф. М. Достоевскаго и погребеніе	85
Эпизодъ изъ жизни Ф. М. Достоевскаго. (Матеріалъ для біографіи). (К. Масленникова)	102
Письма Ф. М. Достоевскаго къ разнымъ лицамъ	110
Изъ апостола Іоанна. (Стихотвореніе С. Ф. Дурова)	121





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Stanford University Libraries



3 6105 005 506 832

p. 110

Jack Abbott

Specimens D 171, 175, 185

Seavoy 172

Docua - Elphina

Tephrosibum - ¹⁷²Worms ¹⁷³

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

F/S JUN 30 1995

FEB 17 1995

FEB 17 1997
F/S JUN 30 1997

